Собрание сочинений в 12-ти т. Т. 08. Анна Каренина. Роман в 8-ми ч. Ч. 1-4

1. Notice

This book was produced in EPUB format by the Internet Archive.

The book pages were scanned and converted to EPUB format automatically. This process relies on optical character recognition, and is somewhat susceptible to errors. The book may not offer the correct reading sequence, and there may be weird characters, non-words, and incorrect guesses at structure. Some page numbers and headers or footers may remain from the scanned page. The process which identifies images might have found stray marks on the page which are not actually images from the book. The hidden page numbering which may be available to your ereader corresponds to the numbered pages in the print edition, but is not an exact match; page numbers will increment at the same rate as the corresponding print edition, but we may have started numbering before the print book's visible page numbers. The Internet Archive is working to improve the scanning process and resulting books, but in the meantime, we hope that this book will be useful to you.

The Internet Archive was founded in 1996 to build an Internet library and to promote universal access to all knowledge. The Archive's purposes include offering permanent access for researchers, historians, scholars, people with disabilities, and the general public to historical collections that exist in digital format. The Internet Archive includes texts, audio, moving images, and software as well as archived web pages, and provides specialized services for information access for the blind and other persons with disabilities.

Created with hocr-to-epub (v.1.0.0)

ШІКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ

м МОСКВА «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА» 1974

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»
1974

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ДВЕНАДЦАТИ ТОМАХ МОСКВА cХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА» 1974

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ДВЕНАДЦАТИ ТОМАХ

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
том ВОСЬМОЙ АННА КАРЕНИНА РОМАН в восьми ЧАСТЯХ
МОСКВА «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА» 1974

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ ВОСЬМОЙ

АННА КАРЕНИНА
РОМАН В ВОСЬМИ ЧАСТЯХ

Р 1 Т 53 Т 70301028(01) Текст печатается по изданию: Л. Н. Толстой. Анна Каренина. М., Изд-во «Наука», 1970 Примечания Э. Г. Бабаева Оформление художника И. Жихарева 128 —74 подписное РІ

Р 1
Т 53

Текст печатается по изданию:
Л. Н. Толстой. Анна Каренина.
М., Изд-во «Наука», 1970

Примечания
Э. Г. Бабаева

Оформление художника
И. Жихарева

АННА КАРЕНИНА ЧАСТИ ПЕРВАЯ — ЧЕТВЕРТАЯ

АННА КАРЕНИНА

ЧАСТИ ПЕРВАЯ — ЧЕТВЕРТАЯ

МНЕ ОТМЩЕНИЕ, И А3 ВОЗДАМ ЧАСТЬ ПЕРВАЯ I Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждаи несчастливая семья несчастлива по-своему. Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был в связи с бывшею в их доме француженкою-гувернанткой, и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме. Положение это продолжалось уже третий день и мучительно чувствовалось и самими супругами, и всеми членами семьи, и домочадцами. Все члены семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их сожительстве и что на каждом постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны между собой, чем они, члены семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день не было дома. Дети бегали по всему дому, как потерянные; англичанка поссорилась с экономкой и написала записку приятельнице, прося приискать ей новое место; повар ушел вчера со двора, во время самого обеда; черная кухарка и кучер просили расчета. На третий день после ссоры князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в свете, — в обычный час, то есть в восемь часов утра, проснулся не в спалыо >кеиы, а в своем кабинете, на сафьянном диване. Он повернул свое полное, выхоленное тело на пружинах дивана, как бы желая опять заснуть надолго, с другой стороны крепко обнял подушку и прижался к ней щекой; по вдруг вскочил, сел на диван и открыл глаза. «Да, да, как это было? — думал он, вспоминая сои. — • Да, как это было? Да! Алабин давал обед в Дармштадте; нет, не в Дармштадте, а что-то американское. Да, но там Дармштадт был в Америке. Да, Алабин давал обед па 7

МНЕ ОТМЩЕНИЕ, И АЗ ВОЗДАМ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему.

Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был в связи с бывшею в их доме француженкою-гувернанткой, и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме. Положение это продолжалось уже третий день и мучительно чувствовалось и самими супругами, и всеми членами семьи, и домочадцами. Все члены семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их сожительстве и что на каждом постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны между собой, чем они, члены семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день не было дома. Дети бегали по всему дому, как потерянные; англичанка поссорилась с экономкой и написала записку приятельнице, прося приискать ей новое место; повар ушел вчера со двора, во время самого обеда; черная кухарка и кучер просили расчета.

На третий день после ссоры князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в свете, — в обычный час, то есть в восемь часов утра, проснулся не в спальне жены, а в своем кабинете, на сафьянном диване. Он повернул свое полное, выхоленное тело на пружинах дивана, как бы желая опять заснуть надолго, с другой стороны крепко обнял подушку и прижался к ней щекой; но вдруг вскочил, сел на диван и открыл глаза.

стеклянных столах, да, — и столы пели: II mìo tesoro ^ в не II tio tesoro, а что-то лучше, и какие-то маленькие графинчики, и они же женщины», — вспоминал он. ГvЧаза Степана Аркадьича весело заблестели, и он задумался, улыбаясь. «Да, хорошо было, очень хорошо. Много еще что-то там было отличного, да не скажешь словами и мыслями даже наяву не выразишь». И, заметив полосу света, пробившуюся сбоку одной из суконных стор, он весело скинул ноги с дивана, отыскал ими шитые женой (подарок ко дню рождения в прошлом году), обделанные в золотистый сафьян туфли и по старой, девятилетпей привычке, не вставая, потянулся рукой к тому месту, где в спальне у него висел халат. И тут он вспомнил вдруг, как и почему он спит не в спальне жены, а в кабинете; улыбка исчезла с его лица, он сморщил лоб. «Ах, ах, ах! Ааа!..» — замычал он, вспоминая все, что было. И его воображению представились опять все подробности ссоры с женою, вся безвыходность его положения и мучительнее всего собственная вина его. «Да! она не простит и не может простить. И всего ужаснее то, что виной всему я, виной я, а не виноват. В этом-то вся драма, — думал он. — Ах, ах, ах!» — приговаривал он с отчаянием, вспоминая самые тяжелые для себя впечатления из этой ссоры. Неприятнее всего была та первая минута, когда он, вернувшись из театра, веселым и довольным, с огромною грушей для жены в руке, не нашел жены в гостиной; к удивлению, не нашел ее и в кабинете и, наконец, увидал ее в спальне с несчастною, открывшею все, запиской в руке. Она, эта вечно озабоченная, и хлопотливая, и недалекая, какою он считал ее, Долли, неподвижно сидела с запиской в руке и с выражением ужаса, отчаяния и гнева смотрела на него. — Что это? это? — спрашивала она, указывая на өаписку. И при этом воспоминании, как это часто бывает, мучало Степана Аркадьича не столько самое событие, сколько то, как он ответил на эти слова жены. С ним случилось в эту минуту то, что случается с людьми, когда они неожиданно уличены в чем-нибудь слишком постыдном. Он не сумел приготовить свое лицо ^ Мое сокровище (итал.). 8

стеклянных столах, да, — и столы пели: Il mio tesoro[1], и не Il mio tesoro, а что-то лучше, и какие-то маленькие графинчики, и они же женщины», — вспоминал он.

Глаза Степана Аркадьича весело заблестели, и он задумался, улыбаясь. «Да, хорошо было, очень хорошо. Много еще что-то там было отличного, да не скажешь словами и мыслями даже наяву не выразишь». И, заметив полосу света, пробившуюся сбоку одной из суконных стор, он весело скинул ноги с дивана, отыскал ими шитые женой (подарок ко дню рождения в прошлом году), обделанные в золотистый сафьян туфли и по старой, девятилетней привычке, не вставая, потянулся рукой к тому месту, где в спальне у него висел халат. И тут он вспомнил вдруг, как и почему он спит не в спальне жены, а в кабинете; улыбка исчезла с его лица, он сморщил лоб.

«Ах, ах, ах! Ааа!..» — замычал он, вспоминая все, что было. И его воображению представились опять все подробности ссоры с женою, вся безвыходность его положения и мучительнее всего собственная вина его.

«Да! она не простит и не может простить. И всего ужаснее то, что виной всему я, виной я, а не виноват. В этом-то вся драма, — думал он. — Ах, ах, ах!» — приговаривал он с отчаянием, вспоминая самые тяжелые для себя впечатления из этой ссоры.

Неприятнее всего была та первая минута, когда он, вернувшись из театра, веселым и довольным, с огромною грушей для жены в руке, не нашел жены в гостиной; к удивлению, не нашел ее и в кабинете и, наконец, увидал ее в спальне с несчастною, открывшею все, запиской в руке.

Она, эта вечно озабоченная, и хлопотливая, и недалекая, какою он считал ее, Долли, неподвижно сидела с запиской в руке и с выражением ужаса, отчаяния и гнева смотрела на него.

— Что это? это? — спрашивала она, указывая на записку.

И при этом воспоминании, как это часто бывает, мучало Степана Аркадьича не столько самое событие, сколько то, как он ответил на эти слова жены.

С ним случилось в эту минуту то, что случается с людьми, когда они неожиданно уличены в чем-нибудь

к тому положению, в которое он становился пред женой после открытия его вины. Вместо того чтоб оскорбиться, отрекаться, оправдываться, просить прощения, оставаться даже равнодушным — все было бы лучше того, что он сделалі — его лицо совершенно невольно («рефлексы головного мозга», — подумал Степан Аркадьич, который любил физиологию), совершенно невольно вдруг улыбнулось привычною, доброю и потому глупою улыбкой. Эту глупую улыбку он не мог простить себе. Увидав эту улыбку, Долли вздрогнула, как от физической боли, разразилась, со свойственною ей горячностью, потоком жестоких слов и выбежала из комнаты. С тех пор она не хотела видеть мужа. «Всему виной эта глупая улыбка», — думал Степан Аркадьич. «Но что ж делать? что ж делать?» — с отчаянием говорил он себе и не находил ответа. II Степан Аркадьич был человек правдивый в отношении к себе самому. Он не мог обманывать себя и уверять себя, что он раскаивается в своем поступке. Он не мог раскаиваться теперь в том, в чем он раскаивался когдато лет шесть тому назад, когда он сделал первую неверность жене. Он не мог раскаиваться в том, что он, тридцатичетырехлетний, красивый, влюбчивый человек, не был влюблен в жену, мать пяти живых и двух умерших детей, бывшую только годом моложе его. Он раскаивался только в том, что не умел лучше скрыть от жены. Но он чувствовал всю тяжесть своего положения и жалел жену, детей и себя. Может быть, он сумел бы лучше скрыть свои грехи от жены, если б ожидал, что это известие так на нее подействует. Ясно он никогда не обдумывал этого вопроса, но смутно ему представлялось, что жена давно догадывается, что он не верен ей, и смотрит на это сквозь пальцы. Ему даже казалось, что она, истощенная, состарившаяся, уже некрасивая женщина и ничем нѳ замечательная, простая, только добрая мать семейства, по чувству справедливости должна быть снисходительна. Оказалось совсем противное. «Ах, ужасно! ай, ай, ай! ужасно! — твердил себе Степан Аркадьич и ничего не мог придумать. — И как 9

к тому положению, в которое он становился пред женой после открытия его вины. Вместо того чтоб оскорбиться, отрекаться, оправдываться, просить прощения, оставаться даже равнодушным — все было бы лучше того, что он сделал! — его лицо совершенно невольно («рефлексы головного мозга», — подумал Степан Аркадьич, который любил физиологию), совершенно невольно вдруг улыбнулось привычною, доброю и потому глупою улыбкой.

Эту глупую улыбку он не мог простить себе. Увидав эту улыбку, Долли вздрогнула, как от физической боли, разразилась, со свойственною ей горячностью, потоком жестоких слов и выбежала из комнаты. С тех пор она не хотела видеть мужа.

«Всему виной эта глупая улыбка», — думал Степан Аркадьич.

«Но что ж делать? что ж делать?» — с отчаянием говорил он себе и не находил ответа.

II

Степан Аркадьич был человек правдивый в отношении к себе самому. Он не мог обманывать себя и уверять себя, что он раскаивается в своем поступке. Он не мог раскаиваться теперь в том, в чем он раскаивался когда-то лет шесть тому назад, когда он сделал первую неверность жене. Он не мог раскаиваться в том, что он, тридцатичетырехлетний, красивый, влюбчивый человек, не был влюблен в жену, мать пяти живых и двух умерших детей, бывшую только годом моложе его. Он раскаивался только в том, что не умел лучше скрыть от жены. Но он чувствовал всю тяжесть своего положения и жалел жену, детей и себя. Может быть, он сумел бы лучше скрыть свои грехи от жены, если б ожидал, что это известие так на нее подействует. Ясно он никогда не обдумывал этого вопроса, но смутно ему представлялось, что жена давно догадывается, что он не верен ей, и смотрит на это сквозь пальцы. Ему даже казалось, что она, истощенная, состарившаяся, уже некрасивая женщина и ничем не замечательная, простая, только добрая мать семейства,

хорошо все это было до этого, как мы хорошо жили! Опа была довольна, счастлива детьми, я не мешал ей ни в чем, предоставлял ей возиться с детьми, с хозяйством, как она хотела. Правда, нехорошо, что она была гувернанткой у нас в доме. Нехорошоі Есть что-то тривиальное, пошлое в ухая^иванье за своею гувернанткой. Но какая гувернантка! (Он яшво вспомнил черные плутовские глаза т-Пе Roland и ее улыбку.) Но ведь пока она была у нас в доме, я не позволял себе ничего. И хуже всего то, что она уже... Надо же это все как нарочно. Ай, ай, ай! Аяяй! Но что я^е, что же делать?» Ответа не было, кроме того общего ответа, который дает жизнь на все самые слоя^ные и неразрешимые вопросы. Ответ этот: надо жить потребностями дня, то есть забыться. Забыться сном уже нельзя, по крайней мере до ночи, нельзя уже вернуться к той музыке, которую пели графинчики-женщины; стало быть, надо забыться сном я^изни. «Там видно будет», — сказал себе Степан Аркадьич и, встав, надел серый халат на голубой шелковой подкладке, закинул кисти узлом и, вдоволь забрав воздуха в свой широкий грудной ящик, привычным бодрым шагом вывернутых ног, так легко носивших его полное тело, подошел к окну, поднял стору и громко позвонил. На звонок тотчас я^е вошел старый друг, камердинер Матвей, неся платье, сапоги и телеграмму. Вслед за Матвеем вошел и цирюльник с припасами для бритья. — Из присутствия есть бумаги? — спросил Степан Аркадьич, взяв телеграмму и садясь к зеркалу. — На столе, — отвечал Матвей, взглянул вопросительно, с участием, на барина и, подождав немного, прибавил с хитрою улыбкой: — От хозяина извозчика приходили. Степан Аркадьич ничего не ответил и только в зеркало взглянул на Матвея; во взгляде, которым они встретились в зеркале, видно было, как они понимают друг друга. Взгляд Степана Аркадьича как будто спрашивал: «Это зачем ты говоришь? разве ты не знаешь?» Матвей положил руки в карманы своей ячакетки, отставил ногу и молча, добродушно, чуть-чуть улыбаясь, посмотрел на своего барина. — Я приказал прийти в то воскресенье, а до тех пор чтоб не беспокоили вас и себя понапрасну, — сказал он, видимо, приготовленную фразу. 10

хорошо все это было до этого, как мы хорошо жили! Она была довольна, счастлива детьми, я не мешал ей ни в чем, предоставлял ей возиться с детьми, с хозяйством, как она хотела. Правда, нехорошо, что *она* была гувернанткой у нас в доме. Нехорошо! Есть что-то тривиальное, пошлое в ухаживанье за своею гувернанткой. Но какая гувернантка! (Он живо вспомнил черные плутовские глаза m-lle Roland и ее улыбку.) Но ведь пока она была у нас в доме, я не позволял себе ничего. И хуже всего то, что она уже... Надо же это все как нарочно. Ай, ай, ай! Аяяй! Но что же, что же делать?»

Ответа не было, кроме того общего ответа, который дает жизнь на все самые сложные и неразрешимые вопросы. Ответ этот: надо жить потребностями дня, то есть забыться. Забыться сном уже нельзя, по крайней мере до ночи, нельзя уже вернуться к той музыке, которую пели графинчики-женщины; стало быть, надо забыться сном жизни.

«Там видно будет», — сказал себе Степан Аркадьич и, встав, надел серый халат на голубой шелковой подкладке, закинул кисти узлом и, вдоволь забрав воздуха в свой широкий грудной ящик, привычным бодрым шагом вывернутых ног, так легко носивших его полное тело, подошел к окну, поднял стору и громко позвонил. На звонок тотчас же вошел старый друг, камердинер Матвей, неся платье, сапоги и телеграмму. Вслед за Матвеем вошел и цирюльник с припасами для бритья.

— Из присутствия есть бумаги? — спросил Степан Аркадьич, взяв телеграмму и садясь к зеркалу.

— На столе, — отвечал Матвей, взглянул вопросительно, с участием, на барина и, подождав немного, прибавил с хитрою улыбкой: — От хозяина извозчика приходили.

Степан Аркадьич ничего не ответил и только в зеркало взглянул на Матвея; во взгляде, которым они встретились в зеркале, видно было, как они понимают друг друга. Взгляд Степана Аркадьича как будто спрашивал: «Это зачем ты говоришь? разве ты не знаешь?»

Матвей положил руки в карманы своей жакетки, отставил ногу и молча, добродушно, чуть-чуть улыбаясь,

Степан Аркадьич понял, что Матвей хотел пошутить и обратить на себя внимание. Разорвав телеграмму, он прочел ее, догадкой поправляя перевранные, как всегда, слова, и лицо его просияло. — Матвей, сестра Анна Аркадьевна будет завтра, — сказал он, остановив на минуту глянцевитую, пухлую ручку цирюльника, расчищ,автую розовую дорогу между длинными кудрявыми бакенбардами. — Слава богу, — сказал Матвей, этим ответом показывая, что он понимает так же, как и барин, значение этого приезда, то есть что Анна Аркадьевна, любимая сестра Степана Аркадьича, может содействовать примирению мужа с женой. — Одни или с супругом? — спросил Матвей. Степан Аркадьич не мог говорить, так как цирюльник занят был верхней губой, и поднял один палец. Матвей в зеркало кивнул головой. — Одни. Наверху приготовить? — Дарье Александровне доложи, где прикажут. — Дарье Александровне? — как бы с сомнением повторил Матвей. — Да, доложи. И вот возьми телеграмму, передай, что они скажут. «Попробовать хотите», — понял Матвей, но он сказал только: — Слушаю-с. Степан Аркадьич уже был умыт и расчесан и сбирался одеваться, когда Матвей, медленно ступая поскриБываюпдими сапогами по мягкому ковру, с телеграммой в руке, вернулся в комнату. Цирюльника уже не было. — Дарья Александровна приказали доложить, что они уезжают. Пускай делают, как им, вам то есть, угодно, — сказал он, смеясь только глазами, и, положив руки в карманы и склонив голову набок, уставился на барина*. Степан Аркадьич помолчал. Потом добрая и несколько жалкая улыбка показалась на его красивом лице. — А? Матвей? — сказал он, покачивая головой. — Ничего, сударь, образуется, — сказал Матвей. — Образуется? — Так точно-с. — Ты думаешь? Это кто там? — спросил Степан Арі^адьич, услыхав за дверью шум женского платья*

Степан Аркадьич понял, что Матвей хотел пошутить и обратить на себя внимание. Разорвав телеграмму, он прочел ее, догадкой поправляя перевранные, как всегда, слова, и лицо его просияло.

— Матвей, сестра Анна Аркадьевна будет завтра, — сказал он, остановив на минуту глянцевитую, пухлую ручку цирюльника, расчищавшую розовую дорогу между длинными кудрявыми бакенбардами.

— Слава богу, — сказал Матвей, этим ответом показывая, что он понимает так же, как и барин, значение этого приезда, то есть что Анна Аркадьевна, любимая сестра Степана Аркадьича, может содействовать примирению мужа с женой.

— Одни или с супругом? — спросил Матвей.

Степан Аркадьич не мог говорить, так как цирюльник занят был верхней губой, и поднял один палец. Матвей в зеркало кивнул головой.

— Одни. Наверху приготовить?

— Дарье Александровне доложи, где прикажут.

— Дарье Александровне? — как бы с сомнением повторил Матвей.

— Да, доложи. И вот возьми телеграмму, передай, что они скажут.

«Попробовать хотите», — понял Матвей, но он сказал только:

— Слушаю-с.

Степан Аркадьич уже был умыт и расчесан и собирался одеваться, когда Матвей, медленно ступая поскрипывающими сапогами по мягкому ковру, с телеграммой в руке, вернулся в комнату. Цирюльника уже не было.

— Дарья Александровна приказали доложить, что они уезжают. Пускай делают, как им, вам то есть, угодно, — сказал он, смеясь только глазами, и, положив руки в карманы и склонив голову набок, уставился на барина.

Степан Аркадьич помолчал. Потом добрая и несколько жалкая улыбка показалась на его красивом лице.

— А? Матвей? — сказал он, покачивая головой.

— Ничего, сударь, образуется, — сказал Матвей.

— Образуется?

— Это я-с, — сказал твердый и приятный женский голос, и из-за двери высунулось строгое рябое лицо Матрены Филимоновны, нянюшки. — Ну что, Матреша? — спросил Степан Аркадьич, выходя к ней в дверь. Несмотря на то, что Степан Аркадьич был кругом виноват пред женой и сам чувствовал это, почти все в доме, даже нянюшка, главный друг Дарьи Александровны, были на его стороне. — Ну что? — сказал он уныло. — Вы сходите, сударь, повинитесь еш;е. Авось бог даст. Очень мучаются, и смотреть жалости, да и все в доме навынтараты пошло. Детей, сударь, пожалеть надо. Повинитесь, сударь. Что делать! Люби кататься... — Да ведь не примет... — А вы свое сделайте. Бог милостив, богу молитесь, сударь, богу молитесь. — Ну, хорошо, ступай, — сказал Степан Аркадьич, вдруг покраснев. — Ну, так давай одеваться, — обратился он к Матвею и решительно скинул халат. Матвей уже держал, сдувая что-то невидимое, хомутом приготовленную рубашку и с очевидным удовольствием облек в нее холеное тело барина. III Одевшись, Степан Аркадьич прыснул на себя духами, вытянул рукава рубашки, привычным двия^ением рассовал по карманам папиросы, бумажник, спички, часы с двумя цепочками и брелоками и, встряхнув платок, чувствуя себя чистым, душистым, здоровым и физически веселым, несмотря на свое несчастье, вышел, слегка подрагивая на каждой ноге, в столовую, где уже ждал его кофей и, рядом с кофеем, письма и бумаги из присутствия. Степан Аркадьич сел, прочел письма. Одно было очень неприятное — от купца, покупавшего лес в имении жены. Лес этот необходимо было продать; но теперь, до примирения с женой, не могло быть о том речи. Всего же неприятнее тут было то, что этим подмешивался денежный интерес в предстоящее дело его примирения с женою. И мысль, что он может руководиться этим интересом, что он для продажи этого леса будет искать примирения с женой, — эта мысль оскорбляла его. 12

— Это я-с, — сказал твердый и приятный женский голос, и из-за двери высунулось строгое рябое лицо Матрены Филимоновны, нянюшки.

— Ну что, Матреша? — спросил Степан Аркадьич, выходя к ней в дверь.

Несмотря на то, что Степан Аркадьич был кругом виноват пред женой и сам чувствовал это, почти все в доме, даже нянюшка, главный друг Дарьи Александровны, были на его стороне.

— Ну что? — сказал он уныло.

— Вы сходите, сударь, повинитесь еще. Авось бог даст. Очень мучаются, и смотреть жалости, да и все в доме навынтараты пошло. Детей, сударь, пожалеть надо. Повинитесь, сударь. Что делать! Люби кататься...

— Да ведь не примет...

— А вы свое сделайте. Бог милостив, богу молитесь, сударь, богу молитесь.

— Ну, хорошо, ступай, — сказал Степан Аркадьич, вдруг покраснев. — Ну, так давай одеваться, — обратился он к Матвею и решительно скинул халат.

Матвей уже держал, сдувая что-то невидимое, хомутом приготовленную рубашку и с очевидным удовольствием облек в нее холеное тело барина.

III

Одевшись, Степан Аркадьич прыснул на себя духами, вытянул рукава рубашки, привычным движением рассовал по карманам папиросы, бумажник, спички, часы с двумя цепочками и брелоками и, встряхнув платок, чувствуя себя чистым, душистым, здоровым и физически веселым, несмотря на свое несчастье, вышел, слегка подрагивая на каждой ноге, в столовую, где уже ждал его кофей и, рядом с кофеем, письма и бумаги из присутствия.

Степан Аркадьич сел, прочел письма. Одно было очень неприятное — от купца, покупавшего лес в имении жены. Лес этот необходимо было продать; но теперь, до примирения с женой, не могло быть о том речи. Всего же неприятнее тут было то, что этим подмешивался де-

Окончив письма, Степан Аркадьич придвинул к себе бумаги из присутствия, быстро перелистовал два дела, большим карандашом сделал несколько отметок и, отодвинув дела, взялся за кофе; за кофеем он развернул еще сырую утреннюю газету и стал читать ее. Степан Аркадьич получал и читал либеральную газету, не крайнюю, но того направления, которого держалось большинство. И, несмотря на то, что ни наука, ня искусство, ни политика, собственно, не интересовали его, он твердо держался тех взглядов на все эти предметы, каких держалось большинство и его газета, и изменял их, только когда большинство изменяло их, или, лучше сказать, не изменял их, а они сами в нем незаметно изменялись. Степан Аркадьич не избирал ни направления, ни взглядов, а эти направления и взгляды сами приходили к нему, точно так же, как он не выбирал формы шляпы или сюртука, а брал те, которые носят. А иметь взгляды ему, жившему в известном обществе, при потребности некоторой деятельности мысли, развивающейся обыкновенно в лета зрелости, было так же необходимо, как иметь шляпу. Если и была причина, почему он предпочитал либеральное направление консервативному, какого держались тоже многие из его круга, то это произошло не оттого, чтоб он находил либеральное направление более разумным, но потому, что оно подходило ближе к его образу жизни. Либеральная партия говорила, что в России все скверно, и действительно, у Степана Аркадьича долгов было много, а денег решительно недоставало. Либеральная партия говорила, что брак есть отжившее учреждение и что необходимо перестроить его, и действительно, семейная жизнь доставляла мало удовольствия Степану Аркадьичу и принуждала его лгать и притворяться, что было так противно его натуре. Либеральная партия говорила, или, лучше, подразумевала, что религия есть только узда для варварской части населения, и действительно, Степан Аркадьич не мог вынести без боли в ногах даже короткого молебна и не мог понять, к чему все эти страшные и высокопарные слова о том свете, когда и на этом жить было бы очень весело. Вместе с этим Степану Аркадьичу, любившему веселую шутку, было приятно иногда озадачить смирного человека тем, что если уже гордиться породой, то не следует останавливаться на Рюрике и отрекаться от первого родоначаль13

Окончив письма, Степан Аркадьич придвинул к себе бумаги из присутствия, быстро перелистовал два дела, большим карандашом сделал несколько отметок и, отодвинув дела, взялся за кофе; за кофеем он развернул еще сырую утреннюю газету и стал читать ее.

Степан Аркадьич получал и читал либеральную газету, не крайнюю, но того направления, которого держалось большинство. И, несмотря на то, что ни наука, ни искусство, ни политика, собственно, не интересовали его, он твердо держался тех взглядов на все эти предметы, каких держалось большинство и его газета, и изменял их, только когда большинство изменяло их, или, лучше сказать, не изменял их, а они сами в нем незаметно изменялись.

Степан Аркадьич не избирал ни направления, ни взглядов, а эти направления и взгляды сами приходили к нему, точно так же, как он не выбирал формы шляпы или сюртука, а брал те, которые носят. А иметь взгляды ему, жившему в известном обществе, при потребности некоторой деятельности мысли, развивающейся обыкновенно в лета зрелости, было так же необходимо, как иметь шляпу. Если и была причина, почему он предпочитал либеральное направление консервативному, какого держались тоже многие из его круга, то это произошло не оттого, чтоб он находил либеральное направление более разумным, но потому, что оно подходило ближе к его образу жизни. Либеральная партия говорила, что в России все скверно, и действительно, у Степана Аркадьича долгов было много, а денег решительно недоставало. Либеральная партия говорила, что брак есть отжившее учреждение и что необходимо перестроить его, и действительно, семейная жизнь доставляла мало удовольствия Степану Аркадьичу и принуждала его лгать и притворяться, что было так противно его натуре. Либеральная партия говорила, или, лучше, подразумевала, что религия есть только узда для варварской части населения, и действительно, Степан Аркадьич не мог вынести без боли в ногах даже короткого молебна и не мог понять, к чему все эти страшные и высокопарные слова о том свете, когда и на этом жить было бы очень весело. Вместе с этим

ника — обезьяны. Итак, либеральное направление сделалось привычкой Степана Аркадьича, и он любил свою газету, как сигару после обеда, за легкий туман, который она производила в его голове. Он прочел руководящую статью, в которой объяснялось, что в наше время совершенно напрасно поднимается вопль о том, будто бы радикализм угрожает поглотить все консервативные элементы и будто бы правительство обязано принять меры для подавления революционной гидры, что, напротив, «по нашему мнению, опасность лежит не в мнимой революционной гидре, а в упорстве традиционности, тормозящей прогресс», и т. д. Он прочел и другую статью, финансовую, в которой упоминалось о Бентаме и Милле и подпускались тонкие шпильки министерству. Со свойственною ему быстротою соображения он понимал значение всякой шпильки: от кого и на кого и по какому случаю она была направлена, и это, как всегда, доставляло ему некоторое удовольствие. Но сегодня удовольствие это отравлялось воспоминанием о советах Матрены Филимоновны и о том, что в доме так неблагополучно. Он прочел и о том, что граф Бейст, как слышно, проехал в Висбаден, и о том, что нет более седых волос, и о продаже легкой кареты, и предложение молодой особы; но эти сведения не доставляли ему, как прежде, тихого иронического удовольствия. Окончив газету, вторую чашку кофе и калач с маслом, он встал, стряхнул крошки калача с жилета и, расправив широкую грудь, радостно улыбнулся, не оттого, чтоб у него на душе было что-нибудь особенно приятное, — радостную улыбку вызвало хорошее пищеварение. Но эта радостная улыбка сейчас же напомнила ему все, и он задумался. Два детские голоса (Степан Аркадьич узнал голоса Гриши, меньшого мальчика, и Тани, старшей девочки) послышались за дверьми. Они что-то везли и уронили. — Я говорила, что на крышу нельзя сажать пассажиров, — кричала по-английски девочка, — вот подбирай! «Все смешалось, — подумал Степан Аркадьич, — вон дети одни бегают». И, подойдя к двери, он кликнул их. Они бросили шкатулку, представлявшую поезд, и вошли к отцу. Девочка, любимица отца, вбежала смело, обняла его и, смеясь, повисла у него на шее, как всегда, радуясь 14

ника — обезьяны. Итак, либеральное направление сделалось привычкой Степана Аркадьича, и он любил свою газету, как сигару после обеда, за легкий туман, который она производила в его голове. Он прочел руководящую статью, в которой объяснялось, что в наше время совершенно напрасно поднимается вопль о том, будто бы радикализм угрожает поглотить все консервативные элементы и будто бы правительство обязано принять меры для подавления революционной гидры, что, напротив, «по нашему мнению, опасность лежит не в мнимой революционной гидре, а в упорстве традиционности, тормозящей прогресс», и т. д. Он прочел и другую статью, финансовую, в которой упоминалось о Бентаме и Милле и подпускались тонкие шпильки министерству. Со свойственною ему быстротою соображения он понимал значение всякой шпильки: от кого и на кого и по какому случаю она была направлена, и это, как всегда, доставляло ему некоторое удовольствие. Но сегодня удовольствие это отравлялось воспоминанием о советах Матрены Филимоновны и о том, что в доме так неблагополучно. Он прочел и о том, что граф Бейст, как слышно, проехал в Висбаден, и о том, что нет более седых волос, и о продаже легкой кареты, и предложение молодой особы; но эти сведения не доставляли ему, как прежде, тихого иронического удовольствия.

Окончив газету, вторую чашку кофе и калач с маслом, он встал, стряхнул крошки калача с жилета и, расправив широкую грудь, радостно улыбнулся, не оттого, чтоб у него на душе было что-нибудь особенно приятное, — радостную улыбку вызвало хорошее пищеварение.

Но эта радостная улыбка сейчас же напомнила ему все, и он задумался.

Два детские голоса (Степан Аркадьич узнал голоса Гриши, меньшого мальчика, и Тани, старшей девочки) послышались за дверьми. Они что-то везли и уронили.

— Я говорила, что на крышу нельзя сажать пассажиров, — кричала по-английски девочка, — вот подбирай!

«Все смешалось, — подумал Степан Аркадьич, — вон дети одни бегают». И, подойдя к двери, он кликнул их. Они бросили пассажиров, представлявших [illegible]

на знакомый запах духов, распространявшийся от его бакенбард. Поцеловав его, наконец, в покрасневшее от наклоненного положения и сияюш.ее нежностью лицо, девочка разняла руки и хотела бежать назад; но отец удержал ее. — Что мама? — сказал отец, водя рукой по гладкой нежной шейке дочери. — Здравствуй, — сказал он, улыбаясь здоровавшемуся мальчику. Он сознавал, что меньше любил мальчика, и всегда старался быть ровен; но мальчик чувствовал это и не ответил улыбкой на холодную улыбку отца. — Мама? Встала, — отвечала девочка. Степан Аркадьич вздохнул. «Значит, опять не спала всю ночь», — подумал он. — Что, она весела? Девочка знала, что между отцом и матерью была ссора, и что мать не могла быть весела, и что отец должен знать это, и что он притворяется, спрашивая об этом так легко. И она покраснела за отца. Он тотчас же понял это и также покраснел. — Не знаю, — сказала она. — Она не велела учиться, а велела идти гулять с мисс Гуль к бабушке. — Ну, иди, Танчурочка моя. Ах да, постой, — сказал он, все-таки удерживая ее и гладя ее нежную ручку. Он достал с камина, где вчера поставил, коробочку конфет и дал ей две, выбрав ее любимые, шоколадную и помадную. — Грише? — сказала девочка, указывая па шоколадную. — Да, да. — И еш;е раз погладив ее плечико, он поцеловал ее в корни волос, в шею и отпустил ее. — Карета готова, — сказал Матвей. — Да просительница, — прибавил он. — Давно тут? — спросил Степан Аркадьич. — С полчасика. — Сколько раз тебе приказано сейчас же докладывать! — Надо же вам дать хоть кофею откушать, — сказал Матвей тем дружески грубым тоном, на который нельзя было сердиться. — Ну, проси я{е скорее, — сказал Облонский, мор^ щась от досады. Просительница, штабс-капитанша Калинина, просила о невозможном и бестолковом; но Степан Аркадьич, по 15

на знакомый запах духов, распространявшийся от его бакенбард. Поцеловав его, наконец, в покрасневшее от наклоненного положения и сияющее нежностью лицо, девочка разняла руки и хотела бежать назад; но отец удержал ее.

— Что мама? — сказал отец, водя рукой по гладкой нежной шейке дочери. — Здравствуй, — сказал он, улыбаясь здоровавшемуся мальчику.

Он сознавал, что меньше любил мальчика, и всегда старался быть ровен; но мальчик чувствовал это и не ответил улыбкой на холодную улыбку отца.

— Мама? Встала, — отвечала девочка.

Степан Аркадьич вздохнул. «Значит, опять не спала всю ночь», — подумал он.

— Что, она весела?

Девочка знала, что между отцом и матерью была ссора, и что мать не могла быть весела, и что отец должен знать это, и что он притворяется, спрашивая об этом так легко. И она покраснела за отца. Он тотчас же понял это и также покраснел.

— Не знаю, — сказала она. — Она не велела учиться, а велела идти гулять с мисс Гуль к бабушке.

— Ну, иди, Танчурочка моя. Ах да, постой, — сказал он, все-таки удерживая ее и гладя ее нежную ручку.

Он достал с камина, где вчера поставил, коробочку конфет и дал ей две, выбрав ее любимые, шоколадную и помадную.

— Гришe? — сказала девочка, указывая на шоколадную.

— Да, да. — И еще раз погладив ее плечико, он поцеловал ее в корни волос, в шею и отпустил ее.

— Карета готова, — сказал Матвей. — Да просительница, — прибавил он.

— Давно тут? — спросил Степан Аркадьич.

— С полчасика.

— Сколько раз тебе приказано сейчас же докладывать!

— Надо же вам дать хоть кофею откушать, — сказал Матвей тем дружески грубым тоном, на который нельзя было сердиться.

своему обыкновению, усадил ее, внимательно, не перебивая, выслушал ее и дал ей подробный совет, к кому и как обратиться, и даже бойко и складно своим крупным, растянутым, красивым и четким почерком написал ей записочку к лицу, которое могло ей пособить. Отпустив штабс-капитаншу, Степан Аркадьич взял шляпу и остановился, припоминая, не забыл ли чего. Оказалось, что он ничего не забыл, кроме того, что хотел забыть, — жену. «Ах да!» Он опустил голову, и красивое лицо его приняло тоскливое выражение. «Пойти или не пойти?» — говорил он себе. И внутренний голос говорил ему, что ходить не надобно, что, кроме фальши, тут ничего быть не может, что поправить, починить их отношения невозможно, потому что невозможно сделать ее опять привлекательною и возбуждающею любовь или его сделать стариком, не способным любить. Кроме фальши и лжи, ничего не могло выйти теперь; а фальшь и ложь были противны его натуре. «Однако когда-нибудь нужно; ведь не может же это так остаться», — сказал он, стараясь придать себе смелости. Он выпрямил грудь, вынул папироску, закурил, пыхнул два раза, бросил ее в перламутровую раковину-пепельницу, быстрыми шагами прошел мрачную гостиную и отворил другую дверь, в спальню жены. IV Дарья Александровна, в кофточке и с пришпиленными на затылке косами уже редких, когда-то густых и прекрасных волос, с осунувшимся, худым лицом и большими, выдававшимися от худобы лица, испуганными глазами, стояла среди разбросанных по комнате вещей пред открытою шифоньеркой, из которой она выбирала что-то. Услыхав шаги мужа, она остановилась, глядя на дверь и тщетно пытаясь придать своему лицу строгое и презрительное выражение. Она чувствовала, что боится его и боится предстоящего свидания. Она только что пыталась сделать то, что пыталась сделать уже десятый раз в эти три дня: отобрать детские и свои вещи, которые она увезет к матери, — и опять не могла на это решиться; но и теперь, как в прежние раза, она говорила себе, что это не моя^ет так остаться, что она должна 16

своему обыкновению, усадил ее, внимательно, не перебивая, выслушал ее и дал ей подробный совет, к кому и как обратиться, и даже бойко и складно своим крупным, растянутым, красивым и четким почерком написал ей записочку к лицу, которое могло ей пособить. Отпустив штабс-капитаншу, Степан Аркадьич взял шляпу и остановился, припоминая, не забыл ли чего. Оказалось, что он ничего не забыл, кроме того, что хотел забыть, — жену.

«Ах да!» Он опустил голову, и красивое лицо его приняло тоскливое выражение. «Пойти или не пойти?» — говорил он себе. И внутренний голос говорил ему, что ходить не надобно, что, кроме фальши, тут ничего быть не может, что поправить, починить их отношения невозможно, потому что невозможно сделать ее опять привлекательною и возбуждающею любовь или его сделать стариком, не способным любить. Кроме фальши и лжи, ничего не могло выйти теперь; а фальшь и ложь были противны его натуре.

«Однако когда-нибудь нужно; ведь не может же это так остаться», — сказал он, стараясь придать себе смелости. Он выпрямил грудь, вынул папироску, закурил, пыхнул два раза, бросил ее в перламутровую раковину-пепельницу, быстрыми шагами прошел мрачную гостиную и отворил другую дверь, в спальню жены.

IV

Дарья Александровна, в кофточке и с пришпиленными на затылке косами уже редких, когда-то густых и прекрасных волос, с осунувшимся, худым лицом и большими, выдававшимися от худобы лица, испуганными глазами, стояла среди разбросанных по комнате вещей пред открытою шифоньеркой, из которой она выбирала что-то. Услыхав шаги мужа, она остановилась, глядя на дверь и тщетно пытаясь придать своему лицу строгое и презрительное выражение. Она чувствовала, что боится его и боится предстоящего свидания. Она только что пыталась сделать то, что пыталась сделать уже десятый раз в эти три дня: отобрать детские и свои вещи,

предпринять что-нибудь, наказать, осрамить его, отомстить ему хоть малою частью той боли, которую он ей сделал. Она все еще говорила, что уедет от него, но чувствовала, что это невозможно; это было невозможно потому, что она не могла отвыкнуть считать его своим мужем и любить его. Кроме того, она чувствовала, что если здесь, в своем доме, она едва успевала ухаживать за своими пятью детьми, то им будет еще хуже там, куда она поедет со всеми ими. И то в эти три дня меньшой заболел оттого, что его накормили дурным бульоном, а остальные были вчера почти без обеда. Она чувствовала, что уехать невозможно; но, обманывая себя, она все-таки отбирала вещи и притворялась, что уедет. Увидав мужа, она опустила руки в ящик шифоньерки, будто отыскивая что-то, и оглянулась на него, только когда он совсем вплоть подошел к ней. Но лицо ее, которому она хотела придать строгое и решительное выражение, выражало потерянность и страдание. — Долли! — сказал он тихим, робким голосом. Он втянул голову в плечи и хотел иметь жалкий и покорный вид, но он все-таки сиял свежестью и здоровьем. Она быстрым взглядом оглядела с головы до ног его сияющую свежестью и здоровьем фигуру. «Да, он счастлив и доволен! — подумала она, — а я?!.. И эта доброта противная, за которую все так любят его и хвалят; я ненавижу эту его доброту», — думала она. Рот ее сжался, мускул щеки затрясся на правой стороне бледного, нервного лица. — Что вам нужно? — сказала она быстрым, не своим, грудным голосом. — Долли! — повторил он с дрожанием голоса. — Анна приедет нынче. — Ну что же мне? Я не могу ее принять! — вскрикнула она. — Но надо же, однако, Долли... — Уйдите, уйдите, уйдите! — не глядя на него, вскрикнула она, как будто крик этот был вызван физическою болью. Степан Аркадьич мог быть спокоен, когда он думал о жене, мог надеяться, что все образуется, по выражению Матвея, и мог спокойно читать газету и пить кофе; но когда он увидал ее измученное, страдальческое лицо, услыхал этот звук голоса, покорный и отчаянный, ему 17

предпринять что-нибудь, наказать, осрамить его, отомстить ему хоть малою частью той боли, которую он ей сделал. Она все еще говорила, что уедет от него, но чувствовала, что это невозможно; это было невозможно потому, что она не могла отвыкнуть считать его своим мужем и любить его. Кроме того, она чувствовала, что если здесь, в своем доме, она едва успевала ухаживать за своими пятью детьми, то им будет еще хуже там, куда она поедет со всеми ими. И то в эти три дня меньшой заболел оттого, что его накормили дурным бульоном, а остальные были вчера почти без обеда. Она чувствовала, что уехать невозможно; но, обманывая себя, она все-таки отбирала вещи и притворялась, что уедет.

Увидав мужа, она опустила руки в ящик шифоньерки, будто отыскивая что-то, и оглянулась на него, только когда он совсем вплоть подошел к ней. Но лицо ее, которому она хотела придать строгое и решительное выражение, выражало потерянность и страдание.

— Долли! — сказал он тихим, робким голосом. Он втянул голову в плечи и хотел иметь жалкий и покорный вид, но он все-таки сиял свежестью и здоровьем.

Она быстрым взглядом оглядела с головы до ног его сияющую свежестью и здоровьем фигуру. «Да, он счастлив и доволен! — подумала она, — а я?!.. И эта доброта противная, за которую все так любят его и хвалят; я ненавижу эту его доброту», — думала она. Рот ее сжался, мускул щеки затрясся на правой стороне бледного, нервного лица.

— Что вам нужно? — сказала она быстрым, не своим, грудным голосом.

— Долли! — повторил он с дрожанием голоса. — Анна приедет нынче.

— Ну что же мне? Я не могу ее принять! — вскрикнула она.

— Но надо же, однако, Долли...

— Уйдите, уйдите, уйдите! — не глядя на него, вскрикнула она, как будто крик этот был вызван физическою болью.

Степан Аркадьич мог быть спокоен, когда он думал о жене, мог надеяться, что все обойдется, по выражению

захватило дыхание, что-то подступило к горлу, и глаза его заблестели слезами. — Боже мой, что я сделал! Долли! Ради бога!.. Ведь... — он не мог продолжать, рыдание остановилось у него в горле. Она захлопнула шифоньерку и взглянула на него. — Долли, что я могу сказать?.. Одно: прости, прости.. ^ Вспомни, разве девять лет жизни не могут искупить минуты, минуты... Она стояла, опустив глаза, и слушала, ожидая, что он скажет, как будто умоляя его о том, чтобы он как-нибудь разуверил ее. — Минуты... минуты увлеченья... — выговорил он и хотел продолжать, но при этом слове, будто от физической боли, опять поджались ее губы и опять запрыгал мускул щеки на правой стороне лица. — Уйдите, уйдите отсюда! — закричала она еще пронзительнее, — и не говорите мне про ваши увлечения, про ваши мерзости! Она хотела уйти, но пошатнулась и взялась за спинку стула, чтоб опереться. Лицо его расширилось, губы распухли, глаза налились слезами. — Долли! — проговорил он, уже всхлипывая. — Ради бога, подумай о детях, они не виноваты. Я виноват, и накажи меня, вели мне искупить свою вину. Чем я могу, я все готов! Я виноват, нет слов сказать, как я виноват! Но, Долли, прости! Она села. Он слышал ее тяжелое, громкое дыхание, и ему было невыразимо жалко ее. Она несколько раз хотела начать говорить, но не могла. Он ждал. — Ты помнишь детей, чтоб играть с ними, а я помню и знаю, что они погибли теперь, — сказала она, видимо, одну пз фраз, которые она за эти три дня не раз говорила себе. Она сказала ему «ты», и он с благодарностью взглянул на нее и тронулся, чтобы взять ее руку, по она с отвращением отстранилась от него. — Я помню про детей и поэтому все в мире сделала бы, чтобы спасти их; но я сама не знаю, чем я спасу их: тем ли, что увезу от отца, или тем, что оставлю с развратным отцом, — да, с развратным отцом... Ну, скажите, после того... что было, разве возможно нам жить вместе? Разве это возмоя^но? Скажите же, разве это возможно? — повторяла опа, возвышая голос. — После того как мой 18

захватило дыхание, что-то подступило к горлу, и глаза его заблестели слезами.

— Боже мой, что я сделал! Долли! Ради бога!.. Ведь... — он не мог продолжать, рыдание остановилось у него в горле.

Она захлопнула шифоньерку и взглянула на него.

— Долли, что я могу сказать?.. Одно: прости, прости... Вспомни, разве девять лет жизни не могут искупить минуты, минуты...

Она стояла, опустив глаза, и слушала, ожидая, что он скажет, как будто умоляя его о том, чтобы он как-нибудь разуверил ее.

— Минуты... минуты увлеченья... — выговорил он и хотел продолжать, но при этом слове, будто от физической боли, опять поджались ее губы и опять запрыгал мускул щеки на правой стороне лица.

— Уйдите, уйдите отсюда! — закричала она еще пронзительнее, — и не говорите мне про ваши увлечения, про ваши мерзости!

Она хотела уйти, но пошатнулась и взялась за спинку стула, чтоб опереться. Лицо его расширилось, губы распухли, глаза налились слезами.

— Долли! — проговорил он, уже всхлипывая. — Ради бога, подумай о детях, они не виноваты. Я виноват, и накажи меня, вели мне искупить свою вину. Чем я могу, я все готов! Я виноват, нет слов сказать, как я виноват! Но, Долли, прости!

Она села. Он слышал ее тяжелое, громкое дыхание, и ему было невыразимо жалко ее. Она несколько раз хотела начать говорить, но не могла. Он ждал.

— Ты помнишь детей, чтоб играть с ними, а я помню и знаю, что они погибли теперь, — сказала она, видимо, одну из фраз, которые она за эти три дня не раз говорила себе.

Она сказала ему «ты», и он с благодарностью взглянул на нее и тронулся, чтобы взять ее руку, но она с отвращением отстранилась от него.

— Я помню про детей и поэтому все в мире сделала бы, чтобы спасти их; но я сама не знаю, чем я спасу их: тем ли, что увезу от отца, или тем, что оставлю с развратным отцом — да, с развратным отцом. Ну, скажите

муж, отец моих детей, входит в любовную связь с гувернанткой своих детей... — Ну что ж... Ну что ж делать? — говорил он жалким голосом, сам не зная, что он говорит, и все ниже и ниже опуская голову. — Вы мне гадки, отвратительны! — закричала она, горячась все более и более. — Ваши слезы — вода! Вы никогда не любили меня; в вас нет ни сердца, ни благородства! Вы мне мерзки, гадки, чужой, да, чужой! — с болью и злобой произносила она это ужасное для себя слово чужой. Он поглядел на нее, и злоба, выразившаяся в ее лице, испугала и удивила его. Он не понимал того, что его жалость к ней раздражала ее. Она видела в нем к себе сожаленье, по не любовь. «Нет, она ненавидит меня. Она не простит», — подумал он. — Это ужасно! Ужасно! — проговорил он. В это время в другой комнате, вероятно упавши, закричал ребенок; Дарья Александровна прислушалась, и лицо ее вдруг смягчилось. Она, видимо, опомнилась несколько секунд, как бы не зная, где она и что ей делать, и, быстро вставши, тронулась к двери. «Ведь любит же она моего ребенка, — подумал он, заметив изменение ее лица при крике ребенка, — моего ребенка; как же она может ненавидеть меня?» — Долли, еще одно слово, — проговорил он, идя за пею. — Если вы пойдете за мной, я позову людей, детей! Пускай все знают, что вы подлец! Я уезжаю нынче, а вы живите здесь с своею любовницей! И она вышла, хлопнув дверью. Степан Аркадьич вздохнул, отер лицо и тихими шагами пошел из комнаты. «Матвей говорит: образуется; но как? Я не вижу даже возможности. Ах, ах, какой ужас! И как тривиально она кричала, — говорил он сам себе, вспоминая ее крик и слова: подлец и любовница. — И, может быть, девушки слышали! Ужасно тривиально, ужасно». Степан Аркадьич постоял несколько секунд один, отер глаза, вздохнул и, выпрямив грудь, вышел из комнаты. Была пятница, и в столовой часовщик-немец заводил часы. Степан Аркадьич вспомнил свою шутку об этом аккуратном плешивом часовщике, что немец «сам был 19

муж, отец моих детей, входит в любовную связь с гувернанткой своих детей...

— Ну что ж... Ну что ж делать? — говорил он жалким голосом, сам не зная, что он говорит, и все ниже и ниже опуская голову.

— Вы мне гадки, отвратительны! — закричала она, горячась все более и более. — Ваши слезы — вода! Вы никогда не любили меня; в вас нет ни сердца, ни благородства! Вы мне мерзки, гадки, чужой, да, чужой! — с болью и злобой произносила она это ужасное для себя слово *чужой*.

Он поглядел на нее, и злоба, выразившаяся в ее лице, испугала и удивила его. Он не понимал того, что его жалость к ней раздражала ее. Она видела в нем к себе сожаленье, но не любовь. «Нет, она ненавидит меня. Она не простит», — подумал он.

— Это ужасно! Ужасно! — проговорил он.

В это время в другой комнате, вероятно упавши, закричал ребенок; Дарья Александровна прислушалась, и лицо ее вдруг смягчилось.

Она, видимо, опомнилась несколько секунд, как бы не зная, где она и что ей делать, и, быстро вставши, тронулась к двери.

«Ведь любит же она моего ребенка, — подумал он, заметив изменение ее лица при крике ребенка, — *моего* ребенка; как же она может ненавидеть меня?»

— Долли, еще одно слово, — проговорил он, идя за нею.

— Если вы пойдете за мной, я позову людей, детей! Пускай все знают, что вы подлец! Я уезжаю нынче, а вы живите здесь с своею любовницей!

И она вышла, хлопнув дверью.

Степан Аркадьич вздохнул, отер лицо и тихими шагами пошел из комнаты. «Матвей говорит: образуется; но как? Я не вижу даже возможности. Ах, ах, какой ужас! И как тривиально она кричала, — говорил он сам себе, вспоминая ее крик и слова: подлец и любовница. — И, может быть, девушки слышали! Ужасно тривиально, ужасно». Степан Аркадьич постоял несколько секунд один, отер глаза, вздохнул и, выпрямив грудь, вышел из комнаты.

заведен на всю я^изнь, чтобы заводить часы», — и улыбнулся. Степан Аркадьич любил хорошую шутку. «А может быть, и образуется! Хорошо словечко: образуется, — подумал он. — Это надо рассказать». — Матвей! — крикнул он, — так устрой же все там с Марьей в диванной для Анны Аркадьевны, — сказал он явившемуся Матвею. — Слушаю-с. Степан Аркадьич надел шубу и вышел на крыльцо. — Кушать дома не будете? — сказал провоя^авший Матвей. — Как придется. Да вот возьми на расходы, — сказал он, подавая десять рублей из бумая^ника. — Довольно будет? — Довольно ли, не довольно, видно, обойтись надо, — сказал Матвей, захлопывая дверку и отступая на крыльцо. Дарья Александровна меячду тем, успокоив ребенка и по звуку кареты поняв, что он уехал, вернулась опять в спальню. Это было единственное убея^ище ее от домашних забот, которые обступали ее, как только она выходила. Уже и теперь, в то короткое время, когда она выходила в детскую, англичанка и Матрена Филимоновна успели сделать ей несколько вопросов, не терпевших отлагательства и на которые она одна могла ответить: что надеть детям на гулянье? давать ли молоко? не послать ли за другим поваром? — Ах, оставьте, оставьте меня! — сказала она и, вернувшись в спальню, села опять на то же место, где она говорила с муя^ем, ся^ав исхудавшие руки с кольцами, спускавшимися с костлявых пальцев, и принялась перебирать в воспоминании весь бывший разговор. «Уехал! Но чем же кончил он с нею? — думала она. — Неужели он видает ее? Зачем я не спросила его? Нет, нет, сойтись нельзя. Если мы и останемся в одном доме — мы чужие. Навсегда чужие!» — повторила она опять с особенным значением это страшное для нее слово. «А как я любила, боже мой, как я любила его!.. Как я любила! И теперь разве я не люблю его? Не больше ли, чем прежде, я люблю его? Ужасно, главное, то...» — начала она, но не докончила своей мысли, потому что Матрена Филимоновна высунулась из двери. — Уя; прикажите за братом послать, — сказала она, — все он изготовит обед; а то, по-вчерашнему, до шести часов дети не евши. 20

заведен на всю жизнь, чтобы заводить часы», — и улыбнулся. Степан Аркадьич любил хорошую шутку. «А может быть, и образуется! Хорошо словечко: *образуется,* — подумал он. — Это надо рассказать».

— Матвей! — крикнул он, — так устрой же все там с Марьей в диванной для Анны Аркадьевны, — сказал он явившемуся Матвею.

— Слушаю-с.

Степан Аркадьич надел шубу и вышел на крыльцо.

— Кушать дома не будете? — сказал провожавший Матвей.

— Как придется. Да вот возьми на расходы, — сказал он, подавая десять рублей из бумажника. — Довольно будет?

— Довольно ли, не довольно, видно, обойтись надо, — сказал Матвей, захлопывая дверку и отступая на крыльцо.

Дарья Александровна между тем, успокоив ребенка и по звуку кареты поняв, что он уехал, вернулась опять в спальню. Это было единственное убежище ее от домашних забот, которые обступали ее, как только она выходила. Уже и теперь, в то короткое время, когда она выходила в детскую, англичанка и Матрена Филимоновна успели сделать ей несколько вопросов, не терпевших отлагательства и на которые она одна могла ответить: что надеть детям на гулянье? давать ли молоко? не послать ли за другим поваром?

— Ах, оставьте, оставьте меня! — сказала она и, вернувшись в спальню, села опять на то же место, где она говорила с мужем, сжав исхудавшие руки с кольцами, спускавшимися с костлявых пальцев, и принялась перебирать в воспоминании весь бывший разговор. «Уехал! Но чем же кончил он *с нею?* — думала она. — Неужели он видает ее? Зачем я не спросила его? Нет, нет, сойтись нельзя. Если мы и останемся в одном доме — мы чужие. Навсегда чужие!» — повторила она опять с особенным значением это страшное для нее слово. «А как я любила, боже мой, как я любила его!.. Как я любила! И теперь разве я не люблю его? Не больше ли, чем прежде, я люблю его? Ужасно, главное, то...» — начала она, но не докончила своей мысли, потому что Матрена Филимоновна высунулась из двери

— Ну, хорошо, я сейчас выйду и распоряжусь. Да послали ли за свежим молоком? И Дарья Александровна погрузилась в заботы дня и потопила в них на время свое горе. V Степан Аркадъич в школе учился хорошо благодаря своим хорошим способностям, но был ленив и шалун и потому вышел из последних, но, несмотря на свою всегда разгульную жизнь, небольшие чины и нестарые годы, занимал почетное и с хорошим жалованьем место начальника в одном из московских присутствий. Место это он получил чрез мужа сестры Анны, Алексея Александровича Каренина, занимавшего одно из важнейших мест в министерстве, к которому принадлежало присутствие; но если бы Каренин не назначил своего шурина на это место, то чрез сотню других лиц, братьев, сестер, родных, двоюродных, дядей, теток, Стива Облонский получил бы это место или другое подобное, тысяч в шесть жалованья, которые ему были нужны, так как дела его, несмотря на достаточное состояние жены, были расстроены. Половина Москвы и Петербурга была родня и приятели Степана Аркадьича. Он родился в среде тех людей, которые были и стали сильными мира сего. Одна треть государственных людей, стариков, были приятелями его отца и знали его в рубашечке; другая треть были с ним на «ты», а третья треть были хорошие знакомые; следовательно, раздаватели земных благ в виде мест, аренд, концессий и тому подобного все были ему приятели и не могли обойти своего; и Облонскому не нужно было особенно стараться, чтобы получить выгодное место; нужно было только не отказываться, не завидовать, не ссориться, не обижаться, чего он, по свойственной ему доброте, никогда и не делал. Ему бы смешно показалось, если б ему сказали, что он не получит места с тем жалованьем, которое ему нужно, тем более что он и не требовал чегонибудь чрезвычайного; он хотел только того, что получали его сверстники, а исполнять такого рода должность мог он не хуже всякого другого. Степана Аркадьича не только любили все знавшие его за его добрый, веселый нрав и несомненную честность, но в нем, в его красивой, светлой наружности, 21

— Ну, хорошо, я сейчас выйду и распоряжусь. Да послали ли за свежим молоком?

И Дарья Александровна погрузилась в заботы дня и потопила в них на время свое горе.

V

Степан Аркадьич в школе учился хорошо благодаря своим хорошим способностям, но был ленив и шалун и потому вышел из последних, но, несмотря на свою всегда разгульную жизнь, небольшие чины и нестарые годы, занимал почетное и с хорошим жалованьем место начальника в одном из московских присутствий. Место это он получил чрез мужа сестры Анны, Алексея Александровича Каренина, занимавшего одно из важнейших мест в министерстве, к которому принадлежало присутствие; но если бы Каренин не назначил своего шурина на это место, то чрез сотню других лиц, братьев, сестер, родных, двоюродных, дядей, теток, Стива Облонский получил бы это место или другое подобное, тысяч в шесть жалованья, которые ему были нужны, так как дела его, несмотря на достаточное состояние жены, были расстроены.

Половина Москвы и Петербурга была родня и приятели Степана Аркадьича. Он родился в среде тех людей, которые были и стали сильными мира сего. Одна треть государственных людей, стариков, были приятелями его отца и знали его в рубашечке; другая треть были с ним на «ты», а третья треть были хорошие знакомые; следовательно, раздаватели земных благ в виде мест, аренд, концессий и тому подобного все были ему приятели и не могли обойти своего; и Облонскому не нужно было особенно стараться, чтобы получить выгодное место; нужно было только не отказываться, не завидовать, не ссориться, не обижаться, чего он, по свойственной ему доброте, никогда и не делал. Ему бы смешно показалось, если б ему сказали, что он не получит места с тем жалованьем, которое ему нужно, тем более что он и не требовал чего-нибудь чрезвычайного; он хотел только того, что получали его сверстники, а исполнять такого рода должность

блестящих глазах, черных бровях, волосах, белизне и ру^ мянце лица, было что-то, физически действовавшее дружелюбно и весело на людей, встречавшихся с ним. «Ага! Стива! Облонский! Вот и он!» — почти всегда с радостною улыбкой говорили, встречаясь с ним. Если и случалось иногда, что после разговора с ним оказывалось, что ничего особенно радостного не случилось, — на другой день, на третий опять точно так же все радовались при встрече с ним. Занимая третий год место начальника одного из присутственных мест в Москве, Степан Аркадьич приобрел, кроме любви, и уважение сослуживцев, подчиненных, начальников и всех, кто имел до него дело. Главные качества Степана Аркадьича, заслужившие ему это общее уважение по службе, состояли, во-первых, в чрезвычайной снисходительности к людям, основанной в нем на сознании своих недостатков; во-вторых, в совершенной либеральности, не той, про которую он вычитал в газетах, но той, что у него была в крови и с которою он совершенно равно и одинаково относился ко всем людям, какого бы состояния и звания они пи были, и, в третьих, — главное — в совершенном равнодушии к тому делу, которым он занимался, вследствие чего он никогда не увлекался и не делал ошибок. Приехав к месту своего служения, Степан Аркадьич, провожаемый почтительным швейцаром, с портфелем прошел в свой маленький кабинет, надел мундир и вошел в присутствие. Писцы и служащие все встали, весело и почтительно кланяясь. Степан Аркадьич поспешно, как всегда, прошел к своему месту, пожал руки членам и сел. Он пошутил и поговорил, ровно сколько это было прилично, и начал занятия. Никто вернее Степана Аркадьича не умел найти ту границу свободы, простоты и официальности, которая нужна для приятного занятия делами. Секретарь весело и почтительно, как и все в присутствии Степана Аркадьича, подошел с бумагами и проговорил тем фамильярно-либеральным топом, который введен был Степаном Аркадьичем: — Мы таки добились сведения из Пензенского губернского правления. Вот, не угодно ли... — Получили наконец? — проговорил Степан Аркадьич, закладывая пальцем бумагу. — Ну-с, господа... — И присутствие началось. 22

блестящих глазах, черных бровях, волосах, белизне и румянце лица, было что-то, физически действовавшее дружелюбно и весело на людей, встречавшихся с ним. «Ага! Стива! Облонский! Вот и он!» — почти всегда с радостною улыбкой говорили, встречаясь с ним. Если и случалось иногда, что после разговора с ним оказывалось, что ничего особенно радостного не случилось, — на другой день, на третий опять точно так же все радовались при встрече с ним.

Занимая третий год место начальника одного из присутственных мест в Москве, Степан Аркадьич приобрел, кроме любви, и уважение сослуживцев, подчиненных, начальников и всех, кто имел до него дело. Главные качества Степана Аркадьича, заслужившие ему это общее уважение по службе, состояли, во-первых, в чрезвычайной снисходительности к людям, основанной в нем на сознании своих недостатков; во-вторых, в совершенной либеральности, не той, про которую он вычитал в газетах, но той, что у него была в крови и с которою он совершенно равно и одинаково относился ко всем людям, какого бы состояния и звания они ни были, и, в третьих, — главное — в совершенном равнодушии к тому делу, которым он занимался, вследствие чего он никогда не увлекался и не делал ошибок.

Приехав к месту своего служения, Степан Аркадьич, провожаемый почтительным швейцаром, с портфелем прошел в свой маленький кабинет, надел мундир и вошел в присутствие. Писцы и служащие все встали, весело и почтительно кланяясь. Степан Аркадьич поспешно, как всегда, прошел к своему месту, пожал руки членам и сел. Он пошутил и поговорил, ровно сколько это было прилично, и начал занятия. Никто вернее Степана Аркадьича не умел найти ту границу свободы, простоты и официальности, которая нужна для приятного занятия делами. Секретарь весело и почтительно, как и все в присутствии Степана Аркадьича, подошел с бумагами и проговорил тем фамильярно-либеральным тоном, который введен был Степаном Аркадьичем:

— Мы таки добились сведения из Пензенского губернского правления. Вот, не угодно ли

«Если бы они знали, — думал он, с значительным видом склонив голову при слушании доклада, — каким виноватым мальчиком полчаса тому назад был их председатель!» — И глаза его смеялись при чтении доклада. До двух часов занятия дол?кны были идти не прерываясь, а в два часа — перерыв и завтрак. Еще не было двух часов, когда большие стеклянные двери залы присутствия вдруг отворились и кто-то вошел. Все члены из-под портрета и из-за зерцала, обрадовавшись развлечению, оглянулись на дверь; но сторож, стоявший у двери, тотчас же изгнал вошедшего и затворил за ним стеклянную дверь. Когда дело было прочтено, Степан Аркадьич встал, потянувшись, и, отдавая дань либеральности времени, в присутствии достал папироску и пошел в свой кабинет. Два товарища его, старый служака Никитин и камер-юнкер Гриневич, вышли с ним. — После завтрака успеем кончить, — сказал Степан Аркадьич. — Как еще успеем! — сказал Никитин. — А плут порядочный должен быть этот Фомин, — сказал Гриневич об одном из лиц, участвовавших в деле, которое они разбирали. Степан Аркадьич поморщился на слова Гриневича, давая этим чувствовать, что неприлично преждевременно составлять суждение, и ничего ему не ответил. — Кто это входил? — спросил он у сторожа. — Какой-то, ваше превосходительство, без упроса влез, только я отвернулся. Вас спрашивали. Я говорю: когда выйдут члены, тогда... — Где он? — Нетто вышел в сени, а то все тут ходил. Этот самый, — сказал сторож, указывая на сильно сложенного широкоплечего человека с курчавою бородой, который, не снимая бараньей шапки, быстро и легко взбегал наверх по стертым ступенькам каменной лестницы. Один из сходивших вниз с портфелем худощавый чиновник, приостановившись, неодобрительно посмотрел на ноги бегущего и потом вопросительно взглянул на Облонского. Степан Аркадьич стоял над лестницей. Добродушно сияющее лицо его из-за шитого воротника мундира просияло еще более, когда он узнал вбегавшего. — Так и есть! Левин, наконец! — проговорил он с друя^ескою, насмешливою улыбкой, оглядывая подхо23

«Если бы они знали, — думал он, с значительным видом склонив голову при слушании доклада, — каким виноватым мальчиком полчаса тому назад был их председатель!» — И глаза его смеялись при чтении доклада. До двух часов занятия должны были идти не прерываясь, а в два часа — перерыв и завтрак.

Еще не было двух часов, когда большие стеклянные двери залы присутствия вдруг отворились и кто-то вошел. Все члены из-под портрета и из-за зерцала, обрадовавшись развлечению, оглянулись на дверь; но сторож, стоявший у двери, тотчас же изгнал вошедшего и затворил за ним стеклянную дверь.

Когда дело было прочтено, Степан Аркадьич встал, потянувшись, и, отдавая дань либеральности времени, в присутствии достал папироску и пошел в свой кабинет. Два товарища его, старый служака Никитин и камер-юнкер Гриневич, вышли с ним.

— После завтрака успеем кончить, — сказал Степан Аркадьич.

— Как еще успеем! — сказал Никитин.

— А плут порядочный должен быть этот Фомин, — сказал Гриневич об одном из лиц, участвовавших в деле, которое они разбирали.

Степан Аркадьич поморщился на слова Гриневича, давая этим чувствовать, что неприлично преждевременно составлять суждение, и ничего ему не ответил.

— Кто это входил? — спросил он у сторожа.

— Какой-то, ваше превосходительство, без упроса влез, только я отвернулся. Вас спрашивали. Я говорю: когда выйдут члены, тогда...

— Где он?

— Нешто вышел в сени, а то все тут ходил. Этот самый, — сказал сторож, указывая на сильно сложенного широкоплечего человека с курчавою бородой, который, не снимая бараньей шапки, быстро и легко взбегал наверх по стертым ступенькам каменной лестницы. Один из сходивших вниз с портфелем худощавый чиновник, приостановившись, неодобрительно посмотрел на ноги бегущего и потом вопросительно взглянул на Облонского.

Степан Аркадьич стоял над лестницей. Добродушно

дившего к нему Левина. >— Как это ты не побрезгал найти меня в этом вертепе? — сказал Степан Аркадьин, не довольствуясь пожатием руки и целуя своего приятеля. — Давно ли? — Я сейчас приехал, и очень хотелось тебя видеть, — отвечал Левин, застенчиво и вместе с тем сердито и беспокойно оглядываясь вокруг. — Ну, пойдем в кабинет, — сказал Степан Аркадьич, знавший самолюбивую и озлобленную застенчивость своего приятеля; и, схватив его за руку, он повлек его за собой, как будто проводя между опасностями. Степан Аркадьич был на «ты» со всеми почти своими знакомыми: со стариками шестидесяти лет, с мальчиками двадцати лет, с актерами, с министрами, с купцами и с генерал-адъютантами, так что очень многие иа бывших с ним на «ты» находились на двух крайних пунктах общественной лестницы и очень бы удивились, узнав, что имеют через Облонского что-нибудь общее. Он был па «ты» со всеми, с кем пил шампанское, а пил он шампанское со всеми, и поэтому, в присутствии своих подчиненных встречаясь с своими постыдными «ты», как он называл шутя многих из своих приятелей, он, со свойственным ему тактом, умел уменьшать неприятность этого впечатления для подчиненных. Левин не был постыдный «ты», но Облонский с своим тактом почувствовал, что Левин думает, что он пред подчиненными может не желать выказать свою близость с ним, и потому поторопился увести его в кабинет. Левин был почти одних лет с Облонским и с ним на «ты» не по одному шампанскому. Левин был его товарищем и другом первой молодости. Они любили друг друга, несмотря на различие характеров и вкусов, как любят друг друга приятели, сошедшиеся в первой молодости. Но, несмотря на это, как часто бывает между людьми, избравшими различные роды деятельности, каждый из них, хотя, рассуждая, и оправдывал деятельность другого, в душе презирал ее. Каждому казалось, что та жизнь, которую он сам ведет, есть одна настоящая жизнь, а которую ведет приятель — есть только призрак. Облонский не мог удержать легкой насмешливой улыбки при виде Левина. Уж который раз он видел его приезжавшим в Москву из деревни, где он что-то делал, но что именно, того Степан Аркадьич никогда не мог понять хорошенько, да и не интересовался. Левин приезжал в 24

дившего к нему Левина. — Как это ты не побревгал найти меня в этом *вертепе?* — сказал Степан Аркадьич, не довольствуясь пожатием руки и целуя своего приятеля. — Давно ли?

— Я сейчас приехал, и очень хотелось тебя видеть, — отвечал Левин, застенчиво и вместе с тем сердито и беспокойно оглядываясь вокруг.

— Ну, пойдем в кабинет, — сказал Степан Аркадьич, знавший самолюбивую и озлобленную застенчивость своего приятеля; и, схватив его за руку, он повлек его за собой, как будто проводя между опасностями.

Степан Аркадьич был на «ты» со всеми почти своими знакомыми: со стариками шестидесяти лет, с мальчиками двадцати лет, с актерами, с министрами, с купцами и с генерал-адъютантами, так что очень многие из бывших с ним на «ты» находились на двух крайних пунктах общественной лестницы и очень бы удивились, узнав, что имеют через Облонского что-нибудь общее. Он был на «ты» со всеми, с кем пил шампанское, а пил он шампанское со всеми, и поэтому, в присутствии своих подчиненных встречаясь с своими *постыдными* «ты», как он называл шутя многих из своих приятелей, он, со свойственным ему тактом, умел уменьшать неприятность этого впечатления для подчиненных. Левин не был постыдный «ты», но Облонский с своим тактом почувствовал, что Левин думает, что он пред подчиненными может не желать выказать свою близость с ним, и потому поторопился увести его в кабинет.

Левин был почти одних лет с Облонским и с ним на «ты» не по одному шампанскому. Левин был его товарищем и другом первой молодости. Они любили друг друга, несмотря на различие характеров и вкусов, как любят друг друга приятели, сошедшиеся в первой молодости. Но, несмотря на это, как часто бывает между людьми, избравшими различные роды деятельности, каждый из них, хотя, рассуждая, и оправдывал деятельность другого, в душе презирал ее. Каждому казалось, что та жизнь, которую он сам ведет, есть одна настоящая жизнь, а которую ведет приятель — есть только призрак. Облонский не мог удержать легкой насмешливой улыбки при виде Левина. Уж который раз он видал его приезжав

Москву всегда взволнованный, торопливый, немножко стесненный и раздраженный этою стесненностью и большею частью с совершенно новым, неожиданным взглядом на вещи. Степан Аркадьич смеялся над этим и любил это. Точно так же и Левин в душе презирал и городской образ жизни своего приятеля, и его службу, которую считал пустяками, и смеялся над этим. Но разница была в том, что Облонский, делая, что все делают, смеялся самоуверенно и добродушно, а Левин не самоуверенно и иногда сердито. — Мы тебя давно ждали, — сказал Степан Аркадьич, войдя в кабинет и выпустив руку Левина, как бы этим показывая, что тут опасности кончились. — Очень, очень рад тебя видеть, — продоля^ал он. — Ну, что ты? Как? Когда приехал? Левин молчал, поглядывая па незнакомые ему лица двух товарищей Облонского и в особенности на руку элегантного Гриневича, с такими белыми тонкими пальцами, с такими длинными желтыми, загибавшимися в конце ногтями и такими огромными блестящими запонками на рубашке, что эти руки, видимо, поглощали все его внимание и не давали ему свободы мысли. Облонский тотчас заметил это и улыбнулся. — Ах да, позвольте вас познакомить, — сказал он. — Мои товарищи: Филипп Иваныч Никитин, Михаил Станиславин Гриневич, — и обратившись к Левину: — Земский деятель, новый земский человек, гимнаст, поднимающий одною рукой пять пудов, скотовод и охотник и мой друг, Константин Дмитрия Левин, брат Сергея Иваныча Кознышева. — Очень приятно, — сказал старичок. — Имею честь знать вашего брата, Сергея Иваныча, — сказал Гриневич, подавая свою тонкую руку с длинными ногтями. Левин нахмурился, холодно пожал руку и тотчас же обратился к Облонскому. Хотя он имел большое уважение к своему, известному всей России, одноутробному брату писателю, однако он терпеть не мог, когда к нему обращались не как к Константину Левину, а как к брату знаменитого Кознышева. — Нет, я уже не земский деятель. Я со всеми разбранился и не езжу больше на собрания, — сказал ощ обращаясь к Облонскому. 25

Москву всегда взволнованный, торопливый, немножко стесненный и раздраженный этою стесненностью и большею частью с совершенно новым, неожиданным взглядом на вещи. Степан Аркадьич смеялся над этим и любил это. Точно так же и Левин в душе презирал и городской образ жизни своего приятеля, и его службу, которую считал пустяками, и смеялся над этим. Но разница была в том, что Облонский, делая, что все делают, смеялся самоуверенно и добродушно, а Левин не самоуверенно и иногда сердито.

— Мы тебя давно ждали, — сказал Степан Аркадьич, войдя в кабинет и выпустив руку Левина, как бы этим показывая, что тут опасности кончились. — Очень, очень рад тебя видеть, — продолжал он. — Ну, что ты? Как? Когда приехал?

Левин молчал, поглядывая на незнакомые ему лица двух товарищей Облонского и в особенности на руку элегантного Гриневича, с такими белыми тонкими пальцами, с такими длинными желтыми, загибавшимися в конце ногтями и такими огромными блестящими запонками на рубашке, что эти руки, видимо, поглощали все его внимание и не давали ему свободы мысли. Облонский тотчас заметил это и улыбнулся.

— Ах да, позвольте вас познакомить, — сказал он. — Мои товарищи: Филипп Иваныч Никитин, Михаил Станиславич Гриневич, — и обратившись к Левину: — Земский деятель, новый земский человек, гимнаст, поднимающий одною рукой пять пудов, скотовод и охотник и мой друг, Константин Дмитрич Левин, брат Сергея Иваныча Кознышева.

— Очень приятно, — сказал старичок.

— Имею честь знать вашего брата, Сергея Иваныча, — сказал Гриневич, подавая свою тонкую руку с длинными ногтями.

Левин нахмурился, холодно пожал руку и тотчас же обратился к Облонскому. Хотя он имел большое уважение к своему, известному всей России, одноутробному брату писателю, однако он терпеть не мог, когда к нему обращались не как к Константину Левину, а как к брату знаменитого Кознышева.

— Скоро же! — с улыбкой сказал Облонский. — Но как? отчего? — Длинная история. Я расскажу когда-нибудь, — сказал Левин, но сейчас же стал рассказывать. — Ну, коротко сказать, я убедился, что никакой земской деятельности нет и быть не может, — заговорил он, как будто кто-то сейчас обидел его, — с одной стороны, игрушка, играют в парламент, а я ни достаточно молод, ни достаточно стар, чтобы забавляться игрушками; а с другой (он заикнулся) стороны, это — средство для уездной coterie ^ наживать деньжонки. Преясде опеки, суды, а теперь земство... не в виде взяток, а в виде незаслуженного жалованья, — говорил он так горячо, как будто ктонибудь из присутствовавших оспаривал его мнение. — Эге-ге! Да ты, я вижу, опять в новой фазе, в консервативной, — сказал Степан Аркадьич. — Но, впрочем, после об этом. — Да, после. Но мне нужно было тебя видеть, — сказал Левин, с ненавистью вглядываясь в руку Гриневича. Степан Аркадьич чуть заметно улыбнулся. — Как же ты говорил, что никогда больше не наденешь европейского платья? — сказал он, оглядывая его новое, очевидно от французского портного, платье. — Так! я вижу: новая фаза. Левин вдруг покраснел, но не так, как краснеют взрослые люди, — слегка, сами того не замечая, но так, как краснеют мальчики, — чувствуя, что они смешны своей застенчивостью, и вследствие того стыдясь и краснея еще больше, почти до слез. И так странно было видеть это умное, мужественное лицо в таком детском состоянии, что Облонский перестал смотреть на него. — Да, где ж увидимся? Ведь мне очень, очень нуяшо поговорить с тобою, — сказал Левин. Облонский как будто задумался. — Вот что: поедем к Гурину завтракать и там поговорим. До трех я свободен. — Нет, — подумав, ответил Левин, — мне еще надо съездить. — Ну, хорошо, так обедать вместе. — Обедать? Да мне ведь ничего особенного, только два слова сказать, спросить, а после потолкуем. ^ Здесь: шайки (франц.). 26

— Скоро же! — с улыбкой сказал Облонский. — Но как? отчего?

— Длинная история. Я расскажу когда-нибудь, — сказал Левин, но сейчас же стал рассказывать. — Ну, коротко сказать, я убедился, что никакой земской деятельности нет и быть не может, — заговорил он, как будто кто-то сейчас обидел его, — с одной стороны, игрушка, играют в парламент, а я ни достаточно молод, ни достаточно стар, чтобы забавляться игрушками; а с другой (он заикнулся) стороны, это — средство для уездной coterie[1] наживать деньжонки. Прежде опеки, суды, а теперь земство... не в виде взяток, а в виде незаслуженного жалованья, — говорил он так горячо, как будто кто-нибудь из присутствовавших оспаривал его мнение.

— Эге-ге! Да ты, я вижу, опять в новой фазе, в консервативной, — сказал Степан Аркадьич. — Но, впрочем, после об этом.

— Да, после. Но мне нужно было тебя видеть, — сказал Левин, с ненавистью вглядываясь в руку Гриневича.

Степан Аркадьич чуть заметно улыбнулся.

— Как же ты говорил, что никогда больше не наденешь европейского платья? — сказал он, оглядывая его новое, очевидно от французского портного, платье. — Так! я вижу: новая фаза.

Левин вдруг покраснел, но не так, как краснеют взрослые люди, — слегка, сами того не замечая, но так, как краснеют мальчики, — чувствуя, что они смешны своей застенчивостью, и вследствие того стыдясь и краснея еще больше, почти до слез. И так странно было видеть это умное, мужественное лицо в таком детском состоянии, что Облонский перестал смотреть на него.

— Да, где ж увидимся? Ведь мне очень, очень нужно поговорить с тобою, — сказал Левин.

Облонский как будто задумался.

— Вот что: поедем к Гурину завтракать и там поговорим. До трех я свободен.

— Нет, — подумав, ответил Левин, — мне еще надо съездить.

— Ну, хорошо, так обедать вместе.

Обедать? Да, мне вам нужно особенного только

— Так сейчас и скажи два слова, а беседовать за обедом. — Два слова вот какие, — сказал Левин, — впрочем, ничего особенного. Лицо его вдруг приняло злое выражение, происходившее от усилия преодолеть свою застенчивость. — Что Щербацкие делают? Все по-старому? — сказал он. Степан Аркадьич, знавший уже давно, что Левин был влюблен в его свояченицу Кити, чуть заметно улыбнулся, и глаза его весело заблестели. — Ты сказал два слова, а я в двух словах ответить не могу, потому что... Извини на минутку... Вошел секретарь с фамильярною почтительностью и некоторым, общим всем секретарям, скромным сознанием своего превосходства пред начальником в знании дел, подошел с бумагами к Облонскому и стал, под видом вопроса, объяснять какое-то затруднение. Степан Аркадьич, не дослушав, положил ласково свою руку на рукав секретаря. — Нет, вы уж так сделайте, как я говорил, — сказал он, улыбкой смягчая замечание, и, кратко объяснив ему, как он понимает дело, отодвинул бумаги и сказал: — Так и сделайте, пожалуйста. Пожалуйста, так, Захар Никитич. Сконфуженный секретарь удалился. Левин, во время совещания с секретарем совершенно оправившись от своего смущения, стоял, облокотившись обеими руками на стул, и на лице его было насмешливое внимание. — Не понимаю, не понимаю, — сказал он. — Чего ты не понимаешь? — так же весело улыбаясь II доставая папироску, сказал Облонский. Он ждал от Левина какой-нибудь странной выходки. — Не понимаю, что вы делаете, — сказал Левин, пожимая плечами. — Как ты можешь это серьезно делать? — Отчего? — Да оттого, что нечего делать. — Ты так думаешь, но мы завалены делом. — Бумажным. Ну да, у тебя дар к этому, — прибавил Левин. — То есть, ты думаешь, что у меня есть недостаток чего-то? — Может быть, и да, — сказал Левин. — Но все-таки я любуюсь на твое величие и горячусь, что у меня друг 27

— Так сейчас и скажи два слова, а беседовать за обедом.

— Два слова вот какие, — сказал Левин, — впрочем, ничего особенного.

Лицо его вдруг приняло злое выражение, происходившее от усилия преодолеть свою застенчивость.

— Что Щербацкие делают? Все по-старому? — сказал он.

Степан Аркадьич, знавший уже давно, что Левин был влюблен в его свояченицу Кити, чуть заметно улыбнулся, и глаза его весело заблестели.

— Ты сказал два слова, а я в двух словах ответить не могу, потому что... Извини на минутку...

Вошел секретарь с фамильярною почтительностью и некоторым, общим всем секретарям, скромным сознанием своего превосходства пред начальником в знании дел, подошел с бумагами к Облонскому и стал, под видом вопроса, объяснять какое-то затруднение. Степан Аркадьич, не дослушав, положил ласково свою руку на рукав секретаря.

— Нет, вы уж так сделайте, как я говорил, — сказал он, улыбкой смягчая замечание, и, кратко объяснив ему, как он понимает дело, отодвинул бумаги и сказал: — Так и сделайте, пожалуйста. Пожалуйста, так, Захар Никитич.

Сконфуженный секретарь удалился. Левин, во время совещания с секретарем совершенно оправившись от своего смущения, стоял, облокотившись обеими руками на стул, и на лице его было насмешливое внимание.

— Не понимаю, не понимаю, — сказал он.

— Чего ты не понимаешь? — так же весело улыбаясь и доставая папироску, сказал Облонский. Он ждал от Левина какой-нибудь странной выходки.

— Не понимаю, что вы делаете, — сказал Левин, пожимая плечами. — Как ты можешь это серьезно делать?

— Отчего?

— Да оттого, что нечего делать.

— Ты так думаешь, но мы завалены делом.

— Бумажным. Ну да, у тебя дар к этому, — прибавил Левин.

такой великий человек. Однако ты мне не ответил на мой вопрос, — прибавил он, с отчаянным усилием прямо глядя в глаза Облонскому. — Ну, хорошо, хорошо. Погоди еще, и ты придешь к этому. Хорошо, как у тебя три тысячи десятин в Каразинском уезде, да такие мускулы, да свежесть, как у двенадцатилетней девочки, — а придешь и ты к нам. Да, так о том, что ты спрашивал: перемены нет, но жаль, что ты так давно не был. — А что? — испуганно спросил Левин. — Да ничего, — отвечал Облонский. — Мы поговорим. Да ты зачем, собственно, приехал? — Ах, об этом тоже поговорим после, — опять до ушей покраснев, сказал Левин. — Ну хорошо. Понятно, — сказал Степан Аркадьич. — Ты видишь ли: я бы позвал к себе, по жена не совсем здорова. А вот что: если ты хочешь их видеть, они, наверное, нынче в Зоологическом саду от четырех до пяти. Кити на коньках катается. Ты поезжай туда, а я заеду, и вместе куда-нибудь обедать. — Прекрасно. Ну, до свидания. — Смотри же, ты ведь, я тебя знаю, забудешь или вдруг уедешь в деревню! — смеясь, прокричал Степан Аркадьич. — Нет, верно. И, вспомнив о том, что он забыл поклониться товарищам Облонского, только когда он был уже в дверях, Левин вышел из кабинета. — Должно быть, очень энергический господин, — сказал Гриневич, когда Левин вышел. — Да, батюшка, — сказал Степан Аркадьич, покачивая головой, — вот счастливец! Три тысячи десятин в Каразинском уезде, все впереди, и свежести сколько! Не то что наш брат. — Что ж вы-то жалуетесь, Степан Аркадьич? — Да скверно, плохо, — сказал Степан Аркадьич, тяжело вздохнув. VI Когда Облонский спросил у Левина, зачем он, собственно, приехал, Левин покраснел и рассердился на себя за то, что покраснел, потому что он не мог ответить ему: 28

такой великий человек. Однако ты мне не ответил на мой вопрос, — прибавил он, с отчаянным усилием прямо глядя в глаза Облонскому.

— Ну, хорошо, хорошо. Погоди еще, и ты придешь к этому. Хорошо, как у тебя три тысячи десятин в Каразинском уезде, да такие мускулы, да свежесть, как у двенадцатилетней девочки, — а придешь и ты к нам. Да, так о том, что ты спрашивал: перемены нет, но жаль, что ты так давно не был.

— А что? — испуганно спросил Левин.

— Да ничего, — отвечал Облонский. — Мы поговорим. Да ты зачем, собственно, приехал?

— Ах, об этом тоже поговорим после, — опять до ушей покраснев, сказал Левин.

— Ну хорошо. Понятно, — сказал Степан Аркадьич. — Ты видишь ли: я бы позвал к себе, но жена не совсем здорова. А вот что: если ты хочешь их видеть, они, наверное, нынче в Зоологическом саду от четырех до пяти. Кити на коньках катается. Ты поезжай туда, а я заеду, и вместе куда-нибудь обедать.

— Прекрасно. Ну, до свидания.

— Смотри же, ты ведь, я тебя знаю, забудешь или вдруг уедешь в деревню! — смеясь, прокричал Степан Аркадьич.

— Нет, верно.

И, вспомнив о том, что он забыл поклониться товарищам Облонского, только когда он был уже в дверях, Левин вышел из кабинета.

— Должно быть, очень энергический господин, — сказал Гриневич, когда Левин вышел.

— Да, батюшка, — сказал Степан Аркадьич, покачивая головой, — вот счастливец! Три тысячи десятин в Каразинском уезде, все впереди, и свежести сколько! Не то что наш брат.

— Что ж вы-то жалуетесь, Степан Аркадьич?

— Да скверно, плохо, — сказал Степан Аркадьич, тяжело вздохнув.

«я приехал сделать предложение твоей свояченице», хотя он приехал только за этим. Дома Левиных и Щербацких были старые дворянские московские дома и всегда были между собою в близких и дружеских отношениях. Связь эта утвердилась еще больше во время студенчества Левина. Он вместе готовился и вместе поступил в университет с молодым князем Щербацким, братом Долли и Кити. В это время Левин часто бывал в доме Щербацких и влюбился в дом Щербацких. Как это ни странно может показаться, но Константин Левин был влюблен именно в дом, в семью, в особенности в женскую половину семьи Щербацких. Сам Левин не помнил своей матери, и единственная сестра его была старше его, так что в доме Щербацких он в первый раз увидал ту самую среду старого дворянского, образованного и честного семейства, которой он был лишен смертью отца и матери. Все члены этой семьи, в особенности женская половина, представлялись ему покрытыми какою-то таинственною, поэтическою завесой, и он не только не видел в них никаких недостатков, но под этой поэтическою, покрывавшею их завесой предполагал самые возвышенные чувства и всевозможные совершенства. Для чего этим трем барышням и нуя^но было говорить через день по-французски и по-английски; для чего они в известные часы играли попеременкам на фортепиано, звуки которого всегда слышались у брата наверху, где занимались студенты; для чего ездили эти учителя французской литературы, музыки, рисованья, танцев; для чего в известные часы все три барышни с т-11е Linon подъезжали в коляске к Тверскому бульвару в своих атласных шубках — Долли в длинной, Натали в полудлинной, а Кити совершенно в короткой, так что статные ножки ее в туго натянутых красных чулках были на всем виду; для чего им, в сопровождении лакея с золотою кокардой на шляпе, нужно было ходить по Тверскому бульвару? — всего этого и многого другого, что делалось в их таинственном мире, он не понимал, но знал, что все, что там делалось, было прекрасно, и был влюблен именно в эту таинственность совершавшегося. Во время своего студенчества он чуть было не влюбился в старшую, Долли, но ее вскоре выдали замуж за Облонского. Потом он начал было влюбляться во вторую. Он как будто чувствовал, что ему надо влюбиться в одну из сестер, только не мог разобрать, в какую именно. Но 29

«Я приехал сделать предложение твоей свояченице», хотя он приехал только за этим.

Дома́ Левиных и Щербацких были старые дворянские московские дома́ и всегда были между собою в близких и дружеских отношениях. Связь эта утвердилась еще больше во время студенчества Левина. Он вместе готовился и вместе поступил в университет с молодым князем Щербацким, братом Долли и Кити. В это время Левин часто бывал в доме Щербацких и влюбился в дом Щербацких. Как это ни странно может показаться, но Константин Левин был влюблен именно в дом, в семью, в особенности в женскую половину семьи Щербацких. Сам Левин не помнил своей матери, и единственная сестра его была старше его, так что в доме Щербацких он в первый раз увидал ту самую среду старого дворянского, образованного и честного семейства, которой он был лишен смертью отца и матери. Все члены этой семьи, в особенности женская половина, представлялись ему покрытыми какою-то таинственною, поэтическою завесой, и он не только не видел в них никаких недостатков, но под этой поэтическою, покрывавшею их завесой предполагал самые возвышенные чувства и всевозможные совершенства. Для чего этим трем барышням и нужно было говорить через день по-французски и по-английски; для чего они в известные часы играли попеременкам на фортепиано, звуки которого всегда слышались у брата наверху, где занимались студенты; для чего ездили эти учителя французской литературы, музыки, рисованья, танцев; для чего в известные часы все три барышни с m-lle Linon подъезжали в коляске к Тверскому бульвару в своих атласных шубках — Долли в длинной, Натали в полудлинной, а Кити совершенно в короткой, так что статные ножки ее в туго натянутых красных чулках были на всем виду; для чего им, в сопровождении лакея с золотою кокардой на шляпе, нужно было ходить по Тверскому бульвару, — всего этого и многого другого, что делалось в их таинственном мире, он не понимал, но знал, что все, что там делалось, было прекрасно, и был влюблен именно в эту таинственность совершавшегося.

Во время своего студенчества он чуть было не влю-

и Натали, только что показалась в свет, вышла замуж за дипломата Львова. Кити еще была ребенок, когда Левин вышел из университета. Молодой Щербацкий, поступив в моряки, утонул в Балтийском море, и сношения Левина с Щербацкими, несмотря на дружбу его с Облонским, стали более редки. Но когда в нынешнем году, в начале зимы, Левин приехал в Москву после года в деревне и увидал Щербацких, он понял, в кого из трех ему действительно суждено было влюбиться. Казалось бы, ничего не могло быть проще того, чтобы ему, хорошей породы, скорее богатому, чем бедному человеку, тридцати двух лет, сделать предложение княжне Щербацкой; по всем вероятиям, его тотчас признали бы хорошею партией. Но Левин был влюблен, и поэтому ему казалось, что Кити была такое совершенство во всех отношениях, такое существо превыше всего земного, а он такое земное низменное существо, что не могло быть и мысли о том, чтобы другие и опа сама признали его достойным ее. Пробыв в Москве, как в чаду, два месяца, почти каждый день видаясь с Кити в свете, куда он стал ездить, чтобы встречаться с нею, Левин внезапно решил, что этого не может быть, и уехал в деревню. Убеждение Левина в том, что этого не моя^ет быть, основывалось на том, что в глазах родных он невыгодная, недостойная партия для прелестной Кити, а сама Кити не моя^ет любить его. В глазах родных он не имел никакой привычной, определенной деятельности и положения в свете, тогда как его товарищи теперь, когда ему было тридцать два года, были уже — который полковник и флигель-адъютант, который профессор, который почтенный предводитель — директор банка и железных дорог или председатель присутствия, как Облонский; он жз (он знал очень хорошо, каким он должен был казаться для других) был помещик, занимающийся разведением коров, стрелянием дупелей и постройками, то есть бездарный малый, из которого ничего не вышло, и делающий, по понятиям общества, то самое, что делают никуда не годившиеся люди. Сама же таинственная прелестная Кити не могла любить такого некрасивого, каким он считал себя, человека, и, главное, такого простого, ничем не выдающегося человека. Кроме того, его прежние отношения к Кити — отношения взрослого к ребенку, вследствие друя^бы с ее 30

и Натали, только что показалась в свет, вышла замуж за дипломата Львова. Кити еще была ребенок, когда Левин вышел из университета. Молодой Щербацкий, поступив в моряки, утонул в Балтийском море, и сношения Левина с Щербацкими, несмотря на дружбу его с Облонским, стали более редки. Но когда в нынешнем году, в начале зимы, Левин приехал в Москву после года в деревне и увидал Щербацких, он понял, в кого из трех ему действительно суждено было влюбиться.

Казалось бы, ничего не могло быть проще того, чтобы ему, хорошей породы, скорее богатому, чем бедному человеку, тридцати двух лет, сделать предложение княжне Щербацкой; по всем вероятиям, его тотчас признали бы хорошею партией. Но Левин был влюблен, и поэтому ему казалось, что Кити была такое совершенство во всех отношениях, такое существо превыше всего земного, а он такое земное низменное существо, что не могло быть и мысли о том, чтобы другие и она сама признали его достойным ее.

Пробыв в Москве, как в чаду, два месяца, почти каждый день видаясь с Кити в свете, куда он стал ездить, чтобы встречаться с нею, Левин внезапно решил, что этого не может быть, и уехал в деревню.

Убеждение Левина в том, что этого не может быть, основывалось на том, что в глазах родных он невыгодная, недостойная партия для прелестной Кити, а сама Кити не может любить его. В глазах родных он не имел никакой привычной, определенной деятельности и положения в свете, тогда как его товарищи теперь, когда ему было тридцать два года, были уже — который полковник и флигель-адъютант, который профессор, который почтенный предводитель — директор банка и железных дорог или председатель присутствия, как Облонский; он же (он знал очень хорошо, каким он должен был казаться для других) был помещик, занимающийся разведением коров, стрелянием дупелей и постройками, то есть бездарный малый, из которого ничего не вышло, и делающий, по понятиям общества, то самое, что делают никуда не годившиеся люди.

Сама же таинственная прелестная Кити не могла любить такого некрасивого, каким он считал себя, человека

братом, — казались ему еще новою преградой для любви. Некрасивого, доброго человека, каким он себя считал, можно, полагал он, любить как приятеля, но чтобы быть любимым тою любовью, какою он любил Кити, нужно было быть красавцем, а главное — особенным человеком. Слыхал он, что женщины любят часто некрасивых, простых людей, но не верил этому, потому что судил по себе, так как сам он мог любить только красивых, таинственных и особенных женщин. Но, пробыв два месяца один в деревне, он убедился, что это не было одно из тех влюблений, которые он испытывал в первой молодости; что чувство это не давало ему минуты покоя; что он не мог жріть, не решив вопроса: будет или не будет она его женой; и что его отчаяние происходило только от его воображения, что он не имеет никаких доказательств в том, что ему будет отказано. И он приехал теперь в Москву с твердым решением сделать предложение и жениться, если его примут. Или... он не мог думать о том, что с ним будет, если ему откажут. VII Приехав с утренним поездом в Москву, Левин остановился у своего старшего брата по матери Кознышева и, переодевшись, вошел к нему в кабинет, намереваясь тотчас же рассказать ему, для чего он приехал, и просить его совета: но брат был не один. У него сидел известный профессор философии, приехавший из Харькова, собственно, затем, чтобы разъяснить недоразумение, возникшее между ними по весьма важному философскому вопросу. Профессор вел жаркую полемику против материалистов, а Сергей Кознышев с интересом следил за этою полемикой и, прочтя последнюю статью профессора, написал ему в письме свои возражения; он упрекал профессора за слишком большие уступки материалистам. И профессор тотчас же приехал, чтобы столковаться. Речь шла о модном вопросе: есть ли граница между психическими и физиологическими явлениями в деятельности человека и где она? Сергей Иванович встретил брата своего обычною для всех ласково-холодною улыбкой и, познакомив его с профессором, продолжал разговор. 31

братом, — казались ему еще новою преградой для любви. Некрасивого, доброго человека, каким он себя считал, можно, полагал он, любить как приятеля, но чтобы быть любимым тою любовью, какою он любил Кити, нужно было быть красавцем, а главное — особенным человеком.

Слыхал он, что женщины любят часто некрасивых, простых людей, но не верил этому, потому что судил по себе, так как сам он мог любить только красивых, таинственных и особенных женщин.

Но, пробыв два месяца один в деревне, он убедился, что это не было одно из тех влюблений, которые он испытывал в первой молодости; что чувство это не давало ему минуты покоя; что он не мог жить, не решив вопроса: будет или не будет она его женой; и что его отчаяние происходило только от его воображения, что он не имеет никаких доказательств в том, что ему будет отказано. И он приехал теперь в Москву с твердым решением сделать предложение и жениться, если его примут. Или... он не мог думать о том, что с ним будет, если ему откажут.

VII

Приехав с утренним поездом в Москву, Левин остановился у своего старшего брата по матери Кознышева и, переодевшись, вошел к нему в кабинет, намереваясь тотчас же рассказать ему, для чего он приехал, и просить его совета: но брат был не один. У него сидел известный профессор философии, приехавший из Харькова, собственно, затем, чтобы разъяснить недоразумение, возникшее между ними по весьма важному философскому вопросу. Профессор вел жаркую полемику против материалистов, а Сергей Кознышев с интересом следил за этою полемикой и, прочтя последнюю статью профессора, написал ему в письме свои возражения; он упрекал профессора за слишком большие уступки материалистам. И профессор тотчас же приехал, чтобы столковаться. Речь шла о модном вопросе: есть ли граница между психическими и физиологическими явлениями в деятельности человека и где она?

Маленький желтый человечек в очках, с узким лбом, на мгновение отвлекся от разговора, чтобы поздороваться, и продолжал речь, не обращая внимания на Левина. Левин сел в ожидании, когда уедет профессор, но скоро заинтересовался предметом разговора. Левин встречал в журналах статьи, о которых шла речь, и читал их, интересуясь ими, как развитием знакомых ему, как естественнику, по университету основ естествознания, ко никогда не сближал этих научных выводов о происхождении человека как животного, о рефлексах, о биологии и социологии с теми вопросами о значении жизни и смерти для себя самого, которые в последнее время чаще и чаще приходили ему на ум. Слушая разговор брата с профессором, он замечал, что они связывали научные вопросы с задушевными, несколько раз почти подходили к этим вопросам, но каждый раз, как только они подходили близко к са^мому главному, как ему казалось, они тотчас же поспешно отдалялись и опять углублялись в область тонких подразделений, оговорок, цитат, намеков, ссылок на авторитеты, и он с трудом понимал, о чем речь. — Я не могу допустить, — сказал Сергей Иванович с обычною ему ясностью и отчетливостью выражения и изяществом дикции, — я не могу ни в каком случае согласиться с Кейсом, чтобы все мое представление о внешнем мире вытекало из впечатлений. Самое основное понятие бытия получено мною не чрез ощущение, ибо нет и специального органа для передачи этого понятия. — Да, но они, Вурст, и Кнауст, и Припасов, ответят вам, что ваше сознание бытия вытекает из совокупности всех ощущений, что это сознание бытия есть результат ощущений. Вурст даже прямо говорит, что, коль скоро нет ощущения, нет и понятия бытия. — Я скажу наоборот, — начал Сергей Иванович... Но тут Левину опять показалось, что они, подойдя к самому главному, опять отходят, и решился предложить профессору вопрос. — Стало быть, если чувства мои уничтожены, если тело мое умрет, существования никакого уж не может быть? — спросил он. Профессор с досадой и как будто умственною болью от перерыва оглянулся на странного вопрошателя, похожего более на бурлака, чем на философа, и перенес глаза на Сергея Ивановича, как бы спрашивая: что ж тут 32

Маленький желтый человечек в очках, с узким лбом, на мгновение отвлекся от разговора, чтобы поздороваться, и продолжал речь, не обращая внимания на Левина. Левин сел в ожидании, когда уедет профессор, но скоро заинтересовался предметом разговора.

Левин встречал в журналах статьи, о которых шла речь, и читал их, интересуясь ими, как развитием знакомых ему, как естественнику, по университету основ естествознания, но никогда не сближал этих научных выводов о происхождении человека как животного, о рефлексах, о биологии и социологии с теми вопросами о значении жизни и смерти для себя самого, которые в последнее время чаще и чаще приходили ему на ум.

Слушая разговор брата с профессором, он замечал, что они связывали научные вопросы с задушевными, несколько раз почти подходили к этим вопросам, но каждый раз, как только они подходили близко к самому главному, как ему казалось, они тотчас же поспешно отдалялись и опять углублялись в область тонких подразделений, оговорок, цитат, намеков, ссылок на авторитеты, и он с трудом понимал, о чем речь.

— Я не могу допустить, — сказал Сергей Иванович с обычною ему ясностью и отчетливостью выражения и изяществом дикции, — я не могу ни в каком случае согласиться с Кейсом, чтобы все мое представление о внешнем мире вытекало из впечатлений. Самое основное понятие *бытия* получено мною не чрез ощущение, ибо нет и специального органа для передачи этого понятия.

— Да, но они, Вурст, и Кнауст, и Припасов, ответят вам, что ваше сознание бытия вытекает из совокупности всех ощущений, что это сознание бытия есть результат ощущений. Вурст даже прямо говорит, что, коль скоро нет ощущения, нет и понятия бытия.

— Я скажу наоборот, — начал Сергей Иванович...

Но тут Левину опять показалось, что они, подойдя к самому главному, опять отходят, и решился предложить профессору вопрос.

— Стало быть, если чувства мои уничтожены, если тело мое умрет, существования никакого уж не может быть? — спросил он.

говорить? Но Сергей Иванович, который далеко не с тем усилием и односторонностью говорил, как профессор, и у которого в голове оставался простор для того, чтоб и отвечать профессору, и вместе понимать ту простую и естественную точку зрения, с которой был сделан вопрос, улыбнулся и сказал: — Этот вопрос мы не имеем еще права решать... — Не имеем данных, — подтвердил профессор и продолжал свои доводы. — Нет, — говорил он, — я указываю на то, что если, как прямо говорит Припасов, ощущение и имеет своим основанием впечатление, то мы должны строго различать эти два понятия. Левин не слушал больше и ждал, когда уедет профессор. VIII Когда профессор уехал, Сергей Иванович обратился к брату: — Очень рад, что ты приехал. Надолго? Что хозяйство? Левин знал, что хозяйство мало интересует старшего брата и что он, только делая ему уступку, спросил его об этом, и потому ответил только о продаже пшеницы и деньгах. Левин хотел сказать брату о своем намерении жениться и спросить его совета, он даже твердо решился на это; но когда он увидел брата, послушал его разговора с профессором, когда услыхал потом этот невольно покровительственный тон, с которым брат расспрашивал его о хозяйственных делах (материнское имение их было неделенное, и Левин заведовал обеими частями), Левин ночувствовал, что не может почему-то начать говорить с братом о своем решении жениться. Он чувствовал, что брат его не так, как ему бы хотелось, посмотрит на это. — Ну, что у вас земство, как? — спросил Сергей Иванович, который очень интересовался земством и приписывал ему большое значение. -- А, право, не знаю... — Как? Ведь ты член управы? — Нет, уже не член; я вышел, — отвечал Константин Левин, — и не езжу больше на собрания. — Жалко! — промолвил Сергей Иванович, нахмурившись. 2 л. U. Толстой, т. 8 ЗЭ

говорить? Но Сергей Иванович, который далеко не с тем усилием и односторонностью говорил, как профессор, и у которого в голове оставался простор для того, чтоб и отвечать профессору, и вместе понимать ту простую и естественную точку зрения, с которой был сделан вопрос, улыбнулся и сказал:

— Этот вопрос мы не имеем еще права решать...

— Не имеем данных, — подтвердил профессор и продолжал свои доводы. — Нет, — говорил он, — я указываю на то, что если, как прямо говорит Припасов, ощущение и имеет своим основанием впечатление, то мы должны строго различать эти два понятия.

Левин не слушал больше и ждал, когда уедет профессор.

VIII

Когда профессор уехал, Сергей Иванович обратился к брату:

— Очень рад, что ты приехал. Надолго? Что хозяйство?

Левин знал, что хозяйство мало интересует старшего брата и что он, только делая ему уступку, спросил его об этом, и потому ответил только о продаже пшеницы и деньгах.

Левин хотел сказать брату о своем намерении жениться и спросить его совета, он даже твердо решился на это; но когда он увидел брата, послушал его разговора с профессором, когда услыхал потом этот невольно покровительственный тон, с которым брат расспрашивал его о хозяйственных делах (материнское имение их было неделенное, и Левин заведовал обеими частями), Левин ночувствовал, что не может почему-то начать говорить с братом о своем решении жениться. Он чувствовал, что брат его не так, как ему бы хотелось, посмотрит на это.

— Ну, что у вас земство, как? — спросил Сергей Иванович, который очень интересовался земством и приписывал ему большое значение.

— А, право, не знаю...

— Как? Ведь ты член управы?

— Нет, уже не член: я вышел, — отвечал Константин

Левин в оправдание стал рассказывать, что делалось иа собраниях в его уезде. — Вот это всегда так! — перебил его Сергей Иванович. — Мы, русские, всегда так. Может быть, это и хорошая наша черта — способность видеть свои недостатки, но мы пересаливаем, мы утешаемся иронией, которая у нас всегда готова на языке. Я скажу тебе только, что дай эти же права, как наши земские учреждения, другому европейскому народу, — немцы и англичане выработали бы из них свободу, а мы вот только смеемся. — Но что* же делать? — виновато сказал Левин. — Это был мой последний опыт. И я от всей души пытался. Не могу. Неспособен. — Не неспособен, — сказал Сергей Иванович, — ты не так смотришь на дело. — Может быть, — уныло отвечал Левин. — А ты знаешь, брат Николай опять тут. Брат Николай был родной и старший брат Константина Левина и одноутробный брат Сергея Ивановича, погибший человек, промотавший большую долю своего состояния, враш;авшийся в самом странном и дурном обществе и поссорившийся с братьями. — Что ты говоришь? — с ужасом вскрикнул Левин. — Почем ты знаешь? — Прокофий видел его на улице. — Здесь, в Москве? Где он? Ты знаешь? — Левин встал со стула, как бы собираясь тотчас же идти. — Я жалею, что сказал тебе это, — сказал Сергей Иваныч, покачивая головой на волнение меньшого брата. — Я посылал узнать, где он живет, и послал ему вексель его Трубину, по которому я заплатил. Вот что он мне ответил. И Сергей Иванович подал брату записку из-под пресспапье. Левин прочел написанное странным, родным ему почерком: «Прошу покорно оставить меня в покое. Это одно, чего я требую от своих любезных братцев. Николай Левин». Левин прочел это и, не поднимая головы, с запиской в руках стоял пред Сергеем Ивановичем. В душе его боролись желание забыть теперь о несчастном брате и сознание того, что это будет дурно. — Он, очевидно, хочет оскорбить меня, — продолжал Сергей Иванович, — но оскорбить меня он не может, и я 34

Левин в оправдание стал рассказывать, что делалось на собраниях в его уезде.

— Вот это всегда так! — перебил его Сергей Иванович. — Мы, русские, всегда так. Может быть, это и хорошая наша черта — способность видеть свои недостатки, но мы пересаливаем, мы утешаемся иронией, которая у нас всегда готова на языке. Я скажу тебе только, что дай эти же права, как наши земские учреждения, другому европейскому народу, — немцы и англичане выработали бы из них свободу, а мы вот только смеемся.

— Но что же делать? — виновато сказал Левин. — Это был мой последний опыт. И я от всей души пытался. Не могу. Неспособен.

— Не неспособен, — сказал Сергей Иванович, — ты не так смотришь на дело.

— Может быть, — уныло отвечал Левин.

— А ты знаешь, брат Николай опять тут.

Брат Николай был родной и старший брат Константина Левина и одноутробный брат Сергея Ивановича, погибший человек, промотавший бóльшую долю своего состояния, вращавшийся в самом странном и дурном обществе и поссорившийся с братьями.

— Что ты говоришь? — с ужасом вскрикнул Левин. — Почем ты знаешь?

— Прокофий видел его на улице.

— Здесь, в Москве? Где он? Ты знаешь? — Левин встал со стула, как бы собираясь тотчас же идти.

— Я жалею, что сказал тебе это, — сказал Сергей Иваныч, покачивая головой на волнение меньшого брата. — Я посылал узнать, где он живет, и послал ему вексель его Трубину, по которому я заплатил. Вот что он мне ответил.

И Сергей Иванович подал брату записку из-под пресспапье.

Левин прочел написанное странным, родным ему почерком: «Прошу покорно оставить меня в покое. Это одно, чего я требую от своих любезных братцев. Николай Левин».

Левин прочел это и, не поднимая головы, с запиской в руках стоял пред Сергеем Ивановичем.

В душе его боролись желание забыть теперь о несчаст-

всей душой й^елал бы помочь ему, но знаю, что этого нельзя сделать. — Да, да, — повторял Левин. — Я понимаю и ценю твое отношение к нему; но я поеду к нему. — Если тебе хочется, съезди, но я не советую, — сказал Сергей Иванович. — То есть в отношении ко мне, я этого не боюсь, он тебя не поссорит со мной; но для тебя, я советую тебе лучше не ездить. Помочь нельзя. Впрочем, делай как хочешь. — Может быть, и нельзя помочь, но я чувствую, особенно в эту минуту — ну да это другое — я чувствую, что я не могу быть спокоен. — Ну, этого я не понимаю, — сказал Сергей Иванович. — Одно я понимаю, — прибавил он, — это урок смирения. Я иначе и снисходительнее стал смотреть на то, что называется подлостью, после того как брат Николай стал тем, что он есть... Ты знаешь, что он сделал... — Ах, это ужасно, ужасно! — повторял Левин. Получив от лакея Сергея Ивановича адрес брата, Левин тотчас же собрался ехать к нему, но, обдумав, решил отложить свою поездку до вечера. Прежде всего, для того чтобы иметь душевное спокойствие, надо было решить то дело, для которого он приехал в Москву. От брата Левин поехал в присутствие Облонского и, узнав о Щербацких, поехал туда, где ему сказали, что он может застать Кити. IX В 4 часа, чувствуя свое бьющееся сердце, Левин слез с извозчика у Зоологического сада и пошел дорожкой к горам и катку, наверное зная, что найдет ее там, потому что видел карету Щербацких у подъезда. Был ясный морозный день. У подъезда рядами стояли кареты, сани, ваньки, жандармы. Чистый народ, блестя на ярком солнце шляпами кишел у входа и по расчищенным дорожкам, между русскими домиками с резными князьками; старые кудрявые березы сада, обвисшие всеми ветвями от снега, казалось, были разубраны в новые торжественные ризы. Он шел по дорожке к катку и говорил себе: «Надо не волноваться, надо успокоиться. О чем ты? Чего ты? Молчи, глупое», — обращался он к своему сердцу. И чем 2* 35

всей душой желал бы помочь ему, но знаю, что этого нельзя сделать.

— Да, да, — повторял Левин. — Я понимаю и ценю твое отношение к нему; но я поеду к нему.

— Если тебе хочется, съезди, но я не советую, — сказал Сергей Иванович. — То есть в отношении ко мне, я этого не боюсь, он тебя не поссорит со мной; но для тебя, я советую тебе лучше не ездить. Помочь нельзя. Впрочем, делай как хочешь.

— Может быть, и нельзя помочь, но я чувствую, особенно в эту минуту — ну да это другое — я чувствую, что я не могу быть спокоен.

— Ну, этого я не понимаю, — сказал Сергей Иванович. — Одно я понимаю, — прибавил он, — это урок смирения. Я иначе и снисходительнее стал смотреть на то, что называется подлостью, после того как брат Николай стал тем, что он есть... Ты знаешь, что он сделал...

— Ах, это ужасно, ужасно! — повторял Левин.

Получив от лакея Сергея Ивановича адрес брата, Левин тотчас же собрался ехать к нему, но, обдумав, решил отложить свою поездку до вечера. Прежде всего, для того чтобы иметь душевное спокойствие, надо было решить то дело, для которого он приехал в Москву. От брата Левин поехал в присутствие Облонского и, узнав о Щербацких, поехал туда, где ему сказали, что он может застать Кити.

IX

В 4 часа, чувствуя свое бьющееся сердце, Левин слез с извозчика у Зоологического сада и пошел дорожкой к горам и катку, наверное зная, что найдет ее там, потому что видел карету Щербацких у подъезда.

Был ясный морозный день. У подъезда рядами стояли кареты, сани, ваньки, жандармы. Чистый народ, блестя на ярком солнце шляпами кишел у входа и по расчищенным дорожкам, между русскими домиками с резными князьками; старые кудрявые березы сада, обвисшие всеми ветвями от снега, казалось, были разубраны в новые торжественные ризы.

больше он старался себя успокоить, тем все хуже захватывало ему дыхание. Знакомый встретился и окликнул его, но Левин даже не узнал, кто это был. Он подошел к горам, на которых гремели цепи спускаемых и поднимаемых салазок, грохотали катившиеся салазки и звучали веселые голоса. Он прошел еш;е несколько шагов, и пред ним открылся каток, и тотчас же среди всех катавшихся он узнал ее. Он узнал, что она тут, по радости и страху, охватившим его сердце. Она стояла, разговаривая с дамой, на противоположном конце катка. Ничего, казалось, не было особенного ни в ее одежде, ни в ее позе; но для Левина так же легко было узнать ее в этой толпе, как розан в крапиве. Все освещалось ею. Она была улыбка, озарявшая все вокруг. «Неужели я могу сойти туда, на лед, подойти к ней?» — подумал он. Место, где она была, показалось ему недоступною святыней, и была минута, что он чуть не ушел: так страшно ему стало. Ему нужно было сделать усилие над собой и рассудить, что около нее ходят всякого рода люди, что и сам он мог прийти туда кататься на коньках. Он сошел вниз, избегая подолгу смотреть на нее, как на солнце, но он видел ее, как солнце, и не глядя. На льду собирались в этот день недели и в эту пору дня люди одного кружка, все знакомые между собою. Были тут и мастера кататься, щеголявшие искусством, и учившиеся за креслами, с робкими неловкими движениями, и мальчики, и старые люди, катавшиеся для гигиенических целей; все казались Левину избранными счастливцами, потому что они были тут, вблизи от нее. Все катавшиеся, казалось, совершенно равнодушно обгоняли, догоняли ее, даже говорили с ней и совершенно независимо от нее веселились, пользуясь отличным льдом и хорошею погодой. Николай Щербацкий, двоюродный брат Кити, в коротенькой жакетке и узких панталонах, сидел с коньками на ногах на скамейке и, увидав Левина, закричал ему: — А, первый русский конькобежец! Давно ли? Отличный лед, надевайте же коньки. — У меня и коньков нет, — отвечал Левин, удивляясь этой смелости и развязности в ее присутствии и ни на секунду не теряя ее из вида, хотя и не глядел на нее. Он чувствовал, что солнце приближалось к нему. Она была на угле и, тупо поставив узкие ножки в высоких 36

больше он старался себя успокоить, тем все хуже захватывало ему дыхание. Знакомый встретился и окликнул его, но Левин даже не узнал, кто это был. Он подошел к горам, на которых гремели цепи спускаемых и поднимаемых салазок, грохотали катившиеся салазки и звучали веселые голоса. Он прошел еще несколько шагов, и пред ним открылся каток, и тотчас же среди всех катавшихся он узнал ее.

Он узнал, что она тут, по радости и страху, охватившим его сердце. Она стояла, разговаривая с дамой, на противоположном конце катка. Ничего, казалось, не было особенного ни в ее одежде, ни в ее позе; но для Левина так же легко было узнать ее в этой толпе, как розан в крапиве. Все освещалось ею. Она была улыбка, озарявшая все вокруг. «Неужели я могу сойти туда, на лед, подойти к ней?» — подумал он. Место, где она была, показалось ему недоступною святыней, и была минута, что он чуть не ушел: так страшно ему стало. Ему нужно было сделать усилие над собой и рассудить, что около нее ходят всякого рода люди, что и сам он мог прийти туда кататься на коньках. Он сошел вниз, избегая подолгу смотреть на нее, как на солнце, но он видел ее, как солнце, и не глядя.

На льду собирались в этот день недели и в эту пору дня люди одного кружка, все знакомые между собою. Были тут и мастера кататься, щеголявшие искусством, и учившиеся за креслами, с робкими неловкими движениями, и мальчики, и старые люди, катавшиеся для гигиенических целей; все казались Левину избранными счастливцами, потому что они были тут, вблизи от нее. Все катавшиеся, казалось, совершенно равнодушно обгоняли, догоняли ее, даже говорили с ней и совершенно независимо от нее веселились, пользуясь отличным льдом и хорошею погодой.

Николай Щербацкий, двоюродный брат Кити, в коротенькой жакетке и узких панталонах, сидел с коньками на ногах на скамейке и, увидав Левина, закричал ему:

— А, первый русский конькобежец! Давно ли? Отличный лед, надевайте же коньки.

— У меня и коньков нет, — отвечал Левин, удивляясь этой смелости и развязности в ее присутствии и ни

ботинках, видимо робея, катилась к нему. Отчаянно махавший руками и пригибавшийся к земле мальчик в русском платье обгонял ее. Она катилась не совсем твердо; вынув руки из маленькой муфты, висевшей на снурке, она держала их наготове и, глядя на Левина, которого она узнала, улыбалась ему и своему страху. Когда поворот кончился, она дала себе толчок упругою ножкой и подкатилась прямо к Щербацкому; и, ухватившись за него рукой, улыбаясь, кивнула Левину. Она была прекраснее, чем он воображал ее. Когда он думал о ней, он мог себе живо представить ее всю, в особенности прелесть этой, с выражением детской ясности и доброты, небольшой белокурой головки, так свободно поставленной на статных девичьих плечах. Детскость выражения ее лица в соединении с тонкой красотою стана составляли ее особенную прелесть, которую он хорошо помнил; но что всегда, как неожиданность, поражало в ней, это было выражение ее глаз, кротких, спокойных и правдивых, и в особенности ее улыбка, всегда переносившая Левина в волшебный мир, где он чувствовал себя умиленным и смягченным, каким он мог запомнить себя в редкие дни своего раннего детства. — Давно ли вы здесь? — сказала она, подавая ему руку. — Благодарствуйте, — прибавила она, когда он поднял платок, выпавший из ее муфты. — Я? я недавно, я вчера... нынче то есть... приехал, — отвечал Левин, не вдруг от волнения поняв ее вопрос. — Я хотел к вам ехать, — сказал он и тотчас же, вспомнив, с каким намерением он искал ее, смутился и покраснел. — Я не знал, что вы катаетесь на коньках, и прекрасно катаетесь. Опа внимательно посмотрела на него, как бы желая понять причину его смущения. — Вашу похвалу надо ценить. Здесь сохранились предания, что вы лучший конькобежец, — сказала она, стряхивая маленькою ручкой в черной перчатке иглы инея, упавшие на муфту. — Да, я когда-то со страстью катался; мне хотелось дойти до совершенства. — Вы все, кажется, делаете со страстью, — сказала она, улыбаясь. — Мне так хочется посмотреть, как вы катаетесь. Надевайте же коньки, и давайте кататься вместе. 37

ботинках, видимо робея, катилась к нему. Отчаянно махавший руками и пригибавшийся к земле мальчик в русском платье обгонял ее. Она катилась не совсем твердо; вынув руки из маленькой муфты, висевшей на снурке, она держала их наготове и, глядя на Левина, которого она узнала, улыбалась ему и своему страху. Когда поворот кончился, она дала себе толчок упругою ножкой и подкатилась прямо к Щербацкому; и, ухватившись за него рукой, улыбаясь, кивнула Левину. Она была прекраснее, чем он воображал ее.

Когда он думал о ней, он мог себе живо представить ее всю, в особенности прелесть этой, с выражением детской ясности и доброты, небольшой белокурой головки, так свободно поставленной на статных девичьих плечах. Детскость выражения ее лица в соединении с тонкой красотою стана составляли ее особенную прелесть, которую он хорошо помнил; но что всегда, как неожиданность, поражало в ней, это было выражение ее глаз, кротких, спокойных и правдивых, и в особенности ее улыбка, всегда переносившая Левина в волшебный мир, где он чувствовал себя умиленным и смягченным, каким он мог запомнить себя в редкие дни своего раннего детства.

— Давно ли вы здесь? — сказала она, подавая ему руку. — Благодарствуйте, — прибавила она, когда он поднял платок, выпавший из ее муфты.

— Я? я недавно, я вчера... нынче то есть... приехал, — отвечал Левин, не вдруг от волнения поняв ее вопрос. — Я хотел к вам ехать, — сказал он и тотчас же, вспомнив, с каким намерением он искал ее, смутился и покраснел. — Я не знал, что вы катаетесь на коньках, и прекрасно катаетесь.

Она внимательно посмотрела на него, как бы желая понять причину его смущения.

— Вашу похвалу надо ценить. Здесь сохранились предания, что вы лучший конькобежец, — сказала она, стряхивая маленькою ручкой в черной перчатке иглы инея, упавшие на муфту.

— Да, я когда-то со страстью катался; мне хотелось дойти до совершенства.

— Вы все, кажется, делаете со страстью, — сказала

«Кататься вместе! Неужели это возможно?» — думал Левин, глядя на нее. — Сейчас надену, — сказал он, И он пошел надевать коньки. — Давно не бывали у нас, сударь, — говорил кательщик, поддерживая ногу и навинчивая каблук. — После вас никого из господ мастеров нету. Хорошо ли так будет? — говорил он, натягивая ремень. — Хорошо, хорошо, поскорей, пожалуйста, — отвечал Левин, с трудом удерживая улыбку счастья, выступавшую невольно на его лице. «Да, — думал он, — вот это жизнь, вот это счастье! Вместе, сказала она, давайте кататься вместе. Сказать ей теперь? Но ведь я оттого и боюсь сказать, что теперь я счастлив, счастлив хоть надеждой... А тогда?.. Но надо же! надо, надо! Прочь слабость!» Левин стал на ноги, снял пальто и, разбежавшись по шершавому у домика льду, выбежал на гладкий лед и покатился без усилия, как будто одною своею волей убыстряя, укорачивая и направляя бег. Он приблизился к ней с робостью, но опять ее улыбка успокоила его. Она подала ему руку, и они пошли рядом, прибавляя хода, и чем быстрее, тем крепче она сжимала его руку. — С вами я бы скорее выучилась, я почему-то уверена в вас, — сказала она ему. — Ия уверен в себе, когда вы опираетесь на меня, — сказал он, но тотчас же испугался того, что сказал, и покраснел. И действительно, как только он произнес эти слова, вдруг, как солнце зашло за тучи, лицо ее утратило всю свою ласковость, и Левин узнал знакомую игру ее лица, означавшую усилие мысли: на гладком лбу ее вспухла морщинка. — У вас нет ничего неприятного? Впрочем, я не имею права спрашивать, — быстро проговорил он. — Отчего же?.. Нет, у меня ничего нет неприятного, — отвечала она холодно и тотчас же прибавила: — Вы пе видели mademoiselle Linon? — Нет еще. — Подите к ней, она так вас любит. «Что это? Я огорчил ее. Господи, помоги мне!» — подумал Левин и по'бежал к старой француженке с седыми букольками, сидевшей на скамейке. Улыбаясь и выставляя свои фальшивые зубы, она встретила его, как старого друга. 38

«Кататься вместе! Неужели это возможно?» — думал Левин, глядя на нее.

— Сейчас надену, — сказал он.

И он пошел надевать коньки.

— Давно не бывали у нас, сударь, — говорил каталь-щик, поддерживая ногу и навинчивая каблук. — После вас никого из господ мастеров нету. Хорошо ли так будет? — говорил он, натягивая ремень.

— Хорошо, хорошо, поскорей, пожалуйста, — отвечал Левин, с трудом удерживая улыбку счастья, выступавшую невольно на его лице. «Да, — думал он, — вот это жизнь, вот это счастье! *Вместе,* сказала она, *давайте кататься вместе.* Сказать ей теперь? Но ведь я оттого и боюсь сказать, что теперь я счастлив, счастлив хоть надеждой... А тогда?.. Но надо же! надо, надо! Прочь слабость!»

Левин стал на ноги, снял пальто и, разбежавшись по шершавому у домика льду, выбежал на гладкий лед и покатился без усилия, как будто одною своею волей убыстряя, укорачивая и направляя бег. Он приблизился к ней с робостью, но опять ее улыбка успокоила его.

Она подала ему руку, и они пошли рядом, прибавляя хода, и чем быстрее, тем крепче она сжимала его руку.

— С вами я бы скорее выучилась, я почему-то уверена в вас, — сказала она ему.

— И я уверен в себе, когда вы опираетесь на меня, — сказал он, но тотчас же испугался того, что сказал, и покраснел. И действительно, как только он произнес эти слова, вдруг, как солнце зашло за тучи, лицо ее утратило всю свою ласковость, и Левин узнал знакомую игру ее лица, означавшую усилие мысли: на гладком лбу ее вспухла морщинка.

— У вас нет ничего неприятного? Впрочем, я не имею права спрашивать, — быстро проговорил он.

— Отчего же?.. Нет, у меня ничего нет неприятного, — отвечала она холодно и тотчас же прибавила: — Вы не видели mademoiselle Linon?

— Нет еще.

— Подите к ней, она так вас любит.

«Что это? Я огорчил ее. Господи, помоги мне!» — по-

— Да, вот растем, — сказала она ему, указывая глаза-* ми на Кити, — и стареем. Tiny bear ^ уже стал болыпой! — продолжала француженка, смеясь, и напомнила ему его шутку о трех барышнях, которых он называл тремя медведями из английской сказки. — Помните, вы, бывало, так говорили? Он решительно не помнил этого, по она уже лет десять смеялась этой шутке и любила ее. — Ну, идите, идите кататься. А хорошо стала кататься наша Кити, не правда ли? Когда Левин опять подбежал к Кити, лицо ее уже было не строго, глаза смотрели так же правдиво и ласково, но Левину показалось, что в ласковости ее был особенный, умышленно спокойный тон. И ему стало грустно. Поговорив о своей старой гувернантке, о ее странностях, она спросила его о его яшзни. — Неужели вам не скучно зимою в деревне? — сказала она. — Нет, не скучно, я очень занят, — сказал он, чувствуя, что она подчиняет его своему спокойному тону, из которого он не в силах будет выйти, так же как это было в начале зимы. — Вы надолго приехали? — спросила его Кити. — Я не знаю, — отвечал он, не думая о том, что говорит. Мысль о том, что если он поддастся этому ее тону спокойной дружбы, то он опять уедет, ничего не решив, пришла ему, и он решился возмутиться. — Как не знаете? — Не знаю. Это от вас зависит, — сказал он и тотчас яге ужаснулся своим словам. Не слыхала ли она его слов или не хотела слышать, но она как бы спотыкнулась, два раза стукнув ножкой, и поспешно покатилась прочь от пего. Она подкатилась к т-11е Linon, что-то сказала ей и направилась к домику, где дамы снимали коньки. «Боже мой, что я сделал! Господи боже мой! помоги мне, научи меня», — говорил Левин, молясь и вместе с тем чувствуя потребность сильного двия^ния, разбегаясь и выписывая внешние и внутренние круги. В это время один из молодых людей, лучший из новых конькобежцев, с папироской во рту, в коньках, вышел из кофейной и, разбежавшись, пустился на коньках * Медвежонок (англ.).

— Да, вот растем, — сказала она ему, указывая глазами на Кити, — и стареем. Tiny bear [1] уже стал большой! — продолжала француженка, смеясь, и напомнила ему его шутку о трех барышнях, которых он называл тремя медведями из английской сказки. — Помните, вы, бывало, так говорили?

Он решительно не помнил этого, но она уже лет десять смеялась этой шутке и любила ее.

— Ну, идите, идите кататься. А хорошо стала кататься наша Кити, не правда ли?

Когда Левин опять подбежал к Кити, лицо ее уже было не строго, глаза смотрели так же правдиво и ласково, но Левину показалось, что в ласковости ее был особенный, умышленно спокойный тон. И ему стало грустно. Поговорив о своей старой гувернантке, о ее странностях, она спросила его о его жизни.

— Неужели вам не скучно зимою в деревне? — сказала она.

— Нет, не скучно, я очень занят, — сказал он, чувствуя, что она подчиняет его своему спокойному тону, из которого он не в силах будет выйти, так же как это было в начале зимы.

— Вы надолго приехали? — спросила его Кити.

— Я не знаю, — отвечал он, не думая о том, что говорит. Мысль о том, что если он поддастся этому ее тону спокойной дружбы, то он опять уедет, ничего не решив, пришла ему, и он решился возмутиться.

— Как не знаете?

— Не знаю. Это от вас зависит, — сказал он и тотчас же ужаснулся своим словам.

Не слыхала ли она его слов или не хотела слышать, но она как бы спотыкнулась, два раза стукнув ножкой, и поспешно покатилась прочь от него. Она подкатилась к m-lle Linon, что-то сказала ей и направилась к домику, где дамы снимали коньки.

«Боже мой, что я сделал! Господи боже мой! помоги мне, научи меня», — говорил Левин, молясь и вместе с тем чувствуя потребность сильного движения, разбегаясь и выписывая внешние и внутренние круги.

В это время один из молодых людей, лучший из новых конькобежцев, с папироской во рту, в коньках, вы-

^пиз по ступеням, громыхая и подпрыгивая. Он влетел вниз и, не изменив даже свободного положения рук, покатился по льду. — Ах, это новая штука! — сказал Левин и тотчас же побежал наверх, чтобы сделать эту новую штуку. — Не убейтесь, надо привычку! — крикнул ему Николай Щербацкий. Левин вошел на приступки, разбежался сверху сколько мог и пустился вниз, удерживая в непривычном движении равновесие руками. На последней ступени он зацепился, но, чуть дотронувшись до льда рукой, сделал сильное движение, справился и, смеясь, покатился дальше. «Славный, милый», — подумала Кити в это время, выходя из домика с т-11е Linon и глядя на него с улыбкою тихой Ласки, как на любимого брата. «И неужели я виновата, неужели я сделала что-нибудь дурное? Они говорят: кокетство. Я знаю, что я люблю не его; но мне все-таки весело с ним, и он такой славный. Только зачем он это сказал?..» — думала она. Увидав уходившую Кити и мать, встречавшую ее на ступеньках, Левин, раскрасневшийся после быстрого движения, остановился и задумался. Он снял коньки и догнал у выхода сада мать с дочерью. — Очень рада вас видеть, — сказала княгиня. — Четверги, как всегда, мы принимаем. — Стало быть, нынче? — Очень рады будем видеть вас, — сухо сказала княгиня. Сухость эта огорчила Кити, и она не могла удер^каться от желания загладить холодность матери. Она повернула голову и с улыбкой проговорила: — До свидания. В это время Степан Аркадьич, со шляпой на боку, блестя лицом и глазами, веселым победителем входил всад. Но, подойдя к тегце, он с грустным, виноватым лицом отвечал на ее вопросы о здоровье Долли. Поговорив тихо и уныло с тенией, он выпрямил грудь и взял под руку Левина. — Ну что ж, едем? — спросил он. Я все о тебе думал, и я очень, очень рад, что ты приехал, — сказал он, с значительным видом глядя ему в глаза. — Едем, едем, — отвечал счастливый Левин, не перестававший слышать звук голоса, сказавший: «До свидания», и видеть улыбку, с которою это было сказано. 40

вниз по ступеням, громыхая и подпрыгивая. Он влетел вниз и, не изменив даже свободного положения рук, покатился по льду.

— Ах, это новая штука! — сказал Левин и тотчас же побежал наверх, чтобы сделать эту новую штуку.

— Не убейтесь, надо привычку! — крикнул ему Николай Щербацкий.

Левин вошел на приступки, разбежался сверху сколько мог и пустился вниз, удерживая в непривычном движении равновесие руками. На последней ступени он зацепился, но, чуть дотронувшись до льда рукой, сделал сильное движение, справился и, смеясь, покатился дальше.

«Славный, милый», — подумала Кити в это время, выходя из домика с m-lle Linon и глядя на него с улыбкою тихой ласки, как на любимого брата. «И неужели я виновата, неужели я сделала что-нибудь дурное? Они говорят: кокетство. Я знаю, что я люблю не его; но мне все-таки весело с ним, и он такой славный. Только зачем он это сказал?..» — думала она.

Увидав уходившую Кити и мать, встречавшую ее на ступеньках, Левин, раскрасневшийся после быстрого движения, остановился и задумался. Он снял коньки и догнал у выхода сада мать с дочерью.

— Очень рада вас видеть, — сказала княгиня. — Четверги, как всегда, мы принимаем.

— Стало быть, нынче?

— Очень рады будем видеть вас, — сухо сказала княгиня.

Сухость эта огорчила Кити, и она не могла удержаться от желания загладить холодность матери. Она повернула голову и с улыбкой проговорила:

— До свидания.

В это время Степан Аркадьич, со шляпой на боку, блестя лицом и глазами, веселым победителем входил в сад. Но, подойдя к теще, он с грустным, виноватым лицом отвечал на ее вопросы о здоровье Долли. Поговорив тихо и уныло с тещей, он выпрямил грудь и взял под руку Левина.

— Ну что ж, едем? — спросил он. — Я все о тебе думал, и я очень, очень рад, что ты приехал, — сказал он, с значительным видом глядя ему в глаза.

— в «Англию» или в «Эрмитаж»? — Мне все равно. — Ну, в «Англию», — сказал Степан Аркадьич, выбрав «Англию» потому, что там он, в «Англии», был более должен, чем в «Эрмитаже». Он потому считал нехорошим избегать эту гостиницу. — У тебя есть извозчик? Ну и прекрасно, а то я отпустил карету. Всю дорогу приятели молчали. Левин думал о том, что означала эта перемена выражения на лице Кити, и то уверял себя, что есть надежда, то приходил в отчаяние и ясно видел, что его надежда безумна, а между тем чувствовал себя совсем другим человеком, не похожим на того, каким он был до ее улыбки и слова до свидания, Степан Аркадьич дорогой сочинял меню, — Ты ведь любишь тюрбо? — сказал он Левину, подъезжая. — Что? — переспросил Левин. — Тюрбо? Да, я ужасно люблю тюрбо. X Когда Левин вошел с Облонским в гостиницу, ои не мог не заметить некоторой особенности выражения, как бы сдержанного сияния, на лице и во всей фигуре Степана Аркадьича. Облонский снял пальто и в шляпе набекрень прошел в столовую, отдавая приказания липнувшим к нему татарам во фраках и с салфетками. Кланяясь направо и налево нашедшимся и тут, как везде, радостно встречавшим его знакомым, он подошел к буфету, закусил водку рыбкой и что-то такое сказал раскрашенной, в ленточках, кружевах и завитушках француженке, сидевшей за конторкой, что даже эта француженка искренно засмеялась. Левин же только оттого не выпил водки, что ему оскорбительна была эта француженка, вся составленная, казалось, из чужих волос, poudre de riz и vinaigre de toilette ^ Он, как от грязного места, поспешно отошел от нее. Вся душа его была переполнена воспоминанием о Кити, и в глазах его светилась улыбка торжества и счастия. — Сюда, ваше сиятельство, пожалуйте, здесь не обеспокоят, ваше сиятельство, — говорил особенно липнувший ^ рисовой пудры и туалетного уксуса (франц.). 41

— В «Англию» или в «Эрмитаж»?

— Мне все равно.

— Ну, в «Англию», — сказал Степан Аркадьич, выбрав «Англию» потому, что там он, в «Англии», был более должен, чем в «Эрмитаже». Он потому считал нехорошим избегать эту гостиницу. — У тебя есть извозчик? Ну и прекрасно, а то я отпустил карету.

Всю дорогу приятели молчали. Левин думал о том, что означала эта перемена выражения на лице Кити, и то уверял себя, что есть надежда, то приходил в отчаяние и ясно видел, что его надежда безумна, а между тем чувствовал себя совсем другим человеком, не похожим на того, каким он был до ее улыбки и слова *до свидания*.

Степан Аркадьич дорогой сочинял *меню*.

— Ты ведь любишь тюрбо? — сказал он Левину, подъезжая.

— Что? — переспросил Левин. — Тюрбо? Да, я *ужасно* люблю тюрбо.

X

Когда Левин вошел с Облонским в гостиницу, он не мог не заметить некоторой особенности выражения, как бы сдержанного сияния, на лице и во всей фигуре Степана Аркадьича. Облонский снял пальто и в шляпе набекрень прошел в столовую, отдавая приказания липнувшим к нему татарам во фраках и с салфетками. Кланяясь направо и налево нашедшимся и тут, как везде, радостно встречавшим его знакомым, он подошел к буфету, закусил водку рыбкой и что-то такое сказал раскрашенной, в ленточках, кружевах и завитушках француженке, сидевшей за конторкой, что даже эта француженка искренно засмеялась. Левин же только оттого не выпил водки, что ему оскорбительна была эта француженка, вся составленная, казалось, из чужих волос, poudre de riz и vinaigre de toilette[1]. Он, как от грязного места, поспешно отошел от нее. Вся душа его была переполнена воспоминанием о Кити, и в глазах его светилась улыбка торжества и счастия.

старый белесый татарин с широким тазом и расходившимися над ним фалдами фрака. — Пожалуйте шляпу, ваше сиятельство, — говорил он Левину, в знак почтения к Степану Аркадьичу ухаживая и за его гостем. Мгновенно расстелив свежую скатерть на покрытый уже скатертью круглый стол под бронзовым бра, он пододвинул бархатные стулья и остановился пред Степаном Аркадьичем с салфеткой и карточкой в руках, ожидая приказаний. — Если прикажете, ваше сиятельство, отдельный кабинет сейчас опростается: князь Голицын с дамой. Устрицы свежие получены. — А! устрицы. Степан Аркадьич задумался. — Не изменить ли план, Левин? — сказал он, остановив палец на карте. И лицо его выражало серьезное недоумение. — Хороши ли устрицы? Ты смотри! — Фленсбургские, ваше сиятельство, остендских нет. — Фленсбургские-то фленсбургские, да свенш ли? — Вчера получены-с. — Так что ж, не начать ли с устриц, а потом уж и весь план изменить? А? — Мне все равно. Мне лучше всего щи и каша; по ведь здесь этого нет. — Каша а ла рюсс, прикажете? — сказал татарин, как няня над ребенком, нагибаясь над Левиным. — Нет, без шуток; что ты выберешь, то и хорошо. Я побегал на коньках, и есть хочется. И не думай, — прибавил он, заметив на лице Облонского недовольное выражение, — чтоб я не оценил твоего выбора. Я с удовольствием поем хорошо. — Еще бы! Что ни говори, это одно из удовольствий жизни, — сказал Степан Аркадьич. — Ну, так дай ты нам, братец ты мой, устриц два, или мало — три десятка, суп с кореньями... — Прентаньер, — подхватил татарин. Но Степан Аркадьич, видно, не хотел ему доставлять удовольствие называть по-французски кушанья. — С кореньями, знаешь? Потом тюрбо под густым соусом, потом... ростбифу; да смотри, чтобы хорош был. Да каплунов, что ли, ну и консервов. Татарин, вспомріив манеру Степана Аркадьича не называть кушанья по французской карте, не повторял за ним, по доставил себе удовольствие повторить весь заказ 42

старый белесый татарин с широким тазом и расходившимися над ним фалдами фрака. — Пожалуйте шлянпу, ваше сиятельство, — говорил он Левину, в знак почтения к Степану Аркадьичу ухаживая и за его гостем.

Мгновенно расстелив свежую скатерть на покрытый уже скатертью круглый стол под бронзовым бра, он пододвинул бархатные стулья и остановился пред Степаном Аркадьичем с салфеткой и карточкой в руках, ожидая приказаний.

— Если прикажете, ваше сиятельство, отдельный кабинет сейчас опростается: князь Голицын с дамой. Устрицы свежие получены.

— А! устрицы.

Степан Аркадьич задумался.

— Не изменить ли план, Левин? — сказал он, остановив палец на карте. И лицо его выражало серьезное недоумение. — Хороши ли устрицы? Ты смотри!

— Фленсбургские, ваше сиятельство, остендских нет.

— Фленсбургские-то фленсбургские, да свежи ли?

— Вчера получены-с.

— Так что ж, не начать ли с устриц, а потом уж и весь план изменить? А?

— Мне все равно. Мне лучше всего щи и каша; но ведь здесь этого нет.

— Каша а ла рюсс, прикажете? — сказал татарин, как няня над ребенком, нагибаясь над Левиным.

— Нет, без шуток; что ты выберешь, то и хорошо. Я побегал на коньках, и есть хочется. И не думай, — прибавил он, заметив на лице Облонского недовольное выражение, — чтоб я не оценил твоего выбора. Я с удовольствием поем хорошо.

— Еще бы! Что ни говори, это одно из удовольствий жизни, — сказал Степан Аркадьич. — Ну, так дай ты нам, братец ты мой, устриц два, или мало — три десятка, суп с кореньями...

— Прентаньер, — подхватил татарин. Но Степан Аркадьич, видно, не хотел ему доставлять удовольствие называть по-французски кушанья.

— С кореньями, знаешь? Потом тюрбо под густым соусом, потом... ростбифу; да смотри, чтобы хорош был. Да каплунов, что ли, ну и консервов

по карте: «Суп прентаньер, тюрбо сос Бомарше, пулард а лестрагон, маседуан де фріои...» — и тотчас, как на пружинах, положив одну переплетенную карту и подхватив другую, карту вин, поднес ее Степану Аркадьичу, — Что же пить будем? — Я что хочешь, только немного, шампанское, — ' сказал Левин. — Как? сначала? А впрочем, правда, пожалуй. Ты любрішь с белою печатью? — Каше блан, — подхватил татарин. — Ну, так этой марки к устрицам подай, а там видно будет. — Слушаю-с. Столового какого прикажете? — Нюи подай. Нет, уж лучше классический шабли, — Слушаю-с. Сыру вашего прикажете? — Ну да, пармезан. Или ты другой любишь? — Нет, мне все равно, — не в силах удерживать улыбки, говорил Левин. И татарин с развеваюп];имися фалдами над широким тазом побежал и чрез пять минут влетел с блюдом открытых на перламутровых раковинах устриц и с бутылкой между пальцами. Степан Аркадьич смял накрахмаленную салфетку, засунул ее себе за жилет и, положив покойно руки, взялся за устрицы. — А недурны, — говорил он, сдирая серебряною вилочкой с перламутровой раковины шлюпающих устриц и проглатывая их одну за другой. Недурны, — повторяя он, вскидывая влажные и блестяш.ие глаза то на Левина, то на татарина. Левин ел и устрицы, хотя белый хлеб с сыром был ему приятнее. Но он любовался на Облонского. Даже татарин, отвинтивший пробку и разливавший игристое вино по разлатым тонким рюмкам, с заметною улыбкой удовольствия, поправляя свой белый галстук, поглядывал на Степана Аркадьича. — А ты не очень любишь устрицы? — сказал Степан Аркадьич, выпивая свой бокал, — или ты озабочен? А? Ему хотелось, чтобы Левин был весел. Но Левин не то что был не весел, он был стеснен. С тем, что было у него в душе, ему жутко и неловко было в трактире, между кабинетами, где обедали с дамами, среди этой беготни и суетни; эта обстановка бронз, зеркал, газа, татар — все 43

по карте: «Суп прентаньер, тюрбо сос Бомарше, пулард а лестрагон, маседуан де фрюи...» — и тотчас, как на пружинах, положив одну переплетенную карту и подхватив другую, карту вин, поднес ее Степану Аркадьичу.

— Что же пить будем?

— Я что хочешь, только немного, шампанское, — сказал Левин.

— Как? сначала? А впрочем, правда, пожалуй. Ты любишь с белою печатью?

— Каше блан, — подхватил татарин.

— Ну, так этой марки к устрицам подай, а там видно будет.

— Слушаю-с. Столового какого прикажете?

— Нюи подай. Нет, уж лучше классический шабли.

— Слушаю-с. Сыру *вашего* прикажете?

— Ну да, пармезан. Или ты другой любишь?

— Нет, мне все равно, — не в силах удерживать улыбки, говорил Левин.

И татарин с развевающимися фалдами над широким тазом побежал и чрез пять минут влетел с блюдом открытых на перламутровых раковинах устриц и с бутылкой между пальцами.

Степан Аркадьич смял накрахмаленную салфетку, засунул ее себе за жилет и, положив покойно руки, взялся за устрицы.

— А недурны, — говорил он, сдирая серебряною вилочкой с перламутровой раковины шлюпающих устриц и проглатывая их одну за другой. Недурны, — повторял он, вскидывая влажные и блестящие глаза то на Левина, то на татарина.

Левин ел и устрицы, хотя белый хлеб с сыром был ему приятнее. Но он любовался на Облонского. Даже татарин, отвинтивший пробку и разливавший игристое вино по разлатым тонким рюмкам, с заметною улыбкой удовольствия, поправляя свой белый галстук, поглядывал на Степана Аркадьича.

— А ты не очень любишь устрицы? — сказал Степан Аркадьич, выпивая свой бокал, — или ты озабочен? А?

Ему хотелось, чтобы Левин был весел. Но Левин не то

DTO было ему оскорбительно. Он боялся запачкать то, что переполняло его душу. — Я? Да, я озабочен; по, кроме того, меня это все стесняет, — сказал он. — Ты не можешь представить себе, как для меня, деревенского жителя, все это дико, как ногти того господина, которого я видел у тебя... — Да, я видел, что ногти бедного Гриневича тебя очень заинтересовали, — смеясь, сказал Степан Аркадьич. — Не могу, — отвечал Левин. — Ты постарайся, войди в меня, стань на точку зрения деревенского жителя. Мы в деревне стараемся привести свои руки в такое положение, чтоб удобно было ими работать; для этого обстригаем ногти, засучиваем иногда рукава. А тут люди нарочно отпускают ногти, насколько они могут держаться, и прицепляют в виде запонок блюдечки, чтоб уж ничего нельзя было делать руками. Степан Аркадьич весело улыбался. — Да, это признак того, что грубый труд ему не нужен. У него работает ум... — Может быть. Но все-таки мне дико, так же как мне дико теперь то, что мы, деревенские жители, стараемся поскорее наесться, чтобы быть в состоянии делать свое дело, а мы с тобой стараемся как можно дольше не наесться и для этого едим устрицы... — Ну, разумеется, — подхватил Степан Аркадьич. — Но в этом-то и цель образования: изо всего сделать наслаждение. — Ну, если это цель, то я желал бы быть диким. — Ты и так дик. Вы все, Левины, дики. Левин вздохнул. Он вспомнил о брате Николае, и ему стало совестно и больно, и он нахмурился; но Облонский заговорил о таком предмете, который тотчас же отвлек его. — Ну что ж, поедешь нынче вечером к нашим, к Щербацким то есть? — сказал он, отодвигая пустые шершавые раковины, придвигая сыр и значительно блестя глазами. — Да, я непременно поеду, — отвечал Левин. — Хотя мне показалось, что княгиня неохотно звала меня. — Что ты! Вздор какой! Это ее манера... Ну давай же, братец, суп!.. Это ее манера, grande dame ^ — сказал Степан Аркадьич. — Я тоже приеду, но мне на спевку к графине Баниной надо. Ну как же ты не дик? Чем же объяс* важной дамы (франц.). 44

это было ему оскорбительно. Он боялся запачкать то, что переполняло его душу.

— Я? Да, я озабочен; но, кроме того, меня это все стесняет, — сказал он. — Ты не можешь представить себе, как для меня, деревенского жителя, все это дико, как ногти того господина, которого я видел у тебя...

— Да, я видел, что ногти бедного Гриневича тебя очень заинтересовали, — смеясь, сказал Степан Аркадьич.

— Не могу, — отвечал Левин. — Ты постарайся, войди в меня, стань на точку зрения деревенского жителя. Мы в деревне стараемся привести свои руки в такое положение, чтоб удобно было ими работать; для этого обстригаем ногти, засучиваем иногда рукава. А тут люди нарочно отпускают ногти, насколько они могут держаться, и прицепляют в виде запонок блюдечки, чтоб уж ничего нельзя было делать руками.

Степан Аркадьич весело улыбался.

— Да, это признак того, что грубый труд ему не нужен. У него работает ум...

— Может быть. Но все-таки мне дико, так же как мне дико теперь то, что мы, деревенские жители, стараемся поскорее наесться, чтобы быть в состоянии делать свое дело, а мы с тобой стараемся как можно дольше не наесться и для этого едим устрицы...

— Ну, разумеется, — подхватил Степан Аркадьич. — Но в этом-то и цель образования: изо всего сделать наслаждение.

— Ну, если это цель, то я желал бы быть диким.

— Ты и так дик. Вы все, Левины, дики.

Левин вздохнул. Он вспомнил о брате Николае, и ему стало совестно и больно, и он нахмурился; но Облонский заговорил о таком предмете, который тотчас же отвлек его.

— Ну что ж, поедешь нынче вечером к нашим, к Щербацким то есть? — сказал он, отодвигая пустые шершавые раковины, придвигая сыр и значительно блестя глазами.

— Да, я непременно поеду, — отвечал Левин. — Хотя мне показалось, что княгиня неохотно звала меня.

— Что ты! Вздор какой! Это ее манера... Ну давай же, братец, суп!.. Это ее манера, grande dame [1], — сказал Степан Аркадьич. — Я тоже приеду, но мне на спевку к гра-

пить то, что ты вдруг исчез из Москвы? Щербацкие меня спрашивали о тебе беспрестанно, как будто я должен знать. А я знаю только одно: ты делаешь всегда то, чего никто не делает. — Да, — сказал Левин медленно и взволнованно. — Ты прав, я дик. Но только дикость моя не в том, что я уехал, а в том, что я теперь приехал. Теперь я приехал... — О, какой ты счастливец! — подхватил Степан Аркадьич, глядя в глаза Левину. — Отчего? — Узнаю коней ретивых по каким-то их таврам, юношей влюбленных узнаю по их глазам, — продекламировал Степан Аркадьич. — У тебя все впереди, — А у тебя разве уж назади? — Нет, хоть не назади, но у тебя будуш,ее, а у меня пастояЕдее, и настоягдее так, в пересыпочку. — А что? — Да нехорошо. Ну, да я о себе не хочу говорить, и к тому же объяснить всего нельзя, — сказал Степан Аркадьич. — Так ты зачем же приехал в Москву?.. Эй, принимай! — крикнул он татарину. — Ты догадываешься? — отвечал Левин, не спуская со Степана Аркадьича своих в глубине светящихся глаз. — Догадываюсь, но не могу начать говорить об этом. Уж по этому ты можешь видеть, верно или не верно я догадываюсь, — сказал Степан Аркадьич, с тонкою улыбкой глядя на Левина. — Ну что же ты скажешь мне? — сказал Левин дрожащим голосом и чувствуя, что на лице его дрожат все мускулы. — Как ты смотришь на это? Степан Аркадьич медленно выпил свой стакан шабли, не спуская глаз с Левина. — Я? — сказал Степан Аркадьич, — я ничего так не желал бы, как этого, ничего. Это лучшее, что могло бы быть. — Но ты не ошибаешься? Ты знаешь, о чем мы говорим? — проговорил Левин, впиваясь глазами в своего собеседника. — Ты думаешь, что это возможно? — Думаю, что возможно. Отчего же невозможно? — Нет, ты точно думаешь, что это возможно? Нет, ты скажи все, что ты думаешь! Ну, а если, если меня ждет отказ?.. И я даже уверен... — Отчего же ты это думаешь? — улыбаясь на его волнение, сказал Степан Аркадьич. 45

нить то, что ты вдруг исчез из Москвы? Щербацкие меня спрашивали о тебе беспрестанно, как будто я должен знать. А я знаю только одно: ты делаешь всегда то, чего никто не делает.

— Да, — сказал Левин медленно и взволнованно. — Ты прав, я дик. Но только дикость моя не в том, что я уехал, а в том, что я теперь приехал. Теперь я приехал...

— О, какой ты счастливец! — подхватил Степан Аркадьич, глядя в глаза Левину.

— Отчего?

— Узнаю коней ретивых по каким-то их таврам, юношей влюбленных узнаю по их глазам, — продекламировал Степан Аркадьич. — У тебя все впереди.

— А у тебя разве уж назади?

— Нет, хоть не назади, но у тебя будущее, а у меня настоящее, и настоящее так, в пересыпочку.

— А что?

— Да нехорошо. Ну, да я о себе не хочу говорить, и к тому же объяснить всего нельзя, — сказал Степан Аркадьич. — Так ты зачем же приехал в Москву?.. Эй, принимай! — крикнул он татарину.

— Ты догадываешься? — отвечал Левин, не спуская со Степана Аркадьича своих в глубине светящихся глаз.

— Догадываюсь, но не могу начать говорить об этом. Уж по этому ты можешь видеть, верно или не верно я догадываюсь, — сказал Степан Аркадьич, с тонкою улыбкой глядя на Левина.

— Ну что же ты скажешь мне? — сказал Левин дрожащим голосом и чувствуя, что на лице его дрожат все мускулы. — Как ты смотришь на это?

Степан Аркадьич медленно выпил свой стакан шабли, не спуская глаз с Левина.

— Я? — сказал Степан Аркадьич, — я ничего так не желал бы, как этого, ничего. Это лучшее, что могло бы быть.

— Но ты не ошибаешься? Ты знаешь, о чем мы говорим? — проговорил Левин, впиваясь глазами в своего собеседника. — Ты думаешь, что это возможно?

— Думаю, что возможно. Отчего же невозможно?

— Нет, ты точно думаешь, что это возможно? Нет, ты

— Так мне иногда кажется. Ведь это будет ужасно и для меня и для нее. — Ну, во всяком случае, для девушки тут ничего ужасного нет. Всякая девушка гордится предложением. — Да, всякая девушка, но не она. Степан Аркадьич улыбнулся. Он так знал это чувство Левина, знал, что для него все девушки в мире разделяются на два сорта: один сорт — это все девушки в мире, кроме ее, и эти имеют все человеческие слабости, и девушки очень обыкновенные; другой сорт — она одна, не имеющая никаких слабостей и превыше всего человеческого. — Постой, соуса возьми, — сказал он, удерживая руку Левина, который отталкивал от себя соус. Левин покорно положил себе соуса, но не дал есть Степану Аркадьичу. — Нет, ты постой, постой, — сказал он. — Ты пойми, что это для меня вопрос жизни и смерти. Я никогда ни с кем не говорил об этом. И ни с кем я не могу говорить об этом, как с тобою. Ведь вот мы с тобой по всему чуяше: другие вкусы, взгляды, все; но я знаю, что ты меня любишь и понимаешь, и от этого я тебя ужасно люблю. Но ради бога, будь вполне откровенен. — Я тебе говорю, что я думаю, — сказал Степан Аркадьич, улыбаясь. — Но я тебе больше скажу; моя жена — удивительнейшая женщина... — Степан Аркадьич вздохнул, вспомнив о своих отношениях с женою, и, помолчав с минутку, продолжал: — У нее есть дар предвидения. Она насквозь видит людей; но этого мало, — она знает, что будет, особенно по части браков. Она, например, предсказала, что Шаховская выйдет за Брентельна. Никто этому верить не хотел, а так вышло. И она — на твоей стороне. — То есть как? — Так, что опа мало того что любит тебя, — опа говорит, что Кити будет твоею женой непременно. При этих словах лицо Левина вдруг просияло улыбкой, тою, которая близка к слезам умиления. — Она это говорит! — вскликнул Левин. — Я всегда говорил, что она прелесть, твоя жена. Ну и довольно, довольно об этом говорить, — сказал он, вставая с места. — Хорошо, но садись же, вот и суп. Но Левин не мог сидеть. Он прошелся два раза своими твердыми шагами по клеточке-комнате, помигал глазами, 46

— Так мне иногда кажется. Ведь это будет ужасно и для меня и для нее.

— Ну, во всяком случае, для девушки тут ничего ужасного нет. Всякая девушка гордится предложением.

— Да, всякая девушка, но не она.

Степан Аркадьич улыбнулся. Он так знал это чувство Левина, знал, что для него все девушки в мире разделяются на два сорта: один сорт — это все девушки в мире, кроме ее, и эти имеют все человеческие слабости, и девушки очень обыкновенные; другой сорт — она одна, не имеющая никаких слабостей и превыше всего человеческого.

— Постой, соуса возьми, — сказал он, удерживая руку Левина, который отталкивал от себя соус.

Левин покорно положил себе соуса, но не дал есть Степану Аркадьичу.

— Нет, ты постой, постой, — сказал он. — Ты пойми, что это для меня вопрос жизни и смерти. Я никогда ни с кем не говорил об этом. И ни с кем я не могу говорить об этом, как с тобою. Ведь вот мы с тобой по всему чужие: другие вкусы, взгляды, все; но я знаю, что ты меня любишь и понимаешь, и от этого я тебя ужасно люблю. Но ради бога, будь вполне откровенен.

— Я тебе говорю, что я думаю, — сказал Степан Аркадьич, улыбаясь. — Но я тебе больше скажу; моя жена — удивительнейшая женщина... — Степан Аркадьич вздохнул, вспомнив о своих отношениях с женою, и, помолчав с минутку, продолжал: — У нее есть дар предвидения. Она насквозь видит людей; но этого мало, — она знает, что будет, особенно по части браков. Она, например, предсказала, что Шаховская выйдет за Брентельна. Никто этому верить не хотел, а так вышло. И она — на твоей стороне.

— То есть как?

— Так, что она мало того что любит тебя, — она говорит, что Кити будет твоею женой непременно.

При этих словах лицо Левина вдруг просияло улыбкой, тою, которая близка к слезам умиления.

— Она это говорит! — вскликнул Левин. — Я всегда говорил, что она прелесть, твоя жена. Ну и довольно, довольно об этом говорить, — сказал он, вставая с места.

чтобы не видно было слез, и тогда только сел опять за стол. — Ты пойми, — сказал он, — что это не любовь. Я был влюблен, но это не то. Это не мое чувство, а какая-то сила внешняя завладела мной. Ведь я уехал, потому что решил, что этого не может быть, понимаешь, как счастья, которого не бывает на земле; но я бился с собой и вижу, что без этого нет жизни. И надо решить... — Для чего же ты уезжал? — Ах, постой! Ах, сколько мыслей! Сколько надо спросить! Послушай. Ты ведь не можешь представить себе, что ты сделал для меня тем, что сказал. Я так счастлив, что даже гадок стал; я все забыл... Я нынче узнал, что брат Николай... знаешь, он тут... я и про него забыл., Мне кажется, что и он счастлив. Это вроде сумасшествия. Но одно ужасно... Вот ты женился, ты знаешь это чувство... Ужасно то, что мы — старые, уже с прошедшим.., не любви, а грехов... вдруг сближаемся с существом чистым, невинным; это отвратительно, и поэтому нельзя но чувствовать себя недостойным. — Ну, у тебя грехов немного. — Ах, все-таки, — сказал Левин, — все-таки, «с отвращением читая жизнь мою, я трепещу и проклинаю, и горько жалуюсь...» Да. — Что ж делать, так мир устроен, — сказал Степан Аркадьич. — Одно утешение, как в этой молитве, которую я всегда любил, что не по заслугам прости меня, а по милосердию. Так и она только простить может, XI Левин выпил свой бокал, и они помолчали. — Одно еще я тебе должен сказать. Ты знаешь Вронского? — спросил Степан Аркадьич Левина. — Нет, не знаю. Зачем ты спрашиваешь? — Подай другую, — обратился Степан Аркадьич к татарину, доливавшему бокалы и вертевшемуся около них, именно когда его не нужно было. — Зачем мне знать Вронского? — А затем тебе знать Вронского, что это один из твоих конкурентов. — Что такое Вронский? ~ сказал Левин, и лицо его 47

чтобы не видно было слез, и тогда только сел опять за стол.

— Ты пойми, — сказал он, — что это не любовь. Я был влюблен, но это не то. Это не мое чувство, а какая-то сила внешняя завладела мной. Ведь я уехал, потому что решил, что этого не может быть, понимаешь, как счастья, которого не бывает на земле; но я бился с собой и вижу, что без этого нет жизни. И надо решить...

— Для чего же ты уезжал?

— Ах, постой! Ах, сколько мыслей! Сколько надо спросить! Послушай. Ты ведь не можешь представить себе, что ты сделал для меня тем, что сказал. Я так счастлив, что даже гадок стал; я все забыл... Я нынче узнал, что брат Николай... знаешь, он тут... я и про него забыл. Мне кажется, что и он счастлив. Это вроде сумасшествия. Но одно ужасно... Вот ты женился, ты знаешь это чувство... Ужасно то, что мы — старые, уже с прошедшим... не любви, а грехов... вдруг сближаемся с существом чистым, невинным; это отвратительно, и поэтому нельзя не чувствовать себя недостойным.

— Ну, у тебя грехов немного.

— Ах, все-таки, — сказал Левин, — все-таки, «с отвращением читая жизнь мою, я трепещу и проклинаю, и горько жалуюсь...» Да.

— Что ж делать, так мир устроен, — сказал Степан Аркадьич.

— Одно утешение, как в этой молитве, которую я всегда любил, что не по заслугам прости меня, а по милосердию. Так и она только простить может.

XI

Левин выпил свой бокал, и они помолчали.

— Одно еще я тебе должен сказать. Ты знаешь Вронского? — спросил Степан Аркадьич Левина.

— Нет, не знаю. Зачем ты спрашиваешь?

— Подай другую, — обратился Степан Аркадьич к татарину, доливавшему бокалы и вертевшемуся около них, именно когда его не нужно было.

Зачем мне знать Вронского?

из того детски-восторженного выражения, которым только что любовался Облонский, вдруг перешло в злое и неприятное. — Вронский — это один из сыновей графа Кирилла Ивановича Вронского и один из самых лучших образцов золоченой молодежи петербургской. Я его узнал в Твери, когда я там служил, а он приезжал на рекрутский набор. Страшно богат, красив, большие связи, флигель-адъютант и вместе с тем — очень милый, добрый малый. Но более, чем просто добрый малый. Как я его узнал здесь, он и образован и очень умен; это человек, который далеко пойдет. Левин хмурился и молчал. — Ну-с, он появился здесь вскоре после тебя, и, как я понимаю, он по уши влюблен в Кити, и ты понимаешь, что мать... — Извини меня, но я не понимаю ничего, — сказал Левин, мрачно насупливаясь. И тотчас же он вспомнил о брате Николае и о том, как он гадок, что мог забыть о нем. — Ты постой, постой, — сказал Степан Аркадьич, улыбаясь и трогая его руку. — Я тебе сказал то, что я знаю, и повторяю, что в этом тонком, нежном деле, сколько можно догадываться, мне кажется, шансы на твоей стороне. Левин откинулся назад на стул, лицо его было бледно. — Но я бы советовал тебе решить дело как можно скорее, — продолжал Облонский, доливая ему бокал. — Нет, благодарствуй, я больше не могу пить, — сказал Левин, отодвигая свой бокал. — Я буду пьян... Ну, ты как поживаешь? — продолжал он, видимо желая переменить разговор. — Еш,е слово: во всяком случае, советую решить вопрос скорее. Нынче не советую говорить, — сказал Степан Аркадьич. — Поезжай завтра утром, классически, делать предложение, и да благословит тебя бог... — Что ж ты все хотел на охоту ко мне приехать? Вот приезжай весной на тягу, — сказал Левин. Теперь он всею душой раскаивался, что начал этот разговор со Степаном Аркадьичем. Его особенное чувство было осквернено разговором о конкуренции какого-то петербургского офицера, предположениями и советами Степана Аркадьича. Степан Аркадьич улыбнулся. Он понимал, что делалось в душе Левина. 48

из того детски-восторженного выражения, которым только что любовался Облонский, вдруг перешло в злое и неприятное.

— Вронский — это один из сыновей графа Кирилла Ивановича Вронского и один из самых лучших образцов золоченой молодежи петербургской. Я его узнал в Твери, когда я там служил, а он приезжал на рекрутский набор. Страшно богат, красив, большие связи, флигель-адъютант и вместе с тем — очень милый, добрый малый. Но более, чем просто добрый малый. Как я его узнал здесь, он и образован и очень умен; это человек, который далеко пойдет.

Левин хмурился и молчал.

— Ну-с, он появился здесь вскоре после тебя, и, как я понимаю, он по уши влюблен в Кити, и ты понимаешь, что мать...

— Извини меня, но я не понимаю ничего, — сказал Левин, мрачно насупливаясь. И тотчас же он вспомнил о брате Николае и о том, как он гадок, что мог забыть о нем.

— Ты постой, постой, — сказал Степан Аркадьич, улыбаясь и трогая его руку. — Я тебе сказал то, что я знаю, и повторяю, что в этом тонком, нежном деле, сколько можно догадываться, мне кажется, шансы на твоей стороне.

Левин откинулся назад на стул, лицо его было бледно.

— Но я бы советовал тебе решить дело как можно скорее, — продолжал Облонский, доливая ему бокал.

— Нет, благодарствуй, я больше не могу пить, — сказал Левин, отодвигая свой бокал. — Я буду пьян... Ну, ты как поживаешь? — продолжал он, видимо желая переменить разговор.

— Еще слово: во всяком случае, советую решить вопрос скорее. Нынче не советую говорить, — сказал Степан Аркадьич. — Поезжай завтра утром, классически, делать предложение, и да благословит тебя бог...

— Что ж ты все хотел на охоту ко мне приехать? Вот приезжай весной на тягу, — сказал Левин.

Теперь он всею душой раскаивался, что начал этот разговор со Степаном Аркадьичем. Его *особенное* чувство было осквернено разговором о конкуренции какого-то петербургского офицера, предположениями и советами Сте-

— Приеду когда-нибудь, — сказал он. — Да,, брат, жен-: щины — это винт, на котором все вертится. Вот и мое дело плохо, очень плохо. И все от женщин. Ты мне скажи откровенно, — продолжал он, достав сигару и держась одною рукой за бокал, — ты мне дай совет. — Но в чем же? — Вот в чем. Положим, ты женат, ты любить жену, но ты увлекся другою женщиной... — Извини, но я решительно не понимаю этого, как бы... все равно как не понимаю, как бы я теперь, наевшись, тут же пошел мимо калачной и украл бы калач. Глаза Степана Аркадьича блестели больше обыкновенного. — Отчего же? Калач иногда так пахнет, что не удержишься. Himmlisch ist's, wenn ich bezwungen Meine irdische Begier; Aber doch wenn's nicht gelungen, Halt' ich auch recht hübsch Plaisir Говоря это, Степан Аркадьич тонко улыбался. Левин тоже не мог не улыбнуться. — Да, но без шуток, — продолжал Облонский. — Ты пойми, что женщина, милое, кроткое, любящее существо, бедная, одинокая и всем пожертвовала. Теперь, когда уже дело сделано, — ты пойми, — неужели бросить ее? Положим: расстаться, чтобы не разрушить семейную жизнь; но неужели не пожалеть ее, не устроить, не смягчить? — Ну, уж извини меня. Ты знаешь, для меня все женщины делятся на два сорта... то есть нет... вернее: есть женщины, и есть... Я прелестных падших созданий не видал и не увижу, а такие, как та крашеная француженка у конторки, с завитками, — это для меня гадины, и все падшие — такие же. — А евангельская? — Ах, перестань! Христос никогда бы не сказал этих слов, если бы знал, как будут злоупотреблять ими^ Изо всего Евангелия только и помнят эти слова. Впрочем, я говорю не то, что думаю, а то, что чувствую. Я имею отвращение к падшим женщинам. Ты пауков боишься, а я * Великолепно, если я поборол Свою земную страсть; Но если это и не удалось, Я все же испытал блаженство! (нем.) 49:

— Приеду когда-нибудь, — сказал он. — Да, брат, женщины — это винт, на котором все вертится. Вот и мое дело плохо, очень плохо. И все от женщин. Ты мне скажи откровенно, — продолжал он, достав сигару и держась одною рукой за бокал, — ты мне дай совет.

— Но в чем же?

— Вот в чем. Положим, ты женат, ты любишь жену, но ты увлекся другою женщиной...

— Извини, но я решительно не понимаю этого, как бы... все равно как не понимаю, как бы я теперь, наевшись, тут же пошел мимо калачной и украл бы калач.

Глаза Степана Аркадьича блестели больше обыкновенного.

— Отчего же? Калач иногда так пахнет, что не удержишься.

Himmlisch ist's, wenn ich bezwungen
Meine irdische Begier;
Aber doch wenn's nicht gelungen,
Hatt' ich auch recht hübsch Plaisir [1].

Говоря это, Степан Аркадьич тонко улыбался. Левин тоже не мог не улыбнуться.

— Да, но без шуток, — продолжал Облонский. — Ты пойми, что женщина, милое, кроткое, любящее существо, бедная, одинокая и всем пожертвовала. Теперь, когда уже дело сделано, — ты пойми, — неужели бросить ее? Положим: расстаться, чтобы не разрушить семейную жизнь; но неужели не пожалеть ее, не устроить, не смягчить?

— Ну, уж извини меня. Ты знаешь, для меня все женщины делятся на два сорта... то есть нет... вернее: есть женщины, и есть... Я прелестных падших созданий не видал и не увижу, а такие, как та крашеная француженка у конторки, с завитками, — это для меня гадины, и все падшие — такие же.

— А евангельская?

— Ах, перестань! Христос никогда бы не сказал этих слов, если бы знал, как будут злоупотреблять ими. Изо всего Евангелия только и помнят эти слова. Впрочем, я говорю не то, что думаю, а то, что чувствую. Я имею отвращение к падшим женщинам. Ты пауков боишься, а я

этих гадин. Ты ведь, наверно, не изучал пауков и не знаешь их нравов: так и я. — Хорошо тебе так говорить; это все равно, как этот диккенсовский господин, который перебрасывает левою рукой через правое плечо все затруднительные вопросы. Но отрицание факта — не ответ. Что ж делать, ты мне скажи, что делать? Жена стареется, а ты полон жизни. Ты не успеешь оглянуться, как ты уже чувствуешь, что ты не можешь любить любовью жену, как бы ты ни уважал ее. А тут вдруг подвернется любовь, и ты пропал, пропал! — с унылым отчаянием проговорил Степан Аркадьич. Левин усмехнулся. — Да, и пропал, — продолжал Облонский. — Но что же делать? — Не красть калачей. Степан Аркадьич рассмеялся. — О моралист! Но ты пойми, есть две женщины: одна настаивает только на своих правах, и права эти твоя любовь, которой ты не можешь ей дать; а другая жертвует тебе всем и ничего не требует. Что тебе делать? Как поступить? Тут страшная драма. — Если ты хочешь мою исповедь относительно этого, то я скажу тебе, что не верю, чтобы тут была драма. И вот почему. По-моему, любовь... обе любви, которые, помнишь, Платон определяет в своем «Пире», обе любви служат пробным камнем для людей. Одни люди понимают только одну, другие другую. И те, что понимают только неплатоническую любовь, напрасно говорят о драме. При такой любви не может быть никакой драмы. «Покорно вас благодарю за удовольствие, мое почтенье», вот и вся драма. А для платонической любви не может быть драмы, потому что в такой любви все ясно и чисто, потому что... В эту минуту Левин вспомнил о своих грехах и о внутренней борьбе, которую он пережил. И он неожиданно прибавил: — А впрочем, может быть, ты и прав. Очень может быть... Но я не знаю, решительно не знаю. — Вот видишь ли, — сказал Степан Аркадьич, — ты очень цельный человек. Это твое качество и твой недостаток. Ты сам цельный характер и хочешь, чтобы вся жизнь слагалась из цельных явлений, а этого не бывает. Ты вот презираешь общественную служебную деятельность, потому что тебе хочется, чтобы дело постоянно соответст50

этих гадин. Ты ведь, наверно, не изучал пауков и не знаешь их нравов: так и я.

— Хорошо тебе так говорить; это все равно, как этот диккенсовский господин, который перебрасывает левою рукой через правое плечо все затруднительные вопросы. Но отрицание факта — не ответ. Что ж делать, ты мне скажи, что делать? Жена стареется, а ты полон жизни. Ты не успеешь оглянуться, как ты уже чувствуешь, что ты не можешь любить любовью жену, как бы ты ни уважал ее. А тут вдруг подвернется любовь, и ты пропал, пропал! — с унылым отчаянием проговорил Степан Аркадьич.

Левин усмехнулся.

— Да, и пропал, — продолжал Облонский. — Но что же делать?

— Не красть калачей.

Степан Аркадьич рассмеялся.

— О моралист! Но ты пойми, есть две женщины: одна настаивает только на своих правах, и права эти твоя любовь, которой ты не можешь ей дать; а другая жертвует тебе всем и ничего не требует. Что тебе делать? Как поступить? Тут страшная драма.

— Если ты хочешь мою исповедь относительно этого, то я скажу тебе, что не верю, чтобы тут была драма. И вот почему. По-моему, любовь... обе любви, которые, помнишь, Платон определяет в своем «Пире», обе любви служат пробным камнем для людей. Одни люди понимают только одну, другие другую. И те, что понимают только неплатоническую любовь, напрасно говорят о драме. При такой любви не может быть никакой драмы. «Покорно вас благодарю за удовольствие, мое почтенье», вот и вся драма. А для платонической любви не может быть драмы, потому что в такой любви все ясно и чисто, потому что...

В эту минуту Левин вспомнил о своих грехах и о внутренней борьбе, которую он пережил. И он неожиданно прибавил:

— А впрочем, может быть, ты и прав. Очень может быть... Но я не знаю, решительно не знаю.

— Вот видишь ли, — сказал Степан Аркадьич, — ты очень цельный человек. Это твое качество и твой недостаток. Ты сам цельный характер и хочешь, чтобы вся жизнь

вовало цели, а этого не бывает. Ты хочешь тоже, чтобы деятельность одного человека всегда имела цель, чтобы любовь и семейная жизнь всегда были одно. А этого не бывает. Все разнообразие, вся прелесть, вся красота жизни слагается из тени и света. Левин вздохнул и ничего не ответил. Он думал о своем и не слушал Облонского. И вдруг они оба почувствовали, что хотя они и друзья, хотя они обедали вместе и пили вино, которое должно было бы егце более сблизить их, но что каждый думает только о своем и одному до другого нет дела. Облонский уже не раз испытывал это случающееся после обеда крайнее раздвоение вместо сближения и знал, что надо делать в этих случаях. — Счет! — крикнул он и вышел в соседнюю залу, где тотчас же встретил знакомого адъютанта и вступил с ним в разговор об актрисе и ее содержателе. И тотчас же в разговоре с адъютантом Облонский почувствовал облегчение и отдохновение от разговора с Левиным, который вызывал его всегда на слишком большое умственное и душевное напряжение. Когда татарин явился со счетом в двадцать шесть рублей с копейками и с дополнением на водку, Левин, которого в другое время, как деревенского жителя, привел бы в ужас счет на его долю в четырнадцать рублей, теперь не обратил внимания на это, расплатился и отправился домой, чтобы переодеться и ехать к Щербацким, где решится его судьба, XII Княжне Кити Щербацкой было восьмнадцать лет. Она выезжала первую зпму. Успехи ее в свете были больше, чем обеих ее старших сестер, и больше, чехМ даже ожидала княгиня. Мало того, что юноши, танцующие на московских балах, почти все были влюблены в Кити, уже в первую зиму представились две серьезные партии: Левин и, тотчас же после его отъезда, граф Вронский. Появление Левина в начале зимы, его частые посещения и явная любовь к Кити были поводом к первым серьезным разговорам между родителями Кити о ее будущности и к спорам между князем и княгинею. Князь был на стороне Левина, говорил, что он ничего не 51

вовало цели, а этого не бывает. Ты хочешь тоже, чтобы деятельность одного человека всегда имела цель, чтобы любовь и семейная жизнь всегда были одно. А этого не бывает. Все разнообразие, вся прелесть, вся красота жизни слагается из тени и света.

Левин вздохнул и ничего не ответил. Он думал о своем и не слушал Облонского.

И вдруг они оба почувствовали, что хотя они и друзья, хотя они обедали вместе и пили вино, которое должно было бы еще более сблизить их, но что каждый думает только о своем и одному до другого нет дела. Облонский уже не раз испытывал это случающееся после обеда крайнее раздвоение вместо сближения и знал, что надо делать в этих случаях.

— Счет! — крикнул он и вышел в соседнюю залу, где тотчас же встретил знакомого адъютанта и вступил с ним в разговор об актрисе и ее содержателе. И тотчас же в разговоре с адъютантом Облонский почувствовал облегчение и отдохновение от разговора с Левиным, который вызывал его всегда на слишком большое умственное и душевное напряжение.

Когда татарин явился со счетом в двадцать шесть рублей с копейками и с дополнением на водку, Левин, которого в другое время, как деревенского жителя, привел бы в ужас счет на его долю в четырнадцать рублей, теперь не обратил внимания на это, расплатился и отправился домой, чтобы переодеться и ехать к Щербацким, где решится его судьба.

XII

Княжне Кити Щербацкой было восьмнадцать лет. Она выезжала первую зиму. Успехи ее в свете были больше, чем обеих ее старших сестер, и больше, чем даже ожидала княгиня. Мало того, что юноши, танцующие на московских балах, почти все были влюблены в Кити, уже в первую зиму представились две серьезные партии: Левин и, тотчас же после его отъезда, граф Вронский.

Появление Левина в начале зимы, его частые посе-

желает лучшего для Кити. Княгиня же, со свойственною женш,инам привычкой обходить вопрос, говорила, что Кити слишком молода, что Левин ничем не показывает, что имеет серьезные намерения, что Кити не имеет к нему привязанности, и другие доводы; но не говорила главного, того, что она ждет лучшей партии для дочери, и что Левин несимпатичен ей, и что она не понимает его. Когда же Левин внезапно уехал, княгиня была рада и с торя^еством говорила мужу: «Видишь, я была права». Когда же появился Вронский, она еще более была рада, утвердившись в своем мнении, что Кити должна сделать не просто хорошую, но блестящую партию. Для матери не могло быть никакого сравнения между Вронским и Левиным. Матери не нравились в Левине и его странные и резкие суждения, и его неловкость в свете, основанная, как она полагала, на гордости, и его, по ее понятиям, дикая какая-то жизнь в деревне, с занятиями скотиной и мужиками; не нравилось очень и то, что он, влюбленный в ее дочь, ездил в дом полтора месяца, чего-то как будто ждал, высматривал, как будто боялся, не велика ли будет честь, если он сделает предложение, и не понимал, что, ездя в дом, где девушка невеста, надо было объясниться. И вдруг, не объяснившись, уехал. «Хорошо, что он так непривлекателен, что Кити не влюбилась в него», — думала мать. Вронский удовлетворял всем желаниям матери. Очень богат, умен, знатен, на пути блестящей военно-придворной карьеры и обворожительный человек. Нельзя было ничего лучшего я^елать. Вронский на балах явно ухаживал за Кити, танцевал с нею и ездил в дом, стало быть, нельзя было сомневаться в серьезности его намерений. Но, несмотря на то, мать всю эту зиму находилась в страшном беспокойстве и волнении. Сама княгиня вышла замуж тридцать лет тому назад, по сватовству тетки. Жених, о котором было все уже вперед известно, приехал, увидал невесту, и его увидали; сваха тетка узнала и передала взаимно произведенное впечатление; впечатление было хорошее; потом в назначенный день было сделано родителям и принято ожидаемое предложение. Все произошло очень легко и просто. По крайней мере так казалось княгине. Но на своих дочерях она испытала, как не легко и не просто это, кажущееся обыкновенным, дело — выдавать дочерей замуж. 52

желает лучшего для Кити. Княгиня же, со свойственною женщинам привычкой обходить вопрос, говорила, что Кити слишком молода, что Левин ничем не показывает, что имеет серьезные намерения, что Кити не имеет к нему привязанности, и другие доводы; но не говорила главного, того, что она ждет лучшей партии для дочери, и что Левин несимпатичен ей, и что она не понимает его. Когда же Левин внезапно уехал, княгиня была рада и с торжеством говорила мужу: «Видишь, я была права». Когда же появился Вронский, она еще более была рада, утвердившись в своем мнении, что Кити должна сделать не просто хорошую, но блестящую партию.

Для матери не могло быть никакого сравнения между Вронским и Левиным. Матери не нравились в Левине и его странные и резкие суждения, и его неловкость в свете, основанная, как она полагала, на гордости, и его, по ее понятиям, дикая какая-то жизнь в деревне, с занятиями скотиной и мужиками; не нравилось очень и то, что он, влюбленный в ее дочь, ездил в дом полтора месяца, чего-то как будто ждал, высматривал, как будто боялся, не велика ли будет честь, если он сделает предложение, и не понимал, что, ездя в дом, где девушка невеста, надо было объясниться. И вдруг, не объяснившись, уехал. «Хорошо, что он так непривлекателен, что Кити не влюбилась в него», — думала мать.

Вронский удовлетворял всем желаниям матери. Очень богат, умен, знатен, на пути блестящей военно-придворной карьеры и обворожительный человек. Нельзя было ничего лучшего желать.

Вронский на балах явно ухаживал за Кити, танцевал с нею и ездил в дом, стало быть, нельзя было сомневаться в серьезности его намерений. Но, несмотря на то, мать всю эту зиму находилась в страшном беспокойстве и волнении.

Сама княгиня вышла замуж тридцать лет тому назад, по сватовству тетки. Жених, о котором было все уже вперед известно, приехал, увидал невесту, и его увидали; сваха тетка узнала и передала взаимно произведенное впечатление; впечатление было хорошее; потом в назначенный день было сделано родителям и принято ожидаемое предложение. Все прошло очень легко и красиво

Сколько страхов было пережито, сколько мыслей передумано, сколько денег потрачено, сколько столкновений с мужем при выдаче замуж старших двух, Дарьи и Натальи! Теперь, при вывозе меньшой, переживались те же страхи, те же сомнения и еш;е большие, чем из-за старших, ссоры с мужем. Старый князь, как и все отцы, был особенно щепетилен насчет чести и чистоты своих дочерей; он был неблагоразумно ревнив к дочерям, и особенно к Кити, которая была его любимица, и на каждом шагу делал сцены княгине за то, что она компрометирует дочь. Княгиня привыкла к этому еще с первыми дочерьми, но теперь опа чувствовала, что щепетильность князя имеет больше оснований. Она видела, что в последнее время многое изменилось в приемах общества, что обязанности матери стали еще труднее. Она видела, что сверстницы Кити составляли какие-то общества, отправлялись на какие-то курсы, свободно обращались с мужчинами, ездили одни по улицам, многие не приседали и, главное, были все твердо уверены, что выбрать себе мужа есть их дело, а не родителей. «Нынче уж так не выдают замуж, как прежде», — думали и говорили все эти молодые девушки и все даже старые люди. Но как же нынче выдают замуж, княгиня ни от кого не могла узнать. Французский обычай — родителям решать судьбу детей — был не принят, осуждался. Английский обычай — совершенной свободы девушки — был тоже не принят и невозможен в русском обществе. Русский обычай сватовства считался чем-то безобразным, над ним смеялись все и сама княгиня. Но как надо выходить и выдавать замуж, никто не знал. Все, с кем княгине случалось толковать об этом, говорили ей одно: «Помилуйте, в наше время уж пора оставить эту старину. Ведь молодым людям в брак вступать, а не родителям; стало быть, и надо оставить молодых людей устраиваться, как они знают». Но хорошо было говорить так тем, у кого не было дочерей; а княгиня понимала, что при сближении дочь могла влюбиться, и влюбиться в того, кто не захочет жениться, или в того, кто не годится в мужья. И сколько бы ни внушали княгине, что в наше время молодые люди сами должны устраивать свою судьбу, она не могла верить этому, как не могла бы верить тому, что в какое бы то ни было время для пятилетних детей самыми лучшими игрушками должны быть заряженные

пистолеты. И потому княгиня беспокоилась с Кити больше, чем со старшими дочерьми. 53

Сколько страхов было пережито, сколько мыслей передумано, сколько денег потрачено, сколько столкновений с мужем при выдаче замуж старших двух, Дарьи и Натальи! Теперь, при вывозе меньшой, переживались те же страхи, те же сомнения и еще бóльшие, чем из-за старших, ссоры с мужем. Старый князь, как и все отцы, был особенно щепетилен насчет чести и чистоты своих дочерей; он был неблагоразумно ревнив к дочерям, и особенно к Кити, которая была его любимица, и на каждом шагу делал сцены княгине за то, что она компрометирует дочь. Княгиня привыкла к этому еще с первыми дочерьми, но теперь она чувствовала, что щепетильность князя имеет больше оснований. Она видела, что в последнее время многое изменилось в приемах общества, что обязанности матери стали еще труднее. Она видела, что сверстницы Кити составляли какие-то общества, отправлялись на какие-то курсы, свободно обращались с мужчинами, ездили одни по улицам, многие не приседали и, главное, были все твердо уверены, что выбрать себе мужа есть их дело, а не родителей. «Нынче уж так не выдают замуж, как прежде», — думали и говорили все эти молодые девушки и все даже старые люди. Но как же нынче выдают замуж, княгиня ни от кого не могла узнать. Французский обычай — родителям решать судьбу детей — был не принят, осуждался. Английский обычай — совершенной свободы девушки — был тоже не принят и невозможен в русском обществе. Русский обычай сватовства считался чем-то безобразным, над ним смеялись все и сама княгиня. Но как надо выходить и выдавать замуж, никто не знал. Все, с кем княгине случалось толковать об этом, говорили ей одно: «Помилуйте, в наше время уж пора оставить эту старину. Ведь молодым людям в брак вступать, а не родителям; стало быть, и надо оставить молодых людей устраиваться, как они знают». Но хорошо было говорить так тем, у кого не было дочерей; а княгиня понимала, что при сближении дочь могла влюбиться, и влюбиться в того, кто не захочет жениться, или в того, кто не годится в мужья. И сколько бы ни внушали княгине, что в наше время молодые люди сами должны устраивать свою судьбу, она не могла верить этому, как не могла бы

Теперь она боялась, чтобы Вронский не ограничился одним ухаживанием за ее дочерью. Она видела, что дочь уже влюблена в него, но утешала себя тем, что он честный человек и потому не сделает этого. Но вместе с тем она знала, как с нынешнею свободой обраш;ения легко вскружить голову девушки и как вообіце мужчины легко смотрят на эту вину. На прошлой неделе Кити рассказала матери свой разговор во время мазурки с Вронским. Разговор этот отчасти успокоил княгиню; но совершенно спокойною она не могла быть. Вронский сказал Кити, что они, оба брата, так привыкли во всем подчиняться своей матери, что никогда не решатся предпринять что-нибудь важное, не посоветовавшись с нею. «И теперь я жду, как особенного счастья, приезда матушки из Петербурга», — сказал он. Кити рассказала это, не придавая никакого значения этим словам. Но мать поняла это иначе. Она знала, что старуху ждут со дня на день, знала, что старуха будет рада выбору сына, и ей странно было, что он, боясь оскорбить мать, не делает предложения; однако ей так хотелось и самого брака и, более всего, успокоения от своих тревог, что она верила этому. Как ни горько было теперь княгине видеть несчастие старшей дочери Долли, сбиравшейся оставить мужа, волнение о решавшейся судьбе меньшой дочери поглощало все ее чувства. Нынешний день, с появлением Левина, ей прибавилось еще новое беспокойство. Она боялась, чтобы дочь, имевшая, как ей казалось, одно время чувство к Левину, из излишней честности не отказала бы Вронскому и вообще чтобы приезд Левина не запутал, не задержал дела, столь близкого к окончанию. — Что он, давно ли приехал? — сказала княгиня про Левина, когда они вернулись домой. — Нынче, maman. — Я одно хочу сказать... — начала княгиня, и по серьезно-оживленному лицу ее Кити угадала, о чем будет речь, — Мама, — сказала она, вспыхнув и быстро поворачиваясь к ней, — пожалуйста, пожалуйста, не говорите ничего про это. Я знаю, я все знаю. Она желала того же, чего желала и мать, по мотивы желания матери оскорбляли ее. — Я только хочу сказать, что, подав надежду одному..^ — Мама, голубчик, ради бога, не говорите. Так страшно говорить про это. 54

Теперь она боялась, чтобы Вронский не ограничился одним ухаживанием за ее дочерью. Она видела, что дочь уже влюблена в него, но утешала себя тем, что он честный человек и потому не сделает этого. Но вместе с тем она знала, как с нынешнею свободой обращения легко вскружить голову девушки и как вообще мужчины легко смотрят на эту вину. На прошлой неделе Кити рассказала матери свой разговор во время мазурки с Вронским. Разговор этот отчасти успокоил княгиню; но совершенно спокойною она не могла быть. Вронский сказал Кити, что они, оба брата, так привыкли во всем подчиняться своей матери, что никогда не решатся предпринять что-нибудь важное, не посоветовавшись с нею. «И теперь я жду, как особенного счастья, приезда матушки из Петербурга», — сказал он.

Кити рассказала это, не придавая никакого значения этим словам. Но мать поняла это иначе. Она знала, что старуху ждут со дня на день, знала, что старуха будет рада выбору сына, и ей странно было, что он, боясь оскорбить мать, не делает предложения; однако ей так хотелось и самого брака и, более всего, успокоения от своих тревог, что она верила этому. Как ни горько было теперь княгине видеть несчастие старшей дочери Долли, сбиравшейся оставить мужа, волнение о решавшейся судьбе меньшой дочери поглощало все ее чувства. Нынешний день, с появлением Левина, ей прибавилось еще новое беспокойство. Она боялась, чтобы дочь, имевшая, как ей казалось, одно время чувство к Левину, из излишней честности не отказала бы Вронскому и вообще чтобы приезд Левина не запутал, не задержал дела, столь близкого к окончанию.

— Что он, давно ли приехал? — сказала княгиня про Левина, когда они вернулись домой.

— Нынче, maman.

— Я одно хочу сказать... — начала княгиня, и по серьезно-оживленному лицу ее Кити угадала, о чем будет речь.

— Мама, — сказала она, вспыхнув и быстро поворачиваясь к ней, — пожалуйста, пожалуйста, не говорите ничего про это. Я знаю, я все знаю.

Она желала того же, чего желала и мать, но мотивы

— Не буду, не буду, — сказала мать, увидав слезы на глазах дочери, — но одно, моя душа: ты мне обещ,ала, что у тебя не будет от меня тайны. Не будет? — Никогда, мама, никакой, — отвечала Кити, покраснев и взглянув прямо в лицо матери. — Но мне нечего говорить теперь. Я... я... если бы хотела, я не знаю, что сказать и как... я не знаю... «Нет, неправду не может она сказать с этими глазами», — подумала мать, улыбаясь па ее волнепке и счастие. Княгиня улыбалась тому, как огромно и значительно кажется ей, бедняжке, то, что происходит теперь в ее душе. XIII Кити испытывала после обеда до начала вечера чувство, подобное тому, какое испытывает юноша пред битвою. Сердце ее билось сильно, и мысли не могли ни па чем остановиться. Опа чувствовала, что нынешний вечер, когда они оба в первый раз встречаются, должен быть решительный в ее судьбе. И опа беспрестанно представляла себе их, то каждого порознь, то вместе обоих. Когда она думала о прошедшем, опа с удовольствием, с нежностью останавливалась на воспоминаниях своих отношений к Левину. Воспоминания детства и воспоминания о дружбе Левина с ее умершим братом придавали особенную поэтшіескую прелесть ее отношениям с ним. Его любовь к ней, в которой она была уверена, была лестна и радостна ей. И ей легко было вспоминать о Левине. К воспоминаниям о Вронском, напротив, примешивалось что-то неловкое, хотя он был в высшей степени светский и спокойный человек; как будто фальшь какая-то была, — не в нем, он был очень прост и мил, — но в пей самой, тогда как с Левиным она чувствовала себя совершенно простою и ясною. Но зато, как только она думала о будущем с Вронским, пред ней вставала перспектива блестяще-счастливая; с Левиным же будущность представлялась туманною. Взойдя наверх одеться для вечера и взглянув в зеркало, она с радостью заметила, что она в одном из своих хороших дней и в полном обладании всеми своими силами, а это ей так нужно было для предстоящего: она чувствовала в себе внешнюю тишину и свободную грацию двп>кений, 55

— Не буду, не буду, — сказала мать, увидав слезы на глазах дочери, — но одно, моя душа: ты мне обещала, что у тебя не будет от меня тайны. Не будет?

— Никогда, мама, никакой, — отвечала Кити, покраснев и взглянув прямо в лицо матери. — Но мне нечего говорить теперь. Я... я... если бы хотела, я не знаю, что сказать и как... я не знаю...

«Нет, неправду не может она сказать с этими глазами», — подумала мать, улыбаясь на ее волнение и счастие. Княгиня улыбалась тому, как огромно и значительно кажется ей, бедняжке, то, что происходит теперь в ее душе.

XIII

Кити испытывала после обеда до начала вечера чувство, подобное тому, какое испытывает юноша пред битвою. Сердце ее билось сильно, и мысли не могли ни на чем остановиться.

Она чувствовала, что нынешний вечер, когда они оба в первый раз встречаются, должен быть решительный в ее судьбе. И она беспрестанно представляла себе их, то каждого порознь, то вместе обоих. Когда она думала о прошедшем, она с удовольствием, с нежностью останавливалась на воспоминаниях своих отношений к Левину. Воспоминания детства и воспоминания о дружбе Левина с ее умершим братом придавали особенную поэтическую прелесть ее отношениям с ним. Его любовь к ней, в которой она была уверена, была лестна и радостна ей. И ей легко было вспоминать о Левине. К воспоминаниям о Вронском, напротив, примешивалось что-то неловкое, хотя он был в высшей степени светский и спокойный человек; как будто фальшь какая-то была, — не в нем, он был очень прост и мил, — но в ней самой, тогда как с Левиным она чувствовала себя совершенно простою и ясною. Но зато, как только она думала о будущем с Вронским, пред ней вставала перспектива блестяще-счастливая; с Левиным же будущность представлялась туманною.

Взойдя наверх одеться для вечера и взглянув в зеркало, она с радостью заметила, что она в одном из своих

в половине восьмого, только что она сошла в гостиную, лакей доложил: «Константин Дмитрии Левин». Княгиня была еще в своей комнате, и князь не выходил. «Так и есть», — подумала Кити, и вся кровь прилила ей к сердцу. Она ужаснулась своей бледности, взглянув в зеркало. Теперь она верно знала, что он затем и приехал раньше, чтобы застать ее одну и сделать предложение. И тут только в первый раз все дело представилось ей совсем с другой, новой стороны. Тут только она поняла, что вопрос касается не ее одной, — с кем она будет счастлива и кого она любит, — но что сию минуту она должна оскорбить человека, которого она любит. И оскорбить жестоко... За что? За то, что он, милый, любит ее, влюблен в нее. Но, делать нечего, так нужно, так должно. «Боже мой, неужели это я должна сама сказать ему? — подумала она. — Ну что я скажу ему? Неужели я скажу ему, что я его не люблю? Это будет неправда. Что ж я скажу ему? Скажу, что люблю другого? Нет, это невозможно. Я уйду, уйду». Она уже подходила к дверям, когда услыхала его шаги. «Нет! нечестно. Чего мне бояться? Я ничего дурного не сделала. Что будет, то будет! Скажу правду. Да с ним не может быть неловко. Вот он», — сказала она себе, увидав всю его сильную и робкую фигуру с блестящими, устремленными на себя глазами. Она прямо взглянула ему в лицо, как бы умоляя его о пощаде, и подала руку— Я не вовремя, кажется, слишком рано, — сказал он, оглянув пустую гостиную. Когда он увидал, что его ожидания сбылись, что ничто не мешает ему высказаться, лицо его сделалось мрачно. — О, нет, — сказала Кити и села к столу. — Но я только того и хотел, чтобы застать вас одну, — начал он, не садясь и не глядя на нее, чтобы не потерять смелости. — Мама сейчас выйдет. Она вчера очень устала. Вчера... Она говорила, сама не зная, что говорят ее губы, и не спуская с него умоляющего и ласкающего взгляда. Он взглянул на нее; она покраснела и замолчала. — Я сказал вам, что не знаю, надолго ли я приехал... что это от вас зависит... Она все ниже и ниже склоняла голову, не зная сама, что будет отвечать на приближавшееся. 56

В половине восьмого, только что она сошла в гостиную, лакей доложил: «Константин Дмитрич Левин». Княгиня была еще в своей комнате, и князь не выходил. «Так и есть», — подумала Кити, и вся кровь прилила ей к сердцу. Она ужаснулась своей бледности, взглянув в зеркало.

Теперь она верно знала, что он затем и приехал раньше, чтобы застать ее одну и сделать предложение. И тут только в первый раз все дело представилось ей совсем с другой, новой стороны. Тут только она поняла, что вопрос касается не ее одной, — с кем она будет счастлива и кого она любит, — но что сию минуту она должна оскорбить человека, которого она любит. И оскорбить жестоко... За что? За то, что он, милый, любит ее, влюблен в нее. Но, делать нечего, так нужно, так должно.

«Боже мой, неужели это я должна сама сказать ему? — подумала она. — Ну что я скажу ему? Неужели я скажу ему, что я его не люблю? Это будет неправда. Что ж я скажу ему? Скажу, что люблю другого? Нет, это невозможно. Я уйду, уйду».

Она уже подходила к дверям, когда услыхала его шаги. «Нет! нечестно. Чего мне бояться? Я ничего дурного не сделала. Что будет, то будет! Скажу правду. Да с ним не может быть неловко. Вот он», — сказала она себе, увидав всю его сильную и робкую фигуру с блестящими, устремленными на себя глазами. Она прямо взглянула ему в лицо, как бы умоляя его о пощаде, и подала руку.

— Я не вовремя, кажется, слишком рано, — сказал он, оглянув пустую гостиную. Когда он увидал, что его ожидания сбылись, что ничто не мешает ему высказаться, лицо его сделалось мрачно.

— О, нет, — сказала Кити и села к столу.

— Но я только того и хотел, чтобы застать вас одну, — начал он, не садясь и не глядя на нее, чтобы не потерять смелости.

— Мама сейчас выйдет. Она вчера очень устала. Вчера...

Она говорила, сама не зная, что говорят ее губы, и не спуская с него умоляющего и ласкающего взгляда.

Он взглянул на нее; она покраснела и замолчала.

Что это от вас зависит, — повторил он. — Я хотел сказать... я хотел сказать... Я за этим приехал... что... быть моею женой! — проговорил он, ие зная сам, что говорил; но, почувствовав, что самое страшное сказано, остановился и посмотрел на нее. Она тяжело дышала, не глядя на него. Она испытывала восторг. Душа ее была переполнена счастьем. Она никак не ожидала, что высказанная любовь его произведет на нее такое сильное впечатление. Но это продолжалось только одно мгновение. Она вспомнила Вронского. Она подняла на Левина свои светлые правдивые глаза и, увидав его отчаянное лицо, поспешно ответила: — Этого не может быть... простите меня... Как за минуту тому назад она была близка ему, как важна для его жизни! И как теперь она стала чужда и далека ему! — Это не могло быть иначе, — сказал он, не глядя на нее. Он поклонился и хотел уйти. XIV Но в это самое время вышла княгиня. На лице ее изобразился ужас, когда она увидела их одних и их расстроенные лица. Левин поклонился ей и ничего не сказал. Кити молчала, не поднимая глаз. «Слава богу, отказала», — подумала мать, и лицо ее просияло обычною улыбкой, с которою она встречала по четвергам гостей. Она села и начала расспрашивать Левина о его жизни в деревне. Он сел опять, ожидая приезда гостей, чтоб уехать незаметно. Через пять минут вошла подруга Кити, прошлую зиму вышедшая замуж, графиня Нордстон. Это была сухая, желтая, с черными блестящими глазами, болезненная, нервная женщина. Она любила Кити, и любовь ее к пей, как и всегда любовь замужних к девушкам, выражалась в желании выдать Кити по своему идеалу счастья замуж, и потому желала выдать ее за Вронского. Левин, которого она в начале зимы часто у них встречала, был всегда неприятен ей. Ее постоянное и любимое занятие при встрече с ним состояло в том. чтобы шутить над ним. 57

— Что это от вас зависит, — повторил он. — Я хотел сказать... я хотел сказать... Я за этим приехал... что... быть моею женой! — проговорил он, не зная сам, что говорил; но, почувствовав, что самое страшное сказано, остановился и посмотрел на нее.

Она тяжело дышала, не глядя на него. Она испытывала восторг. Душа ее была переполнена счастьем. Она никак не ожидала, что высказанная любовь его произведет на нее такое сильное впечатление. Но это продолжалось только одно мгновение. Она вспомнила Вронского. Она подняла на Левина свои светлые правдивые глаза и, увидав его отчаянное лицо, поспешно ответила:

— Этого не может быть... простите меня...

Как за минуту тому назад она была близка ему, как важна для его жизни! И как теперь она стала чужда и далека ему!

— Это не могло быть иначе, — сказал он, не глядя на нее.

Он поклонился и хотел уйти.

XIV

Но в это самое время вышла княгиня. На лице ее изобразился ужас, когда она увидела их одних и их расстроенные лица. Левин поклонился ей и ничего не сказал. Кити молчала, не поднимая глаз. «Слава богу, отказала», — подумала мать, и лицо ее просияло обычною улыбкой, с которою она встречала по четвергам гостей. Она села и начала расспрашивать Левина о его жизни в деревне. Он сел опять, ожидая приезда гостей, чтоб уехать незаметно.

Через пять минут вошла подруга Кити, прошлую зиму вышедшая замуж, графиня Нордстон.

Это была сухая, желтая, с черными блестящими глазами, болезненная, нервная женщина. Она любила Кити, и любовь ее к ней, как и всегда любовь замужних к девушкам, выражалась в желании выдать Кити по своему идеалу счастья замуж, и потому желала выдать ее за Вронского. Левин, которого она в начале зимы часто

я люблю, когда on с высоты своего величия смотрит на меня: или прекращает свой умный разговор со мной, потому что я глупа, или снисходит. Я это очень люблю: снисходит до меня! Я очень рада, что он меня терпеть не может, — говорила опа о нем. Опа была права, потому что действительно Левин терпеть ее не мог и презирал за то, чем она гордилась и что ставила себе в достоинство, — за ее нервность, за се утонченное презрение и равнодушие ко всему грубому п житейскому. Между Нордстон и Левиным установилось то нередко встречающееся в свете отношение, что два человека, оставаясь по внешности в дружелюбных отношениях, презирают друг друга до такой степени, что не могут даже серьезно обращаться друг с другом и не могут даже быть оскорблены один другим. Графиня Нордстон тотчас же накинулась на Левина. — А! Константин Дмитрии ! Опять приехали в наш развратный Вавилон, — сказала она, подавая ему крошечную желтую руку и вспоминая его слова, сказанные как-то в начале зимы, что Москва есть Вавилон. — Что, Вавилон исправился или вы испортились? — прибавила она, с усмешкой оглядываясь на Кити. — Мне очень лестно, графиня, что вы так помните мои слова, — отвечал Левин, успевший оправиться и сейчас же по привычке входя в свое шуточно-враждебное отношение к графине Нордстон. — Верно, они па вас очень сильно действуют. — Ах, как же! Я все записываю. Ну что, Кити, ты опять каталась на коньках?.. И она стала говорить с Кити. Как ни неловко было Левину уйти теперь, ему все-таки легче было сделать эту неловкость, чем остаться весь вечер и видеть Кити, которая изредка взглядывала на него и избегала его взгляда. Он хотел встать, но княгиня, заметив, что он молчит, обратилась к нему: — Вы надолго приехали в Москву? Ведь вы, кажется, мировым земством занимаетесь, и вам нельзя надолго. — Нет, княгиня, я не занимаюсь более земством, — сказал он. — Я приехал па несколько дней. «Что-то с ним нынче особенное, — подумала графиня Нордстон, вглядываясь в его строгое, серьезное лрщо, — что-то он не втягивается в свои рассуждения. Но я уж 58

— Я люблю, когда он с высоты своего величия смотрит на меня: или прекращает свой умный разговор со мной, потому что я глупа, или снисходит. Я это очень люблю: *снисходит* до меня! Я очень рада, что он меня терпеть не может, — говорила она о нем.

Она была права, потому что действительно Левин терпеть ее не мог и презирал за то, чем она гордилась и что ставила себе в достоинство, — за ее нервность, за ее утонченное презрение и равнодушие ко всему грубому и житейскому.

Между Нордстон и Левиным установилось то нередко встречающееся в свете отношение, что два человека, оставаясь по внешности в дружелюбных отношениях, презирают друг друга до такой степени, что не могут даже серьезно обращаться друг с другом и не могут даже быть оскорблены один другим.

Графиня Нордстон тотчас же накинулась на Левина.

— А! Константин Дмитрич! Опять приехали в наш развратный Вавилон, — сказала она, подавая ему крошечную желтую руку и вспоминая его слова, сказанные как-то в начале зимы, что Москва есть Вавилон. — Что, Вавилон исправился или вы испортились? — прибавила она, с усмешкой оглядываясь на Кити.

— Мне очень лестно, графиня, что вы так помните мои слова, — отвечал Левин, успевший оправиться и сейчас же по привычке входя в свое шуточно-враждебное отношение к графине Нордстон. — Верно, они на вас очень сильно действуют.

— Ах, как же! Я все записываю. Ну что, Кити, ты опять каталась на коньках?..

И она стала говорить с Кити. Как ни неловко было Левину уйти теперь, ему все-таки легче было сделать эту неловкость, чем остаться весь вечер и видеть Кити, которая изредка взглядывала на него и избегала его взгляда. Он хотел встать, но княгиня, заметив, что он молчит, обратилась к нему:

— Вы надолго приехали в Москву? Ведь вы, кажется, мировым земством занимаетесь, и вам нельзя надолго.

— Нет, княгиня, я не занимаюсь более земством, —

выведу его. Ужасно люблю сделать его дураком пред Китп, и сделаю». — Константин Дмитрии, — сказала она ему, — растолкуйте мне, пожалуйста, что такое значит, — вы всё это знаете, — у нас в калужской деревне все мужики и все бабы все пропили, что у них было, и теперь ничего нам не платят. Что это значит? Вы так хвалите всегда мужиков. В это время еще дама вошла в комнату, и Левин встал. — Извините меня, графиня, но я, право, ничего этого не знаю и ничего не могу вам сказать, — сказал он и оглянулся на входившего вслед за дамой военного. «Это должен быть Вронский», — подумал Левин и, чтоб убедиться в этом, взглянул на Кити. Она уже успела взглянуть на Вронского и оглянулась на Левина. И по одному этому взгляду невольно просиявших глаз ее Левин понял, что она любила этого человека, понял так же верно, как если б она сказала ему это словами. Но что же это за человек? Теперь, — хорошо ли это, дурно ли, — Левин не мог не остаться; ему нужно было узнать, что за человек был тот, кого она любила. Есть люди, которые, встречая своего счастливого в чем бы то ни было соперника, готовы сейчас же отвернуться от всего хорошего, что есть в нем, и видеть в нем одно дурное; есть люди, которые, напротив, более всего желают найти в этом счастливом сопернике те качества, которыми он победил их, и ищут в нем со щемящею болью в сердце одного хорошего. Левин принадлежал к таким людям. Но ему нетрудно было отыскать хорошее и привлекательное во Вронском. Оно сразу бросилось ему в глаза. Вронский был невысокий, плотно сложенный брюнет, с добродушно-красивым, чрезвычайно спокойным и твердым лицом. В его лице и фигуре, от коротко обстриженных черных волос и свежевыбритого подбородка до широкого с иголочки нового мундира, все было просто и вместе изящно. Дав дорогу входившей даме, Вронский подошел к княгине и потом к Кити. В то время как он подходил к ней, красивые глаза его особенно нежно заблестели, и с чуть заметною счастливою и скромно-торжествующею улыбкой (так показалось Левину), почтительно и осторожно наклонясь над нею, он протянул ей свою небольшую, но широкую руку. 59

выведу его. Ужасно люблю сделать его дураком пред Кити, и сделаю».

— Константин Дмитрич, — сказала она ему, — растолкуйте мне, пожалуйста, что такое значит, — вы всё это знаете, — у нас в калужской деревне все мужики и все бабы все пропили, что у них было, и теперь ничего нам не платят. Что это значит? Вы так хвалите всегда мужиков.

В это время еще дама вошла в комнату, и Левин встал.

— Извините меня, графиня, но я, право, ничего этого не знаю и ничего не могу вам сказать, — сказал он и оглянулся на входившего вслед за дамой военного.

«Это должен быть Вронский», — подумал Левин и, чтоб убедиться в этом, взглянул на Кити. Она уже успела взглянуть на Вронского и оглянулась на Левина. И по одному этому взгляду невольно просиявших глаз ее Левин понял, что она любила этого человека, понял так же верно, как если б она сказала ему это словами. Но что же это за человек?

Теперь, — хорошо ли это, дурно ли, — Левин не мог не остаться; ему нужно было узнать, что за человек был тот, кого она любила.

Есть люди, которые, встречая своего счастливого в чем бы то ни было соперника, готовы сейчас же отвернуться от всего хорошего, что есть в нем, и видеть в нем одно дурное; есть люди, которые, напротив, более всего желают найти в этом счастливом сопернике те качества, которыми он победил их, и ищут в нем со щемящею болью в сердце одного хорошего. Левин принадлежал к таким людям. Но ему нетрудно было отыскать хорошее и привлекательное во Вронском. Оно сразу бросилось ему в глаза. Вронский был невысокий, плотно сложенный брюнет, с добродушно-красивым, чрезвычайно спокойным и твердым лицом. В его лице и фигуре, от коротко обстриженных черных волос и свежевыбритого подбородка до широкого с иголочки нового мундира, все было просто и вместе изящно. Дав дорогу входившей даме, Вронский подошел к княгине и потом к Кити.

В то время как он подходил к ней, красивые глаза

Со всеми поздоровавшись и сказав несколько слов, он сел, ни разу не взглянув на не спускавшего с него глаз Левина. — Позвольте вас познакомить, — сказала княгиня, указывая на Левина. — Константин Дмитрия Левин. Граф Алексей Кириллович Вронский. Вронский встал и, дружелюбно глядя в глаза Левину, пожал ему руку. — Я нынче зимой должен был, кажется, обедать с вами, — сказал он, улыбаясь своею простою и открытою улыбкой, — но вы неожиданно уехали в деревню. — Константин Дмитрия презирает и ненавидит город и нас, горожан, — сказала графиня Нордстон. — Должно быть, мои слова на вас сильно действуют, что вы их так помните, — сказал Левин и, вспомнив, что он уже сказал это прежде, покраснел. Вронский взглянул на Левина и графиню Нордстон и улыбнулся. — А вы всегда в деревне? — спросил он. — Я думаю, зимой скучно? — Не скучно, если есть занятия, да и с самим собой не скучно, — резко отвечал Левин. — Я люблю деревню, — сказал Вронский, замечая и делая вид, что не замечает тона Левина. — Но надеюсь, граф, что вы бы не согласились жить всегда в деревне, — сказала графиня Нордстон. — Не знаю, я не пробовал подолгу. Я испытал странное чувство, — продолжал он. — Я нигде так не скучал по деревне, русской деревне, с лаптями и мужиками, как прожив с матушкой зиму в Ницце. Ницца сама по себе скучна, вы знаете. Да и Неаполь, Сорренто хороши только на короткое время. И именно там особенно живо вспоминается Россия, и именно деревня. Они точно как... Он говорил, обрапцаясь и к Кити и к Левину и переводя с одного на другого свой спокойный и дружелюбный взгляд, — говорил, очевидно, что приходило в голову. Заметив, что графиня Нордстон хотела что-то сказать, он остановился, не досказав начатого, и стал внимательно слушать ее. Разговор не умолкал ни на минуту, так что старой княгине, всегда имевшей про запас, на случай неимения темы, два тяжелые орудия: классическое и реальное образование и обш,ую воинскую повинность, не пришлось 60

Со всеми поздоровавшись и сказав несколько слов, он сел, ни разу не взглянув на не спускавшего с него глаз Левина.

— Позвольте вас познакомить, — сказала княгиня, указывая на Левина. — Константин Дмитрич Левин. Граф Алексей Кириллович Вронский.

Вронский встал и, дружелюбно глядя в глаза Левину, пожал ему руку.

— Я нынче зимой должен был, кажется, обедать с вами, — сказал он, улыбаясь своею простою и открытою улыбкой, — но вы неожиданно уехали в деревню.

— Константин Дмитрич презирает и ненавидит город и нас, горожан, — сказала графиня Нордстон.

— Должно быть, мои слова на вас сильно действуют, что вы их так помните, — сказал Левин и, вспомнив, что он уже сказал это прежде, покраснел.

Вронский взглянул на Левина и графиню Нордстон и улыбнулся.

— А вы всегда в деревне? — спросил он. — Я думаю, зимой скучно?

— Не скучно, если есть занятия, да и с самим собой не скучно, — резко отвечал Левин.

— Я люблю деревню, — сказал Вронский, замечая и делая вид, что не замечает тона Левина.

— Но надеюсь, граф, что вы бы не согласились жить всегда в деревне, — сказала графиня Нордстон.

— Не знаю, я не пробовал подолгу. Я испытал странное чувство, — продолжал он. — Я нигде так не скучал по деревне, русской деревне, с лаптями и мужиками, как прожив с матушкой зиму в Ницце. Ницца сама по себе скучна, вы знаете. Да и Неаполь, Сорренто хороши только на короткое время. И именно там особенно живо вспоминается Россия, и именно деревня. Они точно как...

Он говорил, обращаясь и к Кити и к Левину и переводя с одного на другого свой спокойный и дружелюбный взгляд, — говорил, очевидно, что приходило в голову.

Заметив, что графиня Нордстон хотела что-то сказать, он остановился, не досказав начатого, и стал внимательно слушать ее.

Разговор не умолкал ни на минуту, так что старой

выдвигать их, а графине Нордстон не пришлось подразнить Левина. Левин хотел и не мог вступить в общий разговор; ежеминутно говоря себе: «теперь уйти», он не уходил, чего-то дожидаясь. Разговор зашел о вертящихся столах и духах, и графиня Нордстон, верившая в спиритизм, стала рассказывать чудеса, которые она видела. — Ах, графиня, непременно свезите, ради бога, свезите меня к ним! Я никогда ничего не видал необыкновенного, хотя везде отыскиваю, — улыбаясь, сказал Вронский. — Хорошо, в будущую субботу, — отвечала графиня Нордстон. — Но вы, Константин Дмитрии, верите? — спросила она Левина. — Зачем вы меня спрашиваете? Ведь вы знаете, что я скажу. — - Но я хочу слышать ваше мнение. — Мое мнение только то, — отвечал Левин, — что эти вертящиеся столы доказывают, что так называемое образованное общество не выше мужиков. Они верят в глаз, и в порчу, и в привороты, а мы... — Что ж, вы не верите? — Не могу верить, графиня. — Но если я сама видела? — И бабы рассказывают, как они сами видели домовых. — Так вы думаете, что я говорю неправду? И она невесело засмеялась. — Да нет. Маша, Константин Дмитрии говорит, что он не может верить, — сказала Кити, краснея за Левина, и Левин понял это и, еще более раздражившись, хотел отвечать, но Вронский со своею открытою веселою улыбкой тотчас же пришел на помощь разговору, угрожавшему сделаться неприятным. — Вы совсем не допускаете возможности? — спросил он. — Почему же мы допускаем существование электричества, которого мы не знаем; почему не может быть новая сила, еще нам неизвестная, которая... — Когда найдено было электричество, — быстро перебил Левин, — то было только открыто явление, и неизвестно было, откуда оно происходит и что оно производит, и века прошли прежде, чем подумали о приложении его. Спириты же, напротив, начали с того, что столики им пишут и духи к ним приходят, а потом уже стали говорить, что это есть сила неизвестная. 61

выдвигать их, а графине Нордстон не пришлось подразнить Левина.

Левин хотел и не мог вступить в общий разговор; ежеминутно говоря себе: «теперь уйти», он не уходил, чего-то дожидаясь.

Разговор зашел о вертящихся столах и духах, и графиня Нордстон, верившая в спиритизм, стала рассказывать чудеса, которые она видела.

— Ах, графиня, непременно свезите, ради бога, свезите меня к ним! Я никогда ничего не видал необыкновенного, хотя везде отыскиваю, — улыбаясь, сказал Вронский.

— Хорошо, в будущую субботу, — отвечала графиня Нордстон. — Но вы, Константин Дмитрич, верите? — спросила она Левина.

— Зачем вы меня спрашиваете? Ведь вы знаете, что я скажу.

— Но я хочу слышать ваше мнение.

— Мое мнение только то, — отвечал Левин, — что эти вертящиеся столы доказывают, что так называемое образованное общество не выше мужиков. Они верят в глаз, и в порчу, и в привороты, а мы...

— Что ж, вы не верите?

— Не могу верить, графиня.

— Но если я сама видела?

— И бабы рассказывают, как они сами видели домовых.

— Так вы думаете, что я говорю неправду?

И она невесело засмеялась.

— Да нет, Маша, Константин Дмитрич говорит, что он не может верить, — сказала Кити, краснея за Левина, и Левин понял это и, еще более раздражившись, хотел отвечать, но Вронский со своею открытою веселою улыбкой тотчас же пришел на помощь разговору, угрожавшему сделаться неприятным.

— Вы совсем не допускаете возможности? — спросил он. — Почему же мы допускаем существование электричества, которого мы не знаем; почему не может быть новая сила, еще нам неизвестная, которая...

— Когда найдено было электричество, — быстро перебил Левин, — то было только открыто явление, и неизвестно было, откуда оно происходит и что оно производит, и века прошли прежде, нем подумали о приложении

Вронский внимательно слушал Левина, как он всегда слушал, очевидно, интересуясь его словами. — Да, но спириты говорят: теперь мы не знаем, что это за сила, но сила есть, и вот при каких условиях она действует. А ученые пускай разбирают, в чем состоит эта сила. Нет, я не вия^у, почему это не моя^ет быть новая сила, если она... — А потому, — опять перебил Левин, — что при электричестве каждый раз, как вы потрете смолу о шерсть, обнаруживается известное явление, а здесь не каждый раз, стало быть, это не природное явление. Вероятно, чувствуя, что разговор принимает слишком серьезный для гостиной характер, Вронский не возражал, а, стараясь переменить предмет разговора, весело улыбнулся и повернулся к дамам. — Давайте сейчас попробуем, графиня, — начал он; но Левин хотел досказать то, что он думал. — Я думаю, — продолжал он, — что эта попытка спиритов объяснять свои чудеса какою-то новою силой — самая неудачная. Они прямо говорят о силе духовной и хотят ее подвергать материальному опыту. Все ждали, когда он кончит, и он чувствовал это. — А я думаю, что вы будете отличный медиум, — сказала графиня Нордстон, — в вас есть что-то восторженное. Левин открыл рот, хотел сказать что-то, покраснел и ничего не сказал. — Давайте сейчас, княяша, испытаем столы, пожалуйста, — сказал Вронский. — Княгиня, вы позволите? И Вронский встал, отыскивая глазами столик. Кити встала за столиком и, проходя мимо, встретилась глазами с Левиным. Ей всею душой было жалко его, тем более что она жалела его в несчастий, которого сама была причиною. «Если можно меня простить, то простите, — сказал ее взгляд, -- я так счастлива». «Всех ненавижу, и вас, и себя», — отвечал его взгляд, и оп взялся за шляпу. Но ему не судьба была уйти. Только что хотели устраиваться около столика, а Левин уйти, как вошел старый князь и, поздоровавшись с дамами, обратился к Левину. — А! — - начал он радостно. — Давно ли? Я и не знал, что ты тут. Очень рад вас видеть. Старый князь иногда «ты», иногда «вы» говорил Левину. Он обнял Левина и, говоря с ним, не замечал Врон62

Вронский внимательно слушал Левина, как он всегда слушал, очевидно, интересуясь его словами.

— Да, но спириты говорят: теперь мы не знаем, что это за сила, но сила есть, и вот при каких условиях она действует. А ученые пускай разбирают, в чем состоит эта сила. Нет, я не вижу, почему это не может быть новая сила, если она...

— А потому, — опять перебил Левин, — что при электричестве каждый раз, как вы потрете смолу о шерсть, обнаруживается известное явление, а здесь не каждый раз, стало быть, это не природное явление.

Вероятно, чувствуя, что разговор принимает слишком серьезный для гостиной характер, Вронский не возражал, а, стараясь переменить предмет разговора, весело улыбнулся и повернулся к дамам.

— Давайте сейчас попробуем, графиня, — начал он; но Левин хотел досказать то, что он думал.

— Я думаю, — продолжал он, — что эта попытка спиритов объяснять свои чудеса какою-то новою силой — самая неудачная. Они прямо говорят о силе духовной и хотят ее подвергать материальному опыту.

Все ждали, когда он кончит, и он чувствовал это.

— А я думаю, что вы будете отличный медиум, — сказала графиня Нордстон, — в вас есть что-то восторженное.

Левин открыл рот, хотел сказать что-то, покраснел и ничего не сказал.

— Давайте сейчас, княжна, испытаем столы, пожалуйста, — сказал Вронский. — Княгиня, вы позволите?

И Вронский встал, отыскивая глазами столик.

Кити встала за столиком и, проходя мимо, встретилась глазами с Левиным. Ей всею душой было жалко его, тем более что она жалела его в несчастии, которого сама была причиною. «Если можно меня простить, то простите, — сказал ее взгляд, — я так счастлива».

«Всех ненавижу, и вас, и себя», — отвечал его взгляд, и он взялся за шляпу. Но ему не судьба была уйти. Только что хотели устраиваться около столика, а Левин уйти, как вошел старый князь и, поздоровавшись с дамами, обратился к Левину.

— А! — начал он радостно. — Давно ли? Я и не знал.

ского, который встал и спокойно дожидался, когда князь обратится к нему. Кити чувствовала, как после того, что произошло, любезность отца была тяжела Левину. Она видела также, как холодно отец ее, наконец, ответил на поклон Вронского и как Вронский с дружелюбным недоумением посмотрел на ее отца, стараясь понять и не понимая, как и за что можно было быть к нему недружелюбно расположенным, и она покраснела. — Князь, отпустите нам Константина Дмитрича, — сказала графиня Нордстон. — Мы хотим опыт делать. — Какой опыт? столы вертеть? Ну, извините меня, дамы и господа, но, по-моему, в колечко веселее играть, — сказал старый князь, глядя на Вронского и догадываясь, что он затеял это. — В колечке еще есть смысл. Вронский посмотрел с удивлением на князя своими твердыми глазами и, чуть улыбнувшись, тотчас же заговорил с графиней Нордстон о предстоящем на будущей неделе большом бале. — Я надеюсь, что вы будете? — обратился он к Кити. Как только старый князь отвернулся от него, Левин незаметно вышел, и последнее впечатление, вынесенное им с этого вечера, было улыбающееся, счастливое лицо Кити, отвечавшей Вронскому на его вопрос о бале, XV Когда вечер кончился, Кити рассказала матери о разговоре ее с Левиным, и, несмотря на всю жалость, которую она испытывала к Левину, ее радовала мысль, что ей было сделано предлооісение, У нее не было сомнения, что она поступила как следовало. Но в постели она долго не могла заснуть. Одно впечатление неотступно преследовало ее. Это было лицо Левина с нас^шленными бровями и мрачно-уныло смотрящими из-под них добрыми глазами, как он стоял, слушая отца и взглядывая на нее и на Вронского. И ей так жалко стало его, что слезы навернулись на глаза. Но тотчас же она подумала о том, на кого она променяла его. Она живо вспомнила это мужественное, твердое лицо, это благородное спокойствие и светящуюся во всем доброту ко всем; вспомнила любовь к себе того, кого она любила, и ей опять стало радостно на душе, и она с улыбкой счастия легла на 63

ского, который встал и спокойно дожидался, когда князь обратится к нему.

Кити чувствовала, как после того, что произошло, любезность отца была тяжела Левину. Она видела также, как холодно отец ее, наконец, ответил на поклон Вронского и как Вронский с дружелюбным недоумением посмотрел на ее отца, стараясь понять и не понимая, как и за что можно было быть к нему недружелюбно расположенным, и она покраснела.

— Князь, отпустите нам Константина Дмитрича, — сказала графиня Нордстон. — Мы хотим опыт делать.

— Какой опыт? столы вертеть? Ну, извините меня, дамы и господа, но, по-моему, в колечко веселее играть,— сказал старый князь, глядя на Вронского и догадываясь, что он затеял это. — В колечке еще есть смысл.

Вронский посмотрел с удивлением на князя своими твердыми глазами и, чуть улыбнувшись, тотчас же заговорил с графиней Нордстон о предстоящем на будущей неделе большом бале.

— Я надеюсь, что вы будете? — обратился он к Кити.

Как только старый князь отвернулся от него, Левин незаметно вышел, и последнее впечатление, вынесенное им с этого вечера, было улыбающееся, счастливое лицо Кити, отвечавшей Вронскому на его вопрос о бале.

XV

Когда вечер кончился, Кити рассказала матери о разговоре ее с Левиным, и, несмотря на всю жалость, которую она испытывала к Левину, ее радовала мысль, что ей было сделано *предложение*. У нее не было сомнения, что она поступила как следовало. Но в постели она долго не могла заснуть. Одно впечатление неотступно преследовало ее. Это было лицо Левина с насупленными бровями и мрачно-уныло смотрящими из-под них добрыми глазами, как он стоял, слушая отца и взглядывая на нее и на Вронского. И ей так жалко стало его, что слезы навернулись на глаза. Но тотчас же она подумала о том, на кого она променяла его. Она живо вспомнила это мужественное, твердое лицо, это благородное спокой-

подушку. «Жалко, жалко, но что же делать? Я не виновата»,— говорила она себе; но внутренний голос говорил ей другое. В том ли она раскаивалась, что завлекла Левина, или в том, что отказала, — она не знала. Но счастье ее. было отравлено сомнениями. «Господи помилуй, господи помилуй, господи помилуй!» — говорила опа про себя, пока заснула. В это время внизу, в маленьком кабинете князя, происходила одна из тех часто повторяюш;ихся между родителями сцен за любимую дочь. — Что? Вот что! — кричал князь, размахивая руками и тотчас же запахивая свой беличий халат. — То, что в вас нет гордости, достоинства, что вы срамите, губите дочь этим сватовством, подлым, дурацким! — Да помилуй, ради самого бога, князь, что я сделала? — говорила княгиня, чуть не плача. Она, счастливая, довольная после разговора с дочерью, пришла к князю проститься по обыкновению, и хотя она не намерена была говорить ему о предложении Левина и отказе Кити, но намекнула мужу на то, что ей кажется дело с Вронским совсем конченным, что оно решится, как только приедет его мать. И тут-то, на эти слова, князь вдруг вспылил и начал выкрикивать неприличные слова. — Что вы сделали? А вот что: во-первых, вы заманиваете жениха, и вся Москва будет говорить, и резонно. Если вы делаете вечера, так зовите всех, а не избранных женишков. Позовите всех этих тютьков (так князь называл московских молодых людей), позовите тапера, и пускай пляшут, а не так, как нынче, — женишков, и сводить. Мне видеть мерзко, мерзко, и вы добились, вскружили голову девчонке. Левин в тысячу раз лучше человек. А это франтик петербургский, их на машине делают, они все на одну стать, и все дрянь. Да хоть бы оп принц крови был, моя дочь ни в ком не нуждается! — Да что же я сделала? — А то... — с гневом вскрикнул князь. — Знаю я, что если тебя слушать, — перебила княгиня, — то мы никогда не отдадим дочь замуж. Если так, то надо в деревню уехать. — И лучше уехать. — Да постой. Разве я заискиваю? Я нисколько не заискиваю. А молодой человек, и очень хороший, влюбился, и она, кажется... 64

подушку. «Жалко, жалко, но что же делать? Я не виновата»,— говорила она себе; но внутренний голос говорил ей другое. В том ли она раскаивалась, что завлекла Левина, или в том, что отказала, — она не знала. Но счастье ее было отравлено сомнениями. «Господи помилуй, господи помилуй, господи помилуй!» — говорила она про себя, пока заснула.

В это время внизу, в маленьком кабинете князя, происходила одна из тех часто повторяющихся между родителями сцен за любимую дочь.

— Что? Вот что! — кричал князь, размахивая руками и тотчас же запахивая свой беличий халат. — То, что в вас нет гордости, достоинства, что вы срамите, губите дочь этим сватовством, подлым, дурацким!

— Да помилуй, ради самого бога, князь, что я сделала? — говорила княгиня, чуть не плача.

Она, счастливая, довольная после разговора с дочерью, пришла к князю проститься по обыкновению, и хотя она не намерена была говорить ему о предложении Левина и отказе Кити, но намекнула мужу на то, что ей кажется дело с Вронским совсем конченным, что оно решится, как только приедет его мать. И тут-то, на эти слова, князь вдруг вспылил и начал выкрикивать неприличные слова.

— Что вы сделали? А вот что: во-первых, вы заманиваете жениха, и вся Москва будет говорить, и резонно. Если вы делаете вечера, так зовите всех, а не избранных женишков. Позовите всех этих *тютьков* (так князь называл московских молодых людей), позовите тапера, и пускай пляшут, а не так, как нынче, — женишков, и сводить. Мне видеть мерзко, мерзко, и вы добились, вскружили голову девчонке. Левин в тысячу раз лучше человек. А это франтик петербургский, их на машине делают, они все на одну стать, и все дрянь. Да хоть бы он принц крови был, моя дочь ни в ком не нуждается!

— Да что же я сделала?

— А то... — с гневом вскрикнул князь.

— Знаю я, что если тебя слушать, — перебила княгиня, — то мы никогда не отдадим дочь замуж. Если так, то надо в деревню уехать.

И лучше уехать

— Да, вот вам кажется! А как она в самом дело влюбятся, а он столько же думает жениться, как я?.. Ох! нѳ смотрели бы мои глаза!.. «Ах, спиритизм, ах, Ницца, ах, на бале...» — И князь, воображая, что он представляет жену, приседал на каждом слове. — А вот, іcак сделаем несчастье Катеньки, как она в самом деле заберет в голову... — Да почему же ты думаешь? — Я не думаю, а знаю; на это глаза есть у нас, а не у баб. Я вижу человека, который имеет намерения серьезные, это Левин; и вижу перепела, как этот ш,елкопер, которому только повеселиться. — Ну, уж ты заберешь в голову... — А вот вспомнишь, да поздно, как с Дашенькой. — Ну, хорошо, хорошо, не будем говорить, — остановила его княгиня, вспомнив про несчастную Долли. — И прекрасно, и прощай! И, перекрестив друг друга и поцеловавшись, но чувствуя, что каждый остался при своем мнении, супруги разошлись. Княгиня была сперва твердо уверена, что нынешний вечер решил судьбу Кити и что не может быть сомнения в намерениях Вронского; но слова мужа смутили ее. И, вернувшись к себе, она, точно так же как и Кити, с ужасом пред неизвестностью будущего, несколько раз повторила в душе: «Господи помилуй, господи помилуй, господи помилуй!» XVI Вронский никогда не знал семейной жизни. Мать его была в молодости блестящая светская женщина, имевшая во время замужества, и в особенности после, много романов, известных всему свету. Отца своего он почти не помнил и был воспитан в Пажеском корпусе. Выйдя очень молодым блестящим офицером из школы, он сразу попал в колею богатых петербургских военных. Хотя он и ездил изредка в петербургский свет, все любовные интересы его были вне света. В Москве в первый раз он испытал, после роскошной и грубой петербургской жизни, прелесть сближения со светскою, милою и невинною девушкой, которая полюбила его. Ему и в голову не приходило, чтобы могло быть 3 л. Н. Толстой, т. 8 65

— Да, вот вам кажется! А как она в самом деле влюбится, а он столько же думает жениться, как я?.. Ох! не смотрели бы мои глаза!.. «Ах, спиритизм, ах, Ницца, ах, на бале...» — И князь, воображая, что он представляет жену, приседал на каждом слове. — А вот, как сделаем несчастье Катеньки, как она в самом деле заберет в голову...

— Да почему же ты думаешь?

— Я не думаю, а знаю; на это глаза есть у нас, а не у баб. Я вижу человека, который имеет намерения серьезные, это Левин; и вижу перепела, как этот щелкопер, которому только повеселиться.

— Ну, уж ты заберешь в голову...

— А вот вспомнишь, да поздно, как с Дашенькой.

— Ну, хорошо, хорошо, не будем говорить, — остановила его княгиня, вспомнив про несчастную Долли.

— И прекрасно, и прощай!

И, перекрестив друг друга и поцеловавшись, но чувствуя, что каждый остался при своем мнении, супруги разошлись.

Княгиня была сперва твердо уверена, что нынешний вечер решил судьбу Кити и что не может быть сомнения в намерениях Вронского; но слова мужа смутили ее. И, вернувшись к себе, она, точно так же как и Кити, с ужасом пред неизвестностью будущего, несколько раз повторила в душе: «Господи помилуй, господи помилуй, господи помилуй!»

XVI

Вронский никогда не знал семейной жизни. Мать его была в молодости блестящая светская женщина, имевшая во время замужества, и в особенности после, много романов, известных всему свету. Отца своего он почти не помнил и был воспитан в Пажеском корпусе.

Выйдя очень молодым блестящим офицером из школы, он сразу попал в колею богатых петербургских военных. Хотя он и ездил изредка в петербургский свет, все любовные интересы его были вне света.

В Москве в первый раз он испытал после роскошной

что-нибудь дурное в его отношениях к Кити. Ila балах он танцевал преимуш^ественно с нею; он ездил к ним в дом. Он говорил с нею то, что обыкновенно говорят в свете, всякий вздор, но вздор, которому он невольно придавал особенный для нее смысл. Несмотря на то, что он ничего не сказал ей такого, чего не мог бы сказать при всех, он чувствовал, что она все более и более становилась в зависимость от него, и чем больше он это чувствовал, тем ему было приятнее и его чувство к ней становилось нежнее. Он не знал, что его образ действий относительно Кити имеет определенное название, что это есть заманиванье барышень без намерения жениться и что это заманиванье есть один из дурных поступков, обыкновенных между блестящими молодыми людьми, как он. Ему казалось, что он первый открыл это удовольствие, и наслаждался своим открытием. Если б он мог слышать, что говорили ее родители в этот вечер, если б он мог перенестись на точку зрения семьи и узнать, что Кити будет несчастна, если он не женится на ней, он бы очень удивился и не поверил бы этому. Он не мог поверить тому, что то, что доставляло такое большое и хорошее удовольствие ему, а главное, ей, могло быть дурно. Еще меньше он мог бы поверить тому, что он должен жениться. Женитьба для него никогда не представлялась возможностью. Он не только не любил семейной жизни, но в семье, и в особенности в муже, по тому общему взгляду холостого мира, в котором он жил, он представлял себе нечто чуждое, враждебное, а всего более — смешное. Но хотя Вронский и не подозревал того, что говорили родители, он, выйдя в этот вечер от Щербацких, почувствовал, что та духовная тайная связь, которая сугдествовала между ним и Кити, утвердилась нынешний вечер так сильно, что надо предпринять что-то. Но что можно и что должно было предпринять, он не мог придумать. «То и прелестно, — думал он, возвращаясь от Щербацких и вынося от них, как и всегда, приятное чувство чистоты и свежести, происходившее отчасти и оттого, что он не курил целый вечер, и вместе повое чувство умиления пред ее к себе любовью, — то и прелестно, что ничего пе сказано пи мной, ни ею, по мы так понимали друг друга в этом невидимом разговоре взглядов и интонаций, что нынче яснее, чем когда-нибудь, она сказала мне, что любит. И как мило, просто и, главное, доверчиво!

что-нибудь дурное в его отношениях к Кити. На балах он танцевал преимущественно с нею; он ездил к ним в дом. Он говорил с нею то, что обыкновенно говорят в свете, всякий вздор, но вздор, которому он невольно придавал особенный для нее смысл. Несмотря на то, что он ничего не сказал ей такого, чего не мог бы сказать при всех, он чувствовал, что она все более и более становилась в зависимость от него, и чем больше он это чувствовал, тем ему было приятнее и его чувство к ней становилось нежнее. Он не знал, что его образ действий относительно Кити имеет определенное название, что это есть заманиванье барышень без намерения жениться и что это заманиванье есть один из дурных поступков, обыкновенных между блестящими молодыми людьми, как он. Ему казалось, что он первый открыл это удовольствие, и наслаждался своим открытием.

Если б он мог слышать, что говорили ее родители в этот вечер, если б он мог перенестись на точку зрения семьи и узнать, что Кити будет несчастна, если он не женится на ней, он бы очень удивился и не поверил бы этому. Он не мог поверить тому, что то, что доставляло такое большое и хорошее удовольствие ему, а главное, ей, могло быть дурно. Еще меньше он мог бы поверить тому, что он должен жениться.

Женитьба для него никогда не представлялась возможностью. Он не только не любил семейной жизни, но в семье, и в особенности в муже, по тому общему взгляду холостого мира, в котором он жил, он представлял себе нечто чуждое, враждебное, а всего более — смешное. Но хотя Вронский и не подозревал того, что говорили родители, он, выйдя в этот вечер от Щербацких, почувствовал, что та духовная тайная связь, которая существовала между ним и Кити, утвердилась нынешний вечер так сильно, что надо предпринять что-то. Но что можно и что должно было предпринять, он не мог придумать.

«То и прелестно, — думал он, возвращаясь от Щербацких и вынося от них, как и всегда, приятное чувство чистоты и свежести, происходившее отчасти и оттого, что он не курил целый вечер, и вместе новое чувство умиления пред ее к себе любовью, — то и прелестно, что ничего

себя чувствую лртте, чище. Я чувствую, что у меня есть сердце и что ость во мне много хорошего. Эти милые влюбленные глаза! Когда она сказала: и очень.,„» «Ну так что ж? Иу и ничего. Мне хорошо, и ей хорошо». И он задумался о том, где ему окончить нынешний вечер. Он прикинул воображением места, куда он мог бы охать. «Клуб? партия безика, шампанское с Игнатовым? Нот, не поеду. Chateau des fleurs, там найду Облонского, куплеты, сапсан? Нет, надоело. Вот именно за то я люблю Щербацких, что сам лучше делаюсь. Поеду домой». Он прошел прямо в свой номер у Дюссо, велел подать себе ужинать и потом, раздевшись, только успел положить голову на подушку, заснул крепким и спокойным, как всегда, сном. XVII На другой день, в 11 часов утра, Вронский выехал на станцию Петербургской железной дороги встречать мать, п первое лицо, попавшееся ему па ступеньках большой лестницы, был Облонский, ожидавший с этим же поездом сестру. А! Ваше сиятельство! — крикнул Облонский. — Ты за кем? — Я за матушкой, — улыбаясь, как и все, кто встречался с Облонским, отвечал Вронский, пожимая ему руку, и вместе с ним взошел на лестницу. — Она нынче должна быть из Петербурга. — А я тебя ждал до двух часов. Куда же поехал от Щербацких? — Домой, — отвечал Вронский. — Признаться, мне так было приятно вчера после Щербацких, что никуда не хотелось. — Узнаю коней ретивых по каким-то их таврам, юношей влюбленных узнаю по их глазам, — продекламировал Степан Аркадьич точно так же, как прежде Левину. Вронский улыбнулся с таким видом, что он не отрекается от этого, но тотчас же переменил разговор. — А ты кого встречаешь? — спросил он. — Я? я хорошенькую женщину, — сказал Облонский, — Вот как! 3* 67

себя чувствую лучше, чище. Я чувствую, что у меня есть сердце и что есть во мне много хорошего. Эти милые влюбленные глаза! Когда она сказала: *и очень...*»

«Ну так что ж? Ну и ничего. Мне хорошо, и ей хорошо». И он задумался о том, где ему окончить нынешний вечер.

Он прикинул воображением места, куда он мог бы ехать. «Клуб? партия безика, шампанское с Игнатовым? Нет, не поеду. Château des fleurs, там найду Облонского, куплеты, cancan? Нет, надоело. Вот именно за то я люблю Щербацких, что сам лучше делаюсь. Поеду домой». Он прошел прямо в свой номер у Дюссо, велел подать себе ужинать и потом, раздевшись, только успел положить голову на подушку, заснул крепким и спокойным, как всегда, сном.

XVII

На другой день, в 11 часов утра, Вронский выехал на станцию Петербургской железной дороги встречать мать, и первое лицо, попавшееся ему на ступеньках большой лестницы, был Облонский, ожидавший с этим же поездом сестру.

— А! Ваше сиятельство! — крикнул Облонский. — Ты за кем?

— Я за матушкой, — улыбаясь, как и все, кто встречался с Облонским, отвечал Вронский, пожимая ему руку, и вместе с ним взошел на лестницу. — Она нынче должна быть из Петербурга.

— А я тебя ждал до двух часов. Куда же поехал от Щербацких?

— Домой, — отвечал Вронский. — Признаться, мне так было приятно вчера после Щербацких, что никуда не хотелось.

— Узнаю коней ретивых по каким-то их таврам, юношей влюбленных узнаю по их глазам, — продекламировал Степан Аркадьич точно так же, как прежде Левину.

Вронский улыбнулся с таким видом, что он не отрекается от этого, но тотчас же переменил разговор.

— Honni soit qui mal y pense! ^ Сестру Анну, — Ах, это Каренину? — сказал Вронский. — Ты ее, верно, знаешь? — Кажется, знаю. Или нет... Право, не помню, — рассеянно отвечал Вронский, смутно представляя себе при имени Карениной что-то чопорное и скучное. — Но Алексея Александровича, моего знаменитого зятя, верно, знаешь. Его весь мир знает. — То есть знаю по репутации и по виду. Знаю, что он умный, ученый, божественный что-то... Но ты знаешь, это не в моей... not in my line — сказал Вронский. — Да, он очень замечательный человек; немножко консерватор, но славный человек, — заметил Степан Аркадьич, — славный человек. — Ну, п тем лучше для него, — сказал Вронский, улыбаясь. — А, ты здесь, — обратился он к высокому старому лакею матери, стоявшему у двери, — войди сюда. Вронский в это последнее время, кроме общей д.ия всех приятности Степана Аркадьича, чувствовал себя привязанным к нему еще тем, что он в его воображении соединялся с Кити. — Ну что ж, в воскресенье сделаем ужин для дивы? — сказал он ему, с улыбкой взяв его под руку. — Непременно. Я сберу подписку. Ах, познакомился ты вчера с моим приятелем Левиным? — спросил Степан Аркадьич. — Как же. Но он что-то скоро уехал. — Он славный малый, — продолжал Облонский. — Не правда .ли? — Я не знаю, — отвечал Вронский, — отчего это во всех москвичах, разумеется исключая тех, с кем говорю, — шутливо вставил он, — есть что-то резкое. Что-то они всё на дыбы становятся, сердятся, как будто всё хотят дать почувствовать что-то... — Есть это, правда, есть... — весело смеясь, сказал Степан Аркадьич. — Что, скоро ли? — обратился Вронский к служащему. — Поезд вышел, — отвечал служитель. Приближение поезда все более и более обозначалось движением приготовлений на станции, беганьем артель’ Стыдно тому, кто это дурно истолкует! (фраіщ.) ^ не в моей компетенции (англ.). 68

— Honni soit qui mal y pense! [1] Сестру Анну.

— Ах, это Каренину? — сказал Вронский.

— Ты ее, верно, знаешь?

— Кажется, знаю. Или нет... Право, не помню, — рассеянно отвечал Вронский, смутно представляя себе при имени Карениной что-то чопорное и скучное.

— Но Алексея Александровича, моего знаменитого зятя, верно, знаешь. Его весь мир знает.

— То есть знаю по репутации и по виду. Знаю, что он умный, ученый, божественный что-то... Но ты знаешь, это не в моей... not in my line [2], — сказал Вронский.

— Да, он очень замечательный человек; немножко консерватор, но славный человек, — заметил Степан Аркадьич, — славный человек.

— Ну, и тем лучше для него, — сказал Вронский, улыбаясь. — А, ты здесь, — обратился он к высокому старому лакею матери, стоявшему у двери, — войди сюда.

Вронский в это последнее время, кроме общей для всех приятности Степана Аркадьича, чувствовал себя привязанным к нему еще тем, что он в его воображении соединялся с Кити.

— Ну что ж, в воскресенье сделаем ужин для *дивы?* — сказал он ему, с улыбкой взяв его под руку.

— Непременно. Я сберу подписку. Ах, познакомился ты вчера с моим приятелем Левиным? — спросил Степан Аркадьич.

— Как же. Но он что-то скоро уехал.

— Он славный малый, — продолжал Облонский. — Не правда ли?

— Я не знаю, — отвечал Вронский, — отчего это во всех москвичах, разумеется исключая тех, с кем говорю, — шутливо вставил он, — есть что-то резкое. Что-то они всё на дыбы становятся, сердятся, как будто всё хотят дать почувствовать что-то...

— Есть это, правда, есть... — весело смеясь, сказал Степан Аркадьич.

— Что, скоро ли? — обратился Вронский к служащему.

— Поезд вышел, — отвечал служитель.

Приближение поезда все более и более обозначалось движением приготовлений на станции, беганьем артель-

іциков, появлением жандармов и служащих и подъездом: встречающих. Сквозь морозный пар виднелись рабочие в полушубках, в мягких валеных сапогах, переходившие через рельсы загибающихся путей. Слышался свист паровика на дальних рельсах и передвижение чего-то тяжелого. — Нет, — сказал Степан Аркадьич, которому очень хотелось рассказать Вронскому о намерениях Левина отпосительно Кити. — Нет, ты неверно оценил моего Левина. Он очень нервный человек и бывает неприятен, правда, но зато иногда он бывает очень мил. Эта такая честная, правдивая натура, и сердце золотое. Но вчера были особенные причины, — с значительною улыбкой продолжал Степан Аркадьич, совершенно забывая то искреннее сочувствие, которое он вчера испытывал к своему приятелю, и теперь испытывая такое же, только к Вронскому. — Да, была причина, почему он мог быть или особенно счастлив, или особенно несчастлив. Вронский остановился и прямо спросил: — То есть что же? Или он вчера сделал предложение твоей belle soeur?.. ^ — Может быть, — сказал Степан Аркадьич. — Что-то мне показалось такое вчера. Да если он рано уехаіс и был еще не в духе, то это так... Он так давно влюблен, и мне его очень жаль. — Вот как!.. Я думаю, впрочем, что она может рассчитывать на лучшую партию, — сказал Вронский и, выпрямив грудь, опять принялся ходить. — Впрочем, я его не знаю, — прибавил он. — Да, это тяжелое положение! От этого-то большинство и предпочитает знаться с Кларами. Там неудача доказывает только, что у тебя недостало денег, а здесь — твое достоинство па весах. Однако вот и поезд. Действительно, вдали уже свистел паровоз. Через несколько минут платформа задрожала, и, пыхая сбиваемым книзу от мороза паром, прокатился паровоз с медленно и мерно насупливающимся и растягивающимся рычагом среднего колеса и с кланяющимся, обвязанным, заиндевелЫхМ машинистом; а за тендером, все медленнее и более потрясая платформу, стал проходить вагон с багажом и с визжавшею собакой; наконец, подрагивая пред остановкой, подошли пассажирские вагоны. ^ свояченице? (франц.) 69

щиков, появлением жандармов и служащих и подъездом встречающих. Сквозь морозный пар виднелись рабочие в полушубках, в мягких валеных сапогах, переходившие через рельсы загибающихся путей. Слышался свист паровика на дальних рельсах и передвижение чего-то тяжелого.

— Нет, — сказал Степан Аркадьич, которому очень хотелось рассказать Вронскому о намерениях Левина относительно Кити. — Нет, ты неверно оценил моего Левина. Он очень нервный человек и бывает неприятен, правда, но зато иногда он бывает очень мил. Эта такая честная, правдивая натура, и сердце золотое. Но вчера были особенные причины, — с значительною улыбкой продолжал Степан Аркадьич, совершенно забывая то искреннее сочувствие, которое он вчера испытывал к своему приятелю, и теперь испытывая такое же, только к Вронскому. — Да, была причина, почему он мог быть или особенно счастлив, или особенно несчастлив.

Вронский остановился и прямо спросил:

— То есть что же? Или он вчера сделал предложение твоей belle soeur?..[1]

— Может быть, — сказал Степан Аркадьич. — Что-то мне показалось такое вчера. Да если он рано уехал и был еще не в духе, то это так... Он так давно влюблен, и мне его очень жаль.

— Вот как!.. Я думаю, впрочем, что она может рассчитывать на лучшую партию, — сказал Вронский и, выпрямив грудь, опять принялся ходить. — Впрочем, я его не знаю, — прибавил он. — Да, это тяжелое положение! От этого-то большинство и предпочитает знаться с Кларами. Там неудача доказывает только, что у тебя недостало денег, а здесь — твое достоинство на весах. Однако вот и поезд.

Действительно, вдали уже свистел паровоз. Через несколько минут платформа задрожала, и, пыхая сбиваемым книзу от мороза паром, прокатился паровоз с медленно и мерно насупливающимся и растягивающимся рычагом среднего колеса и с кланяющимся, обвязанным, заиндевелым машинистом; а за тендером, все медленнее и более потрясая платформу, стал проходить вагон с багажом и с визжавшею собакой; наконец, подрагивая пред

Молодцеватый кондуктор, на ходу давая свисток, соскочил, и вслед за ним стали по одному сходить нетерпеливые пассажиры: гвардейский офицер, держась прямо и строго оглядываясь; вертлявый купчик с сумкой, весело улыбаясь; мужик с мешком через плечо. Вронский, стоя рядом с Облонским, оглядывал вагоны и выходивших и совершенно забыл о матери. То, что он сейчас узнал про Кити, возбуждало и радовало его. Грудь его невольно выпрямлялась и глаза блестели. Он чувствовал себя победителем. — Графиня Вронская в этом отделении, — сказал молодцеватый кондуктор, подходя к Вронскому. Слова кондуктора разбудили его и заставили вспомнить о матери и предстоящем свидании с ней. Он в душе своей не уважал матери и, не отдавая себе в том отчета, не любил ее, хотя по понятиям того круга, в котором жил, по воспитанию своему, не мог себе представить других к матери отношений, как в высшей степени покорных и почтительных, и тем более внешне покорных и почтительных, чем менее в душе он уважал и любил ее. XVHI Вронский пошел за кондуктором в вагон и при входе в отделение остановился, чтобы дать дорогу выходившей даме. С привычным тактом светского человека, по одному взгляду па внешность этой дамы, Вронский определил ее принадлелшость к высшему свету. Он извинился и пошел было в вагон, но почувствовал необходимость еще раз взглянуть на пее — не потому, что она была очень красива, не по тому изяществу и скромной грации, которые врідиы были во всей ее фигуре, но потому, что в выражении миловидного лица, когда она прошла мимо его, было что-то особенно ласковое и нежное. Когда он оглянулся, она тоже повернула голову. Блестящие, казавшиеся темными от густых ресниц, серые глаза дружелюбно, внимательно остановились на его лице, как будто опа признавала его, и тотчас же перенеслись па подходившую толпу, как бы ища кого-то. В этом коротком взгляде Вронский успел заметить сдержанную оживленность, которая играла в ее лице и порхала между блестящими глазами и чуть заметной улыбкой, изгибавшею ее румяные губы. Как будто избыток чего-то так переполнял ее 70

Молодцеватый кондуктор, на ходу давая свисток, соскочил, и вслед за ним стали по одному сходить нетерпеливые пассажиры: гвардейский офицер, держась прямо и строго оглядываясь; вертлявый купчик с сумкой, весело улыбаясь; мужик с мешком через плечо.

Вронский, стоя рядом с Облонским, оглядывал вагоны и выходивших и совершенно забыл о матери. То, что он сейчас узнал про Кити, возбуждало и радовало его. Грудь его невольно выпрямлялась и глаза блестели. Он чувствовал себя победителем.

— Графиня Вронская в этом отделении, — сказал молодцеватый кондуктор, подходя к Вронскому.

Слова кондуктора разбудили его и заставили вспомнить о матери и предстоящем свидании с ней. Он в душе своей не уважал матери и, не отдавая себе в том отчета, не любил ее, хотя по понятиям того круга, в котором жил, по воспитанию своему, не мог себе представить других к матери отношений, как в высшей степени покорных и почтительных, и тем более внешне покорных и почтительных, чем менее в душе он уважал и любил ее.

XVIII

Вронский пошел за кондуктором в вагон и при входе в отделение остановился, чтобы дать дорогу выходившей даме. С привычным тактом светского человека, по одному взгляду на внешность этой дамы, Вронский определил ее принадлежность к высшему свету. Он извинился и пошел было в вагон, но почувствовал необходимость еще раз взглянуть на нее — не потому, что она была очень красива, не по тому изяществу и скромной грации, которые видны были во всей ее фигуре, но потому, что в выражении миловидного лица, когда она прошла мимо его, было что-то особенно ласковое и нежное. Когда он оглянулся, она тоже повернула голову. Блестящие, казавшиеся темными от густых ресниц, серые глаза дружелюбно, внимательно остановились на его лице, как будто она признавала его, и тотчас же перенеслись на подходившую толпу, как бы ища кого-то. В этом коротком взгляде

существо, что мимо ее воли выражался то в блеске взгляда, то в улыбке. Она потушила умышленно свет в глазах, но он светился против ее воли в чуть заметной улыбке. Вронский вошел в вагон. Мать его, сухая старушка с черными глазами и буколькими, щурилась, вглядываясь в сына, и слегка улыбалась тонкими губами. Поднявшись с диванчика и передав горничной мешочек, она подала маленькую сухую руку сыну и, подняв его голову от руки, поцеловала его в лицо. — Получил телеграмму? Здоров? Слава богу. — Хорошо доехали? — сказал сын, садясь подле нее и невольно прислушиваясь к л^енскому голосу из-за двери. Он знал, что это был голос той дамы, которая встретилась ему при входе. — Я все-таки с вами не согласна, — говорил голос дамы. — Петербургский взгляд, сударыня. — Не петербургский, а просто н^енский, — отвечала она. •— Иу-с, позвольте поцеловать вашу ручку. — До свиданья, Иізаи Петрович. Да посмотрите, не тут ли брат, и пошлите его ко мне, — сказала дама у самой двери и скова вошла в отделение. — Что ж, нашли брата? — сказала Вронская, обращаясь к даме. Вронский вспомнил теперь, что это была Каренина. — Ваш брат здесь, — сказал он, вставая. — Извините меня, я не узнал вас, да и наше знакомство было так коротко, — сказал Вронский, кланяясь, — что вы, верно, не помните меня. — О, нет, — сказала она, — я бы узнала вас, потому что мы с вашею матушкой, кажется, всю дорогу говорили только о вас, — сказала она, позволяя, наконец, просившемуся наружу оживлению выразиться в улыбке. — А брата моего все-таки нет. — Позови же его, Алеша, — сказала старая графиня, Вронский вышел на платформу и крикнул: — Облонский! Здесь! Но Каренина не доящалась брата, а, увидев его решительным легким шагом вышла из вагона. И, как только брат подошел к ней, она движением, поразившим Вронского своею решительностью и грацией, обхватила брата левою рукой за шею, быстро притянула к себе и крепко поцеловала, Вронский, не спуская глаз, смотрел на нее и. 7I

существо, что мимо ее воли выражался то в блеске взгляда, то в улыбке. Она потушила умышленно свет в глазах, но он светился против ее воли в чуть заметной улыбке.

Вронский вошел в вагон. Мать его, сухая старушка с черными глазами и букольками, щурилась, вглядываясь в сына, и слегка улыбалась тонкими губами. Поднявшись с диванчика и передав горничной мешочек, она подала маленькую сухую руку сыну и, подняв его голову от руки, поцеловала его в лицо.

— Получил телеграмму? Здоров? Слава богу.

— Хорошо доехали? — сказал сын, садясь подле нее и невольно прислушиваясь к женскому голосу из-за двери. Он знал, что это был голос той дамы, которая встретилась ему при входе.

— Я все-таки с вами не согласна, — говорил голос дамы.

— Петербургский взгляд, сударыня.

— Не петербургский, а просто женский,— отвечала она.

— Ну-с, позвольте поцеловать вашу ручку.

— До свиданья, Иван Петрович. Да посмотрите, не тут ли брат, и пошлите его ко мне, — сказала дама у самой двери и снова вошла в отделение.

— Что ж, нашли брата? — сказала Вронская, обращаясь к даме.

Вронский вспомнил теперь, что это была Каренина.

— Ваш брат здесь, — сказал он, вставая. — Извините меня, я не узнал вас, да и наше знакомство было так коротко, — сказал Вронский, кланяясь, — что вы, верно, не помните меня.

— О, нет, — сказала она, — я бы узнала вас, потому что мы с вашею матушкой, кажется, всю дорогу говорили только о вас,— сказала она, позволяя, наконец, просившемуся наружу оживлению выразиться в улыбке. — А брата моего все-таки нет.

— Позови же его, Алеша, — сказала старая графиня.

Вронский вышел на платформу и крикнул:

— Облонский! Здесь!

Но Каренина не дождалась брата, а, увидев его решительным легким шагом вышла из вагона. И, как только брат подошел к ней, она движением, поразившим Вронского

сам не зная чему, улыбался. Но вспомнив, что мать ждала его, он опять вошел в вагон. — Не правда ли, очень мила? — сказала графиня про Каренину. — Ее муж со мною посадил, и я очень рада была. Всю дорогу мы с ней проговорили. Ну, а ты, говорят... vous filez le parfait amour. Tant mieux, mon cher, tant mieux h — Я не знаю, на что вы намекаете, maman, — отвечал сын холодно. — Что ж, maman, идем. Каренина опять вошла в вагон, чтобы проститься с графиней. — Ну вот, вы, графиня, встретили сына, а я брата, — весело сказала она. — И все истории мои истощились; дальше нечего было бы рассказывать. — Ну нет, милая, — сказала графиня, взяв ее за руку, — я бы с вами объехала вокруг света и не соскучилась бы. Вы одна из тех милых женщин, с которыми II поговорить и помолчать приятно. А о сыне вашем, пожалуйста, не думайте: нельзя же никогда не разлучаться. Каренина стояла неподвижно, держась чрезвычайно прямо, и глаза ее улыбались. — У Анны Аркадьевны, — сказала графиня, объясняя сыну, — есть сыпок восьми лет, кажется, и она никогда с ним не разлучалась и все мучается, что оставила его. — Да, мы все время с графиней говорили, я о своем, она о своем сыне, — сказала Каренина, и опять улыбка осветила ее лицо, улыбка ласковая, относившаяся к нему. — Вероятно, это вам очень наскучило, — сказал он, сейчас, на лету, подхватывая этот мяч кокетства, который она бросила ему. Но она, видимо, не хотела продолжать разговора в этом тоне и обратилась к старой графине: — Очень благодарю вас. Я и не видала, как провела вчерашний день. До свиданья, графиня. — Прощайте, мой дружок, — отвечала графиня. — Дайте поцеловать ваше хорошенькое личико. Я просто, ію-старушечьи, прямо говорю, что полюбила вас. Как ни казенна была эта фраза, Каренина, видимо, от души поверила и порадовалась этому. Она покраснела, слегка нагнулась, подставила свое лицо губам графини, опять выпрямилась и с тою же улыбкой, волновавшеюся между губами и глазами, подала руку Вронскому. Он по' у тебя все еще тянется идеальная любовь. Тем лучше, мой милый, тем лучше (франц.). 72

сам не зная чему, улыбался. Но вспомнив, что мать ждала его, он опять вошел в вагон.

— Не правда ли, очень мила? — сказала графиня про Каренину. — Ее муж со мною посадил, и я очень рада была. Всю дорогу мы с ней проговорили. Ну, а ты, говорят... vous filez le parfait amour. Tant mieux, mon cher, tant mieux [1].

— Я не знаю, на что вы намекаете, maman, — отвечал сын холодно. — Что ж, maman, идем.

Каренина опять вошла в вагон, чтобы проститься с графиней.

— Ну вот, вы, графиня, встретили сына, а я брата, — весело сказала она. — И все истории мои истощились; дальше нечего было бы рассказывать.

— Ну нет, милая, — сказала графиня, взяв ее за руку, — я бы с вами объехала вокруг света и не соскучилась бы. Вы одна из тех милых женщин, с которыми и поговорить и помолчать приятно. А о сыне вашем, пожалуйста, не думайте: нельзя же никогда не разлучаться.

Каренина стояла неподвижно, держась чрезвычайно прямо, и глаза ее улыбались.

— У Анны Аркадьевны, — сказала графиня, объясняя сыну, — есть сынок восьми лет, кажется, и она никогда с ним не разлучалась и все мучается, что оставила его.

— Да, мы все время с графиней говорили, я о своем, она о своем сыне, — сказала Каренина, и опять улыбка осветила ее лицо, улыбка ласковая, относившаяся к нему.

— Вероятно, это вам очень наскучило, — сказал он, сейчас, на лету, подхватывая этот мяч кокетства, который она бросила ему. Но она, видимо, не хотела продолжать разговора в этом тоне и обратилась к старой графине:

— Очень благодарю вас. Я и не видала, как провела вчерашний день. До свиданья, графиня.

— Прощайте, мой дружок, — отвечала графиня. — Дайте поцеловать ваше хорошенькое личико. Я просто, по-старушечьи, прямо говорю, что полюбила вас.

Как ни казенна была эта фраза, Каренина, видимо, от души поверила и порадовалась этому. Она покраснела, слегка нагнулась, подставила свое лицо губам графини, опять выпрямилась и с тою же улыбкой, волновавшеюся между губами и глазами, подала руку Вронскому. Он по-

жал маленькую ему поданную руку и, как чему-то особенному, обрадовался тому энергаческому пожатию, с которым она крепко и смело тряхнула его руку. Она вышла быстрою походкой, так странно легко носившею ее довольно полное тело. — Очень мила, — сказала старушка. То же самое думал ее сын. Он провожал ее глазамрі до тех пор, пока не скрылась ее грациозная фигура, и улыбка остановилась на его лице. В окно он видел, как она подошла к брату, положила ему руку на руку и что-то оживленно начала говорить ему, очевидно о чем-то не имеюЕдем ничего обгдего с ним, с Вронским, и ему это показалось досадным. — Ну что, maman, вы совершенно здоровы? — повторил он, обраш,аясь к матери. — Все хорошо, прекрасно. Alexandre очень был мил. И Marie очень хороша стала. Она очень интересна. И опять начала рассказывать о том, что более всего интересовало ее, о крестинах внука, для которых она ездила в Петербург, и про особенную милость государя к старшему сыну. — Вот и Лаврентий, — сказал Вронский, глядя в окно, — теперь пойдемте, если угодно. Старый дворецкий, ехавший с графиней, явился в вагон доложить, что все готово, и графиня поднялась, чтоб идти. — Пойдемте, теперь мало народа, — сказал Вронский. Девушка взяла мешок и собачку, дворецкий и артельіцпк другие мешки. Вронский взял под руку мать; но когда они уже выходили из вагона, вдруг несколько человек с испуганными лицами пробежали мимо. Пробежал и начальник станции в своей необыкновенного цвета фуражке. Очевидно, что-то случилось необыкновенное. Народ от поезда бежал назад. — Что?.. Что?.. Где?.. Бросился!., задавило!.. — слышалось между проходившими. Степан Аркадьич с сестрой под руку, тоже с испуган]іыми лицами, вернулись и остановились, избегая народ, у входа в вагон. Дамы вошли в вагон, а Вронский со Степаном Аркадьичем пошли за народом узнавать подробности несчастия. Сторож, был ли он пьян или слишком закутан от сильного мороза, не слыхал отодвигаемого задом поезда, и его раздавили. 73

жал маленькую ему поданную руку и, как чему-то особенному, обрадовался тому энергическому пожатию, с которым она крепко и смело тряхнула его руку. Она вышла быстрою походкой, так странно легко носившею ее довольно полное тело.

— Очень мила, — сказала старушка.

То же самое думал ее сын. Он провожал ее глазами до тех пор, пока не скрылась ее грациозная фигура, и улыбка остановилась на его лице. В окно он видел, как она подошла к брату, положила ему руку на руку и что-то оживленно начала говорить ему, очевидно о чем-то не имеющем ничего общего с ним, с Вронским, и ему это показалось досадным.

— Ну что, maman, вы совершенно здоровы? — повторил он, обращаясь к матери.

— Все хорошо, прекрасно. Alexandre очень был мил. И Marie очень хороша стала. Она очень интересна.

И опять начала рассказывать о том, что более всего интересовало ее, о крестинах внука, для которых она ездила в Петербург, и про особенную милость государя к старшему сыну.

— Вот и Лаврентий, — сказал Вронский, глядя в окно, — теперь пойдемте, если угодно.

Старый дворецкий, ехавший с графиней, явился в вагон доложить, что все готово, и графиня поднялась, чтоб идти.

— Пойдемте, теперь мало народа, — сказал Вронский.

Девушка взяла мешок и собачку, дворецкий и артельщик другие мешки. Вронский взял под руку мать; но когда они уже выходили из вагона, вдруг несколько человек с испуганными лицами пробежали мимо. Пробежал и начальник станции в своей необыкновенного цвета фуражке. Очевидно, что-то случилось необыкновенное. Народ от поезда бежал назад.

— Что?.. Что?.. Где?.. Бросился!.. задавило!.. — слышалось между проходившими.

Степан Аркадьич с сестрой под руку, тоже с испуганными лицами, вернулись и остановились, избегая народ, у входа в вагон.

Дамы вошли в вагон, а Вронский со Степаном Аркадьичем пошли за народом узнавать подробности несчастия.

Еще прежде чем вернулись Вронский и Облонский, дамы узнали эти подробности от дворецкого. Облонский и Вронский оба видели обезображенный труп. Облонский, видимо, страдал. Он морщился и, казалось, готов был плакать. — Ах, какой ужас! Ах, Анна, если бы ты видела! Ах, какой ужас! — приговаривал он. Вронский молчал, и красивое лицо его было серьезно, по совершенно спокойно. — Ах, если бы вы видели, графиня, — говорил Степан Аркадьич. — И жена его тут... Ужасно видеть ее... Она бросилась на тело. Говорят, он один кормил огромное семейство. Вот ужас! — Нельзя ли что-нибудь сделать для нее? — взволнованным шепотом сказала Каренина. Вронский взглянул на нее и тотчас же вышел из вагона. — Я сейчас приду, maman, — прибавил он, обертываясь в дверях. Когда он возвратился через несколько минут, Степан Аркадьич уже разговаривал с графиней о новой певице, а графиня нетерпеливо оглядывалась на дверь, ожидая сына. — Теперь пойдемте, — сказал Вронский входя. Они вместе вышли. Вронский шел впереди с матерью. Сзади шла Каренина с братом. У выхода к Вронскому подошел догнавший его начальник станции. — Вы передали моему помощнику двести рублей. Потрудитесь обозначить, кому вы назначаете их? — Вдове, — сказал Вронский, пожимая плечами. — Я не понимаю, о чем спрашивать. — Вы дали? — крикнул сзади Облонский и, прижав руку сестры, прибавил: — Очень мило, очень мило! Не правда ли, славный малый? Мое почтение, графиня. И он с сестрой остановились, отыскивая ее девушгvу» Когда они вышли, карета Вронских уже отъехала. Выходившие люди все еще переговаривались о том, что случилось. — Вот смерть-то ужасная! — сказал какой-то господин, проходя мимо. — Говорят, па два куска. — Я думаю, напротив, самая легкая, мгновенная, — заметил другой. — Как это не примут мер, — говорил третий. Каренина села в карету, и Степан Аркадьич с удивле74

Еще прежде чем вернулись Вронский и Облонский, дамы узнали эти подробности от дворецкого.

Облонский и Вронский оба видели обезображенный труп. Облонский, видимо, страдал. Он морщился и, казалось, готов был плакать.

— Ах, какой ужас! Ах, Анна, если бы ты видела! Ах, какой ужас! — приговаривал он.

Вронский молчал, и красивое лицо его было серьезно, но совершенно спокойно.

— Ах, если бы вы видели, графиня, — говорил Степан Аркадьич. — И жена его тут... Ужасно видеть ее... Она бросилась на тело. Говорят, он один кормил огромное семейство. Вот ужас!

— Нельзя ли что-нибудь сделать для нее? — взволнованным шепотом сказала Каренина.

Вронский взглянул на нее и тотчас же вышел из вагона.

— Я сейчас приду, maman, — прибавил он, оборачиваясь в дверях.

Когда он возвратился через несколько минут, Степан Аркадьич уже разговаривал с графиней о новой певице, а графиня нетерпеливо оглядывалась на дверь, ожидая сына.

— Теперь пойдемте, — сказал Вронский входя. Они вместе вышли. Вронский шел впереди с матерью. Сзади шла Каренина с братом. У выхода к Вронскому подошел догнавший его начальник станции.

— Вы передали моему помощнику двести рублей. Потрудитесь обозначить, кому вы назначаете их?

— Вдове, — сказал Вронский, пожимая плечами. — Я не понимаю, о чем спрашивать.

— Вы дали? — крикнул сзади Облонский и, прижав руку сестры, прибавил: — Очень мило, очень мило! Не правда ли, славный малый? Мое почтение, графиня.

И он с сестрой остановились, отыскивая ее девушку.

Когда они вышли, карета Вронских уже отъехала. Выходившие люди все еще переговаривались о том, что случилось.

— Вот смерть-то ужасная! — сказал какой-то господин, проходя мимо. — Говорят, на два куска.

— Я думаю, напротив, самая легкая, мгновенная. —

нпем увидал, что губы ее дрожат и она с трудом удерживает слезы. — Что с тобой, Анна? — спросил он, когда они отъехали несколько сот сажен. — Дурное предзнаменование, — сказала она. — Какие пустяки! — сказал Степан Аркадыіч. — Ты приехала, это главное. Ты не можешь представить себе, как я надеюсь па тебя. — А ты давно знаешь Вронского? — спросила она. — Да. Ты знаешь, мы надеемся, что он женится на Кити. — Да? — тихо сказала Анна. — Ну, теперь давай говорить о тебе, — прибавила она, встряхивая головой, как будто* хотела физически отогнать что-то лишнее и мешавшее ей. — Давай говорить о твоих делах. Я полу^іила твое письмо и вот приехала. — Да, вся надежда на тебя, — сказал Степан Аркадьйч. — Ну, расскажи мне все. И Степан Аркадьич стал рассказывать. Подъехав к дому, Облонский высадил сестру, вздохнул, пожал ее руку и отправился в присутствие. XIX Когда Анна вошла в комнату, Долли сидела в маленькой гостиной с белоголовым пухлым мальчиком, уж теперь похожим на отца, и слушала его урок из французского чтения. Мальчик читал, вертя в руке и стараясь оторвать чуть державшуюся пуговицу курточки. Мать несколько раз отнимала руку, но пухлая ручонка опять бралась за пуговицу. Мать оторвала пуговицу и положила ее в карман. — Успокой ты руки, Гриша, — сказала она и опять взялась за свое одеяло, давнишнюю работу, за которую она всегда бралась в тяжелые минуты, и теперь вязала нервно, закидывая пальцем и считая петли. Хотя она и велела вчера сказать мужу, что ей дела пет до того, приедет или не приедет его сестра, она все приготовила к ее приезду и с волнением ждала золовку. Долли была убита своим горем, вся поглощена им. Однако она помнила, что Анна, золовка, была жена одного из важнейших лиц в Петербурге и петербургская grande 75

нием увидал, что губы ее дрожат и она с трудом удерживает слезы.

— Что с тобой, Анна? — спросил он, когда они отъехали несколько сот сажен.

— Дурное предзнаменование, — сказала она.

— Какие пустяки! — сказал Степан Аркадьич. — Ты приехала, это главное. Ты не можешь представить себе, как я надеюсь на тебя.

— А ты давно знаешь Вронского? — спросила она.

— Да. Ты знаешь, мы надеемся, что он женится на Кити.

— Да? — тихо сказала Анна. — Ну, теперь давай говорить о тебе, — прибавила она, встряхивая головой, как будто хотела физически отогнать что-то лишнее и мешавшее ей. — Давай говорить о твоих делах. Я получила твое письмо и вот приехала.

— Да, вся надежда на тебя, — сказал Степан Аркадьич.

— Ну, расскажи мне все.

И Степан Аркадьич стал рассказывать.

Подъехав к дому, Облонский высадил сестру, вздохнул, пожал ее руку и отправился в присутствие.

XIX

Когда Анна вошла в комнату, Долли сидела в маленькой гостиной с белоголовым пухлым мальчиком, уж теперь похожим на отца, и слушала его урок из французского чтения. Мальчик читал, вертя в руке и стараясь оторвать чуть державшуюся пуговицу курточки. Мать несколько раз отнимала руку, но пухлая ручонка опять бралась за пуговицу. Мать оторвала пуговицу и положила ее в карман.

— Успокой ты руки, Гриша, — сказала она и опять взялась за свое одеяло, давнишнюю работу, за которую она всегда бралась в тяжелые минуты, и теперь вязала нервно, закидывая пальцем и считая петли. Хотя она и велела вчера сказать мужу, что ей дела нет до того, приедет или не приедет его сестра, она все приготовила к ее приезду и с волнением ждала золовку.

dame. И благодаря этому обстоятельству она не исполнила сказанного мужу, то есть не забыла, что приедет золовка. «Да, наконец, Анна ни в чем не виновата, — думала Долли. — Я о ней ничего, кроме самого хорошего, не знаю, и в отношении к себе я видела от нее только ласку и дружбу». Правда, как она могла запомнить свое впечатление в Петербурге у Карениных, ей не нравился самый дом их; что-то было фальшивое во всем складе их семейного быта. «Но за что же я не приму ее? Только бы не вздумала она утешать меня! — думала Долли. — Все утешения и увеш,ания, и прощения христианские — все это я уж тысячу раз передумала, и все это не годится». Все эти дни Долли была одна с детьми. Говорить о своем горе она не хотела, а с этим горем на душе говорить о постороннем она не могла. Она знала, что, так или иначе, она Анне выскажет все, и то ее радовала мысль о том, как она выскажет, то злила необходимость говорить о своем унижении с ней, его сестрой, и слышать от нее готовые фразы увещания и утешения. Она, как часто бывает, глядя на часы, ждала ее каждую минуту и пропустила именно ту, когда гостья приехала, так что не слыхала звонка. Услыхав шум платья и легких шагов уже в дверях, она оглянулась, и на измученном лице ее невольно выразилось не радость, а удивление. Она встала и обняла золовку. — Как, уж приехала? — сказала она, целуя ее. — Долли, как я рада тебя видеть! — Ия рада, — слабо улыбаясь и стараясь по выражению лица Айны узнать, знает ли она, сказала Долли. «Верно, знает», — подумала она, заметив соболезнование на лице Анны. — Ну, пойдем, я тебя проведу в твою комнату, — продолжала она, стараясь отдалить сколько возможно минуту объяснения. — Это Гриша? Боже мой, как он вырос! — сказала Анна и, поцеловав его, не спуская глаз с Долли, остановилась и покраснела. — Нет, позволь никуда не ходить. Она сняла платок, шляпу и, зацепив ею за прядь своих черных, везде вьющихся волос, мотая головой, отцепляла волоса. — А ты сияешь счастьем и здоровьем! — сказала Долли почти с завистью. — Я?.. Да, — сказала Анна. — Боже мой, Таня! Ровесница Сереже моему, — прибавила она, обращаясь ко 76

dame. И благодаря этому обстоятельству она не исполнила сказанного мужу, то есть не забыла, что приедет золовка. «Да, наконец, Анна ни в чем не виновата, — думала Долли. — Я о ней ничего, кроме самого хорошего, не знаю, и в отношении к себе я видела от нее только ласку и дружбу». Правда, как она могла запомнить свое впечатление в Петербурге у Карениных, ей не нравился самый дом их; что-то было фальшивое во всем складе их семейного быта. «Но за что же я не приму ее? Только бы не вздумала она утешать меня! — думала Долли. — Все утешения и увещания, и прощения христианские — все это я уж тысячу раз передумала, и все это не годится».

Все эти дни Долли была одна с детьми. Говорить о своем горе она не хотела, а с этим горем на душе говорить о постороннем она не могла. Она знала, что, так или иначе, она Анне выскажет все, и то ее радовала мысль о том, как она выскажет, то злила необходимость говорить о своем унижении с ней, его сестрой, и слышать от нее готовые фразы увещания и утешения.

Она, как часто бывает, глядя на часы, ждала ее каждую минуту и пропустила именно ту, когда гостья приехала, так что не слыхала звонка.

Услыхав шум платья и легких шагов уже в дверях, она оглянулась, и на измученном лице ее невольно выразилось не радость, а удивление. Она встала и обняла золовку.

— Как, уж приехала? — сказала она, целуя ее.

— Долли, как я рада тебя видеть!

— И я рада, — слабо улыбаясь и стараясь по выражению лица Анны узнать, знает ли она, сказала Долли. «Верно, знает», — подумала она, заметив соболезнование на лице Анны. — Ну, пойдем, я тебя проведу в твою комнату, — продолжала она, стараясь отдалить сколько возможно минуту объяснения.

— Это Гриша? Боже мой, как он вырос! — сказала Анна и, поцеловав его, не спуская глаз с Долли, остановилась и покраснела. — Нет, позволь никуда не ходить.

Она сняла платок, шляпу и, зацепив ею за прядь своих черных, везде вьющихся волос, мотая головой, отцепляла волоса.

— А ты сияешь счастьем и здоровьем! — сказала Дол-

вбежавшей девочке. Она взяла ее на руки и поцеловала. — Прелестная девочка, прелесть! Покажи же мне всех. Она называла их и припоминала не только имена, но года, месяцы, характеры, болезни всех детей, и Долли не могла не оценить этого. — Ну, так пойдем к ним, — сказала она. — Вася спит теперь, жалко. Осмотрев детей, они сели, уже одни, в гостиной, пред кофеем. Анна взялась за поднос и потом отодвинула его. — Долли, — сказала она, — он говорил мне. Долли холодно посмотрела на Анну. Она ждала теперь притворно-сочувственных фраз; но Анна ничего такого не сказала. — Долли, милая! — сказала она, — я не хочу ни говорить тебе за него, ни утешать; это нельзя. Но, душенька, мне просто жалко, жалко тебя всею душой! Из-за густых ресниц ее блестящих глаз вдруг показались слезы. Она пересела ближе к невестке и взяла ее руку своею энергическою маленькою рукой. Долли не отстранилась, но лицо ее не изменяло своего сухого выражения. Она сказала: — Утешить меня нельзя. Все потеряно после того, что было, все пропало! И как только она сказала это, выражение лица ее вдруг смягчилось. Анна подняла сухую, худую руку Долли, поцеловала ее и сказала: — Но, Долли, что же делать, что же делать? Как лучше поступить в этом ужасном положении? — вот о чем надо подумать. — Все кончено, и больше ничего, — сказала Долли. — И хуже всего то, ты пойми, что я не могу его бросить; дети, я связана. А с ним жить я не могу, мне мука видеть его. — Долли, голубчик, он говорил мне, но я от тебя хочу слышать, скажи мне все. Долли посмотрела на нее вопросительно. Участие и любовь непритворные видны были на лице Анны. — Изволь, — вдруг сказала она. — Но я скажу сначала. Ты знаешь, как я вышла замуж. Я с воспитанием maman не только была невинна, но я была глупа. Я ничего не знала. Говорят, я знаю, мужья рассказывают женам свою прежнюю жизнь, но Стива... — она поправилась, — Степан Аркадьич ничего не сказал мне. Ты не поверишь, но я до сей поры думала, что я одна женщина, 77

вбежавшей девочке. Она взяла ее на руки и поцеловала.— Прелестная девочка, прелесть! Покажи же мне всех.

Она называла их и припоминала не только имена, но года, месяцы, характеры, болезни всех детей, и Долли не могла не оценить этого.

— Ну, так пойдем к ним, — сказала она. — Вася спит теперь, жалко.

Осмотрев детей, они сели, уже одни, в гостиной, пред кофеем. Анна взялась за поднос и потом отодвинула его.

— Долли, — сказала она, — он говорил мне.

Долли холодно посмотрела на Анну. Она ждала теперь притворно-сочувственных фраз; но Анна ничего такого не сказала.

— Долли, милая! — сказала она, — я не хочу ни говорить тебе за него, ни утешать; это нельзя. Но, душенька, мне просто жалко, жалко тебя всею душой!

Из-за густых ресниц ее блестящих глаз вдруг показались слезы. Она пересела ближе к невестке и взяла ее руку своею энергическою маленькою рукой. Долли не отстранилась, но лицо ее не изменяло своего сухого выражения. Она сказала:

— Утешить меня нельзя. Все потеряно после того, что было, все пропало!

И как только она сказала это, выражение лица ее вдруг смягчилось. Анна подняла сухую, худую руку Долли, поцеловала ее и сказала:

— Но, Долли, что же делать, что же делать? Как лучше поступить в этом ужасном положении? — вот о чем надо подумать.

— Все кончено, и больше ничего, — сказала Долли. — И хуже всего то, ты пойми, что я не могу его бросить; дети, я связана. А с ним жить я не могу, мне мука видеть его.

— Долли, голубчик, он говорил мне, но я от тебя хочу слышать, скажи мне все.

Долли посмотрела на нее вопросительно.

Участие и любовь непритворные видны были на лице Анны.

— Изволь, — вдруг сказала она. — Но я скажу сначала. Ты знаешь, как я вышла замуж. Я с воспитанием maman не только была невинна, но я была глупа. Я ничего не знала. Говорят, я знаю, мужья рассказывают же-

которую он знал. Так я жила восемь лет. Ты пойми, что я не только не подозревала неверности, но что я считала это невозможным, и тут, представь себе, с такими понятиями узнать вдруг весь ужас, всю гадость... Ты пойми меня. Быть уверенной вполне в своем счастии, и вдруг... — продолжала Долли, удерживая рыданья, — и получить письмо... письмо его к своей любовнице, к моей гувернантке. Нет, это слишком ужасно! — Она поспешно вынула платок и закрыла им лицо. — Я понимаю епде увлечение, — продолжала она, помолчав, — но обдуманно, хитро обманывать меня... с кем же?.. Продолжать быть моим мужем вместе с нею... это ужасно! Ты не можешь понять.., — О, пет, я понимаю! Понимаю, милая Долли, понимаю, — говорила Анна, пожимая ее руку. — И ты думаешь, что он понимает весь ужас моего положения? — продолжала Долли. — Нисколько! Он счастлив и доволен. — О, нет! — быстро перебила Анна. — Он жалок, он убит раскаяньем... — Способен ли он к раскаянью? — перебила Долли, внимательно вглядываясь в лицо золовки. — Да, я его знаю. Я не могла без жалости смотреть на него. Мы его обе знаем. Он добр, но он горд, а теперь так унижен. Главное, что меня тронуло (и тут Анна угадала главное, что могло тронуть Долли) — его мучают две вещи: то, что ему стыдно детей, и то, что он, любя тебя... да, да, любя больше всего на свете, — поспешно перебила она хотевшую возражать Долли, — сделал тебе больно, убил тебя. «Нет, нет, она не простит», все говорит он. Долли задумчиво смотрела мимо золовки, слушая ее слова. — Да, я понимаю, что положение его ужасное; виноватому хуже, чем невинному, — сказала она, — если он чувствует, что от вины его все несчастие. Но как же простить, как мне опять быть его женою после нее? Мне жить с ним теперь будет мученье, именно потому, что я любила его, как любила, что я люблю свою прошедшую любовь к нему... И рыдания перервали ее слова. Но как будто нарочно, каждый раз, как она смягчалась, она начинала опять говорить о том, что раздражало ее. — Она ведь молода, ведь она красива, — продолжала она. — Ты понимаешь ли, Анна, что у меня моя моло78

которую он знал. Так я жила восемь лет. Ты пойми, что я не только не подозревала неверности, но что я считала это невозможным, и тут, представь себе, с такими понятиями узнать вдруг весь ужас, всю гадость... Ты пойми меня. Быть уверенной вполне в своем счастии, и вдруг...— продолжала Долли, удерживая рыданья, — и получить письмо... письмо его к своей любовнице, к моей гувернантке. Нет, это слишком ужасно! — Она поспешно вынула платок и закрыла им лицо. — Я понимаю еще увлечение, — продолжала она, помолчав, — но обдуманно, хитро обманывать меня... с кем же?.. Продолжать быть моим мужем вместе с нею... это ужасно! Ты не можешь понять...

— О, нет, я понимаю! Понимаю, милая Долли, понимаю, — говорила Анна, пожимая ее руку.

— И ты думаешь, что он понимает весь ужас моего положения? — продолжала Долли. — Нисколько! Он счастлив и доволен.

— О, нет! — быстро перебила Анна. — Он жалок, он убит раскаяньем...

— Способен ли он к раскаянью? — перебила Долли, внимательно вглядываясь в лицо золовки.

— Да, я его знаю. Я не могла без жалости смотреть на него. Мы его обе знаем. Он добр, но он горд, а теперь так унижен. Главное, что меня тронуло (и тут Анна угадала главное, что могло тронуть Долли) — его мучают две вещи: то, что ему стыдно детей, и то, что он, любя тебя... да, да, любя больше всего на свете, — поспешно перебила она хотевшую возражать Долли, — сделал тебе больно, убил тебя. «Нет, нет, она не простит», все говорит он.

Долли задумчиво смотрела мимо золовки, слушая ее слова.

— Да, я понимаю, что положение его ужасное; виноватому хуже, чем невинному, — сказала она, — если он чувствует, что от вины его все несчастие. Но как же простить, как мне опять быть его женою после нее? Мне жить с ним теперь будет мученье, именно потому, что я любила его, как любила, что я люблю свою прошедшую любовь к нему...

И рыдания перервали ее слова.

Но как будто нарочно, каждый раз, как она смягчалась, она начинала опять говорить о том, что раздра-

дость, красота взяты кем? Им и его детьми. Я отслужила ему, и на этой службе ушло все мое, и ему теперь, разумеется, свежее пошлое существо приятнее. Они, верно, говорили между собою обо мне или, еще хуже, умалчивали, — ты понимаешь? — Опять ненавистью зажглись еѳ глаза. — И после этого он будет говорить мне... Что ж, я буду верить ему? Никогда. Нет, уж кончено все, все, что составляло утешенье, награду труда, мук... Ты поверишь ли? я сейчас учила Гришу: прежде это бывало радость, теперь мученье. Зачем я стараюсь, тружусь? Зачем дети? Ул{асно то, что вдруг душа моя перевернулась, и вместо любви, нежности у меня к нему одна злоба, да, злоба. Я бы убила его и... •— Душенька, Долли, я понимаю, но не мучь себя. Ты так оскорблена, так возбуждена, что ты многое видишь не так. Долли затихла, и они минуты две помолчали. — Что делать, придумай, Анна, помоги. Я все передумала и ничего не вижу. Анна ничего не могла придумать, но сердце ее прямо отзывалось на каждое слово, на каждое выражение лица невестки. — Я одно скажу, — начала Анна, — я его сестра, я знаю его характер, эту способность все, все забыть (она сделала жест пред лбом), эту способность полного увлечения, но зато и полного раскаяния. Он не верит, не понимает теперь, как он мог сделать то, что сделал. — Нет, он понимает, он попимал! — перебила Долли. — Но я... ты забываешь меня... разве мне легче? — Постой. Когда он говорил мне, признаюсь тебе, я не понимала еще всего ужаса твоего положения. Я видела только его и то, что семья расстроена; мне его жалко было, по, поговорив с тобой, я, как женщина, вижу другое; я вижу твои страдания, и мне, не могу тебе сказать, как жаль тебя! Но, Долли, душенька, я понимаю твои страдания вполне, только одного я не знаю: я не знаю... я не знаю, насколько в душе твоей есть еще любви к нему. Это ты знаешь, — настолько ли есть, чтобы можно было простить. Если есть, то прости! — Нет, — начала Долли; но Анна прервала ее, целуя еще раз ее руку. — Я больше тебя знаю свет, — сказала она. — Я знаю этих людей, как Стива, как они смотрят на это. Ты говоришь, что он с ней говорил об тебе. Этого не было. Эти 79

дость, красота взяты кем? Им и его детьми. Я отслужила ему, и на этой службе ушло все мое, и ему теперь, разумеется, свежее пошлое существо приятнее. Они, верно, говорили между собою обо мне или, еще хуже, умалчивали, — ты понимаешь? — Опять ненавистью зажглись ее глаза. — И после этого он будет говорить мне... Что ж, я буду верить ему? Никогда. Нет, уж кончено все, все, что составляло утешенье, награду труда, мук... Ты поверишь ли? я сейчас учила Гришу: прежде это бывало радость, теперь мученье. Зачем я стараюсь, тружусь? Зачем дети? Ужасно то, что вдруг душа моя перевернулась, и вместо любви, нежности у меня к нему одна злоба, да, злоба. Я бы убила его и...

— Душенька, Долли, я понимаю, но не мучь себя. Ты так оскорблена, так возбуждена, что ты многое видишь не так.

Долли затихла, и они минуты две помолчали.

— Что делать, придумай, Анна, помоги. Я все передумала и ничего не вижу.

Анна ничего не могла придумать, но сердце ее прямо отзывалось на каждое слово, на каждое выражение лица невестки.

— Я одно скажу, — начала Анна, — я его сестра, я знаю его характер, эту способность все, все забыть (она сделала жест пред лбом), эту способность полного увлечения, но зато и полного раскаяния. Он не верит, не понимает теперь, как он мог сделать то, что сделал.

— Нет, он понимает, он понимал! — перебила Долли. — Но я... ты забываешь меня... разве мне легче?

— Постой. Когда он говорил мне, признаюсь тебе, я не понимала еще всего ужаса твоего положения. Я видела только его и то, что семья расстроена; мне его жалко было, но, поговорив с тобой, я, как женщина, вижу другое; я вижу твои страдания, и мне, не могу тебе сказать, как жаль тебя! Но, Долли, душенька, я понимаю твои страдания вполне, только одного я не знаю: я не знаю... я не знаю, насколько в душе твоей есть еще любви к нему. Это ты знаешь, — настолько ли есть, чтобы можно было простить. Если есть, то прости!

— Нет, — начала Долли; но Анна прервала ее, целуя

люди делают неверности, но свой домапіний очаг и жена — это для них святыня. Как-то у них эти женщины остаются в презрении и не мешают семье. Они какую-то черту проводят непроходимую между семьей и этим. Я этого не понимаю, но это так. — Да, но он целовал ее... — Долли, постой, душенька. Я видела Стиву, когда он был влюблен в тебя. Я помню это время, когда он приезжал ко мне и плакал, говоря о тебе, и какая поэзия и высота была ты для него, и я знаю, что чем больше он с тобой жил, тем выше ты для него становилась. Ведь мы смеялись, бывало, над ним, что он к каждому слову прибавлял: «Долли удивительная женщина». Ты для него божество всегда была и осталась, а это увлечение не души его... — Но если это увлечение повторится? — Оно не может, как я понимаю... — Да, но ты простила бы? — Не знаю. Я не могу судить... Нет, могу, — сказала Анна, подумав; и, уловив мыслью положение и свесив его на внутренних весах, прибавила: — Нет, могу, могу, могу. Да, я простила бы. Я не была бы тою же, да, но простила бы, и так простила бы, как будто этого не было, совсем не было. — Ну, разумеется, — быстро прервала Долли, как будто она говорила то, что не раз думала, — иначе бы это не было прощение. Если простить, то совсем, совсем. Ну пойдем, я тебя проведу в твою комнату, — сказала она, вставая, и по дороге Долли обняла Анну. — Милая моя, как я рада, что ты приехала, как я рада. Мне легче, гораздо легче стало. XX Весь день этот Анна провела дома, то есть у Облонских, и не принимала никого, так как уж некоторые из ее знакомых, успев узнать о ее прибытии, приезжали в этот же день. Анна все утро провела с Долли и с детьми. Она только послала записочку к брату, чтоб он непременно обедал дома. «Приезжай, бог милостив», писала она. Облонский обедал дома; разговор был общий, и жена говорила с ним, называя его «ты», чего прежде не было. В отношениях мужа с женой оставалась та же отчужден80

люди делают неверности, но свой домашний очаг и жена — это для них святыня. Как-то у них эти женщины остаются в презрении и не мешают семье. Они какую-то черту проводят непроходимую между семьей и этим. Я этого не понимаю, но это так.

— Да, но он целовал ее...

— Долли, постой, душенька. Я видела Стиву, когда он был влюблен в тебя. Я помню это время, когда он приезжал ко мне и плакал, говоря о тебе, и какая поэзия и высота была ты для него, и я знаю, что чем больше он с тобой жил, тем выше ты для него становилась. Ведь мы смеялись, бывало, над ним, что он к каждому слову прибавлял: «Долли удивительная женщина». Ты для него божество всегда была и осталась, а это увлечение не души его...

— Но если это увлечение повторится?

— Оно не может, как я понимаю...

— Да, но ты простила бы?

— Не знаю. Я не могу судить... Нет, могу, — сказала Анна, подумав; и, уловив мыслью положение и свесив его на внутренних весах, прибавила: — Нет, могу, могу, могу. Да, я простила бы. Я не была бы тою же, да, но простила бы, и так простила бы, как будто этого не было, совсем не было.

— Ну, разумеется, — быстро прервала Долли, как будто она говорила то, что не раз думала, — иначе бы это не было прощение. Если простить, то совсем, совсем. Ну пойдем, я тебя проведу в твою комнату, — сказала она, вставая, и по дороге Долли обняла Анну. — Милая моя, как я рада, что ты приехала, как я рада. Мне легче, гораздо легче стало.

XX

Весь день этот Анна провела дома, то есть у Облонских, и не принимала никого, так как уж некоторые из ее знакомых, успев узнать о ее прибытии, приезжали в этот же день. Анна все утро провела с Долли и с детьми. Она только послала записочку к брату, чтоб он непре-

нооть, TIO уже ne было речи о разлуке, и Степан Лркадьич видел возможность обч>ясііеиия и примирения. Тотчас после обеда приехала Кити. Она знала Анну Аркадьевну, но очень мало, и ехала теперь к сестре не без страху пред тем, как ее примет эта петербургская светская дама, которую все так хвалили. Но она понравилась Анне Аркадьевне, — это она увидела сейчас. Анна, очевидно, любовалась ее красотою и молодостью, и не успела Кити опомниться, как она уже чувствовала себя но только под ее влиянием, но чувствовала себя влюбленною в нее, как способны влюбляться молодые девушки в замужних и старших дам. Анна непохожа была на светскую даму или на мать восьмилетнего сына, по скорее походила бы на двадцатилетнюю девушку по гибкости движений, свежести и установившемуся на ее лице оживлению, выбивавшемуся то в улыбку, то во взгляд, если бы не серьезное, иногда грустное выражение ее глаз, которое поражало и притягивало к себе Кити. Кити чувствовала, что Анна была совершенно проста и ничего не скрывала, но что в ней был другой какой-то высший мир недоступных для нее интересов, сложных и поэтических. После обеда, когда Долли вышла в свою комнату, Анна быстро встала и подошла к брату, который закуривал сигару. — Стива, — сказала она ему, весело подмигивая, крестя его и указывая глазами на дверь. — Иди, и помогай тебе бог. Он бросил сигару, поняв ее, и скрылся за дверью. Когда Степан Аркадьич ушел, она вернулась на диван, где сидела окруженная детьми. Оттого ли, что дети видели, что мама любила эту тетю, или оттого, что они сами чувствовали в ней особенную прелесть, но старшие два, а за ними и меньшие, как это часто бывает с детьми, еще до обеда прилипли к новой тете и не отходили от нее. И между ними составилось что-то вроде игры, состоящей в том, чтобы как можно ближе сидеть подле тети, дотрагиваться до нее, держать ее маленькую руку, целовать ее, играть с ее кольцом или хоть дотрагиваться до оборки ее платья. — Ну, ну, как мы прежде сидели, — сказала Анна Аркадьевна, садясь на свое место. И опять Гриша подсунул голову под ее руку и прислонился головой к ее платью и засиял гордостью и счастьем. 81

ность, но уже не было речи о разлуке, и Степан Аркадьич видел возможность объяснения и примирения.

Тотчас после обеда приехала Кити. Она знала Анну Аркадьевну, но очень мало, и ехала теперь к сестре не без страху пред тем, как ее примет эта петербургская светская дама, которую все так хвалили. Но она понравилась Анне Аркадьевне, — это она увидела сейчас. Анна, очевидно, любовалась ее красотою и молодостью, и не успела Кити опомниться, как она уже чувствовала себя не только под ее влиянием, но чувствовала себя влюбленною в нее, как способны влюбляться молодые девушки в замужних и старших дам. Анна непохожа была на светскую даму или на мать восьмилетнего сына, но скорее походила бы на двадцатилетнюю девушку по гибкости движений, свежести и установившемуся на ее лице оживлению, выбивавшемуся то в улыбку, то во взгляд, если бы не серьезное, иногда грустное выражение ее глаз, которое поражало и притягивало к себе Кити. Кити чувствовала, что Анна была совершенно проста и ничего не скрывала, но что в ней был другой какой-то высший мир недоступных для нее интересов, сложных и поэтических.

После обеда, когда Долли вышла в свою комнату, Анна быстро встала и подошла к брату, который закуривал сигару.

— Стива, — сказала она ему, весело подмигивая, крестя его и указывая глазами на дверь. — Иди, и помогай тебе бог.

Он бросил сигару, поняв ее, и скрылся за дверью.

Когда Степан Аркадьич ушел, она вернулась на диван, где сидела окруженная детьми. Оттого ли, что дети видели, что мама любила эту тетю, или оттого, что они сами чувствовали в ней особенную прелесть, но старшие два, а за ними и меньшие, как это часто бывает с детьми, еще до обеда прилипли к новой тете и не отходили от нее. И между ними составилось что-то вроде игры, состоящей в том, чтобы как можно ближе сидеть подле тети, дотрагиваться до нее, держать ее маленькую руку, целовать ее, играть с ее кольцом или хоть дотрагиваться до оборки ее платья.

— Ну, ну, как мы прежде сидели, — сказала Анна Аркадьевна, садясь на свое место.

— Так теперь когда же бал? — обратилась опа к Кити. — - На будущей неделе, и прекрасный бал. Один из тех балов, на которых всегда весело. — А есть такие, где всегда весело? — с нежною насмешкой сказала Анна. — Странно, но есть. У Бобрищевых всегда весело, у Никитиных тоже, а у Межковых всегда скучно. Вы разве не замечали? — Нет, душа моя, для меня уж нет таких балов, где весело, — сказала Анна, и Кити увидела в ее глазах тот особенный мир, который ей не был открыт. — Для меня есть такие, на которых менее трудно и скучно... — Как может быть вам скучно на бале? — Отчего же мне не может быть скучно на бале? — спросила Анна. Кити заметила, что Анна знала, какой последует ответ. — Оттого, что вы всегда л>чте всех. Анна имела способность краснеть. Она покраснела и сказала: — Во-первых, никогда; а во-вторых, если б это и было, то зачем мне это? — Вы поедете на этот бал? — спросила Кити. — Я думаю, что нельзя будет не ехать. Вот это возьми, — сказала она Тане, которая стаскивала легко сходившее кольцо с ее белого, тонкого в конце пальца. — Я очень рада буду, если вы поедете. Я бы так хотела вас видеть на бале. — По крайней мере, если придется ехать, я буду утешаться мыслью, что это сделает вам удовольствие... Гриша, не теребя, пожалуйста, они и так все растрепались, — сказала она, поправляя выбившуюся прядь волос, которою играл Гриша. — Я вас воображаю на бале в лиловом. — Отчего же непременно в лиловом? — улыбаясь, спросила Анна. — Ну, дети, идите, идите. Слышите, мисс Гуль зовет чай пить, — сказала опа, отрывая от себя детей и отправляя их в столовую. — А я знаю, отчего вы зовете меня на бал. Вы ждете много от этого бала, и вам хочется, чтобы все тут были, все принимали участие. — Почем вы знаете? Да. 82

— Так теперь когда же бал? — обратилась она к Кити.

— На будущей неделе, и прекрасный бал. Один из тех балов, на которых всегда весело.

— А есть такие, где всегда весело? — с нежною насмешкой сказала Анна.

— Странно, но есть. У Бобрищевых всегда весело, у Никитиных тоже, а у Межковых всегда скучно. Вы разве не замечали?

— Нет, душа моя, для меня уж нет таких балов, где весело, — сказала Анна, и Кити увидела в ее глазах тот особенный мир, который ей не был открыт. — Для меня есть такие, на которых менее трудно и скучно...

— Как может быть *вам* скучно на бале?

— Отчего же *мне* не может быть скучно на бале? — спросила Анна.

Кити заметила, что Анна знала, какой последует ответ.

— Оттого, что вы всегда лучше всех.

Анна имела способность краснеть. Она покраснела и сказала:

— Во-первых, никогда; а во-вторых, если б это и было, то зачем мне это?

— Вы поедете на этот бал? — спросила Кити.

— Я думаю, что нельзя будет не ехать. Вот это возьми, — сказала она Тане, которая стаскивала легко сходившее кольцо с ее белого, тонкого в конце пальца.

— Я очень рада буду, если вы поедете. Я бы так хотела вас видеть на бале.

— По крайней мере, если придется ехать, я буду утешаться мыслью, что это сделает вам удовольствие... Гриша, не теребни, пожалуйста, они и так все растрепались, — сказала она, поправляя выбившуюся прядь волос, которою играл Гриша.

— Я вас воображаю на бале в лиловом.

— Отчего же непременно в лиловом? — улыбаясь, спросила Анна. — Ну, дети, идите, идите. Слышите, мисс Гуль зовет чай пить, — сказала она, отрывая от себя детей и отправляя их в столовую.

— О! как хорошо вате время, — продоля^ала Анна. — Помню и знаю этот голубой туман, вроде того, что на горах в Швейцарии. Этот туман, который покрывает все в блаженное то время, когда вот-вот кончится детство, и из этого огромного круга, счастливого, веселого, делается путь все уже и уже и весело и жутко входить в эту анфиладу, хотя она и светлая и прекрасная... Кто не прошел через это? Кити молча улыбалась. «Но как же она прошла через это? Как бы я я^лала знать весь ее роман», — подумала Кити, вспоминая непоэтическую наружность Алексея Александровича, ее мужа. — Я знаю кое-что. Стива мне говорил, и поздравляю вас, он мне очень нравится, — продолжала Анна, — я встретила Вронского на железной дороге. — Ах, он был там? — спросила Кити, покраснев. — .Что же Стива сказал вам? — Стива мне все разболтал. И я очень была бы рада. Я ехала вчера с матерью Вронского, — продолжала она, — и мать, не умолкая, говорила мне про пего; это ее любимец; я знаю, как матери пристрастны, но... — Что ж мать рассказывала вам? — Ах, много! И я знаю, что он ее любимец, но всетаки видно, что это рыцарь... Ну, например, она рассказывала, что он хотел отдать все состояние брату, что он в детстве еще что-то необыкновенное сделал, спас ягепщину из воды. Словом, герой, — сказала Анна, улыбаясь и вспоминая про эти двести рублей, которые он дал на станции. Но она не рассказала про эти двести рублей. Почемуто ей неприятно было вспоминать об этом. Опа чувствовала, что в этом было что-то касающееся до нее и такое, чего не должно было быть. — Она очень просила меня поехать к ней, — продолжала Анна, — и я рада повидать старушку и завтра поеду к ней. Однако, слава богу, Стива долго остается у Долли в кабинете, — прибавила Анна, переменяя разговор и вставая, как показалось Кити, чем-то недовольная. — Нет, я прежде! нет, я! — кричали дети, окончив чай и выбегая к тете Анне. — Все вместе! —• сказала Анна и, смеясь, побежала им навстречу и обняла и повалила всю эту кучу копошащихся и визжащих от восторга детей. 83

— О! как хорошо ваше время, — продолжала Анна. — Помню и знаю этот голубой туман, вроде того, что на горах в Швейцарии. Этот туман, который покрывает все в блаженное то время, когда вот-вот кончится детство, и из этого огромного круга, счастливого, веселого, делается путь все у́же и у́же и весело и жутко входить в эту анфиладу, хотя она и светлая и прекрасная... Кто не прошел через это?

Кити молча улыбалась. «Но как же она прошла через это? Как бы я желала знать весь ее роман», — подумала Кити, вспоминая непоэтическую наружность Алексея Александровича, ее мужа.

— Я знаю кое-что. Стива мне говорил, и поздравляю вас, он мне очень нравится, — продолжала Анна, — я встретила Вронского на железной дороге.

— Ах, он был там? — спросила Кити, покраснев. — Что же Стива сказал вам?

— Стива мне все разболтал. И я очень была бы рада. Я ехала вчера с матерью Вронского, — продолжала она, — и мать, не умолкая, говорила мне про него; это ее любимец; я знаю, как матери пристрастны, но...

— Что ж мать рассказывала вам?

— Ах, много! И я знаю, что он ее любимец, но все-таки видно, что это рыцарь... Ну, например, она рассказывала, что он хотел отдать все состояние брату, что он в детстве еще что-то необыкновенное сделал, спас женщину из воды. Словом, герой, — сказала Анна, улыбаясь и вспоминая про эти двести рублей, которые он дал на станции.

Но она не рассказала про эти двести рублей. Почему-то ей неприятно было вспоминать об этом. Она чувствовала, что в этом было что-то касающееся до нее и такое, чего не должно было быть.

— Она очень просила меня поехать к ней, — продолжала Анна, — и я рада повидать старушку и завтра поеду к ней. Однако, слава богу, Стива долго остается у Долли в кабинете, — прибавила Анна, переменяя разговор и вставая, как показалось Кити, чем-то недовольная.

— Нет, я прежде! нет, я! — кричали дети, окончив чай и выбегая к тете Анне.

XXI к чаю больших Долли вышла из своей комнаты. Степан Аркадьич не выходил. Он, должно быть, вышел из комнаты жены задним ходом. — Я боюсь, что тебе холодно будет наверху, — заметила Долли, обращаясь к Анне, — мне хочется перевести тебя вниз, и мы ближе будем. — Ах, уж, пожалуйста, обо мне не заботьтесь, — отвечала Анна, вглядываясь в лицо Долли и стараясь понять, было или не было примирения. — Тебе светло будет здесь, — отвечала невестка. — Я тебе говорю, что я сплю везде и всегда как сурок. — Об чем это? — сказал Степан Аркадьич, выходя из кабинета и обращаясь к жене. По тону его и Кити и Анна сейчас поняли, что примирение состоялось. — Я Анну хочу перевести вниз, но надо гардины перевесить. Никто не сумеет сделать, надо самой, — отвечала Долли, обращаясь к нему. «Бог знает, вполне ли помирились?» — подумала Анна, услышав ее тон, холодный и спокойный. — Ах, полно, Долли, все делать трудности, — сказал муж. — Ну, хочешь, я все сделаю... «Да, должно быть, помирились», — подумала Анна. — Знаю, как ты все сделаешь, — отвечала Долли, — скажешь Матвею сделать то, чего нельзя сделать, сам уедешь, а он все перепутает, — и привычная насмешливая улыбка морщила концы губ Долли, когда она говорила это. «Полное, полное примиренье, полное, — подумала Анна, — слава богу!» — и, радуясь тому, что она была причиной этого, она подошла к Долли и поцеловала ее. — Совсем нет, отчего ты так презираешь нас с Матвеем? — сказал Степан Аркадьич, улыбаясь чуть заметно и обращаясь к жене. Весь вечер, как всегда, Долли была слегка насмешлива по отношению к мужу, а Степан Аркадьич доволен и весел, но настолько, чтобы не показать, что он, будучи прощен, забыл свою вину. В половине десятого особенно радостная и приятная вечерняя семейная беседа за чайным столом у Облонских была нарушена самым, по-видимому, простым собы

XXI

К чаю больших Долли вышла из своей комнаты. Степан Аркадьич не выходил. Он, должно быть, вышел из комнаты жены задним ходом.

— Я боюсь, что тебе холодно будет наверху, — заметила Долли, обращаясь к Анне, — мне хочется перевести тебя вниз, и мы ближе будем.

— Ах, уж, пожалуйста, обо мне не заботьтесь, — отвечала Анна, вглядываясь в лицо Долли и стараясь понять, было или не было примирения.

— Тебе светло будет здесь, — отвечала невестка.

— Я тебе говорю, что я сплю везде и всегда как сурок.

— Об чем это? — сказал Степан Аркадьич, выходя из кабинета и обращаясь к жене.

По тону его и Кити и Анна сейчас поняли, что примирение состоялось.

— Я Анну хочу перевести вниз, но надо гардины перевесить. Никто не сумеет сделать, надо самой, — отвечала Долли, обращаясь к нему.

«Бог знает, вполне ли помирились?» — подумала Анна, услышав ее тон, холодный и спокойный.

— Ах, полно, Долли, все делать трудности, — сказал муж. — Ну, хочешь, я все сделаю...

«Да, должно быть, помирились», — подумала Анна.

— Знаю, как ты все сделаешь, — отвечала Долли, — скажешь Матвею сделать то, чего нельзя сделать, сам уедешь, а он все перепутает, — и привычная насмешливая улыбка морщила концы губ Долли, когда она говорила это.

«Полное, полное примиренье, полное, — подумала Анна, — слава богу!» — и, радуясь тому, что она была причиной этого, она подошла к Долли и поцеловала ее.

— Совсем нет, отчего ты так презираешь нас с Матвеем? — сказал Степан Аркадьич, улыбаясь чуть заметно и обращаясь к жене.

Весь вечер, как всегда, Долли была слегка насмешлива по отношению к мужу, а Степан Аркадьич доволен и весел, но настолько, чтобы не показать, что он, будучи

тием, но это простое событие почему то всем показалось странным. Разговорившись об общих петербургских знакомых, Анна быстро встала. — Она у меня есть в альбоме, — сказала опа, — да и кстати я покажу моего Сережу, — прибавила она с гордою материнскою улыбкой. К десяти часам, когда она обыкновенно прощалась с сыном и часто сама, пред тем как ехать на бал, укладывала его, ей стало грустно, что она так далеко от него; и о чем бы ни говорили, она нет-нет и возвращалась мыслью к своему кудрявому Сереже. Ей захотелось посмотреть на его карточку и поговорить о нем. Воспользовавшись первым предлогом, она встала и своею легкою, решительною походкой пошла за альбомом. Лестница наверх, в ее комнату, выходила на площадку большой входной теплой лестницы. В то время, как она выходила из гостиной, в передней послышался звонок. — Кто это может быть? — сказала Долли. — За мной рано, а кому-нибудь поздно, — заметила Кити. — Верно, с бумагами, — прибавил Степан Аркадьич, и, когда Анна проходила мимо лестницы, слуга взбегал наверх, чтобы доложить о приехавшем, а сам приехавший стоял у лампы. Анна, взглянув вниз, узнала тотчас же Вронского, и странное чувство удовольствия и вместе страха чего-то вдруг шевельнулось у нее в сердце. Он стоял, не снимая пальто, и что-то доставал из кармана. В ту минуту как она поравнялась с серединой лестницы, он поднял глаза, увидал ее, и в выражении его лица сделалось что-то пристыженное и испуганное. Она, слегка наклонив голову, прошла, а вслед за ней послышался громкий голос Степана Аркадьича, звавшего его войти, и негромкий, мягкий и спокойный голос отказывавшегося Вронского. Когда Анна вернулась с альбомом, его уже не было, и Степан Аркадьич рассказывал, что он заезжал узнать об обеде, который они завтра давали приезжей знаменитости. — Он ни за что не хотел войти. Какой-то он странный, — прибавил Степан Аркадьич. Кити покраснела. Она думала, что она одна поняла, зачем он приезжал и отчего не вошел. «Он был у нас, — думала она, — и не застал и подумал, я здесь; но не вошел, оттого что думал — поздно, и Анна здесь». 85

тием, но это простое событие почему-то всем показалось странным. Разговорившись об общих петербургских знакомых, Анна быстро встала.

— Она у меня есть в альбоме, — сказала она, — да и кстати я покажу моего Сережу, — прибавила она с гордою материнскою улыбкой.

К десяти часам, когда она обыкновенно прощалась с сыном и часто сама, пред тем как ехать на бал, укладывала его, ей стало грустно, что она так далеко от него; и о чем бы ни говорили, она нет-нет и возвращалась мыслью к своему кудрявому Сереже. Ей захотелось посмотреть на его карточку и поговорить о нем. Воспользовавшись первым предлогом, она встала и своею легкою, решительною походкой пошла за альбомом. Лестница наверх, в ее комнату, выходила на площадку большой входной теплой лестницы.

В то время, как она выходила из гостиной, в передней послышался звонок.

— Кто это может быть? — сказала Долли.

— За мной рано, а кому-нибудь поздно, — заметила Кити.

— Верно, с бумагами, — прибавил Степан Аркадьич, и, когда Анна проходила мимо лестницы, слуга взбегал наверх, чтобы доложить о приехавшем, а сам приехавший стоял у лампы. Анна, взглянув вниз, узнала тотчас же Вронского, и странное чувство удовольствия и вместе страха чего-то вдруг шевельнулось у нее в сердце. Он стоял, не снимая пальто, и что-то доставал из кармана. В ту минуту как она поравнялась с серединой лестницы, он поднял глаза, увидал ее, и в выражении его лица сделалось что-то пристыженное и испуганное. Она, слегка наклонив голову, прошла, а вслед за ней послышался громкий голос Степана Аркадьича, звавшего его войти, и негромкий, мягкий и спокойный голос отказывавшегося Вронского.

Когда Анна вернулась с альбомом, его уже не было, и Степан Аркадьич рассказывал, что он заезжал узнать об обеде, который они завтра давали приезжей знаменитости.

— Он ни за что не хотел войти. Какой-то он странный, — прибавил Степан Аркадьич.

Кити покраснела. Она думала, что она одна поняла,

Все переглянулись, ничего не сказав, и стали смотреть альбом Анны. Ничего не было ни необыкновенного, ни странного в том, что человек заехал к приятелю в половине десятого узнать подробности затеваемого обеда и не вошел; но всем это показалось странно. Более всех странно и нехорошо это показалось Анне. XXII Бал только что начался, когда Кити с матерью входила на большую, уставленную цветами и лакеями в пудре и красных кафтанах, залитую светом лестницу. Из зал несся стоявший в них равномерный, как в улье, шорох движенья, и, пока они на плопі.адке между деревьями оправляли перед зеркалом прически, из залы послышались осторожно-отчетливые звуки скрипок оркестра, начавшего первый вальс. Штатский старичок, оправлявший свои седые височки у другого зеркала и изливавший от себя запах духов, столкнулся с ними на лестнице и посторонился, видимо любуясь незнакомою ему Кити. Безбородый юноша, один из тех светских юношей, которых старый князь Щербацкий называл тютьками, в чрезвычайно открытом жилете, оправляя на ходу белый галстук, поклонился им и, пробежав мимо, вернулся, приглашая Кити на кадриль. Первая кадриль была уж отдана Вронскому, она должна была отдать этому юноше вторую. Военный, застегивая перчатку, сторонился у двери и, поглаживая усы, любовался на розовую Кити. Несмотря на то, что туалет, прическа и все приготовления к балу стоили Кити больших трудов и соображений, она теперь, в своем сложном тюлевом платье на розовом чехле, вступала на бал так свободно и просто, как будто все эти розетки, кружева, все подробности туалета не стоили ей и ее домашним пи минуты внимания, как будто она родилась в этом тюле, кружевах, с этою высокою прической, с розой и двумя листками наверху. Когда старая княгиня пред входом в залу хотела оправить на ней завернувшуюся ленту пояса, Кити слегка отклонилась. Она чувствовала, что все само собою должно быть хорошо и грациозно на ней и что поправлять ничего не нужно. 86

Все переглянулись, ничего не сказав, и стали смотреть альбом Анны.

Ничего не было ни необыкновенного, ни странного в том, что человек заехал к приятелю в половине десятого узнать подробности затеваемого обеда и не вошел; но всем это показалось странно. Более всех странно и нехорошо это показалось Анне.

XXII

Бал только что начался, когда Кити с матерью входила на большую, уставленную цветами и лакеями в пудре и красных кафтанах, залитую светом лестницу. Из зал несся стоявший в них равномерный, как в улье, шорох движенья, и, пока они на площадке между деревьями оправляли перед зеркалом прически, из залы послышались осторожно-отчетливые звуки скрипок оркестра, начавшего первый вальс. Штатский старичок, оправлявший свои седые височки у другого зеркала и изливавший от себя запах духов, столкнулся с ними на лестнице и посторонился, видимо любуясь незнакомою ему Кити. Безбородый юноша, один из тех светских юношей, которых старый князь Щербацкий называл *тютьками,* в чрезвычайно открытом жилете, оправляя на ходу белый галстук, поклонился им и, пробежав мимо, вернулся, приглашая Кити на кадриль. Первая кадриль была уж отдана Вронскому, она должна была отдать этому юноше вторую. Военный, застегивая перчатку, сторонился у двери и, поглаживая усы, любовался на розовую Кити.

Несмотря на то, что туалет, прическа и все приготовления к балу стоили Кити больших трудов и соображений, она теперь, в своем сложном тюлевом платье на розовом чехле, вступала на бал так свободно и просто, как будто все эти розетки, кружева, все подробности туалета не стоили ей и ее домашним ни минуты внимания, как будто она родилась в этом тюле, кружевах, с этою высокою прической, с розой и двумя листками наверху.

Когда старая княгиня пред входом в залу хотела оправить на ней завернувшуюся ленту пояса, Кити слег-

Кити была в одном из своих счастливых дней. Платье не теснило нигде, нигде не спускалась крул^евная берта, розетки не смялись и не оторвались; ізозовые туфли на высоких выгнутых каблуках не жали, а веселили ножку. Густые косы белокурых волос держались как свои на маленькой головке. Пуговицы все три застегнулись, не порвавшись, на высокой перчатке, которая обвила ее руку, не изменив ее формы. Черная бархатка медальона особенно нежно окружила шею. Бархатка эта была прелесть, и дома, глядя в зеркало на свою шею, Кити чувствовала, что эта бархатка говорила. Во всем другом могло еще быть сомненье, но бархатка была прелесть. Кити улыбнулась и здесь на бале, взглянув на нее в зеркало. В обнаженных плечах и руках Кити чувствовала холодную мраморность, чувство, которое опа особенно любила. Глаза блестели, и румяные губы не могли не улыбаться от сознания своей привлекательности. Не успела она войти в залу и дойти до тюлево-ленто-кружевно-цветной толпы дам, ожидавших приглашения танцевать (Кити никогда не стаивала в этой толпе), как уж ее пригласили зіа вальс, и пригласил лучший кавалер, главный кавалер на бальной иерархии, знаменитый дирижер балов, церемониймейстер, я^енатый, красивый и статный мужчина Егорушка Корсунский. Только что оставив графиню Банину, с которою он протанцевал первый тур вальса, он, оглядывая свое хозяйство, то есть пустившихся танцевать несколько пар, увидел входившую Кити и подбежал к ней тою особенною, свойственною только дирижерам балов развязною иноходью и, поклонившись, даже не спрашивая, желает ли она, занес руку, чтоб обнять ее тонкую талию. Она оглянулась, кому передать веер, и хозяйка, улыбаясь ей, взяла его.
— Как хорошо, что вы приехали вовремя, — сказал он, обнимая ее талию, — а то, что за манера опаздывать. Она положила, согнувши, левую руку на его плечо, и маленькие ножки в розовых ботинках быстро, легко и мерно задвигались в такт музыки по скользкому паркету. — Отдыхаешь, вальсируя с вами, — сказал он ей, пускаясь в первые небыстрые шаги вальса. — Прелесть, какая легкость, précision ^ — говорил он ей то, что говорил ПОЧТИ всем хорошим знакомым. ^ точность (Франц.), 87

Кити была в одном из своих счастливых дней. Платье не теснило нигде, нигде не спускалась кружевная берта, розетки не смялись и не оторвались; розовые туфли на высоких выгнутых каблуках не жали, а веселили ножку. Густые косы белокурых волос держались как свои на маленькой головке. Пуговицы все три застегнулись, не порвавшись, на высокой перчатке, которая обвила ее руку, не изменив ее формы. Черная бархатка медальона особенно нежно окружила шею. Бархатка эта была прелесть, и дома, глядя в зеркало на свою шею, Кити чувствовала, что эта бархатка говорила. Во всем другом могло еще быть сомненье, но бархатка была прелесть. Кити улыбнулась и здесь на бале, взглянув на нее в зеркало. В обнаженных плечах и руках Кити чувствовала холодную мраморность, чувство, которое она особенно любила. Глаза блестели, и румяные губы не могли не улыбаться от сознания своей привлекательности. Не успела она войти в залу и дойти до тюлево-ленто-кружевно-цветной толпы дам, ожидавших приглашения танцевать (Кити никогда не стаивала в этой толпе), как уж ее пригласили на вальс, и пригласил лучший кавалер, главный кавалер на бальной иерархии, знаменитый дирижер балов, церемониймейстер, женатый, красивый и статный мужчина Егорушка Корсунский. Только что оставив графиню Банину, с которою он протанцевал первый тур вальса, он, оглядывая свое хозяйство, то есть пустившихся танцевать несколько пар, увидел входившую Кити и подбежал к ней тою особенною, свойственною только дирижерам балов развязною иноходью и, поклонившись, даже не спрашивая, желает ли она, занес руку, чтоб обнять ее тонкую талию. Она оглянулась, кому передать веер, и хозяйка, улыбаясь ей, взяла его.

— Как хорошо, что вы приехали вовремя, — сказал он, обнимая ее талию, — а то, что за манера опаздывать.

Она положила, согнувши, левую руку на его плечо, и маленькие ножки в розовых ботинках быстро, легко и мерно задвигались в такт музыки по скользкому паркету.

— Отдыхаешь, вальсируя с вами, — сказал он ей, пускаясь в первые небыстрые шаги вальса. — Прелесть, какая легкость, précision [1], — говорил он ей то, что гово-

Она улыбнулась на его похвалу и через его плечо продолжала разглядывать залу. Она была не вновь выезжающая, у которой на бале все лица сливаются в одно волшебное впечатление; она и не была затасканная по балам девушка, которой все лица бала так знакомы, что наскучили; но она была на середине этих двух, — она была возбуждесна, а вместе с тем обладала собой настолько, что могла наблюдать. В левом углу залы, она видела, сгруппировался цвет общества. Там была до невозможного обнаженная красавица Лиди, жена Корсунского, там была хозяйка, там сиял своею лысиной Кривин, всегда бывший там, где цвет общества; туда смотрели юноши, не смея подойти; и там она нашла глазами Стиву и потом увидала прелестную фигуру и голову Анны в черном бархатном платье. И он был тут. Кити не видала его с того вечера, когда она отказала Левину. Кити своими дальнозоркими глазами тотчас узнала его и даже заметила, что он смотрит на нее. — Что ж, еще тур? Вы не устали? — сказал Корсунский, слегка запыхавшись. — Нет, благодарствуйте. — Куда же отвести вас? — Каренина тут, кажется... отведите меня к ней. — Куда прикал^ете. И Корсунский завальсировал, умеряя шаг, прямо на толпу в левом углу залы, приговаривая: «Pardon, mesdames, pardon, pardon, mesdames», и, лавируя между морем кружев, тюля и лент и не зацепив пи за перышко, повернул круто свою даму, так что открылись ее тонкие ножки, в ажурных чулках, а шлейф разнесло опахалом и закрыло им колени Кривину. Корсунский поклонился, выпрямил открытую грудь и подал руку, чтобы провести ее до Анны Аркадьевны. Кити, раскрасневшись, сняла шлейф с колен Кривина и, закрул^енная немного, оглянулась, отыскивая Анну. Анна стояла, окруженная дамами и мужчинами, разговаривая. Анна была не в лиловом, как того непременно хотела Кити, но в черном, низко срезанном бархатном платье, открывавшем ее точеные, как старой слоновой кости, полные плечи и грудь и округлые руки с тонкою крошечною кистью. Все платье было обшито венецианским гипюром. На голове у нее, в черных волосах, своих без примеси, была маленькая гирлянда анютиных глазок и такая же на черной ленте пояса между белыми кружевами. Прическа ее 88

Она улыбнулась на его похвалу и через его плечо продолжала разглядывать залу. Она была не вновь выезжающая, у которой на бале все лица сливаются в одно волшебное впечатление; она и не была затасканная по балам девушка, которой все лица бала так знакомы, что наскучили; но она была на середине этих двух, — она была возбуждена, а вместе с тем обладала собой настолько, что могла наблюдать. В левом углу залы, она видела, сгруппировался цвет общества. Там была до невозможного обнаженная красавица Лиди, жена Корсунского, там была хозяйка, там сиял своею лысиной Кривин, всегда бывший там, где цвет общества; туда смотрели юноши, не смея подойти; и там она нашла глазами Стиву и потом увидала прелестную фигуру и голову Анны в черном бархатном платье. И *он* был тут. Кити не видала его с того вечера, когда она отказала Левину. Кити своими дальнозоркими глазами тотчас узнала его и даже заметила, что он смотрит на нее.

— Что ж, еще тур? Вы не устали? — сказал Корсунский, слегка запыхавшись.

— Нет, благодарствуйте.

— Куда же отвести вас?

— Каренина тут, кажется... отведите меня к ней.

— Куда прикажете.

И Корсунский завальсировал, умеряя шаг, прямо на толпу в левом углу залы, приговаривая: «Pardon, mesdames, pardon, pardon, mesdames», и, лавируя между морем кружев, тюля и лент и не зацепив ни за перышко, повернул круто свою даму, так что открылись ее тонкие ножки, в ажурных чулках, а шлейф разнесло опахалом и закрыло им колени Кривину. Корсунский поклонился, выпрямил открытую грудь и подал руку, чтобы провести ее до Анны Аркадьевны. Кити, раскрасневшись, сняла шлейф с колен Кривина и, закруженная немного, оглянулась, отыскивая Анну. Анна стояла, окруженная дамами и мужчинами, разговаривая. Анна была не в лиловом, как того непременно хотела Кити, но в черном, низко срезанном бархатном платье, открывавшем ее точеные, как старой слоновой кости, полные плечи и грудь и округлые руки с тонкою крошечною кистью. Все платье было обшито венецианским гипюром. На голове

была незаметна. Заметны были только, украшая ее, эти своевольные короткие колечки курчавых волос, всегда выбивавшиеся на затылке и висках. На точеной крепкой шее была нитка жемчугу. Кити видела каждый день Анну, была влюблена в нее и представляла себе ее непременно в лиловом. Но теперь, увидав ее в черном, она почувствовала, что не понимала всей ее прелести. Она теперь увидала ее совершенно новою и неожиданною для себя. Теперь она поняла, что Анна не могла быть в лиловом и что ее прелесть состояла именно в том, что она всегда выступала из своего туалета, что туалет никогда не мог быть виден на ней. ГІ черное платье с пышными кружевами не было видно на ней; это была только рамка, и была видна только она, простая, естественная, изящ.ная и вместе веселая и оживленная. Она стояла, как и всегда, чрезвычайно прямо держась, и, когда Кити подошла к этой кучке, говорила с хозяином дома, слегка поворотив к нему голову. — Нет, я не брошу камня, — отвечала она ему на что-то, — хотя я не понимаю, — продолжала она, пожав плечами, и тотчас же с нежною улыбкой покровительства обратилась к Кити. Беглым женским взглядом окинув ее туалет, она сделала чуть заметное, но понятное для Кити, одобрительное ее туалету и красоте движенье головой. — Вы и в залу входите танцуя, — прибавила она. — Это одна из моих вернейших помогдниц, — сказал Корсунский, кланяясь Анне Аркадьевне, которой он не видал еще. — Княжна помогает сделать бал веселым и прекрасным. Анна Аркадьевна, тур вальса, — сказал он, нагибаясь. — А вы знакомы? — спросил хозяин. — С кем мы не знакомы? Мы с женой как белые волки, нас все знают, — отвечал Корсунский. — Тур вальса, Анна Аркадьевна. — Я не танцую, когда можно не танцевать, — сказала она. — Но нынче нельзя, — отвечал Корсунский. В это время подходил Вронский. — Ну, если нынче нельзя не танцевать, так пойдемте, — сказала она, не замечая поклона Вронского, и быстро подняла руку на плечо Корсунского. «За что она недовольна им?» — подумала Кити, заметив, что Анна умышленно не ответила на поклон Вронского. Вронский подошел к Кити, напоминая ей о 89

была незаметна. Заметны были только, украшая ее, эти своевольные короткие колечки курчавых волос, всегда выбивавшиеся на затылке и висках. На точеной крепкой шее была нитка жемчугу.

Кити видела каждый день Анну, была влюблена в нее и представляла себе ее непременно в лиловом. Но теперь, увидав ее в черном, она почувствовала, что не понимала всей ее прелести. Она теперь увидала ее совершенно новою и неожиданною для себя. Теперь она поняла, что Анна не могла быть в лиловом и что ее прелесть состояла именно в том, что она всегда выступала из своего туалета, что туалет никогда не мог быть виден на ней. И черное платье с пышными кружевами не было видно на ней; это была только рамка, и была видна только она, простая, естественная, изящная и вместе веселая и оживленная.

Она стояла, как и всегда, чрезвычайно прямо держась, и, когда Кити подошла к этой кучке, говорила с хозяином дома, слегка поворотив к нему голову.

— Нет, я не брошу камня, — отвечала она ему на что-то, — хотя я не понимаю, — продолжала она, пожав плечами, и тотчас же с нежною улыбкой покровительства обратилась к Кити. Беглым женским взглядом окинув ее туалет, она сделала чуть заметное, но понятное для Кити, одобрительное ее туалету и красоте движенье головой. — Вы и в залу входите танцуя, — прибавила она.

— Это одна из моих вернейших помощниц, — сказал Корсунский, кланяясь Анне Аркадьевне, которой он не видал еще. — Княжна помогает сделать бал веселым и прекрасным. Анна Аркадьевна, тур вальса, — сказал он, нагибаясь.

— А вы знакомы? — спросил хозяин.

— С кем мы не знакомы? Мы с женой как белые волки, нас все знают, — отвечал Корсунский. — Тур вальса, Анна Аркадьевна.

— Я не танцую, когда можно не танцевать, — сказала она.

— Но нынче нельзя, — отвечал Корсунский.

В это время подходил Вронский.

— Ну, если нынче нельзя не танцевать, так пойдемте, — сказала она, не замечая поклона Вронского, и быстро подняла руку на плечо Корсунского.

первой кадрили и соя^алея, что все это время по имел З^довольствия ее видеть. Кити смотрела, любуясь, на вальсировавшую Анну и слушала его. Она ждала, что он пригласит ее на вальс, но он не пригласил, и она удивленно взглянула на него. Он покраснел и поспешно пригласил вальсировать, но только что он обнял ее тонкую талию и сделал первый шаг, как вдруг музыка остановилась. Кити посмотрела иа его лицо, которое было на таком близком от нее расстоянии, и долго потом, чрез несколько лет, этот взгляд, полный любви, которым она тогда взглянула на него и на который он не ответил ей, мучительным стыдом резал ее сердце. — Pardon, pardon! Вальс, вальс! — закричал с другой стороны залы Корсунский и, подхватив первую попавшуюся барышню, стал сам танцевать. XXIII Вронский с Кити прошел несколько туров вальса. После вальса Кити подошла к матери и едва успела сказать несколько слов с Нордстон, как Вронский уже пришел за ней для первой кадрили. Во время кадрили ничего значительного не было сказано, шел прерывистый разговор то о Корсуноких, муже и жене, которых он очень забавно описывал, как милых сорокалетних детей, то о будушіем общественном театре, и только один раз разговор затронул ее за живое, когда он спросил о Левине, тз"т ли он, и прибавил, что он очень понравился ему. Но Кити и не ожидала большего от кадрили. Она лщала с замиранием сердца мазурки. Ей казалось, что в мазурке все должно решиться. То, что он во время кадрили не пригласил ее на мазурку, не тревожило ее. Она была уверена, что она танцует мазурку с ним, как и на прежних балах, и пятерым отказала мазурку, говоря, что танцует. Весь бал до последней кадрили был для Кити волшебным сновидением радостных цветов, звуков и движений. Она не танцевала, только когда чувствовала себя слишком усталою и просила отдыха. Но, танцуя последнюю кадриль с одним из скучных юношей, которому нельзя было отказать, ей случилось быть vis-àvis * с Вронским и Анной. Она не сходилась с Анной с ^ напротив ((рранц.)^ 90

первой кадрили и сожалея, что все это время не имел удовольствия ее видеть. Кити смотрела, любуясь, на вальсировавшую Анну и слушала его. Она ждала, что он пригласит ее на вальс, но он не пригласил, и она удивленно взглянула на него. Он покраснел и поспешно пригласил вальсировать, но только что он обнял ее тонкую талию и сделал первый шаг, как вдруг музыка остановилась. Кити посмотрела на его лицо, которое было на таком близком от нее расстоянии, и долго потом, чрез несколько лет, этот взгляд, полный любви, которым она тогда взглянула на него и на который он не ответил ей, мучительным стыдом резал ее сердце.

— Pardon, pardon! Вальс, вальс! — закричал с другой стороны залы Корсунский и, подхватив первую попавшуюся барышню, стал сам танцевать.

XXIII

Вронский с Кити прошел несколько туров вальса. После вальса Кити подошла к матери и едва успела сказать несколько слов с Нордстон, как Вронский уже пришел за ней для первой кадрили. Во время кадрили ничего значительного не было сказано, шел прерывистый разговор то о Корсунских, муже и жене, которых он очень забавно описывал, как милых сорокалетних детей, то о будущем общественном театре, и только один раз разговор затронул ее за живое, когда он спросил о Левине, тут ли он, и прибавил, что он очень понравился ему. Но Кити и не ожидала большего от кадрили. Она ждала с замиранием сердца мазурки. Ей казалось, что в мазурке все должно решиться. То, что он во время кадрили не пригласил ее на мазурку, не тревожило ее. Она была уверена, что она танцует мазурку с ним, как и на прежних балах, и пятерым отказала мазурку, говоря, что танцует. Весь бал до последней кадрили был для Кити волшебным сновидением радостных цветов, звуков и движений. Она не танцевала, только когда чувствовала себя слишком усталою и просила отдыха. Но, танцуя последнюю кадриль с одним из скучных юношей, которому нельзя было отказать, ей случилось быть vis-à-

самого приезда и тут вдруг увидала ее опять совершенно новою и неожиданною. Она увидала в ней столь знакомую ей самой черту возбуждения от успеха. Она видела, что Анна пьяна вином возбуждаемого ею восхищения. Она знала это чувство и знала его признаки и видела их на Анне — видела дрожащий, вспыхивающий блеск в глазах и улыбку счастья и возбуждения, невольно изгибающую губы, и отчетливую грацию, верность и легкость движений. «Кто? — спросила она себя. — Все или один?» И, не помогая мучившемуся юноше, с которым она танцевала, в разговоре, нить которого он упустил и не мог поднять, и наружно подчиняясь, весело-громким повелительным крикам Корсунского, то бросающего всех в grand rond \ то в chaîne она наблюдала, и сердце ее сжималось больше и больше. «Нет, это не любованье толпы опьянило ее, а восхищение одного. И этот один? неужели это он?» Каждый раз, как он говорил с Анной, в глазах ее вспыхивал радостный блеск, и улыбка счастья изгибала ее румяные губы. Она как будто делала усилие над собой, чтобы не выказывать этих признаков радости, но они сами собой выступали на ее лице. «Но что он?» Кити посмотрела на него и ужаснулась. То, что Кити так ясно представлялось в зеркале ее лица, она увидела на нем. Куда делась его всегда спокойная, твердая манера и беспечно спокойное выражение лица? Нет, он теперь каждый раз, как обращался к ней, немного сгибал голову, как бы желая пасть пред ней, и во взгляде его было одно выражение покорности и страха. «Я не оскорбить хочу, — каящый раз как будто говорил его взгляд, — но спасти себя хочу, и не знаю как». На лице его было такое выражение, которого она никогда не видала прежде. Они говорили об общих знакомых, вели самый ничтожный разговор, но Кити казалось, что всякое сказанное ими слово решало их и ее судьбу. И странно то, что хотя они действительно говорили о том, как смешон Иван Иванович своим французским языком, и о том, что для Елецкой можно было бы найти лучше партию, а между тем эти слова имели для них значение, и они чувствовали это так я^е, как и Кити. Весь бал, весь свет, все закрылось туманом в душе Кити. Только пройденная ею ^ большой круг (Франц.). ^ цепь (франц.)^ 91

самого приезда и тут вдруг увидала ее опять совершенно новою и неожиданною. Она увидала в ней столь знакомую ей самой черту возбуждения от успеха. Она видела, что Анна пьяна вином возбуждаемого ею восхищения. Она знала это чувство и знала его признаки и видела их на Анне — видела дрожащий, вспыхивающий блеск в глазах и улыбку счастья и возбуждения, невольно изгибающую губы, и отчетливую грацию, верность и легкость движений.

«Кто? — спросила она себя. — Все или один?» И, не помогая мучившемуся юноше, с которым она танцевала, в разговоре, нить которого он упустил и не мог поднять, и наружно подчиняясь, весело-громким повелительным крикам Корсунского, то бросающего всех в grand rond [1], то в chaîne [2], она наблюдала, и сердце ее сжималось больше и больше. «Нет, это не любованье толпы опьянило ее, а восхищение одного. И этот один? неужели это он?» Каждый раз, как он говорил с Анной, в глазах ее вспыхивал радостный блеск, и улыбка счастья изгибала ее румяные губы. Она как будто делала усилие над собой, чтобы не выказывать этих признаков радости, но они сами собой выступали на ее лице. «Но что он?» Кити посмотрела на него и ужаснулась. То, что Кити так ясно представлялось в зеркале ее лица, она увидела на нем. Куда делась его всегда спокойная, твердая манера и беспечно спокойное выражение лица? Нет, он теперь каждый раз, как обращался к ней, немного сгибал голову, как бы желая пасть пред ней, и во взгляде его было одно выражение покорности и страха. «Я не оскорбить хочу, — каждый раз как будто говорил его взгляд, — но спасти себя хочу, и не знаю как». На лице его было такое выражение, которого она никогда не видала прежде.

Они говорили об общих знакомых, вели самый ничтожный разговор, но Кити казалось, что всякое сказанное ими слово решало их и ее судьбу. И странно то, что хотя они действительно говорили о том, как смешон Иван Иванович своим французским языком, и о том, что для Елецкой можно было бы найти лучше партию, а между тем эти слова имели для них значение, и они чувствовали это так же, как и Кити. Весь бал, весь свет, все закрылось туманом в душе Кити. Только пройденная ею

строгая школа воспитания поддерживала ее и заставляла делать то, чего от нее требовали, то есть танцевать, отвечать на вопросы, говорить, даже улыбаться. Но пред началом мазурки, когда уже стали расставлять стулья и некоторые пары двинулись из маленьких в большую залу, на Кити нашла минута отчаяния и ужаса. Она отказала пятерым и теперь не танцевала мазурки. Даже не было надежды, чтоб ее пригласили, именно потому, что она имела слишком большой успех в свете, и никому в голову не могло прийти, чтоб она не была приглашена до сих пор. Надо было сказать матери, что она больна, и уехать домой, но на это у нее не было силы. Она чувствовала себя убитою. Она зашла в глубь маленькой гостиной и опустилась на кресло. Воздушная юбка платья поднялась облаком вокруг ее тонкого стана; одна обнаженная, худая, нежная девичья рука, бессильно опущенная, утонула в складках розового тюника; в другой она держала веер и быстрыми, короткими движениями обмахивала свое разгоряченное лицо. Но, вопреки этому виду бабочки, только что уцепившейся за травку и готовой, вот-вот вспорхнув, развернуть радужные крылья, страшное отчаяние щемило ей сердце. «А может быть, я ошибаюсь, может быть, этого не было?» И она опять вспоминала все, что она видела. — Кити, что ж это такое? — сказала графиня Нордстон, по ковру неслышно подойдя к ней. — Я не понимаю этого. У Кити дрогнула нижняя губа; она быстро встала. — Кити, ты не танцуешь мазурку? — Нет, нет, — сказала Кити дрожащим от слез голосом. — Он при мне звал ее на мазурку, — сказала Нордстон, зная, что Кити поймет, кто он и она. — Она сказала: разве вы не танцуете с княжной Щербацкой? — Ах, мне все равно! — отвечала Кити. Никто, кроме ее самой, не понимал ее положения, никто не знал того, что опа вчера отказала человеку, которого она, может быть, любила, и отказала потому, что верила в другого. Графиня Нордстон нашла Корсунского, с которым она танцевала мазурку, и велела ему пригласить Кити. Кити танцевала в первой паре, и, к ее счастью, ей не надо было говорить, потому что Корсунский все время бегал, распоряжаясь по своему хозяйству. Вронский с 92

строгая школа воспитания поддерживала ее и заставляла делать то, чего от нее требовали, то есть танцевать, отвечать на вопросы, говорить, даже улыбаться. Но пред началом мазурки, когда уже стали расставлять стулья и некоторые пары двинулись из маленьких в большую залу, на Кити нашла минута отчаяния и ужаса. Она отказала пятерым и теперь не танцевала мазурки. Даже не было надежды, чтоб ее пригласили, именно потому, что она имела слишком большой успех в свете, и никому в голову не могло прийти, чтоб она не была приглашена до сих пор. Надо было сказать матери, что она больна, и уехать домой, но на это у нее не было силы. Она чувствовала себя убитою.

Она зашла в глубь маленькой гостиной и опустилась на кресло. Воздушная юбка платья поднялась облаком вокруг ее тонкого стана; одна обнаженная, худая, нежная девичья рука, бессильно опущенная, утонула в складках розового тюника; в другой она держала веер и быстрыми, короткими движениями обмахивала свое разгоряченное лицо. Но, вопреки этому виду бабочки, только что уцепившейся за травку и готовой, вот-вот вспорхнув, развернуть радужные крылья, страшное отчаяние щемило ей сердце.

«А может быть, я ошибаюсь, может быть, этого не было?»

И она опять вспоминала все, что она видела.

— Кити, что ж это такое? — сказала графиня Нордстон, по ковру неслышно подойдя к ней. — Я не понимаю этого.

У Кити дрогнула нижняя губа; она быстро встала.

— Кити, ты не танцуешь мазурку?

— Нет, нет, — сказала Кити дрожащим от слез голосом.

— Он при мне звал ее на мазурку, — сказала Нордстон, зная, что Кити поймет, кто он и она. — Она сказала: разве вы не танцуете с княжной Щербацкой?

— Ах, мне все равно! — отвечала Кити.

Никто, кроме ее самой, не понимал ее положения, никто не знал того, что она вчера отказала человеку, которого она, может быть, любила, и отказала потому, что верила в другого.

Графиня Нордстон нашла Корсунского, с которым

Лнпой сидели почти против нее. Она видела их своими дальнозоркими глазами, видела их и вблизи, когда они сталкивались в парах, и чем больше она видела их, тем больше убеждалась, что несчастье ее свершилось. Она видела, что они чувствовали себя наедине в этоіі полной зале. И на лице Вронского, всегда столь твердом и независимом, она видела то поразившее ее выражение потерянности и покорности, похожее на выражение умной собаки, когда она виновата. Анна улыбалась, и улыбка передавалась ему. Она задумывалась, и он становился серьезен. Какая-то сверхъестественная сила притягивала глаза Кити к лицу Анны. Она была прелестна в своем простом черном платье, прелестны были ее полные руки с браслетами, прелестна твердая шея с ниткой жемчуга, прелестны вьюпі,иеся волосы расстроившейся прически, прелестны грациозные легкие движения маленьких ног и рук, прелестно это красивое лицо в своем оживлении; но было что-то ужасное и жестокое в ее прелести. Кити любовалась ею еще более, чем прежде, и все больше и больше страдала. Кити чувствовала себя раздавленною, и лицо ее выражало это. Когда Вронский увидал ее, столкнувшись с ней в мазурке, он не вдруг узнал ее — так она изменилась. — Прекрасный бал! — сказал он ей, чтобы сказать что-нибудь. — Да, — отвечала она. В середине мазурки, повторяя сложную фигуру, вновь выдуманную Корсунским, Анна вышла на середину круга, взяла двух кавалеров и подозвала к себе одну даму и Кити. Кити испуганно смотрела на нее, подходя. Анна, прищурившись, смотрела на нее и улыбнулась, пожав ей руку. Но, заметив, что лицо Кити только выражением отчаяния и удивления ответило на ее улыбку, она отвернулась от нее и весело заговорила с другою дамой. «Да, что-то чуждое, бесовское и прелестное есть в ней», — сказала себе Кити. Анна не хотела оставаться ужинать, но хозяин стал просить ее. — Полно, Анна Аркадьевна, — заговорил Корсунский, забирая ее обнаженную руку под рукав своего фрака. — Какая у меня идея котильона! Un bijou! ^ ^ Прелесть! (франц.) 93

Анной сидели почти против нее. Она видела их своими дальнозоркими глазами, видела их и вблизи, когда они сталкивались в парах, и чем больше она видела их, тем больше убеждалась, что несчастье ее свершилось. Она видела, что они чувствовали себя наедине в этой полной зале. И на лице Вронского, всегда столь твердом и независимом, она видела то поразившее ее выражение потерянности и покорности, похожее на выражение умной собаки, когда она виновата.

Анна улыбалась, и улыбка передавалась ему. Она задумывалась, и он становился серьезен. Какая-то сверхъестественная сила притягивала глаза Кити к лицу Анны. Она была прелестна в своем простом черном платье, прелестны были ее полные руки с браслетами, прелестна твердая шея с ниткой жемчуга, прелестны вьющиеся волосы расстроившейся прически, прелестны грациозные легкие движения маленьких ног и рук, прелестно это красивое лицо в своем оживлении; но было что-то ужасное и жестокое в ее прелести.

Кити любовалась ею еще более, чем прежде, и все больше и больше страдала. Кити чувствовала себя раздавленною, и лицо ее выражало это. Когда Вронский увидал ее, столкнувшись с ней в мазурке, он не вдруг узнал ее — так она изменилась.

— Прекрасный бал! — сказал он ей, чтобы сказать что-нибудь.

— Да, — отвечала она.

В середине мазурки, повторяя сложную фигуру, вновь выдуманную Корсунским, Анна вышла на середину круга, взяла двух кавалеров и подозвала к себе одну даму и Кити. Кити испуганно смотрела на нее, подходя. Анна, прищурившись, смотрела на нее и улыбнулась, пожав ей руку. Но, заметив, что лицо Кити только выражением отчаяния и удивления ответило на ее улыбку, она отвернулась от нее и весело заговорила с другою дамой.

«Да, что-то чуждое, бесовское и прелестное есть в ней», — сказала себе Кити.

Анна не хотела оставаться ужинать, но хозяин стал просить ее.

— Полно, Анна Аркадьевна, — заговорил Корсунский, забирая ее обнаженную руку под рукав своего

и он понемножку двигался, стараясь увлечь ее. Хозяин улыбался одобрительно. — Нет, я не останусь, — ответила Анна, улыбаясь; по, несмотря на улыбку, и Корсунский и хозяин поняли по реіпительному тону, с каким опа отвечала, что она не останется. — Нет, я и так в Москве танцевала больше на вашем одном бале, чем всю зиму в Петербурге, — сказала Анна, оглядываясь на подле нее стоявшего Вронского. — Надо отдохнуть перед дорогой. — А вы решительно едете завтра? — спросил Вронский. — Да, я думаю, — отвечала Анна, как бы удивляясь смелости его вопроса; но неудержимый дрожаіцнй блеск глаз и улыбки обжег его, когда она говорила это. Анна Аркадьевна не осталась ужинать и уехала. XXIV «Да, что-то есть во мпе противное, отталкпваюп];ее, — думал Левин, вышедши от Щербацких и пешком направляясь к брату. — И не гожусь я для других людей. Гордость, говорят. Нет, у меня нет и гордости. Есvчи бы была гордость, я не поставил бы себя в такое положение». И он представлял себе Вронского, счастливого, доброго, умного и спокойного, никогда, наверное, ие бывавшего в том улшсном положении, в котором он был нынче вечером. «Да, она должна была выбрать его. Так надо, іі Лч’аловаться мне ие па кого и не за что. Виноват я сам. Какое право имел я думать, что она захочет соединить свою жизнь с моею? Кто я? И что я? Ничтожный человек, никому и ни для кого не нужный». И он вспомнил о брате Николае и с радостью остановился на этом воспоминании. «Не прав ли он, что все на свете дурно и гадко? И едва ли мы справедливо судим и судили о брате Николае. Разумеется, с точки зрения Прокофья, видевшего его в оборванной шубе и пьяного, он презренный человек; но я знаю его иначе. Я знаю его душу и знаю, что мы похожи с ним. А я, вместо того чтобы ехать отыскать его, поехал обедать и сюда». Левин подошел к фонарю, прочел адрес брата, который у него был в бумажнике, и подозвал извозчика. Всю длинную дорогу до брата Левин живо припоминал себе все известные ему 94

И он понемножку двигался, стараясь увлечь ее. Хозяин улыбался одобрительно.

— Нет, я не останусь, — ответила Анна, улыбаясь; но, несмотря на улыбку, и Корсунский и хозяин поняли по решительному тону, с каким она отвечала, что она не останется.

— Нет, я и так в Москве танцевала больше на вашем одном бале, чем всю зиму в Петербурге, — сказала Анна, оглядываясь на подле нее стоявшего Вронского. — Надо отдохнуть перед дорогой.

— А вы решительно едете завтра? — спросил Вронский.

— Да, я думаю, — отвечала Анна, как бы удивляясь смелости его вопроса; но неудержимый дрожащий блеск глаз и улыбки обжег его, когда она говорила это.

Анна Аркадьевна не осталась ужинать и уехала.

XXIV

«Да, что-то есть во мне противное, отталкивающее, — думал Левин, вышедши от Щербацких и пешком направляясь к брату. — И не гожусь я для других людей. Гордость, говорят. Нет, у меня нет и гордости. Если бы была гордость, я не поставил бы себя в такое положение». И он представлял себе Вронского, счастливого, доброго, умного и спокойного, никогда, наверное, не бывавшего в том ужасном положении, в котором он был нынче вечером. «Да, она должна была выбрать его. Так надо, и жаловаться мне не на кого и не за что. Виноват я сам. Какое право имел я думать, что она захочет соединить свою жизнь с моею? Кто я? И что я? Ничтожный человек, никому и ни для кого не нужный». И он вспомнил о брате Николае и с радостью остановился на этом воспоминании. «Не прав ли он, что все на свете дурно и гадко? И едва ли мы справедливо судим и судили о брате Николае. Разумеется, с точки зрения Прокофья, видевшего его в оборванной шубе и пьяного, он презренный человек; но я знаю его иначе. Я знаю его душу и знаю, что мы похожи с ним. А я, вместо того чтобы ехать отыскать его, поехал обедать и сюда». Левин подошел к фо-

события из жизни брата Николая. Вспоминал он, как брат в университете и год после университета, несмотря на насмешки товариндей, я^ил как монах, в строгости исполняя все обряды религии, слуя^бы, посты и избегая всяких удовольствий, в особенности женщин; и потом как вдруг его прорвало, он сблизился с самыми гадкими людьми и пустился в самый беспутный разгул. Вспоминал потом про историю с мальчиком, которого он взял из деревни, чтобы воспитывать, и в припадке злости так избил, что началось дело по обвинению в причинении увечья. Вспоминал потом историю с шулером, которому он проиграл деньги, дал вексель и на которого сам подал жалобу, доказывая, что тот его обманул. (Это были те деньги, которые заплатил Сергей Иваныч.) Потом вспоминал, как он ночевал ночь в части за буйство. Вспоминал затеянный им постыдный процесс с братом Сергеем -Иванычем за то, что тот будто бы не выплатил ему долю 113 материнского имения; и последнее дело, когда он уехал служить в Западный край и там попал под суд за побои, нанесенные старшине... Все это было ужасно гадко, но Левину это представлялось совсем не так гадко, как это должно было представляться тем, которые не знали Николая Левина, не знали всей его истории, не знали его сердца. Левин помнил, как в то время, когда Николай был в периоде набожности, постов, монахов, слуячб церковных, когда он искал в религии помощи, узды па свою страстную натуру, никто не только не поддеряшл его, но все, н он сам, смеялись над ним. Его дразнили, звали его Ноем, монахом; а когда его прорвало, никто не помог ему, а все с ужасом и омерзением отвернулись. Левин чувствовал, что брат Николай в душе своей, в самой основе своей души, несмотря па все безобразие своей жизни, пе был более неправ, чем те люди, которые презирали его. Он не был виноват в том, что родился с своихМ неудержимым характером и стесненным чем-то умом. Но он всегда хотел быть хорошим. «Все выскажу ему, все заставлю его высказать и покажу ему, что я люблю и потому понимаю его», — решил сам с собою Левин, подъезжая в одиннадцатом часу к гостинице, указанной на адресе. — Наверху 12-й и 13-й, — ответил швейцар на вопрос Левина. — Дома? 95

события из жизни брата Николая. Вспоминал он, как брат в университете и год после университета, несмотря на насмешки товарищей, жил как монах, в строгости исполняя все обряды религии, службы, посты и избегая всяких удовольствий, в особенности женщин; и потом как вдруг его прорвало, он сблизился с самыми гадкими людьми и пустился в самый беспутный разгул. Вспоминал потом про историю с мальчиком, которого он взял из деревни, чтобы воспитывать, и в припадке злости так избил, что началось дело по обвинению в причинении увечья. Вспоминал потом историю с шулером, которому он проиграл деньги, дал вексель и на которого сам подал жалобу, доказывая, что тот его обманул. (Это были те деньги, которые заплатил Сергей Иваныч.) Потом вспоминал, как он ночевал ночь в части за буйство. Вспоминал затеянный им постыдный процесс с братом Сергеем Иванычем за то, что тот будто бы не выплатил ему долю из материнского имения; и последнее дело, когда он уехал служить в Западный край и там попал под суд за побои, нанесенные старшине... Все это было ужасно гадко, но Левину это представлялось совсем не так гадко, как это должно было представляться тем, которые не знали Николая Левина, не знали всей его истории, не знали его сердца.

Левин помнил, как в то время, когда Николай был в периоде набожности, постов, монахов, служб церковных, когда он искал в религии помощи, узды на свою страстную натуру, никто не только не поддержал его, но все, и он сам, смеялись над ним. Его дразнили, звали его Ноем, монахом; а когда его прорвало, никто не помог ему, а все с ужасом и омерзением отвернулись.

Левин чувствовал, что брат Николай в душе своей, в самой основе своей души, несмотря на все безобразие своей жизни, не был более неправ, чем те люди, которые презирали его. Он не был виноват в том, что родился с своим неудержимым характером и стесненным чем-то умом. Но он всегда хотел быть хорошим. «Все выскажу ему, все заставлю его высказать и покажу ему, что я люблю и потому понимаю его», — решил сам с собою Левин, подъезжая в одиннадцатом часу к гостинице, указанной на адресе.

— Доляпто, дома. Дверь 12-го нумера была полуотворена, и оттуда, в полосе света, выходил густой дым дурного и слабого табаку и слышался незнакомый Левину голос; но Левин тотчас же узнал, что брат тут; он услыхал его покашливанье. Когда он вошел в дверь, незнакомый голос говорил: — Все зависит от того, насколько разумно и сознательно поведется дело. Константин Левин заглянул в дверь и увидел, что говорит с огромной шапкой волос молодой человек в поддевке, а молодая рябоватая жеиш;ина, в шерстяном платье без рукавчиков и воротничков, сидит на диване. Брата не видно было. У Константина больно сжалось сердце при мысли о том, в среде каких чужих людей живет его брат. Никто не услыхал его, и Константин, снимая калоши, прислушивался к тому, что говорил господин в поддевке. Ои говорил о каком-то предприятии. — Ну, черт их дери, привилегированные классы, — прокашливаясь, проговорил голос брата. — Маша! Добудь ты нам поужинать и дай вина, если осталось, а то пошли. Женщина встала, вышла за перегородку и увидала Константина. — Какой-то барин, Николай Дмитрия, — сказала она. — Кого нужно? — сердито сказал голос Николая Левина. — Это я, — отвечал Константин Левин, выходя на свет. — Кто я? — еще сердитее повторил голос Николая. Слышно было, как он быстро встал, зацепив за что-то, и Левин увидал перед собою в дверях столь знакомую и все-таки поражающую своею дикостью и болезненностью огромную, худую, сутуловатую фигуру брата, с его боль^ шими испуганными глазами. Он был еще худее, чем три года тому назад, когда Константин Левин видел его в последний раз. На нем был короткий сюртук. И руки и широкие кости казались еще огромнее. Волосы стали рен«е, те же прямые усы висели на губы, те же глаза странно и наивно смотрели на вошедшего. — А, Костя! — вдруг проговорил оп, узнав брата, и глаза его засветились радостью. Но в ту же секунду оп оглянулся на молодого человека и сделал столь знакомое РСонстантину судорожное двил^ение головой и шеей, как

— Должно, дома.

Дверь 12-го нумера была полуотворена, и оттуда, в полосе света, выходил густой дым дурного и слабого табаку и слышался незнакомый Левину голос; но Левин тотчас же узнал, что брат тут; он услыхал его покашливанье.

Когда он вошел в дверь, незнакомый голос говорил:

— Все зависит от того, насколько разумно и сознательно поведется дело.

Константин Левин заглянул в дверь и увидел, что говорит с огромной шапкой волос молодой человек в поддевке, а молодая рябоватая женщина, в шерстяном платье без рукавчиков и воротничков, сидит на диване. Брата не видно было. У Константина больно сжалось сердце при мысли о том, в среде каких чужих людей живет его брат. Никто не услыхал его, и Константин, снимая калоши, прислушивался к тому, что говорил господин в поддевке. Он говорил о каком-то предприятии.

— Ну, черт их дери, привилегированные классы, — прокашливаясь, проговорил голос брата. — Маша! Добудь ты нам поужинать и дай вина, если осталось, а то пошли.

Женщина встала, вышла за перегородку и увидала Константина.

— Какой-то барин, Николай Дмитрич, — сказала она.

— Кого нужно? — сердито сказал голос Николая Левина.

— Это я, — отвечал Константин Левин, выходя на свет.

— Кто *я*? — еще сердитее повторил голос Николая. Слышно было, как он быстро встал, зацепив за что-то, и Левин увидал перед собою в дверях столь знакомую и все-таки поражающую своею дикостью и болезненностью огромную, худую, сутуловатую фигуру брата, с его большими испуганными глазами.

Он был еще худее, чем три года тому назад, когда Константин Левин видел его в последний раз. На нем был короткий сюртук. И руки и широкие кости казались еще огромнее. Волосы стали реже, те же прямые усы висели на губы, те же глаза странно и наивно смотрели на вошедшего.

— А, Костя! — вдруг проговорил он, узнав брата, и

будто галстук жал его; и совсем другое, дикое, страдальческое и жестокое выражение остановилось на его исхудалом лице. — Я писал и вам и Сергею Иванычу, что я вас не знаю и не хочу знать. Что тебе, что вам нужно? Он был совсем не такой, каким воображал его Константин. Самое тяжелое и дурное в его характере, то что делало столь трудным общение с ним, было позабыто Константином Левиным, когда он думал о нем; и теперь, когда увидел его лицо, в особенности это судорожное поворачиванье головы, он вспомнил все это. — Мне ни для чего не нужно видеть тебя, — робко отвечал он. — Я просто приехал тебя видеть. Робость брата, видимо, смягчила Николая. Он дернулся губами. — А, ты так? — сказал он. — Ну, входи, садись. Хочешь ужинать? Маша, три порции принеси. Нет, постой. Ты знаешь, кто это? — обратился он к брату, указывая на господина в поддевке, — это господин Крицкий, мой друг еще из Киева, очень замечательный человек. Его, разумеется, преследует полиция, потому что он не подлец. И он оглянулся по своей привычке на всех бывших в комнате. Увидав, что женщина, стоявшая в дверях, двинулась было идти, он крикнул ей: «Постой, я сказал». И с тем неуменьем, с тою нескладностью разговора, которые так знал Константин, он, опять оглядывая всех, стал рассказывать брату историю Крицкого: как его выгнали из университета за то, что он завел общество вспоможения бедным студентам и воскресные школы, и как потом он поступил в народную школу учителем, и как его оттуда также выгнали, и как потом судили за что-то. — Вы Киевского университета? — сказал Константин Левин Крицкому, чтобы прервать установившееся неловкое молчание. — Да, Киевского был, — насупившись, сердито говорил Крицкий. — А эта женщина, — перебил его Николай Левин, указывая на нее, — моя подруга жизни, Марья Николаевна. Я взял ее из дома, — и он дернулся шеей, говоря это. — Но люблю ее и уважаю рі всех, кто меня хочет знать, — прибавил он, возвышая голос и хмурясь, — прошу любить и уважать ее. Она все равно что моя жена, все равно. Так вот, ты знаешь, с кем имеешь дело. И если думаешь, что ты унизишься, так вот бог, а вот порог. 4 л. Н. Толстой, т, 8 97

будто галстук жал его; и совсем другое, дикое, страдальческое и жестокое выражение остановилось на его исхудалом лице.

— Я писал и вам и Сергею Иванычу, что я вас не знаю и не хочу знать. Что тебе, что вам нужно?

Он был совсем не такой, каким воображал его Константин. Самое тяжелое и дурное в его характере, то что делало столь трудным общение с ним, было позабыто Константином Левиным, когда он думал о нем; и теперь, когда увидел его лицо, в особенности это судорожное поворачиванье головы, он вспомнил все это.

— Мне ни для чего не нужно видеть тебя, — робко отвечал он. — Я просто приехал тебя видеть.

Робость брата, видимо, смягчила Николая. Он дернулся губами.

— А, ты так? — сказал он. — Ну, входи, садись. Хочешь ужинать? Маша, три порции принеси. Нет, постой. Ты знаешь, кто это? — обратился он к брату, указывая на господина в поддевке, — это господин Крицкий, мой друг еще из Киева, очень замечательный человек. Его, разумеется, преследует полиция, потому что он не подлец.

И он оглянулся по своей привычке на всех бывших в комнате. Увидав, что женщина, стоявшая в дверях, двинулась было идти, он крикнул ей: «Постой, я сказал». И с тем неуменьем, с тою нескладностью разговора, которые так знал Константин, он, опять оглядывая всех, стал рассказывать брату историю Крицкого: как его выгнали из университета за то, что он завел общество вспоможения бедным студентам и воскресные школы, и как потом он поступил в народную школу учителем, и как его оттуда также выгнали, и как потом судили за что-то.

— Вы Киевского университета? — сказал Константин Левин Крицкому, чтобы прервать установившееся неловкое молчание.

— Да, Киевского был, — насупившись, сердито говорил Крицкий.

— А эта женщина, — перебил его Николай Левин, указывая на нее, — моя подруга жизни, Марья Николаевна. Я взял ее из дома, — и он дернулся шеей, говоря это. — Но люблю ее и уважаю и всех, кто меня хочет знать, — прибавил он, возвышая голос и хмурясь, — прошу

и опять глаза его вопросительно обежали всех. — Отчего же я унижусь, я не понимаю. — Так вели, Маша, принести ужинать: три порции, водки и вина... Нет, постой... Нет, не надо... Иди. XXV — Так видишь, — продолжал Николай Левин, с усилием морща лоб и подергиваясь. Ему, видимо, трудно было сообразить, что сказать и сделать. — Вот видишь ли... — Он указал в углу комнаты какие-то железные бруски, завязанные бечевками. — Видишь ли это? Это начало нового дела, к которому мы приступаем. Дело это есть производительная артель... Константин почти не слушал. Он вглядывался в его болезненное, чахоточное лицо, и все больше и больше ему жалко было его, и он не мог заставить себя слушать то, что брат рассказывал ему про артель. Он видел, что эта артель есть только якорь спасения от презрения к самому себе. Николай Левин продолжал говорить: — Ты знаешь, что капитал давит работника, — работники у нас, мужики, несут всю тягость труда и поставлены так, что, сколько бы они ни трудились, они не могут выйти из своего скотского положения. Все барыши заработной платы, па которые они бы могли улучшить свое положение, доставить себе досуг и вследствие этого образование, все излишки платы — отнимаются у них капиталистами. И так слояшлось общество, что чем больше они будут работать, тем больше будут наживаться купцы, землевладельцы, а они будут скоты рабочие всегда. И этот порядок нужно изменить, — кончил он и вопросительно посмотрел на брата. — Да, разумеется, — сказал Константин, вглядываясь в румянец, выступивший под выдающимися костями щек брата. — И мы вот устраиваем артель слесарную, где все производство, и барыш, и, главное, орудия производства, все будет общее. — Где же будет артель? — спросил Константин Левин. — В селе Воздремѳ Казанской губернии. — Да отчего же в селе? В селах, мне кажется, и так дела много. Зачем в селе слесарная артель? 98

И опять глаза его вопросительно обежали всех.

— Отчего же я унижусь, я не понимаю.

— Так вели, Маша, принести ужинать: три порции, водки и вина... Нет, постой... Нет, не надо... Иди.

XXV

— Так видишь, — продолжал Николай Левин, с усилием морща лоб и подергиваясь. Ему, видимо, трудно было сообразить, что сказать и сделать. — Вот видишь ли... — Он указал в углу комнаты какие-то железные бруски, завязанные бечевками. — Видишь ли это? Это начало нового дела, к которому мы приступаем. Дело это есть производительная артель...

Константин почти не слушал. Он вглядывался в его болезненное, чахоточное лицо, и все больше и больше ему жалко было его, и он не мог заставить себя слушать то, что брат рассказывал ему про артель. Он видел, что эта артель есть только якорь спасения от презрения к самому себе. Николай Левин продолжал говорить:

— Ты знаешь, что капитал давит работника, — работники у нас, мужики, несут всю тягость труда и поставлены так, что, сколько бы они ни трудились, они не могут выйти из своего скотского положения. Все барыши заработной платы, на которые они бы могли улучшить свое положение, доставить себе досуг и вследствие этого образование, все излишки платы — отнимаются у них капиталистами. И так сложилось общество, что чем больше они будут работать, тем больше будут наживаться купцы, землевладельцы, а они будут скоты рабочие всегда. И этот порядок нужно изменить, — кончил он и вопросительно посмотрел на брата.

— Да, разумеется, — сказал Константин, вглядываясь в румянец, выступивший под выдающимися костями щек брата.

— И мы вот устраиваем артель слесарную, где все производство, и барыш, и, главное, орудия производства, все будет общее.

— Где же будет артель? — спросил Константин Левин.

— А затем, что мужики теперь такие же рабы, какими были прежде, и от этого-то вам с Сергеем Иванычем и неприятно, что их хотят вывести из этого рабства, — сказал Николай Левин, раздраженный возражением. Константин Левин вздохнул, оглядывая в это время комнату, мрачную и грязную. Этот вздох, казалось, еще более раздражил Николая. — Знаю ваши с Сергеем Иванычем аристократические воззрения. Знаю, что он все силы ума употребляет на то, чтоб оправдать существующее зло. — Нет, да к чему ты говоришь о Сергей Иваныче? — проговорил, улыбаясь, Левин. — Сергей Иваныч? А вот к чему! — вдруг при имени Сергея Ивановича вскрикнул Николай Левин, — вот к чему... Да что говорить? Только одно... Для чего ты приехал ко мне? Ты презираешь это, и прекрасно, и ступай с богом, ступай! — кричал он, вставая со стула, — и ступай, и ступай! — Я нисколько не презираю, ~ робко сказал Константин Левин. — Я даже и не спорю. В это время вернулась Марья Николаевна. Николай Левин сердито оглянулся на нее. Она быстро подошла к нему и что-то прошептала. — Я нездоров, я раздражителен стал, — проговорил, успокаиваясь и тяжело дыша, Николай Левин, — и потом ты мне говоришь о Сергей Иваныче и его статье. Это такой вздор, такая фальшь, такое самообманыванье. Что может писать о справедливости человек, который ее не знает? Вы читали его статью? — обратился он к Крицкому, опять садясь к столу и сдвигая с него до половины насыпанные папиросы, чтоб опростать место. — Я не читал, — мрачно сказал Крицкий, очевидно не хотевший вступать в разговор. — Отчего? — с раздражением обратился теперь к Крицкому Николай Левин. — Потому что не считаю нужным терять на это время. — То есть, позвольте, почему ж вы знаете, что вы потеряете время? Многим статья эта недоступна, то есть выше их. Но я, другое дело, я вижу насквозь его мысли и знаю, почему это слабо. Все замолчали, Крицкий медлительно всіал и взялся за шапку. 4*

— А затем, что мужики теперь такие же рабы, какими были прежде, и от этого-то вам с Сергеем Иванычем и неприятно, что их хотят вывести из этого рабства, — сказал Николай Левин, раздраженный возражением.

Константин Левин вздохнул, оглядывая в это время комнату, мрачную и грязную. Этот вздох, казалось, еще более раздражил Николая.

— Знаю ваши с Сергеем Иванычем аристократические воззрения. Знаю, что он все силы ума употребляет на то, чтоб оправдать существующее зло.

— Нет, да к чему ты говоришь о Сергей Иваныче? — проговорил, улыбаясь, Левин.

— Сергей Иваныч? А вот к чему! — вдруг при имени Сергея Ивановича вскрикнул Николай Левин, — вот к чему... Да что говорить? Только одно... Для чего ты приехал ко мне? Ты презираешь это, и прекрасно, и ступай с богом, ступай! — кричал он, вставая со стула, — и ступай, и ступай!

— Я нисколько не презираю, — робко сказал Константин Левин. — Я даже и не спорю.

В это время вернулась Марья Николаевна. Николай Левин сердито оглянулся на нее. Она быстро подошла к нему и что-то прошептала.

— Я нездоров, я раздражителен стал, — проговорил, успокаиваясь и тяжело дыша, Николай Левин, — и потом ты мне говоришь о Сергей Иваныче и его статье. Это такой вздор, такая фальшь, такое самообманыванье. Что может писать о справедливости человек, который ее не знает? Вы читали его статью? — обратился он к Крицкому, опять садясь к столу и сдвигая с него до половины насыпанные папиросы, чтоб опростать место.

— Я не читал, — мрачно сказал Крицкий, очевидно не хотевший вступать в разговор.

— Отчего? — с раздражением обратился теперь к Крицкому Николай Левин.

— Потому что не считаю нужным терять на это время.

— То есть, позвольте, почему ж вы знаете, что вы потеряете время? Многим статья эта недоступна, то есть выше их. Но я, другое дело, я вижу насквозь его мысли

— Не хотите ужинать? Ну, прощайте. Завтра приходите со слесарем. Только что Крицкий вышел, Николай Левин улыбнулся и подмигнул. — Тоже плох, — проговорил ои. — Ведь я вижу... Но в ото время Крицкий в дверях позвал его. — Что еще нужно? — сказал он и вышел к нему в коридор. Оставшись один с Марьей Николаевной, Левин обратился к ней: — А вы давно с братом? — сказал он ей. — Да вот уж второй год. Здоровье их очень плохо стало. Пьют много, — сказала она. — То есть как пьет? — Водку пьют, а им вредно. — А разве много? — прошептал Левин. - Да, — сказала она, робко оглядываясь на дверь, в которой показался Николай Левин. — О чем вы говорили? — сказал он, хмурясь и переводя испуганные глаза с одного на другого. — О чем? — Ни о чем, — смутясь, отвечал Константин. — А не хотите говорить, как хотите. Только нечего тебе с ней говорить. Она девка, а ты барин, — проговорил он, подергиваясь шеей. — Ты, я ведь вижу, все понял и оценил и с сожалением относишься к моим заблуждениям, — заговорил он опять, возвышая голос. — Николай Дмитрия, Николай Дмрітрич, — - прошептала опять Марья Николаевна, приближаясь к нему. — Ну, хорошо, хорошо!.. Да что ж ужин? А, вот и он, — проговорил он, увидав лакея с подносом. — Сюда, сюда ставь, — проговорил он сердито и тотчас же взял водку, налил рюмку и жадно выпил. — Выпей, хочешь? — обратился он к брату, тотчас же повеселев. — Ну, будет о Сергее Иваныче. Я все-таки рад тебя видеть. Что там ни толкуй, а все не чужие. Ну, выпей яш. Расскажи, что ты делаешь? — продолжал он, жадно пережевывая кусок хлеба и наливая другую рюмку. — Как ты живешь? — Живу один в деревне, как жил прежде, занимаюсь хозяйством, — отвечал Константин, с ужасом вглядываясь в жадность, с которою брат его пил и ел, и стараясь скрыть свое внимание. — Отчего ты не женишься? — Не пришлось, — покраснев, отвечал Константин,

— Не хотите ужинать? Ну, прощайте. Завтра приходите со слесарем.

Только что Крицкий вышел, Николай Левин улыбнулся и подмигнул.

— Тоже плох, — проговорил он. — Ведь я вижу...

Но в это время Крицкий в дверях позвал его.

— Что еще нужно? — сказал он и вышел к нему в коридор. Оставшись один с Марьей Николаевной, Левин обратился к ней:

— А вы давно с братом? — сказал он ей.

— Да вот уж второй год. Здоровье их очень плохо стало. Пьют много, — сказала она.

— То есть как пьет?

— Водку пьют, а им вредно.

— А разве много? — прошептал Левин.

— Да, — сказала она, робко оглядываясь на дверь, в которой показался Николай Левин.

— О чем вы говорили? — сказал он, хмурясь и переводя испуганные глаза с одного на другого. — О чем?

— Ни о чем, — смутясь, отвечал Константин.

— А не хотите говорить, как хотите. Только нечего тебе с ней говорить. Она девка, а ты барин, — проговорил он, подергиваясь шеей.

— Ты, я ведь вижу, все понял и оценил и с сожалением относишься к моим заблуждениям, — заговорил он опять, возвышая голос.

— Николай Дмитрич, Николай Дмитрич, — прошептала опять Марья Николаевна, приближаясь к нему.

— Ну, хорошо, хорошо!.. Да что ж ужин? А, вот и он, — проговорил он, увидав лакея с подносом. — Сюда, сюда ставь, — проговорил он сердито и тотчас же взял водку, налил рюмку и жадно выпил. — Выпей, хочешь? — обратился он к брату, тотчас же повеселев. — Ну, будет о Сергее Иваныче. Я все-таки рад тебя видеть. Что там ни толкуй, а все не чужие. Ну, выпей же. Расскажи, что ты делаешь? — продолжал он, жадно пережевывая кусок хлеба и наливая другую рюмку. — Как ты живешь?

— Живу один в деревне, как жил прежде, занимаюсь хозяйством, — отвечал Константин, с ужасом вглядываясь в жадность, с которою брат его пил и ел, и стараясь

— Отчего? Мне — кончено! Я свою жизнь испортия. Это я сказал и скажу, что, если бы мне дали тогда мою часть, когда мне она нужна была, вся жизнь моя была бы другая. Константин Дмитрия поспешил отвести разговор. — А ты знаешь, что твой Ванюшка у меня в Покровском конторгциком? — сказал он. Николай дернул шеей и задумался. — Да расскажи мне, что делается в Покровском? Что, дом все стоит, и березы, и наша классная? А Филипп-садовник, неужели жив? Как я помню беседку и диван! Да смотри же, ничего не переменяй в доме, но скорее женись и опять заведи то же, что было. Я тогда приеду к тебе, если твоя жена будет хорошая. — Да приезжай теперь ко мне, — сказал Левин. — • Как бы мы хорошо устроились! — Я бы приехал к тебе, если бы знал, что нс найду Сергея Иваныча. — Ты его не найдешь. Я живу совершенно независимо от него. — Да, но, как ни говори, ты должен выбрать между мною и им, — сказал он, робко глядя в глаза брату. Эта робость тронула Константина. — Если хочешь знать всю мою исповедь в этом отношении, я скажу тебе, что в вашей ссоре с Сергеем Иванычем я не беру ни той, ни другой стороны. ІЗы оба неправы. Ты неправ более внешним образом, а он бол.-^ө внутренно. — А, а! Ты понял это, ты понял это? — радостно закричал Николай. — Но я, лично, если ты хочешь знать, больше дорожу дружбой с тобой, потому что... — Почему, почему? Константин не мог сказать, что он дорожит потому, что Николай несчастен и ему нужна дружба. Но Николай понял, что он хотел сказать именно это, и, нахмурившись, взялся опять за водку. — Будет, Николай Дмитрия! — сказала Марья Николаевна, протягивая пухлую обнаженную руку к графинчику. — Пусти! Не приставай! Прибью! — крикнул он. Марья Николаевна улыбнулась кроткою и доброю улыбкой, которая сообпдилась и Николаю, и приняла водку. 101

— Отчего? Мне — кончено! Я свою жизнь испортил. Это я сказал и скажу, что, если бы мне дали тогда мою часть, когда мне она нужна была, вся жизнь моя была бы другая.

Константин Дмитрич поспешил отвести разговор.

— А ты знаешь, что твой Ванюшка у меня в Покровском конторщиком? — сказал он.

Николай дернул шеей и задумался.

— Да расскажи мне, что делается в Покровском? Что, дом все стоит, и березы, и наша классная? А Филипп-садовник, неужели жив? Как я помню беседку и диван! Да смотри же, ничего не переменяй в доме, но скорее женись и опять заведи то же, что было. Я тогда приеду к тебе, если твоя жена будет хорошая.

— Да приезжай теперь ко мне, — сказал Левин. — Как бы мы хорошо устроились!

— Я бы приехал к тебе, если бы знал, что не найду Сергея Иваныча.

— Ты его не найдешь. Я живу совершенно независимо от него.

— Да, но, как ни говори, ты должен выбрать между мною и им, — сказал он, робко глядя в глаза брату. Эта робость тронула Константина.

— Если хочешь знать всю мою исповедь в этом отношении, я скажу тебе, что в вашей ссоре с Сергеем Иванычем я не беру ни той, ни другой стороны. Вы оба неправы. Ты неправ более внешним образом, а он более внутренно.

— А, а! Ты понял это, ты понял это? — радостно закричал Николай.

— Но я, лично, если ты хочешь знать, больше дорожу дружбой с тобой, потому что...

— Почему, почему?

Константин не мог сказать, что он дорожит потому, что Николай несчастен и ему нужна дружба. Но Николай понял, что он хотел сказать именно это, и, нахмурившись, взялся опять за водку.

— Будет, Николай Дмитрич! — сказала Марья Николаевна, протягивая пухлую обнаженную руку к графинчику.

— Пусти! Не приставай! Прибью! — крикнул он.

— Да ты думаешь, она ничего не понимает? — сказал Николай. — Она все это понимает лучше всех нас. Правда, что есть в ней что-то хорошее, милое? — Вы никогда прежде не были в Москве? — сказал ей Константин, чтобы сказать что-нибудь. — Да не говори ей вы. Она этого боится. Ей никто, кроме мирового судьи, когда ее судили за то, что она хотела уйти из дома разврата, никто не говорил вы. Боже мой, что это за бессмыслица на свете! — вдруг вскрикнул он. — Эти новые учреждения, эти мировые судьи, земство, что это за безобразие! И он начал рассказывать свои столкновения с новыми учреждениями. Константин Левин слушал его, и то отрицание смысла во всех общественных учреждениях, которое он разделял с ним и часто высказывал, было ему неприятно теперь из уст брата. — На том свете поймем все это, — сказал он шутя. — На том свете? Ох, не люблю я тот свет! Не люблю, — сказал он, остановив испуганные дикие глаза на лице брата. — И ведь вот кажется, что уйти изо всей мерзости, путаницы, и чужой и своей, хорошо бы было, а я боюсь смерти, ужасно боюсь смерти. — Он содрогнулся. — Да выпей что-нибудь. Хочешь шампанского? Или поедем куда-нибудь. Поедем к цыганам! Знаешь, я очень полюбил цыган и русские песни. Язык его стал мешаться, и он пошел перескакивать с одного предмета на другой. Константин с помощью Маши уговорил его никуда не ездить и уложил спать совершенно пьяного. Маша обещала писать Константину в случае нужды л уговаривать Николая Левина приехать 7кить к брату. XXVI Утром Константин Левин выехал из Москвы и к вечеру приехал домой. Дорогой, в вагоне, он разговаривал с соседями о политике, о новых железных дорогах, и, так же как в Москве, его одолевала путаница понятий, недовольство собой, стыд пред чем-то; но когда он вышел на своей станции, узнал кривого кучера Игната с поднятым воротником кафтана, когда увидал в неярком свете, 102

— Да ты думаешь, она ничего не понимает? — сказал Николай.— Она все это понимает лучше всех нас. Правда, что есть в ней что-то хорошее, милое?

— Вы никогда прежде не были в Москве? — сказал ей Константин, чтобы сказать что-нибудь.

— Да не говори ей *вы*. Она этого боится. Ей никто, кроме мирового судьи, когда ее судили за то, что она хотела уйти из дома разврата, никто не говорил *вы*. Боже мой, что это за бессмыслица на свете! — вдруг вскрикнул он. — Эти новые учреждения, эти мировые судьи, земство, что это за безобразие!

И он начал рассказывать свои столкновения с новыми учреждениями.

Константин Левин слушал его, и то отрицание смысла во всех общественных учреждениях, которое он разделял с ним и часто высказывал, было ему неприятно теперь из уст брата.

— На том свете поймем все это, — сказал он шутя.

— На том свете? Ох, не люблю я тот свет! Не люблю, — сказал он, остановив испуганные дикие глаза на лице брата. — И ведь вот кажется, что уйти изо всей мерзости, путаницы, и чужой и своей, хорошо бы было, а я боюсь смерти, ужасно боюсь смерти. — Он содрогнулся. — Да выпей что-нибудь. Хочешь шампанского? Или поедем куда-нибудь. Поедем к цыганам! Знаешь, я очень полюбил цыган и русские песни.

Язык его стал мешаться, и он пошел перескакивать с одного предмета на другой. Константин с помощью Маши уговорил его никуда не ездить и уложил спать совершенно пьяного.

Маша обещала писать Константину в случае нужды и уговаривать Николая Левина приехать жить к брату.

XXVI

Утром Константин Левин выехал из Москвы и к вечеру приехал домой. Дорогой, в вагоне, он разговаривал с соседями о политике, о новых железных дорогах, и, так же как в Москве, его одолевала путаница понятий,

падающем из окоп станции, свои ковровые сани, своих лошадей с подвязанными хвостами, в сбруе с кольцами II махрами, когда кучер Игнат, еще в то время как укладывались, рассказал ему деревенские новости, о приходе рядчика и о том, что отелилась Пава, — он почувствовал, что понемногу путаница разъясняется и стыд и недовольство собой проходят. Это ои почувствовал при одном виде Игната и лошадей; но когда он надел привезенный ему тулуп, сел, закутавшись, в сани и поехал, раздумывая о предстоящих распоряжениях в деревне и поглядывая на пристяжную, бывшую верховою, донскую, надорванную, но лихую лошадь, он совершенно иначе стал понимать то, что с ним случилось. Он чувствовал себя собой и другим не хотел быть. Он хотел теперь быть только лучше, чем он был прежде. Во-первых, с этого дня он решил, что не будет больше надеяться на необыкновенное счастье, какое ему должна была дать женитьба, и вследствие этого не будет так пренебрегать настоящим. Вовторых, он уже никогда не позволит себе увлечься гадкою страстью, воспоминанье о которой так мучало его, когда ои собирался сделать предложение. Потом, вспоминая брата Николая, он решил сам с собою, что никогда уже он не позволит себе забыть его, будет следить за ним и не выпустит его из виду, чтобы быть готовым на помощь, когда ему придется плохо. А это будет скоро, он это чувствовал. Потом и разговор брата о коммунизме, к которому тогда он так легко отнесся, теперь заставил его задуматься. Он считал переделку экономических условий вздором, но он всегда чувствовал несправедливость своего избытка в сравнении с бедностью народа и теперь решил про себя, что, для того чтобы чувствовать себя вполне правым, он, хотя прежде много работал и не роскошно жил, теперь будет еще больше работать и еще меньше будет позволять себе роскоши. И все это казалось ему так легко сделать над собой, что всю дорогу он провел в самых приятных мечтаниях. С бодрым чувством надежды на новую, лучшую жизнь он в девятом часу ночи подъехал к своему дому. Из окон комнаты Агафьи Михайловны, старой нянюшки, исполнявшей в его доме роль экономки, падал свет на снег площадки пред домом. Она не спала еще. Кузьма, разбуженный ею, сонный и босиком выбежал на крыльцо. Легавая сука Ласка, чуть не сбив с ног Кузьму, выскочила тоже и визя^ала, терлась об его колени, 103

падающем из окоп станции, свои ковровые сани, своих лошадей с подвязанными хвостами, в сбруе с кольцами и махрами, когда кучер Игнат, еще в то время как укладывались, рассказал ему деревенские новости, о приходе рядчика и о том, что отелилась Пава, — он почувствовал, что понемногу путаница разъясняется и стыд и недовольство собой проходят. Это он почувствовал при одном виде Игната и лошадей; но когда он надел привезенный ему тулуп, сел, закутавшись, в сани и поехал, раздумывая о предстоящих распоряжениях в деревне и поглядывая на пристяжную, бывшую верховою, донскую, надорванную, но лихую лошадь, он совершенно иначе стал понимать то, что с ним случилось. Он чувствовал себя собой и другим не хотел быть. Он хотел теперь быть только лучше, чем он был прежде. Во-первых, с этого дня он решил, что не будет больше надеяться на необыкновенное счастье, какое ему должна была дать женитьба, и вследствие этого не будет так пренебрегать настоящим. Во-вторых, он уже никогда не позволит себе увлечься гадкою страстью, воспоминанье о которой так мучало его, когда он собирался сделать предложение. Потом, вспоминая брата Николая, он решил сам с собою, что никогда уже он не позволит себе забыть его, будет следить за ним и не выпустит его из виду, чтобы быть готовым на помощь, когда ему придется плохо. А это будет скоро, он это чувствовал. Потом и разговор брата о коммунизме, к которому тогда он так легко отнесся, теперь заставил его задуматься. Он считал переделку экономических условий вздором, но он всегда чувствовал несправедливость своего избытка в сравнении с бедностью народа и теперь решил про себя, что, для того чтобы чувствовать себя вполне правым, он, хотя прежде много работал и не роскошно жил, теперь будет еще больше работать и еще меньше будет позволять себе роскоши. И все это казалось ему так легко сделать над собой, что всю дорогу он провел в самых приятных мечтаниях. С бодрым чувством надежды на новую, лучшую жизнь он в девятом часу ночи подъехал к своему дому.

Из окон комнаты Агафьи Михайловны, старой нянюшки, исполнявшей в его доме роль экономки, падал свет на снег площадки пред домом. Она не спала, еще

поднималась и хотела и не смела положить передние Jiaiibi ему на грудь. — Скоро ж, батюшка, вернулись, — сказала Агафья Михайловна. — Соскучился, Агафья Михайловна. В гостях хорошо, а дома лучше, — отвечал он ей и прошел в кабинет. Кабинет медленно осветился внесенной свечой. Выступили знакомые подробности: оленьи рога, полки с книгами, зеркало печи с отдушником, который давно надо было починить, отцовский диван, большой стол, на столе открытая книга, сломанная пепельница, тетрадь с его почерком. Когда он увидал все это, на него нашло на минуту сомнение в возможности устроить ту новую жизнь, о которой он мечтал дорогой. Все эти следы его жизни как будто охватили его и говорили ему: «Нет, ты не уйдешь от нас и не будешь другим, а будешь такой же, каков был: с сомнениями, вечным недовольством собой, напрасными попытками исправления и падениями и вечным ожиданием счастья, которое не далось и невозможно тебе». Но это говорили его ввш,и, другой же голос в душе говорил, что не надо подчиняться прошедшему и что с собой сделать все возможно. Н, слушаясь этого голоса, он подошел к углу, где у него стояли две пудовые гири, и стал гимнастически поднимать их, стараясь привести себя в состояние бодрости. За дверью заскрипели шаги. Он поспешно поставил гири. Вошел приказчик и сказал, что все, слава богу, благополучно, но сообщил, что греча в новой сушилке подгорела. Известие это раздражило Левина. Новая сушилка была выстроена и частью придумана Левиным. Приказчик был всегда против этой сушилки и теперь со скрытым торжеством объявлял, что греча подгорела. Левин же был твердо убежден, что если она подгорела, то потому только, что не были приняты те меры, о которых он сотни раз приказывал. Ему стало досадно, и он сделал выговор приказчику. Но было одно важное и радостное событие: отелилась Пава, лучшая, дорогая, купленная с выставки корова. — Кузьма, дай тулуп. А вы велите-ка взять фонарь, я пойду взгляну, — сказал он приказчику. Скотная для дорогих коров была сейчас за домом. Пройдя через двор мимо сугроба у сирени, он подошел к скотной. Пахнуло навозным теплым паром, когда отво104

поднималась и хотела и не смела положить передние лапы ему на грудь.

— Скоро ж, батюшка, вернулись, — сказала Агафья Михайловна.

— Соскучился, Агафья Михайловна. В гостях хорошо, а дома лучше, — отвечал он ей и прошел в кабинет.

Кабинет медленно осветился внесенной свечой. Выступили знакомые подробности: оленьи рога, полки с книгами, зеркало печи с отдушником, который давно надо было починить, отцовский диван, большой стол, на столе открытая книга, сломанная пепельница, тетрадь с его почерком. Когда он увидал все это, на него нашло на минуту сомнение в возможности устроить ту новую жизнь, о которой он мечтал дорогой. Все эти следы его жизни как будто охватили его и говорили ему: «Нет, ты не уйдешь от нас и не будешь другим, а будешь такой же, каков был: с сомнениями, вечным недовольством собой, напрасными попытками исправления и падениями и вечным ожиданием счастья, которое не далось и невозможно тебе».

Но это говорили его вещи, другой же голос в душе говорил, что не надо подчиняться прошедшему и что с собой сделать все возможно. И, слушаясь этого голоса, он подошел к углу, где у него стояли две пудовые гири, и стал гимнастически поднимать их, стараясь привести себя в состояние бодрости. За дверью заскрипели шаги. Он поспешно поставил гири.

Вошел приказчик и сказал, что все, слава богу, благополучно, но сообщил, что греча в новой сушилке подгорела. Известие это раздражило Левина. Новая сушилка была выстроена и частью придумана Левиным. Приказчик был всегда против этой сушилки и теперь со скрытым торжеством объявлял, что греча подгорела. Левин же был твердо убежден, что если она подгорела, то потому только, что не были приняты те меры, о которых он сотни раз приказывал. Ему стало досадно, и он сделал выговор приказчику. Но было одно важное и радостное событие: отелилась Пава, лучшая, дорогая, купленная с выставки корова.

— Кузьма, дай тулуп. А вы велите-ка взять фонарь, я пойду взгляну, — сказал он приказчику.

рилась примерзшая дверь, и коровы, удрівленные непривычным светом фонаря, зашевелились на свежей соломе. Мелькнула гладкая черно-пегая широкая спина голландки. Беркут, бык, лежал с своим кольцом в губе и хотел было встать, но раздумал и только пыхнул раза два, когда проходили мимо. Красная красавица, громадная, как гиппопотам. Пава, повернувшись задом, заслоняла от входивших теленка и обнюхивала его. Левин вошел в денник, оглядел Паву и поднял красно-пегого теленка на его шаткие длинные ноги. Взволнованная Пава замычала было, но успокоилась, когда Левин подвинул к ней телку, и, тяжело вздохнув, стала лизать ее шершавым языком. Телка, отыскивая, подталкивала носом под пах свою мать и крутила хвостиком. — Да сюда посвети, Федор, сюда фонарь, — говорил Левин, оглядывая телку. — В мать! Даром что мастью в отца. Очень хороша. Длинна и пашиста. Василий Федорович, ведь хороша? — обращался он к приказчику, совершенно примирившись с ним за гречу под влиянием радости за телку. — В кого же дурной быть? А Семен рядчик на другой день вашего отъезда пришел. Надо будет порядиться с ним, Константин Дмитрии, — сказал приказчик. — Я вам прежде докладывал про машину. Один этот вопрос ввел Левина во все подробности хозяйства, которое было большое и сложное, и он прямо из коровника пошел в контору и, поговорив с приказчиком и с Семеном рядчиком, вернулся домой и прямо прошел наверх в гостиную. XXVII Дом был большой, старинный, и Левин хотя жил один, но топил и занимал весь дом. Он знал, что это было глупо, знал, что это даже нехорошо и противно его теперешним новым планам, но дом этот был целый мир для Левина. Это был мир, в котором жили и умерли его отец и мать. Они жили тою жизнью, которая для Левина казалась идеалом всякого совершенства и которую он мечтал возобновить с своею женой, с своею семьей. Левин едва помнил свою мать. Понятие о ней было для него священным воспоминанием, и будущая жена его должна была быть в его воображении повторением

рилась примерзшая дверь, и коровы, удивленные непривычным светом фонаря, зашевелились на свежей соломе. Мелькнула гладкая черно-пегая широкая спина голландки. Беркут, бык, лежал с своим кольцом в губе и хотел было встать, но раздумал и только пыхнул раза два, когда проходили мимо. Красная красавица, громадная, как гиппопотам, Пава, повернувшись задом, заслоняла от входивших теленка и обнюхивала его.

Левин вошел в денник, оглядел Паву и поднял красно-пегого теленка на его шаткие длинные ноги. Взволнованная Пава замычала было, но успокоилась, когда Левин подвинул к ней телку, и, тяжело вздохнув, стала лизать ее шершавым языком. Телка, отыскивая, подталкивала носом под пах свою мать и крутила хвостиком.

— Да сюда посвети, Федор, сюда фонарь, — говорил Левин, оглядывая телку. — В мать! Даром что мастью в отца. Очень хороша. Длинна и паписта. Василий Федорович, ведь хороша? — обращался он к приказчику, совершенно примирившись с ним за гречу под влиянием радости за телку.

— В кого же дурной быть? А Семен рядчик на другой день вашего отъезда пришел. Надо будет порядиться с ним, Константин Дмитрич, — сказал приказчик. — Я вам прежде докладывал про машину.

Один этот вопрос ввел Левина во все подробности хозяйства, которое было большое и сложное, и он прямо из коровника пошел в контору и, поговорив с приказчиком и с Семеном рядчиком, вернулся домой и прямо прошел наверх в гостиную.

XXVII

Дом был большой, старинный, и Левин хотя жил один, но топил и занимал весь дом. Он знал, что это было глупо, знал, что это даже нехорошо и противно его теперешним новым планам, но дом этот был целый мир для Левина. Это был мир, в котором жили и умерли его отец и мать. Они жили тою жизнью, которая для Левина казалась идеалом всякого совершенства и которую он мечтал возобновить с своею женой, с своею семьей.

того прелестного, святого идеала женщины, каким была для него мать. Любовь к женщине он не только не мог себе представить без брака, но он прежде представлял себе семью, а потом уже ту женщину, которая даст ему семью. Его понятия о женитьбе поэтому не были похожи на понятия большинства его знакомых, для которых женитьба была одним из многих общежитейских дел; для Левина это было главным делом жизни, от которого зависело все ее счастье. И теперь от этого нужно было отказаться! Когда он вошел в маленькую гостиную, где всегда пил чай, и уселся в своем кресле с книгою, а Агафья Михайловна принесла ему чаю и со своим обычным: «А я сяду, батюшка», — села на стул у окна, он почувствовал, что, как ни странно это было, он не расстался с своими мечтами и что он без них жить не мо?кет. С ней ли, с другою ли, но это будет. Он читал книгу, думал о том, что читал, останавливаясь, чтобы слушать Агафью Михайловну, которая без устали болтала; и вместе с тем разные картины хозяйства и будущей семейной жизни без связи представлялись его вообран^ению. Он чувствовал, что в глубине его души что-то устанавливалось, умерялось и укладывалось. Он слушал разговор Агафьи Михайловны о том, как Прохор бога забыл и на те деньги, что ему подарил Левин, чтобы лошадь купить, пьет без просыпу и жену избил до смерти; он слушал и читал книгу и вспоминал весь ход своих мыслей, возбужденных чтением. Это была книга Тиндаля о теплоте. Он вспоминал свои осуждения Тиндалю за его самодовольство в ловкости производства опытов и за то, что ему недостает философского взгляда. И вдруг всплывала радостная мысль: «Через два года будут у меня в стаде две голландки, сама Пава еще может быть жива, двенадцать молодых Беркутовых дочерей, да подсыпать к ним на казовый конец этих трех — чудо!» Он опять взялся за книгу. «Ну хорошо, электричество и теплота одно и то же; но возможно ли в уравнении для решения вопроса поставить одну величину вместо другой? Нет. Ну так что же? Связь между всеми силами природы и так чувствуется инстинктом... Особенно приятно, как Навина дочь будет уже красно-пегою коровой, и все стадо, в которое подсыпать этих трех... Отлично! Выйти с женой и гостями встречать стадо... Жена скажет: мы с Костещ 106

того прелестного, святого идеала женщины, каким была для него мать.

Любовь к женщине он не только не мог себе представить без брака, но он прежде представлял себе семью, а потом уже ту женщину, которая даст ему семью. Его понятия о женитьбе поэтому не были похожи на понятия большинства его знакомых, для которых женитьба была одним из многих общежитейских дел; для Левина это было главным делом жизни, от которого зависело все ее счастье. И теперь от этого нужно было отказаться!

Когда он вошел в маленькую гостиную, где всегда пил чай, и уселся в своем кресле с книгою, а Агафья Михайловна принесла ему чаю и со своим обычным: «А я сяду, батюшка», — села на стул у окна, он почувствовал, что, как ни странно это было, он не расстался с своими мечтами и что он без них жить не может. С ней ли, с другою ли, но это будет. Он читал книгу, думал о том, что читал, останавливаясь, чтобы слушать Агафью Михайловну, которая без устали болтала; и вместе с тем разные картины хозяйства и будущей семейной жизни без связи представлялись его воображению. Он чувствовал, что в глубине его души что-то устанавливалось, умерялось и укладывалось.

Он слушал разговор Агафьи Михайловны о том, как Прохор бога забыл и на те деньги, что ему подарил Левин, чтобы лошадь купить, пьет без просыпу и жену избил до смерти; он слушал и читал книгу и вспоминал весь ход своих мыслей, возбужденных чтением. Это была книга Тиндаля о теплоте. Он вспоминал свои осуждения Тиндалю за его самодовольство в ловкости производства опытов и за то, что ему недостает философского взгляда. И вдруг всплывала радостная мысль: «Через два года будут у меня в стаде две голландки, сама Пава еще может быть жива, двенадцать молодых Беркутовых дочерей, да подсыпать к ним на казовый конец этих трех — чудо!» Он опять взялся за книгу.

«Ну хорошо, электричество и теплота одно и то же; но возможно ли в уравнении для решения вопроса поставить одну величину вместо другой? Нет. Ну так что же? Связь между всеми силами природы и так чувствуется инстинктом... Особенно приятно, как Павина дочь

как ребенка, выхаживали эту телку. Как это может вас так интересовать? скажет гость. Все, что его интересует, интересует меня. Но кто она?» И он вспоминал то, что произошло в Москве... «Ну что же делать?.. Я не виноват, Но теперь все пойдет по-новому. Это вздор, что не допустит жизнь, что прошедшее не допустит. Надо биться, чтобы лучше, гораздо лучше жить...» Он приподнял голову и задумался. Старая Ласка, еще не совсем переварившая радость его прріезда и бегавшая, чтобы полаять на дворе, вернулась, махая хвостом и внося с собой запах воздуха, подошла к нему, подсунула голову под его руку, жалобно подвизгивая и требуя, чтоб он поласкал. — Только не говорит, — сказала Агафья Михайловна. — А пес... Ведь понимает же, что хозяин приехал и ему скучно. — Отчего же скучно? — Да разве я не вижу, батюшка? Пора мне господ знать. Сызмальства в господах выросла. Ничего, батюшка. Было бы здоровье да совесть чиста. Левин пристально смотрел на нее, удивляясь тому, как она поняла его мысли. — Что ж, принесть еще чайку? •— сказала она и, взяв чашку, вышла. Ласка все подсовывала голову под его руку. Он погладил ее, и она тут же у ног его свернулась кольцом, положив голову на высунувшуюся заднюю лапу. И в знак того, что теперь все хорошо и благополучно, она, слегка раскрыв рот, почмокала, лучше уложив около старых зуб липкие губы, затихла в блаженном спокойствии. Левин внимательно следил за этими последними ее движениями. «Так-то и я! — сказал он себе, — так-то и я! Ничего... Все хорошо». XXVIII После бала, рано утром, Анна Аркадьевна послала мужу телеграмму о своем выезде из Москвы в тот же день. — Нет, мне надо, надо ехать, — объясняла она невестке перемену своего намерения таким тоном, как будто она вспомнила столько дел, что не перечтешь, — нет, уж лучше нынче! 107

как ребенка, выхаживали эту телку. Как это может вас так интересовать? скажет гость. Все, что его интересует, интересует меня. Но кто она?» И он вспоминал то, что произошло в Москве... «Ну что же делать?.. Я не виноват. Но теперь все пойдет по-новому. Это вздор, что не допустит жизнь, что прошедшее не допустит. Надо биться, чтобы лучше, гораздо лучше жить...» Он приподнял голову и задумался. Старая Ласка, еще не совсем переварившая радость его приезда и бегавшая, чтобы полаять на дворе, вернулась, махая хвостом и внося с собой запах воздуха, подошла к нему, подсунула голову под его руку, жалобно подвизгивая и требуя, чтоб он поласкал.

— Только не говорит, — сказала Агафья Михайловна. — А пес... Ведь понимает же, что хозяин приехал и ему скучно.

— Отчего же скучно?

— Да разве я не вижу, батюшка? Пора мне господ знать. Сызмальства в господах выросла. Ничего, батюшка. Было бы здоровье да совесть чиста.

Левин пристально смотрел на нее, удивляясь тому, как она поняла его мысли.

— Что ж, принесть еще чайку? — сказала она и, взяв чашку, вышла.

Ласка все подсовывала голову под его руку. Он погладил ее, и она тут же у ног его свернулась кольцом, положив голову на высунувшуюся заднюю лапу. И в знак того, что теперь все хорошо и благополучно, она, слегка раскрыв рот, почмокала, лучше уложив около старых зуб липкие губы, затихла в блаженном спокойствии. Левин внимательно следил за этими последними ее движениями.

«Так-то и я! — сказал он себе, — так-то и я! Ничего... Все хорошо».

XXVIII

После бала, рано утром, Анна Аркадьевна послала мужу телеграмму о своем выезде из Москвы в тот же день.

— Нет, мне надо, надо ехать, — объясняла она не-

Степан Аркадьич не обедал дома, по обещял приехать проводить сестру в семь часов. Кити тоже не приехала, прислав записку, что у нее голова болит. Долли с Айной обедали одни с детьми и англичанкой. Потому ли, что дети непостоянны или очень чутки и почувствовали, что Анна в этот день совсем не такая, как в тот, когда они так полюбили ее, что она уже не занята ими, — но только они вдруг прекратили свою игру с тетей и любовь к ней, и их совершенно не занимало то, что она уезжает. Анна все утро была занята приготовлениями к отъезду. Она писала записки к московским знакомым, записывала свои счеты и укладывалась. Вообвце Долли казалось, что она не в спокойном духе, а в том духе заботы, который Долли хорошо знала за собой и который находит не без причины к большею частью прикрывает недовольство собою. После обеда Анна пошла одеваться в свою комнату, и Долли пошла за ней. — Какая ты нынче странная! — сказала ей Долли. — Я? ты находишь? Я не странная, но я дурная. Это бывает со мной. Мне все хочется плакать. Это очень глупо, но это проходит, — сказала быстро Анна и нагнула покрасневшее лицо к игрушечному мешочку, в который она укладывала ночной чепчик и батистовые платки. Глаза ее особенно блестели и беспрестанно подергивались слезами. — Так мне из Петербурга не хотелось уезжать, а теперь отсюда не хочется. — Ты приехала сюда и сделала доброе дело, — сказала Долли, внимательно высматривая ее. Анна посмотрела на нее мокрыми от слез глазами. — Не говори этого, Долли. Я ничего не сделала и не могла сделать. Я часто удивляюсь, зачем люди сговорились портить меня. Что я сделала и что могла сделать? У тебя в сердце нашлось столько любви, чтобы простить... — Без тебя бог знает что бы было! Какая ты счастливая, Анна! — сказала Долли. — У тебя все в душе ясно и хорошо. — У каждого есть в душе свои skeletons \ как говорят англичане. — Какие же у тебя skeletons? У тебя все так ясно. — Есть! — вдруг сказала Анна, и неожиданно после слез хитрая, смешливая улыбка сморщила ее губы. * Здесь: тайны (англ.). 108

Степан Аркадьич не обедал дома, но обещал приехать проводить сестру в семь часов.

Кити тоже не приехала, прислав записку, что у нее голова болит. Долли с Анной обедали одни с детьми и англичанкой. Потому ли, что дети непостоянны или очень чутки и почувствовали, что Анна в этот день совсем не такая, как в тот, когда они так полюбили ее, что она уже не занята ими, — но только они вдруг прекратили свою игру с тетей и любовь к ней, и их совершенно не занимало то, что она уезжает. Анна все утро была занята приготовлениями к отъезду. Она писала записки к московским знакомым, записывала свои счеты и укладывалась. Вообще Долли казалось, что она не в спокойном духе, а в том духе заботы, который Долли хорошо знала за собой и который находит не без причины и большею частью прикрывает недовольство собою. После обеда Анна пошла одеваться в свою комнату, и Долли пошла за ней.

— Какая ты нынче странная! — сказала ей Долли.

— Я? ты находишь? Я не странная, но я дурная. Это бывает со мной. Мне все хочется плакать. Это очень глупо, но это проходит, — сказала быстро Анна и нагнула покрасневшее лицо к игрушечному мешочку, в который она укладывала ночной чепчик и батистовые платки. Глаза ее особенно блестели и беспрестанно подергивались слезами. — Так мне из Петербурга не хотелось уезжать, а теперь отсюда не хочется.

— Ты приехала сюда и сделала доброе дело, — сказала Долли, внимательно высматривая ее.

Анна посмотрела на нее мокрыми от слез глазами.

— Не говори этого, Долли. Я ничего не сделала и не могла сделать. Я часто удивляюсь, зачем люди сговорились портить меня. Что я сделала и что могла сделать? У тебя в сердце нашлось столько любви, чтобы простить...

— Без тебя бог знает что бы было! Какая ты счастливая, Анна! — сказала Долли. — У тебя все в душе ясно и хорошо.

— У каждого есть в душе свои skeletons [1], как говорят англичане.

— Какие же у тебя skeletons? У тебя все так ясно.

— Есть! — вдруг сказала Анна, и неожиданно после

— Ну, так они смешные, твои skeletons, а не мрачные, — улыбаясь, сказала Долли. — Нет, мрачные. Ты знаешь, отчего я еду нынче, а не завтра? Это признание, которое меня давило, я хочу тебе его сделать, — сказала Анна, решительно откидываясь на кресле и глядя прямо в глаза Долли. И, к удивлению своему, Долли увидала, что Анна покраснела до ушей, до вьющихся черных колец волос на шее. — Да, — продолжала Анна. — Ты знаешь, отчего 1{ити не приехала обедать? Она ревнует ко мне. Я испортила... я была причиной того, что бал этот был для нее мученьем, а не радостью. Но, право, право, я не виновата, или виновата немножко, — сказала она, тонким голосом протянув слово «немножко». — О, как ты это похоже сказала на Стиву! — смеясь, сказала Долли. Анна оскорбилась. — О нет, о нет! Я не Стива, — сказала она, хмурясь. — Я оттого говорю тебе, что я ни на минуту даже не позволяю себе сомневаться в себе, — сказала Анна. Но в ту минуту, когда она выговаривала эти слова, она чувствовала, что они несправедливы; она не только сомневалась в себе, она чувствовала волнение при мысли о Вронском и уезжала скорее, чем хотела, только для того, чтобы больше не встречаться с ним. — Да, Стива мне говорил, что ты с ним танцевала мазурку и что он... — Ты не можешь себе представить, как это смешно вышло. Я только думала сватать, и вдруг совсем другое. Может быть, я против воли... Она покраснела и остановилась. — О, они это сейчас чувствуют! — сказала Долли. — Но я бы была в отчаянии, если бы тут было чтонибудь серьезное с его стороны, — перебила ее Анна. — И я уверена, что это все забудется и Кити перестанет меня ненавидеть. — Впрочем, Анна, по правде тебе сказать, я не очень желаю для Кити этого брака. И лучше, чтоб это разошлось, если он, Вронский, мог влюбиться в тебя в один день. — Ах, боже мой, это было бы так глупо! — сказала Анна, и опятъ густая краска удовольствия выступила на ее лице, когда она услыхала занимавшую ее мысль, 1Ü9

— Ну, так они смешные, твои skeletons, а не мрачные, — улыбаясь, сказала Долли.

— Нет, мрачные. Ты знаешь, отчего я еду нынче, а не завтра? Это признание, которое меня давило, я хочу тебе его сделать, — сказала Анна, решительно откидываясь на кресле и глядя прямо в глаза Долли.

И, к удивлению своему, Долли увидала, что Анна покраснела до ушей, до вьющихся черных колец волос на шее.

— Да, — продолжала Анна. — Ты знаешь, отчего Кити не приехала обедать? Она ревнует ко мне. Я испортила... я была причиной того, что бал этот был для нее мученьем, а не радостью. Но, право, право, я не виновата, или виновата немножко, — сказала она, тонким голосом протянув слово «немножко».

— О, как ты это похоже сказала на Стиву! — смеясь, сказала Долли.

Анна оскорбилась.

— О нет, о нет! Я не Стива, — сказала она, хмурясь. — Я оттого говорю тебе, что я ни на минуту даже не позволяю себе сомневаться в себе, — сказала Анна.

Но в ту минуту, когда она выговаривала эти слова, она чувствовала, что они несправедливы; она не только сомневалась в себе, она чувствовала волнение при мысли о Вронском и уезжала скорее, чем хотела, только для того, чтобы больше не встречаться с ним.

— Да, Стива мне говорил, что ты с ним танцевала мазурку и что он...

— Ты не можешь себе представить, как это смешно вышло. Я только думала сватать, и вдруг совсем другое. Может быть, я против воли...

Она покраснела и остановилась.

— О, они это сейчас чувствуют! — сказала Долли.

— Но я бы была в отчаянии, если бы тут было что-нибудь серьезное с его стороны, — перебила ее Анна. — И я уверена, что это все забудется и Кити перестанет меня ненавидеть.

— Впрочем, Анна, по правде тебе сказать, я не очень желаю для Кити этого брака. И лучше, чтоб это разошлось, если он, Вронский, мог влюбиться в тебя в один день.

выговоренную словами. — Так вот, я и уезжаю, сделав себе врага в Кити, которую я так полюбила. Ах, какая опа милая! Но ты поправить это, Долли? Да? Долли едва могла удерживать улыбку. Она любила Анну, но ей приятно было видеть, что и у ней есть слабости. — Врага? Это не может быть. — Я так бы желала, чтобы вы меня любили, как я вас люблю; а теперь я еще больше полюбила вас, — сказала Анна со слезами на глазах. — Ах, как я нынче глупа! Она провела платком по лицу и стала одеваться. Уже пред самым отъездом приехал опоздавший Степан Аркадьич, с красным, веселым лицом и запахом вина и сигары. Чувствительность Анны сообщилась и Долли, и, когда она в последний раз обняла золовку, она прошептала: — Помни, Анна: что ты для меня сделала, я никогда не забуду. И помни, что я люблю и всегда буду любить тебя, как лучшего друга! — Я не понимаю, за что, — проговорила Анна, целуя ее и скрывая слезы. — Ты меня поняла и понимаешь. Прощай, моя прелесть! XXIX «Ну, все кончено, и слава богу!» — была первая мысль, пришедшая Анне Аркадьевне, когда она простилась в последний раз с братом, который до третьего звонка загораживал собою дорогу в вагоне. Она села на свой диванчик, рядом с Аннушкой, и огляделась в полусвете спального вагона. «Слава богу, завтра увижу Сережу и Алексея Александровича, и пойдет моя жизнь, хорошая и привычная, по-старому». Все в том же духе озабоченности, в котором она находилась весь этот день, Анна с удовольствием и отчетливостью устроилась в дорогу; своими маленькими ловкими руками она отперла и заперла красный мешочек, достала подушечку, положила себе па колени и, аккуратно закутав ноги, спокойно уселась. Больная дама укладывалась уже спать. Две другие дамы заговаривали с ней, и толстая старуха укутывала ноги и выражала ПО

выговоренную словами. — Так вот, я и уезжаю, сделав себе врага в Кити, которую я так полюбила. Ах, какая она милая! Но ты поправишь это, Долли? Да?

Долли едва могла удерживать улыбку. Она любила Анну, но ей приятно было видеть, что и у ней есть слабости.

— Врага? Это не может быть.

— Я так бы желала, чтобы вы меня любили, как я вас люблю; а теперь я еще больше полюбила вас, — сказала Анна со слезами на глазах. — Ах, как я нынче глупа!

Она провела платком по лицу и стала одеваться.

Уже пред самым отъездом приехал опоздавший Степан Аркадьич, с красным, веселым лицом и запахом вина и сигары.

Чувствительность Анны сообщилась и Долли, и, когда она в последний раз обняла золовку, она прошептала:

— Помни, Анна: что́ ты для меня сделала, я никогда не забуду. И помни, что я люблю и всегда буду любить тебя, как лучшего друга!

— Я не понимаю, за что, — проговорила Анна, целуя ее и скрывая слезы.

— Ты меня поняла и понимаешь. Прощай, моя прелесть!

XXIX

«Ну, все кончено, и слава богу!» — была первая мысль, пришедшая Анне Аркадьевне, когда она простилась в последний раз с братом, который до третьего звонка загораживал собою дорогу в вагоне. Она села на свой диванчик, рядом с Аннушкой, и огляделась в полусвете спального вагона. «Слава богу, завтра увижу Сережу и Алексея Александровича, и пойдет моя жизнь, хорошая и привычная, по-старому».

Все в том же духе озабоченности, в котором она находилась весь этот день, Анна с удовольствием и отчетливостью устроилась в дорогу; своими маленькими ловкими руками она отперла и заперла красный мешочек, достала полушенку, положила себе на колени и

замечания о топке. Анна ответила несколько слов дамам, но, не предвидя интереса от разговора, попросила Аннушку достать фонарик, прицепила его к ручке кресла и взяла из своей сумочки разрезной ножик и английский роман. Первое время ей не читалось. Сначала мешала возня и ходьба; потом, когда тронулся поезд, нельзя было не прислушаться к звукам; потом снег, бивший в левое окно и налипавший на стекло, и вид закутанного, мимо прошедшего кондуктора, занесенного снегом с одной стороны, и разговоры о том, какая теперь страшная метель на дворе, развлекали ее внимание. Далее все было то же и то же; та же тряска с постукиваньем, тот же снег в окно, те же быстрые переходы от парового жара к холоду и опять к жару, то же мелькание тех же лиц в полумраке и те же голоса, и Анна стала читать и понимать читаемое. Аннушка уже дремала, держа красный мешочек на коленах широкими руками в перчатках, из которых одна была прорвана. Анна Аркадьевна читала и понимала, но ей неприятно было читать, то есть следить за отражением жизни других людей. Ей слишком самой хотелось жить. Читала ли она, как героиня ро<мана ухаживала за больным, ей хотелось ходить неслышными шагами по комнате больного; читала ли она о том, как член парламента говорил речь, ей хотелось говорить эту речь; читала ли она о том, как леди Мери ехала верхом за стаей и дразнила невестку и удивляла всех своею смелостью, ей хотелось это делать самой. Но делать нечего было, и она, перебирая своими маленькими руками гладкий ножичек, усиливалась читать. Герой романа уже начинал достигать своего английского счастия, баронетства и имения, и Анна желала с ним вместе ехать в это имение, как вдруг она почувствовала, что ему должно быть стыдно и что ей стыдно этого самого. Но чего же ему стыдно? «Чего же мне стыдно?» — спросила она себя с оскорбленным удивлением. Она оставила книгу и откинулась на спинку кресла, крепко сжав в обеих руках разрезной ножик. Стыдного ничего не было. Она перебрала все свои московские воспоминания. Все были хорошие, приятные. Вспомнила бал, вспомнила Вронского и его влюбленное покорное лицо, вспомнила все свои отношения с ним: ничего не было стыдного. А вместе с тем на этом самом месте воспоминаний чувство стыда усиливалось, как будто какой-то 111

замечания о топке. Анна ответила несколько слов дамам, но, не предвидя интереса от разговора, попросила Аннушку достать фонарик, прицепила его к ручке кресла и взяла из своей сумочки разрезной ножик и английский роман. Первое время ей не читалось. Сначала мешала возня и ходьба; потом, когда тронулся поезд, нельзя было не прислушаться к звукам; потом снег, бивший в левое окно и налипавший на стекло, и вид закутанного, мимо прошедшего кондуктора, занесенного снегом с одной стороны, и разговоры о том, какая теперь страшная метель на дворе, развлекали ее внимание. Далее все было то же и то же; та же тряска с постукиваньем, тот же снег в окно, те же быстрые переходы от парового жара к холоду и опять к жару, то же мелькание тех же лиц в полумраке и те же голоса, и Анна стала читать и понимать читаемое. Аннушка уже дремала, держа красный мешочек на коленах широкими руками в перчатках, из которых одна была прорвана. Анна Аркадьевна читала и понимала, но ей неприятно было читать, то есть следить за отражением жизни других людей. Ей слишком самой хотелось жить. Читала ли она, как героиня романа ухаживала за больным, ей хотелось ходить неслышными шагами по комнате больного; читала ли она о том, как член парламента говорил речь, ей хотелось говорить эту речь; читала ли она о том, как леди Мери ехала верхом за стаей и дразнила невестку и удивляла всех своею смелостью, ей хотелось это делать самой. Но делать нечего было, и она, перебирая своими маленькими руками гладкий ножичек, усиливалась читать.

Герой романа уже начинал достигать своего английского счастия, баронетства и имения, и Анна желала с ним вместе ехать в это имение, как вдруг она почувствовала, что ему должно быть стыдно и что ей стыдно этого самого. Но чего же ему стыдно? «Чего же мне стыдно?» — спросила она себя с оскорбленным удивлением. Она оставила книгу и откинулась на спинку кресла, крепко сжав в обеих руках разрезной ножик. Стыдного ничего не было. Она перебрала все свои московские воспоминания. Все были хорошие, приятные. Вспомнила бал, вспомнила Вронского и его влюбленное покорное

внутренний голос именно тут, когда она вспомнила и Вронском, говорил ей: «Тепло, олень тепло, горячо». «Ну что же? — сказала она себе решительно, пересаживаясь в кресле. — Что же это значит? Разве я боюсь взглянуть прямо на это? Ну что 5ке? Неужели между мной и этим офицером-мальчиком существуют и могут существовать какие-нибудь другие отношения, кроме тех, что бывают с каждым знакомым?» Она презрительно усмехнулась и опять взялась за книгу, но уже решительно не могла понимать того, что читала. Она провела разрезным ножом по стеклу, потом приложила его гладкую и холодную поверхность к щеке и чуть вслух не засмеялась от радости, вдруг беспричинно овладевшей ею. Она чувствовала, что нервы ее, как струны, натягиваются все туже и туже на какие-то завинчивающиеся колышки. Она чувствовала, что глаза ее раскрываются больше и больше, что пальцы на руках и ногах нервно движутся, что в груди что-то давит дыханье и что все образы и звуки в этом колеблющемся полумраке с необычайною яркостью поражают ее. На нее беспрестанно находили минуты сомнения, вперед ли едет вагон, или назад, или вовсе стоит. Аннушка ли подле нее или чужая? «Что там, на ручке, шуба ли это или зверь? И что сама я тут? Я сама или другая?» Ей страшно было отдаваться этому забытью. Но что-то втягивало в него, и она по произволу могла отдаваться ему и воздерживаться. Она поднялась, чтоб опомниться, откинула плед и сняла пелерину теплого платья. На минуту она опомнилась и поняла, что вошедший худой мужик в длинном нанковом пальто, на котором недоставало пуговицы, был истопник, что он смотрел на термометр, что ветер и снег ворвались за ним в дверь; но потом опять все смешалось... Мужик этот с длинною талией принялся грызть что-то в стене, старушка стала протягивать ноги во всю длину вагона и наполнила его черным облаком; потом что-то страшно заскрипело и застучало, как будто раздирали кого-то; потом красный огонь ослепил глаза, и потом все закрылось стеной. Айна почувствовала, что она провалилась. Но все это было не страшно, а весело. Голос окутанного и занесенного снегом человека прокричал что-то ей над ухом. Она поднялась и опомнилась; она поняла, что подъехали к станции и что это был кондуктор. Она попросила Аннушку подать ей опять снятую пелерину и платок, надела их и направилась к двери. 112

внутренний голос именно тут, когда она вспомнила о Вронском, говорил ей: «Тепло, очень тепло, горячо». «Ну что же? — сказала она себе решительно, пересаживаясь в кресле. — Что же это значит? Разве я боюсь взглянуть прямо на это? Ну что же? Неужели между мной и этим офицером-мальчиком существуют и могут существовать какие-нибудь другие отношения, кроме тех, что бывают с каждым знакомым?» Она презрительно усмехнулась и опять взялась за книгу, но уже решительно не могла понимать того, что читала. Она провела разрезным ножом по стеклу, потом приложила его гладкую и холодную поверхность к щеке и чуть вслух не засмеялась от радости, вдруг беспричинно овладевшей ею. Она чувствовала, что нервы ее, как струны, натягиваются все туже и туже на какие-то завинчивающиеся колышки. Она чувствовала, что глаза ее раскрываются больше и больше, что пальцы на руках и ногах нервно движутся, что в груди что-то давит дыханье и что все образы и звуки в этом колеблющемся полумраке с необычайною яркостью поражают ее. На нее беспрестанно находили минуты сомнения, вперед ли едет вагон, или назад, или вовсе стоит. Аннушка ли подле нее или чужая? «Что там, на ручке, шуба ли это или зверь? И что сама я тут? Я сама или другая?» Ей страшно было отдаваться этому забытью. Но что-то втягивало в него, и она по произволу могла отдаваться ему и воздерживаться. Она поднялась, чтоб опомниться, откинула плед и сняла пелерину теплого платья. На минуту она опомнилась и поняла, что вошедший худой мужик в длинном нанковом пальто, на котором недоставало пуговицы, был истопник, что он смотрел на термометр, что ветер и снег ворвались за ним в дверь; но потом опять все смешалось... Мужик этот с длинною талией принялся грызть что-то в стене, старушка стала протягивать ноги во всю длину вагона и наполнила его черным облаком; потом что-то страшно заскрипело и застучало, как будто раздирали кого-то; потом красный огонь ослепил глаза, и потом все закрылось стеной. Анна почувствовала, что она провалилась. Но все это было не страшно, а весело. Голос окутанного и занесенного снегом человека прокричал что-то ей над ухом. Она поднялась и опомнилась: она поняла, что

— Выходить изволите? — спросила Аинуттп^а. — Да, мне подышать хочется. Тут очень жарко. И она отворила дверь. Метель и ветер рванулись ей навстречу и заспорили с ней о двери. И это ей показалось весело. Она отворила дверь и вышла. Ветер как будто только ждал ее, радостно засвистал и хотел подхватить и унести ее, но она сильной рукой взялась за холодный столбик и, придерживая платье, спустилась на платформу и зашла за вагон. Ветер был силен на крылечке, на платформе за вагонами было затишье. С наслаждением, полною грудью, она вдыхала в себя снежный, морозный воздух и, стоя подле вагона, оглядывала платформу и освещенную станцию. XXX Страшная буря рвалась и свистела между колесами вагонов по столбам из-за угла станции. Вагоны, столбгл, люди, все, что было видно, — было занесено с одной стороны снегом и заносилось все больше и больше. На мгновенье буря затихала, но потом опять налетала такими порывами, что, казалось, нельзя было противостоять ей. Между тем какие-то люди бегали, весело переговариваясь, скрипя по доскам платформы и беспрестанно отворяя и затворяя большие двери. Согнутая тень человека проскользнула под ее ногами, и послышались стуки молотка по железу. «Депешу дай!» — раздался сердитый голос с другой стороны из бурного мрака. «Сюда пожалуйте! № 28!» — кричали еще разные голоса, и, занесенные снегом, пробегали обвязанные люди. Какие-то два господина с огнем папирос во рту прошли мимо ее. Она вздохнула еще раз, чтобы надышаться, и уже вынула руку из муфты, чтобы взяться за столбик и войти в вагон, как еще человек в военном пальто подле нее самой заслонил ей колеблющийся свет фонаря. Она оглянулась и в ту же минуту узнала лицо Вронского. Приложив руку к козырьку, он наклонился пред ней и спросил, не нужно ли ей чего-нибудь, не может ли он служить ей? Она довольно долго, ничего не отвечая, вглядывалась в него и, несмотря на тень, в которой он стоял, видела, или ей казалось, что видела, и выражение его лица и глаз. Это было опять то выражение почтительного восхищения, которое так подействовало на нее вчера. Не раз говорила ИЗ

— Выходить изволите? — спросила Аннушка.

— Да, мне подышать хочется. Тут очень жарко.

И она отворила дверь. Метель и ветер рванулись ей навстречу и заспорили с ней о двери. И это ей показалось весело. Она отворила дверь и вышла. Ветер как будто только ждал ее, радостно засвистал и хотел подхватить и унести ее, но она сильной рукой взялась за холодный столбик и, придерживая платье, спустилась на платформу и зашла за вагон. Ветер был силен на крылечке, на платформе за вагонами было затишье. С наслаждением, полною грудью, она вдыхала в себя снежный, морозный воздух и, стоя подле вагона, оглядывала платформу и освещенную станцию.

XXX

Страшная буря рвалась и свистела между колесами вагонов по столбам из-за угла станции. Вагоны, столбы, люди, все, что было видно, — было занесено с одной стороны снегом и заносилось все больше и больше. На мгновенье буря затихала, но потом опять налетала такими порывами, что, казалось, нельзя было противостоять ей. Между тем какие-то люди бегали, весело переговариваясь, скрипя по доскам платформы и беспрестанно отворяя и затворяя большие двери. Согнутая тень человека проскользнула под ее ногами, и послышались стуки молотка по железу. «Депешу дай!» — раздался сердитый голос с другой стороны из бурного мрака. «Сюда пожалуйте! № 28!» — кричали еще разные голоса, и, занесенные снегом, пробегали обвязанные люди. Какие-то два господина с огнем папирос во рту прошли мимо ее. Она вздохнула еще раз, чтобы надышаться, и уже вынула руку из муфты, чтобы взяться за столбик и войти в вагон, как еще человек в военном пальто подле нее самой заслонил ей колеблющийся свет фонаря. Она оглянулась и в ту же минуту узнала лицо Вронского. Приложив руку к козырьку, он наклонился пред ней и спросил, не нужно ли ей чего-нибудь, не может ли он служить ей? Она довольно долго, ничего не отвечая, вглядывалась в него и, несмотря на тень, в которой он стоял, видела, или ей

она себе эти последние дни и сейчас только, что Вронский для нее один из сотен вечно одних и тех же, повсюду встречаемых молодых людей, что она никогда не позволит себе и думать о нем; но теперь, в первое мгновенье встречи с ним, ее охватило чувство радостной гордости. Ей не нужно было спрашивать, зачем он тут. Она знала это так же верно, как если б он сказал ей, что он тут для того, чтобы быть там, где она. — Я не знала, что вы едете. Зачем вы едете? — сказала она, опустив руку, которою взялась было за столбик. И неудержимая радость и оживление сияли на ее лице. — Зачем я еду? — повторил он, глядя ей прямо в глаза. — Вы знаете, я еду для того, чтобы быть там, где вы, •— сказал он, — я не могу иначе. И в это же время, как бы одолев препятствия, ветер засыпал снег с крыши вагона, затрепал каким-то железным оторванным листом, и впереди плачевно и мрачно заревел густой свисток паровоза. Весь ужас метели показался ей еще более прекрасен теперь. Он сказал то самое, чего желала ее душа, но чего она боялась рассудком. Она ничего не отвечала, и на лице ее он видел борьбу. — Простите меня, если вам неприятно то, что я сказал, — заговорил он покорно. Он говорил учтиво, почтительно, но так твердо и упорно, что она долго не могла ничего ответить. — Это дурно, что вы говорите, и я прошу вас, если вы хороший человек, забудьте, что вы сказали, как и я забуду, — сказала она наконец. — Ни одного слова вашего, ни одного движения вашего я не забуду никогда и не могу... — Довольно, довольно! — вскрикнула она, тщетно стараясь придать строгое выражение своему лицу, в которое он жадно всматривался. И, взявшись рукой за холодный столбик, она поднялась на ступеньки и быстро вошла в сени вагона. Но в этих маленьких сенях она остановилась, обдумывая в своем воображении то, что было. Не вспоминая ни своих, ни его слов, она чувством поняла, что этот минутный разговор страшно сблизил их; и она была испугана и счастлива этим. Постояв несколько секунд, она вошла в вагон и села на свое место. То волшебное напряженное состояние, которое ее мзгчало сначала, не только возобновилось, но усилилось и дошло 114

она себе эти последние дни и сейчас только, что Вронский для нее один из сотен вечно одних и тех же, повсюду встречаемых молодых людей, что она никогда не позволит себе и думать о нем; но теперь, в первое мгновенье встречи с ним, ее охватило чувство радостной гордости. Ей не нужно было спрашивать, зачем он тут. Она знала это так же верно, как если б он сказал ей, что он тут для того, чтобы быть там, где она.

— Я не знала, что вы едете. Зачем вы едете? — сказала она, опустив руку, которою взялась было за столбик. И неудержимая радость и оживление сияли на ее лице.

— Зачем я еду? — повторил он, глядя ей прямо в глаза. — Вы знаете, я еду для того, чтобы быть там, где вы, — сказал он, — я не могу иначе.

И в это же время, как бы одолев препятствия, ветер засыпал снег с крыши вагона, затрепал каким-то железным оторванным листом, и впереди плачевно и мрачно заревел густой свисток паровоза. Весь ужас метели показался ей еще более прекрасен теперь. Он сказал то самое, чего желала ее душа, но чего она боялась рассудком. Она ничего не отвечала, и на лице ее он видел борьбу.

— Простите меня, если вам неприятно то, что я сказал, — заговорил он покорно.

Он говорил учтиво, почтительно, но так твердо и упорно, что она долго не могла ничего ответить.

— Это дурно, что́ вы говорите, и я прошу вас, если вы хороший человек, забудьте, что́ вы сказали, как и я забуду, — сказала она наконец.

— Ни одного слова вашего, ни одного движения вашего я не забуду никогда и не могу...

— Довольно, довольно! — вскрикнула она, тщетно стараясь придать строгое выражение своему лицу, в которое он жадно всматривался. И, взявшись рукой за холодный столбик, она поднялась на ступеньки и быстро вошла в сени вагона. Но в этих маленьких сенях она остановилась, обдумывая в своем воображении то, что было. Не вспоминая ни своих, ни его слов, она чувством поняла, что этот минутный разговор страшно сблизил их;

до того, что она боялась, что всякую минуту порвется в ней что-то слишком натянутое. Она не спала всю ночь. Но в том напряжении и тех грезах, которые наполняли ее воображение, не было ничего неприятного и мрачного; напротив, было что-то радостное, жгучее и возбуждающее. К утру Анна задремала, сидя в кресле, и когда проснулась, то уже было бело, светло и поезд подходил к Петербургу. Тотчас же мысли о доме, о муже, о сыне и заботы предстоящего дня и следующих обступили ее. В Петербурге, только что остановился поезд и опа вышла, первое лицо, обратившее ее внимание, было лицо мужа. «Ах, боже мой! отчего у него стали такие уши?» — подумала она, глядя на его холодную и представительную фигуру и особенно на поразившие ее теперь хрящи ушей, подпиравшие поля круглой шляпы. Увидав ее, он пошел к ней навстречу, сложив губы в привычную ему насмешливую улыбку и прямо глядя на нее большими усталыми глазами. Какое-то неприятное чувство щемило ей сердце, когда она встретила его упорный и усталый взгляд, как будто она ожидала увидеть его другим. В особенности поразило ее чувство недовольства собой, которое она испытала при встрече с ним. Чувство то было давнишнее, внакомое чувство, похожее на состояние притворства, которое она испытывала в отношениях к мужу; но прежде она не замечала этого чувства, теперь она ясно и больно сознала его. — Да, как видишь, нежный муж, нежный, как на другой год женитьбы, сгорал желанием увидеть тебя, сказал он своим медлительным тонким голосом и тем тоном, который он всегда почти употреблял с ней, тоном насмешки над тем, кто бы в самом деле так говорил. — Сережа здоров? — спросила она. — И это вся награда, — сказал он, — за мою пылкость? Здоров, здоров... XXXI Вронский и не пытался заснуть всю эту ночь. Он сидел на своем кресле, то прямо устремив глаза вперед себя, то оглядывая входивших и выходивших, и если и прежде он поражал и волновал незнакомых ему людей своим видом непоколебимого спокойствия, то теперь он еще более казался горд и самодовлеющ. Он смотрел на 115

до того, что она боялась, что всякую минуту порвется в ней что-то слишком натянутое. Она не спала всю ночь. Но в том напряжении и тех грезах, которые наполняли ее воображение, не было ничего неприятного и мрачного; напротив, было что-то радостное, жгучее и возбуждающее. К утру Анна задремала, сидя в кресле, и когда проснулась, то уже было бело, светло и поезд подходил к Петербургу. Тотчас же мысли о доме, о муже, о сыне и заботы предстоящего дня и следующих обступили ее.

В Петербурге, только что остановился поезд и она вышла, первое лицо, обратившее ее внимание, было лицо мужа. «Ах, боже мой! отчего у него стали такие уши?» — подумала она, глядя на его холодную и представительную фигуру и особенно на поразившие ее теперь хрящи ушей, подпиравшие поля круглой шляпы. Увидав ее, он пошел к ней навстречу, сложив губы в привычную ему насмешливую улыбку и прямо глядя на нее большими усталыми глазами. Какое-то неприятное чувство щемило ей сердце, когда она встретила его упорный и усталый взгляд, как будто она ожидала увидеть его другим. В особенности поразило ее чувство недовольства собой, которое она испытала при встрече с ним. Чувство то было давнишнее, знакомое чувство, похожее на состояние притворства, которое она испытывала в отношениях к мужу; но прежде она не замечала этого чувства, теперь она ясно и больно сознала его.

— Да, как видишь, нежный муж, нежный, как на другой год женитьбы, сгорал желанием увидеть тебя, — сказал он своим медлительным тонким голосом и тем тоном, который он всегда почти употреблял с ней, тоном насмешки над тем, кто бы в самом деле так говорил.

— Сережа здоров? — спросила она.

— И это вся награда, — сказал он, — за мою пылкость? Здоров, здоров...

XXXI

Вронский и не пытался заснуть всю эту ночь. Он сидел на своем кресле, то прямо устремив глаза вперед себя, то оглядывая входивших и выходивших, и если и

людей, как на вещи. Молодой нервный человек, служанщй в окружном суде, сидевший против него, возненавидел его за этот вид. Молодой человек и закуривал у него, и заговаривал с ним, и даже толкал его, чтобы дать ему почувствовать, что он не вещь, а человек, но Вронский смотрел на него все так же, как на фонарь, и молодой человек гримасничал, чувствуя, что он теряет самообладание под давлением этого непризнавания его человеком, и не мог от этого заснуть. Вронский ничего и никого не видал. Он чувствовал себя царем не потому, чтоб он верил, что произвел впечатление на Анну, он еще не верил этому, — но потому, что впечатление, которое она произвела на него, давало ему счастье и гордость. Что из этого всего выйдет, он не знал и даже не думал. Он чувствовал, что все его доселе распущенные, разбросанные силы были собраны в одно и с страшною энергией были направлены к одной блаженной цели. И он был счастлив этим. Он знал только, что сказал ей правду, что он ехал туда, где была она, что все счастье жизни, единственный смысл жизни он находил теперь в том, чтобы видеть и слышать ее. И когда он вышел из вагона в Бологове, чтобы выпить сельтерской воды, и увидал Анну, невольно первое слово его сказало ей то самое, что он думал. И он рад был, что сказал ей это, что она знает теперь это и думает об этом. Он не спал всю ночь. Вернувшись в свой вагон, он не переставая перебирал все положения, в которых ее видел, все ее слова, и в его воображении, заставляя замирать сердце, носились картины возможного будущего. Когда в Петербурге он вышел из вагона, он чувствовал себя после бессонной ночи оживленным и свежим, как после холодной ванны. Он остановился у своего вагона, ожидая ее выхода. «Еще раз увижу, — говорил он себе, невольно улыбаясь, — увижу ее походку, ее лицо; скажет что-нибудь, поворотит голову, взглянет, улыбнется, может быть». Но прежде еще, чем он увидал ее, он увидал ее мужа, которого начальник станции учтиво проводил между толпою. «Ах, да! муж!» Теперь только в первый раз Вронский ясно понял то, что муж было связанное с нею лицо. Он знал, что у ней есть муж, но ие верил в существование его и поверил в него вполне, только когда увидел его, с его головой, плечами и ногами в черных панталонах; в особенности когда он уви116

людей, как на вещи. Молодой нервный человек, служащий в окружном суде, сидевший против него, возненавидел его за этот вид. Молодой человек и закуривал у него, и заговаривал с ним, и даже толкал его, чтобы дать ему почувствовать, что он не вещь, а человек, но Вронский смотрел на него все так же, как на фонарь, и молодой человек гримасничал, чувствуя, что он теряет самообладание под давлением этого непризнавания его человеком, и не мог от этого заснуть.

Вронский ничего и никого не видал. Он чувствовал себя царем не потому, чтоб он верил, что произвел впечатление на Анну, он еще не верил этому, — но потому, что впечатление, которое она произвела на него, давало ему счастье и гордость.

Что из этого всего выйдет, он не знал и даже не думал. Он чувствовал, что все его доселе распущенные, разбросанные силы были собраны в одно и с страшною энергией были направлены к одной блаженной цели. И он был счастлив этим. Он знал только, что сказал ей правду, что он ехал туда, где была она, что все счастье жизни, единственный смысл жизни он находил теперь в том, чтобы видеть и слышать ее. И когда он вышел из вагона в Бологове, чтобы выпить сельтерской воды, и увидал Анну, невольно первое слово его сказало ей то самое, что он думал. И он рад был, что сказал ей это, что она знает теперь это и думает об этом. Он не спал всю ночь. Вернувшись в свой вагон, он не переставая перебирал все положения, в которых ее видел, все ее слова, и в его воображении, заставляя замирать сердце, носились картины возможного будущего.

Когда в Петербурге он вышел из вагона, он чувствовал себя после бессонной ночи оживленным и свежим, как после холодной ванны. Он остановился у своего вагона, ожидая ее выхода. «Еще раз увижу, — говорил он себе, невольно улыбаясь, — увижу ее походку, ее лицо; скажет что-нибудь, поворотит голову, взглянет, улыбнется, может быть». Но прежде еще, чем он увидал ее, он увидал ее мужа, которого начальник станции учтиво проводил между толпою. «Ах, да! муж!» Теперь только в первый раз Вронский ясно понял то, что муж было связанное с нею лицо. Он знал, что у ней есть муж, но

дал, как этот муж с чувством собственности спокойно взял ее руку. Увидев Алексея Александровича с его петербургскисвежим лицом и строго самоуверенною фигурой, в круглой шляпе, с немного выдающеюся спиной, он поверил в него и испытал неприятное чувство, подобное тому, какое испытал бы человек, мучимый жаждою и добравшийся до источника и находящий в этом источнике собаку, овцу или свинью, которая и выпила и взмутила воду. Походка Алексея Александровича, ворочавшая всем тазом и тупыми ногами, особенно оскорбляла Вронского. Он только за собой считал несомненное право любить ее. Но она была все та же; и вид ее все так же, физически оживляя, возбуждая и наполняя счастием его душу, подействовал на него. Он приказал подбежавшему к нему из второго класса немцу-лакею взять вещи и ехать, асам подошел к ней. Он видел первую встречу мужа с женою и заметил с проницательностью влюбленного признак легкого стеснения, с которым она говорила с мужем. «Нет, она не любит и не может любить его», — решил он сам с собою. Еще в то время, как он подходил к Анне Аркадьевне сзади, он заметил с радостью, что она чувствовала его приближение и оглянулась было и, узнав его, опять обратилась к мужу. — Хорошо ли вы провели ночь? — сказал он, наклоняясь пред нею и пред мужем вместе и предоставляя Алексею Александровичу принять этот поклон на свой счет и узнать его или не узнать, как ему будет угодно. — Благодарю вас, очень хорошо, — отвечала она. Лицо ее, казалось, устало, и не было на нем той игры просившегося то в улыбку, то в глаза оживления; но на одно мгновение при взгляде на него что-то мелькнуло в ее глазах, и, несмотря на то, что огонь этот сейчас же потух, он был счастлив этим мгновением. Она взглянула на мужа, чтоб узнать, знает ли он Вронского. Алексей Александрович смотрел на Вронского с неудовольствием, рассеянно вспоминая, кто это. Спокойствие и самоуверенность Вронского здесь, как коса на камень, наткнулись на холодную самоуверенность Алексея Александровича. — Граф Вронский, — сказала Анна. ~ А! Мы знакомы, кажется, — равнодушно сказал Алексей Александрович, подавая руку. — Туда ехала с матерью, а назад с сыном, — сказал он, отчетливо 117

дал, как этот муж с чувством собственности спокойно взял ее руку.

Увидев Алексея Александровича с его петербургски-свежим лицом и строго самоуверенною фигурой, в круглой шляпе, с немного выдающеюся спиной, он поверил в него и испытал неприятное чувство, подобное тому, какое испытал бы человек, мучимый жаждою и добравшийся до источника и находящий в этом источнике собаку, овцу или свинью, которая и выпила и взмутила воду. Походка Алексея Александровича, ворочавшая всем тазом и тупыми ногами, особенно оскорбляла Вронского. Он только за собой считал несомненное право любить ее. Но она была все та же; и вид ее все так же, физически оживляя, возбуждая и наполняя счастием его душу, подействовал на него. Он приказал подбежавшему к нему из второго класса немцу-лакею взять вещи и ехать, а сам подошел к ней. Он видел первую встречу мужа с женою и заметил с проницательностью влюбленного признак легкого стеснения, с которым она говорила с мужем. «Нет, она не любит и не может любить его», — решил он сам с собою.

Еще в то время, как он подходил к Анне Аркадьевне сзади, он заметил с радостью, что она чувствовала его приближение и оглянулась было и, узнав его, опять обратилась к мужу.

— Хорошо ли вы провели ночь? — сказал он, наклоняясь пред нею и пред мужем вместе и предоставляя Алексею Александровичу принять этот поклон на свой счет и узнать его или не узнать, как ему будет угодно.

— Благодарю вас, очень хорошо, — отвечала она.

Лицо ее, казалось, устало, и не было на нем той игры просившегося то в улыбку, то в глаза оживления; но на одно мгновение при взгляде на него что-то мелькнуло в ее глазах, и, несмотря на то, что огонь этот сейчас же потух, он был счастлив этим мгновением. Она взглянула на мужа, чтоб узнать, знает ли он Вронского. Алексей Александрович смотрел на Вронского с неудовольствием, рассеянно вспоминая, кто это. Спокойствие и самоуверенность Вронского здесь, как коса на камень, наткнулись на холодную самоуверенность Алексея Александровича.

— Граф Вронский, — сказала Анна.

выговаривая, как рублем даря каждым словом. — Вы, верно, из отпуска? — сказал он и, не дожидаясь ответа, обратился к жене своим шуточным тоном: — Что ж, много слез было пролито в Москве при разлуке? Обращением этим к жене он давал чувствовать Вронскому, что желает остаться один, и, повернувшись к нему, коснулся шляпы; но Вронский обратился к Анне Аркадьевне: — Надеюсь иметь честь быть у вас, — сказал он. Алексей Александрович усталыми глазами взглянул на Вронского. — Очень рад, — сказал он холодно, — по понедельникам мы принимаем. — Затем, отпустив совсем Вронского, он сказал жене: — И как хорошо, что у меня именно было полчаса времени, чтобы встретить тебя, и что я мог показать тебе свою нежность, — продолжал он тем же шуточным тоном. — Ты слишком уже подчеркиваешь свою нежность, чтоб я очень ценила, — сказала она тем же шуточным тоном, невольно прислушиваясь к звукам шагов Вронского, шедшего за ними. «Но что мне за дело?» — подумала она и стала спрашивать у мужа, как без нее проводил время Сережа. — О, прекрасно! Mariette говорит, что он был мил очень и... я должен тебя огорчить... не скучал о тебе, не так, как твой муж. Но еще раз merci, мой друг, что подарила мне день. Наш милый самовар будет в восторге. (Самоваром он называл знаменитую графиню Лидию Ивановну за то, что она всегда и обо всем волновалась и горячилась.) Она о тебе спрашивала. И знаешь, если я смею советовать, ты бы съездила к ней нынче. Ведь у ней обо всем болит сердце. Теперь она, кроме всех своих хлопот, занята примирением Облонских. Графиня Лидия Ивановна была друг ее мужа и центр одного из тех кружков петербургского света, с которым по мужу ближе всех была связана Анна. — Да ведь я писала ей. — Но ей все нужно подробно. Съезди, если не устала, мой друг. Ну, тебе карету подаст Кондратий, а я еду в комитет. Опять буду обедать не один, — продолжал Алексей Александрович уже не шуточным тоном. — Ты не поверишь, как я привык... И он, долго сжимая ей руку, с особенною улыбкой посадил ее в карету. 118

выговаривая, как рублем даря каждым словом. — Вы, верно, из отпуска? — сказал он и, не дожидаясь ответа, обратился к жене своим шуточным тоном: — Что ж, много слез было пролито в Москве при разлуке?

Обращением этим к жене он давал чувствовать Вронскому, что желает остаться один, и, повернувшись к нему, коснулся шляпы; но Вронский обратился к Анне Аркадьевне:

— Надеюсь иметь честь быть у вас, — сказал он.

Алексей Александрович усталыми глазами взглянул на Вронского.

— Очень рад, — сказал он холодно, — по понедельникам мы принимаем. — Затем, отпустив совсем Вронского, он сказал жене: — И как хорошо, что у меня именно было полчаса времени, чтобы встретить тебя, и что я мог показать тебе свою нежность, — продолжал он тем же шуточным тоном.

— Ты слишком уже подчеркиваешь свою нежность, чтоб я очень ценила, — сказала она тем же шуточным тоном, невольно прислушиваясь к звукам шагов Вронского, шедшего за ними. «Но что мне за дело?» — подумала она и стала спрашивать у мужа, как без нее проводил время Сережа.

— О, прекрасно! Mariette говорит, что он был мил очень и... я должен тебя огорчить... не скучал о тебе, не так, как твой муж. Но еще раз merci, мой друг, что подарила мне день. Наш милый самовар будет в восторге. (Самоваром он называл знаменитую графиню Лидию Ивановну за то, что она всегда и обо всем волновалась и горячилась.) Она о тебе спрашивала. И знаешь, если я смею советовать, ты бы съездила к ней нынче. Ведь у ней обо всем болит сердце. Теперь она, кроме всех своих хлопот, занята примирением Облонских.

Графиня Лидия Ивановна была друг ее мужа и центр одного из тех кружков петербургского света, с которым по мужу ближе всех была связана Анна.

— Да ведь я писала ей.

— Но ей все нужно подробно. Съезди, если не устала, мой друг. Ну, тебе карету подаст Кондратий, а я еду в комитет. Опять буду обедать не один, — продолжал Алексей Александрович уже не шуточным тоном. — Ты

XXXII Первое лицо, встретившее Анну дома, был сын. Он выскочил к пей по лестнице, несмотря на крик гувернантки, и с отчаянным восторгом кричал: «Мама, мама!» Добежав до нее, он повис ей на шее. *— Я говорил вам, что мама! — кричал он гувернантке. — Я знал! И сын, так же как и муж, произвел в Анне чувство, похожее на разочарованье. Она воображала его лучше, чем он был в действительности. Она была должна опуститься до действительности, чтобы наслаждаться им таким, каков он был. Но и такой, каков он был, он был прелестен с своими белокурыми кудрями, голубыми глазами и полными стройными ножками в туго натянутых чулках. Анна испытывала почти физическое наслал^деыие в ощущении его близости и ласки и нравственное успокоение, когда встречала его простодушный, доверчивый и любящий взгляд и слышала его наивные вопросы. Анна достала подарки, которые посылали дети Долли, и рассказала сыну, какая в Москве есть девочка Таня и как Таня эта умеет читать и учит даже других детей. — Что лш, я хуже ее? — спросил Серел^а. ^ Для меня лучше всех на свете. — Я это знаю, — сказал Сережа, улыбаясь. Еще Анна не успела напиться кофе, как доложили про графиню Лидию Ивановну. Графиня Лидия Ивановна была высокая полная женщина с нездорово-желтым цветом лица и прекрасными задумчивыми черными глазами. Анна любила ее, но нынче она как будто в первый раз увидела ее со всеми ее недостатками. — Ну что, мой друг, снесли оливковую ветвь? — спросила графиня Лидия Ивановна, только что вошла в комнату. — Да, все это кончилось, по все это и было не так важно, как мы думали, — отвечала Анна. — Вообще моя belle soeur слишком решительна. Но графиня Лидия Ивановна, всем до нее* не касавшимся интересовавшаяся, имела привычку никогда не слушать того, что ее интересовало; она перебила Анну: — Да, много горя и зла на свете, а я так измучена нынче. — А что? — спросила Анна, стараясь удержать улыбку. — Я начинаю уставать от напрасного ломания копий за правду и иногда совсем развинчиваюсь. Дело сестричек Î19

XXXII

Первое лицо, встретившее Анну дома, был сын. Он выскочил к ней по лестнице, несмотря на крик гувернантки, и с отчаянным восторгом кричал: «Мама, мама!» Добежав до нее, он повис ей на шее.

— Я говорил вам, что мама! — кричал он гувернантке. — Я знал!

И сын, так же как и муж, произвел в Анне чувство, похожее на разочарованье. Она воображала его лучше, чем он был в действительности. Она была должна опуститься до действительности, чтобы наслаждаться им таким, каков он был. Но и такой, каков он был, он был прелестен с своими белокурыми кудрями, голубыми глазами и полными стройными ножками в туго натянутых чулках. Анна испытывала почти физическое наслаждение в ощущении его близости и ласки и нравственное успокоение, когда встречала его простодушный, доверчивый и любящий взгляд и слышала его наивные вопросы. Анна достала подарки, которые посылали дети Долли, и рассказала сыну, какая в Москве есть девочка Таня и как Таня эта умеет читать и учит даже других детей.

— Что же, я хуже ее? — спросил Сережа.

— Для меня лучше всех на свете.

— Я это знаю, — сказал Сережа, улыбаясь.

Еще Анна не успела напиться кофе, как доложили про графиню Лидию Ивановну. Графиня Лидия Ивановна была высокая полная женщина с нездорово-желтым цветом лица и прекрасными задумчивыми черными глазами. Анна любила ее, но нынче она как будто в первый раз увидела ее со всеми ее недостатками.

—Ну что, мой друг, снесли оливковую ветвь? — спросила графиня Лидия Ивановна, только что вошла в комнату.

— Да, все это кончилось, но все это и было не так важно, как мы думали, — отвечала Анна. — Вообще моя belle soeur слишком решительна.

Но графиня Лидия Ивановна, всем до нее не касавшимся интересовавшаяся, имела привычку никогда не слушать того, что ее интересовало; она перебила Анну:

— Да, много горя и зла на свете, а я так измучена нынче.

(это было филантропическое, религиозно-патриотическое учреждение) пошло было прекрасно, но с этими господами ничего невозможно сделать, — прибавила графиня Лидия Ивановна с насмешливою покорностью судьбе. — Они ухватились за мысль, изуродовали ее и потом обсуждают так мелко и ничтожно. Два-три человека, ваш муж в том числе, понимают все значение этого дела, а другие только роняют. Вчера мне пишет Правдин... Правдин был известный панславист за границей, и графиня Лидия Ивановна рассказала содержание его письма. Затем графиня рассказала еще неприятности и козни против дела соединения церквей и уехала торопясь, так как ей в этот день приходилось быть еще на заседании одного общества и в Славянском комитете. «Ведь все это было и прежде; но отчего я не замечала этого прежде? — сказала себе Анна. — Или она очень раздражена нынче? А в самом деле, смешно: ее цель добродетель, она христианка, а она все сердится, и всё у нее враги, и всё враги по христианству и добродетели». После графини Лидии Ивановны приехала приятельница, жена директора, и рассказала все городские новости. В три часа и она уехала, обещаясь приехать к обеду. Алексей Александрович был в министерстве. Оставшись одна, Анна дообеденное время употребила на то, чтобы присутствовать при обеде сына (он обедал отдельно) и чтобы привести в порядок свои вещи, прочесть и ответить на записки и письма, которые у нее скопились на столе. Чувство беспричинного стыда, которое она испытывала дорогой, и волнение совершенно исчезли. В привычных условиях жизни она чувствовала себя опять твердою и безупречною. Она с удивлением вспомнила свое вчерашнее состояние. «Что же было? Ничего. Вронский сказал глупость, которой легко положить конец, и я ответила так, как нужно было. Говорить об этом мужу не надо и нельзя. Говорить об этом — значит придавать важность тому, что ее не имеет». Она вспомнила, как она рассказала почти признание, которое ей сделал в Петербурге молодой подчиненный ее муя^а, и как Алексей Александрович ответил, что, живя в свете, всякая женщина может подвергнуться этому, но что он доверяется вполне ее такту и никогда не позволит себе унизить ее и себя до ревности. «Стало быть, незачем говорить? Да, слава богу, и нечего говорить», — сказала она себе.

(это было филантропическое, религиозно-патриотическое учреждение) пошло было прекрасно, но с этими господами ничего невозможно сделать, — прибавила графиня Лидия Ивановна с насмешливою покорностью судьбе. — Они ухватились за мысль, изуродовали ее и потом обсуждают так мелко и ничтожно. Два-три человека, ваш муж в том числе, понимают все значение этого дела, а другие только роняют. Вчера мне пишет Правдин...

Правдин был известный панславист за границей, и графиня Лидия Ивановна рассказала содержание его письма.

Затем графиня рассказала еще неприятности и козни против дела соединения церквей и уехала торопясь, так как ей в этот день приходилось быть еще на заседании одного общества и в Славянском комитете.

«Ведь все это было и прежде; но отчего я не замечала этого прежде? — сказала себе Анна. — Или она очень раздражена нынче? А в самом деле, смешно: ее цель добродетель, она христианка, а она все сердится, и всё у нее враги, и всё враги по христианству и добродетели».

После графини Лидии Ивановны приехала приятельница, жена директора, и рассказала все городские новости. В три часа и она уехала, обещаясь приехать к обеду. Алексей Александрович был в министерстве. Оставшись одна, Анна дообеденное время употребила на то, чтобы присутствовать при обеде сына (он обедал отдельно) и чтобы привести в порядок свои вещи, прочесть и ответить на записки и письма, которые у нее скопились на столе.

Чувство беспричинного стыда, которое она испытывала дорогой, и волнение совершенно исчезли. В привычных условиях жизни она чувствовала себя опять твердою и безупречною.

Она с удивлением вспомнила свое вчерашнее состояние. «Что же было? Ничего. Вронский сказал глупость, которой легко положить конец, и я ответила так, как нужно было. Говорить об этом мужу не надо и нельзя. Говорить об этом — значит придавать важность тому, что ее не имеет». Она вспомнила, как она рассказала почти признание, которое ей сделал в Петербурге молодой подчиненный ее мужа, и как Алексей Александрович ответил, что, живя в свете, всякая женщина может подвергнуться этому, но что он доверяется вполне ее такту и

xxxm Алексей Александрович вернулся из министерства в четыре часа, но, как это часто бывало, не успел войти к ней. Он прошел в кабинет принимать дожидавшихся просителей и подписать некоторые бумаги, принесенные правителем дел. К обеду (всегда человека три обедали у Карениных) приехали: старая кузина Алексея Александровича, директор департамента с женой и один молодой человек, рекомендованный Алексею Александровичу на службу. Анна вышла в гостиную, чтобы занимать их. Ровно в пять часов бронзовые часы Петра I не успели добить пятого удара, как вышел Алексей Александрович в белом галстуке и во фраке с двумя звездами, так как сейчас после обеда ему надо было ехать. Каждая минута жизни Алексея Александровича была занята и распределена. И для того, чтоб успевать сделать то, что ему предстояло каждый день, он держался строжайшей аккуратности. «Без поспешности и без отдыха» — было его девизом. Он вошел, потирая лоб, в залу, раскланялся со всеми и поспешно сел, улыбаясь жене. — Да, кончилось мое уединение. Ты не поверишь, как неловко (он ударил на слове келовліо) обедать одному. За обедом он поговорил с женой о московских делах, с насмешливою улыбкой спрашивал о Степане Аркадьиче; но разговор шел преимупдественно общий, о петербургских служебных и общественных делах. После обеда он провел полчаса с гостями и, опять с улыбкой пожав руку жене, вышел и уехал в совет. Анна не поехала в этот раз ни к княгине Бетси Тверской, которая, узнав о ее приезде, звала ее вечером, ни в театр, где нынче была у нее ложа. Она не поехала преимущественно потому, что платье, на которое она рассчитывала, было не готово. Вообще, занявшись после отъезда гостей своим туалетоім, Анна была очень раздосадована. Пред отъездом в Москву она, вообще мастерица одеваться не очень дорого, отдала модистке для переделки три платья. Платья нужно было так переделать, чтоб их нельзя было узнать, и они должны были быть готовы уже три дня тому назад. Оказалось, что два платья были совсем не готовы, а одно переделано не так, как того хотела Анна. Модистка приехала объясняться, утверждая, что так будет лучше, и Анна разгорячилась так, что ей потом совестно было вспоминать. Чтобы совершенно успокоиться, она пошла в деі'121

XXXIII

Алексей Александрович вернулся из министерства в четыре часа, но, как это часто бывало, не успел войти к ней. Он прошел в кабинет принимать дожидавшихся просителей и подписать некоторые бумаги, принесенные правителем дел. К обеду (всегда человека три обедали у Карениных) приехали: старая кузина Алексея Александровича, директор департамента с женой и один молодой человек, рекомендованный Алексею Александровичу на службу. Анна вышла в гостиную, чтобы занимать их. Ровно в пять часов бронзовые часы Петра I не успели добить пятого удара, как вышел Алексей Александрович в белом галстуке и во фраке с двумя звездами, так как сейчас после обеда ему надо было ехать. Каждая минута жизни Алексея Александровича была занята и распределена. И для того, чтоб успевать сделать то, что ему предстояло каждый день, он держался строжайшей аккуратности. «Без поспешности и без отдыха» — было его девизом. Он вошел, потирая лоб, в залу, раскланялся со всеми и поспешно сел, улыбаясь жене.

— Да, кончилось мое уединение. Ты не поверишь, как неловко (он ударил на слове *неловко*) обедать одному.

За обедом он поговорил с женой о московских делах, с насмешливою улыбкой спрашивал о Степане Аркадьиче; но разговор шел преимущественно общий, о петербургских служебных и общественных делах. После обеда он провел полчаса с гостями и, опять с улыбкой пожав руку жене, вышел и уехал в совет. Анна не поехала в этот раз ни к княгине Бетси Тверской, которая, узнав о ее приезде, звала ее вечером, ни в театр, где нынче была у нее ложа. Она не поехала преимущественно потому, что платье, на которое она рассчитывала, было не готово. Вообще, занявшись после отъезда гостей своим туалетом, Анна была очень раздосадована. Пред отъездом в Москву она, вообще мастерица одеваться не очень дорого, отдала модистке для переделки три платья. Платья нужно было так переделать, чтоб их нельзя было узнать, и они должны были быть готовы уже три дня тому назад. Оказалось, что два платья были совсем не готовы, а одно переделано не так, как того хотела Анна. Модистка приехала

скую и весь вечер провела с сыном, сама уложила его спать, перекрестила к покрыла его одеялом. Она рада была, что не поехала никуда и так хорошо провела этот вечер. Ей так легко и спокойно было, так ясно она видела, что все, что ей на железной дороге представлялось столь значительным, был только один из обычных ничтожных случаев светской жизни и что ей ни пред кем, ни пред собой стыдиться нечего. Анна села у камина с английским романом и ждала мужа. Ровно в половине десятого послышался его звонок, и он вошел в комнату. — Наконец-то ты! — сказала она, протягивая ему руку. Он поцеловал ее руку и подсел к ней. — Вообще я вижу, что поездка твоя удалась, — сказал он ей. — Да, очень, — отвечала она и стала рассказывать ему все сначала: свое путешествие с Вронскою, своей приезд, случай на железной дороге. Потом рассказала свое впечатление жалости к брату сначала, потом к Долли. — Я не полагаю, чтобы можно было извинять такого человека, хотя он и твой брат, — сказал Алексей Александрович строго. Анна улыбнулась. Она поняла, что он сказал это именно затем, чтобы показать, что соображения родства не могут остановить его в высказывании своего искреннего мнения. Она знала эту черту в своем муже и любила ее. — Я рад, что все кончилось благополучно и что ты приехала, — продолжал он. — Ну, что говорят там про новое положение, которое я провел в совете? Анна ничего не слышала об этом положении, и ей стало совестно, что она так легко могла забыть о том, что для него было так важно. — Здесь, напротив, это наделало много шума, — сказал он с самодовольною улыбкой. Она видела, что Алексей Александрович хотел чтото сообщить ей приятное для себя об этом деле, и она вопросами навела его на рассказ. Он с тою же самодовольною улыбкой рассказал об овациях, которые были сделаны ему вследствие этого проведенного положения. — Я очень, очень был рад. Это доказывает, что, наконец, у нас начинает устанавливаться разумный и твердый взгляд на это дело. Допив со сливками и хлебом свой второй стакан чая, Алексей Александрович встал и пошел в свой кабинет. 122

скую и весь вечер провела с сыном, сама уложила его спать, перекрестила и покрыла его одеялом. Она рада была, что не поехала никуда и так хорошо провела этот вечер. Ей так легко и спокойно было, так ясно она видела, что все, что ей на железной дороге представлялось столь значительным, был только один из обычных ничтожных случаев светской жизни и что ей ни пред кем, ни пред собой стыдиться нечего. Анна села у камина с английским романом и ждала мужа. Ровно в половине десятого послышался его звонок, и он вошел в комнату.

— Наконец-то ты! — сказала она, протягивая ему руку.

Он поцеловал ее руку и подсел к ней.

— Вообще я вижу, что поездка твоя удалась, — сказал он ей.

— Да, очень, — отвечала она и стала рассказывать ему все сначала: свое путешествие с Вронскою, своей приезд, случай на железной дороге. Потом рассказала свое впечатление жалости к брату сначала, потом к Долли.

— Я не полагаю, чтобы можно было извинять такого человека, хотя он и твой брат, — сказал Алексей Александрович строго.

Анна улыбнулась. Она поняла, что он сказал это именно затем, чтобы показать, что соображения родства не могут остановить его в высказывании своего искреннего мнения. Она знала эту черту в своем муже и любила ее.

— Я рад, что все кончилось благополучно и что ты приехала, — продолжал он. — Ну, что говорят там про новое положение, которое я провел в совете?

Анна ничего не слышала об этом положении, и ей стало совестно, что она так легко могла забыть о том, что для него было так важно.

— Здесь, напротив, это наделало много шума, — сказал он с самодовольною улыбкой.

Она видела, что Алексей Александрович хотел что-то сообщить ей приятное для себя об этом деле, и она вопросами навела его на рассказ. Он с тою же самодовольною улыбкой рассказал об овациях, которые были сделаны ему вследствие этого проведенного положения.

— Я очень, очень был рад. Это доказывает, что, наконец, у нас начинает устанавливаться разумный и твер-

— А ты никуда не поехала; тебе, верно, скучно было? — сказал он. — О нет! — отвечала она, встав за ним и провожая его чрез залу в кабинет. — Что же ты читаешь теперь? — спросила она. — Теперь я читаю Duc de Lille, «Poésie des enfers» ^ — отвечал он. — Очень замечательная книга. Анна улыбнулась, как улыбаются слабостям любимых людей, и, положив свою руку под его, проводила его до дверей кабинета. Она знала его привычку, сделавшуюся необходимостью, вечером читать. Она знала, что, несмотря на поглощавшие почти все его время служебные обязанности, он считал своим долгом следить за всем замечательным, появлявшимся в умственной сфере. Она знала тоже, что действительно его интересовали книги политические, философские, богословские, что искусство было по его натуре совершенно чуждо ему, но что, несмотря на это, или лучше вследствие этого, Алексей Александрович не пропускал ничего из того, что делало шум в этой области, и считал своим долгом все читать. Она знала, что в области политики, философии, богословия Алексей Александрович сомневался или отыскивал; но в вопросах искусства и поэзии, в особенности музыки, понимания которой он был совершенно лишен, у него были самые определенные и твердые мнения. Он любил говорить о Шекспире, Рафаэле, Бетховене, о значении новых школ поэзии и музыки, которые все были у него распределены с очень ясною последовательностью. — Ну, и бог с тобой, — сказала она у двери кабинета, где уже были приготовлены ему абажур на свече и графин воды у кресла. — А я напишу в Москву. Он пожал ей руку и опять поцеловал ее. «Все-таки он хороший человек, правдивый, добрый и замечательный в своей сфере, — говорила себе Анна, вернувшись к себе, как будто защищая его пред кем-то, кто обвинял его и говорил, что его нельзя любить. — Но что это уши у него так странно выдаются! Или он обстригся?» Ровно в двенадцать, когда Анна еще сидела за письменным столом, дописывая письмо к Долли, послышались ровные шаги в туфлях, и Алексей Александрович, вымытый, причесанный, с книгою под мышкой, подошел к ней. ^ Герцога де Лиля, «Поэзия ада» (франц.)^

— А ты никуда не поехала; тебе, верно, скучно было? — сказал он.

— О нет! — отвечала она, встав за ним и провожая его чрез залу в кабинет. — Что же ты читаешь теперь? — спросила она.

— Теперь я читаю Duc de Lille, «Poésie des enfers» [1], — отвечал он. — Очень замечательная книга.

Анна улыбнулась, как улыбаются слабостям любимых людей, и, положив свою руку под его, проводила его до дверей кабинета. Она знала его привычку, сделавшуюся необходимостью, вечером читать. Она знала, что, несмотря на поглощавшие почти все его время служебные обязанности, он считал своим долгом следить за всем замечательным, появлявшимся в умственной сфере. Она знала тоже, что действительно его интересовали книги политические, философские, богословские, что искусство было по его натуре совершенно чуждо ему, но что, несмотря на это, или лучше вследствие этого, Алексей Александрович не пропускал ничего из того, что делало шум в этой области, и считал своим долгом все читать. Она знала, что в области политики, философии, богословия Алексей Александрович сомневался или отыскивал; но в вопросах искусства и поэзии, в особенности музыки, понимания которой он был совершенно лишен, у него были самые определенные и твердые мнения. Он любил говорить о Шекспире, Рафаэле, Бетховене, о значении новых школ поэзии и музыки, которые все были у него распределены с очень ясною последовательностью.

— Ну, и бог с тобой, — сказала она у двери кабинета, где уже были приготовлены ему абажур на свече и графин воды у кресла. — А я напишу в Москву.

Он пожал ей руку и опять поцеловал ее.

«Все-таки он хороший человек, правдивый, добрый и замечательный в своей сфере, — говорила себе Анна, вернувшись к себе, как будто защищая его пред кем-то, кто обвинял его и говорил, что его нельзя любить. — Но что это уши у него так странно выдаются! Или он обстригся?»

Ровно в двенадцать, когда Анна еще сидела за письменным столом, дописывая письмо к Долли, послышались ровные шаги в туфлях, и Алексей Александрович, вымы-

— Пора, пора, — сказал он, особенно улыбаясь, ипропсел в спальню. «И какое право имел он так смотреть на него?» — подумала Анна, вспоминая взгляд Вронского на Алексея Александровича. Раздевшись, она вошла в спальню, но на лице ее не только не было того оживления, которое в бытность ее в Москве так и брызгало из ее глаз и улыбки: напротив, теперь огонь казался потушенным в ней или где-то далеко припрятанным. XXXIV Уезжая из Петербурга, Вронский оставил свою большую квартиру на Морской приятелю и любимому товарищу Петрицкому. Петрицкий был молодой поручик, не особенно знатный и не только не богатый, но кругом в долгах, к вечеру всегда пьяный и часто за разные и смешные и грязные истории попадавший на гауптвахту, но любимый и товарищами и начальством. Подъезжая в двенадцатом часу с железной дороги к своей квартире, Вронский увидал у подъезда знакомую ему извозчичью карету. Из-за двери еще на свой звонок он услыхал хохот мужчин и французский лепет женского голоса и крик Петрицкого: «Если кто из злодеев, то не пускать!» Вронский не велел денщику говорить о себе и потихоньку вошел в первую комнату. Баронесса Шильтон, приятельница Петрицкого, блестя лиловым атласом платья и румяным белокурым личикоім и, как канарейка, наполняя всю комнату своим парижским говором, сидела пред круглым столом, варя кофе. Петрицкий в пальто и ротмистр Камеровский в полной форме, вероятно со службы, сидели вокруг нее. — Браво! Вронский! — закричал Петрицкий, вскакивая и гремя стулом. — Сам хозяин! Баронесса, кофею ему из нового кофейника. Вот не ждали! Надеюсь, ты доволен украшением твоего кабинета, — сказал он, указывая на баронессу. — Вы ведь знакомы? — Еще бы! — сказал Вронский, весело улыбаясь и пожимая маленькую ручку баронессы. — Как же! старый друг. — Вы домой с дороги, — сказала баронесса, — так я бегу. Ах, я уеду сшо минуту, если я мешаю.

— Пора, пора, — сказал он, особенно улыбаясь, и прошел в спальню.

«И какое право имел он так смотреть на него?» — подумала Анна, вспоминая взгляд Вронского на Алексея Александровича.

Раздевшись, она вошла в спальню, но на лице ее не только не было того оживления, которое в бытность ее в Москве так и брызгало из ее глаз и улыбки: напротив, теперь огонь казался потушенным в ней или где-то далеко припрятанным.

XXXIV

Уезжая из Петербурга, Вронский оставил свою большую квартиру на Морской приятелю и любимому товарищу Петрицкому.

Петрицкий был молодой поручик, не особенно знатный и не только не богатый, но кругом в долгах, к вечеру всегда пьяный и часто за разные и смешные и грязные истории попадавший на гауптвахту, но любимый и товарищами и начальством. Подъезжая в двенадцатом часу с железной дороги к своей квартире, Вронский увидал у подъезда знакомую ему извозчичью карету. Из-за двери еще на свой звонок он услыхал хохот мужчин и французский лепет женского голоса и крик Петрицкого: «Если кто из злодеев, то не пускать!» Вронский не велел денщику говорить о себе и потихоньку вошел в первую комнату. Баронесса Шильтон, приятельница Петрицкого, блестя лиловым атласом платья и румяным белокурым личиком и, как канарейка, наполняя всю комнату своим парижским говором, сидела пред круглым столом, варя кофе. Петрицкий в пальто и ротмистр Камеровский в полной форме, вероятно со службы, сидели вокруг нее.

— Браво! Вронский! — закричал Петрицкий, вскакивая и гремя стулом. — Сам хозяин! Баронесса, кофею ему из нового кофейника. Вот не ждали! Надеюсь, ты доволен украшением твоего кабинета, — сказал он, указывая на баронессу. — Вы ведь знакомы?

— Еще бы! — сказал Вронский, весело улыбаясь и пожимая маленькую ручку баронессы. — Как же! старый

— Вы дома там, где вы, баронесса, — сказал Вронский. — Здравствуй, Камеровский, — прибавил он, холодно пожимая руку Камеровского. — Вот вы никогда не умеете говорить такие хорошенькие вещи, — обратилась баронесса к Петрицкому. — Нет, отчего же? После обеда и я скажу не хуже. — Да после обеда нет заслуги! Ну, так я вам дам кофею, идите мойтесь и убирайтесь, — сказала баронесса, опять садясь и заботливо поворачивая винтик в новом кофейнике. — Пьер, дайте кофе, — обратилась она к Петрицкому, которого она называла Пьер, по его фамилии Петрицкпй, не скрывая своих отношений с ним. — Я прибавлю. — Испортите. — Нет, не испорчу! Ну, а ваша жена? — сказала вдруг баронесса, перебивая разговор Вронского с товарищем. — Вы не привезли вашу жену? Мы здесь женили вас. — Нет, баронесса. Я рожден цыганом и умру цыганом. — Тем лучше, тем лучше. Давайте руку. И баронесса, не отпуская Вронского, стала ему рассказывать, пересыпая шутками, свои последние планы жизни и спрашивать его совета. — Он все не хочет давать мне развода! Ну что же мне делать? {Он был муж ее.) Я теперь хочу процесс начинать. Как вы мне посоветуете? Камеровский, смотрите же за кофеем — ушел; вы видите, я занята делами! Я хочу процесс, потому что состояние мне нужно мое. Вы понимаете ли эту глупость, что я ему будто бы неверна, — с презрением сказала она, — и от этого он хочет пользоваться моим имением. Вронский слушал с удовольствием этот веселый лепет хорошенькой женщины, поддакивал ей, давал полушутливые советы и вообще тотчас же принял свой привычный тон обращения с этого рода женщинами. В его петербургском мире все люди разделялись на два совершенно противоположные сорта. Один низший сорт: пошлые, глупые и, главное, смешные люди, которые веруют в то, что одному мужу надо жить с одною женой, с которою он обвенчан, что девушке надо быть невинною, женщине стыдливою, мужчине мужественным, воздержным и твердым, что надо воспитывать детей, зарабатывать свой хлеб, платить долги, — и разные тому подобные глупости. Это был сорт людей старомодных и смешных. Но был другой сорт людей, настоящих, к которому они 125

— Вы дома там, где вы, баронесса, — сказал Вронский. — Здравствуй, Камеровский, — прибавил он, холодно пожимая руку Камеровского.

— Вот вы никогда не умеете говорить такие хорошенькие вещи, — обратилась баронесса к Петрицкому.

— Нет, отчего же? После обеда и я скажу не хуже.

— Да после обеда нет заслуги! Ну, так я вам дам кофею, идите мойтесь и убирайтесь, — сказала баронесса, опять садясь и заботливо поворачивая винтик в новом кофейнике. — Пьер, дайте кофе, — обратилась она к Петрицкому, которого она называла Пьер, по его фамилии Петрицкий, не скрывая своих отношений с ним. — Я прибавлю.

— Испортите.

— Нет, не испорчу! Ну, а ваша жена? — сказала вдруг баронесса, перебивая разговор Вронского с товарищем.— Вы не привезли вашу жену? Мы здесь женили вас.

— Нет, баронесса. Я рожден цыганом и умру цыганом.

— Тем лучше, тем лучше. Давайте руку.

И баронесса, не отпуская Вронского, стала ему рассказывать, пересыпая шутками, свои последние планы жизни и спрашивать его совета.

— Он все не хочет давать мне развода! Ну что же мне делать? (*Он* был муж ее.) Я теперь хочу процесс начинать. Как вы мне посоветуете? Камеровский, смотрите же за кофеем — ушел; вы видите, я занята делами! Я хочу процесс, потому что состояние мне нужно мое. Вы понимаете ли эту глупость, что я ему будто бы неверна, — с презрением сказала она, — и от этого он хочет пользоваться моим имением.

Вронский слушал с удовольствием этот веселый лепет хорошенькой женщины, поддакивал ей, давал полушутливые советы и вообще тотчас же принял свой привычный тон обращения с этого рода женщинами. В его петербургском мире все люди разделялись на два совершенно противоположные сорта. Один низший сорт: пошлые, глупые и, главное, смешные люди, которые веруют в то, что одному мужу надо жить с одною женой, с которою он обвенчан, что девушке надо быть невинною, женщине стыдливою, мужчине мужественным, воздержным и твердым, что надо воспитывать детей, зарабаты-

все принадлежали, в котором надо быть, главное, элегантным, красивым, великодушным, смелым, веселым, отдаваться всякой страсти не краснея и над всем остальным смеяться. Вронский только в первую минуту был ошеломлен после впечатлений совсем другого мира, привезенных им из Москвы; но тотчас же, как будто всунул ноги в старые туфли, он вошел в свой прежний веселый и приятный мир. Кофе так и не сварился, а обрызгал всех и ушел и произвел именно то самое, что было нужно, то есть подал повод к шуму и смеху и залил дорогой ковер и платье баронессы. — Ну, теперь прощайте, а то вы никогда не умоетесь, и на моей совести будет главное преступление порядочного человека, нечистоплотность. Так вы советуете нож к горлу? — Непременно, и так, чтобы ваша ручка была поближе от его губ. Он поцелует вашу ручку, и все кончится благополучно, — отвечал Вронский. — Так нынче во Французском! — - И, зашумев платьем, она исчезла. Камеровский поднялся тоже, а Вронский, не дожидаясь его ухода, подал ему руку и отправился в уборную. Пока он умывался, Петрицкий описал ему в кратких чертах свое положение, насколько оно изменилось после отъезда Вронского. Денег нет ничего. Отец сказал, что не даст и не заплатит долгов. Портной хочет посадить, и другой тоже непременно грозит посадить. Полковой командир объявил, что если эти скандалы не прекратятся, то надо выходить. Баронесса надоела, как горькая редька, особенно тем, что все хочет давать деньги; а есть одна, он ее покажет Вронскому, чудо, прелесть, в восточном строгом стиле, «genre рабыни Ребекки, понимаешь», С Беркошевым тоже вчера разбранился, и он хотел прислать секундантов, но, разумеется, ничего не выйдет. Вообще же все превосходно и чрезвычайно весело. И, не давая товарипду углубляться в подробности своего положения, Петрицкий пустился рассказывать ему все интересные новости. Слушая столь знакомые рассказы Петрицкого в столь знакомой обстановке своей трехлетней квартиры, Вронский испытывал приятное чувство возвращения к привычной и беззаботной петербургской жизни. — Не может быть! — закричал он, отпустив педаль умывальника, которым он обливал свою красную здоровую 126

все принадлежали, в котором надо быть, главное, элегантным, красивым, великодушным, смелым, веселым, отдаваться всякой страсти не краснея и над всем остальным смеяться.

Вронский только в первую минуту был ошеломлен после впечатлений совсем другого мира, привезенных им из Москвы; но тотчас же, как будто всунул ноги в старые туфли, он вошел в свой прежний веселый и приятный мир.

Кофе так и не сварился, а обрызгал всех и ушел и произвел именно то самое, что было нужно, то есть подал повод к шуму и смеху и залил дорогой ковер и платье баронессы.

— Ну, теперь прощайте, а то вы никогда не умоетесь, и на моей совести будет главное преступление порядочного человека, нечистоплотность. Так вы советуете нож к горлу?

— Непременно, и так, чтобы ваша ручка была поближе от его губ. Он поцелует вашу ручку, и все кончится благополучно, — отвечал Вронский.

— Так нынче во Французском! — И, зашумев платьем, она исчезла.

Камеровский поднялся тоже, а Вронский, не дожидаясь его ухода, подал ему руку и отправился в уборную. Пока он умывался, Петрицкий описал ему в кратких чертах свое положение, насколько оно изменилось после отъезда Вронского. Денег нет ничего. Отец сказал, что не даст и не заплатит долгов. Портной хочет посадить, и другой тоже непременно грозит посадить. Полковой командир объявил, что если эти скандалы не прекратятся, то надо выходить. Баронесса надоела, как горькая редька, особенно тем, что все хочет давать деньги; а есть одна, он ее покажет Вронскому, чудо, прелесть, в восточном строгом стиле, «genre рабыни Ребекки, понимаешь». С Беркошевым тоже вчера разбранился, и он хотел прислать секундантов, но, разумеется, ничего не выйдет. Вообще же все превосходно и чрезвычайно весело. И, не давая товарищу углубляться в подробности своего положения, Петрицкий пустился рассказывать ему все интересные новости. Слушая столь знакомые рассказы Петрицкого в столь знакомой обстановке своей трехлетней квартиры, Вронский испытывал приятное чувство возвращения

тею. — Не может быть! — закричал оп при известии о том, что Лора сошлась с Милеевым и бросила Фертингофа. — II он все так же глуп и доволен? Ну, а Бузулуков что? — Ах, с Бузулуковым была история — прелесть! — закричал Петрицкий. — Ведь его страсть — балы, и он ни одного придворного бала не пропускает. Отправился он на большой бал в новой каске. Ты видел новые каски? Очень хороши, легче. Только стоит он... Нет, ты слушай. — Да я слушаю, — растираясь мохнатым полотенцем, отвечал Вронский. — Проходит великая княгиня с каким-то послом, и на его беду зашел у них разговор о новых касках. Великая княгиня и хотела показать новую каску... Видят, наш голубчик стоит. (Петрицкий представил, как оп стоит с каской.) Великая княгиня попросила себе подать каску, — он не дает. Что такое? Только ему мигают, кивают, хмурятся. Подай. Не дает. Замер. Можешь себе представить!.. Только этот... как его... хочет уже взять у него каску... не дает!.. Он вырвал, подает великой княгине. «Вот эта новая», — говорит великая княгиня. Повернула каску, и, можешь себе представить, оттуда бух! груша, конфеты, два фунта конфет!.. Он это набрал, голубчик! Вронский покатился со смеху. И долго потом, говоря уже о другом, закатывался своим здоровым смехом, выставляя свои крепкие сплошные зубы, когда вспоминал о каске. Узнав все новости, Вронский с помош;ию лакея оделся в мундир и поехал являться. Явившись, он намерен был съездить к брату, к Бетси и сделать несколько визитов с тем, чтоб начать ездить в тот свет, где бы он мог встречать Каренину. Как и всегда в Петербурге, он выехал из дома с тем, чтобы ие возврап],аться до поздней ночи.

шею. — Не может быть! — закричал он при известии о том, что Лора сошлась с Милеевым и бросила Фертингофа. — И он все так же глуп и доволен? Ну, а Бузулуков что?

— Ах, с Бузулуковым была история — прелесть! — закричал Петрицкий. — Ведь его страсть — балы, и он ни одного придворного бала не пропускает. Отправился он на большой бал в новой каске. Ты видел новые каски? Очень хороши, легче. Только стоит он... Нет, ты слушай.

— Да я слушаю, — растираясь мохнатым полотенцем, отвечал Вронский.

— Проходит великая княгиня с каким-то послом, и на его беду зашел у них разговор о новых касках. Великая княгиня и хотела показать новую каску... Видят, наш голубчик стоит. (Петрицкий представил, как он стоит с каской.) Великая княгиня попросила себе подать каску, — он не дает. Что такое? Только ему мигают, кивают, хмурятся. Подай. Не дает. Замер. Можешь себе представить!.. Только этот... как его... хочет уже взять у него каску... не дает!.. Он вырвал, подает великой княгине. «Вот эта новая», — говорит великая княгиня. Повернула каску, и, можешь себе представить, оттуда бух! груша, конфеты, два фунта конфет!.. Он это набрал, голубчик!

Вронский покатился со смеху. И долго потом, говоря уже о другом, закатывался своим здоровым смехом, выставляя свои крепкие сплошные зубы, когда вспоминал о каске.

Узнав все новости, Вронский с помощию лакея оделся в мундир и поехал являться. Явившись, он намерен был съездить к брату, к Бетси и сделать несколько визитов с тем, чтоб начать ездить в тот свет, где бы он мог встречать Каренину. Как и всегда в Петербурге, он выехал из дома с тем, чтобы не возвращаться до поздней ночи.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ I В конце зимы в доме Щербацких происходил консилиум, долженствовавший решить, в каком положении находится здоровье Кити и что нужно предпринять для восстановления ее ослабевающих сил. Она была больна, и с приближением весны здоровье ее становилось хуже* Домашний доктор давал ей рыбий н^ир, потом железо, потом лапис, но так как пи то, ни другое, ни третье не помогало и так как он советовал от весны уехать заграницу, то приглашен был знаменитый доктор. Знаменитый доктор, не старый еще, весьма красивый мужчина, потребовал осмотра больной. Он с особенным удовольствием, казалось, настаивал на том, что девичья стыдливость есть только остаток варварства и что нет ничего естественнее, как то, чтоб еще не старый мужчина ощупывал молодую обнаженную девушку. Он находил это естественным, потому что делал это каждый день и при этом ничего не чувствовал и не думал, как ему казалось, дурного, и поэтому стыдливость в девушке он считал не только остатком варварства, но и оскорблением себе. Надо было покориться, так как, несмотря на то, что все доктора учились в одной школе, по одним и тем же книгам, знали одну науку, и несмотря на то, что некоторые говорили, что этот знаменитый доктор был дурной доктор, в доме княгини и в ее кругу было признано почему-то, что этот знаменитый доктор один знает что-то особенное и один может спасти Кити. После внимательного осмотра и постукиванья растерянной и ошеломленной от стыда больной знаменитый доктор, старательно вымыв свои руки, стоял в гостиной и говорил с князем. Князь хмурился, покашливая, слушая доктора. Он, как поживший, не глупый и не больной человек, не верил 128

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

В конце зимы в доме Щербацких происходил консилиум, долженствовавший решить, в каком положении находится здоровье Кити и что нужно предпринять для восстановления ее ослабевающих сил. Она была больна, и с приближением весны здоровье ее становилось хуже. Домашний доктор давал ей рыбий жир, потом железо, потом лапис, но так как ни то, ни другое, ни третье не помогало и так как он советовал от весны уехать за границу, то приглашен был знаменитый доктор. Знаменитый доктор, не старый еще, весьма красивый мужчина, потребовал осмотра больной. Он с особенным удовольствием, казалось, настаивал на том, что девичья стыдливость есть только остаток варварства и что нет ничего естественнее, как то, чтоб еще не старый мужчина ощупывал молодую обнаженную девушку. Он находил это естественным, потому что делал это каждый день и при этом ничего не чувствовал и не думал, как ему казалось, дурного, и поэтому стыдливость в девушке он считал не только остатком варварства, но и оскорблением себе.

Надо было покориться, так как, несмотря на то, что все доктора учились в одной школе, по одним и тем же книгам, знали одну науку, и несмотря на то, что некоторые говорили, что этот знаменитый доктор был дурной доктор, в доме княгини и в ее кругу было признано почему-то, что этот знаменитый доктор один знает что-то особенное и один может спасти Кити. После внимательного осмотра и постукиванья растерянной и ошеломленной от стыда больной знаменитый доктор, старательно

•в медицину и в душе злился на всю эту комедию, тем более что едва ли не он один вполне понимал причину болезни Кити. «То-то пустобрех», — думал он, применяя в мыслях это название из охотничьего словаря к знаменитому доктору и слушая его болтовню о признаках болезни дочери. Доктор между тем с трудом удерживал выражение презрения к этому старому баричу и с трудом спускался до низменности его понимания. Он понимал, что с стариком говорить нечего и что глава в этом доме — мать. Пред нею-то он намеревался рассыпать свой бисер. В это время княгиня вошла в гостиную с домашним доктором. Князь отошел, стараясь не дать заметить, как ему смешна была вся эта комедия. Княгиня была растеряна и не знала, что делать. Она чувствовала себя виноватою пред Кити. — Ну, доктор, решайте нашу судьбу, — сказала княгиня. — Говорите мне всё. — «Есть ли надежда?» — хотела она сказать, но губы ее задрожали, и она не могла выговорить этот вопрос. — Ну что, доктор?.. — Сейчас, княгиня, переговорю с коллегой и тогда буду иметь честь доложить вам свое мнение. — Так нам вас оставить? — Как вам будет угодно. Княгиня, вздохнув, вышла. Когда доктора остались одни, домашний врач робко стал излагать свое мнение, состояш;ее в том, что есть начало туберкулезного процесса, но... и т. д. Знаменитый доктор слушал его и в середине его речи посмотрел на свои крупные золотые часы. — Так, — сказал он. — Но... Домашний врач замолк почтительно на середине речи. — Определить, как вы знаете, начало туберкулезного процесса мы не можем; до появления каверн нет ничего определенного. Но подозревать мы можем. И указания есть: дурное питание, нервное возбуждение и прочее. Вопрос стоит так: при подозрении туберкулезного процесса что нужно сделать, чтобы поддержать питание? — Но, ведь вы знаете, тут всегда скрываются нравственные, духовные причины, — с тонкою улыбкой позволил себе вставить домашний доктор. — Да, это само собой разумеется, — отвечал знаменитый доктор, опять взглянув на часы. — Виноват; что, поставлен ли Яузский мост или надо все еш;е кругом объезжать? — спросил он. — А! поставлен. Да, ну так я б л, Н. Толстой, т, 8 129

в медицину и в душе злился на всю эту комедию, тем более что едва ли не он один вполне понимал причину болезни Кити. «То-то пустобрех», — думал он, применяя в мыслях это название из охотничьего словаря к знаменитому доктору и слушая его болтовню о признаках болезни дочери. Доктор между тем с трудом удерживал выражение презрения к этому старому баричу и с трудом спускался до низменности его понимания. Он понимал, что с стариком говорить нечего и что глава в этом доме — мать. Пред нею-то он намеревался рассыпать свой бисер. В это время княгиня вошла в гостиную с домашним доктором. Князь отошел, стараясь не дать заметить, как ему смешна была вся эта комедия. Княгиня была растеряна и не знала, что делать. Она чувствовала себя виноватою пред Кити.

— Ну, доктор, решайте нашу судьбу, — сказала княгиня. — Говорите мне всё. — «Есть ли надежда?» — хотела она сказать, но губы ее задрожали, и она не могла выговорить этот вопрос. — Ну что, доктор?..

— Сейчас, княгиня, переговорю с коллегой и тогда буду иметь честь доложить вам свое мнение.

— Так нам вас оставить?

— Как вам будет угодно.

Княгиня, вздохнув, вышла.

Когда доктора остались одни, домашний врач робко стал излагать свое мнение, состоящее в том, что есть начало туберкулезного процесса, но... и т. д. Знаменитый доктор слушал его и в середине его речи посмотрел на свои крупные золотые часы.

— Так, — сказал он. — Но...

Домашний врач замолк почтительно на середине речи.

— Определить, как вы знаете, начало туберкулезного процесса мы не можем; до появления каверн нет ничего определенного. Но подозревать мы можем. И указания есть: дурное питание, нервное возбуждение и прочее. Вопрос стоит так: при подозрении туберкулезного процесса что нужно сделать, чтобы поддержать питание?

— Но, ведь вы знаете, тут всегда скрываются нравственные, духовные причины, — с тонкою улыбкой позволил себе вставить домашний доктор.

— Да, это само собой разумеется, — отвечал знаме-

в двадцать минут могу быть. Так мы говорили, что вопрос так поставлен: поддер^кать питание и исправить нервы. Одно в связи с другим, надо действовать на обе стороны круга. — Но поездка за границу? — спросил домашний доктор. — Я враг поездок за границу. И изволите видеть: если есть начало туберкулезного процесса, чего мы знать не можем, то поездка за границу не поможет. Необходимо такое средство, которое бы поддерживало питание и не вредило. И знаменитый доктор изложил свой план лечения водами Соденскими, при назначении которых главная цель, очевидно, состояла в том, что они повредить не могут. Домашний доктор внимательно и почтительно выслушал. — Но в пользу поездки за границу я бы выставил перемену привычек, удаление от условий, вызывающих воспоминания. И потом матери хочется, — сказал он. — А! Ну, в этом случае, что ж, пускай едут; только повредят эти немецкие шарлатаны... Надо, чтобы слушались... Ну, так пускай едут. Он опять взглянул на часы. — О! уже пора, — и пошел к двери. Знаменитый доктор объявил княгине (чувство приличия подсказало это), что ему нужно видеть еще раз больную. — Как! еще раз осматривать! — с ужасом воскликнула мать. — О нет, мне некоторые подробности, княгиня. — Милости просим. И мать, сопутствуемая доктором, вошла в гостиную к Кити. Исхудавшая и румяная, с особенным блеском в глазах вследствие перенесенного стыда, Кити стояла посреди комнаты. Когда доктор вошел, она вспыхнула, и глаза ее наполнились слезами. Вся ее болезнь и леченье представлялись ей такою глупою, даже смешною вещью! Лечение ее представлялось ей столь же смешным, как составление кусков разбитой вазы.]1ердце,ее было разбито. Что же они хотят лечить ее пилюлями и порошками? Но нельзя было оскорблять мать, тем более что мать считала себя виноватою. — Потрудитесь присесть, княжна, — сказал знаменитый доктор. 1?^

в двадцать минут могу быть. Так мы говорили, что вопрос так поставлен: поддержать питание и исправить нервы. Одно в связи с другим, надо действовать на обе стороны круга.

— Но поездка за границу? — спросил домашний доктор.

— Я враг поездок за границу. И изволите видеть: если есть начало туберкулезного процесса, чего мы знать не можем, то поездка за границу не поможет. Необходимо такое средство, которое бы поддерживало питание и не вредило.

И знаменитый доктор изложил свой план лечения водами Соденскими, при назначении которых главная цель, очевидно, состояла в том, что они повредить не могут.

Домашний доктор внимательно и почтительно выслушал.

— Но в пользу поездки за границу я бы выставил перемену привычек, удаление от условий, вызывающих воспоминания. И потом матери хочется, — сказал он.

— А! Ну, в этом случае, что ж, пускай едут; только повредят эти немецкие шарлатаны... Надо, чтобы слушались... Ну, так пускай едут.

Он опять взглянул на часы.

— О! уже пора, — и пошел к двери.

Знаменитый доктор объявил княгине (чувство приличия подсказало это), что ему нужно видеть еще раз больную.

— Как! еще раз осматривать! — с ужасом воскликнула мать.

— О нет, мне некоторые подробности, княгиня.

— Милости просим.

И мать, сопутствуемая доктором, вошла в гостиную к Кити. Исхудавшая и румяная, с особенным блеском в глазах вследствие перенесенного стыда, Кити стояла посреди комнаты. Когда доктор вошел, она вспыхнула, и глаза ее наполнились слезами. Вся ее болезнь и леченье представлялись ей такою глупою, даже смешною вещью! Лечение ее представлялось ей столь же смешным, как составление кусков разбитой вазы. Сердце ее было разбито. Что же они хотят лечить ее пилюлями и порошками? Не нужно было оскорблять мать, тем более что

On с улыбкой сел против нее, взял пульс и опять стал делать скучные вопросы. Она отвечала ему и вдруг, рассердившись, встала. — Извините меня, доктор, но это, право, ни к чему не поведет, и вы у меня по три раза то же самое спрашиваете. Знаменитый доктор не обиделся. — Болезненное раздражение, — сказал он княгине, когда Кити вышла. — Впрочем, я кончил... И доктор пред княгиней, как пред исключительно умною женш;иной, научно определил положение княжны и заключил наставлением о том, как пить те воды, которые были не нужны. На вопрос, ехать ли за границу, доктор углубился в размышления, как бы разрешая трудный вопрос. Решение, наконец, было изложено: ехать и не верить шарлатанам, а во всем обрашіаться к нему. Как будто что-то веселое случилось после отъезда доктора. Мать повеселела, вернувшись к дочери, и Кити притворилась, что она повеселела. Ей часто, почти всегда, приходилось теперь притворяться. — Право, я здорова, maman. Но если вы хотите ехать, поедемте! — сказала она и, стараясь показать, что интересуется предстоящею поездкой, стала говорить о приготовлениях к отъезду. II Вслед за доктором приехала Долли. Она знала, что в этот день должен быть консилиум, и, несмотря на то, что недавно поднялась от родов (она родила девочку в конце зимы), несмотря на то, что у ней было много своего горя и забот, оставив грудного ребенка и заболевшую девочку, она заехала узнать об участи Кити, которая решалась нынче. — Ну, что? — сказала она, входя в гостиную и не снимая шляпы. — Вы все веселые. Верно, хорошо? Ей попробовали рассказывать, что говорил доктор, но оказалось, что, хотя доктор и говорил очень складно и долго, никак нельзя было передать того, что он сказал. Интересно было только то, что решено ехать за границу. Долли невольно вздохнула. Лучший друг ее, сестра, уезжала. А жизнь ее была не весела. Отношения к Степану Аркадыічу после примирения сделались унизительны. Спайка, сделанная Анной, оказалась непрочна, и 5* 131

Он с улыбкой сел против нее, взял пульс и опять стал делать скучные вопросы. Она отвечала ему и вдруг, рассердившись, встала.

— Извините меня, доктор, но это, право, ни к чему не поведет, и вы у меня по три раза то же самое спрашиваете.

Знаменитый доктор не обиделся.

— Болезненное раздражение, — сказал он княгине, когда Кити вышла. — Впрочем, я кончил...

И доктор пред княгиней, как пред исключительно умною женщиной, научно определил положение княжны и заключил наставлением о том, как пить те воды, которые были не нужны. На вопрос, ехать ли за границу, доктор углубился в размышления, как бы разрешая трудный вопрос. Решение, наконец, было изложено: ехать и не верить шарлатанам, а во всем обращаться к нему.

Как будто что-то веселое случилось после отъезда доктора. Мать повеселела, вернувшись к дочери, и Кити притворилась, что она повеселела. Ей часто, почти всегда, приходилось теперь притворяться.

— Право, я здорова, maman. Но если вы хотите ехать, поедемте! — сказала она и, стараясь показать, что интересуется предстоящею поездкой, стала говорить о приготовлениях к отъезду.

II

Вслед за доктором приехала Долли. Она знала, что в этот день должен быть консилиум, и, несмотря на то, что недавно поднялась от родов (она родила девочку в конце зимы), несмотря на то, что у ней было много своего горя и забот, оставив грудного ребенка и заболевшую девочку, она заехала узнать об участи Кити, которая решалась нынче.

— Ну, что? — сказала она, входя в гостиную и не снимая шляпы. — Вы все веселые. Верно, хорошо?

Ей попробовали рассказывать, что говорил доктор, но оказалось, что, хотя доктор и говорил очень складно и долго, никак нельзя было передать того, что он сказал. Интересно было только то, что решено ехать за границу.

Долли невольно вздохнула. Лучший друг ее, сестра,

семейное согласие надломилось опять в том же месте. Определенного ничего не было, но Степана Аркадьича никогда почти не было дома, денег тоже никогда почти не было дома, и подозрения неверностей постоянно мучали Долли, и она уже отгоняла их от себя, боясь испытанных страданий ревности. Первый взрыв ревности, раз пережитый, уже не мог возвратиться, и даже открытие неверности не могло бы уже так подействовать на нее, как в первый раз. Такое открытие теперь только лишило бы ее семейных привычек, и она позволяла себя обманывать, презирая его и больше всего себя за эту слабость. Сверх того, заботы большого семейства беспрестанно мучали ее: то кормление грудного ребенка не шло, то нянька ушла, то, как теперь, заболел один из детей. — Что, как твои? — спросила мать. — Ах, maman, у вас своего горя много. Лили заболела, и я боюсь, что скарлатина. Я вот теперь выехала, чтоб узнать, а то засяду уже безвыездно, если, избави бог, скарлатина. Старый князь после отъезда доктора тоже вышел из своего кабинета и, подставив свою щеку Долли и поговорив с ней, обратился к жене: — Как же решаете, едете? Ну, а со мной что хотите делать? — Я думаю, тебе остаться, Александр Андреич, — сказала жена. — Как хотите. — Maman, отчего же папа не ехать с нами? — сказала Кити. — И ему веселей и нам. Старый князь встал и погладил рукой волосы Кити. Она подняла лицо и, насильно улыбаясь, смотрела на него. Ей всегда казалось, что он лучше всех в семье понрімает ее, хотя он мало говорил с ней. Она была, как меньшая, любимица отца, и ей казалось, что любовь его к ней делала его проницательным. Теперь, встретившись с его голубыми, добрыми глазами, пристально смотревшими на нее с его сморщенного лица, ей казалось, что он насквозь видит ее и понимает все то нехорошее, что в ней делается. Она, краснея, потянулась к нему, ожидая поцелуя, но он только потрепал ее по волосам и проговорил: — Эти глупые шиньоны! До настоящей дочери и не доберешься, а ласкаешь волосы дохлых баб. Ну что. Долинька, — обратился он к старшей дочери, — твой козырь что поделывает? 132

семейное согласие надломилось опять в том же месте. Определенного ничего не было, но Степана Аркадьича никогда почти не было дома, денег тоже никогда почти не было дома, и подозрения неверностей постоянно мучали Долли, и она уже отгоняла их от себя, боясь испытанных страданий ревности. Первый взрыв ревности, раз пережитый, уже не мог возвратиться, и даже открытие неверности не могло бы уже так подействовать на нее, как в первый раз. Такое открытие теперь только лишило бы ее семейных привычек, и она позволяла себя обманывать, презирая его и больше всего себя за эту слабость. Сверх того, заботы большого семейства беспрестанно мучали ее: то кормление грудного ребенка не шло, то нянька ушла, то, как теперь, заболел один из детей.

— Что, как твои? — спросила мать.

— Ах, maman, у вас своего горя много. Лили заболела, и я боюсь, что скарлатина. Я вот теперь выехала, чтоб узнать, а то засяду уже безвыездно, если, избави бог, скарлатина.

Старый князь после отъезда доктора тоже вышел из своего кабинета и, подставив свою щеку Долли и поговорив с ней, обратился к жене:

— Как же решаете, едете? Ну, а со мной что хотите делать?

— Я думаю, тебе остаться, Александр Андреич, — сказала жена.

— Как хотите.

— Maman, отчего же папа не ехать с нами? — сказала Кити. — И ему веселей и нам.

Старый князь встал и погладил рукой волосы Кити. Она подняла лицо и, насильно улыбаясь, смотрела на него. Ей всегда казалось, что он лучше всех в семье понимает ее, хотя он мало говорил с ней. Она была, как меньшая, любимица отца, и ей казалось, что любовь его к ней делала его проницательным. Теперь, встретившись с его голубыми, добрыми глазами, пристально смотревшими на нее с его сморщенного лица, ей казалось, что он насквозь видит ее и понимает все то нехорошее, что в ней делается. Она, краснея, потянулась к нему, ожидая поцелуя, но он только потрепал ее по волосам и проговорил:

— Эти глупые шиньоны! До настоящей дочери и не

— Ничего, папа, — отвечала Долли, понимая, что речь идет о муже. — Все ездит, я его почти не вижу, — не могла она не прибавить с насмешливою улыбкой. — Что ж, он не уехал еш;е в деревню лес продавать? — Нет, все собирается. — Вот как! — проговорил князь. — Так и мне собираться? Слушаю-с, — обратился он к жене, садясь. — А ты вот что, Катя, — прибавил он к меньшой дочери, — ты когда-нибудь, в один прекрасный день, проснись и скажи себе: да ведь я совсем здорова и весела, и пойдем с папа опять рано утром по морозцу гулять. А? Казалось, очень просто то, что сказал отец, но Кити при этих словах civiешалась и растерялась, как уличенный преступник. «Да, он все знает, все понимает и этими словами говорит мне, что хотя и стыдно, а надо пережить свой стыд». Она не могда собраться с духом ответить что-нибудь. Начала было и вдруг расплакалась и выбежала из комнаты. — Вот твои шутки! — напустилась княгиня на мужа. — Ты всегда... — начала она свою укоризненную речь. Князь слушал довольно долго упреки княгини и молчал, но лицо его все более и более хмурилось. — Она так жалка, бедняжка, так жалка, а ты не чувствуешь, что ей больно от всякого намека на то, что причиной. Ах! так ошибаться в людях! — сказала княгиня, и по перемене ее тона Долли и князь поняли, что она говорила о Вронском. — Я не понимаю, как нет законов против таких гадких, неблагородных людей. — Ах, не слушал бы! — мрачно проговорил князь, вставая с кресла и как бы желая уйти, но останавливаясь в дверях. — Законы есть, матушка, и если ты уж вызвала меня на это, то я тебе скажу, кто виноват во всем: ты и ты, одна ты. Законы против таких молодчиков всегда были и есть! Да-с, если бы не было того, чего не должно было быть, я — старик, но я бы поставил его на барьер, этого франта. Да, а теперь и лечите, возите к себе этих шарлатанов. Князь, казалось, имел сказать еще многое, но как только княгиня услыхала его тон, она, как это всегда бывало в серьезных вопросах, тотчас же смирилась и раскаялась. — Alexandre, Alexandre, — шептала она, подвигаясь, и расплакалась. 133

— Ничего, папа, — отвечала Долли, понимая, что речь идет о муже. — Все ездит, я его почти не вижу, — не могла она не прибавить с насмешливою улыбкой.

— Что ж, он не уехал еще в деревню лес продавать?

— Нет, все собирается.

— Вот как! — проговорил князь. — Так и мне собираться? Слушаю-с, — обратился он к жене, садясь. — А ты вот что, Катя, — прибавил он к меньшой дочери, — ты когда-нибудь, в один прекрасный день, проснись и скажи себе: да ведь я совсем здорова и весела, и пойдем с папа опять рано утром по морозцу гулять. А?

Казалось, очень просто то, что сказал отец, но Кити при этих словах смешалась и растерялась, как уличенный преступник. «Да, он все знает, все понимает и этими словами говорит мне, что хотя и стыдно, а надо пережить свой стыд». Она не могда собраться с духом ответить что-нибудь. Начала было и вдруг расплакалась и выбежала из комнаты.

— Вот твои шутки! — напустилась княгиня на мужа. — Ты всегда... — начала она свою укоризненную речь.

Князь слушал довольно долго упреки княгини и молчал, но лицо его все более и более хмурилось.

— Она так жалка, бедняжка, так жалка, а ты не чувствуешь, что ей больно от всякого намека на то, что причиной. Ах! так ошибаться в людях! — сказала княгиня, и по перемене ее тона Долли и князь поняли, что она говорила о Вронском. — Я не понимаю, как нет законов против таких гадких, неблагородных людей.

— Ах, не слушал бы! — мрачно проговорил князь, вставая с кресла и как бы желая уйти, но останавливаясь в дверях. — Законы есть, матушка, и если ты уж вызвала меня на это, то я тебе скажу, кто виноват во всем: ты и ты, одна ты. Законы против таких молодчиков всегда были и есть! Да-с, если бы не было того, чего не должно было быть, я — старик, но я бы поставил его на барьер, этого франта. Да, а теперь и лечите, возите к себе этих шарлатанов.

Князь, казалось, имел сказать еще многое, но как только княгиня услыхала его тон, она, как это всегда бывало в серьезных вопросах, тотчас же смирилась и

Как только она заплакала, князь тоже затих. Он подошел к ней. — Ну, будет, будет! И тебе тяжело, я знаю. Что делать? Беды большой нет. Бог милостив... благодарствуй... — говорил он, уя^е сам не зная, что говорит, и отвечая на мокрый поцелуй княгини, который он почувствовал на своей руке, и вышел из комнаты. Еіце как только Кити в слезах вышла из комнаты, Долли с своею материнскою, семейною привычкой тотчас же увидала, что тут предстоит женское дело, и приготовилась сделать его. Она сняла шляпку и, нравственно засучив рукава, приготовилась действовать. Во время нападения матери на отца она пыталась удерживать мать, насколько позволяла дочерняя почтительность. Во время взрыва князя опа молчала; она чувствовала стыд за мать и нежность к отцу за его сейчас же вернувшуюся доброту; но когда отец ушел, она собралась сделать главное, что было нужно, — идти к Кити и успокоить ее. — Я вам давно хотела сказать, maman: вы знаете ли, что Левин хотел сделать предложение Кити, когда он был здесь в последний раз? Он говорил Стиве. — Ну что ж? Я не понимаю... — Так, моя^ет быть, Кити отказала ему?.. Опа вам не говорила? — Нет, она ничего не говорила ни про того, ни про другого; она слишком горда. Но я знаю, что все от этого... — Да, вы представьте себе, если она отказала Левину, — а она бы не отказала ему, если б не было того, я знаю... И потом этот так уятспо обманул ее. Княгине слишком страшно было думать, как много она виновата пред дочерью, и опа рассердилась. — Ах, я уж ничего не понимаю! Нынче всё хотят своим умом жить, матери ничего не говорят, а потом вот и... — Maman, я пойду к ней. — Поди. Разве я тебе запрещаю? — сказала мать. III Войдя в маленький кабинет Кити, хорошенькую, розовенькую, с куколками vieux saxe ^ комнатку, такую я\ю молоденькую, розовенькую и веселую, какою была ^ старого саксонского фарфора (фрапц.). 134

Как только она заплакала, князь тоже затих. Он подошел к ней.

— Ну, будет, будет! И тебе тяжело, я знаю. Что делать? Беды большой нет. Бог милостив... благодарствуй... — говорил он, уже сам не зная, что говорит, и отвечая на мокрый поцелуй княгини, который он почувствовал на своей руке, и вышел из комнаты.

Еще как только Кити в слезах вышла из комнаты, Долли с своею материнскою, семейною привычкой тотчас же увидала, что тут предстоит женское дело, и приготовилась сделать его. Она сняла шляпку и, нравственно засучив рукава, приготовилась действовать. Во время нападения матери на отца она пыталась удерживать мать, насколько позволяла дочерняя почтительность. Во время взрыва князя она молчала; она чувствовала стыд за мать и нежность к отцу за его сейчас же вернувшуюся доброту; но когда отец ушел, она собралась сделать главное, что было нужно, — идти к Кити и успокоить ее.

— Я вам давно хотела сказать, maman: вы знаете ли, что Левин хотел сделать предложение Кити, когда он был здесь в последний раз? Он говорил Стиве.

— Ну что ж? Я не понимаю...

— Так, может быть, Кити отказала ему?.. Она вам не говорила?

— Нет, она ничего не говорила ни про того, ни про другого; она слишком горда. Но я знаю, что все от этого...

— Да, вы представьте себе, если она отказала Левину, — а она бы не отказала ему, если б не было того, я знаю... И потом этот так ужасно обманул ее.

Княгине слишком страшно было думать, как много она виновата пред дочерью, и она рассердилась.

— Ах, я уж ничего не понимаю! Нынче всё хотят своим умом жить, матери ничего не говорят, а потом вот и...

— Maman, я пойду к ней.

— Поди. Разве я тебе запрещаю? — сказала мать.

III

Войдя в маленький кабинет Кити, хорошенькую, ро-

сама Кити еще два месяца тому назад, Долли вспомнила, как убирали они вместо прошлого года эту комнатку, с каким весельем и любовью. У ней похолодело сердце, когда она увидала Кити, сидевшую на низеньком, ближайшем от двери стуле и устремившую неподвижные глаза на угол ковра. Кити взглянула на сестру, и холодное, несколько суровое выражение ее лица не изменилось. — Я теперь уеду и засяду дома, и тебе нельзя будет ко мне, — сказала Дарья Александровна, садясь подле нее. — Мне хочется поговорить с тобой. — О чем? — испуганно подняв голову, быстро спросила Кити. — О чем, как не о твоем горе? — У меня нет горя. — Полно, Кити. Неужели ты думаешь, что я могу не знать? Я все знаю. И поверь мне, это так ничтожно.., Мы все прошли через это. Кити молчала, и лицо ее имело строгое выражение. — Он не стоит того, чтобы ты страдала из-за него, — продолжала Дарья Александровна, прямо приступая к делу. — Да, потому что он мною пренебрег, — дребезжащим голосом проговорила Кити. — Не говори! Пожалуйста, не говори! — Да кто же тебе это сказал? Никто этого не говорил. Я уверена, что он был влюблен в тебя и остался влюблен, но... — • Ах, у^каснее всего мне эти соболезнованья! — вскрикнула Кити, вдруг рассердившись. Она повернулась на стуле, покраснела и быстро зашевелила пальцами, сжимая то тою, то другою рукой пряжку пояса, которую она держала. Долли знала эту манеру сестры перехватывать руками, когда она приходила в горячность; она знала, как Кити способна была в минуту горячности забыться и наговорить много лишнего и неприятного, и Долли хотела успокоить ее; но было уже поздно. — Что, что ты хочешь мне дать почувствовать, что? — говорила Кити быстро. — То, что я была влюблена в человека, который меня знать не хотел, и что я умираю от любви к нему? И это мне говорит сестра, которая думает, что... что... что она соболезнует!.. Не хочу я этих сожалений и притворств! 135

сама Кити еще два месяца тому назад, Долли вспомнила, как убирали они вместе прошлого года эту комнатку, с каким весельем и любовью. У ней похолодело сердце, когда она увидала Кити, сидевшую на низеньком, ближайшем от двери стуле и устремившую неподвижные глаза на угол ковра. Кити взглянула на сестру, и холодное, несколько суровое выражение ее лица не изменилось.

— Я теперь уеду и засяду дома, и тебе нельзя будет ко мне, — сказала Дарья Александровна, садясь подле нее. — Мне хочется поговорить с тобой.

— О чем? — испуганно подняв голову, быстро спросила Кити.

— О чем, как не о твоем горе?

— У меня нет горя.

— Полно, Кити. Неужели ты думаешь, что я могу не знать? Я все знаю. И поверь мне, это так ничтожно... Мы все прошли через это.

Кити молчала, и лицо ее имело строгое выражение.

— Он не стоит того, чтобы ты страдала из-за него, — продолжала Дарья Александровна, прямо приступая к делу.

— Да, потому что он мною пренебрег, — дребезжащим голосом проговорила Кити. — Не говори! Пожалуйста, не говори!

— Да кто же тебе это сказал? Никто этого не говорил. Я уверена, что он был влюблен в тебя и остался влюблен, но...

— Ах, ужаснее всего мне эти соболезнованья! — вскрикнула Кити, вдруг рассердившись. Она повернулась на стуле, покраснела и быстро зашевелила пальцами, сжимая то тою, то другою рукой пряжку пояса, которую она держала. Долли знала эту манеру сестры перехватывать руками, когда она приходила в горячность; она знала, как Кити способна была в минуту горячности забыться и наговорить много лишнего и неприятного, и Долли хотела успокоить ее; но было уже поздно.

— Что, что ты хочешь мне дать почувствовать, что? — говорила Кити быстро. — То, что я была влюблена в человека, который меня знать не хотел, и что я умираю от любви к нему? И это мне говорит сестра, ко-

— Кити, ты несправедлива. — Зачем ты мучаешь меня? — Да я, напротив... Я вижу, что огорчена... Но Кити в своей горячке не слышала ее. — Мне не о чем сокрушаться и утешаться. Я настолько горда, что никогда не позволю себе любить человека, который меня не любит. — Да я и не говорю... Одно — скажи мне правду, — проговорила, взяв ее за руку, Дарья Александровна, — скажи мне, Левин говорил тебе?.. Упоминание о Левине, казалось, лишило Кити последнего самообладания; она вскочила со стула и, бросив пряжку о землю и делая быстрые жесты руками, заговорила: — К чему тут еще Левин? Не понимаю, зачем тебе нужно мучить меня? Я сказала и повторяю, что я горда и никогда, никогда я не сделаю то, что ты делаешь, — чтобы вернуться к человеку, который тебе изменил, который полюбил другую женщину. Я не понимаю, не понимаю этого! Ты можешь, а я не могу! И, сказав эти слова, она взглянула на сестру, и, увидев, что Долли молчит, грустно опустив голову, Кити, вместо того чтобы выйти из комнаты, как намеревалась, села у двери и, закрыв лицо платком, опустила голову. Молчание продолжалось минуты две. Долли думала о себе. То свое уния^епие, которое она всегда чувствовала, особенно больно отозвалось в ней, когда о нем напомнила ей сестра. Она не ояшдала такой я^естокости от сестры и сердилась на нее. Но вдруг она услыхала шум платья н вместе звук разразившегося сдержаипого рыданья, и чьи-то руки снизу обняли ее шею. Кити на колепях стояла пред ней. — Долинька, я так, так несчастна! — виновато прошептала она. И покрытое слезами милое лицо спряталось в юбке платья Дарьи Александровны. Как будто слезы были та необходимая мазь, без которой не могла идти успешно машина взаимного общения меящу двумя сестрами, — сестры после слез разговорились не о том, что занимало их; но, и говоря о постороннем, они поняли друг друга. Кити поняла, что сказанное счо в сердцах слово о неверности мужа и об унижении до глубины сердца поразило бедную сестру, по что она прощала ей. Долли, с своей стороны, поняла все, что она 136

— Кити, ты несправедлива.

— Зачем ты мучаешь меня?

— Да я, напротив... Я вижу, что огорчена...

Но Кити в своей горячке не слышала ее.

— Мне не о чем сокрушаться и утешаться. Я настолько горда, что никогда не позволю себе любить человека, который меня не любит.

— Да я и не говорю... Одно — скажи мне правду, — проговорила, взяв ее за руку, Дарья Александровна, — скажи мне, Левин говорил тебе?..

Упоминание о Левине, казалось, лишило Кити последнего самообладания; она вскочила со стула и, бросив пряжку о землю и делая быстрые жесты руками, заговорила:

— К чему тут еще Левин? Не понимаю, зачем тебе нужно мучить меня? Я сказала и повторяю, что я горда и никогда, *никогда* я не сделаю то, что ты делаешь, — чтобы вернуться к человеку, который тебе изменил, который полюбил другую женщину. Я не понимаю, не понимаю этого! Ты можешь, а я не могу!

И, сказав эти слова, она взглянула на сестру, и, увидев, что Долли молчит, грустно опустив голову, Кити, вместо того чтобы выйти из комнаты, как намеревалась, села у двери и, закрыв лицо платком, опустила голову.

Молчание продолжалось минуты две. Долли думала о себе. То свое унижение, которое она всегда чувствовала, особенно больно отозвалось в ней, когда о нем напомнила ей сестра. Она не ожидала такой жестокости от сестры и сердилась на нее. Но вдруг она услыхала шум платья и вместе звук разразившегося сдержанного рыданья, и чьи-то руки снизу обняли ее шею. Кити на коленях стояла пред ней.

— Долинька, я так, так несчастна! — виновато прошептала она.

И покрытое слезами милое лицо спряталось в юбке платья Дарьи Александровны.

Как будто слезы были та необходимая мазь, без которой не могла идти успешно машина взаимного общения между двумя сестрами, — сестры после слез разговорились не о том, что занимало их; но, и говоря о постороннем, они поняли друг друга. Кити поняла, что сказанное

хотела знать; она убедилась, что догадки ее были верны, что горе, неизлечимое горе Кити состояло именно в том, что Левин делал предложение и что она отказала ему, а Вронский обманул ее, и что она готова была любить Левина и ненавидеть Вронского. Кити ни слова не сказала об этом; она говорила только о своем душевном состоянии. — У меня нет никакого горя, — говорила опа, успокоившись, — - но ты можешь ли понять, что мне все стало гадко, противно, грубо, и прежде всего я сама. Ты не можешь себе представить, какие у меня гадкие мысли обо всем. — Да какие же могут быть у тебя гадкие мысли? — спросила Долли, улыбаясь. — Самые, самые гадкие и грубые; не могу тебе сказать. Это не тоска, не скука, а гораздо хуже. Как будто все, что было хорошего во мне, все спряталось, а осталось одно самое гадкое. Ну, как тебе сказать? — продолжала она, видя недоуменье в глазах сестры. — Папа сейчас мне начал говорить... мне кажется, он думает только, что мне нужно выйти замуж. Мама везет меня на бал: мне кажется, что она только затем везет меня, чтобы поскорее выдать замуж и избавиться от меня. Я знаю, что это неправда, но не могу отогнать этих мыслей. Женихов так называемых я видеть не могу. Мне кажется, что они с меня мерку снимают. Прежде ехать куда-нибудь в бальном платье для меня было просто удовольствие, я собой любовалась; теперь мне стыдно, неловко. Ну, что хочешь! Доктор... Ну... Кити замялась; она хотела далее сказать, что с тех пор, как с ней сделалась эта перемена, Степан Аркадьич ей стал невыносимо неприятен и что она не может видеть его без представлений самых грубых и безобразных. — Ну да, все мне представляется в самом грубом, гадком виде, — продолжала она. — Это моя болезнь. Может быть, это пройдет... — А ты не думай... — Не могу. Только с детьми мне хорошо, только у тебя. — Жаль, что нельзя тебе бывать у меня. — Нет, я приеду. У меня была скарлатина, и я упрошу maman. Кити настояла на своем и переехала к сестре и всю скарлатину, которая действительно пришла, ухаживала 137

хотела знать; она убедилась, что догадки ее были верны, что горе, неизлечимое горе Кити состояло именно в том, что Левин делал предложение и что она отказала ему, а Вронский обманул ее, и что она готова была любить Левина и ненавидеть Вронского. Кити ни слова не сказала об этом; она говорила только о своем душевном состоянии.

— У меня нет никакого горя, — говорила она, успокоившись, — но ты можешь ли понять, что мне все стало гадко, противно, грубо, и прежде всего я сама. Ты не можешь себе представить, какие у меня гадкие мысли обо всем.

— Да какие же могут быть у тебя гадкие мысли? — спросила Долли, улыбаясь.

— Самые, самые гадкие и грубые; не могу тебе сказать. Это не тоска, не скука, а гораздо хуже. Как будто все, что было хорошего во мне, все спряталось, а осталось одно самое гадкое. Ну, как тебе сказать? — продолжала она, видя недоуменье в глазах сестры. — Папа сейчас мне начал говорить... мне кажется, он думает только, что мне нужно выйти замуж. Мама везет меня на бал: мне кажется, что она только затем везет меня, чтобы поскорее выдать замуж и избавиться от меня. Я знаю, что это неправда, но не могу отогнать этих мыслей. Женихов так называемых я видеть не могу. Мне кажется, что они с меня мерку снимают. Прежде ехать куда-нибудь в бальном платье для меня было просто удовольствие, я собой любовалась; теперь мне стыдно, неловко. Ну, что хочешь! Доктор... Ну...

Кити замялась; она хотела далее сказать, что с тех пор, как с ней сделалась эта перемена, Степан Аркадьич ей стал невыносимо неприятен и что она не может видеть его без представлений самых грубых и безобразных.

— Ну да, все мне представляется в самом грубом, гадком виде, — продолжала она. — Это моя болезнь. Может быть, это пройдет...

— А ты не думай...

— Не могу. Только с детьми мне хорошо, только у тебя.

— Жаль, что нельзя тебе бывать у меня.

— Нет, я приеду. У меня была скарлатина, и я упрошу maman

за детьми. Обе сестры благополучно выходили всех шестерых детей, но здоровье Кити не поправилось, и великим постом Щербацкие уехали за границу» IV Петербургский высший круг, собственно, один; все знают друг друга, даже ездят друг к другу. Но в этом большом круге есть свои подразделения. Анна Аркадьевна Каренина имела друзей и тесные связи в трех различных кругах. Один круг был служебный, официальный круг ее мужа, состоявший из его сослуживцев и подчиненных, самым разнообразным и прихотливым образом связанных и разъединенных в обп];ественных условиях. Анна теперь с трудом могла вспомнить то чувство почти набожного уважения, которое она в первое время имела к этим лицам. Теперь сна знала всех их, как знают друг друга в уездном городе; знала, у кого какие привычки и слабости, у кого какой сапог жмет ногу; знала их отношения друг к другу и к главному центру; знала, кто за кого и как и чем держится и кто с кем и в чем сходятся и расходятся; но этот круг правительственных, мужских интересов никогда, несмотря на внушение графини Лидия Ивановны, не мог интересовать ее, и она избегала его. Другой близкий Анне кружок — это был тот, через который Алексей Александрович сделал свою карьеру. Центром этого кружка была графиня Лидия Ивановна. Это был кружок старых, некрасивых, добродетельных и набожных женщин и умных, ученых, честолюбивых мужчин. Один из умных людей, принадлежащих к этому кружку, называл его «совестью петербургского общества». Алексей Александрович очень дорожил этим кружком, и Анна, так умевшая сживаться со всеми, нашла себе в первое время своей петербургской жизни друзей и в этом круге. Теперь же, по возвращении из Москвы, кружок этот ей стал невыносим. Ей показалось, что и она и все они притворяются, и ей стало так скучно и неловко в этом обществе, что она сколько возможно менее ездила к графине Лидии Ивановне. Третий круг, наконец, где она имела связи, был, собственно, свет, — свет балов, обедов, блестящих туалетов, свет, державшийся одною рукой за двор, чтобы не спуститься до полусвета, который члены этого круга думали, 138

за детьми. Обе сестры благополучно выходили всех шестерых детей, но здоровье Кити не поправилось, и великим постом Щербацкие уехали за границу.

IV

Петербургский высший круг, собственно, один; все знают друг друга, даже ездят друг к другу. Но в этом большом круге есть свои подразделения. Анна Аркадьевна Каренина имела друзей и тесные связи в трех различных кругах. Один круг был служебный, официальный круг ее мужа, состоявший из его сослуживцев и подчиненных, самым разнообразным и прихотливым образом связанных и разъединенных в общественных условиях. Анна теперь с трудом могла вспомнить то чувство почти набожного уважения, которое она в первое время имела к этим лицам. Теперь она знала всех их, как знают друг друга в уездном городе; знала, у кого какие привычки и слабости, у кого какой сапог жмет ногу; знала их отношения друг к другу и к главному центру; знала, кто за кого и как и чем держится и кто с кем и в чем сходятся и расходятся; но этот круг правительственных, мужских интересов никогда, несмотря на внушение графини Лидии Ивановны, не мог интересовать ее, и она избегала его.

Другой близкий Анне кружок — это был тот, через который Алексей Александрович сделал свою карьеру. Центром этого кружка была графиня Лидия Ивановна. Это был кружок старых, некрасивых, добродетельных и набожных женщин и умных, ученых, честолюбивых мужчин. Один из умных людей, принадлежащих к этому кружку, называл его «совестью петербургского общества». Алексей Александрович очень дорожил этим кружком, и Анна, так умевшая сживаться со всеми, нашла себе в первое время своей петербургской жизни друзей и в этом круге. Теперь же, по возвращении из Москвы, кружок этот ей стал невыносим. Ей показалось, что и она и все они притворяются, и ей стало так скучно и неловко в этом обществе, что она сколько возможно менее ездила к графине Лидии Ивановне.

Третий круг, наконец, где она имела связи, был, соб-

что презирали, но с которым вкусы у него были не только сходные, но одни и те же. Связь ее с этим кругом держалась чрез княгиню Бетси Тверскую, Ялену ее двоюродного брата, у которой было сто двадцать тысяч дохода и которая с самого появления Анны в свет особенно полюбила ее, ухаживала за ней и втягивала в свой круг, смеясь над кругом графини Лидии Ивановны. — Когда стара буду и дурна, я сделаюсь такая я^е, — говорила Бетси, — но для вас, для молодой, хорошенькой женщины, еще рано в эту богадельню. Анна первое время избегала, сколько могла, этого света княгини Тверской, так как он требовал расходов выше ее средств, да и по душе она предпочитала первый; но после поездки в Москву сделалось наоборот. Она избегала нравственных друзей своих и ездила в большой свет. Там она встречала Вронского и испытывала волнующую радость при этих встречах. Особенно часто встречала она Вронского у Бетси, которая была урожденная Вронская и ему двоюродная. Вронский был везде, где только мог встречать Анну, и говорил ей, когда мог, о своей любви. Она ему не подавала никакого повода, но каждый раз, как она встречалась с ним, в душе ее загоралось то самое чувство оживления, которое нашло на нее в тот день в вагоне, когда она в первый раз увидела его. Она сама чувствовала, что при виде его радость светилась в ее глазах и морщила ее губы в улыбку, и она не могла затушить выражение этой радости. Первое время Анна искренію верила, что она недовольна им за то, что он позволяет себе преследовать ее; но скоро по возвращении своем из Москвы, приехав на вечер, где она думала встретить его, а его не было, она но овладевшей ею грусти ясно поняла, что она обманывала себя, что это преследование не только не неприятно ей, но что оно составляет весь интерес ее жизни. Знаменитая певица пела второй раз, п весь большой свет был в театре. Увидав из своего кресла в первом ряду кузину, Вронский, не доящавшись антракта, вошел к ней в ложу. — Что я^ вы не приехали обедать? — сказала она ему. — Удивляюсь этому ясновиденью влюбленных, — прибавила она с улыбкой, так, чтоб он один слышал: — Она не была. Но приезя^айте после оперы. 139

что презирали, но с которым вкусы у него были не только сходные, но одни и те же. Связь ее с этим кругом держалась чрез княгиню Бетси Тверскую, жену ее двоюродного брата, у которой было сто двадцать тысяч дохода и которая с самого появления Анны в свет особенно полюбила ее, ухаживала за ней и втягивала в свой круг, смеясь над кругом графини Лидии Ивановны.

— Когда стара буду и дурна, я сделаюсь такая же, — говорила Бетси, — но для вас, для молодой, хорошенькой женщины, еще рано в эту богадельню.

Анна первое время избегала, сколько могла, этого света княгини Тверской, так как он требовал расходов выше ее средств, да и по душе она предпочитала первый; но после поездки в Москву сделалось наоборот. Она избегала нравственных друзей своих и ездила в большой свет. Там она встречала Вронского и испытывала волнующую радость при этих встречах. Особенно часто встречала она Вронского у Бетси, которая была урожденная Вронская и ему двоюродная. Вронский был везде, где только мог встречать Анну, и говорил ей, когда мог, о своей любви. Она ему не подавала никакого повода, но каждый раз, как она встречалась с ним, в душе ее загоралось то самое чувство оживления, которое нашло на нее в тот день в вагоне, когда она в первый раз увидела его. Она сама чувствовала, что при виде его радость светилась в ее глазах и морщила ее губы в улыбку, и она не могла затушить выражение этой радости.

Первое время Анна искренно верила, что она недовольна им за то, что он позволяет себе преследовать ее; но скоро по возвращении своем из Москвы, приехав на вечер, где она думала встретить его, а его не было, она по овладевшей ею грусти ясно поняла, что она обманывала себя, что это преследование не только не неприятно ей, но что оно составляет весь интерес ее жизни.

Знаменитая певица пела второй раз, и весь большой свет был в театре. Увидав из своего кресла в первом ряду кузину, Вронский, не дождавшись антракта, вошел к ней в ложу.

— Что ж вы не приехали обедать? — сказала она

Вронский вопросительно взглянул иа нее. Она нагнула голову. Он улыбкой поблагодарил ее и сел подле нее. — А как я вспоминаю ваши насмешки! — продолжала княгиня Бетси, находившая особенное удовольствие в следовании за успехом этой страсти. — Куда это все делось! Вы пойманы, мой милый. — Я только того и желаю, чтобы быть пойманным, — отвечал Вронский с своею спокойною добродушною улыбкой. — Если я жалуюсь, то на то только, что слишком мало пойман, если говорить правду. Я начинаю терять надежду. — Какую ж вы можете иметь надежду? — сказала Бетси, оскорбившись за своего друга, — entendons nous... ^ — Нов глазах ее бегали огоньки, говорившие, что она очень хорошо, и точно так же, как и он, понимает, какую он мог иметь надежду. — Никакой, — смеясь и выставляя свои сплошные зубы, сказал Вронский. — Виноват, — прибавил он, взяв из ее руки бинокль и принявшись оглядывать чрез ее обнаженное плечо противополоя^ный ряд лоя^. — Я боюсь, что становлюсь смешон. Он знал очень хорошо, что в глазах Бетси и всех светских людей он не рисковал быть смешным. Он знал очень хорошо, что в глазах этих лиц роль несчастного любовника девушки и вообшіе свободной женщины моя^ет быть смешна; но роль человека, приставшего к замужней я^енщине и во что бы то ни стало положившего свою л^изнь на то, чтобы вовлечь ее в прелюбодеянье, что роль эта имеет что-то красивое, величественное и никогда не может быть смешна, и поэтому он с гордою и веселою, игравшею под его усами улыбкой, опустил бинокль и посмотрел на кузину. — А отчего вы не приехали обедать? — сказала она, любуясь им. — Это надо рассказать вам. Я был занят, и чем? Даю вам это из ста, из тысячи... пе угадаете. Я мирил муя^а с оскорбителем его жены. Да, право! — Что ж, и помирили? — Почти. — Надо, чтобы вы мне это рассказали, — сказала она, вставая. — Приходите в тот антракт. — Нельзя; я еду во Французский театр. ^ поймем друг друга... (франц.)

Вронский вопросительно взглянул на нее. Она нагнула голову. Он улыбкой поблагодарил ее и сел подле нее.

— А как я вспоминаю ваши насмешки! — продолжала княгиня Бетси, находившая особенное удовольствие в следовании за успехом этой страсти. — Куда это все делось! Вы пойманы, мой милый.

— Я только того и желаю, чтобы быть пойманным, — отвечал Вронский с своею спокойною добродушною улыбкой. — Если я жалуюсь, то на то только, что слишком мало пойман, если говорить правду. Я начинаю терять надежду.

— Какую ж вы можете иметь надежду? — сказала Бетси, оскорбившись за своего друга, — entendons nous...[1] — Но в глазах ее бегали огоньки, говорившие, что она очень хорошо, и точно так же, как и он, понимает, какую он мог иметь надежду.

— Никакой, — смеясь и выставляя свои сплошные зубы, сказал Вронский. — Виноват, — прибавил он, взяв из ее руки бинокль и принявшись оглядывать чрез ее обнаженное плечо противоположный ряд лож. — Я боюсь, что становлюсь смешон.

Он знал очень хорошо, что в глазах Бетси и всех светских людей он не рисковал быть смешным. Он знал очень хорошо, что в глазах этих лиц роль несчастного любовника девушки и вообще свободной женщины может быть смешна; но роль человека, приставшего к замужней женщине и во что бы то ни стало положившего свою жизнь на то, чтобы вовлечь ее в прелюбодеянье, что роль эта имеет что-то красивое, величественное и никогда не может быть смешна, и поэтому он с гордою и веселою, игравшею под его усами улыбкой, опустил бинокль и посмотрел на кузину.

— А отчего вы не приехали обедать? — сказала она, любуясь им.

— Это надо рассказать вам. Я был занят, и чем? Даю вам это из ста, из тысячи... не угадаете. Я мирил мужа с оскорбителем его жены. Да, право!

— Что ж, и помирили?

— Почти.

— Надо, чтобы вы мне это рассказали, — сказала она, вставая. — Приходите в тот антракт.

— От Нильсон? — с ужасом спросила Бетси, которая ни за что бы не распознала Нильсон от всякой хористки. — Что ж делать? Мне там свиданье, все по этому делу моего миротворства. — Блаженны миротворцы, они спасутся, — сказала Бетси, вспоминая что-то подобное, слышанное ею от когото. — Ну, так садитесь, расскажите, что такое? И она опять села. V — Это немножко нескромно, но так мило, что ужасно хочется рассказать, — сказал Вронский, глядя на нее смеющимися глазами. — Я не буду называть фамилий. — Но я буду угадывать, тем лучше. — Слушайте же: едут два веселые молодые человека... — Разумеется, офицеры вашего полка? — Я не говорю офицеры, просто два позавтракавшие молодые человека... — Переводите: выпившие. — Моял'ет быть. Едут на обед к товарищу, в самом веселом расположении духа. И видят, хорошенькая женщина обгоняет их на извозчике, оглядывается и, им по крайней мере кажется, кивает им и смеется. Они, разумеется, за ней. Скачут во весь дух. К удивлению их, красавица останавливается у подъезда того самого дома, куда они едут. Красавица взбегает на верхний этаж. Они видят только румяные губки из-под короткого вуаля и прекрасные маленькие ножки. — Вы с таким чувством это рассказываете, что мне кажется, вы сами один из этих двух. — А сейчас вы мне что говорили? Ну, молодые люди входят к товарищу, у него обед прощальный. Тут, точно, они выпивают, может быть, лишнее, как всегда на прощальных обедах. И за обедом расспрашивают, кто живет наверху в этом доме. Никто не знает, и только лакей хозяина на их вопрос: живут ли наверху мамзели, отвечает, что их тут очень много. После обеда молодые люди отправляются в кабинет к хозяину и пишут письмо к неизвестной. Написали страстное письмо, признание, и сами несут письмо наверх, чтобы разъяснить то, что в письме оказалось бы не совсем понятным.

— От Нильсон? — с ужасом спросила Бетси, которая ни за что бы не распознала Нильсон от всякой хористки.

— Что ж делать? Мне там свиданье, все по этому делу моего миротворства.

— Блаженны миротворцы, они спасутся, — сказала Бетси, вспоминая что-то подобное, слышанное ею от кого-то. — Ну, так садитесь, расскажите, что такое?

И она опять села.

V

— Это немножко нескромно, но так мило, что ужасно хочется рассказать, — сказал Вронский, глядя на нее смеющимися глазами. — Я не буду называть фамилий.

— Но я буду угадывать, тем лучше.

— Слушайте же: едут два веселые молодые человека...

— Разумеется, офицеры вашего полка?

— Я не говорю офицеры, просто два позавтракавшие молодые человека...

— Переводите: выпившие.

— Может быть. Едут на обед к товарищу, в самом веселом расположении духа. И видят, хорошенькая женщина обгоняет их на извозчике, оглядывается и, им по крайней мере кажется, кивает им и смеется. Они, разумеется, за ней. Скачут во весь дух. К удивлению их, красавица останавливается у подъезда того самого дома, куда они едут. Красавица взбегает на верхний этаж. Они видят только румяные губки из-под короткого вуаля и прекрасные маленькие ножки.

— Вы с таким чувством это рассказываете, что мне кажется, вы сами один из этих двух.

— А сейчас вы мне что говорили? Ну, молодые люди входят к товарищу, у него обед прощальный. Тут, точно, они выпивают, может быть, лишнее, как всегда на прощальных обедах. И за обедом расспрашивают, кто живет наверху в этом доме. Никто не знает, и только лакей хозяина на их вопрос: живут ли наверху *мамзели,* отвечает, что их тут очень много. После обеда молодые люди отправляются в кабинет к хозяину и пишут письмо к неиз-

' — Зачем вы мне такие гадости рассказываете? Ну? — Звонят. Выходит девушка, они дают письмо и уверяют девушку, что оба так влюблены, что сейчас умрут тут у двери. Девушка в недоумении ведет переговоры. Вдруг является господин с бакенбардами колбасиками, красный, как рак, объявляет, что в доме никто не живет, іфоме его жены, и выгоняет обоих. — Почему же вы знаете, что у него бакенбарды, как вы говорите, колбасиками? — А вот слушайте. Нынче я ездил мирить их. — Ну, и что же? — Тут-то самое интересное. Оказывается, что это счастливая чета титулярного советника и титулярной советницы. Титулярный советник подает жалобу, и я делаюсь примирителем, и каким! Уверяю вас, Талейран ничто в сравнении со мной. — В чем же трудность? — Да вот послушайте... Мы извинились как следует: «Мы в отчаянии, мы просим простить за несчастное недоразумение». Титулярный советник с колбасиками начинает таять, но желает тоже выразить свои чувства, и как только он начинает выражать их, так начинает горячиться и говорить грубости, и опять я должен пускать в ход все свои дипломатические таланты. «Я согласен, что поступок их нехорош, но прошу вас принять во внимание недоразумение, молодость; потом, молодые люди только позавтракали. Вы понимаете. Они раскаиваются от всей души, просят простить их вину». Титулярный советник опять смягчается: «Я согласен, граф, и я готов простить, но понимаете, что моя жена, моя жена, честная женщина, подвергается преследованиям, грубостям и дерзостям каких-нибудь мальчишек, мерз...» А вы понимаете, мальчишка этот тут, и мне надо примирять их. Опять я пускаю в ход дипломацию, и опять, как только надо заключить все дело, мой титулярный советник горячится, краснеет, колбасики поднимаются, и опять я разливаюсь в дипломатических тонкостях. — Ах, это надо рассказать вам! — смеясь, обратилась Бетси к входившей в ее ложу даме. — Он так насмешил меня. — Ну, bonne chance S — прибавила она, подавая Вронскому палец, свободный от держания веера, и дви* желаю удачи (франц.). 142

— Зачем вы мне такие гадости рассказываете? Ну?

— Звонят. Выходит девушка, они дают письмо и уверяют девушку, что оба так влюблены, что сейчас умрут тут у двери. Девушка в недоумении ведет переговоры. Вдруг является господин с бакенбардами колбасиками, красный, как рак, объявляет, что в доме никто не живет, кроме его жены, и выгоняет обоих.

— Почему же вы знаете, что у него бакенбарды, как вы говорите, колбасиками?

— А вот слушайте. Нынче я ездил мирить их.

— Ну, и что же?

— Тут-то самое интересное. Оказывается, что это счастливая чета титулярного советника и титулярной советницы. Титулярный советник подает жалобу, и я делаюсь примирителем, и каким! Уверяю вас, Талейран ничто в сравнении со мной.

— В чем же трудность?

— Да вот послушайте... Мы извинились как следует: «Мы в отчаянии, мы просим простить за несчастное недоразумение». Титулярный советник с колбасиками начинает таять, но желает тоже выразить свои чувства, и как только он начинает выражать их, так начинает горячиться и говорить грубости, и опять я должен пускать в ход все свои дипломатические таланты. «Я согласен, что поступок их нехорош, но прошу вас принять во внимание недоразумение, молодость; потом, молодые люди только позавтракали. Вы понимаете. Они раскаиваются от всей души, просят простить их вину». Титулярный советник опять смягчается: «Я согласен, граф, и я готов простить, но понимаете, что моя жена, моя жена, честная женщина, подвергается преследованиям, грубостям и дерзостям каких-нибудь мальчишек, мерз...» А вы понимаете, мальчишка этот тут, и мне надо примирять их. Опять я пускаю в ход дипломацию, и опять, как только надо заключить все дело, мой титулярный советник горячится, краснеет, колбасики поднимаются, и опять я разливаюсь в дипломатических тонкостях.

— Ах, это надо рассказать вам! — смеясь, обратилась Бетси к входившей в ее ложу даме. — Он так насмешил меня.

— Ну, bonne chance [1], — прибавила она, подавая

жеппем плеч опуская поднявшийся лиф платья, с тем чтобы, как следует, быть вполне голою, когда выйдет вперед, к рампе, на свет газа и па все глаза. Вронский поехал во Французский театр, где ему действительно нужно было видеть полкового командира, не пропускавшего ни одного представления во Французском театре, с тем чтобы переговорить с ним о своем миротворстве, которое занимало и забавляло его уже третий день. В деле этом был замешан Петрицкий, которого он любил, и другой, недавно поступивший, славный малый, отличный товарищ, молодой князь Кедров. А главное, тут были замешаны интересы полка. Оба были в эскадроне Вронского. К полковому командиру приезжал чиновник, титулярный советник Вепдеи, с жалобой на его офицеров, которые оскорбили его жену. Молодая жена его, как рассказывал Венден, — он был женат полгода, — была в церкви с матушкой и, вдруг почувствовав нездоровье, происходящее от известного положения, не могла больше стоять и поехала домой на первом попавшемся ей лихаче-извозчике. Тут за ней погнались офицеры, она испугалась и, еще более разболевшись, взбежала по лестнице домой. Сам Вейден, вернувшись из присутствия, услыхал звонок и какие-то голоса, вышел и, увидав пьяных офицеров с письмом, вытолкал их. Он просил строгого наказания. — Нет, как хотите, — сказал полковой командир Вронскому, пригласив его к себе, — Петрицкий становится невозможным. Не проходит недели без истории. Этот чиновник не оставит дела, он пойдет дальше. Вронский видел всю неблаговидность этого дела и что тут дуэли быть не может, что надо все сделать, чтобы смягчить этого титулярного советника и замять дело. Полковой командир призвал Вронского именно потому, что знал его за благородного и умного человека и, главное, за человека, дорожащего честью полка. Они потолковали и решили, что надо ехать Петрицкому и Кедрову с Вронским к этому титулярному советнику извиняться. Полковой командир и Вронский оба понимали, что имя Вронского и флигель-адъютантский вензель должны много содействовать смягчению титулярного советника. И действительно, эти два средства оказались отчасти действительны; но результат примирения остался сомнительным, как и рассказывал Вронский. 143

жением плеч опуская поднявшийся лиф платья, с тем чтобы, как следует, быть вполне голою, когда выйдет вперед, к рампе, на свет газа и на все глаза.

Вронский поехал во Французский театр, где ему действительно нужно было видеть полкового командира, не пропускавшего ни одного представления во Французском театре, с тем чтобы переговорить с ним о своем миротворстве, которое занимало и забавляло его уже третий день. В деле этом был замешан Петрицкий, которого он любил, и другой, недавно поступивший, славный малый, отличный товарищ, молодой князь Кедров. А главное, тут были замешаны интересы полка.

Оба были в эскадроне Вронского. К полковому командиру приезжал чиновник, титулярный советник Венден, с жалобой на его офицеров, которые оскорбили его жену. Молодая жена его, как рассказывал Венден, — он был женат полгода, — была в церкви с матушкой и, вдруг почувствовав нездоровье, происходящее от известного положения, не могла больше стоять и поехала домой на первом попавшемся ей лихаче-извозчике. Тут за ней погнались офицеры, она испугалась и, еще более разболевшись, взбежала по лестнице домой. Сам Венден, вернувшись из присутствия, услыхал звонок и какие-то голоса, вышел и, увидав пьяных офицеров с письмом, вытолкал их. Он просил строгого наказания.

— Нет, как хотите, — сказал полковой командир Вронскому, пригласив его к себе, — Петрицкий становится невозможным. Не проходит недели без истории. Этот чиновник не оставит дела, он пойдет дальше.

Вронский видел всю неблаговидность этого дела и что тут дуэли быть не может, что надо все сделать, чтобы смягчить этого титулярного советника и замять дело. Полковой командир призвал Вронского именно потому, что знал его за благородного и умного человека и, главное, за человека, дорожащего честью полка. Они потолковали и решили, что надо ехать Петрицкому и Кедрову с Вронским к этому титулярному советнику извиняться. Полковой командир и Вронский оба понимали, что имя Вронского и флигель-адъютантский вензель должны много содействовать смягчению титулярного советника.

Приехав во Французский театр, Вронский удалился с полковым командиром в фойе и рассказал ему свой успех или неуспех. Обдумав все, полковой командир решил оставить дело без последствий, но потом ради удовольствия стал расспрашивать Вронского о подробностях его свиданья и долго не мог удержаться от смеха, слушая рассказ Вронского о том, как затихавший титулярный советник вдруг опять разгорался, вспоминая подробности дела, и как Вронский, лавируя при последнем полуслове примирения, ретировался, толкая вперед себя Петрицкого. — Скверная история, но уморительная. Не может же Кедров драться с этим господином! Так ужасно горячился? — смеясь, переспросил он. — А какова нынче Клер? Чудо! — сказал он про новую французскую актрису. — Сколько ИИ смотри, каждый день новая. Только одни французы могут это. VI Княгиня Бетси, не дождавшись конца последнего акта, уехала из театра. Только что успела она войти в свою уборную, обсыпать свое длинное бледное лицо пудрой, стереть ее, оправить прическу и приказать чай в большой гостиной, как уж одна за другою стали подъезжать кареты к ее огромному дому на Большой Морской. Гости выходили на широкий подъезд, и тучный швейцар, читающ;ий по утрам, для назидания прохожих, за стеклянною дверью газеты, беззвучно отворял эту огромную дверь, пропуская мимо себя приезжавших. Почти в одно и то же время вошли: хозяйка с освеженною прической и освеженным лицом из одной двери и гости из другой в большую гостиную с темными стенами, пушистыми коврами и ярко освеш,енным столом, блестевшим под огнями свеч белизною скатерти, серебром самовара и прозрачным фарфором чайного прибора. Хозяйка села за самовар и сияла перчатки. Передвигая стулья и кресла с помош,ыо незаметных лакеев, общество разместилось, разделившись на две части, — у самовара с хозяйкой и на противоположном конце гостиной — около красивой жены посланника в черном бархате и с черными резкими бровями. Разговор в обоих центрах, как и всегда в первые минуты, колебался, перебиваемый 144

Приехав во Французский театр, Вронский удалился с полковым командиром в фойе и рассказал ему свой успех или неуспех. Обдумав все, полковой командир решил оставить дело без последствий, но потом ради удовольствия стал расспрашивать Вронского о подробностях его свиданья и долго не мог удержаться от смеха, слушая рассказ Вронского о том, как затихавший титулярный советник вдруг опять разгорался, вспоминая подробности дела, и как Вронский, лавируя при последнем полуслове примирения, ретировался, толкая вперед себя Петрицкого.

— Скверная история, но уморительная. Не может же Кедров драться с этим господином! Так ужасно горячился? — смеясь, переспросил он. — А какова нынче Клер? Чудо! — сказал он про новую французскую актрису. — Сколько ни смотри, каждый день новая. Только одни французы могут это.

VI

Княгиня Бетси, не дождавшись конца последнего акта, уехала из театра. Только что успела она войти в свою уборную, обсыпать свое длинное бледное лицо пудрой, стереть ее, оправить прическу и приказать чай в большой гостиной, как уж одна за другою стали подъезжать кареты к ее огромному дому на Большой Морской. Гости выходили на широкий подъезд, и тучный швейцар, читающий по утрам, для назидания прохожих, за стеклянною дверью газеты, беззвучно отворял эту огромную дверь, пропуская мимо себя приезжавших.

Почти в одно и то же время вошли: хозяйка с освеженною прической и освеженным лицом из одной двери и гости из другой в большую гостиную с темными стенами, пушистыми коврами и ярко освещенным столом, блестевшим под огнями свеч белизною скатерти, серебром самовара и прозрачным фарфором чайного прибора.

Хозяйка села за самовар и сняла перчатки. Передвигая стулья и кресла с помощью незаметных лакеев, общество разместилось, разделившись на две части, — у самовара с хозяйкой и на противоположном конце гости-

встречами, приветствиями, предложениями чая, как бы отыскивая, на чем остановиться. — Она необыкновенно хороша как актриса; видно, что она изучала Каульбаха, — говорил дипломат в кружке жены посланника, — вы заметили, как она упала... — Ах, пожалуйста, не будем говорить про Нильсон! Про нее нельзя ничего сказать нового, — сказала толстая, красная, без бровей и без шиньона, белокурая дама в старом шелковом платье. Это была княгиня Мягкая, известная своею простотой, грубостью обраш;ения и провванная enfant terrible ^ Княгиня Мягкая сидела посередине между обоими кружками и, прислушиваясь, принимала участие то в том, то в другом. — Мне нынче три человека сказали эту самую фразу про Каульбаха, точно сговорились. И фраза, не знаю чем, так понравилась им. Разговор был прерван этим замечанием, и надо было придумывать опять новую тему. — Расскажите нам что-нрібудь забавное, но не злое, — сказала жена посланника, великая мастерица изящного разговора, называемого по-английски small-talk, обращаясь к дипломату, тоже не знавшему, что теперь начать. — Говорят, что это очень трудно, что только злое смешно, — начал он с улыбкою. — Но я попробую. Дайте тему. Все дело в теме. Если тема дана, то вышивать по ней уже легко. Я часто думаю, что знаменитые говоруны прошлого века были бы теперь в затруднении говорить умно. Все умное так надоело... — Давно уж сказано, — смеясь, перебила его жена посланника. Разговор начался мило, но именно потому, что он был слишком уж мил, он опять остановился. Надо было прибегнуть к верному, никогда не изменяющему средству — злословию. — Вы не находите, что в Тушкевиче есть что-то Louis XV? — сказал он, указывая глазами на красивого белокурого молодого человека, стоявшего у стола. — О да! Он в одном вкусе с гостиной, от этого он так часто и бывает здесь. Этот разговор поддержался, так как говорилось намеками именно о том, чего нельзя было говорить в этой • озорницей (Франц.), 145

встречами, приветствиями, предложениями чая, как бы отыскивая, на чем остановиться.

— Она необыкновенно хороша как актриса; видно, что она изучала Каульбаха, — говорил дипломат в кружке жены посланника, — вы заметили, как она упала...

— Ах, пожалуйста, не будем говорить про Нильсон! Про нее нельзя ничего сказать нового, — сказала толстая, красная, без бровей и без шиньона, белокурая дама в старом шелковом платье. Это была княгиня Мягкая, известная своею простотой, грубостью обращения и прозванная enfant terrible[1]. Княгиня Мягкая сидела посередине между обоими кружками и, прислушиваясь, принимала участие то в том, то в другом. — Мне нынче три человека сказали эту самую фразу про Каульбаха, точно сговорились. И фраза, не знаю чем, так понравилась им.

Разговор был прерван этим замечанием, и надо было придумывать опять новую тему.

— Расскажите нам что-нибудь забавное, но не злое, — сказала жена посланника, великая мастерица изящного разговора, называемого по-английски small-talk, обращаясь к дипломату, тоже не знавшему, что теперь начать.

— Говорят, что это очень трудно, что только злое смешно, — начал он с улыбкою. — Но я попробую. Дайте тему. Все дело в теме. Если тема дана, то вышивать по ней уже легко. Я часто думаю, что знаменитые говоруны прошлого века были бы теперь в затруднении говорить умно. Все умное так надоело...

— Давно уж сказано, — смеясь, перебила его жена посланника.

Разговор начался мило, но именно потому, что он был слишком уж мил, он опять остановился. Надо было прибегнуть к верному, никогда не изменяющему средству — злословию.

— Вы не находите, что в Тушкевиче есть что-то Louis XV? — сказал он, указывая глазами на красивого белокурого молодого человека, стоявшего у стола.

— О да! Он в одном вкусе с гостиной, от этого он так часто и бывает здесь.

Этот разговор поддержался, так как говорилось наме-

гостиной, то есть об отношениях Тушкевича к хозяйке. Около самовара и хозяйки разговор между тем, точно так же поколебавшись несколько времени между тремя неизбежными темами: последнею общественною новостью, театром и осуждением ближнего, тоже установился, попав на последнюю тему, то есть на злословие. — Вы слышали, и Мальтищева, — не дочь, а мать, — шьет себе костюм diable rose Ч — Не может быть! Нет, это прелестно! — Я удивлюсь, как с ее умом, — она ведь не глупа, — * не видеть, как опа смешна. Каждый имел что сказать в осуждение и осмеяние несчастной Мальтищевой, и разговор весело затрещал, как разгоревшийся костер. Муж княгіши Бетси, добродушный толстяк, страстный собиратель гравюр, узнав, что у жены гости, зашел пред клубом в гостиную. Неслышно, по мягкому ковру, он подошел к княгине Мягкой. — Как вам понравилась Нильсон, княгиня? — сказал он. — Ах, батюпта, можно ли так подкрадываться? Как вы меня испугали, — отвечала она. — Не говорите, пожалуйста, со мной про оперу, вы ничего не понимаете в музыке. Лучше я спущусь до вас и буду говорить с вамп про ваши майолики и гравюры. Ну, какое там сокровище вы купили недавно на толкучке? — Хотите, я вам покажу? Но вы не знаете толку* — Покажите. Я выучилась у этих, как их зовут... банкиры... у них прекрасные есть гравюры. Они нам показывали. — Как, вы были у Шюцбург? — спросила хозяйка от самовара. — Были, та chère. Они нас звали с мужем обедать, и мне сказывали, что соус па этом обеде стоил тысячу рублей, — громко говорила княгиня Мягкая, чувствуя, что все ее слушают, — и очень гадкий соус, что-то зеленое. Надо было их позвать, и я сделала соус на восемьдесят пять копеек, и все были очень довольны. Я не могу делать тысячерублевых соусов. — Она единственна! — сказала жена посланника. — Удивительна! — сказал кто-то. ^ крикливо-розовый (Франц.), 146

гостиной, то есть об отношениях Тушкевича к хозяйке.

Около самовара и хозяйки разговор между тем, точно так же поколебавшись несколько времени между тремя неизбежными темами: последнею общественною новостью, театром и осуждением ближнего, тоже установился, попав на последнюю тему, то есть на злословие.

— Вы слышали, и Мальтищева, — не дочь, а мать, — шьет себе костюм diable rose [1].

— Не может быть! Нет, это прелестно!

— Я удивлюсь, как с ее умом, — она ведь не глупа, — не видеть, как она смешна.

Каждый имел что сказать в осуждение и осмеяние несчастной Мальтищевой, и разговор весело затрещал, как разгоревшийся костер.

Муж княгини Бетси, добродушный толстяк, страстный собиратель гравюр, узнав, что у жены гости, зашел пред клубом в гостиную. Неслышно, по мягкому ковру, он подошел к княгине Мягкой.

— Как вам понравилась Нильсон, княгиня? — сказал он.

— Ах, батюшка, можно ли так подкрадываться? Как вы меня испугали, — отвечала она. — Не говорите, пожалуйста, со мной про оперу, вы ничего не понимаете в музыке. Лучше я спущусь до вас и буду говорить с вами про ваши майолики и гравюры. Ну, какое там сокровище вы купили недавно на толкучке?

— Хотите, я вам покажу? Но вы не знаете толку.

— Покажите. Я выучилась у этих, как их зовут... банкиры... у них прекрасные есть гравюры. Они нам показывали.

— Как, вы были у Шюцбург? — спросила хозяйка от самовара.

— Были, ma chère. Они нас звали с мужем обедать, и мне сказывали, что соус на этом обеде стоил тысячу рублей, — громко говорила княгиня Мягкая, чувствуя, что все ее слушают, — и очень гадкий соус, что-то зеленое. Надо было их позвать, и я сделала соус на восемьдесят пять копеек, и все были очень довольны. Я не могу делать тысячерублевых соусов.

— Она единственна! — сказала жена посланника

Эффект, производимый речами княгини Мягкой, всегда был одинаков, и секрет производимого ею эффекта состоял в том, что она говорила хотя и не совсем кстати, как теперь, но простые вещи, имеющие смысл. В обществе, где она жила, такие слова производили действие самой остроумной шутки. Княгиня Мягкая не могла понять, отчего это так действовало, но знала, что это так действовало, и пользовалась этим. Так как во время речи княгини Мягкой все ее слушали и разговор около жены посланника прекратился, хозяйка хотела связать все общество воедино и обратилась к жене посланника: — Решительно вы не хотите чаю? Вы бы перешли к нам. — Нет, нам очень хорошо здесь, — с улыбкой отвечала жена посланника и продолжала начатый разговор. Разговор был очень приятный. Осуждали Карениных, жену и мужа. — Анна очень переменилась с своей московской поездки. В ней есть что-то странное, — говорила ее приятельница. — Перемена главная та, что она привезла с собою тень Алексея Вронского, — сказала жена посланника. — Да что же? У Гримма есть басня: человек без тени, человек лишен тени. И это ему наказанье за что-то. Я никогда не мог понять, в чем наказанье. Но женщине должно быть неприятно без тени. — Да, по женщины с тенью обыкновенно дурно кончают, — сказала приятельница Анны. — Типун вам на язык, — сказала вдруг княгиня Мягкая, услыхав эти слова. — Каренина прекрасная женщина. Мужа ее я не люблю, а ее очень люблю. — Отчего же вы не любите мужа? Он такой замечательный человек, — сказала жена посланника. — Му5К говорит, что таких государственных людей мало в Европе. — И мне то же говорит муж, но я не верю, — сказала княгиня Мягкая. — Если бы мужья наши не говорили, мы бы видели то, что есть, а Алексей Александрович, помоему, просто глуп. Я шепотом говорю это... Не правда ли, как все ясно делается? Прежде, когда мне велели находить его умным, я все искала и находила, что я сама глупа, не видя его ума; а как только я сказала: он глуп, по шепотом, — все так ясно стало, не правда ли?. 147

Эффект, производимый речами княгини Мягкой, всегда был одинаков, и секрет производимого ею эффекта состоял в том, что она говорила хотя и не совсем кстати, как теперь, но простые вещи, имеющие смысл. В обществе, где она жила, такие слова производили действие самой остроумной шутки. Княгиня Мягкая не могла понять, отчего это так действовало, но знала, что это так действовало, и пользовалась этим.

Так как во время речи княгини Мягкой все ее слушали и разговор около жены посланника прекратился, хозяйка хотела связать все общество воедино и обратилась к жене посланника:

— Решительно вы не хотите чаю? Вы бы перешли к нам.

— Нет, нам очень хорошо здесь, — с улыбкой отвечала жена посланника и продолжала начатый разговор.

Разговор был очень приятный. Осуждали Карениных, жену и мужа.

— Анна очень переменилась с своей московской поездки. В ней есть что-то странное, — говорила ее приятельница.

— Перемена главная та, что она привезла с собою тень Алексея Вронского, — сказала жена посланника.

— Да что же? У Гримма есть басня: человек без тени, человек лишен тени. И это ему наказанье за что-то. Я никогда не мог понять, в чем наказанье. Но женщине должно быть неприятно без тени.

— Да, но женщины с тенью обыкновенно дурно кончают, — сказала приятельница Анны.

— Типун вам на язык, — сказала вдруг княгиня Мягкая, услыхав эти слова. — Каренина прекрасная женщина. Мужа ее я не люблю, а ее очень люблю.

— Отчего же вы не любите мужа? Он такой замечательный человек, — сказала жена посланника. — Муж говорит, что таких государственных людей мало в Европе.

— И мне то же говорит муж, но я не верю, — сказала княгиня Мягкая. — Если бы мужья наши не говорили, мы бы видели то, что есть, а Алексей Александрович, по-моему, просто глуп. Я шепотом говорю это... Не правда ли, как все ясно делается? Прежде, когда мне велели находить его умным, я все искала и находила, что я сама

— Как вы злы нынче! — Нисколько. У меня нет другого выхода. Кто-нибудь из нас двух глуп. Ну, а вы знаете, про себя нельзя этого никогда сказать. — Никто не доволен своим состоянием, и всякий доволен своим умом, — сказал дипломат французский стих. — Вот-вот именно, — поспешно обратилась к нему княгиня Мягкая. — Но дело в том, что Анну я вам не отдам. Она такая славная, милая. Что же ей делать, если все влюблены в нее и, как тени, ходят за ней? — Да я и не думаю осуждать, — оправдывалась приятельница Анны. — Если за нами никто не ходит, как тень, то это не доказывает, что мы имеем право осуждать. И, отделав, как следовало, приятельницу Анны, княгиня Мягкая встала и вместе с женой посланника присоединилась к столу, где шел обіций разговор о прусском короле. — О чем вы там злословили? — - спросила Бетси. — О Карениных. Княгиня делала характеристику Алексея Александровича, — отвечала жена посланника, с улыбкой садясь к столу. — Н{алко, что мы не слыхали, — сказала хозяйка, взглядывая на входную дверь. — А, вот и вы наконец! — обратилась она с улыбкой к входившему Вронскому. Вронский был не только знаком со всеми, но видал каждый день всех, кого он тут встретил, и потому он вошел с теми спокойными приемами, с какими входят в комнату к людям, от которых только что вышли. — Откуда я? — отвечал он на вопрос жены посланника. — Что же делать, надо признаться. Из Буфф. Кажется, в сотый раз, и все с новым удовольствием. Прелесть! Я знаю, что это стыдно; но в опере я сплю, а в Буффах досиживаю до последнего конца, и весело. Нынче... Он назвал французскую актрису и хотел что-то рассказать про нее; но жена посланника с шутливым ужасом перебила его: — Пожалуйста, не рассказывайте про этот ужас. — Ну, не буду, тем более что все знают эти ужасы. — И все бы поехали туда, если б это было так же принято, как опера, — подхватила княгиня Мягкая, 148

— Как вы злы нынче!

— Нисколько. У меня нет другого выхода. Кто-нибудь из нас двух глуп. Ну, а вы знаете, про себя нельзя этого никогда сказать.

— Никто не доволен своим состоянием, и всякий доволен своим умом, — сказал дипломат французский стих.

— Вот-вот именно, — поспешно обратилась к нему княгиня Мягкая. — Но дело в том, что Анну я вам не отдам. Она такая славная, милая. Что же ей делать, если все влюблены в нее и, как тени, ходят за ней?

— Да я и не думаю осуждать, — оправдывалась приятельница Анны.

— Если за нами никто не ходит, как тень, то это не доказывает, что мы имеем право осуждать.

И, отделав, как следовало, приятельницу Анны, княгиня Мягкая встала и вместе с женой посланника присоединилась к столу, где шел общий разговор о прусском короле.

— О чем вы там злословили? — спросила Бетси.

— О Карениных. Княгиня делала характеристику Алексея Александровича, — отвечала жена посланника, с улыбкой садясь к столу.

— Жалко, что мы не слыхали, — сказала хозяйка, взглядывая на входную дверь. — А, вот и вы наконец! — обратилась она с улыбкой к входившему Вронскому.

Вронский был не только знаком со всеми, но видал каждый день всех, кого он тут встретил, и потому он вошел с теми спокойными приемами, с какими входят в комнату к людям, от которых только что вышли.

— Откуда я? — отвечал он на вопрос жены посланника. — Что же делать, надо признаться. Из Буфф. Кажется, в сотый раз, и все с новым удовольствием. Прелесть! Я знаю, что это стыдно; но в опере я сплю, а в Буффах досиживаю до последнего конца, и весело. Нынче...

Он назвал французскую актрису и хотел что-то рассказать про нее; но жена посланника с шутливым ужасом перебила его:

— Пожалуйста, не рассказывайте про этот ужас.

VII у входной двери послышались шаги, и княгиня Бетси, зная, что это Каренина, взглянула на Вронского. Он смотрел на дверь, и лицо его имело странное новое выражение. Он радостно, пристально и вместе робко смотрел на входившую и медленно приподнимался. В гостиную входила Анна. Как всегда, держась чрезвычайно прямо, своим быстрым, твердым и легким шагом, отличавшим ее от походки других светских женш;ин, и не изменяя направления взгляда, она сделала те несколько шагов, которые отделяли ее от хозяйки, поикала ей руку, улыбнулась и с этою улыбкой оглянулась на Вронского. Вронский низко поклонился и подвинул ей стул. Она отвечала только наклонением головы, покраснела и нахмурилась. Но тотчас же, быстро кивая знакомым и пожимая протягиваемые руки, она обратилась к хозяйке: — Я была у графини Лидии и хотела раньше приехать, но засиделась. У ней был сэр Джон. Очень интересный. — Ах, это миссионер этот? — Да, он рассказывал про индейскую жизнь очень интересно. Разговор, перебитый приездом, опять замотался, как огонь задуваемой лампы. ~ Сэр Джон! Да, сэр Джон. Я его видела. Он хорошо говорит. Власьева совсем влюблена в него. — А правда, что Власьева меньшая выходит за Топова? — Да, говорят, что это совсем решено. — Я удивляюсь родителям. Говорят, это брак по страсти. — По страсти? Какие у вас антидилювиальные мысли! Кто нынче говорит про страсти? — сказала жена посланника. — Что делать? Эта глупая старая мода все ешіе не выводится, — сказал Вронский. — Тем хуже для тех, кто держится этой моды. Я знаю счастливые браки только по рассудку. — Да, но зато как часто счастье браков по рассудку разлетается, как пыль, именно оттого, что появляется та самая страсть, которую не признавали, — сказал Вронский. 149

VII

У входной двери послышались шаги, и княгиня Бетси, зная, что это Каренина, взглянула на Вронского. Он смотрел на дверь, и лицо его имело странное новое выражение. Он радостно, пристально и вместе робко смотрел на входившую и медленно приподнимался. В гостиную входила Анна. Как всегда, держась чрезвычайно прямо, своим быстрым, твердым и легким шагом, отличавшим ее от походки других светских женщин, и не изменяя направления взгляда, она сделала те несколько шагов, которые отделяли ее от хозяйки, пожала ей руку, улыбнулась и с этою улыбкой оглянулась на Вронского. Вронский низко поклонился и подвинул ей стул.

Она отвечала только наклонением головы, покраснела и нахмурилась. Но тотчас же, быстро кивая знакомым и пожимая протягиваемые руки, она обратилась к хозяйке:

— Я была у графини Лидии и хотела раньше приехать, но засиделась. У ней был сэр Джон. Очень интересный.

— Ах, это миссионер этот?

— Да, он рассказывал про индейскую жизнь очень интересно.

Разговор, перебитый приездом, опять замотался, как огонь задуваемой лампы.

— Сэр Джон! Да, сэр Джон. Я его видела. Он хорошо говорит. Власьева совсем влюблена в него.

— А правда, что Власьева меньшая выходит за Топова?

— Да, говорят, что это совсем решено.

— Я удивляюсь родителям. Говорят, это брак по страсти.

— По страсти? Какие у вас антидилювиальные мысли! Кто нынче говорит про страсти? — сказала жена посланника.

— Что делать? Эта глупая старая мода все еще не выводится, — сказал Вронский.

— Тем хуже для тех, кто держится этой моды. Я знаю счастливые браки только по рассудку.

— Да, но зато как часто счастье браков по рассудку

— Но браками по рассудку мы называем те, когда уже оба перебесились. Это как скарлатина, чрез это надо прейти. — Тогда надо выучиться искусственно прививать любовь, как оспу. — Я была в молодости влюблена в дьячка, — сказала княгиня Мягкая. — Не знаю, помогло ли мне это. — Нет, я думаю, без шуток, что для того, чтоб узнать любовь, надо ошибиться и потом поправиться, — сказала княгиня Бетси. — Даже после брака? — шутливо сказала жена посланника. — Никогда не поздно раскаяться, — сказал дипломат английскую пословицу. — Вот именно, — подхватила Бетси, — надо ошибиться и поправиться. Как вы об этом думаете? — обратилась она к Анне, которая с чуть заметною твердою улыбкой на губах молча слушала этот разговор. — Я думаю, — сказала Анна, играя снятою перчат^ кой, — я думаю... если сколько голов, столько умов, то и сколько сердец, столько родов любви. Вронский смотрел на Анну и с замиранием сердца ждал, что она скажет. Он вздохнул как бы после опасности, когда она выговорила эти слова. Анна вдруг обратилась к нему: — А я получила письмо из Москвы. Мне пишут, что Кити Щербацкая совсем больна. — Неужели? — нахмурившись, сказал Вронский. Анна строго посмотрела на него. — Вас не интересует это? — Напротив, очень. Что именно вам пишут, если можно узнать? — спросил он. Анна встала и подошла к Бетси. — Дайте мне чашку чая, — сказала она, останавливаясь за ее стулом. Пока княгиня Бетси наливала ей чай, Вронский подошел к Анне. — Что же вам пишут? — повторил он. — Я часто думаю, что мужчины не понимают того, что благородно и неблагородно, а всегда говорят об этом, — сказала Анка, не отвечая ему. — Я давно хотела сказать вам, — прибавила она и, перейдя несколько шагов, села у углового стола с альбомами. 150

— Но браками по рассудку мы называем те, когда уже оба перебесились. Это как скарлатина, чрез это надо прейти.

— Тогда надо выучиться искусственно прививать любовь, как оспу.

— Я была в молодости влюблена в дьячка, — сказала княгиня Мягкая. — Не знаю, помогло ли мне это.

— Нет, я думаю, без шуток, что для того, чтоб узнать любовь, надо ошибиться и потом поправиться, — сказала княгиня Бетси.

— Даже после брака? — шутливо сказала жена посланника.

— Никогда не поздно раскаяться, — сказал дипломат английскую пословицу.

— Вот именно, — подхватила Бетси, — надо ошибиться и поправиться. Как вы об этом думаете? — обратилась она к Анне, которая с чуть заметною твердою улыбкой на губах молча слушала этот разговор.

— Я думаю, — сказала Анна, играя снятою перчаткой, — я думаю... если сколько голов, столько умов, то и сколько сердец, столько родов любви.

Вронский смотрел на Анну и с замиранием сердца ждал, что она скажет. Он вздохнул как бы после опасности, когда она выговорила эти слова.

Анна вдруг обратилась к нему:

— А я получила письмо из Москвы. Мне пишут, что Кити Щербацкая совсем больна.

— Неужели? — нахмурившись, сказал Вронский.

Анна строго посмотрела на него.

— Вас не интересует это?

— Напротив, очень. Что именно вам пишут, если можно узнать? — спросил он.

Анна встала и подошла к Бетси.

— Дайте мне чашку чая, — сказала она, останавливаясь за ее стулом.

Пока княгиня Бетси наливала ей чай, Вронский подошел к Анне.

— Что же вам пишут? — повторил он.

— Я часто думаю, что мужчины не понимают того, что благородно и неблагородно, а всегда говорят об

— я не совсем понимаю значение ваших слов, — сказал он, подавая ей чашку. Она взглянула на диван подле себя, и он тотчас же сел. — Да, я хотела сказать вам, — сказала она, не глядя на него. — Вы дурно поступили, дурно, очень дурно. — Разве я не знаю, что я дурно поступил? Но кто причиной, что я поступил так? — Зачем вы говорите мне это? — сказала она, строго взглядывая на него. — Вы знаете зачем, — отвечал он смело и радостно, встречая ее взгляд и не спуская глаз. Не он, а она смутилась. Это доказывает только то, что у вас нет сердца, — сказала она. Но взгляд ее говорил, что она знает, что у него есть сердце, и от этого-то боится его. — То, о чем вы сейчас говорили, была ошибка, а не любовь. — Вы помните, что я запретила вам произносить это слово, это гадкое слово, — вздрогнув, сказала Анна; но тут же она почувствовала, что одним этим словом: запретила она показывала, что признавала за собой известные права на него и этим самым поогцряла его говорить про любовь. — Я вам давно это хотела сказать, — продоляшла она, решительно глядя ему в глаза и вся пылая жегшим ее лицо румянцем, — а нынче я нарочно приехала, зная, что я вас встречу. Я приехала сказать вам, что это должно кончиться. Я никогда ни пред кем не краснела, а вы заставляете меня чувствовать себя виновною в чем-то. Он смотрел на нее и был поражен новою, духовною красотой ее лица. — Чего вы хотите от меня? — сказал он просто и серьезно. — Я хочу, чтобы вы поехали в Москву и просили прощенья у Кити, — сказала она, и огонек замигал в ее глазах. — Вы не хотите этого, — сказал он. Он видел, что она говорила то, что принуждает себя сказать, но не то, чего хочет. — Если вы любите меня, как вы говорите, — прошептала она, — то сделайте, чтоб я была спокойна. Лицо его просияло. — Разве вы не знаете, что вы для меня вся жизнь; но спокойствия я не знаю я не могу вам дать. Всего 151

— Я не совсем понимаю значение ваших слов, — сказал он, подавая ей чашку.

Она взглянула на диван подле себя, и он тотчас же сел.

— Да, я хотела сказать вам, — сказала она, не глядя на него. — Вы дурно поступили, дурно, очень дурно.

— Разве я не знаю, что я дурно поступил? Но кто причиной, что я поступил так?

— Зачем вы говорите мне это? — сказала она, строго взглядывая на него.

— Вы знаете зачем, — отвечал он смело и радостно, встречая ее взгляд и не спуская глаз.

Не он, а она смутилась.

— Это доказывает только то, что у вас нет сердца, — сказала она. Но взгляд ее говорил, что она знает, что у него есть сердце, и от этого-то боится его.

— То, о чем вы сейчас говорили, была ошибка, а не любовь.

— Вы помните, что я запретила вам произносить это слово, это гадкое слово, — вздрогнув, сказала Анна; но тут же она почувствовала, что одним этим словом: *запретила* она показывала, что признавала за собой известные права на него и этим самым поощряла его говорить про любовь. — Я вам давно это хотела сказать, — продолжала она, решительно глядя ему в глаза и вся пылая жегшим ее лицо румянцем, — а нынче я нарочно приехала, зная, что я вас встречу. Я приехала сказать вам, что это должно кончиться. Я никогда ни пред кем не краснела, а вы заставляете меня чувствовать себя виновною в чем-то.

Он смотрел на нее и был поражен новою, духовною красотой ее лица.

— Чего вы хотите от меня? — сказал он просто и серьезно.

— Я хочу, чтобы вы поехали в Москву и просили прощенья у Кити, — сказала она, и огонек замигал в ее глазах.

— Вы не хотите этого, — сказал он.

Он видел, что она говорила то, что принуждает себя сказать, но не то, чего хочет.

— Если вы любите меня, как вы говорите, — прошептала она, — то сделайте, чтоб я была спокойна.

Лицо его прояснело.

себя, любовь... да. Я не могу думать о вас и о себе отдельно. Вы и я для меня одно. И я не вижу впереди возможности спокойствия ни для себя, ни для вас. Я вижу возможность отчаяния, несчастия... или я вижу возможность счастья, какого счастья!.. Разве оно не возможно? — прибавил он одними губами; но она слышала. Она все силы ума своего напрягла на то, чтобы сказать то, что должно; но вместо того она остановила на нем свой взгляд, полный любви, и ничего не ответила. «Вот оно! — с восторгом думал он. — Тогда, когда я уже отчаивался и когда, казалось, не будет конца, — вот оно! Она любит меня. Она признается в этом». — Так сделайте это для меня, никогда не говорите мне этих слов, и будем добрыми друзьями, — сказала она словами; но совсем другое говорил ее взгляд. — Друзьями мы не будем, вы это сами знаете. А будем ли мы счастливейшими или несчастнейшими из людей — это в вашей власти. Она хотела сказать что-то, но он перебил ее. — Ведь я прошу одного, прошу права надеяться, мучаться, как теперь; но если и этого нельзя, велите мне исчезнуть, и я исчезну. Вы не будете видеть меня, если мое присутствие тяжело вам. — Я не хочу никуда прогонять вас. — Только не изменяйте ничего. Оставьте все как есть, — сказал он дрожаш,им голосом. — Вот ваш муж. Действительно, в эту минуту Алексей Александрович своею спокойною, неуклюжею походкой входил в гостиную. Оглянув жену и Вронского, он подошел к хозяйке и, усевшись за чашкой чая, стал говорить своим неторопливым, всегда слышным голосом, в своем обычном шуточном тоне, подтрунивая над кем-то. — Ваш Рамбулье в полном составе, — сказал он, оглядывая все общество, — грации и музы. Но княгиня Бетси терпеть не могла этого тона его, sneering \ как она называла это, и, как умная хозяйка, тотчас же навела его на серьезный разговор об общей воинской повинности. Алексей Александрович тотчас же увлекся разговором и стал защищать уже серьезно новый указ пред княгиней Бетси, которая нападала на него. ^ насмешливого {англ.). 152

себя, любовь... да. Я не могу думать о вас и о себе отдельно. Вы и я для меня одно. И я не вижу впереди возможности спокойствия ни для себя, ни для вас. Я вижу возможность отчаяния, несчастия... или я вижу возможность счастья, какого счастья!.. Разве оно не возможно? — прибавил он одними губами; но она слышала.

Она все силы ума своего напрягла на то, чтобы сказать то, что должно; но вместо того она остановила на нем свой взгляд, полный любви, и ничего не ответила.

«Вот оно! — с восторгом думал он. — Тогда, когда я уже отчаивался и когда, казалось, не будет конца, — вот оно! Она любит меня. Она признается в этом».

— Так сделайте это для меня, никогда не говорите мне этих слов, и будем добрыми друзьями, — сказала она словами; но совсем другое говорил ее взгляд.

— Друзьями мы не будем, вы это сами знаете. А будем ли мы счастливейшими или несчастнейшими из людей — это в вашей власти.

Она хотела сказать что-то, но он перебил ее.

— Ведь я прошу одного, прошу права надеяться, мучаться, как теперь; но если и этого нельзя, велите мне исчезнуть, и я исчезну. Вы не будете видеть меня, если мое присутствие тяжело вам.

— Я не хочу никуда прогонять вас.

— Только не изменяйте ничего. Оставьте все как есть, — сказал он дрожащим голосом. — Вот ваш муж.

Действительно, в эту минуту Алексей Александрович своею спокойною, неуклюжею походкой входил в гостиную.

Оглянув жену и Вронского, он подошел к хозяйке и, усевшись за чашкой чая, стал говорить своим неторопливым, всегда слышным голосом, в своем обычном шуточном тоне, подтрунивая над кем-то.

— Ваш Рамбулье в полном составе, — сказал он, оглядывая все общество, — грации и музы.

Но княгиня Бетси терпеть не могла этого тона его, sneering[1], как она называла это, и, как умная хозяйка, тотчас же навела его на серьезный разговор об общей воинской повинности. Алексей Александрович тотчас же увлекся разговором и стал защищать уже серьезно новый указ пред княгиней Бетси, которая нападала на

Вронский и Анна продолжали сидеть у маленького стола. — Это становится неприлично, — шепнула одна дама, указывая глазами на Каренину, Вронского и ее мужа. — Что я вам говорила? — отвечала приятельница Анны. Но не одни эти дамы, почти все бывшие в гостиной, даже княгиня Мягкая и сама Бетси, по нескольку раз взглядывали на удалившихся от обш;его кружка, как будто это мешало им. Только один Алексей Александрович ни разу не взглянул в ту сторону и не был отвлечен от интереса начатого разговора. Заметив производимое на всех неприятное впечатление, княгиня Бетси подсунула на свое место для слушания Алексея Александровича другое лицо и подошла к Анне. — Я всегда удивляюсь ясности и точности выражений вашего мужа, — сказала она. — Самые трансцендентные понятия становятся мне доступны, когда он говорит. — О да! — сказала Анна, сияя улыбкой счастья и не пониліая ни одного слова из того, что говорила ей Бетси. Она перешла к большому столу и приняла участие в общем разговоре. Алексей Александрович, просидев полчаса, подошел к жене и предложил ей ехать вместе домой; но она, не глядя на него, отвечала, что останется ужинать. Алексей Александрович раскланялся и вышел. Старый, толстый татарин, кучер Карениной, в глянцевом кожане, с трудом удерживал левого прозябшего серого, взвивавшегося у подъезда. Лакей стоял, отворив дверцу. Швейцар стоял, держа наружную дверь. Анна Аркадьевна отцепляла маленькою быстрою рукой кружева рукава от крючка шубки и, нагнувши голову, слушала с восхищением, что говорил, провожая ее, Вронский. — Вы ничего не сказали; положим, я ничего не требую, — - говорил он, — но вы знаете, что не дружба мне нужна, мне возможно одно счастье в я^изни, это слово, которого вы так не любите... да, любовь... — Любовь... — повторила она медленно, внутренним голосом, и вдруг, в то же время, как она отцепила кружево, прибавила: — Я оттого и не люблю этого слова, что оно для меня слишком много значит, больше гораздо, чем вы можете понять, — и она взглянула ему в лицо. — До свиданья! 153

Вронский и Анна продолжали сидеть у маленького стола.

— Это становится неприлично, — шепнула одна дама, указывая глазами на Каренину, Вронского и ее мужа.

— Что я вам говорила? — отвечала приятельница Анны.

Но не одни эти дамы, почти все бывшие в гостиной, даже княгиня Мягкая и сама Бетси, по нескольку раз взглядывали на удалившихся от общего кружка, как будто это мешало им. Только один Алексей Александрович ни разу не взглянул в ту сторону и не был отвлечен от интереса начатого разговора.

Заметив производимое на всех неприятное впечатление, княгиня Бетси подсунула на свое место для слушания Алексея Александровича другое лицо и подошла к Анне.

— Я всегда удивляюсь ясности и точности выражений вашего мужа, — сказала она. — Самые трансцендентные понятия становятся мне доступны, когда он говорит.

— О да! — сказала Анна, сияя улыбкой счастья и не понимая ни одного слова из того, что говорила ей Бетси. Она перешла к большому столу и приняла участие в общем разговоре.

Алексей Александрович, просидев полчаса, подошел к жене и предложил ей ехать вместе домой; но она, не глядя на него, отвечала, что останется ужинать. Алексей Александрович раскланялся и вышел.

Старый, толстый татарин, кучер Карениной, в глянцевом кожане, с трудом удерживал левого прозябшего серого, взвивавшегося у подъезда. Лакей стоял, отворив дверцу. Швейцар стоял, держа наружную дверь. Анна Аркадьевна отцепляла маленькою быстрою рукой кружева рукава от крючка шубки и, нагнувши голову, слушала с восхищением, что говорил, провожая ее, Вронский.

— Вы ничего не сказали; положим, я ничего не требую, — говорил он, — но вы знаете, что не дружба мне нужна, мне возможно одно счастье в жизни, это слово, которого вы так не любите... да, любовь...

— Любовь... — повторила она медленно, внутренним голосом, и вдруг, в то же время, как она отцепила кружево, прибавила: — Я оттого и не люблю этого слова,

Опа подала руку и быстрым, упругим шагом прошла мимо швейцара и скрылась в карете. Ее взгляд, прикосновение руки прожгли его. Он поцеловал свою ладонь в том месте, где она тронула его, и поехал домой, счастливый сознанием того, что в нынешний вечер он приблизился к достижению своей цели более, чем в два последние месяца. VIII Алексей Александрович ничего особенного и неприличного не нашел в том, что жена его сидела с Вронским у особого стола и о чем-то оживленно разговаривала; но он заметил, что другим в гостиной это показалось чем-то особенным и неприличным, и потому это показалось неприличным и ему. Он решил, что нужно сказать об этом жене. Вернувшись домой, Алексей Александрович прошел к себе в кабинет, как он это делал обыкновенно, и сел в кресло, развернув па заложенном разрезным ножом месте книгу о папизме, и читал до часу, как обыкновенно делал; только изредка он потирал себе высокий лоб п встряхивал голову, как бы отгоняя что-то. В обычный час он встал и сделал свой ночной туалет. Анны Аркадьевны еш;е не было. С книгой под мышкой он пришел наверх; но в нынешний вечер, вместо обычных мыслей н соображений о служебных делах, мысли его были наполнены женою и чем-то неприятным, случившимся с нею. Он, противно своей привычке, не лег в постель, а, заложив за спину сцепившиеся руки, принялся ходить взад и вперед по комнатам. Он не мог лечь, чувствуя, что ему прежде необходимо обдумать вновь возникшее обстоятельство. Когда Алексей Александрович решил сам с собою, что нужно переговорить с женою, ему казалось это очень легко и просто; но теперь, когда он стал обдумывать это вновь возникшее обстоятельство, оно показалось ему очень сложным и затруднительным. Алексей Александрович был не ревнив. Ревность, по его убеждению, оскорбляет жену, и к жене должно иметь доверие. Почему должно иметь доверие, то есть полную уверенность в том, что его молодая жена всегда будет его любить, он себя не спрашивал; но он не испытывая 154

Она подала руку и быстрым, упругим шагом прошла мимо швейцара и скрылась в карете.

Ее взгляд, прикосновение руки прожгли его. Он поцеловал свою ладонь в том месте, где она тронула его, и поехал домой, счастливый сознанием того, что в нынешний вечер он приблизился к достижению своей цели более, чем в два последние месяца.

VIII

Алексей Александрович ничего особенного и неприличного не нашел в том, что жена его сидела с Вронским у особого стола и о чем-то оживленно разговаривала; но он заметил, что другим в гостиной это показалось чем-то особенным и неприличным, и потому это показалось неприличным и ему. Он решил, что нужно сказать об этом жене.

Вернувшись домой, Алексей Александрович прошел к себе в кабинет, как он это делал обыкновенно, и сел в кресло, развернув на заложенном разрезным ножом месте книгу о папизме, и читал до часу, как обыкновенно делал; только изредка он потирал себе высокий лоб и встряхивал голову, как бы отгоняя что-то. В обычный час он встал и сделал свой ночной туалет. Анны Аркадьевны еще не было. С книгой под мышкой он пришел наверх; но в нынешний вечер, вместо обычных мыслей и соображений о служебных делах, мысли его были наполнены женою и чем-то неприятным, случившимся с нею. Он, противно своей привычке, не лег в постель, а, заложив за спину сцепившиеся руки, принялся ходить взад и вперед по комнатам. Он не мог лечь, чувствуя, что ему прежде необходимо обдумать вновь возникшее обстоятельство.

Когда Алексей Александрович решил сам с собою, что нужно переговорить с женою, ему казалось это очень легко и просто; но теперь, когда он стал обдумывать это вновь возникшее обстоятельство, оно показалось ему очень сложным и затруднительным.

Алексей Александрович был не ревнив. Ревность, по его убеждению, оскорбляет жену, и к жене должно иметь

недоверия, потому имел доверие и говорил себе, что надо его иметь. Теперь же, хотя убеждение его о том, что ревность есть постыдное чувство и что нужно иметь доверие, и не было разрушено, он чувствовал, что стоит лицом к лицу пред чем-то нелогичным и бестолковым, и не знал, что надо делать. Алексей Александрович стоял лицом к лицу пред жизнью, пред возможностью любви в его жене к кому-нибудь, кроме его, и это-то казалось ему очень бестолковым и непонятным, потому что это была сама жизнь. Всю жизнь свою Алексей Александрович прожил и проработал в сферах служебных, имеющих дело с отражениями жизни. И каждый раз, когда он сталкивался с самою жизнью, он отстранялся от нее. Теперь он испытывал чувство, подобное тому, какое испытал бы человек, спокойно прошедший над пропастью по мосту и вдруг увидавший, что этот мост разобран и что там пучина. Пучина эта была — сама жизнь, мост — та искусственная жизнь, которую прожил Алексей Александрович. Ему в первый раз пришли вопросы о возможности для его жены полюбить кого-нибудь, и он ужаснулся пред этим. Он, не раздеваясь, ходил своим ровным шагом взад и вперед по звучному паркету освещенной одною лампой столовой, по ковру темной гостиной, в которой свет отражался только на большом, недавно сделанном портрете его, висевшем над диваном, и чрез ее кабинет, где горели две свечи, освещая портреты ее родных и приятельниц и красивые, давно близко знакомые ему безделушки ее письменного стола. Чрез ее комнату он доходил до двери спальни и опять поворачивался. На каждом протяжении своей прогулки, и большею частью на паркете светлой столовой, он останавливался и говорил себе: «Да, это необходимо решить и прекратить, высказать свой взгляд на это и свое решение». II он поворачивался назад. «Но высказать что же? какое решение?» — говорил он себе в гостиной и не находил ответа. «Да наконец, — спрашивал он себя пред поворотом в кабинет, — что же случилось? Ничего. Она долго говоріиіа с ним. Ну что же? Мало ли женщина в свете с кехМ может говорить? И потом, ревновать — значит унижать и себя и ее», — говорил он себе, входя в ее кабинет; но рассуждение это, прежде имевшее такой вес для него, теперь ничего не весило и не значило. И он от двери спальной поворачивался опять к зале; но, как 155

недоверия, потому имел доверие и говорил себе, что надо его иметь. Теперь же, хотя убеждение его о том, что ревность есть постыдное чувство и что нужно иметь доверие, и не было разрушено, он чувствовал, что стоит лицом к лицу пред чем-то нелогичным и бестолковым, и не знал, что надо делать. Алексей Александрович стоял лицом к лицу пред жизнью, пред возможностью любви в его жене к кому-нибудь, кроме его, и это-то казалось ему очень бестолковым и непонятным, потому что это была сама жизнь. Всю жизнь свою Алексей Александрович прожил и проработал в сферах служебных, имеющих дело с отражениями жизни. И каждый раз, когда он сталкивался с самою жизнью, он отстранялся от нее. Теперь он испытывал чувство, подобное тому, какое испытал бы человек, спокойно прошедший над пропастью по мосту и вдруг увидавший, что этот мост разобран и что там пучина. Пучина эта была — сама жизнь, мост — та искусственная жизнь, которую прожил Алексей Александрович. Ему в первый раз пришли вопросы о возможности для его жены полюбить кого-нибудь, и он ужаснулся пред этим.

Он, не раздеваясь, ходил своим ровным шагом взад и вперед по звучному паркету освещенной одною лампой столовой, по ковру темной гостиной, в которой свет отражался только на большом, недавно сделанном портрете его, висевшем над диваном, и чрез ее кабинет, где горели две свечи, освещая портреты ее родных и приятельниц и красивые, давно близко знакомые ему безделушки ее письменного стола. Чрез ее комнату он доходил до двери спальни и опять поворачивался.

На каждом протяжении своей прогулки, и большею частью на паркете светлой столовой, он останавливался и говорил себе: «Да, это необходимо решить и прекратить, высказать свой взгляд на это и свое решение». И он поворачивался назад. «Но высказать что же? какое решение?» — говорил он себе в гостиной и не находил ответа. «Да наконец, — спрашивал он себя пред поворотом в кабинет, — что же случилось? Ничего. Она долго говорила с ним. Ну что же? Мало ли женщина в свете с кем может говорить? И потом, ревновать — значит унижать и себя и ее». — говорил он себе, входя в ее ка-

только он входил назад в темную гостиную, ему какой-то голос говорил, что это не так и что если другие заметили это, то значит, что естьчто-нрібудь. И он опять говорил себе в столовой: «Да, это необходимо решить и прекратить и высказать свой взгляд...» И опять в гостиной пред поворотом он спрашивал себя: как решить? И потом спрашивал себя, что случилось? И отвечал: ничего, и вспоминал о том, что ревность есть чувство, унижающее жену, но опять в гостиной убеждался, что случилось что-то. Мысли его, как и тело, совершали полный круг, не нападая ни на что новое. Он заметил это, потер себе лоб и сел в ее кабинете. Тут, глядя на ее стол с лежащим наверху малахитовым бюваром и начатою запиской, мысли его вдруг изменились. Он стал думать о ней, о том, что она думает и чувствует. Он впервые живо представил себе ее личную жизнь, ее мысли, ее желания, и мысль, что у нее может и должна быть своя особенная жизнь, показалась ему так страшна, что он поспешил отогнать ее. Это была та пучина, куда ему страшно было заглянуть. Переноситься мыслью и чувством в другое существо было душевное действие, чуждое Алексею Александровичу. Он считал это душевное действие вредным и опасным фантазерством. «И ужаснее всего то, — думал он, — что теперь именно, когда подходит к концу мое дело (он думал о проекте, который он проводил теперь), когда мне нужно все спокойствие и все силы души, теперь на меня сваливается эта бессмысленная тревога. Но что же делать? Я не из таких людей, которые переносят беспокойство и тревоги и не имеют силы взглянуть им в лицо». — Я должен обдумать, решить и отбросить, — проговорил он вслух. «Вопросы о ее чувствах, о том, что делалось и может делаться в ее душе, это не мое дело, это дело ее совести и подлежит религии», — сказал он себе, чувствуя облегчение при сознании, что найден тот пункт узаконений, которому подлежало возникшее обстоятельство. «Итак, — сказал себе Алексей Александрович, — вопросы о ее чувствах и так далее — суть вопросы ее совести, до которой мне не молчет быть дела. Моя же обязанность ясно определяется. Как глава семьи, я лицо, обязанное руководить ею, и потому отчасти лицо ответственное: я должен указать опасность, которую я вилiу, 156

только он входил назад в темную гостиную, ему какой-то голос говорил, что это не так и что если другие заметили это, то значит, что есть что-нибудь. И он опять говорил себе в столовой: «Да, это необходимо решить и прекратить и высказать свой взгляд...» И опять в гостиной пред поворотом он спрашивал себя: как решить? И потом спрашивал себя, что случилось? И отвечал: ничего, и вспоминал о том, что ревность есть чувство, унижающее жену, но опять в гостиной убеждался, что случилось что-то. Мысли его, как и тело, совершали полный круг, не нападая ни на что новое. Он заметил это, потер себе лоб и сел в ее кабинете.

Тут, глядя на ее стол с лежащим наверху малахитовым бюваром и начатою запиской, мысли его вдруг изменились. Он стал думать о ней, о том, что она думает и чувствует. Он впервые живо представил себе ее личную жизнь, ее мысли, ее желания, и мысль, что у нее может и должна быть своя особенная жизнь, показалась ему так страшна, что он поспешил отогнать ее. Это была та пучина, куда ему страшно было заглянуть. Переноситься мыслью и чувством в другое существо было душевное действие, чуждое Алексею Александровичу. Он считал это душевное действие вредным и опасным фантазерством.

«И ужаснее всего то, — думал он, — что теперь именно, когда подходит к концу мое дело (он думал о проекте, который он проводил теперь), когда мне нужно все спокойствие и все силы души, теперь на меня сваливается эта бессмысленная тревога. Но что же делать? Я не из таких людей, которые переносят беспокойство и тревоги и не имеют силы взглянуть им в лицо».

— Я должен обдумать, решить и отбросить, — проговорил он вслух.

«Вопросы о ее чувствах, о том, что делалось и может делаться в ее душе, это не мое дело, это дело ее совести и подлежит религии», — сказал он себе, чувствуя облегчение при сознании, что найден тот пункт узаконений, которому подлежало возникшее обстоятельство.

«Итак, — сказал себе Алексей Александрович, — вопросы о ее чувствах и так далее — суть вопросы ее совести, до которой мне не может быть дела. Моя же обязан-

предостеречь и даже употребить власть. Я должен ей высказать». И в голове Алексея Александровича сложилось ясно все, что он теперь скажет жене. Обдумывая, что он скажет, он пожалел о том, что для домашнего употребления, так незаметно, он должен употребить свое время и силы ума; но, несмотря на то, в голове его ясно и отчетливо, как доклад, составилась форма и последовательность предстоящей речи. «Я должен сказать и высказать следующее: во-первых, объяснение значения общественного мнения и приличия; во-вторых, религиозное объяснение значения брака; в-третьих, если нужно, указание на могущее произойти несчастье для сына; в-четвертых, указание на ее собственное несчастье». И, заложив пальцы за пальцы, ладонями книзу, Алексей Александрович потянул, и пальцы затрещали в суставах. Этот жест, дурная привычка — соединение рук и трещанье пальцев — всегда успокаивал его и приводил в аккуратность, которая теперь так нужна была ему. У подъезда послышался звук подъехавшей кареты. Алексей Александрович остановился посреди залы. На лестницу всходили женские шаги. Алексей Александрович, готовый к своей речи, стоял, пожимая свои скрещенные пальцы и ожидая, не треснет ли еще где. Один сустав треснул. Еще по звуку легких шагов на лестнице он почувствовал ее приближение, и, хотя он был доволен своею речью, ему стало страшно за предстоящее объяснение... IX Анна шла, опустив голову и играя кистями башлыка. Лицо ее блестело ярким блеском; но блеск этот был не веселый — он напоминал страшный блеск пожара среди темной ночи. Увидав мужа, Анна подняла голову и, как будто просыпаясь, улыбнулась. — Ты не в постели? Вот чудо! — сказала она, скинула башлык и, не останавливаясь, пошла дальше, в уборную. — Пора, Алексей Александрович, — проговорила она из-за двери. — Анна, мне нужно поговорить с тобой. — - Со мной? — сказала она удивленно, вышла из двери и посмотрела на него. 157

предостеречь и даже употребить власть. Я должен ей высказать».

И в голове Алексея Александровича сложилось ясно все, что он теперь скажет жене. Обдумывая, что он скажет, он пожалел о том, что для домашнего употребления, так незаметно, он должен употребить свое время и силы ума; но, несмотря на то, в голове его ясно и отчетливо, как доклад, составилась форма и последовательность предстоящей речи. «Я должен сказать и высказать следующее: во-первых, объяснение значения общественного мнения и приличия; во-вторых, религиозное объяснение значения брака; в-третьих, если нужно, указание на могущее произойти несчастье для сына; в-четвертых, указание на ее собственное несчастье». И, заложив пальцы за пальцы, ладонями книзу, Алексей Александрович потянул, и пальцы затрещали в суставах.

Этот жест, дурная привычка — соединение рук и трещанье пальцев — всегда успокаивал его и приводил в аккуратность, которая теперь так нужна была ему. У подъезда послышался звук подъехавшей кареты. Алексей Александрович остановился посреди залы.

На лестницу всходили женские шаги. Алексей Александрович, готовый к своей речи, стоял, пожимая свои скрещенные пальцы и ожидая, не треснет ли еще где. Один сустав треснул.

Еще по звуку легких шагов на лестнице он почувствовал ее приближение, и, хотя он был доволен своею речью, ему стало страшно за предстоящее объяснение...

IX

Анна шла, опустив голову и играя кистями башлыка. Лицо ее блестело ярким блеском; но блеск этот был не веселый — он напоминал страшный блеск пожара среди темной ночи. Увидав мужа, Анна подняла голову и, как будто просыпаясь, улыбнулась.

— Ты не в постели? Вот чудо! — сказала она, скинула башлык и, не останавливаясь, пошла дальше, в уборную. — Пора, Алексей Александрович, — проговорила она из-за двери.

- Да. — Что же это такое? О чем это? — спросила она, садясь. — Ну, давай переговорим, если так нужно. А лучше бы спать. Анна говорила, что приходило ей на уста, и сама удивлялась, слушая себя, своей способности лжи. Как просты, естественны были ее слова и как похоже было, что ей просто хочется спать! Она чувствовала себя одетою в непроницаемую броню лжи. Она чувствовала, что какая-то невидимая сила помогала ей и поддерживала ее. — Анна, я должен предостеречь тебя, — сказал он. — Предостеречь? — сказала она. — В чем? Она смотрела так просто, так весело, что кто не знал ее, как знал муж, не мог бы заметить ничего неестественного ни в звуках, ни в смысле ее слов. Но для него, знавшего ее, знавшего, что, когда он ложился пятью минутами позже, она замечала и спрашивала о причине, для него, знавшего, что всякую свою радость, веселье, горе она тотчас сообш;ала ему, — для пего теперь видеть, что она не хотела замечать его состояния, что не хотела ни слова сказать о себе, означало многое. Он видел, что та глубина ее души, всегда прежде открытая пред ним, была закрыта от него. Мало того, по тону ее он видел, что она и не смугцалась этим, а прямо как бы говорила ему: да, закрыта, и это так доля^но быть и будет вперед. Теперь он испытывал чувство, подобное тому, какое испытал бы человек, возвратившийся домой и находящий дом свой запертым. «Но, может быть, ключ еще найдется», — думал Алексей Александрович. — Я хочу предостеречь тебя в том, — сказал он тихим голосом, — что по неосмотрительности и легкомыслию ты можешь подать в свете повод говорить о тебе. Твой слишком оживленный разговор сегодня с графом Вронским (он твердо и с спокойною расстановкой выговорил это имя) обратил на себя внимание. Он говорил и смотрел на ее смеющиеся, страшные теперь для него своею непроницаемостью глаза и, говоря, чувствовал всю бесполезность и праздность своих слов. — Ты всегда так, — отвечала она, как будто совершенно не понрімая его и изо всего того, что он сказал, умышленно понимая только последнее. — То тебе неприятно, что я скучна, то тебе неприятно, что я весела. Мне не скучно было. Это тебя оскорбляет? 158

— Да.

— Что же это такое? О чем это? — спросила она, садясь. — Ну, давай переговорим, если так нужно. А лучше бы спать.

Анна говорила, что приходило ей на уста, и сама удивлялась, слушая себя, своей способности лжи. Как просты, естественны были ее слова и как похоже было, что ей просто хочется спать! Она чувствовала себя одетою в непроницаемую броню лжи. Она чувствовала, что какая-то невидимая сила помогала ей и поддерживала ее.

— Анна, я должен предостеречь тебя, — сказал он.

— Предостеречь? — сказала она. — В чем?

Она смотрела так просто, так весело, что кто не знал ее, как знал муж, не мог бы заметить ничего неестественного ни в звуках, ни в смысле ее слов. Но для него, знавшего ее, знавшего, что, когда он ложился пятью минутами позже, она замечала и спрашивала о причине, для него, знавшего, что всякую свою радость, веселье, горе она тотчас сообщала ему, — для него теперь видеть, что она не хотела замечать его состояния, что не хотела ни слова сказать о себе, означало многое. Он видел, что та глубина ее души, всегда прежде открытая пред ним, была закрыта от него. Мало того, по тону ее он видел, что она и не смущалась этим, а прямо как бы говорила ему: да, закрыта, и это так должно быть и будет вперед. Теперь он испытывал чувство, подобное тому, какое испытал бы человек, возвратившийся домой и находящий дом свой запертым. «Но, может быть, ключ еще найдется», — думал Алексей Александрович.

— Я хочу предостеречь тебя в том, — сказал он тихим голосом, — что по неосмотрительности и легкомыслию ты можешь подать в свете повод говорить о тебе. Твой слишком оживленный разговор сегодня с графом Вронским (он твердо и с спокойною расстановкой выговорил это имя) обратил на себя внимание.

Он говорил и смотрел на ее смеющиеся, страшные теперь для него своею непроницаемостью глаза и, говоря, чувствовал всю бесполезность и праздность своих слов.

— Ты всегда так, — отвечала она, как будто совершенно не понимая его и изо всего того, что он сказал,

Алексей Александрович вздрогнул и загнул руки, чтобы трещать ими. — Ах, пожалуйста, не трещи, я так не люблю, — сказала она. — Анна, ты ли это? — сказал Алексей Александрович тихо, сделав усилие над собою и удержав движение рук, — Да что же это такое? — сказала она с таким искренним и комическим удивлением. — Что тебе от меня надо? Алексей Александрович помолчал и потер рукою лоб и глаза. Он увидел, что вместо того, что он хотел сделать, то есть предостеречь свою жену от ошибки в глазах света, он волновался невольно о том, что касалось ее совести, и боролся с воображаемою им какою-то стеной. — Я вот что намерен сказать, — продолжал он холодно и спокойно, — и я прошу тебя выслушать меня. Я признаю, как ты знаешь, ревность чувством оскорбительным и унизительным и никогда не позволю себе руководиться этим чувством; но есть известные законы приличия, которые нельзя преступать безнаказанно. Нынче не я заметил, но, судя по впечатлению, какое было произведено на общество, все заметили, что ты вела и держала себя не совсем так, как можно было желать. — Решительно ничего не понимаю, — сказала Анна, пожимая плечами. «Ему все равно, — подумала она. — Но в обществе заметили, и это тревожит его». — Ты нездоров, Алексей Александрович, — прибавила она, встала и хотела уйти в дверь; но он двинулся вперед, i^ак бы желая остановить ее. Лицо его было некрасиво и мрачно, каким никогда не видала его Анна. Она остановилась и, отклонив голову назад, набок, начала своею быстрою рукой выбирать шпильки. — Ну-с, я слушаю, что будет, — проговорила она спокойно и насмешливо. — И даже с интересом слушаю, потому что желала бы понять, в чем дело. Она говорила и удивлялась тому натурально-спокойному верному тону, которым она говорила, и выбору слов, которые опа употребляла. — Входить во все подробности твоих чувств я не имею права и вообще считаю это бесполезным и даже вредным, — начал Алексей Александрович. — Копаясь в своей душе, мы часто выкапываем такое, что там лежало бы незаметно. Твои чувства — это дело твоей 159

Алексей Александрович вздрогнул и загнул руки, чтобы трещать ими.

— Ах, пожалуйста, не трещи, я так не люблю, — сказала она.

— Анна, ты ли это? — сказал Алексей Александрович тихо, сделав усилие над собою и удержав движение рук.

— Да что же это такое? — сказала она с таким искренним и комическим удивлением. — Что тебе от меня надо?

Алексей Александрович помолчал и потер рукою лоб и глаза. Он увидел, что вместо того, что он хотел сделать, то есть предостеречь свою жену от ошибки в глазах света, он волновался невольно о том, что касалось ее совести, и боролся с воображаемою им какою-то стеной.

— Я вот что намерен сказать, — продолжал он холодно и спокойно, — и я прошу тебя выслушать меня. Я признаю, как ты знаешь, ревность чувством оскорбительным и унизительным и никогда не позволю себе руководиться этим чувством; но есть известные законы приличия, которые нельзя преступать безнаказанно. Нынче не я заметил, но, судя по впечатлению, какое было произведено на общество, все заметили, что ты вела и держала себя не совсем так, как можно было желать.

— Решительно ничего не понимаю, — сказала Анна, пожимая плечами. «Ему все равно, — подумала она. — Но в обществе заметили, и это тревожит его». — Ты нездоров, Алексей Александрович, — прибавила она, встала и хотела уйти в дверь; но он двинулся вперед, как бы желая остановить ее.

Лицо его было некрасиво и мрачно, каким никогда не видала его Анна. Она остановилась и, отклонив голову назад, набок, начала своею быстрою рукой выбирать шпильки.

— Ну-с, я слушаю, что будет, — проговорила она спокойно и насмешливо. — И даже с интересом слушаю, потому что желала бы понять, в чем дело.

Она говорила и удивлялась тому натурально-спокойному верному тону, которым она говорила, и выбору слов, которые она употребляла.

— Входить во все подробности твоих чувств я не имею права и вообще считаю это бесполезным и даже

совести; но я обязан пред тобою, пред собой, пред богом указать тебе твои обязанности. Жизнь наша связана, и связана не людьми, а богом. Разорвать эту связь может только преступление, и преступление этого рода влечет за собой тяжелую кару. — Ничего не понимаю. Ах, боже мой, и как мне на беду спать хочется! — сказала она, быстро перебирая рукой волосы и отыскивая оставшиеся шпильки. — Анна, ради бога, не говори так, — сказал он кротко. — Может быть, я ошибаюсь, но поверь, что то, что я говорю, я говорю столько же за себя, как и за тебя. Я муж твой и люблю тебя. На мгновенье лицо ее опустилось, и потухла насмешливая искра во взгляде; но слово «люблю» опять возмутило ее. Она подумала: «Любит? Разве он может любить? Если б он не слыхал, что бывает любовь, он никогда и не употреблял бы этого слова. Он и не знает, что такое любовь». — Алексей Александрович, право, я не понимаю, — сказала она. — Определи, что ты находишь... — Позволь, дай договорить мне. Я люблю тебя. Но я говорю не о себе; главные лица тут — наш сын и ты сама. Очень может быть, повторяю, тебе покажутся совершенно напрасными и неуместными мои слова; может быть, они вызваны моим заблуждением. В таком случае я прошу тебя извинить меня. Но если ты сама чувствуешь, что есть хоть малейшие основания, то я тебя прошу подумать и, если сердце тебе говорит, высказать мне... Алексей Александрович, сам не замечая того, говорил совершенно не то, что приготовил. — Мне нечего говорить. Да и... — вдруг быстро сказала она, с трудом удерживая улыбку, — право, пора спать. Алексей Александрович вздохнул и, не сказав больше ничего, отправился в спальню. Когда она вошла в спальню, он уже лежал. Губы его были строго сжаты, и глаза не смотрели на нее. Анна легла на свою постель и ждала каждую минуту, что он еш;ө раз заговорит с нею. Она и боялась того, что он заговорит, и ей хотелось этого. Но он молчал. Она долго ждала неподвижно и уже забыла о нем. Она думала о другом, она видела его и чувствовала, как ее сердце при этой мысли наполнялось волнением и преступною радостью. Вдруг она услыхала ровный и спокойный носовой свист. В первую минуту Алексей Александрович как 160

совести; но я обязан пред тобою, пред собой, пред богом указать тебе твои обязанности. Жизнь наша связана, и связана не людьми, а богом. Разорвать эту связь может только преступление, и преступление этого рода влечет за собой тяжелую кару.

— Ничего не понимаю. Ах, боже мой, и как мне на беду спать хочется! — сказала она, быстро перебирая рукой волосы и отыскивая оставшиеся шпильки.

— Анна, ради бога, не говори так, — сказал он кротко. — Может быть, я ошибаюсь, но поверь, что то, что я говорю, я говорю столько же за себя, как и за тебя. Я муж твой и люблю тебя.

На мгновенье лицо ее опустилось, и потухла насмешливая искра во взгляде; но слово «люблю» опять возмутило ее. Она подумала: «Любит? Разве он может любить? Если б он не слыхал, что бывает любовь, он никогда и не употреблял бы этого слова. Он и не знает, что такое любовь».

— Алексей Александрович, право, я не понимаю, — сказала она. — Определи, что ты находишь...

— Позволь, дай договорить мне. Я люблю тебя. Но я говорю не о себе; главные лица тут — наш сын и ты сама. Очень может быть, повторяю, тебе покажутся совершенно напрасными и неуместными мои слова; может быть, они вызваны моим заблуждением. В таком случае я прошу тебя извинить меня. Но если ты сама чувствуешь, что есть хоть малейшие основания, то я тебя прошу подумать и, если сердце тебе говорит, высказать мне...

Алексей Александрович, сам не замечая того, говорил совершенно не то, что приготовил.

— Мне нечего говорить. Да и... — вдруг быстро сказала она, с трудом удерживая улыбку, — право, пора спать.

Алексей Александрович вздохнул и, не сказав больше ничего, отправился в спальню.

Когда она вошла в спальню, он уже лежал. Губы его были строго сжаты, и глаза не смотрели на нее. Анна легла на свою постель и ждала каждую минуту, что он еще раз заговорит с нею. Она и боялась того, что он заговорит, и ей хотелось этого. Но он молчал. Она долго ждала неподвижно и уже забыла о нем. Она думала о другом, она видела его и чувствовала, как ее сердце при

будто испугался своего свиста и остановился; но, переждав два дыхания, свист раздался с новою, спокойною ровностью. — Поздно, поздно, уж поздно, — прошептала она с улыбкой. Она долго лежала неподвижно с открытыми глазами, блеск которых, ей казалось, она сама в темноте видела. X С этого вечера началась новая жизнь для Алексея Александровича и для его жены. Ничего особенного не случилось. Анна, как всегда, ездила в свет, особенно часто бывала у княгини Бетси и встречалась везде с Вронским. Алексей Александрович видел это, но ничего не мог сделать. На все попытки его вызвать ее на объяснение она противопоставляла ему непроницаемую стену какого-то веселого недоумения. Снаружи было то же, но внутренние отношения их совершенно изменились. Алексей Александрович, столь сильный человек в государственной деятельности, тут чувствовал себя бессильным. Как бык, покорно опустив голову, он ждал обуха, который, он чувствовал, был над ним поднят. Каждый раз, как он начинал думать об этом, он чувствовал, что нужно попытаться еще раз, что добротою, нежностью, убеждением еще есть надежда спасти ее, заставить опомниться, и он каждый день сбирался говорить с ней. Но каждый раз, как он начинал говорить с ней, он чувствовал, что тот дух зла и обмана, который владел ею, овладевал и им, и он говорил с ней совсем не то и не тем тоном, каким хотел говорить. Он говорил с ней невольно своим привычным тоном подшучиванья над тем, кто бы так говорил. А в этом тоне нельзя было сказать того, что требовалось сказать ей. XI То, что почти целый год для Вронского составляло исключительно одно желанье его жизни, заменившее ему все прежние желания; то, что для Анны было 6 л. Н. Толстой, т. 8 161

будто испугался своего свиста и остановился; но, переждав два дыхания, свист раздался с новою, спокойною ровностью.

— Поздно, поздно, уж поздно, — прошептала она с улыбкой. Она долго лежала неподвижно с открытыми глазами, блеск которых, ей казалось, она сама в темноте видела.

X

С этого вечера началась новая жизнь для Алексея Александровича и для его жены. Ничего особенного не случилось. Анна, как всегда, ездила в свет, особенно часто бывала у княгини Бетси и встречалась везде с Вронским. Алексей Александрович видел это, но ничего не мог сделать. На все попытки его вызвать ее на объяснение она противопоставляла ему непроницаемую стену какого-то веселого недоумения. Снаружи было то же, но внутренние отношения их совершенно изменились. Алексей Александрович, столь сильный человек в государственной деятельности, тут чувствовал себя бессильным. Как бык, покорно опустив голову, он ждал обуха, который, он чувствовал, был над ним поднят. Каждый раз, как он начинал думать об этом, он чувствовал, что нужно попытаться еще раз, что добротою, нежностью, убеждением еще есть надежда спасти ее, заставить опомниться, и он каждый день сбирался говорить с ней. Но каждый раз, как он начинал говорить с ней, он чувствовал, что тот дух зла и обмана, который владел ею, овладевал и им, и он говорил с ней совсем не то и не тем тоном, каким хотел говорить. Он говорил с ней невольно своим привычным тоном подшучиванья над тем, кто бы так говорил. А в этом тоне нельзя было сказать того, что требовалось сказать ей.

. . . . . .

. . . . . .

XI

невозможною, ужасною и тем более обворожительною мечтою счастия, — это желание было удовлетворено. Бледный, с дрожащею нижнею челюстью, он стоял над нею и умолял успокоиться, сам не зная, в чем и чем. — Анна! Анна! — говорил он дрожащим голосом. — Анна, ради бога!.. Но чем громче он говорил, тем ниже она опускала свою когда-то гордую, веселую, теперь же постыдную голову, и она вся сгибалась и падала с дивана, на котором сидела, на пол, к его ногам; она упала бы на ковер, если б он не держал ее. — Боже мой! Прости меня! — всхлипывая, говорила она, прижимая к своей груди его руки. Она чувствовала себя столь преступною и виноватою, что ей оставалось только унижаться и просить прощения; а в жизни теперь, кроме его, у ней никого не было, так что она и к нему обращала свою мольбу о прощении. Она, глядя на него, физически чувствовала свое унижение и ничего больше не могла говорить. Он же чувствовал то, что должен чувствовать убийца, когда видит тело, лишенное им жизни. Это тело, лишенное им жизни, была их любовь, первый период их любви. Было что-то ужасное и отвратительное в воспоминаниях о том, за что было заплачено этою страшною ценой стыда. Стыд пред духовною наготою своей давил ее и сообщался ему. Но, несмотря на весь ужас убийцы пред телом убитого, надо резать на куски, прятать это тело, надо пользоваться тем, что убийца приобрел убийством. И с озлоблением, как будто со страстью, бросается убийца на это тело, и тащит, и режет его; так и он покрывал поцелуями ее лицо и плечи. Она держала его руку и не шевелилась. Да, эти поцелуи — то, что куплено этим стыдом. Да, и эта одна рука, которая будет всегда моею, — рука моего сообщника. Она подняла эту руку и поцеловала ее. Он опустился на колена и хотел видеть ее лицо; но она прятала его и ничего не говорила. Наконец, как бы сделав усилие над собой, она поднялась и оттолкнула его. Лицо ее было все так же красиво, но тем более было оно жалко. — Все кончено, — сказала она. — У меня ничего нет, кроме тебя. Помни это. — Я не могу не помнить того, что есть моя жизнь. За минуту этого счастья... 162

невозможною, ужасною и тем более обворожительною мечтою счастия, — это желание было удовлетворено. Бледный, с дрожащею нижнею челюстью, он стоял над нею и умолял успокоиться, сам не зная, в чем и чем.

— Анна! Анна! — говорил он дрожащим голосом. — Анна, ради бога!..

Но чем громче он говорил, тем ниже она опускала свою когда-то гордую, веселую, теперь же постыдную голову, и она вся сгибалась и падала с дивана, на котором сидела, на пол, к его ногам; она упала бы на ковер, если б он не держал ее.

— Боже мой! Прости меня! — всхлипывая, говорила она, прижимая к своей груди его руки.

Она чувствовала себя столь преступною и виноватою, что ей оставалось только унижаться и просить прощения; а в жизни теперь, кроме его, у ней никого не было, так что она и к нему обращала свою мольбу о прощении. Она, глядя на него, физически чувствовала свое унижение и ничего больше не могла говорить. Он же чувствовал то, что должен чувствовать убийца, когда видит тело, лишенное им жизни. Это тело, лишенное им жизни, была их любовь, первый период их любви. Было что-то ужасное и отвратительное в воспоминаниях о том, за что было заплачено этою страшною ценой стыда. Стыд пред духовною наготою своей давил ее и сообщался ему. Но, несмотря на весь ужас убийцы пред телом убитого, надо резать на куски, прятать это тело, надо пользоваться тем, что убийца приобрел убийством.

И с озлоблением, как будто со страстью, бросается убийца на это тело, и тащит, и режет его; так и он покрывал поцелуями ее лицо и плечи. Она держала его руку и не шевелилась. Да, эти поцелуи — то, что куплено этим стыдом. Да, и эта одна рука, которая будет всегда моею, — рука моего сообщника. Она подняла эту руку и поцеловала ее. Он опустился на колена и хотел видеть ее лицо; но она прятала его и ничего не говорила. Наконец, как бы сделав усилие над собой, она поднялась и оттолкнула его. Лицо ее было все так же красиво, но тем более было оно жалко.

Все кончено, сказала она. У меня ничего нет

— Какое счастье! — с отвращением и ужасом сказала она, и ужас невольно сообщился ему. — Ради бога, ни слова, ни слова больше. Она быстро встала и отстранилась от него. — Ни слова больше, — повторила она, и с странным для него выражением холодного отчаяния на лице она рассталась с ним. Она чувствовала, что в эту минуту не могла выразить словами того чувства стыда, радости и ужаса пред этим вступлением в новую жизнь и не хотела говорить об этом, опошливать это чувство неточными словами. Но и после, ни на другой, ни на третий день, она не только не нашла слов, которыми бы она могла выразить всю сложность этих чувств, но не находила и мыслей, которыми бы она сама с собой могла обдумать все, что было в ее душе. Она говорила себе: «Нет, теперь я не могу об этом думать; после, когда я буду спокойнее». Но это спокойствие для мыслей никогда не наступало; каждый раз, как являлась ей мысль о том, что она сделала, и что с ней будет, и что она должна сделать, на нее находил ужас и она отгоняла от себя эти мысли. — После, после, говорила она, — когда я буду спокойнее. Зато во сне, когда она не имела власти над своими мыслями, ее положение представлялось ей во всей безобразной наготе своей. Одно сновиденье почти каждую ночь посещало ее. Ей снилось, что оба вместе были ее мужья, что оба расточали ей свои ласки. Алексей Александрович плакал, целуя ее руки, и говорил: как хорошо теперь! И Алексей Вронский был тут же, и он был также ее муж. И она, удивляясь тому, что прежде ей казалось это невозможным, объясняла им, смеясь, что это гораздо проще и что они оба теперь довольны и счастливы. Но это сновидение, как кошмар, давило ее, и она просыпалась с ужасом., XII Еще в первое время по возвращении из Москвы, когда Левин каждый раз вздрагивал и краснел, вспоминая позор отказа, он говорил себе: «Так же краснел и вздрагивал я, считая все погибшим, когда получил единицу за физику и остался на втором курсе; так же считал себя погибшим после того, как испортил порученное мне дело 6 163

— Какое счастье! — с отвращением и ужасом сказала она, и ужас невольно сообщился ему. — Ради бога, ни слова, ни слова больше.

Она быстро встала и отстранилась от него.

— Ни слова больше, — повторила она, и с странным для него выражением холодного отчаяния на лице она рассталась с ним. Она чувствовала, что в эту минуту не могла выразить словами того чувства стыда, радости и ужаса пред этим вступлением в новую жизнь и не хотела говорить об этом, опошливать это чувство неточными словами. Но и после, ни на другой, ни на третий день, она не только не нашла слов, которыми бы она могла выразить всю сложность этих чувств, но не находила и мыслей, которыми бы она сама с собой могла обдумать все, что было в ее душе.

Она говорила себе: «Нет, теперь я не могу об этом думать; после, когда я буду спокойнее». Но это спокойствие для мыслей никогда не наступало; каждый раз, как являлась ей мысль о том, что она сделала, и что с ней будет, и что она должна сделать, на нее находил ужас и она отгоняла от себя эти мысли.

— После, после, — говорила она, — когда я буду спокойнее.

Зато во сне, когда она не имела власти над своими мыслями, ее положение представлялось ей во всей безобразной наготе своей. Одно сновиденье почти каждую ночь посещало ее. Ей снилось, что оба вместе были ее мужья, что оба расточали ей свои ласки. Алексей Александрович плакал, целуя ее руки, и говорил: как хорошо теперь! И Алексей Вронский был тут же, и он был также ее муж. И она, удивляясь тому, что прежде ей казалось это невозможным, объясняла им, смеясь, что это гораздо проще и что они оба теперь довольны и счастливы. Но это сновидение, как кошмар, давило ее, и она просыпалась с ужасом.

XII

Еще в первое время по возвращении из Москвы, когда Левин каждый раз вздрагивал и краснел, вспоминая позор отказа, он говорил себе: «Так же краснел и вздра-

сестры. И что ж? — теперь, когда прошли года, я вспоминаю и удивляюсь, как это могло огорчать меня. То же будет и с этим горем. Пройдет время, и я буду к этому равнодушен». Но прошло три месяца, и он не стал к этому равнодушен, и ему так же, как и в первые дни, было больно вспоминать об этом. Он не мог успокоиться, потому что он, так долго мечтавший о семейной жизни, так чувствовавший себя созревшим для нее, все-таки не был женат и был дальше, чем когда-нибудь, от женитьбы. Он болезненно чувствовал сам, как чувствовали все его окружающие, что нехорошо в его года человеку единому бытп. Он помнил, как он пред отъездом в Москву сказал раз своему скотнику Николаю, наивному мужику, с которым он любил поговорить: «Что, Николай! хочу жениться», — и как Николай поспешно отвечал, как о деле, в котором не может быть никакого сомнения: «И давно пора, Константин Дмитрия». Но женитьба теперь стала от него дальше, чем когда-либо. Место было занято, и, когда он теперь в воображении ставил на это место кого-нибудь из своих знакомых девушек, он чувствовал, что это было совершенно невозможно. Кроме того, воспоминание об отказе и о роли, которую он играл при этом, мучало его стыдом. Сколько он ни говорил себе, что он тут ни в чем не виноват, воспоминание это, наравне с другими такого же рода стыдными воспоминаниями, заставляло его вздрагивать и краснеть. Были в его прошедшем, как у всякого человека, сознанные им дурные поступки, за которые совесть должна была бы мучать его; но воспоминание о дурных поступках далеко не так мучало его, как эти ничтожные, но стыдные воспоминания. Эти рапы никогда не затягивались. И наравне с этими воспоминаниями стояли теперь отказ и то жалкое положение, в котором он должен был представляться другим в этот вечер. Но время и работа делали свое. Тяжелые воспоминания более и более застилались для него невидными, но значительными событиями деревенской жизни. С каждою неделей он все реже вспоминал о Кити. Он ждал с нетерпением известия, что она уже вышла или выходит на днях замуж, надеясь, что такое известие, как выдергиванье зуба, совсем вылечит его. Между тем пришла весна, прекрасная, дружная, без ожидания и обманов весны, одна из тех редких весен, которым вместе радуются растения, животные и люди.

сестры. И что ж? — теперь, когда прошли года, я вспоминаю и удивляюсь, как это могло огорчать меня. То же будет и с этим горем. Пройдет время, и я буду к этому равнодушен».

Но прошло три месяца, и он не стал к этому равнодушен, и ему так же, как и в первые дни, было больно вспоминать об этом. Он не мог успокоиться, потому что он, так долго мечтавший о семейной жизни, так чувствовавший себя созревшим для нее, все-таки не был женат и был дальше, чем когда-нибудь, от женитьбы. Он болезненно чувствовал сам, как чувствовали все его окружающие, что нехорошо в его года человеку единому быти. Он помнил, как он пред отъездом в Москву сказал раз своему скотнику Николаю, наивному мужику, с которым он любил поговорить: «Что, Николай! хочу жениться», — и как Николай поспешно отвечал, как о деле, в котором не может быть никакого сомнения: «И давно пора, Константин Дмитрич». Но женитьба теперь стала от него дальше, чем когда-либо. Место было занято, и, когда он теперь в воображении ставил на это место кого-нибудь из своих знакомых девушек, он чувствовал, что это было совершенно невозможно. Кроме того, воспоминание об отказе и о роли, которую он играл при этом, мучало его стыдом. Сколько он ни говорил себе, что он тут ни в чем не виноват, воспоминание это, наравне с другими такого же рода стыдными воспоминаниями, заставляло его вздрагивать и краснеть. Были в его прошедшем, как у всякого человека, сознанные им дурные поступки, за которые совесть должна была бы мучать его; но воспоминание о дурных поступках далеко не так мучало его, как эти ничтожные, но стыдные воспоминания. Эти раны никогда не затягивались. И наравне с этими воспоминаниями стояли теперь отказ и то жалкое положение, в котором он должен был представляться другим в этот вечер. Но время и работа делали свое. Тяжелые воспоминания более и более застилались для него невидными, но значительными событиями деревенской жизни. С каждою неделей он все реже вспоминал о Кити. Он ждал с нетерпением известия, что она уже вышла или выходит на днях замуж, надеясь, что такое известие, как выдер-

Эта прекрасная весна еще более возбудила Левина и утвердила его в намерении отречься от всего прежнего, с тем чтоб устроить твердо и независимо свою одинокую жизнь. Хотя многое из тех планов, с которыми он вернулся в деревню, и не было им исполнено, однако самое главное, чистота жизни была соблюдена им. Он не испытывал того стыда, который обыкновенно мучал его после падения, и он мог смело смотреть в глаза людям. Еще в феврале он получил письмо от Марьи Николаевны, о том, что здоровье брата Николая становится хуже, но что он не хочет лечиться, и вследствие этого письма Левин ездил в Москву к брату и успел уговорить его посоветоваться с доктором и ехать на воды за границу. Ему так хорошо удалось уговорить брата и дать ему взаймы денег на поездку, не раздражая его, что в этом отношении он был собой доволен. Кроме хозяйства, требовавшего особенного внимания весною, кроме чтения, Левин начал этою зимой еще сочинение о хозяйстве, план которого состоял в том, чтобы характер рабочего в хозяйстве был принимаем за абсолютное данное, как климат и почва, и чтобы, следовательно, все положения науки о хозяйство выводились не из одних данных почвы и климата, но из данных почвы, климата и известного неизменного характера рабочего. Так что, несмотря на уединение или вследствие уединения, жизнь его была чрезвычайно наполнена, и только изредка он испытывал неудовлетворенное желание сообщения бродящих у него в голове мыслей кому-нибудь, кроме Агафьи Михайловны, хотя и с нею ему случалось нередко рассуждать о физике, теории хозяйства и в особенности о философии; философия составляла любимый предмет Агафьи Михайловны. Весна долго не открывалась. Последние недели поста стояла ясная, морозная погода. Днем таяло на солнце, а ночью доходило до семи градусов; наст был такой, что на возах ездили без дороги. Пасха была на снегу. Потом вдруг, на второй день святой, понесло теплым ветром, надвинулись тучи, и три дня и три ночи лил бурный и теплый дождь. В четверг ветер затих, и надвинулся густой серый туман, как бы скрывая тайны совершавшихся в природе перемен. В тумане полились воды, затрещали и сдвинулись льдины, быстрее двинулись мутные, вспенившиеся потоки, и на самую Красную Горку, с вечера, разорвался туман, тучи разбежались

барашками, прояснело, и открылась настоящая весна. Наутро подняв165

Эта прекрасная весна еще более возбудила Левина и утвердила его в намерении отречься от всего прежнего, с тем чтоб устроить твердо и независимо свою одинокую жизнь. Хотя многое из тех планов, с которыми он вернулся в деревню, и не было им исполнено, однако самое главное, чистота жизни была соблюдена им. Он не испытывал того стыда, который обыкновенно мучал его после падения, и он мог смело смотреть в глаза людям. Еще в феврале он получил письмо от Марьи Николаевны, о том, что здоровье брата Николая становится хуже, но что он не хочет лечиться, и вследствие этого письма Левин ездил в Москву к брату и успел уговорить его посоветоваться с доктором и ехать на воды за границу. Ему так хорошо удалось уговорить брата и дать ему взаймы денег на поездку, не раздражая его, что в этом отношении он был собой доволен. Кроме хозяйства, требовавшего особенного внимания весною, кроме чтения, Левин начал этою зимой еще сочинение о хозяйстве, план которого состоял в том, чтобы характер рабочего в хозяйстве был принимаем за абсолютное данное, как климат и почва, и чтобы, следовательно, все положения науки о хозяйстве выводились не из одних данных почвы и климата, но из данных почвы, климата и известного неизменного характера рабочего. Так что, несмотря на уединение или вследствие уединения, жизнь его была чрезвычайно наполнена, и только изредка он испытывал неудовлетворенное желание сообщения бродящих у него в голове мыслей кому-нибудь, кроме Агафьи Михайловны, хотя и с нею ему случалось нередко рассуждать о физике, теории хозяйства и в особенности о философии; философия составляла любимый предмет Агафьи Михайловны.

Весна долго не открывалась. Последние недели поста стояла ясная, морозная погода. Днем таяло на солнце, а ночью доходило до семи градусов; наст был такой, что на возах ездили без дороги. Пасха была на снегу. Потом вдруг, на второй день святой, понесло теплым ветром, надвинулись тучи, и три дня и три ночи лил бурный и теплый дождь. В четверг ветер затих, и надвинулся густой серый туман, как бы скрывая тайны совершавшихся в природе перемен. В тумане полились воды, затрещали и сдвинулись льдины, быстрее двинулись мутные,

тееся яркое солнце быстро съело тонкий ледок, подернувший воды, и весь теплый воздух задрожал от наполнивших его испарений отжившей земли. Зазеленела старая и вылезаюш;ая иглами молодая трава, надулись почки калины, смородины и липкой спиртовой березы, и на обсыпанной золотым цветом лозине загудела выставленная облетавшаяся пчела. Залились невидимые жаворонки над бархатом зеленей и обледеневшим жнивьем, заплакали чибисы над налившимися бурою неубравшеюся водой низами и болотами, и высоко пролетели с весенним гогота'ньем журавли и гуси. Заревела на выгонах облезшая, только местами еще не перелинявшая скотина, заиграли кривоногие ягнята вокруг теряющих волну блеющих матерей, побежали быстроногие ребята по просыхающим, с отпечатками босых ног тропинкам, затрещали па пруду веселые голоса баб с холстами, и застучали по дворам топоры мужиков, налаживающих сохи и бороны. Пришла настоящая весна. XIII Левин надел большие сапоги и в первый раз не шубу, а суконную поддевку, и пошел по хозяйству, шагая через ручьи, режущие глаза своим блеском на солнце, ступая то на ледок, то в липкую грязь. Весна — время планов и предположений. И, выйдя на двор, Левин, как дерево весною, еще не знающее, куда и как разрастутся эти молодые побеги и ветви, заключенные в налитых почках, сам не знал хорошенько, за какие предприятия в любимом его хозяйстве он примется теперь, но чувствовал, что он полон планов и предположений самых хороших. Прежде всего он прошел к скотине. Коровы были выпущены на варок и, сияя перелинявшею гладкою шерстью, пригревшись на солнце, мычали, просясь в поле. Полюбовавшись знакомыми ему до малейших подробностей коровами, Левин велел выгнать их в поле, а на варок выпустить телят. Пастух весело побежал собираться в поле. Бабы-скотницы, подбирая поневы, босыми, еще белыми, не загоревшими ногами шлепая по грязи, с хворостинами бегали за мычавшими, ошалевшими от весенней радости телятами, загоняя их па двор. Полюбовавшись на приплод нынешнего года, который был необыкновенно хорош, — ранние телята были с му166

шееся яркое солнце быстро съело тонкий ледок, подернувший воды, и весь теплый воздух задрожал от наполнивших его испарений отжившей земли. Зазеленела старая и вылезающая иглами молодая трава, надулись почки калины, смородины и липкой спиртовой березы, и на обсыпанной золотым цветом лозине загудела выставленная облетавшаяся пчела. Залились невидимые жаворонки над бархатом зеленей и обледеневшим жнивьем, заплакали чибисы над налившимися бурою неубравшеюся водой низами и болотами, и высоко пролетели с весенним гоготаньем журавли и гуси. Заревела на выгонах облезшая, только местами еще не перелинявшая скотина, заиграли кривоногие ягнята вокруг теряющих волну блеющих матерей, побежали быстроногие ребята по просыхающим, с отпечатками босых ног тропинкам, затрещали на пруду веселые голоса баб с холстами, и застучали по дворам топоры мужиков, налаживающих сохи и бороны. Пришла настоящая весна.

XIII

Левин надел большие сапоги и в первый раз не шубу, а суконную поддевку, и пошел по хозяйству, шагая через ручьи, режущие глаза своим блеском на солнце, ступая то на ледок, то в липкую грязь.

Весна — время планов и предположений. И, выйдя на двор, Левин, как дерево весною, еще не знающее, куда и как разрастутся эти молодые побеги и ветви, заключенные в налитых почках, сам не знал хорошенько, за какие предприятия в любимом его хозяйстве он примется теперь, но чувствовал, что он полон планов и предположений самых хороших. Прежде всего он прошел к скотине. Коровы были выпущены на варок и, сияя перелинявшею гладкою шерстью, пригревшись на солнце, мычали, просясь в поле. Полюбовавшись знакомыми ему до малейших подробностей коровами, Левин велел выгнать их в поле, а на варок выпустить телят. Пастух весело побежал собираться в поле. Бабы-скотницы, подбирая поневы, босыми, еще белыми, не загоревшими ногами шлепая по

жидкую корову, Павина дочь, трех месяцев, была ростом с годовых, — Левин велел вынести им наружу корыто и задать сено за решетки. Но оказалось, что на не употребляемом зимой варке сделанные с осени решетки были поломаны. Он послал за плотником, который по наряду должен был работать молотилку. Но оказалось, что плотник чинил бороны, которые должны были быть починены еще с масленицы. Это было очень досадно Левину. Досадно было, что повторялось это вечное неряшество хозяйства, против которого он столько лет боролся всеми своими силами. Решетки, как он узнал, ненужные зимой, были перенесены в рабочую конюшню и там поломаны, так как они и были сделаны легко, для телят. Кроме того, из этого же оказывалось, что бороны и все земледельческие орудия, которые велено было осмотреть и починить ещо зимой и для которых нарочно взяты были три плотника, были непочинены, и бороны все-таки чинили, когда надо было ехать скородить. Левин послал за приказчиком, но тотчас и сам пошел отыскивать его. Приказчик, сияя так же, как и всё в этот день, в обшитом мерлушкой тулупчике шел с гумна, ломая в руках соломинку. — Отчего плотник не на молотилке? — Да я хотел вчера доложить: бороны починить надо. Ведь вот пахать. — Да зимой-то что ж? — Да вам насчет чего угодно плотника? — Где решетки с телячьего двора? — Приказал снести на места. Что прикажете с этим пародом! — сказал приказчик, махая рукой. — Не с этим пародом, а с этим приказчиком! — сказал Левин, вспыхнув. — Ну для чего я вас держу! — закричал он. По, вспомнив, что этим не поможешь, остановился на половине речи и только вздохнул. — Ну что, сеять можно? — спросил он, помолчав. — За Туркиным завтра или послезавтра можно будет« — А клевер? — Послал Василия с Мишкой, рассевают. Не знаю только, пролезут ли, топко. — На сколько десятин? — На шесть. — Отчего же не все! — вскрикнул Левин. Что клевер сеяли только на шесть, а не на двадцать' десятин, это было еще досаднее. Посев клевера, и по теории и по собственному его опыту, бывал только тогда 167

жицкую корову, Павина дочь, трех месяцев, была ростом с годовых, — Левин велел вынести им наружу корыто и задать сено за решетки. Но оказалось, что на не употребляемом зимой варке сделанные с осени решетки были поломаны. Он послал за плотником, который по наряду должен был работать молотилку. Но оказалось, что плотник чинил бороны, которые должны были быть починены еще с масленицы. Это было очень досадно Левину. Досадно было, что повторялось это вечное неряшество хозяйства, против которого он столько лет боролся всеми своими силами. Решетки, как он узнал, ненужные зимой, были перенесены в рабочую конюшню и там поломаны, так как они и были сделаны легко, для телят. Кроме того, из этого же оказывалось, что бороны и все земледельческие орудия, которые велено было осмотреть и починить еще зимой и для которых нарочно взяты были три плотника, были непочинены, и бороны все-таки чинили, когда надо было ехать скородить. Левин послал за приказчиком, но тотчас и сам пошел отыскивать его. Приказчик, сияя так же, как и всё в этот день, в обшитом мерлушкой тулупчике шел с гумна, ломая в руках соломинку.

— Отчего плотник не на молотилке?

— Да я хотел вчера доложить: бороны починить надо. Ведь вот пахать.

— Да зимой-то что ж?

— Да вам насчет чего угодно плотника?

— Где решетки с телячьего двора?

— Приказал снести на места. Что прикажете с этим народом! — сказал приказчик, махая рукой.

— Не с этим народом, а с этим приказчиком! — сказал Левин, вспыхнув. — Ну для чего я вас держу! — закричал он. Но, вспомнив, что этим не поможешь, остановился на половине речи и только вздохнул. — Ну что, сеять можно? — спросил он, помолчав.

— За Туркиным завтра или послезавтра можно будет.

— А клевер?

— Послал Василия с Мишкой, рассевают. Не знаю только, пролезут ли, топко.

— На сколько десятин?

— На шесть.

— Отчего же не все! — вскрикнул Левин.

хорош, когда сделан как мояаіо раньше, почти по снегу. И никогда Левин не мог добиться этого. — Народу нет. Что прикажете с этим народцом делать? Трое не приходили. Вот и Семен. — Ну, вы бы отставили от соломы. — Да я и то отставил. — Где же народ? — Пятеро компот делают (это значило компост). Четверо овес пересыпают; как бы не тронулся, Константин Дмитрия. Левин очень хорошо знал, что «как бы не тронулся» значило, что семенной английский овес уже испортили, — опять не сделали того, что он приказывал. — Да ведь я говорил еш,е постом, трубы!.. — вскрикнул он. — Не беспокойтесь, все сделаем вовремя. Левин сердито махнул рукой, пошел к амбарам взглянуть овес и вернулся к конюшне. Овес еще не испортился. Но рабочие пересыпали его лопатами, тогда как можно было спустить его прямо в нижний амбар, и, распорядившись этим и оторвав отсюда двух рабочих для посева клевера, Левин успокоился от досады на приказчика. Да м день был так хорош, что нельзя было сердиться. — Игнат! — крикнул он кучеру, который с засученными рукавами у колодца обмывал коляску. — Оседлай мне... — Кого прикажете? — Ну, хоть Колпика. — Слушаю-с. Пока седлали лошадь, Левин опять подозвал вертевшегося на виду приказчика, чтобы помириться с ним, и стал говорить ему о предстоящих весенних работах и хозяйственных планах. Возку навоза начать раньше, чтобы до раннего покоса все кончено было. А плугами пахать без отрыву дальнее поле, так, чтобы продержать его черным паром. Покосы все убрать не исполу, а работниками. Приказчик слушал внимательно и, видимо, делал усилия, чтоб одобрять предположения хозяина; но он всетаки имел столь знакомый Левину и всегда раздражающий его безнадежный и унылый вид. Вид этот говорил: все это хорошо, да как бог даст. Ничто так не огорчало Левина, как этот тон. Но такой тон был общий у всех приказчиков, сколько их у него ни 168

хорош, когда сделан как можно раньше, почти по снегу. И никогда Левин не мог добиться этого.

— Народу нет. Что прикажете с этим народцом делать? Трое не приходили. Вот и Семен.

— Ну, вы бы отставили от соломы.

— Да я и то отставил.

— Где же народ?

— Пятеро компот делают (это значило компост). Четверо овес пересыпают; как бы не тронулся, Константин Дмитрич.

Левин очень хорошо знал, что «как бы не тронулся» значило, что семенной английский овес уже испортили, — опять не сделали того, что он приказывал.

— Да ведь я говорил еще постом, трубы!.. — вскрикнул он.

— Не беспокойтесь, все сделаем вовремя.

Левин сердито махнул рукой, пошел к амбарам взглянуть овес и вернулся к конюшне. Овес еще не испортился. Но рабочие пересыпали его лопатами, тогда как можно было спустить его прямо в нижний амбар, и, распорядившись этим и оторвав отсюда двух рабочих для посева клевера, Левин успокоился от досады на приказчика. Да и день был так хорош, что нельзя было сердиться.

— Игнат! — крикнул он кучеру, который с засученными рукавами у колодца обмывал коляску. — Оседлай мне...

— Кого прикажете?

— Ну, хоть Колпика.

— Слушаю-с.

Пока седлали лошадь, Левин опять подозвал вертевшегося на виду приказчика, чтобы помириться с ним, и стал говорить ему о предстоящих весенних работах и хозяйственных планах.

Возку навоза начать раньше, чтобы до раннего покоса все кончено было. А плугами пахать без отрыву дальнее поле, так, чтобы продержать его черным паром. Покосы все убрать не исполу, а работниками.

Приказчик слушал внимательно и, видимо, делал усилия, чтоб одобрять предположения хозяина; но он все-таки имел столь знакомый Левину и всегда раздражающий его безнадежный и унылый вид. Вид этот говорил:

перебывало. У всех было то же отношение к его предположениям, и потому он теперь уже не сердился, но огорчался и чувствовал себя еш,е более возбужденным для борьбы с этою какою-то стихийною силой, которую он иначе не умел назвать, как «что бог даст», и которая постоянно противопоставлялась ему. — Как успеем, Константин Дмитрия, — сказал приказчик. — Отчего же не успеете? — Рабочих надо непременно нанять еще человек пятнадцать. Вот не приходят. Нынче были, по семидесяти рублей на лето просят. Левин замолчал. Опять противопоставлялась эта сила. Он знал, что, сколько они ни пытались, они не могли напять больше сорока, тридцати семи, тридцати восьми рабочих за настоящую цену; сорок нанимались, а больше нет. Но все-таки он не мог не бороться. — Пошлите в Суры, в Чефировку, если не придут. Надо искать. — Послать пошлю, — уныло сказал Василий Федорович. — Да вот и лошади слабы стали. — Прикупим. Да ведь я знаю, — прибавил он, смеясь, — вы все поменьше да похуже; но я нынешний год уж не дам вам по-своему делать. Все буду сам. — Да вы и то, кажется, мало спите. Нам веселей, как у хозяина на глазах... — Так за Березовым Долом рассевают клевер? Поеду посмотрю, — сказал он, садясь на маленького буланого Колпика, подведенного кучером. — Через ручей не проедете, Константин Дмитрия, — крикнул кучер. — Ну, так лесом. И бойкою иноходью доброй застоявшейся лошадки, похрапывающей над лужами и попрашивающей поводья, Левин поехал по грязи двора за ворота и в поле. Если Левину весело было на скотном и житном дворах, то ему еще стало веселее в поле. Мерно покачиваясь на иноходи доброго конька, впивая теплый со свежестью запах снега и воздуха при проезде через лес по оставшемуся кое-где праховому, осовывавшемуся снегу с расплывшими следами, он радовался на каждое свое дерево с оживавшим на коре его мохом и с напухшими почками. Когда он выехал за лес, пред ним на огромном пространстве раскинулись ровным бархатным ковром зеленя, без 169

перебывало. У всех было то же отношение к его предположениям, и потому он теперь уже не сердился, но огорчался и чувствовал себя еще более возбужденным для борьбы с этою какою-то стихийною силой, которую он иначе не умел назвать, как «что бог даст», и которая постоянно противопоставлялась ему.

— Как успеем, Константин Дмитрич, — сказал приказчик.

— Отчего же не успеете?

— Рабочих надо непременно нанять еще человек пятнадцать. Вот не приходят. Нынче были, по семидесяти рублей на лето просят.

Левин замолчал. Опять противопоставлялась эта сила. Он знал, что, сколько они ни пытались, они не могли нанять больше сорока, тридцати семи, тридцати восьми рабочих за настоящую цену; сорок нанимались, а больше нет. Но все-таки он не мог не бороться.

— Пошлите в Суры, в Чефировку, если не придут. Надо искать.

— Послать пошлю, — уныло сказал Василий Федорович. — Да вот и лошади слабы стали.

— Прикупим. Да ведь я знаю, — прибавил он, смеясь, — вы все поменьше да похуже; но я нынешний год уж не дам вам по-своему делать. Все буду сам.

— Да вы и то, кажется, мало спите. Нам веселей, как у хозяина на глазах...

— Так за Березовым Долом рассевают клевер? Поеду посмотрю, — сказал он, садясь на маленького буланого Колпика, подведенного кучером.

— Через ручей не проедете, Константин Дмитрич, — крикнул кучер.

— Ну, так лесом.

И бойкою иноходью доброй застоявшейся лошадки, похрапывающей над лужами и попрашивающей поводья, Левин поехал по грязи двора за ворота и в поле.

Если Левину весело было на скотном и житном дворах, то ему еще стало веселее в поле. Мерно покачиваясь на иноходи доброго конька, впивая теплый со свежестью запах снега и воздуха при проезде через лес по оставшемуся кое-где праховому, осовывавшемуся снегу с расплывшими следами, он радовался на каждое свое дерево с

одной плешины и вымочки, только кое-где в лощинах запятнанные остатками тающего снега. Его не рассердили ни вид крестьянской лошади и стригуна, топтавших его зеленя (он велел согнать их встретившемуся мужику), ИИ насмешливый и глупый ответ мужика Ипата, которого он встретил и спросил: «Что, Ипат, скоро сеять?» — «Надо прежде вспахать, Константин Дмитрия», — отвечал Кпат. Чем дальше он ехал, тем веселее ему становилось, и хозяйственные планы один лучше другого представлялись ему: обсадить все поля лозинами по полуденным линиям, так чтобы не залеживался снег под ними; перерезать на шесть полей навозных и три запасных с травосеянием, выстроить, скотный двор на дальнем конце поля и вырыть пруд, а для удобрения устроить переносные загороды для скота. И тогда триста десятин пшеницы, сто картофеля и сто пятьдесят клевера и ни одной истощенной десятины. С такими мечтами, осторожно поворачивая лошадь межами, чтобы не топтать свои зеленя, он подъехал к работникам, рассевавшим клевер. Телега с семенами стояла не на рубеже, а на пашне, и пшеничная озимь была изрыта колесами и ископана лошадью. Оба работника сидели на меже, вероятно раскуривая общую трубку. Земля в телеге, с которою смешаны были семена, была не размята, а слежалась или смерзлась комьями. Увидав хозяина, Василий-работник пошел к телеге, а Мишка принялся рассевать. Это было нехорошо, но на рабочих Левин редко сердился. Когда Василий подошел, Левин велел ему отвесть лошадь на рубеж. — Ничего, сударь, затянет, — отвечал Василий. — Пожалуйста, пе рассуждай, — сказал Левин, — а делай, что говорят. — Слушаю-с, — ответил Василий и взялся за голову лошади. — А уж сев, Константин Дмитрия, — сказал он, заискивая, — первый сорт. Только ходить страсть! По пудовику на лапте волочишь. — А отчего у вас земля непросеянная? — сказал Левин. — Да мы разминаем, — отвечал Василий, набирая семян и в ладонях растирая землю. Василий не был виноват, что ему насыпали непросеянной земли, но все-таки было досадно. Уже не раз испытав с пользою известное ему средство заглушать свою досаду и все, кажущееся дурпым, сделать 170

одной плешины и вымочки, только кое-где в лощинах запятнанные остатками тающего снега. Его не рассердили ни вид крестьянской лошади и стригуна, топтавших его зеленя (он велел согнать их встретившемуся мужику), ни насмешливый и глупый ответ мужика Ипата, которого он встретил и спросил: «Что, Ипат, скоро сеять?» — «Надо прежде вспахать, Константин Дмитрич», — отвечал Ипат. Чем дальше он ехал, тем веселее ему становилось, и хозяйственные планы один лучше другого представлялись ему: обсадить все поля лозинами по полуденным линиям, так чтобы не залеживался снег под ними; перерезать на шесть полей навозных и три запасных с травосеянием, выстроить скотный двор на дальнем конце поля и вырыть пруд, а для удобрения устроить переносные загороды для скота. И тогда триста десятин пшеницы, сто картофеля и сто пятьдесят клевера и ни одной истощенной десятины.

С такими мечтами, осторожно поворачивая лошадь межами, чтобы не топтать свои зеленя, он подъехал к работникам, рассевавшим клевер. Телега с семенами стояла не на рубеже, а на пашне, и пшеничная озимь была изрыта колесами и ископана лошадью. Оба работника сидели на меже, вероятно раскуривая общую трубку. Земля в телеге, с которою смешаны были семена, была не размята, а слежалась или смерзлась комьями. Увидав хозяина, Василий-работник пошел к телеге, а Мишка принялся рассевать. Это было нехорошо, но на рабочих Левин редко сердился. Когда Василий подошел, Левин велел ему отвесть лошадь на рубеж.

— Ничего, сударь, затянет, — отвечал Василий.

— Пожалуйста, не рассуждай, — сказал Левин, — а делай, что говорят.

— Слушаю-с, — ответил Василий и взялся за голову лошади. — А уж сев, Константин Дмитрич, — сказал он, заискивая, — первый сорт. Только ходить страсть! По пудовику на лапте волочишь.

— А отчего у вас земля непросеянная? — сказал Левин.

— Да мы разминаем, — отвечал Василий, набирая семян и в ладонях растирая землю.

Василий не был виноват, что ему насыпали непросеян-

спять хорошим, Левип и теперь употребил это средство. Он посмотрел, как шагал Мишка, ворочая огромные комья земли, налипавшей на каждой ноге, слез с лошади, взял у Василья севалку и пошел рассекать. — Где ты остановился? Василий указал па метку ногой, и Левин пошел, как умел, высевать землю с семенами. Ходить было трудно, как по болоту, и Левин, пройдя леху, запотел и, остановившись, отдал севалку. — Ну, барин, на лето чур меня не ругать за эту леху, — сказал Василий. — А что? — весело сказал Левин, чувствуя уже действительность употребленного средства. — Да вот посмотрите на лето. Отличится. Вы гляньте-ка, где я сеял прошлую весну. Как рассадил! Ведь я, Константин Дмитрия, кажется, вот как отцу родному стараюсь. Я и сам не люблю дурно делать и другим не велю. Хозяину хорошо, и нам хорошо. Как глянешь вон, — сказал Василий, указывая на поле, — сердце радуется. — А хороша весна, Василий. — Да уж такая весна, старики не запомнят. Я вот дома был, там у нас старик тоже пшеницы три осминника посеял. Так сказывает, ото ржей не отличишь. — А вы давно стали сеять пшеницу? — Да вы ж научили позалетошный год; вы же мне две меры пожертвовали. Четверть продали да три осминника посеяли. — Ну, смотри же, растирай комья-то, — сказал Левин, подходя к лошади, — да за Мишкой смотри. А хороший будет всход, тебе по пятидесяти копеек за десятину. — Благодарим покорно. Мы вами, кажется, и так много довольны. Левин сел на лошадь и поехал на поле, где был прошлогодний клевер, и на то, которое плугом было приготовлено под яровую пшеницу. Всход клевера по жнивью был чудесный. Он уж весь отжил и твердо зеленел из-за посломанных прошлогодних стеблей пшеницы. Лошадь вязла по ступицу, и каждая нога ее чмокала, вырываясь из полуоттаявшей земли. По плужной пахоте и вовсе нельзя было проехать: только там и держало, где был ледок, а в оттаявших бороздах нога вязла выше ступицы. Пахота была превосходная; через два дня можно будет бороновать и сеять. Все было прекрасно, все было весело. Назад Левин поехал через ручей, 171

опять хорошим, Левин и теперь употребил это средство. Он посмотрел, как шагал Мишка, ворочая огромные комья земли, налипавшей на каждой ноге, слез с лошади, взял у Василья севалку и пошел рассевать.

— Где ты остановился?

Василий указал на метку ногой, и Левин пошел, как умел, высевать землю с семенами. Ходить было трудно, как по болоту, и Левин, пройдя леху, запотел и, остановившись, отдал севалку.

— Ну, барин, на лето чур меня не ругать за эту леху, — сказал Василий.

— А что? — весело сказал Левин, чувствуя уже действительность употребленного средства.

— Да вот посмотрите на лето. Отличится. Вы гляньте-ка, где я сеял прошлую весну. Как рассадил! Ведь я, Константин Дмитрич, кажется, вот как отцу родному стараюсь. Я и сам не люблю дурно делать и другим не велю. Хозяину хорошо, и нам хорошо. Как глянешь вон, — сказал Василий, указывая на поле, — сердце радуется.

— А хороша весна, Василий.

— Да уж такая весна, старики не запомнят. Я вот дома был, там у нас старик тоже пшеницы три осминника посеял. Так сказывает, ото ржей не отличишь.

— А вы давно стали сеять пшеницу?

— Да вы ж научили позалетошный год; вы же мне две меры пожертвовали. Четверть продали да три осминника посеяли.

— Ну, смотри же, растирай комья-то, — сказал Левин, подходя к лошади, — да за Мишкой смотри. А хороший будет всход, тебе по пятидесяти копеек за десятину.

— Благодарим покорно. Мы вами, кажется, и так много довольны.

Левин сел на лошадь и поехал на поле, где был прошлогодний клевер, и на то, которое плугом было приготовлено под яровую пшеницу.

Всход клевера по жнивью был чудесный. Он уж весь отжил и твердо зеленел из-за посломанных прошлогодних стеблей пшеницы. Лошадь вязла по ступицу, и каждая нога ее чмокала, вырываясь из полуоттаявшей земли. По плужной пахоте и вовсе нельзя было проехать: только там и держало, где был дедок, а в оттаявших бороздах нога

надеясь, что вода сбыла. И действительно, он переехал и вспугнул двух уток. «Должны быть и вальдшнепы», — подумал он и как раз у поворота к дому встретил лесного караульщика, который подтвердил его предположение о вальдшнепах. Левин поехал рысью домой, чтоб успеть пообедать и приготовить ружье к вечеру, XIV Подъезжая домой в самом веселом расположении духа, Левин услыхал колокольчик со стороны главного подъезда к дому. «Да, это с железной дороги, — подумал он, — самое время московского поезда... Кто бы это? Что, если это брат Николай? Он ведь сказал: может быть, уеду на воды, а может быть, к тебе приеду». Ему страшно и неприятно стало в первую минуту, что присутствие брата Николая расстроит это его счастливое весеннее расположение. Но ему стало стыдно за это чувство, и тотчас же он как бы раскрыл свои душевные объятия и с умиленною радостью ожидал и желал теперь всею душой, чтоб это был брат. Он тронул лошадь и, выехав за акацию, увидал подъезжавшую ямскую тройку с железнодорожной станции и господина в шубе. Это не был брат. «Ах, если бы ктонибудь приятный человек, с кем бы поговорить», — подумал он. — А! — радостно прокричал Левин, поднимая обе руки кверху. — Вот радостный-то гость! Ах, как я рад тебе! — вскрикнул он, узнав Степана Аркадьича. «Узнаю верно, вышла ли, или когда выходит замуж», — подумал он. И в этот прекрасный весенний день он почувствовал, что воспоминанье о ней совсем не больно ему. — Что, не ждал? — сказал Степан Аркадьич, вылезая из саней, с комком грязи на переносице, на щеке и брови, но сияющий весельем и здоровьем. — Приехал тебя видеть — раз, сказал он, обнимая и целуя его, — на тяге постоять — два и лес в Ергушове продать — три. — Прекрасно! А какова весна? Как это ты на санях доехал? — В телеге еще хуже, Константин Дмитрия, — отвечал знакомый ямщик. 172

надеясь, что вода сбыла. И действительно, он переехал и вспугнул двух уток. «Должны быть и вальдшнепы», — подумал он и как раз у поворота к дому встретил лесного караульщика, который подтвердил его предположение о вальдшнепах.

Левин поехал рысью домой, чтоб успеть пообедать и приготовить ружье к вечеру.

XIV

Подъезжая домой в самом веселом расположении духа, Левин услыхал колокольчик со стороны главного подъезда к дому.

«Да, это с железной дороги, — подумал он, — самое время московского поезда... Кто бы это? Что, если это брат Николай? Он ведь сказал: может быть, уеду на воды, а может быть, к тебе приеду». Ему страшно и неприятно стало в первую минуту, что присутствие брата Николая расстроит это его счастливое весеннее расположение. Но ему стало стыдно за это чувство, и тотчас же он как бы раскрыл свои душевные объятия и с умиленною радостью ожидал и желал теперь всею душой, чтоб это был брат. Он тронул лошадь и, выехав за акацию, увидал подъезжавшую ямскую тройку с железнодорожной станции и господина в шубе. Это не был брат. «Ах, если бы кто-нибудь приятный человек, с кем бы поговорить», — подумал он.

— А! — радостно прокричал Левин, поднимая обе руки кверху. — Вот радостный-то гость! Ах, как я рад тебе! — вскрикнул он, узнав Степана Аркадьича.

«Узна́ю верно, вышла ли, или когда выходит замуж», — подумал он.

И в этот прекрасный весенний день он почувствовал, что воспоминанье о ней совсем не больно ему.

— Что, не ждал? — сказал Степан Аркадьич, вылезая из саней, с комком грязи на переносице, на щеке и брови, но сияющий весельем и здоровьем. — Приехал тебя видеть — раз, сказал он, обнимая и целуя его, — на тяге постоять — два и лес в Ергушове продать — три.

— Прекрасно! А какова весна? Как это ты на санях

— Ну, я очень, очень рад тебе, — искренно улыбаясь детски-радостною улыбкою, сказал Левин. Левин провел своего гостя в комнату для приезжих, куда и были внесены вещи Степана Аркадьича: мешок, ружье в чехле, сумка для сигар, и, оставив его умываться и переодеваться, сам пока прошел в контору сказать о пахоте и клевере. Агафья Михайловна, всегда очень озабоченная честью дома, встретила его в передней вопросами насчет обеда. — Как хотите делайте, только поскорей, — сказал он и пошел к приказчику. Когда он вернулся, Степан Аркадьич, вымытый, рас^ чесанный и сияя улыбкой, выходил из своей двери, и они вместе пошли наверх. — Ну, как я рад, что добрался до тебя! Теперь я пойму, в чем состоят те таинства, которые ты тут совершаешь. Но нет, право, я завидую тебе. Какой дом, как славно все! Светло, весело! — говорил Степан Аркадьич, забывая, что не всегда бывает весна и ясные дни, как нынче. — И твоя нянюшка какая прелесть! Желательнее было бы хорошенькую горничную в фартучке; но с твоим монашеством и строгим стилем — это очень хорошо. Степан Аркадьич рассказал много интересных новостей и в особенности интересную для Левина новость, что брат его Сергей Иванович собирался на нынешнее лето к нему в деревню. Ни одного слова Степан Аркадьич не сказал про Кити и вообще Щербацких; только передал поклон жены. Левин был ему благодарен за его деликатность и был очень рад гостю. Как всегда, у него за время его уединения набралось пропасть мыслей и чувств, которых он не мог передать окружающим, и теперь он изливал в Степана Аркадьича и поэтическую радость весны, и неудачи и планы хозяйства, и мысли и замечания о книгах, которые он читал, и в особенности идею своего сочинения, основу которого, хотя он сам не замечал этого, составляла критика всех старых сочинений о хозяйстве. Степан Аркадьич, всегда милый, понимающий все с намека, в этот приезд был особенно мил, и Левин заметил в нем еще новую, польстившую ему черту уважения и как будто нежности к себе. Старания Агафьи Михайловны и повара, чтоб обед был особенно хорош, имели своим последствием только то, что оба проголодавшиеся приятеля, подсев к закуске, 173

— Ну, я очень, очень рад тебе, — искренно улыбаясь детски-радостною улыбкою, сказал Левин.

Левин провел своего гостя в комнату для приезжих, куда и были внесены вещи Степана Аркадьича: мешок, ружье в чехле, сумка для сигар, и, оставив его умываться и переодеваться, сам пока прошел в контору сказать о пахоте и клевере. Агафья Михайловна, всегда очень озабоченная честью дома, встретила его в передней вопросами пасчет обеда.

— Как хотите делайте, только поскорей, — сказал он и пошел к приказчику.

Когда он вернулся, Степан Аркадьич, вымытый, расчесанный и сияя улыбкой, выходил из своей двери, и они вместе пошли наверх.

— Ну, как я рад, что добрался до тебя! Теперь я пойму, в чем состоят те таинства, которые ты тут совершаешь. Но нет, право, я завидую тебе. Какой дом, как славно все! Светло, весело! — говорил Степан Аркадьич, забывая, что не всегда бывает весна и ясные дни, как нынче. — И твоя нянюшка какая прелесть! Желательнее было бы хорошенькую горничную в фартучке; но с твоим монашеством и строгим стилем — это очень хорошо.

Степан Аркадьич рассказал много интересных новостей и в особенности интересную для Левина новость, что брат его Сергей Иванович собирался на нынешнее лето к нему в деревню.

Ни одного слова Степан Аркадьич не сказал про Кити и вообще Щербацких; только передал поклон жены. Левин был ему благодарен за его деликатность и был очень рад гостю. Как всегда, у него за время его уединения набралось пропасть мыслей и чувств, которых он не мог передать окружающим, и теперь он изливал в Степана Аркадьича и поэтическую радость весны, и неудачи и планы хозяйства, и мысли и замечания о книгах, которые он читал, и в особенности идею своего сочинения, основу которого, хотя он сам не замечал этого, составляла критика всех старых сочинений о хозяйстве. Степан Аркадьич, всегда милый, понимающий все с намека, в этот приезд был особенно мил, и Левин заметил в нем еще новую, польстившую ему черту уважения и как будто нежности к себе.

наелись хлеба с маслом, полотка и соленых грибов, и еще то, что Левин велел подавать суп без пирожков, которыми повар хотел особенно удивить гостя. Но Степан Аркадьич, хотя и привыкший к другим обедам, все находил превосходным; и травник, и хлеб, п масло, и особенно полоток, и грибки, и крапивные щи, и курица иод белым соусом, и белое крымское вино — все было превосходно и чудесно. — Отлично, отлично, — говорил он, закуривая толстую папиросу после яшркого. — Як тебе точно с парохода после шума и тряски на тихий берег вышел. Так ты говоришь, что самый элемент рабочего должен быть изучаем и руководить в выборе приемов хозяйства. Я ведь в этом профан; но мне кажется, что теория и приложение ее будет иметь влияние и на рабочего. — Да, но постой: я говорю не о политической экономии, я говорю о науке хозяйства. Она должна быть как естественные науки и наблюдать данные явления и рабочего с его экономическим, этнографическим... В это время вошла Агафья Михайловна с вареньем. — Ну, Агафья Михайловна, — сказал ей Степан Аркадьич, целуя кончики своих пухлых пальцев, — какой полоток у вас, какой травничок!.. А что, не пора ли, Костя? — прибавил он. Левин взглянул в окно на спускавшееся за оголенные макуши леса солнце. — Пора, пора, — • сказал он. — Кузьма, закладывать линейку! — и побежал вниз. Степан Аркадьич, сойдя вниз, сам аккуратно снял парусинный чехол с лакированного ящика и, отворив его, стал собирать свое дорогое, нового фасона ружье. Кузьма, уже чуявший большую дачу на водку, не отходил от Степана Аркадыіча и надевал ему и чулки и сапоги, что Степан Аркадьич охотно предоставлял ему делать. — Прикажи, Костя, если приедет Рябинин-купец — я ему велел нынче приехать, — принять и подождать... — А ты разве Рябинину продаешь лес? — Да. Ты разве знаешь его? — Как же, знаю. Я с ним имел дела «положительно и окончательно». Степан Аркадьич засмеялся. «Окончательно и положительно» были любимые слова купца. — Да, он удивительно смешно говорит. Поняла, куда хозяин идет! — прибавил он, потрепав рукой Ласку, ко174

наелись хлеба с маслом, полотка и соленых грибов, и еще то, что Левин велел подавать суп без пирожков, которыми повар хотел особенно удивить гостя. Но Степан Аркадьич, хотя и привыкший к другим обедам, все находил превосходным; и травник, и хлеб, и масло, и особенно полоток, и грибки, и крапивные щи, и курица под белым соусом, и белое крымское вино — все было превосходно и чудесно.

— Отлично, отлично, — говорил он, закуривая толстую папиросу после жаркого. — Я к тебе точно с парохода после шума и тряски на тихий берег вышел. Так ты говоришь, что самый элемент рабочего должен быть изучаем и руководить в выборе приемов хозяйства. Я ведь в этом профан; но мне кажется, что теория и приложение ее будет иметь влияние и на рабочего.

— Да, но постой: я говорю не о политической экономии, я говорю о науке хозяйства. Она должна быть как естественные науки и наблюдать данные явления и рабочего с его экономическим, этнографическим...

В это время вошла Агафья Михайловна с вареньем.

— Ну, Агафья Михайловна, — сказал ей Степан Аркадьич, целуя кончики своих пухлых пальцев, — какой полоток у вас, какой травничок!.. А что, не пора ли, Костя? — прибавил он.

Левин взглянул в окно на спускавшееся за оголенные макуши леса солнце.

— Пора, пора, — сказал он. — Кузьма, закладывать линейку! — и побежал вниз.

Степан Аркадьич, сойдя вниз, сам аккуратно снял парусинный чехол с лакированного ящика и, отворив его, стал собирать свое дорогое, нового фасона ружье. Кузьма, уже чуявший большую дачу на водку, не отходил от Степана Аркадьича и надевал ему и чулки и сапоги, что Степан Аркадьич охотно предоставлял ему делать.

— Прикажи, Костя, если приедет Рябинин-купец — я ему велел нынче приехать, — принять и подождать...

— А ты разве Рябинину продаешь лес?

— Да. Ты разве знаешь его?

— Как же, знаю. Я с ним имел дела «положительно и окончательно».

Степан Аркадьич засмеялся. «Окончательно и поло-

торая, подвизгивая, вилась около Левина и лизала то его руку, то его сапоги и ружье. Долгуша стояла уже у крыльца, когда они вышли. — Я велел заложить, хотя недалеко; а то пешком пройдем? — Нет, лучше поедем, — сказал Степан Аркадьич, подходя к долгуше. Он сел, обвернул себе ноги тигровым пледом и закурил сигару. — Как это ты не куришь! Сигара — это такое не то что удовольствие, а венец и признак удовольствия. Вот это жизнь! Как хорошо! Вот бы как я желал жить! — Да кто же тебе мешает? — улыбаясь, сказал Левин— Нет, ты счастливый человек. Все, что ты любишь, у тебя есть. Лошадей любишь — есть, собаки — есть, охота — есть, хозяйство — есть. — Может быть, оттого, что я радуюсь тому, что у меня есть, и не тужу о том, чего нету, — сказал Левин, вспомнив о Кити. Степан Аркадьич понял, поглядел на него, но ничего не сказал. Левин был благодарен Облонскому за то, что тот со своим всегдашним тактом, заметив, что Левин боялся разговора о Щербацких, ничего не говорил о них; но теперь Левину уже хотелось узнать то, что его так мучало, по он не смел заговорить. — Ну что, твои дела как? — сказал Левин, подумав о том, как нехорошо с его стороны думать только о себе. Глаза Степана Аркадыіча весело заблестели. — Ты ведь не признаешь, чтобы можно было любить калачи, когда есть отсыпной паек, — по-твоему, это преступление; а я не признаю жизни без любви, — сказал он, поняв по-своему вопрос Левина. — Что ж делать, я так сотворен. И право, так мало делается этим кому-нибудь зла, а себе столько удовольствия... — Что ж, или новое что-нибудь? — спросил Левин. — Есть, брат! Вот видишь ли, ты знаешь тип женіцин оссиановских... женщин, которых видишь во сне... Вот эти женщины бывают наяву... и эти женщины ужасны. Ніенщина, видишь ли, это такой предмет, что, сколько ты ни изучай ее, все будет совершенно новое. — Так уж лучше не изучать. — Нет. Какой-то математик сказал, что наслаждение не в открытии истины, но в искании ее. 175

торая, подвизгивая, вилась около Левина и лизала то его руку, то его сапоги и ружье.

Долгуша стояла уже у крыльца, когда они вышли.

— Я велел заложить, хотя недалеко; а то пешком пройдем?

— Нет, лучше поедем, — сказал Степан Аркадьич, подходя к долгуше. Он сел, обвернул себе ноги тигровым пледом и закурил сигару. — Как это ты не куришь! Сигара — это такое не то что удовольствие, а венец и признак удовольствия. Вот это жизнь! Как хорошо! Вот бы как я желал жить!

— Да кто же тебе мешает? — улыбаясь, сказал Левин.

— Нет, ты счастливый человек. Все, что ты любишь, у тебя есть. Лошадей любишь — есть, собаки — есть, охота — есть, хозяйство — есть.

— Может быть, оттого, что я радуюсь тому, что у меня есть, и не тужу о том, чего нету, — сказал Левин, вспомнив о Кити.

Степан Аркадьич понял, поглядел на него, но ничего не сказал.

Левин был благодарен Облонскому за то, что тот со своим всегдашним тактом, заметив, что Левин боялся разговора о Щербацких, ничего не говорил о них; но теперь Левину уже хотелось узнать то, что его так мучало, но он не смел заговорить.

— Ну что, твои дела как? — сказал Левин, подумав о том, как нехорошо с его стороны думать только о себе.

Глаза Степана Аркадьича весело заблестели.

— Ты ведь не признаешь, чтобы можно было любить калачи, когда есть отсыпной паек, — по-твоему, это преступление; а я не признаю жизни без любви, — сказал он, поняв по-своему вопрос Левина. — Что ж делать, я так сотворен. И право, так мало делается этим кому-нибудь зла, а себе столько удовольствия...

— Что ж, или новое что-нибудь? — спросил Левин.

— Есть, брат! Вот видишь ли, ты знаешь тип женщин оссиановских... женщин, которых видишь во сне... Вот эти женщины бывают наяву... и эти женщины ужасны. Женщина, видишь ли, это такой предмет, что, сколько ты ни изучай ее, все будет совершенно новое

Левин слушал молча, и, несмотря на все усилия, которые он делал над собой, он никак не мог перенестись в душу своего приятеля и понять его чувства и прелести изучения таких женш,ин. XV Место тяги было недалеко над речкой в мелком осиннике. Подъехав к лесу, Левин слез и провел Облонского на угол мшистой и топкой полянки, уже освободившейся от снега. Сам он вернулся на другой край к двойняшкеберезе и, прислонив ружье к развилине сухого нижнего сучка, снял кафтан, перепоясался и попробовал свободы движений рук. Старая, седая Ласка, ходившая за ними следом, села остороя^но против него и насторожила уши. Солнце спускалось за крупный лес; и на свете зари березки, рассыпанные по осиннику, отчетливо рисовались своими висяпі,ими ветвями с надутыми, готовыми лопнуть почками. Из частого лесу, где оставался еще снег, чуть слышно текла еще извилистыми узкими ручейками вода. Мелкие птицы щебетали и изредка пролетали с дерева на дерево. В промежутках совершенной тишины слышен был шорох прошлогодних листьев, шевелившихся от таянья земли и от росту трав. «Каково! Слышно и видно, как трава растет!» — сказал себе Левин, заметив двинувшийся грифельного цвета мокрый осиновый лист подле иглы молодой травы. Он стоял, слушал и глядел вниз, то на мокрую мшистую землю, то на прислушивающуюся Ласку, то на расстилавшееся пред ним под горою море оголенных макуш леса, то на подернутое белыми полосками туч тускневшее небо. Ястреб, неспешно махая крыльями, пролетел высоко над дальним лесом; другой точно так же пролетел в том же направлении и скрылся. Птицы все громче и хлопотливее щебетали в чаще. Недалеко заухал филин, и Ласка, вздрогнув, переступила остороящо несколько шагов и, склонив набок голову, стала прислушиваться. Из-за речки послышалась кукушка. Ѳна два раза прокуковала обычным криком, а потом захрипела, заторопилась и запуталась. — Каково! уж кукушка! — сказал Степан Аркадьич, выходя из-за куста, 176

Левин слушал молча, и, несмотря на все усилия, которые он делал над собой, он никак не мог перенестись в душу своего приятеля и понять его чувства и прелести изучения таких женщин.

XV

Место тяги было недалеко над речкой в мелком осиннике. Подъехав к лесу, Левин слез и провел Облонского на угол мшистой и топкой полянки, уже освободившейся от снега. Сам он вернулся на другой край к двойняшке-березе и, прислонив ружье к развилине сухого нижнего сучка, снял кафтан, перепоясался и попробовал свободы движений рук.

Старая, седая Ласка, ходившая за ними следом, села осторожно против него и насторожила уши. Солнце спускалось за крупный лес; и на свете зари березки, рассыпанные по осиннику, отчетливо рисовались своими висящими ветвями с надутыми, готовыми лопнуть почками.

Из частого лесу, где оставался еще снег, чуть слышно текла еще извилистыми узкими ручейками вода. Мелкие птицы щебетали и изредка пролетали с дерева на дерево.

В промежутках совершенной тишины слышен был шорох прошлогодних листьев, шевелившихся от таянья земли и от росту трав.

«Каково! Слышно и видно, как трава растет!» — сказал себе Левин, заметив двинувшийся грифельного цвета мокрый осиновый лист подле иглы молодой травы. Он стоял, слушал и глядел вниз, то на мокрую мшистую землю, то на прислушивающуюся Ласку, то на расстилавшееся пред ним под горою море оголенных макуш леса, то на подернутое белыми полосками туч тускневшее небо. Ястреб, неспешно махая крыльями, пролетел высоко над дальним лесом; другой точно так же пролетел в том же направлении и скрылся. Птицы все громче и хлопотливее щебетали в чаще. Недалеко заухал филин, и Ласка, вздрогнув, переступила осторожно несколько шагов и, склонив набок голову, стала прислушиваться. Из-за речки послышалась кукушка. Она два раза прокуковала обычным криком, а потом захрипела, заторопи-

— Да, я слышу, — отвечал Левин, с неудовольствием нарушая тишину леса своим неприятным самому себе голосом. — Теперь скоро. Фигура Степана Аркадыіча опять зашла за куст, и Левин видел только яркий огонек спички, вслед за тем заменившийся красным углем папиросы и синим дымком. Чик! Чик! — щ;елкнули взводимые Степаном Аркадьичем курки. — А это что кричит? — спросил Облонский, обраш;ая внимание Левина на протяжное гуканье, как будто тонким голоском, шаля, ржал жеребенок. — А, это не знаешь? Это заяц-самец. Да будет говорить! Слушай, летит! — почти вскрикнул Левин, взводя курки. Послышался дальний, тонкий свисток и, ровно в тот обычный такт, столь знакомый охотнику, через две секунды, — другой, третий, и за третьим свистком уже слышно стало хорканье. Левин кинул глазами направо, палево, и вот пред ним на мутно-голубом небе, над слпваюш;имися неяшыми побегами макушек осин показалась летяш;ая птица. Она летела прямо на него: близкие звуки хорканья, похожие на равномерное наддирание тугой ткани, раздались над самым ухом; уже виден стал длинный нос и шея птицы, и в ту минуту, как Левин приложился, из-за куста, где стоял Облонский, блеснула красная молния; птица, как стрела, спустилась и взмыла опять кверху. Опять блеснула молния, и послышался удар; и, трепля крыльями, как бы стараясь удержаться на воздухе, птица остановилась, постояла мгновенье и тяжело шлепнулась о топкую землю. — Неужели промах? — крикнул Степан Аркадьич, которому из-за дыму не видно было. — Вот он! — сказал Левин, указывая на Ласку, которая, подняв одно ухо и высоко махая кончиком пушистого хвоста, тихим шагом, как бы желая продлить удовольствие и как бы улыбаясь, подносила убитую птицу к хозяину. — Ну, я рад, что тебе удалось, — сказал Левин, вместе с тем уже испытывая чувство зависти, что не ему удалось убить этого вальдшнепа. — Скверный промах из правого ствола, — отвечал Степан Аркадьич, заряжая ружье. — Шш... летит. Действительно, послышались пронзительные, быстро следовавшие один за другим свистки, Два вальдшнепа, 177

— Да, я слышу, — отвечал Левин, с неудовольствием нарушая тишину леса своим неприятным самому себе голосом. — Теперь скоро.

Фигура Степана Аркадьича опять зашла за куст, и Левин видел только яркий огонек спички, вслед за тем заменившийся красным углем папиросы и синим дымком.

Чик! Чик! — щелкнули взводимые Степаном Аркадьичем курки.

— А это что кричит? — спросил Облонский, обращая внимание Левина на протяжное гуканье, как будто тонким голоском, шаля, ржал жеребенок.

— А, это не знаешь? Это заяц-самец. Да будет говорить! Слушай, летит! — почти вскрикнул Левин, взводя курки.

Послышался дальний, тонкий свисток и, ровно в тот обычный такт, столь знакомый охотнику, через две секунды, — другой, третий, и за третьим свистком уже слышно стало хорканье.

Левин кинул глазами направо, налево, и вот пред ним на мутно-голубом небе, над сливающимися нежными побегами макушек осин показалась летящая птица. Она летела прямо на него: близкие звуки хорканья, похожие на равномерное наддирание тугой ткани, раздались над самым ухом; уже виден стал длинный нос и шея птицы, и в ту минуту, как Левин приложился, из-за куста, где стоял Облонский, блеснула красная молния; птица, как стрела, спустилась и взмыла опять кверху. Опять блеснула молния, и послышался удар; и, трепля крыльями, как бы стараясь удержаться на воздухе, птица остановилась, постояла мгновенье и тяжело шлепнулась о топкую землю.

— Неужели промах? — крикнул Степан Аркадьич, которому из-за дыму не видно было.

— Вот он! — сказал Левин, указывая на Ласку, которая, подняв одно ухо и высоко махая кончиком пушистого хвоста, тихим шагом, как бы желая продлить удовольствие и как бы улыбаясь, подносила убитую птицу к хозяину. — Ну, я рад, что тебе удалось, — сказал Левин, вместе с тем уже испытывая чувство зависти, что не ему удалось убить этого вальдшнепа.

— Скверный промах из правого ствола, — отвечал

играя и догоняя друг друга и только свистя, а не хоркая, налетели на самые головы охотников. Раздались четыре выстрела, и, как ласточки, вальдшнепы дали быстрый заворот и исчезли из виду. Тяга была прекрасная. Степан Аркадьич убил еще две штуки, и Левин двух, из которых одного не нашел. Стало темнеть. Ясная серебряная Венера низко на западе уже сияла из-за березок своим нежным блеском, и высоко на востоке уя^е переливался своими красными огнями мрачный Арктурус. Над головой у себя Левин ловил и терял звезды Медведицы. Вальдшнепы уже перестали летать: но Левин решил подождать еще, пока видная ему ния^е сучка березы Венера перейдет выше его и когда ясны будут везде звезды Медведицы. Венера перешла уже выше сучка, колесница Медведицы с своим дышлом была уже вся видна на темно-синем небе, но он все еще ждал. — Не пора ли? — сказал Степан Аркадьич. В лесу уже было тихо, и ни одна птичка не шевелилась. — Постоим еще, — отвечал Левин. — Как хочешь. Они стояли теперь шагах в пятнадцати друг от друга. — Стива! — вдруг неожиданно сказал Левин, — что ж ты мне не скажешь, вышла твоя свояченица замуж или когда выходит? Левин чувствовал себя столь твердым и спокойным, что никакой ответ, он думал, не мог бы взволновать его. Но он никак не оя^идал того, что отвечал Степан Аркадьич. — И не думала и не думает выходить замуя<, а она очень больна, и доктора послали ее за границу. Даже боятся за ее жизнь. — Что ты! — вскрикнул Левин. — Очень больна? Что же с ней? Как она... В то время, как они говорили это. Ласка, насторожив уши, оглядывалась и вверх на небо и укоризненно на них. «Вот нашли время разговаривать, — думала она. — Летит... Вот он, так и есть. Прозевают...», — думала Ласка. Но в это самое мгновенье оба вдруг услыхали пронзительный свист, который как будто стегнул их по уху^ и 178

играя и догоняя друг друга и только свистя, а не хоркая, налетели на самые головы охотников. Раздались четыре выстрела, и, как ласточки, вальдшнепы дали быстрый заворот и исчезли из виду.

. . . . . .

Тяга была прекрасная. Степан Аркадьич убил еще две штуки, и Левин двух, из которых одного не нашел. Стало темнеть. Ясная серебряная Венера низко на западе уже сияла из-за березок своим нежным блеском, и высоко на востоке уже переливался своими красными огнями мрачный Арктурус. Над головой у себя Левин ловил и терял звезды Медведицы. Вальдшнепы уже перестали летать: но Левин решил подождать еще, пока видная ему ниже сучка березы Венера перейдет выше его и когда ясны будут везде звезды Медведицы. Венера перешла уже выше сучка, колесница Медведицы с своим дышлом была уже вся видна на темно-синем небе, но он все еще ждал.

— Не пора ли? — сказал Степан Аркадьич.

В лесу уже было тихо, и ни одна птичка не шевелилась.

— Постоим еще, — отвечал Левин.

— Как хочешь.

Они стояли теперь шагах в пятнадцати друг от друга.

— Стива! — вдруг неожиданно сказал Левин, — что ж ты мне не скажешь, вышла твоя свояченица замуж или когда выходит?

Левин чувствовал себя столь твердым и спокойным, что никакой ответ, он думал, не мог бы взволновать его. Но он никак не ожидал того, что отвечал Степан Аркадьич.

— И не думала и не думает выходить замуж, а она очень больна, и доктора послали ее за границу. Даже боятся за ее жизнь.

— Что ты! — вскрикнул Левин. — Очень больна? Что же с ней? Как она...

В то время, как они говорили это, Ласка, насторожив уши, оглядывалась и вверх на небо и укоризненно на них.

«Вот нашли время разговаривать, — думала она. —

оба вдруг схватились за ружья, и две молнии блеснули, и два удара раздались в одно и то же мгновение. Высоко летевший вальдшнеп мгновенно сложил крылья и упал в чап],у, пригибая тонкие побеги. — Вот отлично! Общий! — вскрикнул Левин и побежал с Лаской в чащу отыскивать вальдшнепа. «Ах да, о чем это неприятно было? — вспоминал он. — Да, больна Кити... Что ж делать, очень жаль», — думал он. — А, нашла! Вот умница, — сказал он, вынимая изо рта Ласки теплую птицу и кладя ее в полный почти ягдташ. — Нашел, Стива! — крикнул он. XVI Возвращаясь домой, Левин расспросил все подробности о болезни Кити и планах Щербацких, и, хотя ему совестно бы было признаться в этом, то, что он узнал, было приятно ему. Приятно и поэтому, что была еще надежда, и еще более приятно потому, что больно было ей, той, которая сделала ему так больно. Но когда Степан Аркадыіч начал говорить о причинах болезни Кити и упомянул имя Вронского, Левин перебил его: — Я не имею никакого права знать семейные подробности, по правде сказать, и никакого интереса. Степан Аркадьич чуть заметно улыбнулся, уловив мгновенную и столь знакомую ему перемену в лице Левина, сделавшегося столь же мрачным, сколько он был весел минуту тому назад. — Ты уже совсем кончил о лесе с Рябининым? — спросил Левин. — Да, кончил. Цена прекрасная, тридцать восемь тысяч. Восемь вперед, а остальные на шесть лет. Я долго с этим возился. Никто больше не давал. — Это значит, ты даром отдал лес, -- мрачно сказал Левин. — То есть почему же даром? — с добродушною улыбкой сказал Степан Аркадьич, зная, что теперь все будет нехорошо для Левина. — Потому, что лес стоит по крайней мере пятьсот рублей за десятину, — отвечал Левин. — Ах, эти мне сельские хозяева! — шутливо сказал Степан Аркадьич. — Этот ваш тон презрения к нашему брату городским!,, А как дело сделать, так мы лучше 179

оба вдруг схватились за ружья, и две молнии блеснули, и два удара раздались в одно и то же мгновение. Высоко летевший вальдшнеп мгновенно сложил крылья и упал в чащу, пригибая тонкие побеги.

— Вот отлично! Общий! — вскрикнул Левин и побежал с Лаской в чащу отыскивать вальдшнепа. «Ах да, о чем это неприятно было? — вспоминал он. — Да, больна Кити... Что ж делать, очень жаль», — думал он.

— А, нашла! Вот умница, — сказал он, вынимая изо рта Ласки теплую птицу и кладя ее в полный почти ягдташ. — Нашел, Стива! — крикнул он.

XVI

Возвращаясь домой, Левин расспросил все подробности о болезни Кити и планах Щербацких, и, хотя ему совестно бы было признаться в этом, то, что он узнал, было приятно ему. Приятно и поэтому, что была еще надежда, и еще более приятно потому, что больно было ей, той, которая сделала ему так больно. Но когда Степан Аркадьич начал говорить о причинах болезни Кити и упомянул имя Вронского, Левин перебил его:

— Я не имею никакого права знать семейные подробности, по правде сказать, и никакого интереса.

Степан Аркадьич чуть заметно улыбнулся, уловив мгновенную и столь знакомую ему перемену в лице Левина, сделавшегося столь же мрачным, сколько он был весел минуту тому назад.

— Ты уже совсем кончил о лесе с Рябининым? — спросил Левин.

— Да, кончил. Цена прекрасная, тридцать восемь тысяч. Восемь вперед, а остальные на шесть лет. Я долго с этим возился. Никто больше не давал.

— Это значит, ты даром отдал лес, — мрачно сказал Левин.

— То есть почему же даром? — с добродушною улыбкой сказал Степан Аркадьич, зная, что теперь все будет нехорошо для Левина.

— Потому, что лес стóит по крайней мере пятьсот рублей за десятину, — отвечал Левин.

всегда сделаем. Поверь, что я все расчел, — сказал он, — и лес очень выгодно продан, так что я боюсь, как бы тот не отказался даже. Ведь это не обидной лес, — сказал Степан Аркадьич, желая этим словом обидной совсем убедить Левина в несправедливости его сомнений, — а дровяной больше. И станет не больше тридцати сажен на десятину, а он дал мне по двести рублей. Левин презрительно улыбнулся. «Знаю, — подумал он, — эту манеру не одного его, но и всех городских жителей, которые, побывав раза два в десять лет в деревне п заметив два-три слова деревенские, употребляют их кстати и некстати, твердо уверенные, что они уже все знают. Обидной, станет тридцать сажен. Говорит слова, а сам ничего не понимает». — Я не стану тебя учить тому, что ты там такое пишешь в своем присутствии, — сказал он, — а если мне нужно, то спрошу у тебя. А ты так уверен, что ты понимаешь всю эту грамоту о лесе. Она трудная. Счел ли ты деревья? — Как счесть деревья? — смеясь, сказал Степан Аркадьич, все желая вывести приятеля из его дурного расположения духа. — Сочесть пески, лучи планет хотя и мог бы ум высокий... — Ну да, а ум высокий Рябинина может. И ни один купец не купит не считая, если ему не отдают даром, как ты. Твой лес я знаю. Я каждый год там бываю на охоте, и твой лес стоит пятьсот рублей чистыми деньгами, а он тебе дал двести в рассрочку. Значит, ты ему подарил тысяч тридцать. — Ну, полно увлекаться, — жалостно сказал Степан Аркадьич, — отчего же никто не давал? — Оттого, что у него стачки с купцами: он дал отступного. Я со всеми ими имел дела, я их знаю. Ведь это не купцы, а барышники. Он и не пойдет на дело, где ему предстоит десять, пятнадцать процентов, а он ждет, чтобы купить за двадцать копеек рубль. — Ну, полно! Ты не в духе. — Нисколько, — мрачно сказал Левин, когда они подъезжали к дому. У крыльца уже стояла туго обтянутая железом и кожей тележка с туго запряженною широкими гужами сытою лошадью. В тележке сидел туго налитой кровью и туго подпоясанный приказчик, служивший кучером Рябинину. Сам Рябинин был уже в доме и встретил приятелей в не180

всегда сделаем. Поверь, что я все расчел, — сказал он, — и лес очень выгодно продан, так что я боюсь, как бы тот не отказался даже. Ведь это не обидной лес, — сказал Степан Аркадьич, желая этим словом *обидной* совсем убедить Левина в несправедливости его сомнений, — а дровяной больше. И станет не больше тридцати сажен на десятину, а он дал мне по двести рублей.

Левин презрительно улыбнулся. «Знаю, — подумал он, — эту манеру не одного его, но и всех городских жителей, которые, побывав раза два в десять лет в деревне и заметив два-три слова деревенские, употребляют их кстати и некстати, твердо уверенные, что они уже все знают. *Обидной, станет тридцать сажен.* Говорит слова, а сам ничего не понимает».

— Я не стану тебя учить тому, что ты там такое пишешь в своем присутствии, — сказал он, — а если мне нужно, то спрошу у тебя. А ты так уверен, что ты понимаешь всю эту грамоту о лесе. Она трудная. Счел ли ты деревья?

— Как счесть деревья? — смеясь, сказал Степан Аркадьич, все желая вывести приятеля из его дурного расположения духа. — Сочесть пески, лучи планет хотя и мог бы ум высокий...

— Ну да, а ум высокий Рябинина может. И ни один купец не купит не считая, если ему не отдают даром, как ты. Твой лес я знаю. Я каждый год там бываю на охоте, и твой лес сто́ит пятьсот рублей чистыми деньгами, а он тебе дал двести в рассрочку. Значит, ты ему подарил тысяч тридцать.

— Ну, полно увлекаться, — жалостно сказал Степан Аркадьич, — отчего же никто не давал?

— Оттого, что у него стачки с купцами: он дал отступного. Я со всеми ими имел дела, я их знаю. Ведь это не купцы, а барышники. Он и не пойдет на дело, где ему предстоит десять, пятнадцать процентов, а он ждет, чтобы купить за двадцать копеек рубль.

— Ну, полно! Ты не в духе.

— Нисколько, — мрачно сказал Левин, когда они подъезжали к дому.

У крыльца уже стояла туго обтянутая железом и ко-

редней. Рябинин был высокий, худощавый человек средних лет, с усами и бритым выдающимся подбородком и выпуклыми мутными глазами. Он был одет в длиннополый синий сюртук с пуговицами ниже зада и в высоких, сморщенных на щиколках и прямых на икрах сапогах, сверх которых были надеты большие калоши. Он округло вытер платком свое лицо и, запахнув сюртук, который и без того держался очень хорошо, с улыбкой приветствовал вошедших, протягивая Степану Аркадьичу руку, как бы желая поймать что-то. — А вот и вы приехали, — сказал Степан Аркадьич, подавая ему руку. — Прекрасно. — Не осмелился ослушаться приказаний вашего сиятельства, хоть слишком дурна дорога. Положительно всю дорогу пешком шел, но явился в срок. Константину Дмитричу мое почтение, — обратился он к Левину, стараясь поймать и его руку. Но Левин, нахмурившись, делал вид, что не замечает его руки, и вынимал вальдшнепов. — Изволили потешаться охотой? Это какие, значит, птицы будут? — прибавил Рябинин, презрительно глядя на вальдшнепов, — вкус, значит, имеют. — И он неодобрительно покачал головой, как бы сильно сомневаясь в том, чтоб эта овчинка стоила выделки. — Хочешь в кабинет? — мрачно хмурясь, сказал Левин по-французски Степану Аркадьичу. — Пройдите в кабинет, вы там переговорите. — Очень молшо, куда угодно-с, — с презрительным достоинством сказал Рябинин, как бы желая дать почувствовать, что для других могут быть затруднения, как и с кем обойтись, но для него никогда и ни в чем не может быть затруднений. Войдя в кабинет, Рябинин осмотрелся по привычке, как бы отыскивая образ, но, найдя его, не перекрестился. Он оглядел шкафы и полки с книгами и с тем же сомнением, как и насчет вальдшнепов, презрительно улыбнулся и неодобрительно покачал головой, никак уже не допуская, чтоб эта овчинка могла стоить выделки. — Что ж, привезли деньги? — спросил Облонский. — Садитесь. — Мы за деньгами не постоим. Повидаться, переговорить приехал. — О чем же переговорить? Да вы садитесь. — Это можно, — сказал Рябинин, садясь и самым мучительным для себя образом облокачиваясь на спинку 181

редней. Рябинин был высокий, худощавый человек средних лет, с усами и бритым выдающимся подбородком и выпуклыми мутными глазами. Он был одет в длиннополый синий сюртук с пуговицами ниже зада и в высоких, сморщенных на щиколках и прямых на икрах сапогах, сверх которых были надеты большие калоши. Он округло вытер платком свое лицо и, запахнув сюртук, который и без того держался очень хорошо, с улыбкой приветствовал вошедших, протягивая Степану Аркадьичу руку, как бы желая поймать что-то.

— А вот и вы приехали, — сказал Степан Аркадьич, подавая ему руку. — Прекрасно.

— Не осмелился ослушаться приказаний вашего сиятельства, хоть слишком дурна дорога. Положительно всю дорогу пешком шел, но явился в срок. Константину Дмитричу мое почтение, — обратился он к Левину, стараясь поймать и его руку. Но Левин, нахмурившись, делал вид, что не замечает его руки, и вынимал вальдшнепов. — Изволили потешаться охотой? Это какие, значит, птицы будут? — прибавил Рябинин, презрительно глядя на вальдшнепов, — вкус, значит, имеют. — И он неодобрительно покачал головой, как бы сильно сомневаясь в том, чтоб эта овчинка стоила выделки.

— Хочешь в кабинет? — мрачно хмурясь, сказал Левин по-французски Степану Аркадьичу. — Пройдите в кабинет, вы там переговорите.

— Очень можно, куда угодно-с, — с презрительным достоинством сказал Рябинин, как бы желая дать почувствовать, что для других могут быть затруднения, как и с кем обойтись, но для него никогда и ни в чем не может быть затруднений.

Войдя в кабинет, Рябинин осмотрелся по привычке, как бы отыскивая образ, но, найдя его, не перекрестился. Он оглядел шкафы и полки с книгами и с тем же сомнением, как и насчет вальдшнепов, презрительно улыбнулся и неодобрительно покачал головой, никак уже не допуская, чтоб эта овчинка могла стоить выделки.

— Что ж, привезли деньги? — спросил Облонский. — Садитесь.

— Мы за деньгами не постоим. Повидаться, переговорить приехал.

кресла. — Уступить надо, князь. Грех будет. А деньги готовы окончательно, до одной копейки. За деньгами остановки не бывает. Левин, ставивший между тем ружье в шкаф, уже выходил из двери, но, услыхав слова купца, остановился. — Задаром лес взяли, — сказал он. — Поздно он ко мне приехал, а то я бы цену назначил. Рябинин встал и молча с улыбкой поглядел снизу вверх на Левина. — Оченно скупы Константин Дмитрия, — сказал он с улыбкой, обращаясь к Степану Аркадьичу, — окончательно ничего не укупишь. Торговал пшеницу, хорошие деньги давал. — Зачем мне вам свое даром давать? Я ведь не на земле нашел и не украл. — Помилуйте, по нынешнему времiо воровать положительно невозможно. Все окончательно по нынешнему времю гласное судопроизводство, все нынче благородно; а не то что воровать. Мы говорили по чести. Дорого кладут за лес, расчетов не сведешь. Прошу уступить хоть малость. — Да кончено у вас дело или нет? Если кончено, нечего торговаться, а если не кончено, — сказал Левин, — я покупаю лес. Улыбка вдруг исчезла с лица Рябинина. Ястребиное, хищное и жесткое выражение установилось на нем. Оп быстрыми костлявыми пальцами расстегнул сюртук, открыв рубаху навыпуск, медные пуговицы жилета и цепочку часов, и быстро достал толстый старый бумажник. — Пожалуйте, лес мой, — проговорил он, быстро перекрестившись и протягивая руку. — Возьми деньги, мой лес. Вот как Рябинин торгует, а не гроши считать, — заговорил он, хмурясь и размахивая бумажником. — Я бы на твоем месте не торопился, — сказал Левин. — Помилуй, — с удивлением сказал Облонский, — ведь я слово дал. Левин вышел из комнаты, хлопнув дверью. Рябинин, глядя на дверь, с улыбкой покачал головой. — Все молодость, окончательно ребячество одно. Ведь покупаю, верьте чести, так, значит, для славы одной, что вот Рябинин, а не кто другой у Облонского рощу купил. А еще как бог даст расчеты найти. Верьте богу. Пожалуйте. Условьице написать... 182

кресла. — Уступить надо, князь. Грех будет. А деньги готовы окончательно, до одной копейки. За деньгами остановки не бывает.

Левин, ставивший между тем ружье в шкаф, уже выходил из двери, но, услыхав слова купца, остановился.

— Задаром лес взяли, — сказал он. — Поздно он ко мне приехал, а то я бы цену назначил.

Рябинин встал и молча с улыбкой поглядел снизу вверх на Левина.

— Оченно скупы Константин Дмитрич, — сказал он с улыбкой, обращаясь к Степану Аркадьичу, — окончательно ничего не укупишь. Торговал пшеницу, хорошие деньги давал.

— Зачем мне вам свое даром давать? Я ведь не на земле нашел и не украл.

— Помилуйте, по нынешнему времю воровать положительно невозможно. Все окончательно по нынешнему времю гласное судопроизводство, все нынче благородно; а не то что воровать. Мы говорили по чести. Дорого кладут за лес, расчетов не сведешь. Прошу уступить хоть малость.

— Да кончено у вас дело или нет? Если кончено, нечего торговаться, а если не кончено, — сказал Левин, — я покупаю лес.

Улыбка вдруг исчезла с лица Рябинина. Ястребиное, хищное и жесткое выражение установилось на нем. Он быстрыми костлявыми пальцами расстегнул сюртук, открыв рубаху навыпуск, медные пуговицы жилета и цепочку часов, и быстро достал толстый старый бумажник.

— Пожалуйте, лес мой, — проговорил он, быстро перекрестившись и протягивая руку. — Возьми деньги, мой лес. Вот как Рябинин торгует, а не гроши считать, — заговорил он, хмурясь и размахивая бумажником.

— Я бы на твоем месте не торопился, — сказал Левин.

— Помилуй, — с удивлением сказал Облонский, — ведь я слово дал.

Левин вышел из комнаты, хлопнув дверью. Рябинин, глядя на дверь, с улыбкой покачал головой.

— Все молодость, окончательно ребячество одно. Ведь покупаю, верьте чести, так, значит, для славы одной, что

Через час купец, аккуратно запахнув свой халат и застегнув крючки сюртука, с условием в кармане сел в свою туго окованную тележку и поехал домой. — Ох, эти господа! — сказал он приказчику, — один предмет. — Это как есть, — отвечал приказчик, передавая ему вожжи и застегивая кожаный фартук. — Ас покупочкой, Михаил Игнатьич? — Ну, ну... XVII Степан Аркадьич с оттопыренным карманом серий, которые за три месяца вперед отдал ему купец, вошел наверх. Дело с лесом было кончено, деньги в кармане, тяга была прекрасная, и Степан Аркадьич находился в самом веселом расположении духа, а потому ему особенно хотелось рассеять дурное настроение, нашедшее на Левина. Ему хотелось окончить день за ужином так же приятно, как он был начат. Действительно, Левин был не в духе и, несмотря па все свое желание быть ласковым и любезным со своим милым гостем, не мог преодолеть себя. Хмель известия о том, что Кити не вышла замуж, понемногу начинал разбирать его. Кити не замужем и больна, больна от любви к человеку, который пренебрег ею. Это оскорбление как будто падало на него. Вронский пренебрег ею, а она пренебрегла им, Левиным. Следовательно, Вронский имел право презирать Левина и потому был его враг. Но этого всего пе думал Левин. Он смутно чувствовал, что в этом что-то есть оскорбительное для него, и сердился теперь не на то, что расстроило его, а придирался ко всему, что представлялось ему. Глупая продажа леса, обман, на который попался Облонский и который совершился у него в доме, раздражал его. — Ну, кончил? — сказал он, встречая наверху Степана Аркадьича. — Хочешь ужинать? — - Да, не откажусь. Какой аппетит у меня в деревне, чудо! Что ж ты Рябинину не предложил поесть? — А, черт с ним! — Однако как ты обходишься с ним! — сказал Облонский. Ты и руки ему не подал, OiHQrp же не подать ему руки? 183

Через час купец, аккуратно запахнув свой халат и застегнув крючки сюртука, с условием в кармане сел в свою туго окованную тележку и поехал домой.

— Ох, эти господа! — сказал он приказчику, — один предмет.

— Это как есть, — отвечал приказчик, передавая ему вожжи и застегивая кожаный фартук. — А с покупочкой, Михаил Игнатьич?

— Ну, ну...

XVII

Степан Аркадьич с оттопыренным карманом серий, которые за три месяца вперед отдал ему купец, вошел наверх. Дело с лесом было кончено, деньги в кармане, тяга была прекрасная, и Степан Аркадьич находился в самом веселом расположении духа, а потому ему особенно хотелось рассеять дурное настроение, нашедшее на Левина. Ему хотелось окончить день за ужином так же приятно, как он был начат.

Действительно, Левин был не в духе и, несмотря на все свое желание быть ласковым и любезным со своим милым гостем, не мог преодолеть себя. Хмель известия о том, что Кити не вышла замуж, понемногу начинал разбирать его.

Кити не замужем и больна, больна от любви к человеку, который пренебрег ею. Это оскорбление как будто падало на него. Вронский пренебрег ею, а она пренебрегла им, Левиным. Следовательно, Вронский имел право презирать Левина и потому был его враг. Но этого всего не думал Левин. Он смутно чувствовал, что в этом что-то есть оскорбительное для него, и сердился теперь не на то, что расстроило его, а придирался ко всему, что представлялось ему. Глупая продажа леса, обман, на который попался Облонский и который совершился у него в доме, раздражал его.

— Ну, кончил? — сказал он, встречая наверху Степана Аркадьича. — Хочешь ужинать?

— Да, не откажусь. Какой аппетит у меня в деревне, чудо! Что ж ты Рябинину не предложил поесть?

— А, черт с ним!

— Оттого, что я лакею не подам руку, а лакей во сто раз лучше. — Какой ты, однако, ретроград! А слияние сословий? — сказал Облонский. — Кому приятно сливаться — на здоровье, а мне противно. — Ты, я вижу, решительно ретроград. — Право, я никогда не думал, кто я. Я — Константин Левин, больше ничего. — И Константин Левин, который очень не в духе, — улыбаясь, сказал Степан Аркадьич. — Да, я не в духе, и знаешь отчего? От, извини меня, твоей глупой продажи... Степан Аркадьич добродушно сморщился, как человек, которого безвинно обижают и расстраивают. — Ну, полно! — сказал он. — Когда бывало, чтобы кто-нибудь что-нибудь продал и ему бы не сказали сейчас же после продажи: «Это гораздо дороже стоит»? А покуда продают, никто не дает... Нет, я вижу, у тебя есть зуб против этого несчастного Рябинина. — Может быть, и есть. А ты знаешь за что? Ты скажешь опять, что я ретроград, или еще какое страшное слово; но все-таки мне досадно и обидно видеть это со всех сторон совершающееся обеднение дворянства, к которому я принадлежу, и, несмотря на слияние сословий, очень рад, что принадлежу. И обеднение не вследствие роскоши — это бы ничего; прожить по-барски — это дворянское дело, это только дворяне умеют. Теперь мужики около нас скупают землрі, — мне не обидно. Барин ничего не делает, мужик работает и вытесняет праздного человека. Так должно быть. И я очень рад мужику. Но мне обидно смотреть на это обеднение по какой-то, не знаю как назвать, невинности. Тут арендатор-поляк купил за полцены у барыни, которая живет в Ницце, чудесное имение. Тут отдают купцу в аренду за рубль десятину земли, которая стоит десять рублей. Тут ты безо всякой причины подарил этому плуту тридцать тысяч. — Так что же? считать каждое дерево? — Непременно считать. А вот ты не считал, а Рябипип считал. У детей Рябинина будут средства к жизни и образованию, а у твоих, пожалуй, не будет! — Ну, уж извини меня, но есть что-то мизерное в этом считанье. У нас свои занятия, у них свои, и им надо барыши. Ну, впрочем, дело сделано, и конец. А вот 184

— Оттого, что я лакею не подам руку, а лакей во сто раз лучше.

— Какой ты, однако, ретроград! А слияние сословий? — сказал Облонский.

— Кому приятно сливаться — на здоровье, а мне противно.

— Ты, я вижу, решительно ретроград.

— Право, я никогда не думал, кто я. Я — Константин Левин, больше ничего.

— И Константин Левин, который очень не в духе, — улыбаясь, сказал Степан Аркадьич.

— Да, я не в духе, и знаешь отчего? От, извини меня, твоей глупой продажи...

Степан Аркадьич добродушно сморщился, как человек, которого безвинно обижают и расстраивают.

— Ну, полно! — сказал он. — Когда бывало, чтобы кто-нибудь что-нибудь продал и ему бы не сказали сейчас же после продажи: «Это гораздо дороже стоит»? А покуда продают, никто не дает... Нет, я вижу, у тебя есть *зуб* против этого несчастного Рябинина.

— Может быть, и есть. А ты знаешь за что? Ты скажешь опять, что я ретроград, или еще какое страшное слово; но все-таки мне досадно и обидно видеть это со всех сторон совершающееся обеднение дворянства, к которому я принадлежу, и, несмотря на слияние сословий, очень рад, что принадлежу. И обеднение не вследствие роскоши — это бы ничего; прожить по-барски — это дворянское дело, это только дворяне умеют. Теперь мужики около нас скупают земли, — мне не обидно. Барин ничего не делает, мужик работает и вытесняет праздного человека. Так должно быть. И я очень рад мужику. Но мне обидно смотреть на это обеднение по какой-то, не знаю как назвать, невинности. Тут арендатор-поляк купил за полцены у барыни, которая живет в Ницце, чудесное имение. Тут отдают купцу в аренду за рубль десятину земли, которая стоит десять рублей. Тут ты безо всякой причины подарил этому плуту тридцать тысяч.

— Так что же? считать каждое дерево?

— Непременно считать. А вот ты не считал, а Рябинин считал. У детей Рябинина будут средства к жизни и образованию, а у твоих, пожалуй, не будет!

и глазунья, самая моя любимая яичница. И Агафья Михайловна даст нам этого травничку чудесного... Степан Аркадьич сел к столу и начал шутить с Агафьей Михайловной, уверяя ее, что такого обеда и ужина он давно не ел. — Вот вы хоть похвалите, — ■ сказала Агафья Михайловна, — а Константин Дмитрия, что ему ни подай, хоть хлеба корку, — поел и пошел. Как ни старался Левин преодолеть себя, он был мрачен и молчалив. Ему нужно было сделать один вопрос Степану Аркадьичу, но он не мог решиться и не находил ни формы, ни времени, как и когда его сделать. Степан Аркадьич уже сошел к себе вниз, разделся, опять умылся, облекся в гофрированную ночную рубашку и лег, а Левин все медлил у него в комнате, говоря о разных пустяках и не будучи в силах спросить, что хотел. — Как это удивительно делают мыло, — сказал он, оглядывая и развертывая душистый кусок мыла, который для гостя приготовила Агафья Михайловна, но который Облонский не употреблял. — Ты посмотри, ведь это произведение искусства. — Да, до всего дошло теперь всякое усовершенствование, — сказал Степан Аркадьич, влажно и блаженно зевая. — Театры, например, и эти увеселительные... а-а-а! — зевал он. — Электрический свет везде... а-а! — Да, электрический свет, — сказал Левин. — Да. Иу, а где Вронский теперь? — спросил он вдруг, положив мыло. — Вронский? — сказал Степан Аркадьич, остановив зевоту, — ои в Петербурге. Уехал вскоре после тебя и затем ни разу не был в Москве. И знаешь, Костя, я тебе правду скажу, •— продолжал он, облокотившись на стол и положив на руку свое красивое румяное лицо, из которого светилось, как звезды, масленые, добрые и сонные глаза. — Ты сам был виноват. Ты испугался соперника. А я, как и тогда тебе говорил, — я не знаю, на чьей стороне было более шансов. Отчего ты не шел напролом? Я тебе говорил тогда, что... — Он зевнул одними челюстями, не раскрывая рта. «Знает он или не знает, что я делал предложение? — подумал Левин, глядя на пего. — Да, что-то есть хитрое, дипломатическое в нем», — и, чувствуя, что краснеет, он молча смотрел прямо в глаза Степана Аркадьича^ 185

и глазунья, самая моя любимая яичница. И Агафья Михайловна даст нам этого травничку чудесного...

Степан Аркадьич сел к столу и начал шутить с Агафьей Михайловной, уверяя ее, что такого обеда и ужина он давно не ел.

— Вот вы хоть похва́лите, — сказала Агафья Михайловна, — а Константин Дмитрич, что ему ни подай, хоть хлеба корку, — поел и пошел.

Как ни старался Левин преодолеть себя, он был мрачен и молчалив. Ему нужно было сделать один вопрос Степану Аркадьичу, но он не мог решиться и не находил ни формы, ни времени, как и когда его сделать. Степан Аркадьич уже сошел к себе вниз, разделся, опять умылся, облекся в гофрированную ночную рубашку и лег, а Левин все медлил у него в комнате, говоря о разных пустяках и не будучи в силах спросить, что хотел.

— Как это удивительно делают мыло, — сказал он, оглядывая и развертывая душистый кусок мыла, который для гостя приготовила Агафья Михайловна, но который Облонский не употреблял. — Ты посмотри, ведь это произведение искусства.

— Да, до всего дошло теперь всякое усовершенствование, — сказал Степан Аркадьич, влажно и блаженно зевая. — Театры, например, и эти увеселительные... а-а-а! — зевал он. — Электрический свет везде... а-а!

— Да, электрический свет, — сказал Левин. — Да. Ну, а где Вронский теперь? — спросил он вдруг, положив мыло.

— Вронский? — сказал Степан Аркадьич, остановив зевоту, — он в Петербурге. Уехал вскоре после тебя и затем ни разу не был в Москве. И знаешь, Костя, я тебе правду скажу, — продолжал он, облокотившись на стол и положив на руку свое красивое румяное лицо, из которого светилось, как звезды, масленые, добрые и сонные глаза. — Ты сам был виноват. Ты испугался соперника. А я, как и тогда тебе говорил, — я не знаю, на чьей стороне было более шансов. Отчего ты не шел напролом? Я тебе говорил тогда, что... — Он зевнул одними челюстями, не раскрывая рта.

«Знает он или не знает, что я делал предложение? —

— Если было с ее стороны что-нибудь тогда, то это было увлеченье внешностью, — продолжал Облонский. — Этот, знаешь, совершенный аристократизм и будущее положение в свете подействовали не на нее, а на мать. Левин нахмурился. Оскорбление отказа, через которое он перешел, как будто свежею, только что полученною раной зажгло его в сердце. Он был дома, а дохма степы помогают. — Постой, постой, — заговорил он, перебивая Облонского, — ты говоришь: аристократизм. Л позволь тебя спросить, в чем это состоит аристократизм Вронского или кого бы то ни было, — такой аристократизм, чтобы можно пренебречь мною? Ты считаешь Вронского аристократом, но я нет. Человек, отец которого вылез из ничего пронырством, мать которого бог знает с кем не была в связи... Нет, уж извини, но я считаю аристократом себя и людей, подобных мне, которые в прошедшем могут указать на три-четыре честные поколения семей, находившихся на высшей степени образования (дарованье и ум — это другое дело), и которые никогда пи пред кем не подличали, никогда ни в ком не нуждались, как жили мой отец, мой дед. И я знаю много таких. Тебе низко кажется, что я считаю деревья в лесу, а ты даришь тридцать тысяч Рябинину; но ты получишь аренду и не знаю еще что, а я не получу и потому дорожу родовым и трудовым... Мы аристократы, а не те, которые могут существовать только подачками от сильных мира сего и кого купить можно за двугривенный. — На кого ты? Я с тобой согласен, — говорил Степан Аркадьич искренно и весело, хотя чувствовал, что Левин под именем тех, кого можно купить за двугривенный, разухМел и его. Оживление Левина ему искренно нравилось. — На кого ты? Хотя многое и неправда, что ты говоришь про Вронского, но я не про то говорю. Я говорю тебе прямо, я на твоем месте поехал бы со мной в Москву и... — Нет, я не знаю, знаешь ли ты или нет, но мне все равно. И я скажу тебе, — я сделал предложение и получил отказ, и Катерина Александровна для меня теперь только тяжелое, постыдное воспоминанье. — Отчего? Вот вздор! — Но не будем говорить. Извини меня, пожалуйста, если я был груб с тобой, — сказал Левин. Теперь, высказав все, он опять стал тем, каким был поутру, — Ты не 186

— Если было с ее стороны что-нибудь тогда, то это было увлеченье внешностью, — продолжал Облонский. — Этот, знаешь, совершенный аристократизм и будущее положение в свете подействовали не на нее, а на мать.

Левин нахмурился. Оскорбление отказа, через которое он перешел, как будто свежею, только что полученною раной зажгло его в сердце. Он был дома, а дома стены помогают.

— Постой, постой, — заговорил он, перебивая Облонского, — ты говоришь: аристократизм. А позволь тебя спросить, в чем это состоит аристократизм Вронского или кого бы то ни было, — такой аристократизм, чтобы можно пренебречь мною? Ты считаешь Вронского аристократом, но я нет. Человек, отец которого вылез из ничего пронырством, мать которого бог знает с кем не была в связи... Нет, уж извини, но я считаю аристократом себя и людей, подобных мне, которые в прошедшем могут указать на три-четыре честные поколения семей, находившихся на высшей степени образования (дарованье и ум — это другое дело), и которые никогда ни пред кем не подличали, никогда ни в ком не нуждались, как жили мой отец, мой дед. И я знаю много таких. Тебе низко кажется, что я считаю деревья в лесу, а ты даришь тридцать тысяч Рябинину; но ты получишь аренду и не знаю еще что, а я не получу и потому дорожу родовым и трудовым... Мы аристократы, а не те, которые могут существовать только подачками от сильных мира сего и кого купить можно за двугривенный.

— На кого ты? Я с тобой согласен, — говорил Степан Аркадьич искренно и весело, хотя чувствовал, что Левин под именем тех, кого можно купить за двугривенный, разумел и его. Оживление Левина ему искренно нравилось. — На кого ты? Хотя многое и неправда, что ты говоришь про Вронского, но я не про то говорю. Я говорю тебе прямо, я на твоем месте поехал бы со мной в Москву и...

— Нет, я не знаю, знаешь ли ты или нет, но мне все равно. И я скажу тебе, — я сделал предложение и получил отказ, и Катерина Александровна для меня теперь только тяжелое, постыдное воспоминанье.

— Отчего? Вот вздор!

сердишься на меня, Стива? Пожалуйста, не сердись, — сказал он и, улыбаясь, взял его за руку. — Да нет, нисколько, и не за что. Я рад, что мы объяснились. А знаешь, утренняя тяга бывает хороша. Не поехать ли? Я бы так и не спал, а прямо с тяги и на станцию. — И прекрасно. XVIII Несмотря на то, что вся внутренняя жизнь Вронского была наполнена его страстью, внешняя жизнь его неизменно и неудержимо катилась по прежним, привычным рельсам светских и полковых связей и интересов. Полковые интересы занимали важное место в жизни Вронского и потому, что он любил полк, и еш;е более потому, что его любили в полку. В полку не только любили Вронского, но его уважали и гордились им, гордились тем, что этот человек, огромно богатый, с прекрасным образованием и способностями, с открытою дорогой ко всякого рода успеху и честолюбия и тщеславия, пренебрегал этим всем и из всех жизненных интересов ближе всего принимал к сердцу интересы полка и товарищества. Вронский сознавал этот взгляд на себя товарищей и, кроме того, что любил эту жизнь, чувствовал себя обязанным поддерживать установившийся на него взгляд. Само собою разумеется, что он не говорил ни с кем из товарищей о своей любви, не проговаривался и в самых сильных попойках (впрочем, он никогда не бывал так пьян, чтобы терять власть над собой) и затыкал рот тем из легкомысленных товарищей, которые пытались намекать ему на его связь. Но, несмотря на то, что его любовь была известна всему городу — все более или менее верно догадывались об его отношениях к Карениной, — большинство молодых людей завидовали ему именно в том, что было самое тяжелое в его любви, — в высоком положении Каренина и потому в выставлепности этой связи для света. Большинство молодых женщин, завидовавших Анне, которым уже давно наскучило то, что ее называют справедливою, радовались тому, что они предполагали, и ждали только подтверлщения оборота общественного 187

сердишься на меня, Стива? Пожалуйста, не сердись, — сказал он и, улыбаясь, взял его за руку.

— Да нет, нисколько, и не за что. Я рад, что мы объяснились. А знаешь, утренняя тяга бывает хороша. Не поехать ли? Я бы так и не спал, а прямо с тяги и на станцию.

— И прекрасно.

XVIII

Несмотря на то, что вся внутренняя жизнь Вронского была наполнена его страстью, внешняя жизнь его неизменно и неудержимо катилась по прежним, привычным рельсам светских и полковых связей и интересов. Полковые интересы занимали важное место в жизни Вронского и потому, что он любил полк, и еще более потому, что его любили в полку. В полку не только любили Вронского, но его уважали и гордились им, гордились тем, что этот человек, огромно богатый, с прекрасным образованием и способностями, с открытою дорогой ко всякого рода успеху и честолюбия и тщеславия, пренебрегал этим всем и из всех жизненных интересов ближе всего принимал к сердцу интересы полка и товарищества. Вронский сознавал этот взгляд на себя товарищей и, кроме того, что любил эту жизнь, чувствовал себя обязанным поддерживать установившийся на него взгляд.

Само собою разумеется, что он не говорил ни с кем из товарищей о своей любви, не проговаривался и в самых сильных попойках (впрочем, он никогда не бывал так пьян, чтобы терять власть над собой) и затыкал рот тем из легкомысленных товарищей, которые пытались намекать ему на его связь. Но, несмотря на то, что его любовь была известна всему городу — все более или менее верно догадывались об его отношениях к Карениной, — большинство молодых людей завидовали ему именно в том, что было самое тяжелое в его любви, — в высоком положении Каренина и потому в выставленности этой связи для света.

Большинство молодых женщин, завидовавших Анне.

мнения, чтоб обрушиться на нее всею тяжестью своего презрения. Они приготавливали уже те комки грязи, которыми опи бросят в нее, когда придет время. Большинство пожилых людей и люди высокопоставленные были недовольны этим готовягцимся обш;ественным скандалом. Мать Вронского, узнав о его связи, сначала была довольна — и потому, что ничто, по ее понятиям, не давало последней отделки блестящему молодому человеку, как связь в высшем свете, и потому, что столь понравившаяся ей Каренина, так много говорившая о своем сыне, была все-таки такая же, как и все красивые и порядочные женщины, по понятиям графини Вронской. Но в последнее время она узнала, что сын отказался от предложенного ему, важного для карьеры, положения, только с тем, чтоб оставаться в полку, где он мог видеться с Карениной, узнала, что им недовольны за это высокопоставленные лица, и она переменила свое мнение. Не нравилось ей тоже то, что по всему, что она узнала про эту связь, это не была та блестящая, грациозная светская связь, какую она бы одобрила, но какая-то вертеровская, отчаянная страсть, как ей рассказывали, которая могла вовлечь его в глупости. Она не видала его со времени его неожиданного отъезда из Москвы и через старшего сына требовала, чтоб он приехал к ней. Старший брат был также недоволен меньшим. Он не разбирал, какая то была любовь, большая или маленькая, страстная или не страстная, порочная или не порочная (он сам, имея детей, содержал танцовщицу и потому был снисходителен на это); по он знал, что это любовь, не нравящаяся тем, кому нужно нравиться, и потому не одобрял поведения брата. Кроме занятий службы и света, у Вронского было еще занятие — лошади, до которых он был страстный охотник. В нынешнем же году назначены были офицерские скачки с препятствиями. Вронский записался на скачки, купил английскую кровную кобылу и, несмотря на свою любонь, был страстно, хотя и сдержанно, увлечен предстоящими скачками... Две страсти эти не мешали одна другой. Напротив, ему нуяшо было занятие и увлечение, не зависимое от его любви, на котором он освежался и отдыхал от слишком волновавших его впечатлений, 188

мнения, чтоб обрушиться на нее всею тяжестью своего презрения. Они приготавливали уже те комки грязи, которыми они бросят в нее, когда придет время. Большинство пожилых людей и люди высокопоставленные были недовольны этим готовящимся общественным скандалом.

Мать Вронского, узнав о его связи, сначала была довольна — и потому, что ничто, по ее понятиям, не давало последней отделки блестящему молодому человеку, как связь в высшем свете, и потому, что столь понравившаяся ей Каренина, так много говорившая о своем сыне, была все-таки такая же, как и все красивые и порядочные женщины, по понятиям графини Вронской. Но в последнее время она узнала, что сын отказался от предложенного ему, важного для карьеры, положения, только с тем, чтоб оставаться в полку, где он мог видеться с Карениной, узнала, что им недовольны за это высокопоставленные лица, и она переменила свое мнение. Не нравилось ей тоже то, что по всему, что она узнала про эту связь, это не была та блестящая, грациозная светская связь, какую она бы одобрила, но какая-то вертеровская, отчаянная страсть, как ей рассказывали, которая могла вовлечь его в глупости. Она не видала его со времени его неожиданного отъезда из Москвы и через старшего сына требовала, чтоб он приехал к ней.

Старший брат был также недоволен меньшим. Он не разбирал, какая то была любовь, большая или маленькая, страстная или не страстная, порочная или не порочная (он сам, имея детей, содержал танцовщицу и потому был снисходителен на это); но он знал, что это любовь, не нравящаяся тем, кому нужно нравиться, и потому не одобрял поведения брата.

Кроме занятий службы и света, у Вронского было еще занятие — лошади, до которых он был страстный охотник.

В нынешнем же году назначены были офицерские скачки с препятствиями. Вронский записался на скачки, купил английскую кровную кобылу и, несмотря на свою любовь, был страстно, хотя и сдержанно, увлечен предстоящими скачками...

Две страсти эти не мешали одна другой. Напротив

XIX в день красносельских скачек Вронский раньше обыкновенного пришел съесть бифстек в общ;ую залу артели полка. Ему не нужно было очень строго выдерживать себя, так как вес его как раз равнялся положенным четырем пудам с половиною; но надо было и не потолстеть, и потому он избегал мучного и сладкого. Он сидел в расстегнутом над белым жилетом сюртуке, облокотившись обеими руками на стол, и, ожидая заказанного бифстека, смотрел в книгу французского романа, лежавшую на тарелке. Он смотрел в книгу только затем, чтобы не разговаривать с входившими и выходившими офицерами, и думал. Он думал о том, что Анна обещала ему дать свиданье нынче после скачек. Но он не видал ее три дня, и, вследствие возвращения мужа из-за границы, не знал, возможно ли это нынче или нет, и не знал, как узнать это. Он виделся с ней в последний раз на даче у кузины Бетси. На дачу же Карениных он ездил как можно реже. Теперь он хотел ехать туда и обдумывал вопрос, как это сделать. «Разумеется, я скажу, что Бетси прислала меня спросить, приедет ли она на скачки. Разумеется, поеду», — решил он сам с собой, поднимая голову от книги. И, живо представив себе счастье увидать ее, он просиял лицом. — Пошли ко мне на дом, чтобы закладывали поскорей коляску тройкой, — сказал он слуге, подававшему ему бифстек на серебряном горячем блюде, и, придвинув блюдо, стал есть. В соседней бильярдной слышались удары шаров, говор и смех. Из входной двери появились два офицера: один молоденький, с слабым, тонким лицом, недавно поступивший из Пажеского корпуса в их полк; другой пухлый, старый офицер с браслетом на руке и заплывшими маленькими глазами. Вронский взглянул на них, нахмурился и, как будто не заметив их, косясь на книгу, стал есть и читать вместе. — Что? подкрепляешься на работу? ~ сказал пухлый офицер, садясь подле него. — Видишь, — отвечал Вронский, хмурясь, отирая рот и не глядя на него. 189

XIX

В день красносельских скачек Вронский раньше обыкновенного пришел съесть бифстек в общую залу артели полка. Ему не нужно было очень строго выдерживать себя, так как вес его как раз равнялся положенным четырем пудам с половиною; но надо было и не потолстеть, и потому он избегал мучного и сладкого. Он сидел в расстегнутом над белым жилетом сюртуке, облокотившись обеими руками на стол, и, ожидая заказанного бифстека, смотрел в книгу французского романа, лежавшую на тарелке. Он смотрел в книгу только затем, чтобы не разговаривать с входившими и выходившими офицерами, и думал.

Он думал о том, что Анна обещала ему дать свиданье нынче после скачек. Но он не видал ее три дня, и, вследствие возвращения мужа из-за границы, не знал, возможно ли это нынче или нет, и не знал, как узнать это. Он виделся с ней в последний раз на даче у кузины Бетси. На дачу же Карениных он ездил как можно реже. Теперь он хотел ехать туда и обдумывал вопрос, как это сделать.

«Разумеется, я скажу, что Бетси прислала меня спросить, приедет ли она на скачки. Разумеется, поеду», — решил он сам с собой, поднимая голову от книги. И, живо представив себе счастье увидать ее, он просиял лицом.

— Пошли ко мне на дом, чтобы закладывали поскорей коляску тройкой, — сказал он слуге, подававшему ему бифстек на серебряном горячем блюде, и, придвинув блюдо, стал есть.

В соседней бильярдной слышались удары шаров, говор и смех. Из входной двери появились два офицера: один молоденький, с слабым, тонким лицом, недавно поступивший из Пажеского корпуса в их полк; другой пухлый, старый офицер с браслетом на руке и заплывшими маленькими глазами.

Вронский взглянул на них, нахмурился и, как будто не заметив их, косясь на книгу, стал есть и читать вместе.

— Что? подкрепляешься на работу? — сказал пухлый

— А не боишься потолстеть? — сказал тот, поворачивая стул для молоденького офицера. — Что? — сердито сказал Вронский, делая гримасу отвращения и показывая свои сплошные зубы. — Не боишься потолстеть? — Человек, хересу! — сказал Вронский, не отвечая, и, переложив книгу на другую сторону, продолжал читать. Пухлый офицер взял карту вин и обратился к молоденькому офицеру. — Ты сам выбери, что будем пить, — сказал он, подавая ему карту и глядя на него. — Пожалуй, рейнвейну, — сказал молодой офицер, робко косясь на Вронского и стараясь поймать пальцами чуть отросшие усики. Видя, что Вронский не оборачивается, молодой офицер встал. — Пойдем в бильярдную, — сказал он. Пухлый офицер покорно встал, и они направились к двери. В это время в комнату вошел высокий и статный ротмистр Яшвин и, кверху, презрительно кивнув головой двум офицерам, подошел ко Вронскому. — А! вот он! — крикнул он, крепко ударив его своею большою рукой по погону. Вронский оглянулся сердито, по тотчас же лицо его просияло свойственною ему спокойною и твердою лаской. — Умно, Алеша, — сказал ротмистр громким баритоном. — Теперь поешь и выпей одну рюмочку. — Да не хочется есть. — Вот перазл^шные, — прибавил Яшвин, насмешливо глядя на двух офицеров, которые выходили в это время из комнаты. И он сел подле Вронского, согнув острыми углами свои слишком длинные по высоте стульев стегна II голени в узких рейтузах. — Что ж ты вчера не заехал в красненский театр? Нумерова совсем недурна была. Где ты был? — Я у Тверских засиделся, — отвечал Вронский. — А! — отозвался Яшвин. Яшвин, игрок, кутила и не только человек без всяких правил, но с безнравственными правилами, — Яшвин был в полку лучший приятель Вронского. Вронский любил его и за его необычайную физическую силу, которую он большею частью выказывал тем, что мог пить, как бочка, не спать и быть все таким же, и за большую нравствен190

— А не боишься потолстеть? — сказал тот, поворачивая стул для молоденького офицера.

— Что? — сердито сказал Вронский, делая гримасу отвращения и показывая свои сплошные зубы.

— Не боишься потолстеть?

— Человек, хересу! — сказал Вронский, не отвечая, и, переложив книгу на другую сторону, продолжал читать.

Пухлый офицер взял карту вин и обратился к молоденькому офицеру.

— Ты сам выбери, что будем пить, — сказал он, подавая ему карту и глядя на него.

— Пожалуй, рейнвейну, — сказал молодой офицер, робко косясь на Вронского и стараясь поймать пальцами чуть отросшие усики. Видя, что Вронский не оборачивается, молодой офицер встал.

— Пойдем в бильярдную, — сказал он.

Пухлый офицер покорно встал, и они направились к двери.

В это время в комнату вошел высокий и статный ротмистр Яшвин и, кверху, презрительно кивнув головой двум офицерам, подошел ко Вронскому.

— А! вот он! — крикнул он, крепко ударив его своею большою рукой по погону. Вронский оглянулся сердито, но тотчас же лицо его просияло свойственною ему спокойною и твердою лаской.

— Умно, Алеша, — сказал ротмистр громким баритоном. — Теперь поешь и выпей одну рюмочку.

— Да не хочется есть.

— Вот неразлучные, — прибавил Яшвин, насмешливо глядя на двух офицеров, которые выходили в это время из комнаты. И он сел подле Вронского, согнув острыми углами свои слишком длинные по высоте стульев стегна и голени в узких рейтузах. — Что ж ты вчера не заехал в красненский театр? Нумерова совсем недурна была. Где ты был?

— Я у Тверских засиделся, — отвечал Вронский.

— А! — отозвался Яшвин.

Яшвин, игрок, кутила и не только человек без всяких правил, но с безнравственными правилами, — Яшвин был

ную силу, которую он выказывал в отношениях к начальникам и товариш;ам, вызывая к себе страх и уважение, и в игре, которую он вел на десятки тысяч и всегда, несмотря на выпитое вино, так тонко и твердо, что считался первым игроком в Английском клубе. Вронский уважал и любил его в особенности за то, что чувствовал, что Яшвин любит его не за его имя и богатство, а за него самого. И из всех людей с ним одним Вронский хотел бы говорить про свою любовь. Он чувствовал, что Яшвин один, несмотря на то, что, казалось, презирал всякое чувство, — один, казалось Вронскому, мог понимать ту сильную страсть, которая теперь наполнила всю его жизнь. Кроме того, он был уверен, что Яшвин уже наверное не находит удовольствия в сплетне и скандале, а понимает это чувство как должно, то есть знает и верит, что любовь эта — не шутка, не забава, а что-то серьезнее и важнее. Вронский не говорил с ним о своей любви, но знал, что он все знает, все понимает как должно, и ему приятно было видеть это по его глазам. — А, да! — сказал он на то, что Вронский был у Тверских, и, блеснув своими черными глазами, взялся за левый ус и стал заправлять его в рот по своей дурной привычке. — Ну, а ты вчера что сделал? Выиграл? — спросил Вронский. — Восемь тысяч. Да три не хороши, едва ли отдаст. — Ну, так можешь за меня и проиграть, — сказал Вронский, смеясь. (Яшвин держал большое пари за Вронского.) — Ни за что не проиграю. — Один Махотин опасен. И разговор перешел па ожидания нынешней скачки, о которой только и мог думать теперь Вронский. — Пойдем, я кончил, — сказал Вронский и, встав, пошел к двери. Яшвин встал тоже, растянув свои огромные ноги и длинную спину. — Мне обедать еш;е рано, а выпить надо. Я приду сейчас. Ей, вина! — крикнул он своим знаменитым в командовании, густым и заставлявшим дрожать стекла голосом. — Нет, не надо, — тотчас же опять крикнул он. — > Ты домой, так я с тобой пойду. И они пошли с Вронским. 191

ную силу, которую он выказывал в отношениях к начальникам и товарищам, вызывая к себе страх и уважение, и в игре, которую он вел на десятки тысяч и всегда, несмотря на выпитое вино, так тонко и твердо, что считался первым игроком в Английском клубе. Вронский уважал и любил его в особенности за то, что чувствовал, что Яшвин любит его не за его имя и богатство, а за него самого. И из всех людей с ним одним Вронский хотел бы говорить про свою любовь. Он чувствовал, что Яшвин один, несмотря на то, что, казалось, презирал всякое чувство, — один, казалось Вронскому, мог понимать ту сильную страсть, которая теперь наполнила всю его жизнь. Кроме того, он был уверен, что Яшвин уже наверное не находит удовольствия в сплетне и скандале, а понимает это чувство как должно, то есть знает и верит, что любовь эта — не шутка, не забава, а что-то серьезнее и важнее.

Вронский не говорил с ним о своей любви, но знал, что он все знает, все понимает как должно, и ему приятно было видеть это по его глазам.

— А, да! — сказал он на то, что Вронский был у Тверских, и, блеснув своими черными глазами, взялся за левый ус и стал заправлять его в рот по своей дурной привычке.

— Ну, а ты вчера что сделал? Выиграл? — спросил Вронский.

— Восемь тысяч. Да три не хороши, едва ли отдаст.

— Ну, так можешь за меня и проиграть, — сказал Вронский, смеясь. (Яшвин держал большое пари за Вронского.)

— Ни за что не проиграю.

— Один Махотин опасен.

И разговор перешел на ожидания нынешней скачки, о которой только и мог думать теперь Вронский.

— Пойдем, я кончил, — сказал Вронский и, встав, пошел к двери. Яшвин встал тоже, растянув свои огромные ноги и длинную спину.

— Мне обедать еще рано, а выпить надо. Я приду сейчас. Ей, вина! — крикнул он своим знаменитым в командовании, густым и заставлявшим дрожать стекла го-

XX Вронский стоял в просторной и чистой, разгороженной надвое чухонской избе. Петрицкий жил с ним вместе и в лагерях. Петрицкий спал, когда Вронский с Яшвипым вошли в избу. — Вставай, будет спать, — сказал Яшвин, заходя за перегородку и толкая за плечо уткнувшегося носом в подушку взлохмаченного Петрицкого. Петрицкий вдруг вскочил на коленки и оглянулся. — Твой брат был здесь, — сказал он Вронскому. — Разбудил меня, черт его возьми, сказал, что придет опять. — И он опять, натягивая одеяло, бросился на подушку. — Да оставь же, Яшвин, — говорил он, сердясь на Яшвина, тащившего с него одеяло. — Оставь! — Он повернулся и открыл глаза. — Ты лучше скажи, что выпить; такая гадость во рту, что... — Водки лучше всего, — пробасил Яшвин. — Терещенко! водки барину и огурец, — крикнул он, видимо любя слушать свой голос. — Водки, ты думаешь? А? — спросил Петрицкий, морщась и протирая глаза. — А ты выпьешь? Вместе, так выпьем! Вронский, выпьешь? — сказал Петрицкий, вставая и закутываясь под руками в тигровое одеяло. Он вышел в дверь перегородки, поднял руки и запел по-французски: «Был король в Ту-у-ле». — Вронский, выпьешь? — Убирайся, — сказал Вронский, надевавший подаваемый лакеем сюртук. — Это куда? — спросил его Яшвин. — Вот и тройка, — прибавил он, увидев подъезжавшую коляску. — В конюшню, да еще мне нужно к Брянскому об лошадях, — сказал Вронский. Вронский действительно обещал быть у Брянского, в десяти верстах от Петергофа, и привезти ему за лошадей деньги; и он хотел успеть побывать и там. Но товарищи тотчас же поняли, что он не туда только едет. Петрицкий, продолжая петь, подмигнул глазом и надул губы, как бы говоря: знаем, какой это Брянский. — Смотри не опоздай! — сказал только Яшвин и, чтобы переменить разговор: — Что мой саврасый, служит хорошо? — спросил он, глядя в окно, про коренного, которого он продал, 192

XX

Вронский стоял в просторной и чистой, разгороженной надвое чухонской избе. Петрицкий жил с ним вместе и в лагерях. Петрицкий спал, когда Вронский с Яшвиным вошли в избу.

— Вставай, будет спать, — сказал Яшвин, заходя за перегородку и толкая за плечо уткнувшегося носом в подушку взлохмаченного Петрицкого.

Петрицкий вдруг вскочил на коленки и оглянулся.

— Твой брат был здесь, — сказал он Вронскому. — Разбудил меня, черт его возьми, сказал, что придет опять. — И он опять, натягивая одеяло, бросился на подушку. — Да оставь же, Яшвин, — говорил он, сердясь на Яшвина, тащившего с него одеяло. — Оставь! — Он повернулся и открыл глаза. — Ты лучше скажи, *что* выпить; такая гадость во рту, что...

— Водки лучше всего, — пробасил Яшвин. — Терещенко! водки барину и огурец, — крикнул он, видимо любя слушать свой голос.

— Водки, ты думаешь? А? — спросил Петрицкий, морщась и протирая глаза. — А ты выпьешь? Вместе, так выпьем! Вронский, выпьешь? — сказал Петрицкий, вставая и закутываясь под руками в тигровое одеяло.

Он вышел в дверь перегородки, поднял руки и запел по-французски: «Был король в Ту-у-ле». — Вронский, выпьешь?

— Убирайся, — сказал Вронский, надевавший подаваемый лакеем сюртук.

— Это куда? — спросил его Яшвин. — Вот и тройка, — прибавил он, увидев подъезжавшую коляску.

— В конюшню, да еще мне нужно к Брянскому об лошадях, — сказал Вронский.

Вронский действительно обещал быть у Брянского, в десяти верстах от Петергофа, и привезти ему за лошадей деньги; и он хотел успеть побывать и там. Но товарищи тотчас же поняли, что он не туда только едет.

Петрицкий, продолжая петь, подмигнул глазом и надул губы, как бы говоря: знаем, какой это Брянский.

— Смотри не опоздай! — сказал только Яшвин и,

— Стой! — закричал Петрицкий уже уходившему Вронскому. — Брат твой оставил письмо тебе и записку. Постой, где они? Вронский остановился. — Ну, где же они? — Где они? Вот в чем вопрос! — проговорил торжественно Петрицкий, проводя кверху от носа указательным пальцем. — Да говори же, это глупо! — улыбаясь, сказал Вронский. — Камина я не топил. Здесь где-нибудь. — Ну, полно врать! Где же письмо? — Нет, право забыл. Или я во сне видел? Постой, постой! Да что ж сердиться! Если бы ты, как я вчера, выпил четыре бутылочки на брата, ты бы и забыл, где ты лежишь. Постой, сейчас вспомню! Петрицкий пошел за перегородку и лег на свою кровать. — Стой! Так я лежал, так он стоял. Да-да-да-да... Вот оно! — И Петрицкий вынул письмо из-под матраца, куда он запрятал его. Вронский взял письмо и записку брата. Это было то самое, что он ожидал, — письмо от матери с упреками за то, что он не приезжал, и записка от брата, в которой говорилось, что нужно переговорить. Вронский знал, что это все о том же. «Что им за дело!» — подумал Вронский и, смяв письма, сунул их между пуговиц сюртука, чтобы внимательно прочесть дорогой. В сенях избы ему встретились два офицера: один их, а другой другого полка. Квартира Вронского всегда была притоном всех офицеров. — Куда? — Нужно, в Петергоф. — А лошадь пришла из Царского? — Пришла, да я не видал еш;е. — Говорят, Махотина Гладиатор захромал. — Вздор! Только как вы по этой грязи поскачете? — сказал другой. — Вот мои спасители! — закричал, увидав вошедших, Петрицкий, пред которым стоял денщик с водкой и огурцом на подносе. — Вот Яшвин велит пить, чтоб освежиться. — Ну, уж вы нам задали вчера, — сказал один из пришедших, — всю ночь не давали спать, 7 л. Н. Толстой, т, 8 193

— Стой! — закричал Петрицкий уже уходившему Вронскому. — Брат твой оставил письмо тебе и записку. Постой, где они?

Вронский остановился.

— Ну, где же они?

— Где они? Вот в чем вопрос! — проговорил торжественно Петрицкий, проводя кверху от носа указательным пальцем.

— Да говори же, это глупо! — улыбаясь, сказал Вронский.

— Камина я не топил. Здесь где-нибудь.

— Ну, полно врать! Где же письмо?

— Нет, право забыл. Или я во сне видел? Постой, постой! Да что ж сердиться! Если бы ты, как я вчера, выпил четыре бутылочки на брата, ты бы и забыл, где ты лежишь. Постой, сейчас вспомню!

Петрицкий пошел за перегородку и лег на свою кровать.

— Стой! Так я лежал, так он стоял. Да-да-да-да... Вот оно! — И Петрицкий вынул письмо из-под матраца, куда он запрятал его.

Вронский взял письмо и записку брата. Это было то самое, что он ожидал, — письмо от матери с упреками за то, что он не приезжал, и записка от брата, в которой говорилось, что нужно переговорить. Вронский знал, что это все о том же. «Что им за дело!» — подумал Вронский и, смяв письма, сунул их между пуговиц сюртука, чтобы внимательно прочесть дорогой. В сенях избы ему встретились два офицера: один их, а другой другого полка.

Квартира Вронского всегда была притоном всех офицеров.

— Куда?

— Нужно, в Петергоф.

— А лошадь пришла из Царского?

— Пришла, да я не видал еще.

— Говорят, Махотина Гладиатор захромал.

— Вздор! Только как вы по этой грязи поскачете? — сказал другой.

— Вот мои спасители! — закричал, увидав вошедших, Петрицкий, пред которым стоял денщик с водкой и огурцом на подносе. — Вот Яшвин велит пить, чтоб осве-

— Нет, каково мы окончили! — рассказывал Петрицкий. — Волков залез на крышу и говорит, что ему грустно. Я говорю: давай музыку, погребальный марш! Он так на крыше и заснул под погребальный марш. — Так что ж пить? — говорил он, держа рюмку и морщась. — Выпей, выпей водки непременно, а потом сельтерской воды и много лимона, — говорил Ятвин, стоя над Петрицким, как мать, заставляющая ребенка принимать лекарство, — а потом уж шампанского немножечко, — так, бутылочку. — Вот это умно. Постой, Вронский, выпьем. — Нет, прощайте, господа, пынче я не пью. — Что ж, потяжелеешь? Ну, так мы одни. Давай сельтерской воды и лимон. — Вронский! закричал кто-то, когда он уж выходил в сени. - Что? — Ты бы волоса обстриг, а то они у тебя тяжелы, особенно на лысине. Вронский действительно преждевременно начинал плешиветь. Он весело засмеялся, показывая свои сплошные зубы, и, надвинув фуражку на лысину, вышел и сел в коляску. — В конюшню! — сказал он и достал было письма, чтобы прочесть их, но потом раздумал, чтобы не развлекаться до осмотра лошади. — «Потом!..» XXI Временная конюшня, балаган из досок, была построена подле самого гипподрома, и туда вчера должна была быть приведена его лошадь. Он еще не видал ее. В эти последние дни он сам не ездил на проездку, а поручил тренеру и теперь решительно не знал, в каком состоянии пришла и была его лошадь. Едва он вышел из коляски, как конюх его (грум), так называемый мальчик, узнав еще издалека его коляску, вызвал тренера. Сухой англичанин в высоких сапогах и в короткой жакетке, с клочком волос, оставленным только под подбородком, неумелою походкой жокеев, растопыривая локти и раскачиваясь, вышел навстречу. 194

— Нет, каково мы окончили! — рассказывал Петрицкий. — Волков залез на крышу и говорит, что ему грустно. Я говорю: давай музыку, погребальный марш! Он так на крыше и заснул под погребальный марш.

— Так что ж пить? — говорил он, держа рюмку и морщась.

— Выпей, выпей водки непременно, а потом сельтерской воды и много лимона, — говорил Яшвин, стоя над Петрицким, как мать, заставляющая ребенка принимать лекарство, — а потом уж шампанского немножечко, — так, бутылочку.

— Вот это умно. Постой, Вронский, выпьем.

— Нет, прощайте, господа, нынче я не пью.

— Что ж, потяжелеешь? Ну, так мы одни. Давай сельтерской воды и лимон.

— Вронский! — закричал кто-то, когда он уж выходил в сени.

— Что?

— Ты бы волоса обстриг, а то они у тебя тяжелы, особенно на лысине.

Вронский действительно преждевременно начинал плешиветь. Он весело засмеялся, показывая свои сплошные зубы, и, надвинув фуражку на лысину, вышел и сел в коляску.

— В конюшню! — сказал он и достал было письма, чтобы прочесть их, но потом раздумал, чтобы не развлекаться до осмотра лошади. — «Потом!..»

XXI

Временная конюшня, балаган из досок, была построена подле самого гипподрома, и туда вчера должна была быть приведена его лошадь. Он еще не видал ее. В эти последние дни он сам не ездил на проездку, а поручил тренеру и теперь решительно не знал, в каком состоянии пришла и была его лошадь. Едва он вышел из коляски, как конюх его (грум), так называемый мальчик, узнав еще издалека его коляску, вызвал тренера. Сухой англичанин в высоких сапогах и в короткой жакетке, с клочком во-

— Ну что Фру-Фру? — спросил Вропский по-английски. — АН right, sir, — все исправно, сударь, — где-то внутри горла проговорил голос англичанина. •— Лучше iiө ходите, — прибавил он, поднимая шляпу. — Я надел намордник, и лошадь возбуждена. Лучше не ходить, это тревожит лошадь. — Нет, уж войду. Мне хочется взглянуть. — Пойдем, — все так же не открывая рта, нахмурившись, сказал англичанин и, размахивая локтями, пошел вперед своею развинченною походкой. Они вошли в дворик пред бараком. Дежурный, в чистой куртке, нарядный молодцеватый мальчик, с метлой в руке, встретил входивших и пошел за ними. В бараке стояло пять лошадей по денникам, и Вронский знал, что тут же нынче должен быть приведен и стоит его главный соперник, рыжий пятивершковый Гладиатор Махотина. Егде более, чем свою лошадь, Вронскому хотелось видеть Гладиатора, которого он не видал; но Вронский знал, что, по законам приличия конской охоты, не только нельзя видеть его, но неприлично и расспрашивать про него. В то время когда он шел по коридору, мальчик отворил дверь во второй денник налево, и Вронский увидел рыжую крупную лошадь и белые ноги. Он знал, что это был Гладиатор, по с чувством человека, отворачивающегося от чужого раскрытого письма, он отвернулся и подошел к деннику Фру-Фру. — Здесь лошадь Ма-к... Мак... никогда не могу выговорить это имя, — сказал англичанин через плечо, указывая большим, с грязным ногтем пальцем на денник Гладиатора. •— Махотина? Да, это мой один серьезный соперник, — сказал Вронский. — Если бы вы ехали на нем, — сказал англичанин я бы за вас держал. — Фру-Фру нервнее, он сильнее, — сказал Вронский, улыбаясь от похвалы своей езде. — С препятствиями все дело в езде и в pluck, — сказал англичанин. Pluck, то есть энергии и смелости, Вронский не только чувствовал в себе достаточно, но, что гораздо важнее, он был твердо убежден, что ни у кого в мире не могло быть этого pluck больше, чем у него.

— Ну что Фру-Фру? — спросил Вронский по-английски.

— All right, sir, — все исправно, сударь, — где-то внутри горла проговорил голос англичанина. — Лучше не ходите, — прибавил он, поднимая шляпу. — Я надел намордник, и лошадь возбуждена. Лучше не ходить, это тревожит лошадь.

— Нет, уж войду. Мне хочется взглянуть.

— Пойдем, — все так же не открывая рта, нахмурившись, сказал англичанин и, размахивая локтями, пошел вперед своею развинченною походкой.

Они вошли в дворик пред бараком. Дежурный, в чистой куртке, нарядный молодцеватый мальчик, с метлой в руке, встретил входивших и пошел за ними. В бараке стояло пять лошадей по денникам, и Вронский знал, что тут же нынче должен быть приведен и стоит его главный соперник, рыжий пятивершковый Гладиатор Махотина. Еще более, чем свою лошадь, Вронскому хотелось видеть Гладиатора, которого он не видал; но Вронский знал, что, по законам приличия конской охоты, не только нельзя видеть его, но неприлично и расспрашивать про него. В то время когда он шел по коридору, мальчик отворил дверь во второй денник налево, и Вронский увидел рыжую крупную лошадь и белые ноги. Он знал, что это был Гладиатор, но с чувством человека, отворачивающегося от чужого раскрытого письма, он отвернулся и подошел к деннику Фру-Фру.

— Здесь лошадь Ма-к... Мак... никогда не могу выговорить это имя, — сказал англичанин через плечо, указывая большим, с грязным ногтем пальцем на денник Гладиатора.

— Махотина? Да, это мой один серьезный соперник, — сказал Вронский.

— Если бы вы ехали на нем, — сказал англичанин, — я бы за вас держал.

— Фру-Фру нервнее, он сильнее, — сказал Вронский, улыбаясь от похвалы своей езде.

— С препятствиями все дело в езде и в pluck, — сказал англичанин.

Pluck, то есть энергии и смелости. Вронский не только

— А вы верно знаете, что не нужно было большего потения? — Не нужно, •— отвечал англичанин. — Пожалуйста, не говорите громко. Лошадь волнуется, — прибавил он, кивая головою на запертый денник, пред которым они стояли и где слышалась перестановка ног по соломе. Он отворил дверь, и Вронский вошел в слабо освещенный из одного маленького окошечка денник. В деннике, перебирая ногами по свежей соломе, стояла караковая лошадь с намордником. Оглядевшись в полусвете денника, Вронский опять невольно обнял одним общим взглядом все стати своей любимой лошади. Фру-Фру была среднего роста лошадь и по статям не безукоризненная. Она была вся узка костью; ее грудина хотя и сильно выдавалась вперед, грудь была узка. Зад был немного свислый, и в ногах передних, и особенно задних, была значительная косолапина. Мышцы задних и передних ног не были особенно крупны; но зато в подпруге лошадь была необыкновенно широка, что особенно поражало теперь, при ее выдержке и поджаром животе. Кости ее ног ниже колен казались не толще пальца, глядя спереди, но зато были необыкновенно широки, глядя сбоку. Она вся, кроме ребер, как будто была сдавлена с боков и вытянута в глубину. Но у ней в высшей степени было качество, заставляющее забывать все недостатки; это качество была кровь, та кровь, которая сказывается, по английскому выражению. Резко выступающие мышцы из-под сетки жил, растянутой в тонкой, подвижной и гладкой, как атлас, коже, казались столь же крепкими, как кость. Сухая голова ее с выпуклыми блестящими, веселыми глазами расширялась у храпа в выдающиеся ноздри с налитою внутри кровью перепонкой. Во всей фигуре и в особенности в голове ее было определенное энергическое и вместе неяшое выражение. Она была одно из тех животных, которые, кажется, не говорят только потому, что механическое устройство их рта не позволяет им этого. Вронскому по крайней мере показалось, что она поняла все, что он теперь, глядя на нее, чувствовал. Как только Вронский вошел к ней, она глубоко втянула в себя воздух и, скашивая свой выпуклый глаз так, что белок налился кровью, с противоположной стороны глядела на вошедших, потряхивая намордником и упруго переступая с ноги на ногу. 196

— А вы верно знаете, что не нужно было *большего потнения?*

— Не нужно, — отвечал англичанин. — Пожалуйста, не говорите громко. Лошадь волнуется, — прибавил он, кивая головою на запертый денник, пред которым они стояли и где слышалась перестановка ног по соломе.

Он отворил дверь, и Вронский вошел в слабо освещенный из одного маленького окошечка денник. В деннике, перебирая ногами по свежей соломе, стояла караковая лошадь с намордником. Оглядевшись в полусвете денника, Вронский опять невольно обнял одним общим взглядом все стати своей любимой лошади. Фру-Фру была среднего роста лошадь и по статям не безукоризненная. Она была вся узка костью; ее грудина хотя и сильно выдавалась вперед, грудь была узка. Зад был немного свислый, и в ногах передних, и особенно задних, была значительная косолапина. Мышцы задних и передних ног не были особенно крупны; но зато в подпруге лошадь была необыкновенно широка, что особенно поражало теперь, при ее выдержке и поджаром животе. Кости ее ног ниже колен казались не толще пальца, глядя спереди, но зато были необыкновенно широки, глядя сбоку. Она вся, кроме ребер, как будто была сдавлена с боков и вытянута в глубину. Но у ней в высшей степени было качество, заставляющее забывать все недостатки; это качество была *кровь,* та кровь, которая *сказывается,* по английскому выражению. Резко выступающие мышцы из-под сетки жил, растянутой в тонкой, подвижной и гладкой, как атлас, коже, казались столь же крепкими, как кость. Сухая голова ее с выпуклыми блестящими, веселыми глазами расширялась у храпа в выдающиеся ноздри с налитою внутри кровью перепонкой. Во всей фигуре и в особенности в голове ее было определенное энергическое и вместе нежное выражение. Она была одно из тех животных, которые, кажется, не говорят только потому, что механическое устройство их рта не позволяет им этого.

Вронскому по крайней мере показалось, что она поняла все, что он теперь, глядя на нее, чувствовал.

Как только Вронский вошел к ней, она глубоко втянула в себя воздух и, скашивая свой выпуклый глаз так,

— Ну, вот видите, как она взволнована, — сказал англичанин. — О, милая! О! — говорил Вронский, подходя к ло-» шади и уговаривая ее. Но чем ближе он подходил, тем более она волновалась. Только когда он подошел к ее голове, она вдруг затихла, и мускулы ее затряслись под тонкою, нежною шерстью. Вронский погладил ее крепкую шею, поправил на остром загривке перекинувшуюся на другую сторону прядь гривы и придвинулся лицом к ее растянутым, тонким, как крыло летучей мыши, ноздрям. Она звучно втянула и выпустила воздух из напряженных ноздрей, вздрогнув, прижала острое ухо и вытянула крепкую черную губу ко Вронскому, как бы желая поймать его за рукав. Но, вспомнив о намордник е, она встряхнула им и опять начала переставлять одну за другою свои точеные ножки. — Успокойся, милая, успокойся! — сказал он, погладив ее еще рукой по заду, и с радостным сознанием, что лошадь в самом хорошем состоянии, вышел из денника. Волнение лошади сообщилось и Вронскому; он чувствовал, что кровь приливала ему к сердцу и что ему так же, как и лошади, хочется двигаться, кусаться; было и страшно и весело. — Ну, так я на вас надеюсь, — сказал он англичанину, — в шесть с половиной на месте. — Все исправно, — сказал англичанин. — А вы куда едете, милорд? — спросил он, неожиданно употребив это название my-Lord, которого он почти никогда не употреблял. Вронский с удивлением приподнял голову и посмотрел, как он умел смотреть, не в глаза, а на лоб англичанина, удивляясь смелости его вопроса. Но поняв, что англичанин, делая этот вопрос, смотрел на него не как на хозяина, но как на жокея, ответил ему: — Мне нужно к Брянскому, я через час буду дома. «Который раз мне делают нынче этот вопрос!» — сказал он себе и покраснел, что с ним редко бывало. Англичанин внимательно посмотрел на него. И как будто он знал, куда едет Вронский, прибавил: — Первое дело быть спокойным пред ездой, — сказал он, — не будьте не в духе и ничем не расстраивайтесь. — АН right, — улыбаясь, отвечал Вронский и, вскочив в коляску, велел ехать в Петергоф, 197

— Ну, вот видите, как она взволнована, — сказал англичанин.

— О, милая! О! — говорил Вронский, подходя к лошади и уговаривая ее.

Но чем ближе он подходил, тем более она волновалась. Только когда он подошел к ее голове, она вдруг затихла, и мускулы ее затряслись под тонкою, нежною шерстью. Вронский погладил ее крепкую шею, поправил на остром загривке перекинувшуюся на другую сторону прядь гривы и придвинулся лицом к ее растянутым, тонким, как крыло летучей мыши, ноздрям. Она звучно втянула и выпустила воздух из напряженных ноздрей, вздрогнув, прижала острое ухо и вытянула крепкую черную губу ко Вронскому, как бы желая поймать его за рукав. Но, вспомнив о намордник, она встряхнула им и опять начала переставлять одну за другою свои точеные ножки.

— Успокойся, милая, успокойся! — сказал он, погладив ее еще рукой по заду, и с радостным сознанием, что лошадь в самом хорошем состоянии, вышел из денника.

Волнение лошади сообщилось и Вронскому; он чувствовал, что кровь приливала ему к сердцу и что ему так же, как и лошади, хочется двигаться, кусаться; было и страшно и весело.

— Ну, так я на вас надеюсь, — сказал он англичанину, — в шесть с половиной на месте.

— Все исправно, — сказал англичанин. — А вы куда едете, милорд? — спросил он, неожиданно употребив это название my-Lord, которого он почти никогда не употреблял.

Вронский с удивлением приподнял голову и посмотрел, как он умел смотреть, не в глаза, а на лоб англичанина, удивляясь смелости его вопроса. Но поняв, что англичанин, делая этот вопрос, смотрел на него не как на хозяина, но как на жокея, ответил ему:

— Мне нужно к Брянскому, я через час буду дома.

«Который раз мне делают нынче этот вопрос!» — сказал он себе и покраснел, что с ним редко бывало. Англичанин внимательно посмотрел на него. И как будто он знал, куда едет Вронский, прибавил:

— Первое дело быть спокойным пред ездой, — сказал

Едва он отъехал несколько шагов, как туча, с утра угрожавшая дождем, надвинулась, и хлынул ливень. «Плохо! — подумал Вронский, поднимая коляску. — И то грязно было, а теперь совсем болото будет». Сидя в уединении закрытой коляски, он достал письмо матери и записку брата и прочел их. Да, все это было то же и то же. Все, его мать, его брат, все находили нужным вмешиваться в его сердечные дела. Это вмешательство возбуждало в нем злобу — чувство, ■которое он редко испытывал. «Какое им дело? Почему всякий считает своим долгом заботиться обо мне? И отчего они пристают ко мне? Оттого, что они видят, что это что-то такое, чего они не могут попять. Если б это была обыкновенная пошлая светская связь, они бы оста^ вили меня в покое. Они чувствуют, что это что-то другое, что это не игрушка, эта женш,ина дороже для меня жизни. И это-то непонятно и потому досадно им. Какая ни есть и ни будет наша судьба, мы ее сделали, и мы на нее не жалуемся, — говорил он, в слове мы соединяя себя с Ан^ ною. — Нет, им надо научить нас, как жить. Они и понятия не имеют о том, что такое счастье, они не знают, что без этой любви для нас ни счастья, ни несчастья — нет жизни», — думал он. Он сердился на всех за вмешательство именно потому, что он чувствовал в душе, что они, эти все, были правы. Он чувствовал, что любовь, связывавшая его с Анной, не была минутное увлечение, которое пройдет, как проходят светские связи, не оставив других следов в жизни того и другого, кроме приятных или неприятных воспоминаний. Он чувствовал всю мучительность своего и ее положения, всю трудность при той выстазленности для глаз всего света, в которой они находились, скрывать свою любовь, лгать и обманывать; и лгать, обманывать, хитрить п постоянно думать о других тогда, когда страсть, связывавшая их, была так сильна, что они оба забывали обо всем другом, кроме своей любви. Он живо вспомнил все те часто повторявшиеся случаи необходимости лжи и обмана, которые были так противны его натуре; вспоминал особенно живо не раз замеченное в ней чувство стыда за эту необходимость обмана и лжи. И он испытал странное чувство, со времени его связи с Анною иногда находившее на него. Это было чувство омерзения к чему-то: к Алексею ли Александровичу, к себе ли, ко всему ли свету, — он не знал хоро198

Едва он отъехал несколько шагов, как туча, с утра угрожавшая дождем, надвинулась, и хлынул ливень.

«Плохо! — подумал Вронский, поднимая коляску. — И то грязно было, а теперь совсем болото будет». Сидя в уединении закрытой коляски, он достал письмо матери и записку брата и прочел их.

Да, все это было то же и то же. Все, его мать, его брат, все находили нужным вмешиваться в его сердечные дела. Это вмешательство возбуждало в нем злобу — чувство, которое он редко испытывал. «Какое им дело? Почему всякий считает своим долгом заботиться обо мне? И отчего они пристают ко мне? Оттого, что они видят, что это что-то такое, чего они не могут понять. Если б это была обыкновенная пошлая светская связь, они бы оставили меня в покое. Они чувствуют, что это что-то другое, что это не игрушка, эта женщина дороже для меня жизни. И это-то непонятно и потому досадно им. Какая ни есть и ни будет наша судьба, мы ее сделали, и мы на нее не жалуемся, — говорил он, в слове *мы* соединяя себя с Анною. — Нет, им надо научить нас, как жить. Они и понятия не имеют о том, что такое счастье, они не знают, что без этой любви для нас ни счастья, ни несчастья — нет жизни», — думал он.

Он сердился на всех за вмешательство именно потому, что он чувствовал в душе, что они, эти все, были правы. Он чувствовал, что любовь, связывавшая его с Анной, не была минутное увлечение, которое пройдет, как проходят светские связи, не оставив других следов в жизни того и другого, кроме приятных или неприятных воспоминаний. Он чувствовал всю мучительность своего и ее положения, всю трудность при той выставленности для глаз всего света, в которой они находились, скрывать свою любовь, лгать и обманывать; и лгать, обманывать, хитрить и постоянно думать о других тогда, когда страсть, связывавшая их, была так сильна, что они оба забывали обо всем другом, кроме своей любви.

Он живо вспомнил все те часто повторявшиеся случаи необходимости лжи и обмана, которые были так противны его натуре; вспоминал особенно живо не раз замеченное в ней чувство стыда за эту необходимость обмана и лжи. И он испытал странное чувство со времени

шенько. Но он всегда отгонял от себя это странное чувст-* во. И теперь, встряхнувшись, продолжал ход своих мыс-» лей. «Да, она прежде была несчастлива, но горда и спокойна; а теперь она не может быть спокойна и достойна, хотя она и не показывает этого. Да, это нужно кончить», — решил он сам с собою. И ему в первый раз пришла в голову ясная мысль о том, что необходимо прекратить эту ложь, и чем скорее, тем лучше. «Бросить все ей и мне и скрыться куда-нибудь одним с своею любовью», — сказал он себе. XXII Ливень был непродолжительный, и, когда Вронский подъезжал на всей рыси коренного, вытягивавшего скакавших уже без вожжей по грязи пристяжных, солнце опять выглянуло, и крыши дач, старые липы садов по обеим сторонам главной улицы блестели мокрым блеском, и с ветвей весело капала, а с крыш бежала вода. Он не думал уже о том, как этот ливень испортит гипподром, но теперь радовался тому, что благодаря этому дождю наверное застанет ее дома и одну, так как он знал, что Алексей Александрович, недавно вернувшийся с вод, не переезжал из Петербурга. Надеясь застать ее одну, Вронский, как он и всегда делал это, чтобы меньше обратить на себя внимание, слез, не переезжая мостика, и пошел пешком. Он не пошел на крыльцо с улицы, но вошел во двор. — Барин приехал? — спросил он у садовника. — Никак нет. Барыня дома. Да вы с крыльца пожалуйте; там люди есть, отопрут, — отвечал садовник. — Нет, я из сада пройду. И убедившись, что она одна, и желая застать ее врасплох, так как он не обещался быть нынче и она, верно, не думала, что он приедет пред скачками, он пошел, придерживая саблю и осторожно шагая по песку дорожки, обсаженной цветами, к террасе, выходившей в сад. Вронский теперь забыл все, что он думал дорогой о тяжести и трудности своего положения. Он думал об одном, что сейчас увидит ее не в одном воображении, но живую, всю, какая она есть в действительности. Он уже входил, ступая во всю ногу, чтобы не шуметь, по отлогим ступеням 199

шенько. Но он всегда отгонял от себя это странное чувство. И теперь, встряхнувшись, продолжал ход своих мыслей.

«Да, она прежде была несчастлива, но горда и спокойна; а теперь она не может быть спокойна и достойна, хотя она и не показывает этого. Да, это нужно кончить», — решил он сам с собою.

И ему в первый раз пришла в голову ясная мысль о том, что необходимо прекратить эту ложь, и чем скорее, тем лучше. «Бросить все ей и мне и скрыться куда-нибудь одним с своею любовью», — сказал он себе.

XXII

Ливень был непродолжительный, и, когда Вронский подъезжал на всей рыси коренного, вытягивавшего скакавших уже без вожжей по грязи пристяжных, солнце опять выглянуло, и крыши дач, старые липы садов по обеим сторонам главной улицы блестели мокрым блеском, и с ветвей весело капала, а с крыш бежала вода. Он не думал уже о том, как этот ливень испортит гипподром, но теперь радовался тому, что благодаря этому дождю наверное застанет ее дома и одну, так как он знал, что Алексей Александрович, недавно вернувшийся с вод, не переезжал из Петербурга.

Надеясь застать ее одну, Вронский, как он и всегда делал это, чтобы меньше обратить на себя внимание, слез, не переезжая мостика, и пошел пешком. Он не пошел на крыльцо с улицы, но вошел во двор.

— Барин приехал? — спросил он у садовника.

— Никак нет. Барыня дома. Да вы с крыльца пожалуйте; там люди есть, отопрут, — отвечал садовник.

— Нет, я из сада пройду.

И убедившись, что она одна, и желая застать ее врасплох, так как он не обещался быть нынче и она, верно, не думала, что он приедет пред скачками, он пошел, придерживая саблю и осторожно шагая по песку дорожки, обсаженной цветами, к террасе, выходившей в сад. Вронский теперь забыл все, что он думал дорогой о тяжести и трудности своего положения. Он думал об одном, что

террасы, когда вдруг вспомнил то, что он всегда забывал, и то, что составляло самую мучительную сторону его отношения к ней, — ее сына с его вопрошающим, противным, как ему казалось, взглядом. Мальчик этот чаще всех других был помехой их отношений. Когда он был тут, ни Вронский, ни Анна не только не позволяли себе говорить о чем-нибудь таком, чего бы они не могли повторить при всех, но они не позволяли себе даже и намеками говорить то, чего бы мальчик не понял. Они не сговаривались об этом, но это установилось само собою. Они считали бы оскорблением самих себя обманывать этого ребенка. При нем они говорили между собой как знакомые. Но, несмотря на эту осторожность, Вронский часто видел устремленный на него внимательный и недоумевающий взгляд ребенка и странную робость, неровность, то ласку, то холодность и застенчивость в отношении к себе этого мальчика. Как будто ребенок чувствовал, что между этим человеком и его матерью есть какое-то важное отношение, значения которого он понять не может. Действительно, мальчик чувствовал, что он не может понять этого отношения, и силился и не мог уяснить себе то чувство, которое он должен иметь к этому человеку. С чуткостью ребенка к проявлению чувства он ясно видел, что отец, гувернантка, няня — все не только не любили, но с отвращением и страхом смотрели на Вронского, хотя и ничего не говорили про него, а что мать смотрела на него, как на лучшего друга. «Что же это значит? Кто он такой? Как надо любить его? Если я не понимаю, я виноват, или я глупый, или дурной мальчик», — думал ребенок; и от этого происходило его испытующее, вопросительное, отчасти неприязненное выражение, и робость, и неровность, которые так стесняли Вронского. Присутствие этого ребенка всегда и неизменно вызывало во Вронском то странное чувство беспричинного омерзения, которое он испытывал последнее время. Присутствие этого ребенка вызывало во Вронском и в Анне чувство, подобное чувству мореплавателя, видящего по компасу, что направление, по которому он быстро движется, далеко расходится с надлежащим, но что остановить движение не в его силах, что каждая минута удаляет его больше и больше от должного направ-^ ления и что признаться себе в отступлении — все равно, что признаться в погибели. 2Ѳ0.

террасы, когда вдруг вспомнил то, что он всегда забывал, и то, что составляло самую мучительную сторону его отношения к ней, — ее сына с его вопрошающим, противным, как ему казалось, взглядом.

Мальчик этот чаще всех других был помехой их отношений. Когда он был тут, ни Вронский, ни Анна не только не позволяли себе говорить о чем-нибудь таком, чего бы они не могли повторить при всех, но они не позволяли себе даже и намеками говорить то, чего бы мальчик не понял. Они не сговаривались об этом, но это установилось само собою. Они считали бы оскорблением самих себя обманывать этого ребенка. При нем они говорили между собой как знакомые. Но, несмотря на эту осторожность, Вронский часто видел устремленный на него внимательный и недоумевающий взгляд ребенка и странную робость, неровность, то ласку, то холодность и застенчивость в отношении к себе этого мальчика. Как будто ребенок чувствовал, что между этим человеком и его матерью есть какое-то важное отношение, значения которого он понять не может.

Действительно, мальчик чувствовал, что он не может понять этого отношения, и силился и не мог уяснить себе то чувство, которое он должен иметь к этому человеку. С чуткостью ребенка к проявлению чувства он ясно видел, что отец, гувернантка, няня — все не только не любили, но с отвращением и страхом смотрели на Вронского, хотя и ничего не говорили про него, а что мать смотрела на него, как на лучшего друга.

«Что же это значит? Кто он такой? Как надо любить его? Если я не понимаю, я виноват, или я глупый, или дурной мальчик», — думал ребенок; и от этого происходило его испытующее, вопросительное, отчасти неприязненное выражение, и робость, и неровность, которые так стесняли Вронского. Присутствие этого ребенка всегда и неизменно вызывало во Вронском то странное чувство беспричинного омерзения, которое он испытывал последнее время. Присутствие этого ребенка вызывало во Вронском и в Анне чувство, подобное чувству мореплавателя, видящего по компасу, что направление, по которому он быстро движется, далеко расходится с надлежащим, но что остановить движение не в его силах, что каждая ми-

Ребенок этот с своим наивным взглядом на жизнь был компас, который показывал им степень их отклонения от того, что они знали, но не хотели знать. На этот раз Сережи не было дома, и она была совершенно одна и сидела на террасе, ожидая возвращения сына, ушедшего гулять и застигнутого дождем. Она послала человека и девушку искать его и сидела ожидая. Одетая в белое с широким шитьем платье, она сидела в углу террасы за цветами и не слыхала его. Склонив свою чернокурчавую голову, она прижала лоб к холодной лейке, стоявшей на перилах, и обеими своими прекрасными руками, со столь знакомыми ему кольцами, придерживала лейку. Красота всей ее фигуры, головы, шеи, рук каждый раз, как неожиданностью, поражала Вронского. Он остановился, с восхищением глядя на нее. Но только что он хотел ступить шаг, чтобы приблизиться к ней, она уже почувствовала его приближение, оттолкнула лейку и повернула к нему свое разгоряченное лицо. — Что с вами? Вы нездоровы? — сказал он по-французски, подходя к ней. Он хотел подбежать к ней; но, вспомнив, что могли быть посторонние, оглянулся на балконную дверь и покраснел, как он всякий раз краснел, чувствуя, что должен бояться и оглядываться. — Нет, я здорова, — сказала она, вставая и крепко пожимая его протянутую руку. — Я не ждала... тебя. — Боже мой! какие холодные руки! — сказал он. — Ты испугал меня, — сказала она. — Я одна и жду Сережу, он пошел гулять; они отсюда придут. Но, несмотря на то, что она старалась быть спокойною, губы ее тряслись. — Простите меня, что я приехал, но я не мог провести дня, не видав вас, — продолжал он по-французски, как он всегда говорил, избегая невозможно-холодного между ними вы и опасного ты по-русски. — За что ж простить? Я так рада! — • Но вы нездоровы или огорчены, продолжал он, не выпуская ее руки и нагибаясь над нею. — О чем вы думали? — Все об одном, — сказала она с улыбкой. Она говорила правду. Когда бы, в какую минуту ни спросили бы ее, о чем она думала, она без ошибки могла ответить: об одном, о своем счастье и о своем несчастье. Она думала теперь именно, когда он застал ее, вот о чем: она думала, почему для других, для Бетси например (она 201

Ребенок этот с своим наивным взглядом на жизнь был компас, который показывал им степень их отклонения от того, что они знали, но не хотели знать.

На этот раз Сережи не было дома, и она была совершенно одна и сидела на террасе, ожидая возвращения сына, ушедшего гулять и застигнутого дождем. Она послала человека и девушку искать его и сидела ожидая. Одетая в белое с широким шитьем платье, она сидела в углу террасы за цветами и не слыхала его. Склонив свою чернокурчавую голову, она прижала лоб к холодной лейке, стоявшей на перилах, и обеими своими прекрасными руками, со столь знакомыми ему кольцами, придерживала лейку. Красота всей ее фигуры, головы, шеи, рук каждый раз, как неожиданностью, поражала Вронского. Он остановился, с восхищением глядя на нее. Но только что он хотел ступить шаг, чтобы приблизиться к ней, она уже почувствовала его приближение, оттолкнула лейку и повернула к нему свое разгоряченное лицо.

— Что с вами? Вы нездоровы? — сказал он по-французски, подходя к ней. Он хотел подбежать к ней; но, вспомнив, что могли быть посторонние, оглянулся на балконную дверь и покраснел, как он всякий раз краснел, чувствуя, что должен бояться и оглядываться.

— Нет, я здорова, — сказала она, вставая и крепко пожимая его протянутую руку. — Я не ждала... тебя.

— Боже мой! какие холодные руки! — сказал он.

— Ты испугал меня, — сказала она. — Я одна и жду Сережу, он пошел гулять; они отсюда придут.

Но, несмотря на то, что она старалась быть спокойною, губы ее тряслись.

— Простите меня, что я приехал, но я не мог провести дня, не видав вас, — продолжал он по-французски, как он всегда говорил, избегая невозможно-холодного между ними *вы* и опасного *ты* по-русски.

— За что ж простить? Я так рада!

— Но вы нездоровы или огорчены, — продолжал он, не выпуская ее руки и нагибаясь над нею. — О чем вы думали?

— Все об одном, — сказала она с улыбкой.

Она говорила правду. Когда бы, в какую минуту ни спросили бы ее, о чем она думала, она без ошибки могла

знала ее скрытую для света связь с Тушкевичем), все это было легко, а для нее так мучительно? Нынче эта мысль, по некоторым соображениям, особенно мучала ее. Она спросила его о скачках. Он отвечал ей и, видя, что она взволнована, стараясь развлечь ее, стал рассказывать ей самым простым тоном подробности приготовлений к скачкам. «Сказать или не сказать? — думала она, глядя в его спокойные ласковые глаза. — Он так счастлив, так занят своими скачками, что не поймет этого как надо, не поймет всего значения для нас этого события». — Но вы не сказали, о чем вы думали, когда я вошел, — сказал он, перервав свой рассказ, — пожалуйста, скажите! Она не отвечала и, склонив немного голову, смотрела на него исподлобья вопросительно своими блестящ;ими из-за длинных ресниц глазами. Рука ее, игравшая сорванным листом, дрожала. Он видел это, и лицо его выразило ту покорность, рабскую преданность, которая так подкупала ее. — Я вижу, что случилось что-то. Разве я могу быть минуту спокоен, зная, что у вас есть горе, которого я не разделяю? Скажите, ради бога! — умоляюіце повторил он. «Да, я не прощу ему, если он не поймет всего значения этого. Лучше не говорить, зачем испытывать?» — думала она, все так же глядя на него и чувствуя, что рука ее с листком все больше и больше трясется. — Ради бога! — повторил он, взяв ее руку. — Сказать? — Да, да, да... — Я беременна, — сказала она тихо и медленно. Листок в ее руке задрожал еще сильнее, по она не спускала с него глаз, чтобы видеть, как он примет это. Он побледнел, хотел что-то сказать, но остановился, выпустил ее руку и опустил голову. «Да, он понял все значение этого события», — подумала она и благодарно пожала ему руку. Но она ошиблась в том, что оп понял значение известия так, как она, женщина, его понимала. При этом известии он с удесятеренною силой почувствовал припадок этого странного, находившего на него чувства омерзения к кому-то; но вместе с тем он понял, что тот кризис, которого он желал, наступил теперь, что нельзя более скрывать от мужа, и необходимо так или иначе разорвать 202

знала ее скрытую для света связь с Тушкевичем), все это было легко, а для нее так мучительно? Нынче эта мысль, по некоторым соображениям, особенно мучала ее. Она спросила его о скачках. Он отвечал ей и, видя, что она взволнована, стараясь развлечь ее, стал рассказывать ей самым простым тоном подробности приготовлений к скачкам.

«Сказать или не сказать? — думала она, глядя в его спокойные ласковые глаза. — Он так счастлив, так занят своими скачками, что не поймет этого как надо, не поймет всего значения для нас этого события».

— Но вы не сказали, о чем вы думали, когда я вошел, — сказал он, перервав свой рассказ, — пожалуйста, скажите!

Она не отвечала и, склонив немного голову, смотрела на него исподлобья вопросительно своими блестящими из-за длинных ресниц глазами. Рука ее, игравшая сорванным листом, дрожала. Он видел это, и лицо его выразило ту покорность, рабскую преданность, которая так подкупала ее.

— Я вижу, что случилось что-то. Разве я могу быть минуту спокоен, зная, что у вас есть горе, которого я не разделяю? Скажите, ради бога! — умоляюще повторил он.

«Да, я не прощу ему, если он не поймет всего значения этого. Лучше не говорить, зачем испытывать?» — думала она, все так же глядя на него и чувствуя, что рука ее с листком все больше и больше трясется.

— Ради бога! — повторил он, взяв ее руку.

— Сказать?

— Да, да, да...

— Я беременна, — сказала она тихо и медленно.

Листок в ее руке задрожал еще сильнее, но она не спускала с него глаз, чтобы видеть, как он примет это. Он побледнел, хотел что-то сказать, но остановился, выпустил ее руку и опустил голову. «Да, он понял все значение этого события», — подумала она и благодарно пожала ему руку.

Но она ошиблась в том, что он понял значение известия так, как она, женщина, его понимала. При этом известии он с удесятеренною силой почувствовал припадок этого странного, находившего на него чувства омерзения

скорее это неестественное положение. Но, кроме того, ее волнение физически сообщалось ему. Он взглянул на нее умиленным, покорным взглядом, поцеловал ее руку, встал и молча прошелся по террасе. — Да, — сказал он решительно, подходя к ней. — Ни я, ни вы не смотрели на наши отношения как на игрушку, а теперь паша судьба решена. Необходимо кончить, — сказал он, оглядываясь, — ту ложь, в которой мы живем. — Кончить? Как же кончить, Алексей? — сказала она тихо. Она успокоилась теперь, и лицо ее сияло нежною улыбкой. — Оставить мужа и соединить нашу жизнь. — Она соединена и так, -- чуть слышно отвечала она^ — Да, но совсем, совсем. — Но как, Алексей, научи меня, как? — сказала она с грустною насмешкой над безвыходностью своего положения. — Разве есть выход из такого положения? Разве я не жена своего мужа? — Из всякого положения есть выход. Нужно решить^ ся, — сказал он. — Все лучше, чем то положение, в котором ты живешь. Я ведь вижу, как ты мучаешься всем, и светом, и сыном, и мужем. — Ах, только не мужем, — с простою усмешкой сказала она. — Я не знаю, я не думаю о нем. Его нет. — Ты говоришь неискренно. Я знаю тебя. Ты мучаешься и о нем. — - Да он и не знает, ■— сказала она, и вдруг яркая краска стала выступать па ее лицо; щеки, лоб, шея ее покраснели, и слезы стыда выступили ей на глаза. — Да и не будем говорить об нем. XXIII Вронский уже несколько раз пытался, хотя и не так решительно, как теперь, наводить ее на обсуждение своего положения и каждый раз сталкивался с тою поверхiiостностию и легкостью суждений, с которою она теперь отвечала на его вызов. Как будто было что-то в этом такое, чего она не могла или не хотела уяснить себе, как будто, как только она начинала говорить про это, она, настоящая Анна, уходила куда-то в себя и выступала другая, странная, чуждая ему женщина, которой он не любил 203

скорее это неестественное положение. Но, кроме того, ее волнение физически сообщалось ему. Он взглянул на нее умиленным, покорным взглядом, поцеловал ее руку, встал и молча прошелся по террасе.

— Да, — сказал он решительно, подходя к ней. — Ни я, ни вы не смотрели на наши отношения как на игрушку, а теперь наша судьба решена. Необходимо кончить, — сказал он, оглядываясь, — ту ложь, в которой мы живем.

— Кончить? Как же кончить, Алексей? — сказала она тихо.

Она успокоилась теперь, и лицо ее сияло нежною улыбкой.

— Оставить мужа и соединить нашу жизнь.

— Она соединена и так, — чуть слышно отвечала она.

— Да, но совсем, совсем.

— Но как, Алексей, научи меня, как? — сказала она с грустною насмешкой над безвыходностью своего положения. — Разве есть выход из такого положения? Разве я не жена своего мужа?

— Из всякого положения есть выход. Нужно решиться, — сказал он. — Все лучше, чем то положение, в котором ты живешь. Я ведь вижу, как ты мучаешься всем, и светом, и сыном, и мужем.

— Ах, только не мужем, — с простою усмешкой сказала она. — Я не знаю, я не думаю о нем. Его нет.

— Ты говоришь неискренно. Я знаю тебя. Ты мучаешься и о нем.

— Да он и не знает, — сказала она, и вдруг яркая краска стала выступать на ее лицо; щеки, лоб, шея ее покраснели, и слезы стыда выступили ей на глаза. — Да и не будем говорить об нем.

XXIII

Вронский уже несколько раз пытался, хотя и не так решительно, как теперь, наводить ее на обсуждение своего положения и каждый раз сталкивался с тою поверхностностию и легкостью суждений, с которою она теперь отвечала на его вызов. Как будто было что-то в этом такое, чего она не могла или не хотела уяснить себе, как будто,

и боялся и которая давала ему отпор. Но нынче ой решился высказать все. — Знает ли он, или нет, — сказал Вронский своим обычным твердым и спокойным тоном, — знает ли он, или нет, нам до этого дела нет. Мы не можем... вы не можете так оставаться, особенно теперь. — Что ж делать, по-вашему? — спросила она с тою легкой насмешливостью. Ей, которая так боялась, чтоб он не принял легко ее беременность, теперь было досадно за то, что он из этого выводил необходимость предпринять что-то. — Объявить ему все и оставить его. — Очень хорошо; положим, что я сделаю это, — сказала она. — Вы знаете, что из этого будет? Я вперед все расскажу, — и злой свет зажегся в ее за минуту пред этим неявных глазах. — «А, вы любите другого и вступили с ним в преступную связь? (Она, представляя мужа, сделала, точно так, как это делал Алексей Александрович, ударение на слове преступную,) Я предупреждал вас о последствиях в религиозном, гражданском и семейном отношениях. Вы не послушали меня. Теперь я не могу отдать позору свое имя... — и своего сына, — хотела она сказать, но сыном она не могла шутить... — позору свое имя», и егце что-нибудь в таком роде, — добавила она. — Вообш;е он скажет со своею государственною манерой и с ясностью и точностью, что он не меняет отпустить меня, но примет зависяп];ие от него меры остановить скандал. И сделает спокойно, аккуратно то, что скажет. Вот что будет. Это не человек, а машина, и злая машина, когда рассердится, — прибавила она, вспоминая при этом Алексея Александровича со всеми подробностями его фигуры, манеры говорить и его характера и в вину ставя ему все, что только могла она найти в нем нехорошего, не прощая ему ничего за ту страшную вину, которою она была пред ним виновата. — Но, Анна, — сказал Вронский убедительным, мягким голосом, стараясь успокоить ее, — все-таки необходимо сказать ему, а потом уж руководиться тем, что он предпримет. — Что ж, бежать? — Отчего ж и не бежать? Я не вижу возможности продолжать это. И не для себя, — я вижу, что вы страдаете. — Да, бежать, и мне сделаться вашею любовницей? — злобно сказала она, 204

и боялся и которая давала ему отпор. Но нынче он решился высказать все.

— Знает ли он, или нет, — сказал Вронский своим обычным твердым и спокойным тоном, — знает ли он, или нет, нам до этого дела нет. Мы не можем... вы не можете так оставаться, особенно теперь.

— Что ж делать, по-вашему? — спросила она с тою легкой насмешливостью. Ей, которая так боялась, чтоб он не принял легко ее беременность, теперь было досадно за то, что он из этого выводил необходимость предпринять что-то.

— Объявить ему все и оставить его.

— Очень хорошо; положим, что я сделаю это, — сказала она. — Вы знаете, что из этого будет? Я вперед все расскажу, — и злой свет зажегся в ее за минуту пред этим нежных глазах. — «А, вы любите другого и вступили с ним в преступную связь? (Она, представляя мужа, сделала, точно так, как это делал Алексей Александрович, ударение на слове *преступную*.) Я предупреждал вас о последствиях в религиозном, гражданском и семейном отношениях. Вы не послушали меня. Теперь я не могу отдать позору свое имя... — и своего сына, — хотела она сказать, но сыном она не могла шутить... — позору свое имя», и еще что-нибудь в таком роде, — добавила она. — Вообще он скажет со своею государственною манерой и с ясностью и точностью, что он не может отпустить меня, но примет зависящие от него меры остановить скандал. И сделает спокойно, аккуратно то, что скажет. Вот что будет. Это не человек, а машина, и злая машина, когда рассердится, — прибавила она, вспоминая при этом Алексея Александровича со всеми подробностями его фигуры, манеры говорить и его характера и в вину ставя ему все, что только могла она найти в нем нехорошего, не прощая ему ничего за ту страшную вину, которою она была пред ним виновата.

— Но, Анна, — сказал Вронский убедительным, мягким голосом, стараясь успокоить ее, — все-таки необходимо сказать ему, а потом уж руководиться тем, что он предпримет.

— Что ж, бежать?

— Отчего ж и не бежать? Я не вижу возможности про-

— Анна! — укоризненно-нежно проговорил он. — Да, — продолжала она, — сделаться вашею любовницей и погубить все... Она опять хотела сказать: сына, но не могла выговорить этого слова. Вронский не мог понять, как она, со своею сильною, честною натурой, могла переносить это положение обмана и не желать выйти из него; но он не догадывался, что главная причина этого было то слово сын, которого она не могла выговорить. Когда она думала о сыне и его будущих отношениях к бросившей его отца матери, ей так становилось страшно за то, что она сделала, что она не рассуждала, а, как женщина, старалась только успокоить себя лживыми рассуждениями и словами, с тем чтобы все оставалось по-старому и чтобы можно было забыть про страшный вопрос, что будет с сыном. — Я прошу тебя, я умоляю тебя, — вдруг совсем другим, искренним и нежным тоном сказала она, взяв его за руку, — никогда не говори со мной об этом! — Но, Анна... — Никогда. Предоставь мне. Всю низость, весь ужас своего положения я знаю; но это не так легко решить, как ты думаешь. И предоставь мне, и слушайся меня. Никогда со мной не говори об этом. Обещаешь ты мне?.* Нет, нет, обещай!.. — Я все обещаю, но я не могу быть спокоен, особенно после того, что ты сказала. Я не могу быть спокоен, когда ты не можешь быть спокойна... — Я? — повторила она. — Да, я мучаюсь иногда; но это пройдет, если ты никогда не будешь говорить со мной. Когда ты говоришь со мной об этом, тогда только это меня мучает. — Я не понимаю, — сказал он. — Я знаю, — перебила она его, — как тяжело твоей честной натуре лгать, и жалею тебя. Я часто думаю, как для меня ты мог погубить свою жизнь. — Я то же самое сейчас думал, — сказал он, — как из-за меня ты могла пожертвовать всем? Я не могу простить себе то, что ты несчастлива. — Я несчастлива? — сказала она, приближаясь к нему и с восторженною улыбкой любви глядя на него, — я — как голодный человек, которому дали есть. Может быть, ему холодно, и платье у него разорвано, и стыдно, но он не несчастлив. Я несчастлива? Нет, вот мое счастье...

— Анна! — укоризненно-нежно проговорил он.

— Да, — продолжала она, — сделаться вашею любовницей и погубить все...

Она опять хотела сказать: сына, но не могла выговорить этого слова.

Вронский не мог понять, как она, со своею сильною, честною натурой, могла переносить это положение обмана и не желать выйти из него; но он не догадывался, что главная причина этого было то слово *сын,* которого она не могла выговорить. Когда она думала о сыне и его будущих отношениях к бросившей его отца матери, ей так становилось страшно за то, что́ она сделала, что она не рассуждала, а, как женщина, старалась только успокоить себя лживыми рассуждениями и словами, с тем чтобы все оставалось по-старому и чтобы можно было забыть про страшный вопрос, что будет с сыном.

— Я прошу тебя, я умоляю тебя, — вдруг совсем другим, искренним и нежным тоном сказала она, взяв его за руку, — никогда не говори со мной об этом!

— Но, Анна...

— Никогда. Предоставь мне. Всю низость, весь ужас своего положения я знаю; но это не так легко решить, как ты думаешь. И предоставь мне, и слушайся меня. Никогда со мной не говори об этом. Обещаешь ты мне?.. Нет, нет, обещай!..

— Я все обещаю, но я не могу быть спокоен, особенно после того, что ты сказала. Я не могу быть спокоен, когда ты не можешь быть спокойна...

— Я? — повторила она. — Да, я мучаюсь иногда; но это пройдет, если ты никогда не будешь говорить со мной. Когда ты говоришь со мной об этом, тогда только это меня мучает.

— Я не понимаю, — сказал он.

— Я знаю, — перебила она его, — как тяжело твоей честной натуре лгать, и жалею тебя. Я часто думаю, как для меня ты мог погубить свою жизнь.

— Я то же самое сейчас думал, — сказал он, — как из-за меня ты могла пожертвовать всем? Я не могу простить себе то, что ты несчастлива.

— Я несчастлива? — сказала она, приближаясь к нему и с восторженною улыбкой любви глядя на него, — я —

Она услыхала голос возвращавшегося сына и, окинув быстрым взглядом террасу, порывисто встала. Взгляд ее зажегся знакомым ему огнем, она быстрым движением подняла свои красивые, покрытые кольцами руки, взяла его за голову, посмотрела на него долгим взглядом и, приблизив свое лицо с открытыми, улыбающимися губами, быстро поцеловала его рот и оба глаза и оттолкнула. Она хотела идти, но он удержал ее. — Когда? — проговорил он шепотом, восторженно глядя на нее. — Нынче, в час, — прошептала она и, тяжело вздохнув, пошла своим легким и быстрым шагом навстречу сыну. Сережу дождь застал в большом саду, и они с няней просидели в беседке. — Ну, до свиданья, — сказала она Вронскому. — Теперь скоро надо на скачки. Бетси обещала заехать за мной. Вронский, взглянув на часы, поспешно уехал, XXIV Когда Вронский смотрел на часы на балконе Карени-* ных, он был так растревожен и занят своими мыслями, что видел стрелки на циферблате, но не мог понять, который час. Он вышел на шоссе и направился, осторожно ступая по грязи, к своей коляске. Он был до такой степени переполнен чувством к Анне, что и не подумал о том, который час и есть ли ему еще время ехать к Брянскому^ У него оставалась, как это часто бывает, только внешняя способность памяти, указывающая, что вслед за чем решено сделать. Он подошел к своему кучеру, задремавшему на козлах в косой уже тени густой липы, полюбовался переливающимися столбами толкачиков-мошек, вившихся над потными лошадьми, и, разбудив кучера, вскочил в коляску и велел ехать к Брянскому. Только отъехав верст семь, он настолько опомнился, что посмотрел на часы и понял, что было половина шестого и что он опоздал. В этот день было несколько скачек: скачка конвойных, потом двухверстная офицерская, четырехверстная и та скачка, в которой он скакал. К своей скачке он мог поспеть, но если он поедет к Брянскому, то он только206

Она услыхала голос возвращавшегося сына и, окинув быстрым взглядом террасу, порывисто встала. Взгляд ее зажегся знакомым ему огнем, она быстрым движением подняла свои красивые, покрытые кольцами руки, взяла его за голову, посмотрела на него долгим взглядом и, приблизив свое лицо с открытыми, улыбающимися губами, быстро поцеловала его рот и оба глаза и оттолкнула. Она хотела идти, но он удержал ее.

— Когда? — проговорил он шепотом, восторженно глядя на нее.

— Нынче, в час, — прошептала она и, тяжело вздохнув, пошла своим легким и быстрым шагом навстречу сыну.

Сережу дождь застал в большом саду, и они с няней просидели в беседке.

— Ну, до свиданья, — сказала она Вронскому. — Теперь скоро надо на скачки. Бетси обещала заехать за мной.

Вронский, взглянув на часы, поспешно уехал.

XXIV

Когда Вронский смотрел на часы на балконе Карениных, он был так растревожен и занят своими мыслями, что видел стрелки на циферблате, но не мог понять, который час. Он вышел на шоссе и направился, осторожно ступая по грязи, к своей коляске. Он был до такой степени переполнен чувством к Анне, что и не подумал о том, который час и есть ли ему еще время ехать к Брянскому. У него оставалась, как это часто бывает, только внешняя способность памяти, указывающая, что вслед за чем решено сделать. Он подошел к своему кучеру, задремавшему на козлах в косой уже тени густой липы, полюбовался переливающимися столбами толкачиков-мошек, вившихся над потными лошадьми, и, разбудив кучера, вскочил в коляску и велел ехать к Бряпскому. Только отъехав верст семь, он настолько опомнился, что посмотрел на часы и понял, что было половина шестого и что он опоздал.

В этот день было несколько скачек: скачка конвой-

только приедет, и приедет, когда уже будет весь двор. Это было нехорошо. Но он дал Брянскому слово быть у него и потому решил ехать дальше, приказав кучеру не жалеть тройки. Он приехал к Брянскому, пробыл у него пять минут и поскакал назад. Эта быстрая езда успокоила его. Все тяжелое, что было в его отношениях к Анне, вся неопределенность, оставшаяся после их разговора, все выскочило из его головы; он с наслаждением и волнением думал теперь о скачке, о том, что он все-таки поспеет, и изредка ожидание счастья свидания нынешней ночи вспыхивало ярким светом в его воображении. Чувство предстоящей скачки все более и более охватывало его, по мере того как он въезжал дальше и дальше в атмосферу скачек, обгоняя экипажи ехавших с дач и из Петербурга на скачки. На его квартире никого уже не было дома: все были на скачках, и лакей его дожидался у ворот. Пока он переодевался, лакей сообщил ему, что уже начались вторые скачки, что приходило много господ спрашивать про него и из конюшни два раза прибегал мальчик. Переодевшись без торопливости (он никогда не торо^ пился и ие терял самообладания), Вронский велел ехать к баракам. От бараков ему уже были видны море экипажей, пешеходов, солдат, окружавших гипподром, и кипящие народом беседки. Шли, вероятно, вторые скачки, потому что в то время, как он входил в барак, он слышал звонок. Подходя к конюшне, оп встретился с белоногим рыжим Гладиатором Махотипа, которого в оранжевой с синим попоне, с кажущимися огромными, отороченными синим ушами, вели на гипподром. — Где Корд? — спросил он у конюха. — В конюшне, седлают. В отворенном деннике Фру-Фру уже была оседлана. Ее собирались выводить. — Не опоздал? — АН right! АН right! Все исправно, все исправно, проговорил англичанин, — не будьте взволнованы. Вронский еще раз окинул взглядом прелестные, любимые формы лошади, дрожавшей всем телом, и, с трудом оторвавшись от этого зрелища, вышел из барака. Он подъехал к беседкам в самое выгодное время для того, чтобы не обратить на себя ничьего внимания. Только что кончилась двухверстная скачка, и все глаза были 2Ü7

только приедет, и приедет, когда уже будет весь двор. Это было нехорошо. Но он дал Брянскому слово быть у него и потому решил ехать дальше, приказав кучеру не жалеть тройки.

Он приехал к Брянскому, пробыл у него пять минут и поскакал назад. Эта быстрая езда успокоила его. Все тяжелое, что было в его отношениях к Анне, вся неопределенность, оставшаяся после их разговора, все выскочило из его головы; он с наслаждением и волнением думал теперь о скачке, о том, что он все-таки поспеет, и изредка ожидание счастья свидания нынешней ночи вспыхивало ярким светом в его воображении.

Чувство предстоящей скачки все более и более охватывало его, по мере того как он въезжал дальше и дальше в атмосферу скачек, обгоняя экипажи ехавших с дач и из Петербурга на скачки.

На его квартире никого уже не было дома: все были на скачках, и лакей его дожидался у ворот. Пока он переодевался, лакей сообщил ему, что уже начались вторые скачки, что приходило много господ спрашивать про него и из конюшни два раза прибегал мальчик.

Переодевшись без торопливости (он никогда не торопился и не терял самообладания), Вронский велел ехать к баракам. От бараков ему уже были видны море экипажей, пешеходов, солдат, окружавших гипподром, и кипящие народом беседки. Шли, вероятно, вторые скачки, потому что в то время, как он входил в барак, он слышал звонок. Подходя к конюшне, он встретился с белоногим рыжим Гладиатором Махотина, которого в оранжевой с синим попоне, с кажущимися огромными, отороченными синим ушами, вели на гипподром.

— Где Корд? — спросил он у конюха.

— В конюшне, седлают.

В отворенном деннике Фру-Фру уже была оседлана. Ее собирались выводить.

— Не опоздал?

— All right! All right! Все исправно, все исправно, — проговорил англичанин, — не будьте взволнованы.

Вронский еще раз окинул взглядом прелестные, любимые формы лошади, дрожавшей всем телом, и, с трудом оторвавшись от этого зрелища, вышел из барака. Он

устремлены на кавалергарда впереди и лейб-гусара сзади, из последних сил посылавших лошадей и подходивших к столбу. Из середины и извне круга все теснились к столбу, и кавалергардская группа солдат и офицеров громкими возгласами выражала радость ожидаемого торжества своего офицера и товарипца. Вронский незаметно вошел в середину толпы почти в то самое время, как раздался звонок, оканчиваюш;ий скачки, и высокий, забрызганный грязью кавалергард, пришедший первым, опустившись на седло, стал спускать поводья своему серому, потемневшему от поту, тяжело дышавшему жеребцу. Жеребец, с усилием тыкаясь ногами, укоротил быстрый ход своего большого тела, и кавалергардский офицер, как человек, проснувшийся от тяжелого сна, оглянулся кругом и с трудом улыбнулся. Толпа своих и чужих окружила его. Вронский умышленно избегал той избранной, великосветской толпы, которая сдержанно и свободно двигалась и переговаривалась пред беседками. Он узнал, что там была и Каренина, и Бетси, и жена его брата, и нарочно, чтобы не развлечься, не подходил к ним. Но беспрестанно встречавшиеся знакомые останавливали его, рассказывая ему подробности бывших скачек и расспрашивая его, почему он опоздал. В то время как скакавшие были призваны в беседку для получения призов и все обратились туда, старший брат Вронского, Александр, полковник с эксельбантами, невысокий ростом, такой же коренастый, как и Алексей, но более красивый и румяный, с красным носом и пьяным, открытым лицом, подошел к нему. — Ты получил мою записку? — сказал он. — Тебя никогда не найдешь. Александр Вронский, несмотря на разгульную, в особенности пьяную жизнь, которой он был известен, был вполне придворный человек. Он теперь, говоря с братом о неприятной весьма для него вещи, зная, что глаза многих могут быть устремлены на них, имел вид улыбающийся, как будто он о чем-нибудь неважном шутил с братом. — Я получил и, право, не понимаю, о чем ты заботишься, — сказал Алексей. — Я о том забочусь, что сейчас мне было замечено, что тебя нет и что в понедельник тебя встретили в Петергофе, 208

устремлены на кавалергарда впереди и лейб-гусара сзади, из последних сил посылавших лошадей и подходивших к столбу. Из середины и извне круга все теснились к столбу, и кавалергардская группа солдат и офицеров громкими возгласами выражала радость ожидаемого торжества своего офицера и товарища. Вронский незаметно вошел в середину толпы почти в то самое время, как раздался звонок, оканчивающий скачки, и высокий, забрызганный грязью кавалергард, пришедший первым, опустившись на седло, стал спускать поводья своему серому, потемневшему от поту, тяжело дышавшему жеребцу.

Жеребец, с усилием тыкаясь ногами, укоротил быстрый ход своего большого тела, и кавалергардский офицер, как человек, проснувшийся от тяжелого сна, оглянулся кругом и с трудом улыбнулся. Толпа своих и чужих окружила его.

Вронский умышленно избегал той избранной, великосветской толпы, которая сдержанно и свободно двигалась и переговаривалась пред беседками. Он узнал, что там была и Каренина, и Бетси, и жена его брата, и нарочно, чтобы не развлечься, не подходил к ним. Но беспрестанно встречавшиеся знакомые останавливали его, рассказывая ему подробности бывших скачек и расспрашивая его, почему он опоздал.

В то время как скакавшие были призваны в беседку для получения призов и все обратились туда, старший брат Вронского, Александр, полковник с эксельбантами, невысокий ростом, такой же коренастый, как и Алексей, но более красивый и румяный, с красным носом и пьяным, открытым лицом, подошел к нему.

— Ты получил мою записку? — сказал он. — Тебя никогда не найдешь.

Александр Вронский, несмотря на разгульную, в особенности пьяную жизнь, которой он был известен, был вполне придворный человек.

Он теперь, говоря с братом о неприятной весьма для него вещи, зная, что глаза многих могут быть устремлены на них, имел вид улыбающийся, как будто он о чем-нибудь неважном шутил с братом.

— Я получил и право, не понимаю, о чем *ты* забо-

— Есть дела, которые подлежат обсуждению только тех, кто прямо в них заинтересован, и то дело, о котором ты так заботиться, — такое... — Да, но тогда не служат, не... — Я тебя прошу не вмешиваться, и только. Нахмуренное лицо Алексея Вронского побледнело, и выдающ;аяся нижняя челюсть его дрогнула, что с ним бывало редко. Он, как человек с очень добрым сердцем, сердился редко, но когда он сердился и когда у него дрожал подбородок, то, как и знал это Александр Вронский, он был опасен. Александр Вронский весело улыбнулся. — Я только хотел передать письмо матушки. Отвечай ей и не расстраивайся пред ездой. Bonne chance ^ — прибавил он, улыбаясь, и отошел от него. Но вслед за ним опять дружеское приветствие остановило Вронского. — ■ Не хочешь знать приятелей! Здравствуй, mon cher! — заговорил Степан Аркадьич, и здесь, среди этого петербургского блеска, не менее, чем в Москве, блистая своим румяным лицом и лосняшіимися расчесанными бакенбардами. — Вчера приехал и очень рад, что увижу твое торжество. Когда увидимся? — Заходи завтра в артель, — сказал Вронский и, пожав его, извиняясь, за рукав пальто, отошел в середину гипподрома, куда уте вводили лошадей для большой скачки с препятствиями. Потные, измученные скакавшие лошади, проваживаемые конюхами, уводились домой, и одна за другой появлялись новые к предстоящей скачке, свежие, большею частию английские лошади, в капорах, со своими поддернутыми животами, похожие на странных огромных птиц. Направо водили поджарую красавицу Фру-Фру, которая, как на пружинах, переступала на своих эластичных и довольно длинных бабках. Недалеко от нее снимали попону с лопоухого Гладиатора. Крупные, прелестные, совершенно правильные формы жеребца с чудесным задом и необычайно короткими, над самыми копытами сидевшими бабками невольно останавливали на себе внимание Вронского. Он хотел подойти к своей лошади, но его опять задержал знакомый. * Желаю удачи (франц.). 209

— Есть дела, которые подлежат обсуждению только тех, кто прямо в них заинтересован, и то дело, о котором ты так заботишься, — такое...

— Да, но тогда не служат, не...

— Я тебя прошу не вмешиваться, и только.

Нахмуренное лицо Алексея Вронского побледнело, и выдающаяся нижняя челюсть его дрогнула, что с ним бывало редко. Он, как человек с очень добрым сердцем, сердился редко, но когда он сердился и когда у него дрожал подбородок, то, как и знал это Александр Вронский, он был опасен. Александр Вронский весело улыбнулся.

— Я только хотел передать письмо матушки. Отвечай ей и не расстраивайся пред ездой. Bonne chance [1], — прибавил он, улыбаясь, и отошел от него.

Но вслед за ним опять дружеское приветствие остановило Вронского.

— Не хочешь знать приятелей! Здравствуй, mon cher! — заговорил Степан Аркадьич, и здесь, среди этого петербургского блеска, не менее, чем в Москве, блистая своим румяным лицом и лоснящимися расчесанными бакенбардами. — Вчера приехал и очень рад, что увижу твое торжество. Когда увидимся?

— Заходи завтра в артель, — сказал Вронский и, пожав его, извиняясь, за рукав пальто, отошел в середину гипподрома, куда уже вводили лошадей для большой скачки с препятствиями.

Потные, измученные скакавшие лошади, проваживаемые конюхами, уводились домой, и одна за другой появлялись новые к предстоящей скачке, свежие, большею частию английские лошади, в капорах, со своими поддернутыми животами, похожие на странных огромных птиц. Направо водили поджарую красавицу Фру-Фру, которая, как на пружинах, переступала на своих эластичных и довольно длинных бабках. Недалеко от нее снимали попону с лопоухого Гладиатора. Крупные, прелестные, совершенно правильные формы жеребца с чудесным задом и необычайно короткими, над самыми копытами сидевшими бабками невольно останавливали на себе внимание Вронского. Он хотел подойти к своей лошади, но его

— А, вот Каренин! — сказал ему знакомый, с которым он разговаривал. — Ищет жену, а она в середней беседке. Вы не видали ее? — Нет, не видал, — отвечал Вронский и, не оглянувшись даже на беседку, в которой ему указывали на Каренину, подошел к своей лошади. Не успел Вронский посмотреть седло, о котором надо было сделать распоряжение, как скачущих позвали к беседке для вынимания нумеров и отправления. С серьезными, строгими, многие с бледными лицами, семнадцать человек офицеров сошлись к беседке и разобрали нумера. Вронскому достался седьмой нумер. Послышалось: «Садиться!» Чувствуя, что он вместе с другими скачущими составляет центр, на который устремлены все глаза, Вронский в напряженном состоянии, в котором он обыкновенно делался медлителен и спокоен в движениях, подошел к своей лошади. Корд для торжества скачек оделся в свой парадный костюм: черный застегнутый сюртук, тугие воротнички, подпиравшие ему щеки, и в круглую черную шляпу и ботфорты. Он был, как и всегда, спокоен и важен и сам держал за оба повода лошадь, стоя пред нею. Фру-Фру продолжала дрожать как в лихорадке. Полный огня глаз ее косился на подходившего Вронского. Вронский подсунул палец под подпругу. Лошадь покосилась сильнее, оскалилась и прижала ухо. Англичанин поморщился губами, желая выразить улыбку над тем, что поверяли его седланье. — Садитесь, меньше будете волноваться. Вронский оглянулся в последний раз на своих соперников. Он знал, что на езде он уже не увидит их. Двое уже ехали вперед к месту, откуда должны были пускать. Гальцин, один из опасных соперников и приятель Вронского, вертелся вокруг гнедого жеребца, не дававшегося садиться. Маленький лейб-гусар в узких рейтузах ехал галопом, согнувшись, как кот, на крупу, из желания подражать англичанам. Князь Кузовлев сидел бледный на своей кровной, Грабовского завода, кобыле, и англичанин вел ее под уздцы. Вронский и все его товарищи знали Кузовлева и его особенность «слабых» нервов и страшного самолюбия. Они знали, что он боялся всего, боялся ездить на фронтовой лошади; но теперь, именно потому, что это было страшно, потому что люди ломали себе шеи и что у каждого препятствия стояли доктор, лазаретная фура 210

— А, вот Каренин! — сказал ему знакомый, с которым он разговаривал. — Ищет жену, а она в середней беседке. Вы не видали ее?

— Нет, не видал, — отвечал Вронский и, не оглянувшись даже на беседку, в которой ему указывали на Каренину, подошел к своей лошади.

Не успел Вронский посмотреть седло, о котором надо было сделать распоряжение, как скачущих позвали к беседке для вынимания нумеров и отправления. С серьезными, строгими, многие с бледными лицами, семнадцать человек офицеров сошлись к беседке и разобрали нумера. Вронскому достался седьмой нумер. Послышалось: «Садиться!»

Чувствуя, что он вместе с другими скачущими составляет центр, на который устремлены все глаза, Вронский в напряженном состоянии, в котором он обыкновенно делался медлителен и спокоен в движениях, подошел к своей лошади. Корд для торжества скачек оделся в свой парадный костюм: черный застегнутый сюртук, тугие воротнички, подпиравшие ему щеки, и в круглую черную шляпу и ботфорты. Он был, как и всегда, спокоен и важен и сам держал за оба повода лошадь, стоя пред нею. Фру-Фру продолжала дрожать как в лихорадке. Полный огня глаз ее косился на подходившего Вронского. Вронский подсунул палец под подпругу. Лошадь покосилась сильнее, оскалилась и прижала ухо. Англичанин поморщился губами, желая выразить улыбку над тем, что поверяли его седланье.

— Садитесь, меньше будете волноваться.

Вронский оглянулся в последний раз на своих соперников. Он знал, что на езде он уже не увидит их. Двое уже ехали вперед к месту, откуда должны были пускать. Гальцин, один из опасных соперников и приятель Вронского, вертелся вокруг гнедого жеребца, не дававшегося садиться. Маленький лейб-гусар в узких рейтузах ехал галопом, согнувшись, как кот, на крупу, из желания подражать англичанам. Князь Кузовлев сидел бледный на своей кровной, Грабовского завода, кобыле, и англичанин вел ее под уздцы. Вронский и все его товарищи знали Кузовлева и его особенность «слабых» нервов и страшного самолюбия. Они знали, что он боялся всего, боялся сдать

с нашитым крестом и сестрою милосердия, он решился скакать. Они встретились глазами, и Вронский ласково и одобрительно подмигнул ему. Одного только он не видал, главного соперника, Махотина на Гладиаторе. — Не торопитесь, — сказал Корд Вронскому, — и помните одно: не задерживайте у препятствий и не посылайте, давайте ей выбирать, как она хочет. — Хорошо, хорошо, — сказал Вронский, взявшись за поводья. — Если можно, ведите скачку; но не отчаивайтесь до последней минуты, если бы вы были и сзади. Лошадь не успела двинуться, как Вронский гибким и сильным движением стал в стальное, зазубренное стремя и легко, твердо положил свое сбитое тело на скрипящее кожей седло. Взяв правою ногой стремя, он привычным жестом уравнял между пальцами двойные поводья, и Корд пустил руки. Как будто не зная, какою прежде ступить ногой, Фру-Фру, вытягивая длинною шеей поводья, тронулась, как на пруяшнах, покачивая седока на своей гибкой спине. Корд, прибавляя шага, шел за ним. Взволнованная лошадь то с той, то с другой стороны, стараясь обмануть седока, вытягивала поводья, и Вронский тщетно голосом и рукой старался успокоить ее. Они уже подходили к запруженной реке, направляясь к тому месту, откуда должны были пускать их. Многие из скачущих были впереди, многие сзади, как вдруг Вронский услыхал сзади себя по грязи дороги звуки галопа лошади, и его обогнал Махотин на своем белоногом, лопоухом Гладиаторе. Махотин улыбнулся, выставляя свои длинные зубы, но Вронский сердито взглянул на него. Он не любил его вообще, теперь же считал его самым опасным соперником, и ему досадно стало на него, что он проскакал мимо, разгорячив его лошадь. Фру-Фру вскинула левую ногу на галоп и сделала два прыжка и, сердясь на натянутые поводья, перешла на тряскую рысь, вскидывавшую седока. Корд тоже нахмурился и почти бежал иноходью за Вронским. XXV Всех офицеров скакало семнадцать человек. Скачки должны были происходить на большом четырехверстном эллиптической формы кругу пред беседкой, На этом кру211

с нашитым крестом и сестрою милосердия, он решился скакать. Они встретились глазами, и Вронский ласково и одобрительно подмигнул ему. Одного только он не видал, главного соперника, Махотина на Гладиаторе.

— Не торопитесь, — сказал Корд Вронскому, — и помните одно: не задерживайте у препятствий и не посылайте, давайте ей выбирать, как она хочет.

— Хорошо, хорошо, — сказал Вронский, взявшись за поводья.

— Если можно, ведите скачку; но не отчаивайтесь до последней минуты, если бы вы были и сзади.

Лошадь не успела двинуться, как Вронский гибким и сильным движением стал в стальное, зазубренное стремя и легко, твердо положил свое сбитое тело на скрипящее кожей седло. Взяв правою ногой стремя, он привычным жестом уравнял между пальцами двойные поводья, и Корд пустил руки. Как будто не зная, какою прежде ступить ногой, Фру-Фру, вытягивая длинною шеей поводья, тронулась, как на пружинах, покачивая седока на своей гибкой спине. Корд, прибавляя шага, шел за ним. Взволнованная лошадь то с той, то с другой стороны, стараясь обмануть седока, вытягивала поводья, и Вронский тщетно голосом и рукой старался успокоить ее.

Они уже подходили к запруженной реке, направляясь к тому месту, откуда должны были пускать их. Многие из скачущих были впереди, многие сзади, как вдруг Вронский услыхал сзади себя по грязи дороги звуки галопа лошади, и его обогнал Махотин на своем белоногом, лопоухом Гладиаторе. Махотин улыбнулся, выставляя свои длинные зубы, но Вронский сердито взглянул на него. Он не любил его вообще, теперь же считал его самым опасным соперником, и ему досадно стало на него, что он проскакал мимо, разгорячив его лошадь. Фру-Фру вскинула левую ногу на галоп и сделала два прыжка и, сердясь на натянутые поводья, перешла на тряскую рысь, вскидывавшую седока. Корд тоже нахмурился и почти бежал иноходью за Вронским.

гу были устроены девять препятствий: река, большой, в два аршина, глухой барьер пред самою беседкой, канава сухая, канава с водою, косогор, ирландская банкетка, состоящая (одно из самых трудных препятствий) из вала, утыканного хворостом, за которым, не видная для лошади, была еще канава, так что лошадь должна была перепрыгнуть оба препятствия или убиться; потом еще две канавы с водою и одна сухая, — и конец скачки был против беседки. Но начинались скачки не с круга, а за сто сажен в стороне от него, и на этом расстоянии было первое препятствие — запруженная река в три аршина шириною, которую ездоки по произволу могли перепрыгивать или переезжать вброд. Раза три ездоки выравнивались, но каждый раз высовывалась чья-нибудь лошадь, и нужно было заезжать опять сначала. Знаток пускания, полковник Сестрин, начинал уже сердиться, когда, наконец, в четвертый раз крикнул: «Пошел!» — и ездоки тронулись. Все глаза, все бинокли были обращены на пеструю кучку всадников, в то время как они выравнивались. «Пустили! Скачут!» — послышалось со всех сторон после тишины ожидания. И кучки и одинокие пешеходы стали перебегать с места на место, чтобы лучше видеть. В первую же минуту собранная кучка всадников растянулась, и видно было, как они по два, по три и один за другим близятся к реке. Для зрителей казалось, что они все поскакали вместе; но для ездоков были секунды разницы, имевшие для них большое значение. Взволнованная и слишком нервная Фру-Фру потеряла первый момент, и несколько лошадей взяли с места прежде ее, но, еще не доскакивая реки, Вронский, изо всех сил сдерживая влегшую в поводья лошадь, легко обошел трех, и впереди его оставался только рыжий Гладиатор Махотина, ровно и легко отбивавший задом пред самим Вронским, и еще впереди всех прелестная Диана, несшая ни живого ни мертвого Кузовлева. В первые минуты Вронский еще не владел ни собою, ни лошадью. Он до первого препятствия, реки, не мог руководить движениями лошади. Гладиатор и Диана подходили вместе и почти в один и тот же момент: раз-раз, поднялись над рекой и перелетели на другую сторону; незаметно, как бы летя, взвилась за ними Фру-Фру, но в то самое время, как Вронский 212

гу были устроены девять препятствий: река, большой, в два аршина, глухой барьер пред самою беседкой, канава сухая, канава с водою, косогор, ирландская банкетка, состоящая (одно из самых трудных препятствий) из вала, утыканного хворостом, за которым, не видная для лошади, была еще канава, так что лошадь должна была перепрыгнуть оба препятствия или убиться; потом еще две канавы с водою и одна сухая, — и конец скачки был против беседки. Но начинались скачки не с круга, а за сто сажен в стороне от него, и на этом расстоянии было первое препятствие — запруженная река в три аршина шириною, которую ездоки по произволу могли перепрыгивать или переезжать вброд.

Раза три ездоки выравнивались, но каждый раз высовывалась чья-нибудь лошадь, и нужно было заезжать опять сначала. Знаток пускания, полковник Сестрин, начинал уже сердиться, когда, наконец, в четвертый раз крикнул: «Пошел!» — и ездоки тронулись.

Все глаза, все бинокли были обращены на пеструю кучку всадников, в то время как они выравнивались.

«Пустили! Скачут!» — послышалось со всех сторон после тишины ожидания.

И кучки и одинокие пешеходы стали перебегать с места на место, чтобы лучше видеть. В первую же минуту собранная кучка всадников растянулась, и видно было, как они по два, по три и один за другим близятся к реке. Для зрителей казалось, что они все поскакали вместе; но для ездоков были секунды разницы, имевшие для них большое значение.

Взволнованная и слишком нервная Фру-Фру потеряла первый момент, и несколько лошадей взяли с места прежде ее, но, еще не доскакивая реки, Вронский, изо всех сил сдерживая влегшую в поводья лошадь, легко обошел трех, и впереди его оставался только рыжий Гладиатор Махотина, ровно и легко отбивавший задом пред самим Вронским, и еще впереди всех прелестная Диана, несшая ни живого ни мертвого Кузовлева.

В первые минуты Вронский еще не владел ни собою, ни лошадью. Он до первого препятствия, реки, не мог руководить движениями лошади.

Гладиатор и Диана подходили вместе и почти в один

чувствовал себя на воздухе, он вдруг увидал, почти под ногами своей лошади, Кузовлева, который барахтался с Дианой на той стороне реки (Кузов лев пустил поводья после прыжка, и лошадь полетела с ним через голову). Подробности эти Вронский узнал уже после, теперь же он видел только то, что прямо под ноги, куда должна стать Фру-Фру, может попасть нога или голова Дианы. Но Фру-Фру, как падаюш;ая кошка, сделала на прыжке усилие ногами и спиной и, миновав лошадь, понеслась дальше. «О, милая!» — подумал Вронский. После реки Вронский овладел вполне лошадью и стал удерживать ее, намереваясь перейти большой барьер позади Махотина и уже на следуіопі;ей, беспрепятственной дистанции саженей в двести попытаться обойти его. Большой барьер стоял пред самой царскою беседкой. Государь, и весь двор, и толпы народа — все смотрели на них — на него и на шедшего на лошадь дистанции впереди Махотина, когда они подходили к черту (так назывался глухой барьер). Вронский чувствовал эти направленные на него со всех сторон глаза, но он ничего не видел, кроме ушей и шеи своей лошади, бежавшей ему навстречу земли и крупа и белых ног Гладиатора, быстро отбивавших такт впереди его и остававшихся все в одном и том же расстоянии. Гладиатор поднялся, не стукнув ничем, взмахнув коротким хвостом и исчез из глаз Вронского. — Браво! — сказал чей-то один голос. В то же мгновение пред глазами Вронского, пред ним самим, мелькнули доски барьера. Без малейшей перемены движения лошадь взвилась под ним; доски скрылись, и только сзади стукнуло что-то. Разгоряченная шедшим впереди Гладиатором, лошадь поднялась слишком рано пред барьером и стукнула о него задним копытом. Но ход ее не изменился, и Вронский, получив в лицо комок грязи, понял, что он стал опять в то же расстояние от Гладиатора. Он увидал опять впереди себя его круп, короткий хвост и опять те же неудаляюш;иеся, быстро движущиеся белые ноги. В то самое мгновение, как Вронский подумал о том, что надо теперь обходить Махотина, сама Фру-Фру, поняв уже то, что он подумал, безо всякого поощрения, значительно наддала и стала приближаться к Махотину с самой выгодной стороны, со стороны веревки. Махотин не 213

чувствовал себя на воздухе, он вдруг увидал, почти под ногами своей лошади, Кузовлева, который барахтался с Дианой на той стороне реки (Кузовлев пустил поводья после прыжка, и лошадь полетела с ним через голову). Подробности эти Вронский узнал уже после, теперь же он видел только то, что прямо под ноги, куда должна стать Фру-Фру, может попасть нога или голова Дианы. Но Фру-Фру, как падающая кошка, сделала на прыжке усилие ногами и спиной и, миновав лошадь, понеслась дальше.

«О, милая!» — подумал Вронский.

После реки Вронский овладел вполне лошадью и стал удерживать ее, намереваясь перейти большой барьер позади Махотина и уже на следующей, беспрепятственной дистанции саженей в двести попытаться обойти его.

Большой барьер стоял пред самой царскою беседкой. Государь, и весь двор, и толпы народа — все смотрели на них — на него и на шедшего на лошадь дистанции впереди Махотина, когда они подходили к черту (так назывался глухой барьер). Вронский чувствовал эти направленные на него со всех сторон глаза, но он ничего не видел, кроме ушей и шеи своей лошади, бежавшей ему навстречу земли и крупа и белых ног Гладиатора, быстро отбивавших такт впереди его и остававшихся все в одном и том же расстоянии. Гладиатор поднялся, не стукнув ничем, взмахнув коротким хвостом и исчез из глаз Вронского.

— Браво! — сказал чей-то один голос.

В то же мгновение пред глазами Вронского, пред ним самим, мелькнули доски барьера. Без малейшей перемены движения лошадь взвилась под ним; доски скрылись, и только сзади стукнуло что-то. Разгоряченная шедшим впереди Гладиатором, лошадь поднялась слишком рано пред барьером и стукнула о него задним копытом. Но ход ее не изменился, и Вронский, получив в лицо комок грязи, понял, что он стал опять в то же расстояние от Гладиатора. Он увидал опять впереди себя его круп, короткий хвост и опять те же неудаляющиеся, быстро движущиеся белые ноги.

В то самое мгновение, как Вронский подумал о том, что надо теперь обходить Махотина, сама Фру-Фру по-

давал веревки. Вронский только подумал о том, что можно обойти и извне, как Фру-Фру переменила ногу и стала обходить именно таким образом. Начинавшее уже темнеть от пота плечо Фру-Фру поравнялось с крупом Гладиатора. Несколько скачков они прошли рядом. Но пред препятствием, к которому они подходили, Вронский, чтобы не идти большой круг, стал работать поводьями, и быстро, на самом косогоре, обошел Махотина. Оп видел мельком его лицо, забрызганное грязью. Ему даже показалось, что он улыбнулся. Вронский обошел Махотина, но он чувствовал его сейчас же за собой и не переставая слышал за самою спиной ровный поскок и отрывистое, совсем еш.е свежее дыханье ноздрей Гладиатора. Следующие два препятствия, канава и барьер, были перейдены легко, но Вронский стал слышать ближе сап и скок Гладиатора. Он послал лошадь и с радостью почувствовал, что она легко прибавила ходу, и звук копыт Гладиатора стал слышен опять в том же прежнем расстоянии. Вронский вел скачку — то самое, что он хотел сделать и что ему советовал Корд, и теперь он был уверен в успехе. Волнение его, радость и нежность к Фру-Фру все усиливались. Ему хотелось оглянуться назад, но не смел этого сделать и старался успокоивать себя и не посылать лошади, чтобы приберечь в ней запас, равный тому, который, он чувствовал, оставался в Гладиаторе. Оставалось одно и самое трудное препятствие; если он перейдет его впереди других, то он придет первым. Он подскакивал к ирландской банкетке. Вместе с Фру-Фру он еще издалека видел эту банкетку, и вместе им обоим, ему и лошади, пришло мгновенное со.мнеиие. Он заметил нерешимость в ушах лошади и поднял хлыст, но тотчас же почувствовал, что сомнение было неосновательно: лошадь знала, что нужно. Она наддала и мерно, так точно, как он предполагал, взвилась и, оттолкнувшись от земли, отдалась силе инерции, которая перенесла ее далеко за канаву; и в том же самом такте, без усилия, с той же ноги, Фру-Фру продолжала скачку. — Браво, Вронский! — послышались ему голоса кучки людей — он знал, его полка и приятелей, — которые стояли у этого препятствия; оп не мог не узнать голоса Яшвина, но он не видал его. «О, прелесть моя!» — думал он на Фру-Фру, прислушиваясь к тому, что происходило сзади, «Пересko214

давал веревки. Вронский только подумал о том, что можно обойти и извне, как Фру-Фру переменила ногу и стала обходить именно таким образом. Начинавшее уже темнеть от пота плечо Фру-Фру поравнялось с крупом Гладиатора. Несколько скачков они прошли рядом. Но пред препятствием, к которому они подходили, Вронский, чтобы не идти большой круг, стал работать поводьями, и быстро, на самом косогоре, обошел Махотина. Он видел мельком его лицо, забрызганное грязью. Ему даже показалось, что он улыбнулся. Вронский обошел Махотина, но он чувствовал его сейчас же за собой и не переставая слышал за самою спиной ровный поскок и отрывистое, совсем еще свежее дыханье ноздрей Гладиатора.

Следующие два препятствия, канава и барьер, были перейдены легко, но Вронский стал слышать ближе сап и скок Гладиатора. Он послал лошадь и с радостью почувствовал, что она легко прибавила ходу, и звук копыт Гладиатора стал слышен опять в том же прежнем расстоянии.

Вронский вел скачку — то самое, что он хотел сделать и что ему советовал Корд, и теперь он был уверен в успехе. Волнение его, радость и нежность к Фру-Фру все усиливались. Ему хотелось оглянуться назад, но не смел этого сделать и старался успокоивать себя и не посылать лошади, чтобы приберечь в ней запас, равный тому, который, он чувствовал, оставался в Гладиаторе. Оставалось одно и самое трудное препятствие; если он перейдет его впереди других, то он придет первым. Он подскакивал к ирландской банкетке. Вместе с Фру-Фру он еще издалека видел эту банкетку, и вместе им обоим, ему и лошади, пришло мгновенное сомнение. Он заметил нерешимость в ушах лошади и поднял хлыст, но тотчас же почувствовал, что сомнение было неосновательно: лошадь знала, что нужно. Она наддала и мерно, так точно, как он предполагал, взвилась и, оттолкнувшись от земли, отдалась силе инерции, которая перенесла ее далеко за канаву; и в том же самом такте, без усилия, с той же ноги, Фру-Фру продолжала скачку.

— Браво, Вронский! — послышались ему голоса кучки людей — он знал, его полка и приятелей, — которые стояли у этого препятствия; он не мог не узнать голоса Яш-

чил!» — подумал он, услыхав сзади поскок Гладиатора. Оставалась одна последняя канавка в два аршина с водой, Вронский и не смотрел на нее, а, желая прийти далеко первым, стал работать поводьями кругообразно, в такт скока поднимая и опуская голову лошади. Он чувствовал, что лошадь шла из последнего запаса; не только шея и плечи ее были мокры, но на загривке, на голове, на острых ушах каплями выступал пот, и она дышала резко и коротко. Но он знал, что запаса этого с лишком достанет па остаюпііііеся двести сажен. Только потому, что он чувствовал себя ближе к земле, и по особенной мягкости движенья Вропскпй знал, как много прибавила быстроты его лошадь. Канавку она перелетела, как бы не замечая. Она перелетела ее, как птица; но в это самое время Вронский, к ужасу своему, почувствовал, что, не поспев за движением лошади, он, сам не понимая как, сделал скверное, непростительное движение, опустившись на седло. Вдруг положение его изменилось, и он понял, что случилось что-то ужасное. Он не мог епі;е дать себе отчета о том, что случилось, как уже мелькнули подле самого его белые ноги рыжего жеребца, и Махотин на быстром скаку прошел мимо. Вронский касался одной ногой земли, и его лошадь валилась на эту ногу. Он едва успел выпростать ногу, как она упала на один бок, тяжело хрипя, и, делая, чтобы подняться, тш,етные усилия своей тонкою потною шеей, она затрепыхалась на земле у его ног, как подстреленная птица. Неловкое движение, сделанное Вронским, сломало ей спину. Но это он понял гораздо после. Теперь же он видел только то, что Махотин быстро удалялся, а он, шатаясь, стоял один на грязной неподвижной земле, а пред ним, тяжело дыша, лежала Фру-Фру и, перегнув к нему голову, смотрела на него своим прелестным глазом. Все еще не понимая того, что случилось, Вронский тянул лошадь за повод. Она опять вся забилась, как рыбка, треща крыльями седла, выпростала передние ноги, но, не в силах поднять зада, тотчас же замоталась и опять упала на бок. С изуродованным страстью лицом, бледный и с трясущеюся ішжнею челюстью, Вронский ударил ее каблуком в живот и опять стал тянуть за поводья. Но она не двигалась, а, уткнув храп в землю, только смотрела на хозяина своим говорящим взглядом. Ааа! — промычал Вронский, схватившись за голову,— Ааа! что я сделал! — прокричал он. — И проигран215

чил!» — подумал он, услыхав сзади поскок Гладиатора. Оставалась одна последняя канавка в два аршина с водой, Вронский и не смотрел на нее, а, желая прийти далеко первым, стал работать поводьями кругообразно, в такт скока поднимая и опуская голову лошади. Он чувствовал, что лошадь шла из последнего запаса; не только шея и плечи ее были мокры, но на загривке, на голове, на острых ушах каплями выступал пот, и она дышала резко и коротко. Но он знал, что запаса этого с лишком достанет на остающиеся двести сажен. Только потому, что он чувствовал себя ближе к земле, и по особенной мягкости движенья Вронский знал, как много прибавила быстроты его лошадь. Канавку она перелетела, как бы не замечая. Она перелетела ее, как птица; но в это самое время Вронский, к ужасу своему, почувствовал, что, не поспев за движением лошади, он, сам не понимая как, сделал скверное, непростительное движение, опустившись на седло. Вдруг положение его изменилось, и он понял, что случилось что-то ужасное. Он не мог еще дать себе отчета о том, что случилось, как уже мелькнули подле самого его белые ноги рыжего жеребца, и Махотин на быстром скаку прошел мимо. Вронский касался одной ногой земли, и его лошадь валилась на эту ногу. Он едва успел выпростать ногу, как она упала на один бок, тяжело хрипя, и, делая, чтобы подняться, тщетные усилия своей тонкою потною шеей, она затрепыхалась на земле у его ног, как подстреленная птица. Неловкое движение, сделанное Вронским, сломало ей спину. Но это он понял гораздо после. Теперь же он видел только то, что Махотин быстро удалялся, а он, шатаясь, стоял один на грязной неподвижной земле, а пред ним, тяжело дыша, лежала Фру-Фру и, перегнув к нему голову, смотрела на него своим прелестным глазом. Все еще не понимая того, что случилось, Вронский тянул лошадь за повод. Она опять вся забилась, как рыбка, треща крыльями седла, выпростала передние ноги, но, не в силах поднять зада, тотчас же замоталась и опять упала на бок. С изуродованным страстью лицом, бледный и с трясущеюся нижнею челюстью, Вронский ударил ее каблуком в живот и опять стал тянуть за поводья. Но она не двигалась, а, уткнув храп в землю, только смотрела на хозяина своим гово-

ная скачка! И своя вина, постыдная, непростительная! И эта несчастная, милая, погубленная лошадь! Ааа! что я сделал! Народ, доктор и фельдшер, офицеры его полка бежали к нему. К своему несчастию, он чувствовал, что был цел и невредим. Лошадь сломала себе спину, и решено было ее пристрелить. Вронский не мог отвечать на вопросы, не мог говорить ни с кем. Он повернулся и, не подняв соскочившей с головы фуражки, пошел прочь от гипподрома, сам не зная куда. Он чувствовал себя несчастным. В первый раз в жизни он испытал самое тяжелое несчастие, несчастие, неисправимое и такое, в котором виною сам. Яшвин с фуражкой догнал его, проводил его до дома, и через полчаса Вронский пришел в себя. Но воспоминание об этой скачке надолго осталось в его душе самым тяжелым и мучительным воспоминанием в его жизни. XXVI Внешние отношения Алексея Александровича с женою были такие же, как и прежде. Единственная разница состояла в том, что он еіце более был занят, чем прежде. Как и в прежние года, он с открытием весны поехал на воды за границу поправлять свое расстраиваемое ежегодно усиленным зимним трудом здоровье и, как обыкновенно, вернулся в июле и тотчас же с увеличенною энергией взялся за свою обычную работу. Как и обыкновенно, жена его переехала на дачу, а он остался в Петербурге. Со времени того разговора после вечера у княгини Тверской он никогда не говорил с Анною о своих подозрениях и ревности, и тот его обычный тон представления кого-то был как нельзя более удобен для его теперешних отношений к жене. Он был несколько холоднее к жене. Он только как будто имел на нее маленькое неудовольствие за тот первый ночной разговор, который она отклонила от себя. В его отношениях к ней был оттенок досады, но не более. «Ты не хотела объясниться со мной, — как будто говорил он, мысленно обрагцаясь к ней, — тем хуже для тебя. Теперь уж ты будешь просить меня, а я не стану объясняться. Тем хуже для тебя», — говорил он мысленно, как человек, который бы тщетно попытался 216

ная скачка! И своя вина, постыдная, непростительная! И эта несчастная, милая, погубленная лошадь! Ааа! что я сделал!

Народ, доктор и фельдшер, офицеры его полка бежали к нему. К своему несчастию, он чувствовал, что был цел и невредим. Лошадь сломала себе спину, и решено было ее пристрелить. Вронский не мог отвечать на вопросы, не мог говорить ни с кем. Он повернулся и, не подняв соскочившей с головы фуражки, пошел прочь от гипподрома, сам не зная куда. Он чувствовал себя несчастным. В первый раз в жизни он испытал самое тяжелое несчастие, несчастие, неисправимое и такое, в котором виною сам.

Яшвин с фуражкой догнал его, проводил его до дома, и через полчаса Вронский пришел в себя. Но воспоминание об этой скачке надолго осталось в его душе самым тяжелым и мучительным воспоминанием в его жизни.

XXVI

Внешние отношения Алексея Александровича с женою были такие же, как и прежде. Единственная разница состояла в том, что он еще более был занят, чем прежде. Как и в прежние года, он с открытием весны поехал на воды за границу поправлять свое расстраиваемое ежегодно усиленным зимним трудом здоровье и, как обыкновенно, вернулся в июле и тотчас же с увеличенною энергией взялся за свою обычную работу. Как и обыкновенно, жена его переехала на дачу, а он остался в Петербурге.

Со времени того разговора после вечера у княгини Тверской он никогда не говорил с Анною о своих подозрениях и ревности, и тот его обычный тон представления кого-то был как нельзя более удобен для его теперешних отношений к жене. Он был несколько холоднее к жене. Он только как будто имел на нее маленькое неудовольствие за тот первый ночной разговор, который она отклонила от себя. В его отношениях к ней был оттенок досады, но не более. «Ты не хотела объясниться со мной, — как будто говорил он, мысленно обращаясь к ней, — тем

потушить пожар, рассердился бы на свои тш[етные усилия и сказал бы: «Так на же тебе! так сгоришь за это!» Он, этот умный и тонкий в служебных делах человек, не понимал всего безумия такого отношения к жене. Он не понимал этого, потому что ему было слишком страшно понять свое настояш;ее положение, и он в душе своей закрыл, запер и запечатал тот яш;ик, в котором у него находились его чувства к семье, то есть к жене и сыну. Он, внимательный отец, с конца этой зимы стал особенно холоден к сыну и имел к нему то же подтрунивающее отношение, как и к жене. «А! молодой человек!» — обращался он к нему. Алексей Александрович думал и говорил, что ни в какой год у него не было столько служебного дела, как в нынешний; но он не сознавал того, что он сам выдумывал себе в нынешнем году дела, что это было одно из средств не открывать того ящика, где лежали чувства к жене и семье и мысли о них и которые делались тем страшнее, чем дольше они там лежали. Если бы кто-нибудь имел право спросить Алексея Александровича, что он думает о поведении своей жены, то кроткий, смирный Алексей Александрович ничего не ответил бы, а очень бы рассердился на того человека, который у него спросил бы про это. От этого-то и было в выражении лица Алексея Александровича что-то гордое и строгое, когда у него спрашивали про здоровье его жены. Алексей Александрович ничего не хотел думать о поведении и чувствах своей жены, и действительно он об этом ничего не думал. Постоянная дача Алексея Александровича была в Петергофе, и обыкновенно графиня Лидия Ивановна жила лето там же, в соседстве и постоянных сношениях с Анной. В нынешнем году графиня Лидия Ивановна отказалась жить в Петергофе, ни разу не была у Анны Аркадьевны и намекнула Алексею Александровичу на неудобство сближения Анны с Бетси и Вронским. Алексей Александрович строго остановил ее, высказав мысль, что жена его выше подозрения, и с тех пор стал избегать графини Лидии Ивановны. Он не хотел видеть и не видел, что в свете уже многие косо смотрят на его жену, не хотел понимать и не понимал, почему жена его особенно настаивала на том, чтобы переехать в Царское, где жила Бетси, откуда недалеко было до лагеря полка Вронского. Он не позволял себе думать об этом и не думал; но вместе с тем, он в глубине своей души, никогда не выска217

потушить пожар, рассердился бы на свои тщетные усилия и сказал бы: «Так на́ же тебе! так сгоришь за это!»

Он, этот умный и тонкий в служебных делах человек, не понимал всего безумия такого отношения к жене. Он не понимал этого, потому что ему было слишком страшно понять свое настоящее положение, и он в душе своей закрыл, запер и запечатал тот ящик, в котором у него находились его чувства к семье, то есть к жене и сыну. Он, внимательный отец, с конца этой зимы стал особенно холоден к сыну и имел к нему то же подтрунивающее отношение, как и к жене. «А! молодой человек!» — обращался он к нему.

Алексей Александрович думал и говорил, что ни в какой год у него не было столько служебного дела, как в нынешний; но он не сознавал того, что он сам выдумывал себе в нынешнем году дела, что это было одно из средств не открывать того ящика, где лежали чувства к жене и семье и мысли о них и которые делались тем страшнее, чем дольше они там лежали. Если бы кто-нибудь имел право спросить Алексея Александровича, что он думает о поведении своей жены, то кроткий, смирный Алексей Александрович ничего не ответил бы, а очень бы рассердился на того человека, который у него спросил бы про это. От этого-то и было в выражении лица Алексея Александровича что-то гордое и строгое, когда у него спрашивали про здоровье его жены. Алексей Александрович ничего не хотел думать о поведении и чувствах своей жены, и действительно он об этом ничего не думал.

Постоянная дача Алексея Александровича была в Петергофе, и обыкновенно графиня Лидия Ивановна жила лето там же, в соседстве и постоянных сношениях с Анной. В нынешнем году графиня Лидия Ивановна отказалась жить в Петергофе, ни разу не была у Анны Аркадьевны и намекнула Алексею Александровичу на неудобство сближения Анны с Бетси и Вронским. Алексей Александрович строго остановил ее, высказав мысль, что жена его выше подозрения, и с тех пор стал избегать графини Лидии Ивановны. Он не хотел видеть и не видел, что в свете уже многие косо смотрят на его жену, не хотел понимать и не понимал, почему жена его особенно настаивала на том, чтобы переехать в Царское, где жила

зывая этото самому себе и не имея на то никаких но только доказательств, но и подозрений, знал несомненно, что он был обманутый муж, и был от этого глубоко несчастлив. Сколько раз во время своей восьмилетней счастливой жизни с женой, глядя на чужих неверных жен и обманутых муя^ей, говорил себе Алексей Александрович: «Как допустить до этого? как не развязать этого безобразного положения?» Но теперь, когда беда пала на его голову, он не только не думал о том, как развязать это положение, но вовсе не хотел знать его, не хотел знать именно потому, что оно было слишком ужасно, слишком неестественно. Со времени своего возвращения из-за границы Алексей Александрович два раза был на даче. Один раз обедал, другой раз провел вечер с гостями, но ни разу не ночевал, как он имел обыкновение делать это в прежние годы. День скачек был очень занятой день для Алексея Александровича; но, с утра еще сделав себе расписание дня, он решил, что тотчас после раннего обеда он поедет на дачу к жене и оттуда на скачки, на которых будет весь двор и на которых ему надо быть. К жене он заедет потому, что он решил себе бывать у нее в неделю раз для приличия. Кроме того, в этот день ему нужно было передать жене к пятнадцатому числу, по заведенному порядку, на расход деньги. С обычною властью над своими мыслями, обдумав все это о жене, он не позволил своим мыслям распространяться далее о том, что касалось ее. Утро это было очень занято у Алексея Александровича. Накануне графиня Лидия Ивановна прислала ему брошюру бывшего в Петербурге знаменитого путешественника в Китае с письмом, прося его принять самого путешественника, человека, по разным соображениям, весьма интересного и нужного. Алексей Александрович не успел прочесть брошюру вечером и дочитал ее утром. Потом явились просители, начались доклады, приемы, назначения, удаления, распределения наград, пенсий, жалованья, переписки — то будншшое дело, как называл его Алексей Александрович, отнимавшее так много времени. Потом было личное дело, посещение доктора и управляющего делами. Управляющий делами не занял много времени. Он только передал нужные для Але218

зывая этого самому себе и не имея на то никаких не только доказательств, но и подозрений, знал несомненно, что он был обманутый муж, и был от этого глубоко несчастлив.

Сколько раз во время своей восьмилетней счастливой жизни с женой, глядя на чужих неверных жен и обманутых мужей, говорил себе Алексей Александрович: «Как допустить до этого? как не развязать этого безобразного положения?» Но теперь, когда беда пала на его голову, он не только не думал о том, как развязать это положение, но вовсе не хотел знать его, не хотел знать именно потому, что оно было слишком ужасно, слишком неестественно.

Со времени своего возвращения из-за границы Алексей Александрович два раза был на даче. Один раз обедал, другой раз провел вечер с гостями, но ни разу не ночевал, как он имел обыкновение делать это в прежние годы.

День скачек был очень занятой день для Алексея Александровича; но, с утра еще сделав себе расписание дня, он решил, что тотчас после раннего обеда он поедет на дачу к жене и оттуда на скачки, на которых будет весь двор и на которых ему надо быть. К жене он заедет потому, что он решил себе бывать у нее в неделю раз для приличия. Кроме того, в этот день ему нужно было передать жене к пятнадцатому числу, по заведенному порядку, на расход деньги.

С обычною властью над своими мыслями, обдумав все это о жене, он не позволил своим мыслям распространяться далее о том, что касалось ее.

Утро это было очень занято у Алексея Александровича. Накануне графиня Лидия Ивановна прислала ему брошюру бывшего в Петербурге знаменитого путешественника в Китае с письмом, прося его принять самого путешественника, человека, по разным соображениям, весьма интересного и нужного. Алексей Александрович не успел прочесть брошюру вечером и дочитал ее утром. Потом явились просители, начались доклады, приемы, назначения, удаления, распределения наград, пенсий, жалованья, переписки — то будничное дело, как называл это Алексей Александрович, отнимавшее так много вре-

ксея Александровича деньги и дал краткий отчет о состоянии дел, которые были не совсем хороши, так как случилось, что нынешний год вследствие частых выездов было прожито больше, и был дефицит. Но доктор, знаменитый петербургский доктор, находившийся в приятельских отношениях к Алексею Александровичу, занял много времени. Алексей Александрович и не ждал его нынче и был удивлен его приездом и еще бОлее тем, что доктор очень внимательно расспросил Алексея Александровича про его состояние, прослушал его грудь, постукал и пощупал печень. Алексей Александрович не знал, что его друг Лидия Ивановиа, заметив, что здоровье Алексея Александровича нынешний год нехорошо, просила доктора приехать и посмотреть больного. «Сделайте это для меня», — сказала ему графиня Лидия Ивановна. — Я сделаю это для России, графиня, — отвечал доктор. — Бесценный человек! — сказала графиня Лидия Ивановна. Доктор остался очень недоволен Алексеем Александровичем. Он нашел печень значительно увеличенною, питание уменьшенным и действия вод никакого. Он предписал как можно больше движения физического и как можно меньше умственного напряжения и, главное, никаких огорчений, то есть то самое, что было для Алексея Александровича так же невозможно, как не дышать; и уехал, оставив в Алексее Александровиче неприятное сознание того, что что-то в нем нехорошо и что исправить этого нельзя. Выходя от Алексея Александровича, доктор столкнулся на крыльце с хорошо знакохмым ему Слюдиным, правителем дел Алексея Александровича. Они были товарищами по университету и, хотя редко встречались, уважали друг друга и были хорошие приятели, и оттого никому, как Слюдину, доктор не высказал бы своего откровенного мнения о больном. — Как я рад, что вы у него были, — сказал Слюдин. — Он нехорош, и мне кажется... Ну что? — А вот что, — сказал доктор, махая через голову Слюдина своему кучеру, чтоб он подавал. — Вот что, — сказал доктор, взяв в свои белые руки палец лайковой перчатки и натянув его. — Не натягивайте струны и попробуйте перервать — очень трудно; но натяните до последней возможности и наляжьте тяжестью пальца па натянутую струну — она лопнет. А он по своей усидчиво219

ксея Александровича деньги и дал краткий отчет о состоянии дел, которые были не совсем хороши, так как случилось, что нынешний год вследствие частых выездов было прожито больше, и был дефицит. Но доктор, знаменитый петербургский доктор, находившийся в приятельских отношениях к Алексею Александровичу, занял много времени. Алексей Александрович и не ждал его нынче и был удивлен его приездом и еще более тем, что доктор очень внимательно расспросил Алексея Александровича про его состояние, прослушал его грудь, постукал и пощупал печень. Алексей Александрович не знал, что его друг Лидия Ивановна, заметив, что здоровье Алексея Александровича нынешний год нехорошо, просила доктора приехать и посмотреть больного. «Сделайте это для меня», — сказала ему графиня Лидия Ивановна.

— Я сделаю это для России, графиня,— отвечал доктор.

— Бесценный человек! — сказала графиня Лидия Ивановна.

Доктор остался очень недоволен Алексеем Александровичем. Он нашел печень значительно увеличенною, питание уменьшенным и действия вод никакого. Он предписал как можно больше движения физического и как можно меньше умственного напряжения и, главное, никаких огорчений, то есть то самое, что было для Алексея Александровича так же невозможно, как не дышать; и уехал, оставив в Алексее Александровиче неприятное сознание того, что что-то в нем нехорошо и что исправить этого нельзя.

Выходя от Алексея Александровича, доктор столкнулся на крыльце с хорошо знакомым ему Слюдиным, правителем дел Алексея Александровича. Они были товарищами по университету и, хотя редко встречались, уважали друг друга и были хорошие приятели, и оттого никому, как Слюдину, доктор не высказал бы своего откровенного мнения о больном.

— Как я рад, что вы у него были, — сказал Слюдин. — Он нехорош, и мне кажется... Ну что?

— А вот что, — сказал доктор, махая через голову Слюдина своему кучеру, чтоб он подавал. — Вот что, — сказал доктор, взяв в свои белые руки палец лайковой перчатки и натянув его. — Не натягивайте струны и по-

сти, добросовестности к работе, — он натянут до последней степени; а давление постороннее есть, и тяжелое, — заключил доктор, значительно подняв брови. — Будете на скачках? — прибавил он, спускаясь к поданной карете. — Да, да, разумеется, берет много времени, — отвечал доктор что-то такое на сказанное Слюдиным и не расслышанное им. Вслед за доктором, отнявшим так много времени, явился знаменитый путешественник, и Алексей Александрович, пользуясь только что прочитанной брошюрой и своим прежним знанием этого предмета, поразил путешественника глубиною своего знания предмета и широтою просвеш;енного взгляда. Вместе с путешественником было доложено о приезде губернского предводителя, явившегося в Петербург и с которым нужно было переговорить. После его отъезда нужно было докончить занятия будничные с правителем дел и еш;е надо было съездить по серьезному и важному делу к одному значительному лицу. Алексей Александрович только успел вернуться к пяти часам, времени сво^ его обеда, и, пообедав с правителем дел, пригласил его с собой вместе ехать на дачу и на скачки. Не отдавая себе в том отчета, Алексей Александрович искал теперь случая иметь третье лицо при своих свиданиях с женою. XXVII Анна стояла наверху пред зеркалом, прикалывая с помощью Аннушки последний бант на платье, когда она услыхала у подъезда звук давящих щебень колес. «Для Бетси еще рано», — подумала она и, взглянув в окно, увидела карету и высовывающуюся из нее черную шляпу и столь знакомые уши Алексея Александровича. «Вот некстати; неужели ночевать?» — подумала она. И ей так показалось ужасно и страшно все, что могло из этого выйти, что она, ни минуты не задумываясь, с веселым, сияющим лицом вышла к ним навстречу и, чувствуя в себе присутствие уже знакомого ей духа лжи и обмана, тотчас же отдалась этому духу и начала говорить, сама не зная, что скажет. — А, как это мило! — сказала она, подавая руку мужу и улыбкой здороваясь с домашним человекоMi Слюди220

сти, добросовестности к работе, — он натянут до последней степени; а давление постороннее есть, и тяжелое, — заключил доктор, значительно подняв брови. — Будете на скачках? — прибавил он, спускаясь к поданной карете. — Да, да, разумеется, берет много времени, — отвечал доктор что-то такое на сказанное Слюдиным и не расслышанное им.

Вслед за доктором, отнявшим так много времени, явился знаменитый путешественник, и Алексей Александрович, пользуясь только что прочитанной брошюрой и своим прежним знанием этого предмета, поразил путешественника глубиною своего знания предмета и широтою просвещенного взгляда.

Вместе с путешественником было доложено о приезде губернского предводителя, явившегося в Петербург и с которым нужно было переговорить. После его отъезда нужно было докончить занятия будничные с правителем дел и еще надо было съездить по серьезному и важному делу к одному значительному лицу. Алексей Александрович только успел вернуться к пяти часам, времени своего обеда, и, пообедав с правителем дел, пригласил его с собой вместе ехать на дачу и на скачки.

Не отдавая себе в том отчета, Алексей Александрович искал теперь случая иметь третье лицо при своих свиданиях с женою.

XXVII

Анна стояла наверху пред зеркалом, прикалывая с помощью Аннушки последний бант на платье, когда она услыхала у подъезда звук давящих щебень колес.

«Для Бетси еще рано», — подумала она и, взглянув в окно, увидела карету и высовывающуюся из нее черную шляпу и столь знакомые уши Алексея Александровича. «Вот некстати; неужели ночевать?» — подумала она. И ей так показалось ужасно и страшно все, что могло из этого выйти, что она, ни минуты не задумываясь, с веселым, сияющим лицом вышла к ним навстречу и, чувствуя в себе присутствие уже знакомого ей духа лжи

ным. — Ты ночуешь, надеюсь? — было первое слово, которое подсказал ей дух обмана, — а теперь едем вместе. Только жаль, что я обещала Бетси. Она заедет за мной. Алексей Александрович поморщился при имени Бетси. — О, я не стану разлучать неразлучных, — сказал он своим обычным тоном шутки. — Мы поедем с Михайлом Васильевичем. Мне и доктора велят ходить. Я пройдусь дорогой и буду воображать, что я на водах. — Торопиться некуда, — сказала Анна. — Хотите чаю? — Она позвонила. — Подайте чаю да скажите Сереже, что Алексей Александрович приехал. Ну, что, как твое здоровье? Михаил Васильевич, вы у меня не были; посмотрите, как на балконе у меня хорошо, — говорила она, обращаясь то к тому, то к другому. Она говорила очень просто и естественно, но слишком много и слишком скоро. Она сама чувствовала это, тем более что в любопытном взгляде, которым взглянул на нее Михаил Васильевич, опа заметила, что он как будто наблюдал ее. Михаил Васильевич тотчас же вышел на террасу. Она села подле мужа. — У тебя не совсем хороший вид, — сказала она. ~ Да, — сказал он, — нынче доктор был у меня и отнял час времени. Я чувствую, что кто-нибудь из друзей моих прислал его: так драгоценно мое здоровье... — Нет, что ж он сказал? Она спрашивала его о здоровье и занятиях, уговаривала отдохнуть и переехать к ней. Все это она говорила весело, быстро и с особенным блеском в глазах; но Алексей Александрович теперь не приписывал этому тону ее никакого значения. Он слышал только ее слова и придавал им только тот прямой смысл, который они имели. И он отвечал ей просто, хотя и шутливо. Во всем разговоре этом не было ничего особенного, но никогда после без мучительной боли стыда Анна не могла вспоминать всей этой короткой сцены. Вошел Сережа, предшествуемый гувернанткой. Если б Алексей Александрович позволил себе наблюдать, он заметил бы робкий, растерянный взгляд, с каким Сережа взглянул на отца, а потом на мать. Но он ничего не хотел видеть и не видал. 221

ным. — Ты ночуешь, надеюсь? — было первое слово, которое подсказал ей дух обмана, — а теперь едем вместе. Только жаль, что я обещала Бетси. Она заедет за мной.

Алексей Александрович поморщился при имени Бетси.

— О, я не стану разлучать неразлучных, — сказал он своим обычным тоном шутки. — Мы поедем с Михайлом Васильевичем. Мне и доктора велят ходить. Я пройдусь дорогой и буду воображать, что я на водах.

— Торопиться некуда, — сказала Анна. — Хотите чаю? — Она позвонила.

— Подайте чаю да скажите Сереже, что Алексей Александрович приехал. Ну, что, как твое здоровье? Михаил Васильевич, вы у меня не были; посмотрите, как на балконе у меня хорошо, — говорила она, обращаясь то к тому, то к другому.

Она говорила очень просто и естественно, но слишком много и слишком скоро. Она сама чувствовала это, тем более что в любопытном взгляде, которым взглянул на нее Михаил Васильевич, она заметила, что он как будто наблюдал ее.

Михаил Васильевич тотчас же вышел на террасу.

Она села подле мужа.

— У тебя не совсем хороший вид, — сказала она.

— Да, — сказал он, — нынче доктор был у меня и отнял час времени. Я чувствую, что кто-нибудь из друзей моих прислал его: так драгоценно мое здоровье...

— Нет, что ж он сказал?

Она спрашивала его о здоровье и занятиях, уговаривала отдохнуть и переехать к ней.

Все это она говорила весело, быстро и с особенным блеском в глазах; но Алексей Александрович теперь не приписывал этому тону ее никакого значения. Он слышал только ее слова и придавал им только тот прямой смысл, который они имели. И он отвечал ей просто, хотя и шутливо. Во всем разговоре этом не было ничего особенного, но никогда после без мучительной боли стыда Анна не могла вспоминать всей этой короткой сцены.

Вошел Сережа, предшествуемый гувернанткой. Если б Алексей Александрович позволил себе наблюдать, он

— А, молодой человек! Оя вырос. Право, совсем мужчина делается. Здравствуй, молодой человек. И он подал руку испуганному Сереже. Сережа, и прежде робкий в отношении к отцу, теперь, после того как Алексей Александрович стал его звать молодым человеком и как ему зашла в голову загадка о том, друг или враг Вронский, чуждался отца. Он, как бы прося запі;иты, оглянулся на мать. С одною матерью ему было хорошо. Алексей Александрович между тем, заговорив с гувернанткой, держал сына за плечо, п Сереже было так мучительно неловко, что Анна видела, что он собирается плакать. Анна, покрасневшая в ту минуту, как вошел сын, заметив, что Сереже неловко, быстро вскочила, подняла с плеч сына руку Алексея Александровича и, поцеловав сына, повела его на террасу и тотчас же вернулась. — Однако пора уже, — сказала опа, взглянув на свои часы, — что это Бетси не едет!.. — Да, — сказал Алексей Александрович и, встав, заложил руки и потреш;ал ими. — Я заехал еш;е привезть тебе денег, так как соловья баснями не кормят, — сказал он. — Тебе нужно, я думаю. — Нет, не нужно... да, нужно, — сказала она, не глядя на него и краснея до корней волос. — Да ты, я думаю, заедешь сюда со скачек. — О да! — отвечал Алексей Александрович. — Вот и краса Петергофа, княгиня Тверская, — прибавил он, взглянув в окно на подъезжавший английский, в шорах, экипаж с чрезвычайно высоко поставленным крошечным кузовом коляски. — Какое щегольство! Прелесть! Ну, так поедемте и мы. Княгиня Тверская не выходила из экипажа, а только ее в штиблетах, пелеринке и черной шляпе лакей соскочил у подъезда. — ■ Я иду, прощайте! — сказала Апиа и, поцеловав сына, подошла к Алексею Александровичу и протянула ему руку. — Ты очень мил, что приехал. Алексей Александрович поцеловал ее руку. — Иу, так до свиданья. Ты заедешь чай пить, и прекрасно! — сказала она и вышла, сияюшая и веселая. Но, как только она перестала видеть его, она почувствовала то место на руке, к которому прикоснулись его губы, и с отвращением вздрогнула. 222

— А, молодой человек! Он вырос. Право, совсем мужчина делается. Здравствуй, молодой человек.

И он подал руку испуганному Сереже.

Сережа, и прежде робкий в отношении к отцу, теперь, после того как Алексей Александрович стал его звать молодым человеком и как ему зашла в голову загадка о том, друг или враг Вронский, чуждался отца. Он, как бы прося защиты, оглянулся на мать. С одною матерью ему было хорошо. Алексей Александрович между тем, заговорив с гувернанткой, держал сына за плечо, и Сереже было так мучительно неловко, что Анна видела, что он собирается плакать.

Анна, покрасневшая в ту минуту, как вошел сын, заметив, что Сереже неловко, быстро вскочила, подняла с плеч сына руку Алексея Александровича и, поцеловав сына, повела его на террасу и тотчас же вернулась.

— Однако пора уже, — сказала она, взглянув на свои часы, — что это Бетси не едет!..

— Да, — сказал Алексей Александрович и, встав, заложил руки и потрещал ими. — Я заехал еще привезть тебе денег, так как соловья баснями не кормят, — сказал он. — Тебе нужно, я думаю.

— Нет, не нужно... да, нужно, — сказала она, не глядя на него и краснея до корней волос. — Да ты, я думаю, заедешь сюда со скачек.

— О да! — отвечал Алексей Александрович. — Вот и краса Петергофа, княгиня Тверская, — прибавил он, взглянув в окно на подъезжавший английский, в шорах, экипаж с чрезвычайно высоко поставленным крошечным кузовом коляски. — Какое щегольство! Прелесть! Ну, так поедемте и мы.

Княгиня Тверская не выходила из экипажа, а только ее в штиблетах, пелеринке и черной шляпе лакей соскочил у подъезда.

— Я иду, прощайте! — сказала Анна и, поцеловав сына, подошла к Алексею Александровичу и протянула ему руку. — Ты очень мил, что приехал.

Алексей Александрович поцеловал ее руку.

— Ну, так до свиданья. Ты заедешь чай пить, и пре-

XXVlIl Когда Алексей Александрович появился на скачках, Анна уже сидела в беседке рядом с Бетси, в той беседке, где собиралось все высшее общество. Она увидала мужа еще издалека. Два человека, муж и любовник, были для нее двумя центрами жизни, и без помощи внешних чувств она чувствовала их близость. Она еще издалека почувствовала приближение мужа и невольно следила за ним в тех волнах толпы, между которыми он двигался. Она видела, как он подходил к беседке, то снисходительно отвечая на заискивающие поклоны, то дружелюбно, рассеянно здороваясь с равными, то старательно выжидая взгляда сильных мира и снимая свою круглую большую шляпу, нажимавшую кончики его ушей. Она знала все эти приемы, и все они ей были отвратительны. «Одно честолюбие, одно желание успеть — вот все, что есть в его душе, — думала она, — а высокие соображения, любовь к просвещению, религия, все это — только орудия для того, чтоб успеть». По его взглядам на дамскую беседку (он смотрел прямо на нее, но не узнавал жены в море кисеи, тюля, лент, волос и зонтиков) она поняла, что он искал ее; по она нарочно не замечала его. — Алексей Александрович! — закричала ему княгиня Бетси, — вы, верно, не видите я^ену; вот она! Он улыбнулся своею холодною улыбкой. — Здесь столько блеска* что глаза разбежались, — сказал он и пошел в беседку. Он улыбнулся жене, как должен улыбнуться муж, встречая жену, с которою он только что виделся, и поздоровался с княгиней и другими знакомыми, воздав каждому должное, то есть пошутив с дамами и перекинувшись приветствиями с мужчинами. Внизу подле беседки стоял уважаемый Алексей Александровичем, известный своим умом и образованием генерал-адъютант. Алексей Александрович заговорил с ним. Был промежуток между скачками, и потому ничто не мешало разговору. Генерал-адъютант осуждал скачки. Алексей Александрович возражал, защищая их. Анна слушала его тонкий, ровный голос, не пропуская ни одного слова, и каждое слово его казалось ей фальшиво и болью резало ее ухо. Когда началась четырехверстная скачка с препятствиями, она нагнулась вперед и, не спуская глаз, 223

XXVIII

Когда Алексей Александрович появился на скачках, Анна уже сидела в беседке рядом с Бетси, в той беседке, где собиралось все высшее общество. Она увидала мужа еще издалека. Два человека, муж и любовник, были для нее двумя центрами жизни, и без помощи внешних чувств она чувствовала их близость. Она еще издалека почувствовала приближение мужа и невольно следила за ним в тех волнах толпы, между которыми он двигался. Она видела, как он подходил к беседке, то снисходительно отвечая на заискивающие поклоны, то дружелюбно, рассеянно здороваясь с равными, то старательно выжидая взгляда сильных мира и снимая свою круглую большую шляпу, нажимавшую кончики его ушей. Она знала все эти приемы, и все они ей были отвратительны. «Одно честолюбие, одно желание успеть — вот все, что есть в его душе, — думала она, — а высокие соображения, любовь к просвещению, религия, все это — только орудия для того, чтоб успеть».

По его взглядам на дамскую беседку (он смотрел прямо на нее, но не узнавал жены в море кисеи, тюля, лент, волос и зонтиков) она поняла, что он искал ее; но она нарочно не замечала его.

— Алексей Александрович! — закричала ему княгиня Бетси, — вы, верно, не видите жену; вот она!

Он улыбнулся своею холодною улыбкой.

— Здесь столько блеска, что глаза разбежались, — сказал он и пошел в беседку. Он улыбнулся жене, как должен улыбнуться муж, встречая жену, с которою он только что виделся, и поздоровался с княгиней и другими знакомыми, воздав каждому должное, то есть пошутив с дамами и перекинувшись приветствиями с мужчинами. Внизу подле беседки стоял уважаемый Алексей Александровичем, известный своим умом и образованием генерал-адъютант. Алексей Александрович заговорил с ним.

Был промежуток между скачками, и потому ничто не мешало разговору. Генерал-адъютант осуждал скачки. Алексей Александрович возражал, защищая их. Анна слушала его тонкий, ровный голос, не пропуская ни одного слова, и каждое слово его казалось ей фальшиво и

смотрела на подходившего к лошади и садившегося Вронского и в то же время слышала этот отвратительный, нѳумолкаіош;ий голос мужа. Она мучалась страхом за Вронского, но еще более мучалась неумолкавшим, ей казалось, звуком тонкого голоса мужа с знакомыми интонациями. «Я дурная женщина, я погибшая женщина, — думала она, — но я не люблю лгать, я не переношу лжи, а его (мужа) пища — это ложь. Он все знает, все видит; что же он чувствует, если может так спокойно говорить? Убей он меня, убей он Вронского, я бы уважала его. Но нет, ему нужны только ложь и приличие», — говорила себе Анна, не думая о том, чего именно она хотела от мужа, каким бы она хотела его видеть. Она не понимала и того, что эта нынешняя особенная словоохотливость Алексея Александровича, так раздражавшая ее, была только выражением его внутренней тревоги и беспокойства. Как убившийся ребенок, прыгая, приводит в движенье свои мускулы, чтобы заглушить боль, так для Алексея Александровича было необходимо умственное движение, чтобы заглушить те мысли о жене, которые в ее присутствии и в присутствии Вронского и при постоянном повторении его имени требовали к себе внимания. А как ребенку естественно прыгать, так ему было естественно хорошо и умно говорить. Он говорил: — Опасность в скачках военных и кавалеристов есть необходимое условие скачек. Если Англия может указать в военной истории на самые блестящие кавалерийские дела, то только благодаря тому, что она исторически развивала в себе эту силу животных и людей. Спорт, по моему мнению, имеет большое значение, и, как всегда, мы видим только самое поверхностное. — Не поверхностное, — сказала княгиня Тверская. — Один офицер, говорят, сломал два ребра. Алексей Александрович улыбнулся своею улыбкой, только открывавшею зубы, но ничего более не говорившею. — Положим, княгиня, что это не поверхностное, — сказал он, — но внутреннее. Но не в том дело, — и он опять обратился к генералу, с которым говорил серьезно, — не забудьте, что скачут военные, которые выбрали эту деятельность, и согласитесь, что каждое призвание имеет свою оборотную сторону медали. Это прямо входит в обязанности военного. Безобразный спорт кулач224

смотрела на подходившего к лошади и садившегося Вронского и в то же время слышала этот отвратительный, неумолкающий голос мужа. Она мучалась страхом за Вронского, но еще более мучалась неумолкавшим, ей казалось, звуком тонкого голоса мужа с знакомыми интонациями.

«Я дурная женщина, я погибшая женщина, — думала она, — но я не люблю лгать, я не переношу лжи, а *его* (мужа) пища — это ложь. Он все знает, все видит; что же он чувствует, если может так спокойно говорить? Убей он меня, убей он Вронского, я бы уважала его. Но нет, ему нужны только ложь и приличие», — говорила себе Анна, не думая о том, чего именно она хотела от мужа, каким бы она хотела его видеть. Она не понимала и того, что эта нынешняя особенная словоохотливость Алексея Александровича, так раздражавшая ее, была только выражением его внутренней тревоги и беспокойства. Как убившийся ребенок, прыгая, приводит в движенье свои мускулы, чтобы заглушить боль, так для Алексея Александровича было необходимо умственное движение, чтобы заглушить те мысли о жене, которые в ее присутствии и в присутствии Вронского и при постоянном повторении его имени требовали к себе внимания. А как ребенку естественно прыгать, так ему было естественно хорошо и умно говорить. Он говорил:

— Опасность в скачках военных и кавалеристов есть необходимое условие скачек. Если Англия может указать в военной истории на самые блестящие кавалерийские дела, то только благодаря тому, что она исторически развивала в себе эту силу животных и людей. Спорт, по моему мнению, имеет большое значение, и, как всегда, мы видим только самое поверхностное.

— Не поверхностное, — сказала княгиня Тверская. — Один офицер, говорят, сломал два ребра.

Алексей Александрович улыбнулся своею улыбкой, только открывавшею зубы, но ничего более не говорившею.

— Положим, княгиня, что это не поверхностное, — сказал он, — но внутреннее. Но не в том дело, — и он опять обратился к генералу, с которым говорил серьезно, — не забудьте, что скачут военные, которые выбрали

яого боя или испанских тореадоров есть признак варварства. Но специализированный спорт есть признак развития. — Нет, я не поеду в другой раз; это меня слишком волнует, — сказала княгиня Бетси. Не правда ли, Анна? — Волнует, но нельзя оторваться, — сказала другая дама. — Если б я была римлянка, я бы не пропустила ни одного цирка. Анна ничего не говорила и, не спуская бинокля, смотрела в одно место. В это время через беседку проходил высокий генерал. Прервав речь, Алексей Александрович поспешно, но достойно встал и низко поклонился проходившему военному. — Вы не скачете? — пошутил ему военный. — Моя скачка труднее, — почтительно отвечал Алексей Александрович. И хотя ответ ничего не значил, военный сделал вид,, что получил умное слово от умного человека и вполне понимает Ia pointe de la sauce К — Есть две стороны, — продолжал садясь Алексей Александрович, — исполнителей и зрителей; и любовь к этим зреліщам есть вернейший признак низкого развития для зрителей, я согласен, но... — Княгиня, пари! — послышался снизу голос Степана Аркадьича, обраш;авшегося к Бетси. •— За кого вы деряште? — Мы с Анной за князя Кузовлева, — отвечала Бетси. — Я за Вронского. Пара перчаток. — Идет! — А как красиво, не правда ли? Алексей Александрович помолчал, пока говорили около него, но тотчас опять начал. — Я согласен, но мужественные игры... — продолжал было он. Но в это время пускали ездоков, и все разговоры прекратились. Алексей Александрович замолк, и все поднялись и обратились к реке. Алексей Александрович не интересовался скачками и потому не глядел на скакавших, а рассеянно стал обводить зрителей усталыми глазами. Взгляд его остановился на Анне. * в чем его острота (франц.). 8 л. Н. Толстой, т. 8 225

ного боя или испанских тореадоров есть признак варварства. Но специализированный спорт есть признак развития.

— Нет, я не поеду в другой раз; это меня слишком волнует, — сказала княгиня Бетси. — Не правда ли, Анна?

— Волнует, но нельзя оторваться, — сказала другая дама. — Если б я была римлянка, я бы не пропустила ни одного цирка.

Анна ничего не говорила и, не спуская бинокля, смотрела в одно место.

В это время через беседку проходил высокий генерал. Прервав речь, Алексей Александрович поспешно, но достойно встал и низко поклонился проходившему военному.

— Вы не скачете? — пошутил ему военный.

— Моя скачка труднее, — почтительно отвечал Алексей Александрович.

И хотя ответ ничего не значил, военный сделал вид, что получил умное слово от умного человека и вполне понимает la pointe de la sauce [1].

— Есть две стороны, — продолжал садясь Алексей Александрович, — исполнителей и зрителей; и любовь к этим зрелищам есть вернейший признак низкого развития для зрителей, я согласен, но...

— Княгиня, пари! — послышался снизу голос Степана Аркадьича, обращавшегося к Бетси. — За кого вы держите?

— Мы с Анной за князя Кузовлева, — отвечала Бетси.

— Я за Вронского. Пара перчаток.

— Идет!

— А как красиво, не правда ли?

Алексей Александрович помолчал, пока говорили около него, но тотчас опять начал.

— Я согласен, но мужественные игры... — продолжал было он.

Но в это время пускали ездоков, и все разговоры прекратились. Алексей Александрович замолк, и все поднялись и обратились к реке. Алексей Александрович не интересовался скачками и потому не глядел на скакавших, а рассеянно стал обводить зрителей усталыми глазами.

Лицо ее было бледно и строго. Она, очевидно, ничего и никого не видела, кроме одного. Рука ее судорожно сжимала веер, и она не дышала. Он посмотрел на нее и поспешно отвернулся, оглядывая другие лица. «Да вот и эта дама и другие тоже очень взволнованы; это очень натурально», — сказал себе Алексей Александрович. Он хотел не смотреть на нее, но взгляд его невольно притягивался к ней. Он опять вглядывался в это лицо, стараясь не читать того, что так ясно было на нем написано, и против воли своей с ужасом читал на нем то, чего он не хотел знать. Первое падение Кузовлева на реке взволновало всех, но Алексей Александрович видел ясно на бледном торжествующем лице Анны, что тот, на кого она смотрела, не упал. Когда, после того как Махотин и Вронский перескочили большой барьер, следующий офицер упал тут же на голову и разбился замертво и шорох ужаса пронесся по всей публике, Алексей Александрович видел, что Анна даже не заметила этого и с трудом поняла, о чем заговорили вокруг нее. Но он все чаще и чаще и с большим упорством вглядывался в нее. Анна, вся поглощенная зрелищем скакавшего Вронского, почувствовала сбоку устремленный на себя взгляд холодных глаз своего мужа. Она оглянулась на мгновение, вопросительно посмотрела на него и, слегка нахмурившись, опять отвернулась. «Ах, мне все равно», — как будто сказала опа ему и уже более ни разу не взглядывала на него. Скачки были несчастливы, и из семнадцати человек попадало и разбилось больше половины. К концу скачек все были в волнении, которое еще более увеличилось тем, что государь был недоволен. XXIX Все громко выражали свое неодобрение, все повторяли сказанную кем-то фразу: «Недостает только цирка с львами», и ужас чувствовался всеми, так что, когда Вронский упал и Анна громко ахнула, в этом не было ничего необыкновенного. Но вслед за тем в лице Анны произошла перемена, которая была уже положительно неприлична. Опа совершенно потерялась. Оиа стала 226

Лицо ее было бледно и строго. Она, очевидно, ничего и никого не видела, кроме одного. Рука ее судорожно сжимала веер, и она не дышала. Он посмотрел на нее и поспешно отвернулся, оглядывая другие лица.

«Да вот и эта дама и другие тоже очень взволнованы; это очень натурально», — сказал себе Алексей Александрович. Он хотел не смотреть на нее, но взгляд его невольно притягивался к ней. Он опять вглядывался в это лицо, стараясь не читать того, что так ясно было на нем написано, и против воли своей с ужасом читал на нем то, чего он не хотел знать.

Первое падение Кузовлева на реке взволновало всех, но Алексей Александрович видел ясно на бледном торжествующем лице Анны, что тот, на кого она смотрела, не упал. Когда, после того как Махотин и Вронский перескочили большой барьер, следующий офицер упал тут же на голову и разбился замертво и шорох ужаса пронесся по всей публике, Алексей Александрович видел, что Анна даже не заметила этого и с трудом поняла, о чем заговорили вокруг нее. Но он все чаще и чаще и с бóльшим упорством вглядывался в нее. Анна, вся поглощенная зрелищем скакавшего Вронского, почувствовала сбоку устремленный на себя взгляд холодных глаз своего мужа.

Она оглянулась на мгновение, вопросительно посмотрела на него и, слегка нахмурившись, опять отвернулась.

«Ах, мне все равно», — как будто сказала она ему и уже более ни разу не взглядывала на него.

Скачки были несчастливы, и из семнадцати человек попадало и разбилось больше половины. К концу скачек все были в волнении, которое еще более увеличилось тем, что государь был недоволен.

XXIX

Все громко выражали свое неодобрение, все повторяли сказанную кем-то фразу: «Недостает только цирка с львами», и ужас чувствовался всеми, так что, когда Вронский упал и Анна громко ахнула, в этом не было

биться, как пойманная птица: то хотела встать и идти куда-то, то обрандалась к Бетси. — Поедем, поедем, — говорила она. Но Бетси не слыхала ее. Она говорила, перегнувшись вниз, с подошедшим к ней генералом. Алексей Александрович подошел к Анне и учтиво подал ей руку. — Пойдемте, если вам угодно, — сказал он по-французски; но Анна прислушивалась к тому, что говорил генерал, и не заметила мужа. — Тоже сломал ногу, говорят, — говорил генерал. — Это ни на что не похоже. Анна, не отвечая мужу, подняла бинокль и смотрела на то место, где упал Вронский; но было так далеко и там столпилось столько народа, что ничего нельзя было разобрать. Она опустила бинокль и хотела идти; но в это время подскакал офицер и что-то докладывал государю, Анна высунулась вперед, слушая. — Стива! Стива! — прокричала она брату. Но брат не слыхал ее. Она опять хотела выходить. — Я егце раз предлагаю вам свою руку, если вы хо^ тите идти, — сказал Алексей Александрович, дотрогиваясь до ее руки. Она с отвраіцением отстранилась от него и, не взглянув ему в лицо, отвечала: — Нет, нет, оставьте меня, я останусь. Она видела теперь, что от места падения Вронского через круг бежал офицер к беседке. Бетси махала ему платком. Офицер принес известие, что ездок не убился, но лошадь сломала спину. Услыхав это, Анна быстро села и закрыла лицо веером. Алексей Александрович видел, что она плакала и не могла удержать не только слез, но и рыданий, которые поднимали ее грудь. Алексей Александрович загородил ее собою, давая ей время оправиться. — В третий раз предлагаю вам свою руку, — сказал он чрез несколько времени, обраіцаясь к ней. Анна смотрела на него п не знала, что сказать. Княгиня Бетси пришла ей на помош;ь. — Нет, Алексей Александрович, я увезла Анну, и я обещалась отвезти ее, — вмешалась Бетси. — Извините меня, княгиня, — сказал он, учтиво улыбаясь, но твердо глядя ей в глаза, — но я вижу, что 8* 227

биться, как пойманная птица: то хотела встать и идти куда-то, то обращалась к Бетси.

— Поедем, поедем, — говорила она.

Но Бетси не слыхала ее. Она говорила, перегнувшись вниз, с подошедшим к ней генералом.

Алексей Александрович подошел к Анне и учтиво подал ей руку.

— Пойдемте, если вам угодно, — сказал он по-французски; но Анна прислушивалась к тому, что говорил генерал, и не заметила мужа.

— Тоже сломал ногу, говорят, — говорил генерал. — Это ни на что не похоже.

Анна, не отвечая мужу, подняла бинокль и смотрела на то место, где упал Вронский; но было так далеко и там столпилось столько народа, что ничего нельзя было разобрать. Она опустила бинокль и хотела идти; но в это время подскакал офицер и что-то докладывал государю. Анна высунулась вперед, слушая.

— Стива! Стива! — прокричала она брату.

Но брат не слыхал ее. Она опять хотела выходить.

— Я еще раз предлагаю вам свою руку, если вы хотите идти, — сказал Алексей Александрович, дотрогиваясь до ее руки.

Она с отвращением отстранилась от него и, не взглянув ему в лицо, отвечала:

— Нет, нет, оставьте меня, я останусь.

Она видела теперь, что от места падения Вронского через круг бежал офицер к беседке. Бетси махала ему платком.

Офицер принес известие, что ездок не убился, но лошадь сломала спину.

Услыхав это, Анна быстро села и закрыла лицо веером. Алексей Александрович видел, что она плакала и не могла удержать не только слез, но и рыданий, которые поднимали ее грудь. Алексей Александрович загородил ее собою, давая ей время оправиться.

— В третий раз предлагаю вам свою руку, — сказал он чрез несколько времени, обращаясь к ней. Анна смотрела на него и не знала, что сказать. Княгиня Бетси пришла ей на помощь.

— Нет, Алексей Александрович, я увезла Анну, и я

Анна не совсем здорова, и желаю, чтоб она ехала со мною. Анна испуганно оглянулась, покорно встала и положила руку на руку мужа. — Я пошлю к нему, узнаю и пришлю сказать, — прошептала ей Бетси. На выходе из беседки Алексей Александрович, так же как всегда, говорил со встречавшимися, и Анна должна была, как и всегда, отвечать и говорить; но она была сама не своя и как во сне шла под руку с мужем. «Убился или нет? Правда ли? Придет или нет? Увижу ли я его нынче?» — думала она. Она молча села в карету Алексея Александровича и молча выехала из толпы экипажей. Несмотря на все, что он видел, Алексей Александрович все-таки не позволял себе думать о настоящеivi положении своей жены. Он только видел внешние признаки. Он видел, что она вела себя неприлично, и считал своим долгом сказать ей это. Но ему очень трудно было не сказать более, а сказать только это. Он открыл рот, чтобы сказать ей, как она неприлично вела себя, но невольно сказал совершенно другое. — Как, однако, мы все склонны к этим жестоким зрелиш,ам, — сказал он. — Я замечаю... — Что? я не понимаю, — презрительно сказала Анна. Он оскорбился и тотчас же начал говорить то, что хотел. — Я должен сказать вам,— проговорил он. «Вот оно, объяснение»,— подумала она, и ей стало страшно. — Я должен сказать вам, что вы неприлично вели себя нынче, — сказал он ей по-французски. — Чем я неприлично вела себя? — громко сказала она, быстро поворачивая к нему голову и глядя ему прямо в глаза, но совсем уже не с прежним скрывающим что-то весельем, а с решительным видом, под которым она с трудом скрывала испытываемый страх. — Не забудьте, — сказал он ей, указывая на открытое окно против кучера. Он приподнялся и поднял стекло. — Что вы нашли неприличным? — повторила она. — То отчаяние, которое вы не умели скрыть при падении одного из ездоков. Он ждал, что она возразит; но она молчала, глядя перед собою. 228

Анна не совсем здорова, и желаю, чтоб она ехала со мною.

Анна испуганно оглянулась, покорно встала и положила руку на руку мужа.

— Я пошлю к нему, узнаю и пришлю сказать, — прошептала ей Бетси.

На выходе из беседки Алексей Александрович, так же как всегда, говорил со встречавшимися, и Анна должна была, как и всегда, отвечать и говорить; но она была сама не своя и как во сне шла под руку с мужем.

«Убился или нет? Правда ли? Придет или нет? Увижу ли я его нынче?» — думала она.

Она молча села в карету Алексея Александровича и молча выехала из толпы экипажей. Несмотря на все, что он видел, Алексей Александрович все-таки не позволял себе думать о настоящем положении своей жены. Он только видел внешние признаки. Он видел, что она вела себя неприлично, и считал своим долгом сказать ей это. Но ему очень трудно было не сказать более, а сказать только это. Он открыл рот, чтобы сказать ей, как она неприлично вела себя, но невольно сказал совершенно другое.

— Как, однако, мы все склонны к этим жестоким зрелищам, — сказал он. — Я замечаю...

— Что? я не понимаю,— презрительно сказала Анна.

Он оскорбился и тотчас же начал говорить то, что хотел.

— Я должен сказать вам,— проговорил он.

«Вот оно, объяснение»,— подумала она, и ей стало страшно.

— Я должен сказать вам, что вы неприлично вели себя нынче,— сказал он ей по-французски.

— Чем я неприлично вела себя?— громко сказала она, быстро поворачивая к нему голову и глядя ему прямо в глаза, но совсем уже не с прежним скрывающим что-то весельем, а с решительным видом, под которым она с трудом скрывала испытываемый страх.

— Не забудьте,— сказал он ей, указывая на открытое окно против кучера.

Он приподнялся и поднял стекло.

— Что вы нашли неприличным? — повторила она.

То отчаяние, которое вы не умели скрыть при на-

— я уже просил вас держать себя в свете так, чтоб и злые языки не могли ничего сказать против вас. Было время, когда я говорил о внутренних отношениях; я теперь не говорю про них. Теперь я говорю о внешних отношениях. Вы неприлично держали себя, и я желал бы, чтоб это не повторялось. Она не слышала половины его слов, она испытывала страх к нему и думала о том, правда ли то, что Вронский не убился. О нем ли говорили, что он цел, а лошадь сломала спину? Она только притворно-насмешливо улыбнулась, когда он кончил, и ничего не отвечала, потому что не слыхала того, что он говорил. Алексей Александрович начал говорить смело, но, когда он ясно понял то, о чем он говорит, страх, который она испытывала, сообщился ему. Он увидел эту улыбку, и странное заблуж-* дение нашло на него. «Она улыбается над моими подозрениями. Да, она скажет сейчас то, что говорила мне тот раз: что нет оснований моим подозрениям, что это смешно». Теперь, когда над ним висело открытие всего, он ничего так не желал, как того, чтоб она, так же как прежде, насмешливо ответила ему, что его подозрения смешны и не имеют основания. Так страшно было то, что он знал, что теперь он был готов поверить всему. Но выражение лица ее, испуганного и мрачного, теперь не обещало даже обмана. — Может быть, я ошибаюсь, — сказал он. — В таком случае я прошу извинить меня. — Нет, вы не ошиблись, — сказала она медленно, отчаянно взглянув на его холодное лицо. — Вы не ошиблись. Я была и не могу не быть в отчаянии. Я слушаю вас и думаю о нем. Я люблю его, я его любовница, я не могу переносить, я боюсь, я ненавижу вас... Делайте со мной, что хотите. И, откинувшись в угол кареты, она зарыдала, закрываясь руками. Алексей Александрович не пошевелился я не изменил прямого направления взгляда. Но все лицо его вдруг приняло торжественную неподвижность мертвого, и выражение это не изменилось во все время езды до дачи. Подъезжая к дому, он повернул к ней голову все с тем же выражением. — Так! Но я требую соблюдения внешних условий приличия до тех пор,— голос его задрожал, — пока я приму меры, обеспечивающие мою честь, и сообщу их вам. 229

— Я уже просил вас держать себя в свете так, чтоб и злые языки не могли ничего сказать против вас. Было время, когда я говорил о внутренних отношениях; я теперь не говорю про них. Теперь я говорю о внешних отношениях. Вы неприлично держали себя, и я желал бы, чтоб это не повторялось.

Она не слышала половины его слов, она испытывала страх к нему и думала о том, правда ли то, что Вронский не убился. О нем ли говорили, что он цел, а лошадь сломала спину? Она только притворно-насмешливо улыбнулась, когда он кончил, и ничего не отвечала, потому что не слыхала того, что он говорил. Алексей Александрович начал говорить смело, но, когда он ясно понял то, о чем он говорит, страх, который она испытывала, сообщился ему. Он увидел эту улыбку, и странное заблуждение нашло на него.

«Она улыбается над моими подозрениями. Да, она скажет сейчас то, что говорила мне тот раз: что нет оснований моим подозрениям, что это смешно».

Теперь, когда над ним висело открытие всего, он ничего так не желал, как того, чтоб она, так же как прежде, насмешливо ответила ему, что его подозрения смешны и не имеют основания. Так страшно было то, что он знал, что теперь он был готов поверить всему. Но выражение лица ее, испуганного и мрачного, теперь не обещало даже обмана.

— Может быть, я ошибаюсь,— сказал он.— В таком случае я прошу извинить меня.

— Нет, вы не ошиблись,— сказала она медленно, отчаянно взглянув на его холодное лицо.— Вы не ошиблись. Я была и не могу не быть в отчаянии. Я слушаю вас и думаю о нем. Я люблю его, я его любовница, я не могу переносить, я боюсь, я ненавижу вас... Делайте со мной, что хотите.

И, откинувшись в угол кареты, она зарыдала, закрываясь руками. Алексей Александрович не пошевелился и не изменил прямого направления взгляда. Но все лицо его вдруг приняло торжественную неподвижность мертвого, и выражение это не изменилось во все время езды до дачи. Подъезжая к дому, он повернул к ней голову все с тем же выражением.

Он вышел вперед и высадил ее. В виду прислуги он пожал ей молча руку, сел в карету и уехал в Петер-^ бург. Вслед за ним пришел лакей от княгини Бетси и принес Анне записку: «Я послала к Алексею узнать об его здоровье, и он мне пишет, что здоров и цел, но в отчаянии». «Так он будет! — подумала Анна.— Как хорошо я сделала, что все сказала ему». Она взглянула на часы. Еш;е оставалось три часа, и воспоминания подробностей последнего свидания зажгли ей кровь. «Боже мой, как светло! Это страшно, но я люблю видеть его лицо и люблю этот фантастический свет... Муж! ах, да... Ну, и слава богу, что с ним все копчено», XXX Как и во всех местах, где собираются люди, так и на маленьких немецких водах, куда приехали Щербацкие, совершилась обычная как бы кристаллизация обш;ества, определяюш,ая каждому его члену определенное и неизменное место. Как определенно и неизменно частица воды на холоде получает известную форму снежного кристалла, так точно каждое новое лицо, приезжавшее на воды, тотчас же устанавливалось в свойственное ему место. Фюрст Щербацкий замт гемалин унд тохтэр и по квартире, которую заняли, и по имени, и по знакомым, которых они нашли, тотчас же кристаллизовались в свое определенное и предназначенное им место. На водах была в этом году настоянная немецкая фюрстин, вследствие чего кристаллизация обш;ества совершалась еш;е энергичнее. Княгиня непременно пожелала представить принцессе свою дочь и на второй же день совершила этот обряд. Кити низко и грациозно присела в своем выписанном из Парижа, очень простом^ то есть очень нарядном летнем платье. Принцесса сказала: «Надеюсь, что розы скоро вернутся на это хорошенькое личико», — и для Щербацких тотчас же твердо установились определенные пути жизни, из которых нельзя уже было выйти. Щербацкие познакомились и с семейством английской леди, * Князь Щербацкий с женой и дочерью (нем.). 230

Он вышел вперед и высадил ее. В виду прислуги он пожал ей молча руку, сел в карету и уехал в Петербург.

Вслед за ним пришел лакей от княгини Бетси и принес Анне записку:

«Я послала к Алексею узнать об его здоровье, и он мне пишет, что здоров и цел, но в отчаянии».

«Так *он* будет!— подумала Анна.— Как хорошо я сделала, что все сказала ему».

Она взглянула на часы. Еще оставалось три часа, и воспоминания подробностей последнего свидания зажгли ей кровь.

«Боже мой, как светло! Это страшно, но я люблю видеть его лицо и люблю этот фантастический свет... Муж! ах, да... Ну, и слава богу, что с ним все кончено».

XXX

Как и во всех местах, где собираются люди, так и на маленьких немецких водах, куда приехали Щербацкие, совершилась обычная как бы кристаллизация общества, определяющая каждому его члену определенное и неизменное место. Как определенно и неизменно частица воды на холоде получает известную форму снежного кристалла, так точно каждое новое лицо, приезжавшее на воды, тотчас же устанавливалось в свойственное ему место. *Фюрст* Щербацкий *замт гемалин унд тохтэр* [1], и по квартире, которую заняли, и по имени, и по знакомым, которых они нашли, тотчас же кристаллизовались в свое определенное и предназначенное им место.

На водах была в этом году настоящая немецкая фюрстин, вследствие чего кристаллизация общества совершалась еще энергичнее. Княгиня непременно пожелала представить принцессе свою дочь и на второй же день совершила этот обряд. Кити низко и грациозно присела в своем выписанном из Парижа, *очень простом*, то есть очень нарядном летнем платье. Принцесса сказала: «Надеюсь, что розы скоро вернутся на это хорошенькое личико», — и для Щербацких тотчас же твердо установились определенные

и с немецкою графиней, и с ее раненным в последней вой-» не сыном, и со шведом-учеыым, и сМ. Canut и его сестрой. Но главное обш;ество Щербацких невольно составилось из московской дамы, Марьи Евгеньевны Ртищевой с дочерью, которая была неприятна Кити потому, что заболела так же, как и она, от любви, и московского полковника, которого Кити с детства видела и знала в мундире и эполетах и который тут, со своими маленькими глазками и с открытою шеей в цветном галстучке, был необыкновенно смешон и скучен тем, что нельзя было от него отделаться. Когда все это так твердо установилось, Кити стало очень скучно, тем более что князь уехал в Карлсбад и она осталась одна с матерью. Она не интересовалась теми, кого знала, чувствуя, что от них ничего уже не будет нового. Главный же задушевный интерес ее на водах составляли теперь наблюдения и догадки о тех, которых она не знала. По свойству своего характера Кити всегда в людях предполагала все самое прекрасное, и в особенности в тех, кого она не знала. И теперь, делая догадки о том, кто — кто, какие между ними отношения и какие они люди, Кити воображала себе самые удивительные и прекрасные характеры и находила подтверждение в своих наблюдениях. Из таких лиц в особенности занимала ее одна русская девушка, приехавшая на воды с больною русскою дамой, мадам Шталь, как ее все звали. Мадам Шталь принадлежала к высшему обществу, но она была так больна, что не могла ходить, и только в редкие хорошие дни появлялась на водах в колясочке. Но не столько по болезни, сколько по гордости, как объясняла княгиня, мадам Шталь не была знакома ни с кем из русских. Русская девушка ухаживала за мадам Шталь и, кроме того, как замечала Кити, сходилась со всеми тяжелобольными, которых было много на водах, и самым натуральным образом ухаживала за ними. Русская девушка эта, по наблюдениям Кити, не была родня мадам Шталь и вместо с тем не была наемная помощница. Мадам Шталь звала ее Варенька, а другие звали «т-Пе Варенька». Не говоря уже о том, что Кити интересовали наблюдения над отношениями этой девушки к г-же Шталь и к другим незнакомым ей лицам, Кити, как это часто бывает, испытывала необъяснимую симпатию к этой іп-11е Вареньке и чувствовала по встречающимся взглядам, что и она нравится. 231

и с немецкою графиней, и с ее раненным в последней войне сыном, и со шведом-ученым, и с M. Canut и его сестрой. Но главное общество Щербацких невольно составилось из московской дамы, Марьи Евгеньевны Ртищевой с дочерью, которая была неприятна Кити потому, что заболела так же, как и она, от любви, и московского полковника, которого Кити с детства видела и знала в мундире и эполетах и который тут, со своими маленькими глазками и с открытою шеей в цветном галстучке, был необыкновенно смешон и скучен тем, что нельзя было от него отделаться. Когда все это так твердо установилось, Кити стало очень скучно, тем более что князь уехал в Карлсбад и она осталась одна с матерью. Она не интересовалась теми, кого знала, чувствуя, что от них ничего уже не будет нового. Главный же задушевный интерес ее на водах составляли теперь наблюдения и догадки о тех, которых она не знала. По свойству своего характера Кити всегда в людях предполагала все самое прекрасное, и в особенности в тех, кого она не знала. И теперь, делая догадки о том, кто — кто, какие между ними отношения и какие они люди, Кити воображала себе самые удивительные и прекрасные характеры и находила подтверждение в своих наблюдениях.

Из таких лиц в особенности занимала ее одна русская девушка, приехавшая на воды с больною русскою дамой, мадам Шталь, как ее все звали. Мадам Шталь принадлежала к высшему обществу, но она была так больна, что не могла ходить, и только в редкие хорошие дни появлялась на водах в колясочке. Но не столько по болезни, сколько по гордости, как объясняла княгиня, мадам Шталь не была знакома ни с кем из русских. Русская девушка ухаживала за мадам Шталь и, кроме того, как замечала Кити, сходилась со всеми тяжелобольными, которых было много на водах, и самым натуральным образом ухаживала за ними. Русская девушка эта, по наблюдениям Кити, не была родня мадам Шталь и вместе с тем не была наемная помощница. Мадам Шталь звала ее Варенька, а другие звали «m-lle Варенька». Не говоря уже о том, что Кити интересовали наблюдения над отношениями этой девушки к г-же Шталь и к другим незнакомым ей лицам. Кити, как это часто бывает, ис-

M-lle Варенька эта была не то что не первой молодости, но как бы существо без молодости: ей можно было^ дать и девятнадцать и тридцать лет. Если разбирать ее черты, она, несмотря на болезненный цвет лица, была скорее красива, чем дурна. Она была бы и хорошо сложена, если бы не слишком большая сухость тела и несоразмерная голова по среднему росту; но она не должна была быть привлекательна для мужчин. Она была похожа на прекрасный, хотя еще и полный лепестков, но уже отцветший, без запаха цветок. Кроме того, она не могла быть привлекательною для мужчин еще и потому, что ей недоставало того, чего слишком много было в Кити, — сдержанного огня жизни и сознания своей привлекательности. Она всегда казалась занятою делом, в котором не могло быть сомнения, и потому, казалось, ничем посторонним не могла интересоваться. Этою противоположностью с собой она особенно привлекла к себе Кити. Кити чувствовала, что в ней, в ее складе жизни, она найдет образец того, чего теперь мучительно искала: интересов жизни, достоинства жизни — вне отвратительных для Кити светских отношений девушки к мужчинам, представлявшихся ей теперь позорною выставкой товара, ожидающего покупателей. Чем больше Кити наблюдала своего неизвестного друга, тем более убеждалась, что эта девушка есть то самое совершенное существо, каким она ее себе представляла, и тем более она желала познакомиться с ней. Обе девушки встречались каждый день по нескольку раз, и при каждой встрече глаза Кити говорили: «Кто вы? что вы? Ведь правда, что вы то прелестное существо, каким я воображаю вас? Но ради бога не думайте, — прибавлял ее взгляд, — что я позволяю себе навязываться в знакомые. Я просто любуюсь вами и люблю вас». — «Я тоже люблю вас, и вы очень, очень милы. И еще* больше любила бы вас, если б имела время», — отвечал взгляд неизвестной девушки. И действительно, Кити видела, что она всегда занята: или она уводит с вод детей русского семейства, или несет плед для больной и укутывает ее, или старается развлечь раздраженного больного, или выбирает и покупает печенье к кофею для кого-то. Скоро после приезда Щербацких на утренних водах появились еще два лица, обратившие на себя общее недружелюбное внимание. Это были: очень высокий сутуло232

M-lle Варенька эта была не то что не первой молодости, но как бы существо без молодости: ей можно было дать и девятнадцать и тридцать лет. Если разбирать ее черты, она, несмотря на болезненный цвет лица, была скорее красива, чем дурна. Она была бы и хорошо сложена, если бы не слишком большая сухость тела и несоразмерная голова по среднему росту; но она не должна была быть привлекательна для мужчин. Она была похожа на прекрасный, хотя еще и полный лепестков, но уже отцветший, без запаха цветок. Кроме того, она не могла быть привлекательною для мужчин еще и потому, что ей недоставало того, чего слишком много было в Кити,— сдержанного огня жизни и сознания своей привлекательности.

Она всегда казалась занятою делом, в котором не могло быть сомнения, и потому, казалось, ничем посторонним не могла интересоваться. Этою противоположностью с собой она особенно привлекла к себе Кити. Кити чувствовала, что в ней, в ее складе жизни, она найдет образец того, чего теперь мучительно искала: интересов жизни, достоинства жизни — вне отвратительных для Кити светских отношений девушки к мужчинам, представлявшихся ей теперь позорною выставкой товара, ожидающего покупателей. Чем больше Кити наблюдала своего неизвестного друга, тем более убеждалась, что эта девушка есть то самое совершенное существо, каким она ее себе представляла, и тем более она желала познакомиться с ней.

Обе девушки встречались каждый день по нескольку раз, и при каждой встрече глаза Кити говорили: «Кто вы? что вы? Ведь правда, что вы то прелестное существо, каким я воображаю вас? Но ради бога не думайте,— прибавлял ее взгляд,— что я позволяю себе навязываться в знакомые. Я просто любуюсь вами и люблю вас».— «Я тоже люблю вас, и вы очень, очень милы. И еще больше любила бы вас, если б имела время»,— отвечал взгляд неизвестной девушки. И действительно, Кити видела, что она всегда занята: или она уводит с вод детей русского семейства, или несет плед для больной и укутывает ее, или старается развлечь раздраженного больного,

ватый мужчина с огромными руками, в коротком, не по рРСту, и старом пальто, с черными, наивными и вместе страшными глазами, и рябоватая миловидная женш;ина, очень дурно и безвкусно одетая. Признав этих лиц за русских, Кити уже начала в своем воображении составлять о них прекрасный и трогательный роман. Но княгиня, узнав по Kurliste ^ что это был Левин Николай и Марья Николаевна, объяснила Кити, какой дурной человек был этот Левин, и все мечты об этих двух лицах исчезли. Не столько потому, что мать сказала ей, сколько потому, что это был брат Константина, для Кити эти лица вдруг показались в высшей степени неприятны. Этот Левин возбуждал в ней теперь своею привычкой подергиваться головой непреодолимое чувство отврап];ения. Ей казалось, что в его больших страшных глазах, которые упорно следили за ней, выражалось чувство ненависти и насмешки, и она старалась избегать встречи с ним. XXXI Был ненастный день, дождь шел все утро, и больные с зонтиками толпились в галерее. Кити ходила с матерью и с московским полковником, весело пі;еголявшим в своем европейском, купленном готовым во Франкфурте сюртучке. Они ходили по одной стороне галереи, стараясь избегать Левина, ходившего по другой стороне. Варенька в своем темном платье, в черной, с отогнутыми вниз полями шляпе ходила со слепою француженкой во всю длину галереи, и каждый раз, как она встречалась с Кити, они перекидывались дружелюбным взглядом. — Мама, можно мне заговорить с нею? — сказала Кити, следившая за своим незнакомым другом и заметившая, что она подходит к ключу и они могут сойтись у него. — Да, если тебе так хочется, я узнаю прежде о ней и сама подойду, — отвечала мать. — Что ты в ней нашла особенного? Компаньонка, должно быть. Если хочешь, я познакомлюсь с мадам Шталь. Я знала ее belle-soeur — прибавила княгиня, гордо поднимая голову. ^ курортному списку (нем.). ^ невестку (франц.).

ватый мужчина с огромными руками, в коротком, не по росту, и старом пальто, с черными, наивными и вместе страшными глазами, и рябоватая миловидная женщина, очень дурно и безвкусно одетая. Признав этих лиц за русских, Кити уже начала в своем воображении составлять о них прекрасный и трогательный роман. Но княгиня, узнав по Kurliste [1], что это был Левин Николай и Марья Николаевна, объяснила Кити, какой дурной человек был этот Левин, и все мечты об этих двух лицах исчезли. Не столько потому, что мать сказала ей, сколько потому, что это был брат Константина, для Кити эти лица вдруг показались в высшей степени неприятны. Этот Левин возбуждал в ней теперь своею привычкой подергиваться головой непреодолимое чувство отвращения.

Ей казалось, что в его больших страшных глазах, которые упорно следили за ней, выражалось чувство ненависти и насмешки, и она старалась избегать встречи с ним.

XXXI

Был ненастный день, дождь шел все утро, и больные с зонтиками толпились в галерее.

Кити ходила с матерью и с московским полковником, весело щеголявшим в своем европейском, купленном готовым во Франкфурте сюртучке. Они ходили по одной стороне галереи, стараясь избегать Левина, ходившего по другой стороне. Варенька в своем темном платье, в черной, с отогнутыми вниз полями шляпе ходила со слепою француженкой во всю длину галереи, и каждый раз, как она встречалась с Кити, они перекидывались дружелюбным взглядом.

— Мама, можно мне заговорить с нею? — сказала Кити, следившая за своим незнакомым другом и заметившая, что она подходит к ключу и они могут сойтись у него.

— Да, если тебе так хочется, я узнаю прежде о ней и сама подойду,— отвечала мать.— Что ты в ней нашла особенного? Компаньонка, должно быть. Если хочешь, я познакомлюсь с мадам Шталь. Я знала ее belle-soeur [2],— прибавила княгиня, гордо поднимая голову.

Кити знала, что княгиня оскорблена тем, что г-жа Шталь как будто избегала знакомиться с нею. Кити не настаивала. — Чудо, какая милая! — сказала она, глядя на Вареньку, в то время как та подавала стакан француженке. — Посмотрите, как все просто, мило. — Уморительны мне твои engouements ^ — сказала княгиня, — нет, пойдем лучше назад, — прибавила она, заметив двигавшегося им навстречу Левина с своею дамой и с немецким доктором, с которым он что-то громко и сердито говорил. Они поворачивались, чтоб идти назад, как вдруг услыхали уже не громкий говор, а крик. Левин, остановившись, кричал, и доктор тоже горячился. Толпа собиралась вокруг них. Княгиня с Кити поспешно удалились, а полковник присоединился к толпе, чтоб узнать, в чем дело. Чрез несколько минут полковник нагнал их. — Что это там было? — спросила княгиня. — Позор и срам — отвечал полковник. — Одного боишься — это встречаться с русскими за границей. Этот высокий господин побранился с доктором, наговорил ему дерзости за то, что тот его не так лечит, и замахнулся палкой. Срам просто! — Ах, как неприятно! — сказала княгиня. — Ну, чем же кончилось? — Спасибо, тут вмешалась эта... эта в шляпе грибом. Русская, кажется, — сказал полковник. — Mademoiselle Варенька? — радостно спросила Кити. — Да, да. Она нашлась скорее всех, она взяла этого господина под руку и увела. — Вот, мама, — сказала Кити матери, — вы удивляетесь, что я восхиш,аюсь ею. С следующего дня, наблюдая на водах своего неизвестного друга, Кити заметила, что т-Пе Варенька и с Левиным и его женщиной уже находилась в тех же отношениях, как II с другими своихми protégés. Она подходила к ним, разговаривала, служила переводчицей для женщины, не умевшей говорить ни на одном иностранном языке. Кити еще более стала умолять мать позволить ей познакомиться с Варенькой. И, как ни неприятно было княгине как будто делать первый шаг в желании познако^ увлечения а 234

Кити знала, что княгиня оскорблена тем, что г-жа Шталь как будто избегала знакомиться с нею. Кити не настаивала.

— Чудо, какая милая! — сказала она, глядя на Вареньку, в то время как та подавала стакан француженке.— Посмотрите, как все просто, мило.

— Уморительны мне твои engouements [1], — сказала княгиня, — нет, пойдем лучше назад, — прибавила она, заметив двигавшегося им навстречу Левина с своею дамой и с немецким доктором, с которым он что-то громко и сердито говорил.

Они поворачивались, чтоб идти назад, как вдруг услыхали уже не громкий говор, а крик. Левин, остановившись, кричал, и доктор тоже горячился. Толпа собиралась вокруг них. Княгиня с Кити поспешно удалились, а полковник присоединился к толпе, чтоб узнать, в чем дело.

Чрез несколько минут полковник нагнал их.

— Что это там было? — спросила княгиня.

— Позор и срам — отвечал полковник. — Одного боишься — это встречаться с русскими за границей. Этот высокий господин побранился с доктором, наговорил ему дерзости за то, что тот его не так лечит, и замахнулся палкой. Срам просто!

— Ах, как неприятно! — сказала княгиня. — Ну, чем же кончилось?

— Спасибо, тут вмешалась эта... эта в шляпе грибом. Русская, кажется,— сказал полковник.

— Mademoiselle Варенька? — радостно спросила Кити.

— Да, да. Она нашлась скорее всех, она взяла этого господина под руку и увела.

— Вот, мама,— сказала Кити матери,— вы удивляетесь, что я восхищаюсь ею.

С следующего дня, наблюдая на водах своего неизвестного друга, Кити заметила, что m-lle Варенька и с Левиным и его женщиной уже находилась в тех же отношениях, как и с другими своими *protégés*. Она подходила к ним, разговаривала, служила переводчицей для женщины, не умевшей говорить ни на одном иностранном языке.

Кити еще более стала умолять мать позволить ей поз-

миться с г-жою Шталь, позволявшею себе чем-то гордиться, она навела справки о Вареньке и, узнав о ней подробности, дававшие заключить, что не было ничего худого, хотя и хорошего мало, в этом знакомстве, сама первая подошла к Вареньке и познакомилась с нею. Выбрав время, когда дочь ее пошла к ключу, а Варенька остановилась против булочника, княгиня подошла к ней. — Позвольте мне познакомиться с вами, — сказала она с своею достойною улыбкой. — Моя дочь влюблена в вас,— сказала она. — Вы, может быть, не знаете меня. Я... — Это больше, чем взаимно, княгиня, — поспешно отвечала Варенька. — Какое вы доброе дело сделали вчера нашему жалкому соотечественнику! — сказала княгиня. Варенька покраснела. — Я не помню, я, кажется, ничего не делала, — сказала она. — Как же, вы спасли этого Левина от неприятности. — Да, sa compagne * позвала меня, и я постаралась успокоить его: он очень болен и недоволен был доктором. А я имею привычку ходить за этими больными. — Да, я слышала, что вы живете в Ментоне с вашею тетушкой, кажется, madame Шталь. Я знала eo belle-soeur. — Нет, она мне не тетка. Я называю ее maman, но я ей не родня; я воспитана ею, — опять покраснев, отвечала Варенька. Это было так просто сказано, так мило было правдивое и открытое выражение ее лица, что княгиня поняла, почему ее Кити полюбила эту Вареньку. — Ну, что же этот Левин? — спросила княгиня. — Он уезжает, — отвечала Варенька. В это время, сияя радостью о том, что мать ее познакомилась с ее пеiизвестным другом, от ключа подходила Кити. — Ну вот, Кити, твое сильное желание познакомиться с mademoiselle... — Варенькой, — улыбаясь, подсказала Варенька, — так все меня зовут. Кити покраснела от радости и молча долго жала руку своего нового друга, которая не отвечала на ее пожатие, ^ его спутница (фрапц.). 235

миться с г-жою Шталь, позволявшею себе чем-то гордиться, она навела справки о Вареньке и, узнав о ней подробности, дававшие заключить, что не было ничего худого, хотя и хорошего мало, в этом знакомстве, сама первая подошла к Вареньке и познакомилась с нею.

Выбрав время, когда дочь ее пошла к ключу, а Варенька остановилась против булочника, княгиня подошла к ней.

— Позвольте мне познакомиться с вами, — сказала она с своею достойною улыбкой.— Моя дочь влюблена в вас,— сказала она.— Вы, может быть, не знаете меня. Я...

— Это больше, чем взаимно, княгиня,— поспешно отвечала Варенька.

— Какое вы доброе дело сделали вчера нашему жалкому соотечественнику! — сказала княгиня.

Варенька покраснела.

— Я не помню, я, кажется, ничего не делала,— сказала она.

— Как же, вы спасли этого Левина от неприятности.

— Да, sa compagne [1] позвала меня, и я постаралась успокоить его: он очень болен и недоволен был доктором. А я имею привычку ходить за этими больными.

— Да, я слышала, что вы живете в Ментоне с вашею тетушкой, кажется, madame Шталь. Я знала ее belle-soeur.

— Нет, она мне не тетка. Я называю ее maman, но я ей не родня; я воспитана ею,— опять покраснев, отвечала Варенька.

Это было так просто сказано, так мило было правдивое и открытое выражение ее лица, что княгиня поняла, почему ее Кити полюбила эту Вареньку.

— Ну, что же этот Левин? — спросила княгиня.

— Он уезжает,— отвечала Варенька.

В это время, сияя радостью о том, что мать ее познакомилась с ее неизвестным другом, от ключа подходила Кити.

— Ну вот, Кити, твое сильное желание познакомиться с mademoiselle...

— Варенькой,— улыбаясь, подсказала Варенька,— так все меня зовут.

Кити покраснела от радости и долго жала руки

но неподвижно лежала в ее руке. Рука не отвечала на пожатие, но лицо т-Пе Вареньки просияло тихою, радостною, хотя и несколько грустною улыбкой, открывавшею большие, но прекрасные зубы. — Я сама давно хотела этого,— сказала она. — Но вы так заняты... — Ах, напротив, я ничем не занята,— отвечала Варенька, но в ту же минуту должна была оставить своих новых знакомых, потому что две маленькие русские девочки, дочери больного, бежали к ней. — Варенька, мама зовет! — кричали они. И Варенька пошла за ними. XXXII Подробности, которые узнала княгиня о прошедшем Вареньки и об отношениях ее к мадам Шталь и о самой мадам Шталь, были следующие. Мадам Шталь, про которую одни говорили, что она замучала своего мужа, а другие говорили, что он замучал ее своим безнравственным поведением, была всегда болезненная и восторженная женщина. Когда она родила, уже разведясь с мужем, первого ребенка, ребенок этот тотчас же умер, и родные г-жи Шталь, зная ее чувствительность и боясь, чтоб это известие не убило ее, подменили ей ребенка, взяв родившуюся в ту же ночь и в том же доме в Петербурге дочь придворного повара. Это была Варенька. Мадам Шталь узнала впоследствии, что Варенька была не ее дочь, но продолжала ее воспитывать, тем более что очень скоро после этого родных у Вареньки никого не осталось. Мадам Шталь уже более десяти лет безвыездно жила за границей на юге, никогда не вставая с постели. И одни говорили, что мадам Шталь сделала себе общественное положение добродетельной, высокорелигиозной женщины; другие говорили, что она была в душе то самое высоконравственное существо, жившее только для добра ближнего, каким она представлялась. Никто не знал, какой она религии — католической, протестантской или православной; но одно было несомненно — она находилась в дружеских связях с самыми высшими лицами всех церквей и исповеданий. 236

но неподвижно лежала в ее руке. Рука не отвечала на пожатие, но лицо m-lle Вареньки просияло тихою, радостною, хотя и несколько грустною улыбкой, открывавшею большие, но прекрасные зубы.

— Я сама давно хотела этого,— сказала она.

— Но вы так заняты...

— Ах, напротив, я ничем не занята,— отвечала Варенька, но в ту же минуту должна была оставить своих новых знакомых, потому что две маленькие русские девочки, дочери больного, бежали к ней.

— Варенька, мама зовет! — кричали они.

И Варенька пошла за ними.

XXXII

Подробности, которые узнала княгиня о прошедшем Вареньки и об отношениях ее к мадам Шталь и о самой мадам Шталь, были следующие.

Мадам Шталь, про которую одни говорили, что она замучала своего мужа, а другие говорили, что он замучал ее своим безнравственным поведением, была всегда болезненная и восторженная женщина. Когда она родила, уже разведясь с мужем, первого ребенка, ребенок этот тотчас же умер, и родные г-жи Шталь, зная ее чувствительность и боясь, чтоб это известие не убило ее, подменили ей ребенка, взяв родившуюся в ту же ночь и в том же доме в Петербурге дочь придворного повара. Это была Варенька. Мадам Шталь узнала впоследствии, что Варенька была не ее дочь, но продолжала ее воспитывать, тем более что очень скоро после этого родных у Вареньки никого не осталось.

Мадам Шталь уже более десяти лет безвыездно жила за границей на юге, никогда не вставая с постели. И одни говорили, что мадам Шталь сделала себе общественное положение добродетельной, высокорелигиозной женщины; другие говорили, что она была в душе то самое высоконравственное существо, жившее только для добра ближнего, каким она представлялась. Никто не знал, какой она религии — католической, протестантской или право-

Варенька жила с нею постоянно за границей, и все, кто знали мадам Шталь, знали и любили т-11е Вареньку, как все ее звали. Узнав все эти подробности, княгиня не нашла ничего предосудительного в сближении своей дочери с Варенькой, тем более что Варенька имела манеры и воспитание самые хорошие: отлично говорила по-французски и по-английски, а главное — передала от г-жи Шталь сожаление, что она по болезни лишена удовольствия познакомиться с княгиней. Познакомившись с Варенькой, Кити все более и более прельщалась своим другом и с каждым днем находила в ней новые достоинства. Княгиня, услыхав о том, что Варенька хорошо поет, попросила ее прийти к ним петь вечером. — Кити играет, и у нас есть фортепьяно, нехорошее, правда, но вы нам доставите большое удовольствие, — сказала княгиня с своею притворною улыбкой, которая особенно неприятна была теперь Кити, потому что она заметила, что Вареньке не хотелось петь. Но Варенька, однако, пришла вечером и принесла с собой тетрадь нот. Княгиня пригласила Марью Евгеньевну с дочерью и полковника. Варенька казалась совершенно равнодушною к тому, что тут были незнакомые ей лица, и тотчас я^е подошла к фортепьяно. Она не умела себе аккомпанировать, но прекрасно читала ноты голосом. Кити, хорошо игравшая, аккомпанировала ей. У вас необыкновенный талант, — - сказала ей княгиня после того, как Варенька прекрасно спела первую пиесу., Марья Евгеньевна с дочерью благодарили и хвалили ее. — Посмотрите, — сказал полковник, глядя в окно, — какая публика собралась вас слушать.— Действительно, под окнами собралась довольно большая толпа. — Я очень рада, что это доставляет вам удовольствие, — просто отвечала Варенька. Кити с гордостью смотрела на своего друга. Она восхищалась и ее искусством, и ее голосом, и ее лицом, но более всего восхищалась ее манерой, тем, что Варенька, очевидно, ничего не думала о своем пении и была совершенно равнодушна к похвалам; она как будто спрашивала только: нужно ли еще петь, или довольно? «Если б это была я, — думала про себя Кити, — как бы я гордилась этим! Как бы я радовалась, глядя на эту толпу 237

Варенька жила с нею постоянно за границей, и все, кто знали мадам Шталь, знали и любили m-lle Вареньку, как все ее звали.

Узнав все эти подробности, княгиня не нашла ничего предосудительного в сближении своей дочери с Варенькой, тем более что Варенька имела манеры и воспитание самые хорошие: отлично говорила по-французски и по-английски, а главное — передала от г-жи Шталь сожаление, что она по болезни лишена удовольствия познакомиться с княгиней.

Познакомившись с Варенькой, Кити все более и более прельщалась своим другом и с каждым днем находила в ней новые достоинства.

Княгиня, услыхав о том, что Варенька хорошо поет, попросила ее прийти к ним петь вечером.

— Кити играет, и у нас есть фортепьяно, нехорошее, правда, но вы нам доставите большое удовольствие, — сказала княгиня с своею притворною улыбкой, которая особенно неприятна была теперь Кити, потому что она заметила, что Вареньке не хотелось петь. Но Варенька, однако, пришла вечером и принесла с собой тетрадь нот. Княгиня пригласила Марью Евгеньевну с дочерью и полковника.

Варенька казалась совершенно равнодушною к тому, что тут были незнакомые ей лица, и тотчас же подошла к фортепьяно. Она не умела себе аккомпанировать, но прекрасно читала ноты голосом. Кити, хорошо игравшая, аккомпанировала ей.

— У вас необыкновенный талант, — сказала ей княгиня после того, как Варенька прекрасно спела первую пиесу.

Марья Евгеньевна с дочерью благодарили и хвалили ее.

— Посмотрите,— сказал полковник, глядя в окно,— какая публика собралась вас слушать.— Действительно, под окнами собралась довольно большая толпа.

— Я очень рада, что это доставляет вам удовольствие,— просто отвечала Варенька.

Кити с гордостью смотрела на своего друга. Она восхищалась и ее искусством, и ее голосом, и ее лицом, но более всего восхищалась ее манерой, тем, что Варенька, очевидно, ничего не думала о своем пении и была совер-

под окнами! А ей совершенно все равно. Ее побуждает только желание не отказать и сделать приятное maman, Что же в ней есть? Что дает ей эту силу пренебрегать всем, быть независимо спокойною? Как бы я желала это знать и научиться от нее этому», — вглядываясь в это спокойное лицо, думала Кити. Княгиня попросила Вареньку спеть еще, и Варенька спела другую пиесу так же ровно, отчетливо и хорошо, прямо стоя у фортепьяно и отбивая по ним такт своею худою смуглою рукой. Следующая затем в тетради пиеса была итальянская песня. Кити сыграла прелюд, который ей очень понравился, и оглянулась на Вареньку. — Пропустим эту,— сказала Варенька, покраснев. Кити испуганно и вопросительно остановила свои глаза на лице Вареньки. — Ну, другое, — поспешно сказала она, перевертывая листы и тотчас же поняв, что с этою пиесой было соединено что-то. — Нет, — отвечала Варенька, положив свою руку на ноты и улыбаясь, — нет, споемте это. — И она спела это так же спокойно, холодно и хорошо, как и прежде. Когда она кончила, все опять благодарили ее и пошли пить чай. Кити с Варенькой вышли в садик, бывший подле дома. — Правда, что у вас соединено какое-то воспоминание с этою песней? — сказала Кити. — Вы не говорите, — поспешно прибавила она, — только скажите — правда? — Нет, отчего? Я скажу, — просто сказала Варенька и, не дожидаясь ответа, продолжала: — Да, это воспоминание, и было тяжелое когда-то. Я любила одного человека. Эту вещь я пела ему. Кити с открытыми большими глазами молча, умиленно смотрела на Вареньку. — Я любила его, и он любил меня; но его мать но хотела, и он женился на другой. Он теперь живет недалеко от нас, я вижу его. Вы не думали, что у меня тоже был роман? — сказала она, и в красивом лице ее чуть брезжил тот огонек, который Кити чувствовала, когда изнутри освещал ее всю. — Как не думала? Если б я была мужчиной, я бы не могла любить никого, после того как узнала вас. Я только не понимаю, как он мог в угоду матери забыть вас и сделать вас несчастною; у него не было сердца. 238

под окнами! А ей совершенно все равно. Ее побуждает только желание не отказать и сделать приятное *maman*. Что же в ней есть? Что дает ей эту силу пренебрегать всем, быть независимо спокойною? Как бы я желала это знать и научиться от нее этому»,— вглядываясь в это спокойное лицо, думала Кити. Княгиня попросила Вареньку спеть еще, и Варенька спела другую пиесу так же ровно, отчетливо и хорошо, прямо стоя у фортепьяно и отбивая по ним такт своею худою смуглою рукой.

Следующая затем в тетради пиеса была итальянская песня. Кити сыграла прелюд, который ей очень понравился, и оглянулась на Вареньку.

— Пропустим эту,— сказала Варенька, покраснев.

Кити испуганно и вопросительно остановила свои глаза на лице Вареньки.

— Ну, другое,— поспешно сказала она, перевертывая листы и тотчас же поняв, что с этою пиесой было соединено что-то.

— Нет,— отвечала Варенька, положив свою руку на ноты и улыбаясь,— нет, споемте это.— И она спела это так же спокойно, холодно и хорошо, как и прежде.

Когда она кончила, все опять благодарили ее и пошли пить чай. Кити с Варенькой вышли в садик, бывший подле дома.

— Правда, что у вас соединено какое-то воспоминание с этою песней? — сказала Кити.— Вы не говорите,— поспешно прибавила она,— только скажите — правда?

— Нет, отчего? Я скажу,— просто сказала Варенька и, не дожидаясь ответа, продолжала: — Да, это воспоминание, и было тяжелое когда-то. Я любила одного человека. Эту вещь я пела ему.

Кити с открытыми большими глазами молча, умиленно смотрела на Вареньку.

— Я любила его, и он любил меня; но его мать не хотела, и он женился на другой. Он теперь живет недалеко от нас, я вижу его. Вы не думали, что у меня тоже был роман? — сказала она, и в красивом лице ее чуть брезжил тот огонек, который Кити чувствовала, когда изнутри освещал ее всю.

— о нет, он очень хороший человек, и я не несчастна; напротив, я очень счастлива. Ну, так не будем больше петь нынче? — прибавила она, направляясь к дому. — Как вы хороши, как вы хороши! — вскрикнула Кити и, остановив ее, поцеловала. — Если б я хоть немножко могла быть похожа на вас! — Зачем вам быть на кого-нибудь похожей? Вы хороши, какие вы есть, — улыбаясь своею кроткою и усталою улыбкой, сказала Варенька. — Нет, я совсем не хороша. Ну, скажите мне... Постойте, посидимте, — сказала Кити, усаживая ее опять на скамейку подле себя. — Скажите, неужели не оскорбительно думать, что человек пренебрег вашею любовью, что он не хотел?.. — Да он не пренебрег; я верю, что он любил меня, но он был покорный сын... — Да, но если б он не по воле матери, а просто сам?.. — говорила Кити, чувствуя, что она выдала свою тайну и что лицо ее, горящее румянцем стыда, уже изобличило ее. — Тогда бы он дурно поступил, и я бы не жалела его, — отвечала Варенька, очевидно поняв, что дело идет уже не о ней, а о Кити. — Но оскорбление? — сказала Кити.— Оскорбления нельзя забыть, нельзя забыть, — говорила она, вспоминая свой взгляд на последнем бале, во время остановки музыки. — В чем же оскорбление? Ведь вы не поступили дурно? — Хуже, чем дурно,— стыдно. Варенька покачала головой и положила свою руку на руку Кити. — Да в чем же стыдно? — сказала она. — Ведь вы не могли сказать человеку, который равнодушен к вам, что вы его любите? — Разумеется, нет; я никогда не сказала ни одного слова, но он знал. Нет, нет, есть взгляды, есть манеры. Я буду сто лет жить, не забуду. — Так что же? Я не понимаю. Дело в том, любите ли вы его теперь или нет, — сказала Варенька, называя все по имени. — Я ненавижу его; я не могу простить себе. — Так что ж? — Стыд, оскорбление. 239

— О нет, он очень хороший человек, и я не несчастна; напротив, я очень счастлива. Ну, так не будем больше петь нынче? — прибавила она, направляясь к дому.

— Как вы хороши, как вы хороши! — вскрикнула Кити и, остановив ее, поцеловала.— Если б я хоть немножко могла быть похожа на вас!

— Зачем вам быть на кого-нибудь похожей? Вы хороши, какие вы есть, — улыбаясь своею кроткою и усталою улыбкой, сказала Варенька.

— Нет, я совсем не хороша. Ну, скажите мне... Постойте, посидимте, — сказала Кити, усаживая ее опять на скамейку подле себя. — Скажите, неужели не оскорбительно думать, что человек пренебрег вашею любовью, что он не хотел?..

— Да он не пренебрег; я верю, что он любил меня, но он был покорный сын...

— Да, но если б он не по воле матери, а просто сам?..— говорила Кити, чувствуя, что она выдала свою тайну и что лицо ее, горящее румянцем стыда, уже изобличило ее.

— Тогда бы он дурно поступил, и я бы не жалела его,— отвечала Варенька, очевидно поняв, что дело идет уже не о ней, а о Кити.

— Но оскорбление?— сказала Кити.— Оскорбления нельзя забыть, нельзя забыть,— говорила она, вспоминая свой взгляд на последнем бале, во время остановки музыки.

— В чем же оскорбление? Ведь вы не поступили дурно?

— Хуже, чем дурно,— стыдно.

Варенька покачала головой и положила свою руку на руку Кити.

— Да в чем же стыдно? — сказала она.— Ведь вы не могли сказать человеку, который равнодушен к вам, что вы его любите?

— Разумеется, нет; я никогда не сказала ни одного слова, но он знал. Нет, нет, есть взгляды, есть манеры. Я буду сто лет жить, не забуду.

— Так что же? Я не понимаю. Дело в том, любите ли вы его теперь или нет,— сказала Варенька, называя

— Ах, если бы все так были, как вы, чувствительны, — сказала Варенька. — Нет девушки, которая бы не испытала этого. И все это так неважно. — А что же важно? — спросила Кити, с любопытным удивлением вглядываясь в ее лицо. — Ах, многое важно, — улыбаясь, сказала Варенька. — Да что же? — Ах, многое важнее, — отвечала Варенька, не зная, что сказать. Но в это время из окна послышался голос княгини: — Кити, свежо! Или шаль возьми, или иди в комнаты. — Правда, пора! — сказала Варенька, вставая. — Мне еще надо зайти к madame Berthe; она меня просила. Кити держала ее за руку и с страстным любопытством и мольбой спрашивала ее взглядом: «Что же, что же это самое важное, что дает такое спокойствие? Вы знаете, скажите мне!» Но Варенька не понимала даже того, о чем спрашивал ее взгляд Кити. Она помнила только о том, что ей нынче нужно еще зайти к m-me Berthe и поспеть домой к чаю maman, к двенадцати часам. Она вошла в комнаты, собрала ноты и, простившись со всеми, собралась уходить. — Позвольте, я провожу вас,— сказал полковник. — Да как же одной идти теперь ночью? — подтвердила княгиня. — Я пошлю хоть Парашу. Кити видела, что Варенька с трудом удерживала улыбку при словах, что ее нужно провожать. — Нет, я всегда хожу одна, и никогда со мной ничего не бывает, — сказала она, взяв шляпу. И, поцеловав еще раз Кити и так и не сказав, что было важно, бодрым шагом, с нотами под мышкой, скрылась в полутьме летней ночи, унося с собой свою тайну о том, что важно и что дает ей это завидное спокойствие и достоинство. XXXIII Кити познакомилась и с г-жою Шталь, и знакомство это вместе с дружбою к Вареньке не только имело на нее сильное влияние, но утешало ее в ее горе. Она нашла это утешение в том, что ей благодаря этому знакомству открылся совершенно новый мир, не имеющий ничего общего с ее прошедшим, мир возвышенный, прекрасный, с 240

— Ах, если бы все так были, как вы, чувствительны,— сказала Варенька.— Нет девушки, которая бы не испытала этого. И все это так неважно.

— А что же важно?— спросила Кити, с любопытным удивлением вглядываясь в ее лицо.

— Ах, многое важно,— улыбаясь, сказала Варенька.

— Да что же?

— Ах, многое важнее,— отвечала Варенька, не зная, что сказать. Но в это время из окна послышался голос княгини:

— Кити, свежо! Или шаль возьми, или иди в комнаты.

— Правда, пора! — сказала Варенька, вставая. — Мне еще надо зайти к madame Berthe; она меня просила.

Кити держала ее за руку и с страстным любопытством и мольбой спрашивала ее взглядом: «Что же, что же это самое важное, что дает такое спокойствие? Вы знаете, скажите мне!» Но Варенька не понимала даже того, о чем спрашивал ее взгляд Кити. Она помнила только о том, что ей нынче нужно еще зайти к m-me Berthe и поспеть домой к чаю maman, к двенадцати часам. Она вошла в комнаты, собрала ноты и, простившись со всеми, собралась уходить.

— Позвольте, я провожу вас,— сказал полковник.

— Да как же одной идти теперь ночью? — подтвердила княгиня.— Я пошлю хоть Парашу.

Кити видела, что Варенька с трудом удерживала улыбку при словах, что ее нужно провожать.

— Нет, я всегда хожу одна, и никогда со мной ничего не бывает,— сказала она, взяв шляпу. И, поцеловав еще раз Кити и так и не сказав, что было важно, бодрым шагом, с нотами под мышкой, скрылась в полутьме летней ночи, унося с собой свою тайну о том, что важно и что дает ей это завидное спокойствие и достоинство.

XXXIII

Кити познакомилась и с г-жою Шталь, и знакомство это вместе с дружбою к Вареньке не только имело на

высоты которого можно было спокойно смотреть на это прошедшее. Ей открылось то, что, кроме жизни инстинктивной, которой до сих пор отдавалась Кити, была жизнь духовная. Жизнь эта открывалась религией, но религией, не имеющею ничего общего с тою, которую с детства знала Кити, религией, выражавшейся в обедне и всенощной во Вдовьем Доме, где можно было встретить знакомых, и в изучении с батюшкой наизусть славянских текстов; это была религия возвышенная, таинственная, связанная с рядом прекрасных мыслей и чувств, в которую не только можно было верить, потому что так велено, но которую можно было любить. Кити узнала все это не из слов. Мадам Шталь говорила с Кити, как с милым ребенком, на которого любуешься, как на воспоминание своей молодости, и только один раз упомянула о том, что во всех людских горестях утешение дает лишь любовь и вера и что для сострадания к нам Христа нет ничтожных горестей, и тотчас же перевела разговор на другое. Но Кити в каждом ее движении, в каждом слове, в каждом небесном, как называла Кити, взгляде ее, в особенности во всей истории ее жизни, которую она знала чрез Вареньку, во всем узнавала то, «что было важно» и чего она до сих пор не знала. Но как ни возвышен был характер мадам Шталь, как ни трогательна вся ее история, как ни возвышенна и нежна ее речь, Кити невольно подметила в ней такие черты, которые смущали ее. Она заметила, что, расспрашивая про ее родных, мадам Шталь улыбнулась презрительно, что было противно христианской доброте. Заметила еще, что, когда она застала у нее католического священника, мадам Шталь старательно держала свое лицо в тени абажура и особенно улыбалась. Как ни ничтожны были эти два замечания, они смущали ее, и она сомневалась в мадам Шталь. Но зато Варенька, одинокая, без родных, без друзей, с грустным разочарованием, ничего не желавшая, ничего не жалевшая, была тем самым совершенством, о котором только позволяла себе мечтать Кити. На Вареньке она поняла, что стоило только забыть себя и любить других, и будешь спокойна, счастлива и прекрасна. И такою хотела быть Кити. Поняв теперь ясно, что было самое важное, Кити не удовольствовалась тем, чтобы восхищаться этим, но тотчас же всею душою отдалась этой новой, открывшейся ей жизни. 241

высоты которого можно было спокойно смотреть на это прошедшее. Ей открылось то, что, кроме жизни инстинктивной, которой до сих пор отдавалась Кити, была жизнь духовная. Жизнь эта открывалась религией, но религией, не имеющею ничего общего с тою, которую с детства знала Кити, религией, выражавшейся в обедне и всенощной во Вдовьем Доме, где можно было встретить знакомых, и в изучении с батюшкой наизусть славянских текстов; это была религия возвышенная, таинственная, связанная с рядом прекрасных мыслей и чувств, в которую не только можно было верить, потому что так велено, но которую можно было любить.

Кити узнала все это не из слов. Мадам Шталь говорила с Кити, как с милым ребенком, на которого любуешься, как на воспоминание своей молодости, и только один раз упомянула о том, что во всех людских горестях утешение дает лишь любовь и вера и что для сострадания к нам Христа нет ничтожных горестей, и тотчас же перевела разговор на другое. Но Кити в каждом ее движении, в каждом слове, в каждом небесном, как называла Кити, взгляде ее, в особенности во всей истории ее жизни, которую она знала чрез Вареньку, во всем узнавала то, «что было важно» и чего она до сих пор не знала.

Но как ни возвышен был характер мадам Шталь, как ни трогательна вся ее история, как ни возвышенна и нежна ее речь, Кити невольно подметила в ней такие черты, которые смущали ее. Она заметила, что, расспрашивая про ее родных, мадам Шталь улыбнулась презрительно, что было противно христианской доброте. Заметила еще, что, когда она застала у нее католического священника, мадам Шталь старательно держала свое лицо в тени абажура и особенно улыбалась. Как ни ничтожны были эти два замечания, они смущали ее, и она сомневалась в мадам Шталь. Но зато Варенька, одинокая, без родных, без друзей, с грустным разочарованием, ничего не желавшая, ничего не жалевшая, была тем самым совершенством, о котором только позволяла себе мечтать Кити. На Вареньке она поняла, что стоило только забыть себя и любить других, и будешь спокойна, счастлива и прекрасна. И такою хотела быть Кити. Поняв теперь

По рассказам Вареньки о том, что делала мадам Шталь и другие, кого она называла, Кити уже составила себе счастливый план будущей жизни. Она так же, как и племянница г-жи Шталь, Aline, про которую ей много рассказывала Варенька, будет, где бы ни жила, отыскивать несчастных, помогать им сколько можно, раздавать Евангелие, читать Евангелие больным, преступникам, умирающим. Мысль чтения Евангелия преступникам, как это делала Aline, особенно прельщала Кити. Но все это были тайные мечты, которых Кити не высказывала ни матери, ни Вареньке. Впрочем, в ожидании поры исполнять в больших размерах свои планы, Кити и теперь, на водах, где было столько больных и несчастных, легко нашла случай прилагать свои новые правила, подражая Вареньке. Сначала княгиня замечала только, что Кити находится под сильным влиянием своего engouement, как она называла, к госпоже Шталь и в особенности к Вареньке. Она видела, что Кити не только подражает Вареньке в ее деятельности, но невольно подражает ей в ее манере ходить, говорить и мигать глазами. Но потом княгиня заметила, что в дочери, независимо от этого очарования, совершается какой-то серьезный душевный переворот. Княгиня видела, что Кити читает по вечерам французское Евангелие, которое ей подарила госпожа Шталь, чего она прежде не делала; что она избегает светских знакомых и сходится с больными, находившимися под покровительством Вареньки, и в особенности с одним бедным семейством больного л^ивописца Петрова. Кити, очевидно, гордилась тем, что исполняла в этом семействе обязанности сестры милосердия. Все это было хорошо, и княгиня ничего не имела против этого, тем более что жена Петрова была вполне порядочная женщина и что принцесса, заметившая деятельность Кити, хвалила ее, называя ангелом-утешителем. Все это было бы очень хорошо, если бы не было излишества. А княгиня видела, что дочь ее впадает в крайность, что она и говорила ей. — II ne faut jamais rien outrer \ — говорила она ей. Но дочь ничего ей не отвечала; она только думала в душе, что нельзя говорить об излишестве в деле христианства. Какое же может быть излишество в следовании учению, в котором велено подставить другую щеку. ^ Никогда ни в чем не следует впадать в крайность (франц.). 242

По рассказам Вареньки о том, что делала мадам Шталь и другие, кого она называла, Кити уже составила себе счастливый план будущей жизни. Она так же, как и племянница г-жи Шталь, Aline, про которую ей много рассказывала Варенька, будет, где бы ни жила, отыскивать несчастных, помогать им сколько можно, раздавать Евангелие, читать Евангелие больным, преступникам, умирающим. Мысль чтения Евангелия преступникам, как это делала Aline, особенно прельщала Кити. Но все это были тайные мечты, которых Кити не высказывала ни матери, ни Вареньке.

Впрочем, в ожидании поры исполнять в больших размерах свои планы, Кити и теперь, на водах, где было столько больных и несчастных, легко нашла случай прилагать свои новые правила, подражая Вареньке.

Сначала княгиня замечала только, что Кити находится под сильным влиянием своего engouement, как она называла, к госпоже Шталь и в особенности к Вареньке. Она видела, что Кити не только подражает Вареньке в ее деятельности, но невольно подражает ей в ее манере ходить, говорить и мигать глазами. Но потом княгиня заметила, что в дочери, независимо от этого очарования, совершается какой-то серьезный душевный переворот.

Княгиня видела, что Кити читает по вечерам французское Евангелие, которое ей подарила госпожа Шталь, чего она прежде не делала; что она избегает светских знакомых и сходится с больными, находившимися под покровительством Вареньки, и в особенности с одним бедным семейством больного живописца Петрова. Кити, очевидно, гордилась тем, что исполняла в этом семействе обязанности сестры милосердия. Все это было хорошо, и княгиня ничего не имела против этого, тем более что жена Петрова была вполне порядочная женщина и что принцесса, заметившая деятельность Кити, хвалила ее, называя ангелом-утешителем. Все это было бы очень хорошо, если бы не было излишества. А княгиня видела, что дочь ее впадает в крайность, что она и говорила ей.

— Il ne faut jamais rien outrer [1], — говорила она ей.

Но дочь ничего ей не отвечала; она только думала в душе, что нельзя говорить об излишестве в деле хри-

когда ударят по одной, и от;^ать рубашку, когда снимают кафтан? Но княгине не нравилось это излишество, и еще более не нравилось то, что, она чувствовала, Кити не хотела открыть ей всю свою душу. Действительно, Кити таила от матери свои новые взгляды и чувства. Опа таила их не потому, чтоб она не уважала, не любила свою мать, но только потому, что это была ее мать. Она всякому открыла бы их скорее, чем матери. — Что-то давно Анна Павловна не была у нас,— сказала раз княгиня про Петрову. — Я звала ее. А она что-то как будто недовольна. — Нет, я не заметила, maman, — вспыхнув, сказала Кити. — Ты давно не была у них? — Мы завтра собираемся сделать прогулку в горы,— отвечала Кити. — Что же, поезжайте, — отвечала княгиня, вглядываясь в смущенное лицо дочери и стараясь угадать причину ее смущения. В этот же день Варенька пришла обедать и сообщила, что Анна Павловна раздумала ехать завтра в горы. И княгиня заметила, что Кити опять покраснела. — Кити, не было ли у тебя чего-нибудь неприятного с Петровыми? — сказала княгиня, когда они остались одни. — Отчего она перестала присылать детей и ходить к нам? Кити отвечала, что ничего не было между ними и что она решительно не понимает, почему Анна Павловна как будто недовольна ею. Кити ответила совершенную правду. Она не знала причины перемены к себе Анны Павловны, но догадывалась. Она догадывалась в такой вещи, которую она не могла сказать матери, которой она не говорила и себе. Это была одна из тех вещей, которые знаешь, но которые нельзя сказать дая«е самой себе; так страшно и постыдно ошибиться. Опять и опять перебирала она в своем воспоминании все отношения свои к этому семейству. Она вспоминала наивную радость, выражавшуюся на круглом добродушном лице Анны Павловны при их встречах; вспоминала их тайные переговоры о больном, заговоры о том, чтоб отвлечь его от работы, которая была ему запрещена, и увести его гулять; привязанность меньшого мальчика, называвшего ее «моя Кити», не хотевшего без нее ложиться спать. Как все было хорошо! Потом она вспомнила 243

когда ударят по одной, и отдать рубашку, когда снимают кафтан? Но княгине не нравилось это излишество, и еще более не нравилось то, что, она чувствовала, Кити не хотела открыть ей всю свою душу. Действительно, Кити таила от матери свои новые взгляды и чувства. Она таила их не потому, чтоб она не уважала, не любила свою мать, но только потому, что это была ее мать. Она всякому открыла бы их скорее, чем матери.

— Что-то давно Анна Павловна не была у нас,— сказала раз княгиня про Петрову.— Я звала ее. А она что-то как будто недовольна.

— Нет, я не заметила, maman,— вспыхнув, сказала Кити.

— Ты давно не была у них?

— Мы завтра собираемся сделать прогулку в горы,— отвечала Кити.

— Что же, поезжайте,— отвечала княгиня, вглядываясь в смущенное лицо дочери и стараясь угадать причину ее смущения.

В этот же день Варенька пришла обедать и сообщила, что Анна Павловна раздумала ехать завтра в горы. И княгиня заметила, что Кити опять покраснела.

— Кити, не было ли у тебя чего-нибудь неприятного с Петровыми? — сказала княгиня, когда они остались одни.— Отчего она перестала присылать детей и ходить к нам?

Кити отвечала, что ничего не было между ними и что она решительно не понимает, почему Анна Павловна как будто недовольна ею. Кити ответила совершенную правду. Она не знала причины перемены к себе Анны Павловны, но догадывалась. Она догадывалась в такой вещи, которую она не могла сказать матери, которой она не говорила и себе. Это была одна из тех вещей, которые знаешь, но которые нельзя сказать даже самой себе; так страшно и постыдно ошибиться.

Опять и опять перебирала она в своем воспоминании все отношения свои к этому семейству. Она вспоминала наивную радость, выражавшуюся на круглом добродушном лице Анны Павловны при их встречах; вспоминала их тайные переговоры о больном, заговоры о том, чтоб отвлечь его от работы, которая была ему запрещена, и

худую-худую фигуру Петрова с его длинною шеей, в его коричневом сюртуке; его редкие вьющиеся волосы, вопросительные, страшные в первое время для Кити голубые глаза и его болезненные старания казаться бодрым и оживленным в ее присутствии. Она вспоминала свое усилие в первое время, чтобы преодолеть отвращение, которое она испытывала к нему, как и ко всем чахоточным, и старания, с которыми она придумывала, что сказать ему. Она вспоминала этот робкий умиленный взгляд, которым он смотрел на нее, и странное чувство сострадания и неловкости и потом сознания своей добродетельности, которое она испытывала при этом. Как все это было хорошо! Но все это было первое время. Теперь же, несколько дней тому назад, все вдруг испортилось. Анна Павловна притворно встречала Кити и не переставая наблюдала ее и мужа. Неужели эта трогательная радость его при ее приближении была причиной охлаждения Анны Павловны? «Да, — вспоминала она, — что-то было ненатуральное в Анне Павловне и совсем непохожее на ее доброту, когда она третьего дня с досадой сказала: «Вот, все дожидался вас, не хотел без вас пить кофе, хотя ослабел ужасно». «Да, может быть, и это неприятно ей было, когда я подала ему плед. Все это так просто, но он так неловко это принял, так долго благодарил, что и мне стало неловко. И потом этот портрет мой, который он так хорошо сделал. А главное — этот взгляд, смущенный и нежный! Да, да, это так! — с ужасом повторила себе Кити. — Нет, это не может, не должно быть! Он так жалок!» — говорила она себе вслед за этим. Это сомнение отравляло прелесть ее новой жизни. XXXIV Уже перед концом курса вод князь Щербацкий, ездивший после Карлсбада в Баден и Киссинген к русским знакомым набраться русского духа, как он говорил, вернулся к своим. Взгляды князя и княгини на заграничную жизнь были совершенно противоположные. Княгиня находила все прекрасным и, несмотря на свое твердое положение в русском обществе, старалась за границей походить на 244

худую-худую фигуру Петрова с его длинною шеей, в его коричневом сюртуке; его редкие вьющиеся волосы, вопросительные, страшные в первое время для Кити голубые глаза и его болезненные старания казаться бодрым и оживленным в ее присутствии. Она вспоминала свое усилие в первое время, чтобы преодолеть отвращение, которое она испытывала к нему, как и ко всем чахоточным, и старания, с которыми она придумывала, что сказать ему. Она вспоминала этот робкий умиленный взгляд, которым он смотрел на нее, и странное чувство сострадания и неловкости и потом сознания своей добродетельности, которое она испытывала при этом. Как все это было хорошо! Но все это было первое время. Теперь же, несколько дней тому назад, все вдруг испортилось. Анна Павловна притворно встречала Кити и не переставая наблюдала ее и мужа.

Неужели эта трогательная радость его при ее приближении была причиной охлаждения Анны Павловны?

«Да, — вспоминала она, — что-то было ненатуральное в Анне Павловне и совсем непохожее на ее доброту, когда она третьего дня с досадой сказала: «Вот, все дожидался вас, не хотел без вас пить кофе, хотя ослабел ужасно».

«Да, может быть, и это неприятно ей было, когда я подала ему плед. Все это так просто, но он так неловко это принял, так долго благодарил, что и мне стало неловко. И потом этот портрет мой, который он так хорошо сделал. А главное — этот взгляд, смущенный и нежный! Да, да, это так! — с ужасом повторила себе Кити. — Нет, это не может, не должно быть! Он так жалок!» — говорила она себе вслед за этим.

Это сомнение отравляло прелесть ее новой жизни.

XXXIV

Уже перед концом курса вод князь Щербацкий, ездивший после Карлсбада в Баден и Киссинген к русским знакомым набраться русского духа, как он говорил, вернулся к своим.

европейскую даму, чем она не была,— потому что она была русская барыня,— и потому притворялась, что ей было отчасти неловко. Князь же, напротив, находил за границей все скверным, тяготился европейской жизнью, держался своих русских привычек и нарочно старался выказывать себя за границей менее европейцем, чем он был в действительности. Князь вернулся похудевший, с обвислыми мешками кожи на щеках, но в самом веселом расположении духа. Веселое расположение его еще усилилось, когда он увидал Кити совершенно поправившуюся. Известие о дружбе Кити с госпожой Шталь и Варенькой и переданные княгиней наблюдения над какой-то переменой, происшедшей в Кити, смутили князя и возбудили в нем обычное чувство ревности ко всему, что увлекало его дочь помимо его, и страх, чтобы дочь не ушла из-под его влияния в какие-нибудь недоступные ему области. Но эти неприятные известия потонули в том море добродушия и веселости, которые всегда были в нем и особенно усилились карлсбадскими водами. На другой день по своем приезде князь в своем длинном пальто, со своими русскими морщинами и одутловатыми щеками, подпертыми крахмаленными воротничками, в самом веселом расположении духа пошел с дочерью на воды. Утро было прекрасное; опрятные, веселые дома с садиками, вид краснолицых, краснооруких, налитых пивом, весело работающих немецких служанок и яркое солнце веселили сердце; но чем ближе они подходили к водам, тем чаще встречались больные, и вид их казался еще плачевнее среди обычных условий благоустроенной немецкой жизни. Кити уже не поражала эта противоположность. Яркое солнце, веселый блеск зелени, звуки музыки были для нее естественною рамкой всех этих знакомых лиц и перемен к ухудшению или улучшению, за которыми она следила; но для князя свет и блеск июньского утра, и звуки оркестра, игравшего модный веселый вальс, и особенно вид здоровенных служанок казались чем-то неприличным и уродливым в соединении с этими собравшимися со всех концов Европы, уныло двигавшимися мертвецами. Несмотря на испытываемое им чувство гордости и как бы возврата молодости, когда любимая дочь шла с ним

европейскую даму, чем она не была,— потому что она была русская барыня,— и потому притворялась, что ей было отчасти неловко. Князь же, напротив, находил за границей все скверным, тяготился европейской жизнью, держался своих русских привычек и нарочно старался выказывать себя за границей менее европейцем, чем он был в действительности.

Князь вернулся похудевший, с обвислыми мешками кожи на щеках, но в самом веселом расположении духа. Веселое расположение его еще усилилось, когда он увидал Кити совершенно поправившуюся. Известие о дружбе Кити с госпожой Шталь и Варенькой и переданные княгиней наблюдения над какой-то переменой, происшедшей в Кити, смутили князя и возбудили в нем обычное чувство ревности ко всему, что увлекало его дочь помимо его, и страх, чтобы дочь не ушла из-под его влияния в какие-нибудь недоступные ему области. Но эти неприятные известия потонули в том море добродушия и веселости, которые всегда были в нем и особенно усилились карлсбадскими водами.

На другой день по своем приезде князь в своем длинном пальто, со своими русскими морщинами и одутловатыми щеками, подпертыми крахмаленными воротничками, в самом веселом расположении духа пошел с дочерью на воды.

Утро было прекрасное; опрятные, веселые дома с садиками, вид краснолицых, красноруких, налитых пивом, весело работающих немецких служанок и яркое солнце веселили сердце; но чем ближе они подходили к водам, тем чаще встречались больные, и вид их казался еще плачевнее среди обычных условий благоустроенной немецкой жизни. Кити уже не поражала эта противоположность. Яркое солнце, веселый блеск зелени, звуки музыки были для нее естественною рамкой всех этих знакомых лиц и перемен к ухудшению или улучшению, за которыми она следила; но для князя свет и блеск июньского утра, и звуки оркестра, игравшего модный веселый вальс, и особенно вид здоровенных служанок казались чем-то неприличным и уродливым в соединении с этими собравшимися со всех концов Европы, уныло двигавши-

под руку, ему теперь как будто неловко и совестно было за свою сильную походку, за свои крупные, облитые жйром члены. Он испытывал почти чувство человека, неодетого в обществе. — Представь, представь меня своим новым друзьям, — говорил он дочери, пожимая локтем ее руку. — Я и этот твой гадкий Соден полюбил за то, что он тебя так справил. Только грустно, грустно у вас. Это кто? Кити называла ему те знакомые и незнакомые лица, которые они встречали. У самого входа в сад они встретили слепую m-me Berthe с проводницей, и князь порадовался на умиленное выражение старой француженки, когда она услыхала голос Кити. Она тотчас с французским излишеством любезности заговорила с ним, хваля его за то, что у него такая прекрасная дочь, п в глаза превознося до небес Кити и называя ее сокровищем, перлом и ангелом-утешителем. — Ну, так она второй ангел, — сказал князь, улыбаясь. — Она называет ангелом нумер первый mademoiselle Вареньку. — Oh! Mademoiselle Варенька — это настоящий ангел, allez \ — подхватила m-me Berthe. В галерее они встретили и самую Вареньку. Она поспешно шла им навстречу, неся элегантную красную сумочку. — Вот и папа приехал! — сказала ей Кити. Варенька сделала просто и естественно, как и все, что она делала, движение, среднее между поклоном и приседанием, и тотчас же заговорила с князем, как она говорила со всеми, нестесненно и просто. — Разумеется, я вас знаю, очень знаю, — сказал ей князь с улыбкой, по которой Кити с радостью узнала, что друг ее понравился отцу. — Куда же вы так торопитесь? — Maman здесь, — сказала она, обращаясь к Кити. — • Она не спала всю ночь, и доктор посоветовал ей выехать, Я несу ей работу. — Так это ангел нумер первый! — сказал князь, когда Варенька ушла. Кити видела, что ему хотелось посмеяться над Варенькой, но что он никак не мог этого сделать, потому что Варенька понравилась ему. 1 что и толковать (франц.). Ж

под руку, ему теперь как будто неловко и совестно было за свою сильную походку, за свои крупные, облитые жиром члены. Он испытывал почти чувство человека, неодетого в обществе.

— Представь, представь меня своим новым друзьям,— говорил он дочери, пожимая локтем ее руку.— Я и этот твой гадкий Соден полюбил за то, что он тебя так справил. Только грустно, грустно у вас. Это кто?

Кити называла ему те знакомые и незнакомые лица, которые они встречали. У самого входа в сад они встретили слепую m-me Berthe с проводницей, и князь порадовался на умиленное выражение старой француженки, когда она услыхала голос Кити. Она тотчас с французским излишеством любезности заговорила с ним, хваля его за то, что у него такая прекрасная дочь, и в глаза превознося до небес Кити и называя ее сокровищем, перлом и ангелом-утешителем.

— Ну, так она второй ангел,— сказал князь, улыбаясь. — Она называет ангелом нумер первый mademoiselle Вареньку.

— Oh! Mademoiselle Варенька — это настоящий ангел, allez [1], — подхватила m-me Berthe.

В галерее они встретили и самую Вареньку. Она поспешно шла им навстречу, неся элегантную красную сумочку.

— Вот и папа приехал! — сказала ей Кити.

Варенька сделала просто и естественно, как и все, что она делала, движение, среднее между поклоном и приседанием, и тотчас же заговорила с князем, как она говорила со всеми, нестесненно и просто.

— Разумеется, я вас знаю, очень знаю,— сказал ей князь с улыбкой, по которой Кити с радостью узнала, что друг ее понравился отцу.— Куда же вы так торопитесь?

— Maman здесь, — сказала она, обращаясь к Кити. — Она не спала всю ночь, и доктор посоветовал ей выехать. Я несу ей работу.

— Так это ангел нумер первый! — сказал князь, когда Варенька ушла.

Кити видела, что ему хотелось посмеяться над Варень-

— Иу вот и всех увидим твоих друзей, — прибавил он, — и мадам Шталь, если она удостоит узнать меня. — А ты разве ее знал, папа? — спросила Кити со страхом, замечая зажегшийся огонек насмешки в глазах князя при упоминании о мадам Шталь. — Знал ее мужа и ее немножко, еш;е прежде, чем она в пиетистки записалась. — Что такое пиетистка, папа? — спросила Кити, уже испуганная тем, что то, что она так высоко ценила в госпоже Шталь, имело название. — Я и сам не знаю хорошенько. Знаю только, что она за все благодарит бога, за всякое iiесчастие, и за то, что у ней умер муж, благодарит бога. Ну, и выходят смешно, потому что они дурно жили. — Это кто? Какое жалкое лицо! — спросил он, заметив сидевшего на лавочке невысокого больного в коричневом пальто и белых панталонах, делавших странные складки на лишенных мяса костях его ног. Господин этот приподнял свою соломенную шляпу над вьюш;имися редкими волосами, открывая высокий, болезненно покрасневший от шляпы лоб. — Это Петров, живописец, — отвечала Кити, покраснев.— А это жена его, — прибавила она, указывая на Анну Павловну, которая, как будто нарочно, в то самое время, как они подходили, пошла за ребенком, отбежавшим по дорожке. — Какой жалкий, и какое милое у него лицо! — сказал князь. — Что же ты не подошла? Он что-то хотел сказать тебе? — Ну, так подойдем, — сказала Кити, решительно поворачиваясь. — Как ваше здоровье нынче? — спросила она у Петрова. Петров встал, опираясь на палку, и робко посмотрел на князя. — Это моя дочь, — сказал князь. — Позвольте быть знакомым. Живописец поклонился и улыбнулся, открывая странно блестящие белые зубы. — Мы вас ждали вчера, княжна, — сказал он Кити. Он пошатнулся, говоря это, и, повторяя это движение, старался показать, что он это сделал нарочно. — Я хотела прийти, но Варенька сказала, что Анна Павловна присылала сказать, что вы не поедете. 247

— Ну вот и всех увидим твоих друзей, — прибавил он, — и мадам Шталь, если она удостоит узнать меня.

— А ты разве ее знал, папа? — спросила Кити со страхом, замечая зажегшийся огонек насмешки в глазах князя при упоминании о мадам Шталь.

— Знал ее мужа и ее немножко, еще прежде, чем она в пиетистки записалась.

— Что такое пиетистка, папа? — спросила Кити, уже испуганная тем, что то, что она так высоко ценила в госпоже Шталь, имело название.

— Я и сам не знаю хорошенько. Знаю только, что она за все благодарит бога, за всякое несчастие, и за то, что у ней умер муж, благодарит бога. Ну, и выходит смешно, потому что они дурно жили.

— Это кто? Какое жалкое лицо! — спросил он, заметив сидевшего на лавочке невысокого больного в коричневом пальто и белых панталонах, делавших странные складки на лишенных мяса костях его ног.

Господин этот приподнял свою соломенную шляпу над вьющимися редкими волосами, открывая высокий, болезненно покрасневший от шляпы лоб.

— Это Петров, живописец,— отвечала Кити, покраснев.— А это жена его,— прибавила она, указывая на Анну Павловну, которая, как будто нарочно, в то самое время, как они подходили, пошла за ребенком, отбежавшим по дорожке.

— Какой жалкий, и какое милое у него лицо! — сказал князь.— Что же ты не подошла? Он что-то хотел сказать тебе?

— Ну, так подойдем, — сказала Кити, решительно поворачиваясь. — Как ваше здоровье нынче? — спросила она у Петрова.

Петров встал, опираясь на палку, и робко посмотрел на князя.

— Это моя дочь,— сказал князь.— Позвольте быть знакомым.

Живописец поклонился и улыбнулся, открывая странно блестящие белые зубы.

— Мы вас ждали вчера, княжна,— сказал он Кити.

Он пошатнулся, говоря это, и, повторяя это движение.

— Как не поедем? — покраснев и тотчас же закашлявшись, сказал Петров, отыскивая глазами жену. — Анета, Анета! — проговорил он громко, и на тонкой белой шее его, как веревки, натянулись толстые жилы. Анна Павловна подошла. — Как же ты послала сказать княжне, что мы не поедем! — потеряв голос, раздражительно прошептал он ей. — Здравствуйте, княжна! — сказала Анна Павловна с притворною улыбкой, столь непохожею на прежнее ее обрагдение. — Очень приятно познакомиться, — обратилась она к князю. — Вас давно ждали, князь. — Как же ты послала сказать княжне, что мы не поедем? — хрипло прошептал еще раз живописец еш.ѳ сердитее, очевидно раздражаясь епде более тем, что голос изменяет ему и он не может дать своей речи того выражения, какое бы хотел. — Ах, боже мой! Я думала, что мы не поедем, — с досадою отвечала жена. — Как же, когда...— он закашлялся и махнул рукой. Князь приподнял шляпу и отошел с дочерью. — О, ох! — тяжело вздохнул он, — о, несчастные! — Да, папа, — отвечала Кити. — Но надо знать, что у них трое детей, никого прислуги и почти никаких средств. Он что-то получает от Академии, — оживленно рассказывала она, стараясь заглушить поднявшееся волнение в ней вследствие странной в отношении к ней перемены Анны Павловны. — А вот и мадам Шталь,— сказала Кити, указывая на колясочку, в которой, обложенное подушками, в чем-то голубом и сером, под зонтиком лежало что-то. Это была г-жа Шталь. Сзади ее стоял мрачный здоровенный работник-немец, катавший ее. Подле стоял белокурый шведский граф, которого знала по имени Кити. Несколько человек больных медлили около колясочки, глядя на эту даму, как на что-то необыкновенное. Князь подошел к ней. И тотчас н«е в глазах его Кити заметила смуш,авший ее огонек насмешки. Он подошел к мадам Шталь и заговорил на том отличном французском языке, на котором уже столь немногие говорили теперь, чрезвычайно учтиво и мило. — Не знаю, вспомните ли вы меня, но я должен напомнить себя, чтобы поблагодарить за вашу доброту к моей дочери,— сказал он ей, сняв шляпу и не надевая ее. 248

— Как не поедем? — покраснев и тотчас же закашлявшись, сказал Петров, отыскивая глазами жену.— Анета, Анета! — проговорил он громко, и на тонкой белой шее его, как веревки, натянулись толстые жилы.

Анна Павловна подошла.

— Как же ты послала сказать княжне, что мы не поедем! — потеряв голос, раздражительно прошептал он ей.

— Здравствуйте, княжна! — сказала Анна Павловна с притворною улыбкой, столь непохожею на прежнее ее обращение. — Очень приятно познакомиться, — обратилась она к князю. — Вас давно ждали, князь.

— Как же ты послала сказать княжне, что мы не поедем? —хрипло прошептал еще раз живописец еще сердитее, очевидно раздражаясь еще более тем, что голос изменяет ему и он не может дать своей речи того выражения, какое бы хотел.

— Ах, боже мой! Я думала, что мы не поедем, — с досадою отвечала жена.

— Как же, когда...— он закашлялся и махнул рукой.

Князь приподнял шляпу и отошел с дочерью.

— О, ох! — тяжело вздохнул он, — о, несчастные!

— Да, папа, — отвечала Кити. — Но надо знать, что у них трое детей, никого прислуги и почти никаких средств. Он что-то получает от Академии,— оживленно рассказывала она, стараясь заглушить поднявшееся волнение в ней вследствие странной в отношении к ней перемены Анны Павловны.

— А вот и мадам Шталь,— сказала Кити, указывая на колясочку, в которой, обложенное подушками, в чем-то голубом и сером, под зонтиком лежало что-то.

Это была г-жа Шталь. Сзади ее стоял мрачный здоровенный работник-немец, катавший ее. Подле стоял белокурый шведский граф, которого знала по имени Кити. Несколько человек больных медлили около колясочки, глядя на эту даму, как на что-то необыкновенное.

Князь подошел к ней. И тотчас же в глазах его Кити заметила смущавший ее огонек насмешки. Он подошел к мадам Шталь и заговорил на том отличном французском языке, на котором уже столь немногие говорили те-

— Князь Александр Щербацкий, — сказала мадам Шталь, поднимая на него свои небесные глаза, в выражении которых Кити заметила неудовольствие. — Очень рада. Я так полюбила вашу дочь. — Здоровье ваше все нехорошо? — Да я уж привыкла,— сказала мадам Шталь и познакомила князя со шведским графом. — А вы очень мало переменились, — сказал ей князь. — Я не имел чести видеть вас десять или одиннадцать лет. — Да, бог дает крест и дает силу нести его. Часто удивляешься, к чему тянется эта жизнь... С той стороны! — с досадой обратилась она к Вареньке, не так завертывавшей ей пледом ноги. — Чтобы делать добро, вероятно,— сказал князь, смеясь глазами. — Это не нам судить, — сказала госпожа Шталь, заметив оттенок выражения на лице князя. — Так вы пришлете мне эту книгу, любезный граф? Очень благодарю вас, — обратилась она к молодому шведу. — А! — вскрикнул князь, увидав московского полковника, стоявшего около, и, поклонившись госпоже Шталь, отошел с дочерью и с присоединившимся к ним московским полковником. — Это наша аристократия, князь! — желанием быть насмешливым сказал московский полковник, который был в претензии на госпожу Шталь за то, что она не была с ним знакома. — Все такая же, — отвечал князь. — А вы еш;е до болезни знали ее, князь, то есть прежде, чем она слегла? — Да. Она при мне слегла, — сказал князь. — Говорят, она десять лет не встает. — Не встает, потому что коротконожка. Она очень дурно сложена... — Папа, не может быть! — вскрикнула Кити. — Дурные языки так говорят, мой дружок. А твоей Вареньке таки достается,— прибавил он.— Ох, эти больные барыни! — О нет, папа! — горячо возразила Кити. — Варенька обожает ее. И потом она делает столько добра! У кого хочешь спроси! Ее и Aline Шталь все знают. — Может быть, — сказал он, пожимая локтем ее руку. — Но лучше, когда делают так, что, у кого ни спроси, никто не знает. 249

— Князь Александр Щербацкий, — сказала мадам Шталь, поднимая на него свои небесные глаза, в выражении которых Кити заметила неудовольствие.— Очень рада. Я так полюбила вашу дочь.

— Здоровье ваше все нехорошо?

— Да я уж привыкла,— сказала мадам Шталь и познакомила князя со шведским графом.

— А вы очень мало переменились, — сказал ей князь. — Я не имел чести видеть вас десять или одиннадцать лет.

— Да, бог дает крест и дает силу нести его. Часто удивляешься, к чему тянется эта жизнь... С той стороны! — с досадой обратилась она к Вареньке, не так завертывавшей ей пледом ноги.

— Чтобы делать добро, вероятно,— сказал князь, смеясь глазами.

— Это не нам судить,— сказала госпожа Шталь, заметив оттенок выражения на лице князя. — Так вы пришлете мне эту книгу, любезный граф? Очень благодарю вас,— обратилась она к молодому шведу.

— А! — вскрикнул князь, увидав московского полковника, стоявшего около, и, поклонившись госпоже Шталь, отошел с дочерью и с присоединившимся к ним московским полковником.

— Это наша аристократия, князь! — желанием быть насмешливым сказал московский полковник, который был в претензии на госпожу Шталь за то, что она не была с ним знакома.

— Все такая же,— отвечал князь.

— А вы еще до болезни знали ее, князь, то есть прежде, чем она слегла?

— Да. Она при мне слегла,— сказал князь.

— Говорят, она десять лет не встает.

— Не встает, потому что коротконожка. Она очень дурно сложена...

— Папа, не может быть! — вскрикнула Кити.

— Дурные языки так говорят, мой дружок. А твоей Вареньке таки достается,— прибавил он.— Ох, эти больные барыни!

— О нет, папа! — горячо возразила Кити.— Варенька обожает ее. И потом она делает столько добра! У кого хочешь спроси! Ее и Aline Шталь все знают

Кити замолчала не потому, что ей нечего было го* ворить; но она и отцу не хотела открыть свои тайные мысли. Однако, странное дело, несмотря на то, что она так готовилась не подчиниться взгляду отца, не дать ему доступа в свою святыню, она почувствовала, что тот божественный образ госпожи Шталь, который опа месяц целый носила в душе, безвозвратно исчез, как фигура, составившаяся из брошенного платья, исчезает, когда поймешь, как лежит это платье. Осталась одна коротконогая женвцина, которая лежит потому, что дурно сложена, и мучает безответную Вареньку за то, что та не так подвертывает ей плед. И никакими усилиями воображения нельзя уже было возвратить прежнюю мадам Шталь, XXXV Князь передал свое веселое расположение духа и домашним своим, и знакомым, и даже немцу-хозяину, у которого стояли Щербацкие. Вернувшись с Кити с вод и пригласив к себе к кофе и полковника, и Марью Евгеньевну, и Вареньку, князь велел вынести стол и кресла в садик, под каштан, и там накрыть завтрак. И хозяин и прислуга оживились под влиянием его веселости. Они знали его щедрость, и чрез полчаса больной гамбургский доктор, живший наверху, с завистью смотрел в окно на эту веселую русскую компанию здоровых людей, собравшуюся под каштаном. Под дрожащею кругами тенью листьев, у покрытого белою скатертью и уставленного кофейниками, хлебом, маслом, сыром, холодною дичью стола, сидела княгиня в наколке с лиловыми лентами, раздавая чашки и тартинки. На другом конце сидел князь, плотно кушая и громко и весело разговаривая. Князь разложил подле себя свои покупки — резные сундучки, бирюльки, разрезные ножики всех сортов, которых он накупил кучу на всех водах, и раздаривал их всем, в том числе Лисхен, служанке, и хозяину, с которым он шутил на своем комическом дурном немецком языке, уверяя его, что не воды вылечили Кити, но его отличные кушанья, в особенности суп с черносливом. Княгиня подсмеивалась над мужем за его русские привычки, но была так оживлена и весела, как не была во все время жизни на водах. Полковник, как всегда, улыбался шуткам князя; но насчет Европы, которую он 250

Кити замолчала не потому, что ей нечего было говорить; но она и отцу не хотела открыть свои тайные мысли. Однако, странное дело, несмотря на то, что она так готовилась не подчиниться взгляду отца, не дать ему доступа в свою святыню, она почувствовала, что тот божественный образ госпожи Шталь, который она месяц целый носила в душе, безвозвратно исчез, как фигура, составившаяся из брошенного платья, исчезает, когда поймешь, как лежит это платье. Осталась одна коротконогая женщина, которая лежит потому, что дурно сложена, и мучает безответную Вареньку за то, что та не так подвертывает ей плед. И никакими усилиями воображения нельзя уже было возвратить прежнюю мадам Шталь.

XXXV

Князь передал свое веселое расположение духа и домашним своим, и знакомым, и даже немцу-хозяину, у которого стояли Щербацкие.

Вернувшись с Кити с вод и пригласив к себе к кофе и полковника, и Марью Евгеньевну, и Вареньку, князь велел вынести стол и кресла в садик, под каштан, и там накрыть завтрак. И хозяин и прислуга оживились под влиянием его веселости. Они знали его щедрость, и чрез полчаса больной гамбургский доктор, живший наверху, с завистью смотрел в окно на эту веселую русскую компанию здоровых людей, собравшуюся под каштаном. Под дрожащею кругами тенью листьев, у покрытого белою скатертью и уставленного кофейниками, хлебом, маслом, сыром, холодною дичью стола, сидела княгиня в наколке с лиловыми лентами, раздавая чашки и тартинки. На другом конце сидел князь, плотно кушая и громко и весело разговаривая. Князь разложил подле себя свои покупки — резные сундучки, бирюльки, разрезные ножики всех сортов, которых он накупил кучу на всех водах, и раздаривал их всем, в том числе Лисхен, служанке, и хозяину, с которым он шутил на своем комическом дурном немецком языке, уверяя его, что не воды вылечили Кити, но его отличные кушанья, в особенности суп с черносливом.

внимательно изучал, как он думал, он держал сторону княгини. Добродушная Марья Евгеньевна покатывалась со смеху от всего, что говорил смешного князь, и Варенька, чего еще Кити никогда не видала, раскисала от слабого, но сообщающегося смеха, который возбуждали в ней шутки князя. Все это веселило Кити, но она не могла не быть озабоченною. Она не могла разрешить задачи, которую ей невольно задал отец своим веселым взглядом на ее друзей и на ту жизнь, которую она так полюбила. К задаче этой присоединилась еще перемена ее отношений к Петровым, которая нынче так очевидно и неприятно высказалась. Всем было весело, но Кити не могла быть веселою, и это еще более мучало ее. Она испытывала чувство вроде того, какое испытывала в детстве, когда под наказанием была заперта в своей комнате и слушала веселый смех сестер. — Ну, на что ты накупил эту бездну? — говорила княгиня, улыбаясь и подавая мужу чашку с кофеем. — Пойдешь ходить, ну, подойдешь к лавочке, просят купить: «Эрлаухт, эксцеленц, дурхлаухт» ‘. Ну, уж как скажут: «Дурхлаухт», уж я и не могу: десяти талеров и нет. — Это только от скуки,— сказала княгиня. — Разумеется, от скуки. Такая скука, матушка, что ие знаешь, куда деться. — Как можно скучать, князь? Так много интересного теперь в Германии, — сказала Марья Евгеньевна. — Да я все интересное знаю: суп с черносливом знаю, гороховую колбасу знаю. Все знаю. — Нет, но как хотите, князь, интересны их учреждения, — сказал полковник. — Да что же интересного? Все они довольны, как медные гроши: всех победили. Ну, а мне-то чем же довольным быть? Я никогда не победил, а только сапоги снимай сам, да еще за дверь их сам выставляй. Утром вставай, сейчас же одевайся, иди в салон чай скверный пить. То ли дело дома! Проснешься не торопясь, посердиться на что-нибудь, поворчишь, опомниться хорошенько, все обдут^іаешь, не торопишься. * Ваше сиятельство, ваше превосходительство, ваша светлость (нем.)г 251

внимательно изучал, как он думал, он держал сторону княгини. Добродушная Марья Евгеньевна покатывалась со смеху от всего, что говорил смешного князь, и Варенька, чего еще Кити никогда не видала, раскисала от слабого, но сообщающегося смеха, который возбуждали в ней шутки князя.

Все это веселило Кити, но она не могла не быть озабоченною. Она не могла разрешить задачи, которую ей невольно задал отец своим веселым взглядом на ее друзей и на ту жизнь, которую она так полюбила. К задаче этой присоединилась еще перемена ее отношений к Петровым, которая нынче так очевидно и неприятно высказалась. Всем было весело, но Кити не могла быть веселою, и это еще более мучало ее. Она испытывала чувство вроде того, какое испытывала в детстве, когда под наказанием была заперта в своей комнате и слушала веселый смех сестер.

— Ну, на что ты накупил эту бездну? — говорила княгиня, улыбаясь и подавая мужу чашку с кофеем.

— Пойдешь ходить, ну, подойдешь к лавочке, просят купить: «Эрлаухт, эксцеленц, дурхлаухт» [1]. Ну, уж как скажут: «Дурхлаухт», уж я и не могу: десяти талеров и нет.

— Это только от скуки,— сказала княгиня.

— Разумеется, от скуки. Такая скука, матушка, что не знаешь, куда деться.

— Как можно скучать, князь? Так много интересного теперь в Германии,— сказала Марья Евгеньевна.

— Да я все интересное знаю: суп с черносливом знаю, гороховую колбасу знаю. Все знаю.

— Нет, но как хотите, князь, интересны их учреждения,— сказал полковник.

— Да что же интересного? Все они довольны, как медные гроши: всех победили. Ну, а мне-то чем же довольным быть? Я никогда не победил, а только сапоги снимай сам, да еще за дверь их сам выставляй. Утром вставай, сейчас же одевайся, иди в салон чай скверный пить. То ли дело дома! Проснешься не торопясь, посердишься на что-нибудь, поворчишь, опомнишься хорошенько, все обдумаешь, не торопишься.

— А время — деньги, вы забываете это, — сказал полковник. — Какое время! Другое время такое, что целый месяц за полтинник отдашь, а то так никаких денег за полчаса не возьмешь. Так ли, Катенька? Что ты, какая скучная? — Я ничего. — Куда же вы? Посидите еще,— обратился он к Вареньке. — Мне надо домой, — сказала Варенька, вставая, и опять залилась смехом. Оправившись, она простилась и пошла в дом, чтобы взять шляпу. Кити пошла за нею. Даже Варенька представлялась ей теперь другою. Она не была хуже, но она была другая, чем та, какою она прежде воображала ее себе. — Ах, я давно так не смеялась! — сказала Варенька, собирая зонтик и мешочек. — Какой он милый, ваш папа! Кити молчала. — Когда же увидимся? — спросила Варенька. — Maman хотела зайти к Петровым. Вы не будете там? — сказала Кити, испытывая Вареньку. — Я буду, — отвечала Варенька. — Они собираются уезжать, так я обещалась помочь укладываться. — Ну, и я приду. — Нет, что вам? — Отчего, отчего, отчего? — широко раскрывая глаза, заговорила Кити, чтобы не выпускать Вареньку, взявшись за ее зонтик. — Нет, постойте, отчего? — Так; ваш папа приехал, и потом с вами они стесняются. — Нет, вы мне скажите, отчего вы не хотите, чтоб я часто бывала у Петровых? Ведь вы не хотите? Отчего? — Я не говорила этого, — спокойно сказала Варенька. — Нет, пожалуйста, скажите! — Все говорить? — спросила Варенька. — Все, все! — подхватила Кити. — Да особенного ничего нет, а только то, что Михаил Алексеевич (так звали живописца) прежде хотел ехать раньше, а теперь не хочет уезжать, — улыбаясь, сказала Варенька. — Ну! Ну! — торопила Кити, мрачно глядя на Вареньку. 252

— А время — деньги, вы забываете это,— сказал полковник.

— Какое время! Другое время такое, что целый месяц за полтинник отдашь, а то так никаких денег за полчаса не возьмешь. Так ли, Катенька? Что ты, какая скучная?

— Я ничего.

— Куда же вы? Посидите еще,— обратился он к Вареньке.

— Мне надо домой,— сказала Варенька, вставая, и опять залилась смехом.

Оправившись, она простилась и пошла в дом, чтобы взять шляпу. Кити пошла за нею. Даже Варенька представлялась ей теперь другою. Она не была хуже, но она была другая, чем та, какою она прежде воображала ее себе.

— Ах, я давно так не смеялась! — сказала Варенька, собирая зонтик и мешочек. — Какой он милый, ваш папа!

Кити молчала.

— Когда же увидимся? — спросила Варенька.

— Maman хотела зайти к Петровым. Вы не будете там?— сказала Кити, испытывая Вареньку.

— Я буду,— отвечала Варенька.— Они собираются уезжать, так я обещалась помочь укладываться.

— Ну, и я приду.

— Нет, что вам?

— Отчего, отчего, отчего? — широко раскрывая глаза, заговорила Кити, чтобы не выпускать Вареньку, взявшись за ее зонтик.— Нет, постойте, отчего?

— Так; ваш папа приехал, и потом с вами они стесняются.

— Нет, вы мне скажите, отчего вы не хотите, чтоб я часто бывала у Петровых? Ведь вы не хотите? Отчего?

— Я не говорила этого,— спокойно сказала Варенька.

— Нет, пожалуйста, скажите!

— Все говорить? — спросила Варенька.

— Все, все! — подхватила Кити.

— Да особенного ничего нет, а только то, что Михаил Алексеевич (так звали живописца) прежде хотел ехать раньше, а теперь не хочет уезжать — улыбаясь, сказала

— Ну, и почему-то Анна Павловна сказала, что он не хочет оттого, что вы тут. Разумеется, это было некстати, но из-за этого, из-за вас вышла ссора. А вы знаете, как эти больные раздражительны. Кити все более и более хмурилась, и Варенька говорила одна, стараясь смягчить и успокоить ее, видя собиравшийся взрыв, она не знала чего — слез или слов. — Так лучше вам не ходить... И вы понимаете, вы не обижайтесь... — И поделом мне, и поделом мне! — быстро заговорила Кити, схватывая зонтик из рук Вареньки и глядя мимо глаз своего друга. Вареньке хотелось улыбнуться, глядя на детский гнев своего друга, но она боялась оскорбить ее. — Как поделом? Я не понимаю, — сказала она. — Поделом за то, что все это было притворство, потому что это все выдуманное, а не от сердца. Какое мне дело было до чужого человека? И вот вышло, что я причиной ссоры и что я делала то, чего меня никто не просил. Оттого что все притворство! притворство! притворство!.. — Да с какою же целью притворяться? — тихо сказала Варенька. — Ах, как глупо, гадко! Не было мне никакой нужды... Все притворство! — говорила она, открывая и закрывая зонтик. — Да с какою же целью? — Чтобы казаться лучше пред людьми, пред собой, пред богом, всех обмануть. Нет, теперь уж я не поддамся па это! Быть дурною, но по крайней мере не лживою, не обманш;ицей! — Да кто же обманщица? — укоризненно сказала Варенька. — Вы говорите, как будто... Но Кити была в своем припадке вспыльчивости. Она не дала ей договорить. — Я не об вас, совсем не об вас говорю. Вы совершенство. Да, да, я знаю, что вы все совершенство; но что же делать, что я дурная? Этого бы не было, если б я не была дурная. Так пускай я буду какая есть, но не буду притворяться. Что мне за дело до Анны Павловны! Пускай они живут как хотят, и я как хочу. Я не могу быть другою... И все это не то, не то!.. — Да что же пе то? — в недоумении говорила Варенька, 253

— Ну, и почему-то Анна Павловна сказала, что он не хочет оттого, что вы тут. Разумеется, это было некстати, но из-за этого, из-за вас вышла ссора. А вы знаете, как эти больные раздражительны.

Кити все более и более хмурилась, и Варенька говорила одна, стараясь смягчить и успокоить ее, видя собиравшийся взрыв, она не знала чего — слез или слов.

— Так лучше вам не ходить... И вы понимаете, вы не обижайтесь...

— И поделом мне, и поделом мне! — быстро заговорила Кити, схватывая зонтик из рук Вареньки и глядя мимо глаз своего друга.

Вареньке хотелось улыбнуться, глядя на детский гнев своего друга, но она боялась оскорбить ее.

— Как поделом? Я не понимаю, — сказала она.

— Поделом за то, что все это было притворство, потому что это все выдуманное, а не от сердца. Какое мне дело было до чужого человека? И вот вышло, что я причиной ссоры и что я делала то, чего меня никто не просил. Оттого что все притворство! притворство! притворство!..

— Да с какою же целью притворяться? — тихо сказала Варенька.

— Ах, как глупо, гадко! Не было мне никакой нужды... Все притворство! — говорила она, открывая и закрывая зонтик.

— Да с какою же целью?

— Чтобы казаться лучше пред людьми, пред собой, пред богом, всех обмануть. Нет, теперь уж я не поддамся на это! Быть дурною, но по крайней мере не лживою, не обманщицей!

— Да кто же обманщица? — укоризненно сказала Варенька. — Вы говорите, как будто...

Но Кити была в своем припадке вспыльчивости. Она не дала ей договорить.

— Я не об вас, совсем не об вас говорю. Вы совершенство. Да, да, я знаю, что вы все совершенство; но что же делать, что я дурная? Этого бы не было, если б я не была дурная. Так пускай я буду какая есть, но не буду притворяться. Что мне за дело до Анны Павловны! Пускай они живут как хотят и я как хочу. Я не могу быть

— Все не то. Я не могу иначе жить, как по сердцу, а вы живете по правилам. Я вас полюбила просто, а вы, верно, только затем, чтобы спасти меня, научить меня! — Вы несправедливы, — сказала Варенька. — Да я ничего не говорю про других, я говорю про себя. — Кити! — послышался голос матеря,— поди сюда, покажи папа свои коральки. Кити с гордым видом, не помирившись с своим другом, взяла со стола коральки в коробочке и пошла к матери. — Что с тобой? Что ты такая красная? — сказали ей мать и отец в один голос. — Ничего, — отвечала она, — я сейчас приду , — и побежала назад. «Она еще тут! — подумала она.— Что я скажу ей, боже мой! что я наделала, что я говорила! За что я обидела ее? Что мне делать? Что я скажу ей?» — думала Кити и остановилась у двери. Варенька в шляпе и с зонтиком в руках сидела у стола, рассматривая пружину, которую сломала Кити. Опа подняла голову. — Варенька, простите меня, простите! — прошептала Кити, подходя к ней. — Я не помню, что я говорила. Я... — Я, право, не хотела вас огорчать, — сказала Варенька, улыбаясь. Мир был заключен. Но с приездом отца для Кити изменился весь тот мир, в котором она жила. Она не отреклась от всего того, что узнала, но поняла, что она себя обманывала, думая, что может быть тем, чем хотела быть. Она как будто очнулась; почувствовала всю трудность без притворства и хвастовства удержаться на той высоте, на которую она хотела подняться; кроме того, она почувствовала всю тяжесть этого мира горя, болезней, умирающих, в котором она жила; ей мучительны показались те усилия, которые она употребляла над собой, чтобы любить это, и поскорее захотелось на свежий воздух, в Россию, в Ергушово, куда, как она узнала из письма, переехала уже ее сестра Долли с детьми. Но любовь ее к Вареньке не ослабела. Прощаясь, Кити упрашивала ее приехать к ним в Россию, 254

— Все не то. Я не могу иначе жить, как по сердцу, а вы живете по правилам. Я вас полюбила просто, а вы, верно, только затем, чтобы спасти меня, научить меня!

— Вы несправедливы,— сказала Варенька.

— Да я ничего не говорю про других, я говорю про себя.

— Кити! — послышался голос матери,— поди сюда, покажи папа свои кораллки.

Кити с гордым видом, не помирившись с своим другом, взяла со стола кораллки в коробочке и пошла к матери.

— Что с тобой? Что ты такая красная? — сказали ей мать и отец в один голос.

— Ничего, — отвечала она, — я сейчас приду ,— и побежала назад.

«Она еще тут! — подумала она.— Что я скажу ей, боже мой! что я наделала, что я говорила! За что я обидела ее? Что мне делать? Что я скажу ей?» — думала Кити и остановилась у двери.

Варенька в шляпе и с зонтиком в руках сидела у стола, рассматривая пружину, которую сломала Кити. Она подняла голову.

— Варенька, простите меня, простите! — прошептала Кити, подходя к ней.— Я не помню, что я говорила. Я...

— Я, право, не хотела вас огорчать, — сказала Варенька, улыбаясь.

Мир был заключен. Но с приездом отца для Кити изменился весь тот мир, в котором она жила. Она не отреклась от всего того, что узнала, но поняла, что она себя обманывала, думая, что может быть тем, чем хотела быть. Она как будто очнулась; почувствовала всю трудность без притворства и хвастовства удержаться на той высоте, на которую она хотела подняться; кроме того, она почувствовала всю тяжесть этого мира горя, болезней, умирающих, в котором она жила; ей мучительны показались те усилия, которые она употребляла над собой, чтобы любить это, и поскорее захотелось на свежий воз-

— я приеду, когда вы выйдете замуж, — сказала Варенька. — Я никогда не выйду. — Ну, так я никогда не приеду. — Ну, так я только для этого выйду замуж. Смотрите ж, помните обещание! — сказала Кити. Предсказания доктора оправдались. Кити возвратилась домой, в Россию, излеченная. Она не была так беззаботна и весела, как прежде, но она была спокойна и московские горести ее стали воспоминанием.

— Я приеду, когда вы выйдете замуж, — сказала Варенька.

— Я никогда не выйду.

— Ну, так я никогда не приеду.

— Ну, так я только для этого выйду замуж. Смотрите ж, помните обещание! — сказала Кити.

Предсказания доктора оправдались. Кити возвратилась домой, в Россию, излеченная. Она не была так беззаботна и весела, как прежде, но она была спокойна и московские горести ее стали воспоминанием.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ I

Сергей Иванович Кознышев хотел отдохнуть от умственной работы и, вместо того чтоб отправиться, по обыкновению, за границу, приехал в конце мая в деревню к брату. По его убеждениям, самая лучшая жизнь была деревенская. Он приехал теперь наслаждаться этою жизнию к брату. Константин Левин был очень рад, тем более что он не ждал уже в это лето брата Николая. Но, несмотря на свою любовь и уважение к Сергею Ивановичу, Константину Левину было в деревне неловко с братом. Ему неловко, даже неприятно было видеть отношение брата к деревне. Для Константина Левина деревня была место жизни, то есть радостей, страданий, труда; для Сергея Ивановича деревня была, с одной стороны, отдых от труда, с другой — полезное противоядие испорченности, которое он принимал с удовольствием и сознанием его пользы. Для Константина Левина деревня была тем хороша, что она представляла поприще для труда несомненно полезного; для Сергея Ивановича деревня была особенно хороша тем, что там можно и должно ничего не делать. Кроме того, и отношение Сергея Ивановича к народу несколько коробило Константина. Сергей Иванович говорил, что он любит и знает народ, и часто беседовал с мужиками, что он умел делать хорошо, не притворяясь и не ломаясь, и из каждой такой беседы выводил общие данные в пользу парода и в доказательство, что знал этот народ. Такое отношение к народу не нравилось Константину Левину. Для Константина народ был только главный участник в общем труде, и, несмотря на все уважение и какую-то кровную любовь к мужику, всосанную им, как он сам говорил, 256

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

Сергей Иванович Кознышев хотел отдохнуть от умственной работы и, вместо того чтоб отправиться, по обыкновению, за границу, приехал в конце мая в деревню к брату. По его убеждениям, самая лучшая жизнь была деревенская. Он приехал теперь наслаждаться этою жизнию к брату. Константин Левин был очень рад, тем более что он не ждал уже в это лето брата Николая. Но, несмотря на свою любовь и уважение к Сергею Ивановичу, Константину Левину было в деревне неловко с братом. Ему неловко, даже неприятно было видеть отношение брата к деревне. Для Константина Левина деревня была место жизни, то есть радостей, страданий, труда; для Сергея Ивановича деревня была, с одной стороны, отдых от труда, с другой — полезное противоядие испорченности, которое он принимал с удовольствием и сознанием его пользы. Для Константина Левина деревня была тем хороша, что она представляла поприще для труда несомненно полезного; для Сергея Ивановича деревня была особенно хороша тем, что там можно и должно ничего не делать. Кроме того, и отношение Сергея Ивановича к народу несколько коробило Константина. Сергей Иванович говорил, что он любит и знает народ, и часто беседовал с мужиками, что он умел делать хорошо, не притворяясь и не ломаясь, и из каждой такой беседы выводил общие данные в пользу народа и в доказательство, что знал этот народ. Такое отношение к народу не нравилось Константину Левину. Для Кон-

iioроятяо, с молоком бабы-кормилицы, он, как участник с ним в общем деле, иногда приходивший в восхищенье от силы, кротости, справедливости этих людей, очень часто, когда в общем деле требовались другие качества, приходил в озлобление на народ за его беспечность, неряшливость, пьянство, ложь. Константин Левин, если б у него спросили, любит ли он народ, решительно не знал бы, как на это ответить. Он любил и не любил народ так н^е, как вообще людей. Разумеется, как добрый человек, он больше любил, чем не любил людей, а потому и народ. Но любить или не любить народ, как что-то особенное, он не мог, потому что не только жил с народом, не только все его интересы были связаны с народом, но он считал и самого себя частью народа, не видел в себе и народе никаких особенных качеств и недостатков и не мог противопоставлять себя народу. Кроме того, хотя он долго жил в самых близких отношениях к мужикам как хозяин и посредник, а главное, как советчик (мужики верили ему и ходили верст за сорок к нему советоваться), он не имел никакого определенного суждения о народе, и на вопрос, знает ли он народ, был бы в таком же затруднении ответить, как на вопрос, любит ли он народ. Сказать, что он знает народ, было бы для него то же самое, что сказать, что он знает людей. Он постоянно наблюдал и узнавал всякого рода людей и в том числе людей-мужиков, которых он считал хорошими и интересными людьми, и беспрестанно замечал в них новые черты, изменял о них прежние суждения и составлял новые. Сергей Иванович напротив. Точно так же, как он любил и хвалил деревенскую жизнь в противоположность той, которой он не любил, точно так же и народ любил он в противоположность тому классу людей, которого он не любил, и точно так же он знал народ как что-то противоположное вообще людям. В его методическом уме ясно сложились определенные формы народной жизни, выведенные отчасти из самой народной жизни, но преимущественно из противоположения. Он никогда не изменял своего мнения о народе и сочувственного к нему отношения. В случавшихся между братьями разногласиях при суждении о народе Сергей Иванович всегда побеждал брата именно тем, что у Сергея Ивановича были определенные понятия о народе, его характере, свойствах и вкусах; у Константина же Левина никакого определенного и неизменного понятия не было, так что в этих 9 л. Н. Толстой, т. 8 257

вероятно, с молоком бабы-кормилицы, он, как участник с ним в общем деле, иногда приходивший в восхищенье от силы, кротости, справедливости этих людей, очень часто, когда в общем деле требовались другие качества, приходил в озлобление на народ за его беспечность, неряшливость, пьянство, ложь. Константин Левин, если б у него спросили, любит ли он народ, решительно не знал бы, как на это ответить. Он любил и не любил народ так же, как вообще людей. Разумеется, как добрый человек, он больше любил, чем не любил людей, а потому и народ. Но любить или не любить народ, как что-то особенное, он не мог, потому что не только жил с народом, не только все его интересы были связаны с народом, но он считал и самого себя частью народа, не видел в себе и народе никаких особенных качеств и недостатков и не мог противопоставлять себя народу. Кроме того, хотя он долго жил в самых близких отношениях к мужикам как хозяин и посредник, а главное, как советчик (мужики верили ему и ходили верст за сорок к нему советоваться), он не имел никакого определенного суждения о народе, и на вопрос, знает ли он народ, был бы в таком же затруднении ответить, как на вопрос, любит ли он народ. Сказать, что он знает народ, было бы для него то же самое, что сказать, что он знает людей. Он постоянно наблюдал и узнавал всякого рода людей и в том числе людей-мужиков, которых он считал хорошими и интересными людьми, и беспрестанно замечал в них новые черты, изменял о них прежние суждения и составлял новые. Сергей Иванович напротив. Точно так же, как он любил и хвалил деревенскую жизнь в противоположность той, которой он не любил, точно так же и народ любил он в противоположность тому классу людей, которого он не любил, и точно так же он знал народ как что-то противоположное вообще людям. В его методическом уме ясно сложились определенные формы народной жизни, выведенные отчасти из самой народной жизни, но преимущественно из противоположения. Он никогда не изменял своего мнения о народе и сочувственного к нему отношения.

В случавшихся между братьями разногласиях при суждении о народе Сергей Иванович всегда побеждал брата именно тем, что у Сергея Ивановича были опреде-

спорах Константип всегда был уличаем в противоречии самому себе. Для Сергея Ивановича меньшой брат его был славный малый, с сердцем, поставленным хорошо (как он выразнался по-французски), но с умом хотя и довольно быстрым, однако подчиненным впечатлениям минуты и потому исполненным противоречий. Со снисходительностью старшего брата он иногда объяснял ему значение вепрей, но не мог находить удовольствия спорить с ним, потому что слишком легко разбивал его. Константин Левин смотрел на брата, как на человека огромного ума и образования, благородного в самом высоком значении этого слова и одаренного способностью деятельности для общего блага. Но в глубине своей души, чем старше он становился и чем ближе узнавал своего брата, тем чаще и чаще ему приходило в голову, что эта способность деятельности для общего блага, которой ои чувствовал себя совершенно лишенным, может быть, и не есть качество, а, напротив, недостаток чего-то — не недостаток добрых, честных, благородных желаний и вкусов, но недостаток силы жизни, того, что называют сердцем, того стремления, которое заставляет человека из всех бесчисленных представляющихся путей жизни выбрать один и желать этого одного. Чем больше он узнавал брата, тем более замечал, что и Сергей Иванович и многие другие деятели для общего блага не сердцем были приведены к этой любви к общему благу, но умом рассудили, что заниматься этим хорошо, и только потому занимались этим. В этом предположении утвердило Левина еще и то замечание, что брат его нисколько не больше принимал к сердцу вопросы об общем благе и о бессмертии души, чем о шахматной партии или об остроумном устройстве новой машины. Кроме того, Константину Левину было в деревне неловко с братом еще и оттого, что в деревне, особенно летом, Левин бывал постоянно занят хозяйством, и ему недоставало длинного летнего дня, для того чтобы переделать все, что нужно, а Сергей Иванович отдыхал. Но хотя он и отдыхал теперь, то есть не работал над своим сочинением, он так привык к умственной деятельности, что любил высказывать в красивой сжатой форме приходившие ему мысли и любил, чтобы было кому слушать. Самый же обыкновенный и естественный слушатель его был брат. И потому, несмотря на дружескую простоту их от25S

спорах Константин всегда был уличаем в противоречии самому себе.

Для Сергея Ивановича меньшой брат его был славный малый, с сердцем, *поставленным хорошо* (как он выражался по-французски), но с умом хотя и довольно быстрым, однако подчиненным впечатлениям минуты и потому исполненным противоречий. Со снисходительностью старшего брата он иногда объяснял ему значение вещей, но не мог находить удовольствия спорить с ним, потому что слишком легко разбивал его.

Константин Левин смотрел на брата, как на человека огромного ума и образования, благородного в самом высоком значении этого слова и одаренного способностью деятельности для общего блага. Но в глубине своей души, чем старше он становился и чем ближе узнавал своего брата, тем чаще и чаще ему приходило в голову, что эта способность деятельности для общего блага, которой он чувствовал себя совершенно лишенным, может быть, и не есть качество, а, напротив, недостаток чего-то — не недостаток добрых, честных, благородных желаний и вкусов, но недостаток силы жизни, того, что называют сердцем, того стремления, которое заставляет человека из всех бесчисленных представляющихся путей жизни выбрать один и желать этого одного. Чем больше он узнавал брата, тем более замечал, что и Сергей Иванович и многие другие деятели для общего блага не сердцем были приведены к этой любви к общему благу, но умом рассудили, что заниматься этим хорошо, и только потому занимались этим. В этом предположении утвердило Левина еще и то замечание, что брат его нисколько не больше принимал к сердцу вопросы об общем благе и о бессмертии души, чем о шахматной партии или об остроумном устройстве новой машины.

Кроме того, Константину Левину было в деревне неловко с братом еще и оттого, что в деревне, особенно летом, Левин бывал постоянно занят хозяйством, и ему недоставало длинного летнего дня, для того чтобы переделать все, что нужно, а Сергей Иванович отдыхал. Но хотя он и отдыхал теперь, то есть не работал над своим сочинением, он так привык к умственной деятельности, что любил высказывать в красивой сжатой форме приходив-

ношений, Константину пелонко было оставлять его одного. Сергей Иванович любил лечь в траву на солнце и лежать так, жарясь, и лениво болтать. Ты не поверишь, — говорил он брату, — какое для меня наслажденье эта хохлацкая лень. Ни одной мысли в голове, хоть шаром покати. Но Константину Левину скучно было сидеть, слушая его, особенно потому, что он знал, без него возят навоз на неразлешенное поле и навалят бог знает как, если не посмотреть; и резцы в плугах не завинтят, а поснимают и потом скажут, что плуги выдумка пустая и то ли дело соха Андреевна, и т. п. — Да будет тебе ходить по жаре, — говорил ему Сергей Иванович. — Нет, мне только на минутку забежать в контору,— говорил Левин и убегал в поле. II В первых числах июня случилось, что няня и экономка Агафья Михайловна понесла в подвал баночку с только что посоленными ею грибками, поскользнулась, упала и свихнула руку в кисти. Приехал молодой болтливый, только что кончивший курс студент, земский врач. Он осмотрел руку, сказал, что она не вывихнута, наложил компрессы и, оставшись обедать, видимо наслаждался беседой со знаменитым Сергеем Ивановичем Кознышевым и рассказывал ему, чтобы выказать свой просвеп^енный взгляд на вещи, все уездные сплетни, жалуясь на дурное положение земского дела. Сергей Иванович внимательно слушал, расспрашивал и, возбуждаемый новым слушателем, разговорился и высказал несколько метких и веских замечаний, почтительно оцененных молодым доктором, и пришел в свое, знакомое брату, оживленное состояние духа, в которое он обыкновенно приходил после блестящего и оживленного разговора. После отъезда доктора Сергей Иванович пожелал ехать с удочкой на реку. Он любил удить рыбу и как будто гордился тем, что может любить такое глупое занятие. Константин Левин, которому нужно было на пахоту и на луга, вызвался довезти брата в кабриолете. Было то время года, перевал лета, когда урожай нынешнего года уже определился, когда начинаются 9* 259

ношений, Константину неловко было оставлять его одного. Сергей Иванович любил лечь в траву на солнце и лежать так, жарясь, и лениво болтать.

— Ты не поверишь,— говорил он брату,— какое для меня наслажденье эта хохлацкая лень. Ни одной мысли в голове, хоть шаром покати.

Но Константину Левину скучно было сидеть, слушая его, особенно потому, что он знал, без него возят навоз на неразлешенное поле и навалят бог знает как, если не посмотреть; и резцы в плугах не завинтят, а поснимают и потом скажут, что плуги выдумка пустая и то ли дело соха Андреевна, и т. п.

— Да будет тебе ходить по жаре,— говорил ему Сергей Иванович.

— Нет, мне только на минутку забежать в контору,— говорил Левин и убегал в поле.

II

В первых числах июня случилось, что няня и экономка Агафья Михайловна понесла в подвал баночку с только что посоленными ею грибками, поскользнулась, упала и свихнула руку в кисти. Приехал молодой болтливый, только что кончивший курс студент, земский врач. Он осмотрел руку, сказал, что она не вывихнута, наложил компрессы и, оставшись обедать, видимо наслаждался беседой со знаменитым Сергеем Ивановичем Кознышевым и рассказывал ему, чтобы выказать свой просвещенный взгляд на вещи, все уездные сплетни, жалуясь на дурное положение земского дела. Сергей Иванович внимательно слушал, расспрашивал и, возбуждаемый новым слушателем, разговорился и высказал несколько метких и веских замечаний, почтительно оцененных молодым доктором, и пришел в свое, знакомое брату, оживленное состояние духа, в которое он обыкновенно приходил после блестящего и оживленного разговора. После отъезда доктора Сергей Иванович пожелал ехать с удочкой на реку. Он любил удить рыбу и как будто гордился тем, что может любить такое глупое занятие.

Константин Левин, которому нужно было на пахоту

заботы о посеве будущего года и подошли покосы, когда рожь вся выколосилась и, серо-зеленая, не налитым, еще легким колосом волнуется по ветру, когда зеленые овсы, с раскиданными по ним кустами желтой травы, неровно выкидываются по поздним посевам, когда ранняя гречиха уже лопушится, скрывая землю, когда убитые в камень скотиной пары с оставленнымрі дорогами, которые не берет соха, вспаханы до половины; когда присохшие вывезенные кучи навоза пахнут по зарям вместе с медовыми травами, и на низах, ожидая косы, стоят сплошным морем береженые луга с чернеющимися кучами стеблей выполонного щавельника. Было то время, когда в сельской работе наступает короткая передышка пред началом ежегодно повторяющейся и ежегодно вызывающей все силы народа уборки. Урожай был прекрасный, и стояли ясные, жаркие летние дни с росистыми короткими ночами. Братья доля^ны были проехать чрез лес, чтобы подъехать к лугам. Сергей Иванович любовался все время красотою заглохшего от листвы леса, указывая брату то на темную с тенистой стороны, пестреющую желтыми прилистниками, готовящуюся к цвету старую липу, то на изумрудом блестящие молодые побеги дерев нынешнего года. Константин Левин не любил говорить и слушать про красоты природы. Слова снимали для него красоту с того, что он видел. Он поддакивал брату, но невольно стал думать о другом. Когда они проехали лес, все внимание его поглотилось видом парового поля на бугре, где желтеющего травой, где сбитого и изрезанного клетками, где уваленного кучами, а где и вспаханного. По полю ехали вереницей телеги. Левин сосчитал телеги и остался довольным тем, что вывезется все, что нужно, и мысли его перешли при виде лугов на вопрос о покосе. Он всегда испытывал что-то особенно забирающее за живое в уборке сена. Подъехав к лугу, Левин остановил лошадь. Утренняя роса еще оставалась внизу на густом подседе травы, и Сергей Иванович, чтобы не мочить ноги, попросил довезти себя по лугу в кабриолете до того ракитового куста, у которого брались окуни. Как ни жалко было Константину Левину мять свою траву, он въехал в луг. Высокая трава мягко обвивалась около колес и пог лошади, оставляя свои семена на мокрых спицах и ступицах. 260

заботы о посеве будущего года и подошли покосы, когда рожь вся выколосилась и, серо-зеленая, не налитым, еще легким колосом волнуется по ветру, когда зеленые овсы, с раскиданными по ним кустами желтой травы, неровно выкидываются по поздним посевам, когда ранняя гречиха уже лопушится, скрывая землю, когда убитые в камень скотиной пары с оставленными дорогами, которые не берет соха, вспаханы до половины; когда присохшие вывезенные кучи навоза пахнут по зарям вместе с медовыми травами, и на низах, ожидая косы, стоят сплошным морем береженые луга с чернеющимися кучами стеблей выполонного щавельника.

Было то время, когда в сельской работе наступает короткая передышка пред началом ежегодно повторяющейся и ежегодно вызывающей все силы народа уборки. Урожай был прекрасный, и стояли ясные, жаркие летние дни с росистыми короткими ночами.

Братья должны были проехать чрез лес, чтобы подъехать к лугам. Сергей Иванович любовался все время красотою заглохшего от листвы леса, указывая брату то на темную с тенистой стороны, пестреющую желтыми прилистниками, готовящуюся к цвету старую липу, то на изумрудом блестящие молодые побеги дерев нынешнего года. Константин Левин не любил говорить и слушать про красоты природы. Слова снимали для него красоту с того, что он видел. Он поддакивал брату, но невольно стал думать о другом. Когда они проехали лес, все внимание его поглотилось видом парового поля на бугре, где желтеющего травой, где сбитого и изрезанного клетками, где уваленного кучами, а где и вспаханного. По полю ехали вереницей телеги. Левин сосчитал телеги и остался довольным тем, что вывезется все, что нужно, и мысли его перешли при виде лугов на вопрос о покосе. Он всегда испытывал что-то особенно забирающее за живое в уборке сена. Подъехав к лугу, Левин остановил лошадь.

Утренняя роса еще оставалась внизу на густом подседе травы, и Сергей Иванович, чтобы не мочить ноги, попросил довезти себя по лугу в кабриолете до того ракитового куста, у которого брались окуни. Как ни жалко было Константину Левину мять свою траву, он въехал

Брат С0Л под кустом, разобрав удочки, а Левин отвел лошадь, привязал и вошел в не движимое ветром огромное серо-зеленое море луга. Шелковистая с выспевающими сехмеиами трава была по пояс на заливном месте. Перейдя луг поперек, Константин Левин вышел на дорогу и встретил старика с опухшим глазом, несшего роевню с пчелами. — Что? или поймал, Фомич? — спросил оп. — Какое поймал, Константин Митрич! Только бы своих уберечь. Ушел вот второй раз другая... Спасибо, ребята доскакали. У вас пашут. Отпрягли лошадь, доскакали... — Ну, что скажешь, Фомич, — косить или подождать? — Да что ж! По-iiашему, до Петрова дня подождать. А вы раньше всегда косите. Что ж, бог даст травы добрые. Скотине простор будет. — А погода, как думаешь? — Дело божье. Может, и погода будет. Левин подошел к брату. Ничего не ловилось, но Сергей Иванович не скучал и казался в самом веселом расположении духа. Левин видел, что, раззадоренный разговором с доктором, он хотел поговорить. Левину же, напротив, хотелось скорее домой, чтобы распорядиться о вызове косцов к завтрему и решить сомнение насчет покоса, которое сильно занимало его. — Что ж, поедем, — сказал он. — Куда ж торопиться? Посидим. Как ты измок, однако! Хоть не ловится, но хорошо. Всякая охота тем хороша, что имеешь дело с природой. Ну что за прелесть эта стальная вода! — сказал он. — Эти берега луговые всегда напоминают мне загадку, — знаешь? Трава говорит воде: а мы пошатаемся, пошатаемся. — Я не знаю этой загадки,— уныло отвечал Левин. III — А знаешь, я о тебе думал,— сказал Сергей Иванович. — Это ни на что не похоже, что у вас делается в уезде, как мне порассказал этот доктор; он очень неглупый малый. И я тебе говорил и говорю: нехорошо, что ты не ездишь на собрания и вообще устранился от земского дела. Если порядочные люди будут удаляться, разумеется, все пойдет бог знает как. Деньги мы платиМi 261

Брат сел под кустом, разобрав удочки, а Левин отвел лошадь, привязал и вошел в не движимое ветром огромное серо-зеленое море луга. Шелковистая с выспевающими семенами трава была по пояс на заливном месте.

Перейдя луг поперек, Константин Левин вышел на дорогу и встретил старика с опухшим глазом, несшего роевню с пчелами.

— Что? или поймал, Фомич? — спросил он.

— Какое поймал, Константин Митрич! Только бы своих уберечь. Ушел вот второй раз другак... Спасибо, ребята доскакали. У вас пашут. Отпрягли лошадь, доскакали...

— Ну, что скажешь, Фомич,— косить или подождать?

— Да что ж! По-пашему, до Петрова дня подождать. А вы раньше всегда косите. Что ж, бог даст травы добрые. Скотине простор будет.

— А погода, как думаешь?

— Дело божье. Может, и погода будет.

Левин подошел к брату. Ничего не ловилось, но Сергей Иванович не скучал и казался в самом веселом расположении духа. Левин видел, что, раззадоренный разговором с доктором, он хотел поговорить. Левину же, напротив, хотелось скорее домой, чтобы распорядиться о вызове косцов к завтрему и решить сомнение насчет покоса, которое сильно занимало его.

— Что ж, поедем,— сказал он.

— Куда ж торопиться? Посидим. Как ты измок, однако! Хоть не ловится, но хорошо. Всякая охота тем хороша, что имеешь дело с природой. Ну что за прелесть эта стальная вода! — сказал он.— Эти берега луговые всегда напоминают мне загадку, — знаешь? Трава говорит воде: а мы пошатаемся, пошатаемся.

— Я не знаю этой загадки,— уныло отвечал Левин.

III

— А знаешь, я о тебе думал,— сказал Сергей Иванович.— Это ни на что не похоже, что у вас делается в уезде, как мне порассказал этот доктор; он очень неглупый малый. И я тебе говорил и говорю: нехорошо, что

они идут на жалованье, а нет ни школ, ни фельдшеров, ни повивальных бабок, ни аптек, ничего нет. — Ведь я пробовал, — тихо и неохотно отвечал Левин, — не могу! ну что ж делать! — Да чего ты не можешь? Я, признаюсь, не понимаю. Равнодушия, неуменья я не допускаю; неужели просто лень? — Ни то, ни другое, ни третье. Я пробовал и вижу, что ничего не могу сделать, — сказал Левин. Он мало вникал в то, что говорил брат. Вглядываясь за реку на пашню, он различал что-то черное, но не мог разобрать, лошадь это или приказчик верхом. — Отчего же ты не можешь ничего сделать? Ты сделал попытку, и не удалось по-твоему, и ты покоряешься. Как не иметь самолюбия? — Самолюбия, — сказал Левин, задетый за живое словами брата, — я не понимаю. Когда бы в университете мне сказали, что другие понимают интегральное вычисление, а я не понимаю, — тут самолюбие. Но тут надо быть убежденным прежде, что нужно иметь известные способности для этих дел и, главное, в том, что все эти дела важны очень. — Так что ж! это не важно? — сказал Сергей Иванович, задетый за живое и тем, что брат его находил неважным то, что его занимало, и в особенности тем, что он, очевидно, почти не слушал его. — Мне не кажется важным, не забирает меня, что ж ты хочешь?.. — отвечал Левин, разобрав, что то, что он видел, был приказчик и что приказчик, вероятно, спустил мужиков с пахоты. Они перевертывали сохи. «Неужели уя^ отпахали?» — подумал он. — Ну, послушай, однако, — нахмурив свое красивое умное лицо, сказал брат, — есть границы всему. Это очень хорошо быть чудаком и искренним человеком и не любить фальшь, — я все это знаю; но ведь то, что ты говоришь, или не имеет смысла, или имеет очень дурной смысл. Как ты находишь неважным, что тот народ, который ты любишь, как ты уверяешь... «Я никогда не уверял», — подумал Константин Левин. — ...мрет без помощи? Грубые бабки замаривают детей, и народ коснеет в невея^стве и остается во власти всякого писаря, а тебе в руки дано средство помочь этому; и ты не помогаешь, потому что это не важно.

они идут на жалованье, а нет ни школ, ни фельдшеров, ни повивальных бабок, ни аптек, ничего нет.

— Ведь я пробовал,— тихо и неохотно отвечал Левин, — не могу! ну что ж делать!

— Да чего ты не можешь? Я, признаюсь, не понимаю. Равнодушия, неуменья я не допускаю; неужели просто лень?

— Ни то, ни другое, ни третье. Я пробовал и вижу, что ничего не могу сделать,— сказал Левин.

Он мало вникал в то, что говорил брат. Вглядываясь за реку на пашню, он различал что-то черное, но не мог разобрать, лошадь это или приказчик верхом.

— Отчего же ты не можешь ничего сделать? Ты сделал попытку, и не удалось по-твоему, и ты покоряешься. Как не иметь самолюбия?

— Самолюбия,— сказал Левин, задетый за живое словами брата,— я не понимаю. Когда бы в университете мне сказали, что другие понимают интегральное вычисление, а я не понимаю, — тут самолюбие. Но тут надо быть убежденным прежде, что нужно иметь известные способности для этих дел и, главное, в том, что все эти дела важны очень.

— Так что ж! это не важно? — сказал Сергей Иванович, задетый за живое и тем, что брат его находил неважным то, что его занимало, и в особенности тем, что он, очевидно, почти не слушал его.

— Мне не кажется важным, не забирает меня, что ж ты хочешь?..— отвечал Левин, разобрав, что то, что он видел, был приказчик и что приказчик, вероятно, спустил мужиков с пахоты. Они перевертывали сохи. «Неужели уж отпахали?» — подумал он.

— Ну, послушай, однако,— нахмурив свое красивое умное лицо, сказал брат,— есть границы всему. Это очень хорошо быть чудаком и искренним человеком и не любить фальшь, — я все это знаю; но ведь то, что ты говоришь, или не имеет смысла, или имеет очень дурной смысл. Как ты находишь неважным, что тот народ, который ты любишь, как ты уверяешь...

«Я никогда не уверял»,— подумал Константин Левин.

—...мрет без помощи? Грубые бабки замаривают де-

и Сергей Иванович поставил ему дилемму: пли ты так неразвит, что не можешь видеть всего, что можешь сделать, или ты не хочешь поступиться своим спокойствием, тщеславием, я не знаю чем, чтоб это сделать. Константин Левин чувствовал, что ему остается только покориться или признаться в недостатке любви к общему делу. И это его оскорбило и огорчило. — И то и другое, — сказал он решительно. — Я не вижу, чтобы можно было... — Как? Нельзя, хорошо разместив деньги, дать врачебную помощь? — Нельзя, как мне кажется... На четыре тысячи квадратных верст нашего уезда, с нашими зажорами, метелями, рабочею порой, я не вижу возможности давать повсеместно врачебную помощь. Да и вообще не верю в медицину. — Ну, позволь; это несправедливо... Я тебе тысячи примеров назову... Ну, а школы? — Зачем школы? — Что ты говоришь? Разве может быть сомнение в пользе образования? Если оно хорошо для тебя, то и для всякого. Константин Левин чувствовал себя нравственно припертым к стене и потому разгорячился и высказал невольно главную причину своего равнодушия к общему делу. — Может быть, все это хорошо; но мне-то зачем заботиться об учреждении пунктов медицинских, которыми я никогда не пользуюсь, и школ, куда я своих детей но буду посылать, куда и крестьяне не хотят посылать детей, и я еще не твердо верю, что нужно их посылать? — сказал он. Сергея Ивановича на минуту удивило это неожиданное воззрение на дело; но он тотчас составил новый план атаки. Ои помолчал, вынул одну удочку, перекинул и, улыбаясь, обратился к брату. — Ну, позволь... Во-первых, пункт медицинский понадобился. Вот мы для Агафьи Михайловны послали за земским доктором. — Ну, я думаю, что рука останется кривою. — Это еще вопрос... Потом грамотный мужик, работник тебе же нужнее и дороже. 263

И Сергей Иванович поставил ему дилемму: или ты так неразвит, что не можешь видеть всего, что можешь сделать, или ты не хочешь поступиться своим спокойствием, тщеславием, я не знаю чем, чтоб это сделать.

Константин Левин чувствовал, что ему остается только покориться или признаться в недостатке любви к общему делу. И это его оскорбило и огорчило.

— И то и другое,— сказал он решительно.— Я не вижу, чтобы можно было...

— Как? Нельзя, хорошо разместив деньги, дать врачебную помощь?

— Нельзя, как мне кажется... На четыре тысячи квадратных верст нашего уезда, с нашими зажорами, метелями, рабочею порой, я не вижу возможности давать повсеместно врачебную помощь. Да и вообще не верю в медицину.

— Ну, позволь; это несправедливо... Я тебе тысячи примеров назову... Ну, а школы?

— Зачем школы?

— Что ты говоришь? Разве может быть сомнение в пользе образования? Если оно хорошо для тебя, то и для всякого.

Константин Левин чувствовал себя нравственно припертым к стене и потому разгорячился и высказал невольно главную причину своего равнодушия к общему делу.

— Может быть, все это хорошо; но мне-то зачем заботиться об учреждении пунктов медицинских, которыми я никогда не пользуюсь, и школ, куда я своих детей не буду посылать, куда и крестьяне не хотят посылать детей, и я еще не твердо верю, что нужно их посылать? — сказал он.

Сергея Ивановича на минуту удивило это неожиданное воззрение на дело; но он тотчас составил новый план атаки.

Он помолчал, вынул одну удочку, перекинул и, улыбаясь, обратился к брату.

— Ну, позволь... Во-первых, пункт медицинский понадобился. Вот мы для Агафьи Михайловны послали за земским доктором.

— Нет, у кого хочешь спроси, — решительно отвечал Константин Левин, — грамотный как работник гораздо хуже. И дороги починить нельзя; а мосты как поставят, так и украдут. — Впрочем, — нахмурившись, сказал Сергей Иванович, не любивший противоречий и в особенности таких, которые беспрестанно перескакивали с одного на другое и без всякой связи вводили новые доводы, так что нельзя было знать, на что отвечать, — впрочем, не в том дело. Позволь. Признаешь ли ты, что образование есть благо для народа? — Признаю, — сказал Левин нечаянно и тотчас же подумал, что он сказал не то, что думает. Он чувствовал, что, если он признает это, ему будет доказано, что оы говорит пустяки, не имеющие никакого смысла. Как это будет ему доказано, он не знал, по знал, что это, несомненно, логически будет ему доказано, и он ждал этого доказательства. Довод вышел гораздо проще, чем того ожидал Константин Левин. — Если ты признаешь это благом, — сказал Сергей Иванович, — то ты, как честный человек, не можешь не любить и не сочувствовать такому делу и потому не желать работать для него. — Но я еще не признаю этого дела хорошим, — покраснев, сказал Константин Левин. — Как? Да ты сейчас сказал... — То есть я не признаю его ни хорошим, ни возможным. — Этого ты не можешь знать, не сделав усилий. — Ну, положим, — сказал Левин, хотя вовсе не полагал этого, — положим, что это так; но я все-таки не вижу, для чего я буду об этом заботиться. — То есть как? — Нет, уж если мы разговорились, то объясни мне с философской точки зрения, — сказал Левин. — Я не понимаю, к чему тут философия, — сказал Сергей Иванович, как показалось Левину, таким тоном, как будто он не признавал права брата рассуящать о философии. И это раздражило Левина. — Вот к чему! — горячась, заговорил он. — Я думаю, что двигатель всех наших действий есть все-таки личное счастье. Теперь в земских учреждениях я, как дворянин, 264

— Нет, у кого хочешь спроси, — решительно отвечал Константин Левин,— грамотный как работник гораздо хуже. И дороги починить нельзя; а мосты как поставят, так и украдут.

— Впрочем, — нахмурившись, сказал Сергей Иванович, не любивший противоречий и в особенности таких, которые беспрестанно перескакивали с одного на другое и без всякой связи вводили новые доводы, так что нельзя было знать, на что отвечать, — впрочем, не в том дело. Позволь. Признаешь ли ты, что образование есть благо для народа?

— Признаю,— сказал Левин нечаянно и тотчас же подумал, что он сказал не то, что думает. Он чувствовал, что, если он признáет это, ему будет доказано, что он говорит пустяки, не имеющие никакого смысла. Как это будет ему доказано, он не знал, но знал, что это, несомненно, логически будет ему доказано, и он ждал этого доказательства.

Довод вышел гораздо проще, чем того ожидал Константин Левин.

— Если ты признаешь это благом,— сказал Сергей Иванович,— то ты, как честный человек, не можешь не любить и не сочувствовать такому делу и потому не желать работать для него.

— Но я еще не признаю этого дела хорошим, — покраснев, сказал Константин Левин.

— Как? Да ты сейчас сказал...

— То есть я не признаю его ни хорошим, ни возможным.

— Этого ты не можешь знать, не сделав усилий.

— Ну, положим,— сказал Левин, хотя вовсе не полагал этого,— положим, что это так; но я все-таки не вижу, для чего я буду об этом заботиться.

— То есть как?

— Нет, уж если мы разговорились, то объясни мне с философской точки зрения, — сказал Левин.

— Я не понимаю, к чему тут философия,— сказал Сергей Иванович, как показалось Левину, таким тоном, как будто он не признавал права брата рассуждать о философии. И это раздражило Левина.

ne вижу ничего, что бы содействовало моему благосостол]iiio. Дороги не лучше и не могут быть лучше; лошади мои везут меня и по дурным. Доктора и пункта мне не нужно. Мировой судья мне не нужен, — я никогда не обращаюсь к нему и не обращусь. Школы мне не только не нужны, но даже вредны, как я тебе говорил. Для меня земские учреждения просто повинность платить восемнадцать копеек с десятины, ездить в город, ночевать с клопами и слушать всякий вздор и гадости, а личный интерес меня не побуждает. — Позволь, — перебил с улыбкой Сергей Иванович, — личный интерес не побуждал нас работать для освобождения крестьян, а мы работали. — Нет! — все более горячась, перебил Константин. — Освобождение крестьян было другое дело. Тут был личный интерес. Хотелось сбросить с себя это ярмо, которое давило нас, всех хороших людей. Но быть гласным, рассуждать о том, сколько золотарей нужно и как трубы провести в городе, где я не живу; быть присяжным и судить мужика, укравшего ветчину, и шесть часов слушать всякий вздор, который мелют защитники и прокуроры, и как председатель спрашивает у моего старика Алешкидурачка: «Признаете ли вы, господин подсудимый, факт похищения ветчины?» — «Ась?» Константин Левин уже отвлекся, стал представлять председателя и Алешку-дурачка; ему казалось, что это все идет к делу. Но Сергей Иванович пожал плечами. — Ну, так что ты хочешь сказать? — Я только хочу сказать, что те права, которые меня... мой интерес затрогивают, я буду всегда защищать всеми силами; что когда у нас, у студентов, делали обыск и читали наши письма жандармы, я готов всеми силами защищать эти права, защищать мои права образования, свободы. Я понимаю военную повинность, которая затрогивает судьбу моих детей, братьев и меня самого; я готов обсуждать то, что меня касается; но судить, куда распределить сорок тысяч земских денег, или Алешку-дурачка судить,— я не понимаю и не могу. Константин Левин говорил так, как будто прорвало плотину его слов. Сергей Иванович улыбнулся. — А завтра ты будешь судиться: что же, тебе приятнее было бы, чтобы тебя судили в старой уголовной палате? 265

не вижу ничего, что бы содействовало моему благосостоянию. Дороги не лучше и не могут быть лучше; лошади мои везут меня и по дурным. Доктора и пункта мне не нужно. Мировой судья мне не нужен,— я никогда не обращаюсь к нему и не обращусь. Школы мне не только не нужны, но даже вредны, как я тебе говорил. Для меня земские учреждения просто повинность платить восемнадцать копеек с десятины, ездить в город, ночевать с клопами и слушать всякий вздор и гадости, а личный интерес меня не побуждает.

— Позволь,— перебил с улыбкой Сергей Иванович,— личный интерес не побуждал нас работать для освобождения крестьян, а мы работали.

— Нет! — все более горячась, перебил Константин. — Освобождение крестьян было другое дело. Тут был личный интерес. Хотелось сбросить с себя это ярмо, которое давило нас, всех хороших людей. Но быть гласным, рассуждать о том, сколько золотарей нужно и как трубы провести в городе, где я не живу; быть присяжным и судить мужика, укравшего ветчину, и шесть часов слушать всякий вздор, который мелют защитники и прокуроры, и как председатель спрашивает у моего старика Алешки-дурачка: «Признаете ли вы, господин подсудимый, факт похищения ветчины?» — «Ась?»

Константин Левин уже отвлекся, стал представлять председателя и Алешку-дурачка; ему казалось, что это все идет к делу.

Но Сергей Иванович пожал плечами.

— Ну, так что ты хочешь сказать?

— Я только хочу сказать, что те права, которые меня... мой интерес затрогивают, я буду всегда защищать всеми силами; что когда у нас, у студентов, делали обыск и читали наши письма жандармы, я готов всеми силами защищать эти права, защищать мои права образования, свободы. Я понимаю военную повинность, которая затрогивает судьбу моих детей, братьев и меня самого; я готов обсуждать то, что меня касается; но судить, куда распределить сорок тысяч земских денег, или Алешку-дурачка судить,— я не понимаю и не могу.

Константин Левин говорил так, как будто прорвало плотину его слов. Сергей Иванович улыбнулся.

— я не буду судиться. Я никого не зарежу, и мне этого не нужно. Ну уж! — продолжал он, опять перескакивая к совершенно нейдущему к делу,— наши учреждения и все это — похоже на березки, которые мы натыкали, как в троицын день, для того чтобы было похоже на лес, который сам вырос в Европе, и не могу я от души поливать и верить в эти березки! Сергей Иванович пожал только плечами, выражая этим жестом удивление тому, откуда теперь явились в их споре эти березки, хотя он тотчас же понял то, что хотел сказать этим его брат. — Позволь, ведь этак нельзя рассуждать, — заметил он. Но Константину Левину хотелось оправдаться в том недостатке, который он знал за собой, в равнодушии к общеиу благу, и он продолжал. — Я думаю, — сказал Константин, — что никакая деятельность не может быть прочна, если она не имеет основы в личном интересе. Это общая истина, философская, — сказал он, с решительностью повторяя слово философская, как будто желая показать, что он тоже имеет право, как и всякий, говорить о философии. Сергей Иванович еще раз улыбнулся. «И у него там тоже какая-то своя философия есть на службу своих наклонностей», — подумал он. — Ну уж об философии ты оставь,— сказал он.— Главная задача философии всех веков состоит именно в том, чтобы найти ту необходимую связь, которая существует меящу личным интересом и общим. Но это не к делу, а к делу то, что мне только нужно поправить твое сравнение. Березки не натыканы, а которые посажены, которые посеяны, и с ними надо обращаться осторожнее. Только те народы имеют будущность, только те народы можно назвать историческими, которые имеют чутье к тому, что важно и значительно в их учреждениях, и дорожат ими. И Сергей Иванович перенес вопрос в область философски-историческую, недоступную для Константина Левина, и показал ему всю несправедливость его взгляда. — Что же касается до того, что тебе это не правится, то, извини меня, — это наша русская лень и барство, а я уверен, что у тебя это временное заблуждение, и пройдет. Константин молчал. Он чувствовал, что он разбит со всех сторон, но он чувствовал вместе с тем, что то, что он хотел сказать, было не понято его братом. Он не знал 265

— Я не буду судиться. Я никого не зарежу, и мне этого не нужно. Ну уж! — продолжал он, опять перескакивая к совершенно нейдущему к делу,— наши учреждения и все это — похоже на березки, которые мы натыкали, как в троицын день, для того чтобы было похоже на лес, который сам вырос в Европе, и не могу я от души поливать и верить в эти березки!

Сергей Иванович пожал только плечами, выражая этим жестом удивление тому, откуда теперь явились в их споре эти березки, хотя он тотчас же понял то, что хотел сказать этим его брат.

— Позволь, ведь этак нельзя рассуждать, — заметил он.

Но Константину Левину хотелось оправдаться в том недостатке, который он знал за собой, в равнодушии к общему благу, и он продолжал.

— Я думаю,— сказал Константин,— что никакая деятельность не может быть прочна, если она не имеет основы в личном интересе. Это общая истина, философская,— сказал он, с решительностью повторяя слово *философская,* как будто желая показать, что он тоже имеет право, как и всякий, говорить о философии.

Сергей Иванович еще раз улыбнулся. «И у него там тоже какая-то своя философия есть на службу своих наклонностей», — подумал он.

— Ну уж об философии ты оставь,— сказал он.— Главная задача философии всех веков состоит именно в том, чтобы найти ту необходимую связь, которая существует между личным интересом и общим. Но это не к делу, а к делу то, что мне только нужно поправить твое сравнение. Березки не натыканы, а которые посажены, которые посеяны, и с ними надо обращаться осторожнее. Только те народы имеют будущность, только те народы можно назвать историческими, которые имеют чутье к тому, что важно и значительно в их учреждениях, и дорожат ими.

И Сергей Иванович перенес вопрос в область философски-историческую, недоступную для Константина Левина, и показал ему всю несправедливость его взгляда.

— Что же касается до того, что тебе это не нравится, то, извини меня,— это наша русская лень и барство, а я уверен, что у тебя это временное заблуждение, и пройдет

только, почему это было не понято: потому ли, что оп не умел сказать ясно то, что хотел, потому ли, что брат не хотел, или потому, что не мог его понять. Но он не стал углубляться в эти мысли и, не возражая брату, задумался о совершенно другом, личном своем деле. — Ну, однако, поедем. Сергей Иванович замотал последнюю удочку, Константин отвязал лошадь, и они поехали. IV Личное дело, занимавшее Левина во время разговора его с братом, было следующ;ее: в прошлом году, приехав однажды на покос и рассердившись на приказчика, Левин употребил свое средство успокоения — взял у мужика косу и стал косить. Работа эта так понравилась ему, что он несколько раз принимался косить; выкосил весь луг пред домом и нынешний год с самой весны составил себе план — косить с мужиками целые дни. Со времени приезда брата он был в раздумье: косить или нет? Ему совестно было оставлять брата одного по целым дням, и он боялся, чтобы брат не посмеялся над ним за это. Но, пройдясь по лугу, вспомнив впечатления косьбы, он уже почти решил, что будет косить. После же раздражительного разговора с братом он опять вспомнил это намерение. «Нужно физическое движенье, а то мой характер решительно портится», — подумал он и решился косить, как пи неловко это будет ему перед братом и народом. С вечера Константин Левин пошел в контору, сделал распоряжение о работах и послал по деревням вызывать на завтра косцов, с тем чтобы косить Калиновый луг, самый большой и лучший. Да мою косу пошлите, пожалуйста, к Титу, чтоб он отбил и вынес завтра; я, может быть, буду сам косить тоже, — сказал он, стараясь не конфузиться. Приказчик улыбнулся и сказал: — Слушаю-с. Вечером за чаем Левин сказал и брату. — Кажется, погода установилась, — сказал он. — Завтра я начинаю косить. — Я очень люблю эту работу, — сказал Сергей Иванович. 267

только, почему это было не понято: потому ли, что он не умел сказать ясно то, что хотел, потому ли, что брат не хотел, или потому, что не мог его понять. Но он не стал углубляться в эти мысли и, не возражая брату, задумался о совершенно другом, личном своем деле.

— Ну, однако, поедем.

Сергей Иванович замотал последнюю удочку, Константин отвязал лошадь, и они поехали.

IV

Личное дело, занимавшее Левина во время разговора его с братом, было следующее: в прошлом году, приехав однажды на покос и рассердившись на приказчика, Левин употребил свое средство успокоения — взял у мужика косу и стал косить.

Работа эта так понравилась ему, что он несколько раз принимался косить; выкосил весь луг пред домом и нынешний год с самой весны составил себе план — косить с мужиками целые дни. Со времени приезда брата он был в раздумье: косить или нет? Ему совестно было оставлять брата одного по целым дням, и он боялся, чтобы брат не посмеялся над ним за это. Но, пройдясь по лугу, вспомнив впечатления косьбы, он уже почти решил, что будет косить. После же раздражительного разговора с братом он опять вспомнил это намерение.

«Нужно физическое движенье, а то мой характер решительно портится», — подумал он и решился косить, как ни неловко это будет ему перед братом и народом.

С вечера Константин Левин пошел в контору, сделал распоряжение о работах и послал по деревням вызывать на завтра косцов, с тем чтобы косить Калиновый луг, самый большой и лучший.

— Да мою косу пошлите, пожалуйста, к Титу, чтоб он отбил и вынес завтра; я, может быть, буду сам косить тоже, — сказал он, стараясь не конфузиться.

Приказчик улыбнулся и сказал:

— Слушаю-с.

Вечером за чаем Левин сказал и брату.

— Кажется, погода установилась, — сказал он. — Завтра я пойду косить.

— я ужасно люблю. Я сам косил иногда с мужиками и завтра хочу целый день косить. Сергей Иванович поднял голову и с любопытством посмотрел на брата. — То есть как? Наравне с мужиками, целый день? - Да, это очень приятно, — сказал Левин. — Это прекрасно, как физическое упражнение, только едва ли можешь это выдержать, — без всякой насмешки сказал Сергей Иванович. — Я пробовал. Сначала тяжело, потом втягиваешься. Я думаю, что не отстану... — Вот как! Но скажи, как мужики смотрят на это? Должно быть, посмеиваются, что чудит барин. — Нет, не думаю; но это такая вместе и веселая и трудная работа, что некогда думать. — - Ну, а как же ты обедать с ними будешь? Туда лафиту тебе прислать и индюшку жареную уж неловко. — Нет, я только в одно время с их отдыхом приеду домой. На другое утро Константин Левин встал раньше обыкновенного, но хозяйственные распоряжения задержали его, и когда он приехал на покос, косцы шли уже по второму ряду. Еще с горы открылась ему под горою тенистая, уже скошенная часть луга, с сереющими рядами и черными кучками кафтанов, снятых косцами на том месте, откуда они зашли первый ряд. По мере того как он подъезжал, ему открывались шедшие друг за другом растянутою вереницей и различно махавшие косами мужики, кто в кафтанах, кто в одних рубахах. Он насчитал их сорок два человека. Они медленно двигались по неровному низу луга, где была старая запруда. Некоторых своих Левин узнал. Тут был старик Ермил в очень длинной белой рубахе, согнувшись махавший косой; тут был молодой малый Васька, бывший у Левина в кучерах, с размаха бравший каждый ряд. Тут был и Тит, по косьбе дядька Левина, маленький, худенький мужичок. Он, не сгибаясь, шел передом, как бы играя косой, срезывая свой широкий ряд. Левин слез с лошади и, привязав ее у дороги, сошелся с Титом, который, достав из куста вторую косу, подал ее. — Готова, барин; бреет, сама косит, — сказал Тит, с улыбкой снимая шапку и подавая ему косу, 268

— Я ужасно люблю. Я сам косил иногда с мужиками и завтра хочу целый день косить.

Сергей Иванович поднял голову и с любопытством посмотрел на брата.

— То есть как? Наравне с мужиками, целый день?

— Да, это очень приятно, — сказал Левин.

— Это прекрасно, как физическое упражнение, только едва ли можешь это выдержать, — без всякой насмешки сказал Сергей Иванович.

— Я пробовал. Сначала тяжело, потом втягиваешься. Я думаю, что не отстану...

— Вот как! Но скажи, как мужики смотрят на это? Должно быть, посмеиваются, что чудит барин.

— Нет, не думаю; но это такая вместе и веселая и трудная работа, что некогда думать.

— Ну, а как же ты обедать с ними будешь? Туда лафиту тебе прислать и индюшку жареную уж неловко.

— Нет, я только в одно время с их отдыхом приеду домой.

На другое утро Константин Левин встал раньше обыкновенного, но хозяйственные распоряжения задержали его, и когда он приехал на покос, косцы шли уже по второму ряду.

Еще с горы открылась ему под горою тенистая, уже скошенная часть луга, с сереющими рядами и черными кучками кафтанов, снятых косцами на том месте, откуда они зашли первый ряд.

По мере того как он подъезжал, ему открывались шедшие друг за другом растянутою вереницей и различно махавшие косами мужики, кто в кафтанах, кто в одних рубахах. Он насчитал их сорок два человека.

Они медленно двигались по неровному низу луга, где была старая запруда. Некоторых своих Левин узнал. Тут был старик Ермил в очень длинной белой рубахе, согнувшись махавший косой; тут был молодой малый Васька, бывший у Левина в кучерах, с размаха бравший каждый ряд. Тут был и Тит, по косьбе дядька Левина, маленький, худенький мужичок. Он, не сгибаясь, шел передом, как бы играя косой, срезывая свой широкий ряд.

Левин слез с лошади и, привязав ее у дороги, сошелся

Левин взял косу и стал примериваться. Кончившие свои ряды, потные и веселые косцы выходили один за другим на дорогу и, посмеиваясь, здоровались с барином. Они все глядели на него, но никто ничего не говорил до тех пор, пока вышедший на дорогу высокий старик со сморщенным и безбородым лицом, в овчинной куртке, не обратился к нему. — Смотри, барин, взялся за гуж, не отставать! — сказал он, и Левин услыхал сдерл^анный смех мелщу косцами. — Постараюсь не отстать, — сказал он, становясь за Титом и выжидая времени начинать. — Мотри, — повторил старик. Тит освободил место, и Левин пошел за ним. Трава была низкая, придорожная, и Левин, давно не косивший и смущенный обращенными на себя взглядами, в первые минуты косил дурно, хотя и махал сильно. Сзади его послышались голоса: — Насажена неладно, рукоятка высока, вишь, ему сгибаться как, — сказал один. — Пяткой больше налягай, — сказал другой. — Ничего, ладно, настрыкается, — продолжал старик. — Вишь, пошел... Широк ряд берешь, умаешься... Хозяин, нельзя, для себя старается! А вишь, подрядье-то! За это нашего брата по горбу, бывало. Трава пошла мягче, и Левин, слушая, но не отвечая и стараясь косить как можно лучше, шел за Титом. Они прошли шагов сто. Тит все шел, не останавливаясь, не выказывая ни малейшей усталости; но Левину уже страшно становилось, что он не выдержит: так он устал. Он чувствовал, что махает из последних сил, и решился просить Тита остановиться. Но в это самое время Тит сам остановился и, нагнувшись, взял травы, отер косу и стал точить. Левин расправился и, вздохнув, оглянулся. Сзади его шел мужик и, очевидно, также устал, потому что сейчас же, не доходя Левина, остановился и принялся точить. Тит наточил свою косу и косу Левина, и они пошли дальше. На втором приеме было то же. Тит шел мах за махом, не останавливаясь и не уставая. Левин шел за ним, стараясь не отставать, и ему становилось все труднее и труднее: наступала минута, когда, он чувствовал, у него не остается более сил, но в это самое время Тит останавливался и точил. 269

Левин взял косу и стал примериваться. Кончившие свои ряды, потные и веселые косцы выходили один за другим на дорогу и, посмеиваясь, здоровались с барином. Они все глядели на него, но никто ничего не говорил до тех пор, пока вышедший на дорогу высокий старик со сморщенным и безбородым лицом, в овчинной куртке, не обратился к нему.

— Смотри, барин, взялся за гуж, не отставать! — сказал он, и Левин услыхал сдержанный смех между косцами.

— Постараюсь не отстать, — сказал он, становясь за Титом и выжидая времени начинать.

— Мотри, — повторил старик.

Тит освободил место, и Левин пошел за ним. Трава была низкая, придорожная, и Левин, давно не косивший и смущенный обращенными на себя взглядами, в первые минуты косил дурно, хотя и махал сильно. Сзади его послышались голоса:

— Насажена неладно, рукоятка высока, вишь, ему сгибаться как, — сказал один.

— Пяткой больше налягай, — сказал другой.

— Ничего, ладно, настрыкается,— продолжал старик.— Вишь, пошел... Широк ряд берешь, умаешься... Хозяин, нельзя, для себя старается! А вишь, подрядье-то! За это нашего брата по горбу, бывало.

Трава пошла мягче, и Левин, слушая, но не отвечая и стараясь косить как можно лучше, шел за Титом. Они прошли шагов сто. Тит все шел, не останавливаясь, не выказывая ни малейшей усталости; но Левину уже страшно становилось, что он не выдержит: так он устал.

Он чувствовал, что махает из последних сил, и решился просить Тита остановиться. Но в это самое время Тит сам остановился и, нагнувшись, взял травы, отер косу и стал точить. Левин расправился и, вздохнув, оглянулся. Сзади его шел мужик и, очевидно, также устал, потому что сейчас же, не доходя Левина, остановился и принялся точить. Тит наточил свою косу и косу Левина, и они пошли дальше.

На втором приеме было то же. Тит шел мах за махом, не останавливаясь и не уставая. Левин шел за ним, стараясь не отставать, и ему становилось все труд-

Так они прошли первый ряд. И длинный ряд этот показался особенно труден Левину; но зато, когда ряд был дойдеп и Тит, вскинув на плечо косу, медленными шагами пошел заходить по следам, оставленным его каблуками по прокосу, и Левин точно так же пошел по своему прокосу, — несмотря на то, что пот катил градом по его лицу и капал с носа и вся спина его была мокра, как вымоченная в воде, — ему было очень хорошо. В особенности радовало его то, что он знал теперь, что выдери жит. Его удовольствие отравилось только тем, что ряд его был нехорош. «Буду меньше махать рукой, больше всем туловищем», — думал он, сравнивая как по нитке обрезанный ряд Тита со своим раскиданным и неровно ле^ жащим рядом. Первый ряд, как заметил Левин, Тит шел особенно быстро, вероятно желая попытать барина, и ряд попался длинен. Следующие ряды были уже легче, но Левин всетаки должен был напрягать все свои силы, чтобы не отставать от муячиков. Он ничего не думал, ничего не желал, кроме того, чтобы не отстать от мужиков и как можно лучше сработать. Он слышал только лязг кос и видел пред собой удалявшуюся прямую фигуру Тита, выгнутый полукруг прокоса, медленно и волнисто склоняющиеся травы и головки цветов около лезвия своей косы и впереди себя конец ряда, у которого наступит отдых. Не понимая, что это и откуда, в середине работы он вдруг испытал приятное ощущение холода по жарким вспотевшим плечам. Он взглянул на небо во время натачиванья косы. Набежала низкая, тяжелая туча, и шел крупный дождь. Одни мужики пошли к кафтанам и надели их; другие, точно так же как Левин, только радостно пожимали плечами под приятным освежением. Прошли еще и еще ряд. Проходили длинные, короткие, с хорошею, с дурною травой ряды. Левин потерял всякое сознание времени и решительно не знал, поздно или рано теперь. В его работе стала происходить теперь перемена, доставлявшая ему огромное наслаждение. В середине его работы на пего находили минуты, во время которых он забывал то, что делал, ему становилось легко, и в эти же самые минуты ряд его выходил почти так же ровен и хорош, как и у Тита. Но только что он вспоминал о том, что он делает, и начинал стараться 270

Так они прошли первый ряд. И длинный ряд этот показался особенно труден Левину; но зато, когда ряд был дойден и Тит, вскинув на плечо косу, медленными шагами пошел заходить по следам, оставленным его каблуками по прокосу, и Левин точно так же пошел по своему прокосу, — несмотря на то, что пот катил градом по его лицу и капал с носа и вся спина его была мокра, как вымоченная в воде, — ему было очень хорошо. В особенности радовало его то, что он знал теперь, что выдержит.

Его удовольствие отравилось только тем, что ряд его был нехорош. «Буду меньше махать рукой, больше всем туловищем», — думал он, сравнивая как по нитке обрезанный ряд Тита со своим раскиданным и неровно лежащим рядом.

Первый ряд, как заметил Левин, Тит шел особенно быстро, вероятно желая попытать барина, и ряд попался длинен. Следующие ряды были уже легче, но Левин все-таки должен был напрягать все свои силы, чтобы не отставать от мужиков.

Он ничего не думал, ничего не желал, кроме того, чтобы не отстать от мужиков и как можно лучше сработать. Он слышал только лязг кос и видел пред собой удалявшуюся прямую фигуру Тита, выгнутый полукруг прокоса, медленно и волнисто склоняющиеся травы и головки цветов около лезвия своей косы и впереди себя конец ряда, у которого наступит отдых.

Не понимая, что это и откуда, в середине работы он вдруг испытал приятное ощущение холода по жарким вспотевшим плечам. Он взглянул на небо во время натачиванья косы. Набежала низкая, тяжелая туча, и шел крупный дождь. Одни мужики пошли к кафтанам и надели их; другие, точно так же как Левин, только радостно пожимали плечами под приятным освежением.

Прошли еще и еще ряд. Проходили длинные, короткие, с хорошею, с дурною травой ряды. Левин потерял всякое сознание времени и решительно не знал, поздно или рано теперь. В его работе стала происходить теперь перемена, доставлявшая ему огромное наслаждение. В середине его работы на него находили минуты, во время которых он забывал то, что делал, ему становилось

сделать лучше, тотчас же он испытывал всю тяжесть труда и ряд выходил дурен. Пройдя еще один ряд, он хотел опять заходить, но Тит остановился и, подойдя к старику, что-то тихо сказал ему. Они оба поглядели на солнце. <0 чем это они говорят и отчего он не заходит ряд?» — подумал Левин, не догадываясь, что мужики не переставая косили уя^е не менее четырех часов и им пора завтракать. — Завтракать, барин, — сказал старик. — Разве пора? Ну, завтракать. Левин отдал косу Титу и с мужиками, пошедшими к кафтанам за хлебом, чрез слегка побрызганные дождем ряды длинного скошенного пространства пошел к лоша-^ ди. Тут только он понял, что не угадал погоду и дождь мочил его сено. — Испортит сено, — сказал он. — Ничего, барин, в дождь коси, в погоду греби! — сказал старик. Левин отвязал лошадь и поехал домой пить кофе. Сергей Иванович только что встал. Напившись кофею, Левин уехал опять на покос, прежде чем Сергей Иванович успел одеться и выйти в столовую, V После завтрака Левин попал в ряд уже не на прежнее место, а мелщу шутііиком-стариком, который пригласил его в соседи, и молодым мужиком, с осени только женатым и пошедшим косить первое лето. Старик, прямо держась, шел впереди, ровно и широко передвигая вывернутые ноги, и точным и ровным движеньем, не стоившим ему, по-видимому, более труда, чем маханье руками на ходьбе, как бы играя, откладывал одинаковый, высокий ряд. Точно не он, а одна острая коса сама вжикала по сочной траве. Сзади Левина шел молодой Мишка. Миловидное молодое лицо его, обвязанное по волосам жгутом свежей травы, все работало от усилий; но как только взглядывали на него, он улыбался. Он, видимо, готов был умереть скорее, чем признаться, что ему трудно. Левин шел меящу ними. В самый жар косьба показалась ему не так трудна. Обливавший его пот прохлаждал его, а солнце, жегшее спину, голову и засученную по 271

сделать лучше, тотчас же он испытывал всю тяжесть труда и ряд выходил дурен.

Пройдя еще один ряд, он хотел опять заходить, но Тит остановился и, подойдя к старику, что-то тихо сказал ему. Они оба поглядели на солнце. «О чем это они говорят и отчего он не заходит ряд?» — подумал Левин, не догадываясь, что мужики не переставая косили уже не менее четырех часов и им пора завтракать.

— Завтракать, барин, — сказал старик.

— Разве пора? Ну, завтракать.

Левин отдал косу Титу и с мужиками, пошедшими к кафтанам за хлебом, чрез слегка побрызганные дождем ряды длинного скошенного пространства пошел к лошади. Тут только он понял, что не угадал погоду и дождь мочил его сено.

— Испортит сено, — сказал он.

— Ничего, барин, в дождь коси, в погоду греби! — сказал старик.

Левин отвязал лошадь и поехал домой пить кофе.

Сергей Иванович только что встал. Напившись кофею, Левин уехал опять на покос, прежде чем Сергей Иванович успел одеться и выйти в столовую.

V

После завтрака Левин попал в ряд уже не на прежнее место, а между шутником-стариком, который пригласил его в соседи, и молодым мужиком, с осени только женатым и пошедшим косить первое лето.

Старик, прямо держась, шел впереди, ровно и широко передвигая вывернутые ноги, и точным и ровным движеньем, не стоившим ему, по-видимому, более труда, чем маханье руками на ходьбе, как бы играя, откладывал одинаковый, высокий ряд. Точно не он, а одна острая коса сама вжикала по сочной траве.

Сзади Левина шел молодой Мишка. Миловидное молодое лицо его, обвязанное по волосам жгутом свежей травы, все работало от усилий; но как только взглядывали на него, он улыбался. Он, видимо, готов был умереть скорее, чем признаться, что ему трудно.

Левин шел между ними. В самый жар косьбы старик

локоть руку, придавало крепость и упорство в работе; и чаще и чаще приходили те минуты бессознательного состояния, когда можно было не думать о том, что делаешь. Коса резала сама собой. Это были счастливые минуты. Еще радостнее были минуты, когда, подходя к реке, в которую утыкались ряды, старик обтирал мокрою густою травой косу, полоскал ее сталь в свежей воде реки, зачерпывал брусницу и угощал Левина. — Ну-ка, кваску моего! А, хорош! — говорил он, подмигивая. И действительно, Левин никогда не пивал такого напитка, как эта теплая вода с плавающею зеленью и ржавым от жестяной брусницы вкусом. И тотчас после этого наступала блаженная медленная прогулка с рукой на косе, во время которой можно было отереть ливший пот, вздохнуть полною грудью и оглядеть всю тянущуюся вереницу косцов и то, что делалось вокруг, в лесу и в поле. Чем долее Левин косил, тем чаще и чаще он чувствовал минуты забытья, при котором уже не руки махали косой, а сама коса двигала за собой все сознающее себя, полное жизни тело, и, как бы по волшебству, без мысли о ней, работа правильная и отчетливая делалась сама собой. Это были самые блаженные минуты. Трудно было только тоща, когда надо было прекращать это сделавшееся бессознательным движенье и думать, когда надо было окашивать кочку или невыполонный щавельник. Старик делал это легко. Приходила кочка, он изменял движенье и где пяткой, где концом косы подбивал кочку с обеих сторон коротенькими ударами. И, делая это, он все рассматривал и наблюдал, что, открывалось пред ним; то он срывал кочеток, съедал его или угощал Левина, то отбрасывал носком косы ветку, то оглядывал гнездышко перепелиное, с которого из-под самой косы вылетала самка, то ловил козюлю, попавшуюся на пути, и, как вилкой подняв ее косой, показывал Левину и отбрасывал. И Левину и молодому малому сзади его эти перемены движений были трудны. Они оба, наладив одно напряженное движение, находились в азарте работы и не в силах были изменять движение и в то же время наблюдать, что было пред ними. Левин не замечал, как проходило время. Если бы спросили его, сколько времени он косил, он сказал бы, 272

локоть руку, придавало крепость и упорство в работе; и чаще и чаще приходили те минуты бессознательного состояния, когда можно было не думать о том, что делаешь. Коса резала сама собой. Это были счастливые минуты. Еще радостнее были минуты, когда, подходя к реке, в которую утыкались ряды, старик обтирал мокрою густою травой косу, полоскал ее сталь в свежей воде реки, зачерпывал брусницу и угощал Левина.

— Ну-ка, кваску моего! А, хорош! — говорил он, подмигивая.

И действительно, Левин никогда не пивал такого напитка, как эта теплая вода с плавающею зеленью и ржавым от жестяной брусницы вкусом. И тотчас после этого наступала блаженная медленная прогулка с рукой на косе, во время которой можно было отереть ливший пот, вздохнуть полною грудью и оглядеть всю тянущуюся вереницу косцов и то, что делалось вокруг, в лесу и в поле.

Чем долее Левин косил, тем чаще и чаще он чувствовал минуты забытья, при котором уже не руки махали косой, а сама коса двигала за собой все сознающее себя, полное жизни тело, и, как бы по волшебству, без мысли о ней, работа правильная и отчетливая делалась сама собой. Это были самые блаженные минуты.

Трудно было только тогда, когда надо было прекращать это сделавшееся бессознательным движенье и думать, когда надо было окашивать кочку или невыполонный щавельник. Старик делал это легко. Приходила кочка, он изменял движенье и где пяткой, где концом косы подбивал кочку с обеих сторон коротенькими ударами. И, делая это, он все рассматривал и наблюдал, что, открывалось пред ним; то он срывал кочеток, съедал его или угощал Левина, то отбрасывал носком косы ветку, то оглядывал гнездышко перепелиное, с которого из-под самой косы вылетала самка, то ловил козюлю, попавшуюся на пути, и, как вилкой подняв ее косой, показывал Левину и отбрасывал.

И Левину и молодому малому сзади его эти перемены движений были трудны. Они оба, наладив одно напряженное движение, находились в азарте работы и не в силах были изменять движение и в то же время наблюдать,

что полчаса, — а уж время подошло к обеду. Заходя ряд, старик обратил внимание Левина на девочек и мальчиков, которые с разных сторон, чуть видные, по высокой траве и по дороге шли к косцам, неся оттягивавшие им ручонки узелки с хлебом и заткнутые тряпками кувшинчики с квасом. — Вишь, козявки ползут! — сказал он, указывая на них, и из-под руки поглядел на солнце. Прошли еще два ряда, старик остановился. — Ну, барин, обедать! — сказал он решительно. И, дойдя до реки, косцы направились через ряды к кафтанам, у которых, дожидаясь их, сидели дети, принесшие обеды. Мужики собрались — дальние под телеги, ближние — под ракитовый куст, на который накидали травы. Левин подсел к ним; ему не хотелось уезжать. Всякое стеснение пред барином уже давно исчезло. Мужики приготавливались обедать. Одни мылись, молодые ребята купались в реке, другие прилаживали место для отдыха, развязывали мешочки с хлебом и оттыкали кувшинчики с квасом. Старик накрошил в чашку хлеба, размял его стеблем ложки, налил воды из брусницы, еще разрезал хлеба и, посыпав солью, стал на восток молиться. — Ну-ка, барин, моей тюрьки, — сказал он, присаживаясь на колени перед чашкой. Тюрька была так вкусна, что Левин раздумал ехать домой обедать. Он пообедал со стариком и разговорился с ним о его домашних делах, принимая в них живейшее участие и сообщил ему все свои дела и все обстоятельства, которые могли интересовать старика. Он чувствовал себя более близким к нему, чем к брату, и невольно улыбался от нежности, которую он испытывал к этому человеку. Когда старик опять встал, помолился и лег тут же под кустом, положив себе под изголовье травы, Левин сделал то же и, несмотря на липких, упорных на солнце мух и козявок, щекотавших его потное лицо и тело, заснул тотчас же и проснулся, только когда солнце зашло на другую сторону куста и стало доставать его. Старик давно не спал и сидел, отбивая косы молодых ребят. Левин оглянулся вокруг себя и не узнал места: так все переменилось. Огромное пространство луга было скошено и блестело особенным, новым блеском, со своими уже пахнущими рядами, на вечерних косых лучах

что полчаса, — а уж время подошло к обеду. Заходя ряд, старик обратил внимание Левина на девочек и мальчиков, которые с разных сторон, чуть видные, по высокой траве и по дороге шли к косцам, неся оттягивавшие им ручонки узелки с хлебом и заткнутые тряпками кувшинчики с квасом.

— Вишь, козявки ползут! — сказал он, указывая на них, и из-под руки поглядел на солнце.

Прошли еще два ряда, старик остановился.

— Ну, барин, обедать! — сказал он решительно. И, дойдя до реки, косцы направились через ряды к кафтанам, у которых, дожидаясь их, сидели дети, принесшие обеды. Мужики собрались — дальние под телеги, ближние — под ракитовый куст, на который накидали травы.

Левин подсел к ним; ему не хотелось уезжать.

Всякое стеснение пред барином уже давно исчезло. Мужики приготавливались обедать. Одни мылись, молодые ребята купались в реке, другие прилаживали место для отдыха, развязывали мешочки с хлебом и оттыкали кувшинчики с квасом. Старик накрошил в чашку хлеба, размял его стеблем ложки, налил воды из брусницы, еще разрезал хлеба и, посыпав солью, стал на восток молиться.

— Ну-ка, барин, моей тюрьки, — сказал он, присаживаясь на колени перед чашкой.

Тюрька была так вкусна, что Левин раздумал ехать домой обедать. Он пообедал со стариком и разговорился с ним о его домашних делах, принимая в них живейшее участие и сообщил ему все свои дела и все обстоятельства, которые могли интересовать старика. Он чувствовал себя более близким к нему, чем к брату, и невольно улыбался от нежности, которую он испытывал к этому человеку. Когда старик опять встал, помолился и лег тут же под кустом, положив себе под изголовье травы, Левин сделал то же и, несмотря на липких, упорных на солнце мух и козявок, щекотавших его потное лицо и тело, заснул тотчас же и проснулся, только когда солнце зашло на другую сторону куста и стало доставать его. Старик давно не спал и сидел, отбивая косы молодых ребят.

Левин оглянулся вокруг себя и не узнал места: так все переменилось. Огромное пространство луга было ско-

солнца. И окошенные кусты у реки, и сама река, прежде не видная, а теперь блестящая сталью в своих извивах, и движущийся и поднимающийся народ, и крутая стена травы недокотенпого места луга, и ястреба, вившиеся над оголенным лугом, — все это было совершенно ново. Очнувшись, Левин стал соображать, сколько скошено и сколько еще можно сделать нынче. Сработано было чрезвычайно много на сорок два человека. Весь большой луг, который кашивали два дня при барщине в тридцать кос, был уже скошен. Нескошенными оставались углы с короткими рядами. Но Левину хотелось как можно больше скосить в этот день, и досадно было на солнце, которое так скоро спускалось. Он не чувствовал никакой усталости; ему только хотелось еще и еще поскорее и как можно больше сработать. — А что, еще скосим, как думаешь, Машкин Верх? — сказал он старику. — Как бог даст, солнце не высоко. Нечто водочки ребятам? Во время полдника, когда опять сели и курящие закурили, старик объявил ребятам, что «Машкин Верх скосить — водка будет». — Эка, не скосить! Заходи, Тит! Живо смахнем! Наешься ночью. Заходи! — послышались голоса, и, доедая хлеб, косцы пошли заходить. — Ну, ребята, держись! — сказал Тит и почти рысью пошел передом. — Иди, иди! — говорил старик, спея за ним и легко догоняя его, — срежу! Берегись! И молодые и старые как бы наперегонку косили. Но, как они ни торопились, они не портили травы, и ряды откладывались так же чисто и отчетливо. Остававшийся в углу уголок был смахнут в пять минут. Еще последние косцы доходили ряды, как передние захватили кафтаны на плечи и пошли через дорогу к Машкину Верху. Солнце уже спускалось к деревьям, когда они, побрякивая брусницами, вошли в лесной оврая^ек Машкина Верха. Трава была по пояс в середине лощины, и нежная и мягкая, лопушистая, кое-где по лесу пестреющая иваном-да-марьей. После короткого совещания — вдоль ли ходить или поперек — Прохор Ермилин, тоже известный косец, огромный черноватый муяшк, пошел передом. Он прошел ряд вперед, повернулся назад и отвалил, и все стали 274

солнца. И окошенные кусты у реки, и сама река, прежде не видная, а теперь блестящая сталью в своих извивах, и движущийся и поднимающийся народ, и крутая стена травы недокошенного места луга, и ястреба, вившиеся над оголенным лугом, — все это было совершенно ново. Очнувшись, Левин стал соображать, сколько скошено и сколько еще можно сделать нынче.

Сработано было чрезвычайно много на сорок два человека. Весь большой луг, который кашивали два дня при барщине в тридцать кос, был уже скошен. Нескошенными оставались углы с короткими рядами. Но Левину хотелось как можно больше скосить в этот день, и досадно было на солнце, которое так скоро спускалось. Он не чувствовал никакой усталости; ему только хотелось еще и еще поскорее и как можно больше сработать.

— А что, еще скосим, как думаешь, Машкин Верх? — сказал он старику.

— Как бог даст, солнце не высоко. Нечто водочки ребятам?

Во время полдника, когда опять сели и курящие закурили, старик объявил ребятам, что «Машкин Верх скосить — водка будет».

— Эка, не скосить! Заходи, Тит! Живо смахнем! Наешься ночью. Заходи! — послышались голоса, и, доедая хлеб, косцы пошли заходить.

— Ну, ребята, держись! — сказал Тит и почти рысью пошел передом.

— Иди, иди! — говорил старик, спея за ним и легко догоняя его, — срежу! Берегись!

И молодые и старые как бы наперегонку косили. Но, как они ни торопились, они не портили травы, и ряды откладывались так же чисто и отчетливо. Остававшийся в углу уголок был смахнут в пять минут. Еще последние косцы доходили ряды, как передние захватили кафтаны на плечи и пошли через дорогу к Машкину Верху.

Солнце уже спускалось к деревьям, когда они, побрякивая брусницами, вошли в лесной овражек Машкина Верха. Трава была по пояс в середине лощины, и нежная и мягкая, лопушистая, кое-где по лесу пестреющая иваном-да-марьей.

После короткого совещания — вдоль ли ходить или

выравниваться за ним, ходя под гору по лощине и на гору под самую опушку леса. Солнце зашло за лес. Роса уже пала, и косцы только на горке были на солнце, а в низу, по которому поднимался пар, и на той стороне шли в свежей, росистой тени. Работа кипела. Подрезаемая с сочным звуком и пряно пахнущая трава ложилась высокими рядами. Теснившиеся по коротким рядам косцы со всех сторон, побрякивая брусницами и звуча то столкнувшимися косами, то свистом бруска по оттачиваемой косе, то веселыми криками, подгоняли друг друга. Левин шел все так же между молодым малым и стариком. Старик, надевший свою овчинную куртку, был так же весел, шутлив и свободен в движениях. В лесу беспрестанно попадались березовые, разбухшие в сочной траве грибы, которые резались косами. Но старик, встречая гриб, каждый раз сгибался, подбирал и клал за па^ зуху. «Еще старухе гостинцу», — приговаривал он. Как ни было легко косить мокрую и слабую траву, но трудно было спускаться и подниматься по крутым косогорам оврага. Но старика это не стесняло. Махая все так же косой, он маленьким, твердым шажком своих обутых в большие лапти ног влезал медленно на кручь и, хоть и трясся всем телом и отвисшими ниже рубахи портками, не пропускал на пути ни одной травинки, ни одного гриба и так же шутил с мужиками и Левиным. Левин шел за ним и часто думал, что он непременно упадет, поднимаясь с косою на такой крутой бугор, куда и без косы трудно влезть; но он взлезал и делал что надо. Он чувствовал, что какая-то внешняя сила двигала им. VI Машкин Верх скосили, доделали последние ряды, надели кафтаны и весело пошли к дому. Левин сел на лошадь и, с сожалением простившись с муя^иками, поехал домой. С горы он оглянулся; их не видно было в поднимавшемся из низу тумане; были слышны только веселые грубые голоса, хохот и звук сталкивающихся кос. Сергей Иванович давно уже отобедал и пил воду с лимоном и льдом в своей комнате, просматривая только что полученные с почты газеты и журналы, когда Левин, с прилипшими от пота ко лбу спутанными волосами и 275

выравниваться за ним, ходя под гору по лощине и на гору под самую опушку леса. Солнце зашло за лес. Роса уже пала, и косцы только на горке были на солнце, а в низу, по которому поднимался пар, и на той стороне шли в свежей, росистой тени. Работа кипела.

Подрезаемая с сочным звуком и пряно пахнущая трава ложилась высокими рядами. Теснившиеся по коротким рядам косцы со всех сторон, побрякивая брусницами и звуча то столкнувшимися косами, то свистом бруска по оттачиваемой косе, то веселыми криками, подгоняли друг друга.

Левин шел все так же между молодым малым и стариком. Старик, надевший свою овчинную куртку, был так же весел, шутлив и свободен в движениях. В лесу беспрестанно попадались березовые, разбухшие в сочной траве грибы, которые резались косами. Но старик, встречая гриб, каждый раз сгибался, подбирал и клал за пазуху. «Еще старухе гостинцу», — приговаривал он.

Как ни было легко косить мокрую и слабую траву, но трудно было спускаться и подниматься по крутым косогорам оврага. Но старика это не стесняло. Махая все так же косой, он маленьким, твердым шажком своих обутых в большие лапти ног влезал медленно на кручь и, хоть и трясся всем телом и отвисшими ниже рубахи портками, не пропускал на пути ни одной травинки, ни одного гриба и так же шутил с мужиками и Левиным. Левин шел за ним и часто думал, что он непременно упадет, поднимаясь с косою на такой крутой бугор, куда и без косы трудно влезть; но он взлезал и делал что надо. Он чувствовал, что какая-то внешняя сила двигала им.

VI

Машкин Верх скосили, доделали последние ряды, надели кафтаны и весело пошли к дому. Левин сел на лошадь и, с сожалением простившись с мужиками, поехал домой. С горы он оглянулся; их не видно было в поднимавшемся из низу тумане; были слышны только веселые грубые голоса, хохот и звук сталкивающихся кос.

Сергей Иванович давно уже отобедал и пил воду с ли-

почерневшею, мокрою спйной и грудью, с веселым говором ворвался к нему в комнату. — А мы сработали весь луг! Ах, как хорошо, удивительно! А ты как поживал? — говорил Левин, совершенно забыв вчерашний неприятный разговор. — Батюшки! на что ты похож! — сказал Сергей Иваиович, в первую минуту недовольно оглядываясь на брата. — Да дверь-то, дверь-то затворяй! — вскрикнул он. — Непременно впустил десяток целый. Сергей Иванович терпеть не мог мух и в своей комнате отворял окна только ночью и старательно затворял двери. — Ей-богу, ни одной. А если впустил, я поймаю. Тыне поверишь, какое наслаждение! Ты как провел день? — Я хорошо. Но неужели ты целый день косил? Ты, я думаю, голоден, как волк. Кузьма тебе все прріготовил. — Нет, мне и есть не хочется. Я там поел. А вот пойду умоюсь. — Ну, иди, иди, и я сейчас приду к тебе, — сказал Сергей Иванович, покачивая головой, глядя на брата. — Иди же, иди скорей, — прибавил он, улыбаясь, и, собрав свои книги, приготовился идти. Ему самому вдруг стало весело и не хотелось расставаться с братом. — Ну, а во время дождя где ты был? — Какой же дождь? Чуть покрапал. Так я сейчас приду. Так ты хорошо провел день? Ну, и отлично. — И Левин ушел одеваться. Через пять минут братья сошлись в столовой. Хотя Левину и казалось, что не хочется есть, и он сел за обед, только чтобы не обидеть Кузьму, но когда начал есть, то обед показался ему чрезвычайно вкусен. Сергей Иванович, улыбаясь, глядел на него. — Ах да, тебе письмо, — сказал он. — Кузьма, принеси, пожалуйста, снизу. Да смотри, дверь затворяй. Письмо было от Облонского. Левин вслух прочел его. Облонский писал из Петербурга: «Я получил письмо от Долли, она в Ергушове, и у ней что-то все не ладится. Съезди, пожалуйста, к ней, помоги советом, ты все знаешь. Она так рада будет тебя видеть. Она совсем одна, бедная. Теща со всеми еще за границей». — Вот отлично! Непременно съезжу к ним, — сказал Левин. — А то поедем вместе. Она такая славная. Не правда ли? — А они недалеко тут? 276

почерневшею, мокрою спиной и грудью, с веселым говором ворвался к нему в комнату.

— А мы сработали весь луг! Ах, как хорошо, удивительно! А ты как поживал? — говорил Левин, совершенно забыв вчерашний неприятный разговор.

— Батюшки! на что ты похож! — сказал Сергей Иванович, в первую минуту недовольно оглядываясь на брата. — Да дверь-то, дверь-то затворяй! — вскрикнул он. — Непременно впустил десяток целый.

Сергей Иванович терпеть не мог мух и в своей комнате отворял окна только ночью и старательно затворял двери.

— Ей-богу, ни одной. А если впустил, я поймаю. Ты не поверишь, какое наслаждение! Ты как провел день?

— Я хорошо. Но неужели ты целый день косил? Ты, я думаю, голоден, как волк. Кузьма тебе все приготовил.

— Нет, мне и есть не хочется. Я там поел. А вот пойду умоюсь.

— Ну, иди, иди, и я сейчас приду к тебе, — сказал Сергей Иванович, покачивая головой, глядя на брата. — Иди же, иди скорей, — прибавил он, улыбаясь, и, собрав свои книги, приготовился идти. Ему самому вдруг стало весело и не хотелось расставаться с братом. — Ну, а во время дождя где ты был?

— Какой же дождь? Чуть покрапал. Так я сейчас приду. Так ты хорошо провел день? Ну, и отлично. — И Левин ушел одеваться.

Через пять минут братья сошлись в столовой. Хотя Левину и казалось, что не хочется есть, и он сел за обед, только чтобы не обидеть Кузьму, но когда начал есть, то обед показался ему чрезвычайно вкусен. Сергей Иванович, улыбаясь, глядел на него.

— Ах да, тебе письмо, — сказал он. — Кузьма, принеси, пожалуйста, снизу. Да смотри, дверь затворяй.

Письмо было от Облонского. Левин вслух прочел его. Облонский писал из Петербурга: «Я получил письмо от Долли, она в Ергушове, и у ней что-то все не ладится. Съезди, пожалуйста, к ней, помоги советом, ты все знаешь. Она так рада будет тебя видеть. Она совсем одна, бедная. Теща со всеми еще за границей».

— Вот отлично! Непременно съезжу к ним, — сказал

— Верст тридцать. Пожалуй, и сорок будет. Но отличная дорога. Отлично съездим. — Очень рад, — все улыбаясь, сказал Сергей Иванович. Вид меньшого брата непосредственно располагал его к веселости. — Ну, аппетит у тебя! — сказал он, глядя на его склоненное над тарелкой буро-красно-загорелое лицо и шею. — Отлично! Ты не поверишь, какой это режим полезный против всякой дури. Я хочу обогатить медицину новым термином: Arbeitscur — Ну, тебе-то это не нужно, кажется. — Да, но разным нервным больным. — Да, это надо испытать. А я ведь хотел было прийти на покос посмотреть на тебя, но жара была такая невыносимая, что я не пошел дальше леса. Я посидел и лесом прошел на слободу, встретил твою кормилицу и сондировал ее насчет взгляда мужиков на тебя. Как я понял, они не одобряют этого. Она сказала: «Не господское дело». Вообще мне кажется, что в понятии народном очень твердо определены требования на известную, как они называют, «господскую» деятельность. И они не допускают, чтобы господа выходили из определившейся в их понятии рамки. — Может быть; но ведь это такое удовольствие, какого я в жизнь свою не испытывал. И дурного ведь ничего нет. Не правда ли? — отвечал Левин. — Что же делать, если им не нравится. А впрочем, я думаю, что ничего. А? — Вообще, — продолжал Сергей Иванович, — ты, как я вижу, доволен своим днем. — Очень доволен. Мы скосили весь луг. И с каким стариком я там подружился! Это ты не можешь себе представить, что за прелесть! — Ну, так доволен своим днем. И я тоже. Во-первых, я решил две шахматные задачи, и одна очень мила, — открывается пешкой. Я тебе покажу. А потом думал о нашем вчерашнем разговоре. — Что? о вчерашнем разговоре? — сказал Левин, блаженно щурясь и отдуваясь после оконченного обеда и решительно не в силах вспомнить, какой это был вчерашний разговор. * лечение работой (нем.). 277

— Верст тридцать. Пожалуй, и сорок будет. Но отличная дорога. Отлично съездим.

— Очень рад, — все улыбаясь, сказал Сергей Иванович.

Вид меньшого брата непосредственно располагал его к веселости.

— Ну, аппетит у тебя! — сказал он, глядя на его склоненное над тарелкой буро-красно-загорелое лицо и шею.

— Отлично! Ты не поверишь, какой это режим полезный против всякой дури. Я хочу обогатить медицину новым термином: Arbeitscur [1].

— Ну, тебе-то это не нужно, кажется.

— Да, но разным нервным больным.

— Да, это надо испытать. А я ведь хотел было прийти на покос посмотреть на тебя, но жара была такая невыносимая, что я не пошел дальше леса. Я посидел и лесом прошел на слободу, встретил твою кормилицу и сондировал ее насчет взгляда мужиков на тебя. Как я понял, они не одобряют этого. Она сказала: «Не господское дело». Вообще мне кажется, что в понятии народном очень твердо определены требования на известную, как они называют, «господскую» деятельность. И они не допускают, чтобы господа выходили из определившейся в их понятии рамки.

— Может быть; но ведь это такое удовольствие, какого я в жизнь свою не испытывал. И дурного ведь ничего нет. Не правда ли? — отвечал Левин. — Что же делать, если им не нравится. А впрочем, я думаю, что ничего. А?

— Вообще, — продолжал Сергей Иванович, — ты, как я вижу, доволен своим днем.

— Очень доволен. Мы скосили весь луг. И с каким стариком я там подружился! Это ты не можешь себе представить, что за прелесть!

— Ну, так доволен своим днем. И я тоже. Во-первых, я решил две шахматные задачи, и одна очень мила, — открывается пешкой. Я тебе покажу. А потом думал о нашем вчерашнем разговоре.

— Что? о вчерашнем разговоре? — сказал Левин, блаженно щурясь и отдуваясь после оконченного обеда и решительно не в силах вспомнить, какой это был вче-

^ я нахожу, что ты прав отчасти. Разногласие наше заключается в том, что ты ставишь двигателем личный интерес, а я полагаю, что интерес общ,его блага должен быть у всякого человека, стояш,его на известной степени образования. Может быть, ты и прав, что желательнее была бы заинтересованная материально деятельность. Вообще ты натура слишком prime-sautière \ как говорят французы; ты хочешь страстной, энергической деятельности или ничего. Левин слушал брата и решительно ничего не понимал и не хотел понимать. Он только боялся, как бы брат не спросил его такой вопрос, по которому будет видно, что он ничего не слышал. — Так-то, дружок, — сказал Сергей Иванович, трогая его по плечу. — Да, разумеется. Да что же! Я не стою за свое, — отвечал Левин с детскою, виноватою улыбкой. «О чем бишь я спорил? — думал он. — Разумеется, и я прав, и он прав, и все прекрасно. Надо только пойти в контору распорядиться». Он встал, потягиваясь и улыбаясь. Сергей Иванович тоже улыбнулся. — Хочешь пройтись, пойдем вместе, — сказал он, не желая расставаться с братом, от которого так и веяло свежестью и бодростью. — Пойдем, зайдем и в контору, если тебе нужно. — Ах, батюшки! — вскрикнул Левин так громко, что Сергей Иванович испугался. — Что, что ты? — Что рука Агафьи Михайловны? — сказал Левин, ударяя себя по голове. — Я и забыл про нее. — Лучше гораздо. — Ну, все-таки я сбегаю к ней. Ты не успеешь шляпы надеть, я вернусь. И он, как трещотка, загремел каблуками, сбегая с лестницы. VII В то время как Степан Аркадьич приехал в НеТер-» бург для исполнения самой естественной, известной всем служащим, хотя и непонятной для неслужащих, нужнейшей обязанности, без которой нет возможности слу* склонная действовать под влиянием первого порыва (франц.). 278

— Я нахожу, что ты прав отчасти. Разногласие наше заключается в том, что ты ставишь двигателем личный интерес, а я полагаю, что интерес общего блага должен быть у всякого человека, стоящего на известной степени образования. Может быть, ты и прав, что желательнее была бы заинтересованная материально деятельность. Вообще ты натура слишком prime-sautière [1], как говорят французы; ты хочешь страстной, энергической деятельности или ничего.

Левин слушал брата и решительно ничего не понимал и не хотел понимать. Он только боялся, как бы брат не спросил его такой вопрос, по которому будет видно, что он ничего не слышал.

— Так-то, дружок, — сказал Сергей Иванович, трогая его по плечу.

— Да, разумеется. Да что же! Я не стою за свое, — отвечал Левин с детскою, виноватою улыбкой. «О чем бишь я спорил? — думал он. — Разумеется, и я прав, и он прав, и все прекрасно. Надо только пойти в контору распорядиться». Он встал, потягиваясь и улыбаясь.

Сергей Иванович тоже улыбнулся.

— Хочешь пройтись, пойдем вместе, — сказал он, не желая расставаться с братом, от которого так и веяло свежестью и бодростью. — Пойдем, зайдем и в контору, если тебе нужно.

— Ах, батюшки! — вскрикнул Левин так громко, что Сергей Иванович испугался.

— Что, что ты?

— Что рука Агафьи Михайловны? — сказал Левин, ударяя себя по голове. — Я и забыл про нее.

— Лучше гораздо.

— Ну, все-таки я сбегаю к ней. Ты не успеешь шляпы надеть, я вернусь.

И он, как трещотка, загремел каблуками, сбегая с лестницы.

VII

В то время как Степан Аркадьич приехал в Петербург для исполнения самой естественной, известной всем служащим, хотя и непонятной для неслужащих, нужней-

жить, — напомпить о себе в министерстве, — и при исполнении этой обязанности, взяв почти все деньги из дому, весело и приятно проводил время и на скачках и на дачах, Долли с детьми переехала в деревню, чтоб уменьшить сколько возможно расходы. Она переехала в свою приданую деревню Ергушово, ту самую, где весной был продан лес и которая была в пятидесяти верстах от Покровского Левина. В Ергушове большой старый дом был давно сломан, и еще князем был отделан и увеличен флигель. Флигель лет двадцать тому назад, когда Долли была ребенком, был поместителен и удобен, хоть и стоял, как все флигеля, боком к выездной аллее и к югу. Но теперь флигель этот был стар и гнил. Когда еще Степан Аркадьич ездил весной продавать лес, Долли просила его осмотреть дом и велеть поправить что нужно. Степан Аркадьич, как и все виноватые мужья, очень заботившийся об удобствах жены, сам осмотрел дом и сделал распоряжения обо всем, по его понятию, нужном. По его понятию, надо было перебить кретоном всю мебель, повесить гардины, расчистить сад, сделать мостик у пруда и посадить цветы; но он забыл много других необходимых вещей, недостаток которых потом измучал Дарью Александровну. Как ни старался Степан Аркадьич быть заботливым отцом и мужем, он никак не мог помнить, что у него есть жена и дети. У него были холостые вкусы, и только с ними он соображался. Вернувшись в Москву, он с гордостью объявил жене, что все приготовлено, что дом будет игрушечка и что он ей очень советует ехать. Степану Аркадьичу отъезд жены в деревню был очень приятен во всех отношениях: и детям здорово, и расходов меньше, и ему свободнее. Дарья же Александровна считала переезд в деревню на лето необходимым для детей, в особенности для девочки, которая не могла поправиться после скарлатины, и, наконец, чтоб избавиться от мелких унижений, мелких долгов дровянику, рыбнику, башмачнику, которые измучали ее. Сверх того отъезд был ей приятен еще и потому, что она мечтала залучить к себе в деревню сестру Кити, которая должна была возвратиться из-за границы в середине лета, и ей предписано было купанье. Кити писала с вод, что ничто ей так не улыбается, как провести лето с Долли в Ергушове, полном детских воспоминаний для них обеих. 279

жить, — напомнить о себе в министерстве, — и при исполнении этой обязанности, взяв почти все деньги из дому, весело и приятно проводил время и на скачках и на дачах, Долли с детьми переехала в деревню, чтоб уменьшить сколько возможно расходы. Она переехала в свою приданую деревню Ергушово, ту самую, где весной был продан лес и которая была в пятидесяти верстах от Покровского Левина.

В Ергушове большой старый дом был давно сломан, и еще князем был отделан и увеличен флигель. Флигель лет двадцать тому назад, когда Долли была ребенком, был поместителен и удобен, хоть и стоял, как все флигеля, боком к выездной аллее и к югу. Но теперь флигель этот был стар и гнил. Когда еще Степан Аркадьич ездил весной продавать лес, Долли просила его осмотреть дом и велеть поправить что нужно. Степан Аркадьич, как и все виноватые мужья, очень заботившийся об удобствах жены, сам осмотрел дом и сделал распоряжения обо всем, по его понятию, нужном. По его понятию, надо было перебить кретоном всю мебель, повесить гардины, расчистить сад, сделать мостик у пруда и посадить цветы; но он забыл много других необходимых вещей, недостаток которых потом измучал Дарью Александровну.

Как ни старался Степан Аркадьич быть заботливым отцом и мужем, он никак не мог помнить, что у него есть жена и дети. У него были холостые вкусы, и только с ними он соображался. Вернувшись в Москву, он с гордостью объявил жене, что все приготовлено, что дом будет игрушечка и что он ей очень советует ехать. Степану Аркадьичу отъезд жены в деревню был очень приятен во всех отношениях: и детям здорово, и расходов меньше, и ему свободнее. Дарья же Александровна считала переезд в деревню на лето необходимым для детей, в особенности для девочки, которая не могла поправиться после скарлатины, и, наконец, чтоб избавиться от мелких унижений, мелких долгов дровянику, рыбнику, башмачнику, которые измучали ее. Сверх того отъезд был ей приятен еще и потому, что она мечтала залучить к себе в деревню сестру Кити, которая должна была возвратиться из-за границы в середине лета, и ей предписано

Первое время деревенской жизни было для Долли очень трудное. Она живала в деревне в детстве, и у ней осталось впечатление, что деревня есть спасенье от всех городских неприятностей, что жизнь там хотя и не красива (с этим Долли легко мирилась), зато дешева и удобна: все есть, все дешево, все можно достать, и детям хорошо. Но теперь, хозяйкой приехав в деревню, она увидела, что это все совсем не так, как она думала. На другой день по их приезде пошел проливней дождь, и ночью потекло в коридоре и в детской, так что кроватки перенесли в гостиную. Кухарки людской не было; из девяти коров оказались, по словам скотницы, одни тельные, другие первым теленком, третьи стары, четвертые тугосиси; ни масла, ни молока даже детям недоставало. Яиц не было. Курицу нельзя было достать; жарили и варили старых, лиловых, жилистых петухов. Нельзя было достать баб, чтобы вымыть полы, — все были на картошках. Кататься нельзя было, потому что одна лошадь заминалась и рвала в дышле. Купаться было негде, — весь берег реки был истоптан скотиной и открыт с дороги; даже гулять нельзя было ходить, потому что скотина входила в сад через сломанный забор, и был один страшный бык, который ревел и потому, должно быть, бодался. Шкафов для платья не было. Какие были, те не закрывались и сами открывались, когда проходили мимо их. Чугунов и корчаг не было; котла для прачечной и даже гладильной доски для девичьей не было. Первое время, вместо спокойствия и отдыха попав на эти страшные, с ее точки зрения, бедствия, Дарья Александровна была в отчаянии: хлопотала изо всех сил, чувствовала безвыходность положения и каждую минуту удерживала слезы, навертывавшиеся ей на глаза. Управляющий, бывший вахмистр, которого Степан Аркадьич полюбил и определил из швейцаров за его красивую и почтительную наружность, не принимал никакого участия в бедствиях Дарьи Александровны, говорил почтительно: «Никак невозможно, такой народ скверный», и ни в чем не помогал. Положение казалось безвыходным. Но в доме Облонских, как и во всех семейных домах, было одно незаметное, но важнейшее и полезнейшее лицо — Матрена Филимоновна. Она успокоивала барыню, уверяла ее, что образуется (это было ее слово, и от нее перенял его Матвей), и сама, не торопясь и не волнуясь, действовала. 280

Первое время деревенской жизни было для Долли очень трудное. Она живала в деревне в детстве, и у ней осталось впечатление, что деревня есть спасенье от всех городских неприятностей, что жизнь там хотя и не красива (с этим Долли легко мирилась), зато дешева и удобна: все есть, все дешево, все можно достать, и детям хорошо. Но теперь, хозяйкой приехав в деревню, она увидела, что это все совсем не так, как она думала.

На другой день по их приезде пошел проливной дождь, и ночью потекло в коридоре и в детской, так что кроватки перенесли в гостиную. Кухарки людской не было; из девяти коров оказались, по словам скотницы, одни тельные, другие первым теленком, третьи стары, четвертые тугосиси; ни масла, ни молока даже детям недоставало. Яиц не было. Курицу нельзя было достать; жарили и варили старых, лиловых, жилистых петухов. Нельзя было достать баб, чтобы вымыть полы, — все были на картошках. Кататься нельзя было, потому что одна лошадь заминалась и рвала в дышле. Купаться было негде, — весь берег реки был истоптан скотиной и открыт с дороги; даже гулять нельзя было ходить, потому что скотина входила в сад через сломанный забор, и был один страшный бык, который ревел и потому, должно быть, бодался. Шкафов для платья не было. Какие были, те не закрывались и сами открывались, когда проходили мимо их. Чугунов и корчаг не было; котла для прачечной и даже гладильной доски для девичьей не было.

Первое время, вместо спокойствия и отдыха попав на эти страшные, с ее точки зрения, бедствия, Дарья Александровна была в отчаянии: хлопотала изо всех сил, чувствовала безвыходность положения и каждую минуту удерживала слезы, навертывавшиеся ей на глаза. Управляющий, бывший вахмистр, которого Степан Аркадьич полюбил и определил из швейцаров за его красивую и почтительную наружность, не принимал никакого участия в бедствиях Дарьи Александровны, говорил почтительно: «Никак невозможно, такой народ скверный», и ни в чем не помогал.

Положение казалось безвыходным. Но в доме Облонских, как и во всех семейных домах, было одно незаметное, но важнейшее и полезнейшее лицо — Матрена Фили-

Она тотчас же сошлась с приказчицей и в первый же день пила с нею и с приказчиком чай под акациями и обсуждала все дела. Скоро под акациями учредился клуб Матрены Филимоновны, и тут, через этот клуб, состоявший из приказчицы, старосты и конторщика, стали понемногу уравниваться трудности жизни, и через неделю действительно все образовалось. Крышу починили, кухарку, куму Старостину, достали, кур купили, молока стало доставать и загородили жердями сад, каток сделал плотник, к шкафам приделали крючки, и они стали отворяться не произвольно, и гладильная доска, обернутая солдатским сукном, легла с ручки кресла па комод, и в девичьей запахло утюгом, — Ну, вот! а всё отчаивались, — сказала Матрена Филимоновна, указывая на доску. Даже построили из соломенных щитов купальню. Лили стала купаться, и для Дарьи Александровны сбылись хотя отчасти ее ожидания хотя не спокойной, но удобной деревенской жизни. Спокойною с шестью детьми Дарья Александровна не могла быть. Один заболевал, другой мог заболеть, третьему недоставало чего-нибудь, четвертый выказывал признаки дурного характера, и т. д. и т. д. Редко, редко выдавались короткие спокойные периоды. Но хлопоты и беспокойства эти были для Дарьи Александровны единственно возможным счастьем. Если бы не было этого, она бы оставалась одна со своими мыслями о муже, который не любит ее. Но кроме того, как ни тяжелы были для матери страх болезней, самые болезни и горе в виду признаков дурных наклонностей в детях, — сами дети выплачивали ей уж теперь мелкими радостями за ее горести. Радости эти были так мелки, что они незаметны были, как золото в песке, и в дурные минуты она видела одни горести, один песок; но были и хорошие минуты, когда она видела одни радости, одно золото. Теперь, в уединении деревни, она чаще и чаще стала сознавать эти радости. Часто, глядя на них, она делала всевозможные усилия, чтоб убедить себя, что она заблуждается, что она, как мать, пристрастна к своим детям; все-таки она не могла не говорить себе, что у нее прелестные дети, все шестеро, все в разных родах, но такие, какие редко бывают, — и была счастлива ими и гордилась ими. 281

Она тотчас же сошлась с приказчицей и в первый же день пила с нею и с приказчиком чай под акациями и обсуждала все дела. Скоро под акациями учредился клуб Матрены Филимоновны, и тут, через этот клуб, состоявший из приказчицы, старосты и конторщика, стали понемногу уравниваться трудности жизни, и через неделю действительно все *образовалось*. Крышу починили, кухарку, куму старостину, достали, кур купили, молока стало доставать и загородили жердями сад, каток сделал плотник, к шкафам приделали крючки, и они стали отворяться не произвольно, и гладильная доска, обернутая солдатским сукном, легла с ручки кресла на комод, и в девичьей запахло утюгом.

— Ну, вот! а всё отчаивались, — сказала Матрена Филимоновна, указывая на доску.

Даже построили из соломенных щитов купальню. Лили стала купаться, и для Дарьи Александровны сбылись хотя отчасти ее ожидания хотя не спокойной, но удобной деревенской жизни. Спокойною с шестью детьми Дарья Александровна не могла быть. Один заболевал, другой мог заболеть, третьему недоставало чего-нибудь, четвертый выказывал признаки дурного характера, и т. д. и т. д. Редко, редко выдавались короткие спокойные периоды. Но хлопоты и беспокойства эти были для Дарьи Александровны единственно возможным счастьем. Если бы не было этого, она бы оставалась одна со своими мыслями о муже, который не любит ее. Но кроме того, как ни тяжелы были для матери страх болезней, самые болезни и горе в виду признаков дурных наклонностей в детях, — сами дети выплачивали ей уж теперь мелкими радостями за ее горести. Радости эти были так мелки, что они незаметны были, как золото в песке, и в дурные минуты она видела одни горести, один песок; но были и хорошие минуты, когда она видела одни радости, одно золото.

Теперь, в уединении деревни, она чаще и чаще стала сознавать эти радости. Часто, глядя на них, она делала всевозможные усилия, чтоб убедить себя, что она заблуждается, что она, как мать, пристрастна к своим детям; все-таки она не могла не говорить себе, что у нее пре-

vili в конце мая, когда уже все более или менее устроилось, она получила от мужа ответ на свои жалобы о деревенских неустройствах. Он писал ей, прося проп^ения в том, что не обдумал всего, и обещал приехать при первой возможности. Возможность эта не представилась, и до начала июня Дарья Александровна жила одна в деревне. Петровками, в воскресенье, Дарья Александровна ездила к обедне причащать всех своих детей. Дарья Александровна в своих задушевных, философских разговорах с сестрой, матерью, друзьями очень часто удивляла их своим вольнодумством относительно религии. У ней была своя странная религия метемпсихозы, в которую она твердо верила, мало заботясь о догматах церкви. Но в семье она — и не для того только, чтобы показывать пример, а от всей души — строго исполняла все церковные требования, и то что дети около года не были у причастия, очень беспокоило ее, и, с полным одобрением и сочувствием Матрены Филимоновны, она решила совершить это теперь летом. Дарья Александровна за несколько дней вперед обдумала, как одеть всех детей. Были сшиты, переделаны и вымыты платья, выпущены рубцы и оборки, пришиты пуговки и приготовлены ленты. Одно платье па Таню, которое взялась шить англичанка, испортило хмного крови Дарье Александровне. Англичанка, перешивая, сделала вытачки не на месте, слишком вынула рукава и совсем было испортила платье. Тане подхватило плечи так, что видеть было больно. Но Матрена Филимоновна догадалась вставить клинья и сделать пелеринку. Дело поправилось, но с англичанкой произошла было почти ссора. Наутро, однако, все устроилось, и к девяти часам — срок, до которого просили батюшку подождать с обедней, — сияющие радостью, разодетые дети стояли у крыльца пред коляской, дожидаясь матери. В коляску, вместо заминающегося Ворона, запрягли по протекции Матрены Филимоновны, приказчикова Бурого, и Дарья Александровна, задержанная заботами о своем туалете, одетая в белое кисейное платье, вышла садиться. Дарья Александровна причесывалась и одевалась с заботой и волнением. Прежде она одевалась для себя, чтобы быть красивой и нравиться; потом, чем больше она 282

VIII

В конце мая, когда уже все более или менее устроилось, она получила от мужа ответ на свои жалобы о деревенских неустройствах. Он писал ей, прося прощения в том, что не обдумал всего, и обещал приехать при первой возможности. Возможность эта не представилась, и до начала июня Дарья Александровна жила одна в деревне.

Петровками, в воскресенье, Дарья Александровна ездила к обедне причащать всех своих детей. Дарья Александровна в своих задушевных, философских разговорах с сестрой, матерью, друзьями очень часто удивляла их своим вольнодумством относительно религии. У ней была своя странная религия метемпсихозы, в которую она твердо верила, мало заботясь о догматах церкви. Но в семье она — и не для того только, чтобы показывать пример, а от всей души — строго исполняла все церковные требования, и то что дети около года не были у причастия, очень беспокоило ее, и, с полным одобрением и сочувствием Матрены Филимоновны, она решила совершить это теперь летом.

Дарья Александровна за несколько дней вперед обдумала, как одеть всех детей. Были сшиты, переделаны и вымыты платья, выпущены рубцы и оборки, пришиты пуговки и приготовлены ленты. Одно платье на Таню, которое взялась шить англичанка, испортило много крови Дарье Александровне. Англичанка, перешивая, сделала вытачки не на месте, слишком вынула рукава и совсем было испортила платье. Тане подхватило плечи так, что видеть было больно. Но Матрена Филимоновна догадалась вставить клинья и сделать пелеринку. Дело поправилось, но с англичанкой произошла было почти ссора. Наутро, однако, все устроилось, и к девяти часам — срок, до которого просили батюшку подождать с обедней, — сияющие радостью, разодетые дети стояли у крыльца пред коляской, дожидаясь матери.

В коляску, вместо заминающегося Ворона, запрягли по протекции Матрены Филимоновны, приказчикова Бурого, и Дарья Александровна, задержанная заботами о своем туалете, одетая в белое кисейное платье, вышла садиться.

старелась, тем неприятнее ей становилось одеваться; она видела, как она подурнела. Но теперь она опять одевалась с удовольствием и волнением. Теперь она одевалась не для себя, не для своей красоты, а для того, чтоб она, как мать этих прелестей не испортила общего впечатления. И, посмотревшись в последний раз в зеркало, она осталась собой довольна. Она была хороша. Не так хороша, как она, бывало, хотела быть хороша на бале, но хороша для той цели, которую она теперь имела в виду. В церкви никого, кроме мужиков и дворников и их баб, не было. Но Дарья Александровна видела, или ей казалось, что видела, восхищение, возбуждаемое ее детьми и ею. Дети не только были прекрасны собой в своих нарядных платьицах, по они были милы тем, как хорошо они себя держали. Алеша, правда, стоял не совсем хорошо: он все поворачивался и хотел видеть сзади свою курточку; но все-таки он был необыкновенно мил. Таня стояла как большая и смотрела за маленькими. Но меньшая. Лили, была прелестна своим наивным удивлением пред всем, и трудно было не улыбнуться, когда, причастившись, она сказала: «Please, some more» ^ Возвращаясь домой, дети чувствовали, что что-то торжественное совершилось, и были очень смирны. Все шло хорошо и дома; но за завтраком Гриша стал свистать и, что было хуже всего, не послушался англичанки и был оставлен без сладкого пирога. Дарья Александровна не допустила бы в такой день до наказания, если б она была тут; но надо было поддержать распоряжение англичанки, и она подтвердила ее решение, что Грише не будет сладкого пирога. Это испортило немного общую радость. Гриша плакал, говоря, что и Николенъка свистал, но что вот его не наказали, и что он не от пирога плачет, — ему все равно, — но о том, что несправедливы. Это было слишком уже грустно, и Дарья Александровна решилась, переговорив с англичанкой, простить Гришу и пошла к ней. Но тут, проходя чрез залу, она увидала сцену, наполнившую такою радостью ее сердце, что слезы выступили ей на глаза, и она сама простила преступника. Наказанный сидел в зале на угловом окне; подле него стояла Таня с тарелкой. Под видом желания обеда для кукол, она попросила у англичанки позволения снести * Пожалуйста, еще немножко (англ.).

старелась, тем неприятнее ей становилось одеваться; она видела, как она подурнела. Но теперь она опять одевалась с удовольствием и волнением. Теперь она одевалась не для себя, не для своей красоты, а для того, чтоб она, как мать этих прелестей не испортила общего впечатления. И, посмотревшись в последний раз в зеркало, она осталась собой довольна. Она была хороша. Не так хороша, как она, бывало, хотела быть хороша на бале, но хороша для той цели, которую она теперь имела в виду.

В церкви никого, кроме мужиков и дворников и их баб, не было. Но Дарья Александровна видела, или ей казалось, что видела, восхищение, возбуждаемое ее детьми и ею. Дети не только были прекрасны собой в своих нарядных платьицах, но они были милы тем, как хорошо они себя держали. Алеша, правда, стоял не совсем хорошо: он все поворачивался и хотел видеть сзади свою курточку; но все-таки он был необыкновенно мил. Таня стояла как большая и смотрела за маленькими. Но меньшая, Лили, была прелестна своим наивным удивлением пред всем, и трудно было не улыбнуться, когда, причастившись, она сказала: «Please, some more» [1].

Возвращаясь домой, дети чувствовали, что что-то торжественное совершилось, и были очень смирны.

Все шло хорошо и дома; но за завтраком Гриша стал свистать и, что было хуже всего, не послушался англичанки и был оставлен без сладкого пирога. Дарья Александровна не допустила бы в такой день до наказания, если б она была тут; но надо было поддержать распоряжение англичанки, и она подтвердила ее решение, что Грише не будет сладкого пирога. Это испортило немного общую радость.

Гриша плакал, говоря, что и Николенька свистал, но что вот его не наказали, и что он не от пирога плачет, — ему все равно, — но о том, что несправедливы. Это было слишком уже грустно, и Дарья Александровна решилась, переговорив с англичанкой, простить Гришу и пошла к ней. Но тут, проходя чрез залу, она увидала сцену, наполнившую такою радостью ее сердце, что слезы выступили ей на глаза, и она сама простила преступника.

Наказанный сидел в зале на угловом окне; подле него стояла Таня с тарелкой. Под видом желания обеда для

свою порцию пирога в детскую и вместо этого принесла ее брату. Продолжая плакать о несправедливости претерпенного им наказания, он ел принесенный пирог и сквозь рыдания говорил: «Ешь сама, вместе будем есть... вместе». На Таню сначала подействовала жалость за Гришу, потом сознание своего добродетельного поступка, и слезы у ней тоже стояли в глазах; но она, не отказываясь, ела свою долю. Увидав мать, они испугались, но, вглядевшись в ее лицо, поняли, что они делают хорошо, засмеялись и с полными пирогом ртами стали обтирать улыбающиеся губы руками и измазали все свои сияющие лица слезами и вареньем. — Матушки!! Новое белое платье! Таня! Гриша! — говорила мать, стараясь спасти платье, но со слезами на глазах улыбаясь блаженною, восторженною улыбкой. Новые платья сняли, велели надеть девочкам блузки, а мальчикам старые курточки и велели закладывать линейку — опять, к огорчению приказчика, — Бурого в дышло, чтоб ехать за грибами и на купальню. Стон восторженного визга поднялся в детской и не умолкал до самого отъезда на купальню. Грибов набрали целую корзинку, даже Лили нашла березовый гриб. Прежде бывало так, что мисс Гуль найдет и покажет ей; по теперь она сама нашла большой березовый шлюпик, и был общий восторженный крик: «Лили нашла шлюпик!» Потом подъехали к реке, поставили лошадей под березками и пошли в купальню. Кучер Терентий, привязав к дереву отмахивающихся от оводов лошадей, лег, приминая траву, в тени березы и курил тютюн, а из купальни доносился до него неумолкавший детский веселый визг. Хотя и хлопотливо было смотреть за всеми детьми и останавливать их шалости, хотя и трудно было вспомнить и не перепутать все эти чулочки, панталончики, башмачки с разных ног и развязывать, расстегивать и завязывать тесемочки и пуговки, Дарья Александровна, сама для себя любившая всегда купанье, считавшая его полезным для детей, ничем так не наслаждалась, как этим купаньем со всеми детьми. Перебирать все эти пухленькие ножки, натягивая на них чулочки, брать в руки и окунать эти голенькие тельца и слышать то радостные, то испуганные визги; видеть эти задыхающиеся, с откры

свою порцию пирога в детскую и вместо этого принесла ее брату. Продолжая плакать о несправедливости претерпенного им наказания, он ел принесенный пирог и сквозь рыдания говорил: «Ешь сама, вместе будем есть... вместе».

На Таню сначала подействовала жалость за Гришу, потом сознание своего добродетельного поступка, и слезы у ней тоже стояли в глазах; но она, не отказываясь, ела свою долю.

Увидав мать, они испугались, но, вглядевшись в ее лицо, поняли, что они делают хорошо, засмеялись и с полными пирогом ртами стали обтирать улыбающиеся губы руками и измазали все свои сияющие лица слезами и вареньем.

— Матушки!! Новое белое платье! Таня! Гриша! — говорила мать, стараясь спасти платье, но со слезами на глазах улыбаясь блаженною, восторженною улыбкой.

Новые платья сняли, велели надеть девочкам блузки, а мальчикам старые курточки и велели закладывать линейку — опять, к огорчению приказчика, — Бурого в дышло, чтоб ехать за грибами и на купальню. Стон восторженного визга поднялся в детской и не умолкал до самого отъезда на купальню.

Грибов набрали целую корзинку, даже Лили нашла березовый гриб. Прежде бывало так, что мисс Гуль найдет и покажет ей; но теперь она сама нашла большой березовый шлюпик, и был общий восторженный крик: «Лили нашла шлюпик!»

Потом подъехали к реке, поставили лошадей под березками и пошли в купальню. Кучер Терентий, привязав к дереву отмахивающихся от оводов лошадей, лег, приминая траву, в тени березы и курил тютюн, а из купальни доносился до него неумолкавший детский веселый визг.

Хотя и хлопотливо было смотреть за всеми детьми и останавливать их шалости, хотя и трудно было вспомнить и не перепутать все эти чулочки, панталончики, башмачки с разных ног и развязывать, расстегивать и завязывать тесемочки и пуговки, Дарья Александровна, сама для себя любившая всегда купанье, считавшая его полезным для детей, ничем так не наслаждалась, как этим купаньем со всеми детьми. Перебирать все эти пух-

тыми, испуганными и иеселыми глазами лица, этих брызгающихся своих херувимчиков было для нее большое наслаждение. Когда уже половина детей были одеты, к купальне подошли и робко остановились нарядные бабы, ходившие за сиыткой и молочником. Матрена Филимоновна кликнула одну, чтобы дать ей высушить уроненную в воду простыню и рубашку, и Дарья Александровна разговорилась с бабами. Бабы, сначала смеявшиеся в руку и не понимавшие вопроса, скоро осмелились и разговорились, тотчас же подкупив Дарью Александровну искренним любованием детьми, которое они выказывали. — Ишь ты красавица, беленькая, как сахар, — говорила одна, любуясь на Танечку и покачивая головой. — А худая... — Да, больна была. — Вишь ты, знать, тоже купали, — говорила другая па грудного. — Нет, ему только три месяца, — отвечала с гордостью Дарья Александровна. — Ишь ты! — А у тебя есть дети? — Было четверо, двое осталось: мальчик и девочка. Вот в прошлый мясоед отняла. — А сколько ей? — Да другой годок. — Что же ты так долго кормила? — Наше обыкновение: три поста... И разговор стал самый интересный для Дарьи Александровны: как рожала? чем был болен? где муж? часто ли бывает? Дарье Александровне не хотелось уходить от баб, так интересен ей был разговор с ними, так совершенно одни и те же были их интересы. Приятнее же всего Дарье Александровне было то, что она ясно видела, как все эти женщины любовались более всего тем, как много было у нее детей и как они хороши. Бабы и насмешили Дарью Александровну и обидели англичанку тем, что она была причиной этого непонятного для нее смеха. Одна из молодых баб приглядывалась к англичанке, одевавшейся после всех, и когда она надела на себя третью юбку, то не могла удержаться от замечания: «Ишь ты, крутила, крутила, все не накрутит!» — сказала она, и все разразились хохотом. 285

тыми, испуганными и веселыми глазами лица, этих брызгающихся своих херувимчиков было для нее большое наслаждение.

Когда уже половина детей были одеты, к купальне подошли и робко остановились нарядные бабы, ходившие за снытkой и молочником. Матрена Филимоновна кликнула одну, чтобы дать ей высушить уроненную в воду простыню и рубашку, и Дарья Александровна разговорилась с бабами. Бабы, сначала смеявшиеся в руку и не понимавшие вопроса, скоро осмелились и разговорились, тотчас же подкупив Дарью Александровну искренним любованием детьми, которое они выказывали.

— Ишь ты красавица, беленькая, как сахар,— говорила одна, любуясь на Танечку и покачивая головой.— А худая...

— Да, больна была.

— Вишь ты, знать, тоже купали,— говорила другая на грудного.

— Нет, ему только три месяца,— отвечала с гордостью Дарья Александровна.

— Ишь ты!

— А у тебя есть дети?

— Было четверо, двое осталось: мальчик и девочка. Вот в прошлый мясоед отняла.

— А сколько ей?

— Да другой годок.

— Что же ты так долго кормила?

— Наше обыкновение: три поста...

И разговор стал самый интересный для Дарьи Александровны: как рожала? чем был болен? где муж? часто ли бывает?

Дарье Александровне не хотелось уходить от баб, так интересен ей был разговор с ними, так совершенно одни и те же были их интересы. Приятнее же всего Дарье Александровне было то, что она ясно видела, как все эти женщины любовались более всего тем, как много было у нее детей и как они хороши. Бабы и насмешили Дарью Александровну и обидели англичанку тем, что она была причиной этого непонятного для нее смеха. Одна из молодых баб приглядывалась к англичанке, одевавшейся после всех, и когда она надела на себя третью юбку, то не

IX Окруженная всеми выкупанными, с мокрыми головами, детьми, Дарья Александровна, с платком па голове, уже подъезжала к дому, когда кучер сказал: — Барин какой-то идет, кажется, покровский. Дарья Александровна выглянула вперед и обрадовалась, увидав в серой шляпе и сером пальто знакомую фигуру Левина, шедшего им навстречу. Она и всегда рада ему была, но теперь особенно рада была, что он видит ее во всей ее славе. Никто лучше Левина не мог понять ее величия, и в чем оно состояло. Увидав ее, он очутился пред одною из картин своего когда-то воображаемого семейного быта. — Вы точно наседка, Дарья Александровна. — Ах, как я рада! — сказала опа, протягивая ему руку. — Рады, а не дали знать. У меня брат живет. Уж я от Стивы получил записочку, что вы тут. — От Стивы? — с удивлением спросила Дарья Александровна. — Да, он пишет, что вы переехали, и думает, что вы позволите мне помочь вам чем-нибудь,— сказал Левин и, сказав это, вдруг смутился и, прервав речь, молча продолжал идти подле линейки, срывая липовые побеги и перекусывая их. Он смутился вследствие предположения, что Дарье Александровне будет неприятна помощь посторон^ него человека в том деле, которое должно было быть сделано ее мужем. Дарье Александровне действительно не нравилась эта манера Степана Аркадьича навязывать свои семейные дела чужим. И она тотчас же поняла, что Левин понимает это. За эту-то тонкость понимания, за эту деликатность и любила Левина Дарья Александровна. — Я понял, разумеется, — сказал Левин, — что это только значит то, что вы хотите меня видеть, и очень рад. Разумеется, я воображаю, что вам, городской хозяйке, здесь дико, и, если что нужно, я весь к вашим услугам. — О нет! — сказала Долли. — Первое время было неудобно, а теперь все прекрасно устроилось благодаря моей старой няне,— сказала она, указывая на Матрену Филимоновну, понимавшую, что говорят о ней, и весело и дружелюбно улыбавшуюся Левину. Она знала его и знала, что это хороший жених барышне, и л^елала, чтобы дело сладилось. 286

IX

Окруженная всеми выкупанными, с мокрыми головами, детьми, Дарья Александровна, с платком на голове, уже подъезжала к дому, когда кучер сказал:

— Барин какой-то идет, кажется, покровский.

Дарья Александровна выглянула вперед и обрадовалась, увидав в серой шляпе и сером пальто знакомую фигуру Левина, шедшего им навстречу. Она и всегда рада ему была, но теперь особенно рада была, что он видит ее во всей ее славе. Никто лучше Левина не мог понять ее величия, и в чем оно состояло.

Увидав ее, он очутился пред одною из картин своего когда-то воображаемого семейного быта.

— Вы точно наседка, Дарья Александровна.

— Ах, как я рада! — сказала она, протягивая ему руку.

— Рады, а не дали знать. У меня брат живет. Уж я от Стивы получил записочку, что вы тут.

— От Стивы? — с удивлением спросила Дарья Александровна.

— Да, он пишет, что вы переехали, и думает, что вы позволите мне помочь вам чем-нибудь,— сказал Левин и, сказав это, вдруг смутился и, прервав речь, молча продолжал идти подле линейки, срывая липовые побеги и перекусывая их. Он смутился вследствие предположения, что Дарье Александровне будет неприятна помощь постороннего человека в том деле, которое должно было быть сделано ее мужем. Дарье Александровне действительно не нравилась эта манера Степана Аркадьича навязывать свои семейные дела чужим. И она тотчас же поняла, что Левин понимает это. За эту-то тонкость понимания, за эту деликатность и любила Левина Дарья Александровна.

— Я понял, разумеется,— сказал Левин,— что это только значит то, что вы хотите меня видеть, и очень рад. Разумеется, я воображаю, что вам, городской хозяйке, здесь дико, и, если что нужно, я весь к вашим услугам.

— О нет! — сказала Долли.— Первое время было неудобно, а теперь все прекрасно устроилось благодаря моей старой няне,— сказала она, указывая на Матрену Филимоновну, понимавшую, что говорят о ней, и весело

— Извольте садиться, мы сюда потеснимся, — сказала она ему. — Нет, я пройдусь. Дети, кто со мной наперегонки с лошадьми? Дети знали Левина очень мало, не помнили, когда видали его, но не высказывали в отношении к нему того странного чувства застенчивости и отвраш;ения, которое испытывают дети так часто к взрослым притворяющимся людям и за которое им так часто и больно достается. Притворство в чем бы то ни было может обмануть самого умного, проницательного человека: но самый ограниченный ребенок, как бы оно ни было искусно скрываемо, узнает его и отвращается. Какие бы ни были недостатки в Левине, притворства не было в нем и признака, и потому дети высказали ему дружелюбие такое же, какое они нашли па лице матери. На приглашение его два старшие тотчас же соскочили к нему и побежали с ним так же просто, как бы они побежали с няней, с мисс Гуль или с матерью. Лили тоже стала проситься к нему, и мать передала ее ему, он посадил ее на плечо и побежал с ней. — Не бойтесь, не бойтесь, Дарья Александровна! — говорил он, весело улыбаясь матери,— невозможно, чтоб я ушиб или уронил. И, глядя на его ловкие, сильные, осторожно заботливые и слишком напряженные движения, мать успокоилась и весело и одобрительно улыбалась, глядя на него. Здесь, в деревне, с детьми и с симпатичною ему Дарьей Александровной, Левин пришел в то, часто находившее па него детски-веселое расположение духа, которое Дарья Александровна особенно любила в нем. Бегая с детьми, он учил их гимнастике, смешил мисс Гуль своим дурным английским языком и рассказывал Дарье Александровне свои занятия в деревне. После обеда Дарья Александровна, сидя с ним одна на балконе, заговорила о Кити. — Вы знаете? Кити приедет сюда и проведет со мною лето. — Право? — сказал он, вспыхнув, и тотчас же, чтобы переменить разговор, сказал: — Так прислать вам двух коров? Если вы хотите считаться, то извольте заплатить мне по пяти рублей в месяц, если вам не совестно. — Нет, благодарствуйте. У нас устроилось. — Ну, так я ваших коров посмотрю, и, если позволите, я распоряжусь, как их кормить. Все дело в корме. 287

— Извольте садиться, мы сюда потеснимся,— сказала она ему.

— Нет, я пройдусь. Дети, кто со мной наперегонки с лошадьми?

Дети знали Левина очень мало, не помнили, когда видали его, но не высказывали в отношении к нему того странного чувства застенчивости и отвращения, которое испытывают дети так часто к взрослым притворяющимся людям и за которое им так часто и больно достается. Притворство в чем бы то ни было может обмануть самого умного, проницательного человека: но самый ограниченный ребенок, как бы оно ни было искусно скрываемо, узна́ет его и отвращается. Какие бы ни были недостатки в Левине, притворства не было в нем и признака, и потому дети высказали ему дружелюбие такое же, какое они нашли на лице матери. На приглашение его два старшие тотчас же соскочили к нему и побежали с ним так же просто, как бы они побежали с няней, с мисс Гуль или с матерью. Лили тоже стала проситься к нему, и мать передала ее ему, он посадил ее на плечо и побежал с ней.

— Не бойтесь, не бойтесь, Дарья Александровна!— говорил он, весело улыбаясь матери,— невозможно, чтоб я ушиб или уронил.

И, глядя на его ловкие, сильные, осторожно заботливые и слишком напряженные движения, мать успокоилась и весело и одобрительно улыбалась, глядя на него.

Здесь, в деревне, с детьми и с симпатичною ему Дарьей Александровной, Левин пришел в то, часто находившее на него детски-веселое расположение духа, которое Дарья Александровна особенно любила в нем. Бегая с детьми, он учил их гимнастике, смешил мисс Гуль своим дурным английским языком и рассказывал Дарье Александровне свои занятия в деревне.

После обеда Дарья Александровна, сидя с ним одна на балконе, заговорила о Кити.

— Вы знаете? Кити приедет сюда и проведет со мною лето.

— Право? — сказал он, вспыхнув, и тотчас же, чтобы переменить разговор, сказал: — Так прислать вам двух коров? Если вы хотите считаться, то извольте заплатить мне по пяти рублей в месяц, если вам не совестно.

— Нет, благодарствуйте. У нас устроилось

и Левин, чтобы только отвлечь разговор, изложил Дарье Александровне теорию молочного хозяйства, состоявшую в том, что корова есть только машина для переработки корма в молоко, и т. д. Он говорил это и страстно желал услыхать подробности о Кити и вместе боялся этого. Ему страшно было, что расстроится приобретенное им с таким трудом спокойствие. — Да, но, впрочем, за всем этим надо следить, а кто же будет? — неохотно отвечала Дарья Александровна. Она так теперь наладила свое хозяйство через Матрену Филимоновну, что ей не хотелось ничего менять в нем; да она и не верила знанию Левина в сельском хозяйстве. Рассуждения о том, что корова есть машина для деланья молока, были ей подозрительны. Ей казалось, что такого рода рассуждения могут только мешать хозяйству. Ей казалось все это гораздо проще: что надо только, как объясняла Матрена Филимоновна, давать Пеструхе и Белопахой больше корму и пойла и чтобы повар не уносил помои из кухни для прачкиной коровы. Это было ясно. А рассуждения о мучном и травяном корме были сомнительны и неясны. Главное же, ей хотелось говорить о Кити. Х — Кити пишет мне, что ничего так не желает, как уединения и спокойствия, — сказала Долли после наступившего молчания. — А что, здоровье ее лучше? — с волнением спросил Левин. — Слава богу, она совсем поправилась. Я никогда не верила, чтоб у нее была грудная болезнь. — Ах, я очень рад! — сказал Левин, и что-то трогательное, беспомощное показалось Долли в его лице в то время, как он сказал это и молча смотрел на нее. — Послушайте, Константин Дмитрия, — сказала Дарья Александровна, улыбаясь своею доброю и несколько насмешливою улыбкой, — за что вы сердитесь на Кити? — Я? Я не сержусь, — сказал Левин. — Нет, вы сердитесь. Отчего вы не заехали ни к нам, ни к ним, когда были в Москве? — Дарья Александровна, — сказал он, краснея до корней волос, — я удивляюсь даже, что вы, с вашею добротой. 288

И Левин, чтобы только отвлечь разговор, изложил Дарье Александровне теорию молочного хозяйства, состоявшую в том, что корова есть только машина для переработки корма в молоко, и т. д.

Он говорил это и страстно желал услыхать подробности о Кити и вместе боялся этого. Ему страшно было, что расстроится приобретенное им с таким трудом спокойствие.

— Да, но, впрочем, за всем этим надо следить, а кто же будет? — неохотно отвечала Дарья Александровна.

Она так теперь наладила свое хозяйство через Матрену Филимоновну, что ей не хотелось ничего менять в нем; да она и не верила знанию Левина в сельском хозяйстве. Рассуждения о том, что корова есть машина для деланья молока, были ей подозрительны. Ей казалось, что такого рода рассуждения могут только мешать хозяйству. Ей казалось все это гораздо проще: что надо только, как объясняла Матрена Филимоновна, давать Пеструхе и Белопахой больше корму и пойла и чтобы повар не уносил помои из кухни для прачкиной коровы. Это было ясно. А рассуждения о мучном и травяном корме были сомнительны и неясны. Главное же, ей хотелось говорить о Кити.

X

— Кити пишет мне, что ничего так не желает, как уединения и спокойствия,— сказала Долли после наступившего молчания.

— А что, здоровье ее лучше? — с волнением спросил Левин.

— Слава богу, она совсем поправилась. Я никогда не верила, чтоб у нее была грудная болезнь.

— Ах, я очень рад!— сказал Левин, и что-то трогательное, беспомощное показалось Долли в его лице в то время, как он сказал это и молча смотрел на нее.

— Послушайте, Константин Дмитрич,— сказала Дарья Александровна, улыбаясь своею доброю и несколько насмешливою улыбкой, — за что вы сердитесь на Кити?

— Я? Я не сержусь,— сказал Левин.

— Нет, вы сердитесь. Отчего вы не заехали ни к нам,

не чувствуете этого. Как вам просто не жалко меня, когда вы знаете... — Что я знаю? — Знаете, что я делал предложение и что мне отказано,— проговорил Левин, и вся та нежность, которую минуту тому назад он чувствовал к Кити, заменилась в душе его чувством злобы за оскорбление. — Почему же вы думаете, что я знаю? — Потому что все это знают. — Вот уж в этом вы ошибаетесь; я не знала этого, хотя и догадывалась. — А! ну так вы теперь знаете. — Я знала только то, что что-то было, но что, я никогда не могла узнать от Кити. Я видела только, что бы-^ ло что-то, что ее ужасно мучало, и что она просила меня никогда не говорить об этом. А если она не сказала мне, то она никому не говорила. Но что же у вас было? Скажите мне. — Я вам сказал, что было. — Когда? — Когда я был в последний раз у вас. — А знаете, что я вам скажу, — сказала Дарья Александровна, — мне ее ужасно, ужасно жалко. Вы страдаете только от гордости... — Может быть, — сказал Левин,— но... Она перебила его: — Но ее, бедняжку, мне ужасно и ужасно жалко. Теперь я все понимаю. — Ну, Дарья Александровна, вы меня извините,— сказал он, вставая. — Прощайте! Дарья Александровна, до свиданья. — Нет, постойте, — сказала она, схватывая его за рукав. — Постойте, садитесь. — Пожалуйста, пожалуйста, не будем говорить об этом, — сказал он, садясь и вместе с тем чувствуя, что в сердце его поднимается и шевелится казавшаяся ему похороненною надежда. — Если б я вас не любила, — сказала Дарья Александровна, и слезы выступили ей на глаза, — если б я вас не знала, как я вас знаю... Казавшееся мертвым чувство оживало все более и более, поднималось и завладевало сердцем Левина. — Да, я теперь все поняла, — продолжала Дарья Александровна. — Вы этого не можете понять; вам, 10 Л. Н. Толстой, т. 8 289

не чувствуете этого. Как вам просто не жалко меня, когда вы знаете...

— Что я знаю?

— Знаете, что я делал предложение и что мне отказано,— проговорил Левин, и вся та нежность, которую минуту тому назад он чувствовал к Кити, заменилась в душе его чувством злобы за оскорбление.

— Почему же вы думаете, что я знаю?

— Потому что все это знают.

— Вот уж в этом вы ошибаетесь; я не знала этого, хотя и догадывалась.

— А! ну так вы теперь знаете.

— Я знала только то, что что-то было, но что, я никогда не могла узнать от Кити. Я видела только, что было что-то, что ее ужасно мучало, и что она просила меня никогда не говорить об этом. А если она не сказала мне, то она никому не говорила. Но что же у вас было? Скажите мне.

— Я вам сказал, что было.

— Когда?

— Когда я был в последний раз у вас.

— А знаете, что я вам скажу, — сказала Дарья Александровна, — мне ее ужасно, ужасно жалко. Вы страдаете только от гордости...

— Может быть, — сказал Левин,— но...

Она перебила его:

— Но ее, бедняжку, мне ужасно и ужасно жалко. Теперь я все понимаю.

— Ну, Дарья Александровна, вы меня извините,— сказал он, вставая. — Прощайте! Дарья Александровна, до свиданья.

— Нет, постойте, — сказала она, схватывая его за рукав. — Постойте, садитесь.

— Пожалуйста, пожалуйста, не будем говорить об этом, — сказал он, садясь и вместе с тем чувствуя, что в сердце его поднимается и шевелится казавшаяся ему похороненною надежда.

— Если б я вас не любила, — сказала Дарья Александровна, и слезы выступили ей на глаза, — если б я вас не знала, как я вас знаю...

Казавшееся мертвым чувство оживало все более и бо-

мужчинам, свободным и выбирающим, всегда ясно, кого вы любите. Но девушка в положении ожидания, с этим женским, девичьим стыдом, девушка, которая видит вас, мужчин, издалека, принимает все на слово, — у девушки бывает и может быть такое чувство, что она не знает, кого она любит, и не знает, что сказать. — Да, если сердце не говорит... — Нет, сердце говорит, но вы подумайте: вы, мужчины, имеете виды на девушку, вы ездите в дом, вы сближаетесь, высматриваете, выжидаете, найдете ли вы то, что вы любите, и потом, когда вы убеждены, что любите, вы делаете предложение... — Ну, это не совсем так. — Все равно, вы делаете предложение, когда ваша любовь созрела или когда у вас между двумя выбираемыми совершился перевес. А девушку не спрашивают. Хотят, чтоб она сама выбирала, а она не может выбрать и только отвечает: да и нет. «Да, выбор между мной и Вронским», — подумал Левин, и оживавший в душе его мертвец опять умер и только мучительно давил его сердце. — Дарья Александровна, — сказал он, — так выбирают платье или не знаю какую покупку, а не любовь. Выбор сделан, и тем лучше... И повторенья быть не может. — Ах, гордость и гордость! — сказала Дарья Александровна, как будто презирая его за низость этого чувства в сравнении с тем, другим чувством, которое знают одни женщины. — В то время как вы делали предложение Кити, она именно была в том положении, когда она не могла отвечать. В ней было колебание. Колебагіие: вы или Вронский. Его она видела каждый день, вас давно не видала. Положим, если б она была старше, — для меня, например, на ее месте не могло бы быть колебанья. Он мне всегда противен был, и так и кончилось. Левин вспомнил ответ Кити. Она сказала: Нет, это не может бытъ,,, — Дарья Александровна, — сказал он сухо, — я ценю вашу доверенность ко мне; я думаю, что вы ошибаетесь. Но, прав я или не прав, эта гордость, которую вы так презираете, делает то, что для меня всякая мысль о Катерине Александровне невозможна, — вы понимаете, совершенно невозможна. — Я только одно еще скажу, вы понпмаете, что я говорю о сестре, которую я люблю, как своих детей. 290

мужчинам, свободным и выбирающим, всегда ясно, кого вы любите. Но девушка в положении ожидания, с этим женским, девичьим стыдом, девушка, которая видит вас, мужчин, издалека, принимает все на слово, — у девушки бывает и может быть такое чувство, что она не знает, кого она любит, и не знает, что сказать.

— Да, если сердце не говорит...

— Нет, сердце говорит, но вы подумайте: вы, мужчины, имеете виды на девушку, вы ездите в дом, вы сближаетесь, высматриваете, выжидаете, найдете ли вы то, что вы любите, и потом, когда вы убеждены, что любите, вы делаете предложение...

— Ну, это не совсем так.

— Все равно, вы делаете предложение, когда ваша любовь созрела или когда у вас между двумя выбираемыми совершился перевес. А девушку не спрашивают. Хотят, чтоб она сама выбирала, а она не может выбрать и только отвечает: да и нет.

«Да, выбор между мной и Вронским», — подумал Левин, и оживавший в душе его мертвец опять умер и только мучительно давил его сердце.

— Дарья Александровна, — сказал он, — так выбирают платье или не знаю какую покупку, а не любовь. Выбор сделан, и тем лучше... И повторенья быть не может.

— Ах, гордость и гордость! — сказала Дарья Александровна, как будто презирая его за низость этого чувства в сравнении с тем, другим чувством, которое знают одни женщины. — В то время как вы делали предложение Кити, она именно была в том положении, когда она не могла отвечать. В ней было колебание. Колебание: вы или Вронский. Его она видела каждый день, вас давно не видала. Положим, если б она была старше, — для меня, например, на ее месте не могло бы быть колебанья. Он мне всегда противен был, и так и кончилось.

Левин вспомнил ответ Кити. Она сказала: *Нет, это не может быть...*

— Дарья Александровна, — сказал он сухо, — я ценю вашу доверенность ко мне; я думаю, что вы ошибаетесь. Но, прав я или не прав, эта гордость, которую вы так презираете, делает то, что для меня всякая мысль о Катерине Александровне невозможна, — вы понимаете, со-

я не говорю, чтоб она любила вас, но я только хотела сказать, что ее отказ в ту минуту ничего не доказывает. — Я не знаю! — вскакивая, сказал Левин. — Если бы вы знали, как вы больно мне делаете! Все равно, как у вас бы умер ребенок, а вам бы говорили: а вот он был бы такой, такой, и мог бы жить, и вы бы на него радовались. А он умер, умер, умер... — Как вы смешны, — сказала Дарья Александровна с грустною усмешкой, несмотря на волненье Левина. — Да, я теперь все понимаю, — продолжала она задумчиво. — Так вы не приедете к нам, когда Кити будет? — Нет, не приеду. Разумеется, я не буду избегать Катерины Александровны, по, где могу, постараюсь избавить ее от неприятности моего присутствия. — Очень, очень вы смешны, — повторила Дарья Александровна, с нежностью вглядываясь в его лицо. — Ну, хорошо, так как будто мы ничего про это не говорили. Зачем ты пришла, Таня? — сказала Дарья Александровна по-французски вошедшей девочке. — Где моя лопатка, мама? — Я говорю по-французски, и ты так же скажи. Девочка хотела сказать, но забыла, как лопатка, мать подсказала ей и потом по-французски же сказала, где отыскать лопатку. И это показалось Левину неприятным. Все теперь казалось ему в доме Дарьи Александровны и в ее детях совсем уже не так мило, как прежде. «И для чего она говорит по-французски с детьми? — подумал он. — Как это неестественно и фальшиво! И дети чувствуют это. Выучить по-французски и отучить от искренности», — думал он сам с собой, не зная того, что Дарья Александровна все это двадцать раз уже передумала и все-таки, хотя и в уп^ерб искренности, нашла необходимым учить этим путем своих детей. — Но куда же вам ехать? Посидите. Левин остался до чая, но веселье его все исчезло, и ему было неловко. После чая он вышел в переднюю велеть подавать лошадей и, когда вернулся, застал Дарью Александровну взволнованную, с расстроенным лицом и слезами на глазах. В то время как Левин выходил, случилось для Дарьи Александровны ужасное событие, разрушившее 10* 291

Я не говорю, чтоб она любила вас, но я только хотела сказать, что ее отказ в ту минуту ничего не доказывает.

— Я не знаю! — вскакивая, сказал Левин. — Если бы вы знали, как вы больно мне делаете! Все равно, как у вас бы умер ребенок, а вам бы говорили: а вот он был бы такой, такой, и мог бы жить, и вы бы на него радовались. А он умер, умер, умер...

— Как вы смешны, — сказала Дарья Александровна с грустною усмешкой, несмотря на волненье Левина. — Да, я теперь все понимаю, — продолжала она задумчиво. — Так вы не приедете к нам, когда Кити будет?

— Нет, не приеду. Разумеется, я не буду избегать Катерины Александровны, но, где могу, постараюсь избавить ее от неприятности моего присутствия.

— Очень, очень вы смешны, — повторила Дарья Александровна, с нежностью вглядываясь в его лицо. — Ну, хорошо, так как будто мы ничего про это не говорили. Зачем ты пришла, Таня? — сказала Дарья Александровна по-французски вошедшей девочке.

— Где моя лопатка, мама?

— Я говорю по-французски, и ты так же скажи.

Девочка хотела сказать, но забыла, как лопатка, мать подсказала ей и потом по-французски же сказала, где отыскать лопатку. И это показалось Левину неприятным.

Все теперь казалось ему в доме Дарьи Александровны и в ее детях совсем уже не так мило, как прежде.

«И для чего она говорит по-французски с детьми? — подумал он. — Как это неестественно и фальшиво! И дети чувствуют это. Выучить по-французски и отучить от искренности», — думал он сам с собой, не зная того, что Дарья Александровна все это двадцать раз уже передумала и все-таки, хотя и в ущерб искренности, нашла необходимым учить этим путем своих детей.

— Но куда же вам ехать? Посидите.

Левин остался до чая, но веселье его все исчезло, и ему было неловко.

После чая он вышел в переднюю велеть подавать лошадей и, когда вернулся, застал Дарью Александровну

вдруг все ее сегодняшнее счастье и гордость детьмн. Гриша и Таня подрались за мячик. Дарья Александровна, услышав крик в детской, выбежала и застала их в ужасном виде. Таня держала Гришу за волосы, а он, с изуродованным злобой лицом, бил ее кулаками куда попало. Что-то оборвалось в сердце Дарьи Александровны, когда она увидала это. Как будто мрак надвинулся на ее жизнь: она поняла, что те ее дети, которыми она так гордилась, были не только самые обыкновенные, но даже нехорошие, дурно воспитанные дети, с грубыми, зверскими наклонностями, злые дети. Она ни о чем другом не могла говорить и думать и не могла не рассказать Левину своего несчастья. Левин видел, что она несчастлива, и постарался утешить ее, говоря, что это ничего дурного не доказывает, что все дети дерутся; но, говоря это, в душе своей Левин думал; «Нет, я не буду ломаться и говорить по-французски со своими детьми, но у меня будут не такие дети: надо только не портить, не уродовать детей, и они будут прелестны. Да, у меня будут не такие дети». Он простился и уехал, и она не удерживала его. XI В половине июля к Левину явился староста сестриной деревни, находившейся за двадцать верст от Покровского с отчетом о ходе дел и о покосе. Главный доход с имения сестры получался за заливные луга. В прежние годы покосы разбирались мужиками по двадцати рублей за десятину. Когда Левин взял именье в управление, он, осмотрев покосы, нашел, что они стоят дороже, и назначил цену за десятину двадцать пять рублей. Мужики не дали этой цены и, как подозревал Левин, отбили других покупателей. Тогда Левин поехал туда сам и распорядился убирать луга частию наймом, частиіо из доли. Свои мужики препятствовали всеми средствами этому нововведению, но дело пошло, и в первый же год за луга было выручено почти вдвое. В третьем и прошлом году продолжалось то же противодействие мужиков, и уборка шла тем же порядком. В нынешнем году мужики взяли все покосы из третьей доли, и теперь староста приехал объявить, что покосы убраны и что он, побоявшись дождя, пригласил конторщика, при нем разделил и сметал 292

вдруг все ее сегодняшнее счастье и гордость детьми. Гриша и Таня подрались за мячик. Дарья Александровна, услышав крик в детской, выбежала и застала их в ужасном виде. Таня держала Гришу за волосы, а он, с изуродованным злобой лицом, бил ее кулаками куда попало. Что-то оборвалось в сердце Дарьи Александровны, когда она увидала это. Как будто мрак надвинулся на ее жизнь: она поняла, что те ее дети, которыми она так гордилась, были не только самые обыкновенные, но даже нехорошие, дурно воспитанные дети, с грубыми, зверскими наклонностями, злые дети.

Она ни о чем другом не могла говорить и думать и не могла не рассказать Левину своего несчастья.

Левин видел, что она несчастлива, и постарался утешить ее, говоря, что это ничего дурного не доказывает, что все дети дерутся; но, говоря это, в душе своей Левин думал: «Нет, я не буду ломаться и говорить по-французски со своими детьми, но у меня будут не такие дети: надо только не портить, не уродовать детей, и они будут прелестны. Да, у меня будут не такие дети».

Он простился и уехал, и она не удерживала его.

XI

В половине июля к Левину явился староста сестриной деревни, находившейся за двадцать верст от Покровского с отчетом о ходе дел и о покосе. Главный доход с имения сестры получался за заливные луга. В прежние годы покосы разбирались мужиками по двадцати рублей за десятину. Когда Левин взял именье в управление, он, осмотрев покосы, нашел, что они стоят дороже, и назначил цену за десятину двадцать пять рублей. Мужики не дали этой цены и, как подозревал Левин, отбили других покупателей. Тогда Левин поехал туда сам и распорядился убирать луга частию наймом, частию из доли. Свои мужики препятствовали всеми средствами этому нововведению, но дело пошло, и в первый же год за луга было выручено почти вдвое. В третьем и прошлом году продолжалось то же противодействие мужиков, и уборка шла тем же порядком. В нынешнем году мужики

уже одиннадцать господских стогов. По неопределенным ответам на вопрос о том, сколько было сена на главном лугу, по поспешности старосты, разделившего сено без спросу, по всему тону мужика Левин понял, что в этом дележе сена что-то нечисто, и решился съездить сам проверить дело. Приехав в обед в деревню и оставив лошадь у приятеля-старика, мужа братниной кормилицы, Левин вошел к старику на пчельник, желая узнать от него подробности об уборке покоса. Говорливый благообразный старик Пармеиыч радостно принял Левина, показал ему все свое хозяйство, рассказал все подробности о своих пчелах и о роевщипе нынешнего года; но на вопросы Левина о покосе говорил неопределенно и неохотно. Это еще более утвердило Левина в его предположениях. Он пошел на покос и осмотрел стога. В стогах не могло быть 110 пятидесяти возов, и, чтоб уличить мужиков, Левин велел сейчас же вызвать возившие сено подводы, поднять один стог и перевезти в сарай. Из стога вышло только тридцать два воза. Несмотря на уверения старосты о пухлявости сена и о том, как оно улеглось в стогах и на его божбу о том, что все было по-божески, Левин настаивал на своем, что сено делили без его приказа и что он потому не принимает этого сена за пятьдесят возов в стогу. После долгих споров дело решили тем, чтобы мужикам принять эти одиннадцать стогов, считая по пятидесяти возов, на свою долю, а на господскую долю выделить вновь. Переговоры эти и дележ копен продолжались до полдника. Когда последнее сено было разделено, Левин, поручив остальное наблюдение конторщику, присел на отмеченной тычинкой ракитника копне, любуясь на кипящий народом луг. Пред ним, в загибе реки за болотцем, весело треща звонкими голосами, двигалась пестрая вереница баб, и из растрясенного сена быстро вытягивались по светлозеленой отаве серые извилистые валы. Следом за бабами шли мужики с вилами, и из валов вырастали широкие, высокие, пухлые копны. Слева по убранному уже лугу гремели телеги, и одна за другою, подаваемые огромными навилипами, исчезали копны, и на место их навивались нависающие на зады лошадей тяжелые воза душистого сена. -- За погодку убрать! Сено же будет! — сказал старик, присевший подле Левина. — Чай, не сено! Ровно 293

уже одиннадцать господских стогов. По неопределенным ответам на вопрос о том, сколько было сена на главном лугу, по поспешности старосты, разделившего сено без спросу, по всему тону мужика Левин понял, что в этом дележе сена что-то нечисто, и решился съездить сам проверить дело.

Приехав в обед в деревню и оставив лошадь у приятеля-старика, мужа братниной кормилицы, Левин вошел к старику на пчельник, желая узнать от него подробности об уборке покоса. Говорливый благообразный старик Парменыч радостно принял Левина, показал ему все свое хозяйство, рассказал все подробности о своих пчелах и о роевщине нынешнего года; но на вопросы Левина о покосе говорил неопределенно и неохотно. Это еще более утвердило Левина в его предположениях. Он пошел на покос и осмотрел стога. В стогах не могло быть по пятидесяти возов, и, чтоб уличить мужиков, Левин велел сейчас же вызвать возившие сено подводы, поднять один стог и перевезти в сарай. Из стога вышло только тридцать два воза. Несмотря на уверения старосты о пухлявости сена и о том, как оно улеглось в стогах и на его божбу о том, что все было по-божески, Левин настаивал на своем, что сено делили без его приказа и что он потому не принимает этого сена за пятьдесят возов в стогу. После долгих споров дело решили тем, чтобы мужикам принять эти одиннадцать стогов, считая по пятидесяти возов, на свою долю, а на господскую долю выделить вновь. Переговоры эти и дележ копен продолжались до полдника. Когда последнее сено было разделено, Левин, поручив остальное наблюдение конторщику, присел на отмеченной тычинкой ракитника копне, любуясь на кипящий народом луг.

Пред ним, в загибе реки за болотцем, весело треща звонкими голосами, двигалась пестрая вереница баб, и из растрясенного сена быстро вытягивались по светло-зеленой отаве серые извилистые валы. Следом за бабами шли мужики с вилами, и из валов вырастали широкие, высокие, пухлые копны. Слева по убранному уже лугу гремели телеги, и одна за другою, подаваемые огромными навилинами, исчезали копны, и на место их навивались нависающие на зады лошадей тяжелые воза душистого

утятам зерна рассыпь, как подбирают! — прибавил он, указывая на навиваемые копны. — С обеда половину добрую свезли. — Последнюю, что ль? — крикнул он на малого, который, стоя на переду тележного ящика и помахивая концами пеньковых вожжей, ехал мимо. — Последнюю, батюшка! — прокричал малый, придерживая лошадь, и, улыбаясь, оглянулся на веселую, тоже улыбавшуюся румяную бабу, сидевшую в тележном ящике, и погнал дальше. — Это кто же? Сын? — спросил Левин. — Мой меньшенький, — с ласковою улыбкой сказал старик. — Какой молодец! — Ничего малый. — Уж женат? — Да, третий год пошел в Филипповки. — Что ж, и дети есть? — Какие дети! Год целый не понимал ничего, да и стыдился, — отвечал старик. — Ну, сено! Чай настоящий! — повторил он, желая переменить разговор. Левин внимательнее присмотрелся к Ваньке Парменову и его жене. Они недалеко от него навивали копну. Иван Парменов стоял на возу, принимая, разравнивая и отаптывая огромные навилины сена, которые сначала охапками, а потом вилами ловко подавала ему его молодая красавица хозяйка. Молодая баба работала легко, весело и ловко. Крупное, слежавшееся сено не бралось сразу на вилы. Она сначала расправляла его, всовывала вилы, потом упругим и быстрым движением налегала на них всею тяжестью своего тела и тотчас же, перегибая перетянутую красным кушаком спину, выпрямлялась и, выставляя полные груди из-под белой занавески, с ловкою ухваткой перехватывала руками вилы и вскидывала навилину высоко на воз. Иван поспешно, видимо стараясь избавить ее от всякой минуты лишнего труда, подхватывал, широко раскрывая руки, подаваемую охапку и расправлял ее на возу. Подав последнее сено граблями, баба отряхнула засыпавшуюся ей за шею труху и, оправив сбившийся над белым, незагорелым лбом красный платок, полезла под телегу увязывать воз. Иван учил ее, как цеплять за лисицу, и чему-то сказанному ею громко расхохотался. В выражениях обоих лиц была видна сильная, молодая, недавно проснувшаяся любовь. 294

утятам зерна рассыпь, как подбирают! — прибавил он, указывая на навиваемые копны. — С обеда половину добрую свезли.

— Последнюю, что ль? — крикнул он на малого, который, стоя на переду тележного ящика и помахивая концами пеньковых вожжей, ехал мимо.

— Последнюю, батюшка! — прокричал малый, придерживая лошадь, и, улыбаясь, оглянулся на веселую, тоже улыбавшуюся румяную бабу, сидевшую в тележном ящике, и погнал дальше.

— Это кто же? Сын? — спросил Левин.

— Мой меньшенький, — с ласковою улыбкой сказал старик.

— Какой молодец!

— Ничего малый.

— Уж женат?

— Да, третий год пошел в Филипповки.

— Что ж, и дети есть?

— Какие дети! Год целый не понимал ничего, да и стыдился, — отвечал старик. — Ну, сено! Чай настоящий! — повторил он, желая переменить разговор.

Левин внимательнее присмотрелся к Ваньке Парменову и его жене. Они недалеко от него навивали копну. Иван Парменов стоял на возу, принимая, разравнивая и отаптывая огромные навилины сена, которые сначала охапками, а потом вилами ловко подавала ему его молодая красавица хозяйка. Молодая баба работала легко, весело и ловко. Крупное, слежавшееся сено не бралось сразу на вилы. Она сначала расправляла его, всовывала вилы, потом упругим и быстрым движением налегала на них всею тяжестью своего тела и тотчас же, перегибая перетянутую красным кушаком спину, выпрямлялась и, выставляя полные груди из-под белой занавески, с ловкою ухваткой перехватывала руками вилы и вскидывала навилину высоко на воз. Иван поспешно, видимо стараясь избавить ее от всякой минуты лишнего труда, подхватывал, широко раскрывая руки, подаваемую охапку и расправлял ее на возу. Подав последнее сено граблями, баба отряхнула засыпавшуюся ей за шею труху и, оправив сбившийся над белым, незагорелым лбом красный платок, полезла под телегу увязывать воз. Иван

XII Воз был увязан. Иван спрыгнул и повел за повод добрую, сытую лошадь. Баба вскинула на воз грабли и бодрым шагом, размахивая руками, пошла к собравшимся хороводом бабам. Иван, выехав на дорогу, вступил в обоз с другими возами. Бабы с граблями па плечах, блестя яркими цветами и треіца звонкими, веселыми голосами, шли позади возов. Один грубый, дикий бабий голос затянул песню и допел ее до повторенья, и дружно, враз, опять с начала подхватили ту же песню полсотни разных, грубых и тонких, здоровых голосов. Бабы с песнью приближались к Левину, и ему казалось, что туча с громом веселья надвигалась на него. Туча надвинулась, захватила его, и копна, па которой он лежал, и другие копны и воза и весь луг с дальним полем — все заходило и заколыхалось под размеры этой дикой развеселой песни с вскриками, присвистами и ёканьями. Левину завидно стало за это здоровое веселье, хотелось принять участие в выражении этой радости жизни. Но он ничего не мог сделать и должен был лежать и смотреть и слушать. Когда народ с песнью скрылся из вида и слуха, тяжелое чувство тоски за свое одиночество, за свою телесную праздность, за свою враждеб-* ность к этому миру охватило Левина. Некоторые из тех самых мужиков, которые больше всех с ним спорили за сено, те, которых он обидел, или те, которые хотели обмануть его, эти самые мужики весело кланялись ему и, очевидно, не имели и не могли иметь к нему никакого зла или никакого не только раскаяния, но и воспоминания о том, что они хотели обма-* путь его. Все это потонуло в море веселого общего труда. Бог дал день, бог дал силы. И день и силы посвящены труду, и в нем самом награда. А для кого труд? Какие будут плоды труда? Это соображения посторонние и ничтожные. Левин часто любовался па эту жизнь, часто испытывал чувство зависти к людям, живущим этою жизнью, но нынче в первый раз, в особенности под впечатлением того, что он видел в отношениях Ивана Парменова к его молодой я^еие, Левину в первый раз ясно пришла мысль о том, что от него зависит переменить ту столь тягостную праздную, искусственную и личную жизнь, которою он жил, па эту трудовую, чистую и общую прелестную жизнь^ 295

XII

Воз был увязан. Иван спрыгнул и повел за повод добрую, сытую лошадь. Баба вскинула на воз грабли и бодрым шагом, размахивая руками, пошла к собравшимся хороводом бабам. Иван, выехав на дорогу, вступил в обоз с другими возами. Бабы с граблями на плечах, блестя яркими цветами и треща звонкими, веселыми голосами, шли позади возов. Один грубый, дикий бабий голос затянул песню и допел ее до повторенья, и дружно, враз, опять с начала подхватили ту же песню полсотни разных, грубых и тонких, здоровых голосов.

Бабы с песнью приближались к Левину, и ему казалось, что туча с громом веселья надвигалась на него. Туча надвинулась, захватила его, и копна, на которой он лежал, и другие копны и воза и весь луг с дальним полем — все заходило и заколыхалось под размеры этой дикой развеселой песни с вскриками, присвистами и ёканьями. Левину завидно стало за это здоровое веселье, хотелось принять участие в выражении этой радости жизни. Но он ничего не мог сделать и должен был лежать и смотреть и слушать. Когда народ с песнью скрылся из вида и слуха, тяжелое чувство тоски за свое одиночество, за свою телесную праздность, за свою враждебность к этому миру охватило Левина.

Некоторые из тех самых мужиков, которые больше всех с ним спорили за сено, те, которых он обидел, или те, которые хотели обмануть его, эти самые мужики весело кланялись ему и, очевидно, не имели и не могли иметь к нему никакого зла или никакого не только раскаяния, но и воспоминания о том, что они хотели обмануть его. Все это потонуло в море веселого общего труда. Бог дал день, бог дал силы. И день и силы посвящены труду, и в нем самом награда. А для кого труд? Какие будут плоды труда? Это соображения посторонние и ничтожные.

Левин часто любовался на эту жизнь, часто испытывал чувство зависти к людям, живущим этою жизнью, но нынче в первый раз, в особенности под впечатлением того, что он видел в отношениях Ивана Парменова к его молодой жене, Левину в первый раз ясно пришла мысль

Старик, сидевший с ним, уже давно ушел домой; народ весь разобрался. Ближние уехали домой, а дальние собрались к ул^ину и ночлегу в лугу. Левин, не замечаемый народом, продолжал лежать на копне и смотреть, слушать и думать. Народ, оставшийся ночевать в лугу, не спал почти всю короткую летнюю ночь. Сначала слышался обш,ий веселый говор и хохот за улейном, потом опять песни и смехи. Весь длинный трудовой день не оставил в них другого следа, кроме веселости. Перед утреннею зарей все затихло. Слышались только ночные звуки неумолкаемых в болоте лягушек и лошадей, фыркавших по лугу в поднявшемся пред утром тумане. Очнувшись, Левин встал с копны и, оглядев звезды, понял, что прошла ночь. «Ну, так что же я сделаю? Как я сделаю это?» — сказал он себе, стараясь, выразить для самого себя все то, что он передумал и перечувствовал в эту короткую ночь. Все, ЧТО он передумал и перечувствовал, разделялось на три отдельные хода мысли. Один — это было отречение от своей старой жизни, от своих бесполезных знаний, от своего ни к чему не нужного образования. Это отреченье доставляло ему наслаждение и было для него легко и просто. Другие мысли и представления касались той жизни, которою он желал жить теперь. Простоту, чистоту, законность этой ;кизни он ясно чувствовал и был убежден, что он найдет в ней то удовлетворение, успокоение и достоинство, отсутствие которых он так болезненно чувствовал. Но третий ряд мыслей вертелся на вопросе о том, как сделать этот переход от старой жизни к новой. И тут ничего ясного ему не представлялось. «Иметь жену? Иметь работу и необходимость работы? Оставить Покровское? Купить землю? Приписаться в общество? Жениться на крестьянке? Как же я сделаю это? — опять спрашивал он себя и не находил ответа. — Впрочем, я не спал всю ночь, и я не могу дать себе ясного отчета, — сказал он себе. — Я уясню после. Одно верно, что эта ночь решила мою судьбу. Все мои прежние мечты семейной жизни вздор, не то, — сказал он себе. — Все это гораздо проще и лучше...» «Как красиво!» — подумал он, глядя на странную, точно перламутровую раковину из белых барашков-облачков, остановившуюся над самою головой его на середине неба. — Как все прелестно в эту прелестную ночь! И когда успела образоваться эта раковина? Недавно я 296

Старик, сидевший с ним, уже давно ушел домой; народ весь разобрался. Ближние уехали домой, а дальние собрались к ужину и ночлегу в лугу. Левин, не замечаемый народом, продолжал лежать на копне и смотреть, слушать и думать. Народ, оставшийся ночевать в лугу, не спал почти всю короткую летнюю ночь. Сначала слышался общий веселый говор и хохот за ужином, потом опять песни и смехи.

Весь длинный трудовой день не оставил в них другого следа, кроме веселости. Перед утреннею зарей все затихло. Слышались только ночные звуки неумолкаемых в болоте лягушек и лошадей, фыркавших по лугу в поднявшемся пред утром тумане. Очнувшись, Левин встал с копны и, оглядев звезды, понял, что прошла ночь.

«Ну, так что же я сделаю? Как я сделаю это?» — сказал он себе, стараясь, выразить для самого себя все то, что он передумал и перечувствовал в эту короткую ночь. Все, что он передумал и перечувствовал, разделялось на три отдельные хода мысли. Один — это было отречение от своей старой жизни, от своих бесполезных знаний, от своего ни к чему не нужного образования. Это отреченье доставляло ему наслаждение и было для него легко и просто. Другие мысли и представления касались той жизни, которою он желал жить теперь. Простоту, чистоту, законность этой жизни он ясно чувствовал и был убежден, что он найдет в ней то удовлетворение, успокоение и достоинство, отсутствие которых он так болезненно чувствовал. Но третий ряд мыслей вертелся на вопросе о том, как сделать этот переход от старой жизни к новой. И тут ничего ясного ему не представлялось. «Иметь жену? Иметь работу и необходимость работы? Оставить Покровское? Купить землю? Приписаться в общество? Жениться на крестьянке? Как же я сделаю это? — опять спрашивал он себя и не находил ответа. — Впрочем, я не спал всю ночь, и я не могу дать себе ясного отчета, — сказал он себе. — Я уясню после. Одно верно, что эта ночь решила мою судьбу. Все мои прежние мечты семейной жизни вздор, не то, — сказал он себе. — Все это гораздо проще и лучше...»

«Как красиво!» — подумал он, глядя на странную, точно перламутровую раковину из белых барашков-об-

смотрел на небо, и на нем ничего не было — только две белые полосы. Да, вот так-то незаметно изменились й мои взгляды на жизнь!» Он вышел из луга и пошел по большой дороге к деревне. Поднимался ветерок, и стало серо, мрачно. Наступила пасмурная минута, предшествующая обыкновенно рассвету, полной победе света над тьмой. Пожимаясь от холода, Левин быстро шел, глядя на землю. «Это что? кто-то едет», — подумал он, услыхав бубенцы, и поднял голову. В сорока шагах от него, ему навстречу, по той большой дороге-муравке, по которой он шел, ехала четверней карета с важами. Дышловые лошади жались от колей на дышло, но ловкий ямщик, боком сидевший на козлах, держал дышлом по колее, так что колеса бежали по гладкому. Только это заметил Левин и, не думая о том, кто это может ехать, рассеянно взглянул в карету. В карете дремала в углу старушка, а у окна, видимо только что проснувшись, сидела молодая девушка, держась обеими руками за ленточки белого чепчика. Светлая и задумчивая, вся исполненная изящной и сложной внутренней, чуждой Левину жизни, она смотрела через него на зарю восхода. В то самое мгновение, как виденье это уж исчезало, правдивые глаза взглянули на него. Она узнала его, и удивленная радость осветила ее лицо. Он не мог ошибиться. Только одни на свете были эти глаза. Только одно было на свете существо, способное сосредоточивать для него весь свет и смысл жизни. Это была она. Это была Кити. Он понял, что она ехала в Ергушово со станции железной дороги. И все то, что волновало Левина в эту бессонную ночь, все те решения, которые были взяты им, все вдруг исчезло. Он с отвращением вспомнил свои мечты женитьбы на крестьянке. Там только, в этой быстро удалявшейся и переехавшей на другую сторону дороги карете, там только была возможность разрешения столь мучительно тяготившей его в последнее время загадки его жизни. Она не выглянула больше. Звук рессор перестал быть слышен, чуть слышны стали бубенчики. Лай собак показал, что карета проехала и деревню, — и остались вокруг пустые поля, деревня впереди и он сам, одинокий и чужой всему, одиноко идущий по заброшенной большой дороге. 297

смотрел на небо, и на нем ничего не было — только две белые полосы. Да, вот так-то незаметно изменились и мои взгляды на жизнь!»

Он вышел из луга и пошел по большой дороге к деревне. Поднимался ветерок, и стало серо, мрачно. Наступила пасмурная минута, предшествующая обыкновенно рассвету, полной победе света над тьмой.

Пожимаясь от холода, Левин быстро шел, глядя на землю. «Это что? кто-то едет», — подумал он, услыхав бубенцы, и поднял голову. В сорока шагах от него, ему навстречу, по той большой дороге-муравке, по которой он шел, ехала четверней карета с важами. Дышловые лошади жались от колей на дышло, но ловкий ямщик, боком сидевший на козлах, держал дышлом по колее, так что колеса бежали по гладкому.

Только это заметил Левин и, не думая о том, кто это может ехать, рассеянно взглянул в карету.

В карете дремала в углу старушка, а у окна, видимо только что проснувшись, сидела молодая девушка, держась обеими руками за ленточки белого чепчика. Светлая и задумчивая, вся исполненная изящной и сложной внутренней, чуждой Левину жизни, она смотрела через него на зарю восхода.

В то самое мгновение, как виденье это уж исчезало, правдивые глаза взглянули на него. Она узнала его, и удивленная радость осветила ее лицо.

Он не мог ошибиться. Только одни на свете были эти глаза. Только одно было на свете существо, способное сосредоточивать для него весь свет и смысл жизни. Это была она. Это была Кити. Он понял, что она ехала в Ергушово со станции железной дороги. И все то, что волновало Левина в эту бессонную ночь, все те решения, которые были взяты им, все вдруг исчезло. Он с отвращением вспомнил свои мечты женитьбы на крестьянке. Там только, в этой быстро удалявшейся и переехавшей на другую сторону дороги карете, там только была возможность разрешения столь мучительно тяготившей его в последнее время загадки его жизни.

Она не выглянула больше. Звук рессор перестал быть слышен, чуть слышны стали бубенчики. Лай собак показал, что карета проехала и деревню, — и остались во-

Он взглянул на небо, надеясь найти там ту раковину, которою он любовался и которая олицетворяла для него весь ход мыслей и чувств нынешней ночи. На небе не было более ничего похожего на раковину. Там, в недосягаемой вышине, совершилась уя^е таинственная перемена. Не было и следа раковины, и был ровный, расстилавшийся по целой половине неба ковер все умельчающихся и умельчающихся барашков. Небо поголубело и просияло и с тою я^е нежностью, но и с тою же недосягаемостью отвечало па его вопрошающий взгляд. «Нет, — сказал он себе, — как ни хороша эта жизнь, простая и трудовая, я не могу вернуться к ней. Я люблю ее». XIII Пикто, кроме самых близких людей к Алексею Александровичу, не знал, что этот с виду самый холодный и рассудительный человек имел одну, противоречившую общему складу своего характера, слабость. Алексей Александрович не мог равнодушно слышать и видеть слезы ребенка или я^енщины. Вид слез приводил его в растерянное состояние, и он терял совершенно способность соображения. Правитель его канцелярии и секретарь знали это и предуведомляли просительниц, чтоб отнюдь не плакали, если не хотят испортить свое дело. «Он рассердится и не станет вас слушать», — говорили они. И действительно, в этих случаях душевное расстройство, производимое на Алексея Александровича слезами, выражалось торопливым гневом. «Я не могу, не могу ничего сделать. Извольте идти вон!» — кричал он обыкновенно в этих случаях. Когда, возвращаясь со скачек, Анна объявила ему о своих отношениях к Вронскому и тотчас же вслед за этим, закрыв лицо руками, заплакала, Алексей Александрович, несмотря на вызванную в нем злобу к ней, почувствовал в то я^е время прилив того душевного расстройства, которое на него всегда производили слезы. Зная это и зная, что выражение в эту минуту его чувств было бы несоответственно положению, он старался удержать в себе всякое проявление я^изни и потому не шевелился и не смотрел на нее. От этого-то и происходило то странное выражение мертвенности па его лице, которое так поразило Анну. 298

Он взглянул на небо, надеясь найти там ту раковину, которою он любовался и которая олицетворяла для него весь ход мыслей и чувств нынешней ночи. На небе не было более ничего похожего на раковину. Там, в недосягаемой вышине, совершилась уже таинственная перемена. Не было и следа раковины, и был ровный, расстилавшийся по целой половине неба ковер все умельчающихся и умельчающихся барашков. Небо поголубело и просияло и с тою же нежностью, но и с тою же недосягаемостью отвечало на его вопрошающий взгляд.

«Нет, — сказал он себе, — как ни хороша эта жизнь, простая и трудовая, я не могу вернуться к ней. Я люблю *ее*».

XIII

Никто, кроме самых близких людей к Алексею Александровичу, не знал, что этот с виду самый холодный и рассудительный человек имел одну, противоречившую общему складу своего характера, слабость. Алексей Александрович не мог равнодушно слышать и видеть слезы ребенка или женщины. Вид слез приводил его в растерянное состояние, и он терял совершенно способность соображения. Правитель его канцелярии и секретарь знали это и предуведомляли просительниц, чтоб отнюдь не плакали, если не хотят испортить свое дело. «Он рассердится и не станет вас слушать», — говорили они. И действительно, в этих случаях душевное расстройство, производимое на Алексея Александровича слезами, выражалось торопливым гневом. «Я не могу, не могу ничего сделать. Извольте идти вон!» — кричал он обыкновенно в этих случаях.

Когда, возвращаясь со скачек, Анна объявила ему о своих отношениях к Вронскому и тотчас же вслед за этим, закрыв лицо руками, заплакала, Алексей Александрович, несмотря на вызванную в нем злобу к ней, почувствовал в то же время прилив того душевного расстройства, которое на него всегда производили слезы. Зная это и зная, что выражение в эту минуту его чувств было бы несоответственно положению, он старался удержать в себе всякое проявление жизни и потому не шевелился

Когда они подъехали к дому, он высадил ее из ка-» реты и, сделав усилие над собой, с привычною учтивостию простился с ней и произнес те слова, которые ни к чему не обязывали его; он сказал, что завтра сообщит ей свое решение. Слова жены, подтвердившие его худшие сомнения, произвели жестокую боль в сердце Алексея Александровича. Боль эта была усилена еще тем странным чувством физической жалости к ней, которую произвели на него ее слезы. Но, оставшись один в карете, Алексей Александрович, к удивлению своему и радости, почувствовал совершенное освобождение и от этой жалости и от мучавших его в последнее время сомнений и страданий ревности. Он испытывал чувство человека, выдернувшего долго болевший зуб, когда после страшной боли и ощущения чего-то огромного, больше самой головы, вытягиваемого из челюсти, больной вдруг, не веря еще своему счастию, чувствует, что не существует более того, что так долго отравляло его жизнь, приковывало к себе все внимание, и что он опять может жить, думать и интересоваться не одним своим зубом. Это чувство испытал Алексей Александрович. Боль была странная и страшная, но теперь она прошла; он чувствовал, что может опять жить и думать не об одной жене. «Без чести, без сердца, без религии, испорченная женщина! Это я всегда знал и всегда видел, хотя и старался, жалея ее, обманывать себя», — сказал он себе. И ему действительно казалось, что он всегда это видел; он припоминал подробности их прошедшей жизни, которые прежде не казались ему чем-либо дурным, — теперь эти подробности ясно показывали, что она всегда была испорченною. «Я ошибся, связав свою жизнь с нею; но в ошибке моей нет ничего дурного, и потому я не могу быть несчастлив. Виноват не я, — сказал ои себе, — но она. Но мне нет дела до нее. Она не существует для меня...» Все, что постигнет ее и сына, к которому, точно так же как и к ней, переменились его чувства, перестало занимать его. Одно, что занимало его теперь, это был во^ прос о том, как наилучшим, наиприличнейшим, удобнейшим для себя и потому справедливейшим образом отряхнуться от той грязи, которою она забрызгала его в своем падении, и продолжать идти по своему пути деятельной, честной и полезной жизни. 299

Когда они подъехали к дому, он высадил ее из кареты и, сделав усилие над собой, с привычною учтивостию простился с ней и произнес те слова, которые ни к чему не обязывали его; он сказал, что завтра сообщит ей свое решение.

Слова жены, подтвердившие его худшие сомнения, произвели жестокую боль в сердце Алексея Александровича. Боль эта была усилена еще тем странным чувством физической жалости к ней, которую произвели на него ее слезы. Но, оставшись один в карете, Алексей Александрович, к удивлению своему и радости, почувствовал совершенное освобождение и от этой жалости и от мучавших его в последнее время сомнений и страданий ревности.

Он испытывал чувство человека, выдернувшего долго болевший зуб, когда после страшной боли и ощущения чего-то огромного, больше самой головы, вытягиваемого из челюсти, больной вдруг, не веря еще своему счастию, чувствует, что не существует более того, что так долго отравляло его жизнь, приковывало к себе все внимание, и что он опять может жить, думать и интересоваться не одним своим зубом. Это чувство испытал Алексей Александрович. Боль была странная и страшная, но теперь она прошла; он чувствовал, что может опять жить и думать не об одной жене.

«Без чести, без сердца, без религии, испорченная женщина! Это я всегда знал и всегда видел, хотя и старался, жалея ее, обманывать себя», — сказал он себе. И ему действительно казалось, что он всегда это видел; он припоминал подробности их прошедшей жизни, которые прежде не казались ему чем-либо дурным, — теперь эти подробности ясно показывали, что она всегда была испорченною. «Я ошибся, связав свою жизнь с нею; но в ошибке моей нет ничего дурного, и потому я не могу быть несчастлив. Виноват не я, — сказал он себе, — но она. Но мне нет дела до нее. Она не существует для меня...»

Все, что постигнет ее и сына, к которому, точно так же как и к ней, переменились его чувства, перестало занимать его. Одно, что занимало его теперь, это был вопрос о том, как наилучшим, наиприличнейшим, удобнейшим для себя и потому справедливейшим образом отрях-

«я не могу быть несчастлив оттого, что нрезренная женщина сделала преступление; я только должен найти наилучший выход из того тяжелого положения, в которое она ставит меня. И я найду его, — говорил он себе, хмурясь больше и больше. — Не я первый, не я последний». И, не говоря об исторических примерах, начиная с освеженного в памяти всех Прекрасною Еленою Менелая, целый ряд случаев современных неверностей жеп мужьям высшего света возник в воображении Алексея Александровича. «Дарьялов, Полтавский, князь Карибанов, граф Паскудин, Драм... Да, и Драм... такой честный, дельный человек... Семенов, Чагин, Сигонин, — вспоминал Алексей Александрович. — Положим какой-то неразумный ridicule * падает на этих людей, но я никогда не видел в этом ничего, кроме несчастия, и всегда сочувствовал ему», — сказал себе Алексей Александрович, хотя это и было неправда, и он никогда не сочувствовал иеечастиям этого рода, а тем выше ценил себя, чем чаще были примеры жен, изменяющих своим мужьям. «Это несчастие, которое моя^ет постигнуть всякого. И это несчастие постигло меня. Дело только в том, как наилучшим образом перенести это положение». И он стал перебирать подробности образа действий людей, находившихся в таком же, как и он, полоясении. «Дарьялов дрался на дуэли...» Дуэль в юности особенно привлекала мысли Алексея Александровича именно потому, что он был физически робкий человек и хорошо знал это. Алексей Александрович без ужаса не мог подумать о пистолете, на него направленном, и никогда в жизни не употреблял никакого оружия. Этот ужас смолоду часто заставлял его думать о дуэли и примеривать себя к положению, в котором нуяшо было подвергать жизнь свою опасности. Достигнув успеха и твердого положения в жизни, он давно забыл об этом чувстве; но привычка чувства взяла свое, и страх за свою трусость и теперь оказался так силен, что Алексей Александрович долго и со всех сторон обдумывал и ласкал мыслью вопрос о дуэли, хотя и вперед знал, что он ни в каком случае не будет драться. «Без сомнения, наше общество еще так дико (не то, что в Англии), что очень многие, — и в числе этих многих были те, мнением которых Алексей Александрович * осмеяние (франц,). 300

«Я не могу быть несчастлив оттого, что презренная женщина сделала преступление; я только должен найти наилучший выход из того тяжелого положения, в которое она ставит меня. И я найду его, — говорил он себе, хмурясь больше и больше. — Не я первый, не я последний». И, не говоря об исторических примерах, начиная с освеженного в памяти всех *Прекрасною Еленою* Менелая, целый ряд случаев современных неверностей жен мужьям высшего света возник в воображении Алексея Александровича. «Дарьялов, Полтавский, князь Карибанов, граф Паскудин, Драм... Да, и Драм... такой честный, дельный человек... Семенов, Чагин, Сигонин, — вспоминал Алексей Александрович. — Положим какой-то неразумный ridicule [1] падает на этих людей, но я никогда не видел в этом ничего, кроме несчастия, и всегда сочувствовал ему», — сказал себе Алексей Александрович, хотя это и было неправда, и он никогда не сочувствовал несчастиям этого рода, а тем выше ценил себя, чем чаще были примеры жен, изменяющих своим мужьям. «Это несчастие, которое может постигнуть всякого. И это несчастие постигло меня. Дело только в том, как наилучшим образом перенести это положение». И он стал перебирать подробности образа действий людей, находившихся в таком же, как и он, положении.

«Дарьялов дрался на дуэли...»

Дуэль в юности особенно привлекала мысли Алексея Александровича именно потому, что он был физически робкий человек и хорошо знал это. Алексей Александрович без ужаса не мог подумать о пистолете, на него направленном, и никогда в жизни не употреблял никакого оружия. Этот ужас смолоду часто заставлял его думать о дуэли и примеривать себя к положению, в котором нужно было подвергать жизнь свою опасности. Достигнув успеха и твердого положения в жизни, он давно забыл об этом чувстве; но привычка чувства взяла свое, и страх за свою трусость и теперь оказался так силен, что Алексей Александрович долго и со всех сторон обдумывал и ласкал мыслью вопрос о дуэли, хотя и вперед знал, что он ни в каком случае не будет драться.

«Без сомнения, наше общество еще так дико (не то, что в Англии), что очень многие, — и в числе этих мно-

особенно дорожил, — посмотрят на дуэль с хорошей стороны; но какой результат будет достигнут? Положим, я вызову на дуэль, — продолжал про себя Алексей Александрович, и, живо представив себе ночь, которую он проведет после вызова, и пистолет, на него направленный, он содрогнулся и понял, что никогда он этого не сделает, — положим, я вызову его на дуэль. Положим, меня научат, — продолжал он думать, — поставят, я пожму гашетку, — говорил он себе, закрывая глаза, — и окажется, что я убил его, — сказал себе Алексей Александрович и потряс головой, чтоб отогнать эти глупые мысли. — Какой смысл имеет убийство человека для того, чтоб определить свое отношение к преступной жене и сыну? Точно так же я должен буду решать, что должен делать с ней. Но, что еще вероятнее и что несомненно будет, — я буду убит или ранен. Я, невиноватый человек, жертва, — убит или ранен. Еще бессмысленнее. Но мало этого; вызов на дуэль с моей стороны будет поступок нечестный. Разве я не знаю вперед, что мои друзья никогда не допустят меня до дуэли — не допустят того, чтобы жизнь государственного человека, нужного России, подверглась опасности? Что же будет? Будет то, что я, зная вперед то, что никогда дело не дойдет до опасности, захотел только придать себе этим вызовом некоторый ложный блеск. Это нечестно, это фальшиво, это обман других и самого себя. Дуэль немыслима, и никто не ищет ее от меня. Цель моя состоит в том, чтоб обеспечить свою репутацию, нужную мне для беспрепятственного продолжения своей деятельности». Служебная деятельность, и прежде в глазах Алексея Александровича имевшая большое значение, теперь представлялась ему особенно значительна. Обсудив и отвергнув дуэль, Алексей Александрович обратился к разводу — другому выходу, избранному некоторыми из тех мужей, которых он вспомнил. Перебирая в воспоминании все известные случаи разводов (их было очень много в самом высшем, ему хорошо известном обществе), Алексей Александрович не нашел ни одного, где бы цель развода была та, которую он имел в виду. Во всех этих случаях муж уступал или продавал неверную жену, и та самая сторона, которая за вину не имела права на вступление в брак, вступала в вымышленные, мнимо узаконенные отношения с новым супругом. В своем же случае Алексей Александрович видел, что 301

особенно дорожил, — посмотрят на дуэль с хорошей стороны; но какой результат будет достигнут? Положим, я вызову на дуэль, — продолжал про себя Алексей Александрович, и, живо представив себе ночь, которую он проведет после вызова, и пистолет, на него направленный, он содрогнулся и понял, что никогда он этого не сделает, — положим, я вызову его на дуэль. Положим, меня научат, — продолжал он думать, — поставят, я пожму гашетку, — говорил он себе, закрывая глаза, — и окажется, что я убил его, — сказал себе Алексей Александрович и потряс головой, чтоб отогнать эти глупые мысли. — Какой смысл имеет убийство человека для того, чтоб определить свое отношение к преступной жене и сыну? Точно так же я должен буду решать, что должен делать с ней. Но, что еще вероятнее и что несомненно будет, — я буду убит или ранен. Я, невиноватый человек, жертва, — убит или ранен. Еще бессмысленнее. Но мало этого; вызов на дуэль с моей стороны будет поступок нечестный. Разве я не знаю вперед, что мои друзья никогда не допустят меня до дуэли — не допустят того, чтобы жизнь государственного человека, нужного России, подверглась опасности? Что же будет? Будет то, что я, зная вперед то, что никогда дело не дойдет до опасности, захотел только придать себе этим вызовом некоторый ложный блеск. Это нечестно, это фальшиво, это обман других и самого себя. Дуэль немыслима, и никто не ждет ее от меня. Цель моя состоит в том, чтоб обеспечить свою репутацию, нужную мне для беспрепятственного продолжения своей деятельности». Служебная деятельность, и прежде в глазах Алексея Александровича имевшая большое значение, теперь представлялась ему особенно значительна.

Обсудив и отвергнув дуэль, Алексей Александрович обратился к разводу — другому выходу, избранному некоторыми из тех мужей, которых он вспомнил. Перебирая в воспоминании все известные случаи разводов (их было очень много в самом высшем, ему хорошо известном обществе), Алексей Александрович не нашел ни одного, где бы цель развода была та, которую он имел в виду. Во всех этих случаях муж уступал или продавал неверную жену, и та самая сторона, которая за вину не имела

достижение законного, то есть такого развода, где была бы только отвергнута виновная жена, невозможно. Он видел, что сложные условия жизни, в которых он находился, не допускали возможности тех грубых доказательств, которых требовал закон для уличения преступности жены; видел то, что известная утонченность этой н^изни не допускала и применения этих доказательств, если б они и были, что применение этих доказательств уронило бы его в общественном мнении более, чем ее. Попытка развода могла привести только к скандальному процессу, который был бы находкой для врагов, для клеветы и >^ижения его высокого положения в свете. Главная же цель — определение положения с наименьшим расстройством — не достигалась и чрез развод. Кроме того, при разводе, даже при попытке развода, очевидно было, что я^ена разрывала сношения с мужем и соединялась с своим любовником. А в душе Алексея Александровича, несмотря па полное теперь, как ему казалось, презрительное равнодушие к жене, оставалось в отношении к ней одно чувство — нежелание того, чтоб она беспрепятственно могла соединиться с Вронским, чтобы преступление ее было для нее выгодно. Одна мысль эта так раздражала Алексея Александровича, что, только представив себе это, он замычал от внутренней боли и приподнялся и переменил место в карете и долго после того, нахмуренный, завертывал свои зябкие и костлявые ноги щчпистым пледом. «Кроме формального развода, можно было еще поступить, как Карибанов, Паскудин и этот добрый Драм, то есть разъехаться с женой», — продолжал он думать, успокоившись; но и эта мера представляла те же неудобства позора, как и при разводе, и главное — это, точно так же как и формальный развод, бросало его жену в объятия Вронского. «Нет, это невозможно, невозможно! — опять принимаясь перевертывать свой плед, громко заговорил он. — Я не могу быть несчастлив, но и она и он не должны быть счастливы». Чувство ревности, которое мучало его во время неизвестности, прошло в ту минуту, когда ему с болью был выдернут зуб словами жены. Но чувство это заменилось другим: желанием, чтоб она не только не торжествовала, но получила возмездие за свое преступление. Он не признавал этого чувства, но в глубине души ему хотелось, чтоб она пострадала за нарушение его спокойствия и

достижение законного, то есть такого развода, где была бы только отвергнута виновная жена, невозможно. Он видел, что сложные условия жизни, в которых он находился, не допускали возможности тех грубых доказательств, которых требовал закон для уличения преступности жены; видел то, что известная утонченность этой жизни не допускала и применения этих доказательств, если б они и были, что применение этих доказательств уронило бы его в общественном мнении более, чем ее.

Попытка развода могла привести только к скандальному процессу, который был бы находкой для врагов, для клеветы и унижения его высокого положения в свете. Главная же цель — определение положения с наименьшим расстройством — не достигалась и чрез развод. Кроме того, при разводе, даже при попытке развода, очевидно было, что жена разрывала сношения с мужем и соединялась с своим любовником. А в душе Алексея Александровича, несмотря на полное теперь, как ему казалось, презрительное равнодушие к жене, оставалось в отношении к ней одно чувство — нежелание того, чтоб она беспрепятственно могла соединиться с Вронским, чтобы преступление ее было для нее выгодно. Одна мысль эта так раздражала Алексея Александровича, что, только представив себе это, он замычал от внутренней боли и приподнялся и переменил место в карете и долго после того, нахмуренный, завертывал свои зябкие и костлявые ноги пушистым пледом.

«Кроме формального развода, можно было еще поступить, как Карибанов, Паскудин и этот добрый Драм, то есть разъехаться с женой», — продолжал он думать, успокоившись; но и эта мера представляла те же неудобства позора, как и при разводе, и главное — это, точно так же как и формальный развод, бросало его жену в объятия Вронского. «Нет, это невозможно, невозможно! — опять принимаясь перевертывать свой плед, громко заговорил он. — Я не могу быть несчастлив, но и она и он не должны быть счастливы».

Чувство ревности, которое мучало его во время неизвестности, прошло в ту минуту, когда ему с болью был выдернут зуб словами жены. Но чувство это заменилось другим: желанием, чтоб она не только не торжествовала,

чести. И, вновь перебрав условия дуэли, развода, разлуки и вновь отвергнув их, Алексей Александрович убедился, что выход был только один — удержать ее при себе, скрыв от света случившееся и употребив все зависящие меры для прекращения связи и главное — в чем самому себе он не признавался — для наказания ее. «Я должен объявить свое решение, что, обдумав то тяжелое положение, в которое она поставила семью, всо другие выходы будут хуже для обеих сторон, чем внешнее status quo*, и что таковое я согласен соблюдать, но под строгим условием исполнения с ее стороны моей воли, то есть прекращения отношений с любовником». В подтверждение этого решения, когда оно уже было окончательно принято, Алексею Александровичу пришло еще одно важное соображение. «Только при таком решении я поступаю и сообразно с религией, — сказал оп себе, — только при этом решении я не отвергаю от себя преступную жену, а даю ей возможность исправления и даже — как ни тяжело это мне будет — посвящаю часть своих сил на исправление и спасение ее». Хотя Алексей Александрович и знал, что он не может иметь на жену нравственного влияния, что из всей этой попытки исправления ничего не выйдет, кроме лжи; хотя, переживая эти тяжелые минуты, он и не подумал ни разу о том, чтоб искать руководства в религии, — теперь, когда его решение совпадало с требованиями, как ему казалось, религии, эта религиозная санкция его решения давала ему полное удовлетворение и отчасти успокоение. Ему было радостно думать, что и в столь важном жизненном деле никто не в состоянии будет сказать, что он не поступил сообразно с правилами той религии, которой знамя оп всегда дерясал высоко среди общего охлаящения и равнодушия. Обдумывая дальнейшие подробности, Алексей Александрович не видел даже, почему его отношения к жене не могли оставаться такие я^е почти, как и преяще. Без сомнения, он никогда не будет в состоянии возвратить ей своего уважения; но не было и не могло быть никаких причин ему расстроивать свою н;изнь и страдать вследствие того, что она была дурная и неверная жена. «Да, пройдет время, все устрояющеө время, и отношения восстановятся прежние, — сказал себе Алексей Александрович, — то есть восстановятся f ^ ярежнео положение (лат.). 303

чести. И, вновь перебрав условия дуэли, развода, разлуки и вновь отвергнув их, Алексей Александрович убедился, что выход был только один — удержать ее при себе, скрыв от света случившееся и употребив все зависящие меры для прекращения связи и главное — в чем самому себе он не признавался — для наказания ее. «Я должен объявить свое решение, что, обдумав то тяжелое положение, в которое она поставила семью, все другие выходы будут хуже для обеих сторон, чем внешнее status quo[1], и что таковое я согласен соблюдать, но под строгим условием исполнения с ее стороны моей воли, то есть прекращения отношений с любовником». В подтверждение этого решения, когда оно уже было окончательно принято, Алексею Александровичу пришло еще одно важное соображение. «Только при таком решении я поступаю и сообразно с религией, — сказал он себе, — только при этом решении я не отвергаю от себя преступную жену, а даю ей возможность исправления и даже — как ни тяжело это мне будет — посвящаю часть своих сил на исправление и спасение ее». Хотя Алексей Александрович и знал, что он не может иметь на жену нравственного влияния, что из всей этой попытки исправления ничего не выйдет, кроме лжи; хотя, переживая эти тяжелые минуты, он и не подумал ни разу о том, чтоб искать руководства в религии, — теперь, когда его решение совпадало с требованиями, как ему казалось, религии, эта религиозная санкция его решения давала ему полное удовлетворение и отчасти успокоение. Ему было радостно думать, что и в столь важном жизненном деле никто не в состоянии будет сказать, что он не поступил сообразно с правилами той религии, которой знамя он всегда держал высоко среди общего охлаждения и равнодушия. Обдумывая дальнейшие подробности, Алексей Александрович не видел даже, почему его отношения к жене не могли оставаться такие же почти, как и прежде. Без сомнения, он никогда не будет в состоянии возвратить ей своего уважения; но не было и не могло быть никаких причин ему расстроивать свою жизнь и страдать вследствие того, что она была дурная и неверная жена. «Да, пройдет время, все устрояющее время, и отношения восстановятся прежние, — сказал

R такой степени, что я не буду чувствовать расстройства в течении своей жизни. Она должна быть несчастлива, но я не виноват и потому не могу быть несчастлив». XIV Подъезжая к Петербургу, Алексей Александрович не только вполне остановился на этом решении, но и составил в своей голове письмо, которое он напишет жене. Войдя в швейцарскую, Алексей Александрович взглянул на письма и бумаги, принесенные из министерства, и велел внести за собой в кабинет. — Отложить и никого не принимать, — сказал он на вопрос швейцара, с некоторым удовольствием, служившим признаком его хорошего расположения духа, ударяя на слове «не принимать». В кабинете Алексей Александрович прошелся два раза и остановился у огромного письменного стола, на котором уже были зажжены вперед вошедшим камердинером шесть свечей, потреп^ал пальцами и сел, разбирая письменные принадлежности. Положив локти на стол, он склонил набок голову, подумал с минуту и начал писать, ни одной секунды не останавливаясь. Он писал без обращения к ней и по-французски, употребляя местоимение «вы», не имеющее того характера холодности, который оно имеет на русском языке. «При последнем разговоре нашем я выразил вам мое намерение сообщить свое решение относительно предмета этого разговора. Внимательно обдумав все, я пишу теперь с целью исполнить это обещание. Решение мое следующее: каковы бы ни были ваши поступки, я не считаю себя вправе разрывать тех уз, которыми мы связаны властью свыше. Семья не может быть разрушена по капризу, произволу или даже по преступлению одного из супругов, и наша жизнь должна идти, как она шла прежде. Это необходимо для меня, для вас, для нашего сына. Я вполне уверен, что вы раскаялись и раскаиваетесь в том, что слуяшт поводом настоящего письма, и что вы будете содействовать мне в том, чтобы вырвать с корііем причину нашего раздора и забыть прошедшее. В противном случае вы сами можете предположить то, что Ж

в такой степени, что я не буду чувствовать расстройства в течении своей жизни. Она должна быть несчастлива, но я не виноват и потому не могу быть несчастлив».

XIV

Подъезжая к Петербургу, Алексей Александрович не только вполне остановился на этом решении, но и составил в своей голове письмо, которое он напишет жене. Войдя в швейцарскую, Алексей Александрович взглянул на письма и бумаги, принесенные из министерства, и велел внести за собой в кабинет.

— Отложить и никого не принимать, — сказал он на вопрос швейцара, с некоторым удовольствием, служившим признаком его хорошего расположения духа, ударяя на слове «не принимать».

В кабинете Алексей Александрович прошелся два раза и остановился у огромного письменного стола, на котором уже были зажжены вперед вошедшим камердинером шесть свечей, потрещал пальцами и сел, разбирая письменные принадлежности. Положив локти на стол, он склонил набок голову, подумал с минуту и начал писать, ни одной секунды не останавливаясь. Он писал без обращения к ней и по-французски, употребляя местоимение «вы», не имеющее того характера холодности, который оно имеет на русском языке.

«При последнем разговоре нашем я выразил вам мое намерение сообщить свое решение относительно предмета этого разговора. Внимательно обдумав все, я пишу теперь с целью исполнить это обещание. Решение мое следующее: каковы бы ни были ваши поступки, я не считаю себя вправе разрывать тех уз, которыми мы связаны властью свыше. Семья не может быть разрушена по капризу, произволу или даже по преступлению одного из супругов, и наша жизнь должна идти, как она шла прежде. Это необходимо для меня, для вас, для нашего сына. Я вполне уверен, что вы раскаялись и раскаиваетесь в том, что служит поводом настоящего письма, и что

ожидает вас и вашего сына. Обо всем этом более подробно надеюсь переговорить при личном свидании. Так как время дачного сезона кончается, я просил бы вас переехать в Петербург как можно скорее, не позже вторника. Все нужные распоряжения для вашего переезда будут сделаны. Прошу вас заметить, что я приписываю особенное значение исполнению этой моей просьбы. А. Каренин, PS. При этом письме деньги, которые могут понадобиться для ваших расходов». Он прочел письмо и остался им доволен, особенно тем, что он вспомнил приложить деньги; не было ни жестокого слова, ни упрека, но не было и снисходительности. Главное же — был золотой мост для возвращения. Сложив письмо и загладив его большим массивным ножом слоновой кости и уложив в конверт с деньгами, ой с удовольствием, которое всегда возбуждаемо было в нем обращением со своими хорошо устроенными письменными принадлежностями, позвонил. — Передашь курьеру, чтобы завтра доставил Анне Аркадьевне на дачу, — сказал он и встал. — Слушаю, ваше превосходительство; чай в кабинет прикажете? Алексей Александрович велел подать чай в кабинет и, играя массивным ножом, пошел к креслу, у которого была приготовлена лампа и начатая французская книга о евгюбических надписях. Над креслом висел овальный, в золотой раме, прекрасно сделанный знаменитым художником портрет Анны. Алексей Александрович взглянул на него. Непроницаемые глаза насмешливо и нагло смотрели на него, как в тот последний вечер их объяснения. Невыносимо нагло и вызывающе подействовал па Алексея Александровича вид отлично сделанного художником черного кружева на голове, черных волос и белой прекрасной руки с безымянным пальцем, покрытым перстнями. Поглядев на портрет с минуту, Алексей Александрович вздрогнул так, что губы затряслись и произвели звук «брр», и отвернулся. Поспешно сев в кресло, он раскрыл книгу. Он попробовал читать, но никак не мог восстановить в себе весьма живого прежде интереса к евгюбическим надписям. Он смотрел в книгу

ожидает вас и вашего сына. Обо всем этом более подробно надеюсь переговорить при личном свидании. Так как время дачного сезона кончается, я просил бы вас переехать в Петербург как можно скорее, не позже вторника. Все нужные распоряжения для вашего переезда будут сделаны. Прошу вас заметить, что я приписываю особенное значение исполнению этой моей просьбы.

А. Каренин.

PS. При этом письме деньги, которые могут понадобиться для ваших расходов».

Он прочел письмо и остался им доволен, особенно тем, что он вспомнил приложить деньги; не было ни жестокого слова, ни упрека, но не было и снисходительности. Главное же — был золотой мост для возвращения. Сложив письмо и загладив его большим массивным ножом слоновой кости и уложив в конверт с деньгами, он с удовольствием, которое всегда возбуждаемо было в нем обращением со своими хорошо устроенными письменными принадлежностями, позвонил.

— Передашь курьеру, чтобы завтра доставил Анне Аркадьевне на дачу, — сказал он и встал.

— Слушаю, ваше превосходительство; чай в кабинет прикажете?

Алексей Александрович велел подать чай в кабинет и, играя массивным ножом, пошел к креслу, у которого была приготовлена лампа и начатая французская книга о евгюбических надписях. Над креслом висел овальный, в золотой раме, прекрасно сделанный знаменитым художником портрет Анны. Алексей Александрович взглянул на него. Непроницаемые глаза насмешливо и нагло смотрели на него, как в тот последний вечер их объяснения. Невыносимо нагло и вызывающе подействовал на Алексея Александровича вид отлично сделанного художником черного кружева на голове, черных волос и белой прекрасной руки с безымянным пальцем, покрытым перстнями. Поглядев на портрет с минуту, Алексей Александрович вздрогнул так, что губы затряслись и произвели звук «брр» и отвернулся. Поспешно сев

и думал о другом. Он думал не о жене, но об одном возникшем в последнее время усложнении в его государственной деятельности, которое в это время составляло главный интерес его службы. Он чувствовал, что он глубже, чем когда-нибудь, вникал теперь в это усложнение и что в голове его нарождалась — он без самообольщения мог сказать — капитальная мысль, долженствующая распутать все это дело, возвысить его в служебной карьере, уронить его врагов и потому принести величайшую пользу государству. Как только человек, установив чай, вышел из комнаты, Алексей Александрович встал и пошел к письменному столу. Подвинув на середину портфель с текущими делами, он с чуть заметною улыбкой самодовольства вынул из стойки карандаш и погрузился в чтение вытребованного им сложного дела, относившегося до предстоящего усложнения. Усложнение было такое. Особенность Алексея Александровича, как государственного человека, та, ему одному свойственная, характерная черта, которую имеет каждый выдвигающийся чиновник, та, которая вместе с его упорным честолюбием, сдержанностью, честностью и самоуверенностью сделала его карьеру, состояла в пренебрежении к бумажной официальности, в сокращеніи переписки, в прямом, насколько возможно, отношении к живому делу и в экономности. Случилось же, что в знаменитой комиссии 2 июня было выставлено дело об орошении полей Зарайской губернии, находившееся в министерстве Алексея Александровича и представлявпіее резкий пример неплодотворности расходов и бумажного отношения к делу. Алексей Александрович знал, что это было справедливо. Дело орошения полей Зарайской губернии было начато предшественником предшественника Алексея Александровича. И действительно, на это дело было потрачено и тратилось очень много денег и совершенно непроизводительно, и все дело это, очевидно, ни к чему не могло привести. Алексей Александрович, вступив в должность, тотчас же понял это и хотел было наложить руки на это дело; но в первое время, когда он чувствовал себя еще нетвердо, он знал, что это затрогивало слишком много интересов и было неблагоразумно; потом же он, занявшись другими делами, просто забыл про это дело. Оно, как и все дела, шло само собою, по силе инерции. (Много людей кормилось

этим делом, в особенности одно очень нравственное и музыкальное семейство: все дочери играли на струи306

и думал о другом. Он думал не о жене, но об одном возникшем в последнее время усложнении в его государственной деятельности, которое в это время составляло главный интерес его службы. Он чувствовал, что он глубже, чем когда-нибудь, вникал теперь в это усложнение и что в голове его нарождалась — он без самообольщения мог сказать — капитальная мысль, долженствующая распутать все это дело, возвысить его в служебной карьере, уронить его врагов и потому принести величайшую пользу государству. Как только человек, установив чай, вышел из комнаты, Алексей Александрович встал и пошел к письменному столу. Подвинув на середину портфель с текущими делами, он с чуть заметною улыбкой самодовольства вынул из стойки карандаш и погрузился в чтение вытребованного им сложного дела, относившегося до предстоящего усложнения. Усложнение было такое. Особенность Алексея Александровича, как государственного человека, та, ему одному свойственная, характерная черта, которую имеет каждый выдвигающийся чиновник, та, которая вместе с его упорным честолюбием, сдержанностью, честностью и самоуверенностью сделала его карьеру, состояла в пренебрежении к бумажной официальности, в сокращении переписки, в прямом, насколько возможно, отношении к живому делу и в экономности. Случилось же, что в знаменитой комиссии 2 июня было выставлено дело об орошении полей Зарайской губернии, находившееся в министерстве Алексея Александровича и представлявшее резкий пример неплодотворности расходов и бумажного отношения к делу. Алексей Александрович знал, что это было справедливо. Дело орошения полей Зарайской губернии было начато предшественником предшественника Алексея Александровича. И действительно, на это дело было потрачено и тратилось очень много денег и совершенно непроизводительно, и все дело это, очевидно, ни к чему не могло привести. Алексей Александрович, вступив в должность, тотчас же понял это и хотел было наложить руки на это дело; но в первое время, когда он чувствовал себя еще нетвердо, он знал, что это затрогивало слишком много интересов и было неблагоразумно; потом же он, занявшись другими делами, просто забыл про это дело. Оно, как и все дела

пых инструментах. Алексей Александрович знал это семейство и был посаженым отцом у одной из старших дочерей.) Поднятие этого дела враждебным министерством было, по мнению Алексея Александровича, нечестно, потому что в каждом министерстве были и не такие дела, которых никто, по известным служебным приличиям, не поднимал. Теперь же, если уже ему бросали эту перчатку, то он смело поднимал ее и требовал назначения особой комиссии для изучения и поверки трудов комиссии орошения полей Зарайской губернии; но зато уже он не давал никакого спуску и тем господам. Он требовал и назначения еш;е особой комиссии по делу об устройстве инородцев. Дело об устройстве инородцев было случайно поднято в комитете 2 июня и с энергиею поддерживаемо Алексеем Александровичем как не терпящее отлагательства по плачевному состоянию инородцев. В комитете дело это послужило поводом к пререканию нескольких министерств. Министерство, враждебное Алексею Александровичу, доказывало, что положение инородцев было весьма цветущее и что предполагаемое переустройство может погубить их процветание, а если что есть дурного, то это вытекает только из неисполнения министерством Алексея Александровича предписанных законом мер. Теперь Алексей Александрович намерен был требовать: во-первых, чтобы составлена была новая комиссия, которой поручено бы было исследовать на месте состояние инородцев; во-вторых, если окажется, что положение инородцев действительно таково, каким оно является из имеющихся в руках комитета официальных данных, то что-бы была назначена еще другая, новая ученая комиссия для исследования причин этого безотрадного положения инородцев с точек зрения: а) политической, б) административной, в) экономической, г) этнографической, д) материальной и е) религиозной; в-третьих, чтобы были затребованы от враждебного министерства сведения о тех мерах, которые были в последнее десятилетие приняты этим министерством для предотвращения тех невыгодных условий, в которых ныне находятся инородцы, и, в-четвертых, наконец, чтобы было потребовано от министерства объяснение о том, почему оно, как видно из доставлетіых в комитет сведений за «№№ 17015 и 18308, от 5 декабря

1863 года и 7 июня 1864, действовало прямо противоположно смыслу коренного и органического закона, т..., ст. 18, и примечание 307

ных инструментах. Алексей Александрович знал это семейство и был посаженым отцом у одной из старших дочерей.) Поднятие этого дела враждебным министерством было, по мнению Алексея Александровича, нечестно, потому что в каждом министерстве были и не такие дела, которых никто, по известным служебным приличиям, не поднимал. Теперь же, если уже ему бросали эту перчатку, то он смело поднимал ее и требовал назначения особой комиссии для изучения и поверки трудов комиссии орошения полей Зарайской губернии; но зато уже он не давал никакого спуску и тем господам. Он требовал и назначения еще особой комиссии по делу об устройстве инородцев. Дело об устройстве инородцев было случайно поднято в комитете 2 июня и с энергиею поддерживаемо Алексеем Александровичем как не терпящее отлагательства по плачевному состоянию инородцев. В комитете дело это послужило поводом к пререканию нескольких министерств. Министерство, враждебное Алексею Александровичу, доказывало, что положение инородцев было весьма цветущее и что предполагаемое переустройство может погубить их процветание, а если что есть дурного, то это вытекает только из неисполнения министерством Алексея Александровича предписанных законом мер. Теперь Алексей Александрович намерен был требовать: во-первых, чтобы составлена была новая комиссия, которой поручено бы было исследовать на месте состояние инородцев; во-вторых, если окажется, что положение инородцев действительно таково, каким оно является из имеющихся в руках комитета официальных данных, то чтобы была назначена еще другая, новая ученая комиссия для исследования причин этого безотрадного положения инородцев с точек зрения: а) политической, б) административной, в) экономической, г) этнографической, д) материальной и е) религиозной; в-третьих, чтобы были затребованы от враждебного министерства сведения о тех мерах, которые были в последнее десятилетие приняты этим министерством для предотвращения тех невыгодных условий, в которых ныне находятся инородцы, и, в-четвертых, наконец, чтобы было потребовано от министерства объяснение о том, почему оно, как видно из доставленных в комитет сведений за

к статье 36. Краска оживления покрыла лицо Алексея Александровича, когда он быстро писал себе конспект этих мыслей. Исписав лист бумаги, он встал, позвонил и передал записочку к правителю канцелярии о доставлении ему нужных справок. Встав и пройдясь по комнате, он опять взглянул на портрет, нахмурился и презрительно улыбнулся. Почитав еще книгу о евгюбических надписях и возобновив интерес к ним, Алексей Александрович в одиннадцать часов пошел спать, и когда он, лежа в постели, вспомнил о событии с женой, оно ему представилось уже совсем не в таком мрачном виде. XV Хотя Анна упорно и с озлоблением противоречила Вронскому, когда он говорил ей, что положение ее невозможно, и уговаривал ее открыть все мужу, в глубине души она считала свое положение ложным, нечестным и всею душой желала изменить его. Возвращаясь с мужем со скачек, в минуту волнения она высказала ему все; несмотря на боль, испытанную ею при этом, она была рада этому. После того как муж оставил ее, она говорила себе, что она рада, что теперь все определится, и по крайней мере не будет лжи и обмана. Ей казалось несомненным, что теперь положение ее навсегда определится. Оно может быть дурно, это новое положение, но оно будет определенно, в нем не будет неясности и лжи. Та боль, которую она причинила себе и мужу, высказав эти слова, будет вознаграждена теперь тем, что все определится, думала она. В этот же вечер она увидалась с Вронским, но не сказала ему о том, что произошло между ею и мужем, хотя, для того чтобы положение определилось, надо было сказать ему. Когда она проснулась на другое утро, первое, что представилось ей, были слова, которые она сказала мужу» и слова эти ей показались так ужасны, что она не могла понять теперь, как она могла решиться произнести эти странные грубые слова, и не могла представить себе того, что из этого выйдет. Но слова были сказаны, и Алексей Александрович уехал, ничего не сказав. «Я видела Вронского и не сказала ему. Еще в ту самую минуту, как он уходил, я хотела воротить его и сказать ему, но раздумала, потому что было странно, почему я 308

к статье 36. Краска оживления покрыла лицо Алексея Александровича, когда он быстро писал себе конспект этих мыслей. Исписав лист бумаги, он встал, позвонил и передал записочку к правителю канцелярии о доставлении ему нужных справок. Встав и пройдясь по комнате, он опять взглянул на портрет, нахмурился и презрительно улыбнулся. Почитав еще книгу о евгюбических надписях и возобновив интерес к ним, Алексей Александрович в одиннадцать часов пошел спать, и когда он, лежа в постели, вспомнил о событии с женой, оно ему представилось уже совсем не в таком мрачном виде.

XV

Хотя Анна упорно и с озлоблением противоречила Вронскому, когда он говорил ей, что положение ее невозможно, и уговаривал ее открыть все мужу, в глубине души она считала свое положение ложным, нечестным и всею душой желала изменить его. Возвращаясь с мужем со скачек, в минуту волнения она высказала ему все; несмотря на боль, испытанную ею при этом, она была рада этому. После того как муж оставил ее, она говорила себе, что она рада, что теперь все определится, и по крайней мере не будет лжи и обмана. Ей казалось несомненным, что теперь положение ее навсегда определится. Оно может быть дурно, это новое положение, но оно будет определенно, в нем не будет неясности и лжи. Та боль, которую она причинила себе и мужу, высказав эти слова, будет вознаграждена теперь тем, что все определится, думала она. В этот же вечер она увиделась с Вронским, но не сказала ему о том, что произошло между ею и мужем, хотя, для того чтобы положение определилось, надо было сказать ему.

Когда она проснулась на другое утро, первое, что представилось ей, были слова, которые она сказала мужу, и слова эти ей показались так ужасны, что она не могла понять теперь, как она могла решиться произнести эти странные грубые слова, и не могла представить себе того, что из этого выйдет. Но слова были сказаны, и Алексей Александрович уехал, ничего не сказав. «Я ви-

не сказала ему в первую минуту. Отчего я хотела и не сказала ему?» И в ответ на этот вопрос горячая краска стыда разлилась по ее лицу. Она поняла то, что удерживало ее от этого; она поняла, что ей было стыдно. Ее положение, которое казалось уясненным вчера вечером, вдруг представилось ей теперь не только не уясненным, но безвыходным. Ей стало страшно за позор, о котором она прежде и не думала. Когда она только думала о том, что сделает ее муж, ей приходили самые страшные мысли. Ей приходило в голову, что сейчас приедет управляющий выгонять ее из дома, что позор ее будет объявлен всему миру. Она спрашивала себя, куда она поедет, когда ее выгонят из дома, и не находила ответа. Когда она думала о Вронском, ей представлялось, что он не любит ее, что он уже начинает тяготиться ею, что она не может предложить ему себя, и чувствовала враждебность к нему за это. Ей казалось, что те слова, которые она сказала мужу и которые она беспрестанно повторяла в своем воображении, что она их сказала всем и что все их слышали. Она не могла решиться взглянуть в глаза тем, с кем она жила. Она не могла решиться позвать девушку и еще меньше сойти вниз и увидать сына и гувернантку. Девушка, уже давно прислушивавшаяся у ее двери, вошла сама к ней в комнату. Анна вопросительно взглянула ей в глаза и испуганно покраснела. Девушка извинилась, что вошла, сказав, что ей показалось, что позвонили. Она принесла платье и записку. Записка была от Бетси. Бетси напоминала ей, что нынче утром к ней съедутся Лиза Меркалова и баронесса Штольц с своими поклонниками. Калужским и стариком Стремовым, на партию крокета. «Приезжайте хоть посмотреть, как изучение нравов. Я вас жду», — кончала она. Анна прочла записку и тяжело вздохнула. — Ничего, ничего не нужно, — сказала она Аннушке, перестанавливавшей флаконы и щетки на уборном столике. — Поди, я сейчас оденусь и выйду. Ничего, ничего не нужно. Аннушка вышла, но Анна не стала одеваться, а сидела в том же положении, опустив голову и руки, и изредка содрогалась всем телом, желая как бы сделать какой-то жест, сказать что-то и опять замирая. Она беспрестанно повторяла: «Боже мой! Боже мой!» Но ни «боже», ни «мой» не имели для нее никакого смысла. 309

не сказала ему в первую минуту. Отчего я хотела и не сказала ему?» И в ответ на этот вопрос горячая краска стыда разлилась по ее лицу. Она поняла то, что удерживало ее от этого; она поняла, что ей было стыдно. Ее положение, которое казалось уясненным вчера вечером, вдруг представилось ей теперь не только не уясненным, но безвыходным. Ей стало страшно за позор, о котором она прежде и не думала. Когда она только думала о том, что сделает ее муж, ей приходили самые страшные мысли. Ей приходило в голову, что сейчас приедет управляющий выгонять ее из дома, что позор ее будет объявлен всему миру. Она спрашивала себя, куда она поедет, когда ее выгонят из дома, и не находила ответа.

Когда она думала о Вронском, ей представлялось, что он не любит ее, что он уже начинает тяготиться ею, что она не может предложить ему себя, и чувствовала враждебность к нему за это. Ей казалось, что те слова, которые она сказала мужу и которые она беспрестанно повторяла в своем воображении, что она их сказала всем и что все их слышали. Она не могла решиться взглянуть в глаза тем, с кем она жила. Она не могла решиться позвать девушку и еще меньше сойти вниз и увидать сына и гувернантку.

Девушка, уже давно прислушивавшаяся у ее двери, вошла сама к ней в комнату. Анна вопросительно взглянула ей в глаза и испуганно покраснела. Девушка извинилась, что вошла, сказав, что ей показалось, что позвонили. Она принесла платье и записку. Записка была от Бетси. Бетси напоминала ей, что нынче утром к ней съедутся Лиза Меркалова и баронесса Штольц с своими поклонниками, Калужским и стариком Стремовым, на партию крокета. «Приезжайте хоть посмотреть, как изучение нравов. Я вас жду», — кончала она.

Анна прочла записку и тяжело вздохнула.

— Ничего, ничего не нужно, — сказала она Аннушке, перестанавливавшей флаконы и щетки на уборном столике. — Поди, я сейчас оденусь и выйду. Ничего, ничего не нужно.

Аннушка вышла, но Анна не стала одеваться, а сидела в том же положении, опустив голову и руки, и изредка содрогалась всем телом, желая как бы сделать

Мысль искать своему положению помощи в религии была для нее, несмотря на то, что она никогда не сомневалась в религии, в которой была воспитана, так же чужда, как искать помощи у самого Алексея Александровича. Она знала вперед, что помощь религии возможна только под условием отречения от того, что составляло для нее весь смысл жизни. Ей не только было тяжело, до она начинала испытывать страх пред новым, никогда не испытанным ею душевным состоянием. Она чувствовала, что в душе ее все начинает двоиться, как двоятся иногда предметы в усталых глазах. Она не знала иногда, чего она боится, чего желает. Боится ли она и желает ли она того, что было, или того, что будет, и чего именно она желает, она не знала. «Ах, что я делаю!» — сказала она себе, почувствовав вдруг боль в обеих сторонах головы. Когда она опомнилась, она увидала, что держит обеими руками свои волосы около висков и сжимает их. Она вскочила и стала ходить. — Кофей готов, и мамзель с Сережей ждут, — сказала Аннушка, вернувшись опять и опять застав Анну в том же положении. — Сережа? Что Сережа? — оживляясь вдруг, спросила Анна, вспомнив в первый раз за все утро о существовании своего сына. — Он провинился, кажется, — отвечала, улыбаясь, Аннушка. — Как провинился? — Персики у вас лежали в угольной; так, кажется, они потихонечку один скушали. Напоминание о сыне вдруг вывело Анну из того безвыходного положения, в котором она находилась. Она вспомнила ту, отчасти искреннюю, хотя и много преувеличенную, роль матери, я^ивущей для сына, которую она взяла на себя в последние годы, и с радостью почувствовала, что в том состоянии, в котором она находилась, у ней есть держава, независимая от положения, в которое она станет к муя^у и к Вронскому. Эта держава — был сын. В какое бы положение она ни стала, она не может покинуть сына. Пускай муж опозорит и выгонит ее, пускай Вронский охладеет к ней и продолжает вести свою независимую жизнь (она опять с желчью и упреком подумала о нем) , она не может оставить сына. У ней есть цель лшзни. И ей надо действовать, действовать, 310

Мысль искать своему положению помощи в религии была для нее, несмотря на то, что она никогда не сомневалась в религии, в которой была воспитана, так же чужда, как искать помощи у самого Алексея Александровича. Она знала вперед, что помощь религии возможна только под условием отречения от того, что составляло для нее весь смысл жизни. Ей не только было тяжело, но она начинала испытывать страх пред новым, никогда не испытанным ею душевным состоянием. Она чувствовала, что в душе ее все начинает двоиться, как двоятся иногда предметы в усталых глазах. Она не знала иногда, чего она боится, чего желает. Боится ли она и желает ли она того, что было, или того, что будет, и чего именно она желает, она не знала.

«Ах, что я делаю!» — сказала она себе, почувствовав вдруг боль в обеих сторонах головы. Когда она опомнилась, она увидала, что держит обеими руками свои волосы около висков и сжимает их. Она вскочила и стала ходить.

— Кофей готов, и мамзель с Сережей ждут, — сказала Аннушка, вернувшись опять и опять застав Анну в том же положении.

— Сережа? Что Сережа? — оживляясь вдруг, спросила Анна, вспомнив в первый раз за все утро о существовании своего сына.

— Он провинился, кажется, — отвечала, улыбаясь, Аннушка.

— Как провинился?

— Персики у вас лежали в угольной; так, кажется, они потихонечку один скушали.

Напоминание о сыне вдруг вывело Анну из того безвыходного положения, в котором она находилась. Она вспомнила ту, отчасти искреннюю, хотя и много преувеличенную, роль матери, живущей для сына, которую она взяла на себя в последние годы, и с радостью почувствовала, что в том состоянии, в котором она находилась, у ней есть держава, независимая от положения, в которое она станет к мужу и к Вронскому. Эта держава — был сын. В какое бы положение она ни стала, она не может покинуть сына. Пускай муж опозорит и выгонит ее, пускай Вронский охладеет к ней и продолжает вести

чтоб обеспечить это полоя^ение с сыном, чтобы его не отняли у ней. Даже скорее, как можно скорее надо действовать, пока его не отняли у ней. Надо взять сына и уехать. Вот одно, что ей надо теперь делать. Ей нуяаю было успокоиться и выйти из этого мучительного положения. Мысль о прямом деле, связывавшемся с сыном, о тохм, чтобы сейчас же уехать с ним куда-нибудь, дала ей это успокоение. Она быстро оделась, сошла вниз и решительными шагами вошла в гостиную, где, по обыкновению, ожидал ее кофе и Сережа с гувернанткой. Сережа, весь в белом, стоял у стола под зеркалом и, согнувшись спиной и головой, с выражением напряЯ\енного внимания, которое она знала в нем и которым он был похож на отца, что-то делал с цветами, которые он принес. Гувернантка имела особенно строгий вид. Сереяш пронзительно, как это часто бывало с ним, вскрикнул: «А, мама!» — и остановился в нерешительности: идти ли к матери здороваться и бросить цветы, или доделать венок и с цветами идти. Гувернантка, поздоровавшись, длинно и определительпо стала рассказывать проступок, сделанный Сережей, но Анна не слушала ее; она думала о том, возьмет ли она ее с собою. «Нет, не возьму, — решила она. — Я уеду одна, с сыном». — Да, это очень дурно, — сказала Анна и, взяв сына за плечо, не строгим, а робким взглядом, смутившим и обрадовавшИхМ мальчика, посмотрела на него и поцеловала. — Оставьте его со мной, — сказала она удивленной гувернантке и, пе выпуская руки сына, села за приготовленный с кофеем стол. — Мама! Я... я... не... — сказал он, стараясь понять по ее выражению, что ожидает его за персик. — Сережа, — сказала она, как только гувернантка вышла из комнаты, — это дурно, но ты не будешь больше делать этого?.. Ты любишь меня? Она чувствовала, что слезы выступают ей на глаза. «Разве я могу не любить его? — говорила она себе, вникая в его испуганный и вместе обрадованный взгляд. — И неужели он будет заодно с отцом, чтобы казнить меня? Неуясели не поикал еет меня?» Слезы уже текли по ее лицу, и, чтобы скрыть их, она порывисто встала и почти выбея^ала на террасу. 311

чтоб обеспечить это положение с сыном, чтобы его не отняли у ней. Даже скорее, как можно скорее надо действовать, пока его не отняли у ней. Надо взять сына и уехать. Вот одно, что ей надо теперь делать. Ей нужно было успокоиться и выйти из этого мучительного положения. Мысль о прямом деле, связывавшемся с сыном, о том, чтобы сейчас же уехать с ним куда-нибудь, дала ей это успокоение.

Она быстро оделась, сошла вниз и решительными шагами вошла в гостиную, где, по обыкновению, ожидал ее кофе и Сережа с гувернанткой. Сережа, весь в белом, стоял у стола под зеркалом и, согнувшись спиной и головой, с выражением напряженного внимания, которое она знала в нем и которым он был похож на отца, что-то делал с цветами, которые он принес.

Гувернантка имела особенно строгий вид. Сережа пронзительно, как это часто бывало с ним, вскрикнул: «А, мама!» — и остановился в нерешительности: идти ли к матери здороваться и бросить цветы, или доделать венок и с цветами идти.

Гувернантка, поздоровавшись, длинно и определительно стала рассказывать проступок, сделанный Сережей, но Анна не слушала ее; она думала о том, возьмет ли она ее с собою. «Нет, не возьму, — решила она. — Я уеду одна, с сыном».

— Да, это очень дурно, — сказала Анна и, взяв сына за плечо, не строгим, а робким взглядом, смутившим и обрадовавшим мальчика, посмотрела на него и поцеловала. — Оставьте его со мной, — сказала она удивленной гувернантке и, не выпуская руки сына, села за приготовленный с кофеем стол.

— Мама! Я... я... не... — сказал он, стараясь понять по ее выражению, что ожидает его за персик.

— Сережа, — сказала она, как только гувернантка вышла из комнаты, — это дурно, но ты не будешь больше делать этого?.. Ты любишь меня?

Она чувствовала, что слезы выступают ей на глаза. «Разве я могу не любить его? — говорила она себе, вникая в его испуганный и вместе обрадованный взгляд. — И неужели он будет заодно с отцом, чтобы казнить меня?

После грозовых дождей последних дней наступила холодная, ясная погода. При ярком солнце, сквозившем сквозь обмытые листья, в воздухе было холодно. Она вздрогнула и от холода и от внутреннего ужаса, с новою силою охвативших ее на чистом воздухе. — Поди, поди к Mariette, — сказала она Сереже, вышедшему было за ней, и стала ходить по соломенному ковру террасы. «Неужели они не простят меня, не поймут, как это все не могло быть иначе», — сказала она себе. Остановившись и взглянув на колебавшиеся от ветра вершины осины с обмытыми, ярко блистающими на холодном солнце листьями, она поняла, что они не простят, что всё и все к ней теперь будут безжалостны, как это небо, как эта зелень. И опять она почувствовала, что в душе у ней начинало двоиться. «Не надо, не надо думать, — сказала она себе. — Надо собираться. Куда? Когда? Кого взять с собой? Да, в Москву, на вечернем поезде. Аннушка и Сережа, и только самые необходимые вещи. Но прежде надо написать им обоим». Она быстро пошла в дом, в свой кабинет, села к столу и написала мужу: «После того, что произошло, я не могу более оставаться в вашем доме. Я уезжаю и беру с собою сына. Я не знаю законов и не знаю потому, с кем из родителей должен быть сын; но я беру его с собой, потому что без него я не могу жить. Будьте великодушны, оставьте мне его». До сих пор она писала быстро и естественно, но призыв к его великодушию, которого она не признавала в нем, и необходимость заключить письмо чем-нибудь трогательным остановили ее. «Говорить о своей вине и своем раскаянии я не могу, потому что...» Опять она остановилась, не находя связи в своих мыслях. «Нет, — сказала она себе, — ничего не надо», — и, разорвав письмо, переписала его, исключив упоминание о великодушии, и запечатала. Другое письмо надо было писать к Вронскому. «Я объявила мужу», — писала она и долго сидела, не в силах будучи писать далее. Это было так грубо, так неженственно. «И потом, что же могу я писать ему?» — сказала она себе. Опять краска стыда покрыла ее лицо, вспомнилось его спокойствие, и чувство досады к нему заставило 312

После грозовых дождей последних дней наступила холодная, ясная погода. При ярком солнце, сквозившем сквозь обмытые листья, в воздухе было холодно.

Она вздрогнула и от холода и от внутреннего ужаса, с новою силою охвативших ее на чистом воздухе.

— Поди, поди к Mariette, — сказала она Сереже, вышедшему было за ней, и стала ходить по соломенному ковру террасы. «Неужели они не простят меня, не поймут, как это все не могло быть иначе», — сказала она себе.

Остановившись и взглянув на колебавшиеся от ветра вершины осины с обмытыми, ярко блистающими на холодном солнце листьями, она поняла, что они не простят, что всё и все к ней теперь будут безжалостны, как это небо, как эта зелень. И опять она почувствовала, что в душе у ней начинало двоиться. «Не надо, не надо думать, — сказала она себе. — Надо собираться. Куда? Когда? Кого взять с собой? Да, в Москву, на вечернем поезде. Аннушка и Сережа, и только самые необходимые вещи. Но прежде надо написать им обоим». Она быстро пошла в дом, в свой кабинет, села к столу и написала мужу:

«После того, что произошло, я не могу более оставаться в вашем доме. Я уезжаю и беру с собою сына. Я не знаю законов и не знаю потому, с кем из родителей должен быть сын; но я беру его с собой, потому что без него я не могу жить. Будьте великодушны, оставьте мне его».

До сих пор она писала быстро и естественно, но призыв к его великодушию, которого она не признавала в нем, и необходимость заключить письмо чем-нибудь трогательным остановили ее.

«Говорить о своей вине и своем раскаянии я не могу, потому что...»

Опять она остановилась, не находя связи в своих мыслях. «Нет, — сказала она себе, — ничего не надо», — и, разорвав письмо, переписала его, исключив упоминание о великодушии, и запечатала.

Другое письмо надо было писать к Вронскому. «Я объявила мужу», — писала она и долго сидела, не в силах будучи писать далее. Это было так грубо, так неженст-

ее разорвать на мелкие клочки листок с написанною фразой. «Ничего не нужно», — сказала она себе и, сложив бювар, пошла наверх, объявила гувернантке и людям, что она едет нынче в Москву, и тотчас принялась за укладку вещей. XVI По всем комнатам дачного дома ходили дворники, садовники и лакеи, вынося вещи. Шкафы и комоды были раскрыты; два раза бегали в лавочку за бечевками; по полу валялась газетная бумага. Два сундука, мешки и увязанные пледы были снесены в переднюю. Карета и два извозчика стояли у крыльца. Анна, забывшая за работой укладки внутреннюю тревогу, укладывала, стоя пред столом в своем кабинете, свой дорожный мешок, когда Аннушка обратила ее внимание на стук подъезжающего экипажа. Анна взглянула в окно и увидала у крыльца курьера Алексея Александровича, который звонил у входной двери. — Поди узнай, что такое, — сказала она и с спокойною готовностью на все, сложив руки на коленах, села на кресло. Лакей принес толстый пакет, надписанный рукою Алексея Александровича. -т- Курьеру приказано привезти ответ, — сказал он. — Хорошо, — сказала она и, как только человек вы^ шел, трясущимися пальцами разорвала письмо. Пачка заклеенных в бандероль неперегнутых ассигнаций выпала из него. Она высвободила письмо и стала читать с конца. «Я сделал приготовления для переезда, я приписываю значение исполнению моей просьбы», — прочла она. Она пробежала дальше, назад, прочла все и еще раз прочла письмо все сначала. Когда она кончила, она почувствовала, что ей холодно и что над ней обрушилось такое страшное несчастие, какого она не ожидала. Она раскаивалась утром в том, что она сказала мужу, и желала только одного, чтоб эти слова были как бы не сказаны. И вот письмо это признавало слова несказанными и давало ей то, чего она желала. Но теперь это письмо представлялось ей ужаснее всего, что только она могла себе представить. «Прав! прав! — проговорила она. — Разумеется, он всегда прав, он христианин, он великодушен! Да, низкий, 313

ее разорвать на мелкие клочки листок с написанною фразой. «Ничего не нужно», — сказала она себе и, сложив бювар, пошла наверх, объявила гувернантке и людям, что она едет нынче в Москву, и тотчас принялась за укладку вещей.

XVI

По всем комнатам дачного дома ходили дворники, садовники и лакеи, вынося вещи. Шкафы и комоды были раскрыты; два раза бегали в лавочку за бечевками; по полу валялась газетная бумага. Два сундука, мешки и увязанные пледы были снесены в переднюю. Карета и два извозчика стояли у крыльца. Анна, забывшая за работой укладки внутреннюю тревогу, укладывала, стоя пред столом в своем кабинете, свой дорожный мешок, когда Аннушка обратила ее внимание на стук подъезжающего экипажа. Анна взглянула в окно и увидала у крыльца курьера Алексея Александровича, который звонил у входной двери.

— Поди узнай, что такое, — сказала она и с спокойною готовностью на все, сложив руки на коленах, села на кресло. Лакей принес толстый пакет, надписанный рукою Алексея Александровича.

— Курьеру приказано привезти ответ, — сказал он.

— Хорошо, — сказала она и, как только человек вышел, трясущимися пальцами разорвала письмо. Пачка заклеенных в бандероль неперегнутых ассигнаций выпала из него. Она высвободила письмо и стала читать с конца. «Я сделал приготовления для переезда, я приписываю значение исполнению моей просьбы», — прочла она. Она пробежала дальше, назад, прочла все и еще раз прочла письмо все сначала. Когда она кончила, она почувствовала, что ей холодно и что над ней обрушилось такое страшное несчастие, какого она не ожидала.

Она раскаивалась утром в том, что́ она сказала мужу, и желала только одного, чтоб эти слова были как бы не сказаны. И вот письмо это признавало слова несказанными и давало ей то, чего она желала. Но теперь это письмо представлялось ей ужаснее всего, что только она

гадкий человек! И этого никто, кроме меня, не понимает и не поймет; и я не могу растолковать. Они говорят: религиозный, нравственный, честный, умный человек; но они не видят, что я видела. Они не знают, как он восемь лет душил мою жизнь, душил все, что было во мне живого, что он ни разу и не подумал о том, что я живая женш;ина, которой нужна любовь. Не знают, как на каждом шагу он оскорблял меня и оставался доволен собой. Я ли не старалась, всеми силами старалась, найти оправдание своей жизни? Я ли не пыталась любить его, любить сына, когда уже нельзя было любить мужа? Но пришло время, я поняла, что я не могу больше себя обманывать, что я живая, что я не виновата, что бог меня сделал такою, что мне нужно любить и жить. И теперь что же? Убил бы он меня, убил бы его, я все бы перенесла, я все бы простила, но нет, он...» «Как я не угадала того, что он сделает? Он сделает то, что свойственно его низкому характеру. Он останется прав, а меня, погибшую, еще хуже, еще ниже погубит...» «Вы сами можете предположить то, что ожидает вас и вашего сына», — вспомнила она слова из письма. «Это угроза, что он отнимет сына, и, вероятно, по их глупому закону это можно. Но разве я не знаю, зачем он говорит это? Он не верит и в мою любовь к сыну пли презирает (как он всегда и подсмеивался), презирает это мое чувство, но он знает, что я не брошу сына, не могу бросить сына, что без сына не может быть для меня жизни даже с тем, кого я люблю, но что, бросив сына и убежав от него, я поступлю, как самая позорная, гадкая женщина, он знает это и знает, что я не в силах буду сделать этого». «Наша жизнь должна идти как прежде», — вспомнила она другую фразу письма. «Эта жизнь была мучительна еще прежде, она была ужасна в последнее время. Что же это будет теперь? И он знает все это, знает, что я не могу раскаиваться в том, что я дышу, что я люблю; знает, что, кроме лжи и обмана, из этого ничего не будет; но ему нужно продолжать мучать меня. Я знаю его! Я знаю, что он, как рыба в воде, плавает и наслаждается во лжи. Но нет, я не доставлю ему этого наслаждения, я разорву эту его паутину лжи, в которой он меня хочет опутать; пусть будет, что будет. Все лучше лжи и обмана!» «Но как? Боже мой! Боже мой! Была ли когда-нибудь женщина так несчастна, как я?..» 314

гадкий человек! И этого никто, кроме меня, не понимает и не поймет; и я не могу растолковать. Они говорят: религиозный, нравственный, честный, умный человек; но они не видят, что я видела. Они не знают, как он восемь лет душил мою жизнь, душил все, что было во мне живого, что он ни разу и не подумал о том, что я живая женщина, которой нужна любовь. Не знают, как на каждом шагу он оскорблял меня и оставался доволен собой. Я ли не старалась, всеми силами старалась, найти оправдание своей жизни? Я ли не пыталась любить его, любить сына, когда уже нельзя было любить мужа? Но пришло время, я поняла, что я не могу больше себя обманывать, что я живая, что я не виновата, что бог меня сделал такою, что мне нужно любить и жить. И теперь что же? Убил бы он меня, убил бы его, я все бы перенесла, я все бы простила, но нет, он...»

«Как я не угадала того, что он сделает? Он сделает то, что свойственно его низкому характеру. Он останется прав, а меня, погибшую, еще хуже, еще ниже погубит...» «Вы сами можете предположить то, что ожидает вас и вашего сына», — вспомнила она слова из письма. «Это угроза, что он отнимет сына, и, вероятно, по их глупому закону это можно. Но разве я не знаю, зачем он говорит это? Он не верит и в мою любовь к сыну или презирает (как он всегда и подсмеивался), презирает это мое чувство, но он знает, что я не брошу сына, не могу бросить сына, что без сына не может быть для меня жизни даже с тем, кого я люблю, но что, бросив сына и убежав от него, я поступлю, как самая позорная, гадкая женщина, он знает это и знает, что я не в силах буду сделать этого».

«Наша жизнь должна идти как прежде», — вспомнила она другую фразу письма. «Эта жизнь была мучительна еще прежде, она была ужасна в последнее время. Что же это будет теперь? И он знает все это, знает, что я не могу раскаиваться в том, что я дышу, что я люблю; знает, что, кроме лжи и обмана, из этого ничего не будет; но ему нужно продолжать мучать меня. Я знаю его! Я знаю, что он, как рыба в воде, плавает и наслаждается во лжи. Но нет, я не доставлю ему этого наслаждения, я разорву эту его паутину лжи, в которой он меня хочет опутать; пусть будет, что будет. Все лучше

— Нет, разорву, разорву! — вскрикнула опа, вскакивая и удерживая слезы. И она подошла к письменному столу, чтобы написать ему другое письмо. Но она в глубине души своей уже чувствовала, что она не в силах будет ничего разорвать, не в силах будет выйти из этого прежнего положения, как оно ни ложно и ни бесчестно. Она села к письменному столу, но, вместо того чтобы писать, сложив руки на стол, положила на них голову и заплакала, всхлипывая и колеблясь всей грудью, как плачут дети. Она плакала о том, что мечта ее об уяснении, определении своего положения разрушена навсегда. Она знала вперед, что все останется по-старому, и даже гораздо хуже, чем по-старому. Она чувствовала, что то положение в свете, которым она пользовалась и которое утром казалось ей столь ничтожным, что это положение дорого ей, что она не будет в силах променять его на позорное положение женщины, бросившей мужа и сына и соединившейся с любовником; что, сколько бы она пи старалась, опа не будет сильнее самой себя. Она никогда не испытает свободы любви, а навсегда останется преступною женой, под угрозой ежеминутного обличения, обманывающею мужа для позорной связи с человеком чуждым, независимым, с которым она не может жить одною жизнью. Она знала, что это так и будет, и вместе с тем это было так ужасно, что она не могла представить себе даже, чем это кончится. И она плакала, не удерживаясь, как плачут наказанные дети. Послышавшиеся шаги лакея заставили ее очнуться, и, скрыв от него свое лицо, она притворилась, что пишет. — Курьер просит ответа, — доложил лакей. — Ответа? Да, — сказала Анна, — пускай подождет. Я позвоню. «Что я могу писать? — думала она. — Что я могу решить одна? Что я знаю? Чего я хочу? Что я люблю?» Опять она почувствовала, что в душе ее начинает двоиться. Она испугалась опять этого чувства и ухватилась за первый представившийся ей предлог деятельности, который мог бы отвлечь ее от мыслей о себе. «Я должна видеть Алексея (так она мысленно называла Вронского), он один может сказать мне, что я должна делать. Поеду к Бетси: может быть, там я увия^у его», — сказала она себе, совершенно забыв о том, что вчера еще, когда она сказала ему, что не поедет к княгине Тверской, он сказал, что поэтому и он толсе не поедет. Она подошла 315

— Нет, разорву, разорву! — вскрикнула она, вскакивая и удерживая слезы. И она подошла к письменному столу, чтобы написать ему другое письмо. Но она в глубине души своей уже чувствовала, что она не в силах будет ничего разорвать, не в силах будет выйти из этого прежнего положения, как оно ни ложно и ни бесчестно.

Она села к письменному столу, но, вместо того чтобы писать, сложив руки на стол, положила на них голову и заплакала, всхлипывая и колеблясь всей грудью, как плачут дети. Она плакала о том, что мечта ее об уяснении, определении своего положения разрушена навсегда. Она знала вперед, что все останется по-старому, и даже гораздо хуже, чем по-старому. Она чувствовала, что то положение в свете, которым она пользовалась и которое утром казалось ей столь ничтожным, что это положение дорого ей, что она не будет в силах променять его на позорное положение женщины, бросившей мужа и сына и соединившейся с любовником; что, сколько бы она ни старалась, она не будет сильнее самой себя. Она никогда не испытает свободы любви, а навсегда останется преступною женой, под угрозой ежеминутного обличения, обманывающею мужа для позорной связи с человеком чуждым, независимым, с которым она не может жить одною жизнью. Она знала, что это так и будет, и вместе с тем это было так ужасно, что она не могла представить себе даже, чем это кончится. И она плакала, не удерживаясь, как плачут наказанные дети.

Послышавшиеся шаги лакея заставили ее очнуться, и, скрыв от него свое лицо, она притворилась, что пишет.

— Курьер просит ответа, — доложил лакей.

— Ответа? Да, — сказала Анна, — пускай подождет. Я позвоню.

«Что я могу писать? — думала она. — Что я могу решить одна? Что я знаю? Чего я хочу? Что я люблю?» Опять она почувствовала, что в душе ее начинает двоиться. Она испугалась опять этого чувства и ухватилась за первый представившийся ей предлог деятельности, который мог бы отвлечь ее от мыслей о себе. «Я должна видеть Алексея (так она мысленно называла Вронского), он один может сказать мне, что я должна делать. Поеду к Бетси: может быть, там я увижу его», — сказала она

к столуі написала мужу: «Я получила ваше письмо. А.» — и, позвонив, отдала лакею. — Мы не едем, — сказала она вошедшей Аннушке. — Совсем не едем? — Нет, не раскладывайте до завтра, и карету оставить. Я поеду к княгине. — Какое же платье приготовить? XVП Общество партии крокета, на которое княгиня Тверская приглашала Анну, должно было состоять из двух дам с их поклонниками. Две дамы эти были главные представительницы избранного нового петербургского кружка, в подражание подражанию чему-то, называвшиеся les sept merveilles du monde ^ Дамы эти принадлежали к кружку, правда, высшему, но совершенно враждебному тому, который Анна посещала. Кроме того, старый Стремой, один из влиятельных людей Петербурга, поклонник Лизы Меркаловой, был по службе враг Алексея Александровича. По всем этим соображениям Анна не хотела ехать, и к этому ее отказу относились намеки записки княгини Тверской. Теперь же Анна, в надежде увидать ВроЕіского, пожелала ехать. Анна приехала к княгине Тверской раньше других гостей. В то время как она входила, лакей Вронского с расчесанными бакенбардами, похожий на камер-юнкера, входил тоже. Он остановился у двери и, сняв фуражку, пропустил ее. Анна узнала его и тут только вспомнила, что Вронский вчера сказал, что не приедет. Вероятно, он об этом прислал записку. Она слышала, снимая верхнее платье в передней, как лакей, выговаривавший даже р, как камер-юнкер, сказал: «от графа княгине» и передал записку. Ей хотелось спросить, где его барин. Ей хотелось вернуться назад и послать ему письмо, чтобы он приехал к ней, или самой ехать к нему. Но ни того, ни другого, ни третьего нельзя было сделать: уже впереди слышались объявляющие о ее приезде звонки, и лакей княгини Тверской уже стал вполуоборот у отворенной двери, ожидая ее прохода во внутренние комнаты. ^ семь чудес света (франц.). 316

к столу, написала мужу: «Я получила ваше письмо. А.» — и, позвонив, отдала лакею.

— Мы не едем, — сказала она вошедшей Аннушке.

— Совсем не едем?

— Нет, не раскладывайте до завтра, и карету оставить. Я поеду к княгине.

— Какое же платье приготовить?

XVII

Общество партии крокета, на которое княгиня Тверская приглашала Анну, должно было состоять из двух дам с их поклонниками. Две дамы эти были главные представительницы избранного нового петербургского кружка, в подражание подражанию чему-то, называвшиеся les sept merveilles du monde[1]. Дамы эти принадлежали к кружку, правда, высшему, но совершенно враждебному тому, который Анна посещала. Кроме того, старый Стремов, один из влиятельных людей Петербурга, поклонник Лизы Меркаловой, был по службе враг Алексея Александровича. По всем этим соображениям Анна не хотела ехать, и к этому ее отказу относились намеки записки княгини Тверской. Теперь же Анна, в надежде увидать Вронского, пожелала ехать.

Анна приехала к княгине Тверской раньше других гостей.

В то время как она входила, лакей Вронского с расчесанными бакенбардами, похожий на камер-юнкера, входил тоже. Он остановился у двери и, сняв фуражку, пропустил ее. Анна узнала его и тут только вспомнила, что Вронский вчера сказал, что не приедет. Вероятно, он об этом прислал записку.

Она слышала, снимая верхнее платье в передней, как лакей, выговаривавший даже *р*, как камер-юнкер, сказал: «от графа княгине» и передал записку.

Ей хотелось спросить, где его барин. Ей хотелось вернуться назад и послать ему письмо, чтобы он приехал к ней, или самой ехать к нему. Но ни того, ни другого, ни третьего нельзя было сделать: уже впереди слышались объявляющие о ее приезде звонки, и лакей княгини

— Княгиня в саду, сейчас доложат. Не угодно ли пожаловать в сад? — доложил другой лакей в другой комнате. Положение нерешительности, неясности было все то же, как и дома; еще хуже, потому что нельзя было ничего предпринять, нельзя было увидать Вронского, а надо было оставаться здесь, в чуждом и столь противоположном ее настроению обществе; но она была в туалете, который, она знала, шел к ней; она была не одна, вокруг была эта привычная торжественная обстановка праздности, и ей было легче, чем дома; она не должна была придумывать, что ей делать. Все делалось само собой. Встретив шедшую к ней Бетси в белом, поразившем ее своею элегантностью, туалете, Анна улыбнулась ей, как всегда. Княгиня Тверская шла с Тушкевичем и родственницейбарышней, к великому счастию провинциальных родителей проводившей лето у знаменитой княгини. Вероятно, в Анне было что-нибудь особенное, потому что Бетси тотчас заметила это. — Я дурно спала, — отвечала Анна, вглядываясь в лакея, который шел им навстречу и, по ее соображениям, нес записку Вронского. — Как я рада, что вы приехали, — сказала Бетси. — Я устала и только что хотела выпить чашку чая, пока они приедут. А вы бы пошли, — обратилась она к Тушкевичу, — с Машей попробовали бы крокет-гроунд там, где подстригли. Мы с вами успеем по душе поговорить за чаем, we'll have a cosy chat*, не правда ли? — обратилась она к Анне с улыбкой, пожимая ее руку, державшую зонтик. — Тем более что я не могу пробыть у вас долго, мне необходимо к старой Вреде. Я уже сто лет обещала,— сказала Анна, для которой ложь, чуждая ее природе, сделалась не только проста и естественна в обществе, но даже доставляла удовольствие. > Для чего она сказала это, чего она за секунду не думала, она никак бы не могла объяснить. Она сказала это по тому только соображению, что так как Вронского не будет, то ей надо обеспечить свою свободу и попытаться как-нибудь увидать его. Но почему она именно сказала про старую фрейлину Вреде, к которой ей нужно было, как и ко многим другим, она не умела бы объяснить, ^ вриятно поболтаем (англ.). 317

— Княгиня в саду, сейчас доложат. Не угодно ли пожаловать в сад? — доложил другой лакей в другой комнате.

Положение нерешительности, неясности было все то же, как и дома; еще хуже, потому что нельзя было ничего предпринять, нельзя было увидать Вронского, а надо было оставаться здесь, в чуждом и столь противоположном ее настроению обществе; но она была в туалете, который, она знала, шел к ней; она была не одна, вокруг была эта привычная торжественная обстановка праздности, и ей было легче, чем дома; она не должна была придумывать, что ей делать. Все делалось само собой. Встретив шедшую к ней Бетси в белом, поразившем ее своею элегантностью, туалете, Анна улыбнулась ей, как всегда. Княгиня Тверская шла с Тушкевичем и родственницей-барышней, к великому счастию провинциальных родителей проводившей лето у знаменитой княгини.

Вероятно, в Анне было что-нибудь особенное, потому что Бетси тотчас заметила это.

— Я дурно спала, — отвечала Анна, вглядываясь в лакея, который шел им навстречу и, по ее соображениям, нес записку Вронского.

— Как я рада, что вы приехали, — сказала Бетси. — Я устала и только что хотела выпить чашку чая, пока они приедут. А вы бы пошли, — обратилась она к Тушкевичу, — с Машей попробовали бы крокет-граунд там, где подстригли. Мы с вами успеем по душе поговорить за чаем, we'll have a cosy chat [1], не правда ли? — обратилась она к Анне с улыбкой, пожимая ее руку, державшую зонтик.

— Тем более что я не могу пробыть у вас долго, мне необходимо к старой Вреде. Я уже сто лет обещала, — сказала Анна, для которой ложь, чуждая ее природе, сделалась не только проста и естественна в обществе, но даже доставляла удовольствие.

Для чего она сказала это, чего она за секунду не думала, она никак бы не могла объяснить. Она сказала это по тому только соображению, что так как Вронского не будет, то ей надо обеспечить свою свободу и попытаться как-нибудь увидать его. Но почему она именно сказала про старую фрейлину Вреде, к которой ей нужно

а вместе с тем, как потом оказалось, опа, придумывая самые хитрые средства для свидания с Вронским, не могла придумать ничего лучшего. — Нет, я вас не пущу ни за что, — отвечала Бетси, внимательно вглядываясь в лицо Анны. — Право, я бы обиделась, если бы не любила вас. Точно вы боитесь, что мое общество может компрометировать вас так. Пожалуйста, нам чаю в маленькую гостиную, — сказала она, как всегда прищуривая глаза при обращении к лакею. Взяв от него записку, она прочла ее. — Алексей сделал нам ложный прыпкок, — сказала она по-французски, — он пишет, что не может быть, — прибавила она таким естественным, простым тоном, как будто ей никогда и не могло приходить в голову, чтобы Вронский имел для Анны какое-нибудь другое значение, как игрока в крокет. Анна знала, что Бетси все знает, но, слушая, как она при ней говорила о Вронском, она всегда убеждалась на минуту, что она ничего не знает. — А! — равнодушно сказала Анна, как бы мало интересуясь этим, и продолжала, улыбаясь: — Как может ваше общество компрометировать кого-нибудь? — Эта игра словами, это скрывание тайны, как и для всех женщин, имело большую прелесть для Анны. И не необходимость скрывать, не цель, для которой скрывалось, но самый процесс скрывания увлекал ее. — Я не могу быть католичнее папы, — сказала она. — Стремов и Лиза Меркалова — это сливки сливок общества. Потом они приняты везде, и я, — она особенно ударила на я, никогда не была строга и нетерпима. Мне просто некогда. — Нет, вы не хотите, может быть, встречаться со Стремовым? Пускай они с Алексеем Александровичем ломают копья в комитете, это нас не касается. Но в свете это самый любезный человек, какого только я знаю, и страстный игрок в крокет. Вот вы увидите. И, несмотря па смешное его положение старого влюбленного в Лизу, надо видеть, как он выпутывается из этого смешного положения! Он очень мил. Сафо Штольц вы не знаете? Это новый, совсем новый тон. Бетси говорила все это, а меящу тем по веселому, умному взгляду ее Анна чувствовала, что она понимает отчасти ее положение и что-то затевает. Они были в маленьком кабинете. — Однако надо написать Алексею, — и Бетси села за стол, написала несколько строк, вложила в конверт. — 318

а вместе с тем, как потом оказалось, она, придумывая самые хитрые средства для свидания с Вронским, не могла придумать ничего лучшего.

— Нет, я вас не пущу ни за что, — отвечала Бетси, внимательно вглядываясь в лицо Анны.— Право, я бы обиделась, если бы не любила вас. Точно вы боитесь, что мое общество может компрометировать вас так. Пожалуйста, нам чаю в маленькую гостиную, — сказала она, как всегда прищуривая глаза при обращении к лакею. Взяв от него записку, она прочла ее. — Алексей сделал нам ложный прыжок, — сказала она по-французски, — он пишет, что не может быть, — прибавила она таким естественным, простым тоном, как будто ей никогда и не могло приходить в голову, чтобы Вронский имел для Анны какое-нибудь другое значение, как игрока в крокет.

Анна знала, что Бетси все знает, но, слушая, как она при ней говорила о Вронском, она всегда убеждалась на минуту, что она ничего не знает.

— А! — равнодушно сказала Анна, как бы мало интересуясь этим, и продолжала, улыбаясь: — Как может ваше общество компрометировать кого-нибудь? — Эта игра словами, это скрывание тайны, как и для всех женщин, имело большую прелесть для Анны. И не необходимость скрывать, не цель, для которой скрывалось, но самый процесс скрывания увлекал ее. — Я не могу быть католичнее папы, — сказала она. — Стремов и Лиза Меркалова — это сливки сливок общества. Потом они приняты везде, и *я*, — она особенно ударила на *я*, — никогда не была строга и нетерпима. Мне просто некогда.

— Нет, вы не хотите, может быть, встречаться со Стремовым? Пускай они с Алексеем Александровичем ломают копья в комитете, это нас не касается. Но в свете это самый любезный человек, какого только я знаю, и страстный игрок в крокет. Вот вы увидите. И, несмотря на смешное его положение старого влюбленного в Лизу, надо видеть, как он выпутывается из этого смешного положения! Он очень мил. Сафо Штольц вы не знаете? Это новый, совсем новый тон.

Бетси говорила все это, а между тем по веселому, умному взгляду ее Анна чувствовала, что она понимает отчасти ее положение и что-то затевает. Они были в ма-

я пишу, чтоб он приехал обедать. У меня одна дама к обеду остается без мужчины. Посмотрите, убедительно ли? Виновата, я на минутку вас оставлю. Вы, пожалуйста, запечатайте и отошлите, — сказала она от двери, — а мне надо сделать распоряжение. Ни минуты не думая, Анна села с письмом Бетси к столу и, не читая, приписала внизу: «Мне необходимо вас видеть. Приезжайте к саду Вреде. Я буду там в 6 часов». Она запечатала, и Бетси, вернувшись, при ней отдала письмо. Действительно, за чаем, который им принесли на столике-подносе в прохладную маленькую гостиную, между двумя женщинами завязался a cosy chat, какой и обещала княгиня Тверская до приезда гостей. Они пересуживали тех, кого ожидали, и разговор остановился на Лизе Меркаловой. — Она очень мила и всегда мне была симпатична, — сказала Анна. — Вы должны ее любить. Она бредит вами. Вчера она подошла ко мне после скачек и была в отчаянии, что не застала вас. Она говорит, что вы настоящая героиня романа и что, если б она была мужчиною, она бы наделала за вас тысячу глупостей. Стремов ей говорит, что она и так их делает. — Но скажите, пожалуйста, я никогда не могла попять, — сказала Анна, помолчав несколько времени и таким тоном, который ясно показывал, что она делала не праздный вопрос, но что то, что она спрашивала, было для нее важнее, чем бы следовало. — Скажите, по;калуйста, что такое ее отношение к князю Калужскому, так называемому Мишке? Я мало встречала их. Что это такое? Бетси улыбнулась глазами и внимательно поглядела на Анну. — Новая манера, — сказала она. — Они все избрали эту манеру. Они забросили чепцы за мельницы. Но есть манера и манера, как их забросить. — Да, но какие Я{е ее отношения к Калужскому? Бетси неожиданно весело и неудержимо засмеялась, что редко случалось с ней. — Это вы захватываете область княгини Мягкой. Это вопрос ужасного ребенка, — и Бетси, видимо, хотела, но не могла удержаться и разразилась тем заразительным смехом, каким смеются редко смеющиеся люди. — Надо у них спросить, — проговорила она сквозь слезы смеха. 319

Я пишу, чтоб он приехал обедать. У меня одна дама к обеду остается без мужчины. Посмотрите, убедительно ли? Виновата, я на минутку вас оставлю. Вы, пожалуйста, запечатайте и отошлите, — сказала она от двери, — а мне надо сделать распоряжение.

Ни минуты не думая, Анна села с письмом Бетси к столу и, не читая, приписала внизу: «Мне необходимо вас видеть. Приезжайте к саду Вреде. Я буду там в 6 часов». Она запечатала, и Бетси, вернувшись, при ней отдала письмо.

Действительно, за чаем, который им принесли на столике-подносе в прохладную маленькую гостиную, между двумя женщинами завязался a cosy chat, какой и обещала княгиня Тверская до приезда гостей. Они пересуживали тех, кого ожидали, и разговор остановился на Лизе Меркаловой.

— Она очень мила и всегда мне была симпатична, — сказала Анна.

— Вы должны ее любить. Она бредит вами. Вчера она подошла ко мне после скачек и была в отчаянии, что не застала вас. Она говорит, что вы настоящая героиня романа и что, если б она была мужчиною, она бы наделала за вас тысячу глупостей. Стремов ей говорит, что она и так их делает.

— Но скажите, пожалуйста, я никогда не могла понять, — сказала Анна, помолчав несколько времени и таким тоном, который ясно показывал, что она делала не праздный вопрос, но что то, что она спрашивала, было для нее важнее, чем бы следовало. — Скажите, пожалуйста, что такое ее отношение к князю Калужскому, так называемому Мишке? Я мало встречала их. Что это такое?

Бетси улыбнулась глазами и внимательно поглядела на Анну.

— Новая манера, — сказала она. — Они все избрали эту манеру. Они забросили чепцы за мельницы. Но есть манера и манера, как их забросить.

— Да, но какие же ее отношения к Калужскому?

Бетси неожиданно весело и неудержимо засмеялась, что редко случалось с ней.

— Это вы захватываете область княгини Мягкой. Это вопрос ужасного ребенка, — и Бетси, видимо, хотела, но

— Нет, вы смеетесь, — сказала Анна, тоже невольно заразившаяся смехом, — но я никогда не могла понять. Я не понимаю тут роли мужа. — Муж? Муж Лизы Меркаловой носит за ней пледы и всегда готов к услугам. А что там дальше в самом деле, никто не хочет знать. Знаете, в хорошем обществе не говорят и не думают даже о некоторых подробностях туалета. Так и это. — Вы будете на празднике Роландаки? — спросила Анна, чтоб переменить разговор. — Не думаю, — отвечала Бетси и, не глядя на свою приятельницу, осторожно стала наливать маленькие прозрачные чашки душистым чаем. Подвинув чашку к Анне, она достала пахитоску и, вложив в серебряную ручку, закурила ее. — Вот, видите ли, я в счастливом положении, — уже без смеха начала она, взяв в руку чашку. — Я понимаю вас и понимаю Лизу. Лиза — это одна из тех наивных натур, которые, как дети, не понимают, что хорошо и что дурно. По крайней мере, она не понимала, когда была очень молода. И теперь она знает, что это непонимание идет к ней. Теперь она, может быть, нарочно не понимает, — говорила Бетси с тонкою улыбкой. — Но всетаки это ей идет. Видите ли, на одну и ту же вещь можно смотреть трагически и сделать из нее мученье, и смотреть просто и даже весело. Может быть, вы склонны смотреть на вещи слишком трагически. — Как бы я желала знать других так, как я себя знаю, — сказала Анна серьезрю и задумчиво. — Хуже ли я других, или лучше? Я думаю, хуже. — Ужасный ребенок, ужасный ребенок! — повторила Бетси. — Но вот и они. XVIII Послышались шаги и мужской голос, потом женский голос и смех, и вслед за тем вошли ожидаемые гости: Сафо Штольц и сияющий преизбытком здоровья молодой человек, так называемый Васька. Видно было, что ему впрок пошло питание кровяною говядиной, трюфлями и бургонским. Васька поклонился дамам и взглянул на них, но только на одну секунду. Он вошел за Сафо в гостиную и по го-стиной прошел за ней, как 320

— Нет, вы смеетесь, — сказала Анна, тоже невольно заразившаяся смехом, — но я никогда не могла понять. Я не понимаю тут роли мужа.

— Муж? Муж Лизы Меркаловой носит за ней пледы и всегда готов к услугам. А что там дальше в самом деле, никто не хочет знать. Знаете, в хорошем обществе не говорят и не думают даже о некоторых подробностях туалета. Так и это.

— Вы будете на празднике Роландаки? — спросила Анна, чтоб переменить разговор.

— Не думаю, — отвечала Бетси и, не глядя на свою приятельницу, осторожно стала наливать маленькие прозрачные чашки душистым чаем. Подвинув чашку к Анне, она достала пахитоску и, вложив в серебряную ручку, закурила ее.

— Вот, видите ли, я в счастливом положении, — уже без смеха начала она, взяв в руку чашку. — Я понимаю вас и понимаю Лизу. Лиза — это одна из тех наивных натур, которые, как дети, не понимают, что хорошо и что дурно. По крайней мере, она не понимала, когда была очень молода. И теперь она знает, что это непонимание идет к ней. Теперь она, может быть, нарочно не понимает, — говорила Бетси с тонкою улыбкой. — Но все-таки это ей идет. Видите ли, на одну и ту же вещь можно смотреть трагически и сделать из нее мученье, и смотреть просто и даже весело. Может быть, вы склонны смотреть на вещи слишком трагически.

— Как бы я желала знать других так, как я себя знаю, — сказала Анна серьезно и задумчиво. — Хуже ли я других, или лучше? Я думаю, хуже.

— Ужасный ребенок, ужасный ребенок! — повторила Бетси. — Но вот и они.

XVIII

Послышались шаги и мужской голос, потом женский голос и смех, и вслед за тем вошли ожидаемые гости: Сафо Штольц и сияющий преизбытком здоровья молодой человек, так называемый Васька. Видно было, что ему впрок пошло питание кровяною говядиной, трюф-

будто был к ней привязан, и не спускал с нее блестя-» щих глаз, как будто хотел съесть ее. Сафо Штольц была блондинка с черными глазами. Она вошла маленькими, бойкими, на крутых каблучках туфель, шажками и крепко, по-мужски пожала дамам руки. Анна ни разу не встречала еще этой новой знаменитости и была поражена ее красотою, и крайностью, до которой был доведен ее туалет, и смелостью ее манер. На голове ее из своих и чужих нежно-золотистого цвета волос был сделан такой эшафодаж прически, что голова ее равнялась по величине стройно выпуклому и очень открытому спереди бюсту. Стремительность же вперед была такова, что при каждом движении обозначались из-под платья формы колен и верхней части ноги, и невольно представлялся вопрос о том, где действительно сзади, в этой подстроенной колеблющейся горе, кончается ее настоящее, маленькое и стройное, столь обнаженное сверху и СТОЛЬ спрятанное сзади и внизу тело. Бетси поспешила познакомить ее с Анной. — Можете себе представить, мы чуть было не раздавили двух солдат, — тотчас же начала она рассказывать, подмигивая, улыбаясь и назад отдергивая свой хвост, который она сразу слишком перекинула в одну сторону. — Я ехала с Васькой... Ах да, вы незнакомы. — И она, назвав его фамилию, представила молодого человека и, покраснев, звучно засмеялась своей ошибке, то есть тому, что она незнакомой назвала его Васькой. Васька еще раз поклонился Анне, но ничего не сказал ей. Он обратился к Сафо: — Пари проиграно. Мы прежде приехали. Расплачивайтесь, — говорил он, улыбаясь. Сафо еще веселее засмеялась. — Не теперь же, — сказала она. — Все равно, я получу после. — Хорошо, хорошо. Ах да! — вдруг обратилась она к хозяйке, — хороша я... Я и забыла... Я вам привезла гостя. Вот и он. Неожиданный молодой гость, которого привезла Сафо и которого она забыла, был, однако, такой важный гость, что, несмотря на его молодость, обе дамы встали, встречая его. Это был новый поклонник Сафо. Он теперь, как и Васька, по пятам ходил за ней. 11 л. ГІ. Толстой, т. 8 321

будто был к ней привязан, и не спускал с нее блестящих глаз, как будто хотел съесть ее. Сафо Штольц была блондинка с черными глазами. Она вошла маленькими, бойкими, на крутых каблучках туфель, шажками и крепко, по-мужски пожала дамам руки.

Анна ни разу не встречала еще этой новой знаменитости и была поражена ее красотою, и крайностью, до которой был доведен ее туалет, и смелостью ее манер. На голове ее из своих и чужих нежно-золотистого цвета волос был сделан такой эшафодаж прически, что голова ее равнялась по величине стройно выпуклому и очень открытому спереди бюсту. Стремительность же вперед была такова, что при каждом движении обозначались из-под платья формы колен и верхней части ноги, и невольно представлялся вопрос о том, где действительно сзади, в этой подстроенной колеблющейся горе, кончается ее настоящее, маленькое и стройное, столь обнаженное сверху и столь спрятанное сзади и внизу тело.

Бетси поспешила познакомить ее с Анной.

— Можете себе представить, мы чуть было не раздавили двух солдат, — тотчас же начала она рассказывать, подмигивая, улыбаясь и назад отдергивая свой хвост, который она сразу слишком перекинула в одну сторону. — Я ехала с Васькой... Ах да, вы незнакомы. — И она, назвав его фамилию, представила молодого человека и, покраснев, звучно засмеялась своей ошибке, то есть тому, что она незнакомой назвала его Васькой.

Васька еще раз поклонился Анне, но ничего не сказал ей. Он обратился к Сафо:

— Пари проиграно. Мы прежде приехали. Расплачивайтесь, — говорил он, улыбаясь.

Сафо еще веселее засмеялась.

— Не теперь же, — сказала она.

— Все равно, я получу после.

— Хорошо, хорошо. Ах да! — вдруг обратилась она к хозяйке, — хороша я... Я и забыла... Я вам привезла гостя. Вот и он.

Неожиданный молодой гость, которого привезла Сафо и которого она забыла, был, однако, такой важный гость, что, несмотря на его молодость, обе дамы встали,

Вскоре приехал князь Калужский и Лиза МеркаЯова со Стремовым. Лиза Меркалова была худая брюнетка с восточным ленивым типом лица и прелестными, неизъяснимыми, как все говорили, глазами. Характер ее темного туалета (Анна тотчас же заметила и оценила это) был совершенно соответствующий ее красоте. Насколько Сафо была крута и подбориста, настолько Лиза была мягка и распущенна. Но Лиза, на вкус Анны, была гораздо привлекательнее. Бетси говорила про нее Анне, что опа взяла на себя тон неведающего ребенка, но когда Анна увидала ее, она почувствовала, что это была неправда. Она, точно, была неведающая, испорченная, но милая и безответная женщина. Правда, что тон ее был такой же, как и тон Сафо; так же, как и за Сафо, за ней ходили, как пришитые, и пожирали ее глазами два поклонника, один молодой, другой старик; но в ней было что-то такое, что было выше того, что ее окружало, — в ней был блеск настоящей воды бриллианта среди стекол. Этот блеск светился из ее прелестных, действительно неизъяснимых глаз. Усталый и вместе страстный взгляд этих окруженных темным кругом глаз поражал своею совершенною искренностью. Взглянув в эти глаза, каждому казалось, что он узнал ее всю и, узнав, не мог не полюбить. При виде Анны все ее лицо вдруг осветилось радостною улыбкой. — Ах, как я рада вас видеть! — сказала она, подходя к ней. — Я вчера на скачках только что хотела дойти до вас, а вы уехали. Мне так хотелось видеть вас именно вчера. Не правда ли, это было уя^аспо? — сказала опа, глядя на Анну своим взглядом, открывавшим, казалось, всю душу. — Да, я никак не олшдала, что это так волнует, сказала Анна, краснея. Общество поднялось в это время, чтоб идти в сад, — Я не пойду, — сказала Лиза, улыбаясь и подсаживаясь к Анне. — Вы тоже не пойдете? что за охота играть в крокет! — Нет, я люблю, — сказала Анна. — Вот, вот как вы делаете, что вам не скучно? На вас взглянешь — весело. Вы живете, а я скучаю. — Как скучаете? Да вы самое веселое общество Петербурга, — сказала Анна. 322

Вскоре приехал князь Калужский и Лиза Меркалова со Стремовым. Лиза Меркалова была худая брюнетка с восточным ленивым типом лица и прелестными, неизъяснимыми, как все говорили, глазами. Характер ее темного туалета (Анна тотчас же заметила и оценила это) был совершенно соответствующий ее красоте. Насколько Сафо была крута и подбориста, настолько Лиза была мягка и распущенна.

Но Лиза, на вкус Анны, была гораздо привлекательнее. Бетси говорила про нее Анне, что она взяла на себя тон неведающего ребенка, но когда Анна увидала ее, она почувствовала, что это была неправда. Она, точно, была неведающая, испорченная, но милая и безответная женщина. Правда, что тон ее был такой же, как и тон Сафо; так же, как и за Сафо, за ней ходили, как пришитые, и пожирали ее глазами два поклонника, один молодой, другой старик; но в ней было что-то такое, что было выше того, что ее окружало, — в ней был блеск настоящей воды бриллианта среди стекол. Этот блеск светился из ее прелестных, действительно неизъяснимых глаз. Усталый и вместе страстный взгляд этих окруженных темным кругом глаз поражал своею совершенною искренностью. Взглянув в эти глаза, каждому казалось, что он узнал ее всю и, узнав, не мог не полюбить. При виде Анны все ее лицо вдруг осветилось радостною улыбкой.

— Ах, как я рада вас видеть! — сказала она, подходя к ней. — Я вчера на скачках только что хотела дойти до вас, а вы уехали. Мне так хотелось видеть вас именно вчера. Не правда ли, это было ужасно? — сказала она, глядя на Анну своим взглядом, открывавшим, казалось, всю душу.

— Да, я никак не ожидала, что это так волнует, — сказала Анна, краснея.

Общество поднялось в это время, чтоб идти в сад.

— Я не пойду, — сказала Лиза, улыбаясь и подсаживаясь к Анне. — Вы тоже не пойдете? что за охота играть в крокет!

— Нет, я люблю, — сказала Анна.

— Вот, вот как вы делаете, что вам не скучно? На

— Может быть, тем, которые не нашего общества, еще скучнее; но нам, мне наверно, не весело, а ужасно, ужасно скучно. Сафо, закурив папиросу, ушла в сад с двумя молодыми людьми. Бетси и Стремов остались за чаем. — Как, скучно? — сказала Бетси. — Сафо говорит, что они вчера очень веселились у вас. — Ах, какая тоска была! — сказала Лиза Меркалова. Мы поехали все ко мне после скачек. И всё те же, и всё те же! Всё одно и то же. Весь вечер провалялись по диванам. Что же тут веселого? Нет, как вы делаете, чтобы вам не было скучно? — опять обратилась она к Анне. — Стоит взглянуть на вас, и видишь — вот женщина, которая может быть счастлива, несчастна, но не скучает. Научите, как вы это делаете? — Никак не делаю, — отвечала Анна, краснея от этих привязчивых вопросов. — Вот это лучшая манера, — вмешался в разговор Стремов. Стремов был человек лет пятидесяти, полуседой, еще свежий, очень некрасивый, но с характерным и умным лицом. Лиза Меркалова была племянница его жены, и он проводил все свои свободные часы с нею. Встретив Анну Каренину, он, по службе враг Алексея Александровича, как светский и умный человек, постарался быть с нею, женой своего врага, особенно любезным. — «Никак», — подхватил он, тонко улыбаясь, — это лучшее средство. Я давно вам говорю, — обратился он к Лизе Меркаловой, — что для того, чтобы не было скучно, надо не думать, что будет скучно. Это все равно, как иө надо бояться, что не заснешь, если боишься бессонницы. Это самое и сказала вам Анна Аркадьевна. — Я бы очень рада была, если бы сказала это, потому что это не только умно, это правда, — улыбаясь, сказала Анна. — Нет, вы скажите, отчего нельзя заснуть и нельзя не скучать? — Чтобы заснуть, надо поработать, и чтобы веселиться, надо тоже поработать. — Зачем же я буду работать, когда моя работа никому не нужна? А нарочно и притворяться я не умею и iiө хочу. — Вы неисправимы, — сказал Стремов^ не глядя па нее, и опять обратился к Анне. 11* 323

— Может быть, тем, которые не нашего общества, еще скучнее; но нам, мне наверно, не весело, а ужасно, ужасно скучно.

Сафо, закурив папиросу, ушла в сад с двумя молодыми людьми. Бетси и Стремов остались за чаем.

— Как, скучно? — сказала Бетси. — Сафо говорит, что они вчера очень веселились у вас.

— Ах, какая тоска была! — сказала Лиза Меркалова. Мы поехали все ко мне после скачек. И всё те же, и всё те же! Всё одно и то же. Весь вечер провалялись по диванам. Что же тут веселого? Нет, как вы делаете, чтобы вам не было скучно? — опять обратилась она к Анне. — Стоит взглянуть на вас, и видишь — вот женщина, которая может быть счастлива, несчастна, но не скучает. Научите, как вы это делаете?

— Никак не делаю, — отвечала Анна, краснея от этих привязчивых вопросов.

— Вот это лучшая манера, — вмешался в разговор Стремов.

Стремов был человек лет пятидесяти, полуседой, еще свежий, очень некрасивый, но с характерным и умным лицом. Лиза Меркалова была племянница его жены, и он проводил все свои свободные часы с нею. Встретив Анну Каренину, он, по службе враг Алексея Александровича, как светский и умный человек, постарался быть с нею, женой своего врага, особенно любезным.

— «Никак», — подхватил он, тонко улыбаясь, — это лучшее средство. Я давно вам говорю, — обратился он к Лизе Меркаловой, — что для того, чтобы не было скучно, надо не думать, что будет скучно. Это все равно, как не надо бояться, что не заснешь, если боишься бессонницы. Это самое и сказала вам Анна Аркадьевна.

— Я бы очень рада была, если бы сказала это, потому что это не только умно, это правда, — улыбаясь, сказала Анна.

— Нет, вы скажите, отчего нельзя заснуть и нельзя не скучать?

— Чтобы заснуть, надо поработать, и чтобы веселиться, надо тоже поработать.

— Зачем же я буду работать, когда моя работа никому не нужна? А нарочно и притворяться я не умею и не

Редко встречая Анку, он не мог ничего ей сказать, кроме пошлостей, но он говорил эти пошлости, о том, когда она переезжает в Петербург, о том, как ее любит графиня Лидия Ивановна, с таким выражением, которое показывало, что он от всей души желает быть ей приятным и показать свое уважение и даже более. Вошел Тушкевич, объявив, что все обш;ество ждет игроков в крокет. — Нет, не уезжайте, пожалуйста, — просила Лиза Меркалова, узнав, что Анна уезжает, Стремов присоединился к ней. — Слишком большой контраст, — сказал он, — ехать после этого общества к старухе Вреде. И потом для нее вы будете случаем позлословить, а здесь вы только возбудите другие, самые хорошие и противоположные злословию чувства, — сказал он ей. Анна на минуту задумалась в нерешительности. Лестные речи этого умного человека, наивная, детская симпатия, которую выражала к ней Лиза Меркалова, и вся эта привычная светская обстановка — все это было так легко, а ожидало ее такое трудное, что она с минуту была в нерешимости, не остаться ли, не отдалить ли еще тяжелую минуту объяснения. Но, вспомнив, что ожидает ее одну дома, если она не примет никакого решения, вспомнив этот страшный для нее и в воспоминании жест, когда она взялась обеими руками за волосы, она простилась и уехала, XIX Вронский, несмотря на свою легкомысленную с виду светскую жизнь, был человек, ненавидевший беспорядок. Еще смолоду, бывши в корпусе, он испытал унижение отказа, когда он, запутавшись, попросил взаймы денег, и с тех пор он ни разу не ставил себя в такое положение. Для того чтобы всегда вести свои дела в порядке, он, смотря по обстоятельствам, чаще или реже, раз пять в год, уединялся и приводил в ясность все свои дела. Он называл это посчитаться, или faire Ia lessive \ Проснувшись поздно на другой день после скачек, Вронский, не бреясь и не купаясь, оделся в китель и, ^ сделать стирку (франц.). 324

Редко встречая Анну, он не мог ничего ей сказать, кроме пошлостей, но он говорил эти пошлости, о том, когда она переезжает в Петербург, о том, как ее любит графиня Лидия Ивановна, с таким выражением, которое показывало, что он от всей души желает быть ей приятным и показать свое уважение и даже более.

Вошел Тушкевич, объявив, что все общество ждет игроков в крокет.

— Нет, не уезжайте, пожалуйста, — просила Лиза Меркалова, узнав, что Анна уезжает, Стремов присоединился к ней.

— Слишком большой контраст, — сказал он, — ехать после этого общества к старухе Вреде. И потом для нее вы будете случаем позлословить, а здесь вы только возбудите другие, самые хорошие и противоположные злословию чувства, — сказал он ей.

Анна на минуту задумалась в нерешительности. Лестные речи этого умного человека, наивная, детская симпатия, которую выражала к ней Лиза Меркалова, и вся эта привычная светская обстановка — все это было так легко, а ожидало ее такое трудное, что она с минуту была в нерешимости, не остаться ли, не отдалить ли еще тяжелую минуту объяснения. Но, вспомнив, что ожидает ее одну дома, если она не примет никакого решения, вспомнив этот страшный для нее и в воспоминании жест, когда она взялась обеими руками за волосы, она простилась и уехала.

XIX

Вронский, несмотря на свою легкомысленную с виду светскую жизнь, был человек, ненавидевший беспорядок. Еще смолоду, бывши в корпусе, он испытал унижение отказа, когда он, запутавшись, попросил взаймы денег, и с тех пор он ни разу не ставил себя в такое положение.

Для того чтобы всегда вести свои дела в порядке, он, смотря по обстоятельствам, чаще или реже, раз пять в год, уединялся и приводил в ясность все свои дела. Он называл это посчитаться, или faire la lessive [1].

Проснувшись поздно на другой день после скачек,

разложив на столе деньги, счеты, письма, принялся за работу. Петрицкий, зная, что в таком положении он бывал сердит, проснувшись и увидав товариіца за письменным столом, тихо оделся и вышел, не мешая ему. Всякий человек, зная до малейших подробностей всю сложность условий, его окружаюш,их, невольно предполагает, что сложность этих условий и трудность их уяснения есть только его личная, случайная особенность, и никак не думает, что другие окружены такою же сложностью своих личных условий, как и он сам. Так и казалось Вронскому. И он не без внутренней гордости и не без основания думал, что всякий другой давно бы запутался и принужден был бы поступать нехорошо, если бы находился в таких же трудных условиях. Но Вронский чувствовал, что именно теперь ему необходимо учесться и уяснить свое положение, для того чтобы не запутаться. Первое, за что, как за самое легкое, взялся Вронский, были денежные дела. Выписав своим мелким почерком на почтовом листке все, что он должен, он подвел итог и нашел, что он должен семнадцать тысяч с сотнями, которые он откинул для ясности. Сосчитав деньги и банковую книжку, он нашел, что у него остается тысяча восемьсот рублей, а получения до Нового года не предвидится. Перечтя список долгам, Вронский переписал его, подразделив на три разряда. К первому разряду относились долги, которые надо было сейчас же заплатить или, во всяком случае, для уплаты которых надо было иметь готовые деньги, чтобы при требовании не могло быть минуты замедления. Таких долгов было около четырех тысяч: тысяча пятьсот за лошадь и две тысячи пятьсот поручительство за молодого товариіца Веневского, который при Вронском проиграл эти деньги шулеру. Вронский тогда же хотел отдать деньги (они были у него), но Веневский и Яшвин настаивали на том, что заплатят они, а не Вронский, который и не играл. Все это было прекрасно, но Вронский знал, что в этом грязном деле, в котором он хотя и принял участие только тем, что взял на словах ручательство за Веневского, ему необходимо иметь эти две тысячи пятьсот, чтоб их бросить мошеннику и но иметь с ним более никаких разговоров. Итак, по этому первому важнейшему отделу надо было иметь четыре тысячи. Во втором отделе, восемь тысяч, были менее важные долги. Это были долги

преимуш;ественно по скаковой конюшне, поставщику овса и сена, англичанину. 325

разложив на столе деньги, счеты, письма, принялся за работу. Петрицкий, зная, что в таком положении он бывал сердит, проснувшись и увидав товарища за письменным столом, тихо оделся и вышел, не мешая ему.

Всякий человек, зная до малейших подробностей всю сложность условий, его окружающих, невольно предполагает, что сложность этих условий и трудность их уяснения есть только его личная, случайная особенность, и никак не думает, что другие окружены такою же сложностью своих личных условий, как и он сам. Так и казалось Вронскому. И он не без внутренней гордости и не без основания думал, что всякий другой давно бы запутался и принужден был бы поступать нехорошо, если бы находился в таких же трудных условиях. Но Вронский чувствовал, что именно теперь ему необходимо учесться и уяснить свое положение, для того чтобы не запутаться.

Первое, за что, как за самое легкое, взялся Вронский, были денежные дела. Выписав своим мелким почерком на почтовом листке все, что он должен, он подвел итог и нашел, что он должен семнадцать тысяч с сотнями, которые он откинул для ясности. Сосчитав деньги и банковую книжку, он нашел, что у него остается тысяча восемьсот рублей, а получения до Нового года не предвидится. Перечтя список долгам, Вронский переписал его, подразделив на три разряда. К первому разряду относились долги, которые надо было сейчас же заплатить или, во всяком случае, для уплаты которых надо было иметь готовые деньги, чтобы при требовании не могло быть минуты замедления. Таких долгов было около четырех тысяч: тысяча пятьсот за лошадь и две тысячи пятьсот поручительство за молодого товарища Веневского, который при Вронском проиграл эти деньги шулеру. Вронский тогда же хотел отдать деньги (они были у него), но Веневский и Яшвин настаивали на том, что заплатят они, а не Вронский, который и не играл. Все это было прекрасно, но Вронский знал, что в этом грязном деле, в котором он хотя и принял участие только тем, что взял на словах ручательство за Веневского, ему необходимо иметь эти две тысячи пятьсот, чтоб их бросить мошеннику и не иметь с ним более никаких разговоров. Итак, по этому первому важнейшему отделу надо было иметь четыре

шорнику и т. д. По этим долгам надо было тоже раздать тысячи две, для того чтобы быть совершенно спокойным. Последний отдел долгов — в магазины, в гостиницы и портїїОМу — были такие, о которых нечего думать. Так что нужно было по крайней мере 6000, а было 1800 только на текуш;ие расходы. Для человека со ста тысячами дохода, как определяли все состояние Вронского, такие долги, казалось бы, не могли быть затруднительны; но дело Б том, что у него далеко не было этих ста тысяч. Огромное отцовское состояние, приносившее одно до двухсот тысяч годового дохода, было нераздельно между братьями. В то время как старший брат женился, имея кучу долгов, на княжне Варе Чирковой, дочери декабриста, безо всякого состояния, Алексей уступил старшему брату весь доход с имений отца, выговорив себе только двадцать пять тысяч в год. Алексей сказал тогда брату, что этих денег ему будет достаточно, пока он не женится, чего, вероятно, никогда не будет. И брат, командуя одним из самых дорогих полков и только что женившись, не мог не принять этого подарка. Мать, имевшая свое отдельное состояние, кроме выговоренных двадцати пяти тысяч, давала ежегодно Алексею епі,е тысяч двадцать, и Алексей проживал их все. В последнее время мать, поссорившись с ним за его связь и отъезд из Москвы, перестала присылать ему деньги. И вследствие этого Вронский, уже сделав привычку жизни на сорок пять тысяч и получив в этом году только двадцать пять тысяч, находился теперь в затруднении. Чтобы выйти из этого затруднения, он не мог просить денег у матери. Последнее ее письмо, полученное им накануне, тем в особенности раздражило его, что в нем были намеки на то, что она готова была помогать ему для успеха в свете и на службе, а не для жизни, которая скандализировала все хорошее общество. Желание матери купить его оскорбило его до глубины души и еще более охладило к ней. Но он не мог отречься от сказанного великодушного слова, хотя и чувствовал теперь, смутно предвидя некоторые случайности его связи с Карениной, что великодушное слово это было сказано легкомысленно и что ему, неженатому, могут понадобиться Есе сто тысяч дохода. Но отречься нельзя было. Ему стоило только вспомнить братнину жену, вспомнить, как эта милая, славная Варя при всяком удобном случае напоминала

ему, что она помнит его великодушие и ценит его, чтобы понять невозможность отнять назад данное^ 326

шорнику и т. д. По этим долгам надо было тоже раздать тысячи две, для того чтобы быть совершенно спокойным. Последний отдел долгов — в магазины, в гостиницы и портному — были такие, о которых нечего думать. Так что нужно было по крайней мере 6000, а было 1800 только на текущие расходы. Для человека со ста тысячами дохода, как определяли все состояние Вронского, такие долги, казалось бы, не могли быть затруднительны; но дело в том, что у него далеко не было этих ста тысяч. Огромное отцовское состояние, приносившее одно до двухсот тысяч годового дохода, было нераздельно между братьями. В то время как старший брат женился, имея кучу долгов, на княжне Варе Чирковой, дочери декабриста, безо всякого состояния, Алексей уступил старшему брату весь доход с имений отца, выговорив себе только двадцать пять тысяч в год. Алексей сказал тогда брату, что этих денег ему будет достаточно, пока он не женится, чего, вероятно, никогда не будет. И брат, командуя одним из самых дорогих полков и только что женившись, не мог не принять этого подарка. Мать, имевшая свое отдельное состояние, кроме выговоренных двадцати пяти тысяч, давала ежегодно Алексею еще тысяч двадцать, и Алексей проживал их все. В последнее время мать, поссорившись с ним за его связь и отъезд из Москвы, перестала присылать ему деньги. И вследствие этого Вронский, уже сделав привычку жизни на сорок пять тысяч и получив в этом году только двадцать пять тысяч, находился теперь в затруднении. Чтобы выйти из этого затруднения, он не мог просить денег у матери. Последнее ее письмо, полученное им накануне, тем в особенности раздражило его, что в нем были намеки на то, что она готова была помогать ему для успеха в свете и на службе, а не для жизни, которая скандализировала все хорошее общество. Желание матери купить его оскорбило его до глубины души и еще более охладило к ней. Но он не мог отречься от сказанного великодушного слова, хотя и чувствовал теперь, смутно предвидя некоторые случайности его связи с Карениной, что великодушное слово это было сказано легкомысленно и что ему, неженатому, могут понадобиться все сто тысяч дохода. Но отречься нельзя было. Ему стоило только вспомнить братнину жену, вспомнить, как

Это было так же невозможно, как прибить женщину, украсть или солгать. Было возможно и должно одно, на что Вронский и решился без минуты колебания: занять деньги у ростовщика, десять тысяч, в чем не может быть затруднения, урезать вообще свои расходы и продать скаковых лошадей. Решив это, он тотчас же написал записку Роландаки, посылавшему к нему не раз с предложением купить у него лошадей. Потом послал за англичанином н за ростовщиком и разложил по счетам те деньги, которые у него были. Окончив эти дела, он написал холодный и резкий ответ на письмо матери. Потом, достав из бумажника три записки Анны, он перечел их, сжег и* вспомнив свой вчерашний разговор с нею, задумался. XX Жизнь Вронского тем была особенно счастлива, что у него был свод правил, несомненно определяющих все, что должно и не должно делать. Свод этих правил обнимал очень малый круг условий, но зато правила были несомненны, и Вронский, никогда не выходя из этого круга, никогда ни на минуту не колебался в исполнении того, что должно. Правила эти несомненно определяли, — что нужно заплатить шулеру, а портному не нужно, — что лгать не надо мужчинам, но женщинам можно, — что обманывать нельзя никого, но мужа можно, — что нельзя прощать оскорблений, и можно оскорблять и т. д. Все эти правила могли быть неразумны, нехороши, но они были несомненны, и, исполняя их, Вронский чувствовал, что он спокоен и может высоко носить голову. Только в самое последнее время, по поводу своих отношений к Анне, Вронский начинал чувствовать, что свод его правил не вполне определял все условия, и в будущем представлялись трудности и сомнения, в которых Вронский уже не находил руководящей нити. Теперешнее отношение его к Анне и к ее мужу было для него просто и ясно. Оно было ясно и точно определено в своде правил, которыми он руководствовался. Она была порядочная женщина, подарившая ему свою любовь, и он любил ее, и потому она была для него женщина, достойная такого же и еще большего уважения,; чем законная жена. Он дал бы отрубить себе руку прежде, чем позволить себе словом, намеком не только оскорбить 327

Это было так же невозможно, как прибить женщину, украсть или солгать. Было возможно и должно одно, на что Вронский и решился без минуты колебания: занять деньги у ростовщика, десять тысяч, в чем не может быть затруднения, урезать вообще свои расходы и продать скаковых лошадей. Решив это, он тотчас же написал записку Ролландаки, посылавшему к нему не раз с предложением купить у него лошадей. Потом послал за англичанином и за ростовщиком и разложил по счетам те деньги, которые у него были. Окончив эти дела, он написал холодный и резкий ответ на письмо матери. Потом, достав из бумажника три записки Анны, он перечел их, сжег и, вспомнив свой вчерашний разговор с нею, задумался.

XX

Жизнь Вронского тем была особенно счастлива, что у него был свод правил, несомненно определяющих все, что должно и не должно делать. Свод этих правил обнимал очень малый круг условий, но зато правила были несомненны, и Вронский, никогда не выходя из этого круга, никогда ни на минуту не колебался в исполнении того, что должно. Правила эти несомненно определяли, — что нужно заплатить шулеру, а портному не нужно, — что лгать не надо мужчинам, но женщинам можно, — что обманывать нельзя никого, но мужа можно, — что нельзя прощать оскорблений, и можно оскорблять и т. д. Все эти правила могли быть неразумны, нехороши, но они были несомненны, и, исполняя их, Вронский чувствовал, что он спокоен и может высоко носить голову. Только в самое последнее время, по поводу своих отношений к Анне, Вронский начинал чувствовать, что свод его правил не вполне определял все условия, и в будущем представлялись трудности и сомнения, в которых Вронский уже не находил руководящей нити.

Теперешнее отношение его к Анне и к ее мужу было для него просто и ясно. Оно было ясно и точно определено в своде правил, которыми он руководствовался.

Она была порядочная женщина, подарившая ему свою любовь, и он любил ее, и потому она была для него жен-

ее, но не выказать ей того уважения, на какое только может рассчитывать женщина. Отношения к обществу тоже были ясны. Все могли знать, подозревать это, но никто не должен был сметь говорить. В противном случае он готов был заставить говоривших молчать и уважать несуществующую честь женщины, которую он любил. Отношения к мужу были яснее всего. С той минуты, как Анна полюбила Вронского, он считал одно свое право на нее неотъемлемым. Муж был только излишнее и мешающее лицо. Без сомнения, он был в жалком положении, но что же было делать? Одно, на что имел право муж, это было на то, чтобы потребовать удовлетворения с орулшем в руках, и на это Вронский был готов с первой минуты. Но в последнее время являлись новые, внутренние отношения между ним и ею, пугавшие Вронского своею неопределенностью. Вчера только она объявила ему, что она беременна. И он почувствовал, что это известие и то, чего она ждала от него, требовало чего-то такого, что не определено вполне кодексом тех правил, которыми ou руководствовался в жизни. И действительно, он был взят врасплох, и в первую минуту, когда она объявила о своем положении, сердце его подсказало ему требование оставить мужа. Он сказал это, но теперь, обдумывая, он видел ясно, что лучше было бы обойтись без этого, и вместе с тем, говоря это себе, боялся — не дурно ли это? «Если я сказал оставить мужа, то это значит соединиться со мной. Готов ли я на это? Как я увезу ее теперь, когда у меня нет денег? Положим, это я мог бы устроить... Но как я увезу ее, когда я на службе? Если я сказал это, то надо быть готовым на это, то есть иметь деньги и выйти в отставку». И он задумался. Вопрос о том, выйти или не выйти в отставку, привел его к другому, тайному, ему одному известному, едва ли не главному, хотя и затаенному интересу всей его жизни. Честолюбие была старинная мечта его детства и юности, мечта, в которой он и себе не признавался, но которая была так сильна, что и теперь эта страсть боролась с его любовью. Первые шаги его в свете и на службе были удачны, но два года тому назад он сделал грубую ошибку. Он, желая выказать свою независимость и подвинуться, отказался от предложенного ему положения, 328

ее, но не выказать ей того уважения, на какое только может рассчитывать женщина.

Отношения к обществу тоже были ясны. Все могли знать, подозревать это, но никто не должен был сметь говорить. В противном случае он готов был заставить говоривших молчать и уважать несуществующую честь женщины, которую он любил.

Отношения к мужу были яснее всего. С той минуты, как Анна полюбила Вронского, он считал одно свое право на нее неотъемлемым. Муж был только излишнее и мешающее лицо. Без сомнения, он был в жалком положении, но что же было делать? Одно, на что имел право муж, это было на то, чтобы потребовать удовлетворения с оружием в руках, и на это Вронский был готов с первой минуты.

Но в последнее время являлись новые, внутренние отношения между ним и ею, пугавшие Вронского своею неопределенностью. Вчера только она объявила ему, что она беременна. И он почувствовал, что это известие и то, чего она ждала от него, требовало чего-то такого, что не определено вполне кодексом тех правил, которыми он руководствовался в жизни. И действительно, он был взят врасплох, и в первую минуту, когда она объявила о своем положении, сердце его подсказало ему требование оставить мужа. Он сказал это, но теперь, обдумывая, он видел ясно, что лучше было бы обойтись без этого, и вместе с тем, говоря это себе, боялся — не дурно ли это?

«Если я сказал оставить мужа, то это значит соединиться со мной. Готов ли я на это? Как я увезу ее теперь, когда у меня нет денег? Положим, это я мог бы устроить... Но как я увезу ее, когда я на службе? Если я сказал это, то надо быть готовым на это, то есть иметь деньги и выйти в отставку».

И он задумался. Вопрос о том, выйти или не выйти в отставку, привел его к другому, тайному, ему одному известному, едва ли не главному, хотя и затаенному интересу всей его жизни.

Честолюбие была старинная мечта его детства и юности, мечта, в которой он и себе не признавался, но которая была так сильна, что и теперь эта страсть боролась с его любовью. Первые шаги его в свете и на службе

надеясь, что отказ этот придаст ему большую цену; по оказалось, что он был слишком смел, и его оставили; и, волей-неволей сделав себе положение человека независимого, он носил его, весьма тонко и умно держа себя, так, как будто он ни на кого не сердился, не считал себя никем обиженным и желает только того, чтоб его оставили в покое, потому что ему весело. В суш;ности же, ему еш;ө с прошлого года, когда он уехал в Москву, перестало быть весело. Он чувствовал, что это независимое положение человека, который все бы мог, но ничего не хочет, уже начинает сглаживаться, что многие начинают думать, что он ничего бы и не мог, кроме того, как быть честным и добрым малым. Наделавшая столько шума и обратившая общ,ее внимание связь его с Карениной, придав ему новый блеск, успокоила на время точившего его червя честолюбия, но неделю тому назад этот червь проснулся с новою силой. Его товарищ, с детства, одного круга, одного богатства и товаринд по корпусу, Серпуховской, одного с ним выпуска, с которым он соперничал и в классе, и в гимнастике, и в шалостях, и в мечтах честолюбия, на днях вернулся из Средней Азии, получив там два чина и отличие, редко даваемое столь молодым генералам. Как только он приехал в Петербург, заговорили о нем как о вновь поднимаюпі,ейся звезде первой величины. Ровесник Вронскому и однокашник, он был генерал и ожидал назначения, которое могло иметь влияние на ход государственных дел, а Вронский был хоть и независимый, и блестящий, и любимый прелестною женщиной, но был только ротмистр в полку, которому предоставляли быть независимым сколько ему угодно. «Разумеется, я не завидую и не могу завидовать Серпуховскому, но его возвышение показывает мне, что стоит выждать время, и карьера человека, как я, может быть сделана очень скоро. Три года тому назад он был в том же положении, как и я. Выйдя в отставку, я сожгу свои корабли. Оставаясь на службе, я ничего не теряю. Она сама сказала, что не хочет изменять свое положение. А я, с ее любовью, не могу завидовать Серпуховскому». И, закручивая медленным движением усы, он встал от стола и прошелся по комнате. Глаза его блестели особенно ярко, и он чувствовал то твердое, спокойное и радостное состояние духа, которое находило на него всегда после уяснения своего положения. Все было, как и после

прежних счетов, чисто и ясно. Он побрился, оделся, взял холодную ванну и вышел. 329

надеясь, что отказ этот придаст ему бóльшую цену; но оказалось, что он был слишком смел, и его оставили; и, волей-неволей сделав себе положение человека независимого, он носил его, весьма тонко и умно держа себя, так, как будто он ни на кого не сердился, не считал себя никем обиженным и желает только того, чтоб его оставили в покое, потому что ему весело. В сущности же, ему еще с прошлого года, когда он уехал в Москву, перестало быть весело. Он чувствовал, что это независимое положение человека, который все бы мог, но ничего не хочет, уже начинает сглаживаться, что многие начинают думать, что он ничего бы и не мог, кроме того, как быть честным и добрым малым. Наделавшая столько шума и обратившая общее внимание связь его с Карениной, придав ему новый блеск, успокоила на время точившего его червя честолюбия, но неделю тому назад этот червь проснулся с новою силой. Его товарищ с детства, одного круга, одного богатства и товарищ по корпусу, Серпуховской, одного с ним выпуска, с которым он соперничал и в классе, и в гимнастике, и в шалостях, и в мечтах честолюбия, на днях вернулся из Средней Азии, получив там два чина и отличие, редко даваемое столь молодым генералам.

Как только он приехал в Петербург, заговорили о нем как о вновь поднимающейся звезде первой величины. Ровесник Вронскому и однокашник, он был генерал и ожидал назначения, которое могло иметь влияние на ход государственных дел, а Вронский был хоть и независимый, и блестящий, и любимый прелестною женщиной, но был только ротмистр в полку, которому предоставляли быть независимым сколько ему угодно. «Разумеется, я не завидую и не могу завидовать Серпуховскому, но его возвышение показывает мне, что стóит выждать время, и карьера человека, как я, может быть сделана очень скоро. Три года тому назад он был в том же положении, как и я. Выйдя в отставку, я сожгу свои корабли. Оставаясь на службе, я ничего не теряю. Она сама сказала, что не хочет изменять свое положение. А я, с ее любовью, не могу завидовать Серпуховскому». И, закручивая медленным движением усы, он встал от стола и прошелся по комнате. Глаза его блестели особенно ярко, и он чувствовал то

XXI — А я за тобой. Твоя стирка нынче долго продолжалась, — сказал Петрицкий. — Что ж, кончилось? — Кончилось, — отвечал Вронский, улыбаясь одними глазами и покручивая кончики усов так осторожно, как будто после того порядка, в который приведены его дела, всякое слитком смелое и быстрое движение может его разрушить. — Ты всегда после этого точно из бани, — сказал Петрицкий. — Я от Грицки (так они звали полкового командира), тебя ждут. Вронский, не отвечая, глядел на товарища, думая о другом. — Да, это у него музыка? — сказал он, прислушиваясь к долетавшим до него знакомым звукам трубных басов полек и вальсов. — Что за праздник? — Серпуховской приехал. — Аа! — сказал Вронский, — я и не знал. Улыбка его глаз заблестела еще ярче. Раз решив сам с собою, что он счастлив своею любовью, пожертвовал ей своим честолюбием, — взяв по крайней мере на себя эту роль, — Вронский уже не мог чувствовать ни зависти к Серпуховскому, ни досады на него за то, что он, приехав в полк, пришел не к нему первому. Серпуховской был добрый приятель, и он был рад ему. — А, я очень рад. Полковой командир Демин занимал большой помещичий дом. Все общество было на просторном нижнем балконе. На дворе первое, что бросилось в глаза Вронскому, были песенники в кителях, стоявшие подле бочонка с водкой, и здоровая веселая фигура полкового командира, окруженного офицерами; выйдя па первую ступень балкона, он, громко перекрикивая музыку, игравшую оффенбаховскую кадриль, что-то приказывал и махал стоявшим в стороне солдатам. Кучка солдат, вахмистр и несколько унтер-офицеров подошли вместе с Вронским к балкону. Вернувшись к столу, полковой командир опять вышел с бокалом на крыльцо и провозгласил тост. «За здоровье нашего бывшего товарища и храброго генерала князя Серпуховского. Ура!» За полковым командиром, с бокалом в руке, улыбаясь вышел и Серпуховской, 330

XXI

— А я за тобой. Твоя стирка нынче долго продолжалась, — сказал Петрицкий. — Что ж, кончилось?

— Кончилось, — отвечал Вронский, улыбаясь одними глазами и покручивая кончики усов так осторожно, как будто после того порядка, в который приведены его дела, всякое слишком смелое и быстрое движение может его разрушить.

— Ты всегда после этого точно из бани, — сказал Петрицкий. — Я от Грицки (так они звали полкового командира), тебя ждут.

Вронский, не отвечая, глядел на товарища, думая о другом.

— Да, это у него музыка? — сказал он, прислушиваясь к долетавшим до него знакомым звукам трубных басов полек и вальсов. — Что за праздник?

— Серпуховской приехал.

— Аа! — сказал Вронский, — я и не знал.

Улыбка его глаз заблестела еще ярче.

Раз решив сам с собою, что он счастлив своею любовью, пожертвовал ей своим честолюбием, — взяв по крайней мере на себя эту роль, — Вронский уже не мог чувствовать ни зависти к Серпуховскому, ни досады на него за то, что он, приехав в полк, пришел не к нему первому. Серпуховской был добрый приятель, и он был рад ему.

— А, я очень рад.

Полковой командир Демин занимал большой помещичий дом. Все общество было на просторном нижнем балконе. На дворе первое, что бросилось в глаза Вронскому, были песенники в кителях, стоявшие подле бочонка с водкой, и здоровая веселая фигура полкового командира, окруженного офицерами; выйдя на первую ступень балкона, он, громко перекрикивая музыку, игравшую оффенбаховскую кадриль, что-то приказывал и махал стоявшим в стороне солдатам. Кучка солдат, вахмистр и несколько унтер-офицеров подошли вместе с Вронским к балкону. Вернувшись к столу, полковой командир опять вышел с бокалом на крыльцо и провозгласил тост. «За здоровье нашего бывшего товарища и храброго генерала князя

— Ты все молодеешь, Бопдаренко, — обратился он к прямо пред ним стоявшему, служившему вторую службу молодцеватому краснош;екому вахмистру. Вронский три года не видал Серпуховского. Он возмужал, отпустив бакенбарды, но он был такой же стройный, не столько поражавший красотой, сколько нежностью и благородством лица и сложения. Одна перемена, которую заметил в нем Вронский, было то постоянное, тихое сияние, которое устанавливается на лицах людей, имеіопі,их успех и уверенных в признании всеми этого успеха. Вронский знал это сияние и тотчас же заметил его на Серпуховском. Сходя с лестницы. Серпуховской увидал Вронского. Улыбка радости осветила лицо Серпуховского. Он кивнул кверху головой, приподнял бокал, приветствуя Вронского и показывая этим жестом, что не может прежде не подойти к вахмистру, который, вытянувшись, уже складывал губы для поцелуя. — Ну, вот и он! — вскрикнул полковой командир. — А мне сказал Яшвин, что ты в своем мрачном духе. Серпуховской поцеловал во влажные и свежие губы молодца вахмистра и, обтирая рот платком, подошел к Вронскому. — Ну, как я рад! — сказал он, пожимая ему руку и отводя его в сторону. — Займитесь им! — крикнул Яшвину полковой командир, указывая на Вронского, и сошел вниз к солдатам. — Отчего ты вчера не был на скачках? Я думал увіь дать там тебя, — сказал Вронский, оглядывая Серпуховского. — Я приехал, но поздно. Виноват, — прибавил он н обратился к адъютанту, — пожалуйста, от меня прикажите раздать, сколько выйдет на человека. И он торопливо достал из бумажника три сторублевые бумажки и покраснел. — Вронский! Хочешь съесть что-нибудь или пить? — спросил Яшвин. — Эй, давай сюда графу поесть! А вот это пей. Кутеж у полкового командира продолжался долго. Пили очень много. Качали и подкидывали Серпухов^ ского. Потом качали полкового командира. Потом пред песенниками плясал сам полковой командир с ПетрицКИМ. Потом полковой командир, уже несколько ослабевши, сел на дворе на лавку и начал доказывать Яшвину 331

— Ты все молодеешь, Бондаренко, — обратился он к прямо пред ним стоявшему, служившему вторую службу молодцеватому краснощекому вахмистру.

Вронский три года не видал Серпуховского. Он возмужал, отпустив бакенбарды, но он был такой же стройный, не столько поражавший красотой, сколько нежностью и благородством лица и сложения. Одна перемена, которую заметил в нем Вронский, было то постоянное, тихое сияние, которое устанавливается на лицах людей, имеющих успех и уверенных в признании всеми этого успеха. Вронский знал это сияние и тотчас же заметил его на Серпуховском.

Сходя с лестницы, Серпуховской увидал Вронского. Улыбка радости осветила лицо Серпуховского. Он кивнул кверху головой, приподнял бокал, приветствуя Вронского и показывая этим жестом, что не может прежде не подойти к вахмистру, который, вытянувшись, уже складывал губы для поцелуя.

— Ну, вот и он! — вскрикнул полковой командир. — А мне сказал Яшвин, что ты в своем мрачном духе.

Серпуховской поцеловал во влажные и свежие губы молодца вахмистра и, обтирая рот платком, подошел к Вронскому.

— Ну, как я рад! — сказал он, пожимая ему руку и отводя его в сторону.

— Займитесь им! — крикнул Яшвину полковой командир, указывая на Вронского, и сошел вниз к солдатам.

— Отчего ты вчера не был на скачках? Я думал увидать там тебя, — сказал Вронский, оглядывая Серпуховского.

— Я приехал, но поздно. Виноват, — прибавил он и обратился к адъютанту, — пожалуйста, от меня прикажите раздать, сколько выйдет на человека.

И он торопливо достал из бумажника три сторублевые бумажки и покраснел.

— Вронский! Хочешь съесть что-нибудь или пить? — спросил Яшвин. — Эй, давай сюда графу поесть! А вот это пей.

Кутеж у полкового командира продолжался долго.

Пили очень много. Качали и подкидывали Серпуховского. Потом качали полкового командира. Потом пред

преимущество России пред Пруссией, особенно в кавалерийской атаке, и кутеж на минуту затих. Серпуховской вошел в дом, в уборную, чтоб умыть руки и нашел там Вронского; Вронский обливался водой. Он, сняв китель, подставив обросшую волосами красную шею под струю умывальника, растирал ее и голову руками. Окончив умывание, Вронский подсел к Серпуховскому. Они оба тут же сели на диванчик, и между ними начался разговор, очень интересный для обоих. — Я о тебе все знал через жену, — сказал Серпуховской. — Я рад, что ты часто видал ее. — Она дружна с Варей, и это единственные женщины петербургские, с которыми мне приятно, — улыбаясь, отвечал Вронский. Он улыбался тому, что предвидел тему, на которую обратится разговор, и это было ему приятно. — Единственные? — улыбаясь, переспросил Серпуховской. — Да и я о тебе знал, но не только чрез твою жену, — строгим выражением лица запрещая этот намек, сказал Вронский. — Я очень рад был твоему успеху, но нисколько не удивлен. Я ждал еще больше. Серпуховской улыбнулся. Ему, очевидно, было приятно это мнение о нем, и он не находил нужным скрывать это. — Я, напротив, признаюсь откровенно, ждал меньше. Но я рад, очень рад. Я честолюбив, это моя слабость, и я признаюсь в ней. — Может быть, ты бы не признавался, если бы но имел успеха, — сказал Вронский. — Не думаю, — опять улыбаясь, сказал Серпуховской. — Не скажу, чтобы не стоило жить без этого, но было бы скучно. Разумеется, я, может быть, ошибаюсь, но мне кажется, что я имею некоторые способности к той сфере деятельности, которую я избрал, и что в моих руках власть, какая бы она ни была, если будет, то будет лучше, чем в руках многих мне известных, — с сияющим сознанием успеха сказал Серпуховской. — И потому, чем ближе к этому, тем я больше доволен. — Может быть, это так для тебя, но не для всех. Я то же думал, а вот живу и нахожу, что не стоит жить только для этого, — сказал Вронский. — Вот оно! Вот оно! — смеясь, сказал Серпуховской. — Я же начал с того, что я слышал про тебя, про

преимущество России пред Пруссией, особенно в кавалерийской атаке, и кутеж на минуту затих. Серпуховской вошел в дом, в уборную, чтоб умыть руки и нашел там Вронского; Вронский обливался водой. Он, сняв китель, подставив обросшую волосами красную шею под струю умывальника, растирал ее и голову руками. Окончив умывание, Вронский подсел к Серпуховскому. Они оба тут же сели на диванчик, и между ними начался разговор, очень интересный для обоих.

— Я о тебе все знал через жену, — сказал Серпуховской. — Я рад, что ты часто видал ее.

— Она дружна с Варей, и это единственные женщины петербургские, с которыми мне приятно, — улыбаясь, отвечал Вронский. Он улыбался тому, что предвидел тему, на которую обратится разговор, и это было ему приятно.

— Единственные? — улыбаясь, переспросил Серпуховской.

— Да и я о тебе знал, но не только чрез твою жену, — строгим выражением лица запрещая этот намек, сказал Вронский. — Я очень рад был твоему успеху, но нисколько не удивлен. Я ждал еще больше.

Серпуховской улыбнулся. Ему, очевидно, было приятно это мнение о нем, и он не находил нужным скрывать это.

— Я, напротив, признаюсь откровенно, ждал меньше. Но я рад, очень рад. Я честолюбив, это моя слабость, и я признаюсь в ней.

— Может быть, ты бы не признавался, если бы не имел успеха, — сказал Вронский.

— Не думаю, — опять улыбаясь, сказал Серпуховской. — Не скажу, чтобы не стоило жить без этого, но было бы скучно. Разумеется, я, может быть, ошибаюсь, но мне кажется, что я имею некоторые способности к той сфере деятельности, которую я избрал, и что в моих руках власть, какая бы она ни была, если будет, то будет лучше, чем в руках многих мне известных, — с сияющим сознанием успеха сказал Серпуховской. — И потому, чем ближе к этому, тем я больше доволен.

— Может быть, это так для тебя, но не для всех. Я то же думал, а вот живу и нахожу, что не стоит жить

твой отказ... Разумеется, я тебя одобрил. Но на все есть манера. И я думаю, что самый поступок хорош, но ты его сделал не так, как надо. — Что сделано, то сделано, и ты знаешь, я никогда не отрекаюсь от того, что сделал. И потом мне прекрасно. — Прекрасно — на время. Но ты не удовлетворишься этим. Я твоему брату не говорю. Это милое дитя, так же как этот наш хозяин. Вон он! — прибавил он, прислушиваясь к крику «ура», — и ему весело, а тебя не это удовлетворяет. — Я не говорю, чтобы удовлетворяло. — Да не это одно. Такие люди, как ты, нужны. — Кому? — Кому? Обш;еству. России нужны люди, нужна партия, иначе все идет и пойдет к собакам. — То есть что же? Партия Бертенева против русских коммунистов? — Нет, — сморш;ившись от досады за то, что его подозревают в такой глупости, сказал Серпуховской. — Tout ça est une blague ^ Это всегда было и будет. Никаких коммунистов нет. Но всегда людям интриги надо выдумать вредную, опасную партию. Это старая штука. Нет, нужна партия власти людей независимых, как ты и я. — Но почему же? — Вронский назвал несколько имеющих власть людей. — Но почему же они не независимые люди? — Только потому, что у них нет или не было от рождения независимости состояния, не было имени, не было той близости к солнцу, в которой мы родились. Их можно купить или деньгами, или лаской. И чтоб им держаться, им надо выдумывать направление. И они проводят какуюнибудь мысль, направление, в которое сами не верят, которое делает зло; и все это направление есть только средство иметь казенный дом и столько-то жалованья. Cela n’est pas plus fin que ça^, когда поглядишь в их карты. Может быть, я хуя^е, глупее их, хотя я не вижу, почему я должен быть хуже их. Но у меня и у тебя есть уже наверное одно важное преимущество, то, что нас труднее купить. И такие люди более чем когда-нибудь нужны. Вронский слушал внимательно, но не столько самое содержание его слов занимало его, сколько то отношение ‘ Все это глупости (франц). ^ Все это йе так уж хитро (франц.). 333

твой отказ... Разумеется, я тебя одобрил. Но на все есть манера. И я думаю, что самый поступок хорош, но ты его сделал не так, как надо.

— Что сделано, то сделано, и ты знаешь, я никогда не отрекаюсь от того, что сделал. И потом мне прекрасно.

— Прекрасно — на время. Но ты не удовлетворишься этим. Я твоему брату не говорю. Это милое дитя, так же как этот наш хозяин. Вон он! — прибавил он, прислушиваясь к крику «ура», — и ему весело, а тебя не это удовлетворяет.

— Я не говорю, чтобы удовлетворяло.

— Да не это одно. Такие люди, как ты, нужны.

— Кому?

— Кому? Обществу. России нужны люди, нужна партия, иначе все идет и пойдет к собакам.

— То есть что же? Партия Бертенева против русских коммунистов?

— Нет, — сморщившись от досады за то, что его подозревают в такой глупости, сказал Серпуховской. — Tout ça est une blague [1]. Это всегда было и будет. Никаких коммунистов нет. Но всегда людям интриги надо выдумать вредную, опасную партию. Это старая штука. Нет, нужна партия власти людей независимых, как ты и я.

— Но почему же? — Вронский назвал несколько имеющих власть людей. — Но почему же они не независимые люди?

— Только потому, что у них нет или не было от рождения независимости состояния, не было имени, не было той близости к солнцу, в которой мы родились. Их можно купить или деньгами, или лаской. И чтоб им держаться, им надо выдумывать направление. И они проводят какую-нибудь мысль, направление, в которое сами не верят, которое делает зло; и все это направление есть только средство иметь казенный дом и столько-то жалованья. Cela n'est pas plus fin que ça [2], когда поглядишь в их карты. Может быть, я хуже, глупее их, хотя я не вижу, почему я должен быть хуже их. Но у меня и у тебя есть уже наверное одно важное преимущество, то, что нас труднее купить. И такие люди более чем когда-нибудь нужны.

Вронский слушал внимательно, но не столько самое

к делу Серпуховского, уже думаюпцего бороться с властью II имеющего в этом мире уже свои симпатии и антипатии, тогда как для пего были по службе только интересы эскадрона. Вронский понял тоже, как мог быть силен Серпуховской своею несомненною способностью обдумывать, понимать вещи, своим умом и даром слова, так редко встречающимся в той среде, в которой он жил. И, как ни совестно это было ему, ему было завидно. — Все-таки мне недостает для этого одной главной вещи, — отвечал он, — недостает желания власти. Это было, но прошло. — Извини меня, это неправда, — улыбаясь, сказал Серпуховской. — Нет, правда, правда!., теперь, — чтоб быть искренним, прибавил Вронский. — Да, правда, теперь, это другое дело; но это теперь будет не всегда. — Может быть, — отвечал Вронский. — Ты говорить, может быть, — продолжал Серпуховской, как будто угадав его мысли, — а я тебе говорю наверное, И для этого я хотел тебя видеть. Ты поступил так, как должно было. Это я понимаю, но персеверировать ты не должен. Я только прошу у тебя carte blanche ^ Я не покровительствую тебе... Хотя отчего же мне и не покровительствовать тебе? Ты столько раз мне покровительствовал! Надеюсь, что наша дружба стоит выше этого. Да, — сказал он, нежно, как женщина, улыбаясь ему. — Дай мне carte blanche, выходи из полка, и я втяну тебя незаметно. — Но ты пойми, мне ничего не нужно, — сказал Вронский, — как только то, чтобы все было, как было. Серпуховской встал и стал против него. — Ты сказал, чтобы все было, как было. Я понимаю, что это значит. Но послушай: мы ровесники; может быть, ты больше числом знал женщин, чем я. — Улыбка и жесты Серпуховского говорили, что Вронский не должен бояться, что он нежно и осторожно дотронется до больного места. — Но я женат, и поверь, что, узнав одну свою жену (как кто-то писал), которую ты любишь, ты лучше узнаешь всех женщин, чем если бы ты знал их тысячи. — Сейчас придем! — крикнул Вронский заглянувшему в комнату офицеру и звавшему их к полковому командиру. ^ свободы действий (франц.). 334

к делу Серпуховского, уже думающего бороться с властью и имеющего в этом мире уже свои симпатии и антипатии, тогда как для него были по службе только интересы эскадрона. Вронский понял тоже, как мог быть силен Серпуховской своею несомненною способностью обдумывать, понимать вещи, своим умом и даром слова, так редко встречающимся в той среде, в которой он жил. И, как ни совестно это было ему, ему было завидно.

— Все-таки мне недостает для этого одной главной вещи, — отвечал он, — недостает желания власти. Это было, но прошло.

— Извини меня, это неправда, — улыбаясь, сказал Серпуховской.

— Нет, правда, правда!.. теперь, — чтоб быть искренним, прибавил Вронский.

— Да, правда, *теперь,* это другое дело; но это *теперь* будет не всегда.

— Может быть, — отвечал Вронский.

— Ты говоришь, *может быть,* — продолжал Серпуховской, как будто угадав его мысли, — а я тебе говорю *наверное.* И для этого я хотел тебя видеть. Ты поступил так, как должно было. Это я понимаю, но *персеверировать* ты не должен. Я только прошу у тебя carte blanche [1]. Я не покровительствую тебе... Хотя отчего же мне и не покровительствовать тебе? Ты столько раз мне покровительствовал! Надеюсь, что наша дружба стоит выше этого. Да, — сказал он, нежно, как женщина, улыбаясь ему. — Дай мне carte blanche, выходи из полка, и я втяну тебя незаметно.

— Но ты пойми, мне ничего не нужно, — сказал Вронский, — как только то, чтобы все было, как было.

Серпуховской встал и стал против него.

— Ты сказал, чтобы все было, как было. Я понимаю, что это значит. Но послушай: мы ровесники; может быть, ты больше числом знал женщин, чем я. — Улыбка и жесты Серпуховского говорили, что Вронский не должен бояться, что он нежно и осторожно дотронется до больного места. — Но я женат, и поверь, что, узнав одну свою жену (как кто-то писал), которую ты любишь, ты лучше узнаешь всех женщин, чем если бы ты знал их тысячи.

— Сейчас придем! — крикнул Вронский заглянувшему в

Вронскому хотелось теперь дослушать и узнать, что он скажет ему. — И вот тебе мое мнение. Женщины — это тавный камень преткновения в деятельности человека. Трудно любить женщину и делать что-нибудь. Для этого есть только одно средство с удобством, без помехи любить — это женитьба. Как бы, как бы тебе сказать, что я думаю, — говорил Серпуховской, любившим сравнения, — * постой, постой! Да, как нести fardeau ^ и делать что-нибудь руками можно только тогда, когда fardeau увязано на спину, — а это женитьба. И это я почувствовал, женившись. У меня вдруг опростались руки. Но без женитьбы тащить за собой этот fardeau — руки будз't так полны, что ничего нельзя делать. Посмотри Мазанкова, Крупова. Они погубили свои карьеры из-за женщин. — Какие женщины! — сказал Вронский, вспоминая француженку и актрису, с которыми были в связи два человека. — Тем хуже, чем прочнее положение женщины в свете, тем хуже. Это все равно, как уже не то что тащить fardeau руками, а вырывать его у другого. — Ты никогда не любил, — тихо сказал Вронский, глядя пред собой и дуліая об Анне. — Может быть. Но ты вспомни, что я сказал тебе. И еще: женщины все материальнее мужчин. Мы делаем из любви что-то огромное, а они всегда terre-à-terre — - Сейчас, сейчас! — обратился он к вошедшему ла^ кею. Но лакей не приходил их звать опять, как он думал. Лакей принес Вронскому записку. — Вам человек принес от княгини Тверской. Вронский распечатал письмо и вспыхнул. — У меня голова заболела, я пойду домой, — сказал он Серпуховскому. — Ну, так прощай. Даешь carte blanche? — После поговорим, я найду тебя в Петербурге^ XXII Был уже шестой час, и потому, чтобы поспеть вовремя и вместе с тем не ехать на своих лошадях, которых все знали, Вронский сел в извозчичью карету Яшвина и велел ^ груз (Франц.). ^ будничны (Франц.), 335

Вронскому хотелось теперь дослушать и узнать, что он скажет ему.

— И вот тебе мое мнение. Женщины — это главный камень преткновения в деятельности человека. Трудно любить женщину и делать что-нибудь. Для этого есть только одно средство с удобством, без помехи любить — это женитьба. Как бы, как бы тебе сказать, что я думаю, — говорил Серпуховской, любивший сравнения, — постой, постой! Да, как нести fardeau [1] и делать что-нибудь руками можно только тогда, когда fardeau увязано на спину, — а это женитьба. И это я почувствовал, женившись. У меня вдруг опростались руки. Но без женитьбы тащить за собой этот fardeau — руки будут так полны, что ничего нельзя делать. Посмотри Мазанкова, Крупова. Они погубили свои карьеры из-за женщин.

— Какие женщины! — сказал Вронский, вспоминая француженку и актрису, с которыми были в связи два человека.

— Тем хуже, чем прочнее положение женщины в свете, тем хуже. Это все равно, как уже не то что тащить fardeau руками, а вырывать его у другого.

— Ты никогда не любил, — тихо сказал Вронский, глядя пред собой и думая об Анне.

— Может быть. Но ты вспомни, что я сказал тебе. И еще: женщины все материальнее мужчин. Мы делаем из любви что-то огромное, а они всегда terre-à-terre [2].

— Сейчас, сейчас! — обратился он к вошедшему лакею. Но лакей не приходил их звать опять, как он думал. Лакей принес Вронскому записку.

— Вам человек принес от княгини Тверской.

Вронский распечатал письмо и вспыхнул.

— У меня голова заболела, я пойду домой, — сказал он Серпуховскому.

— Ну, так прощай. Даешь carte blanche?

— После поговорим, я найду тебя в Петербурге.

XXII

Был уже шестой час, и потому, чтобы поспеть вовремя и вместе с тем не ехать на своих лошадях, которых все

ехать как можно скорее. Извозчичья старая четвероместная карета была просторна. Он сел в угол, вытянул ноги на переднее место и задумался. Смутное сознание той ясности, в которую были приведены его дела, смутное воспоминание о дружбе и лести Серпуховского, считавшего его нужным человеком, и, главное, ожидание свидания — все соединялось в общее впечатление радостного чувства жизни. Чувство это было так сильно, что он невольно улыбался. Он спустил ноги, заложил одну на колено другой и, взяв ее в руку, ощупал упругую икру ноги, зашибленной вчера при падении, и, откинувшись назад, вздохнул несколько раз всею грудью. «Хорошо, очень хорошо!» — сказал он сам себе. Он и прежде часто испытывал радостное сознание своего тела, но никогда он так не любил себя, своего тела, как теперь. Ему приятно было чувствовать эту легкую боль в сильной ноге, приятно было мышечное ощущение движений своей груди при дыхании. Тот самый ясный, холодный августовский день, который так безнадежно действовал на Анну, казался ему возбудительно оживляющим и освежал его разгоревшееся от обливания лицо и шею. Запах брильянтина от его усов казался ему особенно приятным на этом свежем воздухе. Все, что он видел в окно кареты, все в этом холодном чистом воздухе, на этом бледном свете заката было так же свежо, весело и сильно, как и он сам: и крыши домов, блестящие в лучах спускавшегося солнца, и резкие очертания заборов и углов построек, и фигуры изредка встречающихся пешеходов и экипажей, и неподвижная зелень деревьев и травы и поля с правильно прорезанными бороздами картофеля, и косые тени, падавшие и от домов, и от деревьев, и от кустов, и от самых борозд картофеля. Все было красиво, как хорошенький пейзаж, только что оконченный и покрытый лаком. — Пошел, пошел! — сказал он кучеру, высунувшись в окно, и, достав из кармана трехрублевую бумажку, сунул ее оглянувшемуся кучеру. Рука извозчика ощупала что-то у фонаря, послышался свист кнута, и карета быстро покатилась по ровному шоссе. «Ничего, ничего мне не нужно, кроме этого счастия, — думал он, глядя на костяную шишечку звонка в промежуток между окнами и воображая себе Анну такою, какою он видел ее в последний раз. И чем дальше, тем 336

ехать как можно скорее. Извозчичья старая четвероместная карета была просторна. Он сел в угол, вытянул ноги на переднее место и задумался.

Смутное сознание той ясности, в которую были приведены его дела, смутное воспоминание о дружбе и лести Серпуховского, считавшего его нужным человеком, и, главное, ожидание свидания — все соединялось в общее впечатление радостного чувства жизни. Чувство это было так сильно, что он невольно улыбался. Он спустил ноги, заложил одну на колено другой и, взяв ее в руку, ощупал упругую икру ноги, зашибленной вчера при падении, и, откинувшись назад, вздохнул несколько раз всею грудью.

«Хорошо, очень хорошо!» — сказал он сам себе. Он и прежде часто испытывал радостное сознание своего тела, но никогда он так не любил себя, своего тела, как теперь. Ему приятно было чувствовать эту легкую боль в сильной ноге, приятно было мышечное ощущение движений своей груди при дыхании. Тот самый ясный, холодный августовский день, который так безнадежно действовал на Анну, казался ему возбудительно оживляющим и освежал его разгоревшееся от обливания лицо и шею. Запах брильянтина от его усов казался ему особенно приятным на этом свежем воздухе. Все, что он видел в окно кареты, все в этом холодном чистом воздухе, на этом бледном свете заката было так же свежо, весело и сильно, как и он сам: и крыши домов, блестящие в лучах спускавшегося солнца, и резкие очертания заборов и углов построек, и фигуры изредка встречающихся пешеходов и экипажей, и неподвижная зелень деревьев и травы и поля с правильно прорезанными бороздами картофеля, и косые тени, падавшие и от домов, и от деревьев, и от кустов, и от самых борозд картофеля. Все было красиво, как хорошенький пейзаж, только что оконченный и покрытый лаком.

— Пошел, пошел! — сказал он кучеру, высунувшись в окно, и, достав из кармана трехрублевую бумажку, сунул ее оглянувшемуся кучеру. Рука извозчика ощупала что-то у фонаря, послышался свист кнута, и карета быстро покатилась по ровному шоссе.

«Ничего, ничего мне не нужно, кроме этого счастия, —

больше я люблю ее. Вот и сад казенной дачи Вреде. Где же она тут? Где? Как? Зачем она здесь назначила свидание и пишет в письме Бетси?» — подумал он теперь только; но думать было уже некогда. Он остановил кучера, не доезжая до аллеи, и, отворив дверцу, на ходу выскочил из кареты и пошел в аллею, ведшую к дому. В аллее никого не было; но, оглянувшись направо, он увидал ее. Лицо ее было закрыто вуалем, но он обхватил радостным взглядом особенное, ей одной свойственное движение походки, склона плеч и постанова головы, и тотчас же будто электрический ток пробежал по его телу. Он с новою силой почувствовал самого себя, от упругих движений ног до движения легких при дыхании, и что-то защекотало его губы. Сойдясь с ним, она крепко пожала его руку. — Ты не сердишься, что я вызвала тебя? Мне необходимо было тебя видеть, — сказала она; и тот серьезный и строгий склад губ, который он видел из-под вуаля, сразу изменил его душевное настроение. — Я, сердиться! Но как ты приехала, куда? — Все равно, — сказала она, кладя свою руку на его, — пойдем, мне нужно переговорить. Он понял, что что-то случилось и что свидание это не будет радостное. В присутствии ее он не имел своей воли: не зная причины ее тревоги, он чувствовал уже, что та же тревога невольно сообщалась и ему. — Что же? что? — спрашивал он, сжимая локтем ее руку и стараясь прочесть в ее лице ее мысли. Она прошла молча несколько шагов, собираясь с духом, и вдруг остановилась. — Я не сказала тебе вчера, — начала она, быстро и тяжело дыша, — что, возвращаясь домой с Алексеем Александровичем, я объявила ему все... сказала, что я не могу быть его женой, что... и все сказала. Он слушал ее, невольно склоняясь всем станом, как бы желая этим смягчить для нее тяжесть ее положения. Но как только она сказала это, он вдруг выпрямился, и лицо его приняло гордое и строгое выражение. — Да, да, это лучше, тысячу раз лучше! Я понимаю, как тяжело это было, — сказал он. Но она не слушала его слов, она читала его мысли по выражению лица. Она не могла знать, что выражение его лица относилось к первой пришедшей Вронскому мысли — о неизбежности теперь дуэли. Ей никогда и 337

больше я люблю ее. Вот и сад казенной дачи Вреде. Где же она тут? Где? Как? Зачем она здесь назначила свидание и пишет в письме Бетси?» — подумал он теперь только; но думать было уже некогда. Он остановил кучера, не доезжая до аллеи, и, отворив дверцу, на ходу выскочил из кареты и пошел в аллею, ведшую к дому. В аллее никого не было; но, оглянувшись направо, он увидал ее. Лицо ее было закрыто вуалем, но он обхватил радостным взглядом особенное, ей одной свойственное движение походки, склона плеч и постанова головы, и тотчас же будто электрический ток пробежал по его телу. Он с новою силой почувствовал самого себя, от упругих движений ног до движения легких при дыхании, и что-то защекотало его губы.

Сойдясь с ним, она крепко пожала его руку.

— Ты не сердишься, что я вызвала тебя? Мне необходимо было тебя видеть, — сказала она; и тот серьезный и строгий склад губ, который он видел из-под вуаля, сразу изменил его душевное настроение.

— Я, сердиться! Но как ты приехала, куда?

— Все равно,— сказала она, кладя свою руку на его,— пойдем, мне нужно переговорить.

Он понял, что что-то случилось и что свидание это не будет радостное. В присутствии ее он не имел своей воли: не зная причины ее тревоги, он чувствовал уже, что та же тревога невольно сообщалась и ему.

— Что же? что? — спрашивал он, сжимая локтем ее руку и стараясь прочесть в ее лице ее мысли.

Она прошла молча несколько шагов, собираясь с духом, и вдруг остановилась.

— Я не сказала тебе вчера, — начала она, быстро и тяжело дыша, — что, возвращаясь домой с Алексеем Александровичем, я объявила ему все... сказала, что я не могу быть его женой, что... и все сказала.

Он слушал ее, невольно склоняясь всем станом, как бы желая этим смягчить для нее тяжесть ее положения. Но как только она сказала это, он вдруг выпрямился, и лицо его приняло гордое и строгое выражение.

— Да, да, это лучше, тысячу раз лучше! Я понимаю, как тяжело это было, — сказал он.

Но она не слушала его слов, она читала его мысли по

в голову не приходила мысль о дуэли, и поэтому это мимолетное выражение строгости она объяснила иначе. Получив письмо мужа, она знала уже в глубине дупіи, что все останется по-старому, что она не в силах будет пренебречь своим положением, бросить сына и соединиться с любовником. Утро, проведенное у княгини Тверской, еще более утвердило ее в этом. Но свидание это все-таки было для нее чрезвычайно важно. Она надеялась, что это свидание изменит это положение и спасет ее. Если он при этом известии решительно, страстно, без минуты колебания скажет ей: «Брось все и бегрі со мной!» — она бросит сына и уйдет с ним. Но известие это не произвело в нем того, чего она ожидала: он только чем-то как будто оскорбился. — Мне нисколько не тяжело было. Это сделалось само собой, — сказала она раздражительно, — и вот... — она достала письмо мужа из перчатки. — Я понимаю, понимаю, — перебил он ее, взяв письмо, но не читая его и стараясь успокоить, — я одного желал, я одного просил — разорвать это положение, чтобы посвятить свою жизнь твоему счастию. — Зачем ты говоришь мне это? — сказала она. — Разве я могу сомневаться в этом? Если б я сомневалась... — Кто это идет? — сказал вдруг Вронский, указывая на шедших навстречу двух дам. — Может быть, знают нас, — и он поспешно направился, увлекая ее за собою, на боковую дорожку. — Ах, мне все равно! — сказала она. Губы ее задрожали. И ему показалось, что глаза ее со странною злобой смотрели на него из-под вуаля. — Так я говорю, что іію в этом дело, я не могу сомневаться в этом; но вот что он пишет мне. Прочти. — Она опять остановилась. Опять, как и в первую минуту, при известии об ее разрыве с мужем, Вронский, читая письмо, невольно отдался тому естественному впечатлению, которое вызывало в нем отношение к оскорбленному мужу. Теперь, когда он держал в руках его письмо, он невольно представлял себе тот вызов, который, вероятно, нынче же или завтра он найдет у себя, и самую дуэль, во время которой он с тем самым холодным и гордым выражением, которое и теперь было на его лице, выстрелив в воздух, будет стоять под выстрелом оскорбленного мужа. И тут же в его голове мелькнула мысль о том, что ему только что говорил Серпуховской и что он сам утром думал — что 333

в голову не приходила мысль о дуэли, и поэтому это мимолетное выражение строгости она объяснила иначе.

Получив письмо мужа, она знала уже в глубине души, что все останется по-старому, что она не в силах будет пренебречь своим положением, бросить сына и соединиться с любовником. Утро, проведенное у княгини Тверской, еще более утвердило ее в этом. Но свидание это все-таки было для нее чрезвычайно важно. Она надеялась, что это свидание изменит это положение и спасет ее. Если он при этом известии решительно, страстно, без минуты колебания скажет ей: «Брось все и беги со мной!» — она бросит сына и уйдет с ним. Но известие это не произвело в нем того, чего она ожидала: он только чем-то как будто оскорбился.

— Мне нисколько не тяжело было. Это сделалось само собой, — сказала она раздражительно, — и вот... — она достала письмо мужа из перчатки.

— Я понимаю, понимаю, — перебил он ее, взяв письмо, но не читая его и стараясь успокоить, — я одного желал, я одного просил — разорвать это положение, чтобы посвятить свою жизнь твоему счастию.

— Зачем ты говоришь мне это? — сказала она. — Разве я могу сомневаться в этом? Если б я сомневалась...

— Кто это идет? — сказал вдруг Вронский, указывая на шедших навстречу двух дам. — Может быть, знают нас, — и он поспешно направился, увлекая ее за собою, на боковую дорожку.

— Ах, мне все равно! — сказала она. Губы ее задрожали. И ему показалось, что глаза ее со странною злобой смотрели на него из-под вуаля. — Так я говорю, что не в этом дело, я не могу сомневаться в этом; но вот что он пишет мне. Прочти. — Она опять остановилась.

Опять, как и в первую минуту, при известии об ее разрыве с мужем, Вронский, читая письмо, невольно отдался тому естественному впечатлению, которое вызывало в нем отношение к оскорбленному мужу. Теперь, когда он держал в руках его письмо, он невольно представлял себе тот вызов, который, вероятно, нынче же или завтра он найдет у себя, и самую дуэль, во время которой он с тем самым холодным и гордым выражением, которое и теперь было на его лице, выстрелив в воздух, будет

лучше не связывать себя, — и он знал, что эту мысль он не моя^ет передать ей. Прочтя письмо, он поднял на нее глаза, и во взгляде его не было твердости. Она поняла тотчас же, что он уже сам с собой прежде думал об этом. Она знала, что, что бы он ни сказал ей, он скажет не все, что он думает. И она поняла, что последняя надежда ее была обманута. Это было не то, чего она онщдала. — Ты видишь, что это за человек, — сказала она дрожащим голосом, — он... — Прости меня, но я радуюсь этому, — перебил Вронский. — Ради бога, дай мне договорить, — прибавил он, умоляя ее взглядом дать ему время объяснить свои слова. — Я радуюсь, потому что это не может, никак не может оставаться так, как он предполагает. — Почему же не может? — сдерживая слезы, проговорила Анна, очевидно уже не приписывая никакого значения тому, что он скажет. Она чувствовала, что судьба ее была решена. Вронский хотел сказать, что после неизбеяшой, по его мнению, дуэли это не могло продолжаться, но сказал другое. — Не может продолжаться. Я надеюсь, что теперь ты оставишь его. Я надеюсь, — он смутился и покраснел, — что ты позволишь мне устроить и обдумать нашу жизнь. Завтра... — начал было он. Она не дала договорить ему. — А сын? — вскрикнула она. — Ты видишь, что он пишет? — надо оставить его, а я не могу и не хочу сделать это. — Но ради бога, что же лучше? Оставить сына или продолжать это унизительное положение? — Для кого унизительное положение? — Для всех и больше всего для тебя. — Ты говоришь унизительное... не говори этого. Эти слова не имеют для меня смысла, — сказала она дронщщим голосом. Ей не хотелось теперь, чтобы он говорил неправду. Ей оставалась одна его любовь, и она хотела любить его. — Ты пойми, что для меня с того дня, как я полюбила тебя, все, все переменилось. Для меня одно и одно — это твоя любовь. Если она моя, то я чувствую себя так высоко, так твердо, что ничто не может для меня быть унизительным. Я горда своим положением, потому что... горда тем.., горда... — Она не договорила, чем 339

лучше не связывать себя, — и он знал, что эту мысль он не может передать ей.

Прочтя письмо, он поднял на нее глаза, и во взгляде его не было твердости. Она поняла тотчас же, что он уже сам с собой прежде думал об этом. Она знала, что, что бы он ни сказал ей, он скажет не все, что он думает. И она поняла, что последняя надежда ее была обманута. Это было не то, чего она ожидала.

— Ты видишь, что это за человек, — сказала она дрожащим голосом, — он...

— Прости меня, но я радуюсь этому, — перебил Вронский. — Ради бога, дай мне договорить, — прибавил он, умоляя ее взглядом дать ему время объяснить свои слова. — Я радуюсь, потому что это не может, никак не может оставаться так, как он предполагает.

— Почему же не может? — сдерживая слезы, проговорила Анна, очевидно уже не приписывая никакого значения тому, что он скажет. Она чувствовала, что судьба ее была решена.

Вронский хотел сказать, что после неизбежной, по его мнению, дуэли это не могло продолжаться, но сказал другое.

— Не может продолжаться. Я надеюсь, что теперь ты оставишь его. Я надеюсь, — он смутился и покраснел, — что ты позволишь мне устроить и обдумать нашу жизнь. Завтра... — начал было он.

Она не дала договорить ему.

— А сын? — вскрикнула она. — Ты видишь, что он пишет? — надо оставить его, а я не могу и не хочу сделать это.

— Но ради бога, что же лучше? Оставить сына или продолжать это унизительное положение?

— Для кого унизительное положение?

— Для всех и больше всего для тебя.

— Ты говоришь унизительное... не говори этого. Эти слова не имеют для меня смысла, — сказала она дрожащим голосом. Ей не хотелось теперь, чтобы он говорил неправду. Ей оставалась одна его любовь, и она хотела любить его. — Ты пойми, что для меня с того дня, как я полюбила тебя, все, все переменилось. Для меня одно и одно — это твоя любовь. Если она моя, то я чувствую

она была горда. Слезы стыда и отчаяния задушили ее голос. Она остановилась и зарыдала. Он почувствовал тоже, что что-то поднимается к его горлу, щиплет ему в носу, и. он в первый раз в жизни почувствовал себя готовым заплакать. Он не мог бы сказать, что именно так тронуло его; ему было жалко ее, и он чувствовал, что не может помочь ей, и вместе с тем знал, что он виною ее несчастья, что он сделал что-то нехорошее. — Разве невозможен развод? — сказал он слабо. Она, не отвечая, покачала головой. — Разве нельзя взять сына и все-таки оставить его? — Да; но это все от него зависит. Теперь я должна ехать к нему, — сказала она сухо. Ее предчувствие, что все останется по-старому, не обмануло ее. — Во вторник я буду в Петербурге, и все решится. — Да, — сказала она. — Но не будем больше говорить про это. Карета Анны, которую она отсылала и которой велела приехать к решетке сада Вреде, подъехала. Анна простилась с ним и уехала домой. XXIII В понедельник было обычное заседание комиссии 2-го июня. Алексей Александрович вошел в залу заседания, поздоровался с членами и председателем, как и обыкновенно, и сел на свое место, положив руку на приготовленные пред ним бумаги. В числе этих бумаг лежали и нужные ему справки и набросанный конспект того заявления, которое он намеревался сделать. Впрочем, ему и не нужны были справки. Он помнил все и не считал нужным повторять в своей памяти то, что он скажет. Он знал, что, когда наступит время и когда он увидит пред собой лицо противника, тщетно старающееся придать себе равнодушное выражение, речь его выльется сама собой лучше, чем он мог теперь приготовиться. Он чувствовал, что содержание его речи было так велико, что каждое слово будет иметь значение. Между тем, слушая обычный доклад, он имел самый невинный, безобидный вид. Никто не думал, глядя на его белые с напухшими жилами руки, так нежно длинными пальцами ощупывавшие оба края лежавшего пред ним листа белой бумаги, и на его с вы340

она была горда. Слезы стыда и отчаяния задушили ее голос. Она остановилась и зарыдала.

Он почувствовал тоже, что что-то поднимается к его горлу, щиплет ему в носу, и он в первый раз в жизни почувствовал себя готовым заплакать. Он не мог бы сказать, что именно так тронуло его; ему было жалко ее, и он чувствовал, что не может помочь ей, и вместе с тем знал, что он виною ее несчастья, что он сделал что-то нехорошее.

— Разве невозможен развод? — сказал он слабо. Она, не отвечая, покачала головой. — Разве нельзя взять сына и все-таки оставить его?

— Да; но это все от него зависит. Теперь я должна ехать к нему, — сказала она сухо. Ее предчувствие, что все останется по-старому, не обмануло ее.

— Во вторник я буду в Петербурге, и все решится.

— Да, — сказала она. — Но не будем больше говорить про это.

Карета Анны, которую она отсылала и которой велела приехать к решетке сада Вреде, подъехала. Анна простилась с ним и уехала домой.

XXIII

В понедельник было обычное заседание комиссии 2-го июня. Алексей Александрович вошел в залу заседания, поздоровался с членами и председателем, как и обыкновенно, и сел на свое место, положив руку на приготовленные пред ним бумаги. В числе этих бумаг лежали и нужные ему справки и набросанный конспект того заявления, которое он намеревался сделать. Впрочем, ему и не нужны были справки. Он помнил все и не считал нужным повторять в своей памяти то, что он скажет. Он знал, что, когда наступит время и когда он увидит пред собой лицо противника, тщетно старающееся придать себе равнодушное выражение, речь его выльется сама собой лучше, чем он мог теперь приготовиться. Он чувствовал, что содержание его речи было так велико, что каждое слово будет иметь значение. Между тем, слушая обычный доклад, он имел самый невинный, безобидный вид. Никто

ражением усталости набок склоненную голову, что сейчас из его уст выльются такие речи, которые произведут страшную бурю, заставят членов кричать, перебивая друг друга, и председателя требовать соблюдения порядка. Когда доклад кончился, Алексей Александрович своим тихим тонким голосом объявил, что он имеет сообш,ить некоторые свои соображения по делу об устройстве инородцев. Внимание обратилось на него. Алексей Александрович откашлялся и, не глядя на своего противника, но избрав, как он это всегда делал при произнесении своих речей, первое сидевшее пред ним лицо — маленького смирного старичка, не имевшего никогда никакого мнения в комиссии, начал излагать свои соображения. Когда дело дошло до коренного и органического закона, противник вскочил и начал возражать. Стремов, тоже член комиссии и тоже задетый за живое, стал оправдываться, — и вообще произошло бурное заседание; но Алексей Александрович восторжествовал, и его предложение было принято; были назначены три новые комиссии, и на другой день в известном петербургском кругу только и было речи, что об этом заседании. Успех Алексея Александровича был даже больше, чем он ожидал. На другое утро, во вторник, Алексей Александрович, проснувшись, с удовольствием вспомнил вчерашнюю победу и не мог не улыбнуться, хотя и желал казаться равнодушным, когда правитель канцелярии, желая польстить ему, сообщил о слухах, дошедших до него, о происшедшем в комиссии. Занимаясь с правителем канцелярии, Алексей Александрович совершенно забыл о том, что нынче был вторник, день, назначенный им для приезда Анны Аркадьевны, и был удивлен и неприятно поражен, когда человек пришел доложить ему о ее приезде. Анна приехала в Петербург рано утром; за ней была выслана карета по ее телеграмме, и потому Алексей Александрович мог знать о ее приезде. Но когда она приехала, он не встретил ее. Ей сказали, что он еще не выходил и занимается с правителем канцелярии. Она велела сказать мужу, что приехала, прошла в свой кабинет и занялась разбором своих вещей, ожидая, что он придет к ней. Но прошел час, он не приходил. Она вышла в столовую под предлогом распоряжения и нарочно громко говорила, ожидая, что он придет сюда; но он не вышел, хотя она слышала, что он выходил к дверям кабинета, провожая

ражением усталости набок склоненную голову, что сейчас из его уст выльются такие речи, которые произведут страшную бурю, заставят членов кричать, перебивая друг друга, и председателя требовать соблюдения порядка. Когда доклад кончился, Алексей Александрович своим тихим тонким голосом объявил, что он имеет сообщить некоторые свои соображения по делу об устройстве инородцев. Внимание обратилось на него. Алексей Александрович откашлялся и, не глядя на своего противника, но избрав, как он это всегда делал при произнесении своих речей, первое сидевшее пред ним лицо — маленького смирного старичка, не имевшего никогда никакого мнения в комиссии, начал излагать свои соображения. Когда дело дошло до коренного и органического закона, противник вскочил и начал возражать. Стремов, тоже член комиссии и тоже задетый за живое, стал оправдываться, — и вообще произошло бурное заседание; но Алексей Александрович восторжествовал, и его предложение было принято; были назначены три новые комиссии, и на другой день в известном петербургском кругу только и было речи, что об этом заседании. Успех Алексея Александровича был даже больше, чем он ожидал.

На другое утро, во вторник, Алексей Александрович, проснувшись, с удовольствием вспомнил вчерашнюю победу и не мог не улыбнуться, хотя и желал казаться равнодушным, когда правитель канцелярии, желая польстить ему, сообщил о слухах, дошедших до него, о происшедшем в комиссии.

Занимаясь с правителем канцелярии, Алексей Александрович совершенно забыл о том, что нынче был вторник, день, назначенный им для приезда Анны Аркадьевны, и был удивлен и неприятно поражен, когда человек пришел доложить ему о ее приезде.

Анна приехала в Петербург рано утром; за ней была выслана карета по ее телеграмме, и потому Алексей Александрович мог знать о ее приезде. Но когда она приехала, он не встретил ее. Ей сказали, что он еще не выходил и занимается с правителем канцелярии. Она велела сказать мужу, что приехала, прошла в свой кабинет и занялась разбором своих вещей, ожидая, что он придет к ней. Но прошел час, он не приходил. Она вышла в столовую под

правителя канцелярии. Она знала, что он, по обыкновению, скоро уедет по службе, и ей хотелось до этого видеть его, чтоб отношения их были определены. Она прошлась по зале и с решимостью направилась к нему. Когда она вошла в его кабинет, он в вицмундире, очевидно готовый к отъезду, сидел у маленького стола, на который облокотил руки, и уныло смотрел пред собой. Она увидала его прежде, чем он ее, и она поняла, что он думал о ней. Увидав ее, он хотел встать, раздумал, потом лицо его вспыхнуло, чего никогда прежде не видала Анна, и он быстро встал и пошел ей навстречу, глядя не в глаза ей, а выше, на ее лоб и прическу. Он подошел к ней, взял ее за руку и попросил сесть. — Я очень рад, что вы приехали, — сказал он, садясь подле нее, и, очевидно желая сказать что-то, он запнулся^ Несколько раз он хотел начать говорить, но останавливался. Несмотря на то, что, готовясь к этому свиданью, она учила себя презирать и обвинять его, она не знала, что сказать ему, и ей было жалко его. И так молчание продолжалось довольно долго. — Сережа здоров? — сказал он и, не дожидаясь ответа, прибавил: — Я не буду обедать дома нынче, и сейчас мне надо ехать. — Я хотела уехать в Москву, — сказала она. — Нет, вы очень, очень хорошо сделали, что приехали, — сказал он и опять умолк. Видя, что он не в силах сам начать говорить, она начала сама. — Алексей Александрович, — сказала она, взглядывая на него и не опуская глаз под его устремленным на ее прическу взором, — я преступная женщина, я дурная женщина, но я то же, что я была, что я сказала вам тогда, и приехала сказать вам, что я не могу ничего переменить. — Я вас не спрашивал об этом, — сказал он вдруг, решительно и с ненавистью глядя ей прямо в глаза, — я так и предполагал. — Под влиянием гнева он, видимо, овладел опять вполне всеми своими способностями. — Но, как я вам говорил тогда и писал, — заговорил он резким, тонким голосом, — я теперь повторяю, что я не обязан этого знать. Я игнорирую это. Не все жены так добры как вы, чтобы так спешить сообщать столь приятное известие муясьям. — Он особенно ударил на слове «приятное». — Я игнорирую это до тех пор, пока свет не знает этого, пока имя мое не опозорено, И поэтому я только 342

правителя канцелярии. Она знала, что он, по обыкновению, скоро уедет по службе, и ей хотелось до этого видеть его, чтоб отношения их были определены.

Она прошлась по зале и с решимостью направилась к нему. Когда она вошла в его кабинет, он в вицмундире, очевидно готовый к отъезду, сидел у маленького стола, на который облокотил руки, и уныло смотрел пред собой. Она увидала его прежде, чем он ее, и она поняла, что он думал о ней.

Увидав ее, он хотел встать, раздумал, потом лицо его вспыхнуло, чего никогда прежде не видала Анна, и он быстро встал и пошел ей навстречу, глядя не в глаза ей, а выше, на ее лоб и прическу. Он подошел к ней, взял ее за руку и попросил сесть.

— Я очень рад, что вы приехали, — сказал он, садясь подле нее, и, очевидно желая сказать что-то, он запнулся. Несколько раз он хотел начать говорить, но останавливался. Несмотря на то, что, готовясь к этому свиданью, она учила себя презирать и обвинять его, она не знала, что сказать ему, и ей было жалко его. И так молчание продолжалось довольно долго. — Сережа здоров? — сказал он и, не дожидаясь ответа, прибавил: — Я не буду обедать дома нынче, и сейчас мне надо ехать.

— Я хотела уехать в Москву, — сказала она.

— Нет, вы очень, очень хорошо сделали, что приехали, — сказал он и опять умолк.

Видя, что он не в силах сам начать говорить, она начала сама.

— Алексей Александрович, — сказала она, взглядывая на него и не опуская глаз под его устремленным на ее прическу взором, — я преступная женщина, я дурная женщина, но я то же, что я была, что я сказала вам тогда, и приехала сказать вам, что я не могу ничего переменить.

— Я вас не спрашивал об этом, — сказал он вдруг, решительно и с ненавистью глядя ей прямо в глаза, — я так и предполагал. — Под влиянием гнева он, видимо, овладел опять вполне всеми своими способностями. — Но, как я вам говорил тогда и писал, — заговорил он резким, тонким голосом, — я теперь повторяю, что я не обязан этого знать. Я игнорирую это. Не все жены так добры как вы, чтобы так спешить сообщать столь *приятное* из-

предупреждаю вас, что наши отношения должны быть такие, какие они всегда были, и что только в том случае, если вы компрометируете себя, я должен буду принять меры, чтоб оградить свою честь. — Но отношения наши не могут быть такими, как всегда, — робким голосом заговорила Анна, с испугом глядя на него. Когда она увидала опять эти спокойные жесты, услыхала этот пронзительный, детский и насмешливый голос, отвращ;ение к нему уничтожило в ней прежнюю жалость, и она только боялась, но во что бы то ни стало хотела уяснить свое положение. — Я не могу быть вашею женой, когда я... — начала было она. Он засмеялся злым и холодным смехом. — Должно быть, тот род жизни, который вы избрали, отразился на ваших понятиях. Я настолько уважаю или презираю и то и другое... я уважаю прошедшее ваше и презираю настояш,ее... что я был далек от той интерпретации, которую вы дали моим словам. Анна вздохнула и опустила голову. — Впрочем, не понимаю, как имея столько независимости, как вы, — продолжал он, разгорячаясь, — объявляя мун^у прямо о своей неверности и не находя в этом ничего предосудительного, как кажется, вы находите предосудительным исполнение в отношении к мужу обязанности жены? — Алексей Александрович! Что вам от меня нужно? — Мне нужно, чтоб я не встречал здесь этого человека и чтобы вы вели себя так, чтобы ни свет, ни прислуга пе могли обвинить вас... чтобы вы не видали его. Кажется, это не много. И за это вы будете пользоваться всеми правами честной жены, не исполняя ее обязанностей. Вот все, что я имею сказать вам. Теперь мне время ехать. Я пе обедаю дома. Он встал и направился к двери. Анна встала тоже. Он, молча поклонившись, пропустил ее. XXIV Ночь, проведенная Левиным па копне, пе прошла для него даром: то хозяйство, которое он вел, опротивело ему и потеряло для него всякий интерес. Несмотря на 343

предупреждаю вас, что наши отношения должны быть такие, какие они всегда были, и что только в том случае, если вы *компрометируете* себя, я должен буду принять меры, чтоб оградить свою честь.

— Но отношения наши не могут быть такими, как всегда, — робким голосом заговорила Анна, с испугом глядя на него.

Когда она увидала опять эти спокойные жесты, услыхала этот пронзительный, детский и насмешливый голос, отвращение к нему уничтожило в ней прежнюю жалость, и она только боялась, но во что бы то ни стало хотела уяснить свое положение.

— Я не могу быть вашею женой, когда я... — начала было она.

Он засмеялся злым и холодным смехом.

— Должно быть, тот род жизни, который вы избрали, отразился на ваших понятиях. Я настолько уважаю или презираю и то и другое... я уважаю прошедшее ваше и презираю настоящее... что я был далек от той интерпретации, которую вы дали моим словам.

Анна вздохнула и опустила голову.

— Впрочем, не понимаю, как имея столько независимости, как вы, — продолжал он, разгорячаясь, — объявляя мужу прямо о своей неверности и не находя в этом ничего предосудительного, как кажется, вы находите предосудительным исполнение в отношении к мужу обязанности жены?

— Алексей Александрович! Что вам от меня нужно?

— Мне нужно, чтоб я не встречал здесь этого человека и чтобы вы вели себя так, чтобы ни *свет*, ни *прислуга* не могли обвинить вас... чтобы вы не видали его. Кажется, это не много. И за это вы будете пользоваться всеми правами честной жены, не исполняя ее обязанностей. Вот все, что я имею сказать вам. Теперь мне время ехать. Я не обедаю дома.

Он встал и направился к двери. Анна встала тоже. Он, молча поклонившись, пропустил ее.

превосходный урожай, никогда не было или по крайней мере никогда ему не казалось, чтобы было столько неудач и столько враждебных отношений между им и мужиками, как нынешний год, и причина неудач и этой враждебности была теперь совершенно понятна ему. Прелесть, которую он испытывал в самой работе, происшедшее вследствие того сближение с мужиками, зависть, которую он испытывал к ним, к их жизни, желание перейти в эту жизнь, которое в эту ночь было для него уже не мечтою, но намерением, подробности исполнения которого он обдумывал, — все это так изменило его взгляд на хозяйство, что он не мог уже никак находить в нем прежнего интереса и не мог не видеть того неприятного отношения его к работникам, которое было основой всего дела. Стада улучшенных коров, таких же, как Пава, вся удобренная, плугами вспаханная земля, девять равных полей, обсая^енных лозинами, девяносто десятин глубоко запаханного навоза, рядовые сеялки и т. и. — все это было прекрасно, если б это делалось им самим или им с товариш,ами, людьми, сочувствующ;ими ему. Но он ясно видел теперь (работа его над книгой о сельском хозяйстве, в котором главным элементом хозяйства должен был быть работник, много помогла ему в этом), — он ясно видел теперь, что то хозяйство, которое он вел, была только жестокая и упорная борьба между им и работниками, в которой на одной стороне, на его стороне, было постоянное напряженное стремление переделать все на считаемый лучшим образец, на другой же стороне , — естественный порядок веш,ей. И в этой борьбе он видел, что, при величайшем напряжении сил с его стороны и безо всякого усилия и даже намерения с другой, достигалось только то, что хозяйство шло ни в чью и совершенно напрасно портились прекрасные орудия, прекрасная скотина и земля. Главное же — не только совершенно даром пропадала направленная на это дело энергия, но он не мог не чувствовать теперь, когда смысл его хозяйства обная^ился для него, что цель его энергии была самая недостойная. В сущности, в чем состояла борьба? Он стоял за каждый свой грош (и не мог не стоять, потому что стоило ему ослабить энергию, и ему бы недостало денег расплачиваться с рабочими), а они только стояли за то, чтобы работать спокойно и приятно, то есть так, как они привыкли. В его интересах было то, чтобы каждый работник сработал как 344

превосходный урожай, никогда не было или по крайней мере никогда ему не казалось, чтобы было столько неудач и столько враждебных отношений между им и мужиками, как нынешний год, и причина неудач и этой враждебности была теперь совершенно понятна ему. Прелесть, которую он испытывал в самой работе, происшедшее вследствие того сближение с мужиками, зависть, которую он испытывал к ним, к их жизни, желание перейти в эту жизнь, которое в эту ночь было для него уже не мечтою, но намерением, подробности исполнения которого он обдумывал, — все это так изменило его взгляд на хозяйство, что он не мог уже никак находить в нем прежнего интереса и не мог не видеть того неприятного отношения его к работникам, которое было основой всего дела. Стада улучшенных коров, таких же, как Пава, вся удобренная, плугами вспаханная земля, девять равных полей, обсаженных лозинами, девяносто десятин глубоко запаханного навоза, рядовые сеялки и т. п. — все это было прекрасно, если б это делалось им самим или им с товарищами, людьми, сочувствующими ему. Но он ясно видел теперь (работа его над книгой о сельском хозяйстве, в котором главным элементом хозяйства должен был быть работник, много помогла ему в этом), — он ясно видел теперь, что то хозяйство, которое он вел, была только жестокая и упорная борьба между им и работниками, в которой на одной стороне, на его стороне, было постоянное напряженное стремление переделать все на считаемый лучшим образец, на другой же стороне, — естественный порядок вещей. И в этой борьбе он видел, что, при величайшем напряжении сил с его стороны и безо всякого усилия и даже намерения с другой, достигалось только то, что хозяйство шло ни в чью и совершенно напрасно портились прекрасные орудия, прекрасная скотина и земля. Главное же — не только совершенно даром пропадала направленная на это дело энергия, но он не мог не чувствовать теперь, когда смысл его хозяйства обнажился для него, что цель его энергии была самая недостойная. В сущности, в чем состояла борьба? Он стоял за каждый свой грош (и не мог не стоять, потому что стоило ему ослабить энергию, и ему бы недостало денег расплачиваться с ра-

можно больше, притом чтобы не забывался, чтобы стараяся не сломать веялки, конных граблей, молотилки, чтоб он обдумывал то, что он делает; работнику же хотелось работать как можно приятнее, с отдыхом, и главное — беззаботно и забывшись, не размышляя. В нынешнее лето па каждом шагу Левин видел это. Он посылал скосить клевер на сено, выбрав плохие десятины, проросшие травой и полынью, негодные на семена, — ему скашивали подряд лучшие семенные десятины, оправдываясь тем, что так приказал приказчик, и утешали его тем, что сено будет отличное; но он знал, что это происходило оттого, что эти десятины было косить легче. Он посылал сеноворошилку трясти сено, — ее ломали на первых рядах, потому что скучно было мужику сидеть на козлах под махаіош;ими над ним крыльями. И ему говорили: «Не извольте беспокоиться, бабы живо растрясут». Плуги оказывались негодяш;имися, потому что работнику не приходило в голову опустить поднятый резец, и, ворочая силом, он мучал лошадей и портил землю; и его просили быть покойным. Лошадей запускали в пшеницу, потому что ни один работник не хотел быть ночным сторожем, и, несмотря на приказание этого не делать, работники чередовались стеречь ночное, и Ванька, проработав весь день, заснул и каялся в своем грехе, говоря: «Воля ваша». Трех лучших телок окормили, потому что без водопоя выпустили на клеверную отаву, и никак не хотели верить, что их раздуло клевером, а рассказывали в утешение, как у соседа сто двенадцать голов в три дня выпало. Все это делалось не потому, что кто-нибудь желал зла Левину или его хозяйству; напротив, он знал, что его любили, считали простым барином (что есть высшая похвала); но делалось это только потому, что хотелось весело и беззаботно работать, и интересы его были им не только чужды и непонятны, но фатально противоположны их самым справедливым интересам. Уже давно Левин чувствовал недовольство своим отношением к хозяйству. Он видел, что лодка его течет, но он не находил и не искал течи, может быть нарочно обманывая себя. Но теперь он не мог более себя обманывать. То хозяйство, которое он вел, стало ему по только не интересно, но отвратительно, и он не мог больше им заниматься. К этому епі;е присоединилось присутствие в тридцати верстах от него Кити Щербацкой, которую он хотел и не 345

можно больше, притом чтобы не забывался, чтобы старался не сломать веялки, конных граблей, молотилки, чтоб он обдумывал то, что он делает; работнику же хотелось работать как можно приятнее, с отдыхом, и главное — беззаботно и забывшись, не размышляя. В нынешнее лето на каждом шагу Левин видел это. Он посылал скосить клевер на сено, выбрав плохие десятины, проросшие травой и полынью, негодные на семена, — ему скашивали подряд лучшие семенные десятины, оправдываясь тем, что так приказал приказчик, и утешали его тем, что сено будет отличное; но он знал, что это происходило оттого, что эти десятины было косить легче. Он посылал сеноворошилку трясти сено, — ее ломали на первых рядах, потому что скучно было мужику сидеть на козлах под махающими над ним крыльями. И ему говорили: «Не извольте беспокоиться, бабы живо растрясут». Плуги оказывались негодящимися, потому что работнику не приходило в голову опустить поднятый резец, и, ворочая силом, он мучал лошадей и портил землю; и его просили быть покойным. Лошадей запускали в пшеницу, потому что ни один работник не хотел быть ночным сторожем, и, несмотря на приказание этого не делать, работники чередовались стеречь ночное, и Ванька, проработав весь день, заснул и каялся в своем грехе, говоря: «Воля ваша». Трех лучших телок окормили, потому что без водопоя выпустили на клеверную отаву, и никак не хотели верить, что их раздуло клевером, а рассказывали в утешение, как у соседа сто двенадцать голов в три дня выпало. Все это делалось не потому, что кто-нибудь желал зла Левину или его хозяйству; напротив, он знал, что его любили, считали простым барином (что есть высшая похвала); но делалось это только потому, что хотелось весело и беззаботно работать, и интересы его были им не только чужды и непонятны, но фатально противоположны их самым справедливым интересам. Уже давно Левин чувствовал недовольство своим отношением к хозяйству. Он видел, что лодка его течет, но он не находил и не искал течи, может быть нарочно обманывая себя. Но теперь он не мог более себя обманывать. То хозяйство, которое он вел, стало ему не только не интересно, но отвратительно, и он не мог

мог видеть. Дарья Александровна Облонская, когда он был у нее, звала его приехать: приехать с тем, чтобы возобновить предложение ее сестре, которая, как опа давала чувствовать, теперь примет его. Сам Левин, увидав Кити Щербацкую, понял, что он не переставал любить ее; но он не мог ехать к Облонским, зная, что опа там. То, что он сделал ей предложение и она отказала ему, клало между им и ею непреодолимую преграду. «Я не могу просить ее быть моею женой потому только, что она не может быть женою того, кого она хотела», — говорил он сам себе. Мысль об этом делала его холодным и враждебным к ней. «Я не в силах буду говорить с нею без чувства упрека, смотреть на нее без злобы, и она только еид,е больше возненавидит меня, как и должно быть. И потом, как я могу теперь, после того, что мне сказала Дарья Александровна, ехать к ним? Разве я могу не показать, что я знаю то, что она сказала мне? И я приеду с великодушием — простить, помиловать ее. Я пред нею в роли пронзающего и удостоивающего ее своей любви!.. Зачем мне Дарья Александровна сказала это? Случайно бы я мог увидать ее, и тогда все бы сделалось само собой, но теперь это невозможно, невозможно!» Дарья Александровна прислала ему записку, прося у него дамское седло для Кити. «Мне сказали, что у вас есть седло, — писала она ему. — Надеюсь, что вы привезете его сами». Этого уже он не мог переносить. Как умная, деликатная женщина могла так унижать сестру! Он написал десять записок и все разорвал и послал седло без всякого ответа. Написать, что он приедет, — нельзя, потому что он не может приехать; написать, что он не может приехать, потому что не может или уезжает, — это еще хуже. Он послал седло без ответа и с сознанием, что он сделал что-то стыдное, на другой день, передав все опостылевшее хозяйство приказчику, уехал в дальний уезд к приятелю своему Свияжскому, около которого были прекрасные дупелиные болота II который недавно писал ему, прося исполнить давнишнее намерение побывать у пего. Дупелиные болота в Суровском уезде давно соблазняли Левина, по он за хозяйственными делами все откладывал эту поездку. Теперь же он рад был уехать и от соседства Щербацких и, главное, от хозяйства, именно на охоту, которая во всех горестях служила ему лучшим утешением. 346

мог видеть. Дарья Александровна Облонская, когда он был у нее, звала его приехать: приехать с тем, чтобы возобновить предложение ее сестре, которая, как она давала чувствовать, теперь примет его. Сам Левин, увидав Кити Щербацкую, понял, что он не переставал любить ее; но он не мог ехать к Облонским, зная, что она там. То, что он сделал ей предложение и она отказала ему, клало между им и ею непреодолимую преграду. «Я не могу просить ее быть моею женой потому только, что она не может быть женою того, кого она хотела», — говорил он сам себе. Мысль об этом делала его холодным и враждебным к ней. «Я не в силах буду говорить с нею без чувства упрека, смотреть на нее без злобы, и она только еще больше возненавидит меня, как и должно быть. И потом, как я могу теперь, после того, что мне сказала Дарья Александровна, ехать к ним? Разве я могу не показать, что я знаю то, что она сказала мне? И я приеду с великодушием — простить, помиловать ее. Я пред нею в роли прощающего и удостоивающего ее своей любви!.. Зачем мне Дарья Александровна сказала это? Случайно бы я мог увидать ее, и тогда все бы сделалось само собой, но теперь это невозможно, невозможно!»

Дарья Александровна прислала ему записку, прося у него дамское седло для Кити. «Мне сказали, что у вас есть седло, — писала она ему. — Надеюсь, что вы привезете его сами».

Этого уже он не мог переносить. Как умная, деликатная женщина могла так унижать сестру! Он написал десять записок и все разорвал и послал седло без всякого ответа. Написать, что он приедет, — нельзя, потому что он не может приехать; написать, что он не может приехать, потому что не может или уезжает, — это еще хуже. Он послал седло без ответа и с сознанием, что он сделал что-то стыдное, на другой день, передав все опостылевшее хозяйство приказчику, уехал в дальний уезд к приятелю своему Свияжскому, около которого были прекрасные дупелиные болота и который недавно писал ему, прося исполнить давнишнее намерение побывать у него. Дупелиные болота в Суровском уезде давно соблазняли Левина, но он за хозяйственными делами все откладывал эту по-

XXV в СуроБСкий уезд не было ни железной, ни почтовой дороги, и Левин ехал на своих в тарантасе. На половине дороги он остановился кормить у богатого мужика. Лысый свежий старик, с широкою рыжею бородой, седою у щек, отворил ворота, прижавшись к верее, чтобы пропустить тройку. Указав кучеру место под навесом на большом, чистом и прибранном новом дворе с обгоревшими сохами, старик попросил Левина в горницу. Чисто одетая молодайка, в калошках на босу ногу, согнувшись, подтирала пол в новых сенях. Она испугалась вбежавшей за Левиным собаки и вскрикнула, но тотчас я{е засмеялась своему испугу, узнав, что собака не тронет. Показав Левину засученною рукой на дверь в горницу, она спрятала, опять согнувшись, свое красивое лицо и продолжала мыть. — Самовар, что ли? — спросила она. — Да, пожалуйста. Горница была большая, с голландскою печью и перегородкой. Под образами стоял раскрашенный узорами стол, лавка и два стула. У входа был шкафчик с посудой. Ставни были закрыты, мух было мало, и так чисто, что Левин позаботился о том, чтобы Ласка, бежавшая дорогой и купавшаяся в лужах, не натоптала пол, и указал ей место в углу у двери. Оглядев горницу, Левин вышел на заiдний двор. Благовидная молодайка в калошках, качая пустыми ведрами на коромысле, сбежала впереди его за водой к колодцу. — Живо у меня! — весело крикнул на нее старик и подошел к Левпну. — Что, сударь, к Николаю Ивановичу Свияжскому едете? Тоже к нам заезжают, — словоохотно начал он, облокачиваясь на перила крыльца. В середине рассказа старика об его знакомстве с Свияжским ворота опять заскрипели, и на двор въехали работники с поля с сохами и боронами. Запряженные в сохи и бороны лошади были сытые и крупные. Работники, очевидно, были семейные: двое были молодые, в ситцевых рубахах и картузах, другие двое были наемные, в посконных рубахах, — один старик, другой молодой малый. Отойдя от крыльца, старик подошел к лошадям и принялся распрягать. — Что это пахали? — спросил Левин, 347

XXV

В Суровский уезд не было ни железной, ни почтовой дороги, и Левин ехал на своих в тарантасе.

На половине дороги он остановился кормить у богатого мужика. Лысый свежий старик, с широкою рыжею бородой, седою у щек, отворил ворота, прижавшись к верее, чтобы пропустить тройку. Указав кучеру место под навесом на большом, чистом и прибранном новом дворе с обгоревшими сохами, старик попросил Левина в горницу. Чисто одетая молодайка, в калошках на босу ногу, согнувшись, подтирала пол в новых сенях. Она испугалась вбежавшей за Левиным собаки и вскрикнула, но тотчас же засмеялась своему испугу, узнав, что собака не тронет. Показав Левину засученною рукой на дверь в горницу, она спрятала, опять согнувшись, свое красивое лицо и продолжала мыть.

— Самовар, что ли? — спросила она.

— Да, пожалуйста.

Горница была большая, с голландскою печью и перегородкой. Под образами стоял раскрашенный узорами стол, лавка и два стула. У входа был шкафчик с посудой. Ставни были закрыты, мух было мало, и так чисто, что Левин позаботился о том, чтобы Ласка, бежавшая дорогой и купавшаяся в лужах, не натоптала пол, и указал ей место в углу у двери. Оглядев горницу, Левин вышел на задний двор. Благовидная молодайка в калошках, качая пустыми ведрами на коромысле, сбежала впереди его за водой к колодцу.

— Живо у меня! — весело крикнул на нее старик и подошел к Левину. — Что, сударь, к Николаю Ивановичу Свияжскому едете? Тоже к нам заезжают, — словоохотно начал он, облокачиваясь на перила крыльца.

В середине рассказа старика об его знакомстве с Свияжским ворота опять заскрипели, и на двор въехали работники с поля с сохами и боронами. Запряженные в сохи и бороны лошади были сытые и крупные. Работники, очевидно, были семейные: двое были молодые, в ситцевых рубахах и картузах, другие двое были наемные, в посконных рубахах, — один старик, другой молодой малый. Отой-

— Картошку пропахивали. Тоже землицу держим. Ты, Федот, мерина-то не пускай, а к колоде поставь, иную запрянчем. — Что, батюшка, сошники-то я приказывал взять, принес, что ли? — спросил большой ростом, здоровенный малый, очевидно сын старика. — Во... в санях, — отвечал старик, сматывая кругом снятые вожжи и бросая их наземь. — Наладь, поколе пообедают. Благовидная молодайка с полными, оттягивавшими ей плечи ведрами прошла в сени. Появились откуда-то еще бабы — молодые красивые, средние и старые некрасивые, с детьми и без детей. Самовар загудел в трубе; рабочие и семейные, убравшись с лошадьми, пошли обедать. Левин, достав из коляски свою провизию, пригласил с собою старика напиться чаю. — Да что, уже пили нынче, — сказал старик, очевидно с удовольствием принимая это предложение. — Нешто для компании. За чаем Левин узнал всю историю старикова хозяйства. Старик снял десять лет тому назад у помещицы сто двадцать десятин, а в прошлом году купил их и снимал еще триста у соседнего помещика. Малую часть земли, самую плохую, он раздавал внаймы, а десятин сорок в поле пахал сам своею семьей и двумя наемными рабочими. Старик жаловался, что дело шло плохо. Но Левин понимал, что он жаловался только из приличия, а что хозяйство его процветало. Если бы было плохо, он не купил бы по ста пяти рублей землю, не женил бы трех сыновей и племянника, не построился бы два раза после пожаров, и все лучше и лучше. Несмотря на жалобы старика, видно было, что он справедливо горд своим благосостоянием, горд своими сыновьями, племянником, невестками, лошадьми, коровами и в особенности тем, что держится все это хозяйство. Из разговора со стариком Левин узнал, что он был и не прочь от нововведений. Он сеял много картофелю, и картофель его, который Левин видел, подъезжая, уже отцветал и завязывался, тогда как у Левина только зацветал. Он пахал под картофель плугою, как он называл плуг, взятый у помещика. Он сеял пшеницу. Маленькая подробность о том, что, пропалывая рожь, старик прополонною рожью кормил лошадей, особенно поразила Левина. Сколько раз Левин, видя этот пропадающий 348

— Картошку пропахивали. Тоже землицу держим. Ты, Федот, мерина-то не пускай, а к колоде поставь, иную запряжем.

— Что, батюшка, сошники-то я приказывал взять, принес, что ли? — спросил большой ростом, здоровенный малый, очевидно сын старика.

— Во... в санях, — отвечал старик, сматывая кругом снятые вожжи и бросая их наземь. — Наладь, поколе пообедают.

Благовидная молодайка с полными, оттягивавшими ей плечи ведрами прошла в сени. Появились откуда-то еще бабы — молодые красивые, средние и старые некрасивые, с детьми и без детей.

Самовар загудел в трубе; рабочие и семейные, убравшись с лошадьми, пошли обедать. Левин, достав из коляски свою провизию, пригласил с собою старика напиться чаю.

— Да что, уже пили нынче, — сказал старик, очевидно с удовольствием принимая это предложение. — Нешто для компании.

За чаем Левин узнал всю историю старикова хозяйства. Старик снял десять лет тому назад у помещицы сто двадцать десятин, а в прошлом году купил их и снимал еще триста у соседнего помещика. Малую часть земли, самую плохую, он раздавал внаймы, а десятин сорок в поле пахал сам своею семьей и двумя наемными рабочими. Старик жаловался, что дело шло плохо. Но Левин понимал, что он жаловался только из приличия, а что хозяйство его процветало. Если бы было плохо, он не купил бы по ста пяти рублей землю, не женил бы трех сыновей и племянника, не построился бы два раза после пожаров, и все лучше и лучше. Несмотря на жалобы старика, видно было, что он справедливо горд своим благосостоянием, горд своими сыновьями, племянником, невестками, лошадьми, коровами и в особенности тем, что держится все это хозяйство. Из разговора со стариком Левин узнал, что он был и не прочь от нововведений. Он сеял много картофелю, и картофель его, который Левин видел, подъезжая, уже отцветал и завязывался, тогда как у Левина только зацветал. Он пахал под картофель плугою, как он называл плуг, взятый у помещика. Он сеял пшеницу. Ма-

прекрасный корм, хотел собирать его; но всегда это оказывалось невозможно. У мужика же это делалось, и он не мог нахвалиться этим кормом. — Чего же бабенкам делать? Вынесут кучки на дорогу, а телега подъедет. — А вот у нас, помещиков, все плохо идет с работниками, — сказал Левин, подавая ему стакан с чаем. — Благодарим, — отвечал старик, взял стакан, но отказался от сахара, указав на оставшийся обгрызенный им комок. — Где же с работниками вести дело? — сказал он. — Разор один. Вот хоть бы Свияжсков. Мы знаем, какая земля, мак, и тоже не больно хвалятся урожаем. Все недосмотр! — Да ведь вот ты же хозяйничаешь с работниками? — Наше дело мужицкое. Мы до всего сами. Плох — и вон; и своими управимся. — Батюшка, Финоген велел дегтю достать, — сказала вошедшая баба в калошках. — Так-то, сударь! — сказал старик, вставая, перекрестился продолжительно, поблагодарил Левина и вышел. Когда Левин вошел в черную избу, чтобы вызвать своего кучера, он увидал всю семью мужчин за столом. Бабы прислуживали стоя. Молодой здоровенный сын, с полным ртом каши, что-то рассказывал смешное, и все хохотали, и в особенности весело баба в калошках, подливавшая щи в чашку. Очень может быть, что благовидное лицо бабы в калошках много содействовало тому впечатлению благоустройства, которое произвел на Левина этот крестьянский дом, но впечатление это было так сильно, что Левин никак не мог отделаться от него. И всю дорогу от старика до Свияжского нет-нет и опять вспоминал об этом хозяйстве, как будто что-то в этом впечатлении требовало его особенного внимания. XXVI Свияжский был предводитель в своем уезде. Он был пятью годами старше Левина и давно женат. В доме его жила молодая его свояченица, очень симпатичная Левину девушка. И Левин знал, что Свияжский и его жена очень желали выдать за него эту девушку. Он знал это несомненно, как знают это всегда молодые люди, так называемые 349

прекрасный корм, хотел собирать его; но всегда это оказывалось невозможно. У мужика же это делалось, и он не мог нахвалиться этим кормом.

— Чего же бабенкам делать? Вынесут кучки на дорогу, а телега подъедет.

— А вот у нас, помещиков, все плохо идет с работниками, — сказал Левин, подавая ему стакан с чаем.

— Благодарим, — отвечал старик, взял стакан, но отказался от сахара, указав на оставшийся обгрызенный им комок. — Где же с работниками вести дело? — сказал он. — Разор один. Вот хоть бы Свияжсков. Мы знаем, какая земля, мак, и тоже не больно хвалятся урожаем. Все недосмотр!

— Да ведь вот ты же хозяйничаешь с работниками?

— Наше дело мужицкое. Мы до всего сами. Плох — и вон; и своими управимся.

— Батюшка, Финоген велел дегтю достать, — сказала вошедшая баба в калошках.

— Так-то, сударь! — сказал старик, вставая, перекрестился продолжительно, поблагодарил Левина и вышел.

Когда Левин вошел в черную избу, чтобы вызвать своего кучера, он увидал всю семью мужчин за столом. Бабы прислуживали стоя. Молодой здоровенный сын, с полным ртом каши, что-то рассказывал смешное, и все хохотали, и в особенности весело баба в калошках, подливавшая щи в чашку.

Очень может быть, что благовидное лицо бабы в калошках много содействовало тому впечатлению благоустройства, которое произвел на Левина этот крестьянский дом, но впечатление это было так сильно, что Левин никак не мог отделаться от него. И всю дорогу от старика до Свияжского нет-нет и опять вспоминал об этом хозяйстве, как будто что-то в этом впечатлении требовало его особенного внимания.

XXVI

Свияжский был предводитель в своем уезде. Он был пятью годами старше Левина и давно женат. В доме его жила молодая его свояченица, очень симпатичная Левину

женихи, хотя никогда никому не решился бы сказать этого, и знал тоже и то, что, несмотря на то, что он хотел жениться, несмотря на то, что по всем данным эта весьма привлекательная девушка должна была быть прекрасною женой, он так же мало мог жениться на ней, даже если б он и не был влюблен в Кити Щербацкую, как он не мог улететь на небо. И это знание отравляло ему то удовольствие, которое он надеялся иметь от поездки к Свияжскому. Получив письмо Свияжского с приглашением на охоту, Левин тотчас же подумал об этом, но, несмотря на это, решил, что такие виды на него Свияжского есть только его ни на чем не основанное предположение, и потому он все-таки поедет. Кроме того, в глубине души ему хотелось испытать себя, примериться опять к этой девушке. Домашняя л^е жизнь Свияжских была в высшей степени приятна, и сам Свияжский, самый лучший тип земского деятеля, какой только знал Левин, был для Левина всегда чрезвычайно интересен. Свияжский был один из тех, всегда удивительных для Левина людей, рассуждение которых, очень последовательное, хотя и никогда не самостоятельное, идет само по себе, а жизнь, чрезвычайно определенная и твердая в своем направлении, идет сама по себе, совершенно независимо и почти всегда вразрез рассуждениям. Свияжский был человек чрезвычайно либеральный. Он презирал дворянство и считал большинство дворян тайными, от робости только невыражавшимися, крепостниками. Он считал Россию погибшею страной, вроде Турции, и правительство России столь дурным, что никогда не позволял себе даже серьезно критиковать действия правительства, и вместе с тем служил и был образцовым дворянским предводителем и в дорогу всегда надевал с кокардой и с красным околышем фуражку. Он полагал, что жизііь человеческая возможна только за границей, куда он и уезжал жить при первой возможности, а вместе с тем вел в России очень сложное и усовершенствованное хозяйство и с чрезвычайным интересом следил за всем и знал все, что делалось в России. Он считал русского мужика стояниям по развитию на переходной ступени от обезьяны к человеку, а вместе с тем на земских выборах охотнее всех пожимал руку мужикам и выслушивал их мнения. Он не верил ни в чох, ни в смерть, но был очень озабочен вопросом улуч350

женихи, хотя никогда никому не решился бы сказать этого, и знал тоже и то, что, несмотря на то, что он хотел жениться, несмотря на то, что по всем данным эта весьма привлекательная девушка должна была быть прекрасною женой, он так же мало мог жениться на ней, даже если б он и не был влюблен в Кити Щербацкую, как он не мог улететь на небо. И это знание отравляло ему то удовольствие, которое он надеялся иметь от поездки к Свияжскому.

Получив письмо Свияжского с приглашением на охоту, Левин тотчас же подумал об этом, но, несмотря на это, решил, что такие виды на него Свияжского есть только его ни на чем не основанное предположение, и потому он все-таки поедет. Кроме того, в глубине души ему хотелось испытать себя, примериться опять к этой девушке. Домашняя же жизнь Свияжских была в высшей степени приятна, и сам Свияжский, самый лучший тип земского деятеля, какой только знал Левин, был для Левина всегда чрезвычайно интересен.

Свияжский был один из тех, всегда удивительных для Левина людей, рассуждение которых, очень последовательное, хотя и никогда не самостоятельное, идет само по себе, а жизнь, чрезвычайно определенная и твердая в своем направлении, идет сама по себе, совершенно независимо и почти всегда вразрез рассуждениям. Свияжский был человек чрезвычайно либеральный. Он презирал дворянство и считал большинство дворян тайными, от робости только невыражавшимися, крепостниками. Он считал Россию погибшею страной, вроде Турции, и правительство России столь дурным, что никогда не позволял себе даже серьезно критиковать действия правительства, и вместе с тем служил и был образцовым дворянским предводителем и в дорогу всегда надевал с кокардой и с красным околышем фуражку. Он полагал, что жизнь человеческая возможна только за границей, куда он и уезжал жить при первой возможности, а вместе с тем вел в России очень сложное и усовершенствованное хозяйство и с чрезвычайным интересом следил за всем и знал все, что делалось в России. Он считал русского мужика стоящим по развитию на переходной ступени от обезьяны к человеку, а

теиия быта духовенства и сокращения приходов, причем особенно хлопотал, чтобы церковь осталась в его селе. В женском вопросе он был на стороне крайних сторонников полной свободы женщин и в особенности их права па труд, но жил с женою так, что все любовались их дружною бездетною семейною жизнью, и устроил жизнь своей жены так, что она ничего не делала и не могла делать, кроме общей с мужем заботы, как получше и повеселее провести время. Если бы Левин не имел свойства объяснять себе людей с самой хорошей стороны, характер Свияжского не представлял бы для него никакого затруднения и вопроса; он бы сказал себе: дурак или дрянь, и все бы было ясно. Но он не мог сказать дурак, потому что Свияжский был несомненно не только очень умный, но очень образованный и необыкновенно просто носящий свое образование человек. Не было предмета, которого бы он не знал; но он показывал свое знание, только когда бывал вынуждаем к этому. Еще меньше мог Левин сказать, что он был дрянь, потому что Свияжский был несомненно честный, добрый, умный человек, который весело, оживленно, постоянно делал дело, высоко ценимое всеми его окружающими, и уже наверное никогда сознательно не делал и не мог сделать ничего дурного. Левин старался понять и не понимал и всегда, как на живую загадку, смотрел на него и на его жизнь. Они были дружны с Левиным, и поэтому Левин позволял себе допытывать Свияжского, добираться до самой основы его взгляда на жизнь; но всегда это было тщетно. Каждый раз, как Левин пытался проникнуть дальше открытых для всех дверей приемных комнат ума Свияжского, он замечал, что Свияжский слегка смущался; чуть заметный испуг выражался в его взгляде, как будто он боялся, что Левин поймет его, и он давал добродушный и веселый отпор. Теперь, после своего разочарования в хозяйстве, Левину особенно приятно было побывать у Свияжского. Не говоря о том, что на него просто весело действовал вид этих счастливых, довольных собою и всеми голубков, их благоустроенного гнезда, ему хотелось теперь, чувствуя себя столь недовольным своею жизнью, добраться в Свияжском до того секрета, который давал ему такую ясность, определенность и веселость в жизни. Кроме того, Левин знал, что он увидит у Свияжского помещиков351

шения быта духовенства и сокращения приходов, причем особенно хлопотал, чтобы церковь осталась в его селе.

В женском вопросе он был на стороне крайних сторонников полной свободы женщин и в особенности их права на труд, но жил с женою так, что все любовались их дружною бездетною семейною жизнью, и устроил жизнь своей жены так, что она ничего не делала и не могла делать, кроме общей с мужем заботы, как получше и повеселее провести время.

Если бы Левин не имел свойства объяснять себе людей с самой хорошей стороны, характер Свияжского не представлял бы для него никакого затруднения и вопроса; он бы сказал себе: дурак или дрянь, и все бы было ясно. Но он не мог сказать *дурак,* потому что Свияжский был несомненно не только очень умный, но очень образованный и необыкновенно просто носящий свое образование человек. Не было предмета, которого бы он не знал; но он показывал свое знание, только когда бывал вынуждаем к этому. Еще меньше мог Левин сказать, что он был дрянь, потому что Свияжский был несомненно честный, добрый, умный человек, который весело, оживленно, постоянно делал дело, высоко ценимое всеми его окружающими, и уже наверное никогда сознательно не делал и не мог сделать ничего дурного.

Левин старался понять и не понимал и всегда, как на живую загадку, смотрел на него и на его жизнь.

Они были дружны с Левиным, и поэтому Левин позволял себе допытывать Свияжского, добираться до самой основы его взгляда на жизнь; но всегда это было тщетно. Каждый раз, как Левин пытался проникнуть дальше открытых для всех дверей приемных комнат ума Свияжского, он замечал, что Свияжский слегка смущался; чуть заметный испуг выражался в его взгляде, как будто он боялся, что Левин поймет его, и он давал добродушный и веселый отпор.

Теперь, после своего разочарования в хозяйстве, Левину особенно приятно было побывать у Свияжского. Не говоря о том, что на него просто весело действовал вид этих счастливых, довольных собою и всеми голубков, их благоустроенного гнезда, ему хотелось теперь, чувствуя себя столь недовольным своею жизнью, добраться в Сви-

соседей, и ему теперь особенно интересно было поговорить, послушать о хозяйстве те самые разговоры об урожае, найме рабочих и т. п., которые, Левин знал, принято считать чем-то очень низким, но которые теперь для Левина казались одними важными. «Это, может быть, не важно было при крепостном праве или не важно в Англии. В обоих случаях самые условия определены; но у нас теперь, когда все это переворотилось и только укладывается, вопрос о том, как уложатся эти условия, есть только один важный вопрос в России», — думал Левин. Охота оказалась хуже, чем ожидал Левин. Болото высохло, и дупелей совсем не было. Он проходил целый день и принес только три штуки, но зато принес, как и всегда с охоты, отличный аппетит, отличное расположение духа и то возбужденное умственное состояние, которым всегда сопровождалось у него сильное физическое движение. И на охоте, в то время когда он, казалось, ни о чем не думал, нет-нет и опять ему вспоминался старик со своею семьей, и впечатление это как будто требовало к себе не только внимания, но и разрешения чего-то с ним связанного. Вечером, за чаем, в присутствии двух помещиков, приехавших по каким-то делам опеки, завязался тот самый интересный разговор, какого и ожидал Левин. Левин сидел подле хозяйки у чайного стола и должен был вести разговор с нею и свояченицей, сидевшею против него. Хозяйка была круглолицая, белокурая и невысокая женщина, вся сияющая ямочками и улыбками. Левин старался чрез нее выпытать решение той для него важной загадки, которую представлял ее муж; но он не имел полной свободы мыслей, потому что ему было мучительно неловко. Мучительно неловко ему было оттого, что против него сидела свояченица в особенном, для пего, ему казалось, надетом платье, с особенным в виде трапеции вырезом на белой груди; этот четвероугольный вырез, несмотря на то, что грудь была очень белая, или особенно потому, что она была очень белая, лишал Левина свободы мысли. Он воображал себе, вероятно, ошибочно, что вырез этот сделан на его счет, и считал себя не вправе смотреть на него и старался не смотреть на него; но чувствовал, что он виноват уж за одно то, что вырез сделан. Левину казалось, что он кого-то обманывает, что ему следует объяснить что-то, но что объяснить этого никак 352

соседей, и ему теперь особенно интересно было поговорить, послушать о хозяйстве те самые разговоры об урожае, найме рабочих и т. п., которые, Левин знал, принято считать чем-то очень низким, но которые теперь для Левина казались одними важными. «Это, может быть, не важно было при крепостном праве или не важно в Англии. В обоих случаях самые условия определены; но у нас теперь, когда все это переворотилось и только укладывается, вопрос о том, как уложатся эти условия, есть только один важный вопрос в России», — думал Левин.

Охота оказалась хуже, чем ожидал Левин. Болото высохло, и дупелей совсем не было. Он проходил целый день и принес только три штуки, но зато принес, как и всегда с охоты, отличный аппетит, отличное расположение духа и то возбужденное умственное состояние, которым всегда сопровождалось у него сильное физическое движение. И на охоте, в то время когда он, казалось, ни о чем не думал, нет-нет и опять ему вспоминался старик со своею семьей, и впечатление это как будто требовало к себе не только внимания, но и разрешения чего-то с ним связанного.

Вечером, за чаем, в присутствии двух помещиков, приехавших по каким-то делам опеки, завязался тот самый интересный разговор, какого и ожидал Левин.

Левин сидел подле хозяйки у чайного стола и должен был вести разговор с нею и свояченицей, сидевшею против него. Хозяйка была круглолицая, белокурая и невысокая женщина, вся сияющая ямочками и улыбками. Левин старался чрез нее выпытать решение той для него важной загадки, которую представлял ее муж; но он не имел полной свободы мыслей, потому что ему было мучительно неловко. Мучительно неловко ему было оттого, что против него сидела свояченица в особенном, для него, ему казалось, надетом платье, с особенным в виде трапеции вырезом на белой груди; этот четвероугольный вырез, несмотря на то, что грудь была очень белая, или особенно потому, что она была очень белая, лишал Левина свободы мысли. Он воображал себе, вероятно, ошибочно, что вырез этот сделан на его счет, и считал себя не вправе смотреть на него и старался не смотреть на него; но

нельзя, и потому он беспрестанно краснел, был беспокоен и неловок. Неловкость его сообщалась и хорошенькой свояченице. Но хозяйка, казалось, не замечала этого и нарочно втягивала ее в разговор. — Вы говорите, — продолжала хозяйка начатый разговор, — что мужа не может интересовать все русское. Напротив, он весел бывает за границей, но никогда так, как здесь. Здесь он чувствует себя в своей сфере. Ему столько дела, и он имеет дар всем интересоваться. Ах, вы не были в нашей школе? — * Я видел... Это плющом обвитый домик? — Да, это Настино дело, — сказала она, указывая на сестру. — Вы сами учите? — спросил Левин, стараясь смотреть мимо выреза, но чувствуя, что куда бы он ни смотрел в ту сторону, он будет видеть вырез. — Да, я сама учила и учу, но у нас прекрасная учительница. И гимнастику мы ввели. — Нет, я благодарю, я не хочу больше чаю, — сказал Левин и, чувствуя, что он делает неучтивость, но не в силах более продолжать этот разговор, краснея, встал. — Я слышу очень интересный разговор, — прибавил он и подошел к другому концу стола, у которого сидел хозяин с двумя помещиками. Свияжский сидел боком к столу, облокоченною рукой поворачивая чашку, другою собирая в кулак свою бороду и поднося ее к носу и опять выпуская, как бы нюхая. Он блестящими черными глазами смотрел прямо на горячившегося помещика с седыми усами и, видимо, находил забаву в его речах. Помещик жаловался на народ. Левину ясно было, что Свияжский знает такой ответ на жалобы помещика, который сразу уничтожит весь смысл его речи, но что по своему положению он не может сказать этого ответа и слушает не без удовольствия комическую речь помещика. Помещик с седыми усами был, очевидно, закоренелый крепостник и деревенский старожил, страстный сельский хозяин. Признаки эти Левин видел и в одежде — старомодном, потертом сюртуке, видимо непривычном помещику, и в его умных, нахмуренных глазах, и в складной русской речи, и в усвоенном, очевидно, долгим опытом повелительном тоне, и в решительных движениях больших, красивых, загорелых рук с одним старым обручальным кольцом на безыменке. 12 л. IT. Толстой, т. 8 353

нельзя, и потому он беспрестанно краснел, был беспокоен и неловок. Неловкость его сообщалась и хорошенькой свояченице. Но хозяйка, казалось, не замечала этого и нарочно втягивала ее в разговор.

— Вы говорите, — продолжала хозяйка начатый разговор, — что мужа не может интересовать все русское. Напротив, он весел бывает за границей, но никогда так, как здесь. Здесь он чувствует себя в своей сфере. Ему столько дела, и он имеет дар всем интересоваться. Ах, вы не были в нашей школе?

— Я видел... Это плющом обвитый домик?

— Да, это Настино дело, — сказала она, указывая на сестру.

— Вы сами учите? — спросил Левин, стараясь смотреть мимо выреза, но чувствуя, что куда бы он ни смотрел в ту сторону, он будет видеть вырез.

— Да, я сама учила и учу, но у нас прекрасная учительница. И гимнастику мы ввели.

— Нет, я благодарю, я не хочу больше чаю, — сказал Левин и, чувствуя, что он делает неучтивость, но не в силах более продолжать этот разговор, краснея, встал. — Я слышу очень интересный разговор,— прибавил он и подошел к другому концу стола, у которого сидел хозяин с двумя помещиками. Свияжский сидел боком к столу, облокоченною рукой поворачивая чашку, другою собирая в кулак свою бороду и поднося ее к носу и опять выпуская, как бы нюхая. Он блестящими черными глазами смотрел прямо на горячившегося помещика с седыми усами и, видимо, находил забаву в его речах. Помещик жаловался на народ. Левину ясно было, что Свияжский знает такой ответ на жалобы помещика, который сразу уничтожит весь смысл его речи, но что по своему положению он не может сказать этого ответа и слушает не без удовольствия комическую речь помещика.

Помещик с седыми усами был, очевидно, закоренелый крепостник и деревенский старожил, страстный сельский хозяин. Признаки эти Левин видел и в одежде — старомодном, потертом сюртуке, видимо непривычном помещику, и в его умных, нахмуренных глазах, и в складной русской речи, и в усвоенном, очевидно, долгим опытом повелительном тоне, и в решительных движениях, бол-

XXVII — Только если бы не жалко бросить, что заведено,. ^ трудов положено много... махнул бы на все рукой, продал бы, поехал, как Николай Иваныч... Елену слушать, — сказал помепі;ик с осветившею его умное старое лицо приятною улыбкой. — Да вот не бросаете же, — сказал Николай РІвано-» ВИЧ Свияжский, — стало быть, расчеты есть. — Расчет один, что дома живу, непокупное, ненанятое. Да еще все надеешься, что образумится народ. А то, верите ли, — это пьянство, распутство! Все переделились, ни лошаденки, ни коровенки. С голоду дохнет, а возьмите его в работники наймите — он вам норовит напортить, да еще к мировому судье. — Зато и вы пожалуетесь мировому судье, — сказал Свияжский. — Я пожалуюсь? Да ни за что в свете! Разговоры такие пойдут, что и не рад жалобе! Вон на заводе — взяли задатки, ушли. Что ж мировой судья? Оправдал, только и держится все волостным судом да старшиной. Этот отпорет его по-старинному. А не будь этого — бросай все! Беги на край света! Очевидно, помещик дразнил Свияжского, но Свияжский не только не сердился, но, видимо, забавлялся этим. — Да вот ведь ведем же мы свои хозяйства без этих мер, — сказал он, улыбаясь, — я, Левин, они. Он указал на другого помещика. — Да, у Михаила Петровича идет, а спросите-ка как? Это разве рациональное хозяйство? — сказал помещик, очевидно щеголяя словом «рациональное». — У меня хозяйство простое, — сказал Михаил Петрович. Благодарю бога. Мое хозяйство все, чтобы денежки к осенним податям были готовы. Приходят мужички; батюшка, отец, вызволь! Ну, свои всё соседя мужики, жалко. Ну, дашь на первую треть, только скажешь: помнить, ребята, я вам помог, и вы помогите, когда нужда — посев ли овсяный, уборка сена, жнитво, — ну и выговоришь, по скольку с тягла. Тоже есть бессовестные и из них, это правда. Леврш, зная давно эти патриархальные приемы, переглянулся с Свиячским и перебил Михаила Петровича, обращаясь опять к помещику с седыми усами.

XXVII

— Только если бы не жалко бросить, что заведено... трудов положено много... махнул бы на все рукой, продал бы, поехал, как Николай Иваныч... *Елену* слушать, — сказал помещик с осветившею его умное старое лицо приятною улыбкой.

— Да вот не бросаете же, — сказал Николай Иванович Свияжский, — стало быть, расчеты есть.

— Расчет один, что дома живу, непокупное, ненанятое. Да еще все надеешься, что образумится народ. А то, верите ли, — это пьянство, распутство! Все переделились, ни лошаденки, ни коровенки. С голоду дохнет, а возьмите его в работники наймите — он вам норовит напортить, да еще к мировому судье.

— Зато и вы пожалуетесь мировому судье, — сказал Свияжский.

— Я пожалуюсь? Да ни за что в свете! Разговоры такие пойдут, что и не рад жалобе! Вон на заводе — взяли задатки, ушли. Что ж мировой судья? Оправдал, только и держится все волостным судом да старшиной. Этот отпорет его по-старинному. А не будь этого — бросай все! Беги на край света!

Очевидно, помещик дразнил Свияжского, но Свияжский не только не сердился, но, видимо, забавлялся этим.

— Да вот ведь ведем же мы свои хозяйства без этих мер, — сказал он, улыбаясь, — я, Левин, они.

Он указал на другого помещика.

— Да, у Михаила Петровича идет, а спросите-ка как? Это разве рациональное хозяйство? — сказал помещик, очевидно щеголяя словом «рациональное».

— У меня хозяйство простое, — сказал Михаил Петрович. Благодарю бога. Мое хозяйство все, чтобы денежки к осенним податям были готовы. Приходят мужички: батюшка, отец, вызволь! Ну, свои всё соседи мужики, жалко. Ну, дашь на первую треть, только скажешь: помнить, ребята, я вам помог, и вы помогите, когда нужда — посев ли овсяный, уборка сена, жнитво, — ну и выговоришь, по скольку с тягла. Тоже есть бессовестные и из них, это правда.

— Так вы как же полагаете? — спросил он, — как же теперь надо вести хозяйство? — Да так же и вести, как Михаил Петрович: или отдать исполу, пли внаймы мужикам; это можно, но только этим самым уничтожается общее богатство государства. Где земля у меня при крепостном труде и хорошем хозяйстве приносила сам-девять, она исполу принесет сам-третей. Погубила Россию эмансипация! Свияжский поглядел улыбающимися глазами на Левина и даже сделал ему чуть заметный насмешливый знак; но Левин не находил слов помещика смешными, — он понимал их больше, чем он понимал Свияжского. Многое же из того, что дальше говорил помещик, доказывая, почему Россия погублена эмансипацией, показалось ему даже очень верным, для него новым и неопровержимым. Помещик, очевидно, говорил свою собственную мысль, что так редко бывает, и мысль, к которой он приведен был не желанием занять чем-нибудь праздный ум, а мысль, которая выросла из условий его жизни, которую он высидел в своем деревенском уединении и со всех сторон обдумал. — Дело, изволите видеть, в том, что всякий прогресс совершается только властью, — говорил он, очевидно желая показать, что он не чужд образованию. — Возьмите реформы Петра, Екатерины, Александра. Возьмите европейскую историю. Тем более прогресс в земледельческом быту. Хоть картофель — и тот вводился у пас силой. Ведь сохой тоже не всегда пахали. Тоже ввели ее, может быть, при уделах, по, наверно, ввели силою. Теперь, в наше время, мы, помещики, при крепостном праве вели свое хозяйство с усовершенствованиями; и сушилки, и веялки, и возка навоза, и все орудия — всё мы вводили своею властью, и мужики сначала противились, а потом подражали нам. Теперь-с, при уничтожении крепостного права, у нас отняли власть, и хозяйство наше, то, где оно поднято на высокий уровень, должно опуститься к самому дикому, первобытному состоянию. Так я понимаю. — Да почему же? Если оно рационально, то вы можете наймом вести его, — сказал Свияжский. — Власти нет-с. Кем я его буду вести? позвольте спросить. «Вот она — рабочая сила, главный элемент хозяйства», — подумал Левин. — Рабочими, 12* 355

— Так вы как же полагаете? — спросил он, — как же теперь надо вести хозяйство?

— Да так же и вести, как Михаил Петрович: или отдать исполу, или внаймы мужикам; это можно, но только этим самым уничтожается общее богатство государства. Где земля у меня при крепостном труде и хорошем хозяйстве приносила сам-девять, она исполу принесет сам-третей. Погубила Россию эмансипация!

Свияжский поглядел улыбающимися глазами на Левина и даже сделал ему чуть заметный насмешливый знак; но Левин не находил слов помещика смешными, — он понимал их больше, чем он понимал Свияжского. Многое же из того, что дальше говорил помещик, доказывая, почему Россия погублена эмансипацией, показалось ему даже очень верным, для него новым и неопровержимым. Помещик, очевидно, говорил свою собственную мысль, что так редко бывает, и мысль, к которой он приведен был не желанием занять чем-нибудь праздный ум, а мысль, которая выросла из условий его жизни, которую он высидел в своем деревенском уединении и со всех сторон обдумал.

— Дело, изволите видеть, в том, что всякий прогресс совершается только властью, — говорил он, очевидно желая показать, что он не чужд образованию. — Возьмите реформы Петра, Екатерины, Александра. Возьмите европейскую историю. Тем более прогресс в земледельческом быту. Хоть картофель — и тот вводился у нас силой. Ведь сохой тоже не всегда пахали. Тоже ввели ее, может быть, при уделах, но, наверно, ввели силою. Теперь, в наше время, мы, помещики, при крепостном праве вели свое хозяйство с усовершенствованиями; и сушилки, и веялки, и возка навоза, и все орудия — всё мы вводили своею властью, и мужики сначала противились, а потом подражали нам. Теперь-с, при уничтожении крепостного права, у нас отняли власть, и хозяйство наше, то, где оно поднято на высокий уровень, должно опуститься к самому дикому, первобытному состоянию. Так я понимаю.

— Да почему же? Если оно рационально, то вы можете наймом вести его, — сказал Свияжский.

— Власти нет-с. Кем я его буду вести? позвольте спросить.

— Рабочие не хотят работать хорошо и работать хорошими орудиями. Рабочий наш только одно знает — напиться, как свинья, пьяный и испортит все, что вы ему дадите. Лошадей опоит, сбрую хорошую оборвет, колесо шинованное сменит, пропьет, в молотилку шкворень пустит, чтобы ее сломать. Ему тошно видеть все, что не по его. От этого и спустился весь уровень хозяйства. Земли заброшены, заросли полынями или розданы мужикам, и где производили миллион, производят сотни тысяч четвертей; общее богатство уменьшилось. Если бы сделали то же, да с расчетом... И он начал развивать свой план освобождения, при котором были бы устранены эти неудобства. Левина не интересовало это, но, когда он кончил, Левин вернулся к первому его положению и сказал, обращаясь к Свияжскому и стараясь вызвать его на высказывание своего серьезного мнения: — То, что уровень хозяйства спускается и что при наших отношениях к рабочим нет возможности вести выгодно рациональное хозяйство, это совершенно справедливо, — сказал он. Я не нахожу, — уже серьезно возразил Свияжский, — я только вижу то, что мы не умеем вести хозяйство и что, напротив, то хозяйство, которое мы вели при крепостном праве, не то что слишком высоко, а слишком низко. У нас нет ни машин, ни рабочего скота хорошего, ни управления настоящего, ни считать мы не умеем. Спросите у хозяина, — он не знает, что ему выгодно, что невыгодно. — Итальянская бухгалтерия, — сказал иронически помещик. — Там как ни считай, как вам всё перепортят, барыша не будет. — Зачем же перепортят? Дрянную молотилку, российский топчачок ваш, сломают, а мою паровую не сломают. Лошаденку расейскую, как это? тасканской породы, что за хвост таскать, вам испортят, а заведете першеронов или хоть битюков, их не испортят. И так всё. Нам выше надо поднимать хозяйство. — Да было бы из чего, Николай Иваныч! Вам хорошо, а я сына в университете содержи, малых в гимназии воспитывай, — так мне першеронов не купить. — А на это банки. — Чтобы последнее с молотка продали? Нет, благодарю! i356

— Рабочие не хотят работать хорошо и работать хорошими орудиями. Рабочий наш только одно знает — напиться, как свинья, пьяный и испортит все, что вы ему дадите. Лошадей опоит, сбрую хорошую оборвет, колесо шинованное сменит, пропьет, в молотилку шкворень пустит, чтобы ее сломать. Ему тошно видеть все, что не по его. От этого и спустился весь уровень хозяйства. Земли заброшены, заросли полынями или розданы мужикам, и где производили миллион, производят сотни тысяч четвертей; общее богатство уменьшилось. Если бы сделали то же, да с расчетом...

И он начал развивать свой план освобождения, при котором были бы устранены эти неудобства.

Левина не интересовало это, но, когда он кончил, Левин вернулся к первому его положению и сказал, обращаясь к Свияжскому и стараясь вызвать его на высказывание своего серьезного мнения:

— То, что уровень хозяйства спускается и что при наших отношениях к рабочим нет возможности вести выгодно рациональное хозяйство, это совершенно справедливо, — сказал он.

— Я не нахожу, — уже серьезно возразил Свияжский, — я только вижу то, что мы не умеем вести хозяйство и что, напротив, то хозяйство, которое мы вели при крепостном праве, не то что слишком высоко, а слишком низко. У нас нет ни машин, ни рабочего скота хорошего, ни управления настоящего, ни считать мы не умеем. Спросите у хозяина, — он не знает, что ему выгодно, что невыгодно.

— Итальянская бухгалтерия, — сказал иронически помещик. — Там как ни считай, как вам всё перепортят, барыша не будет.

— Зачем же перепортят? Дрянную молотилку, российский топчачок ваш, сломают, а мою паровую не сломают. Лошаденку расейскую, как это? тасканской породы, что за хвост таскать, вам испортят, а заведете першеронов или хоть битюков, их не испортят. И так всё. Нам выше надо поднимать хозяйство.

— Да было бы из чего, Николай Иваныч! Вам хорошо, а я сына в университете содержи, малых в гимназии воспитывай, — так мне першеронов не купить.

— я ne согласен, что нужно и можно поднять еще выше уровень хозяйства, — сказал Левин. — Я занимаюсь этим, и у меня есть средства, а я ничего не мог сделать. Банки не знаю кому полезны. Я по крайней мере на что ни затрачивал деньги в хозяйстве, все с убытком: скотина — убыток, машины — убыток. — Вот это верно, — засмеявшись даже от удовольствия, подтвердил помегцик с седыми усами. — И я не один, — продолжал Левин, — я сошлюсь на всех хозяев, ведущих рационально дело; все, за редкими исключениями, ведут дело в убыток. Ну, вы скан^ите, что ваше хозяйство — выгодно? — сказал Левин, и тотчас же во взгляде Свияжского Левин заметил то мимолетное выражение испуга, которое он замечал, когда хотел проникнуть далее приемных комнат ума Свияжского. Кроме того, этот вопрос со стороны Левина был но совсем добросовестен. Хозяйка за чаем только что говорила ему, что они нынче летом приглашали из Москвы немца, знатока бухгалтерии, который за пятьсот рублей вознаграждения учел их хозяйство и нашел, что оно приносит убытка три тысячи с чем-то рублей. Она не помнила именно сколько, но, кажется, немец высчитал до четверти копейки. Помещик при упоминании о выгодах хозяйства Свияя^ского улыбнулся, очевидно, зная, какой мог быть барыш у соседа и предводителя. — Может быть, невыгодно, — отвечал Свияжский. — Это только доказывает, или что я плохой хозяин, или что я затрачиваю капитал на увеличение ренты. — Ах, рента! — с ужасом воскликнул Левин. — Может быть, есть рента в Европе, где земля стала лучше от положенного на нее труда, но у нас вся земля становится хуже от положенного труда, то есть что ее выпашут, — стало быть, нет ренты. — Как нет ренты? Это закон. — То мы вне закона: рента ничего для нас не объяснит, а, напротив, запутает. Нет, вы скажите, как учение о ренте может быть... — Хотите простокваши? Маша, пришли нам сюда простокваши или малины, — обратился он к жене. — Нынче замечательно поздно малина держится. И в самом приятном расположении духа Свияжский встал и отошел, видимо предполагая, что разговор окончен 357,

— Я не согласен, что нужно и можно поднять еще выше уровень хозяйства, — сказал Левин. — Я занимаюсь этим, и у меня есть средства, а я ничего не мог сделать. Банки не знаю кому полезны. Я по крайней мере на что ни затрачивал деньги в хозяйстве, все с убытком: скотина — убыток, машины — убыток.

— Вот это верно, — засмеявшись даже от удовольствия, подтвердил помещик с седыми усами.

— И я не один, — продолжал Левин, — я сошлюсь на всех хозяев, ведущих рационально дело; все, за редкими исключениями, ведут дело в убыток. Ну, вы скажите, что ваше хозяйство — выгодно? — сказал Левин, и тотчас же во взгляде Свияжского Левин заметил то мимолетное выражение испуга, которое он замечал, когда хотел проникнуть далее приемных комнат ума Свияжского.

Кроме того, этот вопрос со стороны Левина был не совсем добросовестен. Хозяйка за чаем только что говорила ему, что они нынче летом приглашали из Москвы немца, знатока бухгалтерии, который за пятьсот рублей вознаграждения учел их хозяйство и нашел, что оно приносит убытка три тысячи с чем-то рублей. Она не помнила именно сколько, но, кажется, немец высчитал до четверти копейки.

Помещик при упоминании о выгодах хозяйства Свияжского улыбнулся, очевидно, зная, какой мог быть барыш у соседа и предводителя.

— Может быть, невыгодно, — отвечал Свияжский. — Это только доказывает, или что я плохой хозяин, или что я затрачиваю капитал на увеличение ренты.

— Ах, рента! — с ужасом воскликнул Левин. — Может быть, есть рента в Европе, где земля стала лучше от положенного на нее труда, но у нас вся земля становится хуже от положенного труда, то есть что ее выпашут, — стало быть, нет ренты.

— Как нет ренты? Это закон.

— То мы вне закона: рента ничего для нас не объяснит, а, напротив, запутает. Нет, вы скажите, как учение о ренте может быть...

— Хотите простокваши? Маша, пришли нам сюда простокваши или малины, — обратился он к жене. — Нынче

па том самом месте, где Левину казалось, что он только начинается. Лишившись собеседника, Левин продолжал разговор с помещиком, стараясь доказать ему, что все затруднение происходит оттого, что мы не хотим знать свойств, привычек нашего рабочего; но помещик был, как и все люди, самобытно и уединенно думающие, туг к пониманию чужой мысли и особенно пристрастен к своей. Он настаивал на том, что русский мужик есть свинья и любит свинство и, чтобы вывести его из свинства, нужна власть, а ее нет, нужна палка, а мы стали так либеральны, что заменили тысячелетнюю палку вдруг какими-то адвокатами и заключениями, при которых негодных, вонючих мужиков кормят хорошим супом и высчитывают им кубические футы воздуха. — Отчего вы думаете, — говорил Левин, стараясь вернуться к вопросу, — что нельзя найти такого отношения к рабочей силе, при которой работа была бы производительна? — Никогда этого с русским народом без палки не будет! Власти нет, — отвечал помещик. — Какие же новые условия могут быть найдены? — сказал Свияжский, поев простокваши, закурив папиросу и опять подойдя к спорящим. — Все возможные отношения к рабочей силе определены и изучены, — сказал он. — Остаток варварства — первобытная община с круговою порукой сама собой распадается, крепостное право уничтожено, остается свободный труд, и формы его определены и готовы, и надо брать их. Батрак, поденный, фермер — и из этого вы не выйдете. — Но Европа недовольна этими формами. — Недовольна и ищет новых. И найдет, вероятно. — Я про то только и говорю, — отвечал Левин. — Почему же нам не искать с своей стороны? — Потому что это все равно, что придумывать вновь приемы для постройки железных дорог. Они готовы, придуманы. — Но если они нам не приходятся, если они глупы? — сказал Левин. И опять он заметил выражение испуга в глазах Свияжского. — Да, это: мы шапками закидаем, мы нашли то, чего ищет Европа! Все это я знаю, но, извините меня, вы 358

на том самом месте, где Левину казалось, что он только начинается.

Лишившись собеседника, Левин продолжал разговор с помещиком, стараясь доказать ему, что все затруднение происходит оттого, что мы не хотим знать свойств, привычек нашего рабочего; но помещик был, как и все люди, самобытно и уединенно думающие, туг к пониманию чужой мысли и особенно пристрастен к своей. Он настаивал на том, что русский мужик есть свинья и любит свинство и, чтобы вывести его из свинства, нужна власть, а ее нет, нужна палка, а мы стали так либеральны, что заменили тысячелетнюю палку вдруг какими-то адвокатами и заключениями, при которых негодных, вонючих мужиков кормят хорошим супом и высчитывают им кубические футы воздуха.

— Отчего вы думаете, — говорил Левин, стараясь вернуться к вопросу, — что нельзя найти такого отношения к рабочей силе, при которой работа была бы производительна?

— Никогда этого с русским народом без палки не будет! Власти нет, — отвечал помещик.

— Какие же новые условия могут быть найдены? — сказал Свияжский, поев простокваши, закурив папиросу и опять подойдя к спорящим. — Все возможные отношения к рабочей силе определены и изучены, — сказал он. — Остаток варварства — первобытная община с круговою порукой сама собой распадается, крепостное право уничтожено, остается свободный труд, и формы его определены и готовы, и надо брать их. Батрак, поденный, фермер — и из этого вы не выйдете.

— Но Европа недовольна этими формами.

— Недовольна и ищет новых. И найдет, вероятно.

— Я про то только и говорю, — отвечал Левин. — Почему же нам не искать с своей стороны?

— Потому что это все равно, что придумывать вновь приемы для постройки железных дорог. Они готовы, придуманы.

— Но если они нам не приходятся, если они глупы? — сказал Левин.

И опять он заметил выражение испуга в глазах Свия-

знаете ли все, что сделано в Европе по вопросу об устройстве рабочих? — Нет, плохо. — Этот вопрос занимает теперь лучшие умы в Европе. Шульце-Деличевское направление... Потом вся эта громадная литература рабочего вопроса, самого либерального лассалевского направления... Мильгаузенскоѳ устройство — это уже факт, вы, верно, знаете. — Я имею понятие, но очень смутное. — Нет, вы только говорите; вы, верно, знаете все это не хуже меня. Я, разумеется, не социальный профессор, но меня это интересовало, и, право, если вас интересует, вы займитесь. — Но к чему же они пришли? — Виноват... Помещики встали, и Свияжский, опять остановив Левина в его неприятной привычке заглядывать в то, что сзади приемных комнат его ума, пошел провожать своих гостей. XXVII I Левину невыносимо скучно было в этот вечер с дамами: его, как никогда прежде, волновала мысль о том, что то недовольство хозяйством, которое он теперь испытывал, есть не исключительное его положение, а общее условие, в котором находится дело в России, что устройство какого-нибудь такого отношения рабочих, где бы они работали, как у мужика па половине дороги, есть не мечта, а задача, которую необходимо решить. И ему казалось, что задачу эту можно решить и должно попытаться это сделать. Простившись с дамами и обещав пробыть завтра еще целый день, с тем чтобы вместе ехать верхом осматривать интересный провал в казенном лесу, Левин перед сном зашел в кабинет хозяина, чтобы взять книги о рабочем вопросе, которые Свияжский предложил ему. Кабинет Свияжского была огромная комната, обставленная шкафами с книгами и с двумя столами — одним массивным письменным, стоявшим посередине комнаты, и другим круглым, уложенным звездою вокруг лампы, на разных языках последними нумерами газет и журналов. У письменного стола была стойка с подразделенными зо-: лотыми ярлыками ящиками различного рода дел. 359

знаете ли все, что сделано в Европе по вопросу об устройстве рабочих?

— Нет, плохо.

— Этот вопрос занимает теперь лучшие умы в Европе. Шульце-Деличевское направление... Потом вся эта громадная литература рабочего вопроса, самого либерального лассалевского направления... Мильгаузенское устройство — это уже факт, вы, верно, знаете.

— Я имею понятие, но очень смутное.

— Нет, вы только говорите; вы, верно, знаете все это не хуже меня. Я, разумеется, не социальный профессор, но меня это интересовало, и, право, если вас интересует, вы займитесь.

— Но к чему же они пришли?

— Виноват...

Помещики встали, и Свияжский, опять остановив Левина в его неприятной привычке заглядывать в то, что сзади приемных комнат его ума, пошел провожать своих гостей.

XXVIII

Левину невыносимо скучно было в этот вечер с дамами: его, как никогда прежде, волновала мысль о том, что то недовольство хозяйством, которое он теперь испытывал, есть не исключительное его положение, а общее условие, в котором находится дело в России, что устройство какого-нибудь такого отношения рабочих, где бы они работали, как у мужика на половине дороги, есть не мечта, а задача, которую необходимо решить. И ему казалось, что задачу эту можно решить и должно попытаться это сделать.

Простившись с дамами и обещав пробыть завтра еще целый день, с тем чтобы вместе ехать верхом осматривать интересный провал в казенном лесу, Левин перед сном зашел в кабинет хозяина, чтобы взять книги о рабочем вопросе, которые Свияжский предложил ему. Кабинет Свияжского была огромная комната, обставленная шкафами с книгами и с двумя столами — одним массивным письменным, стоявшим посередине комнаты, и другим круглым, уложенным звездою вокруг лампы, на раз-

Свияжский достал книги и сел в качаюгцееся кресло. — Что это вы смотрите? — сказал он Левину, который, остановившись у круглого стола, переглядывал журналы. — Ах да, тут очень интересная статья, — сказал Свияжский про журнал, который Левин держал в руках. — Оказывается, — прибавил он с веселым оживлением, — что главным виновником раздела Польши был совсем не Фридрих. Оказывается... И он с свойственною ему ясностью рассказал вкратце эти новые, очень важные и интересные открытия. Несмотря на то, что Левина занимала теперь больше всего мысль о хозяйстве, он, слушая хозяина, спрашивал себя: «Что там в нем сидит? И почему, почему ему интересен раздел Польши?» Когда Свияжский кончил, Левин невольно спросил: «Ну так что же?» Но ничего не было. Было только интересно то, что «оказывалось». Но Свияжский не объяснил и не нашел нужным объяснять, почему это было ему интересно. — Да, но меня очень заинтересовал сердитый помещик, — вздохнув, сказал Левин. — Он умен и много правды говорил. — Ах, подите! Закоренелый тайный крепостник, как они все! — сказал Свияжский. — Коих вы предводитель... — Да, только я их предводительствую в другую сторону, — смеясь, сказал Свияжский. — Меня очень занимает вот что, — сказал Левин. — Он прав, что дело наше, то есть рационального хозяйства, нейдет, что идет только хозяйство ростовщическое, как у этого тихонького, или самое простое. Кто в этом виноват? — Разумеется, мы сами. Да и потом, неправда, что оно нейдет. У Васильчикова идет. — Завод... — Но я все-таки не знаю, что вас удивляет. Народ стоит на такой низкой степени и материального и нравственного развития, что, очевидно, он должен противодействовать всему, что ему чуждо. В Европе рациональное хозяйство идет потому, что народ образован; стало быть, у нас надо образовать народ, — вот и все. — Но как же образовать народ? — Чтобы образовать народ, нужны три вещи: школы, школы и школы.

Свияжский достал книги и сел в качающееся кресло.

— Что это вы смотрите? — сказал он Левину, который, остановившись у круглого стола, переглядывал журналы.

— Ах да, тут очень интересная статья, — сказал Свияжский про журнал, который Левин держал в руках. — Оказывается, — прибавил он с веселым оживлением, — что главным виновником раздела Польши был совсем не Фридрих. Оказывается...

И он с свойственною ему ясностью рассказал вкратце эти новые, очень важные и интересные открытия. Несмотря на то, что Левина занимала теперь больше всего мысль о хозяйстве, он, слушая хозяина, спрашивал себя: «Что там в нем сидит? И почему, почему ему интересен раздел Польши?» Когда Свияжский кончил, Левин невольно спросил: «Ну так что же?» Но ничего не было. Было только интересно то, что «оказывалось». Но Свияжский не объяснил и не нашел нужным объяснять, почему это было ему интересно.

— Да, но меня очень заинтересовал сердитый помещик, — вздохнув, сказал Левин. — Он умен и много правды говорил.

— Ах, подите! Закоренелый тайный крепостник, как они все! — сказал Свияжский.

— Коих вы предводитель...

— Да, только я их предводительствую в другую сторону, — смеясь, сказал Свияжский.

— Меня очень занимает вот что, — сказал Левин. — Он прав, что дело наше, то есть рационального хозяйства, нейдет, что идет только хозяйство ростовщическое, как у этого тихонького, или самое простое. Кто в этом виноват?

— Разумеется, мы сами. Да и потом, неправда, что оно нейдет. У Васильчикова идет.

— Завод...

— Но я все-таки не знаю, что вас удивляет. Народ стоит на такой низкой степени и материального и нравственного развития, что, очевидно, он должен противодействовать всему, что ему чуждо. В Европе рациональное хозяйство идет потому, что народ образован; стало быть, у нас надо образовать народ, — вот и все.

— Но вы сами сказали, что народ стоит на низкой степени материального развития. Чем же тут помогут школы? — Знаете, вы напоминаете мне анекдот о советах больному: «Вы бы попробовали слабительное». — «Давали: хуже». — «Попробуйте пиявки». — «Пробовали: хуже».— «Ну, так уж только молитесь богу». «Пробовали: хуже». Так и мы с вами. Я говорю: политическая экономия, вы говорите — хуже. Я говорю: социализм — хуже. Образование — хуже. — Да чем же помогут школы? — Дадут ему другие потребности. — Вот этого я никогда не понимал, — с горячностью возразил Левин. — Каким образом школы помогут народу улучшить свое материальное состояние? Вы говорите, школы, образование дадут ему новые потребности. Тем хуже, потому что он не в силах будет удовлетворить им. А каким образом знание сложения и вычитания и катехизиса поможет ему улучшить свое материальное состояние, я никогда не мог понять. Я третьего дня вечером встретил бабу с грудным ребенком и спросил, куда она идет. Она говорит: «К бабке ходила, на мальчика крикса напала, так носила лечить». Я спросил, как бабка лечит криксу. «Ребеночка к курам на насесть сажает и приговаривает что-то». — Ну вот, вы сами говорите I Чтоб она не носила лечить криксу на насесть, для этого нужно... — весело улыбаясь, сказал Свияжский. — Ах нет! — с досадой сказал Левин, — это лечение для меня только подобие лечения народа школами. Народ беден и необразован — это мы видим так же верно, как баба видит криксу, потому что ребенок кричит. Но почему от этой беды — бедности и необразования — помогут школы, так же непонятно, как непонятно, почему от криксы помогут куры на насести. Надо помочь тому, от чего он беден. — Ну, в этом вы по крайней мере сходитесь со Спенсером, которого вы так любите; он говорит тоже, что образование может быть следствием большего благосостояния и удобствіА жизни, частых омовений, как он говорит, а не умения читать и считать... — Ну вот, я очень рад или, напротив, очень не рад, что сошелся со Спенсером; только это я давно знаю. Школы не помогут, а поможет такое экономическое 361

— Но вы сами сказали, что народ стоит на низкой степени материального развития. Чем же тут помогут школы?

— Знаете, вы напоминаете мне анекдот о советах больному: «Вы бы попробовали слабительное». — «Давали: хуже». — «Попробуйте пиявки». — «Пробовали: хуже». — «Ну, так уж только молитесь богу». «Пробовали: хуже». Так и мы с вами. Я говорю: политическая экономия, вы говорите — хуже. Я говорю: социализм — хуже. Образование — хуже.

— Да чем же помогут школы?

— Дадут ему другие потребности.

— Вот этого я никогда не понимал, — с горячностью возразил Левин. — Каким образом школы помогут народу улучшить свое материальное состояние? Вы говорите, школы, образование дадут ему новые потребности. Тем хуже, потому что он не в силах будет удовлетворить им. А каким образом знание сложения и вычитания и катехизиса поможет ему улучшить свое материальное состояние, я никогда не мог понять. Я третьего дня вечером встретил бабу с грудным ребенком и спросил, куда она идет. Она говорит: «К бабке ходила, на мальчика крикса напала, так носила лечить». Я спросил, как бабка лечит криксу. «Ребеночка к курам на насесть сажает и приговаривает что-то».

— Ну вот, вы сами говорите! Чтоб она не носила лечить криксу на насесть, для этого нужно... — весело улыбаясь, сказал Свияжский.

— Ах нет! — с досадой сказал Левин, — это лечение для меня только подобие лечения народа школами. Народ беден и необразован — это мы видим так же верно, как баба видит криксу, потому что ребенок кричит. Но почему от этой беды — бедности и необразования — помогут школы, так же непонятно, как непонятно, почему от криксы помогут куры на насести. Надо помочь тому, от чего он беден.

— Ну, в этом вы по крайней мере сходитесь со Спенсером, которого вы так любите; он говорит тоже, что образование может быть следствием большего благосостояния и удобства жизни, частых омовений, как он говорит, а не умения читать и считать...

устройство, при котором народ будет богаче, будет больше досуга, — и тогда будут и школы. — Однако во всей Европе теперь школы обязательны. — А как же вы сами, согласны в этом со Спенсером? — спросил Левин. Но в глазах Свияжского мелькнуло выражение испуга, и он, улыбаясь, сказал: — Нет, эта крикса превосходна! Неужели вы сами слышали? Левин видел, что так и не найдет он связи жизни этого человека с его мыслями. Очевидно, ему совершенно было все равно, к чему приведет его рассуясдение; ему нужен был только процесс рассуждения. И ему неприятно было, когда процесс рассуждения заводил его в тупой переулок. Этого только он не любил и избегал, переводя разговор на что-нибудь приятно-веселое. Все впечатления этого дня, начиная с мужика па половине дороги, которое служило как бы основным базисом всех нынешних впечатлений и мыслей, сильно взволновали Левина. Этот милый Свияжский, держащий при себе мысли только для общественного употребления и, очевидно, имеющий другие какие-то, тайные для Левина, основы жизни, и вместе с тем он с толпой, имя которой легион, руководящий общественным мнением чуждыми ему мыслями; этот озлобленный помещик, совершенно правый в своих рассуждениях, вымученных жизнью, по неправый своим озлоблением к целому классу, и самому лучшему классу России; собственное недовольство своею деятельностью и смутная надежда найти поправку всему этому — все это сливалось в чувство внутренней тревоги и ожидания близкого разрешения. Оставшись в отведенной комнате, лежа на пружинном тюфяке, подкидывавшем неожиданно при каждом движении его руки и ноги, Левин долго не спал. Ни один разговор со Свияжским, хотя и много умного было сказано им, не интересовал Левина; по доводы помещика требовали обсулщения. Левин невольно вспомнил все его слова и поправлял в своем воображении то, что он отвечал ему. «Да, я должен был сказать ему: вы говорите, что хозяйство наше нейдет потому, что мужик ненавидит все усовершенствования и что их надо вводить властью; но если бы хозяйство совсем не шло без этих усовершенствований, вы бы были правы; но оно идет, и идет только там, где рабочий действует сообразно с своими привычками, 362

устройство, при котором народ будет богаче, будет больше досуга, — и тогда будут и школы.

— Однако во всей Европе теперь школы обязательны.

— А как же вы сами, согласны в этом со Спенсером? — спросил Левин.

Но в глазах Свияжского мелькнуло выражение испуга, и он, улыбаясь, сказал:

— Нет, эта крикса превосходна! Неужели вы сами слышали?

Левин видел, что так и не найдет он связи жизни этого человека с его мыслями. Очевидно, ему совершенно было все равно, к чему приведет его рассуждение; ему нужен был только процесс рассуждения. И ему неприятно было, когда процесс рассуждения заводил его в тупой переулок. Этого только он не любил и избегал, переводя разговор на что-нибудь приятно-веселое.

Все впечатления этого дня, начиная с мужика на половине дороги, которое служило как бы основным базисом всех нынешних впечатлений и мыслей, сильно взволновали Левина. Этот милый Свияжский, держащий при себе мысли только для общественного употребления и, очевидно, имеющий другие какие-то, тайные для Левина, основы жизни, и вместе с тем он с толпой, имя которой легион, руководящий общественным мнением чуждыми ему мыслями; этот озлобленный помещик, совершенно правый в своих рассуждениях, вымученных жизнью, но неправый своим озлоблением к целому классу, и самому лучшему классу России; собственное недовольство своею деятельностью и смутная надежда найти поправку всему этому — все это сливалось в чувство внутренней тревоги и ожидания близкого разрешения.

Оставшись в отведенной комнате, лежа на пружинном тюфяке, подкидывавшем неожиданно при каждом движении его руки и ноги, Левин долго не спал. Ни один разговор со Свияжским, хотя и много умного было сказано им, не интересовал Левина; но доводы помещика требовали обсуждения. Левин невольно вспомнил все его слова и поправлял в своем воображении то, что он отвечал ему.

«Да, я должен был сказать ему: вы говорите, что хозяйство наше нейдет потому, что мужик ненавидит все усовершенствования и что их надо вводить властью; но

как у старика иа половине дороги. Ваше и наше общее недовольство хозяйством доказывает, что виноваты мы или рабочие. Мы давно уже ломим по-своему, по европейски, не спрашиваясь о свойствах рабочей силы. Попробуем признать рабочую силу не идеальною рабочею силой, а русским мужиком с его инстинктами и будем устраивать сообразно с этим хозяйство. Представьте себе, — ■ должен бы я был сказать ему, — что у вас хозяйство ведется, как у старика, что вы нашли средство заинтересовывать рабочих в успехе работы и нашли ту же середину в усовершенствованиях, которую они признают, — и вы, не истощая почвы, получите вдвое, втрое против прежнего. Разделите пополам, отдайте половину рабочей силе; та разность, которая вам останется, будет больше, и рабочей силе достанется больше. А чтобы сделать это, надо спустить уровень хозяйства и заинтересовать рабочих в успехе хозяйства. Как это сделать — это вопрос подробностей, но несомненно, что это возможно». Мысль эта привела Левина в сильное волнение. Он не спал половину ночи, обдумывая подробности для приведения мысли в исполнение. Он не собирался уезжать па другой день, но теперь решил, что уедет рано утром домой. Кроме того, эта свояченица с вырезом в платье производила в нем чувство, подобное стыду и раскаянию в совершенном дурном поступке. Главное же, ему нуяспо было ехать не откладывая: надо успеть предложить мужикам новый проект, прежде чем посеять озимое, с тем что^ бы сеять его уже на новых основаниях. Он решил перевернуть все прежнее хозяйство, XXIX Исполнение плана Левина представляло много трудностей; но он бился, сколько было сил, и достиг хотя и по того, чего он желал, но того, что он мог, не обманывая себя, верить, что дело это стоит работы. Одна из главных трудностей была та, что хозяйство уже шло, что нельзя было остановить все и начать все сначала, а надо было па ходу перелаживать машину. Когда он, в тот же вечер, как приехал домой, сообщил приказчику свои планы, приказчик с видимым удовольствием согласился с тою частью речи, которая показывала, что все делаемое до сих пор было вздор и невыгодно. 363

как у старика на половине дороги. Ваше и наше общее недовольство хозяйством доказывает, что виноваты мы или рабочие. Мы давно уже ломим по-своему, по европейски, не спрашиваясь о свойствах рабочей силы. Попробуем признать рабочую силу не идеальною рабочею *силой, а русским мужиком* с его инстинктами и будем устраивать сообразно с этим хозяйство. Представьте себе, — должен бы я был сказать ему, — что у вас хозяйство ведется, как у старика, что вы нашли средство заинтересовывать рабочих в успехе работы и нашли ту же середину в усовершенствованиях, которую они признают, — и вы, не истощая почвы, получите вдвое, втрое против прежнего. Разделите пополам, отдайте половину рабочей силе; та разность, которая вам останется, будет больше, и рабочей силе достанется больше. А чтобы сделать это, надо спустить уровень хозяйства и заинтересовать рабочих в успехе хозяйства. Как это сделать — это вопрос подробностей, но несомненно, что это возможно».

Мысль эта привела Левина в сильное волнение. Он не спал половину ночи, обдумывая подробности для приведения мысли в исполнение. Он не собирался уезжать на другой день, но теперь решил, что уедет рано утром домой. Кроме того, эта свояченица с вырезом в платье производила в нем чувство, подобное стыду и раскаянию в совершенном дурном поступке. Главное же, ему нужно было ехать не откладывая: надо успеть предложить мужикам новый проект, прежде чем посеять озимое, с тем чтобы сеять его уже на новых основаниях. Он решил перевернуть все прежнее хозяйство.

XXIX

Исполнение плана Левина представляло много трудностей; но он бился, сколько было сил, и достиг хотя и не того, чего он желал, но того, что он мог, не обманывая себя, верить, что дело это стоит работы. Одна из главных трудностей была та, что хозяйство уже шло, что нельзя было остановить все и начать все сначала, а надо было на ходу перелаживать машину.

Когда он, в тот же вечер, как приехал домой, сообщил приказчику свои планы, приказчик с видимым удо-

Приказчик сказал, что он давно говорил это, но что его не хотели слушать. Что же касалось до предложения, сделанного Левиным, — принять участие, как паіщику, вместе с работниками во всем хозяйственном предприятии, — то приказчик на это выразил только большое уныние и никакого определенного мнения, а тотчас заговорил о необходимости назавтра свести остальные снопы ржи и послать двоить, так что Левин почувствовал, что теперь не до этого. Заговаривая с мужиками о том и делая им предложения на новых условиях земель, он тоже сталкивался с тем главным затруднением, что они были так заняты текущей работой дня, что им некогда было обдумывать выгоды и невыгоды предприятия. Наивный мужик Иваи-скотник, казалось, понял вполне предложение Левина — принять с семьей участие в выгодах скотного двора — и вполне сочувствовал этому предприятию. Но когда Левин внушал ему будущие выгоды, на лице Ивана выражалась тревога и сожаление, что он не может всего дослушать, и он поспешно находил себе какое-нибудь не терпящее отлагательства дело: или брался за вилы докидывать сено из денника, или наливать воду, или подчищать навоз. Другая трудность состояла в непобедимом недоверии крестьян к тому, чтобы цель помещика могла состоять в чем-нибудь другом, чем в желании обобрать их сколько можно. Они были твердо уверены, что настоящая цель его (что бы он ни сказал им) будет всегда в том, чего он не скажет им. И сами они, высказываясь, говорили многое, но никогда не говорили того, в чем состояла их настоящая цель. Кроме того (Левин чувствовал, что желчный помещик был прав), крестьяне первым и неизменным условием какого бы то ни было соглашения ставили то, чтобы они не были принуждаемы к каким бы то ни было новым приемам хозяйства и к употреблению новых орудий. Они соглашались, что плуг пашет лучше, что скоропашка работает успешнее, но они находили тысячи причин, почему нельзя было им употреблять ни то, ни другое, и хотя он и убежден был, что надо спустить уровень хозяйства, ему жалко было отказаться от усовершенствований, выгода которых была так очевидна. Но, несмотря на все эти трудности, он добился своего, и к осени дело пошло, или по крайней мере ему так казалось. 364

Приказчик сказал, что он давно говорил это, но что его не хотели слушать. Что же касалось до предложения, сделанного Левиным, — принять участие, как пайщику, вместе с работниками во всем хозяйственном предприятии, — то приказчик на это выразил только большое уныние и никакого определенного мнения, а тотчас заговорил о необходимости назавтра свести остальные снопы ржи и послать двоить, так что Левин почувствовал, что теперь не до этого.

Заговаривая с мужиками о том и делая им предложения на новых условиях земель, он тоже сталкивался с тем главным затруднением, что они были так заняты текущей работой дня, что им некогда было обдумывать выгоды и невыгоды предприятия.

Наивный мужик Иван-скотник, казалось, понял вполне предложение Левина — принять с семьей участие в выгодах скотного двора — и вполне сочувствовал этому предприятию. Но когда Левин внушал ему будущие выгоды, на лице Ивана выражалась тревога и сожаление, что он не может всего дослушать, и он поспешно находил себе какое-нибудь не терпящее отлагательства дело: или брался за вилы докидывать сено из денника, или наливать воду, или подчищать навоз.

Другая трудность состояла в непобедимом недоверии крестьян к тому, чтобы цель помещика могла состоять в чем-нибудь другом, чем в желании обобрать их сколько можно. Они были твердо уверены, что настоящая цель его (что бы он ни сказал им) будет всегда в том, чего он не скажет им. И сами они, высказываясь, говорили многое, но никогда не говорили того, в чем состояла их настоящая цель. Кроме того (Левин чувствовал, что желчный помещик был прав), крестьяне первым и неизменным условием какого бы то ни было соглашения ставили то, чтобы они не были принуждаемы к каким бы то ни было новым приемам хозяйства и к употреблению новых орудий. Они соглашались, что плуг пашет лучше, что скоропашка работает успешнее, но они находили тысячи причин, почему нельзя было им употреблять ни то, ни другое, и хотя он и убежден был, что надо спустить уровень хозяйства, ему жалко было отказаться от усовершенствований, выгода которых была так очевидна. Но, несмотря на все эти трудности, он добился своего и

Сначала Левин думал сдать все хозяйство, как оно было, мужикам, работникам и приказчику на новых товарищеских условиях, но очень скоро убедился, что это невозможно, решился подразделить хозяйство. Скотный двор, сад, огород, покосы, поля, разделенные на несколько отделов, должны были составить отдельные статьи. Наивный Иван-скотник, лучше всех, казалось Левину, понявший дело, подобрав себе артель, преимущественно из своей семьи, стал участником скотного двора. Дальнее поле, лежавшее восемь лет в залежах под пусками, было взято с помощью умного плотника Федора Резунова шестью семьями мужиков на новых общественных основаниях, и мужик Шураев снял на тех же условиях все огороды. Остальное еще было по-старому, но эти три статьи были началом нового устройства и вполне занимали Левина. Правда, что на скотном дворе дело шло до сих пор не лучше, чем прежде, и Иван сильно противодействовал теплому помещению коров и сливочному маслу, утверждая, что корове на холоду потребуется меньше корму и что сметанное масло спорее, и требовал жалованья, как II в старину, и нисколько не интересовался тем, что деньги, получаемые им, были не жалованье, а выдача вперед доли барыша. Правда, что компания Федора Резунова не передвоила под посев плугами, как было уговорено, оправдываясь тем, что время коротко. Правда, мужики этой компании хотя и условились вести это дело на новых основаниях, называли эту землю не общею, а испольною, и не раз и мужики этой артели и сам Резунов говорили Левину: «Получили бы денежки за землю, и вам покойнее и нам бы развяза». Кроме того, мужики эти всё откладывали под разными предлогами условленную с ними постройку на этой земле скотного двора и риги и оттянули до зимы. Правда, Шураев снятые им огороды хотел было раздать по мелочам мужикам. Он, очевидно, совершенно превратно и, казалось, умышленно превратно понял условия, на которых ему была сдана земля. Правда, часто, разговаривая с мужиками и разъясняя им все выгоды предприятия, Левин чувствовал, что мужики слушают при этом только пение его голоса и знают твердо, что, что бы он ни говорил, они не дадутся ему в обман. В особенности чувствовал он это, когда говорил

Сначала Левин думал сдать все хозяйство, как оно было, мужикам, работникам и приказчику на новых товарищеских условиях, но очень скоро убедился, что это невозможно, решился подразделить хозяйство. Скотный двор, сад, огород, покосы, поля, разделенные на несколько отделов, должны были составить отдельные статьи. Наивный Иван-скотник, лучше всех, казалось Левину, понявший дело, подобрав себе артель, преимущественно из своей семьи, стал участником скотного двора. Дальнее поле, лежавшее восемь лет в залежах под пусками, было взято с помощью умного плотника Федора Резунова шестью семьями мужиков на новых общественных основаниях, и мужик Шураев снял на тех же условиях все огороды. Остальное еще было по-старому, но эти три статьи были началом нового устройства и вполне занимали Левина.

Правда, что на скотном дворе дело шло до сих пор не лучше, чем прежде, и Иван сильно противодействовал теплому помещению коров и сливочному маслу, утверждая, что корове на холоду потребуется меньше корму и что сметанное масло спорее, и требовал жалованья, как и в старину, и нисколько не интересовался тем, что деньги, получаемые им, были не жалованье, а выдача вперед доли барыша.

Правда, что компания Федора Резунова не передвоила под посев плугами, как было уговорено, оправдываясь тем, что время коротко. Правда, мужики этой компании хотя и условились вести это дело на новых основаниях, называли эту землю не общею, а испольною, и не раз и мужики этой артели и сам Резунов говорили Левину: «Получили бы денежки за землю, и вам покойнее и нам бы развяза». Кроме того, мужики эти всё откладывали под разными предлогами условленную с ними постройку на этой земле скотного двора и риги и оттянули до зимы.

Правда, Шураев снятые им огороды хотел было раздать по мелочам мужикам. Он, очевидно, совершенно превратно и, казалось, умышленно превратно понял условия, на которых ему была сдана земля.

Правда, часто, разговаривая с мужиками и разъясняя им все выгоды предприятия, Левин чувствовал, что му-

с самым умным из мужиков, Резуновым, и замечая ту игру в глазах Резунова, которая ясно показывала н насмешку над Левиным, и твердую уверенность, что если будет кто обманут, то уж никак не он, Резунов. Но, несмотря на все это, Левин думал, что дело шло и что, строго ведя счеты и настаивая на своем, он докажет им в будугцем выгоды такого устройства и что тогда дело пойдет само собой. Дела эти вместе с остальным хозяйством, оставшимся па его руках, вместе с работой кабинетною над своею книгой так занимали все лето Левина, что он почти и не ездил на охоту. Он узнал в концу августа о том, что Облонские уехали в Москву, от их человека, привезшего назад седло. Он чувствовал, что, не ответив па письмо Дарьи Александровны, своею невежливостью, о которой он без краски стыда не мог вспоминать, он сжег свои корабли и никогда уж не поедет к ним. Точно так же он поступил и со Свияжским, уехав не простившись. Но он к ним тоже никогда не поедет. Теперь это ему было все равно. Дело нового устройства своего хозяйства занимало его так, как еш;е ничто никогда в жизни. Он перечитал книги, данные ему Свияжским, и, выписав то, чего у него не было, перечитал и политикоэкономические и социалистические книги по этому предмету и, как он ожидал, ничего не нашел такого, что относилось бы до предпринятого им дела. В политикоэкономических книгах, в Милле например, которого он изучал первого с большим жаром, надеясь всякую минуту найти разрешение занимавших его вопросов, он нашел выведенные из положения европейского хозяйства законы; но он никак не видел, почему эти законы, не приложимые к России, должны быть обпі;ие. То же самое он видел и в социалистических книгах: или это были прекрасные фантазии, но пеприложимые, которыми он увлекался, епі;е бывши студентом, — или поправки, починки того положения дела, в которое поставлена была Европа и с которым земледельческое дело в России не имело ничего общего. Политическая экономия говорила, что законы, по которым развилось и развивается богатство Европы, суть законы всеобщие и несомненные. Социалистическое учение говорило, что развитие по этим законам ведет к погибели. И ни то, ни другое не давало не только ответа, но ни малейшего намека на то, что ему, Левину, и всем русским мужикам и землевладельцам делать с сво366

с самым умным из мужиков, Резуновым, и замечал ту игру в глазах Резунова, которая ясно показывала и насмешку над Левиным, и твердую уверенность, что если будет кто обманут, то уж никак не он, Резунов.

Но, несмотря на все это, Левин думал, что дело шло и что, строго ведя счеты и настаивая на своем, он докажет им в будущем выгоды такого устройства и что тогда дело пойдет само собой.

Дела эти вместе с остальным хозяйством, оставшимся на его руках, вместе с работой кабинетною над своею книгой так занимали все лето Левина, что он почти и не ездил на охоту. Он узнал в концу августа о том, что Облонские уехали в Москву, от их человека, привезшего назад седло. Он чувствовал, что, не ответив на письмо Дарьи Александровны, своею невежливостью, о которой он без краски стыда не мог вспоминать, он сжег свои корабли и никогда уж не поедет к ним. Точно так же он поступил и со Свияжским, уехав не простившись. Но он к ним тоже никогда не поедет. Теперь это ему было все равно. Дело нового устройства своего хозяйства занимало его так, как еще ничто никогда в жизни. Он перечитал книги, данные ему Свияжским, и, выписав то, чего у него не было, перечитал и политико-экономические и социалистические книги по этому предмету и, как он ожидал, ничего не нашел такого, что относилось бы до предпринятого им дела. В политико-экономических книгах, в Милле например, которого он изучал первого с большим жаром, надеясь всякую минуту найти разрешение занимавших его вопросов, он нашел выведенные из положения европейского хозяйства законы; но он никак не видел, почему эти законы, не приложимые к России, должны быть общие. То же самое он видел и в социалистических книгах: или это были прекрасные фантазии, но неприложимые, которыми он увлекался, еще бывши студентом, — или поправки, починки того положения дела, в которое поставлена была Европа и с которым земледельческое дело в России не имело ничего общего. Политическая экономия говорила, что законы, по которым развилось и развивается богатство Европы, суть законы всеобщие и несомненные. Социалистическое учение говорило, что развитие по этим законам

ими миллионами рук и десятин, чтоб они были наиболее производительны для общего благосостояния. Уже раз взявшись за это дело, он добросовестно перечитывал все, что относилось к его предмету, и намеревался осенью ехать за границу, чтоб изучить еще это дело на месте, с тем чтобы с ним уже не случалось более по этому вопросу того, что так часто случалось с ним по различным вопросам. Только начнет он, бывало, понимать мысль собеседника и излагать свою, как вдруг ому говорят: «А Кауфман, а Джонс, а Дюбуа, а Мичели? Вы не читали их. Прочтите; они разработали этот вопрос». Он видел теперь ясно, что Кауфман и Мичели ничего не имеют сказать ему. Он знал, чего он хотел. Он видел, что Россия имеет прекрасные земли, прекрасных рабочих и что в некоторых случаях, как у мужика на половине дороги, рабочие и земля производят много, в большинстве же случаев, когда по-европейски прикладывается капитал, производят мало, и что происходит это только оттого, что рабочие хотят работать и работают хорошо одним им свойственным образом, и что это противодействие не случайное, а постоянное, имеющее основания в духе народа. Он думал, что русский народ, имеющий призвание заселять и обрабатывать огромные незанятые пространства сознательно, до тех пор, пока все земли не заняты, держался нужных для этого приемов и что эти приемы совсем не так дурны, как это обыкновенно думают. И он хотел доказать это теоретически в книге и на практике в своем хозяйстве. XXX В конце сентября был свезен лес для постройки двора на отданной артели земле и было продано масло от коров и разделен барыш. В хозяйстве на практике дело шло отлично, или по крайней мере так казалось Левипу.[Для того же, чтобы теоретически разъяснить все дело и окончить сочинение, которое, сообразно мечтаниям Левина, должно было не только произвести переворот в политической экономии, но совершенно уничтожить эту науку и положить начало новой науке — об отношениях народа к земле, нужно было только съездить за границу и изучить па месте все, что там было сделано в этом на367

ими миллионами рук и десятин, чтоб они были наиболее производительны для общего благосостояния.

Уже раз взявшись за это дело, он добросовестно перечитывал все, что относилось к его предмету, и намеревался осенью ехать за границу, чтоб изучить еще это дело на месте, с тем чтобы с ним уже не случалось более по этому вопросу того, что так часто случалось с ним по различным вопросам. Только начнет он, бывало, понимать мысль собеседника и излагать свою, как вдруг ему говорят: «А Кауфман, а Джонс, а Дюбуа, а Мичели? Вы не читали их. Прочтите; они разработали этот вопрос».

Он видел теперь ясно, что Кауфман и Мичели ничего не имеют сказать ему. Он знал, чего он хотел. Он видел, что Россия имеет прекрасные земли, прекрасных рабочих и что в некоторых случаях, как у мужика на половине дороги, рабочие и земля производят много, в большинстве же случаев, когда по-европейски прикладывается капитал, производят мало, и что происходит это только оттого, что рабочие хотят работать и работают хорошо одним им свойственным образом, и что это противодействие не случайное, а постоянное, имеющее основания в духе народа. Он думал, что русский народ, имеющий призвание заселять и обрабатывать огромные незанятые пространства сознательно, до тех пор, пока все земли не заняты, держался нужных для этого приемов и что эти приемы совсем не так дурны, как это обыкновенно думают. И он хотел доказать это теоретически в книге и на практике в своем хозяйстве.

XXX

В конце сентября был свезен лес для постройки двора на отданной артели земле и было продано масло от коров и разделен барыш. В хозяйстве на практике дело шло отлично, или по крайней мере так казалось Левину. Для того же, чтобы теоретически разъяснить все дело и окончить сочинение, которое, сообразно мечтаниям Левина, должно было не только произвести переворот в политической экономии, но совершенно уничтожить эту на-

правлении, и найти убедительные доказательства, что все то, что там сделано, — не то, что нужно. Левин ждал только поставки пшеницы, чтобы получить деньги и ехать за границу. Но начались дожди, не дававшие убрать оставшиеся в поле хлеба и картофель, и остановили все работы и даже поставку пшеницы. По дорогам была непролазная грязь; две мельницы снесло паводком, и погода все становилась хуже и хуже. 30 сентября показалось с утра солнце, и, надеясь на погоду, Левин стал решительно готовиться к отъезду. Он велел насыпать пшеницу, послал к купцу приказчика, чтобы взять деньги, и сам поехал по хозяйству, чтобы сделать последние распоряжения перед отъездом. Переделав, однако, все дела, мокрый от ручьев, которые по кожану заливались ему то за шею, то за голениш,а, но в самом бодром и возбужденном состоянии духа, Левин возвратился к вечеру домой. Непогода к вечеру разошлась еп^е хуже, крупа так больно стегала всю вымокшую, трясущую ушами и головой лошадь, что она шла боком; но Левину под башлыком было хорошо, и он весело поглядывал вокруг себя то на мутные ручьи, бежавшие по колеям, то на нависшие на каждом оголенном сучке капли, то на белизну пятна нерастаявшей крупы на досках моста, то на сочный, еще мясистый лист вяза, который обвалился густым слоем вокруг раздетого дерева. Несмотря на мрачность окружающей природы, он чувствовал себя особенно возбужденным. Разговоры с мужиками в дальней деревне показывали, что они начинали привыкать к своим отношениям. Дворник-старик, к которому он заезжал обсушиться, очевидно, одобрял план Левина и сам предлагал вступить в товарищество по покупке скота. «Надо только упорно идти к своей цели, и я добьюсь своего, — думал Левин, — а работать и трудиться есть из-за чего. Это дело не мое личное, а тут вопрос об общем благе. Все хозяйство, главное — положение всего парода, совершенно должно измениться. Вместо бедности — общее богатство, довольство; вместо вражды — согласие и связь интересов. Одним словом, революция, бескровная, но величайшая революция, сначала в маленьком кругу нашего уезда, потом губернии, России, всего мира. Потому что мысль справедливая не может не быть плодотворна. Да, это цель, из-за которой стоит работать. И то, что это я. Костя Левин, тот самый, который 368

правлении, и найти убедительные доказательства, что все то, что там сделано, — не то, что нужно. Левин ждал только поставки пшеницы, чтобы получить деньги и ехать за границу. Но начались дожди, не дававшие убрать оставшиеся в поле хлеба и картофель, и остановили все работы и даже поставку пшеницы. По дорогам была непролазная грязь; две мельницы снесло паводком, и погода все становилась хуже и хуже.

30 сентября показалось с утра солнце, и, надеясь на погоду, Левин стал решительно готовиться к отъезду. Он велел насыпать пшеницу, послал к купцу приказчика, чтобы взять деньги, и сам поехал по хозяйству, чтобы сделать последние распоряжения перед отъездом.

Переделав, однако, все дела, мокрый от ручьев, которые по кожану заливались ему то за шею, то за голенища, но в самом бодром и возбужденном состоянии духа, Левин возвратился к вечеру домой. Непогода к вечеру разошлась еще хуже, крупа так больно стегала всю вымокшую, трясущую ушами и головой лошадь, что она шла боком; но Левину под башлыком было хорошо, и он весело поглядывал вокруг себя то на мутные ручьи, бежавшие по колеям, то на нависшие на каждом оголенном сучке капли, то на белизну пятна нерастаявшей крупы на досках моста, то на сочный, еще мясистый лист вяза, который обвалился густым слоем вокруг раздетого дерева. Несмотря на мрачность окружающей природы, он чувствовал себя особенно возбужденным. Разговоры с мужиками в дальней деревне показывали, что они начинали привыкать к своим отношениям. Дворник-старик, к которому он заезжал обсушиться, очевидно, одобрял план Левина и сам предлагал вступить в товарищество по покупке скота.

«Надо только упорно идти к своей цели, и я добьюсь своего, — думал Левин, — а работать и трудиться есть из-за чего. Это дело не мое личное, а тут вопрос об общем благе. Все хозяйство, главное — положение всего народа, совершенно должно измениться. Вместо бедности — общее богатство, довольство; вместо вражды — согласие и связь интересов. Одним словом, революция, бескровная, но величайшая революция, сначала в маленьком кругу нашего уезда, потом губернии, России, всего

приехал на бал в черном галстуке и которому отказала Щербацкая и который так сам для себя жалок и ничтожен, — это ничего не доказывает. Я уверен, что Франклин чувствовал себя так же ничтожным и так же не доверял себе, вспоминая себя всего. Это ничего не значит. И у него была, верно, своя Агафья Михайловна, которой он поверял свои планы». В таких мыслях Левин уже в темноте подъехал к дому. Приказчик, ездивший к купцу, приехал и привез часть денег за пшеницу. Условие с дворником было сделано, и по дороге приказчик узнал, что хлеб везде застоял в поле, так что неубранные свои сто шестьдесят копен было ничто в сравнении с тем, что было у других. Пообедав, Левин сел, как и обыкновенно, с книгой на кресло и, читая, продолжал думать о своей предстояш;ей поездке в связи с книгою. Нынче ему особенно ясно представлялось все значение его дела, и само собою складывались в его уме целые периоды, выражаюп^ие сущность его мыслей. «Это надо записать, — подумал он. — Это должно составить краткое введение, которое я прежде считал ненужным». Он встал, чтобы идти к письменному столу, и Ласка, лежавшая у его ног, потягиваясь, тоже вотала и оглядывалась на пего, как бы спрашивая, куда идти. Но записывать было некогда, потому что пришли начальники к наряду, и Левин вышел к ним в переднюю. После наряда, то есть распоряжений по работам завтрашнего дня, и приема всех мужиков, имевших до него дела, Левин пошел в кабинет и сел за работу. Ласка легла под стол; Агафья Михайловна с чулком уселась на своем месте. Пописав несколько времени, Левин вдруг с необыкновенною живостью вспомнил Кити, ее отказ и последнюю встречу. Он встал и начал ходить по комнате. Да нечего скучать, — сказала ему Агафья Михайловна. — Ну, что вы сидите дома? Ехали бы на теплые воды, благо собрались. — Я и то еду послезавтра, Агафья Михайловна. Надо дело кончить. — Ну, какое ваше дело! Мало вы разве и так муншков наградили! И то говорят: ваш барин от царя за то милость получит. И чудно: что вам о мужиках заботиться? — Я не о них забочусь, я для себя делаю. 369

приехал на бал в черном галстуке и которому отказала Щербацкая и который так сам для себя жалок и ничтожен, — это ничего не доказывает. Я уверен, что Франклин чувствовал себя так же ничтожным и так же не доверял себе, вспоминая себя всего. Это ничего не значит. И у него была, верно, своя Агафья Михайловна, которой он поверял свои планы».

В таких мыслях Левин уже в темноте подъехал к дому.

Приказчик, ездивший к купцу, приехал и привез часть денег за пшеницу. Условие с дворником было сделано, и по дороге приказчик узнал, что хлеб везде застоял в поле, так что неубранные свои сто шестьдесят копен было ничто в сравнении с тем, что было у других.

Пообедав, Левин сел, как и обыкновенно, с книгой на кресло и, читая, продолжал думать о своей предстоящей поездке в связи с книгою. Нынче ему особенно ясно представлялось все значение его дела, и само собою складывались в его уме целые периоды, выражающие сущность его мыслей. «Это надо записать, — подумал он. — Это должно составить краткое введение, которое я прежде считал ненужным». Он встал, чтобы идти к письменному столу, и Ласка, лежавшая у его ног, потягиваясь, тоже встала и оглядывалась на него, как бы спрашивая, куда идти. Но записывать было некогда, потому что пришли начальники к наряду, и Левин вышел к ним в переднюю.

После наряда, то есть распоряжений по работам завтрашнего дня, и приема всех мужиков, имевших до него дела, Левин пошел в кабинет и сел за работу. Ласка легла под стол; Агафья Михайловна с чулком уселась на своем месте.

Пописав несколько времени, Левин вдруг с необыкновенною живостью вспомнил Кити, ее отказ и последнюю встречу. Он встал и начал ходить по комнате.

— Да нечего скучать, — сказала ему Агафья Михайловна. — Ну, что вы сидите дома? Ехали бы на теплые воды, благо собрались.

— Я и то еду послезавтра, Агафья Михайловна. Надо дело кончить.

— Ну, какое ваше дело! Мало вы разве и так мужиков наградили! И то говорят: ваш барин от царя за то

Агафья Михайловна знала все подробности хозяйственных планов Левина. Левин часто со всеми тонкостями излагал ей свои мысли и нередко спорил с нею и не соглашался с ее объяснениями. Но теперь она совсем иначе поняла то, что он сказал ей. — О своей душе, известное дело, пуш;е всего думать надо, — сказала она со вздохом.— Вон Парфен Денисыч, даром что неграмотный был, а так помер, что дай бог всякому, — сказала она про недавно умершего дворового. — Причастили, особоровали. — Я не про то говорю, — сказал он. — Я говорю, что я для своей выгоды делаю. Мне выгоднее, если мужики лучше работают. — Да уже вы как ни делайте, он коли лентяй, так все будет чрез пень колоду валить. Если совесть есть, будет работать, а нет — ничего не сделаешь. — Ну да, ведь вы сами говорите, Иван лучше стал за скотиной ходить. — Я одно говорю, — ответила Агафья Михайловна, очевидно не случайно, но со строгою последовательностью мысли, — жениться вам надо, вот что! Упоминание Агафьи Михайловны о том самом, о чем он только что думал, огорчило и оскорбило его. Левин нахмурился и, не отвечая ей, сел опять за свою работу, повторив себе все то, что он думал о значении этой работы. Изредка только он прислушивался в тишине к звуку спиц Агафьи Михайловны и, вспоминая то, о чем он не хотел вспоминать, опять моріцился. В девять часов послышался колокольчик и глухое колебание кузова по грязи. — Ну, вот вам и гости приехали, не скучно будет, — сказала Агафья Михайловна, вставая и направляясь к двери. Но Левин перегнал ее. Работа его не шла теперь, и он был рад какому бы то ни было гостю. XXXI Сбежав до половины лестницы, Левин услыхал в передней знакомый ему звук покашливанья; но он слышал его неясно из-за звука своих шагов и надеялся, что он ошибся; потом он увидал и всю длинную, костлявую, знакомую фигуру, и, казалось, уже нельзя было обманываться, но все ешіе надеялся, что он ошибается и что 370

Агафья Михайловна знала все подробности хозяйственных планов Левина. Левин часто со всеми тонкостями излагал ей свои мысли и нередко спорил с нею и не соглашался с ее объяснениями. Но теперь она совсем иначе поняла то, что он сказал ей.

— О своей душе, известное дело, пуще всего думать надо, — сказала она со вздохом.— Вон Парфен Денисыч, даром что неграмотный был, а так помер, что дай бог всякому, — сказала она про недавно умершего дворового. — Причастили, особоровали.

— Я не про то говорю, — сказал он. — Я говорю, что я для своей выгоды делаю. Мне выгоднее, если мужики лучше работают.

— Да уже вы как ни делайте, он коли лентяй, так все будет чрез пень колоду валить. Если совесть есть, будет работать, а нет — ничего не сделаешь.

— Ну да, ведь вы сами говорите, Иван лучше стал за скотиной ходить.

— Я одно говорю, — ответила Агафья Михайловна, очевидно не случайно, но со строгою последовательностью мысли, — жениться вам надо, вот что!

Упоминание Агафьи Михайловны о том самом, о чем он только что думал, огорчило и оскорбило его. Левин нахмурился и, не отвечая ей, сел опять за свою работу, повторив себе все то, что он думал о значении этой работы. Изредка только он прислушивался в тишине к звуку спиц Агафьи Михайловны и, вспоминая то, о чем он не хотел вспоминать, опять морщился.

В девять часов послышался колокольчик и глухое колебание кузова по грязи.

— Ну, вот вам и гости приехали, не скучно будет, — сказала Агафья Михайловна, вставая и направляясь к двери. Но Левин перегнал ее. Работа его не шла теперь, и он был рад какому бы то ни было гостю.

XXXI

Сбежав до половины лестницы, Левин услыхал в передней знакомый ему звук покашливанья; но он слышал его неясно из-за звука своих шагов и надеялся, что он

этот длинный человек, снимавший шубу и откашливавшийся, был не брат Николай. Левин любил своего брата, но быть с ним вместе всегда было мученье. Теперь же, когда Левин, под влиянием пришедшей ему мысли и напоминания Агафьи Михайловны, был в неясном, запутанном состоянии, ему предстоящее свидание с братом показалось особенно тяжелым. Вместо гостя веселого, здорового, чужого, который, он надеялся, развлечет его в его душевной неясности, он должен был видеться с братом, который понимает его насквозь, который вызовет в нем все самые задушевные мысли, заставит его высказаться вполне. А этого ему ие хотелось. Сердясь на самого себя за это гадкое чувство, Левин сбежал в переднюю. Как только он вблизи увидал брата, это чувство личного разочарования тотчас же исчезло и заменилось жалостью. Как ни страшен был брат Николай своей худобой и болезненностью прежде, теперь он еще похудел, еще изнемог. Это был скелет, покрытый кожей. Он стоял в передней, дергаясь длинною, худою шеей и срывая с нее шарф, и странно жалостно улыбался. Увидав эту улыбку, смиренную и покорную, Левин почувствовал, что судороги сжимают ему горло. — Вот, я приехал к тебе, — сказал IIРiколай глухим голосом, ни на секунду не спуская глаз с лица брата. — Я давно хотел, да все нездоровилось. Теперь же я очень поправился, — говорил он, обтирая свою бороду большими худыми ладонями. — Да, да! — отвечал Левин. И ему стало еще страшнее, когда он, целуясь, почувствовал губами сухость тела брата и увидал вблизи его большие, странно светящиеся глаза. За несколько недель пред этим Левин писал брату, что по продаже той маленькой части, которая оставалась у них неделенною в доме, брат имел получить теперь свою долю, около двух тысяч рублей. Николай сказал, что он приехал теперь получить эти деньги и, главное, побывать в своем гнезде, дотронуться до земли, чтобы набраться, как богатыри, силы для предстоящей деятельности. Несмотря на увеличившуюся сутулость, несмотря на поразительную с его ростом худобу, движения его, как и обыкновенно, были быстры и порывисты. Левин провел его в кабинет. 371

этот длинный человек, снимавший шубу и откашливавшийся, был не брат Николай.

Левин любил своего брата, но быть с ним вместе всегда было мученье. Теперь же, когда Левин, под влиянием пришедшей ему мысли и напоминания Агафьи Михайловны, был в неясном, запутанном состоянии, ему предстоящее свидание с братом показалось особенно тяжелым. Вместо гостя веселого, здорового, чужого, который, он надеялся, развлечет его в его душевной неясности, он должен был видеться с братом, который понимает его насквозь, который вызовет в нем все самые задушевные мысли, заставит его высказаться вполне. А этого ему не хотелось.

Сердясь на самого себя за это гадкое чувство, Левин сбежал в переднюю. Как только он вблизи увидал брата, это чувство личного разочарования тотчас же исчезло и заменилось жалостью. Как ни страшен был брат Николай своей худобой и болезненностью прежде, теперь он еще похудел, еще изнемог. Это был скелет, покрытый кожей.

Он стоял в передней, дергаясь длинною, худою шеей и срывая с нее шарф, и странно жалостно улыбался. Увидав эту улыбку, смиренную и покорную, Левин почувствовал, что судороги сжимают ему горло.

— Вот, я приехал к тебе, — сказал Николай глухим голосом, ни на секунду не спуская глаз с лица брата. — Я давно хотел, да все нездоровилось. Теперь же я очень поправился, — говорил он, обтирая свою бороду большими худыми ладонями.

— Да, да! — отвечал Левин. И ему стало еще страшнее, когда он, целуясь, почувствовал губами сухость тела брата и увидал вблизи его большие, странно светящиеся глаза.

За несколько недель пред этим Левин писал брату, что по продаже той маленькой части, которая оставалась у них неделенною в доме, брат имел получить теперь свою долю, около двух тысяч рублей.

Николай сказал, что он приехал теперь получить эти деньги и, главное, побывать в своем гнезде, дотронуться до земли, чтобы набраться, как богатыри, силы для предстоящей деятельности. Несмотря на увеличившуюся су-

Браг переоделся особенно старательно, чего прежде не бывало, причесал свои редкие прямые волосы и, улыбаясь, вошел наверх. Он был в самом ласковом и веселом духе, каким в детстве его часто помнил Левин. Он упомянул даже и о Сергее РІвановиче без злобы. Увидав Агафью Михайловну, он пошутил с ней и расспрашивал про старых слуг. Известие о смерти Парфена Денисыча неприятно подействовало на него. На лице его выразился испуг; но он тотчас же оправился. — Ведь он уж стар был, — сказал он и переменил разговор. — Да, вот поживу у тебя месяц, два, а потом в Москву. Ты знаешь, мне Мягков обегдал место, и я поступаю на службу. Теперь я устрою свою жизнь совсем иначе, — продолжал он. — Ты знаешь, я удалил эту женіцину. — Марью Николаевну? Как, за что же? — Ах, она гадкая женпдина! Кучу неприятностей мне сделала. — Но он не рассказал, какие были эти неприятности. Он не мог сказать, что он прогнал Марью Николаевну за то, что чай был слаб, главное же за то, что она ухаживала за ним, как за больным. — Потом вообш;е теперь я хочу совсем переменить жизнь. Я, разумеется, как и все, делал глупости, но состояние — последнее дело, я его не жалею. Было бы здоровье, а здоровье, слава богу, поправилось. Левин слушал и придумывал и не мог придумать, что сказать. Вероятно, Николай почувствовал то же; он стал расспрашивать брата о делах его; и Левин был рад говорить о себе, потому что он мог говорить не притворяясь. Он рассказал брату свои планы и действия. Брат слушал, но, очевидно, не интересовался этим. Эти два человека были так родны и близки друг другу, что малейшее движение, тон голоса говорил для обоих больше, чем все, что можно сказать словами. Теперь у них обоих была одна мысль — болезнь и близкость смерти Николая, подавлявшая все остальное. Но ни тот, ни другой не смели говорить о ней, и потому все, что бы они ни говорили, не выразив того, что одно занимало их, — все было ложь. Никогда Левин не был так рад тому, что кончился вечер и надо было идти спать. Никогда ни с каким посторонним, ни на каком официальном визите он не был так ненатурален и фальшив, как он был нынче. И сознание и раскаяние в этой 372

Брат переоделся особенно старательно, чего прежде не бывало, причесал свои редкие прямые волосы и, улыбаясь, вошел наверх.

Он был в самом ласковом и веселом духе, каким в детстве его часто помнил Левин. Он упомянул даже и о Сергее Ивановиче без злобы. Увидав Агафью Михайловну, он пошутил с ней и расспрашивал про старых слуг. Известие о смерти Парфена Денисыча неприятно подействовало на него. На лице его выразился испуг; но он тотчас же оправился.

— Ведь он уж стар был, — сказал он и переменил разговор. — Да, вот поживу у тебя месяц, два, а потом в Москву. Ты знаешь, мне Мягков обещал место, и я поступаю на службу. Теперь я устрою свою жизнь совсем иначе, — продолжал он. — Ты знаешь, я удалил эту женщину.

— Марью Николаевну? Как, за что же?

— Ах, она гадкая женщина! Кучу неприятностей мне сделала. — Но он не рассказал, какие были эти неприятности. Он не мог сказать, что он прогнал Марью Николаевну за то, что чай был слаб, главное же за то, что она ухаживала за ним, как за больным. — Потом вообще теперь я хочу совсем переменить жизнь. Я, разумеется, как и все, делал глупости, но состояние — последнее дело, я его не жалею. Было бы здоровье, а здоровье, слава богу, поправилось.

Левин слушал и придумывал и не мог придумать, что сказать. Вероятно, Николай почувствовал то же; он стал расспрашивать брата о делах его; и Левин был рад говорить о себе, потому что он мог говорить не притворяясь. Он рассказал брату свои планы и действия.

Брат слушал, но, очевидно, не интересовался этим.

Эти два человека были так родны и близки друг другу, что малейшее движение, тон голоса говорил для обоих больше, чем все, что можно сказать словами.

Теперь у них обоих была одна мысль — болезнь и близкость смерти Николая, подавлявшая все остальное. Но ни тот, ни другой не смели говорить о ней, и потому все, что бы они ни говорили, не выразив того, что одно занимало их, — все было ложь. Никогда Левин не был так рад тому, что кончился вечер и надо было идти

ненатуральности делало его еще более ненатуральным. Ему хотелось плакать над своим умирающим любимым братом, и он должен был слушать и поддерживать разговор о том, как он будет жить. Так как в доме было сыро и одна только комната топлена, то Левин уложил брата спать в своей же спальне за перегородкой. Брат лег и — спал или не спал, но, как больной, ворочался, кашлял и когда не мог откашляться, что-то ворчал. Иногда, когда он тяжело вздыхал, он говорил: «Ах, боже мой!» Иногда, когда мокрота душила его, он с досадой выговаривал: «А! черт!» Левин долго не спал, слушая его. Мысли Левина были самые разнообразные, но конец всех мыслей был один: смерть. Смерть, неизбежный конец всего, в первый раз с неотразимою силой представилась ему. И смерть эта, которая тут, в этом любимом брате, спросонков стонущем и безразлично по привычке призывавшем то бога, то черта, была совсем не так далека, как ему преяще казалось. Она была и в нем самом — он это чувствовал. Не нынче, так завтра, не завтра, так через тридцать лет, разве не все равно? А что такое была эта неизбежная смерть, — он не только не знал, не только никогда и не думал об этом, по не умел и не смел думать об этом. «Я работаю, я хочу сделать что-то, а я и забыл, что все кончится, что — смерть». Он сидел на кровати в темноте, скорчившись и обняв свои колени, и, сдерживая дыхание от напряжения мысли, думал. Но чем более он напрягал мысль, тем только яснее ему становилось, что это несомненно так, что действительно он забыл, просмотрел в н^изни одно маленькое обстоятельство — то, что придет смерть и все кончится, что ничего и не стоило начинать и что помочь этому никак нельзя. Да, это ужасно, но это так. «Да ведь я жив еще. Теперь-то что же делать, что делать?» — говорил он с отчаянием. Он заящг свечу и осторожно встал и пошел к зеркалу и стал смотреть свое лицо и волосы. Да, в висках были седые волосы. Он открыл рот. Зубы задние начинали портиться. Он обнажил свои мускулистые руки. Да, силы много. Но и у Николеньки, который там дышит остатками легких, было тоже здоровое тело. И вдруг ему вспомнилось, как они детьми вместе ложились спать и ждали только того, чтобы Федор Богданыч вышел за дверь, чтобы кидать друг в друга 373

ненатуральности делало его еще более ненатуральным. Ему хотелось плакать над своим умирающим любимым братом, и он должен был слушать и поддерживать разговор о том, как он будет жить.

Так как в доме было сыро и одна только комната топлена, то Левин уложил брата спать в своей же спальне за перегородкой.

Брат лег и — спал или не спал, но, как больной, ворочался, кашлял и когда не мог откашляться, что-то ворчал. Иногда, когда он тяжело вздыхал, он говорил: «Ах, боже мой!» Иногда, когда мокрота душила его, он с досадой выговаривал: «А! черт!» Левин долго не спал, слушая его. Мысли Левина были самые разнообразные, но конец всех мыслей был один: смерть.

Смерть, неизбежный конец всего, в первый раз с неотразимою силой представилась ему. И смерть эта, которая тут, в этом любимом брате, спросонков стонущем и безразлично по привычке призывавшем то бога, то черта, была совсем не так далека, как ему прежде казалось. Она была и в нем самом — он это чувствовал. Не нынче, так завтра, не завтра, так через тридцать лет, разве не все равно? А что такое была эта неизбежная смерть, — он не только не знал, не только никогда и не думал об этом, но не умел и не смел думать об этом.

«Я работаю, я хочу сделать что-то, а я и забыл, что все кончится, что — смерть».

Он сидел на кровати в темноте, скорчившись и обняв свои колени, и, сдерживая дыхание от напряжения мысли, думал. Но чем более он напрягал мысль, тем только яснее ему становилось, что это несомненно так, что действительно он забыл, просмотрел в жизни одно маленькое обстоятельство — то, что придет смерть и все кончится, что ничего и не стоило начинать и что помочь этому никак нельзя. Да, это ужасно, но это так.

«Да ведь я жив еще. Теперь-то что же делать, что делать?» — говорил он с отчаянием. Он зажег свечу и осторожно встал и пошел к зеркалу и стал смотреть свое лицо и волосы. Да, в висках были седые волосы. Он открыл рот. Зубы задние начинали портиться. Он обнажил свои мускулистые руки. Да, силы много. Но и у Николеньки, который там дышит остатками легких, было тоже здоровое тело. И вдруг ему вспомнилось, как они детьми вме-

подушками и хохотать, хохотать неудержимо, так что даже страх пред Федором Богданычем не мог остановить это через край бившее и пенящееся сознание счастья жизни. «А теперь эта скривившаяся пустая грудь... и я, не знающий, зачем и что со мной будет...» — Кха! Кха! А, черт! Что ты возишься, что ты не спишь? — окликнул его голос брата. — Так, я не знаю, бессонница. — А я хорошо спал, у меня теперь уже нет пота. Посмотри, пощупай рубашку. Нет пота? Левин пощупал, ушел за перегородку, потушил свечу, но долго еще не спал. Только что ему немного уяснился вопрос о том, как жить, как представился новый неразрешимый вопрос — смерть. «Ну, он умирает, ну, он умрет к весне, ну, как помочь ему? Что я могу сказать ему? Что я знаю про это? Я и забыл, что это есть». XXXII Левин уже давно сделал замечание, что когда с людьми бывает неловко от их излишней уступчивости, покорности, то очень скоро сделается невыносимо от их излишней требовательности и придирчивости. Он чувствовал, что это случится и с братом. И действительно, кротости брата Николая хватило ненадолго. Он с другого же утра стал раздражителен и старательно придирался к брату, затрогивая его за самые больные места. Левин чувствовал себя виноватым и не мог поправить этого. Он чувствовал, что если б они оба не притворялись, а говорили то, что называется говорить по душе, то есть только то, что они точно думают и чувствуют, то они только бы смотрели в глаза друг другу, и Константин только бы говорил: «Ты умрешь, ты умрешь, ты умрешь!» — а Николай только бы отвечал: «Знаю, что умру; но боюсь, боюсь, боюсь!» И больше бы ничего они не говорили, если бы говорили только по душе. Но этак нельзя было жить, и потому Константин пытался делать то, что он всю жизнь пытался и не умел делать, и то, что, по его наблюдению, многие так хорошо умели делать и без чего нельзя жить: он пытался говорить не то, что думал, и постоянно чувствовал, что это выходило фальшиво, что брат его ловит на этом и раздражается этим. 374

подушками и хохотать, хохотать неудержимо, так что даже страх пред Федором Богданычем не мог остановить это через край бившее и пенящееся сознание счастья жизни. «А теперь эта скривившаяся пустая грудь... и я, не знающий, зачем и что со мной будет...»

— Кха! Кха! А, черт! Что ты возишься, что ты не спишь? — окликнул его голос брата.

— Так, я не знаю, бессонница.

— А я хорошо спал, у меня теперь уже нет пота. Посмотри, пощупай рубашку. Нет пота?

Левин пощупал, ушел за перегородку, потушил свечу, но долго еще не спал. Только что ему немного уяснился вопрос о том, как жить, как представился новый неразрешимый вопрос — смерть.

«Ну, он умирает, ну, он умрет к весне, ну, как помочь ему? Что я могу сказать ему? Что я знаю про это? Я и забыл, что это есть».

XXXII

Левин уже давно сделал замечание, что когда с людьми бывает неловко от их излишней уступчивости, покорности, то очень скоро сделается невыносимо от их излишней требовательности и придирчивости. Он чувствовал, что это случится и с братом. И действительно, кротости брата Николая хватило ненадолго. Он с другого же утра стал раздражителен и старательно придирался к брату, затрогивая его за самые больные места.

Левин чувствовал себя виноватым и не мог поправить этого. Он чувствовал, что если б они оба не притворялись, а говорили то, что называется говорить по душе, то есть только то, что они точно думают и чувствуют, то они только бы смотрели в глаза друг другу, и Константин только бы говорил: «Ты умрешь, ты умрешь, ты умрешь!» — а Николай только бы отвечал: «Знаю, что умру; но боюсь, боюсь, боюсь!» И больше бы ничего они не говорили, если бы говорили только по душе. Но этак нельзя было жить, и потому Константин пытался делать то, что он всю жизнь пытался и не умел делать, и то, что, по его наблюдению, многие так хорошо умели делать и

На третий день Николай вызвал брата высказать опять ему свой план и стал не только осуждать его, но стал умышленно смешивать его с коммунизмом. — - Ты только взял чужую мысль, но изуродовал ее и хочешь прилагать к неприложимому. — Да я тебе говорю, что это не имеет ничего общего. Они отвергают справедливость собственности, капитала, наследственности, а я, не отрицая этого главного стимула (Левину было противно самому, что он употреблял такие слова, но с тех пор, как он увлекся своею работой, он невольно стал чаще и чаще употреблять нерусские слова), хочу только регулировать труд. — То-то и есть, ты взял чужую мысль, отрезал от нее все, что составляет ее силу, и хочешь уверить, что это что-то новое, — сказал Николай, сердито дергаясь в своем галстуке. — Да моя мысль не имеет ничего общего... — Там, — злобно блестя глазами и иронически улыбаясь, говорил Николай Левин, — там по крайней мере есть прелесть, как бы сказать, геометрическая — ясности, несомненности. Может быть, это утопия. Но допустим, что можно сделать изо всего прошедшего tabula rasa Ч нет собственности, нет семьи, то и труд устрояется. Но у тебя ничего нет... — Зачем ты смешиваешь? я никогда не был коммунистом. — А я был и нахожу, что это преждевременно, по разумно и имеет будущность, как христианство в первые века. — Я только полагаю, что рабочую силу надо рассматривать с естествоиспытательской точки зрепия, то есть изучить ее, признать ее свойства и... — Да это совершенно напрасно. Эта сила сама находит, по степени своего развития, известный образ деятельности. Везде были рабы, потом metayers и у нас есть испольная работа, есть аренда, есть батрацкая работа, — чего ж ты ищешь? Левин вдруг разгорячился при этих словах, потому что в глубине души он боялся, что это было правда, — правда то, что он хотел балансировать между коммунизмом > чистую доску, то есть стереть все прошлое (лат.), 2 арендаторы (англ.). 375

На третий день Николай вызвал брата высказать опять ему свой план и стал не только осуждать его, но стал умышленно смешивать его с коммунизмом.

— Ты только взял чужую мысль, но изуродовал ее и хочешь прилагать к неприложимому.

— Да я тебе говорю, что это не имеет ничего общего. Они отвергают справедливость собственности, капитала, наследственности, а я, не отрицая этого главного *стимула* (Левину было противно самому, что он употреблял такие слова, но с тех пор, как он увлекся своею работой, он невольно стал чаще и чаще употреблять нерусские слова), хочу только регулировать труд.

— То-то и есть, ты взял чужую мысль, отрезал от нее все, что составляет ее силу, и хочешь уверить, что это что-то новое, — сказал Николай, сердито дергаясь в своем галстуке.

— Да моя мысль не имеет ничего общего...

— Там, — злобно блестя глазами и иронически улыбаясь, говорил Николай Левин, — там по крайней мере есть прелесть, как бы сказать, геометрическая — ясности, несомненности. Может быть, это утопия. Но допустим, что можно сделать изо всего прошедшего tabula rasa [1]: нет собственности, нет семьи, то и труд устрояется. Но у тебя ничего нет...

— Зачем ты смешиваешь? я никогда не был коммунистом.

— А я был и нахожу, что это преждевременно, но разумно и имеет будущность, как христианство в первые века.

— Я только полагаю, что рабочую силу надо рассматривать с естествоиспытательской точки зрения, то есть изучить ее, признать ее свойства и...

— Да это совершенно напрасно. Эта сила сама находит, по степени своего развития, известный образ деятельности. Везде были рабы, потом metayers [2]; и у нас есть испольная работа, есть аренда, есть батрацкая работа, — чего ж ты ищешь?

Левин вдруг разгорячился при этих словах, потому что в глубине души он боялся, что это было правда, — правда то, что он хотел балансировать между коммунизмом

и определенными формами и что это едва ли было возможно. — Я ищу средства работать производительно и для себя и для рабочего. Я хочу устроить... — отвечал он горячо. — Ничего ты не хочешь устроить; просто, как ты всю жизнь жил, тебе хочется оригинальничать, показать, что ты не просто эксплуатируешь мужиков, а с идеею. — Ну, ты так думаешь, — и оставь! — отвечал Левин, чувствуя, что мускул левой щеки его неудержимо прыгает. — Ты не имел и не имеешь убеждений, а тебе только бы утешать свое самолюбие. — Ну, и прекрасно, и оставь меня! — И оставлю! И давно пора, и убирайся ты к черту! И очень жалею, что приехал! Как ни старался потом Левин успокоить брата, Николай ничего не хотел слышать, говорил, что гораздо лучше разъехаться, и Константин видел, что просто брату невыносима стала жизнь. Николай уже совсем собрался уезжать, когда Константин опять пришел к нему и ненатурально просил извинить, если чем-нибудь оскорбил его. — А, великодушие! — сказал Николай и улыбнулся. — Если тебе хочется быть правым, то могу доставить тебе это удовольствие. Ты прав, но я все-таки уеду! Пред самым только отъездом Николай поцеловался с ним и сказал, вдруг странно серьезно взглянув на брата: — Все-таки не поминай меня лихом. Костя! — И голос его дрогнул. Это были единственные слова, которые были сказаны искренно. Левин понял, что под этими словами подразумевалось: «Ты видишь и знаешь, что я плох, и, может быть, мы больше не увидимся». Левин понял это, и слезы брызнули у него из глаз. Он еще раз поцеловал брата, но ничего не мог и не умел сказать ему. На третий день после отъезда брата и Левин уехал за границу. Встретившись на железной дороге с Щербацким, двоюродным братом Кити, Левин очень удивил его своею мрачностью. — Что с тобой? — спросил его Щербацкий. — Да ничего, так, веселого на свете мало. — Как мало? вот поедем со мной в Париж вместо какого-то Мюлуза. Посмотрите, как весело! 376

и определенными формами и что это едва ли было возможно.

— Я ищу средства работать производительно и для себя и для рабочего. Я хочу устроить... — отвечал он горячо.

— Ничего ты не хочешь устроить; просто, как ты всю жизнь жил, тебе хочется оригинальничать, показать, что ты не просто эксплуатируешь мужиков, а с идеею.

— Ну, ты так думаешь, — и оставь! — отвечал Левин, чувствуя, что мускул левой щеки его неудержимо прыгает.

— Ты не имел и не имеешь убеждений, а тебе только бы утешать свое самолюбие.

— Ну, и прекрасно, и оставь меня!

— И оставлю! И давно пора, и убирайся ты к черту! И очень жалею, что приехал!

Как ни старался потом Левин успокоить брата, Николай ничего не хотел слышать, говорил, что гораздо лучше разъехаться, и Константин видел, что просто брату невыносима стала жизнь.

Николай уже совсем собрался уезжать, когда Константин опять пришел к нему и ненатурально просил извинить, если чем-нибудь оскорбил его.

— А, великодушие! — сказал Николай и улыбнулся. — Если тебе хочется быть правым, то могу доставить тебе это удовольствие. Ты прав, но я все-таки уеду!

Пред самым только отъездом Николай поцеловался с ним и сказал, вдруг странно серьезно взглянув на брата:

— Все-таки не поминай меня лихом, Костя! — И голос его дрогнул.

Это были единственные слова, которые были сказаны искренно. Левин понял, что под этими словами подразумевалось: «Ты видишь и знаешь, что я плох, и, может быть, мы больше не увидимся». Левин понял это, и слезы брызнули у него из глаз. Он еще раз поцеловал брата, но ничего не мог и не умел сказать ему.

На третий день после отъезда брата и Левин уехал за границу. Встретившись на железной дороге с Щербацким, двоюродным братом Кити, Левин очень удивил его своею мрачностью.

— Что с тобой? — спросил его Щербацкий.

— Нет, ут я кончил. Мне умирать пора. — Вот так штука! — смеясь, сказал Щербацкий. *— Я только приготовился начинать. — Да и я так думал недавно, но теперь я знаю, что скоро умру. Левин говорил то, что он истинно думал в это последнее время. Он во всем видел только смерть или приближение к ней. Но затеянное им дело тем более занимало его. Надо же было как-нибудь доживать жизнь, пока не пришла смерть. Темнота покрывала для него все; но именно вследствие этой темноты он чувствовал, что единственною руководительною питью в этой темноте было его дело, и он из последних сил ухватился и держался за пего,

— Нет, уж я кончил. Мне умирать пора.

— Вот так штука! — смеясь, сказал Щербацкий. — Я только приготовился начинать.

— Да и я так думал недавно, но теперь я знаю, что скоро умру.

Левин говорил то, что он истинно думал в это последнее время. Он во всем видел только смерть или приближение к ней. Но затеянное им дело тем более занимало его. Надо же было как-нибудь доживать жизнь, пока не пришла смерть. Темнота покрывала для него все; но именно вследствие этой темноты он чувствовал, что единственною руководительною нитью в этой темноте было его дело, и он из последних сил ухватился и держался за него.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ I Каренины, муж и жена, продолжали жить в одном доме, встречались каждый день, но были совершенны чужды друг другу. Алексей Александрович за правило поставил каждый день видеть жену, для того чтобы прислуга не имела права делать предположения, но избегал обедов дома. Вронский никогда не бывал в доме Алексея Александровича, но Апиа видала его вне дома, и муж знал это. Положение было мучительно для всех троих, и ни один из них не в силах был бы прожить и одного дня в этом положении, если бы не ожидал, что оно изменится и что это только временное горестное затруднение, которое пройдет. Алексей Александрович ждал, что страсть эта пройдет, как и все проходит, что все про это забудут и имя его останется неопозоренным. Анна, от которой зависело это положение и для которой оно было мучительнее всех, переносила его потому, что она не только ждала, по твердо была уверена, что все это очень скоро развяжется и уяснится. Она решительно не знала, что развяжет это положение, но твердо была уверена, что это что-то придет теперь очень скоро. Вронский, невольно подчиняясь ей, тоже ожидал чего-то независимого от него, долженствовавшего разъяснить все затруднения. В средине зимы Вронский провел очень скучную педелю. Он был приставлен к приехавшему в Петербург иностранному принцу и должен был показывать ему достопримечательности Петербурга. Вронский сам был представителен, кроме того, обладал искусством держать себя достойно-почтительно и имел привычку в обраш;ении с такими лицами; потому он и был приставлен к принцу. Но 378

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

I

Каренины, муж и жена, продолжали жить в одном доме, встречались каждый день, но были совершенны чужды друг другу. Алексей Александрович за правило поставил каждый день видеть жену, для того чтобы прислуга не имела права делать предположения, но избегал обедов дома. Вронский никогда не бывал в доме Алексея Александровича, но Анна видала его вне дома, и муж знал это.

Положение было мучительно для всех троих, и ни один из них не в силах был бы прожить и одного дня в этом положении, если бы не ожидал, что оно изменится и что это только временное горестное затруднение, которое пройдет. Алексей Александрович ждал, что страсть эта пройдет, как и все проходит, что все про это забудут и имя его останется неопозоренным. Анна, от которой зависело это положение и для которой оно было мучительнее всех, переносила его потому, что она не только ждала, но твердо была уверена, что все это очень скоро развяжется и уяснится. Она решительно не знала, что́ развяжет это положение, но твердо была уверена, что это что-то придет теперь очень скоро. Вронский, невольно подчиняясь ей, тоже ожидал чего-то независимого от него, долженствовавшего разъяснить все затруднения.

В средине зимы Вронский провел очень скучную неделю. Он был приставлен к приехавшему в Петербург иностранному принцу и должен был показывать ему достопримечательности Петербурга. Вронский сам был пред-

обязанность его показалась ему очень тяжела. Принц желал ничего не упустить такого, про что дома у него спросят, видел ли он это в России; да и сам желал воспользоваться, сколько возможно, русскими удовольствиями. Вронский обязан был руководить его в том и в другом. По утрам они ездили осматривать достопримечательности, по вечерам участвовали в национальных удовольствиях. Принц пользовался необыкновенным даже между принцами здоровьем; и гимнастикой и хорошим уходом за своим телом он довел себя до такой силы, что, несмотря на излишества, которым он предавался в удовольствиях, он был свеж, как большой зеленый глянцевитый голландский огурец. Принц много путешествовал и находил, что одна из главных выгод теперешней легкости путей сообщения-' состоит в доступности национальных удовольствий. Он был в Испании и там давал серенады и сблизился с испанкой, игравшей на мандолине. В Швейцарии убил гемза, В Англии скакал в красном фраке через заборы и на пари убил двести фазанов. В Турции был в гареме, в Индии ездил на слоне и теперь в России желал вкусить всех специально русских удовольствий. Вронскому, бывшему при нем как бы главным церемониймейстером, большого труда стоило распределять все предлагаемые принцу различными лицами русские удовольствия. Были и рысаки, и блины, и медвежьи охоты, и тройки, и цыгане, и кутежи с русским битьем посуды. И принц с чрезвычайною легкостью усвоил себе русский дух, бил подносы с посудой, сажал на колени цыганку и, казалось, спрашивал: что же еще, или только в этом и состоит весь русский дух? В сущности, из всех русских удовольствий более всего нравились принцу французские актрисы, балетная танцовщица и шампанское с белою печатью. Вронский имел привычку к принцам, но, — оттого ли, что он сам в последнее время переменился, или от слишком большой близости с этим принцем, — эта неделя показалась ему страшно тяжела. Он всю эту неделю не переставая испытывал чувство, подобное чувству человека, который был бы приставлен к опасному сумасшедшему, боялся бы сумасшедшего и вместе, по близости к нему, боялся бы и за свой ум. Вронский постоянно чувствовал необходимость ни на секунду не ослаблять тона строгой официальной почтительности, чтобы но быть оскорбленным. Манера 379

обязанность его показалась ему очень тяжела. Принц желал ничего не упустить такого, про что дома у него спросят, видел ли он это в России; да и сам желал воспользоваться, сколько возможно, русскими удовольствиями. Вронский обязан был руководить его в том и в другом. По утрам они ездили осматривать достопримечательности, по вечерам участвовали в национальных удовольствиях. Принц пользовался необыкновенным даже между принцами здоровьем; и гимнастикой и хорошим уходом за своим телом он довел себя до такой силы, что, несмотря на излишества, которым он предавался в удовольствиях, он был свеж, как большой зеленый глянцевитый голландский огурец. Принц много путешествовал и находил, что одна из главных выгод теперешней легкости путей сообщения состоит в доступности национальных удовольствий. Он был в Испании и там давал серенады и сблизился с испанкой, игравшей на мандолине. В Швейцарии убил *гемза*. В Англии скакал в красном фраке через заборы и на пари убил двести фазанов. В Турции был в гареме, в Индии ездил на слоне и теперь в России желал вкусить всех специально русских удовольствий.

Вронскому, бывшему при нем как бы главным церемониймейстером, большого труда стоило распределять все предлагаемые принцу различными лицами русские удовольствия. Были и рысаки, и блины, и медвежьи охоты, и тройки, и цыгане, и кутежи с русским битьем посуды. И принц с чрезвычайною легкостью усвоил себе русский дух, бил подносы с посудой, сажал на колени цыганку и, казалось, спрашивал: что же еще, или только в этом и состоит весь русский дух?

В сущности, из всех русских удовольствий более всего нравились принцу французские актрисы, балетная танцовщица и шампанское с белою печатью. Вронский имел привычку к принцам, но, — оттого ли, что он сам в последнее время переменился, или от слишком большой близости с этим принцем, — эта неделя показалась ему страшно тяжела. Он всю эту неделю не переставая испытывал чувство, подобное чувству человека, который был бы приставлен к опасному сумасшедшему, боялся бы сумасшедшего и вместе, по близости к нему, боялся бы и за

обращения принца с теми самыми лицами, которые, к удивлению Вронского, из кожи вон лезли, чтобы доставлять ему русские удовольствия, была презрительна. Его суждения о русских женщинах, которых он желал изучать, не раз заставляли Вронского краснеть от негодования. Главная же причина, почему принц был особенно тяжел Вронскому, была та, что он невольно видел в нем себя самого. И то, что он видел в этом зеркале, не льстило его самолюбию. Это был очень глупый, и очень самоуверенный, и очень здоровый, и очень чистоплотный человек, и больше ничего. Он был джентльмен — это была правда, и Вронский не мог отрицать этого. Он был ровен и неискателен с высшими, был свободен и прост в обращении с равными и был презрительно добродушен с низшими. Вронский сам был таковым и считал это большим достоинством; но в отношении принца он был низший, и это презрительно-добродушное отношение к нему возмущало его. «Глупая говядина! Неужели я такой?» — думал он. Как бы то ни было, когда он простился с ним на седьмой день, пред отъездом его в Москву, и получил благодарность, он был счастлив, что избавился от этого неловкого положения и неприятного зеркала. Он простился с ним на станции, возвращаясь с медвежьей охоты, где всю ночь у них было представление русского молодечества. II Вернувшись домой, Вронский нашел у себя записку от Анны. Она писала: «Я больна и несчастлива. Я не могу выезжать, но и не могу долее не видать вас. Приезжайте вечером. В семь часов Алексей Александрович едет на совет и пробудет до десяти». Подумав с минуту о странности того, что она зовет его прямо к себе, несмотря на требование мужа не принимать его, он решил, что поедет. Вронский был в эту зиму произведен в полковники, вышел из полка и жил один. Позавтракав, он тотчас же лег на диван, и в пять минут воспоминания безобразных сцен, виденных им в последние дни, перепутались и связались с представлением об Анне и мужике-обкладчике, который играл важную роль на медвежьей охоте; и Вронский заснул. Он проснулся в темноте, дроя^а от страха, ц 380

обращения принца с теми самыми лицами, которые, к удивлению Вронского, из кожи вон лезли, чтобы доставлять ему русские удовольствия, была презрительна. Его суждения о русских женщинах, которых он желал изучать, не раз заставляли Вронского краснеть от негодования. Главная же причина, почему принц был особенно тяжел Вронскому, была та, что он невольно видел в нем себя самого. И то, что он видел в этом зеркале, не льстило его самолюбию. Это был очень глупый, и очень самоуверенный, и очень здоровый, и очень чистоплотный человек, и больше ничего. Он был джентльмен — это была правда, и Вронский не мог отрицать этого. Он был ровен и неискателен с высшими, был свободен и прост в обращении с равными и был презрительно добродушен с низшими. Вронский сам был таковым и считал это большим достоинством; но в отношении принца он был низший, и это презрительно-добродушное отношение к нему возмущало его.

«Глупая говядина! Неужели я такой?» — думал он.

Как бы то ни было, когда он простился с ним на седьмой день, пред отъездом его в Москву, и получил благодарность, он был счастлив, что избавился от этого неловкого положения и неприятного зеркала. Он простился с ним на станции, возвращаясь с медвежьей охоты, где всю ночь у них было представление русского молодечества.

II

Вернувшись домой, Вронский нашел у себя записку от Анны. Она писала: «Я больна и несчастлива. Я не могу выезжать, но и не могу долее не видать вас. Приезжайте вечером. В семь часов Алексей Александрович едет на совет и пробудет до десяти». Подумав с минуту о странности того, что она зовет его прямо к себе, несмотря на требование мужа не принимать его, он решил, что поедет.

Вронский был в эту зиму произведен в полковники, вышел из полка и жил один. Позавтракав, он тотчас же лег на диван, и в пять минут воспоминания безобразных сцен, виденных им в последние дни, перепутались и свя-

поспешно зажег свечу. «Что такое? Что? Что такое страшное я видел во сне? Да, да. Мужик-обкладчик, кажется, маленький, грязный, со взъерошенной бородкой, что-то делал нагнувшись и вдруг заговорил по-французски какие-то странные слова. Да, больше ничего не было во сне, — сказал он себе. — Но отчего же это было так ужасно?» Он живо вспомнил опять мужика и те непонятные французские слова, которые произносил этот мужик, и ужас пробежал холодом по его спине. «Что за вздор!» — подумал Вронский и взглянул на часы. Было уже половина девятого. Он позвонил человека, поспешно оделся и вышел на крыльцо, совершенно забыв про сон и мучась только тем, что опоздал. Подъезжая к крыльцу Карениных, он взглянул на часы и увидал, что было без десяти минут девять. Высокая, узенькая карета, запряженная парой серых, стояла у подъезда. Он узнал карету Анны. «Она едет ко мне, — подумал Вронский, — и лучше бы было. Неприятно мне входить в этот дом. Но все равно; я не могу прятаться», — сказал он себе, и с теми, усвоенными им с детства, приемами человека, которому нечего стыдиться, Вронский вышел из саней и подошел к двери. Дверь отворилась, и швейцар с пледом на руке подозвал карету. Вронский, не привыкший замечать подробности, заметил, однако, теперь удивленное выражение, с которым швейцар взглянул на него. В самых дверях Вронский почти столкнулся с Алексеем Александровичем. Рожок газа прямо освеш;ал бескровное, осунувшееся лицо под черною шляпой и белый галстук, блестевший из-за бобра пальто. Неподвижные, тусклые глаза Каренина устремились на лицо Вронского. Вронский поклонился, и Алексей Александрович, пожевав ртом, поднял руку к шляпе и прошел. Вронский видел, как он, не оглядываясь, сел в карету, принял в окно плед и бинокль и скрылся. Вронский вошел в переднюю. Брови его были нахмурены, и глаза блестели злым и гордым блеском. «Вот положение! — думал он. — Если б он боролся, отстаивал свою честь, я бы мог действовать, выразить свои чувства; по эта слабость или подлость... Он ставит меня в положение обманщика, тогда как я не хотел и не хочу этим быть». Со времени своего объяснения с Анной в саду Вреде мысли Вронского много изменились. Он невольно. 381

поспешно зажег свечу. «Что такое? Что? Что такое страшное я видел во сне? Да, да. Мужик-обкладчик, кажется, маленький, грязный, со взъерошенной бородкой, что-то делал нагнувшись и вдруг заговорил по-французски какие-то странные слова. Да, больше ничего не было во сне, — сказал он себе. — Но отчего же это было так ужасно?» Он живо вспомнил опять мужика и те непонятные французские слова, которые произносил этот мужик, и ужас пробежал холодом по его спине.

«Что за вздор!» — подумал Вронский и взглянул на часы.

Было уже половина девятого. Он позвонил человека, поспешно оделся и вышел на крыльцо, совершенно забыв про сон и мучась только тем, что опоздал. Подъезжая к крыльцу Карениных, он взглянул на часы и увидал, что было без десяти минут девять. Высокая, узенькая карета, запряженная парой серых, стояла у подъезда. Он узнал карету Анны. «Она едет ко мне, — подумал Вронский, — и лучше бы было. Неприятно мне входить в этот дом. Но все равно; я не могу прятаться», — сказал он себе, и с теми, усвоенными им с детства, приемами человека, которому нечего стыдиться, Вронский вышел из саней и подошел к двери. Дверь отворилась, и швейцар с пледом на руке подозвал карету. Вронский, не привыкший замечать подробности, заметил, однако, теперь удивленное выражение, с которым швейцар взглянул на него. В самых дверях Вронский почти столкнулся с Алексеем Александровичем. Рожок газа прямо освещал бескровное, осунувшееся лицо под черною шляпой и белый галстук, блестевший из-за бобра пальто. Неподвижные, тусклые глаза Каренина устремились на лицо Вронского. Вронский поклонился, и Алексей Александрович, пожевав ртом, поднял руку к шляпе и прошел. Вронский видел, как он, не оглядываясь, сел в карету, принял в окно плед и бинокль и скрылся. Вронский вошел в переднюю. Брови его были нахмурены, и глаза блестели злым и гордым блеском.

«Вот положение! — думал он. — Если б он боролся, отстаивал свою честь, я бы мог действовать, выразить свои чувства; но эта слабость или подлость... Он ставит меня в положение обманщика, тогда как я не хотел и не

покоряясь слабости Айны, которая отдавалась ему вся и ожидала только от него решения ее судьбы, вперед покоряясь всему, давно перестал думать, чтобы связь эта могла кончиться, как он думал тогда. Честолюбивые планы его опять отступили на задний план, и он, чувствуя, что вышел из того круга деятельности, в котором все было определено, отдавался весь своему чувству, и чувство это все сильнее и сильнее привязывало его к ней. Еще в передней он услыхал ее удаляющиеся шаги. Он понял, что она ждала его, прислушивалась и теперь вернулась в гостиную. — Нет! — вскрикнула она, увидав его, и при первом звуке ее голоса слезы вступили ей в глаза, — нет, если это так будет продолжаться, то это случится еще гораздо, гораздо прежде! — Что, мой друг? — Что? Я жду, мучаюсь, час, два... Нет, я не буду!.. Я не могу ссориться с тобой. Верно, ты не мог. Нет, не буду! Она положила обе руки па его плечи и долго смотрела на него глубоким, восторженным и вместе испытующим взглядом. Она изучала его лицо за то время, которое она не видала его. Она, как и при всяком свидании, сводила в одно свое воображаемое представление о нем (несравненно лучшее, невозможное в действительности) с ним, каким он был. III ^ Ты встретил его? — спросила она, когда они сели у стола под лампой. — Вот тебе наказание за то, что опоздал. — Да, но как же? Он должен был быть в совете? — Он был и вернулся и опять поехал куда-то. Но это ничего. Не говори про это. Где ты был? Все с принцем? Она знала все подробности его жизни. Он хотел сказать, что не спал всю ночь и заснул, но, глядя на ее взволнованное и счастливое лицо, ему совестно стало. И он сказал, что ему надо было ехать дать отчет об отъезде принца. — Но теперь кончилось? Он уехал? — Слава богу, кончилось. Ты не поверишь, как мне невыносимо было это. 382

покоряясь слабости Анны, которая отдавалась ему вся и ожидала только от него решения ее судьбы, вперед покоряясь всему, давно перестал думать, чтобы связь эта могла кончиться, как он думал тогда. Честолюбивые планы его опять отступили на задний план, и он, чувствуя, что вышел из того круга деятельности, в котором все было определено, отдавался весь своему чувству, и чувство это все сильнее и сильнее привязывало его к ней.

Еще в передней он услыхал ее удаляющиеся шаги. Он понял, что она ждала его, прислушивалась и теперь вернулась в гостиную.

— Нет! — вскрикнула она, увидав его, и при первом звуке ее голоса слезы вступили ей в глаза, — нет, если это так будет продолжаться, то это случится еще гораздо, гораздо прежде!

— Что, мой друг?

— Что? Я жду, мучаюсь, час, два... Нет, я не буду!.. Я не могу ссориться с тобой. Верно, ты не мог. Нет, не буду!

Она положила обе руки на его плечи и долго смотрела на него глубоким, восторженным и вместе испытующим взглядом. Она изучала его лицо за то время, которое она не видала его. Она, как и при всяком свидании, сводила в одно свое воображаемое представление о нем (несравненно лучшее, невозможное в действительности) с ним, каким он был.

III

— Ты встретил его? — спросила она, когда они сели у стола под лампой. — Вот тебе наказание за то, что опоздал.

— Да, но как же? Он должен был быть в совете?

— Он был и вернулся и опять поехал куда-то. Но это ничего. Не говори про это. Где ты был? Все с принцем?

Она знала все подробности его жизни. Он хотел сказать, что не спал всю ночь и заснул, но, глядя на ее взволнованное и счастливое лицо, ему совестно стало. И он сказал, что ему надо было ехать дать отчет об отъезде принца.

— Отчего йс? Ведь это всегдашняя жизнь вас всех, молодых мужчин, — сказала она, насупив брови, и, взявшись за вязанье, которое лежало на столе, стала, не глядя на Вронского, выпрастывать из него крючок. — Я уже давно оставил эту жизнь, — сказал он, удивляясь перемене выражения ее лица и стараясь проникнуть его значение. — И признаюсь, — сказал он, улыбкой выставляя свои плотные белые зубы, — я в эту неделю как в зеркало смотрелся, глядя на эту жизнь, и мне неприятно было. Она держала в руках вязанье, но не вязала, а смотрела на него странным, блестягдим и недружелюбным взглядом. — Нынче утром Лиза заезжала ко мне — они еще не боятся ездить ко мне, несмотря на графиню Лидию Ивановну, — вставила она, — и рассказывала про ваш афинский вечер. Какая гадость! — Я только хотел сказать, что... Она перебила его: — Эта Thérèse была, которую ты знал прежде? — Я хотел сказать... — Как вы гадки, мужчины! Как вы не можете себе представить, что женщина этого не может забыть, — говорила она, горячась все более и более и этим открывая ему причину своего раздражения. — Особенно женщина, которая не может знать твоей жизни. Что я знаю? что я знала? — говорила она, — то, что ты скажешь мне. А почем я знаю, правду ли ты говорил мне... — Анна! Ты оскорбляешь меня. Разве ты не веришь мне? Разве я не сказал тебе, что у меня нет мысли, которую бы я не открыл тебе? — Да, да, — сказала она, видимо стараясь отогнать ревнивые мысли. — Но если бы ты знал, как мне тяжело! Я верю, верю тебе... Так что ты говорил? Но он не мог сразу вспомнить того, что он хотел сказать. Эти припадки ревности, в последнее время все чаще и чаще находившие на нее, ужасали его и, как он ни старался скрывать это, охлаждали его к ней, несмотря на то, что он знал, что причина ревности была любовь к нему. Сколько раз он говорил себе, что ее любовь была счастье; и вот она любила его, как может любить женщина, для которой любовь перевесила все блага в жизни, — и он был гораздо дальше от счастья, чем когда он поехал за ней из Москвы. Тогда он считал себя несчастливым, но счастье было впереди; теперь он чувствовал, что лучшее 383

— Отчего ж? Ведь это всегдашняя жизнь вас всех, молодых мужчин, — сказала она, насупив брови, и, взявшись за вязанье, которое лежало на столе, стала, не глядя на Вронского, выпрастывать из него крючок.

— Я уже давно оставил эту жизнь, — сказал он, удивляясь перемене выражения ее лица и стараясь проникнуть его значение. — И признаюсь, — сказал он, улыбкой выставляя свои плотные белые зубы, — я в эту неделю как в зеркало смотрелся, глядя на эту жизнь, и мне неприятно было.

Она держала в руках вязанье, но не вязала, а смотрела на него странным, блестящим и недружелюбным взглядом.

— Нынче утром Лиза заезжала ко мне — они еще не боятся ездить ко мне, несмотря на графиню Лидию Ивановну, — вставила она, — и рассказывала про ваш афинский вечер. Какая гадость!

— Я только хотел сказать, что...

Она перебила его:

— Эта Thérèse была, которую ты знал прежде?

— Я хотел сказать...

— Как вы гадки, мужчины! Как вы не можете себе представить, что женщина этого не может забыть, — говорила она, горячась все более и более и этим открывая ему причину своего раздражения. — Особенно женщина, которая не может знать твоей жизни. Что я знаю? что я знала? — говорила она, — то, что ты скажешь мне. А почем я знаю, правду ли ты говорил мне...

— Анна! Ты оскорбляешь меня. Разве ты не веришь мне? Разве я не сказал тебе, что у меня нет мысли, которую бы я не открыл тебе?

— Да, да, — сказала она, видимо стараясь отогнать ревнивые мысли. — Но если бы ты знал, как мне тяжело! Я верю, верю тебе... Так что ты говорил?

Но он не мог сразу вспомнить того, что он хотел сказать. Эти припадки ревности, в последнее время все чаще и чаще находившие на нее, ужасали его и, как он ни старался скрывать это, охлаждали его к ней, несмотря на то, что он знал, что причина ревности была любовь к нему. Сколько раз он говорил себе, что ее любовь была счастье; и вот она любила его, как может любить женщина, для которой любовь перевесила все блага в жизни, — и

счастье было уя^е назади. Она была совсем не та, какого он видел ее первое время. И нравственно и физически она изменилась к худшему. Она вся расширела, и в лице ее, в то время как она говорила об актрисе, было злое, искажавшее ее лицо выражение. Он смотрел на нее, как смотрит человек на сорванный им и завядший цветок, в котором он с трудом узнает красоту, за которую он сорвал и погубил его. И, несмотря на то, оп чувствовал, что тогда, когда любовь его была сильнее, он мог, если бы сильно захотел этого, вырвать эту любовь из своего сердца, но теперь, когда, как в эту минуту, ему казалось, что он не чувствовал любви к ней, он знал, что связь его с ней не может быть разорвана. — Ну, ну, так что ты хотел сказать мне про принца? Я прогнала, прогнала беса, — прибавила она. Бесом называлась между ними ревность. — Да, так что ты начал говорить о принце? Почему тебе так тяжело было? — Ах, невыносимо! — сказал он, стараясь уловить нить потерянной мысли. — Он не выигрывает от близкого знакомства. Если определить его, то это прекрасно выкормленное животное, какие на выставках получают первые медали, и больше ничего, — говорил он с досадой, заинтересовавшею ее. — Нет, как же? — возразила она. — Все-таки он многое видел, образован? — Это совсем другое образование — их образование. Он, видно, что и образован только для того, чтобы иметь право презирать образование, как они все презирают, кроме животных удовольствий. — Да ведь вы все любите эти яшвотные удовольствия, — сказала она, и опять он заметил мрачный взгляд, который избегал его. — Что это ты так заш,иш,аешь его? — сказал он, улыбаясь. — Я не заш,иш;аю, мне совершенно все равно; но я думаю, что если бы ты сам не любил этих удовольствий, то ты мог бы отказаться. А тебе доставляет удовольствие смотреть на Терезу в костюме Евы... — Опять, опять дьявол! — взяв руку, которую она положила на стол, и целуя ее, сказал Вронский. — Да, по я не могу! Ты не знаешь, как я измучалась, ожидая тебя! Я думаю, что я не ревнива. Я не ревнива; я верю тебе, когда ты тут, со мной; но когда ты где-то один ведешь свою непонятпую мне жизнь... 384

счастье было уже назади. Она была совсем не та, какою он видел ее первое время. И нравственно и физически она изменилась к худшему. Она вся расширела, и в лице ее, в то время как она говорила об актрисе, было злое, искажавшее ее лицо выражение. Он смотрел на нее, как смотрит человек на сорванный им и завядший цветок, в котором он с трудом узнает красоту, за которую он сорвал и погубил его. И, несмотря на то, он чувствовал, что тогда, когда любовь его была сильнее, он мог, если бы сильно захотел этого, вырвать эту любовь из своего сердца, но теперь, когда, как в эту минуту, ему казалось, что он не чувствовал любви к ней, он знал, что связь его с ней не может быть разорвана.

— Ну, ну, так что ты хотел сказать мне про принца? Я прогнала, прогнала беса, — прибавила она. Бесом называлась между ними ревность. — Да, так что ты начал говорить о принце? Почему тебе так тяжело было?

— Ах, невыносимо! — сказал он, стараясь уловить нить потерянной мысли. — Он не выигрывает от близкого знакомства. Если определить его, то это прекрасно выкормленное животное, какие на выставках получают первые медали, и больше ничего, — говорил он с досадой, заинтересовавшею ее.

— Нет, как же? — возразила она. — Все-таки он многое видел, образован?

— Это совсем другое образование — их образование. Он, видно, что и образован только для того, чтобы иметь право презирать образование, как они все презирают, кроме животных удовольствий.

— Да ведь вы все любите эти животные удовольствия, — сказала она, и опять он заметил мрачный взгляд, который избегал его.

— Что это ты так защищаешь его? — сказал он, улыбаясь.

— Я не защищаю, мне совершенно все равно; но я думаю, что если бы ты сам не любил этих удовольствий, то ты мог бы отказаться. А тебе доставляет удовольствие смотреть на Терезу в костюме Евы...

— Опять, опять дьявол! — взяв руку, которую она положила на стол, и целуя ее, сказал Вронский.

— Да, но я не могу! Ты не знаешь, как я измуча-

Она отклонилась от него, выпростала, наконец, крючок из вязанья, и быстро, с помощью указательного пальца, стали накидываться одна за другой петли белой, блестевшей под светом лампы шерсти, и быстро, нервически стала поворачиваться тонкая кисть в шитом рукавчике. — Ну как же? где ты встретил Алексея Александровича? — вдруг ненатурально зазвенел ее голос. — Мы столкнулись в дверях. — И он так поклонился тебе? Она, вытянув лицо и полузакрыв глаза, быстро изменила выражение лица, сложила руки, и Вронский в ее красивом лице вдруг увидал то самое выражение лица, с которым поклонился ему Алексей Александрович. Он улыбнулся, а она весело засмеялась тем милым грудным смехом, который был одною из главных ее прелестей. — Я решительно не понимаю его, — сказал Вронский. — Если бы после твоего объяснения на даче он разорвал с тобой, если б он вызвал меня на дуэль... но этого я не понимаю: как он может переносить такое положение? Он страдает, это видно. — Он? — с усмешкой сказала она. — Он совершенно доволен. — За что мы все мучаемся, когда все могло бы быть так хорошо? — Только пе он. Разве я не знаю его, эту ложь, которою он весь пропитан?.. Разве можно, чувствуя что-нибудь, жить, как он живет со мной? Он ничего не понимает, пе чувствует. Разве может человек, который что-нибудь чувствует, жить с своею преступною женой в одном доме? Разве можно говорить с ней? Говорить ей ты? И опять невольно она представила его. «Ты, та chère, ты, Анна!» — Это не мужчина, не человек, это кукла! Никто не знает, но я знаю. О, если бы я была на его месте, если бы кто-нибудь был на его месте, я бы давно убила, я бы разорвала на куски эту жену, такую, как я, а не говорила бы: та chère, Анна. Это не человек, это министерская машина. Он не понихмает, что я твоя жена, что он чужой, что он лишний... Не будем, не будем говорить!.. — Ты не права и не права, мой друг, — сказал Вронский, стараясь успокоить ее. — Но все равно, не будем 13 л. Н. ТолстоП, т, 8 385

Она отклонилась от него, выпростала, наконец, крючок из вязанья, и быстро, с помощью указательного пальца, стали накидываться одна за другой петли белой, блестевшей под светом лампы шерсти, и быстро, нервически стала поворачиваться тонкая кисть в шитом рукавчике.

— Ну как же? где ты встретил Алексея Александровича? — вдруг ненатурально зазвенел ее голос.

— Мы столкнулись в дверях.

— И он так поклонился тебе?

Она, вытянув лицо и полузакрыв глаза, быстро изменила выражение лица, сложила руки, и Вронский в ее красивом лице вдруг увидал то самое выражение лица, с которым поклонился ему Алексей Александрович. Он улыбнулся, а она весело засмеялась тем милым грудным смехом, который был одною из главных ее прелестей.

— Я решительно не понимаю его, — сказал Вронский. — Если бы после твоего объяснения на даче он разорвал с тобой, если б он вызвал меня на дуэль... но этого я не понимаю: как он может переносить такое положение? Он страдает, это видно.

— Он? — с усмешкой сказала она. — Он совершенно доволен.

— За что мы все мучаемся, когда все могло бы быть так хорошо?

— Только не он. Разве я не знаю его, эту ложь, которою он весь пропитан?.. Разве можно, чувствуя что-нибудь, жить, как он живет со мной? Он ничего не понимает, не чувствует. Разве может человек, который что-нибудь чувствует, жить с своею *преступною* женой в одном доме? Разве можно говорить с ней? Говорить ей *ты?*

И опять невольно она представила его. «Ты, ma chère, ты, Анна!»

— Это не мужчина, не человек, это кукла! Никто не знает, но я знаю. О, если бы я была на его месте, если бы кто-нибудь был на его месте, я бы давно убила, я бы разорвала на куски эту жену, такую, как я, а не говорила бы: ma chère, Анна. Это не человек, это министерская машина. Он не понимает, что я твоя жена, что он чужой

о нем говорить. Расскажи мпе, что ты делала? Что с тобой? Что такое эта болезнь и что сказал доктор? Она смотрела на него с насмешливою радостью. Видимо, она нашла егце смешные и уродливые стороны в муже и ждала времени, чтоб их высказать. Он продолжал: — Я догадываюсь, что это не болезнь, а твое положение. Когда это будет? Насмешливый блеск потух в ее глазах, по другая улыбка — знания чего-то неизвестного ему и тихой грусти — заменила ее прежнее выражение. — Скоро, скоро. Ты говорил, что наше положение мучительно, что надо развязать его. Если бы ты знал, как мне оно тяжело, что бы я дала за то, чтобы свободно и смело любить тебя! Я бы не мучалась и тебя не мучала бы своею ревностью... И это будет скоро, но не так, как мы думаем. И при мысли о том, как это будет, она так показалась жалка самой себе, что слезы выступили ей на глаза, и она не могла продолжать. Она положила блестящую под лампой кольцами и белизной руку на его рукав. — Это не будет так, как мы думаем. Я не хотела тебе говорить этого, но ты заставил меня. Скоро, скоро все развяжется, и мы все, все успокоимся и не будем больше мучаться. — Я не понимаю, — сказал он, понимая. — Ты спрашивал, когда? Скоро. И я не переживу этого. Не перебивай! — И опа заторопилась говорить. — Я знаю это, и знаю верно. Я умру, и очень рада, что умру и избавлю себя и вас. Слезы потекли у нее из глаз; он нагнулся к ее руке и стал целовать, стараясь скрыть свое волнение, которое, он знал, не имело никакого основания, но он не мог преодолеть его. — Вот так, вот это лучше, — говорила она, пожимая сильным движением его руку. — Вот одно, одно, что нам осталось. Он опомнился и поднял голову. — Что за вздор! Что за бессмысленный вздор ты говоришь! — Нет, это правда. — Что, что правда? — Что я умру. Я видела сон. 386

о нем говорить. Расскажи мне, что ты делала? Что с тобой? Что такое эта болезнь и что сказал доктор?

Она смотрела на него с насмешливою радостью. Видимо, она нашла еще смешные и уродливые стороны в муже и ждала времени, чтоб их высказать.

Он продолжал:

— Я догадываюсь, что это не болезнь, а твое положение. Когда это будет?

Насмешливый блеск потух в ее глазах, но другая улыбка — знания чего-то неизвестного ему и тихой грусти — заменила ее прежнее выражение.

— Скоро, скоро. Ты говорил, что наше положение мучительно, что надо развязать его. Если бы ты знал, как мне оно тяжело, что бы я дала за то, чтобы свободно и смело любить тебя! Я бы не мучалась и тебя не мучала бы своею ревностью... И это будет скоро, но не так, как мы думаем.

И при мысли о том, как это будет, она так показалась жалка самой себе, что слезы выступили ей на глаза, и она не могла продолжать. Она положила блестящую под лампой кольцами и белизной руку на его рукав.

— Это не будет так, как мы думаем. Я не хотела тебе говорить этого, но ты заставил меня. Скоро, скоро все развяжется, и мы все, все успокоимся и не будем больше мучаться.

— Я не понимаю, — сказал он, понимая.

— Ты спрашивал, когда? Скоро. И я не переживу этого. Не перебивай! — И она заторопилась говорить. — Я знаю это, и знаю верно. Я умру, и очень рада, что умру и избавлю себя и вас.

Слезы потекли у нее из глаз; он нагнулся к ее руке и стал целовать, стараясь скрыть свое волнение, которое, он знал, не имело никакого основания, но он не мог преодолеть его.

— Вот так, вот это лучше, — говорила она, пожимая сильным движением его руку. — Вот одно, одно, что нам осталось.

Он опомнился и поднял голову.

— Что за вздор! Что за бессмысленный вздор ты говоришь!

— Сон? — повторил Вронский и мгновенно вспомнил своего мужика во сне. — Да, сон, — сказала она. — Давно уж я видела этот сон. Я видела, что я вбежала в свою спальню, что мне нужно там взять что-то, узнать что-то; ты знаешь, как это бывает во сне, — говорила она, с ужасом широко открывая глаза, — ив спальне, в углу, стоит что-то. — Ах, какой вздор! Как можно верить... Но она не позволила себя перебить. То, что она говорила, было слишком важно для нее. — И это что-то повернулось, и я вижу, что это мужик маленький с взъерошенною бородой и страшный. Я хотела бежать, но он нагнулся над мешком и руками что-то копошится там... Она представила, как он копошится в мешке. Ужас был на ее лице. И Вронский, вспоминая свой сон, чувствовал такой же ужас, наполнявший его душу. — Он копошится и приговаривает по-французски, скоро-скоро и, знаешь, грассирует: «II faut le batre le fer, le broyer, le pétrir...» ^ Н я от страха захотела проснуться, проснулась... но я проснулась во сне. И стала спрашивать себя, что это значит. И Корней мне говорит: «Родами, родами умрете, родами, матушка...» И я проснулась.... — Какой вздор, какой вздор! — говорил Вронский, но оп сам чувствовал, что не было никакой убедительности в его голосе. — Но не будем говорить. Позвони, я велю подать чаю. Да подожди, теперь не долго я... Но вдруг она остановилась. Выражение ее лица мгновенно изменилось. Ужас и волнение вдруг заменились выражением тихого, серьезного и блаженного внимания. Он не мог понять значения этой перемены. Она слышала в себе движение новой жизни. IV Алексей Александрович после встречи у себя на крыльце с Вронским поехал, как и намерен был, в итальянскую оперу. Он отсидел там два акта и видел всех, кого ему нужно было. Вернувшись домой, он * Надо ковать железо, толочь его, мять... (франц.) 13* 387

— Сон? — повторил Вронский и мгновенно вспомнил своего мужика во сне.

— Да, сон, — сказала она. — Давно уж я видела этот сон. Я видела, что я вбежала в свою спальню, что мне нужно там взять что-то, узнать что-то; ты знаешь, как это бывает во сне, — говорила она, с ужасом широко открывая глаза, — и в спальне, в углу, стоит что-то.

— Ах, какой вздор! Как можно верить...

Но она не позволила себя перебить. То, что она говорила, было слишком важно для нее.

— И это что-то повернулось, и я вижу, что это мужик маленький с взъерошенною бородой и страшный. Я хотела бежать, но он нагнулся над мешком и руками что-то копошится там...

Она представила, как он копошится в мешке. Ужас был на ее лице. И Вронский, вспоминая свой сон, чувствовал такой же ужас, наполнявший его душу.

— Он копошится и приговаривает по-французски, скоро-скоро и, знаешь, грассирует: «Il faut le batre le fer, le broyer, le pétrir...» [1] И я от страха захотела проснуться, проснулась... но я проснулась во сне. И стала спрашивать себя, что это значит. И Корней мне говорит: «Родами, родами умрете, родами, матушка...» И я проснулась....

— Какой вздор, какой вздор! — говорил Вронский, но он сам чувствовал, что не было никакой убедительности в его голосе.

— Но не будем говорить. Позвони, я велю подать чаю. Да подожди, теперь не долго я...

Но вдруг она остановилась. Выражение ее лица мгновенно изменилось. Ужас и волнение вдруг заменились выражением тихого, серьезного и блаженного внимания. Он не мог понять значения этой перемены. Она слышала в себе движение новой жизни.

IV

Алексей Александрович после встречи у себя на крыльце с Вронским поехал, как и намерен был, в итальянскую оперу. Он отсидел там два акта и видел

внимательно осмотрел вешалку и, заметив, что военного пальто не было, по обыкновению, прошел к себе. Но, противно обыкновению, он не лег спать и проходил взад и вперед по своему кабинету до трех часов ночи. Чувство гнева на жену, не хотевшую соблюдать приличий и исполнять единственное поставленное ей условие — не принимать у себя своего любовника, не давало ему покоя. Она не исполнила его требования, и он должен наказать ее и привести в исполнение свою угрозу — требовать развода и отнять сына. Он знал все трудности, связанные с этим делом, но он сказал, что сделает это, и теперь он должен исполнить угрозу. Графиня Лидия Ивановна намекала ему, что это был лучший выход из его положения, и в последнее время практика разводов довела это дело до такого усовершенствования, что Алексей Александрович видел возможность преодолеть формальные трудности. Кроме того, беда одна не ходит, и дела об устройстве инородцев и об орошении полей Зарайской губернии навлекли на Алексея Александровича такие неприятности по службе, что он все это последнее время находился в крайнем раздражении. Он не спал всю ночь, и гнев его, увеличиваясь в какой-то огромной прогрессии, дошел к утру до крайних пределов. Он поспешно оделся и, как бы неся полную чашу гнева и боясь расплескать ее, боясь вместе с гневом утратить энергию, нужную ему для объяснения с женою, вошел к ней, как только узнал, что она встала. Анна, думавшая, что она так хорошо знает своего мужа, была поражена его видом, когда он вошел к ней. Лоб его был нахмурен, и глаза мрачно смотрели вперед себя, избегая ее взгляда; рот был твердо и презрительпо сжат. В походке, в движениях, в звуке голоса его была решительность и твердость, каких жена никогда не видала в нем. Он вошел в комнату и, не поздоровавшись с нею, прямо направился к ее письменному столу и, взяв ключи, отворил ящик. — Что вам нужно?! — вскрикнула она. — Письма вашего любовника, — сказал он. — Их здесь нет, — сказала она, затворяя ящик; но по этому движению он понял, что угадал верно, и, грубо оттолкнув ее руку, быстро схватил портфель, в котором он знал, что она клала самые нужные бумаги. Опа хотела вырвать портфель, но он оттолкнул ее. 388

внимательно осмотрел вешалку и, заметив, что военного пальто не было, по обыкновению, прошел к себе. Но, противно обыкновению, он не лег спать и проходил взад и вперед по своему кабинету до трех часов ночи. Чувство гнева на жену, не хотевшую соблюдать приличий и исполнять единственное поставленное ей условие — не принимать у себя своего любовника, не давало ему покоя. Она не исполнила его требования, и он должен наказать ее и привести в исполнение свою угрозу — требовать развода и отнять сына. Он знал все трудности, связанные с этим делом, но он сказал, что сделает это, и теперь он должен исполнить угрозу. Графиня Лидия Ивановна намекала ему, что это был лучший выход из его положения, и в последнее время практика разводов довела это дело до такого усовершенствования, что Алексей Александрович видел возможность преодолеть формальные трудности. Кроме того, беда одна не ходит, и дела об устройстве инородцев и об орошении полей Зарайской губернии навлекли на Алексея Александровича такие неприятности по службе, что он все это последнее время находился в крайнем раздражении.

Он не спал всю ночь, и гнев его, увеличиваясь в какой-то огромной прогрессии, дошел к утру до крайних пределов. Он поспешно оделся и, как бы неся полную чашу гнева и боясь расплескать ее, боясь вместе с гневом утратить энергию, нужную ему для объяснения с женою, вошел к ней, как только узнал, что она встала.

Анна, думавшая, что она так хорошо знает своего мужа, была поражена его видом, когда он вошел к ней. Лоб его был нахмурен, и глаза мрачно смотрели вперед себя, избегая ее взгляда; рот был твердо и презрительно сжат. В походке, в движениях, в звуке голоса его была решительность и твердость, каких жена никогда не видала в нем. Он вошел в комнату и, не поздоровавшись с нею, прямо направился к ее письменному столу и, взяв ключи, отворил ящик.

— Что вам нужно?! — вскрикнула она.

— Письма вашего любовника, — сказал он.

— Их здесь нет, — сказала она, затворяя ящик; но по этому движению он понял, что угадал верно, и, грубо

— Сядьте! мне нужно говорить с вами, — сказал он, положив портфель под мышку и так напряженно прижав его локтем, что плечо его поднялось. Она с удивлением и робостью молча глядела на него. — Я сказал вам, что не позволю вам принимать вашего любовника у себя. — Мне нужно было видеть его, чтоб... Она остановилась, не находя никакой выдумки. — Я не вхожу в подробности о том, для чего женш;ине нужно видеть любовника. — Я хотела, я только... — вспыхнув, сказала она. Эта его грубость раздражила ее и придала ей смелости. — Неужели вы не чувствуете, как вам легко оскорблять меня? — сказала она. — Оскорблять можно честного человека и честную женщину, но сказать вору, что он вор, есть только Ia constatation d’un fait К — Этой новой черты — жестокости я не знала еще в вас. — Вы называете жестокостью то, что муж предоставляет жене свободу, давая ей честный кров имени только под условием соблюдения приличий. Это жестокость? — Это хуже жестокости, это подлость, если уже вы хотите знать! — со взрывом злобы вскрикнула Анна и, встав, хотела уйти. — Нет! — закричал он своим пискливым голосом, который поднялся теперь еще нотой выше обыкновенного, и, схватив своими большими пальцами ее за руку так сильно, что красные следы остались на ней от браслета, который он прижал, насильно посадил ее на место. — Подлость? Если вы хотите употребить это слово, то подлость это то, чтобы бросить мужа, сына для любовника и есть хлеб мужа! Она нагнула голову. Она не только не сказала того, что она говорила вчера любовнику, что он ее муж, а муж лишний; она и не подумала этого. Она чувствовала всю справедливость его слов и только сказала тихо: — Вы не можете описать мое положение хуже того, как я сама его понимаю, но зачем вы говорите все это? — Зачем я говорю это? зачем? — продолжал он так же гневно. — Чтобы вы знали, что, так как вы нѳ ' установление факта (франц.). 389

— Сядьте! мне нужно говорить с вами, — сказал он, положив портфель под мышку и так напряженно прижав его локтем, что плечо его поднялось.

Она с удивлением и робостью молча глядела на него.

— Я сказал вам, что не позволю вам принимать вашего любовника у себя.

— Мне нужно было видеть его, чтоб...

Она остановилась, не находя никакой выдумки.

— Я не вхожу в подробности о том, для чего женщине нужно видеть любовника.

— Я хотела, я только... — вспыхнув, сказала она. Эта его грубость раздражила ее и придала ей смелости. — Неужели вы не чувствуете, как вам легко оскорблять меня? — сказала она.

— Оскорблять можно честного человека и честную женщину, но сказать вору, что он вор, есть только la constatation d'un fait [1].

— Этой новой черты — жестокости я не знала еще в вас.

— Вы называете жестокостью то, что муж предоставляет жене свободу, давая ей честный кров имени только под условием соблюдения приличий. Это жестокость?

— Это хуже жестокости, это подлость, если уже вы хотите знать! — со взрывом злобы вскрикнула Анна и, встав, хотела уйти.

— Нет! — закричал он своим пискливым голосом, который поднялся теперь еще нотой выше обыкновенного, и, схватив своими большими пальцами ее за руку так сильно, что красные следы остались на ней от браслета, который он прижал, насильно посадил ее на место. — Подлость? Если вы хотите употребить это слово, то подлость это то, чтобы бросить мужа, сына для любовника и есть хлеб мужа!

Она нагнула голову. Она не только не сказала того, что она говорила вчера любовнику, что *он* ее муж, а муж лишний; она и не подумала этого. Она чувствовала всю справедливость его слов и только сказала тихо:

— Вы не можете описать мое положение хуже того, как я сама его понимаю, но зачем вы говорите все это?

— Зачем я говорю это? зачем? — продолжал он так

исполнили моей воли относительно соблюдения приличий, я приму меры, чтобы положение это кончилось. — Скоро, скоро оно кончится и так, — проговорила она, и опять слезы при мысли о близкой, теперь желаемой смерти выступили ей на глаза. — Оно кончится скорее, чем вы придумали с своим любовником! Вам нужно удовлетворение животной страсти... — Алексей Александрович! Я не говорю, что это невеликодушно, но это непорядочно — бить лежачего. — Да, вы только себя помните, но страдания человека, который был вашим мужем, вам не интересны. Вам все равно, что вся жизнь его рушилась, что он пеле.««iiеде... пелестрадал. Алексей Александрович говорил так скоро, что он запутался и никак не мог выговорить этого слова. Ом выговорил его под конец пелестрадал. Ей стало смешно и тотчас стыдно за то, что ей могло быть что-нибудь смешно в такую минуту. И в первый раз опа па мгновение почувствовала за него, перенеслась в него, и ей жалко стало его. Но что ж она могла сказать или сделать? Опа опустила голову и молчала. Он тоже похмолчал несколько времени и заговорил потом уже менее пискливым, холодным голосом, подчеркивая произвольно избранные, не имеющие никакой особенной важности слова. — Я пришел вам сказать... — сказал он... Она взглянула на него. «Нет, это мне показалось, — подумала она, вспохминая выражение его лица, когда он запутался на слове пелестрадал, — пет, разве может человек с этими мутными глазами, с этим самодовольным спокойствием чувствовать что-нибудь?» — Я не могу ничего изменить, — прошептала она. — Я пришел вам сказать, что я завтра уезжаю в Москву и не вернусь более в этот дом, и вы будете иметь известие о моем решении чрез адвоката, которому я поручу дело развода. Сын же мой переедет к сестре, — сказал Алексей Александрович, с з^силием вспоминая то, что он хотел сказать о сыне. — Вам нужен Сережа, чтобы сделать мне больно, — проговорила она, исподлобья глядя на него. — Вы не любите его... Оставьте Сережу! — Да, я потерял даже любовь к сыну, потому что с ним связано мое отвращение к вам, Но я все-таки позьму его, Прощайте!

исполнили моей воли относительно соблюдения приличий, я приму меры, чтобы положение это кончилось.

— Скоро, скоро оно кончится и так, — проговорила она, и опять слезы при мысли о близкой, теперь желаемой смерти выступили ей на глаза.

— Оно кончится скорее, чем вы придумали с своим любовником! Вам нужно удовлетворение животной страсти...

— Алексей Александрович! Я не говорю, что это невеликодушно, но это непорядочно — бить лежачего.

— Да, вы только себя помните, но страдания человека, который был вашим мужем, вам не интересны. Вам все равно, что вся жизнь его рушилась, что он пеле... педе... пелестрадал.

Алексей Александрович говорил так скоро, что он запутался и никак не мог выговорить этого слова. Он выговорил его под конец *пелестрадал.* Ей стало смешно и тотчас стыдно за то, что ей могло быть что-нибудь смешно в такую минуту. И в первый раз она на мгновение почувствовала за него, перенеслась в него, и ей жалко стало его. Но что ж она могла сказать или сделать? Она опустила голову и молчала. Он тоже помолчал несколько времени и заговорил потом уже менее пискливым, холодным голосом, подчеркивая произвольно избранные, не имеющие никакой особенной важности слова.

— Я пришел вам сказать... — сказал он...

Она взглянула на него. «Нет, это мне показалось, — подумала она, вспоминая выражение его лица, когда он запутался на слове *пелестрадал,* — нет, разве может человек с этими мутными глазами, с этим самодовольным спокойствием чувствовать что-нибудь?»

— Я не могу ничего изменить, — прошептала она.

— Я пришел вам сказать, что я завтра уезжаю в Москву и не вернусь более в этот дом, и вы будете иметь известие о моем решении чрез адвоката, которому я поручу дело развода. Сын же мой переедет к сестре, — сказал Алексей Александрович, с усилием вспоминая то, что он хотел сказать о сыне.

— Вам нужен Сережа, чтобы сделать мне больно, — проговорила она, исподлобья глядя на него. — Вы не любите его... Оставьте Сережу!

и он хотел уйти, по теперь опа задержала его. — Алексей Александрович, оставьте Сережу! — прошептала опа еще раз. — Я более ничего не имею сказать. Оставьте Сережу до моих... Я скоро рожу, оставьте его! Алексей Александрович вспыхнул и, вырвав у нее руку, вышел молча из комнаты, V Приемная комната знаменитого петербургского адвоката была полна, когда Алексей Александрович вошел в нее. Три дамы: старушка, молодая и купчиха, три господина: один — банкир-немец с перстнем на пальце, другой — купец с бородой, и третий — сердитый чиновник в вицмундире, с крестом па шее, очевидно, давно ужѳ ждали. Два помощника писали на столах, скрипя перьями. Письменные принадлежности, до которых Алексой Александрович был охотник, были необыкновенно хороши, Алексей Александрович не мог не заметить этого. Один из помощников, не вставая, прищурившись, сердито обратился к Алексею Александровичу. — Что вам угодно? — Я имею дело до адвоката. — Адвокат занят, — строго отвечал помощник, указывая пером на дожидавшихся, и продолжал писать. — Не может ли он найти время? — сказал Алексей Александрович. — У него нет свободного времени, он всегда занят. Извольте подождать. — Так не потрудитесь ли подать мою карточку, — достойно сказал Алексей Александрович, видя необходимость открыть свое инкогнито. Помощник взял карточку и, очевидно но одобряя ео содержания, прошел в дверь. Алексей Александрович сочувствовал гласному суду в принципе, но некоторым подробностям его применения у нас он не вполне сочувствовал, по известным ему высшим служебным отношениям, и осуждал их, насколько он мог осуждать что-либо высочайше утвержденное. Вся жизнь его протекла в административной деятельности, и потому, когда он не сочувствовал чему-либо, то несочувствие его было смягчено признанием необходимости ошибок и возможности исправления в каждом деле. 391

И он хотел уйти, но теперь она задержала его.

— Алексей Александрович, оставьте Сережу! — прошептала она еще раз. — Я более ничего не имею сказать. Оставьте Сережу до моих... Я скоро рожу, оставьте его!

Алексей Александрович вспыхнул и, вырвав у нее руку, вышел молча из комнаты.

V

Приемная комната знаменитого петербургского адвоката была полна, когда Алексей Александрович вошел в нее. Три дамы: старушка, молодая и купчиха, три господина: один — банкир-немец с перстнем на пальце, другой — купец с бородой, и третий — сердитый чиновник в вицмундире, с крестом на шее, очевидно, давно уже ждали. Два помощника писали на столах, скрипя перьями. Письменные принадлежности, до которых Алексей Александрович был охотник, были необыкновенно хороши, Алексей Александрович не мог не заметить этого. Один из помощников, не вставая, прищурившись, сердито обратился к Алексею Александровичу.

— Что вам угодно?

— Я имею дело до адвоката.

— Адвокат занят, — строго отвечал помощник, указывая пером на дожидавшихся, и продолжал писать.

— Не может ли он найти время? — сказал Алексей Александрович.

— У него нет свободного времени, он всегда занят. Извольте подождать.

— Так не потрудитесь ли подать мою карточку, — достойно сказал Алексей Александрович, видя необходимость открыть свое инкогнито.

Помощник взял карточку и, очевидно не одобряя ее содержания, прошел в дверь.

Алексей Александрович сочувствовал гласному суду в принципе, но некоторым подробностям его применения у нас он не вполне сочувствовал, по известным ему высшим служебным отношениям, и осуждал их, насколько он мог осуждать что-либо высочайше утвержденное. Вся жизнь его протекла в административной деятельности,

в новых судебных учреждениях он не одобрял тех условий, в которые была поставлена адвокатура. Но он до сих пор не имел дела до адвокатуры и потому не одобрял ее только теоретически; теперь же неодобрение его еще усилилось тем неприятным впечатлением, которое он получил в приемной адвоката. — Сейчас выйдут, — сказал помощник; и действительно, чрез две минуты в дверях показалась длинная фигура старого правоведа, совещавшегося с адвокатом, и самого адвоката. Адвокат был маленький, коренастый, плешивый человек с черно-рыжеватою бородой, светлыми длинными бровями и нависшим лбом. Он был наряден, как жених, от галстука и цепочки двойной до лаковых ботинок. Лицо было умное, мужицкое, а наряд франтовской и дурного вкуса. — Пожалуйте, — сказал адвокат, обращаясь к Алексею Александровичу. И, мрачно пропустив мимо себя Каренина, он затворил дверь. — Не угодно ли? — Он указал на кресло у письменного, уложенного бумагами стола и сам сел на председательское место, потирая маленькие ручки с короткими, обросшими белыми волосами пальцами и склонив набок голову. Но только что он успокоился в своей позе, как над столом пролетела моль. Адвокат с быстротой, которой нельзя было ожидать от него, рознял руки, поймал моль и опять привял прежнее положение. — Прежде чем начать говорить о моем деле, — сказал Алексей Александрович, с удивлением проследив глазами за движением адвоката, — я должен заметить, что дело, о котором я имею говорить с вами, должно быть тайной. Чуть заметная улыбка раздвинула рыжеватые нависшие усы адвоката. — Я бы не был адвокатом, если бы не мог сохранять те тайны, которые вверены мне. Но если вам угодно подтверждение... Алексей Александрович взглянул в его лицо и увидал, что серые умные глаза смеются и все уж знают. — Вы знаете мою фамилию? — продолжал Алексей Александрович. — Знаю вас и вашу полезную, — опять он поймал моль, — деятельность, как и всякий русский, — сказал адвокат, наклонившись. 392

В новых судебных учреждениях он не одобрял тех условий, в которые была поставлена адвокатура. Но он до сих пор не имел дела до адвокатуры и потому не одобрял ее только теоретически; теперь же неодобрение его еще усилилось тем неприятным впечатлением, которое он получил в приемной адвоката.

— Сейчас выйдут, — сказал помощник; и действительно, чрез две минуты в дверях показалась длинная фигура старого правоведа, совещавшегося с адвокатом, и самого адвоката.

Адвокат был маленький, коренастый, плешивый человек с черно-рыжеватою бородой, светлыми длинными бровями и нависшим лбом. Он был наряден, как жених, от галстука и цепочки двойной до лаковых ботинок. Лицо было умное, мужицкое, а наряд франтовской и дурного вкуса.

— Пожалуйте, — сказал адвокат, обращаясь к Алексею Александровичу. И, мрачно пропустив мимо себя Каренина, он затворил дверь.

— Не угодно ли? — Он указал на кресло у письменного, уложенного бумагами стола и сам сел на председательское место, потирая маленькие ручки с короткими, обросшими белыми волосами пальцами и склонив набок голову. Но только что он успокоился в своей позе, как над столом пролетела моль. Адвокат с быстротой, которой нельзя было ожидать от него, рознял руки, поймал моль и опять принял прежнее положение.

— Прежде чем начать говорить о моем деле, — сказал Алексей Александрович, с удивлением проследив глазами за движением адвоката, — я должен заметить, что дело, о котором я имею говорить с вами, должно быть тайной.

Чуть заметная улыбка раздвинула рыжеватые нависшие усы адвоката.

— Я бы не был адвокатом, если бы не мог сохранять те тайны, которые вверены мне. Но если вам угодно подтверждение...

Алексей Александрович взглянул в его лицо и увидал, что серые умные глаза смеются и все уж знают.

— Вы знаете мою фамилию? — продолжал Алексей Александрович.

— Знаю вас и вашу полезную. — опять он поймал

Алексей Александрович вздохнул, собираясь с духом. Но, раз решившись, он уже продолжал своим пискливым голосом, не робея, не запинаясь и подчеркивая некоторые слова. — Я имею несчастие, — начал Алексей Александрович, — быть обманутым мужем и желаю законно разорвать сношения с женою, то есть развестись, но притом так, чтобы сын не оставался с матерью. Серые глаза адвоката старались не смеяться, но они прыгали от неудержимой радости, и Алексей Александрович видел, что тут была не одна радость человека, получаюпі;его выгодный заказ, — тут было торжество и восторг, был блеск, похожий на тот зловеп];ий блеск, который он видал в глазах жены. — Вы желаете моего содействия для совершения развода? — Именно, но я должен предупредить вас, — сказал Алексей Александрович, — что я рискую злоупотребить вашим вниманием. Я приехал только предварительно посоветоваться с вами. Я желаю развода, но для меня важны формы, при которых он возможен. Очень может быть, что, если формы не совпадут с моими требованиями, я откажусь от законного искания. — О, это всегда так, — сказал адвокат, — и это всегда в вашей воле. Адвокат опустил глаза на ноги Алексея Александровича, чувствуя, что они видом своей неудержимой радости могут оскорбить клиента, и посмотрел на моль, пролетевшую пред его носом, и дернулся рукой, но не поймал ее из уважения к положению Алексея Александровича. — Хотя в общих чертах наши законоположения об этом предмете мне известны, — продолжал Алексей Александрович, — я бы желал знать вообще те формы, в которых на практике совершаются подобного рода дела. — Вы желаете, — не поднимая глаз, отвечал адвокат, не без удовольствия входя в тон речи своего клиента, — чтобы я изложил вам те пути, по которым возможно исполнение вашего желания. И на подтвердительное наклонение головы он продолжал, изредка взглядывая только мельком на покрасневшее пятнами лицо Алексея Александровича. — Развод по нашим законам, — сказал он с легким оттенком неодобрения к нашим законам, — возможен, как вам известно, в следующих случаях... Подождать! — 393

Алексей Александрович вздохнул, собираясь с духом. Но, раз решившись, он уже продолжал своим пискливым голосом, не робея, не запинаясь и подчеркивая некоторые слова.

— Я имею несчастие, — начал Алексей Александрович, — быть обманутым мужем и желаю законно разорвать сношения с женою, то есть развестись, но притом так, чтобы сын не оставался с матерью.

Серые глаза адвоката старались не смеяться, но они прыгали от неудержимой радости, и Алексей Александрович видел, что тут была не одна радость человека, получающего выгодный заказ, — тут было торжество и восторг, был блеск, похожий на тот зловещий блеск, который он видал в глазах жены.

— Вы желаете моего содействия для совершения развода?

— Именно, но я должен предупредить вас, — сказал Алексей Александрович, — что я рискую злоупотребить вашим вниманием. Я приехал только предварительно посоветоваться с вами. Я желаю развода, но для меня важны формы, при которых он возможен. Очень может быть, что, если формы не совпадут с моими требованиями, я откажусь от законного искания.

— О, это всегда так, — сказал адвокат, — и это всегда в вашей воле.

Адвокат опустил глаза на ноги Алексея Александровича, чувствуя, что они видом своей неудержимой радости могут оскорбить клиента, и посмотрел на моль, пролетевшую пред его носом, и дернулся рукой, но не поймал ее из уважения к положению Алексея Александровича.

— Хотя в общих чертах наши законоположения об этом предмете мне известны, — продолжал Алексей Александрович, — я бы желал знать вообще те формы, в которых на практике совершаются подобного рода дела.

— Вы желаете, — не поднимая глаз, отвечал адвокат, не без удовольствия входя в тон речи своего клиента, — чтобы я изложил вам те пути, по которым возможно исполнение вашего желания.

И на подтвердительное наклонение головы он продолжал, изредка взглядывая только мельком на покрасневшее пятнами лицо Алексея Александровича.

— Развод, по нашим законам, — сказал он с легким

обратился он к высунувшемуся в дверь помосднику, но все-таки встал, сказал несколько слов и сел опять. — В следующих случаях: физические недостатки супругов, затем безвестная пятилетняя отлучка, — сказал он, загнув поросший волосами короткий палец, — затем прелюбодеяние (это слово он произнес с видимым удовольствием). Подразделения следующие (он продолжал загибать свои толстые пальцы, хотя случаи и подразделения, очевидно, не могли быть классифицированы вместе): физические недостатки мужа или жены, затем прелюбодеяние мужа или жены. — Так как все пальцы вышли, он их все разогнул и продолжал: — Это взгляд теоретический, но я полагаю, что вы сделали мне честь обратиться ко мне для того, чтоб узнать практическое приложение. И потому, руководствуясь антецедентами, я должен доложить вам, что случаи разводов все приходят к следующим: физических недостатков нет, как я могу понимать? и также безвестного отсутствия?.. Алексей Александрович утвердительно склонил голову. — Приходят к следующим: прелюбодеяние одного из супругов и уличение преступной стороны по взаимному соглашению и, помимо такого соглашения, уличение невольное. Должен сказать, что последний случай редко встречается в практике, — сказал адвокат и, мельком взглянув на Алексея Александровича, замолк, как продавец пистолетов, описавший выгоды того и другого оружия и ожидающий выбора своего покупателя. Но Алексей Александрович молчал, и потому адвокат продолжал: — Самое обычное и простое, разумное, я считаю, есть прелюбодеяние по взаимному соглашению. Я бы не позволил себе так выразиться, говоря с человеком неразвитым, — сказал адвокат, — но полагаю, что для вас это понятно. Алексей Александрович был, однако, так расстроен, что не сразу понял разумность прелюбодеяния по взаимному соглашению и выразил это недоумение в своем взгляде; но адвокат тотчас же помог ему: — Люди не могут более жить вместе — вот факт. II если оба в этом согласны, то подробности и формальности становятся безразличны. А с тем вместе это есть простейшее и вернейшее средство. Алексей Александрович вполне понял теперь. Но у пего были религиозные требования, которые мешали допущению этой меры. 394

обратился он к высунувшемуся в дверь помощнику, но все-таки встал, сказал несколько слов и сел опять. — В следующих случаях: физические недостатки супругов, затем безвестная пятилетняя отлучка, — сказал он, загнув поросший волосами короткий палец, — затем прелюбодеяние (это слово он произнес с видимым удовольствием). Подразделения следующие (он продолжал загибать свои толстые пальцы, хотя случаи и подразделения, очевидно, не могли быть классифицированы вместе): физические недостатки мужа или жены, затем прелюбодеяние мужа или жены. — Так как все пальцы вышли, он их все разогнул и продолжал: — Это взгляд теоретический, но я полагаю, что вы сделали мне честь обратиться ко мне для того, чтоб узнать практическое приложение. И потому, руководствуясь антецедентами, я должен доложить вам, что случаи разводов все приходят к следующим: физических недостатков нет, как я могу понимать? и также безвестного отсутствия?..

Алексей Александрович утвердительно склонил голову.

— Приходят к следующим: прелюбодеяние одного из супругов и уличение преступной стороны по взаимному соглашению и, помимо такого соглашения, уличение невольное. Должен сказать, что последний случай редко встречается в практике, — сказал адвокат и, мельком взглянув на Алексея Александровича, замолк, как продавец пистолетов, описавший выгоды того и другого оружия и ожидающий выбора своего покупателя. Но Алексей Александрович молчал, и потому адвокат продолжал: — Самое обычное и простое, разумное, я считаю, есть прелюбодеяние по взаимному соглашению. Я бы не позволил себе так выразиться, говоря с человеком неразвитым, — сказал адвокат, — но полагаю, что для вас это понятно.

Алексей Александрович был, однако, так расстроен, что не сразу понял разумность прелюбодеяния по взаимному соглашению и выразил это недоумение в своем взгляде; но адвокат тотчас же помог ему:

— Люди не могут более жить вместе — вот факт. И если оба в этом согласны, то подробности и формальности становятся безразличны. А с тем вместе это есть простейшее и вернейшее средство.

— Это вне вопроса в настоящем случае, — сказал он. — Тут только один случай возможен: уличение невольное, подтвержденное письмами, которые я имею. При упоминании о письмах адвокат поджал губы и произвел тонкий соболезнующий и презрительный звук. — Изволите видеть, — начал он. — Дела этого рода решаются, как вам известно, духовным ведомством; отцы же протопопы в делах этого рода большие охотники до мельчайших подробностей, — сказал он с улыбкой, показывающей сочувствие вкусу протопопов. — Письма, без сомнения, могут подтвердить отчасти; но улики должны быть добыты прямым путем, то есть свидетелями. Вообще же, если вы сделаете мне честь удостоить меня своим доверием, предоставьте мне же выбор тех мер, которые должны быть употреблены. Кто хочет результата, тот допускает и средства. — Если так... — вдруг побледнев, начал Алексей Александрович, но в это время адвокат встал и опять вышел к двери к перебивавшему его помощнику. — Скажите ей, что мы не на дешевых товарах! — сказал он и возвратился к Алексею Александровичу. Возвращаясь к месту, он поймал незаметно еще одну моль. «Хорош будет мой трип к лету!» — подумал он, хмурясь. — Итак, вы изволили говорить... — сказал он. — Я сообщу вам свое решение письменно, — сказал Алексей Александрович, вставая, и взялся за стол. Постояв немного молча, он сказал: — Из слов ваших я могу заключить, следовательно, что совершение развода возможно. Я просил бы вас сообщить мне также, какие ваши условия. — Возможно все, если вы предоставите мне полную свободу действий, — не отвечая на вопрос, сказал адвокат. — Когда я могу рассчитывать получить от вас известия? — спросил адвокат, подвигаясь к двери и блестя и глазами и лаковыми сапожками. — Через неделю. Ответ же ваш о том, принимаете ли вы на себя ходатайство по этому делу и на каких условиях, вы будете так добры, сообщите мне. — Очень хорошо-с. Адвокат почтительно поклонился, выпустил из двери клиента и, оставшись один, отдался своему радостному чувству. Ему стало так весело, что он, противно своим 395

— Это вне вопроса в настоящем случае, — сказал он. — Тут только один случай возможен: уличение невольное, подтвержденное письмами, которые я имею.

При упоминании о письмах адвокат поджал губы и произвел тонкий соболезнующий и презрительный звук.

— Изволите видеть, — начал он. — Дела этого рода решаются, как вам известно, духовным ведомством; отцы же протопопы в делах этого рода большие охотники до мельчайших подробностей, — сказал он с улыбкой, показывающей сочувствие вкусу протопопов. — Письма, без сомнения, могут подтвердить отчасти; но улики должны быть добыты прямым путем, то есть свидетелями. Вообще же, если вы сделаете мне честь удостоить меня своим доверием, предоставьте мне же выбор тех мер, которые должны быть употреблены. Кто хочет результата, тот допускает и средства.

— Если так... — вдруг побледнев, начал Алексей Александрович, но в это время адвокат встал и опять вышел к двери к перебивавшему его помощнику.

— Скажите ей, что мы не на дешевых товарах! — сказал он и возвратился к Алексею Александровичу.

Возвращаясь к месту, он поймал незаметно еще одну моль. «Хорош будет мой трип к лету!» — подумал он, хмурясь.

— Итак, вы изволили говорить... — сказал он.

— Я сообщу вам свое решение письменно, — сказал Алексей Александрович, вставая, и взялся за стол. Постояв немного молча, он сказал: — Из слов ваших я могу заключить, следовательно, что совершение развода возможно. Я просил бы вас сообщить мне также, какие ваши условия.

— Возможно все, если вы предоставите мне полную свободу действий, — не отвечая на вопрос, сказал адвокат. — Когда я могу рассчитывать получить от вас известия? — спросил адвокат, подвигаясь к двери и блестя и глазами и лаковыми сапожками.

— Через неделю. Ответ же ваш о том, принимаете ли вы на себя ходатайство по этому делу и на каких условиях, вы будете так добры, сообщите мне.

— Очень хорошо-с.

правилам, сделал уступку торговавшейся барыне и перестал ловить моль, окончательно решив, что к будущей зиме надо перебить мебель бархатом, как у Сигонина. VI Алексей Александрович одержал блестящую победу в заседании комиссии семнадцатого августа, но последствия этой победы подрезали его. Новая комиссия для исследования во всех отношениях быта инородцев была составлена и отправлена на место с необычайною, возбуждаемою Алексеем Александровичем быстротой и энергией. Через три месяца был представлен отчет. Быт инородцев был исследован в политическом, административном, экономическом, этнографическом, материальном и религиозном отношениях. На все вопросы были прекрасно изложены ответы, и ответы, не подлежавшие сомнению, так как они не были произведением всегда подверженной ошибкам человеческой мысли, но все были произведением служебной деятельности. Ответы все были результатами официальных данных, донесений губернаторов и архиереев, основанных на донесениях уездных начальников и благочинных, основанных, с своей стороны, на донесениях волостных правлений и приходских священников; и потому все эти ответы были несомненны. Все те вопросы о том, например, почему бывают неурожаи, почему жители держатся своих верований и т. п., вопросы, которые без удобства служебной машины не разрешаются и не могут быть разрешены веками, получили ясное, несомненное разрешение. И решение было в пользу мнения Алексея Александровича. Но Стремов, чувствуя себя задетым за живое в последнем заседании, употребил при получении донесений комиссии неожиданную Алексеем Александровичем тактику. Стремов, увлекши за собой некоторых других членов, вдруг перешел на сторону Алексея Александровича и с НîароМ не только защищал приведение в действие мер, предлагаемых Карениным, но и предлагал другие крайние в том же духе. Меры эти, усиленные еще против того, что было основною мыслью Алексея Александровича, были приняты, и тогда обнажилась тактика Стремова. Меры эти, доведенные до крайности, вдруг оказались так глупы, что в одно и то же время и государст396

правилам, сделал уступку торговавшейся барыне и перестал ловить моль, окончательно решив, что к будущей зиме надо перебить мебель бархатом, как у Сигонина.

VI

Алексей Александрович одержал блестящую победу в заседании комиссии семнадцатого августа, но последствия этой победы подрезали его. Новая комиссия для исследования во всех отношениях быта инородцев была составлена и отправлена на место с необычайною, возбуждаемою Алексеем Александровичем быстротой и энергией. Через три месяца был представлен отчет. Быт инородцев был исследован в политическом, административном, экономическом, этнографическом, материальном и религиозном отношениях. На все вопросы были прекрасно изложены ответы, и ответы, не подлежавшие сомнению, так как они не были произведением всегда подверженной ошибкам человеческой мысли, но все были произведением служебной деятельности. Ответы все были результатами официальных данных, донесений губернаторов и архиереев, основанных на донесениях уездных начальников и благочинных, основанных, с своей стороны, на донесениях волостных правлений и приходских священников; и потому все эти ответы были несомненны. Все те вопросы о том, например, почему бывают неурожаи, почему жители держатся своих верований и т. п., вопросы, которые без удобства служебной машины не разрешаются и не могут быть разрешены веками, получили ясное, несомненное разрешение. И решение было в пользу мнения Алексея Александровича. Но Стремов, чувствуя себя задетым за живое в последнем заседании, употребил при получении донесений комиссии неожиданную Алексеем Александровичем тактику. Стремов, увлекши за собой некоторых других членов, вдруг перешел на сторону Алексея Александровича и с жаром не только защищал приведение в действие мер, предлагаемых Карениным, но и предлагал другие крайние в том же духе. Меры эти, усиленные еще против того, что было основною мыслью Алексея Александро-

венные люди, и общественное мнение, и умные дамы, и газеты — все обрушилось на эти меры, выражая свое негодование и против самих мер, и против их признанного отца, Алексея Александровича. Стремов же отстранился, делая вид, что он только слепо следовал плану Каренина и теперь сам удивлен и возмущен тем, что сделано. Это подрезало Алексея Александровича. Но, несмотря на падающее здоровье, несмотря на семейные горести, Алексей Александрович не сдавался. В комиссии произошел раскол. Одни члены со Стремовым во главе оправдывали свою ошибку тем, что они поверили ревизионной, руководимой Алексеем Александровичем комиссии, представившей донесение, и говорили, что донесение этой комиссии есть вздор и только исписанная бумага. Алексей Александрович с партией людей, видевших опасность такого революционного отношения к бумагам, продолжал поддерживать данные, выработанные ревизионною комиссией. Вследствие этого в высших сферах и даже в обществе все спуталось, и, несмотря на то, что всех это крайне интересовало, никто не мог понять действительно ли бедствуют и погибают инородцы, или процветают. Положение Алексея Александровича вследствие этого и отчасти вследствие павшего на него презрения за неверность его жены стало весьма шатко. И в этом положении Алексей Александрович принял важное решение. Он, к удивлению комиссии, объявил, что он будет просить разрешения самому ехать на место для исследования дела. И, испросив разрешение, Алексей Александрович отправился в дальние губернии. Отъезд Алексея Александровича наделал много шума, тем более что он при самом отъезде официально возвратил при бумаге прогонные деньги, выданные ему на двенадцать лошадей для проезда до места назначения. — Я нахожу, что это очень благородно, — говорила про это Бетси с княгиней Мягкою. — Зачем выдавать на почтовых лошадей, когда все знают, что везде теперь железные дороги? Но княгиня Мягкая была несогласна, и мнение княгини Тверской даже раздражило ее. — Вам хорошо говорить, — сказала она, — когда у вас миллионы я не знаю какие, а я очень люблю, когда муж ездит ревизовать летом. Ему очень здорово и приятно проехаться, а у меня уж так заведено, что на эти деньги у меня экипаж и извозчик содержатся. 397

венные люди, и общественное мнение, и умные дамы, и газеты — все обрушилось на эти меры, выражая свое негодование и против самих мер, и против их признанного отца, Алексея Александровича. Стремов же отстранился, делая вид, что он только слепо следовал плану Каренина и теперь сам удивлен и возмущен тем, что сделано. Это подрезало Алексея Александровича. Но, несмотря на падающее здоровье, несмотря на семейные горести, Алексей Александрович не сдавался. В комиссии произошел раскол. Одни члены со Стремовым во главе оправдывали свою ошибку тем, что они поверили ревизионной, руководимой Алексеем Александровичем комиссии, представившей донесение, и говорили, что донесение этой комиссии есть вздор и только исписанная бумага. Алексей Александрович с партией людей, видевших опасность такого революционного отношения к бумагам, продолжал поддерживать данные, выработанные ревизионною комиссией. Вследствие этого в высших сферах и даже в обществе все спуталось, и, несмотря на то, что всех это крайне интересовало, никто не мог понять действительно ли бедствуют и погибают инородцы, или процветают. Положение Алексея Александровича вследствие этого и отчасти вследствие павшего на него презрения за неверность его жены стало весьма шатко. И в этом положении Алексей Александрович принял важное решение. Он, к удивлению комиссии, объявил, что он будет просить разрешения самому ехать на место для исследования дела. И, испросив разрешение, Алексей Александрович отправился в дальние губернии.

Отъезд Алексея Александровича наделал много шума, тем более что он при самом отъезде официально возвратил при бумаге прогонные деньги, выданные ему на двенадцать лошадей для проезда до места назначения.

— Я нахожу, что это очень благородно, — говорила про это Бетси с княгиней Мягкою. — Зачем выдавать на почтовых лошадей, когда все знают, что везде теперь железные дороги?

Но княгиня Мягкая была несогласна, и мнение княгини Тверской даже раздражило ее.

— Вам хорошо говорить, — сказала она, — когда у вас миллионы я не знаю какие, а я очень люблю, ко-

проездом в дальние губернии Алексей Александрович остановился на три дня в Москве. На другой день своего приезда он поехал с визитом к генерал-губернатору. На перекрестке у Газетного переулка, где всегда толпятся экипажи и извозчики, Алексей Александрович вдруг услыхал свое имя, выкрикиваемое таким громким и веселым голосом, что он не мог не оглянуться. На углу тротуара, в коротком модном пальто, с короткою модною шляпою набекрень, сияя улыбкой белых зуб между красными губами, веселый, молодой, сияюш;ий, стоял Степан Аркадьич, решительно и настоятельно кричавший и требовавший остановки. Он держался одною рукой за окно остановившейся на углу кареты, из окна которой высовывались женская голова в бархатной шляпе и две детские головки, и улыбался и манил рукой зятя. Дама улыбалась доброю улыбкой и тоже махала рукой Алексею Александровичу. Это была Долли с детьми. Алексей Александрович никого не хотел видеть в Москве, а менее всего брата своей жены. Он приподнял шляпу и хотел проехать, но Степан Аркадьич велел его кучеру остановиться и подбежал к нему чрез снег. — Пу как не грех не прислать сказать! Давно ли? А я вчера был у Дюссо и вижу на доске «Каренин», а мне и в голову не пришло, что это ты! — говорил Степан Аркадьич, всовываясь с головой в окно кареты. — А то я бы зашел. Как я рад тебя видеть! — говорил он, похлопывая ногу об ногу, чтобы отряхнуть с них снег. — Как не грех не дать знать! — повторил он. — Мне некогда было, я очень занят, — сухо ответил Алексей Александрович. — Пойдем же к жене, она так хочет тебя видеть. Алексей Александрович развернул плед, под которым были закутаны его зябкие ноги, и, вылезши из кареты, пробрался чрез снег к Дарье Александровне. — Что же это, Алексей Александрович, за что вы нас так обходите? — сказала Долли, грустно улыбаясь. — Я очень занят был. Очень рад вас видеть, — сказал он тоном, который ясно говорил, что он огорчен этим. — Как ваше здоровье? — Ну, что моя милая Анна? Алексей Александрович промычал что-то и хотел уйти. Но Степан Аркадьич остановил его. т

Проездом в дальние губернии Алексей Александрович остановился на три дня в Москве.

На другой день своего приезда он поехал с визитом к генерал-губернатору. На перекрестке у Газетного переулка, где всегда толпятся экипажи и извозчики, Алексей Александрович вдруг услыхал свое имя, выкрикиваемое таким громким и веселым голосом, что он не мог не оглянуться. На углу тротуара, в коротком модном пальто, с короткою модною шляпою набекрень, сияя улыбкой белых зуб между красными губами, веселый, молодой, сияющий, стоял Степан Аркадьич, решительно и настоятельно кричавший и требовавший остановки. Он держался одною рукой за окно остановившейся на углу кареты, из окна которой высовывались женская голова в бархатной шляпе и две детские головки, и улыбался и манил рукой зятя. Дама улыбалась доброю улыбкой и тоже махала рукой Алексею Александровичу. Это была Долли с детьми.

Алексей Александрович никого не хотел видеть в Москве, а менее всего брата своей жены. Он приподнял шляпу и хотел проехать, но Степан Аркадьич велел его кучеру остановиться и подбежал к нему чрез снег.

— Ну как не грех не прислать сказать! Давно ли? А я вчера был у Дюссо и вижу на доске «Каренин», а мне и в голову не пришло, что это ты! — говорил Степан Аркадьич, всовываясь с головой в окно кареты. — А то я бы зашел. Как я рад тебя видеть! — говорил он, похлопывая ногу об ногу, чтобы отряхнуть с них снег. — Как не грех не дать знать! — повторил он.

— Мне некогда было, я очень занят, — сухо ответил Алексей Александрович.

— Пойдем же к жене, она так хочет тебя видеть.

Алексей Александрович развернул плед, под которым были закутаны его зябкие ноги, и, вылезши из кареты, пробрался чрез снег к Дарье Александровне.

— Что же это, Алексей Александрович, за что вы нас так обходите? — сказала Долли, грустно улыбаясь.

— Я очень занят был. Очень рад вас видеть, — сказал он тоном, который ясно говорил, что он огорчен этим. — Как ваше здоровье?

— А вот что мы сделаем завтра. Долли, зови его обедать! Позовем Кознышева и Песцова, чтоб его угостить московскою интеллигенцией. — Так, пожалуйста, приезжайте, — сказала Долли, — мы вас будем ждать в пять, шесть часов, если хотите. Ну, что моя милая Анна? Как давно... — Она здорова, — хмурясь, промычал Алексей Александрович. — Очень рад! — и он направился к своей карете. — Будете? — прокричала Долли. Алексей Александрович проговорил что-то, чего Долли не могла расслышать в шуме двигавшихся экипажей. — Я завтра заеду! — прокричал ему Степан Аркадьич. Алексей Александрович сел в карету и углубился в нее так, чтобы не видать и не быть видимым. — Чудак! — сказал Степан Аркадьич жене и, взглянув на часы, сделал пред лицом движение рукой, означающее ласку жене и детям, и молодецки пошел по тротуару. — Стива! Стива! — закричала Долли, покраснев. Он обернулся. Мне ведь нужно пальто Грише купить и Тане, Дай же мне денег! — Ничего, ты скажи, что я отдам, — и он скрылся, весело кивнув головой проезжавшему знакомому. VII На другой день было воскресенье. Степан Аркадьич заехал в Большой театр на репетицию балета и передал Маше Чибисовой, хорошенькой, вновь поступившей по его протекции танцовщице, обещанные накануне коральки, и за кулисой, в дневной темноте театра, успел поцеловать ее хорошенькое, просиявшее от подарка личико. Кроме подарка кораллов, ему нужно было условиться с ней о свидании после балета. Объяснив ей, что ему нельзя быть к началу балета, он обещался, что приедет к последнему акту и свезет ее ужинать. Из театра Степан Аркадьич заехал в Охотный ряд, сам выбрал рыбу и спаржу к обеду и в двенадцать часов был уже у Дюссо, где ему нужно было быть у троих, всех трех, как на его счастье, стоявших в одной гостинице: у Левина, остановившегося тут и недавно приехавшего изза границы, у нового своего начальника, только что 399

— А вот что мы сделаем завтра. Долли, зови его обедать! Позовем Кознышева и Песцова, чтоб его угостить московскою интеллигенцией.

— Так, пожалуйста, приезжайте, — сказала Долли, — мы вас будем ждать в пять, шесть часов, если хотите. Ну, что моя милая Анна? Как давно...

— Она здорова, — хмурясь, промычал Алексей Александрович. — Очень рад! — и он направился к своей карете.

— Будете? — прокричала Долли.

Алексей Александрович проговорил что-то, чего Долли не могла расслышать в шуме двигавшихся экипажей.

— Я завтра заеду! — прокричал ему Степан Аркадьич.

Алексей Александрович сел в карету и углубился в нее так, чтобы не видать и не быть видимым.

— Чудак! — сказал Степан Аркадьич жене и, взглянув на часы, сделал пред лицом движение рукой, означающее ласку жене и детям, и молодецки пошел по тротуару.

— Стива! Стива! — закричала Долли, покраснев.

Он обернулся.

— Мне ведь нужно пальто Грише купить и Тане. Дай же мне денег!

— Ничего, ты скажи, что я отдам, — и он скрылся, весело кивнув головой проезжавшему знакомому.

VII

На другой день было воскресенье. Степан Аркадьич заехал в Большой театр на репетицию балета и передал Маше Чибисовой, хорошенькой, вновь поступившей по его протекции танцовщице, обещанные накануне коральки, и за кулисой, в дневной темноте театра, успел поцеловать ее хорошенькое, просиявшее от подарка личико. Кроме подарка кораллов, ему нужно было условиться с ней о свидании после балета. Объяснив ей, что ему нельзя быть к началу балета, он обещался, что приедет к последнему акту и свезет ее ужинать. Из театра Степан Аркадьич заехал в Охотный ряд, сам выбрал рыбу и спаржу к обеду и в двенадцать часов был уже у Дюссо, где ему нужно было быть у троих, всех трех,

поступившего на это высшее место и ревизовавшего Москву, и у зятя Каренина, чтобы его непременно привезти обедать. Степан Аркадьич любил пообедать, но еш;е более любил дать обед, небольшой, но утонченный и по еде, и питью, и по выбору гостей. Программа нынешнего обеда ему очень понравилась: будут окуни живые, спаржа и Ia pièce de résistance ^ — чудесный, но простой ростбиф и сообразные вины: это из еды и питья. А из гостей будут Кити и Левин, и, чтобы незаметно это было, будет еще кузина и Щербацкий молодой, и Ia pièce de résistance из гостей — Кознышев Сергей и Алексей Александрович. Сергей Иванович — москвич и философ, Алексей Александрович — петербуржец и практик; да позовет еще известного чудака энтузиаста Песцова, либерала, говоруна, музыканта, историка и милейшего пятидесятилетнего юношу, который будет соус или гарнир к Кознышеву и Каренину. Он будет раззадоривать и стравливать их. Деньги от купца за лес по второму сроку были получены и еще не издержаны, Долли была очень мила и добра последнее время, и мысль этого обеда во всех отношениях радовала Степана Аркадьича. Он находился в самом веселом располоя^ении духа. Были два обстоятельства немножко неприятные; но оба эти обстоятельства тонули в море добродушного веселья, которое волновалось в душе Степана Аркадьича. Эти два обстоятельства были: первое то, что вчера он, встретив на улице Алексея Александровича, заметил, что он сух и строг с ним, и, сведя это выражение лица Алексея Александровича и то, что он не приехал к ним и не дал знать о себе, с теми толками, которые он слышал об Анне и Вронском, Степан Аркадьич догадывался, что что-то но ладно между мужем и женою. Это было одно неприятное. Другое немножко неприятное было то, что новый начальник, как все новые начальники, имел уж репутацию страшного человека, встающего в шесть часов утра, работающего, как лошадь, и требующего такой же работы от подчиненных. Кроме того, новый начальник этот еще имел репутацию медведя в обращении и был, по слухам, человек совершенно противоположного направления тому, к которому принадлежал прежний начальник и до сих пор принадлежал сам ^ главное блюдо (франц.). 400

поступившего на это высшее место и ревизовавшего Москву, и у зятя Каренина, чтобы его непременно привезти обедать.

Степан Аркадьич любил пообедать, но еще более любил дать обед, небольшой, но утонченный и по еде, и питью, и по выбору гостей. Программа нынешнего обеда ему очень понравилась: будут окуни живые, спаржа и la pièce de résistance[1] — чудесный, но простой ростбиф и сообразные вины: это из еды и питья. А из гостей будут Кити и Левин, и, чтобы незаметно это было, будет еще кузина и Щербацкий молодой, и la pièce de résistance из гостей — Кознышев Сергей и Алексей Александрович. Сергей Иванович — москвич и философ, Алексей Александрович — петербуржец и практик; да позовет еще известного чудака энтузиаста Песцова, либерала, говоруна, музыканта, историка и милейшего пятидесятилетнего юношу, который будет соус или гарнир к Кознышеву и Каренину. Он будет раззадоривать и стравливать их.

Деньги от купца за лес по второму сроку были получены и еще не издержаны, Долли была очень мила и добра последнее время, и мысль этого обеда во всех отношениях радовала Степана Аркадьича. Он находился в самом веселом расположении духа. Были два обстоятельства немножко неприятные; но оба эти обстоятельства тонули в море добродушного веселья, которое волновалось в душе Степана Аркадьича. Эти два обстоятельства были: первое то, что вчера он, встретив на улице Алексея Александровича, заметил, что он сух и строг с ним, и, сведя это выражение лица Алексея Александровича и то, что он не приехал к ним и не дал знать о себе, с теми толками, которые он слышал об Анне и Вронском, Степан Аркадьич догадывался, что что-то не ладно между мужем и женою.

Это было одно неприятное. Другое немножко неприятное было то, что новый начальник, как все новые начальники, имел уж репутацию страшного человека, встающего в шесть часов утра, работающего, как лошадь, и требующего такой же работы от подчиненных. Кроме того, новый начальник этот еще имел репутацию медведя в обращении и был, по слухам, человек совершенно противоположного направления тому, к которому принад-

Степан Аркадьич. Вчера Степан Аркадьич являлся по службе в мундире, и новый начальник был очень любезен и разговорился с Облонским, как с знакомым; поэтому Степан Аркадьич считал своею обязанностью сделать ему визит в сюртуке. Мысль о том, что новый начальник может нехорошо принять его, было это другое неприятное обстоятельство. Но Степан Аркадьич инстинктивно чувствовал, что все образуется прекрасно. «Все люди, все человеки, как и мы грешные: из чего злиться и ссориться?» — думал он, входя в гостиницу. — Здорово, Василий, — говорил он, в шляпе набекрень проходя по коридору и обрагцаясь к знакомому лакею, — ты бакенбарды отпустил? Левин — седьмой нумер, а? Проводи, пояшлуйста. Да узнай, граф Аничкин (это был новый начальник) примет ли? — Слушаю-с, — улыбаясь, отвечал Василий. — Давно к нам не жаловали. — Я вчера был, только с другого подъезда. Это седьмой? Левин стоял с тверским мужиком посредине номера и мерил аршином свежую медвежью шкуру, когда вошел Степан Аркадьич. — А, убили? — крикнул Степан Аркадьич. — Славная штука! Медведица? Здравствуй, Архип! Он пожал руку мужику и присел на стул, не снимая пальто и шляпы. — Да сними же, посиди! — снимая с него шляпу, сказал Левин. — Нет, мне некогда, я только на одну секундочку, — отвечал Степан Аркадьич. Он распахнул пальто, но потом снял его и просидел целый час, разговаривая с Левиным об охоте и о самых задушевных предметах. — Ну, скажи же, пожалуйста, что ты делал за границей? где был? — сказал Степан Аркадьич, когда мужик вышел. — Да я был в Германии, в Пруссии, во Франции, в Англии, но не в столицах, а в фабричных городах, и много видел нового. И рад, что был. — Да, я знаю твою мысль устройства рабочего. — Совсем нет: в России не может быть вопроса рабочего. В России вопрос отношения рабочего народа к земле; он и там есть, но там это починка испорченного, а у нас... Степан Аркадьич внимательно слушал Левина.

Степан Аркадьич. Вчера Степан Аркадьич являлся по службе в мундире, и новый начальник был очень любезен и разговорился с Облонским, как с знакомым; поэтому Степан Аркадьич считал своею обязанностью сделать ему визит в сюртуке. Мысль о том, что новый начальник может нехорошо принять его, было это другое неприятное обстоятельство. Но Степан Аркадьич инстинктивно чувствовал, что все *образуется* прекрасно. «Все люди, все человеки, как и мы грешные: из чего злиться и ссориться?» — думал он, входя в гостиницу.

— Здорово, Василий, — говорил он, в шляпе набекрень проходя по коридору и обращаясь к знакомому лакею, — ты бакенбарды отпустил? Левин — седьмой нумер, а? Проводи, пожалуйста. Да узнай, граф Аничкин (это был новый начальник) примет ли?

— Слушаю-с, — улыбаясь, отвечал Василий. — Давно к нам не жаловали.

— Я вчера был, только с другого подъезда. Это седьмой?

Левин стоял с тверским мужиком посредине номера и мерил аршином свежую медвежью шкуру, когда вошел Степан Аркадьич.

— А, убили? — крикнул Степан Аркадьич. — Славная штука! Медведица? Здравствуй, Архип!

Он пожал руку мужику и присел на стул, не снимая пальто и шляпы.

— Да сними же, посиди! — снимая с него шляпу, сказал Левин.

— Нет, мне некогда, я только на одну секундочку, — отвечал Степан Аркадьич. Он распахнул пальто, но потом снял его и просидел целый час, разговаривая с Левиным об охоте и о самых задушевных предметах.

— Ну, скажи же, пожалуйста, что ты делал за границей? где был? — сказал Степан Аркадьич, когда мужик вышел.

— Да я был в Германии, в Пруссии, во Франции, в Англии, но не в столицах, а в фабричных городах, и много видел нового. И рад, что был.

— Да, я знаю твою мысль устройства рабочего.

— Совсем нет: в России не может быть вопроса рабочего. В России вопрос отношения рабочего народа

- Да, да! говорил он. — Очень может быть, что ты нрав, — сказал он. — Но я рад, что ты в бодром духе; и за медведями ездишь, и работаешь, и увлекаешься. А то мне Щербацкий говорил — он тебя встретил, — что ты в каком-то унынии, все о смерти говоришь... — Да что же, я не перестаю думать о смерти, — сказал Левин. — Правда, что умирать пора. И что все это вздор. Я по правде тебе скажу: я мыслью своею и работой ужасно дорожу, но всуш,ности — ты подумай об этом: ведь весь этот мир наш — это маленькая плесень, которая наросла на крошечной планете. А мы думаем, что у нас может быть что-нибудь великое, — мысли, дела! Все это песчинки. — Да это, брат, старо, как мир! — Старо, но знаешь, когда это поймешь ясно, то как-то все делается ничтожно. Когда поймешь, что нынче-завтра умрешь и ничего не останется, то так все ничтожно! И я считаю очень важною свою мысль, а она оказывается так же ничтожна, если бы даже исполнить ее, как обойти эту медведицу. Так и проводишь жизнь, развлекаясь охотой, работой, — чтобы только не думать о смерти. Степан Аркадьич тонко и ласково улыбался, слушая Левина. — Ну, разумеется! Вот ты и пришел ко мне. Помнишь, ты нападал на меня за то, что я иш^у в жизни наслаждений? Не будь, о моралист, так строг!.. — Нет, все-таки в жизни хорошее есть то... — Левин запутался. — - Да я не знаю. Знаю только, что помрем скоро. — Зачем же скоро? — И знаешь, прелести в жизни меньше, когда думаешь о смерти, — но спокойнее. — Напротив, на последях еще веселей. Ну, однако, мне нора, — сказал Степан Аркадьич, вставая в десятый раз. — Да нет, посиди! сказал Левин, удерживая его. — Теперь когда же увидимся? Я завтра еду. — Я-то хорош! Я затем приехал... Непременно приезжай нынче ко мне обедать. Брат твой будет, Каренин, мой зять, будет. — Разве он здесь? — сказал Левин и хотел спросить про Кити. Он слышал, что она была в начале зимы в Пе402

— Да, да! — говорил он. — Очень может быть, что ты прав, — сказал он. — Но я рад, что ты в бодром духе; и за медведями ездишь, и работаешь, и увлекаешься. А то мне Щербацкий говорил — он тебя встретил, — что ты в каком-то унынии, все о смерти говоришь...

— Да что же, я не перестаю думать о смерти, — сказал Левин. — Правда, что умирать пора. И что все это вздор. Я по правде тебе скажу: я мыслью своею и работой ужасно дорожу, но в сущности — ты подумай об этом: ведь весь этот мир наш — это маленькая плесень, которая наросла на крошечной планете. А мы думаем, что у нас может быть что-нибудь великое, — мысли, дела! Все это песчинки.

— Да это, брат, старо, как мир!

— Старо, но знаешь, когда это поймешь ясно, то как-то все делается ничтожно. Когда поймешь, что нынче-завтра умрешь и ничего не останется, то так все ничтожно! И я считаю очень важною свою мысль, а она оказывается так же ничтожна, если бы даже исполнить ее, как обойти эту медведицу. Так и проводишь жизнь, развлекаясь охотой, работой, — чтобы только не думать о смерти.

Степан Аркадьич тонко и ласково улыбался, слушая Левина.

— Ну, разумеется! Вот ты и пришел ко мне. Помнишь, ты нападал на меня за то, что я ищу в жизни наслаждений?

Не будь, о моралист, так строг!..

— Нет, все-таки в жизни хорошее есть то... — Левин запутался. — Да я не знаю. Знаю только, что помрем скоро.

— Зачем же скоро?

— И знаешь, прелести в жизни меньше, когда думаешь о смерти, — но спокойнее.

— Напротив, на последях еще веселей. Ну, однако, мне пора, — сказал Степан Аркадьич, вставая в десятый раз.

— Да нет, посиди! — сказал Левин, удерживая его. — Теперь когда же увидимся? Я завтра еду.

— Я-то хорош! Я затем приехал... Непременно приезжай нынче ко мне обедать. Брат твой будет, Каренин,

тербурге у своей сестры, жены дипломата, и не знал, вернулась ли она, или нет, но раздумал расспрашивать, «Будет, не будет — все равно», — Так приедешь? — Ну, разумеется. — Так в пять часов и в сюртуке. И Степан Аркадьич встал и пошел вниз к новому начальнику. Инстинкт не обманул Степана Аркадьича. Новый страшный начальник оказался весьма обходительный человек, и Степан Аркадьич позавтракал с ним и засиделся так, что только в четвертом часу попал к Алексею Александровичу. VIII Алексей Александрович, вернувшись от обедни, проводил все утро дома. В это утро е^му предстояло два дела: во-первых, принять и направить отправлявшуюся в Петербург и находившуюся теперь в Москве депутацию инородцев; во-вторых, написать обещанное письмо адвокату. Депутация, хотя и вызванная по инициативе Алексея Александровича, представляла много неудобств и даже опасностей, и Алексей Александрович был очень рад, что застал ее в Москве. Члены этой депутации не имели ни малейшего понятия о своей роли и обязанности. Они были наивно уверены, что их дело состоит в том, чтоб излагать свои нужды и настоящее положение вещей, прося помощи правительства, и решительно не понимали, что некоторые заявления и требования их поддерживали враждебную партию п потому губили все дело. Алексей Александрович долго возился с ними, написал им программу, из которой они не должны были выходить, и, отпустив их, написал письма в Петербург для направления депутации. Главным помощником в этом деле должна была быть графиня Лидия Ивановна. Она была специалистка в доле депутаций, и никто, как она, не умел муссировать и давать настоящее направление депутациям. Окончив это, Алексей Александрович написал и письмо адвокату. Он без малейшего колебания дал ему разрешение действовать по его благоусмотрению. В письмо он вложил три записки Вронского к Анне, которые нашлись в отнятом портфеле.

тербурге у своей сестры, жены дипломата, и не знал, вернулась ли она, или нет, но раздумал расспрашивать. «Будет, не будет — все равно».

— Так приедешь?

— Ну, разумеется.

— Так в пять часов и в сюртуке.

И Степан Аркадьич встал и пошел вниз к новому начальнику. Инстинкт не обманул Степана Аркадьича. Новый страшный начальник оказался весьма обходительный человек, и Степан Аркадьич позавтракал с ним и засиделся так, что только в четвертом часу попал к Алексею Александровичу.

VIII

Алексей Александрович, вернувшись от обедни, проводил все утро дома. В это утро ему предстояло два дела: во-первых, принять и направить отправлявшуюся в Петербург и находившуюся теперь в Москве депутацию инородцев; во-вторых, написать обещанное письмо адвокату. Депутация, хотя и вызванная по инициативе Алексея Александровича, представляла много неудобств и даже опасностей, и Алексей Александрович был очень рад, что застал ее в Москве. Члены этой депутации не имели ни малейшего понятия о своей роли и обязанности. Они были наивно уверены, что их дело состоит в том, чтоб излагать свои нужды и настоящее положение вещей, прося помощи правительства, и решительно не понимали, что некоторые заявления и требования их поддерживали враждебную партию и потому губили все дело. Алексей Александрович долго возился с ними, написал им программу, из которой они не должны были выходить, и, отпустив их, написал письма в Петербург для направления депутации. Главным помощником в этом деле должна была быть графиня Лидия Ивановна. Она была специалистка в деле депутаций, и никто, как она, не умел муссировать и давать настоящее направление депутациям. Окончив это, Алексей Александрович написал и письмо адвокату. Он без малейшего колебания дал

с тех пор, как Алексей Александрович выехал из дома с намерением не возвращаться в семью, и с тех пор, как он был у адвоката и сказал хоть одному человеку о своем намерении, с тех пор особенно, как он перевел это дело жизни в дело бумажное, он все больше и больше привыкал к своему намерению и видел теперь ясно возможность его исполнения. Он запечатывал конверт к адвокату, когда услыхал громкий звук голоса Степана Аркадьича. Степан Аркадьич спорил со слугой Алексея Александровича и настаивал на том, чтоб о нем было доложено. «Все равно, — подумал Алексей Александрович, — тем лучше: я сейчас объявлю о своем положении в отношении к его сестре и объясню, почему я не могу обедать у него». — Проси! — громко проговорил он, сбирая бумаги и укладывая их в бювар. — Но вот видишь ли, что ты врешь, и он дома! — ответил голос Степана Аркадьича лакею, не пускавшему его, и, на ходу снимая пальто, Облонский вошел в комнату. — Ну, я очень рад, что застал тебя! Так я надеюсь... — весело начал Степан Аркадьич. — Я не могу быть, — холодно, стоя и не сажая гостя, сказал Алексей Александрович. Алексей Александрович думал тотчас стать в те холодные отношения, в которых он должен был быть с братом жены, против которой он начинал дело развода; но он не рассчитывал на то море добродушия, которое выливалось из берегов в душе Степана Аркадьича. Степан Аркадьич широко открыл свои блестящие, ясные глаза. — Отчего ты не можешь? Что ты хочешь сказать? — с недоумением сказал он по-французски. — • Нет, уж это обещано. И мы все рассчитываем на тебя. — Я хочу сказать, что не могу быть у вас, потому что те родственные отношения, которые были между нами, должны прекратиться. — Как? То есть как же? Почему? — с улыбкой проговорил Степан Аркадьич. — Потому что я начинаю дело развода с вашею сестрой, моею женой. Я должен был... Но Алексей Александрович еще не успел окончить своей речи, как Степан Аркадьич уже поступил совсем не так, как он ожидал. Степан Аркадьич охнул и сел в кресло. 404

С тех пор, как Алексей Александрович выехал из дома с намерением не возвращаться в семью, и с тех пор, как он был у адвоката и сказал хоть одному человеку о своем намерении, с тех пор особенно, как он перевел это дело жизни в дело бумажное, он все больше и больше привыкал к своему намерению и видел теперь ясно возможность его исполнения.

Он запечатывал конверт к адвокату, когда услыхал громкий звук голоса Степана Аркадьича. Степан Аркадьич спорил со слугой Алексея Александровича и настаивал на том, чтоб о нем было доложено.

«Все равно, — подумал Алексей Александрович, — тем лучше: я сейчас объявлю о своем положении в отношении к его сестре и объясню, почему я не могу обедать у него».

— Проси! — громко проговорил он, сбирая бумаги и укладывая их в бювар.

— Но вот видишь ли, что ты врешь, и он дома! — ответил голос Степана Аркадьича лакею, не пускавшему его, и, на ходу снимая пальто, Облонский вошел в комнату. — Ну, я очень рад, что застал тебя! Так я надеюсь... — весело начал Степан Аркадьич.

— Я не могу быть, — холодно, стоя и не сажая гостя, сказал Алексей Александрович.

Алексей Александрович думал тотчас стать в те холодные отношения, в которых он должен был быть с братом жены, против которой он начинал дело развода; но он не рассчитывал на то море добродушия, которое выливалось из берегов в душе Степана Аркадьича.

Степан Аркадьич широко открыл свои блестящие, ясные глаза.

— Отчего ты не можешь? Что ты хочешь сказать? — с недоумением сказал он по-французски. — Нет, уж это обещано. И мы все рассчитываем на тебя.

— Я хочу сказать, что не могу быть у вас, потому что те родственные отношения, которые были между нами, должны прекратиться.

— Как? То есть как же? Почему? — с улыбкой проговорил Степан Аркадьич.

— Потому что я начинаю дело развода с вашею сестрой, моею женой. Я должен был...

Но Алексей Александрович еще не успел окончить

— Нет, Алексей Александрович, что ты говоришь! — ' вскрикнул Облонский, и страдание выразилось на его лице. — Это так. — Извини меня, я не могу и не могу этому верить... Алексей Александрович сел, чувствуя, что слова его не имели того действия, которое он ожидал, и что ему необходимо нужно будет объясняться, и что, какие бы ни были его объяснения, отношения его к шурину останутся те же. — Да, я поставлен в тяжелую необходимость требовать развода, — сказал он. — Я одно скажу, Алексей Александрович. Я знаю тебя за отличного, справедливого человека, знаю Анну — извини меня, я не могу переменить о ней мнения — за прекрасную, отличную женш;ину, и потому, извини меня, я не могу верить этому. Тут есть недоразумение, — сказал он. — Да, если б это было только недоразумение... — Позволь, я понимаю, — перебил Степан Аркадьич. — Но, разумеется... Одно: не надо торопиться. Не надо, не надо торопиться! — Я не торопился, — холодно сказал Алексей Александрович, — а советоваться в таком деле ни с кем нельзя. Я твердо решил. — Это ужасно! — сказал Степан Аркадьич, тяжело вздохнув. — Я бы одно сделал, Алексей Александрович. Умоляю тебя, сделай это! — сказал он. — Дело еш;е не начато, как я понял. Прежде чем ты начнешь дело, повидайся с моею женой, поговори с ней. Она любит Анну, как сестру, любит тебя, и она удивительная женш;ина. Ради бога, поговори с ней! Сделай мне эту дружбу, я умоляю тебя! Алексей Александрович задумался, и Степан Аркадьич с участием смотрел на него, не прерывая его молчания. — Ты съездишь к ней? — Да я не знаю. Я потому не был у вас. Я полагаю, что наши отношения должны измениться. — Отчего же? Я не вижу этого. Позволь мне думать, что, помимо наших родственных отношений, ты имеешь ко мне, хотя отчасти, те дружеские чувства, которые я всегда имел к тебе... И истинное уважение, — сказал Степан Аркадьич, пожимая его руку. — Если б даже 405

— Нет, Алексей Александрович, что ты говоришь! — вскрикнул Облонский, и страдание выразилось на его лице.

— Это так.

— Извини меня, я не могу и не могу этому верить...

Алексей Александрович сел, чувствуя, что слова его не имели того действия, которое он ожидал, и что ему необходимо нужно будет объясняться, и что, какие бы ни были его объяснения, отношения его к шурину останутся те же.

— Да, я поставлен в тяжелую необходимость требовать развода, — сказал он.

— Я одно скажу, Алексей Александрович. Я знаю тебя за отличного, справедливого человека, знаю Анну — извини меня, я не могу переменить о ней мнения — за прекрасную, отличную женщину, и потому, извини меня, я не могу верить этому. Тут есть недоразумение, — сказал он.

— Да, если б это было только недоразумение...

— Позволь, я понимаю, — перебил Степан Аркадьич. — Но, разумеется... Одно: не надо торопиться. Не надо, не надо торопиться!

— Я не торопился, — холодно сказал Алексей Александрович, — а советоваться в таком деле ни с кем нельзя. Я твердо решил.

— Это ужасно! — сказал Степан Аркадьич, тяжело вздохнув. — Я бы одно сделал, Алексей Александрович. Умоляю тебя, сделай это! — сказал он. — Дело еще не начато, как я понял. Прежде чем ты начнешь дело, повидайся с моею женой, поговори с ней. Она любит Анну, как сестру, любит тебя, и она удивительная женщина. Ради бога, поговори с ней! Сделай мне эту дружбу, я умоляю тебя!

Алексей Александрович задумался, и Степан Аркадьич с участием смотрел на него, не прерывая его молчания.

— Ты съездишь к ней?

— Да я не знаю. Я потому не был у вас. Я полагаю, что наши отношения должны измениться.

— Отчего же? Я не вижу этого. Позволь мне думать, что, помимо наших родственных отношений, ты имеешь

худшие предположения твои были справедливы, я пе беру и никогда не возьму на себя судить ту или другую сторону и не вижу причины, почему наши отношения должны измениться. Но теперь, сделай это, приезжай к жене. — Ну, мы иначе смотрим на это дело, — холодно сказал Алексей Александрович. — Впрочем, не будем говорить об этом. — Нет, почему же тебе не приехать? Хоть нынче обедать? /Кена ждет тебя. Пожалуйста, приезжай. И главное, переговори с ней. Она удивительная женш;ина. Ради бога, на коленях умоляю тебя! — Если вы так хотите этого — я приеду, — вздохнув, сказал Алексей Александрович. И, желая переменить разговор, он спросил о том, что интересовало их обоих, — о новом начальнике Степана Аркадьича, еш;е не старом человеке, получившем вдруг такое высокое назначение. Алексей Александрович и прежде не любил графа Аничкина и всегда расходился с ним во мнениях, но теперь не мог удерживаться от понятной для служащих ненависти человека, потерпевшего поражение на службе, к человеку, получившему повышение. — Ну что, видел ты его? — сказал Алексей Александрович с ядовитою усмешкой. — Как же, он вчера был у нас в присутствии. Он, кажется, знает дело отлично и очень деятелен. — Да, но на что направлена его деятельность? — сказал Алексей Александрович. — На то ли, чтобы делать дело, или переделывать то, что сделано? Несчастье нашего государства — это бумажная администрация, которой он достойный представитель. — Право, я не знаю, что в нем можно осуждать. Направления его я не знаю, но одно — он отличный малый, — отвечал Степан Аркадьич. Я сейчас был у него, и право, отличный малый. Мы позавтракали, и я его научил делать, знаешь, это питье, вино с апельсинами. Это очень прохлаждает. И удивительно, что он не знал этого. Ему очень понравилось. Нет, право, он славный малый. Степан Аркадьич взглянул на часы. — Ах, батюшки, уж пятый, а мне еще к Долговушину! Так, пожалуйста: приезжай обедать. Ты не можешь себе представить, как ты меня огорчишь и жену. 408

худшие предположения твои были справедливы, я не беру и никогда не возьму на себя судить ту или другую сторону и не вижу причины, почему наши отношения должны измениться. Но теперь, сделай это, приезжай к жене.

— Ну, мы иначе смотрим на это дело, — холодно сказал Алексей Александрович. — Впрочем, не будем говорить об этом.

— Нет, почему же тебе не приехать? Хоть нынче обедать? Жена ждет тебя. Пожалуйста, приезжай. И главное, переговори с ней. Она удивительная женщина. Ради бога, на коленях умоляю тебя!

— Если вы так хотите этого — я приеду, — вздохнув, сказал Алексей Александрович.

И, желая переменить разговор, он спросил о том, что интересовало их обоих, — о новом начальнике Степана Аркадьича, еще не старом человеке, получившем вдруг такое высокое назначение.

Алексей Александрович и прежде не любил графа Аничкина и всегда расходился с ним во мнениях, но теперь не мог удерживаться от понятной для служащих ненависти человека, потерпевшего поражение на службе, к человеку, получившему повышение.

— Ну что, видел ты его? — сказал Алексей Александрович с ядовитою усмешкой.

— Как же, он вчера был у нас в присутствии. Он, кажется, знает дело отлично и очень деятелен.

— Да, но на что направлена его деятельность? — сказал Алексей Александрович. — На то ли, чтобы делать дело, или переделывать то, что сделано? Несчастье нашего государства — это бумажная администрация, которой он достойный представитель.

— Право, я не знаю, что в нем можно осуждать. Направления его я не знаю, но одно — он отличный малый, — отвечал Степан Аркадьич. Я сейчас был у него, и право, отличный малый. Мы позавтракали, и я его научил делать, знаешь, это питье, вино с апельсинами. Это очень прохлаждает. И удивительно, что он не знал этого. Ему очень понравилось. Нет, право, он славный малый.

Степан Аркадьич взглянул на часы.

Алексей Александрович проводил шурина совсем уже не так, как он его встретил. — Я обепі;ал и приеду, — отвечал он уныло. — Поверь, что я ценю, и надеюсь, ты не раскаешься, — отвечал, улыбаясь, Степан Аркадьич. И, на ходу надевая пальто, он задел рукой по голове лакея, засмеялся и вышел. — В пять часов, и в сюртуке, пожалуйста! — крикнул он егце раз, возвращаясь к двери, IX Уже был шестой час, и уже некоторые гости приехали, когда приехал и сам хозяин. Он вошел вместе с Сергеем Ивановичем Кознышевым и Песцовым, которые в одно время столкнулись у подъезда. Это были два главные представителя московской интеллигенции, как называл их Облонский. Оба были люди уважаемые и по характеру и по уму. Они уважали друг друга, но почти во всем были совершенно и безнадежно несогласны меящу собою — не потому, чтоб они принадлежали к противоположным направлениям, но именно потому, что были одного лагеря (враги их смешивали в одно), но в этом лагере они имели каждый свой оттенок. А так как нет ничего неспособнее к соглашению, как разномыслие в полуотвлеченностях, то они не только никогда не сходились в мнениях, но привыкли уже давно, не сердясь, только посмеиваться неисправимому заблуждению один другого. Они входили в дверь, разговаривая о погоде, когда Степан Аркадьич догнал их. В гостиной сидели уже князь Александр Дмитриевич, тесть Облонского, молодой Щербацкий, Туровцын, Кити и Каренин. Степан Аркадьич тотчас же увидал, что в гостиной без него дело идет плохо. Дарья Александровна, в своем парадном сером шелковом платье, очевидно озабоченная и детьми, которые должны обедать в детской одни, и тем, что мужа еще нет, не сумела без него хорошенько перемешать все это общество. Все сидели, как поповны в гостях (как выражался старый князь), очевидно в недоумении, зачем они сюда попали, выжимая слова, чтобы не молчать. Добродушный Туровцын, очевидно, чувствовал себя не в своей сфере, и улыбка толстых губ, с которою он встретил Степана Аркадьича, как словами, говорила: 407

Алексей Александрович проводил шурина совсем уже не так, как он его встретил.

— Я обещал и приеду, — отвечал он уныло.

— Поверь, что я ценю, и надеюсь, ты не раскаешься, — отвечал, улыбаясь, Степан Аркадьич.

И, на ходу надевая пальто, он задел рукой по голове лакея, засмеялся и вышел.

— В пять часов, и в сюртуке, пожалуйста! — крикнул он еще раз, возвращаясь к двери.

IX

Уже был шестой час, и уже некоторые гости приехали, когда приехал и сам хозяин. Он вошел вместе с Сергеем Ивановичем Кознышевым и Песцовым, которые в одно время столкнулись у подъезда. Это были два главные представителя московской интеллигенции, как называл их Облонский. Оба были люди уважаемые и по характеру и по уму. Они уважали друг друга, но почти во всем были совершенно и безнадежно несогласны между собою — не потому, чтоб они принадлежали к противоположным направлениям, но именно потому, что были одного лагеря (враги их смешивали в одно), но в этом лагере они имели каждый свой оттенок. А так как нет ничего неспособнее к соглашению, как разномыслие в полуотвлеченностях, то они не только никогда не сходились в мнениях, но привыкли уже давно, не сердясь, только посмеиваться неисправимому заблуждению один другого.

Они входили в дверь, разговаривая о погоде, когда Степан Аркадьич догнал их. В гостиной сидели уже князь Александр Дмитриевич, тесть Облонского, молодой Щербацкий, Туровцын, Кити и Каренин.

Степан Аркадьич тотчас же увидал, что в гостиной без него дело идет плохо. Дарья Александровна, в своем парадном сером шелковом платье, очевидно озабоченная и детьми, которые должны обедать в детской одни, и тем, что мужа еще нет, не сумела без него хорошенько перемешать все это общество. Все сидели, как поповны в гостях (как выражался старый князь), очевидно в недоумении, зачем они сюда попали, выжимая слова, чтобы не молчать. Добродушный Туровцын, очевидно, чувствовал

<(Ну, брат, засадил ты меня с умными! Вот выпить и в Chateau des fleurs — это по моей части». Старый князь сидел молча, сбоку поглядывая своими блестящими глазками на Каренина, и Степан Аркадьич понял, что он придумал уже какое-нибудь словцо, чтоб отпечатать этого государственного мужа, на которого, как на стерлядь, зовут в гости. Кити смотрела па дверь, сбираясь с силами, чтобы не покраснеть при входе Константина Левина. Молодой Щербацкий, с которым не познакомили Каренина, старался показать, что это нисколько его не стесняет. Сам Каренин был, по петербургской привычке, на обеде с дамами во фраке и белом галстуке, и Степан Аркадьич по его лицу понял, что он приехал, только чтоб исполнить данное слово, и, присутствуя в этом обществе, совершал тяжелый долг. Он-то был главным виновником холода, заморозившего всех гостей до приезда Степана Аркадьича. Войдя в гостиную, Степан Аркадьич извинился, объяснил, что был задержан тем князем, который был всегдашним козлом-искупителем всех его опаздываний и отлучек, и в одну минуту всех перезнакомил и, сведя Алексея Александровича с Сергеем Кознышевым, подпустил им тему об обрусении Польши, за которую они тотчас уцепились вместе с Песцовым. Потрепав по плечу Туровцына, он шепнул ему что-то смешное и подсадил его к жене и к князю. Потом сказал Кити о том, что она очень хороша сегодня, и познакомил Щербацкого с Карениным. В одну минуту он так перемесил все это общественное тесто, что стала гостиная хоть куда, и голоса оживленно зазвучали. Одного Константина Левина не было. Но это было к лучшему, потому что, выйдя в столовую, Степан Аркадьич к ужасу своему увидал, что портвейн и херес взяты от Депре, а не от Леве, и он, распорядившись послать кучера как можно скорее к Леве, направился опять в гостиную. В столовой ему встретился Константин Левин. — Я не опоздал? — Разве ты можешь не опоздать! — взяв его под руку, сказал Степан Аркадьич. — У тебя много народа? Кто да кто? — невольно краснея, спросил Левин, обивая перчаткой снег с шапки. — Всё свои. Кити тут. Пойдем же, я тебя познакомлю с Карениным. Степан Аркадьич, несмотря на свою либеральность, знал, что знакомство с Карениным не может не быть лест408

«Ну, брат, засадил ты меня с умными! Вот выпить и в Château des fleurs — это по моей части». Старый князь сидел молча, сбоку поглядывая своими блестящими глазками на Каренина, и Степан Аркадьич понял, что он придумал уже какое-нибудь словцо, чтоб отпечатать этого государственного мужа, на которого, как на стерлядь, зовут в гости. Кити смотрела на дверь, сбираясь с силами, чтобы не покраснеть при входе Константина Левина. Молодой Щербацкий, с которым не познакомили Каренина, старался показать, что это нисколько его не стесняет. Сам Каренин был, по петербургской привычке, на обеде с дамами во фраке и белом галстуке, и Степан Аркадьич по его лицу понял, что он приехал, только чтоб исполнить данное слово, и, присутствуя в этом обществе, совершал тяжелый долг. Он-то был главным виновником холода, заморозившего всех гостей до приезда Степана Аркадьича.

Войдя в гостиную, Степан Аркадьич извинился, объяснил, что был задержан тем князем, который был всегдашним козлом-искупителем всех его опаздываний и отлучек, и в одну минуту всех перезнакомил и, сведя Алексея Александровича с Сергеем Кознышевым, подпустил им тему об обрусении Польши, за которую они тотчас уцепились вместе с Песцовым. Потрепав по плечу Туровцына, он шепнул ему что-то смешное и подсадил его к жене и к князю. Потом сказал Кити о том, что она очень хороша сегодня, и познакомил Щербацкого с Карениным. В одну минуту он так перемесил все это общественное тесто, что стала гостиная хоть куда, и голоса оживленно зазвучали. Одного Константина Левина не было. Но это было к лучшему, потому что, выйдя в столовую, Степан Аркадьич к ужасу своему увидал, что портвейн и херес взяты от Депре, а не от Леве, и он, распорядившись послать кучера как можно скорее к Леве, направился опять в гостиную.

В столовой ему встретился Константин Левин.

— Я не опоздал?

— Разве ты можешь не опоздать! — взяв его под руку, сказал Степан Аркадьич.

— У тебя много народа? Кто да кто? — невольно краснея, спросил Левин, обивая перчаткой снег с шапки.

— Всё свои. Кити тут. Пойдем же, я тебя познакомлю

но, и потому угощал этим лучших приятелей. Но в эту минуту Константин Левин не в состоянии был чувствовать всего удовольствия этого знакомства. Он не видал Кити после памятного ему вечера, на котором он встретил Вронского, если не считать ту минуту, когда он увидал ее на большой дороге. Он в глубине души знал, что он ее увидит нынче здесь. Но он, поддерживая в себе свободу мысли, старался уверить себя, что он не знает этого. Теперь же, когда он услыхал, что она тут, он вдруг почувствовал такую радость и вместе такой страх, что ему захватило дыхание, и он не мог выговорить того, что хотел сказать. «Какая, какая она? Та ли, какая была прежде, или та, какая была в карете? Что, если правду говорила Дарья Александровна? Отчего же и не правда?» — думал он. — Ах, пожалуйста, познакомь меня с Карениным, — с трудом выговорил он и отчаянно-решительным шагом вошел с гостиную и увидел ее. Она была ни такая, как прежде, ни такая, как была в карете; она была совсем другая. Она была испуганная, робкая, пристыженная и оттого еще более прелестная. Она увидала его в то же мгновение, как он вошел в комнату. Она ждала его. Она обрадовалась и смутилась от своей радости до такой степени, что была минута, именно та, когда он подходил к хозяйке и опять взглянул на нее, что и ей, и ему, и Долли, которая все видела, казалось, что она не выдержит и заплачет. Она покраснела, побледнела, опять покраснела и замерла, чуть вздрагивая губами, ожидая его. Он подошел к ней, поклонился и молча протянул руку. Если бы не легкое дрожание губ и влажность, покрывавшая глаза и прибавившая им блеска, улыбка ее была почти спокойна, когда она сказала: — Как мы давно не видались! — и она с отчаянною решительностью пожала своею холодною рукой его руку. — Вы не видали меня, а я видел вас, — сказал Левин, сияя улыбкой счастья. — Я видел вас, когда вы с железной дороги ехали в Ергушово. — Когда? — спросила она с удивлением. — Вы ехали в Ергушово, — говорил Левин, чувствуя, что он захлебывается от счастия, которое заливает его душу. «И как я смел соединять мысль о чем-нибудь не невинном с этим трогательным существом! И да, кажется, правда то, что говорила Дарья Александровна», ~ думал он. 409

но, и потому угощал этим лучших приятелей. Но в эту минуту Константин Левин не в состоянии был чувствовать всего удовольствия этого знакомства. Он не видал Кити после памятного ему вечера, на котором он встретил Вронского, если не считать ту минуту, когда он увидал ее на большой дороге. Он в глубине души знал, что он ее увидит нынче здесь. Но он, поддерживая в себе свободу мысли, старался уверить себя, что он не знает этого. Теперь же, когда он услыхал, что она тут, он вдруг почувствовал такую радость и вместе такой страх, что ему захватило дыхание, и он не мог выговорить того, что хотел сказать.

«Какая, какая она? Та ли, какая была прежде, или та, какая была в карете? Что, если правду говорила Дарья Александровна? Отчего же и не правда?» — думал он.

— Ах, пожалуйста, познакомь меня с Карениным, — с трудом выговорил он и отчаянно-решительным шагом вошел с гостиную и увидел ее.

Она была ни такая, как прежде, ни такая, как была в карете; она была совсем другая.

Она была испуганная, робкая, пристыженная и оттого еще более прелестная. Она увидала его в то же мгновение, как он вошел в комнату. Она ждала его. Она обрадовалась и смутилась от своей радости до такой степени, что была минута, именно та, когда он подходил к хозяйке и опять взглянул на нее, что и ей, и ему, и Долли, которая все видела, казалось, что она не выдержит и заплачет. Она покраснела, побледнела, опять покраснела и замерла, чуть вздрагивая губами, ожидая его. Он подошел к ней, поклонился и молча протянул руку. Если бы не легкое дрожание губ и влажность, покрывавшая глаза и прибавившая им блеска, улыбка ее была почти спокойна, когда она сказала:

— Как мы давно не видались! — и она с отчаянною решительностью пожала своею холодною рукой его руку.

— Вы не видали меня, а я видел вас, — сказал Левин, сияя улыбкой счастья. — Я видел вас, когда вы с железной дороги ехали в Ергушово.

— Когда? — спросила она с удивлением.

— Вы ехали в Ергушово, — говорил Левин, чувствуя, что он захлебывается от счастия, которое заливает его душу. «И как я смел соединять мысль о чем-нибудь не

Степан Аркадьип взял его за руку и подвел к Каренину. — Позвольте вас познакомить. — Он назвал их имена. — Очень приятно опять встретиться, — холодно сказал Алексей Александрович, пожимая руку Левину. — Вы знакомы? — с удивлением спросил Степан Аркадьич. — Мы провели вместе три часа в вагоне, — улыбаясь, сказал Левин, — но вышли, как из маскарада, заинтригованные, я по крайней мере. — Вот как! Милости просим, — сказал Степан Аркадьич, указывая по направлению к столовой. Мужчины вышли в столовую и подошли к столу с закуской, уставленному шестью сортами водок и столькими же сортами сыров с серебряными лопаточками и без лопаточек, икрами, селедками, консервами разных сортов и тарелками с ломтиками французского хлеба. Мужчины стояли около пахучих водок и закусок, и разговор об обрусении Польши между Сергеем Иванычем Кознышевым, Карениным и Песцовым затихал в ожидании обеда. Сергей Иванович, умевший, как никто, для окончания самого отвлеченного и серьезного спора неожиданно подсыпать аттической соли и этим изменять настроение собеседников, сделал это и теперь. Алексей Александрович доказывал, что обрусение Польши может совершиться только вследствие высших принципов, которые должны быть внесены русскою администрацией. Песцов настаивал на том, что один народ ассимилирует себе другой, только когда он гуш;е населен. Кознышев признавал то и другое, но с ограничениями. Когда же они выходили из гостиной, чтобы заключить разговор, Кознышев сказал, улыбаясь: — - Поэтому для обрусения инородцев есть одно средство — выводить как можно больше детей. Вот мы с братом хуже всех действуем. А вы, господа женатые люди, в особенности вы, Степан Аркадьич, действуете вполне патриотически; у вас сколько? — обратился он, ласково улыбаясь хозяину и подставляя ему крошечную рюмочку. Все засмеялись, и в особенности весело Степан Аркадьич. — Да, вот это самое лучшее средство! — сказал он, прожевывая сыр и наливая какую-то особенного сорта 410

Степан Аркадьич взял его за руку и подвел к Каренину.

— Позвольте вас познакомить. — Он назвал их имена.

— Очень приятно опять встретиться, — холодно сказал Алексей Александрович, пожимая руку Левину.

— Вы знакомы? — с удивлением спросил Степан Аркадьич.

— Мы провели вместе три часа в вагоне, — улыбаясь, сказал Левин, — но вышли, как из маскарада, заинтригованные, я по крайней мере.

— Вот как! Милости просим, — сказал Степан Аркадьич, указывая по направлению к столовой.

Мужчины вышли в столовую и подошли к столу с закуской, уставленному шестью сортами водок и столькими же сортами сыров с серебряными лопаточками и без лопаточек, икрами, селедками, консервами разных сортов и тарелками с ломтиками французского хлеба.

Мужчины стояли около пахучих водок и закусок, и разговор об обрусении Польши между Сергеем Иванычем Кознышевым, Карениным и Песцовым затихал в ожидании обеда.

Сергей Иванович, умевший, как никто, для окончания самого отвлеченного и серьезного спора неожиданно подсыпать аттической соли и этим изменять настроение собеседников, сделал это и теперь.

Алексей Александрович доказывал, что обрусение Польши может совершиться только вследствие высших принципов, которые должны быть внесены русскою администрацией.

Песцов настаивал на том, что один народ ассимилирует себе другой, только когда он гуще населен.

Кознышев признавал то и другое, но с ограничениями. Когда же они выходили из гостиной, чтобы заключить разговор, Кознышев сказал, улыбаясь:

— Поэтому для обрусения инородцев есть одно средство — выводить как можно больше детей. Вот мы с братом хуже всех действуем. А вы, господа женатые люди, в особенности вы, Степан Аркадьич, действуете вполне патриотически; у вас сколько? — обратился он, ласково улыбаясь хозяину и подставляя ему крошечную рюмочку.

Все засмеялись, и в особенности весело Степан Ар-

водку в подставленную рюмку. Разговор действительно прекратился на шутке. — Этот сыр недурен. Прикажете? — говорил хозяин. — Неужели ты опять был на гимнастике? — обратился он к Левину, левою рукой ош,упывая его мышцу. Левин улыбнулся, напружил руку, и под пальцами Степана Аркадьича, как круглый сыр, поднялся стальной бугор изпод тонкого сукна сюртука. — Вот бицепс-то! Самсон! — Я думаю, надо иметь большую силу для охоты на медведей, — сказал Алексей Александрович, имевший самые туманные понятия об охоте, намазывая сыр и прорывая тоненький, как паутина, мякиш хлеба. Левин улыбнулся. — Никакой. Напротив, ребенок может убить медведя, — сказал он, сторонясь с легким поклоном пред дамами, которые с хозяйкой подходили к столу закусок. — А вы убили медведя, мне говорили? — сказала Кити, тщетно стараясь поймать вилкой непокорный, отскальзывающий гриб и встряхивая кружевами, сквозь которые белела ее рука. — Разве у вас есть медведи? — прибавила она, вполоборота повернув к нему свою прелестную головку и улыбаясь. Ничего, казалось, не было необыкновенного в том, что она сказала, но какое невыразимое для него словами значение было в каждом звуке, в каждом движении ее губ, глаз, руки, когда она говорила это! Тут была и просьба о прощении, и доверие к нему, и ласка, нежная, робкая ласка, и обещание, и надежда, и любовь к нему, в которую он не мог не верить и которая душила его счастьем. — Нет, мы ездили в Тверскую губернию. Возвращаясь оттуда, я встретился в вагоне с вашим бофрером ^ или вашего бофрера зятем, — сказал он с улыбкой. — Это была смешная встреча. И он весело и забавно рассказал, как он, не спав всю ночь, в полушубке ворвался в отделение Алексея Александровича. — Кондуктор, противно пословице, хотел по платью проводить меня вон; но тут уж я начал выражаться высоким слогом, и... вы тоже, — сказал он, забыв его имя и обращаясь к Каренину, — сначала по нолушубку хотели ^ деверем beau frère (франц.). 411

водку в подставленную рюмку. Разговор действительно прекратился на шутке.

— Этот сыр недурен. Прикажете? — говорил хозяин. — Неужели ты опять был на гимнастике? — обратился он к Левину, левою рукой ощупывая его мышцу. Левин улыбнулся, напружил руку, и под пальцами Степана Аркадьича, как круглый сыр, поднялся стальной бугор из-под тонкого сукна сюртука.

— Вот бицепс-то! Самсон!

— Я думаю, надо иметь большую силу для охоты на медведей, — сказал Алексей Александрович, имевший самые туманные понятия об охоте, намазывая сыр и прорывая тоненький, как паутина, мякиш хлеба.

Левин улыбнулся.

— Никакой. Напротив, ребенок может убить медведя, — сказал он, сторонясь с легким поклоном пред дамами, которые с хозяйкой подходили к столу закусок.

— А вы убили медведя, мне говорили? — сказала Кити, тщетно стараясь поймать вилкой непокорный, отскальзывающий гриб и встряхивая кружевами, сквозь которые белела ее рука. — Разве у вас есть медведи? — прибавила она, вполоборота повернув к нему свою прелестную головку и улыбаясь.

Ничего, казалось, не было необыкновенного в том, что́ она сказала, но какое невыразимое для него словами значение было в каждом звуке, в каждом движении ее губ, глаз, руки, когда она говорила это! Тут была и просьба о прощении, и доверие к нему, и ласка, нежная, робкая ласка, и обещание, и надежда, и любовь к нему, в которую он не мог не верить и которая душила его счастьем.

— Нет, мы ездили в Тверскую губернию. Возвращаясь оттуда, я встретился в вагоне с вашим бофрером [1] или вашего бофрера зятем, — сказал он с улыбкой. — Это была смешная встреча.

И он весело и забавно рассказал, как он, не спав всю ночь, в полушубке ворвался в отделение Алексея Александровича.

— Кондуктор, противно пословице, хотел по платью проводить меня вон; но тут уж я начал выражаться высоким слогом, и... вы тоже, — сказал он, забыв его имя

тоже изгнать меня, но потом заступились, за что я очень благодарен. — Вообще весьма неопределенные права пассажиров на выбор места, — сказал Алексей Александрович, обтирая платком концы своих пальцев. — Я видел, что вы были в нерешительности насчет меня, — добродушно улыбаясь, сказал Левин, — но я поторопился начать умный разговор, чтобы загладить свой полушубок. Сергей Иванович, продолжая разговор с хозяйкой и одним ухом слушая брата, покосился на него. «Что это с ним нынче? Таким победителем», — подумал он. Он не знал, что Левин чувствовал, что у него выросли крылья. Левин знал, что она слышит его слова и что ей приятно его слышать. И это одно только занимало его. Не в одной этой комнате, но во всем мире для него существовали только он, получивший для себя огромное значение и важность, и она. Он чувствовал себя на высоте, от которой кружилась голова, и там где-то внизу, далеко, были все эти добрые, славные Каренины, Облонские и весь мир. Совершенно незаметно, не взглянув на них, а так, как будто уж некуда было больше посадить, Степан Аркадьич посадил Левина и Кити рядом. — Ну, ты хоть сюда сядь, — сказал он Левину. Обед был так же хорош, как и посуда, до которой был охотник Степан Аркадьич. Суп Мари-Луиз удался прекрасно; пирожки крошечные, тающие во рту, были безукоризненны. Два лакея и Матвей, в белых галстуках, делали свое дело с кушаньем и вином незаметно, тихо и споро. Обед с материальной стороны удался; не менее он удался и со стороны нематериальной. Разговор, то общий, то частный, не умолкал и к концу обеда так оживился, что мужчины встали из-за стола, не переставая говорить, и даже Алексей Александрович оживился. Х Песцов любил рассуждать до конца и не удовлетворился словами Сергея Ивановича, тем более что он почувствовал несправедливость своего мнения. — Я никогда не разумел, — сказал он за супом, обращаясь к Алексею Александровичу, — одну густоту населения, но в соединении с основами, а не с принципами, 412

тоже изгнать меня, но потом заступились, за что я очень благодарен.

— Вообще весьма неопределенные права пассажиров на выбор места, — сказал Алексей Александрович, обтирая платком концы своих пальцев.

— Я видел, что вы были в нерешительности насчет меня, — добродушно улыбаясь, сказал Левин, — но я поторопился начать умный разговор, чтобы загладить свой полушубок.

Сергей Иванович, продолжая разговор с хозяйкой и одним ухом слушая брата, покосился на него. «Что это с ним нынче? Таким победителем», — подумал он. Он не знал, что Левин чувствовал, что у него выросли крылья. Левин знал, что она слышит его слова и что ей приятно его слышать. И это одно только занимало его. Не в одной этой комнате, но во всем мире для него существовали только он, получивший для себя огромное значение и важность, и она. Он чувствовал себя на высоте, от которой кружилась голова, и там где-то внизу, далеко, были все эти добрые, славные Каренины, Облонские и весь мир.

Совершенно незаметно, не взглянув на них, а так, как будто уж некуда было больше посадить, Степан Аркадьич посадил Левина и Кити рядом.

— Ну, ты хоть сюда сядь, — сказал он Левину.

Обед был так же хорош, как и посуда, до которой был охотник Степан Аркадьич. Суп Мари-Луиз удался прекрасно; пирожки крошечные, тающие во рту, были безукоризненны. Два лакея и Матвей, в белых галстуках, делали свое дело с кушаньем и вином незаметно, тихо и споро. Обед с материальной стороны удался; не менее он удался и со стороны нематериальной. Разговор, то общий, то частный, не умолкал и к концу обеда так оживился, что мужчины встали из-за стола, не переставая говорить, и даже Алексей Александрович оживился.

X

Песцов любил рассуждать до конца и не удовлетворился словами Сергея Ивановича, тем более что он почувствовал несправедливость своего мнения

— Мне кажется, — неторопливо и вяло отвечал Алексей Александрович, — что это одно и то же. По моему мнению, действовать па другой народ может только тот, который имеет высшее развитие, который... — Но в том и вопрос, — перебил своим басом Песцов, который всегда торопился говорить и, казалось, всегда всю душу полагал на то, о чем он говорил, — в чем полагать высшее развитие? Англичане, французы, немцы, — кто стоит на высшей степени развития? Кто будет национализовать один другого? Мы видим, что Рейн офранцузился, а немцы не ниже стоят! — кричал он. — Тут есть другой закон! — Мне кажется, что влияние всегда на стороне истинного образования, — сказал Алексей Александрович, слегка поднимая брови. — Но в чем же мы должны полагать признаки истинного образования? — сказал Песцов. — Я полагаю, что признаки эти известны, — сказал Алексей Александрович. — Вполне ли они известны? — с тонкою улыбкой вмешался Сергей Иванович. — Теперь признано, что настоящее образование может быть только чисто классическое; но мы видим ожесточенные споры той и другой стороны, и нельзя отрицать, чтоб и противный лагерь не имел сильных доводов в свою пользу. — Вы классик, Сергей Иванович. Прикажете красного? — сказал Степан Аркадьич. — Я не высказываю своего мнения о том и другом образовании, — с улыбкой снисхождения, как к ребенку, сказал Сергей Иванович, подставляя свой стакан, — я только говорю, что обе стороны имеют сильные доводы, — продолжал он, обращаясь к Алексею Александровичу. — Я классик по образованию, но в споре этом я лично не могу найти своего места. Я не вижу ясных доводов, почему классическим наукам дано преимущество пред реальными. — Естественные имеют столь же педагогически-развивательное влияние, — подхватил Песцов. — Возьмите одну астрономию, возьмите ботанику, зоологию с ее системой общих законов! — Я не могу вполне с этим согласиться, — отвечал Алексей Александрович. — Мне кажется, что нельзя не признать того, что самый процесс изучения форм языков особенно благотворно действует на духовное развитие. 413

— Мне кажется, — неторопливо и вяло отвечал Алексей Александрович, — что это одно и то же. По моему мнению, действовать на другой народ может только тот, который имеет высшее развитие, который...

— Но в том и вопрос, — перебил своим басом Песцов, который всегда торопился говорить и, казалось, всегда всю душу полагал на то, о чем он говорил, — в чем полагать высшее развитие? Англичане, французы, немцы, — кто стоит на высшей степени развития? Кто будет национализовать один другого? Мы видим, что Рейн офранцузился, а немцы не ниже стоят! — кричал он. — Тут есть другой закон!

— Мне кажется, что влияние всегда на стороне истинного образования, — сказал Алексей Александрович, слегка поднимая брови.

— Но в чем же мы должны полагать признаки истинного образования? — сказал Песцов.

— Я полагаю, что признаки эти известны, — сказал Алексей Александрович.

— Вполне ли они известны? — с тонкою улыбкой вмешался Сергей Иванович. — Теперь признано, что настоящее образование может быть только чисто классическое; но мы видим ожесточенные споры той и другой стороны, и нельзя отрицать, чтоб и противный лагерь не имел сильных доводов в свою пользу.

— Вы классик, Сергей Иванович. Прикажете красного? — сказал Степан Аркадьич.

— Я не высказываю своего мнения о том и другом образовании, — с улыбкой снисхождения, как к ребенку, сказал Сергей Иванович, подставляя свой стакан, — я только говорю, что обе стороны имеют сильные доводы, — продолжал он, обращаясь к Алексею Александровичу. — Я классик по образованию, но в споре этом я лично не могу найти своего места. Я не вижу ясных доводов, почему классическим наукам дано преимущество пред реальными.

— Естественные имеют столь же педагогически-развивательное влияние, — подхватил Песцов. — Возьмите одну астрономию, возьмите ботанику, зоологию с ее системой общих законов!

— Я не могу вполне с этим согласиться, — отвечал

кроме того, нельзя отрицать и того, что влияние классических писателей в высшей степени нравственное, тогда как, к несчастью, с преподаванием естественных наук соединяются те вредные и ложные учения, которые составляют язву нашего времени. Сергей Иванович хотел что-то сказать, но Песцов своим густым басом перебил его. Он горячо начал доказывать несправедливость этого мнения. Сергей Иванович спокойно дожидался слова, очевидно с готовым победительным возражением. — Но, — сказал Сергей Иванович, тонко улыбаясь и обрагцаясь к Каренину, — нельзя не согласиться, что взвесить вполне все выгоды и невыгоды тех и других наук трудно и что вопрос о том, какие предпочесть, не был бы решен так скоро и окончательно, если бы на стороне классического образования не было того преимуш;ества, которое вы сейчас высказали; нравственного — disons le mot ^ — антинигилистического влияния. — Без сомнения. — Если бы не было этого преимуш;ества антинигилистического влияния на стороне классических наук, мы бы больше подумали, взвесили бы доводы обеих сторон, — с тонкою улыбкой говорил Сергей Иванович, — мы бы дали простор тому и другому направлению. Но теперь мы знаем, что в этих пилюлях классического образования леяптт целебная сила антинигилизма, и мы смело предлагаем их нашим пациентам... А что, как нет и целебной силы? — заключил оп, высыпая аттическую соль. При пилюлях Сергея Ивановича все засмеялись, и в особенности громко и весело Туровцын, дождавшийся, наконец, того смешного, чего он только и ждал, слушая разговор. Степан Аркадьич не ошибся, пригласив Песцова. С Песцовым разговор умный не мог умолкнуть ни на минуту. Только что Сергей Иванович заключил разговор своей шуткой. Песцов тотчас поднял новый. — Нельзя согласиться даже с тем, — сказал он, — чтобы правительство имело эту цель. Правительство, очевидно, руководствуется общими соображениями, оставаясь индифферентным к влияниям, которые могут иметь принимаемые меры. Например, вопрос ясенского образования ^ скажем прямо (франц.). 414

Кроме того, нельзя отрицать и того, что влияние классических писателей в высшей степени нравственное, тогда как, к несчастью, с преподаванием естественных наук соединяются те вредные и ложные учения, которые составляют язву нашего времени.

Сергей Иванович хотел что-то сказать, но Песцов своим густым басом перебил его. Он горячо начал доказывать несправедливость этого мнения. Сергей Иванович спокойно дожидался слова, очевидно с готовым победительным возражением.

— Но, — сказал Сергей Иванович, тонко улыбаясь и обращаясь к Каренину, — нельзя не согласиться, что взвесить вполне все выгоды и невыгоды тех и других наук трудно и что вопрос о том, какие предпочесть, не был бы решен так скоро и окончательно, если бы на стороне классического образования не было того преимущества, которое вы сейчас высказали; нравственного — disons le mot [1] — антинигилистического влияния.

— Без сомнения.

— Если бы не было этого преимущества антинигилистического влияния на стороне классических наук, мы бы больше подумали, взвесили бы доводы обеих сторон, — с тонкою улыбкой говорил Сергей Иванович, — мы бы дали простор тому и другому направлению. Но теперь мы знаем, что в этих пилюлях классического образования лежит целебная сила антинигилизма, и мы смело предлагаем их нашим пациентам... А что, как нет и целебной силы? — заключил он, высыпая аттическую соль.

При пилюлях Сергея Ивановича все засмеялись, и в особенности громко и весело Туровцын, дождавшийся, наконец, того смешного, чего он только и ждал, слушая разговор.

Степан Аркадьич не ошибся, пригласив Песцова. С Песцовым разговор умный не мог умолкнуть ни на минуту. Только что Сергей Иванович заключил разговор своей шуткой, Песцов тотчас поднял новый.

— Нельзя согласиться даже с тем, — сказал он, — чтобы правительство имело эту цель. Правительство, очевидно, руководствуется общими соображениями, оставаясь индифферентным к влияниям, которые могут иметь при-

должен бы был считаться зловредным, но правительство открывает женские курсы и университеты. И разговор тотчас же перескочил на новую тему женского образования. Алексей Александрович выразил мысль о том, что образование женщин обыкновенно смешивается с вопросом о свободе женщин и только поэтому может считаться вредным. — Я, напротив, полагаю, что эти два вопроса неразрывно связаны, — сказал Песцов, — это ложный круг. Женщина лишена прав по недостатку образования, а недостаток образования происходит от отсутствия прав. Надо не забывать того, что порабощение женщин так велико и старо, что мы часто не хотим понимать ту пучину, которая отделяет их от нас, — говорил он. — Вы сказали — права, — сказал Сергей Иванович, дождавшись молчания Песцова, — права занимания должностей присяжных, гласных, председателей управ, права служащего, члена парламента... — Без сомнения. — Но если женщины, как редкое исключение, и могут занимать эти места, то, мне кажется, вы неправильно употребили выражение «права». Вернее бы было сказать: обязанности. Всякий согласится, что, исполняя какую-нибудь должность присяжного, гласного, телеграфного чиновника, мы чувствуем, что исполняем обязанность. И потому вернее выразиться, что женщины ищут обязанностей, и совершенно законно. И можно только сочувствовать этому их желанию помочь общему мужскому труду. — Совершенно справедливо, — подтвердил Алексей Александрович. — Вопрос, я полагаю, состоит только в том, способны ли они к этим обязанностям. Вероятно, будут очень способны, — вставил Степан Аркадьич, — когда образование будет распространено между ними. Мы это видим... — А пословица? — сказал князь, давно уж прислу-* шиваясь к разговору и блестя своими маленькими насмешливыми глазами, — при дочерях можно: волос долог... — • Точно так же думали о неграх до их освобождения! — сердито сказал Песцов. — Я нахожу только странным, что женщины ищут новых обязанностей, — сказал Сергей Иванович, — тогда как мы, к несчастью, видим, что мужчины обыкновенно избегают их. 415

должен бы был считаться зловредным, но правительство открывает женские курсы и университеты.

И разговор тотчас же перескочил на новую тему женского образования.

Алексей Александрович выразил мысль о том, что образование женщин обыкновенно смешивается с вопросом о свободе женщин и только поэтому может считаться вредным.

— Я, напротив, полагаю, что эти два вопроса неразрывно связаны, — сказал Песцов, — это ложный круг. Женщина лишена прав по недостатку образования, а недостаток образования происходит от отсутствия прав. Надо не забывать того, что порабощение женщин так велико и старо, что мы часто не хотим понимать ту пучину, которая отделяет их от нас, — говорил он.

— Вы сказали — права́, — сказал Сергей Иванович, дождавшись молчания Песцова, — права́ занимания должностей присяжных, гласных, председателей управ, права́ служащего, члена парламента...

— Без сомнения.

— Но если женщины, как редкое исключение, и могут занимать эти места, то, мне кажется, вы неправильно употребили выражение «права́». Вернее бы было сказать: обязанности. Всякий согласится, что, исполняя какую-нибудь должность присяжного, гласного, телеграфного чиновника, мы чувствуем, что исполняем обязанность. И потому вернее выразиться, что женщины ищут обязанностей, и совершенно законно. И можно только сочувствовать этому их желанию помочь общему мужскому труду.

— Совершенно справедливо, — подтвердил Алексей Александрович. — Вопрос, я полагаю, состоит только в том, способны ли они к этим обязанностям.

— Вероятно, будут очень способны, — вставил Степан Аркадьич, — когда образование будет распространено между ними. Мы это видим...

— А пословица? — сказал князь, давно уж прислушиваясь к разговору и блестя своими маленькими насмешливыми глазами, — при дочерях можно: волос долог...

— Точно так же думали о неграх до их освобождения! — сердито сказал Песцов.

— Я нахожу только странным, что женщины ищут

— Обязанности сопряжены с правами; власть, деньги, почести: их-то ищут женщины, — сказал Песцов. — Все равно, что я бы искал права быть кормилицей и обижался бы, что женщинам платят, а мне не хотят, — сказал старый князь. Туровцын разразился громким смехом, и Сергей Иванович пожалел, что не он сказал это. Даже Алексей Александрович улыбнулся. — Да, но мужчина не может кормить, — сказал Песцов, — а женщина... — Нет, англичанин выкормил на корабле своего ребенка, — сказал старый князь, позволяя себе эту вольность разговора при своих дочерях. — Сколько таких англичан, столько же и женщин будет чиновников, — сказал уже Сергей Иванович. — Да, но что же делать девушке, у которой нет семьи? — вступился Степан Аркадьич, вспоминая о Чибисовой, которую он все время имел в виду, сочувствуя Песцову и поддерживая его. — Если хорошенько разобрать историю этой девушки, то вы найдете, что эта девушка бросила семью, или свою, или сестрину, где бы она могла иметь женское дело, — неожиданно вступая в разговор, сказала с раздражительностью Дарья Александровна, вероятно догадываясь, какую девушку имел в виду Степан Аркадьич. — Но мы стоим за принцип, за идеал! — звучным басом возражал Песцов. — Женщина хочет иметь право быть независимою, образованною. Она стеснена, подавлена сознанием невозможности этого. — А я стеснен и подавлен тем, что меня не примут в кормилицы в воспитательный дом, — опять сказал старый князь, к великой радости Туровцына, со смеху уронившего спаржу толстым концом в соус. XI Все принимали участие в общем разговоре, кроме Кити и Левина. Сначала, когда говорилось о влиянии, которое имеет один народ на другой, Левину невольно приходило в голову то, что он имел сказать по этому предмету; но мысли эти, прежде для него очень важные, как бы во сне мелькали в его голове и не имели для него теперь ни малейшего интереса. Ему даже странно 416

— Обязанности сопряжены с правами; власть, деньги, почести: их-то ищут женщины, — сказал Песцов.

— Все равно, что я бы искал права быть кормилицей и обижался бы, что женщинам платят, а мне не хотят, — сказал старый князь.

Туровцын разразился громким смехом, и Сергей Иванович пожалел, что не он сказал это. Даже Алексей Александрович улыбнулся.

— Да, но мужчина не может кормить, — сказал Песцов, — а женщина...

— Нет, англичанин выкормил на корабле своего ребенка, — сказал старый князь, позволяя себе эту вольность разговора при своих дочерях.

— Сколько таких англичан, столько же и женщин будет чиновников, — сказал уже Сергей Иванович.

— Да, но что же делать девушке, у которой нет семьи? — вступился Степан Аркадьич, вспоминая о Чибисовой, которую он все время имел в виду, сочувствуя Песцову и поддерживая его.

— Если хорошенько разобрать историю этой девушки, то вы найдете, что эта девушка бросила семью, или свою, или сестрину, где бы она могла иметь женское дело, — неожиданно вступая в разговор, сказала с раздражительностью Дарья Александровна, вероятно догадываясь, какую девушку имел в виду Степан Аркадьич.

— Но мы стоим за принцип, за идеал! — звучным басом возражал Песцов. — Женщина хочет иметь право быть независимою, образованною. Она стеснена, подавлена сознанием невозможности этого.

— А я стеснен и подавлен тем, что меня не примут в кормилицы в воспитательный дом, — опять сказал старый князь, к великой радости Туровцына, со смеху уронившего спаржу толстым концом в соус.

XI

Все принимали участие в общем разговоре, кроме Кити и Левина. Сначала, когда говорилось о влиянии, которое имеет один народ на другой, Левину невольно

казалось, зачем они так стараются говорить о том, что никому не нужно. Для Кити точно так же, казалось, должно бы быть интересно то, что они говорили о правах и образовании женщин. Сколько раз она думала об этом, вспоминая о своей заграничной приятельнице Вареньке, о ее тяжелой зависимости, сколько раз думала про себя, что с ней самой будет, если она не выйдет замуж, и сколько раз спорила об этом с сестрою! Но теперь это нисколько не интересовало ее. У них шел свой разговор с Левиным, и не разговор, а какое-то таинственное общение, которое с каждою минутой все ближе связывало их и производило в обоих чувство радостного страха пред тем неизвестным, в которое они вступали. Сначала Левин, на вопрос Кити о том, как он мог видеть ее прошлого года в карете, рассказал ей, как он шел с покоса по большой дороге и встретил ее. — Это было рано-рано утром. Вы, верно, только проснулись. Maman ваша спала в своем уголке. Чудное утро было. Я иду и думаю: кто это четверней в карете? Славная четверка с бубенчиками, и на мгновенье вы мелькнули, и вижу я в окно — БЫ сидите вот так и обеими руками держите завязки чепчика и о чем-то ужасно задумались, — говорил он, улыбаясь. — Как бы я желал знать, о чем вы тогда думали. О важном? «Не была ли растрепана?» — подумала она; но, увидав восторженную улыбку, которую вызывали в его воспоминании эти подробности, она почувствовала, что, напротив, впечатление, произведенное ею, было очень хорошее. Она покраснела и радостно засмеялась. — Право, не помню. — Как хорошо смеется Туровцын! — сказал Левин, любуясь па его влажные глаза и трясущееся тело. — Вы давно его знаете? — спросила Кити. — Кто его не знает! — Ия вижу, что вы думаете, что он дурной человек? — Не дурной, а ничтожный. — И неправда! И поскорей не думайте больше так! — сказала Кити. — Я тоже была о нем очень низкого мнения, но это, это — премилый и удивительно добрый человек. Сердце у него золотое. — Как это вы могли узнать его сердце? — Мы с ним большие друзья. Я очень хорошо знаю его. Прошлую зиму, вскоре после того... как вы у нас были, — ' сказала она с виноватою и вместе доверчивою 14 Л. II. Толстой, т, 8 417

казалось, зачем они так стараются говорить о том, что никому не нужно. Для Кити точно так же, казалось, должно бы быть интересно то, что они говорили о правах и образовании женщин. Сколько раз она думала об этом, вспоминая о своей заграничной приятельнице Вареньке, о ее тяжелой зависимости, сколько раз думала про себя, что с ней самой будет, если она не выйдет замуж, и сколько раз спорила об этом с сестрою! Но теперь это нисколько не интересовало ее. У них шел свой разговор с Левиным, и не разговор, а какое-то таинственное общение, которое с каждою минутой все ближе связывало их и производило в обоих чувство радостного страха пред тем неизвестным, в которое они вступали.

Сначала Левин, на вопрос Кити о том, как он мог видеть ее прошлого года в карете, рассказал ей, как он шел с покоса по большой дороге и встретил ее.

— Это было рано-рано утром. Вы, верно, только проснулись. Maman ваша спала в своем уголке. Чудное утро было. Я иду и думаю: кто это четверней в карете? Славная четверка с бубенчиками, и на мгновенье вы мелькнули, и вижу я в окно — вы сидите вот так и обеими руками держите завязки чепчика и о чем-то ужасно задумались, — говорил он, улыбаясь. — Как бы я желал знать, о чем вы тогда думали. О важном?

«Не была ли растрепана?» — подумала она; но, увидав восторженную улыбку, которую вызывали в его воспоминании эти подробности, она почувствовала, что, напротив, впечатление, произведенное ею, было очень хорошее. Она покраснела и радостно засмеялась.

— Право, не помню.

— Как хорошо смеется Туровцын! — сказал Левин, любуясь на его влажные глаза и трясущееся тело.

— Вы давно его знаете? — спросила Кити.

— Кто его не знает!

— И я вижу, что вы думаете, что он дурной человек?

— Не дурной, а ничтожный.

— И неправда! И поскорей не думайте больше так! — сказала Кити. — Я тоже была о нем очень низкого мнения, но это, это — премилый и удивительно добрый человек. Сердце у него золотое.

— Как это вы могли узнать его сердце?

улыбкой, — у Долли дети все были в скарлатине, и ои зашел к ней как-то. И можете себе представить, — говорила она шепотом, — ему так жалко стало ее, что ои остался и стал помогать ей ходить за детьми. Да, и три недели прожил у них в доме и как нянька ходил за детьми. — Я рассказываю Константину Дмитричу про Туровцына в скарлатине, — сказала она, перегнувшись к сестре. — Да, удивительно, прелесть! — сказала Долли, взглядывая на Туровцына, чувствовавшего, что говорили о нем, и кротко улыбаясь ему. Левин егце раз взглянул на Туровцына и удивился, как он прежде не понимал всей прелести этого человека. — Виноват, виноват, и никогда не буду больше дурно думать о людях! — весело сказал он, искренно высказывая то, что он теперь чувствовал. XII В затеянном разговоре о правах женщин были щекотливые при дамах вопросы о неравенстве прав в браке. Песцов во время обеда несколько раз налетал на эти вопросы, но Сергей Иванович и Степан Аркадьич осторожно отклоняли его. Когда же встали из-за стола и дамы вышли. Песцов, не следуя за ними, обратился к Алексею Александровичу и принялся высказывать главную причину неравенства. Неравенство супругов, по его мнению, состояло в том, что неверность жены и неверность мужа казнятся неравно и законом и общественным мнением. Степан Аркадьич поспешно подошел к Алексею Александровичу, предлагая ему курить. — Нет, я не курю, — спокойно отвечал Алексей Александрович и, как бы умышленно желая показать, что он не боится этого разговора, обратился с холодною улыбкой к Песцову. — Я полагаю, что основания такого взгляда лежат в самой сущности вещей, — сказал он и хотел пройти в гостиную; но тут вдруг неожиданно заговорил Туровцын, обращаясь к Алексею Александровичу. — А вы изволили слышать о Прячникове? — сказал Туровцын, оживленный выпитым шампанским и давно 418

улыбкой, — у Долли дети все были в скарлатине, и он зашел к ней как-то. И можете себе представить, — говорила она шепотом, — ему так жалко стало ее, что он остался и стал помогать ей ходить за детьми. Да, и три недели прожил у них в доме и как нянька ходил за детьми.

— Я рассказываю Константину Дмитричу про Туровцына в скарлатине, — сказала она, перегнувшись к сестре.

— Да, удивительно, прелесть! — сказала Долли, взглядывая на Туровцына, чувствовавшего, что говорили о нем, и кротко улыбаясь ему. Левин еще раз взглянул на Туровцына и удивился, как он прежде не понимал всей прелести этого человека.

— Виноват, виноват, и никогда не буду больше дурно думать о людях! — весело сказал он, искренно высказывая то, что он теперь чувствовал.

XII

В затеянном разговоре о правах женщин были щекотливые при дамах вопросы о неравенстве прав в браке. Песцов во время обеда несколько раз налетал на эти вопросы, но Сергей Иванович и Степан Аркадьич осторожно отклоняли его.

Когда же встали из-за стола и дамы вышли, Песцов, не следуя за ними, обратился к Алексею Александровичу и принялся высказывать главную причину неравенства. Неравенство супругов, по его мнению, состояло в том, что неверность жены и неверность мужа казнятся неравно и законом и общественным мнением.

Степан Аркадьич поспешно подошел к Алексею Александровичу, предлагая ему курить.

— Нет, я не курю, — спокойно отвечал Алексей Александрович и, как бы умышленно желая показать, что он не боится этого разговора, обратился с холодною улыбкой к Песцову.

— Я полагаю, что основания такого взгляда лежат в самой сущности вещей, — сказал он и хотел пройти в гостиную; но тут вдруг неожиданно заговорил Туров-

ждавший случая прервать тяготившее его молчание. — Вася Прячников, — сказал он с своею доброю улыбкой влажных и румяных губ, обращаясь преимущественно к главному гостю, Алексею Александровичу, — мне нынче рассказывали, он дрался на дуэли в Твери с Квытским и убил его. Как всегда кажется, что зашибаешь, как нарочно, именно больное место, так и теперь Степан Аркадьич чувствовал, что на беду нынче каждую минуту разговор нападал на больное место Алексея Александровича. Он хотел опять отвести зятя, но сам Алексей Александрович с любопытством спросил: — За что дрался Прячников? — За жену. Молодцом поступил! Вызвал и убил! — А! — равнодушно сказал Алексей Александрович и, подняв брови, прошел в гостиную. — Как я рада, что вы пришли, — сказала ему Долли с испуганною улыбкой, встречая его в проходной гостиной, — мне нужно поговорить с вами. Сядемте здесь. Алексей Александрович с тем же выражением равнодушия, которое придавали ему приподнятые брови, сел подле Дарьи Александровны и притворно улыбнулся. — Тем более, — сказал он, — что я и хотел просить вашего извинения и тотчас откланяться. Мне завтра надо ехать. Дарья Александровна была твердо уверена в невинности Анны и чувствовала, что она бледнеет и губы ее дрожат от гнева на этого холодного, бесчувственного человека, так покойно намеревающегося погубить ее невинного друга. — Алексей Александрович, — сказала она, с отчаянною решительностью глядя ему в глаза. — Я спрашивала у вас про Анну, вы мне не ответили. Что она? — Она, кажется, здорова, Дарья Александровна, — пе глядя на нее, отвечал Алексей Александрович. — Алексей Александрович, простите меня, я не имею права... но я, как сестру, люблю и уважаю Анну; я прошу, умоляю вас сказать мне, что такое между вами? в чем вы обвиняете ее? Алексей Александрович поморщился и, почти закрыв глаза, опустил голову. — Я полагаю, что ваш муж передал вам те причины, почему я считаю нужным изменить прежние свои отношения к Анне Аркадьевне, — сказал он, не глядя ей в 14* 419

ждавший случая прервать тяготившее его молчание. — Вася Прячников, — сказал он с своею доброю улыбкой влажных и румяных губ, обращаясь преимущественно к главному гостю, Алексею Александровичу, — мне нынче рассказывали, он дрался на дуэли в Твери с Квытским и убил его.

Как всегда кажется, что зашибаешь, как нарочно, именно больное место, так и теперь Степан Аркадьич чувствовал, что на беду нынче каждую минуту разговор нападал на больное место Алексея Александровича. Он хотел опять отвести зятя, но сам Алексей Александрович с любопытством спросил:

— За что дрался Прячников?

— За жену. Молодцом поступил! Вызвал и убил!

— А! — равнодушно сказал Алексей Александрович и, подняв брови, прошел в гостиную.

— Как я рада, что вы пришли, — сказала ему Долли с испуганною улыбкой, встречая его в проходной гостиной, — мне нужно поговорить с вами. Сядемте здесь.

Алексей Александрович с тем же выражением равнодушия, которое придавали ему приподнятые брови, сел подле Дарьи Александровны и притворно улыбнулся.

— Тем более, — сказал он, — что я и хотел просить вашего извинения и тотчас откланяться. Мне завтра надо ехать.

Дарья Александровна была твердо уверена в невинности Анны и чувствовала, что она бледнеет и губы ее дрожат от гнева на этого холодного, бесчувственного человека, так покойно намеревающегося погубить ее невинного друга.

— Алексей Александрович,— сказала она, с отчаянною решительностью глядя ему в глаза.— Я спрашивала у вас про Анну, вы мне не ответили. Что она?

— Она, кажется, здорова, Дарья Александровна,— не глядя на нее, отвечал Алексей Александрович.

— Алексей Александрович, простите меня, я не имею права... но я, как сестру, люблю и уважаю Анну; я прошу, умоляю вас сказать мне, что такое между вами? в чем вы обвиняете ее?

Алексей Александрович поморщился и, почти закрыв глаза, опустил голову.

глаза, а недовольно оглядывая проходившего через гостиную Щербацкого. — Я не верю, не верю, не могу верить этому! — сжимая пред собой свои костлявые руки, с энергическим жестом проговорила Долли. Она быстро встала и положила свою руку на рукав Алексея Александровича. — Нам помешают здесь. Пойдемте сюда, пожалуйста. Волнение Дарьи Александровны действовало на Алексея Александровича. Он встал и покорно пошел за нею в классную комнату. Они селрі за стол, обтянутый изрезанною перочинными ножами клеенкой. — Я не верю, не верю этому! — проговорила Долли, стараясь уловить его избегаюш.ий ее взгляд. — Нельзя не верить фактам, Дарья Александровна,— сказал он, ударяя на слово фактам. — Но что же она сделала? Что? Что? — говорила Дарья Александровна. — Что именно она сделала? — Она презрела свои обязанности и изменила своему мужу. Вот что она сделала, — сказал он. — Нет, нет, не может быть! Нет, ради бога, вы ошиблись! — говорила Долли, дотрагиваясь руками до висков и закрывая глаза. Алексей Александрович холодно улыбнулся одними губами, желая показать ей и самому себе твердость своего убеждения; но эта горячая загцита, хотя и не колебала его, растравляла его рану. Он заговорил с большим оживлением. — Весьма трудно ошибаться, когда жена сама объявляет о том мужу. Объявляет, что восемь лет жизни и сын — что все это ошибка и что она хочет жить сначала, — сказал он сердито, сопя носом. — Анна и порок — я не могу соединить, не могу верить этому. — Дарья Александровна! — сказал он, теперь прямо взглянув в доброе взволнованное лицо Долли и чувствуя, что язык его невольно развязывается. — Как бы я дорого дал, чтобы сомнение еще было возможно. Когда я сомневался, мне было тяжело, но легче, чем теперь. Когда я сомневался, то была надежда; но теперь нет надежды, и я все-таки сомневаюсь во всем. Я сомневаюсь во всем, я ненавижу сына, я иногда не верю, что это мой сын. Я очень несчастлив. Ему не нужно было говорить этого. Дарья Александровна поняла это, как только он взглянул ей в лицо; 420

глаза, а недовольно оглядывая проходившего через гостиную Щербацкого.

— Я не верю, не верю, не могу верить этому! — сжимая пред собой свои костлявые руки, с энергическим жестом проговорила Долли. Она быстро встала и положила свою руку на рукав Алексея Александровича.— Нам помешают здесь. Пойдемте сюда, пожалуйста.

Волнение Дарьи Александровны действовало на Алексея Александровича. Он встал и покорно пошел за нею в классную комнату. Они сели за стол, обтянутый изрезанною перочинными ножами клеенкой.

— Я не верю, не верю этому! — проговорила Долли, стараясь уловить его избегающий ее взгляд.

— Нельзя не верить фактам, Дарья Александровна,— сказал он, ударяя на слово *фактам*.

— Но что же она сделала? Что? Что? — говорила Дарья Александровна.— Что именно она сделала?

— Она презрела свои обязанности и изменила своему мужу. Вот что она сделала,— сказал он.

— Нет, нет, не может быть! Нет, ради бога, вы ошиблись! — говорила Долли, дотрагиваясь руками до висков и закрывая глаза.

Алексей Александрович холодно улыбнулся одними губами, желая показать ей и самому себе твердость своего убеждения; но эта горячая защита, хотя и не колебала его, растравляла его рану. Он заговорил с бóльшим оживлением.

— Весьма трудно ошибаться, когда жена сама объявляет о том мужу. Объявляет, что восемь лет жизни и сын — что все это ошибка и что она хочет жить сначала,— сказал он сердито, сопя носом.

— Анна и порок — я не могу соединить, не могу верить этому.

— Дарья Александровна! — сказал он, теперь прямо взглянув в доброе взволнованное лицо Долли и чувствуя, что язык его невольно развязывается.— Как бы я дорого дал, чтобы сомнение еще было возможно. Когда я сомневался, мне было тяжело, но легче, чем теперь. Когда я сомневался, то была надежда; но теперь нет надежды, и я все-таки сомневаюсь во всем. Я сомневаюсь во всем, я ненавижу сына, я иногда не верю, что это мой сын.

Il ей стало жалко его, и вера в невинность ее друга поколебалась в ней. — Ах! это ужасно, ужасно! Но неужели это правда, что вы решились на развод? — Я решился на последнюю меру. Мне больше нечего делать. — Нечего делать, нечего делать... — проговорила она со слезами на глазах. — Нет, не нечего делать! — сказала она. — То-то и ужасно в этом роде горя, что нельзя, как во всяком другом — в потере, в смерти, нести крест, а тут нужно действовать, — сказал он, как будто угадывая ее мысль. — Нужно выйти из того унизительного положения, в которое вы поставлены: нельзя жить втроем. — Я понимаю, я очень понимаю это, — сказала Долли и опустила голову. Она помолчала, думая о себе, о своем семейном горе, и вдруг энергическим жестом подняла голову и умоляющим жестом сложила руки. — Но постойте! Вы христианин. Подумайте о ней! Что с ней будет, если вы бросите ее? — Я думал, Дарья Александровна, и много думал, — говорил Алексей Александрович. Лицо его покраснело пятнами, и мутные глаза глядели прямо на нее. Дарья Александровна теперь всею душой уже жалела его. — Я это самое сделал после того, как мне объявлен был ею же самой мой позор; я оставил все по-старому. Я дал возможность исправления, я старался спасти ее. И что же? Она не исполнила самого легкого требования — соблюдения приличий, — говорил он, разгорячаясь. — Спасать молено человека, который не хочет погибать; но если натура вся так испорчена, развращена, что самая погибель кажется ей спасением, то что л^е делать? — Все, только не развод! — отвечала Дарья Александровна. — Но что же все? — Нет, это ужасно. Опа будет ничьей женой, она погибнет! — Что же я могу сделать? — подняв плечи и брови, сказал Алексей Александрович. Воспоминание о последнем проступке жены так раздражило его, что он опять стал холоден, как и при начале разговора. — Я очень благодарю за ваше участие, но мне пора,— сказал он, вставая. — Нет, постойте! Вы не должны погубить ее. Постойте, я вам скажу про себя. Я вышла замул^. Муж обманы421

и ей стало жалко его, и вера в невинность ее друга поколебалась в ней.

— Ах! это ужасно, ужасно! Но неужели это правда, что вы решились на развод?

— Я решился на последнюю меру. Мне больше нечего делать.

— Нечего делать, нечего делать...— проговорила она со слезами на глазах. — Нет, не нечего делать! — сказала она.

— То-то и ужасно в этом роде горя, что нельзя, как во всяком другом — в потере, в смерти, нести крест, а тут нужно действовать,— сказал он, как будто угадывая ее мысль.— Нужно выйти из того унизительного положения, в которое вы поставлены: нельзя жить втроем.

— Я понимаю, я очень понимаю это,— сказала Долли и опустила голову. Она помолчала, думая о себе, о своем семейном горе, и вдруг энергическим жестом подняла голову и умоляющим жестом сложила руки.— Но постойте! Вы христианин. Подумайте о ней! Что с ней будет, если вы бросите ее?

— Я думал, Дарья Александровна, и много думал,— говорил Алексей Александрович. Лицо его покраснело пятнами, и мутные глаза глядели прямо на нее. Дарья Александровна теперь всею душой уже жалела его.— Я это самое сделал после того, как мне объявлен был ею же самой мой позор; я оставил все по-старому. Я дал возможность исправления, я старался спасти ее. И что же? Она не исполнила самого легкого требования — соблюдения приличий, — говорил он, разгорячаясь. — Спасать можно человека, который не хочет погибать; но если натура вся так испорчена, развращена, что самая погибель кажется ей спасением, то что же делать?

— Все, только не развод! — отвечала Дарья Александровна.

— Но что же все?

— Нет, это ужасно. Она будет ничьей женой, она погибнет!

— Что же я могу сделать? — подняв плечи и брови, сказал Алексей Александрович. Воспоминание о последнем проступке жены так раздражило его, что он опять стал холоден, как и при начале разговора. — Я очень благодарю за ваше участие, но мне пора,— сказал он,

Бал меня; в злобе, ревности я хотела все бросить, я хотела сама... Но я опомнилась; и кто же? Анна спасла меня. И вот я живу. Дети растут, муж возвращается в семью и чувствует свою неправоту, делается чище, лучше, и я живу... Я простила, и вы должны простить! Алексей Александрович слушал ее, но слова ее уже не действовали на него. В душе его опять поднялась вся злоба того дня, когда он решился на развод. Он отряхнулся и заговорил пронзительным, громким голосом: — Простить я не могу, и не хочу, и считаю несправедливым. Я для этой женщины сделал все, и она затоптала все в грязь, которая ей свойственна. Я не злой человек, я никогда никого не ненавидел, но ее я ненавижу всеми силами души и не могу даже простить ее, потому что слишком ненавижу за все то зло, которое она сделала мне! — проговорил он со слезами злобы в голосе. — Любите ненавидящих вас... — стыдливо прошептала Дарья Александровна. Алексей Александрович презрительно усмехнулся. Это он давно знал, но это не могло быть приложимо к его случаю. — Любите ненавидящих вас, а любить тех, кого ненавидишь, нельзя. Простите, что я вас расстроил. У каждого своего горя достаточно! — И, овладев собой, Алексей Александрович спокойно простился и уехал. XIII Когда встали из-за стола, Левину хотелось идти за Кити в гостиную; но он боялся, не будет ли ей это неприятно по слишком большой очевидности его ухаживанья за ней. Он остался в кружке мужчин, принимая участие в общем разговоре, и, не глядя на Кити, чувствовал ее движения, ее взгляды и то место, на котором она была Б гостиной. Он сейчас уже и без малейшего усилия исполнял то обещание, которое он дал ей,— всегда думать хорошо про всех людей и всегда всех любить. Разговор зашел об общине, в которой Песцов видел какое-то особенное начало, называемое нм хоровым началом. Левин был не согласен ни с Песцовым, ни с братом, который как-то по-своему и признавал и не признавал значение русской общины. Но он говорил с ними, стараясь только помирить 422

вал меня; в злобе, ревности я хотела все бросить, я хотела сама... Но я опомнилась; и кто же? Анна спасла меня. И вот я живу. Дети растут, муж возвращается в семью и чувствует свою неправоту, делается чище, лучше, и я живу... Я простила, и вы должны простить!

Алексей Александрович слушал ее, но слова ее уже не действовали на него. В душе его опять поднялась вся злоба того дня, когда он решился на развод. Он отряхнулся и заговорил пронзительным, громким голосом:

— Простить я не могу, и не хочу, и считаю несправедливым. Я для этой женщины сделал все, и она затоптала все в грязь, которая ей свойственна. Я не злой человек, я никогда никого не ненавидел, но ее я ненавижу всеми силами души и не могу даже простить ее, потому что слишком ненавижу за все то зло, которое она сделала мне! — проговорил он со слезами злобы в голосе.

— Любите ненавидящих вас...— стыдливо прошептала Дарья Александровна.

Алексей Александрович презрительно усмехнулся. Это он давно знал, но это не могло быть приложимо к его случаю.

— Любите ненавидящих вас, а любить тех, кого ненавидишь, нельзя. Простите, что я вас расстроил. У каждого своего горя достаточно! — И, овладев собой, Алексей Александрович спокойно простился и уехал.

XIII

Когда встали из-за стола, Левину хотелось идти за Кити в гостиную; но он боялся, не будет ли ей это неприятно по слишком большой очевидности его ухаживанья за ней. Он остался в кружке мужчин, принимая участие в общем разговоре, и, не глядя на Кити, чувствовал ее движения, ее взгляды и то место, на котором она была в гостиной.

Он сейчас уже и без малейшего усилия исполнял то обещание, которое он дал ей,— всегда думать хорошо про всех людей и всегда всех любить. Разговор зашел об общине, в которой Песцов видел какое-то особенное начало, называемое им хоровым началом. Левин был не

их и смягчить их возражения. Он нисколько не интересовался тем, что он сам говорил, еще менее тем, что они говорили, но только желал одного — чтоб им и всем было хорошо и приятно. Он знал теперь то, что одно важно. И это одно было сначала там, в гостиной, а потом стало подвигаться и остановилось у дверрі. Он, не оборачиваясь, почувствовал устремленный на себя взгляд и улыбку и не мог не обернуться. Она стояла в дверях с Щербацким и смотрела на пего. — Я думал, вы к фортепьянам идете, — сказал он, подходя к ней. — Вот это, чего мне недостает в деревне: музыки. — Нет, мы шли только, чтоб вас вызвать, и благодарю, — сказала она, как подарком, награждая его улыбкой, — что вы пришли. Что за охота спорить? Ведь никогда один не убедит другого. — Да, правда, — сказал Левин, — большею частью бывает, что споришь горячо только оттого, что никак не можешь понять, что именно хочет доказать противник. Левин часто замечал при спорах между самыми умными людьми, что после огромных усилий, огромного количества логических тонкостей и слов спорящие приходили, наконец, к сознанию того, что то, что они долго бились доказать друг другу, давным-давно, с начала спора, было известно им, но что они любят разное и потому не хотят назвать того, что они любят, чтобы не быть оспоренными. Он часто испытывал, что иногда во время спора поймешь то, что любит противник, и вдруг сам полюбишь это самое и тотчас согласишься, и тогда все доводы отпадают, как ненужные; а иногда испытывал наоборот: выскажешь, наконец, то, что любишь сам и из-за чего придумываешь доводы, и если случится, что выскажешь это хорошо и искренно, то вдруг противник соглашается и перестает спорить. Это-то самое он хотел сказать. Она сморщила лоб, стараясь понять. Но только что он начал объяснять, она уже поняла. — Я понимаю: надо узнать, за что он спорит, что он любит, тогда можно... Она вполне угадала и выразила его дурно выраженную мысль. Левин радостно улыбнулся: так ему поразителен был этот переход от запутанного многословного спора с Песцовым и братом к этому лаконическому и ясному, без слов почти, сообщению самых сложных мыслей. Щербацкий отошел от них, и Кити, подойдя к расставленному карточному столу, села и, взяв в руку

их и смягчить их возражения. Он нисколько не интересовался тем, что он сам говорил, еще менее тем, что они говорили, но только желал одного — чтоб им и всем было хорошо и приятно. Он знал теперь то, что одно важно. И это одно было сначала там, в гостиной, а потом стало подвигаться и остановилось у двери. Он, не оборачиваясь, почувствовал устремленный на себя взгляд и улыбку и не мог не обернуться. Она стояла в дверях с Щербацким и смотрела на него.

— Я думал, вы к фортепьянам идете,— сказал он, подходя к ней. — Вот это, чего мне недостает в деревне: музыки.

— Нет, мы шли только, чтоб вас вызвать, и благодарю, — сказала она, как подарком, награждая его улыбкой, — что вы пришли. Что за охота спорить? Ведь никогда один не убедит другого.

— Да, правда,— сказал Левин,— большею частью бывает, что споришь горячо только оттого, что никак не можешь понять, что именно хочет доказать противник.

Левин часто замечал при спорах между самыми умными людьми, что после огромных усилий, огромного количества логических тонкостей и слов спорящие приходили, наконец, к сознанию того, что то, что они долго бились доказать друг другу, давным-давно, с начала спора, было известно им, но что они любят разное и потому не хотят назвать того, что они любят, чтобы не быть оспоренными. Он часто испытывал, что иногда во время спора поймешь то, что любит противник, и вдруг сам полюбишь это самое и тотчас согласишься, и тогда все доводы отпадают, как ненужные; а иногда испытывал наоборот: выскажешь, наконец, то, что любишь сам и из-за чего придумываешь доводы, и если случится, что выскажешь это хорошо и искренно, то вдруг противник соглашается и перестает спорить. Это-то самое он хотел сказать.

Она сморщила лоб, стараясь понять. Но только что он начал объяснять, она уже поняла.

— Я понимаю: надо узнать, за что он спорит, что он любит, тогда можно...

Она вполне угадала и выразила его дурно выраженную мысль. Левин радостно улыбнулся: так ему поразителен был этот переход от запутанного многословного спора с Песповым и братом к этому лаконическому и ясно-

мелок, стала чертить им по новому зеленому сукну расходящиеся круги. Они возобновили разговор, шедший за обедом: о свободе, занятиях женщин. Левин был согласен с мнением Дарьи Александровны, что девушка, не вышедшая замулч, найдет себе дело женское в семье. Он подтверждал это тем, что ни одна семья не может обойтись без помощницы, что в каждой бедной и богатой семье есть и должны быть няньки, наемные или родные. — Нет, — сказала Кити, покраснев, но тем смелее глядя на него своими правдивыми глазами, — девушка может быть так поставлена, что не может без унижения войти в семью, а сама... Он понял ее с намека. — О, да! — сказал он, — да, да, да, вы правы, вы правы! И он понял все, что за обедом доказывал Песцов о свободе женщин, только тем, что видел в сердце Кити страх девства и униженья, и, любя ее, он почувствовал этот страх и униженье и сразу отрекся от своих доводов. Наступило молчание. Она все чертила мелом по столу. Глаза ее блестели тихим блеском. Подчиняясь ее настроению, он чувствовал во всем существе своем все усиливающееся напряжение счастия. — Ах! я весь стол исчертила! — сказала она и, положив мелок, сделала движенье, как будто хотела встать. «Как же я останусь один... без нее?» — с ужасом подумал он и взял мелок.— Постойте,— сказал он, садясь к столу. — Я давно хотел спросить у вас одну вещь. Он глядел ей прямо в ласковые, хотя и испуганные глаза. — Пожалуйста, спросите. — Вот, — сказал он и написал начальные буквы: к, в, м, о: а, н, л«, б, з, л, э, н, и, т? Буквы эти значили: «когда вы мне ответили: этого не может быть, значило ли это, что никогда, или тогда?» Не было никакой вероятности, чтоб она могла понять эту сложную фразу; но он посмотрел на нее с таким видом, что жизнь его зависит от того, поймет ли она эти слова. Она взглянула на него серьезно, потом оперла нахмуренный лоб на руку и стала читать. Изредка она взглядывала на него, спрашивая у него взглядом: «То ли это, что я думаю?» — Я поняла,— сказала она, покраснев. 424

мелок, стала чертить им по новому зеленому сукну расходящиеся круги.

Они возобновили разговор, шедший за обедом: о свободе, занятиях женщин. Левин был согласен с мнением Дарьи Александровны, что девушка, не вышедшая замуж, найдет себе дело женское в семье. Он подтверждал это тем, что ни одна семья не может обойтись без помощницы, что в каждой бедной и богатой семье есть и должны быть няньки, наемные или родные.

— Нет,— сказала Кити, покраснев, но тем смелее глядя на него своими правдивыми глазами,— девушка может быть так поставлена, что не может без унижения войти в семью, а сама...

Он понял ее с намека.

— О, да! — сказал он,— да, да, да, вы правы, вы правы!

И он понял все, что за обедом доказывал Песцов о свободе женщин, только тем, что видел в сердце Кити страх девства и униженья, и, любя ее, он почувствовал этот страх и униженье и сразу отрекся от своих доводов.

Наступило молчание. Она все чертила мелом по столу. Глаза ее блестели тихим блеском. Подчиняясь ее настроению, он чувствовал во всем существе своем все усиливающееся напряжение счастия.

— Ах! я весь стол исчертила! — сказала она и, положив мелок, сделала движенье, как будто хотела встать.

«Как же я останусь один... без нее?» — с ужасом подумал он и взял мелок.— Постойте,— сказал он, садясь к столу.— Я давно хотел спросить у вас одну вещь.

Он глядел ей прямо в ласковые, хотя и испуганные глаза.

— Пожалуйста, спросите.

— Вот, — сказал он и написал начальные буквы: к, в, м, о: *э*, *н*, *м*, *б*, з, л, э, н, и, т? Буквы эти значили: «когда вы мне ответили: *этого не может быть*, значило ли это, что никогда, или тогда?» Не было никакой вероятности, чтоб она могла понять эту сложную фразу; но он посмотрел на нее с таким видом, что жизнь его зависит от того, поймет ли она эти слова.

Она взглянула на него серьезно, потом оперла нахмуренный лоб на руку и стала читать. Изредка она взгля-

— Какое это слово? — сказал он, указывая на н, которым означалось слово никогда, — Это слово значит никогда, — сказала она, — но это неправда! Он быстро стер написанное, подал ей мел и встал. Опа написала: т, я, н, м, и, о. Долли утешилась совсем от горя, причиненного ей разговором с Алексеем Александровичем, когда она увидела эти две фигуры: Кити с мелком в руках и с улыбкой робкою и счастливою, глядяіцую вверх на Левина, и его красивую фигуру, нагнувшуюся над столом, с горящими глазами, устремленными то на стол, то на нее. Он вдруг просиял: он понял. Это значило: «тогда я не могла иначо ответить». Он взглянул на нее вопросительно, робко. — Только тогда? — Да, — отвечала ее улыбка. — А т... А теперь? — спросил он. — Ну, так вот прочтите. Я скажу то, чего бы желала. Очень бы желала! — Она написала начальные буквы: ч, в, м, 3, и, п, ч, б. Это значило: «чтобы вы могли забыть и простить, что было». Он схватил мел напряженными, дрожащими пальцами и, сломав его, написал начальные буквы следующего: «мне нечего забывать и прощать, я не переставал любить вас». Она взглянула на него с остановившеюся улыбкой. — Я поняла, — шепотом сказала она. Он сел и написал длинную фразу. Она все поняла и, не спрашивая его: так ли? взяла мел и тотчас же ответила. Он долго не мог понять того, что она написала, и часто взглядывал в ее глаза. На него нашло затмение от счастия. Он никак не мог подставить те слова, какие она разумела; но в прелестных сияющих счастьем глазах ее он понял все, что ему нужно было знать. И он написал три буквы. Но он еще не кончил писать, а она уже читала за его рукой и сама докончила и написала ответ: Да. — В секретаря играете? — сказал князь, подходя. — Ну, поедем, однако, если ты хочешь поспеть в театр. Левин встал и проводил Кити до дверей. В разговоре их все было сказано; было сказано, что она любит его и что скажет отцу и матери, что завтра он приедет утром. 425

— Какое это слово? — сказал он, указывая на н, которым означалось слово *никогда.*

— Это слово значит *никогда,*— сказала она,— но это неправда!

Он быстро стер написанное, подал ей мел и встал. Она написала: т, я, н, м, и, о.

Долли утешилась совсем от горя, причиненного ей разговором с Алексеем Александровичем, когда она увидела эти две фигуры: Кити с мелком в руках и с улыбкой робкою и счастливою, глядящую вверх на Левина, и его красивую фигуру, нагнувшуюся над столом, с горящими глазами, устремленными то на стол, то на нее. Он вдруг просиял: он понял. Это значило: «тогда я не могла иначе ответить».

Он взглянул на нее вопросительно, робко.

— Только тогда?

— Да,— отвечала ее улыбка.

— А т... А теперь? — спросил он.

— Ну, так вот прочтите. Я скажу то, чего бы желала. Очень бы желала! — Она написала начальные буквы: ч, в, м, з, и, п, ч, б. Это значило: «чтобы вы могли забыть и простить, что было».

Он схватил мел напряженными, дрожащими пальцами и, сломав его, написал начальные буквы следующего: «мне нечего забывать и прощать, я не переставал любить вас».

Она взглянула на него с остановившеюся улыбкой.

— Я поняла,— шепотом сказала она.

Он сел и написал длинную фразу. Она все поняла и, не спрашивая его: так ли? взяла мел и тотчас же ответила.

Он долго не мог понять того, что она написала, и часто взглядывал в ее глаза. На него нашло затмение от счастия. Он никак не мог подставить те слова, какие она разумела; но в прелестных сияющих счастьем глазах ее он понял все, что ему нужно было знать. И он написал три буквы. Но он еще не кончил писать, а она уже читала за его рукой и сама докончила и написала ответ: Да.

— В секретаря играете? — сказал князь, подходя. — Ну, поедем, однако, если ты хочешь поспеть в театр.

Левин встал и проводил Кити до дверей.

XIV Когда Кити уехала и Левин остался один, он почувствовал такое беспокойство без нее и такое нетерпеливое желание поскорее, поскорее дожить до завтрашнего утра, когда он опять увидит ее и навсегда соединится с ней, что он испугался, как смерти, этих четырнадцати часов, которые ему предстояло провести без нее. Ему необходимо было быть и говорить с кем-нибудь, чтобы как-нибудь не оставаться одному, чтоб обмануть время. Степан Аркадьич был бы для него самый приятный собеседник, но он ехал, как он говорил, на вечер, в действительности же в балет. Левин только успел сказать ему, что он счастлив и что он любит его и никогда, никогда не забудет то, что он для него сделал. Взгляд и улыбка Степана Аркадьича показали Левину, что он понимал как должно это чувство. — Что ж, не пора умирать? — сказал Степан Аркадьич, с умилением пожимая руку Левина. — Нннеет! — сказал Левин. Дарья Александровна, прощаясь с ним, тоже как бы поздравила его, сказав: — Как я рада, что вы встретились опять с Кити, надо дорожить старыми дружбами. Но Левину неприятны были эти слова Дарьи Александровны. Она не могла понять, как все это было высоко и недоступно ей, и она не должна была сметь упоминать об этом. Левин простился с ними, но, чтобы не остаться одному, прицепился к своему брату. — Ты куда едешь? — Я в заседание. — Ну, и я с тобой. Можно? — Отчего же? поедем,— улыбаясь, сказал Сергей Иванович. — Что с тобой нынче? — Со мной? Со мной счастье! — сказал Левин, опуская окно кареты, в которой они ехали. — Ничего тебе? а то душно. Со мной счастье! Отчего ты не женился никогда? Сергей Иванович улыбнулся. — Я очень рад, она, кажется, славная де...— начал было Сергей Иванович. — Не говори, не говори, не говори! — закричал Левин, схватив его обеими руками за воротник его шубы и запахивая его. «Опа славная девушка» были такие простые, низменные слова, столь несоответственные его чувству. 426

XIV

Когда Кити уехала и Левин остался один, он почувствовал такое беспокойство без нее и такое нетерпеливое желание поскорее, поскорее дожить до завтрашнего утра, когда он опять увидит ее и навсегда соединится с ней, что он испугался, как смерти, этих четырнадцати часов, которые ему предстояло провести без нее. Ему необходимо было быть и говорить с кем-нибудь, чтобы как-нибудь не оставаться одному, чтоб обмануть время. Степан Аркадьич был бы для него самый приятный собеседник, но он ехал, как он говорил, на вечер, в действительности же в балет. Левин только успел сказать ему, что он счастлив и что он любит его и никогда, никогда не забудет то, что он для него сделал. Взгляд и улыбка Степана Аркадьича показали Левину, что он понимал как должно это чувство.

— Что ж, не пора умирать? — сказал Степан Аркадьич, с умилением пожимая руку Левина.

— Ннеет! — сказал Левин.

Дарья Александровна, прощаясь с ним, тоже как бы поздравила его, сказав:

— Как я рада, что вы встретились опять с Кити, надо дорожить старыми дружбами.

Но Левину неприятны были эти слова Дарьи Александровны. Она не могла понять, как все это было высоко и недоступно ей, и она не должна была сметь упоминать об этом.

Левин простился с ними, но, чтобы не остаться одному, прицепился к своему брату.

— Ты куда едешь?

— Я в заседание.

— Ну, и я с тобой. Можно?

— Отчего же? поедем,— улыбаясь, сказал Сергей Иванович.— Что с тобой нынче?

— Со мной? Со мной счастье! — сказал Левин, опуская окно кареты, в которой они ехали. — Ничего тебе? а то душно. Со мной счастье! Отчего ты не женился никогда?

Сергей Иванович улыбнулся.

— Я очень рад, она, кажется, славная де...— начал было Сергей Иванович.

— Не говори, не говори, не говори! — закричал Левин,

Сергей Иванович засліеялся веселым смехом, что с ним редко бывало. — Ну, все-таки можно сказать, что я очень рад этому. — Это можно завтра, завтра, и больше ничего! Ничего, ничего, молчание! — сказал Левин и, запахнув его еще раз шубой, прибавил: — Я тебя очень люблю! Что же, можно мне быть в заседании? — Разумеется, можно. — О чем у вас нынче речь? — спрашивал Левин, не переставая улыбаться. Они приехали в заседание. Левин слушал, как секретарь, запинаясь, читал протокол, которого, очевидно, сам не понимал; но Левин видел по лицу этого секретаря, какой он был милый, добрый и славный человек. Это видно было по тому, как он мешался и конфузился, читая протокол. Потом начались речи. Они спорили об отчислении каких-то сумм и о проведении каких-то труб, и Сергей Иванович уязвил двух членов и что-то победоносно долго говорил; и другой член, написав что-то на бумажке, заробел сначала, но потом ответил ему очень ядовито и мило. II потом Свияжский (он был тут же) тоже что-то сказал так красиво и благородно. Левин слушал их и ясно видел, что ни этих отчисленных сумм, ни труб, ничего этого не было и что они вовсе не сердились, а что они были все такие добрые, славные люди, и так все это хорошо, мило шло между ними. .Никому они не мешали, и всем было приятно. Замечательно было для Левина то, что они все для него нынче были видны насквозь, и по маленьким, прежде незаметным признакам он узнавал душу казкдого и ясно видел, что они все были добрые. В особенности его, Левина, они все чрезвычайно любили нынче. Это видно было по тому, как они говорили с ним, как ласково, любовно смотрели на пего даже все незнакомые. — Ну что же, ты доволен? — спросил у него Сергей Иванович. — Очень. Я никак пе думал, что это так интересно! Славно, прекрасно! Свияжский подошел к Левину и звал его к себе чай пить. Левин никак не мог понять и вспомнить, чем он был недоволен в Свияжском, чего он искал от него. Он был умный и удивительно добрый человек. — Ах, очень рад, — сказал он и спросил про жену и про свояченицу. И по странной филиации мыслей, так как в его воображении мысль о свояченице Свиязкского 427

Сергей Иванович засмеялся веселым смехом, что с ним редко бывало.

— Ну, все-таки можно сказать, что я очень рад этому.

— Это можно завтра, завтра, и больше ничего! Ничего, ничего, молчание! — сказал Левин и, запахнув его еще раз шубой, прибавил: — Я тебя очень люблю! Что же, можно мне быть в заседании?

— Разумеется, можно.

— О чем у вас нынче речь? — спрашивал Левин, не переставая улыбаться.

Они приехали в заседание. Левин слушал, как секретарь, запинаясь, читал протокол, которого, очевидно, сам не понимал; но Левин видел по лицу этого секретаря, какой он был милый, добрый и славный человек. Это видно было по тому, как он мешался и конфузился, читая протокол. Потом начались речи. Они спорили об отчислении каких-то сумм и о проведении каких-то труб, и Сергей Иванович уязвил двух членов и что-то победоносно долго говорил; и другой член, написав что-то на бумажке, заробел сначала, но потом ответил ему очень ядовито и мило. И потом Свияжский (он был тут же) тоже что-то сказал так красиво и благородно. Левин слушал их и ясно видел, что ни этих отчисленных сумм, ни труб, ничего этого не было и что они вовсе не сердились, а что они были все такие добрые, славные люди, и так все это хорошо, мило шло между ними. Никому они не мешали, и всем было приятно. Замечательно было для Левина то, что они все для него нынче были видны насквозь, и по маленьким, прежде незаметным признакам он узнавал душу каждого и ясно видел, что они все были добрые. В особенности его, Левина, они все чрезвычайно любили нынче. Это видно было по тому, как они говорили с ним, как ласково, любовно смотрели на него даже все незнакомые.

— Ну что же, ты доволен? — спросил у него Сергей Иванович.

— Очень. Я никак не думал, что это так интересно! Славно, прекрасно!

Свияжский подошел к Левину и звал его к себе чай пить. Левин никак не мог понять и вспомнить, чем он был недоволен в Свияжском, чего он искал от него. Он был умный и удивительно добрый человек.

связывалась с браком, ему представилось, что никому лучше нельзя рассказать своего счастья, как жене и свояченице Свияжского, и он очень был рад ехать к ним. Свияжский расспрашивал его про его дело в деревне, как и всегда, не предполагая никакой возможности найти что-нибудь не найденное в Европе, и теперь это нисколько не неприятно было Левину. Он, напротив, чувствовал, что Свияжский прав, что все это дело ничтожно, и видел удивительную мягкость и нежность, с которою Свияжский избегал высказыванья своей правоты. Дамы Свияжского были особенно милы. Левину казалось, что они всё уже знают и сочувствуют ему, но не говорят только из деликатности. Он просидел у них час, два, три, разговаривая о разных предметах, но подразумевал одно то, что наполняло его душу, и не замечал того, что он надоел им ужасно и что им давно пора было спать. Свияжский проводил его до передней, зевая и удивляясь тому странному состоянию, в котором был его приятель. Был второй час. Левин вернулся в гостиницу и испугался мысли о том, как он один теперь с своим нетерпением проведет остающиеся ему еще десять часов. Не спавший передовой лакей зажег ему свечи и хотел уйти, но Левин остановил его. Лакей этот, Егор, которого прежде не замечал Левин, оказался очень умным и хорошим, а главное, добрым человеком. — Что же, трудно, Егор, не спать? — Что делать! Наша должность такая. У господ покойнее; зато расчетов здесь больше. Оказалось, что у Егора была семья, три мальчика и дочь-швея, которую он хотел отдать замуж за приказчика в шорной лавке. Левин по этому случаю сообщил Егору свою мысль о том, что в браке главное дело любовь и что с любовью всегда будешь счастлив, потому что счастье бывает только в себе самом. Егор внимательно выслушал и, очевидно, вполне понял мысль Левина, но в подтверждение ее он привел неожиданное для Левина замечание о том, что, когда он жил у хороших господ, он всегда был своими господами доволен и теперь вполне доволен своим хозяином, хоть он француз. «Удивительно добрый человек», — думал Левин. — Ну, а ты, Егор, когда женился, ты любил свою жену? — Как л^е не любить, — отвечал Егор. 428

связывалась с браком, ему представилось, что никому лучше нельзя рассказать своего счастья, как жене и свояченице Свияжского, и он очень был рад ехать к ним.

Свияжский расспрашивал его про его дело в деревне, как и всегда, не предполагая никакой возможности найти что-нибудь не найденное в Европе, и теперь это нисколько не неприятно было Левину. Он, напротив, чувствовал, что Свияжский прав, что все это дело ничтожно, и видел удивительную мягкость и нежность, с которою Свияжский избегал высказыванья своей правоты. Дамы Свияжского были особенно милы. Левину казалось, что они всё уже знают и сочувствуют ему, но не говорят только из деликатности. Он просидел у них час, два, три, разговаривая о разных предметах, но подразумевал одно то, что наполняло его душу, и не замечал того, что он надоел им ужасно и что им давно пора было спать. Свияжский проводил его до передней, зевая и удивляясь тому странному состоянию, в котором был его приятель. Был второй час. Левин вернулся в гостиницу и испугался мысли о том, как он один теперь с своим нетерпением проведет остающиеся ему еще десять часов. Не спавший чередовой лакей зажег ему свечи и хотел уйти, но Левин остановил его. Лакей этот, Егор, которого прежде не замечал Левин, оказался очень умным и хорошим, а главное, добрым человеком.

— Что же, трудно, Егор, не спать?

— Что делать! Наша должность такая. У господ покойнее; зато расчетов здесь больше.

Оказалось, что у Егора была семья, три мальчика и дочь-швея, которую он хотел отдать замуж за приказчика в шорной лавке.

Левин по этому случаю сообщил Егору свою мысль о том, что в браке главное дело любовь и что с любовью всегда будешь счастлив, потому что счастье бывает только в себе самом.

Егор внимательно выслушал и, очевидно, вполне понял мысль Левина, но в подтверждение ее он привел неожиданное для Левина замечание о том, что, когда он жил у хороших господ, он всегда был своими господами доволен и теперь вполне доволен своим хозяином, хоть он француз

и Левин видел, что Егор находится тоже в восторженном состоянии и намеревается высказать все свои задушевные чувства. — Моя жизнь тоже удивительная. Я сызмальства...— начал он, блестя глазами, очевидно заразившись восторженностью Левина, так же как люди заражаются зевотой. Но в это время послышался звонок; Егор ушел, и Левин остался один. Он почти ничего не ел за обедом, отказался от чая и ужина у Свияжских, но не мог подумать об ужине. Он не спал прошлую ночь, но не мог и думать о сне. В комнате было свежо, но его душила жара. Он отворил обе форточки и сел на стол против форточек. Из-за покрытой снегом крыши видны были узорчатый с цепями крест и выше его — поднимаюп];ийся треугольник созвездия Возничего с желтовато-яркою Капеллой. Он смотрел то на крест, то на звезду, вдыхал в себя свежий морозный воздух, равномерно вбегающий в комнату, и, как во сне, следил за возникающими в воображении образами и воспоминаниями. В четвертом часу он услыхал шаги по коридору и выглянул в дверь. Это возвращался знакомый ему игрок Мяскин из клуба. Он шел мрачно, насупившись и откашливаясь. «Бедный, несчастный!» — подумал Левин, и слезы выступили ему на глаза от любви и жалости к этому человеку. Он хотел поговорить с ним, утешить его; но, вспомнив, что он в одной рубашке, раздумал и опять сел к форточке, чтобы купаться в холодном воздухе и глядеть на этот чудной формы, молчаливый, но полный для него значения крест и на возносящуюся желто-яркую звезду. В седьмом часу зашумели полотеры, зазвонили к какой-то службе, и Левин почувствовал, что начинает зябнуть. Он затворил форточку, умылся, оделся и вышел на улицу. XV На улицах еще было пусто. Левин пошел к дому Щербацких. Парадные двери были заперты, и все спало. Он пошел назад, вошел опять в номер и потребовал кофей. Денной лакей, уже не Егор, принес ему. Левин хотел вступить с ним в разговор, но лакею позвонили, и он ушел. Левин попробовал отпить кофе и положить калач в рот, но рот его решительно не знал, что делать с калачом. Левин выплюнул калач, надел пальто и пошел 429

И Левин видел, что Егор находится тоже в восторженном состоянии и намеревается высказать все свои задушевные чувства.

— Моя жизнь тоже удивительная. Я сызмальства...— начал он, блестя глазами, очевидно заразившись восторженностью Левина, так же как люди заражаются зевотой.

Но в это время послышался звонок; Егор ушел, и Левин остался один. Он почти ничего не ел за обедом, отказался от чая и ужина у Свияжских, но не мог подумать об ужине. Он не спал прошлую ночь, но не мог и думать о сне. В комнате было свежо, но его душила жара. Он отворил обе форточки и сел на стол против форточек. Из-за покрытой снегом крыши видны были узорчатый с цепями крест и выше его — поднимающийся треугольник созвездия Возничего с желтовато-яркою Капеллой. Он смотрел то на крест, то на звезду, вдыхал в себя свежий морозный воздух, равномерно вбегающий в комнату, и, как во сне, следил за возникающими в воображении образами и воспоминаниями. В четвертом часу он услыхал шаги по коридору и выглянул в дверь. Это возвращался знакомый ему игрок Мяскин из клуба. Он шел мрачно, насупившись и откашливаясь. «Бедный, несчастный!» — подумал Левин, и слезы выступили ему на глаза от любви и жалости к этому человеку. Он хотел поговорить с ним, утешить его; но, вспомнив, что он в одной рубашке, раздумал и опять сел к форточке, чтобы купаться в холодном воздухе и глядеть на этот чудной формы, молчаливый, но полный для него значения крест и на возносящуюся желто-яркую звезду. В седьмом часу зашумели полотеры, зазвонили к какой-то службе, и Левин почувствовал, что начинает зябнуть. Он затворил форточку, умылся, оделся и вышел на улицу.

XV

На улицах еще было пусто. Левин пошел к дому Щербацких. Парадные двери были заперты, и все спало. Он пошел назад, вошел опять в номер и потребовал кофей. Денной лакей, уже не Егор, принес ему. Левин хотел вступить с ним в разговор, но лакею позвонили, и он

опять ходить. Был десятый час, когда он во второй раз пришел к крыльцу Щербацких. В доме только что встали, и повар шел за провизией. Надо было прожить епі,е по крайней мере два часа. Всю эту ночь и утро Левин жил совершенно бессознательно и чувствовал себя совершенно изъятым из условий материальной жизни. Он не ел целый день, не спал две ночи, провел несколько часов раздетый на морозе и чувствовал себя не только свежим и здоровым как никогда, но он чувствовал себя совершенно независимым от тела: он двигался без усилия мышц и чувствовал, что все может сделать. Он был уверен, что полетел бы вверх или сдвинул бы угол дома, если б это понадобилось. Он проходил остальное время по улицам, беспрестанно посматривая на часы и оглядываясь по сторонам. И что он видел тогда, того после уже он никогда по видал. В особенности дети, шедшие в школу, голубя сизые, слетевшие с крыши на тротуар, и сайки, посыпанные мукой, которые выставила невидимая рука, тронули его. Эти сайки, голуби и два мальчика были неземные существа. Все это случилось в одно время: мальчик подбежал к голубю и, улыбаясь, взглянул па Левина; голубь затрещал крыльями и отпорхнул, блестя на солнце между дрожащими в воздухе пылинками снега, а из окошка пахнуло духом печеного хлеба и выставились сайки. Все это вместе было так необычайно хорошо, что Левин засмеялся и заплакал от радости. Сделав большой круг по Газетному переулку и Кисловке, он вернулся опять в гостиницу и, положив пред собой часы, сел, ожидая двенадцати. В соседнем номере говорили что-то о машинах и обмане и кашляли утренним кашлем. Они не понимали, что уже стрелка подходит к двенадцати. Стрелка подошла. Левин вышел на крыльцо. Извозчики, очевидно, всё знали. Они с счастливыми лицами окружили Левина, споря между собой и предлагая свои услуги. Стараясь не обидеть других извозчиков и обещав с теми тоже поездить, Левин взял одного и велел ехать к Щербацким. Извозчик был прелестен в белом, высунутом из-под кафтана и натянутом на налитой, красной, крепкой шее вороте рубахи. Сани у этого извозчика были высокие, ловкие, такие, на каких Левин уже после никогда не ездил, и лошадь была хороша и старалась бежать, но не двигалась с места. Извозчик знал дом Щербацких и, особенно почтительно к седоку округлив руки и сказав 430

опять ходить. Был десятый час, когда он во второй раз пришел к крыльцу Щербацких. В доме только что встали, и повар шел за провизией. Надо было прожить еще по крайней мере два часа.

Всю эту ночь и утро Левин жил совершенно бессознательно и чувствовал себя совершенно изъятым из условий материальной жизни. Он не ел целый день, не спал две ночи, провел несколько часов раздетый на морозе и чувствовал себя не только свежим и здоровым как никогда, но он чувствовал себя совершенно независимым от тела: он двигался без усилия мышц и чувствовал, что все может сделать. Он был уверен, что полетел бы вверх или сдвинул бы угол дома, если б это понадобилось. Он проходил остальное время по улицам, беспрестанно посматривая на часы и оглядываясь по сторонам.

И что он видел тогда, того после уже он никогда не видал. В особенности дети, шедшие в школу, голуби сизые, слетевшие с крыши на тротуар, и сайки, посыпанные мукой, которые выставила невидимая рука, тронули его. Эти сайки, голуби и два мальчика были неземные существа. Все это случилось в одно время: мальчик подбежал к голубю и, улыбаясь, взглянул на Левина; голубь затрещал крыльями и отпорхнул, блестя на солнце между дрожащими в воздухе пылинками снега, а из окошка пахнуло духом печеного хлеба и выставились сайки. Все это вместе было так необычайно хорошо, что Левин засмеялся и заплакал от радости. Сделав большой круг по Газетному переулку и Кисловке, он вернулся опять в гостиницу и, положив пред собой часы, сел, ожидая двенадцати. В соседнем номере говорили что-то о машинах и обмане и кашляли утренним кашлем. Они не понимали, что уже стрелка подходит к двенадцати. Стрелка подошла. Левин вышел на крыльцо. Извозчики, очевидно, всё знали. Они с счастливыми лицами окружили Левина, споря между собой и предлагая свои услуги. Стараясь не обидеть других извозчиков и обещав с теми тоже поездить, Левин взял одного и велел ехать к Щербацким. Извозчик был прелестен в белом, высунутом из-под кафтана и натянутом на налитой, красной, крепкой шее вороте рубахи. Сани у этого извозчика были высокие, ловкие, такие, на каких Левин уже после никогда не

«прру», осадил у подъезда. Швейцар Щербацких, наверное, все знал. Это видно было по улыбке его глаз и по тому, как он сказал: — Ну, давно не были, Константин Дмитрии! Не только он все знал, но он, очевидно для Левина, ликовал и делал усилия, чтобы скрыть свою радость. Взглянув в его старческие милые глаза, Левин понял даже что-то еще новое в своем счастье. — Встали? — Пожалуйте! А то оставьте здесь, — сказал он, улыбаясь, когда Левин хотел вернуться взять шапку. Это что-нибудь значило. — Кому доложить прикажете? — спросил лакей. Лакей был хотя и молодой и из новых лакеев, франт, но очень добрый и хороший человек и тоже все понимал. — Княгине... Князю... Княжне... — сказал Левин. Первое лицо, которое он увидал, была mademoiselle Linon. Она шла чрез залу, и букольки и лицо ее сияли. Он только что заговорил с нею, как вдруг за дверью послышались шаги, шорох платья, и mademoiselle Linon исчезла из глаз Левина, и радостный ужас близости своего счастья сообщился ему. Mademoiselle Linon заторопилась и, оставив его, пошла к другой двери. Только что она вышла, быстрые-быстрые легкие шаги зазвучали по паркету, и его счастье, его жизнь, он сам — лучшее его самого себя, то, чего он искал и желал так долго, быстробыстро близилось к нему. Она не шла, но какою-то невидимою силой неслась к нему. Он видел только ее ясные, правдивые глаза, испуганные той же радостью любви, которая наполняла и его сердце. Глаза эти светились ближе и ближе, ослепляя его своим светом любви. Она остановилась подле самого его, касаясь его. Руки ее поднялись и опустились ему на плечи. Она сделала все, что могла, — она подбежала к нему, и отдалась вся, робея и радуясь. Он обнял ее и прижал губы к ее рту, искавшему его поцелуя. Она тоже не спала всю ночь и все утро ждала его. Мать и отец были бесспорно согласны и счастливы ее счастьем. Она ждала его. Она первая хотела объявить eivгу свое и его счастье. Она готовилась одна встретить его и радовалась этой мысли, и робела, и стыдилась, и сама не знала, что опа сделает. Она слышала его шаги и голос и ждала за дверью, пока уйдет mademoiselle Linon. Mademoiselle Linon ушла. Она, не думая, не спрашивая 431

«прру», осадил у подъезда. Швейцар Щербацких, наверное, все знал. Это видно было по улыбке его глаз и по тому, как он сказал:

— Ну, давно не были, Константин Дмитрич!

Не только он все знал, но он, очевидно для Левина, ликовал и делал усилия, чтобы скрыть свою радость. Взглянув в его старческие милые глаза, Левин понял даже что-то еще новое в своем счастье.

— Встали?

— Пожалуйте! А то оставьте здесь, — сказал он, улыбаясь, когда Левин хотел вернуться взять шапку. Это что-нибудь значило.

— Кому доложить прикажете? — спросил лакей.

Лакей был хотя и молодой и из новых лакеев, франт, но очень добрый и хороший человек и тоже все понимал.

— Княгине... Князю... Княжне... — сказал Левин.

Первое лицо, которое он увидал, была mademoiselle Linon. Она шла чрез залу, и букольки и лицо ее сияли. Он только что заговорил с нею, как вдруг за дверью послышались шаги, шорох платья, и mademoiselle Linon исчезла из глаз Левина, и радостный ужас близости своего счастья сообщился ему. Mademoiselle Linon заторопилась и, оставив его, пошла к другой двери. Только что она вышла, быстрые-быстрые легкие шаги зазвучали по паркету, и его счастье, его жизнь, он сам — лучшее его самого себя, то, чего он искал и желал так долго, быстро-быстро близилось к нему. Она не шла, но какою-то невидимою силой неслась к нему.

Он видел только ее ясные, правдивые глаза, испуганные той же радостью любви, которая наполняла и его сердце. Глаза эти светились ближе и ближе, ослепляя его своим светом любви. Она остановилась подле самого его, касаясь его. Руки ее поднялись и опустились ему на плечи.

Она сделала все, что могла, — она подбежала к нему, и отдалась вся, робея и радуясь. Он обнял ее и прижал губы к ее рту, искавшему его поцелуя.

Она тоже не спала всю ночь и все утро ждала его. Мать и отец были бесспорно согласны и счастливы ее счастьем. Она ждала его. Она первая хотела объявить ему свое и его счастье. Она готовилась одна встретить его и радовалась этой мысли, и робела, и стыдилась, и

себя, как и что, подошла к нему и сделала то, что опа сделала. — Пойдемте к мама! — сказала она, взяв его за руку. Он долго не мог ничего сказать, не столько потому, чтоб он боялся словом испортить высоту своего чувства, сколько потому, что каждый раз, как он хотел сказать чтонибудь, вместо слов, он чувствовал, что у него вырвутся слезы счастья. Он взял ее руку и поцеловал. — Неужели это правда? — сказал он, наконец, глухим голосом. — Я не могу верить, что ты любишь меня! Она улыбнулась этому «ты» и той робости, с которою он взглянул на нее. — Да! — значительно, медленно проговорила она. — Я так счастлива! Она, не выпуская руки его, вошла в гостиную. Княгиня, увидав их, задышала часто и тотчас же заплакала и тотчас же засмеялась и таким энергическим шагом, какого не ждал Левин, подбежала к ним и, обняв голову Левина, поцеловала его и обмочила его ш;еки слезами. — Так все кончено! Я рада. Люби ее. Я рада... Кити! — Скоро устроились! — сказал старый князь, стараясь быть равнодушным; но Левин заметил, что глаза его были влажны, когда он обратился к нему. — Я давно, всегда этого желал! — сказал он, взяв за руку Левина и притягивая его к себе. Я еще тогда, когда эта ветреница вздумала... — Папа! — вскрикнула Кити и закрыла ему рот руками. — Ну, не буду! — сказал он. — Я очень, очень... ра... Ах! как я глуп... Он обнял Кити, поцеловал ее лицо, руку, опять лицо и перекрестил ее. И Левина охватило новое чувство любви к этому прежде чуждому ему человеку, старому князю, когда он смотрел, как Кити долго и нежно целовала его мясистую рукуXVI Княгиня сидела в кресле молча и улыбалась; князь сел подле нее. Кити стояла у кресла отца, все не выпуская его руку. Все молчали. Княгиня первая назвала все словами и перевела все мысли и чувства в вопросы жизни. И всем одина

себя, как и что, подошла к нему и сделала то, что она сделала.

— Пойдемте к мама́! — сказала она, взяв его за руку. Он долго не мог ничего сказать, не столько потому, чтоб он боялся словом испортить высоту своего чувства, сколько потому, что каждый раз, как он хотел сказать что-нибудь, вместо слов, он чувствовал, что у него вырвутся слезы счастья. Он взял ее руку и поцеловал.

— Неужели это правда? — сказал он, наконец, глухим голосом. — Я не могу верить, что ты любишь меня!

Она улыбнулась этому «ты» и той робости, с которою он взглянул на нее.

— Да! — значительно, медленно проговорила она. — Я так счастлива!

Она, не выпуская руки его, вошла в гостиную. Княгиня, увидав их, задышала часто и тотчас же заплакала и тотчас же засмеялась и таким энергическим шагом, какого не ждал Левин, подбежала к ним и, обняв голову Левина, поцеловала его и обмочила его щеки слезами.

— Так все кончено! Я рада. Люби ее. Я рада... Кити!

— Скоро устроились! — сказал старый князь, стараясь быть равнодушным; но Левин заметил, что глаза его были влажны, когда он обратился к нему.

— Я давно, всегда этого желал! — сказал он, взяв за руку Левина и притягивая его к себе. — Я еще тогда, когда эта ветреница вздумала...

— Папа! — вскрикнула Кити и закрыла ему рот руками.

— Ну, не буду! — сказал он. — Я очень, очень... ра... Ах! как я глуп...

Он обнял Кити, поцеловал ее лицо, руку, опять лицо и перекрестил ее.

И Левина охватило новое чувство любви к этому прежде чуждому ему человеку, старому князю, когда он смотрел, как Кити долго и нежно целовала его мясистую руку.

XVI

Княгиня сидела в кресле молча и улыбалась; князь сел подле нее. Кити стояла у кресла отца, все не выпу-

KOBO странно и больно даже это показалось в первую минуту. — Когда же? Надо благословить и объявить. А когда же свадьба? Как ты думаешь, Александр? — Вот он, — сказал старый князь, указывая на Левина, — он тут главное лицо. — Когда? — сказал Левин, краснея. — Завтра. Если вы меня спрашиваете, то, по-моему, нынче благословить и завтра свадьба. — Ну, полно, mon cher, глупости! — Ну, через неделю. — Он точно сумасшедший. — Нет, отчего же? — Да помилуй! — радостно улыбаясь этой поспешности, сказала мать. — А приданое? «Неужели будет приданое и все это? — подумал Левин с ужасом. — А впрочем, разве моя^ет приданое, и благословение, и все это — разве это может испортить мое счастье? Ничто не может испортить!» Он взглянул на Кити и заметил, что ее нисколько, нисколько не оскорбила мысль о приданом. «Стало быть, это нужно», — подумал он. — Я ведь ничего не знаю, я только сказал свое я^елание, — проговорил он, извиняясь. — Так мы рассудим. Теперь можно благословить и объявить. Это так. Княгиня подошла к мужу, поцеловала его и хотела идти; но он удержал ее, обнял и нежно, как молодой влюбленный, несколько раз, улыбаясь, поцеловал ее. Старики, очевидно, спутались на минутку и не знали хорошенько, они ли опять влюблены, или только дочь их. Когда князь с княгиней вышли, Левин подошел к своей невесте и взял ее за руку. Он теперь овладел собой и мог говорить, и ему многое нужно было сказать ей. Но он сказал совсем не то, что нужно было. — Как я знал, что это так будет! Я никогда не надеялся; но в душе я был уверен всегда, — сказал он. — Я верю, что это было предназначено. — А я? — сказала она. — Даже тогда... — Она остановилась и опять продоля^ала, решительно глядя на него своими правдивыми глазами, — даже тогда, когда я оттолкнула от себя свое счастье. Я любила всегда вас одного, но я была увлечена. Я должна сказать... Вы можете забыть это? 433

ково странно и больно даже это показалось в первую минуту.

— Когда же? Надо благословить и объявить. А когда же свадьба? Как ты думаешь, Александр?

— Вот он, — сказал старый князь, указывая на Левина, — он тут главное лицо.

— Когда? — сказал Левин, краснея. — Завтра. Если вы меня спрашиваете, то, по-моему, нынче благословить и завтра свадьба.

— Ну, полно, mon cher, глупости!

— Ну, через неделю.

— Он точно сумасшедший.

— Нет, отчего же?

— Да помилуй! — радостно улыбаясь этой поспешности, сказала мать. — А приданое?

«Неужели будет приданое и все это? — подумал Левин с ужасом. — А впрочем, разве может приданое, и благословение, и все это — разве это может испортить мое счастье? Ничто не может испортить!» Он взглянул на Кити и заметил, что ее нисколько, нисколько не оскорбила мысль о приданом. «Стало быть, это нужно», — подумал он.

— Я ведь ничего не знаю, я только сказал свое желание, — проговорил он, извиняясь.

— Так мы рассудим. Теперь можно благословить и объявить. Это так.

Княгиня подошла к мужу, поцеловала его и хотела идти; но он удержал ее, обнял и нежно, как молодой влюбленный, несколько раз, улыбаясь, поцеловал ее. Старики, очевидно, спутались на минутку и не знали хорошенько, они ли опять влюблены, или только дочь их. Когда князь с княгиней вышли, Левин подошел к своей невесте и взял ее за руку. Он теперь овладел собой и мог говорить, и ему многое нужно было сказать ей. Но он сказал совсем не то, что нужно было.

— Как я знал, что это так будет! Я никогда не надеялся; но в душе я был уверен всегда, — сказал он. — Я верю, что это было предназначено.

— А я? — сказала она. — Даже тогда... — Она остановилась и опять продолжала, решительно глядя на него своими правдивыми глазами. — даже тогда, когда я от-

— Может быть, это к лучшему. Вы мне должны простить многое. Я должен сказать вам... Это было одно из того, что он решил сказать ей. Он решился сказать ей с первых же дней две вещи — то, что он не так чист, как она, и другое — что он неверующий. Это было мучительно, но он считал, что должен сказать и то и другое. — Нет, не теперь, после! — сказал он. — Хорошо, после, но непременно скажите. Я не боюсь ничего. Мне нужно все знать. Теперь кончено. Он досказал: — Кончено то, что вы возьмете меня, какой бы я ни был, не откая^етесь от меня? Да? — Да, да. Разговор их был прерван mademoiselle Linon, которая, хотя и притворно, но нежно улыбаясь, пришла поздравлять свою любимую воспитанницу. Еще она не вышла, как с поздравлениями пришли слуги. Потом приехали родные, и начался тот блаженный сумбур, из которого Левин уже не выходил до другого дня своей свадьбы. Левину было постоянно неловко, скучно, но напряжение счастья шло, все увеличиваясь. Он постоянно чувствовал, что от него требуется многое, чего он не знает, и он делал все, что ему говорили, и все это доставляло ему счастье. Он думал, что его сватовство не будет иметь ничего похожего на другие, что обычные условия сватовства испортят его особенное счастье; но кончилось тем, что он делал то же, что другие, и счастье его от этого только увеличивалось и делалось более и более особенным, не имевшим и не имеющим ничего подобного. — Теперь мы поедим конфет, — говорила т-Пе Linon, — и Левин ехал покупать конфеты. — Ну, очень рад, — сказал Свияжский. — Я вам советую букеты брать у Фомина. — А надо? — И он ехал к Фомину. Брат говорил ему, что надо занять денег, потому что будет много расходов, подарки... — А надо подарки? — И он скакал к Фульде. И у кондитера, и у Фомина, и у Фульда он видел, что его ждали, что ему рады и торжествуют его счастье так же, как и все, с кем он имел дело в эти дни. Необыкновенно было то, что его все не только любили, но и все прежде несимпатичные, холодные, равнодушные люди, восхищаясь им, покорялись ему во всем, нежно и дели

— Может быть, это к лучшему. Вы мне должны простить многое. Я должен сказать вам...

Это было одно из того, что он решил сказать ей. Он решился сказать ей с первых же дней две вещи — то, что он не так чист, как она, и другое — что он неверующий. Это было мучительно, но он считал, что должен сказать и то и другое.

— Нет, не теперь, после! — сказал он.

— Хорошо, после, но непременно скажите. Я не боюсь ничего. Мне нужно все знать. Теперь кончено.

Он досказал:

— Кончено то, что вы возьмете меня, какой бы я ни был, не откажетесь от меня? Да?

— Да, да.

Разговор их был прерван mademoiselle Linon, которая, хотя и притворно, но нежно улыбаясь, пришла поздравлять свою любимую воспитанницу. Еще она не вышла, как с поздравлениями пришли слуги. Потом приехали родные, и начался тот блаженный сумбур, из которого Левин уже не выходил до другого дня своей свадьбы. Левину было постоянно неловко, скучно, но напряжение счастья шло, все увеличиваясь. Он постоянно чувствовал, что от него требуется многое, чего он не знает, и он делал все, что ему говорили, и все это доставляло ему счастье. Он думал, что его сватовство не будет иметь ничего похожего на другие, что обычные условия сватовства испортят его особенное счастье; но кончилось тем, что он делал то же, что другие, и счастье его от этого только увеличивалось и делалось более и более особенным, не имевшим и не имеющим ничего подобного.

— Теперь мы поедим конфет, — говорила m-lle Linon, — и Левин ехал покупать конфеты.

— Ну, очень рад, — сказал Свияжский. — Я вам советую букеты брать у Фомина.

— А надо? — И он ехал к Фомину.

Брат говорил ему, что надо занять денег, потому что будет много расходов, подарки...

— А надо подарки? — И он скакал к Фульде.

И у кондитера, и у Фомина, и у Фульда он видел, что его ждали, что ему рады и торжествуют его счастье так же, как и все, с кем он имел дело в эти дни. Необыкно-

катно обходились с его чувством и разделяли его убеждение, что он был счастливейшим в мире человеком, потому что невеста его была верх совершенства. То же самое чувствовала и Кити. Когда графиня Нордстон позволила себе намекнуть о том, что она желала чего-то лучшего, то Кити так разгорячилась и так убедительно доказала, что лучше Левина ничего не может быть на свете, что графиня Нордстон должна была признать это и в присутствии Кити без улыбки восхищения уже не встречала Левина. Объяснение, обещанное им, было одно тяжелое событие того времени. Он посоветовался со старым князем и, получив его разрешение, передал Кити свой дневник, в котором было написано то, что мучало его. Он и писая этот дневник тогда в виду будущей невесты. Его мучали две вещи: его неневинность и неверие. Признание в неверии прошло незамеченным. Она была религиозна, никогда не сомневалась в истинах религии, но его внешнее неверие даже нисколько не затронуло ее. Она знала любовью всю его душу, и в душе его она видела то, чего она хотела, а что такое состояние души называется быть неверующим, это ей было все равно. Другое же признание заставило ее горько плакать. Левин не без внутренней борьбы передал ей свой дневник. Он знал, что между им и ею не может и не должно быть тайн, и потому он решил, что так должно; но он не дал себе отчета о том, как это может подействовать, он не перенесся в нее. Только когда в этот вечер он приехал к ним пред театром, вошел в ее комнату и увидал заплаканное, несчастное от непоправимого, им произведенного горя, жалкое и милое лицо, он понял ту пучину, которая отделяла его позорное прошедшее от ее голубиной чистоты, и ужаснулся тому, что он сделал. — Возьмите, возьмите эти ужасные книги! — сказала она, отталкивая лежавшие пред ней на столе тетради. — Зачем вы дали их мне!.. Нет, все-таки лучше, — прибавила она, сжалившись над его отчаянным лицом. — Но это ужасно, ужасно! Он опустил голову и молчал. Он ничего не мог сказать. — Вы не простите меня, — прошептал он. — Нет, я простила, но это ужасно! Однако счастье его было так велико, что это признание не нарушило его, а придало ему только новый отте435

катно обходились с его чувством и разделяли его убеждение, что он был счастливейшим в мире человеком, потому что невеста его была верх совершенства. То же самое чувствовала и Кити. Когда графиня Нордстон позволила себе намекнуть о том, что она желала чего-то лучшего, то Кити так разгорячилась и так убедительно доказала, что лучше Левина ничего не может быть на свете, что графиня Нордстон должна была признать это и в присутствии Кити без улыбки восхищения уже не встречала Левина.

Объяснение, обещанное им, было одно тяжелое событие того времени. Он посоветовался со старым князем и, получив его разрешение, передал Кити свой дневник, в котором было написано то, что мучало его. Он и писал этот дневник тогда в виду будущей невесты. Его мучали две вещи: его неневинность и неверие. Признание в неверии прошло незамеченным. Она была религиозна, никогда не сомневалась в истинах религии, но его внешнее неверие даже нисколько не затронуло ее. Она знала любовью всю его душу, и в душе его она видела то, чего она хотела, а что такое состояние души называется быть неверующим, это ей было все равно. Другое же признание заставило ее горько плакать.

Левин не без внутренней борьбы передал ей свой дневник. Он знал, что между им и ею не может и не должно быть тайн, и потому он решил, что так должно; но он не дал себе отчета о том, как это может подействовать, он не перенесся в нее. Только когда в этот вечер он приехал к ним пред театром, вошел в ее комнату и увидал заплаканное, несчастное от непоправимого, им произведенного горя, жалкое и милое лицо, он понял ту пучину, которая отделяла его позорное прошедшее от ее голубиной чистоты, и ужаснулся тому, что он сделал.

— Возьмите, возьмите эти ужасные книги! — сказала она, отталкивая лежавшие пред ней на столе тетради. — Зачем вы дали их мне!.. Нет, все-таки лучше, — прибавила она, сжалившись над его отчаянным лицом. — Но это ужасно, ужасно!

Он опустил голову и молчал. Он ничего не мог сказать.

— Вы не простите меня, — прошептал он.

нок. Она простила его; но с тех пор он еще более считал себя недостойным ее, еще ниже нравственно склонялся пред нею и еще выше ценил свое незаслуженное счастье. XVII Невольно перебирая в своем воспоминании впечатления разговоров, веденных во время и после обеда, Алексей Александрович возвращался в свой одинокий нумер. Слова Дарьи Александровны о прощении произвели в нем только досаду. Приложение или неприложение христианского правила к своему случаю был вопрос слишком трудный, о котором нельзя было говорить слегка, и вопрос этот был уже давно решен Алексеем Александровичем отрицательно. Из всего сказанного наиболее запали в его воображение слова глупого, доброго Туровцына: молодецки поступил; вызвал на дуэль и убил. Все, очевидно, сочувствовали этому, хотя из учтивости и не высказали этого. «Впрочем, это дело кончено, нечего думать об этом», — сказал себе Алексей Александрович. И, думая только о предстоящем отъезде и деле ревизии, он вошел в свой нумер и спросил у провожавшего швейцара, где его лакей; швейцар сказал, что лакей только вышел. Алексей Александрович велел себе подать чаю, сел к столу и, взяв Фрума, стал соображать маршрут путешествия. — Две телеграммы, — сказал вернувшийся лакей, входя в комнату. — Извините, ваше превосходительство, я только что вышел. Алексей Александрович взял телеграммы и распечатал. Первая телеграмма было известие о назначении Стрсмова на то самое место, которого желал Каренин. Алексей Александрович бросил депешу и, покраснев, встал и стал ходить по комнате. «Quos vult perdere dementat» \ — сказал он, разумея под quos те лица, которые содействовали этому назначению. Ему не то было досадно, что не он получил это место, что его, очевидно, обошли; но ему непонятно, удивительно было, как они не видали, что болтун, фразер Стремов менее всякого другого способен к этому. Как они не видали, что они губили себя, свой prestige этим назначением! ^ Кого бог хочет погубить, того он лишает разума (лат.)^ 436

нок. Она простила его; но с тех пор он еще более считал себя недостойным ее, еще ниже нравственно склонялся пред нею и еще выше ценил свое незаслуженное счастье.

XVII

Невольно перебирая в своем воспоминании впечатления разговоров, веденных во время и после обеда, Алексей Александрович возвращался в свой одинокий нумер. Слова Дарьи Александровны о прощении произвели в нем только досаду. Приложение или неприложение христианского правила к своему случаю был вопрос слишком трудный, о котором нельзя было говорить слегка, и вопрос этот был уже давно решен Алексеем Александровичем отрицательно. Из всего сказанного наиболее запали в его воображение слова глупого, доброго Туровцына: *молодецки поступил; вызвал на дуэль и убил.* Все, очевидно, сочувствовали этому, хотя из учтивости и не высказали этого.

«Впрочем, это дело кончено, нечего думать об этом», — сказал себе Алексей Александрович. И, думая только о предстоящем отъезде и деле ревизии, он вошел в свой нумер и спросил у провожавшего швейцара, где его лакей; швейцар сказал, что лакей только вышел. Алексей Александрович велел себе подать чаю, сел к столу и, взяв Фрума, стал соображать маршрут путешествия.

— Две телеграммы, — сказал вернувшийся лакей, входя в комнату. — Извините, ваше превосходительство, я только что вышел.

Алексей Александрович взял телеграммы и распечатал. Первая телеграмма было известие о назначении Стремова на то самое место, которого желал Каренин. Алексей Александрович бросил депешу и, покраснев, встал и стал ходить по комнате. «Quos vult perdere dementat» [1], — сказал он, разумея под quos те лица, которые содействовали этому назначению. Ему не то было досадно, что не он получил это место, что его, очевидно, обошли; но ему непонятно, удивительно было, как они не видали, что болтун, фразер Стремов менее всякого другого способен к этому. Как они не видали, что они губили себя, свой

«Что-нибудь еще в этом роде», — сказал он себе желчно, открывая вторую депешу. Телеграмма была от жены. Подпись ее сипим карандашом, «Анна», первая бросилась ему в глаза. «Умираю, прошу, умоляю приехать. Умру с прощением спокойнее», — прочел ои. Он презрительно улыбнулся и бросил телеграмму. Что это был обман и хитрость, в этом, как ему казалось в первую минуту, не могло быть никакого сомнения. «Нет обмана, пред которым она бы остановилась. Она должна родить. Может быть, болезнь родов. Но какая же их цель? Узаконить ребенка, компрометировать меня и помешать разводу, — думал он. — Но что-то там сказано: умираю...» Он перечел телеграмму; и вдруг прямой смысл того, что было сказано в ней, поразил его. «А если это правда? — сказал он себе. — Если правда, что в минуту страданий и близости смерти она искренно раскаивается, и я, приняв это за обман, откажусь приехать? Это будет не только жестоко, и все осудят меня, но это будет глупо с моей стороны». — Петр, останови карету. Я еду в Петербург, — сказал он лакею. Алексей Александрович решил, что поедет в Петербург и увидит жену. Если ее болезнь есть обман, то ои промолчит и уедет. Если она действительно больна, при смерти и желает его видеть пред смертью, то он простит ее, если застанет в живых, и отдаст последний долг, если приедет слишком поздно. Всю дорогу он не думал больше о том, что ему делать. С чувством усталости и нечистоты, производимым ночью в вагоне, в раннем тумане Петербурга Алексей Александрович ехал по пустынному Невскому и глядел пред собою, не думая о том, что ожидало его. Он не мог думать об этом, потому что, представляя себе то, что будет, он не мог отогнать предположения о том, что смерть ее развяжет сразу всю трудность его положения. Хлебники, лавки запертые, ночные извозчики, дворники, метущие тротуары, мелькали в его глазах, и ои наблюдал все это, стараясь заглушить в себе мысль о том, что ожидает его и чего он не смеет желать и все-таки желает. Он подъехал к крыльцу. Извозчик и карета со спящим кучером стояли у подъезда. Входя в сени, Алексей Александ})Ович как бы достал из дальнего угла своего мозга решение и справился с ним. Там значилось: «Если обман, 437

«Что-нибудь еще в этом роде», — сказал он себе желчно, открывая вторую депешу. Телеграмма была от жены. Подпись ее синим карандашом, «Анна», первая бросилась ему в глаза. «Умираю, прошу, умоляю приехать. Умру с прощением спокойнее», — прочел он. Он презрительно улыбнулся и бросил телеграмму. Что это был обман и хитрость, в этом, как ему казалось в первую минуту, не могло быть никакого сомнения.

«Нет обмана, пред которым она бы остановилась. Она должна родить. Может быть, болезнь родов. Но какая же их цель? Узаконить ребенка, компрометировать меня и помешать разводу, — думал он. — Но что-то там сказано: умираю...» Он перечел телеграмму; и вдруг прямой смысл того, что было сказано в ней, поразил его. «А если это правда? — сказал он себе. — Если правда, что в минуту страданий и близости смерти она искренно раскаивается, и я, приняв это за обман, откажусь приехать? Это будет не только жестоко, и все осудят меня, но это будет глупо с моей стороны».

— Петр, останови карету. Я еду в Петербург, — сказал он лакею.

Алексей Александрович решил, что поедет в Петербург и увидит жену. Если ее болезнь есть обман, то он промолчит и уедет. Если она действительно больна, при смерти и желает его видеть пред смертью, то он простит ее, если застанет в живых, и отдаст последний долг, если приедет слишком поздно.

Всю дорогу он не думал больше о том, что ему делать.

С чувством усталости и нечистоты, производимым ночью в вагоне, в раннем тумане Петербурга Алексей Александрович ехал по пустынному Невскому и глядел пред собою, не думая о том, что ожидало его. Он не мог думать об этом, потому что, представляя себе то, что будет, он не мог отогнать предположения о том, что смерть ее развяжет сразу всю трудность его положения. Хлебники, лавки запертые, ночные извозчики, дворники, метущие тротуары, мелькали в его глазах, и он наблюдал все это, стараясь заглушить в себе мысль о том, что ожидает его и чего он не смеет желать и все-таки желает. Он подъехал к крыльцу. Извозчик и карета со спящим куче-

то презрение спокойное, и уехать. Если правда, то соблюсти приличия». Швейцар отворил дверь сш,е прежде, чем Алексей Александрович позвонил. Швейцар Петров, иначе Капитоныч, имел странный вид в старом сюртуке, без галстука и в туфлях. — Что барыня? — Вчера разрешились благополучно. Алексей Александрович остановился и побледнел. Он ясно понял теперь, с какою силой он желал ее смерти. — А здоровье? Корней в утреннем фартуке сбежал с лестницы. — Очень плохо, — отвечал он. — Вчера был докторский съезд, и теперь доктор здесь. — Возьми вещи, — сказал Алексей Александрович, и, испытывая некоторое облегчение от известия, что есть все-таки надежда смерти, он вошел в переднюю. На вешалке было военное пальто. Алексей Александрович заметил это и спросил: — Кто здесь? — Доктор, акушерка и граф Вронский. Алексей Александрович прошел во внутренние комнаты. В гостиной никого не было; из ее кабинета на звук его шагов вышла акушерка в чепце с лиловыми лентами. Она подошла к Алексею Александровичу и с фамильярностью близости смерти, взяв его за руку, повела в спальню. — Слава богу, что вы приехали! Только об вас и об вас, — сказала она. — Дайте же льду скорее! — сказал из спальни повелительный голос доктора. Алексей Александрович прошел в ее кабинет. У ее стола боком к спинке на низком стуле сидел Вронский и, закрыв лицо руками, плакал. Он вскочил на голос доктора, отнял руки от лица и увидал Алексея Александровича. Увидав мужа, он так смутился, что опять сел, втягивая голову в плечи, как бы желая исчезнуть куданибудь; но он сделал усилие над собой, поднялся и сказал: — Она умирает. Доктора сказали, что нет надежды. Я весь в вашей власти, но позвольте мне быть тут... впрочем, я в вашей воле, я при... 438

то презрение спокойное, и уехать. Если правда, то соблюсти приличия».

Швейцар отворил дверь еще прежде, чем Алексей Александрович позвонил. Швейцар Петров, иначе Капитоныч, имел странный вид в старом сюртуке, без галстука и в туфлях.

— Что барыня?

— Вчера разрешились благополучно.

Алексей Александрович остановился и побледнел. Он ясно понял теперь, с какою силой он желал ее смерти.

— А здоровье?

Корней в утреннем фартуке сбежал с лестницы.

— Очень плохо, — отвечал он. — Вчера был докторский съезд, и теперь доктор здесь.

— Возьми вещи, — сказал Алексей Александрович, и, испытывая некоторое облегчение от известия, что есть все-таки надежда смерти, он вошел в переднюю.

На вешалке было военное пальто. Алексей Александрович заметил это и спросил:

— Кто здесь?

— Доктор, акушерка и граф Вронский.

Алексей Александрович прошел во внутренние комнаты.

В гостиной никого не было; из ее кабинета на звук его шагов вышла акушерка в чепце с лиловыми лентами.

Она подошла к Алексею Александровичу и с фамильярностью близости смерти, взяв его за руку, повела в спальню.

— Слава богу, что вы приехали! Только об вас и об вас, — сказала она.

— Дайте же льду скорее! — сказал из спальни повелительный голос доктора.

Алексей Александрович прошел в ее кабинет. У ее стола боком к спинке на низком стуле сидел Вронский и, закрыв лицо руками, плакал. Он вскочил на голос доктора, отнял руки от лица и увидал Алексея Александровича. Увидав мужа, он так смутился, что опять сел, втягивая голову в плечи, как бы желая исчезнуть куда-нибудь; но он сделал усилие над собой, поднялся и сказал:

Алексей Александрович, увидав слезы Вронского, почувствовал прилив того душевного расстройства, которое производил в нем вид страданий других людей, и, отворачивая лицо, он, не дослушав его слов, поспешно пошел к двери. Из спальни слышался голос Анны, говорившей что-то. Голос ее был веселый, оживленный, с чрезвычайно определенными интонациями. Алексей Александрович вошел в спальню и подошел к кровати. Она лежала, повернувшись лицом к нему. Щеки рдели румянцем, глаза блестели, маленькие белые руки, высовываясь из манжет кофты, играли, перевивая его, углом одеяла. Казалось, она была не только здорова и свежа, но и в наилучшем расположении духа. Она говорила скоро, звучно и с необыкновенно правильными и прочувствованными интонациями: — Потому что Алексей, я говорю про Алексея Александровича (какая странная, ужасная судьба, что оба Алексея, не правда ли?), Алексей не отказал бы мне. Я бы забыла, он бы простил... Да что ж он не едет? Он добр, он сам не знает, как он добр. Ах, боже мой, какая тоска! Дайте мне поскорее, поскорее воды! Ах, это ей, девочке моей, будет вредно! Ну, хорошо, ну дайте ей кормилицу. Ну, я согласна, это даже лучше. Он приедет, ему больно будет видеть ее. Отдайте ее. — Анна Аркадьевна, он приехал. Вот он! — говорила акушерка, стараясь обратить на Алексея Александровича ее внимание. — Ах, какой вздор! — продолжала Анна, не видя мужа. — Да дайте мне ее, девочку, дайте! Он еш;е не приехал. Вы оттого говорите, что не простит, что вы не знаете его. Никто не знал. Одна я, и то мне тяжело стало. Его глаза, надо знать, у Сережи точно такие, и я их видеть не могу от этого. Давали ли Сереже обедать? Ведь я знаю, все забудут. Он бы не забыл. Надо Сережу перевести в угольную и Mariette попросить с ним .лечь. Вдруг она слгалась, затихла и с испугом, как будто ожидая удара, как будто защищаясь, подняла руки к лицу. Она увидала мужа. — Нет, нет, — заговорила она, — я не боюсь его, я боюсь смерти. Алексей, подойди сюда. Я тороплюсь оттого, что мне некогда, мне осталось жить немного, сейчас начнется жар, и я ничего уж не пойму. Теперь я понимаю, и все понимаю, я все вижу. Сморщенное лицо Алексея Александровича приняло страдальческое выражение; он взял ее руку и хотел 439

Алексей Александрович, увидав слезы Вронского, почувствовал прилив того душевного расстройства, которое производил в нем вид страданий других людей, и, отворачивая лицо, он, не дослушав его слов, поспешно пошел к двери. Из спальни слышался голос Анны, говорившей что-то. Голос ее был веселый, оживленный, с чрезвычайно определенными интонациями. Алексей Александрович вошел в спальню и подошел к кровати. Она лежала, повернувшись лицом к нему. Щеки рдели румянцем, глаза блестели, маленькие белые руки, высовываясь из манжет кофты, играли, перевивая его, углом одеяла. Казалось, она была не только здорова и свежа, но и в наилучшем расположении духа. Она говорила скоро, звучно и с необыкновенно правильными и прочувствованными интонациями:

— Потому что Алексей, я говорю про Алексея Александровича (какая странная, ужасная судьба, что оба Алексея, не правда ли?), Алексей не отказал бы мне. Я бы забыла, он бы простил... Да что ж он не едет? Он добр, он сам не знает, как он добр. Ах, боже мой, какая тоска! Дайте мне поскорее, поскорее воды! Ах, это ей, девочке моей, будет вредно! Ну, хорошо, ну дайте ей кормилицу. Ну, я согласна, это даже лучше. Он приедет, ему больно будет видеть ее. Отдайте ее.

— Анна Аркадьевна, он приехал. Вот он! — говорила акушерка, стараясь обратить на Алексея Александровича ее внимание.

— Ах, какой вздор! — продолжала Анна, не видя мужа. — Да дайте мне ее, девочку, дайте! Он еще не приехал. Вы оттого говорите, что не простит, что вы не знаете его. Никто не знал. Одна я, и то мне тяжело стало. Его глаза, надо знать, у Сережи точно такие, и я их видеть не могу от этого. Давали ли Сереже обедать? Ведь я знаю, все забудут. Он бы не забыл. Надо Сережу перевести в угольную и Mariette попросить с ним лечь.

Вдруг она сжалась, затихла и с испугом, как будто ожидая удара, как будто защищаясь, подняла руки к лицу. Она увидала мужа.

— Нет, нет, — заговорила она, — я не боюсь его, я боюсь смерти. Алексей, подойди сюда. Я тороплюсь оттого, что мне некогда, мне осталось жить немного, сейчас начнется жар, и я ничего уж не пойму. Теперь я пони-

что-то сказать, но никак не мог выговорить; нижняя губа его дрожала, но он все еще боролся с своим волнением и только изредка взглядывал на нее. И каждый раз, как он взглядывал, он видел глаза ее, которые смотрели на него с такою умиленною и восторженною нежностью, какой он никогда не видал в них. — Подожди, ты не знаеть... Постойте, постойте... — она остановилась, как бы собираясь с мыслями. — Да, — начинала она. — Да, да, да. Вот что я хотела сказать. Не удивляйся на меня. Я все та же... Но во мне есть другая, я ее боюсь — она полюбила того, и я хотела возненавидеть тебя и не могла забыть про ту, которая была прежде. Та не я. Теперь я настоящая, я вся. Я теперь умираю, я знаю, что умру, спроси у него. Я и теперь чувствую, вот они, пуды на руках, на ногах, на пальцах. Пальцы вот какие — огромные! Но это скоро кончится... Одно мне нужно: ты прости меня, прости совсем! Я ужасна, но мне няня говорила: святая мученица — как ее звали? — она хуже была. И я поеду в Рим, там пустыни, и тогда я никому не буду мешать, только Сережу возьму и девочку... Нет, ты не можешь простить! Я знаю, этого нельзя простить! Нет, нет, уйди, ты слишком хорош! — Она держала одною горячею рукой его руку, другою отталкивала его. Душевное расстройство Алексея Александровича все усиливалось и дошло теперь до такой степени, что он уже перестал бороться с ним; он вдруг почувствовал, что то, что он считал душевным расстройством, было, напротив, блаженное состояние души, давшее ему вдруг новое, никогда не испытанное им счастье. Он не думал, что тот христианский закон, которому он всю жизнь свою хотел следовать, предписывал ему прощать и любить своих врагов; но радостное чувство любви и прощения к врагам наполняло его душу. Он стоял на коленах и, положив голову на сгиб ее руки, которая жгла его огнем через кофту, рыдал, как ребенок. Она обняла его плешивеющую голову, подвинулась к нему и с вызывающею гордостью подняла кверху глаза. — Вот он, я знала! Теперь прощайте все, прощайте!.. Опять они пришли, отчего они не выходят?.. Да снимите же с меня эти шубы! Доктор отнял ее руки, осторожно положил ее на подушку и накрыл с плечами. Она покорно легла навзничь и смотрела пред собой сияющим взглядом. 440

что-то сказать, но никак не мог выговорить; нижняя губа его дрожала, но он все еще боролся с своим волнением и только изредка взглядывал на нее. И каждый раз, как он взглядывал, он видел глаза ее, которые смотрели на него с такою умиленною и восторженною нежностью, какой он никогда не видал в них.

— Подожди, ты не знаешь... Постойте, постойте... — она остановилась, как бы собираясь с мыслями. — Да, — начинала она. — Да, да, да. Вот что я хотела сказать. Не удивляйся на меня. Я все та же... Но во мне есть другая, я ее боюсь — она полюбила того, и я хотела возненавидеть тебя и не могла забыть про ту, которая была прежде. Та не я. Теперь я настоящая, я вся. Я теперь умираю, я знаю, что умру, спроси у него. Я и теперь чувствую, вот они, пуды на руках, на ногах, на пальцах. Пальцы вот какие — огромные! Но это скоро кончится... Одно мне нужно: ты прости меня, прости совсем! Я ужасна, но мне няня говорила: святая мученица — как ее звали? — она хуже была. И я поеду в Рим, там пустыни, и тогда я никому не буду мешать, только Сережу возьму и девочку... Нет, ты не можешь простить! Я знаю, этого нельзя простить! Нет, нет, уйди, ты слишком хорош! — Она держала одною горячею рукой его руку, другою отталкивала его.

Душевное расстройство Алексея Александровича все усиливалось и дошло теперь до такой степени, что он уже перестал бороться с ним; он вдруг почувствовал, что то, что он считал душевным расстройством, было, напротив, блаженное состояние души, давшее ему вдруг новое, никогда не испытанное им счастье. Он не думал, что тот христианский закон, которому он всю жизнь свою хотел следовать, предписывал ему прощать и любить своих врагов; но радостное чувство любви и прощения к врагам наполняло его душу. Он стоял на коленах и, положив голову на сгиб ее руки, которая жгла его огнем через кофту, рыдал, как ребенок. Она обняла его плешивеющую голову, подвинулась к нему и с вызывающею гордостью подняла кверху глаза.

— Вот он, я знала! Теперь прощайте все, прощайте!.. Опять они пришли, отчего они не выходят?.. Да снимите же с меня эти шубы!

— Помни одно, что мне нужно было одно прощение, и ничего, больше я ничего не хочу... Отчего ж он не придет? — заговорила она, обращаясь в дверь к Вронскому. — Подойди, подойди! Подай ему руку. Вронский подошел к краю кровати и, увидав ее, опять закрыл лицо руками. — Открой лицо, смотри на него. Он святой, — сказала она. — Да открой, открой лицо! — сердито заговорила она. — Алексей Александрович, открой ему лицо! Я хочу его видеть. Алексей Александрович взял руки Вронского и отвел их от лица, ужасного по выражению страдания и стыда, которые были на нем. — Подай ему руку. Прости его. Алексей Александрович подал ему руку, не удерживая слез, которые лились из его глаз. — Слава богу, слава богу, — заговорила она, — теперь все готово. Только немножко вытянуть ноги. Вот так, вот прекрасно. Как эти цветы сделаны без вкуса, совсем не похоже на фиалку, — говорила она, указывая на обои. — Боже мой, боже мой! Когда это кончится? Дайте мне морфину. Доктор! дайте же морфину. Боже мой, боже мой! И она заметалась на постели. Доктор и доктора говорили, что это была родильная горячка, в которой из ста было 99, что кончится смертью. Весь день был жар, бред и беспамятство. К полночи больная лежала без чувств и почти без пульса. Ждали конца каждую минуту. Вронский уехал домой, но утром приехал узнать, и Алексей Александрович, встретив его в передней, сказал: — Оставайтесь, может быть, она спросит вас, — и сам провел его в кабинет жены. К утру опять началось волнение, живость, быстрота мысли и речи, и опять кончилось беспамятством. На третий день было то же, и доктор сказал, что есть надежда. В этот день Алексей Александрович вышел в кабинет, где сидел Вронский, и, заперев дверь, сел против него. — Алексей Александрович, — сказал Вронский, чувствуя, что приближается объяснение, — я не могу говорить, не могу понимать. Пощадите меня! Как вам ни тяжело, поверьте, что мне еще ужаснее. 441

— Помни одно, что мне нужно было одно прощение, и ничего, больше я ничего не хочу... Отчего ж *он* не придет? — заговорила она, обращаясь в дверь к Вронскому. — Подойди, подойди! Подай ему руку.

Вронский подошел к краю кровати и, увидав ее, опять закрыл лицо руками.

— Открой лицо, смотри на него. Он святой, — сказала она. — Да открой, открой лицо! — сердито заговорила она. — Алексей Александрович, открой ему лицо! Я хочу его видеть.

Алексей Александрович взял руки Вронского и отвел их от лица, ужасного по выражению страдания и стыда, которые были на нем.

— Подай ему руку. Прости его.

Алексей Александрович подал ему руку, не удерживая слез, которые лились из его глаз.

— Слава богу, слава богу, — заговорила она, — теперь все готово. Только немножко вытянуть ноги. Вот так, вот прекрасно. Как эти цветы сделаны без вкуса, совсем не похоже на фиалку, — говорила она, указывая на обои. — Боже мой, боже мой! Когда это кончится? Дайте мне морфину. Доктор! дайте же морфину. Боже мой, боже мой!

И она заметалась на постели.

Доктор и доктора говорили, что это была родильная горячка, в которой из ста было 99, что кончится смертью. Весь день был жар, бред и беспамятство. К полночи больная лежала без чувств и почти без пульса.

Ждали конца каждую минуту.

Вронский уехал домой, но утром приехал узнать, и Алексей Александрович, встретив его в передней, сказал:

— Оставайтесь, может быть, она спросит вас, — и сам провел его в кабинет жены.

К утру опять началось волнение, живость, быстрота мысли и речи, и опять кончилось беспамятством. На третий день было то же, и доктор сказал, что есть надежда. В этот день Алексей Александрович вышел в кабинет, где сидел Вронский, и, заперев дверь, сел против него.

— Алексей Александрович, — сказал Вронский, чув-

On хотел встать. Но Алексей Александрович взял его за руку. — Я прошу вас выслушать меня, это необходимо. Я должен вам объяснить свои чувства, те, которые руководили мной и будут руководить, чтобы вы не заблуждались относительно меня. Вы знаете, что я решился на развод и даже начал это дело. Не скрою от вас, что, начиная дело, я был в нерешительности, я мучался; признаюсь вам, что желание мстить вам и ей преследовало меня. Когда я получил телеграмму, я поехал сюда с теми же чувствами, скажу больше: я желал ее смерти. Но... — он помолчал в раздумье, открыть ли, или не открыть ему свое чувство. — Но я увидел ее и простил. И счастье прощения открыло мне мою обязанность. Я простил совершенно. Я хочу подставить другую щеку, я хочу отдать рубаху, когда у меня берут кафтан, и молю бога только о том, чтоб он не отнял у меня счастья прощения! — Слезы стояли в его глазах, и светлый, спокойный взгляд их поразил Вронского. — Вот мое положение. Вы можете затоптать меня в грязь, сделать посмешищем света, я но покину ее и никогда слова упрека не скажу вам, — продолжал он. — Моя обязанность ясно начертана для меня: я должен быть с ней и буду. Если опа пожелает вас видеть, я дам вам знать, но теперь, я полагаю, вам лучше удалиться. Он встал, и рыданье прервало его речь. Вронский встал и в нагнутом, невыпрямленном состоянии исподлобья глядел на него. Он был подавлен. Он не понимал чувства Алексея Александровича, но чувствовал, что это было что-то высшее и да^ке недоступное ему в его мировоззрении. XVIII После разговора своего с Алексеем Александровичем Вронский вышел на крыльцо дома Карениных и остановился, с трудом вспоминая, где он и куда ему надо идти или ехать. Он чувствовал себя пристыженным, униженным, виноватым и лишенным возможности смыть свое унижение. Он чувствовал себя выбитым из той колеи, по которой он так гордо и легко шел до сих пор. Все, казавшиеся столь твердыми, привычки и уставы его жизни вдруг оказались ложными и неприлояшмыми. Муж, об442

Он хотел встать. Но Алексей Александрович взял его за руку.

— Я прошу вас выслушать меня, это необходимо. Я должен вам объяснить свои чувства, те, которые руководили мной и будут руководить, чтобы вы не заблуждались относительно меня. Вы знаете, что я решился на развод и даже начал это дело. Не скрою от вас, что, начиная дело, я был в нерешительности, я мучался; признаюсь вам, что желание мстить вам и ей преследовало меня. Когда я получил телеграмму, я поехал сюда с теми же чувствами, скажу больше: я желал ее смерти. Но... — он помолчал в раздумье, открыть ли, или не открыть ему свое чувство. — Но я увидел ее и простил. И счастье прощения открыло мне мою обязанность. Я простил совершенно. Я хочу подставить другую щеку, я хочу отдать рубаху, когда у меня берут кафтан, и молю бога только о том, чтоб он не отнял у меня счастья прощения! — Слезы стояли в его глазах, и светлый, спокойный взгляд их поразил Вронского. — Вот мое положение. Вы можете затоптать меня в грязь, сделать посмешищем света, я не покину ее и никогда слова упрека не скажу вам, — продолжал он. — Моя обязанность ясно начертана для меня: я должен быть с ней и буду. Если она пожелает вас видеть, я дам вам знать, но теперь, я полагаю, вам лучше удалиться.

Он встал, и рыданье прервало его речь. Вронский встал и в нагнутом, невыпрямленном состоянии исподлобья глядел на него. Он был подавлен. Он не понимал чувства Алексея Александровича, но чувствовал, что это было что-то высшее и даже недоступное ему в его мировоззрении.

XVIII

После разговора своего с Алексеем Александровичем Вронский вышел на крыльцо дома Карениных и остановился, с трудом вспоминая, где он и куда ему надо идти или ехать. Он чувствовал себя пристыженным, униженным, виноватым и лишенным возможности смыть свое унижение. Он чувствовал себя выбитым из той колеи, по

маиутый муж, представлявшийся до сих пор жалким суп^еством, случайною и несколько комическою помехой его счастью, вдруг ею же самой был вызван, вознесен на внушающую подобострастие высоту, и этот муж явился па этой высоте не злым, не фальшивым, не смешным, но добрым, простым и величественным. Этого не мог не чувствовать Вронский. Роли вдруг изменились. Вронский чувствовал его высоту и свое унижение, его правоту и свою неправду. Он почувствовал, что муя{ был великодушен и в своем горе, а он низок, мелочен в своем обмане. Но это сознание своей низости пред тем человеком, которого он несправедливо презирал, составляло только малую часть его горя. Он чувствовал себя невыразимо несчастным теперь оттого, что страсть его к Анне, которая охлаждалась, ему казалось, в последнее время, теперь, когда он знал, что навсегда потерял ее, стала сильнее, чем была когда-нибудь. Он увидал ее всю во время ео болезни, узнал ее душу, и ему казалось, что он никогда до тех пор не любил ее. И теперь-то, когда он узнал ее, полюбил, как должно было любить, он был унижен пред нею и потерял ее навсегда, оставив в ней о себе одно постыдное воспоминание. Ужаснее же всего было то смешное, постыдное положение его, когда Алексей Александрович отдирал ему руки от его пристыженного лица. Он стоял на крыльце дома Карениных как потерянный и не знал, что делать. — Извозчика прикажете? — спросил швейцар. — Да, извозчика. Вернувшись домой после трех бессонных ночей, Вронский, не раздеваясь, лег ничком на диван, сложив руки и положив на них голову. Голова его была тяя^ела. Представления, воспоминания и мысли самые странные с чрезвычайною быстротой и ясностью сменялись одна другою: то это было лекарство, которое он наливал больной и перелил чрез ложку, то белые руки акушерки, то странное положение Алексея Александровича на полу пред кроватью. «Заснуть! Забыть!» — сказал он себе, со спокойною уверенностью здорового человека в том, что если он устал п хочет спать, то сейчас же и заснет. И действительно, в то же мгновение в голове стало путаться, и он стал проваливаться в пропасть забвения. Волны моря бессознательной жизни стали уже сходиться над его головой, как вдруг, — точно сильнейший заряд электричества был 443

манутый муж, представлявшийся до сих пор жалким существом, случайною и несколько комическою помехой его счастью, вдруг ею же самой был вызван, вознесен на внушающую подобострастие высоту, и этот муж явился на этой высоте не злым, не фальшивым, не смешным, но добрым, простым и величественным. Этого не мог не чувствовать Вронский. Роли вдруг изменились. Вронский чувствовал его высоту и свое унижение, его правоту и свою неправду. Он почувствовал, что муж был великодушен и в своем горе, а он низок, мелочен в своем обмане. Но это сознание своей низости пред тем человеком, которого он несправедливо презирал, составляло только малую часть его горя. Он чувствовал себя невыразимо несчастным теперь оттого, что страсть его к Анне, которая охлаждалась, ему казалось, в последнее время, теперь, когда он знал, что навсегда потерял ее, стала сильнее, чем была когда-нибудь. Он увидал ее всю во время ее болезни, узнал ее душу, и ему казалось, что он никогда до тех пор не любил ее. И теперь-то, когда он узнал ее, полюбил, как должно было любить, он был унижен пред нею и потерял ее навсегда, оставив в ней о себе одно постыдное воспоминание. Ужаснее же всего было то смешное, постыдное положение его, когда Алексей Александрович отдирал ему руки от его пристыженного лица. Он стоял на крыльце дома Карениных как потерянный и не знал, что делать.

— Извозчика прикажете? — спросил швейцар.

— Да, извозчика.

Вернувшись домой после трех бессонных ночей, Вронский, не раздеваясь, лег ничком на диван, сложив руки и положив на них голову. Голова его была тяжела. Представления, воспоминания и мысли самые странные с чрезвычайною быстротой и ясностью сменялись одна другою: то это было лекарство, которое он наливал больной и перелил чрез ложку, то белые руки акушерки, то странное положение Алексея Александровича на полу пред кроватью.

«Заснуть! Забыть!» — сказал он себе, со спокойною уверенностью здорового человека в том, что если он устал и хочет спать, то сейчас же и заснет. И действительно, в то же мгновение в голове стало путаться, и он стал

разряжен в него, — он вздрогнул так, что всем телом подпрыгнул на пружинах дивана и, упершись руками, с испугом вскочил на колени. Глаза его были широко открыты, как будто он никогда не спал. Тяжесть головы и вялость членов, которые он испытывал за минуту, вдруг исчезли. «Вы можете затоптать в грязь», — слышал он слова Алексея Александровича и видел его пред собой, и видел с горячечным румянцем и блестяп];ими глазами лицо Анны, с нежностью и любовью смотряпз,ее не на него, а на Алексея Александровича; он видел свою, как ему казалось, глупую и смешную фигуру, когда Алексей Александрович отнял ему от лица руки. Он опять вытянул ноги и бросился на диван в прежней позе и закрыл глаза. «Заснуть! заснуть!» — повторял он себе. Но с закрытыми глазами он еще яснее видел лицо Анны таким, какое оно было в памятный ему вечер до скачек. — Этого нет и не будет, и она желает стереть это из своего воспоминания. А я не могу жить без этого. Как же нам помириться, как же нам помириться? — сказал он вслух и бессознательно стал повторять эти слова. Это повторение слов удерживало возникновение новых образов и воспоминаний, которые, он чувствовал, толпились в его голове. Но повторение слов удержало воображение ненадолго. Опять одна за другой стали представляться с чрезвычайною быстротой лучшие минуты и вместе с ними недавнее унижение. «Отними руки», — говорит голос Анны. Он отнимает руки и чувствует пристыженное и глупое выражение своего лица. Он все лея^ал, стараясь заснуть, хотя чувствовал, что не было ни малейшей надеящы, и все повторял шепотом случайные слова из какой-нибудь мысли, желая этим удеряшть возникновение новых образов. Он прислушался — и услыхал странным, сумасшедшим шепотом повторяемые слова: «Не умел ценить, не умел пользоваться; не умел ценить, не умел пользоваться». «Что это? или я с ума схоя^у? — сказал он себе. — Мояіет быть. Отчего же и сходят с ума, отчего же и стреляются?» — ответил он сам себе и, открыв глаза, с удивлением увидел подле своей головы шитую подушку работы Вари, я^ены брата. Он потрогал кисть подушки и попытался вспомнить о Варе, о том, когда он видел ее последний раз. Но думать о чем-нибудь постороннем было 444

разряжен в него, — он вздрогнул так, что всем телом подпрыгнул на пружинах дивана и, упершись руками, с испугом вскочил на колени. Глаза его были широко открыты, как будто он никогда не спал. Тяжесть головы и вялость членов, которые он испытывал за минуту, вдруг исчезли.

«Вы можете затоптать в грязь», — слышал он слова Алексея Александровича и видел его пред собой, и видел с горячечным румянцем и блестящими глазами лицо Анны, с нежностью и любовью смотрящее не на него, а на Алексея Александровича; он видел свою, как ему казалось, глупую и смешную фигуру, когда Алексей Александрович отнял ему от лица руки. Он опять вытянул ноги и бросился на диван в прежней позе и закрыл глаза.

«Заснуть! заснуть!» — повторял он себе. Но с закрытыми глазами он еще яснее видел лицо Анны таким, какое оно было в памятный ему вечер до скачек.

— Этого нет и не будет, и она желает стереть это из своего воспоминания. А я не могу жить без этого. Как же нам помириться, как же нам помириться? — сказал он вслух и бессознательно стал повторять эти слова. Это повторение слов удерживало возникновение новых образов и воспоминаний, которые, он чувствовал, толпились в его голове. Но повторение слов удержало воображение ненадолго. Опять одна за другой стали представляться с чрезвычайною быстротой лучшие минуты и вместе с ними недавнее унижение. «Отними руки», — говорит голос Анны. Он отнимает руки и чувствует пристыженное и глупое выражение своего лица.

Он все лежал, стараясь заснуть, хотя чувствовал, что не было ни малейшей надежды, и все повторял шепотом случайные слова из какой-нибудь мысли, желая этим удержать возникновение новых образов. Он прислушался — и услыхал странным, сумасшедшим шепотом повторяемые слова: «Не умел ценить, не умел пользоваться; не умел ценить, не умел пользоваться».

«Что это? или я с ума схожу? — сказал он себе. — Может быть. Отчего же и сходят с ума, отчего же и стреляются?» — ответил он сам себе и, открыв глаза, с удивлением увидел подле своей головы шитую подушку

мучительно. «Нет, надо заснуть!» Он подвинул подушку и прижался к ней головой, но надо было делать усилие, чтобы держать глаза закрытыми. Он вскочил и сел. «Это кончено для меня, — сказал он себе. — Надо обдумать, что делать. Что осталось?» Мысль его быстро обежала жизнь вне его любви к Анне. «Честолюбие? Серпуховской? Свет? Двор?» Ни на чем он не мог остановиться. Все это имело смысл прежде, но теперь ничего этого уже не было. Он встал с дивана, снял сюртук, выпустил ремень и, открыв мохнатую грудь, чтобы дышать свободнее, прошелся по комнате. «Так сходят с ума, — повторил он, — и так стреляются... чтобы не было стыдно», — добавил он медленно. Он подошел к двери и затворил ее; потом с остановившимся взглядом и со стиснутыми крепко зубами подошел к столу, взял револьвер, оглянул его, перевернул на заряженный ствол и задумался. Минуты две, опустив голову с выражением напряженного усилия мысли, стоял он с револьвером в руках неподвижно и думал. «Разумеется», — сказал он себе, как будто логический, продолжительный и ясный ход мысли привел его к несомненному заключению. В действительности же это убедительное для него «разумеется» было только последствием повторения точно такого же круга воспоминаний и представлений, чрез который он прошел уже десятки раз в этот час времени. Те же были воспоминания счастья, навсегда потерянного, то же представление бессмысленности всего предстоящего в жизни, то же сознание своего унижения. Та же была и последовательность этих представлений и чувств. «Разумеется», — повторил он, когда в третий раз мысль его направилась опять по тому же самому заколдованному кругу воспоминаний и мыслей, и, приложив револьвер к левой стороне груди и сильно дернувшись всей рукой, как бы вдруг сжимая ее в кулак, он потянул за гашетку. Он не слыхал звука выстрела, но сильный удар в грудь сбил его с ног. Он хотел удержаться за край стола, уронил револьвер, пошатнулся и сел на землю, удивленно оглядываясь вокруг себя. Он не узнавал своей комнаты, глядя снизу на выгнутые ножки стола, на корзинку для бумаг и тигровую шкуру. Быстрые скрипящие шаги слуги, шедшего по гостиной, заставили его опомниться. Он сделал усилие мысли и понял, что он на полу, и, увидав кровь на тигровой шкуре и у себя на руке, понял, что он стрелялся. 445

мучительно. «Нет, надо заснуть!» Он подвинул подушку и прижался к ней головой, но надо было делать усилие, чтобы держать глаза закрытыми. Он вскочил и сел. «Это кончено для меня, — сказал он себе. — Надо обдумать, что делать. Что осталось?» Мысль его быстро обежала жизнь вне его любви к Анне.

«Честолюбие? Серпуховской? Свет? Двор?» Ни на чем он не мог остановиться. Все это имело смысл прежде, но теперь ничего этого уже не было. Он встал с дивана, снял сюртук, выпустил ремень и, открыв мохнатую грудь, чтобы дышать свободнее, прошелся по комнате. «Так сходят с ума, — повторил он, — и так стреляются... чтобы не было стыдно», — добавил он медленно.

Он подошел к двери и затворил ее; потом с остановившимся взглядом и со стиснутыми крепко зубами подошел к столу, взял револьвер, оглянул его, перевернул на заряженный ствол и задумался. Минуты две, опустив голову с выражением напряженного усилия мысли, стоял он с револьвером в руках неподвижно и думал. «Разумеется», — сказал он себе, как будто логический, продолжительный и ясный ход мысли привел его к несомненному заключению. В действительности же это убедительное для него «разумеется» было только последствием повторения точно такого же круга воспоминаний и представлений, чрез который он прошел уже десятки раз в этот час времени. Те же были воспоминания счастья, навсегда потерянного, то же представление бессмысленности всего предстоящего в жизни, то же сознание своего унижения. Та же была и последовательность этих представлений и чувств.

«Разумеется», — повторил он, когда в третий раз мысль его направилась опять по тому же самому заколдованному кругу воспоминаний и мыслей, и, приложив револьвер к левой стороне груди и сильно дернувшись всей рукой, как бы вдруг сжимая ее в кулак, он потянул за гашетку. Он не слыхал звука выстрела, но сильный удар в грудь сбил его с ног. Он хотел удержаться за край стола, уронил револьвер, пошатнулся и сел на землю, удивленно оглядываясь вокруг себя. Он не узнавал своей комнаты, глядя снизу на выгнутые ножки стола, на корзинку для бумаг и тигровую шкуру. Быстрые скрипящие шаги слуги, шедшего по гостиной, заста-

— Глупо! Не попал, — проговорил он, шаря рукой за револьвером. Револьвер был подле него, — он искал дальше. Продолжая искать, он потянулся в другую сторону и, не в силах удержать равновесие, упал, истекая кровью. Элегантный слуга с бакенбардами, неоднократно жаловавшийся своим знакомым на слабость своих нерв, так испугался, увидав лежавшего на полу господина, что оставил его истекать кровью и убежал за помогцью. Через час Варя, жена брата, приехала и с помощью трех явившихся докторов, за которыми она послала во все стороны и которые приехали в одно время, уложила раненого на постель и осталась у него ходить за ним. XIX Ошибка, сделанная Алексеем Александровичем в том, что он, готовясь на свидание с женой, не обдумал той случайности, что раскаяние ее будет искренно и он простит, а она не умрет, — эта ошибка через два месяца после его возвращения из Москвы представилась ему во всей своей силе. Но ошибка, сделанная им, произошла не оттого только, что он не обдумал этой случайности, а оттого тоже, что он до этого дня свидания с умирающею женой не знал своего сердца. Он у постели больной жены в первый раз в жизни отдался тому чувству умиленного сострадания, которое в нем вызывали страдания других людей и которого он прежде стыдился, как вредной слабости; и жалость к пей, и раскаяние в том, что он желал ее смерти, и, главное, самая радость прощения сделали то, что он вдруг почувствовал не только утоление своих страданий, но и душевное спокойствие, которого он никогда прежде не испытывал. Он вдруг почувствовал, что то самое, что было источником его страданий, стало источником его духовной радости, то, что казалось неразрешимым, когда он осуждал, упрекал и ненавидел, стало просто и ясно, когда он прощал и любил. Он простил жену и жалел ее за ее страдания и раскаяние. Он простил Вронскому и жалел его, особенно после того, как до него дошли слухи об его отчаянном поступке. Он жалел и сына больше, чем прежде, и упрекал себя теперь за то, что слишком мало занимался им. Но к новорожденной маленькой девочке он испытывал

— Глупо! Не попал, — проговорил он, шаря рукой за револьвером. Револьвер был подле него, — он искал дальше. Продолжая искать, он потянулся в другую сторону и, не в силах удержать равновесие, упал, истекая кровью.

Элегантный слуга с бакенбардами, неоднократно жаловавшийся своим знакомым на слабость своих нерв, так испугался, увидав лежавшего на полу господина, что оставил его истекать кровью и убежал за помощью. Через час Варя, жена брата, приехала и с помощью трех явившихся докторов, за которыми она послала во все стороны и которые приехали в одно время, уложила раненого на постель и осталась у него ходить за ним.

XIX

Ошибка, сделанная Алексеем Александровичем в том, что он, готовясь на свидание с женой, не обдумал той случайности, что раскаяние ее будет искренно и он простит, а она не умрет, — эта ошибка через два месяца после его возвращения из Москвы представилась ему во всей своей силе. Но ошибка, сделанная им, произошла не оттого только, что он не обдумал этой случайности, а оттого тоже, что он до этого дня свидания с умирающею женой не знал своего сердца. Он у постели больной жены в первый раз в жизни отдался тому чувству умиленного сострадания, которое в нем вызывали страдания других людей и которого он прежде стыдился, как вредной слабости; и жалость к ней, и раскаяние в том, что он желал ее смерти, и, главное, самая радость прощения сделали то, что он вдруг почувствовал не только утоление своих страданий, но и душевное спокойствие, которого он никогда прежде не испытывал. Он вдруг почувствовал, что то самое, что было источником его страданий, стало источником его духовной радости, то, что казалось неразрешимым, когда он осуждал, упрекал и ненавидел, стало просто и ясно, когда он прощал и любил.

Он простил жену и жалел ее за ее страдания и раскаяние. Он простил Вронскому и жалел его, особенно после того, как до него дошли слухи об его отчаянном

какое-то особенное чувство не только жалости, но и нежности. Сначала он из одного чувства сострадания занялся тою новорояхденною слабенькою девочкой, которая не была его дочь и которая была заброшена во время болезни матери и, наверно, умерла бы, если б он о ней не позаботился, — и сам не заметил, как он полюбил ее. Он по нескольку раз в день ходил в детскую и подолгу сиживал там, так что кормилица и няня, сперва робевшие пред ним, привыкли к нему. Он иногда по получасу молча глядел на спяш;ее шафранно-красное, пушистое и сморщенное личико ребенка и наблюдал за движениями хмурящегося лба и за пухлыми ручонками с подвернутыми пальцами, которые задом ладоней терли глазенки и переносицу. В такие минуты в особенности Алексей Александрович чувствовал себя совершенно спокойным и согласным с собой и не видел в своем положении ничего необыкновенного, ничего такого, что бы иуя^но было изменить. Но чем более проходило времени, тем яснее он видел, что, как ни естественно теперь для него это положение, его не допустят оставаться в нем. Он чувствовал, что, кроме благой духовной силы, руководившей его душой, была другая, грубая, столь же или еще более властная сила, которая руководила его жизнью, и что эта сила не даст ему того смиренного спокойствия, которого оя желал. Он чувствовал, что все смотрели на него с вопросительным удивлением, что не понимали его и ожидали от него чего-то. Б особенности он чувствовал непрочность и неестественность своих отношений с женою. Когда прошло то размягченье, произведенное в ней близостью смерти, Алексей Александрович замечал, что Анна боялась его, тяготилась им и не могла смотреть ему прямо в глаза. Она как будто что-то хотела и не решалась сказать ему и, тоже как бы предчувствуя, что их отношения не могут продолжаться, чего-то ожидала от него. В конце февраля случилось, что новорожденная дочь Анны, названная тоже Анной, заболела. Алексей Александрович был утром в детской и, распорядившись послать за доктором, поехал в министерство. Окончив свои дела, он вернулся догмой в четвертом часу. Войдя в переднюю, он увидал красавца лакея в галунах и медвея^ьей пелеринке, державшего белую ротонду из американской собаки. 447

какое-то особенное чувство не только жалости, но и нежности. Сначала он из одного чувства сострадания занялся тою новорожденною слабенькою девочкой, которая не была его дочь и которая была заброшена во время болезни матери и, наверно, умерла бы, если б он о ней не позаботился, — и сам не заметил, как он полюбил ее. Он по нескольку раз в день ходил в детскую и подолгу сиживал там, так что кормилица и няня, сперва робевшие пред ним, привыкли к нему. Он иногда по получасу молча глядел на спящее шафранно-красное, пушистое и сморщенное личико ребенка и наблюдал за движениями хмурящегося лба и за пухлыми ручонками с подвернутыми пальцами, которые задом ладоней терли глазенки и переносицу. В такие минуты в особенности Алексей Александрович чувствовал себя совершенно спокойным и согласным с собой и не видел в своем положении ничего необыкновенного, ничего такого, что бы нужно было изменить.

Но чем более проходило времени, тем яснее он видел, что, как ни естественно теперь для него это положение, его не допустят оставаться в нем. Он чувствовал, что, кроме благой духовной силы, руководившей его душой, была другая, грубая, столь же или еще более властная сила, которая руководила его жизнью, и что эта сила не даст ему того смиренного спокойствия, которого он желал. Он чувствовал, что все смотрели на него с вопросительным удивлением, что не понимали его и ожидали от него чего-то. В особенности он чувствовал непрочность и неестественность своих отношений с женою.

Когда прошло то размягченье, произведенное в ней близостью смерти, Алексей Александрович замечал, что Анна боялась его, тяготилась им и не могла смотреть ему прямо в глаза. Она как будто что-то хотела и не решалась сказать ему и, тоже как бы предчувствуя, что их отношения не могут продолжаться, чего-то ожидала от него.

В конце февраля случилось, что новорожденная дочь Анны, названная тоже Анной, заболела. Алексей Александрович был утром в детской и, распорядившись послать за доктором, поехал в министерство. Окончив свои дела, он вернулся домой в четвертом часу. Войдя в пе-

— Кто здесь? — спросил Алексей Александрович. — Княгиня Елизавета Федоровна Тверская, — с улыбкой, как показалось Алексею Александровичу, отвечал лакей. Во все это тяжелое время Алексей Александрович замечал, что светские знакомые его, особенно женщины, принимали особенное участие в нем и его жене. Он замечал во всех этих знакомых с трудом скрываемую радость чего-то, ту самую радость, которую он видел в глазах адвоката и теперь в глазах лакея. Все как будто были в восторге, как будто выдавали кого-то замуж. Когда его встречали, то с едва скрываемою радостью спрашивали об ее здоровье. Присутствие княгини Тверской, и по воспоминаниям, связанным с нею, и потому, что он вообще не любил ее, было неприятно Алексею Александровичу, и он пошел прямо в детскую. В первой детской Серел^а, лежа грудью на столе и положив ноги на стул, рисовал что-то, весело приговаривая. Англичанка, заменившая во время болезни Анны француженку, с вязаньем миньярдиз сидевшая подле мальчика, поспешно встала, присела и дернула Сережу. Алексей Александрович погладил рукой по волосам сына, ответил на вопрос гувернантки о здоровье л^ны и спросил о том, что сказал доктор о baby К — Доктор сказал, что ничего опасного нет, и прописал ванны, сударь. — Но она все страдает, — сказал Алексей Александрович, прислушиваясь к крику ребенка в соседней комнате. — Я думаю, что кормилица не годится, сударь,— решительно сказала англичанка. — Отчего вы думаете? — останавливаясь, спросил он. — Так было у графини Поль, сударь. Ребенка лечили, а оказалось, что просто ребенок голоден: кормилица была без молока, сударь. Алексей Александрович задумался и, постояв несколько секунд, вошел в другую дверь. Девочка лежала, откидывая головку, корчась на руках кормилицы, и не хотела ни брать предлагаемую ей пухлую грудь, ни замолчать, несмотря на двойное шиканье кормилицы и няни, нагнувшейся над нею. * ребенке (англ.). 448

— Кто здесь? — спросил Алексей Александрович.

— Княгиня Елизавета Федоровна Тверская, — с улыбкой, как показалось Алексею Александровичу, отвечал лакей.

Во все это тяжелое время Алексей Александрович замечал, что светские знакомые его, особенно женщины, принимали особенное участие в нем и его жене. Он замечал во всех этих знакомых с трудом скрываемую радость чего-то, ту самую радость, которую он видел в глазах адвоката и теперь в глазах лакея. Все как будто были в восторге, как будто выдавали кого-то замуж. Когда его встречали, то с едва скрываемою радостью спрашивали об ее здоровье.

Присутствие княгини Тверской, и по воспоминаниям, связанным с нею, и потому, что он вообще не любил ее, было неприятно Алексею Александровичу, и он пошел прямо в детскую. В первой детской Сережа, лежа грудью на столе и положив ноги на стул, рисовал что-то, весело приговаривая. Англичанка, заменившая во время болезни Анны француженку, с вязаньем миньярдиз сидевшая подле мальчика, поспешно встала, присела и дернула Сережу.

Алексей Александрович погладил рукой по волосам сына, ответил на вопрос гувернантки о здоровье жены и спросил о том, что сказал доктор о baby [1].

— Доктор сказал, что ничего опасного нет, и прописал ванны, сударь.

— Но она все страдает,— сказал Алексей Александрович, прислушиваясь к крику ребенка в соседней комнате.

— Я думаю, что кормилица не годится, сударь,— решительно сказала англичанка.

— Отчего вы думаете? — останавливаясь, спросил он.

— Так было у графини Поль, сударь. Ребенка лечили, а оказалось, что просто ребенок голоден: кормилица была без молока, сударь.

Алексей Александрович задумался и, постояв несколько секунд, вошел в другую дверь. Девочка лежала, откидывая головку, корчась на руках кормилицы, и не хотела ни брать предлагаемую ей пухлую грудь, ни замолчать, несмотря на двойное шиканье кормилицы и няни.

— Все не лучше? — сказал Алексей Александрович. — Очень беспокойны, — шепотом отвечала няня. — Мисс Эдвард говорит, что, может быть, у кормилицы молока нет, — сказал он. — Я и сама думаю, Алексей Александрович. — Так что же вы не скажете? — Кому ж сказать? Анна Аркадьевна нездоровы все,— недовольно сказала няня. Няня была старая слуга дома. И в этих простых словах ее Алексею Александровичу показался намек на его положение. Ребенок кричал еще громче, закатываясь и хрипя. Няня, махнув рукой, подошла к нему, взяла его с рук кормилицы и принялась укачивать на ходу. — Надо доктора попросить осмотреть кормилицу, — сказал Алексей Александрович. Здоровая на вид, нарядная кормилица, испугавшись, что ей откажут, проговорила себе что-то под нос и, запрятывая большую грудь, презрительно улыбнулась над сомнением в своей молочности. В этой улыбке Алексей Александрович тоже нашел насмешку над своим положением. — Несчастный ребенок! — сказала няня, шикая на ребенка, и продолжала ходить. Алексей Александрович сел на стул и с страдающим, унылым лицом смотрел на ходившую взад и вперед няню. Когда затихшего, наконец, ребенка опустили в глубокую кроватку и няня, поправив подушечку, отошла от пего, Алексей Александрович встал и, с трудом ступая на цыпочки, подошел к ребенку. С минуту он молчал и с тем же унылым лицом смотрел на ребенка; но вдруг улыбка, двинув его волоса и кожу на лбу, выступила ему на лицо, и он так же тихо вышел из комнаты. В столовой он позвонил и велел вошедшему слуге послать опять за доктором. Ему досадно было на жену за то, что она не заботилась об этом прелестном ребенке, и в этом расположении досады на нее не хотелось идти к ней, не хотелось тоже и видеть княгиню Бетси; но жена могла удивиться, отчего он, по обыкновению, не зашел к ней, и потому он, сделав усилие над собой, пошел в спальню. Подходя по мягкому ковру к дверям, он невольно услыхал разговор, которого не хотел слышать. — Если б он не уезжал, я бы поняла ваш отказ и его тоже. Но ваш муж должен быть выше этого,— говорила Бетси. 15 л. Н. Толстой, т. 8 449

— Все не лучше? — сказал Алексей Александрович.

— Очень беспокойны,— шепотом отвечала няня.

— Мисс Эдвард говорит, что, может быть, у кормилицы молока нет,— сказал он.

— Я и сама думаю, Алексей Александрович.

— Так что же вы не скажете?

— Кому ж сказать? Анна Аркадьевна нездоровы все,— недовольно сказала няня.

Няня была старая слуга дома. И в этих простых словах ее Алексею Александровичу показался намек на его положение.

Ребенок кричал еще громче, закатываясь и хрипя. Няня, махнув рукой, подошла к нему, взяла его с рук кормилицы и принялась укачивать на ходу.

— Надо доктора попросить осмотреть кормилицу,— сказал Алексей Александрович.

Здоровая на вид, нарядная кормилица, испугавшись, что ей откажут, проговорила себе что-то под нос и, запрятывая большую грудь, презрительно улыбнулась над сомнением в своей молочности. В этой улыбке Алексей Александрович тоже нашел насмешку над своим положением.

— Несчастный ребенок! — сказала няня, шикая на ребенка, и продолжала ходить.

Алексей Александрович сел на стул и с страдающим, унылым лицом смотрел на ходившую взад и вперед няню.

Когда затихшего, наконец, ребенка опустили в глубокую кроватку и няня, поправив подушечку, отошла от него, Алексей Александрович встал и, с трудом ступая на цыпочки, подошел к ребенку. С минуту он молчал и с тем же унылым лицом смотрел на ребенка; но вдруг улыбка, двинув его волоса и кожу на лбу, выступила ему на лицо, и он так же тихо вышел из комнаты.

В столовой он позвонил и велел вошедшему слуге послать опять за доктором. Ему досадно было на жену за то, что она не заботилась об этом прелестном ребенке, и в этом расположении досады на нее не хотелось идти к ней, не хотелось тоже и видеть княгиню Бетси; но жена могла удивиться, отчего он, по обыкновению, не зашел к ней, и потому он, сделав усилие над собой, пошел в спальню. Подходя по мягкому ковру к дверям, он невольно услыхал разговор, которого не хотел слышать.

— - я не для мужа, а для себя не хочу. Не говорите этого! — отвечал взволнованный голос Анны. — Да, но вы не можете не желать проститься с человеком, который стрелялся из-за вас... — От этого-то я не хочу. Алексей Александрович с испуганным и виноватым выражением остановился и хотел незаметно уйти назад. Но, раздумав, что это было бы недостойно, он опять повернулся и, кашлянув, пошел к спальне. Голоса замолкли, и он вошел. Анна в сером халате, с коротко остриженными, густою шеткой вылезаюш;ими черными волосами на круглой голове, сидела на кушетке. Как и всегда при виде мужа, оживление лица ее вдруг исчезло; она опустила голову и беспокойно оглянулась на Бетси. Бетси, одетая по крайней последней моде, в шляпе, где-то наверху парившей над ее головой, как колпачок над лампой, и в сизом платье с косыми резкими полосами на лифе с одной стороны и на юбке с другой стороны, сидела рядом с Анной, прямо держа свой плоский высокий стан, и, склонив голову, насмешливою улыбкой встретила Алексея Александровича. — А! — сказала она, как бы удивленная. — Я очень рада, что вы дома. Вы никуда не показываетесь, и я не видала вас со времени болезни Анны. Я все слышала — ваши заботы. Да, вы удивительный муж! — сказала она с значительным и ласковым видом, как бы жалуя его орденом великодушия за его поступок с яшной. Алексей Александрович холодно поклонился и, поцеловав руку жены, спросил о ее здоровье. — Мне кажется, лучше, — отвечала она, избегая его взгляда. — Но у вас как будто лихорадочный цвет лица,— сказал он, налегая на слово «лихорадочный». — Мы разговорились с нею слишком, — сказала Бетси, — я чувствую, что это эгоизм с моей стороны, и я уезжаю. Она встала, но Анна, вдруг покраснев, быстро схватила ее за руку. — Нет, побудьте, пожалуйста. Мне нужно сказать вам... нет, вам, — обратилась она к Алексею Александровичу, и румянец покрыл ей шею и лоб. — Я не хочу и не могу иметь от вас ничего скрытого, — сказала она. 450

— Я не для мужа, а для себя не хочу. Не говорите этого! — отвечал взволнованный голос Анны.

— Да, но вы не можете не желать проститься с человеком, который стрелялся из-за вас...

— От этого-то я не хочу.

Алексей Александрович с испуганным и виноватым выражением остановился и хотел незаметно уйти назад. Но, раздумав, что это было бы недостойно, он опять повернулся и, кашлянув, пошел к спальне. Голоса замолкли, и он вошел.

Анна в сером халате, с коротко остриженными, густою шеткой вылезающими черными волосами на круглой голове, сидела на кушетке. Как и всегда при виде мужа, оживление лица ее вдруг исчезло; она опустила голову и беспокойно оглянулась на Бетси. Бетси, одетая по крайней последней моде, в шляпе, где-то наверху парившей над ее головой, как колпачок над лампой, и в сизом платье с косыми резкими полосами на лифе с одной стороны и на юбке с другой стороны, сидела рядом с Анной, прямо держа свой плоский высокий стан, и, склонив голову, насмешливою улыбкой встретила Алексея Александровича.

— А! — сказала она, как бы удивленная.— Я очень рада, что вы дома. Вы никуда не показываетесь, и я не видала вас со времени болезни Анны. Я все слышала — ваши заботы. Да, вы удивительный муж! — сказала она с значительным и ласковым видом, как бы жалуя его орденом великодушия за его поступок с женой.

Алексей Александрович холодно поклонился и, поцеловав руку жены, спросил о ее здоровье.

— Мне кажется, лучше,— отвечала она, избегая его взгляда.

— Но у вас как будто лихорадочный цвет лица,— сказал он, налегая на слово «лихорадочный».

— Мы разговорились с нею слишком,— сказала Бетси,— я чувствую, что это эгоизм с моей стороны, и я уезжаю.

Она встала, но Анна, вдруг покраснев, быстро схватила ее за руку.

— Нет, побудьте, пожалуйста. Мне нужно сказать

Алексей Александрович потрещал пальцами и опустил голову. — Бетси говорила, что граф Вронский желал быть у нас, чтоб проститься пред своим отъездом в Ташкент. — • Она не смотрела на мужа и, очевидно, торопилась высказать все, как это ни трудно было ей. — Я сказала, что я не могу принять его. — Вы сказали, мой друг, что это будет зависеть от Алексея Александровича, — поправила ее Бетси. — Да нет, я не могу его принять, и это ни к чему не...— Она вдруг остановилась и взглянула вопросительно на мужа (он не смотрел на нее). — Одним словом, я не хочу... Алексей Александрович подвинулся и хотел взять ее руку. Первым движением она отдернула свою руку от его влажной, с большими надутыми жилами руки, которая искала ее; но, видимо сделав над собой усилие, пожала его руку. — Я очень благодарю вас за ваше доверие, но... — сказал он, с смущением и досадой чувствуя, что то, что он легко и ясно мог решить сам с собою, он не может обсуждать при княгине Тверской, представлявшейся ему олицетворением той грубой силы, которая должна была руководить его жизнью в глазах света и мешала ему отдаваться своему чувству любви и прощения. Он остановился, глядя на княгиню Тверскую. — Ну, прощайте, моя прелесть, — сказала Бетси, вставая. Она поцеловала Анну и вышла. Алексей Александрович провожал ее. — Алексей Александрович! Я знаю вас за истинно великодушного человека, — сказала Бетси, остановившись в маленькой гостиной и особенно крепко пожимая ему еще раз руку. — Я посторонний человек, но я так люблю ее и уважаю вас, что я позволяю себе совет. Примите его. Алексей есть олицетворенная честь, и он уезжает в Ташкент* — Благодарю вас, княгиня, за ваше участие и советы. Но вопрос о том, может ли, или не может жена принять кого-нибудь, она решит сама. Он сказал это, по привычке с достоинством приподняв брови, и тотчас же подумал, что, какие бы ни были слова, достоинства не могло быть в его положении. И это он увидал по сдержанной, злой и насмешливой улыбке, с которой Бетси взглянула на него после его фразы. 15* 451

Алексей Александрович потрещал пальцами и опустил голову.

— Бетси говорила, что граф Вронский желал быть у нас, чтоб проститься пред своим отъездом в Ташкент. — Она не смотрела на мужа и, очевидно, торопилась высказать все, как это ни трудно было ей. — Я сказала, что я не могу принять его.

— Вы сказали, мой друг, что это будет зависеть от Алексея Александровича,— поправила ее Бетси.

— Да нет, я не могу его принять, и это ни к чему не...— Она вдруг остановилась и взглянула вопросительно на мужа (он не смотрел на нее).— Одним словом, я не хочу...

Алексей Александрович подвинулся и хотел взять ее руку.

Первым движением она отдернула свою руку от его влажной, с большими надутыми жилами руки, которая искала ее; но, видимо сделав над собой усилие, пожала его руку.

— Я очень благодарю вас за ваше доверие, но...— сказал он, с смущением и досадой чувствуя, что то, что он легко и ясно мог решить сам с собою, он не может обсуждать при княгине Тверской, представлявшейся ему олицетворением той грубой силы, которая должна была руководить его жизнью в глазах света и мешала ему отдаваться своему чувству любви и прощения. Он остановился, глядя на княгиню Тверскую.

— Ну, прощайте, моя прелесть,— сказала Бетси, вставая. Она поцеловала Анну и вышла. Алексей Александрович провожал ее.

— Алексей Александрович! Я знаю вас за истинно великодушного человека,— сказала Бетси, остановившись в маленькой гостиной и особенно крепко пожимая ему еще раз руку. — Я посторонний человек, но я так люблю ее и уважаю вас, что я позволяю себе совет. Примите его. Алексей есть олицетворенная честь, и он уезжает в Ташкент.

— Благодарю вас, княгиня, за ваше участие и советы. Но вопрос о том, может ли, или не может жена принять кого-нибудь, она решит сама.

Он сказал это, по привычке с достоинством приподняв брови, и тотчас же подумал, что, какие бы ни были сло-

XX Алексей Александрович поклонился Бетси в зале и пошел к жене. Она лежала, но, услыхав его шаги, поспешно села в прежнее положение и испуганно глядела на него. Он видел, что она плакала. — Я очень благодарен за твое доверие ко мне, — кротко повторил он по-русски сказанную при Бетси по-французски фразу и сел подле нее. Когда он говорил по-русски и говорил ей «ты», это «ты» неудержимо раздражало Анну. — И очень благодарен за твое решение. Я тоже полагаю, что, так как он едет, то и нет никакой надобности і'Рафу Вронскому приезжать сюда. Впрочем... — Да уж я сказала, так что же повторять? — вдруг перебила его Анна с раздражением, которое она не успела удержать. «Никакой надобности, — подумала она, — приезжать человеку проститься с тою женщиной, которую он любит, для которой хотел погибнуть и погубил себя и которая не может жить без него. Нет никакой надобности!» Она сжала губы и опустила блестящие глаза на его руки с напухшими жилами, которые медленно потирали одна другую. — Не будем никогда говорить об этом,— прибавила она спокойнее. — Я предоставил тебе решить этот вопрос, и я очень рад видеть... — начал было Алексей Александрович. — Что мое желание сходится с вашим,— быстро докончила она, раздраженная тем, что он так медленно говорит, между тем как она знает вперед все, что он скажет. — Да, — подтвердил он, — и княгиня Тверская совершенно неуместно вмешивается в самые трудные семейные дела. В особенности она... — Я ничему не верю, что об ней говорят,— быстро сказала Анна, — я знаю, что она меня искренно любит. Алексей Александрович вздохнул и помолчал. Она тревожно играла кистями халата, взглядывая на него с тем мучительным чувством физического отвращения к нему, за которое она упрекала себя, но которого не могла преодолеть. Она теперь желала только одного — быть избавленною от его постылого присутствия. — А я послал сейчас за доктором,— сказал Алексей Александрович. 452

XX

Алексей Александрович поклонился Бетси в зале и пошел к жене. Она лежала, но, услыхав его шаги, поспешно села в прежнее положение и испуганно глядела на него. Он видел, что она плакала.

— Я очень благодарен за твое доверие ко мне, — кротко повторил он по-русски сказанную при Бетси по-французски фразу и сел подле нее. Когда он говорил по-русски и говорил ей «ты», это «ты» неудержимо раздражало Анну.— И очень благодарен за твое решение. Я тоже полагаю, что, так как он едет, то и нет никакой надобности графу Вронскому приезжать сюда. Впрочем...

— Да уж я сказала, так что же повторять? — вдруг перебила его Анна с раздражением, которое она не успела удержать. «Никакой надобности,— подумала она,— приезжать человеку проститься с тою женщиной, которую он любит, для которой хотел погибнуть и погубил себя и которая не может жить без него. Нет никакой надобности!» Она сжала губы и опустила блестящие глаза на его руки с напухшими жилами, которые медленно потирали одна другую.

— Не будем никогда говорить об этом,— прибавила она спокойнее.

— Я предоставил тебе решить этот вопрос, и я очень рад видеть... — начал было Алексей Александрович.

— Что мое желание сходится с вашим,— быстро докончила она, раздраженная тем, что он так медленно говорит, между тем как она знает вперед все, что он скажет.

— Да,— подтвердил он,— и княгиня Тверская совершенно неуместно вмешивается в самые трудные семейные дела. В особенности она...

— Я ничему не верю, что об ней говорят,— быстро сказала Анна,— я знаю, что она меня искренно любит.

Алексей Александрович вздохнул и помолчал. Она тревожно играла кистями халата, взглядывая на него с тем мучительным чувством физического отвращения к нему, за которое она упрекала себя, но которого не могла преодолеть. Она теперь желала только одного — быть из-

— я здорова; зачем мне доктора? — Нет, маленькая кричит, и, говорят, у кормилицы молока мало. — Для чего же ты не позволил мне кормить, когда я умоляла об этом? Все равно (Алексей Александрович понял, что значило это «все равно»), она ребенок, и его уморят.— Она позвонила и велела принести ребенка. — Я просила кормить, мне не позволили, а теперь меня же упрекают. — Я не упрекаю... — Нет, вы упрекаете! Боже мой! зачем я не умерла! — И она зарыдала. — Прости меня, я раздрая^ена, я несправедлива, — сказала она, опоминаясь. — Но уйди... «Нет, это не может так оставаться», — решительно сказал себе Алексей Александрович, выйдя от жены. Никогда егцѳ невозможность в глазах света его полоя^ния и ненависть к нему его я^ены и вообш;е могущество той грубой таинственной силы, которая, вразрез с его душевным настроением, руководила его яшзнью и требовала исполнения своей воли и изменения его отношений к жене, не представлялись ему с такой очевидностью, как нынче. Он ясно видел, что весь свет и жена требовали от пего чего-то, но чего именно, он не мог понять. Он чувствовал, что за это в душе его поднималось чувство злобы, разрушавшее его спокойствие и всю заслугу подвига. Он считал, что для Анны было бы лучше прервать сношения с Вронским, но, если они все находят, что это невозможно, он готов был даже вновь допустить эти сношения, только бы не срамить детей, не лишаться их и нѳ изменить своего положения. Как ни было это дурно, это было все-таки лучше, чем разрыв, при котором она становилась в безвыходное, позорное положение, а он сам лишался всего, что любил. Но он чувствовал себя бессильным; он знал вперед, что все против него и что его пѳ допустят сделать то, что казалось ему теперь так естественно и хорошо, а заставят сделать то, что дурно, но им кажется доляшым. XXI Еще Бетси не успела выйти из залы, как Степан Аркадьич, только что приехавший от Елисеева, где были получены свежие устрицы, встретил ее в дверях. 453

— Я здорова; зачем мне доктора?

— Нет, маленькая кричит, и, говорят, у кормилицы молока мало.

— Для чего же ты не позволил мне кормить, когда я умоляла об этом? Все равно (Алексей Александрович понял, что значило это «все равно»), она ребенок, и его уморят.— Она позвонила и велела принести ребенка.— Я просила кормить, мне не позволили, а теперь меня же упрекают.

— Я не упрекаю...

— Нет, вы упрекаете! Боже мой! зачем я не умерла! — И она зарыдала. — Прости меня, я раздражена, я несправедлива, — сказала она, опоминаясь. — Но уйди...

«Нет, это не может так оставаться», — решительно сказал себе Алексей Александрович, выйдя от жены.

Никогда еще невозможность в глазах света его положения и ненависть к нему его жены и вообще могущество той грубой таинственной силы, которая, вразрез с его душевным настроением, руководила его жизнью и требовала исполнения своей воли и изменения его отношений к жене, не представлялись ему с такой очевидностью, как нынче. Он ясно видел, что весь свет и жена требовали от него чего-то, но чего именно, он не мог понять. Он чувствовал, что за это в душе его поднималось чувство злобы, разрушавшее его спокойствие и всю заслугу подвига. Он считал, что для Анны было бы лучше прервать сношения с Вронским, но, если они все находят, что это невозможно, он готов был даже вновь допустить эти сношения, только бы не срамить детей, не лишаться их и не изменить своего положения. Как ни было это дурно, это было все-таки лучше, чем разрыв, при котором она становилась в безвыходное, позорное положение, а он сам лишался всего, что любил. Но он чувствовал себя бессильным; он знал вперед, что все против него и что его не допустят сделать то, что казалось ему теперь так естественно и хорошо, а заставят сделать то, что дурно, но им кажется должным.

XXI

— А! княгиня! вот приятная встреча! — заговорил он. — А я был у вас. — Встреча на минуту, потому что я уезжаю, — сказала Бетси, улыбаясь и надевая перчатку. — Постойте, княгиня, надевать перчатку, дайте поцеловать вашу ручку. Ни за что я так не благодарен возвращению старинных мод, как за целованье рук. — Он поцеловал руку Бетси. — Когда же увидимся? — Вы не стоите, — Отвечала Бетси, улыбаясь. — Нет, я очень стою, потому что я стал самый серьезный человек. Я не только устраиваю свои, но и чужие семейные дела, — сказал он с значительным выражением лица. — Ах, я очень рада! — ■ отвечала Бетси, тотчас же поняв, что он говорит про Анну. И, вернувшись в залу, они стали в углу. — Он уморит ее, — сказала Бетси значительным шепотом. — Это невозможно, невозможно... — Я рад, что вы так думаете, — сказал Степан Арка дьич, покачивая головой с серьезным и страдальческисочувствениым вырая^ением лица, — я для этого приехал в Петербург. — Весь город об этом говорит, — сказала она.— Это невозможное положение. Она тает и тает. Он не понимает, что она одна из тех женщин, которые не могут шутить своими чувствами. Одно из двух: или увези он ее, энергически поступи, или дай развод. А это душит ее. — Да, да... именно...— вздыхая, говорил Облонский. — Я за тем и приехал. То есть не собственно за тем... Меня сделали камергером, ну, надо было благодарить. Но, главное, надо устроить это. — Ну, помогай вам бог! — сказала Бетси. Проводив княгиню Бетси до сеней, еще раз поцеловав ее руку выше перчатки, там, где бьется пульс, и наврав ей еще такого неприличного вздора, что она уже не знала, сердиться ли ей, или смеяться, Степан Аркадьич пошел к сестре. Он застал ее в слезах. Несмотря на то брызжущее весельем расположение духа, в котором он находился, Степан Аркадьич тотчас естественно перешел в тот сочувствующий, поэтическивозбужденный тон, который подходил к ее настроению. Он спросил ее о здоровье и как она провела утро. — Очень, очень дурно. И день, и утро, и все прошедшие и будущие дни, — сказала она. 454

— А! княгиня! вот приятная встреча! — заговорил он.— А я был у вас.

— Встреча на минуту, потому что я уезжаю,— сказала Бетси, улыбаясь и надевая перчатку.

— Постойте, княгиня, надевать перчатку, дайте поцеловать вашу ручку. Ни за что я так не благодарен возвращению старинных мод, как за целованье рук. — Он поцеловал руку Бетси.— Когда же увидимся?

— Вы не сто́ите, — отвечала Бетси, улыбаясь.

— Нет, я очень сто́ю, потому что я стал самый серьезный человек. Я не только устраиваю свои, но и чужие семейные дела,— сказал он с значительным выражением лица.

— Ах, я очень рада! — отвечала Бетси, тотчас же поняв, что он говорит про Анну. И, вернувшись в залу, они стали в углу.— Он уморит ее,— сказала Бетси значительным шепотом.— Это невозможно, невозможно...

— Я рад, что вы так думаете,— сказал Степан Аркадьич, покачивая головой с серьезным и страдальчески-сочувственным выражением лица,— я для этого приехал в Петербург.

— Весь город об этом говорит,— сказала она.— Это невозможное положение. Она тает и тает. Он не понимает, что она одна из тех женщин, которые не могут шутить своими чувствами. Одно из двух: или увези он ее, энергически поступи, или дай развод. А это душит ее.

— Да, да... именно...— вздыхая, говорил Облонский.— Я за тем и приехал. То есть не собственно за тем... Меня сделали камергером, ну, надо было благодарить. Но, главное, надо устроить это.

— Ну, помогай вам бог! — сказала Бетси.

Проводив княгиню Бетси до сеней, еще раз поцеловав ее руку выше перчатки, там, где бьется пульс, и наврав ей еще такого неприличного вздора, что она уже не знала, сердиться ли ей, или смеяться, Степан Аркадьич пошел к сестре. Он застал ее в слезах.

Несмотря на то брызжущее весельем расположение духа, в котором он находился, Степан Аркадьич тотчас естественно перешел в тот сочувствующий, поэтически-возбужденный тон, который подходил к ее настроению.

— Мне кажется, ты поддаешься мрачности. Надо встряхнуться, надо прямо взглянуть на жизнь. Я знаю, что тяжело, но... — Я слыхала, что женщины любят людей даже за их пороки, — вдруг начала Анна, — но я ненавижу его за его добродетели. Я не могу жить с ним. Ты пойми, его вид физически действует на меня, я выхожу из себя. Я не могу, не могу жить с ним. Что же мне делать? Я была несчастлива и думала, что нельзя быть несчастнее, но того ужасного состояния, которое теперь испытываю, я не могла себе представить. Ты поверишь ли, что я, зная, что он добрый, превосходный человек, что я ногтя его не стою, я все-таки ненавижу его. Я ненавижу его за его великодушие. И мне ничего не остается, кроме... Она хотела сказать смерти, но Степан Аркадьич но дал ей договорить. — Ты больна и раздражена, — сказал он, — поверь, что ты преувеличиваешь ужасно. Тут нет ничего такого страшного. И Степан Аркадьич улыбнулся. Никто бы на месте Степана Аркадьича, имея дело с таким отчаянием, не позволил себе улыбнуться (улыбка показалась бы грубою), но в его улыбке было так много доброты и почти женской нежности, что улыбка его не оскорбляла, а смягчала и успокоивала. Его тихие успокоительные речи и улыбки действовали смягчающе успокоительно, как миндальное масло. И Анна скоро почувствовала это. — Нет, Стива, — сказала она. — Я погибла, погибла! Хуже чем погибла. Я еще не погибла, я не могу сказать, что все кончено, напротив, я чувствую, что не кончено. Я — как натянутая струна, которая должна лопнуть. Но еще не кончено... и кончится страшно. — Ничего, можно потихоньку спустить струну. Нет положения, из которого не было бы выхода. — Я думала и думала. Только один... Опять он понял по ее испуганному взгляду, что этот один выход, по ее мнению, есть смерть, и он не дал ей договорить. — Нисколько, — сказал он, — позволь. Ты не можешь видеть своего положения, как я. Позволь мне сказать откровенно свое мнение. — Опять он осторожно улыбнулся своей миндальною улыбкой. — Я начну сначала: ты вышла замуж за человека, который на двадцать лет старше 455

— Мне кажется, ты поддаешься мрачности. Надо встряхнуться, надо прямо взглянуть на жизнь. Я знаю, что тяжело, но...

— Я слыхала, что женщины любят людей даже за их пороки,— вдруг начала Анна,— но я ненавижу его за его добродетели. Я не могу жить с ним. Ты пойми, его вид физически действует на меня, я выхожу из себя. Я не могу, не могу жить с ним. Что же мне делать? Я была несчастлива и думала, что нельзя быть несчастнее, но того ужасного состояния, которое теперь испытываю, я не могла себе представить. Ты поверишь ли, что я, зная, что он добрый, превосходный человек, что я ногтя его не стою, я все-таки ненавижу его. Я ненавижу его за его великодушие. И мне ничего не остается, кроме...

Она хотела сказать смерти, но Степан Аркадьич не дал ей договорить.

— Ты больна и раздражена,— сказал он,— поверь, что ты преувеличиваешь ужасно. Тут нет ничего такого страшного.

И Степан Аркадьич улыбнулся. Никто бы на месте Степана Аркадьича, имея дело с таким отчаянием, не позволил себе улыбнуться (улыбка показалась бы грубою), но в его улыбке было так много доброты и почти женской нежности, что улыбка его не оскорбляла, а смягчала и успокоивала. Его тихие успокоительные речи и улыбки действовали смягчающе успокоительно, как миндальное масло. И Анна скоро почувствовала это.

— Нет, Стива,— сказала она.— Я погибла, погибла! Хуже чем погибла. Я еще не погибла, я не могу сказать, что все кончено, напротив, я чувствую, что не кончено. Я — как натянутая струна, которая должна лопнуть. Но еще не кончено... и кончится страшно.

— Ничего, можно потихоньку спустить струну. Нет положения, из которого не было бы выхода.

— Я думала и думала. Только один...

Опять он понял по ее испуганному взгляду, что этот один выход, по ее мнению, есть смерть, и он не дал ей договорить.

— Нисколько,— сказал он,— позволь. Ты не можешь видеть своего положения, как я. Позволь мне сказать откровенно свое мнение.— Опять он осторожно улыбнулся

тебя. Ты вышла замуж без любви или но зная любви. Это была ошибка, положим. — Ужасная ошибка! — сказала Анна. — Но я повторяю: это совершившийся факт. Потом ты имела, скажем, несчастие полюбить не своего мужа. Это несчастие; но это тоже совершившийся факт. И муж твой признал и простил это.— Он останавливался после каждой фразы, ожидая ее возражения, но она ничего не отвечала.— Это так. Теперь вопрос в том: можешь ли ты продолжать шитъ с своим мужем? Желаешь ли ты этого? Желает ли он этого? — Я ничего, ничего не знаю. — Но ты сама сказала, что ты не можешь переносить его. — Нет, я не сказала. Я отрекаюсь. Я ничего не знаю и ничего не понимаю. — Да, но позволь... — Ты не можешь понять. Я чувствую, что лечу головой вниз в какую-то пропасть, но я не должна спасаться. И не могу. — Ничего, мы подстелим и подхватим тебя. Я понимаю тебя, понимаю, что ты не можешь взять на себя, чтобы высказать свое желание, свое чувство. — Я ничего, ничего не желаю... только чтобы кончилось все. — Но он видит это и знает. И разве ты думаешь, что он не менее тебя тяготится этим? Ты мучишься, он мучится, и что же может выйти из этого? Тогда как развод развязывает все, — не без усилия высказал Степан Аркадьич главную мысль и значительно посмотрел на нее. Она ничего не отвечала и отрицательно покачала своею острин^енною головой. Но по выражению вдруг просиявшего прежнею красотой лица он видел, что она не желала этого только потому, что это казалось ей невозможным счастьем. — Мне вас ужасно жалко! И как бы я счастлив был, если б устроил это! — сказал Степан Аркадьич, уя^е смелее улыбаясь. — Не говори, не говори ничего! Если бы бог дал мне только сказать так, как я чувствую. Я пойду к нему. Анна задумчивыми блестяш,ими глазами посмотрела на пего и ничего не сказала. 456

тебя. Ты вышла замуж без любви или не зная любви. Это была ошибка, положим.

— Ужасная ошибка! — сказала Анна.

— Но я повторяю: это совершившийся факт. Потом ты имела, скажем, несчастие полюбить не своего мужа. Это несчастие; но это тоже совершившийся факт. И муж твой признал и простил это.— Он останавливался после каждой фразы, ожидая ее возражения, но она ничего не отвечала.— Это так. Теперь вопрос в том: можешь ли ты продолжать жить с своим мужем? Желаешь ли ты этого? Желает ли он этого?

— Я ничего, ничего не знаю.

— Но ты сама сказала, что ты не можешь переносить его.

— Нет, я не сказала. Я отрекаюсь. Я ничего не знаю и ничего не понимаю.

— Да, но позволь...

— Ты не можешь понять. Я чувствую, что лечу головой вниз в какую-то пропасть, но я не должна спасаться. И не могу.

— Ничего, мы подстелим и подхватим тебя. Я понимаю тебя, понимаю, что ты не можешь взять на себя, чтобы высказать свое желание, свое чувство.

— Я ничего, ничего не желаю... только чтобы кончилось все.

— Но он видит это и знает. И разве ты думаешь, что он не менее тебя тяготится этим? Ты мучишься, он мучится, и что же может выйти из этого? Тогда как развод развязывает все,— не без усилия высказал Степан Аркадьич главную мысль и значительно посмотрел на нее.

Она ничего не отвечала и отрицательно покачала своею остриженною головой. Но по выражению вдруг просиявшего прежнею красотой лица он видел, что она не желала этого только потому, что это казалось ей невозможным счастьем.

— Мне вас ужасно жалко! И как бы я счастлив был, если б устроил это! — сказал Степан Аркадьич, уже смелее улыбаясь. — Не говори, не говори ничего! Если бы бог дал мне только сказать так, как я чувствую. Я пойду к ним.

XXII Степан Аркадьич с тем несколько торжественным лицом, с которым он садился в председательское кресло в своем присутствии, вошел в кабинет Алексея Александровича. Алексей Александрович, заложив руки за спину, ходил по комнате и думал о том же, о чем Степан Аркадьич говорил с его женою. — Я не мешаю тебе? — сказал Степан Аркадьич, при виде зятя вдруг испытывая непривычное ему чувство смупцения. Чтобы скрыть это смуш;ение, он достал только что купленную с новым способом открывания папиросницу и, понюхав кожу, достал папироску. — Нет. Тебе нужно что-нибудь? — неохотно отвечал Алексей Александрович. — Да, мне хотелось... мне нужно по... да, нужно поговорить,— сказал Степан Аркадьич, с удивлением чувствуя непривычную робость. Чувство это было так неожиданно и странно, что Степан Аркадьич не поверил, что это был голос совести, говоривший ему, что дурно то, что он был намерен делать. Степан Аркадьич сделал над собой усилие и поборол нашедшую на него робость. — Надеюсь, что ты веришь в мою любовь к сестре и в искреннюю привязанность и уважение к тебе, — сказал он, краснея. Алексей Александрович остановился и ничего не отвечал, но лицо его поразило Степана Аркадьича бывшим на нем выражением покорной жертвы. — Я намерен был... я хотел поговорить о сестре и о вашем положении взаимном, — сказал Степан Аркадьич, все егце борясь с непривычною застенчивостью. Алексей Александрович грустно усмехнулся, посмотрел на шурина и, не отвечая, подошел к столу, взял с него начатое письмо и подал шурину. — Я не переставая думаю о том же. И вот что я начал писать, полагая, что я лучше скажу письменно и что мое присутствие раздражает ее, — сказал он, подавая письмо. Степан Аркадьич взял письмо, с недоумевающим удивлением посмотрел на тусклые глаза, неподвижно остановившиеся на нем, и стал читать. «Я вижу, что мое присутствие тяготит вас. Как ни тяжело мне было убедиться в этом, я вижу, что это так 457

XXII

Степан Аркадьич с тем несколько торжественным лицом, с которым он садился в председательское кресло в своем присутствии, вошел в кабинет Алексея Александровича. Алексей Александрович, заложив руки за спину, ходил по комнате и думал о том же, о чем Степан Аркадьич говорил с его женою.

— Я не мешаю тебе? — сказал Степан Аркадьич, при виде зятя вдруг испытывая непривычное ему чувство смущения. Чтобы скрыть это смущение, он достал только что купленную с новым способом открывания папиросницу и, понюхав кожу, достал папироску.

— Нет. Тебе нужно что-нибудь? — неохотно отвечал Алексей Александрович.

— Да, мне хотелось... мне нужно по... да, нужно поговорить,— сказал Степан Аркадьич, с удивлением чувствуя непривычную робость.

Чувство это было так неожиданно и странно, что Степан Аркадьич не поверил, что это был голос совести, говоривший ему, что дурно то, что он был намерен делать. Степан Аркадьич сделал над собой усилие и поборол нашедшую на него робость.

— Надеюсь, что ты веришь в мою любовь к сестре и в искреннюю привязанность и уважение к тебе,— сказал он, краснея.

Алексей Александрович остановился и ничего не отвечал, но лицо его поразило Степана Аркадьича бывшим на нем выражением покорной жертвы.

— Я намерен был... я хотел поговорить о сестре и о вашем положении взаимном, — сказал Степан Аркадьич, все еще борясь с непривычною застенчивостью.

Алексей Александрович грустно усмехнулся, посмотрел на шурина и, не отвечая, подошел к столу, взял с него начатое письмо и подал шурину.

— Я не переставая думаю о том же. И вот что я начал писать, полагая, что я лучше скажу письменно и что мое присутствие раздражает ее, — сказал он, подавая письмо.

Степан Аркадьич взял письмо, с недоумевающим удивлением посмотрел на тусклые глаза, неподвижно оста-

и не может быть иначе. Я не виню вас, и бог мне свидетель, что я, увидев вас во время вашей болезни, от всей души решился забыть все, что было между нами, и начать новую жизнь. Я не раскаиваюсь и никогда не раскаюсь в том, что я сделал; но я желал одного, вашего блага, блага вашей души, и теперь я вижу, что не достиг этого. Скажите мне вы сами, что даст вам истинное счастие и спокойствие вашей души. Я предаюсь весь вашей воле и вашему чувству справедливости». Степан Аркадьич передал назад письмо и с тем же недоумением продолжал смотреть на зятя, не зная, что сказать. Молчание это было им обоим так неловко, что в губах Степана Аркадьича произошло болезненное содрогание в то время, как он молчал, не спуская глаз с лица Каренина. — Вот что я хотел сказать ей, — сказал Алексей Александрович, отвернувшись. — Да, да... — сказал Степан Аркадьич, не в силах отвечать, так как слезы подступали ему к горлу. — Да, да. Я понимаю вас, — наконец выговорил он. — Я желаю знать, чего она хочет, — сказал Алексей Александрович. — Я боюсь, что она сама не понимает своего положения. Она не судья, — оправляясь, говорил Степан Аркадьич. — Она подавлена, именно подавлена твоим великодушием. Если она прочтет это письмо, она не в силах будет ничего сказать, она только ниже опустит голову« — Да, но что же в таком случае? Как объяснить... как узнать ее желание? — Если ты позволяешь мне сказать свое мнение, то я думаю, что от тебя зависит указать прямо те меры, которые ты находишь нужными, чтобы прекратить это положение. — Следовательно, ты находишь, что его нужно прекратить? — перебил его Алексей Александрович. — Но как? — прибавил он, сделав непривычный жест руками пред глазами, — не вижу никакого возможного выхода. — Во всяком положении есть выход, — сказал, вставая и оживляясь, Степан Аркадьич. — Было время, когда ты хотел разорвать... Если ты убедишься теперь, что вы не можете сделать взаимного счастия... — Счастье можно различно понимать. Но положим, что я на все согласен, я ничего не хочу. Какой же выход из нашего положения? 458

и не может быть иначе. Я не виню вас, и бог мне свидетель, что я, увидев вас во время вашей болезни, от всей души решился забыть все, что было между нами, и начать новую жизнь. Я не раскаиваюсь и никогда не раскаюсь в том, что я сделал; но я желал одного, вашего блага, блага вашей души, и теперь я вижу, что не достиг этого. Скажите мне вы сами, что даст вам истинное счастие и спокойствие вашей души. Я предаюсь весь вашей воле и вашему чувству справедливости».

Степан Аркадьич передал назад письмо и с тем же недоумением продолжал смотреть на зятя, не зная, что сказать. Молчание это было им обоим так неловко, что в губах Степана Аркадьича произошло болезненное содрогание в то время, как он молчал, не спуская глаз с лица Каренина.

— Вот что я хотел сказать ей, — сказал Алексей Александрович, отвернувшись.

— Да, да... — сказал Степан Аркадьич, не в силах отвечать, так как слезы подступали ему к горлу. — Да, да. Я понимаю вас, — наконец выговорил он.

— Я желаю знать, чего она хочет, — сказал Алексей Александрович.

— Я боюсь, что она сама не понимает своего положения. Она не судья, — оправляясь, говорил Степан Аркадьич. — Она подавлена, именно подавлена твоим великодушием. Если она прочтет это письмо, она не в силах будет ничего сказать, она только ниже опустит голову.

— Да, но что же в таком случае? Как объяснить... как узнать ее желание?

— Если ты позволяешь мне сказать свое мнение, то я думаю, что от тебя зависит указать прямо те меры, которые ты находишь нужными, чтобы прекратить это положение.

— Следовательно, ты находишь, что его нужно прекратить? — перебил его Алексей Александрович. — Но как? — прибавил он, сделав непривычный жест руками пред глазами, — не вижу никакого возможного выхода.

— Во всяком положении есть выход, — сказал, вставая и оживляясь, Степан Аркадьич. — Было время, когда ты хотел разорвать... Если ты убедишься теперь, что вы не можете сделать взаимного счастия...

Если ты хочешь знать мое мнение, — сказал Степан Аркадьич с тою же смягчающею, миндально-нежною улыбксй, с которой он говорил с Анной. Добрая улыбка была так убедительна, что невольно Алексей Александрович, чувствуя свою слабость и подчиняясь ей, готов был верить тому, что скажет Степан Аркадьич. — Она никогда не выскажет этого. Но одно возможно, одного она может желать, — продолжал Степан Аркадьич, — это — прекращения отношений и всех связанных с ними воспоминаний. По-моему, в вашем положении необходимо уяснение новых взаимных отношений. И эти отношения могут установиться только свободой обеих сторон. — Развод, — с отвращением перебил Алексей Александрович. — Да, я полагаю, что развод. Да, развод, — краснея, повторил Степан Аркадьич. — Это во всех отношениях самый разумный выход для супругов, находящихся в таких отношениях, как вы. Что же делать, если супруги нашли, что жизнь для них невозможна вместе? Это всегда может случиться. — Алексей Александрович тяжело вздохнул и закрыл глаза. — Тут только одно соображение: желает ли один из супругов вступить в другой брак? Если нет, так это очень просто, — сказал Степан Аркадьич, все более и более освобождаясь от стеснения. Алексей Александрович, сморщившись от волнения, проговорил что-то сам с собой и ничего не отвечал. Все, что для Степана Аркадьича оказалось так очень просто, тысячи тысяч раз обдумывал Алексей Александрович. И все это ему казалось не только не очень просто, но казалось вполне невозможно. Развод, подробности которого он уже знал, теперь казался ему невозможным, потому что чувство собственного достоинства и уважение к религии не позволяли ему принять на себя обвинение в фиктивном прелюбодеянии и еще менее допустить, чтобы жена, прощенная и любимая им, была уличена и опозорена. Развод представлялся невозможным еще и по другим, еще более важным причинам. Что будет с сыном в случае развода? Оставить его с матерью было невозможно. Разведенная мать будет иметь свою незаконную семью, в которой положение пасынка и воспитание его будут, по всей вероятности, дурны. Оставить его с собою? Он знал, что это было бы мщением с его стороны, а он не хотел этого. Но, кроме этого, всего невозможнее казался развод для Алексея Александровича 459

— Если ты хочешь знать мое мнение, — сказал Степан Аркадьич с тою же смягчающею, миндально-нежною улыбкой, с которой он говорил с Анной. Добрая улыбка была так убедительна, что невольно Алексей Александрович, чувствуя свою слабость и подчиняясь ей, готов был верить тому, что скажет Степан Аркадьич. — Она никогда не выскажет этого. Но одно возможно, одного она может желать, — продолжал Степан Аркадьич, — это — прекращения отношений и всех связанных с ними воспоминаний. По-моему, в вашем положении необходимо уяснение новых взаимных отношений. И эти отношения могут установиться только свободой обеих сторон.

— Развод, — с отвращением перебил Алексей Александрович.

— Да, я полагаю, что развод. Да, развод, — краснея, повторил Степан Аркадьич. — Это во всех отношениях самый разумный выход для супругов, находящихся в таких отношениях, как вы. Что же делать, если супруги нашли, что жизнь для них невозможна вместе? Это всегда может случиться. — Алексей Александрович тяжело вздохнул и закрыл глаза. — Тут только одно соображение: желает ли один из супругов вступить в другой брак? Если нет, так это очень просто, — сказал Степан Аркадьич, все более и более освобождаясь от стеснения.

Алексей Александрович, сморщившись от волнения, проговорил что-то сам с собой и ничего не отвечал. Все, что для Степана Аркадьича оказалось так очень просто, тысячи тысяч раз обдумывал Алексей Александрович. И все это ему казалось не только не очень просто, но казалось вполне невозможно. Развод, подробности которого он уже знал, теперь казался ему невозможным, потому что чувство собственного достоинства и уважение к религии не позволяли ему принять на себя обвинение в фиктивном прелюбодеянии и еще менее допустить, чтобы жена, прощенная и любимая им, была уличена и опозорена. Развод представлялся невозможным еще и по другим, еще более важным причинам.

Что будет с сыном в случае развода? Оставить его с матерью было невозможно. Разведенная мать будет иметь свою незаконную семью, в которой положение пасынка и воспитание его будут, по всей вероятности, дурны.

потому, что, согласившись па развод, on этим самым губил Айну. Ему запало в душу слово, сказанное Дарьей Александровной в Москве, о том, что, решаясь на развод, он думает о себе, а не думает, что этим он губит ее безвозвратно. И он, связав это слово с своим прош,ением, с своею привязанностью к детям, теперь по-своему понимал его. Согласиться на развод, дать ей свободу значило в его понятии отнять у себя последнюю привязку к жизни детей, которых он любил, а у нее — последнюю опору на пути добра и ввергнуть ее в погибель. Если она будет разведенною женой, он знал, что она соединится с Вронским, и связь эта будет незаконная и преступная, потому что жене, по смыслу закона церкви, не может быть брака, пока муж жив. «Она соединится с ним, и через год-два или он бросит ее или она вступит в новую связь, — думал Алексей Александрович. — И я, согласившись на незаконный развод, буду виновником ее погибели». Он все это обдумывал сотни раз и был убежден, что дело развода не только не очень просто, как говорил его шурин, но совершенно невозможно. Он не верил ни одному слову Степана Аркадьича, на каждое слово его имел тысячи опровержений, но он слушал его, чувствуя, что его словами выражается та могущественная грубая сила, которая руководит его жизнью и которой он должен будет покориться. — Вопрос только в том, как, на каких условиях ты согласишься сделать развод. Она ничего не хочет, не смеет просить, опа все предоставляет твоему великодушию. «Боже мой! Боже мой! за что?» — подумал Алексей Александрович, вспомнив подробности развода, при котором муж брал вину на себя, и тем же жестом, каким закрывался Вронский, закрыл от стыда лицо руками. — Ты взволнован, я понимаю. Но если ты обдумаешь... «И ударившему в правую щеку подставь левую, и снимающему кафтан отдай рубашку», — подумал Алексей Александрович. — Да, да! — вскрикнул он визгливым голосом, — я беру на себя позор, отдаю даже сына, но... но не лучше ли оставить это? Впрочем, делай что хочешь... И он, отвернувшись от шурина, так чтобы тот не мог видеть его, сел на стул у окна. Ему было горько, ему было стыдно; по вместе с этим горем и стыдом он испытывал радость и умиление пред своей высотой смирения. 460

потому, что, согласившись на развод, он этим самым губил Анну. Ему запало в душу слово, сказанное Дарьей Александровной в Москве, о том, что, решаясь на развод, он думает о себе, а не думает, что этим он губит ее безвозвратно. И он, связав это слово с своим прощением, с своею привязанностью к детям, теперь по-своему понимал его. Согласиться на развод, дать ей свободу значило в его понятии отнять у себя последнюю привязку к жизни детей, которых он любил, а у нее — последнюю опору на пути добра и ввергнуть ее в погибель. Если она будет разведенною женой, он знал, что она соединится с Вронским, и связь эта будет незаконная и преступная, потому что жене, по смыслу закона церкви, не может быть брака, пока муж жив. «Она соединится с ним, и через год-два или он бросит ее или она вступит в новую связь, — думал Алексей Александрович. — И я, согласившись на незаконный развод, буду виновником ее погибели». Он все это обдумывал сотни раз и был убежден, что дело развода не только не очень просто, как говорил его шурин, но совершенно невозможно. Он не верил ни одному слову Степана Аркадьича, на каждое слово его имел тысячи опровержений, но он слушал его, чувствуя, что его словами выражается та могущественная грубая сила, которая руководит его жизнью и которой он должен будет покориться.

— Вопрос только в том, как, на каких условиях ты согласишься сделать развод. Она ничего не хочет, не смеет просить, она все предоставляет твоему великодушию.

«Боже мой! Боже мой! за что?» — подумал Алексей Александрович, вспомнив подробности развода, при котором муж брал вину на себя, и тем же жестом, каким закрывался Вронский, закрыл от стыда лицо руками.

— Ты взволнован, я понимаю. Но если ты обдумаешь...

«И ударившему в правую щеку подставь левую, и снимающему кафтан отдай рубашку», — подумал Алексей Александрович.

— Да, да! — вскрикнул он визгливым голосом, — я беру на себя позор, отдаю даже сына, но... но не лучше ли оставить это? Впрочем, делай что хочешь...

И он, отвернувшись от шурина, так чтобы тот не мог

Степан Аркадьич был тронут. Он помолчал. — Алексей, поверь мне, что она оценит твое великодушие, — сказал он. — Но, видно, это была воля божия, — прибавил он и, сказав это, почувствовал, что это было глупо, и с трудом удержал улыбку над своею глупостью. Алексей Александрович хотел что-то ответить, но слезы остановили его. — Это несчастно роковое, и надо признать его. Я признаю это несчастие совершившимся фактом и стараюсь помочь тебе и ей, — сказал Степан Аркадьич. Когда Степан Аркадьич вышел из комнаты зятя, он был тронут, но это не мешало ему быть довольным тем, что он успешно совершил это дело, так как он был уверен, что Алексей Александрович не отречется от своих слов. К этому удовольствию примешивалось еш;е и то, что ему пришла мысль, что, когда это дело сделается, он жене и близким знакомым будет задавать вопрос: «Какая разница между мною и государем? Государь делает развод — и никому оттого не лучше, а я сделал развод, и троим стало лучше... Или: какое сходство между мной и государем? Когда... Впрочем, придумаю лучше», — сказал он себе с улыбкой. XXIII Рана Вронского была опасна, хотя она и миновала сердце. И несколько дней он находился между жизнью и смертью. Когда в первый раз он был в состоянии говорить, одна Варя, жена брата, была в его комнате. — Варя! — сказал он, строго глядя на нее, — я выстрелил в себя нечаянно. И, пожалуйста, никогда не говори про это и так скажи всем. А то это слишком глупо! Не отвечая на его слова, Варя нагнулась над ним и с радостною улыбкой посмотрела ему в лицо. Глаза были светлые, не лихорадочные, но выражение их было строгое. — Ну, слава богу! — сказала она. — Не больно тебе? — Немного здесь. — Он указал на грудь. — Так дай я перевяжу тебе. Он, молча сжав свои широкие скулы, смотрел на нее, пока она перевязывала его. Когда она кончила, он сказал: — Я не в бреду; пожалуйста, сделай, чтобы не было разговоров о том, что я выстрелил в себя нарочно. 4Ы

Степан Аркадьич был тронут. Он помолчал.

— Алексей, поверь мне, что она оценит твое великодушие, — сказал он. — Но, видно, это была воля божия, — прибавил он и, сказав это, почувствовал, что это было глупо, и с трудом удержал улыбку над своею глупостью.

Алексей Александрович хотел что-то ответить, но слезы остановили его.

— Это несчастие роковое, и надо признать его. Я признаю это несчастие совершившимся фактом и стараюсь помочь тебе и ей, — сказал Степан Аркадьич.

Когда Степан Аркадьич вышел из комнаты зятя, он был тронут, но это не мешало ему быть довольным тем, что он успешно совершил это дело, так как он был уверен, что Алексей Александрович не отречется от своих слов. К этому удовольствию примешивалось еще и то, что ему пришла мысль, что, когда это дело сделается, он жене и близким знакомым будет задавать вопрос: «Какая разница между мною и государем? Государь делает развод — и никому оттого не лучше, а я сделал развод, и троим стало лучше... Или: какое сходство между мной и государем? Когда... Впрочем, придумаю лучше», — сказал он себе с улыбкой.

XXIII

Рана Вронского была опасна, хотя она и миновала сердце. И несколько дней он находился между жизнью и смертью. Когда в первый раз он был в состоянии говорить, одна Варя, жена брата, была в его комнате.

— Варя! — сказал он, строго глядя на нее, — я выстрелил в себя нечаянно. И, пожалуйста, никогда не говори про это и так скажи всем. А то это слишком глупо!

Не отвечая на его слова, Варя нагнулась над ним и с радостною улыбкой посмотрела ему в лицо. Глаза были светлые, не лихорадочные, но выражение их было строгое.

— Ну, слава богу! — сказала она. — Не больно тебе?

— Немного здесь. — Он указал на грудь.

— Так дай я перевяжу тебе.

Он, молча сжав свои широкие скулы, смотрел на нее,

— Никто и не говорит. Только надеюсь, что ты больше не будешь нечаянно стрелять, — сказала она с вопросительною улыбкой. — Должно быть, не буду, а лучше бы было... И он мрачно улыбнулся. Несмотря на эти слова и улыбку, которые так испугали Варю, когда прошло воспаление и он стал оправляться, он почувствовал, что совершенно освободился от одной части своего горя. Он этим поступком как будто смыл с себя стыд и унижение, которые он прежде испытывал. Он мог спокойно думать теперь об Алексее Александровиче. Он признавал все великодушие его и уже не чувствовал себя униженным. Он, кроме того, опять попал в прежнюю колею жизни. Он видел возможность без стыда смотреть в глаза людям и мог жить, руководствуясь своими привычками. Одно, чего он не мог вырвать из своего сердца, несмотря на то, что он не переставая боролся с этим чувством, это было доходящее до отчаяния сожаление о том, что он навсегда потерял ее. То, что он теперь, искупив пред мужем свою вину, должен был отказаться от нее и никогда не становиться впредь между ею с ее раскаяним и ее мужем, было твердо решено в его сердце; но он не мог вырвать из своего сердца сожаления о потере ее любви, не мог стереть в воспоминании те минуты счастия, которые он знал с ней, которые так мало ценимы им были тогда и которые во всей своей прелести преследовали его теперь. Серпуховской придумал ему назначение в Ташкент, и Вронский без малейшего колебания согласился на это предложение. Но чем ближе подходило время отъезда, тем тяжелее становилась ему та жертва, которую он приносил тому, что он считал должным. Рана его зажила, и он уже выезжал, делая приготовления к отъезду в Ташкент. «Один раз увидать ее и потом зарыться, умереть», — думал он и, делая прощальные визиты, высказал эту мысль Бетси. С этим его посольством Бетси ездила к Анне и привезла ему отрицательный ответ. «Тем лучше, — подумал Вронский, получив это известие. — Это была слабость, которая погубила бы мои последние силы». На другой день сама Бетси утром приехала к нему и объявила, что она получила чрез Облонского положитель462

— Никто и не говорит. Только надеюсь, что ты больше не будешь нечаянно стрелять, — сказала она с вопросительною улыбкой.

— Должно быть, не буду, а лучше бы было...

И он мрачно улыбнулся.

Несмотря на эти слова и улыбку, которые так испугали Варю, когда прошло воспаление и он стал оправляться, он почувствовал, что совершенно освободился от одной части своего горя. Он этим поступком как будто смыл с себя стыд и унижение, которые он прежде испытывал. Он мог спокойно думать теперь об Алексее Александровиче. Он признавал все великодушие его и уже не чувствовал себя униженным. Он, кроме того, опять попал в прежнюю колею жизни. Он видел возможность без стыда смотреть в глаза людям и мог жить, руководствуясь своими привычками. Одно, чего он не мог вырвать из своего сердца, несмотря на то, что он не переставая боролся с этим чувством, это было доходящее до отчаяния сожаление о том, что он навсегда потерял ее. То, что он теперь, искупив пред мужем свою вину, должен был отказаться от нее и никогда не становиться впредь между ею с ее раскаяним и ее мужем, было твердо решено в его сердце; но он не мог вырвать из своего сердца сожаления о потере ее любви, не мог стереть в воспоминании те минуты счастия, которые он знал с ней, которые так мало ценимы им были тогда и которые во всей своей прелести преследовали его теперь.

Серпуховской придумал ему назначение в Ташкент, и Вронский без малейшего колебания согласился на это предложение. Но чем ближе подходило время отъезда, тем тяжелее становилась ему та жертва, которую он приносил тому, что он считал должным.

Рана его зажила, и он уже выезжал, делая приготовления к отъезду в Ташкент.

«Один раз увидать ее и потом зарыться, умереть», — думал он и, делая прощальные визиты, высказал эту мысль Бетси. С этим его посольством Бетси ездила к Анне и привезла ему отрицательный ответ.

«Тем лучше, — подумал Вронский, получив это известие. — Это была слабость, которая погубила бы мои по-

noe известие, что Алексей Александрович дает развод и что потому он может видеть ее. Не позаботясь даже о том, чтобы проводить от себя Бетси, забыв все свои решения, не спрашивая, когда можно, где муж, Вронский тотчас же поехал к Карениным. Он взбежал на лестницу, никого и ничего не видя, и быстрым шагом, едва удерживаясь от бега, вошел в ее комнату. И не думая и не замечая того, что в комнате есть ли кто или нет, он обнял ее и стал покрывать поцелуями ее лицо, руки и шею. Анна готовилась к этому свиданию, думала о том, что она скажет ему, но она ничего из этого не успела сказать: его страсть охватила ее. Она хотела утишить его, утишить себя, но уже было поздно. Его чувство сообщилось ей. Губы ее дрожали так, что долго она не могла ничего говорить. — Да, ты овладел мною, и я твоя, — выговорила она наконец, прижимая к своей груди его руку. — Так должно было быть! — сказал он. — Пока мы живы, это должно быть. Я это знаю теперь. — Это правда, говорила она, бледнея все более и более и обнимая его голову. — Все-таки что-то ужасное есть в этом после всего, что было. — Все пройдет, все пройдет, мы будем так счастливы! Любовь наша, если бы могла усилиться, усилилась бы тем, что в ней есть что-то ужасное, — сказал он, поднимая голову и открывая улыбкою свои крепкие зубы. И она не могла не ответить улыбкой — не словам, а влюбленным глазам его. Она взяла его руку и гладила ею себя по похолодевшим щекам и обстриженным волосам. — Я не узнаю тебя с этими короткими волосами. Ты так похорошела. Мальчик. Но как ты бледна! — Да, я очень слаба, — сказала она, улыбаясь. И губы ее опять задрожали. — Мы поедем в Италию, ты поправишься, — сказал он. — Неужели это возможно, чтобы мы были как муж с женою, одни, своею семьей с тобой? — сказала она, близко вглядываясь в его глаза. — Меня только удивляло, как это могло быть когданибудь иначе. — Стива говорит, что он на все согласен, но я не могу принять его великодушие, — сказала она, задумчиво глядя 463

ное известие, что Алексей Александрович дает развод и что потому он может видеть ее.

Не позаботясь даже о том, чтобы проводить от себя Бетси, забыв все свои решения, не спрашивая, когда можно, где муж, Вронский тотчас же поехал к Карениным. Он взбежал на лестницу, никого и ничего не видя, и быстрым шагом, едва удерживаясь от бега, вошел в ее комнату. И не думая и не замечая того, что в комнате есть ли кто или нет, он обнял ее и стал покрывать поцелуями ее лицо, руки и шею.

Анна готовилась к этому свиданию, думала о том, что́ она скажет ему, но она ничего из этого не успела сказать: его страсть охватила ее. Она хотела утишить его, утишить себя, но уже было поздно. Его чувство сообщилось ей. Губы ее дрожали так, что долго она не могла ничего говорить.

— Да, ты овладел мною, и я твоя, — выговорила она наконец, прижимая к своей груди его руку.

— Так должно было быть! — сказал он. — Пока мы живы, это должно быть. Я это знаю теперь.

— Это правда, — говорила она, бледнея все более и более и обнимая его голову. — Все-таки что-то ужасное есть в этом после всего, что было.

— Все пройдет, все пройдет, мы будем так счастливы! Любовь наша, если бы могла усилиться, усилилась бы тем, что в ней есть что-то ужасное, — сказал он, поднимая голову и открывая улыбкою свои крепкие зубы.

И она не могла не ответить улыбкой — не словам, а влюбленным глазам его. Она взяла его руку и гладила ею себя по похолодевшим щекам и обстриженным волосам.

— Я не узнаю тебя с этими короткими волосами. Ты так похорошела. Мальчик. Но как ты бледна!

— Да, я очень слаба, — сказала она, улыбаясь. И губы ее опять задрожали.

— Мы поедем в Италию, ты поправишься, — сказал он.

— Неужели это возможно, чтобы мы были как муж с женою, одни, своею семьей с тобой? — сказала она, близко вглядываясь в его глаза.

— Меня только удивляло, как это могло быть когда-

мимо лица Вронского. — Я не хочу развода, мне теперь все равно. Я не знаю только, что он решит об Сереже. Он не мог никак понять, как могла она в эту минуту свиданья думать и помнить о сыне, о разводе. Разве не все равно было? — Не говоррі про это, не думай, — сказал он, поворачивая ее руку в своей и стараясь привлечь к себе ее внимание; но она все не смотрела на него. — Ах, зачем я не умерла, лучше бы было! — ■ сказала она, и без рыданий слезы текли по обеим щекам; но она старалась улыбаться, чтобы не огорчить его. Отказаться от лестного и опасного назначения в Ташкент, по прежним понятиям Вронского, было бы позорно и невозможно. Но теперь, не задумываясь ни на минуту, он отказался от него и, заметив в высших неодобрение своего поступка, тотчас я^е вышел в отставку. Чрез месяц Алексей Александрович остался один с сыном на своей квартире, а Анна с Вронским уехала за границу, не получив развода и решительно отказавшись от пего.

мимо лица Вронского. — Я не хочу развода, мне теперь все равно. Я не знаю только, что он решит об Сереже.

Он не мог никак понять, как могла она в эту минуту свиданья думать и помнить о сыне, о разводе. Разве не все равно было?

— Не говори про это, не думай, — сказал он, поворачивая ее руку в своей и стараясь привлечь к себе ее внимание; но она все не смотрела на него.

— Ах, зачем я не умерла, лучше бы было! — сказала она, и без рыданий слезы текли по обеим щекам; но она старалась улыбаться, чтобы не огорчить его.

Отказаться от лестного и опасного назначения в Ташкент, по прежним понятиям Вронского, было бы позорно и невозможно. Но теперь, не задумываясь ни на минуту, он отказался от него и, заметив в высших неодобрение своего поступка, тотчас же вышел в отставку.

Чрез месяц Алексей Александрович остался один с сыном на своей квартире, а Анна с Вронским уехала за границу, не получив развода и решительно отказавшись от него.

ПРИМЕЧАНИЯ

ПРИМЕЧАНИЯ

ЧАСТИ ПЕРВАЯ — ЧЕТВЕРТАЯ «Мне отмщение, и Аз воздам». — Эпиграф взят из Библии: «У Меня отмщение и воздаяние, когда поколеблется нога их; ибо близок день погибели их, скоро наступит уготованное для них» (Второзаконие, гл. 32, 35) . Эти слова были повторены и в «Послании к Римлянам» апостола Павла: «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано: «Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь» (гл. 12, 19). Стр. 9. «...рефлексы головного мозга», — подумал Степан Аркадьич, который любил физиологию... — Облонский имеет в виду книгу «Рефлексы головного мозга» И. М. Сеченова (1829 — 1905), опубликованную в 1863 году. «Все акты сознательной и бессознательной жизни, — писал Сеченов, — по способу происхождения суть рефлексы». В 1873 году он опубликовал «Психологические этюды». Материалистическая физиология произвела сильное впечатление на современников. На «Рефлексы» ссылались, о них говорили и спорили всюду и все, даже те, кто знал о них хотя бы понаслышке (см.: Л. Ф. Пантелеев. «Воспоминания». М., 1958, с. 526). Стр. 13. Степан Аркадьич получал и читал либеральную га^ зету, не крайнюю, но того направления, которого держалось боль^ шинство. — Облонский читает газету А. Краевского «Голос» — орган либерального чиновничества, которую называли «барометром общественного мнения». Мысль об «упорной традиционности, тормозящей прогресс», выражена в «Листке» газеты «Голос» от 21 ян-» варя 1873 года. Там же говорится о «пугливых охранителях», которым всюду «мерещится «красный призрак»... или гидра об 18 тысячах головах». Возможно, перед Толстым был именно этот номер газеты, когда он писал сцену утреннего чтения Облонского. Стр. 14. Он прочел и о том, что граф Бейст, как слышно, про^ ехал в Висбаден... — Фридрих Фердинанд фон Бейст (1809-— 467

ЧАСТИ ПЕРВАЯ — ЧЕТВЕРТАЯ

«Мне отмщение, и Аз воздам». — Эпиграф взят из Библии: «У Меня отмщение и воздаяние, когда поколеблется нога их; ибо близок день погибели их, скоро наступит уготованное для них» (Второзаконие, гл. 32, 35). Эти слова были повторены и в «Послании к Римлянам» апостола Павла: «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу *Божию*. Ибо написано: «Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь» (гл. 12, 19).

Стр. 9. *«...рефлексы головного мозга», — подумал Степан Аркадьич, который любил физиологию...* — Облонский имеет в виду книгу «Рефлексы головного мозга» И. М. Сеченова (1829—1905), опубликованную в 1863 году. «Все акты сознательной и бессознательной жизни, — писал Сеченов, — по способу происхождения суть рефлексы». В 1873 году он опубликовал «Психологические этюды». Материалистическая физиология произвела сильное впечатление на современников. На «Рефлексы» ссылались, о них говорили и спорили всюду и все, даже те, кто знал о них хотя бы понаслышке (см.: Л. Ф. Пантелеев. «Воспоминания». М., 1958, с. 526).

Стр. 13. *Степан Аркадьич получал и читал либеральную газету, не крайнюю, но того направления, которого держалось большинство.* — Облонский читает газету А. Краевского «Голос» — орган либерального чиновничества, которую называли «барометром общественного мнения». Мысль об «упорной традиционности, тормозящей прогресс», выражена в «Листке» газеты «Голос» от 21 января 1873 года. Там же говорится о «пугливых охранителях», которым всюду «мерещится «красный призрак»... или гидра об 18 тысячах головах». Возможно, перед Толстым был именно этот номер газеты, когда он писал сцену утреннего чтения Облон-

1886) ~ канцлер Австро-Венгрии, политический противник Бисмарка. Его имя постоянно упоминается в политических газетных хрониках тех лет. Висбаден — курортный город в прусской провинции Гессен-Нассау. Стр. 26. ...с другой (он заикнулся) стороны, это — средство для уездной coterie наживать деньжонки. — Левин высказывает идеи, весьма распространенные в радикальной демократической публицистике 70-х годов. Например, в журнале «Отечественные записки» в 1875 году печаталась статья «Десятилетие русского земства», в которой между прочим говорилось: «...Безотрадная черта в деятельности некоторых земств... это страсть к земской спекуляции, страсть к наживе, замечаемая в наиболее богатых и интеллигентных центрах русской земли. В этих центрах акции, облигации, чеки, закладные листы, полисы и варранты закрывают собою скромный лапоть и серый зипун...» («Отечественные записки», 1875, X, с. 437). Стр. 28. ...три тысячи десятин в Каразинском уезде... — У Толстого в начале 70-х годов было 750 десятин в Ясной Поляне и 1200 десятин при селе Никольском-Вяземском. Яснополянские владения Толстого находились в Крапивенском уезде Тульской губернии (С. Л. Толстой. Об отражении жизни в «Анне Карениной». — «Литературное наследство», т. 37/38. М., 1939, с. 572). Стр. 31. Речь шла о модном вопросе: есть ли граница между психическими и физиологическими явлениями в деятельности человека и где она? — Толстой имеет в виду «жаркую полемику», которая началась на страницах журнала «Вестник Европы», где К. Д. Кавелин (1818—1885) напечатал работу «Задачи психологии» (1872), а И. М. Сеченов ответил ему статьей «Кому и как разрабатывать психологию» (1873). К. Д. Кавелин утверждал, что «непосредственной связи между психическими и материальными явлениями мы не знаем». И. М. Сеченов доказывал, что «все психические акты», совершающиеся «по типу рефлексов», должны подлежать «физиологическому исследованию». Кавелин так же, как «харьковский профессор» в романе, придерживался идеи «параллелизма», то есть тем самым признавал зависимость психических явлений от физиологических. Именно за эту «большую уступку материалистам» Кавелина упрекал Ю. Ф. Самарин: «...вы стоите на острие ножа и должны непременно склониться на ту или другую сторону, то есть окончательно усвоить

себе материалистическое воззрение или взять назад многие из сделанных... ему уступок» («Вестник Европы», 1875, V, с. 370). Стр. 32. Левин встречал в журналах статьи... о происхождении человека как животного... — Книга Чарльза Дарвина (1809—1882) «Происхождение человека и подбор по отношению к полу» в рус468

1886) — канцлер Австро-Венгрии, политический противник Бисмарка. Его имя постоянно упоминается в политических газетных хрониках тех лет. Висбаден — курортный город в прусской провинции Гессен-Нассау.

Стр. 26. *...с другой (он заикнулся) стороны, это — средство для уездной coterie наживать деньжонки.* — Левин высказывает идеи, весьма распространенные в радикальной демократической публицистике 70-х годов. Например, в журнале «Отечественные записки» в 1875 году печаталась статья «Десятилетие русского земства», в которой между прочим говорилось: «...Безотрадная черта в деятельности некоторых земств... это страсть к земской спекуляции, страсть к наживе, замечаемая в наиболее богатых и интеллигентных центрах русской земли. В этих центрах акции, облигации, чеки, закладные листы, полисы и варранты закрывают собою скромный лапоть и серый зипун...» («Отечественные записки», 1875, X, с. 437).

Стр. 28. *...три тысячи десятин в Каразинском уезде...* — У Толстого в начале 70-х годов было 750 десятин в Ясной Поляне и 1200 десятин при селе Никольском-Вяземском. Яснополянские владения Толстого находились в Крапивенском уезде Тульской губернии (С. Л. Толстой. Об отражении жизни в «Анне Карениной». — «Литературное наследство», т. 37/38. М., 1939, с. 572).

Стр. 31. *Речь шла о модном вопросе: есть ли граница между психическими и физиологическими явлениями в деятельности человека и где она?* — Толстой имеет в виду «жаркую полемику», которая началась на страницах журнала «Вестник Европы», где К. Д. Кавелин (1818—1885) напечатал работу «Задачи психологии» (1872), а И. М. Сеченов ответил ему статьей «Кому и как разрабатывать психологию» (1873). К. Д. Кавелин утверждал, что «непосредственной связи между психическими и материальными явлениями мы не знаем». И. М. Сеченов доказывал, что «все психические акты», совершающиеся «по типу рефлексов», должны подлежать «физиологическому исследованию». Кавелин так же, как «харьковский профессор» в романе, придерживался идеи «параллелизма», то есть тем самым признавал зависимость психических явлений от физиологических. Именно за эту «большую уступку материалистам» Кавелина упрекал Ю. Ф. Самарин: «...вы стоите на острие ножа и должны непременно склониться на ту или другую сторону, то есть окончательно усвоить себе материалистическое воззрение или взять назад многие из сделанных... ему уступок» («Вестник Европы», 1875, V, с. 370).

ском переводе вышла в 1871 году. (В двух томах. Перевод с английского под редакцией И. М. Сеченова. СПб., 1871). Пространные статьи о теории Дарвина печатались в «Отечественных записках», «Вестнике Европы» и «Русском вестнике». О Дарвине много писал Н. Н. Страхов, который так же, как Левин, «искал ответов не на вопросы знания, а на вопросы сердца». Поэтому он и проходит мимо собственно научного смысла дарвинизма или же относится к нему резко отрицательно. Сам Толстой впоследствии признавался, что его, как Левина, дарвинизм «натолкнул на противоположный путь — духовный» (Д. П. М а к о в и ц к и й. Яснополянские записки. 9 апреля 1907 года. Архив ГМТ). Кейс, Вурст, Кнауст и Припасов — имена вымышленные и па« родийные. Стр. 41. Ну, в «Англию»,.. — Московская гостиница «Англия» помеш;алась на Петровке. Эта гостиница пользовалась плохой репутацией (см,: А. Ф. Тютчев а. При дворе двух императоров. Дневник 1855—1882. М., 1929, с. 233). Ты ведь любишь — Тюрбо — блюдо французской кухни, особым образом приготовленная рыба калкан (франц, turbot) . Тюрбо в России — привозной товар, ценившийся гурманами. Стр. 43. ...вино по разлатым топким рюмкам... — Разлатые рюмки — высокие и плоские рюмки для шампанского. Стр. 45. Узнаю коней ретивых по каким-то их таврам... — («Узнаю коней ретивых по их выжженным таврам...») — Облонский дважды (и оба раза неточно) цитирует Пушкина («Из Анакреона») — сначала в разговоре с Левиным (гл. X), а потом при встрече с Вронским (гл. XVII). Стр. 47. «...с отвращением читая жизнь мою, я трепещу и проклинаю...» — Левин цитирует стихотворение Пушкина «Воспоминание», любимое Толстым. «Это стихи, — говорил он, — и таких стихов пять, много десять на всем свете» («Сборник воспоминаний о Л. Н. Толстом», М., 1911, с. 167). Стр. 49. Himmlisch ist's, wenn ich bezwungen... — Облонский декламирует куплет из оперетты Иоганна Штрауса «Летучая мышь». Я прелестных падших созданий не видал... — «Прелестное, но падшее созданье» — строка из пушкинского «Пира во время чумы» (слова Вальсингама). Стр. 50. ...это все равно, как этот диккенсовский господин, который перебрасывает левою рукой через правое плечо все затруднительные вопросы. — «Диккенсовский господин» — это мистер Подснеп («Наш

общий друг»). «Мистер Подснеп даже выработал себе особый жест: правой рукой он отмахивался от самых слож469

ском переводе вышла в 1871 году. (В двух томах. Перевод с английского под редакцией И. М. Сеченова. СПб., 1871). Пространные статьи о теории Дарвина печатались в «Отечественных записках», «Вестнике Европы» и «Русском вестнике». О Дарвине много писал Н. Н. Страхов, который так же, как Левин, «искал ответов не на вопросы знания, а на вопросы сердца». Поэтому он и проходит мимо собственно научного смысла дарвинизма или же относится к нему резко отрицательно. Сам Толстой впоследствии признавался, что его, как Левина, дарвинизм «натолкнул на противоположный путь — духовный» (Д. П. Маковицкий. Яснополянские записки. 9 апреля 1907 года. Архив ГМТ).

Кейс, Вурст, Кнауст и Припасов — имена вымышленные и пародийные.

Стр. 41. *Ну, в «Англию»...* — Московская гостиница «Англия» помещалась на Петровке. Эта гостиница пользовалась плохой репутацией (см.: А. Ф. Тютчева. При дворе двух императоров. Дневник 1855—1882. М., 1929, с. 233).

Ты ведь любишь тюрбо? — Тюрбо — блюдо французской кухни, особым образом приготовленная рыба калкан (*франц.* turbot). Тюрбо в России — привозной товар, ценившийся гурманами.

Стр. 43. *...вино по разлатым тонким рюмкам...* — Разлатые рюмки — высокие и плоские рюмки для шампанского.

Стр. 45. *Узнаю коней ретивых по каким-то их таврам...* — («Узнаю коней ретивых по их выжженным таврам...») — Облонский дважды (и оба раза неточно) цитирует Пушкина («Из Анакреона») — сначала в разговоре с Левиным (гл. X), а потом при встрече с Вронским (гл. XVII).

Стр. 47. *«...с отвращением читая жизнь мою, я трепещу и проклинаю...»* — Левин цитирует стихотворение Пушкина «Воспоминание», любимое Толстым. «Это стихи, — говорил он, — и таких стихов пять, много десять на всем свете» («Сборник воспоминаний о Л. Н. Толстом», М., 1911, с. 167).

Стр. 49. *Himmlisch ist's, wenn ich bezwungen...* — Облонский декламирует куплет из оперетты Иоганна Штрауса «Летучая мышь».

Я прелестных падших созданий не видал... — «Прелестное, но падшее созданье» — строка из пушкинского «Пира во время чумы» (слова Вальсингама).

Стр. 50. *...это все равно, как этот диккенсовский господин, который перебрасывает левою рукой через правое плечо все затруд-*

пых мировых вопросов (и тем совершенно их устранял)' — с этими самыми словами и краской возмущения в лице. Ибо все это его оскорбляло» (Ч. Диккенс. Собр. соч. в 30*ти томах, т. 24. М., 1962, с. 158). ...обе любви, которые, помнишь, Платон определяет в свое.н iiПире»,., — Платон (427 — 347 гг. до н. э.) в своем «Симпозионе», или «Пире», утверждает, что есть два рода любви, как есть две Афродиты: любовь земная, чувственная (Афродита-Пандемос), и любовь небесная, свободная от чувственных желаний (АфродитаУрания). «Ведь одна-то старшая, не имеющая матери, дочь Урана (Неба), которую и называют небесною; а другая — младшая, дочь Зевса и Дионы...» (Сочинения Платона, ч. IV. СПб., 1863, с. 162). По имени старшей «чистая любовь» получила название платонической. Стр. 53. »..сверстницы Кити составляли какие-то общества, отправлялись на какие-то курсы... — 1 ноября 1872 года в Москве открылись Высшие женские курсы проф. В. И. Герьѳ (1837 — 1919). Различного рода курсы и общества (юридические, литературные и медицинские) имели целью дать возможность женщинам получить образование. Стр. 62. ...л думаю, что вы будете отличный медиум... — Медиум — посредник (от лат. medium) , человек, при помощи которого якобы происходило на спиритических сеансах «общение с духами». Стр. 67. Chateau des ßeurs... — «Шато де флер» — название увеселительного заведения, устроенного по типу парижского кафешантана. На сцене выступали танцовщицы, куплетисты, гимнасты, велосипедистки. В Москве «Шато де флер» содержал антрепренер Беккер в Петровском парке. Стр. 90. ...шел... разговор... о будущем общественном театре... — Общественный театр был открыт в Москве на Варварской площади в 1873 году. До той поры все сцены столиц находились во власти канцелярии императорских театров. Но новый театр не соответствовал своему названию и назначению. «Что такое общедоступный театр? — писал обозреватель газеты «Голос». — Увеселительное место, куда всем доступен вход, по недороговизне входных билетов, В московский общедоступный театр между тем могли попасть только те, которые были в состоянии платить относительно довольно высокие цепы. Народу же он был совершенно почти недоступен» («Голос», 1873, № 163). Стр. 97. ...его выгнали из университета за то, что он завел.., воскресные школы... — Воскресные школы устраивались для рабочих

на заводах и фабриках. Поэтому революционеры 70-х годов рассматривали работу в воскресных школах как одну из форм 470

ных мировых вопросов (и тем совершенно их устранял)» — с этими самыми словами и краской возмущения в лице. Ибо все это его оскорбляло» (Ч. Диккенс. Собр. соч. в 30-ти томах, т. 24. М., 1962, с. 158).

...обе любви, которые, помнишь, Платон определяет в своем «Пире»... — Платон (427—347 гг. до н. э.) в своем «Симпозионе», или «Пире», утверждает, что есть два рода любви, как есть две Афродиты: любовь земная, чувственная (Афродита-Пандемос), и любовь небесная, свободная от чувственных желаний (Афродита-Урания). «Ведь одна-то старшая, не имеющая матери, дочь Урана (Неба), которую и называют небесною; а другая — младшая, дочь Зевса и Дионы...» (Сочинения Платона, ч. IV. СПб., 1863, с. 162). По имени старшей «чистая любовь» получила название платонической.

Стр. 53. *...сверстницы Кити составляли какие-то общества, отправлялись на какие-то курсы...* — 1 ноября 1872 года в Москве открылись Высшие женские курсы проф. В. И. Герье (1837—1919). Различного рода курсы и общества (юридические, литературные и медицинские) имели целью дать возможность женщинам получить образование.

Стр. 62. *...я думаю, что вы будете отличный медиум...* — Медиум — посредник (от лат. medium), человек, при помощи которого якобы происходило на спиритических сеансах «общение с духами».

Стр. 67. *Château des fleurs...* — «Шато де флер» — название увеселительного заведения, устроенного по типу парижского кафе-шантана. На сцене выступали танцовщицы, куплетисты, гимнасты, велосипедистки. В Москве «Шато де флер» содержал антрепренер Беккер в Петровском парке.

Стр. 90. *...шел... разговор... о будущем общественном театре...* — Общественный театр был открыт в Москве на Варварской площади в 1873 году. До той поры все сцены столиц находились во власти канцелярии императорских театров. Но новый театр не соответствовал своему названию и назначению. «Что такое общедоступный театр? — писал обозреватель газеты «Голос». — Увеселительное место, куда всем доступен вход, по недороговизне входных билетов. В московский *общедоступный* театр между тем могли попасть только те, которые были в состоянии платить относительно довольно высокие цены. Народу же он был совершенно почти недоступен» («Голос», 1873, № 163).

Стр. 97. *...его выгнали из университета за то, что он завел...*

«хождения в народ». В 1874 году министр внутренних дел граф К. Н. Пален представил Александру II доклад «Успехи революционной пропаганды в России». Воскресные школы были взяты под строгий контроль. Многих студентов за участие в работе этих школ исключали из университетов. Стр. 106. Это была книга Тиндаля о теплоте. — Джон Тиндаль (1820—1893) — английский физик. В 1872 году Толстой читал его книгу «Теплота, рассматриваемая как род движения», изданную в Петербурге в 1864 году. Размышления о природе физических явлений сохранились в дневнике Толстого (см. т. 48, с. 148, 155)* Стр. 123. Duc de Lille «Poésie des enfers». — Дюк де Лиль — вымышленное имя, которое отдаленно напоминает имя Леконт де Лиля (1818 — 1894) (Duc de Lille — Leconte de Lisle). Название книги («Поэзия ада») имеет пародийный характер. Новое издание романа вышло в свет в 1875 году. Стр. 126. ...в восточном строгом стиле, «genre рабыни бекки...» — Петрицкий имеет в виду тип «прекрасной Ребекки», романтической героини романа Вальтера Скотта «Айвенго». Стр. 139. Знаменитая певица пела второй раз... — «Знаменитая певица» — Кристиана Нильсон (1843—1921), в 1872—1875 годах с большим успехом пела на сцене Большого и Мариинского театров. Стр. 145. Она необыкновенно хороша как актриса; видно, что она изучила Каулъбаха... — Вильгельм Каульбах (1805-1874)-^ немецкий художник, директор Мюнхенской Академии искусств, увенчанный золотым лавровым венком, «высший и едва ли но последний представитель идеализма», как его называли тогда* Слава Каульбаха была связана с монументальными, помпезными композициями: «Столпотворение Вавилона», «Расцвет классической Греции», «Разрушение Иерусалима», «Битва гуннов» и др. Актеры, в том числе и оперные, изучали произведения художников и скульпторов, чтобы овладеть пластикой сценического движения. В театрах неизменным успехом пользовались так называемые «живые картины». Сопоставление живописи и театра было общим местом театральной критики 70-х годов. Стр. 146. ...костюм diable rose. — В 1874 году на сцене французского театра шла комедия Е. Гранжа и Л. Тибу «Les diables roses» («Розовые дьяволы»). Стр. 147. У Гримма есть басня: человек без тени... — Сказка о человеке, потерявшем тень, принадлежит немецкому писателюромантику Адельберту Шамиссо

(1781 — 1838) — «Необычайные приключения Петера Шлемиля» (1814). В 1870 году в переводе на русский язык были напечатаны сказки Г.-Х. Андерсена (1805— 1875) — «Лучшие сказки», СПб., 1870, в том числе и его сказка 471

«хождения в народ». В 1874 году министр внутренних дел граф К. Н. Пален представил Александру II доклад «Успехи революционной пропаганды в России». Воскресные школы были взяты под строгий контроль. Многих студентов за участие в работе этих школ исключали из университетов.

Стр. 106. *Это была книга Тиндаля о теплоте.* — Джон Тиндаль (1820—1893) — английский физик. В 1872 году Толстой читал его книгу «Теплота, рассматриваемая как род движения», изданную в Петербурге в 1864 году. Размышления о природе физических явлений сохранились в дневнике Толстого (см. т. 48, с. 148, 155).

Стр. 123. *Duc de Lille «Poésie des enfers».* — Дюк де Лиль — вымышленное имя, которое отдаленно напоминает имя Леконт де Лиля (1818—1894) (Duc de Lille — Leconte de Lisle). Название книги («Поэзия ада») имеет пародийный характер. Новое издание романа вышло в свет в 1875 году.

Стр. 126. *...в восточном строгом стиле, «genre рабыни Ребекки...»* — Петрицкий имеет в виду тип «прекрасной Ребекки», романтической героини романа Вальтера Скотта «Айвенго».

Стр. 139. *Знаменитая певица пела второй раз...* — «Знаменитая певица» — Кристиана Нильсон (1843—1921), в 1872—1875 годах с большим успехом пела на сцене Большого и Мариинского театров.

Стр. 145. *Она необыкновенно хороша как актриса; видно, что она изучила Каульбаха...* — Вильгельм Каульбах (1805—1874) — немецкий художник, директор Мюнхенской Академии искусств, увенчанный золотым лавровым венком, «высший и едва ли не последний представитель идеализма», как его называли тогда. Слава Каульбаха была связана с монументальными, помпезными композициями: «Столпотворение Вавилона», «Расцвет классической Греции», «Разрушение Иерусалима», «Битва гуннов» и др. Актеры, в том числе и оперные, изучали произведения художников и скульпторов, чтобы овладеть пластикой сценического движения. В театрах неизменным успехом пользовались так называемые «живые картины». Сопоставление живописи и театра было общим местом театральной критики 70-х годов.

Стр. 146. *...костюм diable rose.* — В 1874 году на сцене французского театра шла комедия Е. Гранжа и Л. Тибу «Les diables roses» («Розовые дьяволы»).

Стр. 147. *У Гримма есть басня: человек без тени...* — Сказка о человеке, потерявшем тень, принадлежит немецкому писателю-романтику Адельберту Шамиссо (1781—1838) — «Необычайные приключения Петера Шлемиля» (1814). В 1870 году в переводе на

«Тень». Братья Гримм в разговоре упомянуты по ошибке. В их сборниках сказки о человеке, потерявшем тень, нет. Стр. 148. Никто не доволен своим состоянием, и всякий доволен своим умом, — сказал дипломат французский стих. — Неточная цитата из Ларошфуко: «Все недовольны своей памятью, но никто не жалуется на свой разум» (Франсуа де Ларошфуко. Мемуары. Максимы. Л., 1971, с. 157). ...в Буффах досиживаю до последнего конца... — В 1855 — 1877 годах «опера-буфф» в Париже была антрепризой Жака Оффенбаха. В 1870 году в Петербурге (угол Александрийской площади и Толмазова переулка) открылся французский театр — Опера-буфф. «Мы выбивались из сил, — замечает фельетонист газеты «Голос», — чтоб сделать из Петербурга «уголок Парижа»...» («Голос», 1873, №6). Стр. 152. Ваш Рамбулье в полном составе... — Парижский литературный салон маркизы Рамбулье (1588—1665) объединял политиков, писателей, поэтов, претендовавших на роль «законодателей вкуса». Салон Рамбулье сатирически изображен Мольером в комедиях «Смешные жеманницы» и «Ученые женщины». ...разговор об общей воинской повинности. — По новому военному уставу, «высочайше утвержденному» 1 января 1874 года, двадцатипятилетняя солдатчина заменялась краткосрочной службой в армии (до 6 лет). Дворянство теряло свою последнюю привилегию — свободу от военной службы. Проект устава обсуждался в печати и в обществе в течение трех лет, начиная с 1870 года. Стр. 153. Трансцендентные понятия — в философии — понятия, выходящие за пределы непосредственного опыта. Стр. 175. ...тип женщин оссиановских... — то есть героинь романтических «Песен Оссиана», опубликованных в 1765 году Дж. Макферсоном (1736—1796). Оссиаii воспевал женщин, непоколебимо верных и самоотверженных. «Пустыню с милым протекает, пленившим сердце красотой» — вот что такое «тип женщин оссиановских» (Пушкин. «Кольна») . Стр. 180. Ведь это не обидной лес... — Обидной лес — молодой лес, годный только на мелкие поделки (ободья, оглобли, полозья). Обидной лес — низкорослый, и ценится он дешевле дровяного, более старого и рослого (см. коммепт. В. Саводника к «Анне Карениной» в КН.: Л. Н. Толстой. Анна Каренина, т. I. М. — Л., 1928, с. 383). Кроме того, в тульском говоре слово обида (или обижда) означает «убыток», «поношение», а также

«лишение имущества» (В. Даль. Толковый словарь, т. II, с. 583). Обидной — плохой, обидная цена — убыточная цена. Лес Облонского «не обидной», а цена, назначенная Рябининым, «обидная». 472

«Тень». Братья Гримм в разговоре упомянуты по ошибке. В их сборниках сказки о человеке, потерявшем тень, нет.

Стр. 148. *Никто не доволен своим состоянием, и всякий доволен своим умом, — сказал дипломат французский стих.* — Неточная цитата из Ларошфуко: «Все недовольны своей памятью, но никто не жалуется на свой разум» (Франсуа де Ларошфуко. Мемуары. Максимы. Л., 1971, с. 157).

...в Буффах досиживаю до последнего конца... — В 1855—1877 годах «опера-буфф» в Париже была антрепризой Жака Оффенбаха. В 1870 году в Петербурге (угол Александринской площади и Толмазова переулка) открылся французский театр — Опера-буфф. «Мы выбивались из сил, — замечает фельетонист газеты «Голос», — чтоб сделать из Петербурга «уголок Парижа»...» («Голос», 1873, № 6).

Стр. 152. *Ваш Рамбулье в полном составе...* — Парижский литературный салон маркизы Рамбулье (1588—1665) объединял политиков, писателей, поэтов, претендовавших на роль «законодателей вкуса». Салон Рамбулье сатирически изображен Мольером в комедиях «Смешные жеманницы» и «Ученые женщины».

...разговор об общей воинской повинности. — По новому военному уставу, «высочайше утвержденному» 1 января 1874 года, двадцатипятилетняя солдатчина заменялась краткосрочной службой в армии (до 6 лет). Дворянство теряло свою последнюю привилегию — свободу от военной службы. Проект устава обсуждался в печати и в обществе в течение трех лет, начиная с 1870 года.

Стр. 153. *Трансцендентные понятия* — в философии — понятия, выходящие за пределы непосредственного опыта.

Стр. 175. *...тип женщин оссиановских...* — то есть героинь романтических «Песен Оссиана», опубликованных в 1765 году Дж. Макферсоном (1736—1796). Оссиан воспевал женщин, непоколебимо верных и самоотверженных. «Пустыню с милым протекает, пленившим сердце красотой» — вот что такое «тип женщин оссиановских» (Пушкин. «Кольна»).

Стр. 180. *Ведь это не обидной лес...* — Обидной лес — молодой лес, годный только на мелкие поделки (ободья, оглобли, полозья). Обидной лес — низкорослый, и ценится он дешевле дровяного, более старого и рослого (см. коммент. В. Саводника к «Анне Карениной» в кн.: Л. Н. Толстой. Анна Каренина, т. I. М. — Л., 1928, с. 383). Кроме того, в тульском говоре слово обида (или обижда) означает «убыток», «поношение», а также «лишение имущества» (В. Даль. Толковый словарь. Т. II, с. 583). Обидной — плохой

Сочесть пески, лучи планет.., — Облонский цитирует начало знаменитой оды Державина «Бог»: «Измерить океан глубокий, сочесть пески, лучи планет, хотя и мог бы ум высокий, тебе числа и меры нет!». Стр. 183. Степан Аркадъич с оттопыренным карманом серий, которые за три месяца вперед отдал ему купец, вошел наверх. — Серии — государственные казначейские билеты стоимостью в БО рублей были выпущены «для увеличения оборотных средств и для ускоренного получения государственного дохода». Серии выпускались разрядами и приносили дохода 4,32 7о* Рябиин за^ платил Облонскому сериями за три месяца вперед, то есть «реализовал» проценты на три месяца раньше срока уплаты по купонам. Стр. 185. ...эти увеселительные... Электрический свет везде... — В начале 70-х годов электрический свет был практически невыгоден и использовался лишь в исключительных случаях. Но содержатели «увеселительных» заведений все же обзавелись новинкой техники как зрелищной приманкой. Уже в 1873 году «Шато дѳ флер» в Москве было освещено «электрическим солнцем» («Голос», 1873, Кг 133). Стр. 192. «Был король в Ту-у-ле». — Туле (или Фуле) — сказочный северный остров в немецких народных преданиях. «Был король в Туле» — строка из «Фауста» Гете. Стр. 195. Ну, что Фру-Фру?.. — «фру-фру» — комедия Анри Мельяка (1831—1897) и Людовика Галеви (1834—1908) — шла в Петербурге в сезон 1872 года. Фру-Фру — звукоподражательное прозвище героини пьесы — Я^ильберты. «Ведь в этом именно вся вы! Фру-Фру!.. Капризничаете, смеетесь, поете, играете, танцуете, скачете и опять исчезаете. Фру-Фру, всегда Фру-Фру...» — говорится в пьесе (А. М е л ь я к и Л. Г а л е в и. Фру-Фру. М., 1900, с. 4). Отдавая дань моде, Вронский назвал свою лошадь Фру-Фру. Стр. 218. ...Лидия Ивановна прислала ему брошюру бывшего в Петербурге знаменитого путешественника в Китае... — Знаменитый путешественник — по-видимому, П. Я. Пясецкий (1843—1905). В 1874 году он принимал участие в качестве врача и художника в китайской экспедиции. Книга П. Я. Пясецкого «Путешествие в Китай» печаталась в 1874 и 1875 годах. Его записки выдержали несколько изданий, в том число и в переводах на европейские языки. Стр. 241. ...в обедне и всенощной во Вдовьем Доме... — Вдовий Дом — благотворительное заведение, основанное в 1803 году в Москве и Петербурге для неимущих,

больных и престарелых вдов офицеров и чиновников, прослуживших на государственной службе не менее десяти лет или погибших на войне. 473

Сочесть пески, лучи планет... — Облонский цитирует начало знаменитой оды Державина «Бог»: «Измерить океан глубокий, сочесть пески, лучи планет, хотя и мог бы ум высокий, тебе числа и меры нет!».

Стр. 183. *Степан Аркадьич с оттопыренным карманом серий, которые за три месяца вперед отдал ему купец, вошел наверх.* — Серии — государственные казначейские билеты стоимостью в 50 рублей — были выпущены «для увеличения оборотных средств и для ускоренного получения государственного дохода». Серии выпускались разрядами и приносили дохода 4,32%. Рябинин заплатил Облонскому сериями за три месяца вперед, то есть «реализовал» проценты на три месяца раньше срока уплаты по купонам.

Стр. 185. *...эти увеселительные... Электрический свет везде...* — В начале 70-х годов электрический свет был практически невыгоден и использовался лишь в исключительных случаях. Но содержатели «увеселительных» заведений все же обзавелись новинкой техники как зрелищной приманкой. Уже в 1873 году «Шато де флер» в Москве было освещено «электрическим солнцем» («Голос», 1873, № 133).

Стр. 192. *«Был король в Ту-у-ле».* — Туле (или Фуле) — сказочный северный остров в немецких народных преданиях. «Был король в Туле» — строка из «Фауста» Гете.

Стр. 195. *Ну, что Фру-Фру?..* — «Фру-Фру» — комедия Анри Мельяка (1831—1897) и Людовика Галеви (1834—1908) — шла в Петербурге в сезон 1872 года. Фру-Фру — звукоподражательное прозвище героини пьесы — Жильберты. «Ведь в этом именно вся вы! Фру-Фру!.. Капризничаете, смеетесь, поете, играете, танцуете, скачете и опять исчезаете. Фру-Фру, всегда Фру-Фру...» — говорится в пьесе (А. Мельяк и Л. Галеви. Фру-Фру. М., 1900, с. 4). Отдавая дань моде, Вронский назвал свою лошадь Фру-Фру.

Стр. 218. *...Лидия Ивановна прислала ему брошюру бывшего в Петербурге знаменитого путешественника в Китае...* — Знаменитый путешественник — по-видимому, П. Я. Пясецкий (1843—1905). В 1874 году он принимал участие в качестве врача и художника в китайской экспедиции. Книга П. Я. Пясецкого «Путешествие в Китай» печаталась в 1874 и 1875 годах. Его записки выдержали несколько изданий, в том числе и в переводах на европейские языки.

Стр. 241. *...в обедне и всенощной во Вдовьем Доме...* — Вдовий Дом — благотворительное заведение, основанное в 1803 году в Москве и Петербурге для неимущих, больных и престарелых

Стр. 247, „..она в пиетистки записалась. — Пиетизм — религиозное учение, отводившее первостепенную роль внутреннему благочестию, а не внешней церковной обрядности. В России пиетизм еще со времен Александра I был распространен в придворных кругах, где уживался с крайними проявлениями фанатичности, тиранства и «злонравия». Поэтому самое слово «пиетизм» стало синонимом ханжества. Стр. 265. ...быть гласным... — Гласный — член земского собрания. Срок полномочия гласных — три года. Абсолютное большинство гласных в земских собраниях составляли дворяне. Стр. 297. „.ехала четверней карета с важами. — Важи — чемоданы из телячьей кожы (от франц. vache). Стр. 300. ...освеженного в памяти всех Прекрасною Еленою Л/е/іедая... — «Прекрасная Елена» (1864) — оперетта Жака Оффенбаха (1819 — 1880). Менелай в оперетте — комический образ обманутого мужа. Стр. 305. „.французская книга о евгюбических надписях. — «Евгюбические надписи» — таблицы на умбрийском диалекте, найденные в 1444 году в городе Gubbio (Италия), который в средние века назывался Eugubium. Стр. 306. „.дело об орошении... — После голода 1873 года появились многочисленные проекты орошения степей Самарской губернии. Независимо от практического смысла проектов, они давали возможность получать субсидии и представляли способ легкого обогащения. Н. Некрасов включил в поэму «Современники» «песню об орошении» («дали денег — орошай!»). Стр. 307. Он требовал и назначения еще особой комиссии по делу об устройстве инородцев. — «Дело об устройстве инородцев» началось еще в 60-х годах. В Уфимской и Оренбургской губерниях башкиры владели И миллионами десятин земли. В целях «обрусения края» правительство поощряло аренду башкирских земель переселенцами из центральных губерний России. Обычно арендованные участки обозначались условно, так что открывался простор для злоупотреблений. В 1871 году были приняты особые правила о продаже свободных земель на льготных условиях. С этого времени началось хищническое использование башкирских и казенных земель. В спекуляциях прямое участие принимали чиновники канцелярии Оренбургского генерал-губернатора. Когда «дело об устройстве инородцев» получило огласку, П. А. Валуев, министр государственных имуществ, должен был уйти в отставку.

Существует предположение, что в Каренине есть черты П. А. Валуева (1814—1890) (см. очерки «Валуевская комиссия» в журнале «Русская мысль», 1891, КН. 3—4), 474

Стр. 247. *...она в пиетистки записалась.* — Пиетизм — религиозное учение, отводившее первостепенную роль внутреннему благочестию, а не внешней церковной обрядности. В России пиетизм еще со времен Александра I был распространен в придворных кругах, где уживался с крайними проявлениями фанатичности, тиранства и «злонравия». Поэтому самое слово «пиетизм» стало синонимом ханжества.

Стр. 265. *...быть гласным...* — Гласный — член земского собрания. Срок полномочия гласных — три года. Абсолютное большинство гласных в земских собраниях составляли дворяне.

Стр. 297. *...ехала четверней карета с важами.* — Важи — чемоданы из телячьей кожы (от *франц.* vache).

Стр. 300. *...освеженного в памяти всех Прекрасною Еленою Менелая...* — «Прекрасная Елена» (1864) — оперетта Жака Оффенбаха (1819—1880). Менелай в оперетте — комический образ обманутого мужа.

Стр. 305. *...французская книга о евгюбических надписях.* — «Евгюбические надписи» — таблицы на умбрийском диалекте, найденные в 1444 году в городе Gubbio (Италия), который в средние века назывался Eugubium.

Стр. 306. *...дело об орошении...* — После голода 1873 года появились многочисленные проекты орошения степей Самарской губернии. Независимо от практического смысла проектов, они давали возможность получать субсидии и представляли способ легкого обогащения. Н. Некрасов включил в поэму «Современники» «песню об орошении» («дали денег — орошай!»).

Стр. 307. *Он требовал и назначения еще особой комиссии по делу об устройстве инородцев.* — «Дело об устройстве инородцев» началось еще в 60-х годах. В Уфимской и Оренбургской губерниях башкиры владели 11 миллионами десятин земли. В целях «обрусения края» правительство поощряло аренду башкирских земель переселенцами из центральных губерний России. Обычно арендованные участки обозначались условно, так что открывался простор для злоупотреблений. В 1871 году были приняты особые правила о продаже свободных земель на льготных условиях. С этого времени началось хищническое использование башкирских и казенных земель. В спекуляциях прямое участие принимали чиновники канцелярии Оренбургского генерал-губернатора. Когда «дело об устройстве инородцев» получило огласку, П. А. Валуев, министр государственных имуществ, должен был уйти в отставку. Существует предположение, что в Каренине есть черты П. А. Валуева

Стр. 318. Алексей сделал нам ложный прыжок... — буквальный лоревод с французского «faire faux bond» — сделать ложное обещание, изменить слову. Стр. 319. Они забросили чепцы за мельницы. — Буквальный перевод французской пословицы «jeter son bonnet par-dessus les moulins» (так говорят о женщинах, которые пренебрегают общественным мнением) . Стр. 334. Персеверировать — упорствовать (от франц. persévérer). Стр. 356. ...российский топчачок... — молотилка с конным приводом, то есть приводимая в движение лошадьми, «топчущимися» по кругу. Стр. 359. Шулъце-Деличевское направление... — Герман ШулъцеДелич (1808—1883), немецкий экономист и политик, в начале 50-х годов выдвинул программу независимых кооперативов и ссудно-сберегательных касс. В России первые общества, «по образцу ссудного общества Шульце в Германии» появились в 1865 году. По мысли Шульце-Делича, его программа должна была примирить классовые интересы рабочих и хозяев. ...лассалевского направления... — Фердинанд Лассаль (1825 — 1864) ^ немецкий политический деятель, основатель «Всеобщего германского рабочего союза». Независимым кооперативам ШульцеДелича он противопоставлял производственную ассоциацию, получающую поддержку от государства. На этой основе он вошел в контакт с Бисмарком. «Лассалевское направление» в рабочем вопросе вело к открытому союзу с прусской монархией. Мильгаузенское устройство... — «Общество попечения об улучшении быта рабочих», основанное фабрикантом Дольфусом в городе Мильгаузене (Эльзас), строило дома, стоимость которых рабочие выплачивали постепенно, приобретая их в свою собственность. «Общество» Дольфуса было коммерческим предприятиеьг с благотворительными целями. «Мильгаузенское устройство» но решало и не могло решить рабочего вопроса. Стр. 361. ...в это.ч вы по крайней мере сходитесь со Спенсером... — Свияжский имеет в виду статью английского философа Герберта Спенсера (1820—1903) «Наше воспитание, как препятствие к правильному пониманию общественных явлений», перевод которой был напечатан в журнале «Знание» (1874, № 1). Спенсер писал об эволюции общественного сознания, доказывая, что не просвещение создает благосостояние народа, а именно благосостояние является необходимым условием для развития просвещения. Стр. 366. ...в Милле... он нашел выведенные из

положения европейского хозяйства законы... — то есть законы буржуазного ев|)опейского хозяйства, неприложимые, по мысли Толстого, 475

Стр. 318. *Алексей сделал нам ложный прыжок...* — буквальный перевод с французского «faire faux bond» — сделать ложное обещание, изменить слову.

Стр. 319. *Они забросили чепцы за мельницы.* — Буквальный перевод французской пословицы «jeter son bonnet par-dessus les moulins» (так говорят о женщинах, которые пренебрегают общественным мнением).

Стр. 334. *Персеверировать* — упорствовать (от *франц.* persévérer).

Стр. 356. *...российский топчачок...* — молотилка с конным приводом, то есть приводимая в движение лошадьми, «топчущимися» по кругу.

Стр. 359. *Шульце-Деличевское направление...*— Герман Шульце-Делич (1808—1883), немецкий экономист и политик, в начале 50-х годов выдвинул программу независимых кооперативов и ссудно-сберегательных касс. В России первые общества, «по образцу ссудного общества Шульце в Германии» появились в 1865 году. По мысли Шульце-Делича, его программа должна была примирить классовые интересы рабочих и хозяев.

...лассалевского направления... — Фердинанд Лассаль (1825—1864) — немецкий политический деятель, основатель «Всеобщего германского рабочего союза». Независимым кооперативам Шульце-Делича он противопоставлял производственную ассоциацию, получающую поддержку от государства. На этой основе он вошел в контакт с Бисмарком. «Лассалевское направление» в рабочем вопросе вело к открытому союзу с прусской монархией.

Мильгаузенское устройство... — «Общество попечения об улучшении быта рабочих», основанное фабрикантом Дольфусом в городе Мильгаузене (Эльзас), строило дома, стоимость которых рабочие выплачивали постепенно, приобретая их в свою собственность. «Общество» Дольфуса было коммерческим предприятием с благотворительными целями. «Мильгаузенское устройство» не решало и не могло решить рабочего вопроса.

Стр. 361. *...в этом вы по крайней мере сходитесь со Спенсером...* — Свияжский имеет в виду статью английского философа Герберта Спенсера (1820—1903) «Наше воспитание, как препятствие к правильному пониманию общественных явлений», перевод которой был напечатан в журнале «Знание» (1874, № 1). Спенсер писал об эволюции общественного сознания, доказывая, что не просвещение создает благосостояние народа, а именно благосостояние является необходимым условием для развития просвещения.

к России. Джон Стюарт Милль (1806—1873) — английский философ и социолог, автор известной в свое время книги «Основания политической экономии» (переведенной на])усский язык Н. Г. Чернышевским) . Стр. 367. Кауфман, Джонс, Дюбуа, Мичели — имена вымышленные. Перечисление этих имен пародирует склонность начетчиков аргументировать ссылками на неведомые авторитеты. Стр. 393. Развод по нашим законам,,, возможен... в следующих случаях... — Развод в данном случае был возможен. Но Каренин, по благородству своего характера, не хотел «уличать» Анну, считая это действием «низким, неблагородным и нехристианским», и не мог принять вину на себя, потому что это было бы по его понятиям «обманом перед законом Божеским и человеческим» (см. черновики романа: Л. Н. Толстой. Поли. собр. соч., т. 20, с. 267). «...Как закон требует таких улик, которых почти невозможно добыть, — пишет обозреватель газеты «Голос» о бракоразводных процессах, — то дело обыкновенно улаживается тем, что один из супругов добровольно принимает на себя вину и, ради улик в неверности, устроивает нередко сцены, по циничности своей, совершенно неудобные для описания. Способ этот имеет те неудобства, что принявший па себя вину, сверх того, что предается покаянию (покаяние по решению суда — характеристическая особенность нашего законодательства), лишается ещ,е и права вступать в новый брак» («Голос», 1873, № 138). Стр. 402. Не будь, о моралист, так строг!.. — перефразированные начальные строки стихотворения А. Фета «Из Гафиза»: «Не будь, о богослов, так строг! Не дуйся, моралист, на всех!» Стр. 413. Теперь признано, что настоящее образование может быть только чисто классическое... — В 1871 году по проекту министра народного просвещения графа Д. А. Толстого были учреждены реальные училища и классические гимназии. Разделением этих учебных заведений ограничивалось преподавание естественных паук, считавшихся источником «опасных» идей неверия я материализма. В программах гимназий преобладала классическая филология (греческий и латинский языки), на которые возлагалась надежда, как на средство исцеления молодежи от революционных настроений. Толстой относился к школьной реформе с иронией и ясно видел ее политический смысл: «латинский язык: чтобы отвлечь от нигилизма» («Литературное наследство», т. 69, кн. 2, с. 60).

Стр. 422. Разговор зашел об общине, в которой Песцов видел какое-то особенное начало, называемое им хоровым началом. — Отношение к крестьянской общине как к «нравственному хору», в котором каждый отдельный голос, «подчиняясь общему строю, 476

к России. Джон Стюарт Милль (1806—1873) — английский философ и социолог, автор известной в свое время книги «Основания политической экономии» (переведенной на русский язык Н. Г. Чернышевским).

Стр. 367. *Кауфман, Джонс, Дюбуа, Мичели* — имена вымышленные. Перечисление этих имен пародирует склонность начетчиков аргументировать ссылками на неведомые авторитеты.

Стр. 393. *Развод по нашим законам... возможен... в следующих случаях...* — Развод в данном случае был возможен. Но Каренин, по благородству своего характера, не хотел «уличать» Анну, считая это действием «низким, неблагородным и нехристианским», и не мог принять вину на себя, потому что это было бы по его понятиям «обманом перед законом Божеским и человеческим» (см. черновики романа: Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч., т. 20, с. 267). «...Как закон требует таких улик, которых почти невозможно добыть, — пишет обозреватель газеты «Голос» о бракоразводных процессах, — то дело обыкновенно улаживается тем, что один из супругов добровольно принимает на себя вину и, ради улик в неверности, устроивает нередко сцены, по циничности своей, совершенно неудобные для описания. Способ этот имеет те неудобства, что принявший на себя вину, сверх того, что предается покаянию (покаяние по решению суда — характеристическая особенность нашего законодательства), лишается еще и права вступать в новый брак» («Голос», 1873, № 138).

Стр. 402. *Не будь, о моралист, так строг!..* — перефразированные начальные строки стихотворения А. Фета «Из Гафиза»: «Не будь, о богослов, так строг! Не дуйся, моралист, на всех!»

Стр. 413. *Теперь признано, что настоящее образование может быть только чисто классическое...* — В 1871 году по проекту министра народного просвещения графа Д. А. Толстого были учреждены реальные училища и классические гимназии. Разделением этих учебных заведений ограничивалось преподавание естественных наук, считавшихся источником «опасных» идей неверия и материализма. В программах гимназий преобладала классическая филология (греческий и латинский языки), на которые возлагалась надежда, как на средство исцеления молодежи от революционных настроений. Толстой относился к школьной реформе с иронией и ясно видел ее политический смысл: «латинский язык: чтобы отвлечь от нигилизма» («Литературное наследство», т. 69, кн. 2, с. 60).

Стр. 422. *Разговор зашел об общине, в которой Песцов видел*

слышится в согласии всех голосов», — - одна из самых характерных идей славянофильства. Песцов повторяет слова К. С. Аксакова о «хоровом начале общины» (см.: К. С. Аксаков. Поли. собр. соч., т. I. М., 1861, с. 292). Стр. 427. Ничего^ ничего, молчание!.. — слова Поприщина из «Записок сумасшедшего» Н. В. Гоголя. Стр. 436. Алексей Александрович... взяв Фрума... — Фрум — указатель пассажирских и пароходных сообщений по России и Европе (Froom’s Railway Guide for Russia & the Continent of Europe, 1870).

слышится в согласии всех голосов», — одна из самых характерных идей славянофильства. Песцов повторяет слова К. С. Аксакова о «хоровом начале общины» (см.: К. С. Аксаков. Полн. собр. соч., т. I. М., 1861, с. 292).

Стр. 427. *Ничего, ничего, молчание!..* — слова Поприщина из «Записок сумасшедшего» Н. В. Гоголя.

Стр. 436. *Алексей Александрович... взяв Фрума...* — Фрум — указатель пассажирских и пароходных сообщений по России и Европе (Froom's Railway Guide for Russia & the Continent of Europe, 1870).

СОДЕРЖАНИЕ АННА КАРЕНИНА ЧАСТИ ПЕРВАЯ — ЧЕТВЕРТАЯ Часть первая . 7 Часть вторая . 128 Часть третья . 256 Часть четвертая . 378 Примечания . 467

СОДЕРЖАНИЕ

АННА КАРЕНИНА

ЧАСТИ ПЕРВАЯ — ЧЕТВЕРТАЯ

Часть первая 7
Часть вторая 128
Часть третья 256
Часть четвертая 378
Примечания 467

Толстой л. Н, Т 53 Собрание сочинений. В 12«ти томах. Т. 8. Анна Каренина. Роман в восьми частях. Части первая — четвертая. Примеч. Э. Г. Бабаева. Оформл. худ. И. Жихарева. М., «Худож. лит.», 1974. 480 с. «Анна Каренина» — социально-философский роман, написанный в момент, когда, по словам одного из героев, «все это переворотилось и только укладывается» и «вопрос о том, как уложатся эти условия, есть только один важный вопрос в России». Через «мысль семейную» Толстой отразил в романе жизнь русского общества в переломный период его развития. Настоящий том вводит читателя в предысторию трагедии, развернувшейся в последующих частях, в напряженный и сложный мир общественных исканий одного из любимых героев писателя — Константина Левина.

Толстой Л. Н.

Т 53 Собрание сочинений. В 12-ти томах. Т. 8. Анна Каренина. Роман в восьми частях. Части первая — четвертая. Примеч. Э. Г. Бабаева. Оформл. худ. И. Жихарева. М., «Худож. лит.», 1974.

480 с.

«Анна Каренина» — социально-философский роман, написанный в момент, когда, по словам одного из героев, «все это переворотилось и только укладывается» и «вопрос о том, как уложатся эти условия, есть только один важный вопрос в России». Через «мысль семейную» Толстой отразил в романе жизнь русского общества в переломный период его развития.

Настоящий том вводит читателя в предысторию трагедии, развернувшейся в последующих частях, в напряженный и сложный мир общественных исканий одного из любимых героев

Лев Николаевич Толстой Собрание сочинений том 8 Редактор Г. Колосова Художественный редактор С. Данилов Технический редактор О. Ярославцева Корректор Г. Цветкова Сдано в набор 4/IX 1973 г. Подписано к печати 26/III 1974 г. Бумага типогр. № 1. Формат 84x108V32. 15 печ. л. 25,2 уел. печ. л. 26,65 уч.-изд. л. Тираж 300 000 экз. Заказ 1113. Цена 1 руб. Издательство «Художественная литература» Москва. Б-78, Ново-Басманная. 19 Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография Kq 1 «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136 Ленинград, П-136, Гатчинская ул., 26

Лев Николаевич
Толстой

Собрание сочинений
том 8

Редактор
Г. Колосова

Художественный редактор
С. Данилов

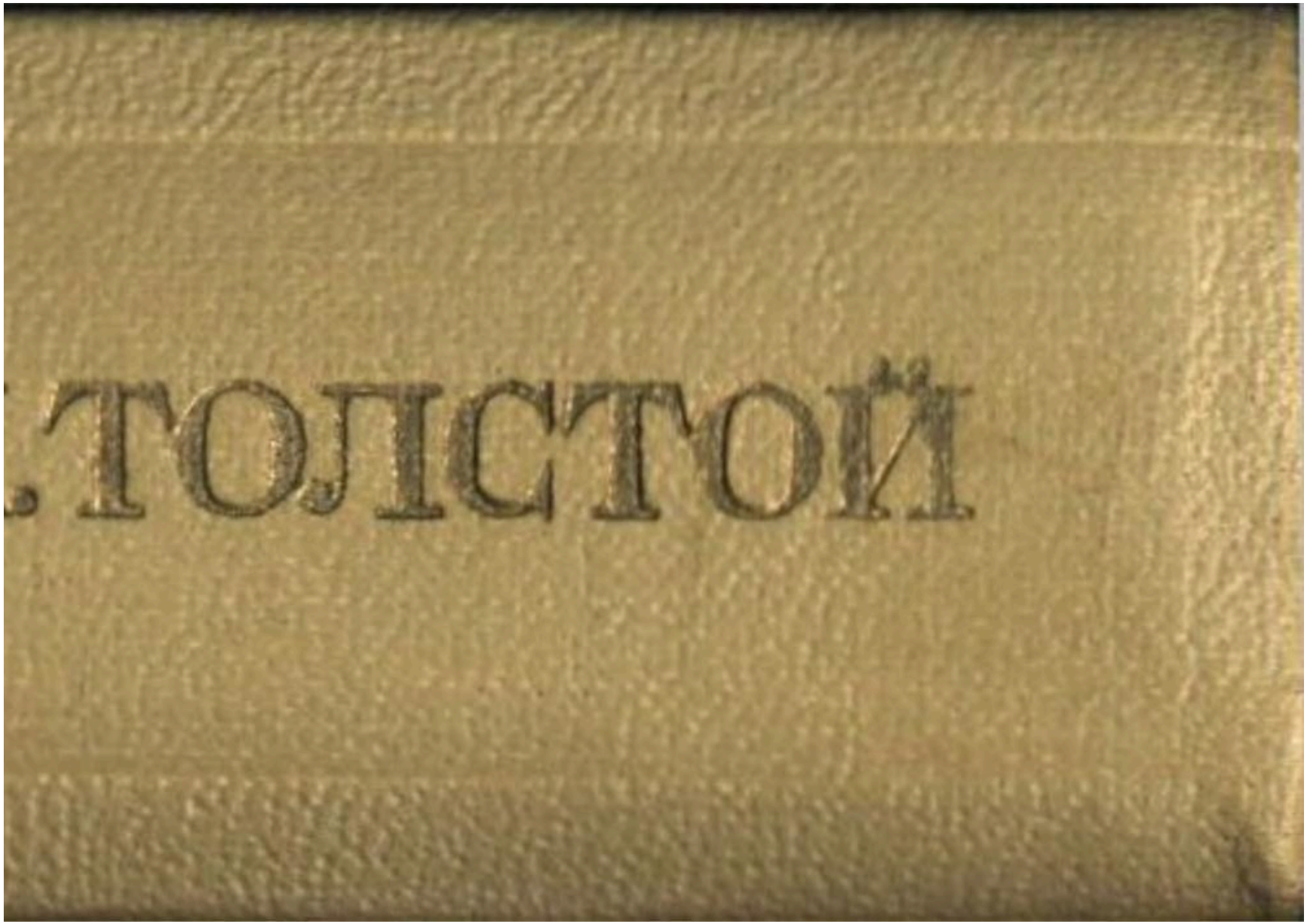
Технический редактор
О. Ярославцева

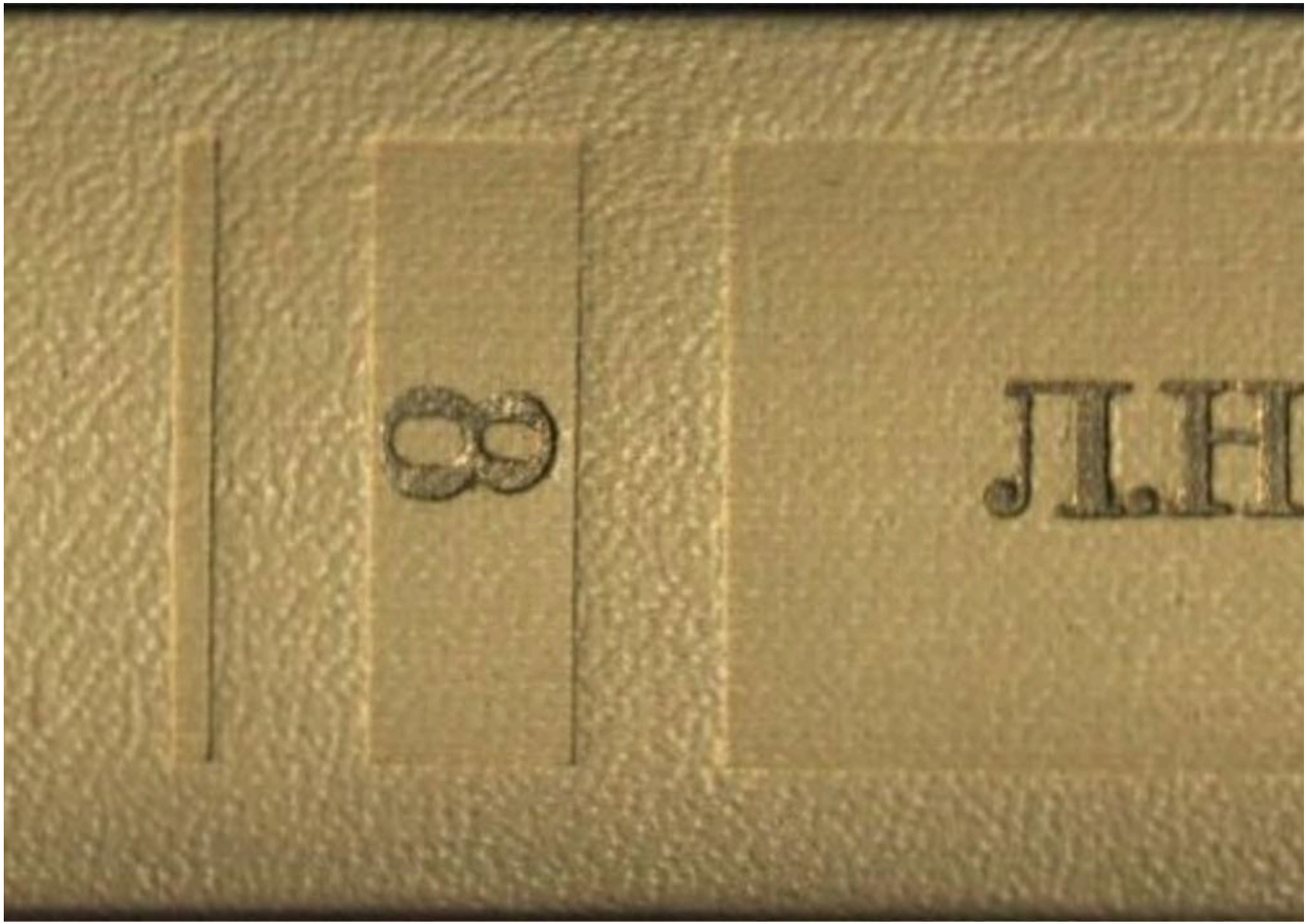
Корректор
Г. Цветкова

Сдано в набор 4/IX 1973 г. Подписано к печати 26/III 1974 г. Бумага типогр. № 1. Формат 84×108$^{1}/_{32}$. 15 печ. л. 25,2 усл. печ. л. 26,65 уч.-изд. л. Тираж 300 000 экз. Заказ 1113. Цена 1 руб.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 1 «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136 Ленинград, П-136, Гатчинская ул., 26


ТОЛСТОЙ


8
ЛН

